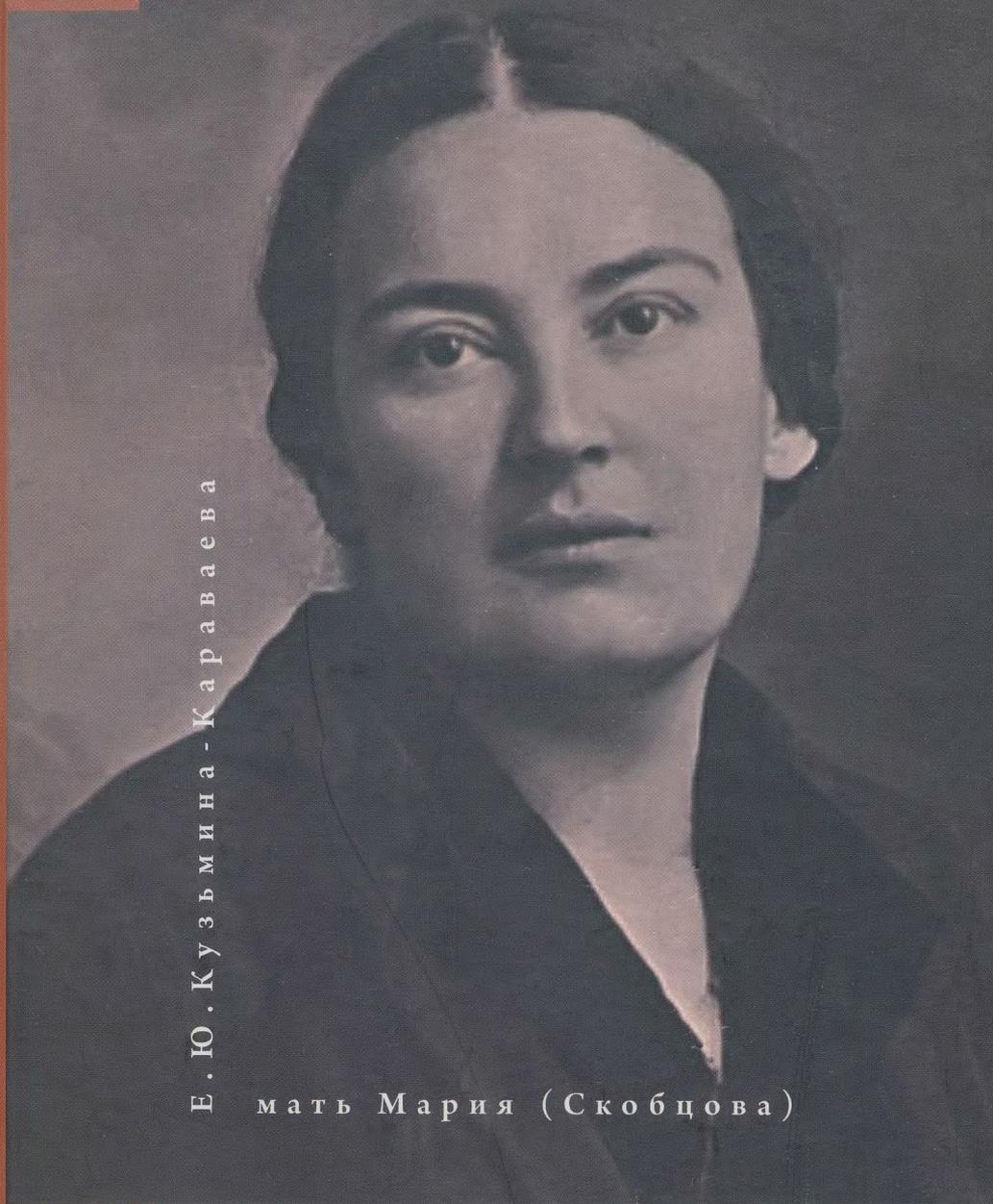


мать Мария (Скобцова)

ВСТРЕЧИ С БЛОКОМ

Е.Ю. Кузьмина-Караваева



Е.Ю. Кузьмина-Караваева

мать Мария (Скобцова)

ВСТРЕЧИ С БЛОКОМ

ВОСПОМИНАНИЯ ПРОЗА ПИСЬМА И ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ

**МАТЬ МАРИЯ (СКОБЦОВА)
Е.Ю. КУЗЬМИНА-КАРАВАЕВА**

М а т ь М а р и я (С к о б ц о в а)

ВСТРЕЧИ С БЛОКОМ

ВОСПОМИНАНИЯ ПРОЗА ПИСЬМА И ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ

Е. Ю. Кузьмина-Каравеева

УДК 821.161.1
ББК 84
М 85

ISBN 978-5-85887-421-8
ISBN 978-5-903081-23-3

*Издано при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018)»*

Редакционный совет:

Ю.В. Балакшина, Т.В. Викторова, Н.В. Ликвинцева, Е.Л. Майданович,
Н.А. Струве, А.И. Шмаина-Великанова

Составление: Т.В. Викторова, Н.А. Струве

Научная редакция, вступительная статья: Н.В. Ликвинцева

Научный консультант: А.И. Шмаина-Великанова

Примечания: Т.В. Викторова, Н.В. Ликвинцева

Оформление: Е.Л. Марголис

На обложке: Е.Ю. Скобцова. *Ок. 1920. Архив С.В. Медведевой*

На фронтисписе:

Авторизованная машинопись очерка «Встречи с Блоком». 1936. *Архив С.В. Медведевой*

Рукопись первой редакции очерка «Встречи с Блоком». 1936. *Бахметевский архив*

Колумбийского университета (Нью-Йорк)

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Предлагаемое издание открывает серию книг матери Марии, которые представят, по возможности, наиболее полно ее творческое наследие, превышающее по объему более чем в три раза двухтомник, изданный «УМСА-Press» в 1992 г.¹

Давно ставшее общеизвестным имя мать Мария, являющееся своеобразной «визитной карточкой» данного автора, покрывает собою целый ряд имен: в детстве и раннем юношестве — Лиза Пиленко; в период петербургских встреч с А. Блоком и первых стихотворных сборников — Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева (по фамилии первого мужа); в эмиграции — сначала Е.Ю. Скобцова (по фамилии второго мужа), после принятия пострига — монахиня Мария. После прославления в лике святых к этим именам добавилось еще одно — преподобномученица Мария Парижская.

В этот список имен следует внести и несколько псевдонимов. Большинство рассказов и очерков эмигрантского периода 1920-х гг. имеют подпись *Юрий Данилов* — псевдоним «семейного происхождения», как охарактеризовал его М.В. Вишняк, редактор «Современных записок»². Действительно, его основой, по всей видимости, послужили имя и отчество сына Елизаветы Юрьевны, Юрия Даниловича, и имя ее отца, Юрия Дмитриевича Пиленко. При этом не обошлось без недоразумений. Одновременно с *Юрием Даниловым* (Е.Ю. Скобцовой) в «Современных записках» и «Последних новостях» печатался Юрий Данилов, генерал от инфантерии, автор исследований по истории Первой мировой войны³. Обнаружив однофамильца, генерал счел

¹ *Мать Мария*. Воспоминания, статьи, очерки: В 2 т. Париж: УМСА-Press, 1992.

² *Вишняк М.В.* «Современные записки»: Воспоминания редактора. СПб.: Логос, 1993. С. 83.

³ Юрий Никифорович Данилов, автор монографий «Россия в мировой войне» (Берлин, 1924), «На пути к крушению» (Берлин, 1926) и др., а также многочисленных очерков, в том числе «Французская армия ближайшего будущего» (Последние новости. 1926. 13 дек. № 2091) и «10 лет на русском фронте» (Последние новости. 1926. 20 дек. № 2098).

нужным обратиться осенью 1925 г. в редакцию газеты «Дни»: «Вследствие обращаемых ко мне вопросов, прошу редакцию не отказать поместить в газете настоящее мое заявление о том, что я не являюсь автором беллетристических и публицистических произведений, подписанных псевдонимом “Юрий Данилов” и напечатанных в последнее время в некоторых русских журналах и газетах»⁴. Заявление действительно появилось на страницах «Дней», и с весны 1926 г. Елизавета Юрьевна меняет подпись на *Ю.Д., Д. Юрьев и Дан. Юрьев, Юрий Данилов (псевдоним)*.

Этот псевдоним и его производные послужили подписью в основном к произведениям автобиографического характера и публицистическим статьям, посвященным проблематике кубанского казачества, которые Е.Ю. Скобцова, вероятно, писала в сотрудничестве с Даниилом Скобцовым, ее вторым мужем, видным казачьим деятелем⁵.

Под именем *Е. Скобцова* Елизавета Юрьевна выступает преимущественно с 1927 г. как автор житий святых, очерков о русских мыслителях, работ философско-богословского характера и как секретарь Русского студенческого христианского движения (РСХД). Первая публикация ее стихов в журнале «Современные записки» в 1929 г. появляется за подписью *Кузьмина-Караваева*⁶, напоминая о поэте школы Серебряного века. Стихотворения, написанные после пострига (1932), опубликованы под именем *монахиня Мария*⁷, которым подписаны все ее дальнейшие произведения (варианты: *ММ, мать Мария*).

В предлагаемое издание входят воспоминания и художественная проза, созданные в эмиграции. В качестве дополнения к очерку «Встречи с Блоком» в разделе «Письма и записные книжки» приводятся письма Елизаветы Юрьевны к Александру Блоку. В Приложении 2 впервые публикуются материалы вокруг судебного процесса над Е.Ю. Кузьминой-Караваевой (1919), которые дополняют очерк «При первых большевиках (Как я была городским головой)».

Сборник завершает «Хроника жизни и творчества», охватывающая собой прежде всего тот период жизни матери Марии, которому посвящена книга.

Значительная часть материалов публикуется впервые: рассказы «Непобедимая» (по архивным материалам газеты «Дни», ГАРФ), «Ряженые» (рукопись, Бахметьевский архив Колумбийского университета (БАР)), «Вадим Павлович Золотов» (рукопись, БАР), повести «Канитель» (рукопись, БАР) и «Несколько правдивых жизнеописаний» (рукопись, БАР). Произведения, издававшиеся ранее, по возможности сверены с архивными первоисточниками и в целом ряде случаев значительно восполнены. Так, мемуарный очерк

⁴ Опул.: Дни. 1925. 14 окт. № 826. Автограф хранится в архиве редакции «Дни» (ГАРФ. Ф. 5878. Оп. 1. № 1113).

⁵ Бывший член Кубанского правительства, Д.Е. Скобцов опубликовал в эмиграции под своим именем воспоминания «Драма Кубани» (Голос минувшего на чужой стороне. 1926. № 1), «Кубанское правительство на походе» (Последние новости. 1926. 23 авг. № 1979), а впоследствии издал исследование «Три года революции и гражданской войны на Кубани» (Париж, 1968), рукопись которого хранится в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. № 626–628). Под псевдонимом *Д. Кондратьев* (по имени деда) он также печатал рассказы в казачьих альманахах.

⁶ Современные записки. 1929. № 39. С. 170–173.

⁷ Современные записки. 1936. № 62. С. 185–187; *Мать Мария*. Стихи. Берлин, 1937.

«Друг моего детства» впервые полностью воспроизводит публикацию в газете «Дни», а не сокращенную машинописную копию, легшую в основу последующих переизданий. Очерк «Встречи с Блоком» впервые воспроизводится по авторизованной машинописи, а не по ее краткому варианту, появившемуся в «Современных записках» и ставшему основой дальнейших публикаций. Воспоминания «При первых большевиках» впервые полностью даются по рукописи (БАР), без сокращений и изменений имен, характерных для всех их изданий. Письма к А.А. Блоку приводятся по рукописям Российского государственного архива литературы и искусства с устранением неточностей предыдущих расшифровок.

В Приложении 1 даются результаты сверки различных редакций и стадий работы над некоторыми из публикуемых текстов. Это приложение предваряется подробной статьей Ю.В. Балакшиной, освещающей этапы создания и историю произведений, характер авторской правки и работы с текстом. Публикация ранней редакции воспоминаний о Блоке («Блок»), композиционно отличающихся от уже известных читателю «Встреч с Блоком», а также рукописного наброска «То, что нужно помнить», предваряющего повесть «Несколько правдивых жизнеописаний», и первичной редакции начала повести «Канитель» позволит проникнуть в творческую лабораторию матери Марии и проследить характер ее работы над рукописями. Раздел «Примечания» содержит комментарии к публикуемым произведениям, наиболее значимые смысловые отрывки, не вошедшие в публикуемый вариант, но представляющие интерес для читателя, а также список сокращений, аббревиатур и условных обозначений.

Составители настоящего издания руководствовались прежде всего бережным и уважительным отношением к авторскому слову и стремлением передать все нюансы и обертона голоса матери Марии. Поэтому нами в основном сохранена авторская орфография и пунктуация, заменяемая только в случаях серьезного расхождения с современными нормами русского языка, мешающего пониманию текста. Явный разнобой в написании названий устранен в соответствии с современными правилами. В квадратных скобках дается текст, зачеркнутый автором в рукописи. В угловых – приводятся восполнения текста (расшифровка сокращений), пропущенные в источнике, но подразумеваемые по смыслу слова, а также слова, которые не удалось расшифровать в рукописи (<нрзб.>). Пояснения составителей, нужные по ходу чтения, помещены постранично под знаком звездочки (*).

Вторую книгу матери Марии, «Россия и эмиграция», составят жития, богословские и публицистические статьи второй половины 1920-х гг., посвященные РСХД, русской мессианской идее и проблемам духовной жизни эмиграции. В **третью** книгу, «Путь», войдут работы 1930-х гг.: размышления о монашестве и социальном служении, о Богоматери, о творчестве и аскетизме. В **четвертую**, «Православное Дело», — публицистика второй половины 1930-х и 1940-х гг., статьи о войне и поздние богословские работы о «настоящем и будущем Церкви». В заключительной, **пятой** книге предполагается максимально полно представить поэтическое наследие матери Марии, в том числе и ранее не издававшиеся стихотворения, поэмы и мистерии.

Каждая книга сопровождается приложениями, включающими переписку и личные записи матери Марии, относящиеся к периоду написания публикуе-

мых произведений, и, кроме того, некоторые архивные материалы, которые могут служить иллюстрациями или пояснениями к текстам.

* * *

Составители выражают глубокую признательность Е.Д. Клепининой-Аржаковской (Париж) и протоиерею Сергию Гаккелю († Льюис, Великобритания) за предоставленную возможность работать с архивными материалами, за ценные советы и замечания, высказанные в ходе подготовки издания.

Выражаем благодарность всем членам редакционного совета, потрудившимся над расшифровкой рукописей, и прежде всего — Ю.В. Балаксиной.

Также считаем своим долгом поблагодарить за оказанную помощь сотрудников РГАЛИ, ГАРФ, Отдела рукописей Российской государственной библиотеки (Москва), БАР (Нью-Йорк), работников отдела редкой книги и Архива Дома Плеханова Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург), Государственного архива г. Краснодара и особо — А.А. Федюхина, сотрудника газетного фонда ГАРФ; Т.Г. Чеботареву, архивиста БАР; Р.С. Калашеву, сотрудника отдела религиозной литературы Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы (Москва); З.Н. Лемякину, автора экспозиции матери Марии в Анапе; военных историков А.С. Кручинина и С.В. Волкова (Москва); исследователя-библиографа А.Н. Шустова († Санкт-Петербург), историка А.В. Пыжикова, литературоведа Н.М. Каухчишвили († Милан), А.С. Сытову (Санкт-Петербург). Мы выражаем сердечную признательность Е.Л. Майданович (Москва), Н.С. Мазаевой, Д.С. Николаевой, Н.Г. Ермолаевой (Нью-Йорк) за помощь в расшифровке рукописей.

Искренне благодарим Г.И. Лещенко (Меннеси, Франция) за предоставленные архивные фотографии, а также А.А. Корлякова и Б. Гесселя (Париж) за помощь в работе с фотодокументами.

Т. Викторова

ПАМЯТИ ОТЦА СЕРГИЯ ГАККЕЛЯ

Камень преткновения для многих при жизни, мать Мария, быть может, в большей степени стала таковым после смерти, с уходом близких и тех, кто мог непосредственно свидетельствовать о ней. Ее мать, Софья Борисовна Пиленко, с горечью вспоминает о порой сознательном замалчивании или искажении ее наследия. Пытаясь сохранить созданное дочерью, Софья Борисовна передает ее иконы в приход церкви на улице Лекурб, связанный с Лурмельской церковью узами давней дружбы, расшифровывает и переписывает наспех записанные сочинения матери Марии. В итоге, не находя места для архива дочери в Париже, она передает его существенную часть своему другу Марку Вишняку в Бахметьевский фонд (США). Эту трудность вполне предвидела и сама мать Мария, когда писала в 1937 г. в записной книжке: «Меня мучает, что даже среди самых близких чувствуется стена в основном».

Отец Сергей Гаккель (1931–2005), сын русских эмигрантов, настоятель православного прихода Сурожской епархии в Льюисе (Великобритания), доктор философии, литературовед, историк церкви, профессор Сассекского университета, — один из первых, кто последовательно разбивал эту стену. Он сознавал, что наследие матери Марии необходимо собирать и передавать последующим поколениям, к которым она обращается в своих пророческих предвидениях о судьбах человека и Церкви. Побывав в 60-е гг. в Париже, отец Сергей познакомился с сотрудниками и близкими матери Марии. Он был свидетелем разрушения особняка на Лурмель («Вещи выбрасывались из окна, кое-какие рукописи и работы я поднимал прямо с улицы», — вспоминал он). Пытаясь сохранить и объединить оставшиеся части архива, глубоко войдя в тексты матери Марии, отец Сергей берется за труд описать ее жизнь и в процессе работы становится ее учеником. Подобно св. Афанасию Великому, написавшему житие Антония Египетского, или отцу Софронию, рассказавшему о преподобном Силуане, отец Сергей, исследуя шаг за шагом мысли, душевные и духовные переживания матери Марии, смог высветить для нас ее образ по

ее писаниям и по рассказам матери Елизаветы (Медведевой), продолжившей «Православное Дело» после войны, а также Тамары Федоровны Клепининой, вдовы отца Дмитрия Клепинина, и Федора Тимофеевича Пьянова, единственного, кто вернулся из лагеря после ареста лурмельской группы. Помимо этого, отец Сергей вступает в обширнейшую переписку с Борисом Владимировичем Плюхановым, одним из руководителей РСХД в Прибалтике, получает сведения из Америки от семьи Шидловских, от отца Александра Шмемана, из России от И.А. Кривошеина, А.А. Уримова и многих других.

Его книга о матери Марии на английском «Одна, драгоценная¹. Жизнь матери Марии Скобцовой, мученицы Равенсбрюка» («One, of great price. The life of Mother Maria Skobtsova, Martyr of Ravensbrück»), появившаяся в 1965 г. с предисловием С.Б. Пиленко и вскоре переведенная на немецкий («Нет больше той любви²» — «Die größere Liebe», 1967), была высоко оценена в парижской эмигрантской среде и в особенности «Обществом друзей матери Марии», объединившим широкий круг лиц, продолжателей ее дела. Им, «дерзнувшим “ходить по водам”»: основателям Православного Дела и сподвижникам их», посвящает отец Сергей второе, переработанное издание книги — «Драгоценная жемчужина» («Pearl of great price», 1981), вышедшее в 1980 г. на русском языке в парижском издательстве «УМСА-Press» под заглавием «Мать Мария» (второе русское издание, значительно дополненное автором, появилось 10 лет спустя). Переведенная в это время на многие языки, книга вызвала широкий резонанс в Европе: в частности, по немецкому изданию в 1968 г. западногерманская радио- и телекомпания WDR (Westdeutsche Rundfunk) под руководством Эберхарда Курау сняла документальный фильм «Моя келья — мир» («Meine Zelle heißt Welt»). Отец Сергей сопровождал операторов в поездке по Парижу, благодаря его посредничеству ранее собранные им свидетельства, включенные в книгу, зазвучали живыми голосами³. Так ожили голоса Д.Е. Скобцова, матери Елизаветы Медведевой, Ф.Т. Пьянова, С.М. Зерновой и кадры, заснятые в Лурмельской церкви, крупным планом выявляющие неизвестные ранее иконы матери Марии, фотодокументы, позволяющие заново связать отдельные факты ее творческой и жизненной биографии.

Книга, в русском варианте лаконично названная отцом Сергием «Мать Мария», серьезная, точная в изложении фактов и выборе слов, остается лучшим из написанного о ней введением и посвящением широкого читателя в духовный мир матери Марии. Общаясь с ее близкими, отец Сергей почувствовал особую близость матери Марии к Богу — то высшее, что открывалось через нее окружающим и продолжает открываться в ее произведениях. Парадоксальным

¹ Евангельский образ. Ср.: «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную (выделено нами. — Т.В.) жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее» (Мф 13: 45–46).

² Цитата из Евангелия (см.: Ин 15: 13).

³ Этот фильм, долгое время считавшийся утерянным, в момент интенсивной подготовки настоящего издания, сконцентрированного вокруг архивов отца Сергия Гакеля, воскрес из небытия в 2002 г.: отец Сергей вновь связался с немецкой телекомпанией и в ответ неожиданно получил копию картины. В России фильм был показан летом 2008 г. в Доме русского зарубежья в Москве и в Фонтанном Доме в Санкт-Петербурге, вызвав живой интерес.

образом, для матери Марии божественное откровение раскрывается посредством человека.

Именно такой образ, в котором отец Сергей различает особый тип святости, — богопознание и общение с Богом через людей — освещается в его книге. Это не исключает мистического вдохновения (как раз о «мистике человекообщения» мать Мария пишет как об очевидной и ежедневно практикуемой реальности). С точки зрения отца Сергея, мать Мария показывает, что жизнь монашествующего и каждого христианина основана не всегда и не только на молитве. Этому находят основания уже в первохристианские времена, к которым она особенно чутка, переживая христианский опыт как огонь: «если мир горит, можно ли остаться в стороне, не сгорать вместе с ним?»

Отец Сергей почувствовал необходимость прославления матери Марии, которое фактически уже совершалось как «доброе свидетельство от внешних» (1 Тим 3: 7) во многих православных приходах Западной Европы и признавалось в отдельных церковных кругах. Так, митрополит Антоний Сурожский, экзарх патриарха Московского, хорошо знавший жизнь на Лурмель и побудивший отца Сергея заняться наследием матери Марии, в предисловии к английскому изданию книги прямо пишет: «Мать Мария — святая нашего времени и для нашего времени»⁴. Приходской совет церкви в Льюисе, где настоятелем был отец Сергей, еще в 1990-х гг. выразил желание переименовать храм в честь матери Марии в случае ее прославления.

Последующие события подтвердили это признание, ставшее официальным. Ему предшествует кропотливая, длительная, при деятельной помощи Елены Дмитриевны Клепининой-Аржаковской в Париже, движенцев и московских прихожан⁵, работа отца Сергея по подготовке материалов к канонизации матери Марии и ее сподвижников: отца Дмитрия Клепинина, Ильи Фондаминского и ее сына Юрия Скобцова.

Памятно, как радовался отец Сергей, когда во время одной из бесед с патриархом Константинопольским Варфоломеем, вновь коснувшись темы канонизации, патриарх, знакомый с жизнью матери Марии по книге отца Сергея, вышедшей незадолго на греческом, весело поддержал: «Why not?» — не особенно обязывающая, но и открывающая возможность прославления фраза.

Решение Священного синода Константинопольского Вселенского патриархата о канонизации пяти новомучеников было объявлено в Париже 11 февраля 2004 г. Отец Сергей, прибывший в июне в Париж на торжественное богослужение с владыкой Василием (Осборном), сослужил в облачении, вышитом матерью Марией и бережно им хранимом, которое он надевал лишь по большим праздникам. Этот праздник, несомненно, стал исполнением его предель-

⁴ *Hackel S. One, of great price: The life of Mother Maria Skobtsova, Martyr of Ravensbrück. London: Darton, Longman and Todd Ltd, 1965. P. VIII.*

⁵ Так, отвечая на анкету «Вестника Русского христианского движения» в связи с тысячелетием крещения Руси, Анна Шмаина-Великанова на вопрос: «Какого еще не явленного святого следовало бы Церкви предложить всенародному почитанию?» — говорит о необходимости прославления матери Марии (см.: Вестник Русского христианского движения. 1988. № 152. С. 105).

ных чаяний. Год спустя, 9 февраля 2005, в день рождения отца Дмитрия Клеппина, неразрывно связанного для него с матерью Марией подвигом жизни и преодоления смерти, отец Сергей скончался от инфаркта. Основной труд его жизни был доведен до конца.

Так автору книги «Мать Мария» довелось произнести и слово о «Марии, преподобномученице Парижской»⁶. Открывая эту новую страницу биографии матери Марии — новую главу своей книги, отец Сергей пишет в связи с гибелью новопрославленной «за други своя»: «В таком предстоянии Богу — суть подлинной молитвы, в которой поминаются и все и вся», — и приводит строки из ее стихов:

О, Господи, я не отдам врагу
Не только человека, даже камня.
О имени Твоем я все могу,
О имени Твоем и смерть легка мне⁷.

В этой концовке — цитатой из стихотворения новомученицы, свидетельствующей, как и ее деяния, о ее святости, — вся сущность книги отца Сергея, его отношения к наследию матери Марии: ее слово, каким бы оно ни было колким и неудобным — камнем преткновения, — должно прозвучать в полноте. Способствовав его резонансу в Европе, блестяще переведя многие труды матери Марии на английский и немецкий, отец Сергей сделал все, чтобы это слово достигло России и осуществилась сокровенная мечта матери Марии, выраженная в каждой ее строке, обращенной к русским, к гонимой Церкви. Даже в концлагере она старалась разыскать советских узниц. В силу многих причин в разные периоды наследие матери Марии доходило до России частично, искаженно, романтизировано, в том числе и в годы, когда открылась возможность для более полного постижения ее творческого и духовного облика благодаря недавним дополненным переизданиям⁸. Однако опасность одностороннего восприятия остается — мать Мария по-разному раскрывается людям, и многие, осознанно или нет, стремятся акцентировать внимание на отдельных чертах ее облика (будь то «поэтесса Серебряного века, влюбленная в Блока», «первая женщина — городской голова», «участница терактов», «монахиня в миру», «героиня Сопrotивления», «спасительница евреев»), заслоняющих в итоге целостный образ. За полноту его восстановления отец Сергей боролся долгие годы, посвящая матери Марии программы на русской службе телекомпании ВВС, публикуя ее тексты в возглавляемом им экуменическом журнале «Собор-

⁶ Слово, произнесенное на собрании в Свято-Сергиевском Православном богословском институте (Париж) в день памяти Новопрославленных русских святых. Опубл.: Вестник Русского христианского движения. 2005. № 189. С. 350–355.

⁷ *Мать Мария. Стихи.* Париж, 1949. С. 41.

⁸ См.: Кузьмина-Караваева Е. (*Мать Мария*). Равнина русская: (Стихотворения и поэмы. Пьесы-мистерии. Художественная и автобиографическая проза. Письма) / сост. А.Н. Шустов. СПб.: Искусство – СПб., 2001.

ность», продолжая ее миссию: донести в Россию голос свободной Церкви, «наш новый дух — свободный, творческий, дерзновенный»⁹.

Эта борьба продолжалась вплоть до его кончины. Незабываемы его слова, сказанные во время нашего последнего телефонного разговора, когда он уже был в больнице: «Нужно показать подлинный лик матери Марии».

Эти слова относились к готовящейся выставке художественных работ матери Марии в Санкт-Петербурге и полному изданию ее произведений в Москве, в подготовке которого отец Сергей принимал самое деятельное участие, предоставив свои архивы и написав вступительное слово. Он был убежден, что это восстановление «подлинного лика» возможно лишь при условии, если мы предоставим голос самой матери Марии, ее творениям, а читателю — позволим вступить в углубленный диалог с ней.

С глубокой благодарностью составители посвящают этот труд памяти отца Сергия.

⁹ Мочульский К.В. Монахиня Мария (Скобцова). Воспоминания // Третий час (Нью-Йорк). 1946. № 1. С. 65.

СЛОВО О МАТЕРИ МАРИИ

Архивная публикация сочинений — суровое испытание для писателя. На свет появляются забытые произведения, которые могут смутить и прежде преданного читателя.

Публикация сочинений матери Марии (Скобцовой), напротив, может лишь подтвердить цельность, жизнеспособность и достоинство их автора.

Предполагаемую серию книг планируется выстроить по хронологическому принципу, последовательно отражающему разные этапы жизни и творчества автора: действительно, для матери Марии они неразрывны. Поэтому первая книга включает некоторые автобиографические произведения зрелых лет, связанные с ее молодостью. Даже художественная проза (например, «Равнина русская») основана на реальном жизненном опыте. Но и в поздних сочинениях, посвященных социальным, историческим и богословским вопросам, которые войдут в последующие книги, мать Мария редко затрагивает проблемы, которые не касаются самых глубинных ее интересов. С этим связана та насущная безотлагательность, с которой она пишет и настаивает: проблемы должны быть решены прямо сейчас и неважно, какой ценой — безопасности, комфорта или престижа.

Менее всего она почувствовала себя отягощенной этими «буржуазными» ценностями, когда в 1932 г. стала монахиней. Она не сомневалась, что социальные и духовные проблемы требуют принятия большой степени риска. Следовательно, необходимо «ходить по водам. По бережку идти, конечно, верней, но можно до назначения не дойти»¹.

Ее пророческие высказывания — по манере выражения и по существу — были вызовом для ее окружения, смущали его. В определенных кругах ее просто презирали. Когда ее друг Николай Бердяев писал, что «пророк одинок», он, вероятно, думал и о ней. Как бы то ни было, именно одиночество убеждало

¹ Манухина Т. Монахиня Мария: К 10-летию со дня кончины // Новый журнал. 1955. № 41. С. 144–145.

мать Марию в правильности ее дела: «Во что бы то ни стало, как подвиг, в полном одиночестве и подавляющем непонимании, вести свою линию, — и не потому, что я этого хочу, но потому, что я на это поставлена», — записывает она 18 октября 1934 г. в дневнике.

Действительно, это было больше, чем принятое обязательство. Нередко она пользовалась словом «призвание». Так, «мы призваны к свободе». В ней «мы должны выполнить наше дело как члены Церкви». Это приведет нас к «четкому отличию Православия от всех его украшений и одежд»², иначе христианская вера подвергается искажению и подавлению. Ничто не должно стать угрозой той беспрецедентной свободе, которая была дарована Русской православной церкви в эмиграции.

Именно здесь она создала и оберегала условия для бескомпромиссного свидетельства истины. «Наша Церковь никогда так не была свободна, — говорила мать Мария в 1932 г. о западноевропейской диаспоре митрополита Евлогия, — такая свобода, что голова кружится. Наша миссия [в эмиграции] — показать, что свободная Церковь может творить чудеса. И если мы принесем в Россию наш новый дух — свободный, творческий, дерзновенный, — наша миссия будет исполнена. Иначе мы погибнем бесславно»³.

Для того чтобы быть осуществленной, такая свобода требовала, чтобы ее отстаивали. «Мы обязаны, — писала мать Мария, — во-первых, быть стойкими и мужественными в защите нашей христианской свободы как от нападков, совершаемых по злой воле, так и от нападков, совершаемых по неведению. Во-вторых, мы обязаны быть достойными нашей свободы, то есть вместить в нее максимальное творческое напряжение, раскалить ее самым настоящим духовным горением и претворить в дело, в неустанное делание любви»⁴.

Неудивительно, что для этой цели она основала «соборный организм»⁵, назвав его просто и выразительно: «Православное Дело» (1935). Неудивительно и то, что «неустанное делание любви», которому она столько лет была предана, продолжалось до самого конца.

Ее писания и ее жизнь ясно показывают, что делания самого по себе недостаточно. Конечно, все нужды бездомных должны быть удовлетворены. Но каждый бездомный во всех его нуждах — это, прежде всего, личность, которая ничуть не меньше, чем «образ и подобие Божие». Она настаивала: «Мы не можем дать куска хлеба, если мы не почувствуем в пресвителе человека»⁶. Это

² *Мать Мария*. Положение эмиграции (рукопись, основной архив матери Марии, на хранении у о. Сергия Гаккеля).

³ *Мочульский К.В.* Монахиня Мария (Скобцова). Воспоминания // Третий час (Нью-Йорк). 1946. № 1. С. 65.

⁴ *Монахиня Мария*. На страже свободы // Православное Дело: Сборник. Париж, 1939. С. 94–95.

⁵ «Нам нужно выращивать соборный организм, а не устраивать механическую организацию. К этому обязывает нас наша идея соборности» (см.: *Мать Мария*. Объединение «Православное Дело» II // Мать Мария (Скобцова). Воспоминания, статьи, очерки: В 2 т. Париж: YMCA-Press, 1992. Т. 1. С. 259).

⁶ Там же. С. 260

вовлеченное сострадание в полном смысле слова, страдание с другими и для других.

Таково было свидетельство, которое привело мать Марию в 1943 г. в концлагерь Равенсбрюк. Таково было ее свидетельство-мученичество во всем ее служении, вплоть до добровольно принятой смерти.

Перевод с английского Т. Викторовой

Н. Ликвинцева

ВОСПОМИНАНИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА МАТЕРИ МАРИИ.
НАЧАЛО ПУТИ

*Мне хотелось бы, чтобы линия от «Юрали» к «Руфи»
показалась Вам не только линией движения вперед,
но и расширения, — через уничтожение себя.*

Дарственная надпись неизвестному лицу
на книге Е.Ю. Кузьминой-Караваевой «Руфь»¹

В основу настоящего издания трудов матери Марии положен принцип постепенного раскрытия ее духовного облика по тем его проявлениям и отголоскам, которые можно наблюдать в ее творческом пути. В начале этого пути стоят художественная проза и мемуары — произведения, написанные большей частью в середине–конце 1920-х гг. как попытка осмыслить случившуюся со страной историческую катастрофу, всмотреться в нее сквозь призму человеческих судеб и понять. В конце этого пути будут стоять уже зрелые богословские и историософские статьи, ставшие новым словом в богословии и религиозной философии XX в. Особняком здесь стоит философская поэма в прозе «Юрали», написанная в 1915 г. и обозначенная автором как *повесть*, — она включена в эту книгу как отправная точка того движения мысли и жизни матери Марии, контуры которого мы попытаемся далее обрисовать. При этом следует сразу принять во внимание также поэтическое творчество матери Марии, начало которого предваряет собою прозаический корпус произведений: стихи она писала с ранней юности и — с небольшим перерывом — до конца своей жизни, поэтому они должны быть представлены отдельным изданием, не нарушающим целостности восприятия.

Все произведения, вошедшие в данную книгу, так или иначе оставляют нас в пределах биографических реалий судьбы автора: автобиографические детали находят свое отражение в прозе и напрямую воспроизводятся в воспоминаниях. Однако уже здесь заметен вектор творческого движения, все дальше уводящий от биографии: в последующих книгах нам потребуется уже меньше биографических комментариев. Именно эта линия, проходящая «через уничтожение себя», стала исходным моментом стирания биографии, ее постепенного претворения в житие. Той самой биографии, без которой никак не обойтись в нашем разговоре о начале пути.

¹ Автограф (Российская национальная библиотека. Шифр 37.65.6.56-а).

I

Биографические ландшафты. Блок как Другой

Когда речь заходит о начале, перед мысленным взором каждого встает в первую очередь детство. Но собственно детство как таковое никогда не было объектом рефлексии матери Марии. Если она изредка рисует в своих воспоминаниях картины детства, то лишь как вспомогательное средство. Во «Встречах с Блоком» припоминание смерти отца и своей подростковой потери веры в Бога позволяет обрисовать начало духовных поисков, те вопросы, с которыми девочка приходит в первый раз к Блоку; в «Друге моего детства» (1925) мы видим Лизу ребенком, со всеми штрихами и подробностями ее детского бытия, но и здесь детство — всего лишь пейзаж, на фоне которого выступает герой воспоминаний — обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев. Более странно, более неожиданного героя воспоминаний просто невозможно себе представить. Странность связана с его принципиальной инаковостью: разница в возрасте — старик дарит свою дружбу ребенку; еще более глубокая разница в мировоззрении, глубокая, потому что двойная: революционно-народнические идеалы юности развели Лизу Пиленко и Победоносцева с его охранительной идеологией по разным лагерям. Однако возвращение будущей матери Марии в православие не стерло эту границу, а скорее усугубило ее: слишком было понятно, что мертвое победоносцевское православие не имеет ничего общего с тем живым, огненным христианством, которое стало теперь сердцевинной ее жизни. Но инаковость мыслей, мировоззрений, даже пребывание в разных, кардинально противоположных лагерях не заслоняют, оказывается, живого человека. Живой голос доброго, иногда немного смешного старика, искренне любившего детей, искренне дарившего ей, девочке, свою дружбу, звучит со страниц «Друга моего детства».

Разделенность на разные лагеря, болезненность разрыва — вообще один из основных мотивов ее воспоминаний о Серебряном веке. Мать Мария обрисовывает те опасные трещины, по которым потом пройдет революция и делает их непроходимыми пропастями. Это — разрыв народа и интеллигенции, творческой культуры и Церкви. В более поздних статьях, осмысливая уже послереволюционную реальность в ее связи с истоками катастрофы, она будет строить на анализе этого болезненного опыта свою экклезиологию и теорию творчества в их неразрывной связи. Пока же она всматривается в прошлое и вспоминает. Именно в это время, то есть в самом начале эмигрантского бытия, когда взгляд естественным образом оборачивается назад, написан ее мемуарный очерк «Последние римляне» (1924), название которого говорит само за себя. Утонченная культура Серебряного века рисуется как обреченная на слом культура последних римлян, которая просто не может быть не сметена уже идущим ей на смену варварским натиском. Характерна тональность этого поминально-вспоминающего экскурса в прошлое: здесь сочетаются восхищение утонченностью этой культуры, ее подлинными достижениями и глубиной, любящий взгляд на ее творцов — прежде всего, на Вячеслава Иванова, «Башня» которого стала оплотом и символом этой культуры, — с признанием ее обреченности, неизбежности ее гибели. Более того, данный очерк написан не просто как нейтральное воспоминание о прошлом, но как полемика с Зинаидой Гиппиус

(псевдоним *Антон Крайний*)², отшатнувшейся от культуры новых варваров, похоронивших прошлое. Мать Мария в своем ответном очерке как бы встает на их, варваров и могильщиков, защиту, отводя им роль естественного проводника истории, Аттилы — бича Божьего. Ее изображение прошлого в таком контексте естественно становится судом над прошлым, с одним неизбежным нюансом: это суд над собственным прошлым, над самою собой как частью той культуры, которая стала умирающей в своей изоляции от живого. Она перечисляет признаки умирания, беспощадно анализирует его причины и в то же время не перестает восхищаться каждым живым человеком, попадающим в поле ее взгляда, будь то «умирающий римлянин» или грядущий жестокий варвар, — точно так же, как она восхищается К.П. Победоносцевым, его человеческой сущностью — не поверх мировоззренческого расхождения, но сквозь него, не закрывая глаз.

В этом стане умирающих есть одно исключение — человек, не убегающий от гибели, но добровольно идущий ей навстречу (другой модус жизни с открытыми глазами, прямого зрения). Это поэт Александр Блок. «Но о Блоке особо», — скупно бросает мать Мария в этом очерке. Последуем ее логике, здесь же обратимся к совету, который дал ей, тогда юной, начинающей поэтессе, Блок: «Если не поздно, то бегите от нас, умирающих...»³ Именно Блоку она сообщает о вызревшем в ней и наконец принятом решении:

«— Александр Александрович, я решила уезжать отсюда: к земле хочу. Тут умирать надо, а я еще бороться буду.

Он серьезно, заговорщицки отвечает:

— Да, да, пора. Потом уж не сможете. Надо спешить.

Так напутствовал меня в жизнь этот заложник в стане, где все становилось мертвенным шелестом»⁴.

Итак, следующим витком творческой биографии матери Марии становится фаза «к земле». Во «Встречах с Блоком» она поясняет: «Куда бежать? Не в народ. Народ было очень туманно. А к земле»⁵. Земля — одно из ключевых слов для понимания всего ее творчества, слов-знаков, связывающих собой различные периоды ее жизни и различные темы ее мысли, позволяющих увидеть переходы между ними и направленность движения. «Земля» соединяет ее народническую, эсеровскую юность с поздними богословскими статьями, посвященными Богородице. Это одна линия, обратимся к ее началу.

18 октября 1913 г. у Е.Ю. Кузьминой-Караваевой рождается дочь, которой она дает необычное имя: Гаяна. В письме к Блоку от 27 ноября она так поясняет значение имени: «Потом к земле как-то приблизилась; — и снова человека полюбила, и полюбила, полюбила по-настоящему, — а полюбила, потому что знала, что Вы есть. И теперь, месяц тому назад у меня дочь родилась, — я ее назвала Гайана⁶, — земная, и я радуюсь ей, потому что — никому неизвестно, — это Вам нужно»⁷. Кроме рождения дочери, на внешнем уровне биографическими составляющими

² См. примеч. к очерку «Последние римляне» (с. 553–554). (Здесь и далее, где не указаны выходные сведения, ссылки даются на настоящее издание.)

³ «Встречи с Блоком» (с. 76).

⁴ Там же (с. 84).

⁵ Там же.

⁶ Так мать Мария называла дочь, хотя во всех документах фигурирует написание: Гаяна.

⁷ См. письмо к А.А. Блоку от 27 ноября 1913 г. (с. 439).

ми такого приближения к земле стали: бегство из Петербурга, развод с мужем, Д.В. Кузьминым-Караваевым — юристом и активным участником петербургской литературной жизни (стряпчим «Цеха поэтов» и завсегдаем Ивановской «Башни»), возвращение в родовое имение под Анапой и уединенная жизнь там, переезд в Москву, сознательный отказ от жизни в столице и от ее литературной суеты. Что же касается человеческих взаимосвязей и взаимодействий, то этот период ее жизни, помимо постоянного и непрекращающегося собеседования с Александром Блоком, можно также определить как период частого общения с А.Н. Толстым. Они познакомились еще в 1910-е гг. в Петербурге; летом 1912 и весной 1914 г. Толстые гостили у нее в Анапе; именно А.Н. Толстой передал Блоку на рецензирование ее сборник стихов (подготовленный к публикации, но неизданный) «Дорога» (1914). Именно через Толстых завязывается московское общение с Вячеславом Ивановым; с Толстым она ведет разговор-спор о Блоке, подробно описанный во «Встречах с Блоком»⁸. Позднее, в 1935 г., с Толстым мать Мария отпустит в СССР свою дочь Гаяну, а через год получит известие о ее скоростижной кончине, обстоятельства которой до сих пор не до конца прояснены. В литературном творчестве А.Н. Толстого также заметны следы общения с Е.Ю. Кузьминой-Караваевой: в его рассказе «Четыре века» (1914) изображены некоторые обстоятельства из ее жизни и фигурирует имя Гаяны, в эпосе «Хождение по мукам» в образе Елизаветы Киевны карикатурно выведена Елизавета Юрьевна, точно так же, как в образе Бессонова не менее карикатурно изображен Блок.

Конечно, роль Толстого в жизни матери Марии загадочна, и остается только удивляться жизненному пересечению их, столь непохожих друг на друга, почти до противоположности, судеб. Однако если говорить о теме земли в раннем творчестве матери Марии, то она оказывается вполне созвучна тому любованию миром, всеми подробностями и частностями мироустройства, которое звучит в лучших толстовских произведениях (например, в «Детстве Никиты»). Заметим сразу, что такое любование станет одной из принципиальных черт художественной прозы матери Марии. Сама же тема детства как гармоничной созвучности земле, тема рая как начала, как отправной точки для внутреннего движения героя (неизбежно проходящего через утрату рая) отчетливо слышна в «Юрали» (1915): «Извечная родина, ласковая колыбель лелеет усталого от пути Юрала; тихая мать нежит ноги его: мать земля зеленая. И к восходу или к закату, в страну ночи или в страну солнца поведет его дорога, — везде он желанный сын мудрой земли, везде он любимый брат зверям и злакам земным»⁹. Сыновство земле и братство со зверями и злаками здесь оказывается истоком духовных поисков героя, знаком его детского рая. В неизданном стихотворном сборнике «Дорога» раздел «Земля», напротив, завершает сборник, обрисовывая не начало, а конец движения. Мотивы радости жизни, любования миром, родства со всем живым и с землею как основой всего живого («Сестра моя, сестра моя, любимая земля...»)¹⁰ переплетаются с мотивом беременности и бли-

⁸ «Встречи с Блоком» (с. 86).

⁹ См. с. 138.

¹⁰ «Торжественно и звонко, будто первый дождь весною...» (Кузьмина-Караваева Е. *Мать Мария*). Равнина русская: (Стихотворения и поэмы. Пьесы-мистерии. Художественная и автобиографическая проза. Письма) / сост. А.Н. Шустов. СПб.: Искусство – СПб., 2001. (Далее: К-К, ММ, 2001). С. 60).

зящихся родов, рождение ребенка встает в один ряд с произрастанием плодов, с созреванием колосьев на ниве. Интересно, что тема родства земле и принятия жизни идет бок о бок с темой прохождения через грех, взятия его на себя, что звучит и в ницшеанской линии «Юрали». Но, пожалуй, самое интересное в «Дороге» — это последнее стихотворение раздела «Земля» и, соответственно, всего сборника. Оно рисует не просто картину жатвы, но картину сжигания ненужного, причем именно из этого огня, из умирания в нем, из очистительного сгорания и добровольного причисления себя к плевелам, и ведется речь:

Настала жатва; пали дружно;
Мы смяты, стоптаны косцами.
И сердце стало безоружно;
Но братья, братья мы сердцами.
Мое ж зерно косцу не нужно.

Ну что ж? Как плевелы стгорая,
Увижу вновь родные дали,
Взметусь, как искр златая стая,
Дождусь, чтоб искры все упали,
Умру, судьбы своей не зная¹¹.

Следующий, более зрелый и в художественном отношении, и в плане духовного поиска поэтический сборник «Руфь» (1916) — вспомним вынесенную нами в эпиграф надпись об отличии «Руфи» от «Юрали» — раскрывает тему земли на новом витке, что отражено в изменении названия соответствующего раздела: это уже не «Земля», как в «Дороге», но «Преображенная земля». Мотив радостного братования со всем земным дан в ином ракурсе: он переплетен с мотивом тяжелого повседневного труда: «Мне хорошо земной томиться жаждой // И трудовой делить с земными хлеб»¹². Стих становится эмоционально проще и весомее, библейская тематика вводится не только образом Руфи, являющимся смысловым центром книги, но и евангельским наполнением образов жатвы, зерна, самой аскетической тональностью темы труда (переданной как на тематическом уровне, так и самим подбором художественных средств). От такой «преображенной земли» уже вполне прозрачной становится логика авторской мысли, само ее движение к богородичному богословию поздних статей, по-новому переосмысляющему тему земли¹³. Пока лишь отметим несколько тематических переключек, значимых уже для начала пути матери Марии и укорененных в ее жизненном опыте, не просто продуманных, но пережитых

¹¹ «Из житницы, с травой сорной...» (Там же. С. 63).

¹² «Взлетая в небо, к звездным млечным рекам...» (Там же. С. 99).

¹³ См., например, в «Почитании Богоматери»: «Учение православия о Богоматери таит в себе возможность совершенно своеобразного отношения ко всему творению, — к миру, к человечеству, — к земле. <...> литургические тексты и святоотеческая литература удивительно совпадают с бытовым органическим восприятием Богоматери. Именно в связи с тайной земли. Самым точным, наглядным и абсолютно близким православному сознанию выражением этой мысли можно считать слова Достоевского: “Богородица — Мать-сыра-земля”» (*Мать Мария (Скобцова)*). Воспоминания, статьи, очерки: В 2 т. Париж: YMCA-Press, 1992. Т. 1. С. 121–124).

ею: тему сострадания и со-муки, которая станет нервом ее богородичного богословия, и тему защитительного Покрова Богородицы, важную для ее поздней поэзии и связанную, на этом этапе, с возникающим в ее прозе мотивом покровности (о чем мы поговорим позднее). Все эти темы, как зерно, начинают прорастать уже в той земле, к которой бежала от умирающей культуры умирающего Петербурга будущая мать Мария.

Стоит сказать еще несколько слов о народническом этапе ее «земельного» эксперимента. Любовь к земле и жизнь на ней естественным образом приводят Елизавету Юрьевну к живущему и работающему на земле народу, любовь к народу и любовь к земле совокупно ведут ее в революционные годы в партию эсеров (потом — правых эсеров), основой политической программы которых являлись именно социализация земли и демократия. Об этом периоде своей жизни она вспоминает в дальнейшем очень скупо и скорее намеками. В повести «Равнина русская» (1924) к автобиографическому контексту явственно отсылает эпизод неудавшейся подготовки Катей Темносердовой покушения на влиятельного народного комиссара Гродского (в котором угадывается Лев Троцкий). Прямо об этом периоде своей жизни мать Мария говорит только в воспоминаниях «При первых большевиках (Как я была городским головой)», да и то как бы нехотя, просто потому, что без этой биографической реалии не объяснить всех перипетий сюжета с ее анапским головинством, с диктуемой партийной принадлежностью к правым эсерам необходимостью борьбы с большевиками и ее участием в этой борьбе. Отметим, что внимание в этом очерке, как и в «Друге моего детства», снова направлено на отдельных людей: оно, как луч фонарика, стремится высветить, где возможно, красоту человеческой сущности, не совпадающей ни с партийной принадлежностью, ни с мировоззренческими установками. Так, наиболее ярко в очерке описан большевик Протапов, идейное расхождение с которым от этого любующегося взгляда отнюдь не затушевывается, но становится отчетливее. Сожалением об утрате способности видеть людей, а не ходульные идеи, и заканчивается очерк «При первых большевиках»: «И, пожалуй, именно самое страшное в революции, — и особенно в Гражданской войне, — что за лесом лозунгов и этикеток мы все разучиваемся видеть деревья, — отдельных людей»¹⁴.

Чтобы лучше разобраться в этом причудливом пересечении силовых полей, каковыми были в революционный период для матери Марии понятия «земля», «народ» и «революция», вспомним еще одну характерную черту деления, прочувствованную ею на «Башне» Вяч. Иванова и побудившую ее бежать от умирающей культуры к живой жизни земли и народа. Вот как описывает она эту черту, весь мир разделившую на два лагеря, во «Встречах с Блоком»: «Постепенно происходит деление. Христос, еще не узанный, становится своим. Черта деления все углубляется. Петербург, Башня Вячеслава, культура даже, туман, город, реакция, — одно. А другое, — огромный, мудрый, молчаливый и целомудренный народ, умирающая революция, отчего-то Блок, и еще, — еще Христос»¹⁵. Фигура Блока здесь не просто неслучайна, она — маркер такого разделения, его знак. Только в нем и им могут быть объяснены верная расстановка

¹⁴ См. с. 135.

¹⁵ «Встречи с Блоком» (с. 79).

всех силовых полей и вектор жизни матери Марии, все отчетливее и отчетливее из них выступающий.

Александр Блок и отношения с ним встают почти за всеми ранними произведениями Е.Ю. Кузьминой-Караваевой: его черты угадываются в Юрали, героиня повести «Равнина русская» Катя Темносердова живет в комнате, напоминающей блоковскую, описания топки печи в этой повести и во «Встречах с Блоком» почти дословно совпадают; внешность главного героя «Канители» явно напоминает блоковские черты — перечень можно продолжить. Однако непосредственно темой и предметом анализа отношения с Блоком становятся не в прозе, фиксирующей лишь фрагменты реальности, а в мемуарном очерке «Встречи с Блоком», подзаголовок которого указывает на непосредственный повод: к пятидесятилетию со дня смерти. Воспоминания были прочитаны сначала на собрании общества «Круг», затем (в ноябре 1936 г.) опубликованы в «Современных записках». Время, в которое написан очерк, характеризует не только круглая годовщина со дня смерти поэта. Время это вбирает в себя и очередной виток биографии матери Марии, делая возможным для нее следующий шаг вперед по сравнению с художественной прозой и ранее написанной мемуаристикой. Словно перешагнув некий рубеж, она теперь может спокойно и свободно говорить о самом своем важном и сокровенном. Вехами этого рубежа стали: принятие монашества (1932), создание «Православного Дела» (1935), смерть Гаяны (лето 1936). В таком временном контексте интересен не только выбор времени для написания воспоминаний о Блоке, но сам характер взгляда на прошлое: это посткатастрофическое описание периода предчувствия и ожидания катастрофы. Причем блоковское отношение к близящейся катастрофе: способность предчувствовать будущий пожар, с открытыми глазами устремляться к нему навстречу, воспевать его и принять на себя его удар, — уже тогда ею угаданное, понятное и принятое, становится неизменным камертоном ее историософских оценок.

Если говорить об обращенности этих мемуаров, то Блок в них не столько герой, третье лицо, уже безразличное к сказанному, сколько адресат, некое Ты, постоянный и привычный собеседник. Он тот Другой — непохожий, любимый, необходимый, непонятный, заставляющий думать, чувствовать, жить, — который больше чем просто свидетель ее пути. Сама тема Другого становится нервом ее религиозно-философской и богословской мысли, характерным для XX в.: вспомним хотя бы Вяч. Иванова с его темой «ты еси», М. Бубера (Я и Ты), М. Бахтина, Э. Левинаса.

Начинаются «Встречи с Блоком» с описания того, как девочка-подросток теряет веру в Бога в результате ранней смерти любимого отца, с описания тоски и рыжего петербургского тумана, с поисков смысла посреди бессмыслицы. Намеком на возможность обретения смысла становятся стихи Блока, услышанные на литературном вечере. Это вторжение иного, непохожего ни на что остальное, в привычный круг тоскливо-бессмысленного существования подводит к тайне: «Я уже знаю, что он владеет тайной, около которой я брожу, с которой почти уже сталкивалась столько раз во время своих скитаний по островам. Душа становится серьезной и напряженной»¹⁶. Причем эта тайна,

¹⁶ «Встречи с Блоком» (с. 75).

хотя еще и непонятая, сразу оказывается разделенной. О стихах Блока: «Я не понимаю, не понимаю, но он знает мою тайну»¹⁷. За ее разгадкой (пониманием) и приходит Лиза Пиленко к Блоку: «Знаю, что он мог бы мне сказать какое-то почти заклинание, чтобы справиться с моей тоской»¹⁸. Таким заклинанием оказывается возникающий перенос взгляда с себя на другого, на «большую тоску» «большого человека», на его судьбу.

Блоковская тема судьбы и связанная с ней тема обреченности весьма характерны для ранней лирики Е.Ю. Кузьминой-Караваевой. Особенно отчетливо она встает в повести «Юрали»: ее герой ведет диалог со своей собственной судьбой, обреченность которой он и принимает как свободу. В той же семантике обреченности вспоминает о Блоке и К.И. Чуковский: «Он был обреченный и знал это, и оттого все его последние годы были проникнуты предсмертной печалью»¹⁹. Обреченность Блока начинает восприниматься, на следующем витке описываемых в воспоминаниях матери Марии взаимоотношений, как общность судьбы — судьбы Другого, обреченного, высшего (взгляд снизу вверх), далекого и в то же время бесконечно близкого человека. Близкого прежде всего потаенной общностью судьбы: «Среди мертвого и призрачного Петербургского мира, — среди мертвых служб и балов, в гуще мертвых разговоров обо всем и ни о чем, — мы встречались в тени какого-то заговора. Мне минутами казалось, что он единственный живой, и я, — о, я тоже живая. И намеками, понимающими полуулыбками, — мы давали друг другу весть, — это все так себе, это все немного нарочно, — а есть и настоящее и мы о нем крепко знаем»²⁰. Такая приобщенность к жизни, полноценная жизнь, а не существование в стане «умирающих» связываются с готовностью к гибели. Живым оказывается именно Блок, ставший «конденсатором всего нашего чувства гибели», устремленный навстречу будущей катастрофе, уже переживающий ее. А неживые, умирающие — это те, кто пытается от нее уклониться или не принимает ее всерьез. Сопряженная с гибелью живая жизнь описывается матерью Марией в воспоминаниях, как и в поэзии, в семантике огненных образов: блоковский пожар, сгорание противоположны неживому холоду, льду, ночи, то есть отказу от горения. Сам этот водораздел, деление мира на два лагеря, о котором мы уже говорили, осмысливается как одна из разновидностей тех трещин-разрывов, по которым пройдут революционные разломы. В лагере живых, как мы помним, вместе с Блоком оказываются народ, революция (не победоносная, а умирающая на тот момент) и — Христос.

Это не случайность, Христос все больше и больше занимает горизонт мысли и жизни будущей монахини Марии. Здесь интересно другое: мысль о Блоке, о Христе и России оказывается неким органическим единством, они словно спаяны в один узел, так что одно трудно помыслить без другого. Причем такая спаянность характерна не только для видения матери Марии, она встречается и у самого Блока (вспомним его стихи о России, стихотворения «Вот Он —

¹⁷ «Встречи с Блоком» (с. 75).

¹⁸ Там же.

¹⁹ Чуковский К.И. Последние годы Блока // Записки мечтателей. Пб.: Алконост, 1922. № 6. С. 155. Одно из стихотворений блоковского цикла «Снежная маска» (1907) называется «Обреченный» («Тайно сердце просит гибели...»).

²⁰ «Встречи с Блоком» (с. 81).

Христос — в цепях и розах...» (1905), «Ты отошла, и я в пустыне» (1907)), и в воспоминаниях о нем других авторов (В. Зоренгфрея²¹, К. Чуковского²², А. Ремизова²³), о ней напоминает роман Б. Пастернака «Доктор Живаго»²⁴. Мать Мария описывает эту слитность в образах материнства-сыновства: «У моей России, у моего народа родился такой ребенок. Самый на нее похожий сын, такой же мучительный, как она, такой же голосистый, такой же любимый. Ну, мать безумна, — мы все ее безумьем больны. Но сына этого она нам на руки кинула, и мы должны его спасти, — мы за него отвечаем»²⁵. В рукописном варианте текста (публикуемом в Приложении 1) здесь еще вставлена фраза в скобках: «а Россия и народ, — это одно и то же»²⁶. Мать и сын сливаются в единой молитве за них обоих: «Снег падал тихими мягкими хлопьями. И вместе с этим снегом, вместе с черным и мутным небом, я впервые молилась о моей стране, которая казалась мне живой, безумной, оставленной и голосащей в бескрайних полях. Я молилась о Блоке, — уже заблудившемся, уже потерявшем след»²⁷. В рукописи последнее предложение имеет продолжение: «...я молилась, чтоб Христос дал мне свою силу, чтобы помочь им»²⁸. Образ России как голосащей безумной старухи красной нитью проходит через повесть «Равнина русская». Сама ассоциация, возможно, навеяна блоковским образом России — жены из цикла «На поле Куликовом» (1908): «О, Русь моя! Жена моя! До боли // Нам ясен долгий путь!»²⁹

Сравнение Блока с Христом связано с искупительностью его страданий, добровольных и причастных к надвигающимся страданиям всей России. В четвертой части воспоминаний о Блоке, описывающей период их наибольшего сближения, серию встреч, запечатленных как один большой предельно откровенный разговор, мать Мария так передает собственные слова, обращенные к

²¹ «Такие глаза, такие лики, страстно-бесстрастные — на древних иконах...» И далее: «...о том, кто был в эти последние годы сердцем России, ее красотой и оправданием» (Зоренгфрей В.А. Александр Александрович Блок (по памяти за 15 лет, 1906–1921 гг.) // Записки мечтателей. Пб.: Алконост, 1922. № 6. С. 126, 137).

²² «Порою, когда он говорил о России, мне казалось, что и Россию он чувствует всем телом, как боль» (Чуковский К.И. Указ. соч. С. 163).

²³ А. Ремизов в статье-некрологе «К звездам. Памяти А.А. Блока» (1921) вводит мотив Креста («...станут на страже, не покинут вашего Креста»), после чего завершает статью на «звездной» ноте преодоления смерти: «А звезда его — трепет сердца слова его, как оно билось... — звезда его незакатна. И в ночи над простором русской земли, над степью и лесом, я вижу, горит...» (см.: Ремизов А. Взвехренная Русь // Ремизов А. Собрание сочинений: В 10 т. М.: Русская книга, 2000. Т. 5. С. 385, 391).

²⁴ «Вдруг Юра подумал, что Блок это явление Рождества во всех областях русской жизни, в северном городском быту и в новейшей литературе, под звездным небом современной улицы и вокруг зажженной елки в гостинной нынешнего века. Он подумал, что никакой статьи о Блоке не надо, а просто надо написать русское поклонение волхвов, как у голландцев, с морозом, волками и темным еловым лесом» (Пастернак Б. Доктор Живаго. М.: СП «Интердом»; Центурион-АПС, 1991. С. 83).

²⁵ «Встречи с Блоком» (с. 86).

²⁶ См. очерк «Блок» (с. 482).

²⁷ «Встречи с Блоком» (с. 87).

²⁸ «Блок» (с. 483).

²⁹ «Река раскинулась. Течет, грустит, лениво...» (Блок А. Собрание сочинений: В 8 т. М.; Л.: ГИХЛ, 1960. (Далее: СС). Т. 3. С. 249).

поэту: «Кто вы, Александр Александрович? Если вы позовете, за вами пойдут многие. Но было бы страшной ошибкой думать, что вы вождь. Ничего, ничего у вас нет такого, что бывает у вождя. Почему же пойдут? Вот и я пойду, куда угодно, до самого конца. Потому что сейчас в вас как-то мы все, и вы символ всей нашей жизни, даже всей России символ. И все ваше нелепое и соблазнительное, — и не соблазнительно совсем, потому что и не ваше... Вот перед гибелью, перед смертью, Россия сосредоточила на вас все свои самые страшные лучи, — и вы за нее, во имя ее, как бы образом ее стораете»³⁰. Только такое сторание, добровольная гибель, вольно принятое страдание позволяют Блоку стать мостом, тем, кто если не исцеляет уже упомянутые разрывы, то соединяет их непримиримые крайности, кто своей мукой искупает страшный мир умирающей России и умирающей культуры и дает им возможность будущего воскресения: «Есть там только один заложник. Человек, — символ страшного мира, точка приложения всей муки его, единственная правда о нем, — а может быть и единственное, мукой купленное, оправдание его, — Александр Блок»³¹.

Однако направленность авторского взгляда на Блока на протяжении повествования меняется. Если вначале это взгляд снизу вверх, как молчаливое почитание мудреца, владеющего ключами тайны, как мольба и просьба о спасительной вести, то в конце все несколько иначе. Это ни в коей мере не взгляд сверху вниз (что вообще не характерно для матери Марии), но это уже не мольба о вести, а обладание вестью и желание донести ее до другого. Не Блок умалился, нет, он по-прежнему стоит во весь рост, но появилась перспектива, дающая подняться взгляду еще выше. Вот как описывает мать Мария свое душевное состояние перед последней серией встреч: «Передо мной проходят все мысли последнего времени, проверяю решения. Россия, ее Блок, последние сроки, — и надо всем Христос, единый, искупающий все»³². Новой перспективой, новой вестью становится Христос, чей образ тоже меняется на протяжении очерка: от Страдальца, еще не совпадающего с Богом³³, к искупительным страданиям которого причастен и Блок, — до Сына Божьего, которому можно молиться о том же Блоке. Именно эту весть она и пытается донести до поэта:

Не жду ничего я сегодня:
Я только проверить иду,
Как вестница слова Господня,
Свершаемых дней череду.

Я знаю, — живущий к закату
Не слышит печальную весть,
И рано мне тихому брату
Призывное слово прочесть³⁴.

³⁰ «Встречи с Блоком» (с. 91).

³¹ Там же (с. 84).

³² Там же (с. 89).

³³ «Я даже не думаю, был ли Он Богом или нет. И, может быть, не хочу, чтобы Он был Богом, потому что Бог попустил смерть и несправедливость, а Христос, — это даже как будто самая страшная жертва Бога. Он страдает, а Тот заставляет страдать. Нет, Христос, — это наше...» (Там же, с. 79).

³⁴ «Смотрю на высокие стекла...» (К-К, ММ, 2001. С. 85).

Первая строфа этого стихотворения из сборника «Руфь» дословно воспроизводится матерью Марией в воспоминаниях о Блоке — в ритмизованном отрывке, описывающем исполнение просьбы поэта: проходить каждый день под его окнами, чтобы он знал, что кто-то его караулит, ограждает³⁵. Весть ее осталась непринятой, непереданной, именно она стала самым большим препятствием на пути сближения и глубокого общения с поэтом, препятствием, придающим их отношениям характер трагизма. Это хорошо почувствовал Д.Е. Максимов в своей вступительной статье к публикации «Встреч с Блоком»³⁶.

Интересно проследить за характером сокращений в рукописи в ходе ее трансформации в машинопись, отосланную в редакцию «Современных записок». Автор, как легко предположить, готовя воспоминания к публикации, убирает самое интимное, глубоко личное. Вот только касается это мест, связанных отнюдь не с Блоком, а со Христом. Убираются описания трудного, мучительного и в то же время благодатного, просветляющего пути обретения веры в период одинокой жизни в анапском имении, предшествовавший последней серии встреч с Блоком и совпавший с началом войны, период ожидания и внутренней работы:

«Осенью совершается самое огромное событие в моей жизни. Я остаюсь одна. Оттого, что в мире так много событий, особенно чувствую, какими тысячами верст я отрезана от мира. На душе и тихо, и вместе с тем все полно не только предчувствий, — все напряжено. Надо действовать в каком-то самом главном направлении.

Знаю, наконец. Я должна добиться Христа. Верю ли я в Него? Не знаю. Но я буду верить, я заставлю себя верить, я научу себя молиться.

Вот Он, совсем близко, но Он не хочет показаться мне, Он спрятан где-то рядом. Я силой, упорством добьюсь Его. <...>

³⁵ «По вечерам, когда голова устает от чтения и перед глазами огненные круги, часов в десять, почти каждый день выхожу из дому, сажусь на трамвай, — до конца Садовой, до Покровской церкви. Там пешком. Улицы все изучены. Я прекрасно знаю, с какой стороны лучше всего подойти. Иду к Пряжке Глухой улицей, параллельной Английскому проспекту. Вот еще дом, который закрывает Офицерскую. Перехожу на другую сторону, чтобы площадь наблюдения была шире, потом замедляю шаги.

Вот. Смотрю на высокие стекла. Иногда в них тьма, иногда тусклый зеленый свет. Медленно, медленно прохожу по набережной, все время смотрю вверх. Потом дальше по Пряжке, ускоряю шаги, дохожу до Мойки, мимо Новой Голландии, опять на трамвай, можно домой, — дело сделано» («Встречи с Блоком», с. 93).

³⁶ «Какие же препятствия мешали развитию этой дружбы? Мемуаристка прямо не говорит об этом.

По-видимому, большое значение имел здесь чисто личный момент: Блок не мог ответить на чувство Елизаветы Юрьевны. Но, думается, серьезным, а может быть, и главным препятствием к сближению с Елизаветой Юрьевной явились различия в характере их духовных устремлений. Можно быть уверенным, что страстная, все нарастающая приверженность Е.Ю. Кузьминой-Караваевой к христианской идее, к которой будущая монахиня Мария, пропагандистка по натуре, несомненно пыталась приобщить и Блока, не встретила со стороны поэта сочувственного отношения» (Воспоминания о Блоке Е.Ю. Кузьминой-Караваевой: [Вступ. ст. к публикации очерка Е.Ю. Кузьминой-Караваевой «Встречи с Блоком»] // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Тр. по русской и славянской филологии. Сб. IX. Литературоведение. Тарту, 1968. Вып. 209. С. 262).

И в Четьих Минеях, и в свинцовой трубке, в упорных, жадных и бесплодных молитвах на холодном полу, — мое важное дело. Это отчего-то нужно для войны, для России, для народа. Для народа нужен только Христос, — это я знаю. Пусть никогда мне лично Он не даст радости встречи, — это уже становится неважным, я чувствую Его совсем рядом, и на полях сражений Он, и в снежной русской могиле, на всех путях моего народа любимого»³⁷.

Отношения с Христом в это время похожи на отношения с Блоком: работа, напряжение, усилие — как при ворочании тяжелых камней. Вот как передает мать Мария один из разговоров с поэтом в последний период их общения: «У меня мучительное чувство огромной ответственности и вдохновения. Я всю себя в каждое слово вкладываю, как будто камни ворочаю. И так просто все между тем. Вот уж воистину, от человека к человеку, без преград самолюбия, без преград какого бы то ни было духовного кокетства. Из глубины к глубине»³⁸. Ворочание камней связано не только с трудностью обретения веры и подлинного общения с большим поэтом. Происходит огромная внутренняя работа, о которой свидетельствует еще один критерий авторской правки рукописи: мать Мария максимально сокращает разговор о самой себе, подробности собственной жизни (большую финскую шапку с ушами, перечень курсов, изучаемых для сдачи экзаменов в Духовной академии). Это уже не существенно, важен Другой, возможность увидеть и показать его во всей подлинности, самую душу и милые подробности его жизни, речи, внешности. Суть такого самоумаления, ставшего знаком всей ее жизни, мать Мария определила еще в 1916 г. как «расширение, — через уничтожение себя». Итог такого расширения в анализируемом тексте заметен особенно наглядно. Диада общения, в которой на одном конце стоит Я, а на другом — Блок, Христос, Россия, превращается в триаду: Я как интенция общения, Христос как живая связь и истинная любовь, а третьей стороной становится Блок, Россия, ближний, любой человек. Причем с последовательным умалением первой части триады все больше возрастает вторая и все яснее, отчетливее становится видна третья.

Тема жертвенной любви, готовности отдать душу свою за другого задана сразу в тексте воспоминаний. Эта тема изначальна во всем творчестве матери Марии, она центральна уже в «Юрали». Тема недолжных отношений как любви, соскальзывающей в страсть, звучащая (предостережением себе) в переписке с Блоком³⁹, в очерке раскрывается в одном из разговоров с ним словами поэта: «И легко заменить должный строй души, подменить его, легко дать дорогу страстям. Страсть — это казнь, в ней погибает все подлинное. Страсть и измена — близнецы, — их нельзя разорвать»⁴⁰. В повести «Канитель», описывающей любовный треугольник, драма которого скорее не в его треугольности, а в душевной сложности двух углов — Ольгуши и Николая Колоколова (во внешности первой есть авторские черты, в облике второго — Блока), подобная не дотягивающая до полноты любовь сравнивается с канителью: канитель канитель. Но не такое отношение в фокусе внимания авто-

³⁷ См. очерк «Блок» (с. 484).

³⁸ «Встречи с Блоком» (с. 90).

³⁹ См., например, письмо к А.А. Блоку от 21 декабря 1914 г. (с. 444).

⁴⁰ «Встречи с Блоком» (с. 90).

ра очерка. Мать Мария всецело сосредоточена на любви подлинной, на живой связи самоотдачи, явленной примером Богородицы. У «самого страшного, самого ответственного» разговора с Блоком, который мы уже цитировали, есть продолжение, не вошедшее в текст «Современных записок»: «В мире есть две муки, — мука Голгофская и мука меча обоюдоострого, пронзившего Сердце Той, которая муку Голгофскую пережила, как со-муку. На это все муки распадаются. Вот Россия сейчас распинается или будет скоро распинаться. И вы, как образ ее, тоже распинаетесь. Дорогой Александр Александрович, ничем, ничем помочь вам нельзя. Но есть и у нас путь. Вот, ваш крест обоюдоострым мечом входит в нашу душу... Нет, не вождь вы, а ведомый, влекомый. И мы влечемся за вами, потому что связаны такой невероятной любовью к вам и к вашей муке»⁴¹. Богословское развитие этой центральной для матери Марии мысли о со-муке обоюдоострого меча мы найдем в ее поздних богородичных статьях и в итоговой, написанной незадолго до ареста, поэме «Духов день» (1942). Примечательно, что в поэме также возникает разговор, сопоставимый с приведенным выше, только там лирический герой не говорящий, а слушающий. В говорящем же явственно угадывается Блок:

Когда томил иного мира вестник,
Он не сулил ни счастья, ни наград.
Он не учил ни ремеслу, ни песням,
Он говорил мне: Лишь закрой глаза,
Прислушиваясь к океанской бездне. <...>
Лишь подожди. Наверное дадут
Тебе крестом отмеченные латы,
И в мир иной ворота отопрут:
Иди, слепая, и не требуй платы.
Тебя не проводит ни брат, ни друг.
И я тебе лишь знак, а не вожатый⁴².

Перекличка несомненна. Во «Встречах с Блоком» мать Мария говорит поэту: «Нет, не вождь вы, а ведомый, влекомый». В поэме он обращается к ней: «И я тебе лишь знак, а не вожатый». Знак естественным образом отсылает к своему означаемому, и это означаемое становится осевым моментом самой новаторской в богословии матери Марии идеи — мистики человекообщения, когда в каждом, в любом человеке при верном взгляде, при верном ракурсе общения с ним мы можем увидеть самого Христа. Такое отношение к людям естественным образом было не просто теорией, но формой безграничной и действенной любви к людям — той любви, которая отдает жизнь «за други своя». Вспомним заданную в начале «Встреч с Блоком» тему общности судьбы. Ее финалом становится разделенность судьбы миллионов жертв XX в.: смерть матери Марии в газовой камере, со многими и за многих.

⁴¹ Там же (с. 91).

⁴² *Мать Мария*. Стихотворения. Поэмы. Мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. Paris: La Presse Française et Étrangère, 1947. С. 24.

II

От сверхчеловека к жертве. Топография любви

Перейдем теперь к анализу художественной прозы матери Марии, занимающей значительную часть этой книги. В корпусе ее прозаических произведений особое место занимает ранняя (1915) философская повесть «Юрали»: ритмически организованный, разбитый на краткие главы и сознательно построенный как подражание Евангелию текст. Особенность этой повести не только в том, что она примыкает скорее к поэтическому, чем к прозаическому наследию матери Марии, не только в сильном влиянии Ницше и в касании вопросов, характерных лишь для раннего этапа ее творчества. Особость «Юрали» связана еще и с тем, что это единственный образец (кроме прозаических вступлений к поэтическим книгам «Скифские черепки» и «Руфь») ее дореволюционной прозы. Герой повести — сверхчеловек, мудрец и учитель Юрали, в ходе повествования ведущий диалог со своей собственной судьбой, обретающий тайное знание, позволяющее эту судьбу угадать и в обреченности ей стать свободным, несущий это знание и соотнесенную с ним свободу людям. Гностический мотив тайного знания присущ и ранней лирике матери Марии: кажется, стоит только его обрести, и оно откроет мир, словно волшебный ключик; вспомним начало «Встреч с Блоком»: девочка приходит к поэту как к владеющему ключами тайны, приходит за разгадкой, за словом-заклинанием. (Интересно сопоставить этот юношеский подбор ключей к миру с действительно предельной разомкнутостью мира в конце пути — разомкнутого любовью, снимающей все ограничения, покрывающей собою всех и вся.) Однако выведенный в «Юрали» образ мудреца и тайновидца довольно схематичен, хотя мотив жертвенной любви, входящей в такое тайновидение, угадан уже здесь, он как бы изначален во всей линии жизни матери Марии, представляющей собой не обретение такой любви, а постепенное и нарастающее ее самораскрытие. Гораздо существеннее проследить другое: какие метаморфозы претерпевает в художественном творчестве матери Марии сверхчеловеческая составляющая ее героя: ведь Юрали вплотную подходит к развилке, угаданной авторами «Вех», развилке, уводящей в разные стороны «героизм и подвижничество»⁴³. Юрали, герой и праведник одновременно, вписанный в притчевое повествование, схематически рисуемый на фоне безличной и не слишком убедительной судьбы, еще пытается удержаться на этом перекрестье. Реальность подлинной исторической катастрофы, каковой стали Первая мировая война, революция и Гражданская война (в повести «Несколько правдивых жизнеописаний» это названо Великим Событием), делает такое балансирование невозможным и ставит перед выбором. Попробуем же проследить эволюцию сверхчеловека в последующей прозе матери Марии.

Сама ницшеанская идея сверхчеловека в дальнейшем обыгрывается исключительно в сатирическом, почти юмористическом ключе. Носителем этой идеи в повести «Канитель» становится Александр Константинович Столбцов, никчемный, эгоистичный, избалованный старик, «эволюционист», имевший

⁴³ «Героизм и подвижничество (Из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции)» — название статьи С.Н. Булгакова, вошедшей в сборник «Вехи» (М.: Типография В.М. Саблина, 1909).

«свою законченную философскую теорию, покоящуюся на дарвинизме»: «И теория его, — сверхдарвинизм этот, — очень просто все объясняла, но так, как до него, Столбцова, никто ничего не объяснял. Род человеческий, происшедший из рода обезьяньего, по законам природы должен выделить из себя новый род, — сверхчеловеческий, который будет в таком же отношении к человечеству, в каком человечество к роду обезьяньему. В настоящее время происходит этот отбор будущих предков сверхчеловека. Это те, кого толпа считает вырожденцами, но кто на самом деле владеет властью, деньгами, биржей, фабриками, армиями, пушками, — всем, что может поработить другую часть человечества. Для этих избранных существует наука, только им доступна утонченность искусства...»⁴⁴ Надо ли уточнять, что себя Александр Константинович, естественно, причислял к непреложным предкам сверхчеловека? Причем кроме наличествующей у него данной теории и мелкого тиранства ближних ничего сверхчеловеческого в облике этого «предка сверхчеловеков» нет. Обратим внимание на еще одного героя «Канители», в образе которого практически отсутствует ирония. Это Николай Колоколов, обладатель «лунного загара», утонченный эстет, внешними чертами (не более как его маска) напоминающий Блока: именно его любит Ольгуша, хотя и эта любовь оказывается лишь «канителью». Притягательную неотразимость, статность Николай Колоколов наследует у Юрали, он гораздо больше похож на предка сверхчеловека из столбцовской теории, чем сам Столбцов. Но и «лунная» статность неизбежно превращается в шарж: такой же «лунный загар» мы видим затем у героини очерка «Жуткое», никчемной старухи, живущей в мире спиритических сеансов и собственных жутковатых фантазий.

Однако юмористическое развитие сверхчеловеческой проблематики не единственная и даже, пожалуй, не главная линия развития тем, поднятых в «Юрали». Вопрос о героизме не мог не иметь серьезного продолжения при осмыслении катастрофического опыта, предоставляющего арену действия для героя, позволяющего ему быть⁴⁵. Особенно остро тема героизма поднимается в повести «Равнина русская», сплетаясь с вопросом, укорененным в эсеровском прошлом ее автора, — вопросом о терроризме. Героиня повести Катя Темносердова вместе со своим братом Александром готовит террористический акт на большевистского комиссара Гродского, тем самым надеясь послужить России, меньшей кровью избавить ее от большей крови. Эсеровская логика в этом вопросе общеизвестна, именно ее придерживается Александр: «...в глубине души он еще оставался старым партийным работником, для которого террор, — только подвиг, всячески оправданный, всячески неизбежный, а террорист, — никак, ни одной частью своей души не убийца, а только герой и жертва»⁴⁶. Катя с этой

⁴⁴ «Канитель» (с. 357).

⁴⁵ В рукописи стихотворения, примыкающего к мемуарному очерку «При первых большевиках», есть такие строки:

«Пусть повести многоэтажный дом
Для прошлого окажется тюрьмой,
И духота решетчатым окном.

Там будет вместе с нищенской сумою
И веры жуть, и философский бред
Уступит место быть герою». (См. примеч. к очерку, с. 593.)

⁴⁶ «Равнина русская» (с. 257).

логикой не согласна, она не может не считать убийство грехом, даже если оно вынужденное или находит себе оправдание (такого вынужденного убийства не смог выдержать младший брат Кати Сережа, после его совершения кончающий жизнь самоубийством). Катя осмысливает этот вопрос в терминах «взятия на себя греха»: «Она чувствовала убийство не только как подвиг, но и как грех. И это было нужно, потому что подвигом одним нельзя насытить душу. Нужно было почувствовать себя на дне пропасти, нужно было дойти до того, чтобы потерять себя в страхе и отчаянии, — и только тогда поступок мог получить должную силу, мог оправдать себя и стать толчком для миллионов других людей. И Катя в безнадежности окружающего чувствовала, что летит ее душа камнем на дно пропасти, и чувствовала, что так надо»⁴⁷. Здесь, на новом витке, возникает поднятая и заостренная в «Юрале» тема прохождения через грех, взятия его на себя: Юрале считал это необходимым этапом своего пути — принятия судьбы и обретения свободы. Но путь Юрале был путем одиночки, в «Равнине русской», как мы видим, речь уже идет о поступке, которому надлежит «стать толчком для миллионов». Примечательно, что сама логика опасной и острой мысли матери Марии о взятии на себя греха движется в русле ранее обговаривавшегося нами бегства к земле⁴⁸ и идеи добровольного несения бремени. Причастность к земле, к народу в ситуации уже разыгрывающегося кровавого кошмара (повесть, имеющая подзаголовок «Хроника наших дней», построена как попытка последовательного свидетельства, охвата разворачивания катастрофы — сначала революции, затем Гражданской войны как в столице, так и в провинции) невольно подводит к идее о разделенности судьбы земли и народа изнутри катастрофы. Речь уже не о сверхчеловеческом преодолении греха путем его совершения, а об общей трагедии и о месте человека в ней. Это может быть героическое усилие спасительного убийства, которое в итоге не удается Кате: из-за ареста Александра она вынуждена отказаться от своих планов. Но в «Равнине русской» задана и другая возможность причастности, не уклонения от общей судьбы: готовность к самопожертвованию без героизма, то же опускание на дно, но без встречного движения героической силы, согласие на гибель, а не на убийство⁴⁹. Это путь, предложенный Верой Ивановной: именно к ней приходит за утешением Катя и ее путь, совместное нищее странствование по России, выбирает героиня в итоге.

Камнем преткновения, разводящим активность героического деяния и страдательную пассивность жертвы, становится понятие силы. Юрале невозможно заподозрить во внешней или внутренней слабости. Однако ход истории слишком наглядно демонстрировал, куда может завести человека сила. Проблема качания маятника между человеком и зверем, ожесточенностью и проблесками человечности даже в том, кто всем кажется недочеловеком, ставится матерью Марией в повести «Клим Семенович Барынькин». Клим с детства рос необычным ребенком, ему было тесно в обыденности, его душа жаждала подвига, он чувствовал себя рекой, ищущей русла для своего течения. Через этот образ реки

⁴⁷ «Равнина русская» (с. 257).

⁴⁸ См. письмо к А.А. Блоку от 19 января 1914 г. (с. 440–441) и 15 февраля 1914 г. (с. 442–443).

⁴⁹ «Но чтоб в человеческом до дна дойти, до дна... Вот мы все в кровавом подвале чрезвычайки, вот мы все не верим уже в преображение, — так надо. А потом будет, будет... Слышите. — трубы славы... О, Господи!..» («Равнина русская», с. 267).

и определила внутренний поиск Клим соседская девочка Оля, единственный человек, которого всю свою жизнь любил Клим. Поиск судьбы, которая была бы под стать его внутренней, стихийной силе, приводит Барынькина в красные командиры, река оказывается кровавой. Сила все больше ощущается им самим как неуправляемая «звериная сила»: «Зверь-то сквозь все ваши поры пророс»⁵⁰, — говорит ему Оля. Отметим, что этот нахлест звериной силы, волной накрывающий человека и подминающий его под себя, передан здесь как одна из разновидностей стихии. Стихийное движение неизбежно выливается в потоки крови, будь то звериная сила, овладевающая человеком изнутри, или стихия толпы, втягивающая в себя человека снаружи. Это одно и то же движение, разрушающее личность. Именно в момент слияния Клим с толпой, коллективной расправы над беззащитным «впервые на этом его пути кровь появилась, а появившись, все дальнейшее определила»⁵¹. Толпа как стихийная сила, действующая в революционных событиях, описана матерью Марией в повести «Несколько правдивых жизнеописаний»: «Когда вся эта революция у них произошла, — объявилось одно главное действующее лицо всех событий, — толпа. Будь это толпа на улице, или толпа на званом митинге, или даже в Думе, — толпа гласных, или толпа Совета. Важно, что всяческая толпа стала главным действующим лицом. А помимо этого важно, что, желая действовать, она сама действовать хорошо не могла, ни воли, ни разума воплощенных у нее не было. От имени ее кто-то должен был говорить и работать, а она только покрикивать: “правильно”»⁵². В центре внимания, таким образом, оказывается не толпа, ибо она безлична, но человек в своем отношении к стихии — будь то толпы или внутреннего озверения. Только личная позиция человека, как он повернется к стихии, и определяет собой человеческий выбор, человеческую жизнь. На фоне грандиозности и важности этого выбора все героические деяния и внешние жесты уже ничего не значат, так как они могут быть всего лишь знаками покорности стихии. Так, героическая храбрость Барынькина и панический страх Сергея Сергеевича (человека слабого, некогда любимого Олей и ставшего невольной причиной гибели ее и Клим) по сути одно и то же — это отказ от человечности, растворение себя в стихии. Противоположна слепому страху и столь же слепому бесстрашию только сознательно выбранная человечность, ответственность за себя и за других.

Интересно, что сила в такой оптике взгляда становится чем-то абсолютно безличным и иноприродным человечности, так что даже озверевший человек может быть увиден как слабая жертва могучей стихии; единственно возможное отношение к нему — жалость. Все герои тогда оказываются фактически псевдогероями, а реальное действующее лицо, на которое направлен взгляд автора, — маленький человек на фоне больших событий, Великого События. Каждый описан с любовной жалостью и с замиранием сердца: какой выбор он совершит, сумеет ли остаться человеком или вернуться к человечности? К такой всеобъемлющей жалости, любви, покрывающей собой все живое (а живым в такой оптике оказывается всё), приходит в итоге Оля, разглядевшая человека в звере-Барынькине: «Небывалое совершалось в Олиной душе. Будто горячей

⁵⁰ «Клим Семенович Барынькин» (с. 315).

⁵¹ Там же (с. 295).

⁵² «Несколько правдивых жизнеописаний» (с. 422).

волной затопилась ее душа. Налилась любовью напряженной ко всему живому, испоганенному, гибнущему. К Климу этому дикому, к себе, — такой всегда беспомощной, — ко всем людям страдающим по просторам русской земли. И даже не любовь это была, а острое чувство, что все это живет, живет по-настоящему, чувствует все, — как кожу ветер обдул, как Климова шашка на плечо опустилась, как закат холодом своим напугал, как тоска сердце охватила.

Все живое, и она, Оля, тоже живая, и ей, как и всему, больно. И нет разницы между нею живой и другими живыми, — и все неотделимо»⁵³.

Именно маленький человек достигает тогда такой величины, что становится заметным, наблюдаемым каждое движение его души, потому что лишь такое движение сопоставимо по своей значимости с Великим Событием. Перестав быть сверхчеловеческим героем, личность становится вровень с историей, поскольку впускает историю в поле своей ответственности. Верности в малом, опасности подмен, через согласие на малую ложь легко приводящих к большим политическим последствиям, посвящен рассказ матери Марии «Йота» (1924). В уже упоминавшемся нами эпизоде о первом участии Барынькина в пролитии крови автор недвусмысленно поясняет меру ответственности каждого человека: «Тут только для полной справедливости надо рассказать со всеми подробностями, как впервые на этом его пути кровь появилась, а появившись, все дальнейшее определила. Надо рассказать это, чтобы лишних мыслей ни у кого не оставалось, чтобы были люди поначалу только в своей вине виноваты, — и ее хватит, — без всякой чрезмерности»⁵⁴. Такой маленький человек, «без всякой чрезмерности», но в полную меру своей ответственности за жизнь свою и своих близких, оказывается в самом центре прозы матери Марии: от его имени ведется повествование и в «Йоте», и в «Нескольких правдивых жизнеописаниях», словно только ему и можно доверить право голоса, право взгляда на историю.

Малый мир души, увиденный в пристальном приближении, естественным образом становится микрокосмом, целым миром; недаром рассказчик не раз (в рассказе «Соседи» и повестях «Канитель», «Несколько правдивых жизнеописаний») признается в своей любви к мельчайшим подробностям человеческих характеров, к бескорыстному наблюдению за ними и их воспроизведению. В этом новом, постепенно рождающемся зрении совсем иное значение обретает понятие силы: значима уже не внешняя мощь героизма или стихии, а внутренняя энергия, оказывающаяся ничем иным, как силой любви и готовностью к жертве, к самоотдаче. Ее носителями становятся ярко переданные в этой прозе женские образы. Катя Темносердова, героиня «Равнины русской», делает на этом пути первые робкие шаги, как ученица, еще только сознающая неотложную потребность научиться любить до самозабвения, до потери себя: «Кате казалось, что она поняла основную неправду своих первых петербургских зим: она была слишком жадна к жизни и слишком верила в свои силы. А для того, чтобы воистину хоть крохи человек мог дать человеку, надо, чтобы дающий вошел в сердце жизни берущего, чтобы чужая жизнь закружилась вокруг него, как вокруг оси своей. Это может сделать только любовь. Но в Катиной душе не было любви; может, был даже страх и ужас перед этим путем человеческим.

⁵³ «Клим Семенович Барынькин» (с. 316).

⁵⁴ Там же (с. 295).

А грядущий огонь требовал уже, и внятен был его голос: надо выйти из жизни своей, из жизни отдельных людей; ни крошки не надо давать отдельному человеку; не надо вступать в сердце человеческое на место, обозначенное знаком любви.

В мире, среди множества надо встать и в давании своем расплыться...»⁵⁵

Этот шаг, к которому лишь готовится Катя, делает Оля, упоминавшаяся нами героиня повести «Клим Семенович Барынькин». К финальной жертве, отдаванию жизни она идет постепенно, проходя своеобразную школу любви. Первым этапом такой «школы» становится ее неразделенная любовь к Сергею Сергеевичу, слабому, не способному ни полюбить в ответ, ни отпустить ее, Олю, на свободу. На этом этапе останавливается героиня «Канители» Ольгуша — подобная любовь неизбежно оказывается пустым круговращением, канителью, хотя сама Ольгуша готова к тяготам, даже ищет их; однако несмотря на готовность к жертве (она внешне отрекается от Николая и помогает Анюте, ждущей от него ребенка), ее любовь все еще слишком сосредоточена на одном человеке и потому оказывается замыканием канительного круга, а не размыкающим шагом самоотдачи. Оля в «Барынькине» идет дальше: через свою любовь к Сергею Сергеевичу она обретает способность видеть другого, видеть человека в диком и озверевшем Климе, сделать шаг навстречу, протянуть руку помощи тому, кто в ней нуждается. В Ольгуше остается слишком много ее самой, ее черты весьма характерны и определены: тяжелые боты, черный огонь в глазах. Оля нарисована как будто прозрачной краской, она вся — постепенное самоопустошение, движение к предельной самоотдаче, которое и осознается ею как внутренняя сила: «Сама-то она сильная, что ли? Да, сильная, потому что всю себя отдавать умеет. Не силою сильная, а напряжением своим, которое все ее существо воедино объединяет. И в любви своей была она сильной»⁵⁶. Такая сила приводит ее к последней огненной вспышке, которой оказывается смерть — гибель вместе с Климом, вслед за ним, в чем-то нелепая и случайная, но и закономерная, поскольку приходит она в момент наибольшего духовного просветления Клима. Ее внутренняя сила становится в этой смерти силой огня, освещающего собою все: вспомним блоковский пожар, противоположный холоду мертвечины и умирания. Вот какой диалог происходит между Олей и отцом Клима накануне Олиной смерти:

«Он обнял ее за плечи.

— Ольга Лаврентьевна, Климу конец скорый, — это я вижу, — догорит его свеча... Ну, если чудо какое, может, и спасен будет. Только думаю, что и вы с ним сгорите в одночасье. А затем, — воля ваша... Ведь и вам, вижу, только и радости, что гореть.

Это Оля слышала и поняла, даже по-особенному ясно поняла, как редко человеком слова другого человека воспринимаются.

— А если я за него против судьбы войну начну? Вы не думайте, что я слаба. Это вы правы, что только гореть умею. А огонь всегда сила, — что бы ни горело.

Семен Петрович пожал плечами:

— Воля ваша, — вы хозяйка себе»⁵⁷.

⁵⁵ «Равнина русская» (с. 183).

⁵⁶ «Клим Семенович Барынькин» (с. 298).

⁵⁷ Там же (с. 321).

Есть еще один женский образ, также огненно гибнущий в финале, — Катя из повести «Несколько правдивых жизнеописаний». Как и Оля, она покрывает своей любовью человека, внешне сильного, но в этой силе своей негибкого и подвластного стихии. Такая сила, как мы уже отмечали, равнозначна слабости, бесплодна. Катина же внутренняя сила названа в повести «земляной силой»⁵⁸, что вновь возвращает нас к теме земли. Может быть, «земляная сила» и будет важнейшим итогом, плодом возвращения к земле? Недаром именно Катя, в сцене своей смерти, символически воплощает Россию, гибнущую вместе с ней. Земляная сила Кати получает в повести еще одно название: покровность. Вот как поясняет это качество героини ее отец: «Бывает это у редких женщин, — назвать можно — покровность, — понял. Вот и у нее так. Нужно ей чувствовать сильного и гордого человека ребенком слабым. Он молотом скалы дробит, а она с него от великой жалости пылинки сдувает. И в этом много справедливости. Без таких, как Катя, многим бы собственной силой и собственной гордостью удавиться бы пришлось. А она — двужильная, все вытянет»⁵⁹. Вспомним ниточку, соединяющую тему земли с богородичным богословием матери Марии: такая покровность, окутывающая своей любовью всех и вся, — еще одно звено в этой цепи. Это же слово, в связи с образом Покрова Божьей Матери, встречается и в поздней лирике матери Марии:

Мать, мы с тобою договор,
 Завет мы заключим любовный, —
 Птенцов из гнезд, зверей из нор
 Принять, любить, объять покровно...⁶⁰

Мотивы земли и покровности выводят образ Кати на грань предельного обобщения: ее трагическая судьба (она гибнет беременная, покорно следуя под обстрелом за своим мужем, вместе с ней умирает и нерожденный ребенок) становится символом трагической судьбы России. Вот как сообщает об этом рассказчик, сводный брат Кати, свидетель ее смерти: «И странно в моих мыслях тогдашних, чрезмерно затуманенных горем, как-то начали сливаться два образа воедино: образ убитой моей сестры, такой исхудавшей и отяжелевшей, несшей ребенка, — и образ родины моей, тоже, мне казалось, — замученной, поруганной, убитой»⁶¹. Женский образ, олицетворяющий собою Россию, мы уже встречали в прозе матери Марии: в повести «Равнина русская» лейтмотивом звучит образ России как старухи, голосящей в полях, оплакивающей своих детей. Старуха эта безумная (вспомним безумную Россию-мать, доверившую нашей защите Блока-сына) и «не знающая путей своих»⁶², но бесконечно жалкая, потерянная, вызывающая щемящую жалость в лучших героях повести, слышащих ее голос. Это женственное существо мира, беззащитное и молящее человека о защите, было угадано еще Владимиром Соловьевым; Александр Блок, продолжая эту интуицию, вывел «Душу Мира» в ранних

⁵⁸ «Несколько правдивых жизнеописаний» (с. 412).

⁵⁹ Там же (с. 411).

⁶⁰ Из цикла «Покров» (1942) (К-К, ММ, 2001. С. 187).

⁶¹ «Несколько правдивых жизнеописаний» (с. 430).

⁶² «Равнина русская» (с. 185).

стихах в образе Прекрасной Дамы, затем Россию в образе «жены». Вспомним и образ Лары из романа Б. Пастернака «Доктор Живаго», в своей женственности также поднимающийся до символического обобщения России. В прозе матери Марии мы видим несчастную старуху и гибнущую беременную женщину — пронзительные образы, взывающие к человечности и безграничной, себя не жалеющей любви.

Стоит обратить внимание на то, что тема России в прозе матери Марии передана не только женскими образами, но и пространственными характеристиками: выражение «равнина русская» даже вынесено в название повести. Кроме протяженности, в пространственный образ входит праздничность и царственность: Россия, показанная в повести «Клим Семенович Барынькин», — это пшеничное царство. Параллельно реальному образу пшеничного царства (влекущего за собой библейский контекст и образ Руфи), в тексте присутствует сказочный образ, олицетворенный мечтой об Индейском царстве: Оля еще девочкой просит завоевать его Клим, и он через всю жизнь пронесет эту мечту, пообещав ее исполнить перед своей смертью. Сказочность Индейского царства особенно наглядно контрастирует с кровавой реальностью будней, с жестокостями Гражданской войны, проходящей по станицам пшеничного царства. Характерно, что этот контраст, кошмар катастрофы, уничтожающей царство, и ужас смерти переданы отнюдь не массовыми сценами кровопролития, а реальными страданиями отдельного «маленького» человека, каждой единичной смертью, ужасной именно невосполнимостью потери. Это не море крови, но тоненькая струйка, и такими неоспоримыми струйками передан ужас смерти Кати в «Нескольких правдивых жизнеописаниях»: «А сестра моя закрыла лицо руками, и между пальцев застыли струйки крови. И снег под нею налил розовым, от пропитавшей его крови»⁶³. Сама эта смерть происходит на фоне «серого дощатого забора», несколько раз упомянутого в тексте. Забор, стена — очень важные моменты топографии смерти, умирания: прерывание жизни как резкое упирание в забор, как срыв и столкновение со стеной, оказывающейся стеной Ничто. Так описано явление смерти в рассказе «Ряженные»: «все в ничто упирается, все смертью отсвечивает, небытием»⁶⁴. Интересно, что такая смерть-стена вполне сопоставима со стенами, разделяющими людей, со стеной-одиночеством, со стеной как замкнутостью человеческой жизни, неспособностью открыться, увидеть и понять друг друга. Герой рассказа «Вадим Павлович Золотов» Мавриды, «чердачное существо», пытающееся пробиться к общению с умной девушкой, горбуньей Александрой Семеновной, даже ценой обмана (он выдает себя за писателя Золотова и приходит к нему с просьбой поддержать этот обман), живет «на чердаке, от мира желтыми обоями с цветочками отгорожен, и стиркой в комнате пахнет. А в окне соседняя желтая стена...»⁶⁵ О преодолении стены и прорыве сквозь нее в общение, прорыве, совершаемом в творчестве Золотова, пишет ему в рецензии Александра Семеновна: «Милый друг, в мире, где человек навеки отгорожен от человека

⁶³ «Несколько правдивых жизнеописаний» (с. 428).

⁶⁴ «Ряженные» (с. 349).

⁶⁵ «Вадим Павлович Золотов» (с. 352).

стеной, в мире, где все обречены на одиночество, чего можно еще желать, когда совершается чудо. Из этой замкнутости вдруг намечается выход во вселенную, — человек понял брата своего, человека»⁶⁶.

Собственно, самое замечательное в пространственно-топографических особенностях прозы матери Марии — сам факт размыкания пространства, преодоления стены. Происходит это разными способами и на разных уровнях. Например, в рассказе «Ряженные» стена смерти-небытия замыкается самой круговой композицией рассказа: горбунья Саша с неохотой играет на пианино во время прихода гостей и веселья ряженных, среди которых — маска Масленицы; Саша обнаруживает за маской мертвого человека; новое знание о смерти переворачивает представление о мире; в этом новом, уже изменившемся мире, действие рассказа начинается сначала, с прихода гостей. Такая композиция оказывается замыканием и размыканием одновременно, кругом и прорывом из этого круга: прорыв обеспечивает точка смерти, стена. Мир в этой точке оказывается срывающимся, висящим на волоске. Но принятие такого висения на волоске уже начинает раздвигать сомкнувшееся вплотную пространство, размыкать кольцо мира. «Вообще настоящее будто на волоске висело. Куда-то отступили привычные стены дома, завешанные фотографиями и японскими веерами с бабочками и рыбами. Красное и желтое, визгливое и тревожное, под рубящие и крепкие звуки польки кружилось и металось по комнате.

Саша кончила и старалась улыбнуться. Самое нелепое — иметь трагическое лицо, когда всем весело»⁶⁷ — так заканчивается рассказ.

В повести «Канитель» образом, пространственно организующим повествование, является лестница. Она своей вертикалью словно прорезает круговое движение канители, похожее по своей бесплодности на бег собаки за собственным хвостом, безвыходное движение по горизонтали: ни к чему не ведущие переборы взаимоотношений, письма без адреса, отсылаемые Соней в никуда и никому, письма с вопросом о смысле всего этого бесплодного кругового движения: «или дни наши, как петли вязанья, петля за петлей без смысла и нужды?»⁶⁸ И над всем этим, как связующее звено, возвышается, пронзая собою пространство канители, лестница. О ней сразу, в начале повествования, авторский голос находит нужным упомянуть особо: «и как узел всего, центр домашней жизни, — о лестнице, ведущей от дверей столбцовской квартиры к дверям колоколовской квартиры, и от дверей колоколовской квартиры к чердачному помещению, где обитает швейка Анна Ивановна с матерью. Лестница в моем повествовании — становой хребет. Без нее и повести не будет, без нее вся жизнь дома распадется»⁶⁹. Лестница оказывается осью самого канительного движения и в то же время — возможностью выхода из него, возможностью вертикали и прорыва.

Особенно пристальное внимание организации пространства уделяет мать Мария в повести «Несколько правдивых жизнеописаний». Вторая часть повествования (которое ведется от лица опять-таки «маленького» человека, прием-

⁶⁶ «Вадим Павлович Золотов» (с. 354).

⁶⁷ «Ряженные» (с. 349).

⁶⁸ «Канитель» (с. 390).

⁶⁹ Там же (с. 356–357).

ного сына старика Иконникова, младшего в семье, Коли) так и названа «Часть топографическая». Здесь описывается место действия — усадьба Медовое в российском городке Медынь (в котором узнается Тверь), родовое поместье Иконниковых. Границы усадьбы проходят причудливо, чем-то напоминая пространственное движение лестницы в «Канители», они расчерчивают пространство, как петли вязания, но их нагромождение друг на друга оказывается самоотменной, преодолением границ, рывком за их пределы. Вот как описывается усадьба в повести: «Самая замечательная черта Медового заключается в том, что у него нету ни начала ни конца. Редкий Медынский обыватель сумеет вам план нашего города изобразить так, чтобы и Медовое правильно в него включить».

Так граница идет: ну, по обрыву реки все знают, что вот столько-то саженой берега речного, — иконниковское; потом граница идет рядом с городским садом; в самой чаще дикой и непроходимой: вал не вал, забор не забор, а препятствие. Потом по каким-то навозным задворкам граница проходит, от живого мира самыми нищими конурами отгорожено Медовое; только и вестей о нем, что котов этих конурочных Медовный сторож из ружья бьет, чтоб за дичью в гнезда не лазили. Потом непонятно каким выкрутасом выходит Медовое железной калиточкой в самый центр города, между двумя огромными магазинами. Уже никто никогда не догадается, что эта калиточка в тополевою аллею ведет, а потом через лужайку во фруктовый сад, а дальше к самому дому. Река с одной стороны, сад городской, — с другой, с третьей, — город — окружили Медовое, с четвертой же — начинаются сосновые перелески, подъем в гору, — опять там не разобраться, где чему начало, где конец»⁷⁰. Калиточка, возможно, отсылает нас к блоковскому образу «Девушки розовой калитки»⁷¹. В наброске «То, что нужно помнить» — мемуарных записях, предворяющих текст повести и ставших стартовым этапом работы над ней, есть одна четкая топологическая характеристика данной усадьбы: «Написать надо “о параллельности”. В центре двойная жизнь старика, охотника, о котором знаю очень много уже. Он заменит мельмотовскую владычицу: и дом тоже двойной — заборами и пустырями сад в деревню или в город выходит, и как-то к нему никак не пробраться из-за обрыва. Туда самые разнообразные люди пришатываются, и всегда жизнь двойная, и в городе отзвук этим параллелям»⁷². Параллельность как будто усиливает эти границы, делает пространство еще весомее: его части глядятся друг в друга, границы словно удваиваются, сгущаются до предела — именно для того, чтобы потом оказаться разомкнутыми. «Мельмотовская владычица» отсылает нас к ранней поэме матери Марии «Мельмот Скиталец». В третьей песне поэмы появляется образ «владычицы с простертыми руками», силой своей самоотверженной любви спасающей Мельмота от вечной гибели, ее владение — «И белый дом таинственный и строгий»⁷³. Образ белого дома еще весомее, чем калиточка, связан с Александром Блоком: он появляется в его «Песне Судьбы» (1908). Подробно описывает этот дом мать Мария в одном

⁷⁰ «Несколько правдивых жизнеописаний» (с. 394).

⁷¹ А.А. Блок «Девушка розовой калитки и муравьиный царь» (1906) (см.: СС. Т. 5. С. 83–94).

⁷² «То, что нужно помнить» (с. 496–497).

⁷³ К-К, ММ, 2001. С. 244.

из своих писем к Блоку: «Есть другое, что почти не поддается определению, потому что обычно затеняется определяемыми чувствами. Веря в мою торжественность, веря в мой покой, я связываю Вас с собою. Ничего не разрушая и не меняя обычной жизни, существует посвященность, которую в Вас я почувствовала в первый раз. Я хочу, чтобы это было понятно Вам. Если я скажу о братовании или об ордене, то это будет только приближенным, и неточным даже. Вот церковность, — тоже неточно, потому что в церковности Вы, я — пассивны; это слишком все обнимающее понятие. Я Вам лучше так расскажу: есть в Малой Азии белый дом на холмах. Он раскинут, и живущие в нем редко встречаются в коридорах и во дворе. И там живет женщина, уже не молодая, и старый монах. Часто эта женщина уезжает и возвращается назад не одна: она привозит с собой указанных ей, чтобы они могли почувствовать тишину, видеть пустыню. В белом доме они получают *всю силу всех*; и потом возвращаются к старой жизни, чтобы приобщить к своей силе и других людей. И все это больше любви, больше семьи, потому что связывает и не забывается никогда. Я знаю, что Вы будете в доме; я верю, что Вы этого захотите»⁷⁴.

Главная характеристика такого дома — принятие. Там будут приняты все: каждый получит то, что «больше любви, больше семьи», дары отмерены не скупно, с избытком. Каждый получает «всю силу всех» — вспомним метаморфозы силы: сила всех, с очевидностью, уже не сила кого-то одного, она всех и ничья, она дается даром как благодать, как ее проявление. Дом раскинут; разбегающиеся и в этом разбеге уничтожающие себя границы делают его похожим на невод, гостеприимно уловляющий людей. Предельной формой открытости пространства будет его гостеприимство: добро пожаловать. Иконниковская усадьба в «Нескольких правдивых жизнеописаниях» оказывается радушным приютом для всех «кривулек», для всех странных и интересных людей, любовно принимаемых там хозяином. Она же оказывается центром притяжения для компании революционеров: Феде Иконникова и его друзей. В их судьбах угадываются перипетии и судьба русской революции (прототипом одного из героев, например, стал А.Ф. Керенский), они уже готовят ее и ее последствия, каждый по-своему. Но несмотря на все это, вернее, до всего этого, сверх, они безоговорочно и все так же радушно приняты разомкнутым пространством белого дома, пространством любви, изливаемой на всех и на вся. Сразу ощущаемый в таком размыкании пространства вектор становится путем, дорогой: этим образом кончается повесть «Несколько правдивых жизнеописаний», подобно тому как «Равнина русская» заканчивается выходом на дорогу двух ее героинь, становящихся странницами, скитающимися по России. Здесь таким странником становится владелец дома, старик Иконников, эпицентр любви и принятия, тот, кто давал всем кров и приют. Его прощальным письмом к приемному сыну, написанным перед отправлением в путь, и заканчивается повесть; письмо дает последний предел этой все возрастающей открытости и распахнутости — открытости души: «Милый, мне хочется, чтобы, прочтя эти строки, ты понял главное: надо открыть свою душу всем дорогам, всем ветрам, — пусть бредет в нее беспрепятственно, как домой, каждый бродяга полевой, пусть будет она призрачным прибежищем каждому ищущему, где преклонить голову.

⁷⁴ См. письмо к А.А. Блоку от 10 июля 1916 г. (с. 446).

Пусть постигнешь ты всю эту мою старческую мудрость и скорбь, чтобы могла душа твоя хоть чем-нибудь, хоть самую собою всемирный холод утешить»⁷⁵. Такая предельная, все возрастающая открытость души, способной принять всех и каждого, уже не просто образ, но данность: сказочный белый дом станет реальным домом на улице Лурмель, принимающим всех нуждающихся, а об этом столь явственном расширении сердца мать Мария напишет в одном из своих поздних стихотворений:

И только одного мне жаль, —
Что сердце мира не вмещает⁷⁶.

⁷⁵ «Несколько правдивых жизнеописаний» (с. 435).

⁷⁶ «Устало дышит паровоз...» (К-К, ММ, 2001. С. 179).

ВОСПОМИНАНИЯ

ДРУГ МОЕГО ДЕТСТВА

События и люди, вошедшие в историю, становятся в глазах даже тех, кто одновременно с ними жил, какими-то закостеневшими фигурами: осуществляется неписанный канон, по которому каждое историческое лицо может быть изображено только соответственно этим закостенелым представлениям о нем. И в результате описываемое лицо приобретает значение скорее символа, чем живого человека.

Мои воспоминания относятся к человеку, может быть, в наибольшей степени ставшему символом. Я хочу рассказать о моих детских отношениях с К.П. Победоносцевым. Эти отношения протекали в период, когда мне было от 5–13 лет. Этим определяется то, что воспринимала я Победоносцева не как государственного деятеля, не как идеолога реакции царствования Александра Третьего, а исключительно как человека, как старика, повышенно-нежно относящегося к детям.

Сейчас изданы письма Победоносцева, дополняющие общий его канонический портрет — столп реакции, вдохновитель всей внутренней и церковной политики Александра Третьего, властный, холодный гаситель, знающий, чего он хочет.

Таким образом, историческое его значение определено вполне. Думается, что именно в этот момент мои воспоминания будут иметь интерес, так как обрисуют его облик с совершенно иной точки зрения, воплотят его немного в образ человеческий, лишенный всей определенности иконописного канона, грешащего всегда против жизненной правды.

* * *

Каждую зиму мы всем семейством ездили в Петербург на 1 – 1 с пол<овиной> месяца, — гостить к бабушке, тетке моей матери, Елизавете Александровне Яфимович.

После вольной и простой жизни дома, в маленьком городке на берегу Черного моря, бабушкина квартира казалась чем-то совсем другим, — сказочным миром. Петербурга мы с братом в эти приезды не видали: каждый раз еще в дороге получали насморки, и мать не решалась нас выпускать гулять на петербургскую сырость до самого отъезда.

От поезда ехали в бабушкиной карете. Потом, если и бывали у других родных, то тоже в карете, с выездным Иваном на козлах.

Таким образом, единственные мои ранние воспоминания о Петербурге, это, — лифт на квартире у тетки, огромные две фарфоровые китайские вазы в окнах Аничковой аптеки на углу Невского и Фонтанки, два золотых быка на вывеске мясной против окон бабушкиной квартиры и «покойники». О них бабушка заранее вычитывала в «Новом времени» и оповещала нас. С утра мы ждали их у окон кабинета. В особенной чести были те, которых хоронили с музыкой. Они все распределялись по очереди, — бабушкин, мой и брата, и опять бабушкин, — уж кому повезет на покойника с музыкой.

Бабушкина квартира была огромная, в 14 комнат, на Литейном проспекте ном<ер> 57. На полах были натянuty ковры, не снимавшиеся 18 лет. В гостиной мебель была резная, работы Лизерэ. На стенах висели бесчисленные портреты. Великую княгиню Елену Павловну изображали, кроме портретов, и три бюста. Огромный портрет Екатерининского сенатора Алексея Васильевича Нарышкина, работы Анжелики Кауфман, — он сидит перед бюстом Екатерины, а на бумаге перед ним написано: «Лучше оправдать десять виновных, чем осудить одного невинного». Потом огромный портрет масляными красками бабушкиного мужа. Потом сама бабушка и ее сестра, — молодые, с кудрями на ушах, с открытыми плечами, — фрейлины Елены Павловны.

В каждой комнате стояло несколько часов. Во время боя вся квартира наполнялась своеобразной музыкой: низкий и медленный гул столовых часов перебивался и обгонялся серебристым звоном севрских, потом начинали бить часы с башенным боем, потом вообще нельзя было уже разобрать, сколько и какие часы бьют. По пятницам являлся часовщик их заводить. Бабушка всегда обращала наше внимание на то, как образцово он раскланивается.

Бабушка жила одна, окруженная, как ей казалось, минимумом необходимой прислуги. Лакей Иван и горничная Полина были существами обыкновенными, а буфетчик Антон Карлович, — бритый, во фраке, — внушал нам с братом большое почтение: являясь доложить, что обед подан, он останавливался всегда на одном и том же квадрате ковра и громко говорил на неведомом языке: «Diner ist servirt, gnedige Frau Excelence!»*

Раньше у бабушки был другой лакей, Франц. С ним вышла у нее целая история. Дело в том, что Франц носил усы. Когда же бабушкин муж умер, то ей сказали, что вдове неприлично иметь лакея с усами. И только воз-

* Обед подан, милостивая государыня! (смесь искаж. нем. и фр.).

мушение маминой матери, бабушкиной сестры, по поводу того, что придворные дамы находят приличным заниматься лакейскими усами, спасло Франца от необходимости или лишиться места, или брить усы.

Вообще приличиям она придавала исключительное значение. Однажды мама застала ее запертую в самую дальнюю комнату, — она, оказывается, спряталась там, чтобы поесть крыжовнику, который страшно любила, но считала ягодой подлой, которую есть неприлично.

Бабушка была человеком, надолго пережившим свое время. Она часто говорила:

— Люблю я вас всех, друзья мои, а все же вы мне чужие. Близкие мои давно уже в могилах.

Родилась она в 1818 году в московской родовитой и богатой семье Дмитриевых-Мамоновых. Воспитывала ее ее бабушка Прасковья Семеновна Нарышкина, женщина большого ума. О ней наша бабушка рассказывала без конца.

Восемнадцать лет она стала фрейлиной в <еликой> к<нягини> Елены Павловны. Во всех ее воспоминаниях мало говорилось о той роли, какую играла Елена Павловна в царствование Александра Второго в качестве единственной за все время либеральной великой княгини. Больше рассказывала она о самом быте Михайловского дворца. (Кстати, по ее просьбе, я до самой ее смерти не была в музее Александра Третьего, — ей было бы неприятно слышать мои рассказы о дворце, ставшем всем доступным музеем.) Рассказывала она о том, как повар француз кормил великих княжен и фрейлин лягушками под видом молодых цыплят, о том, как Михаил Павлович называл ее «Маманюша», о том, как Николай Первый велел всем фрейлинам большого двора учиться у нее делать реверансы, приседая очень глубоко и не сгибая головы. К памяти Елены Павловны она относилась с настоящим обожанием. Но вообще все то, что ей пришлось видеть за свою долгую жизнь, было окрашено настолько в личное, что общий интерес как бы затушевывался. Уже после ее смерти я узнала, что она, например, хорошо знала поэтов Алексея Толстого и Баратынского. О Баратынском она упоминала в одном письме к своей матери. Писала, что была на вечере, устроенном в его честь: «Было очень весело и анимированно».

А все современное она мерила по своим воспоминаниям.

Любопытна была ее теория аристократизма. Я потом, смеясь, говорила, что от бабушки впервые узнала основные принципы равенства и демократизма. Она утверждала, что настоящий аристократ должен быть равен в отношениях со всеми. Только *parvenu** будет делать разницу в своих отношениях к знатым и незнатым. А простой народ и аристократы всегда относятся ко всем ровно. И действительно, у нее в гостиной можно было застать принцессу Елену, внучку Елены Павловны, и бабушкину крестницу, дочь ее швеи, или нашего детского приятеля-репетитора, косматого

* Выскочка; человек, достигший высокого положения и не усвоивший интеллектуального и морального уровня новой среды (*фр.*).

студента, рядом со степным генерал-губернатором, — и нельзя было заметить ни тени разницы в обращении хозяйки со своими гостями.

Гости у нее бывали часто. Нас с братом вызывали тогда из детской. Я всегда должна была с чувством декламировать Жуковского. Последние строчки остались в памяти:

— «О, родина святая, какое сердце не дрожит, тебя благословляя?»

Оставаясь одна с нами, она уже не придерживалась правил высокого этикета. Помню, — заставила меня как-то протанцевать бальную лезгинку. Решила, что плохо, сняла с ног туфли, которые ей были велики, и начала мне показывать лезгинку настоящую, какой ее Нина Александровна Грибоедова обучила. И, действительно, танцевала по всем правилам, — голова не шелохнется, плывет. Моя мать в ужас пришла. А бабушка даже не задыхнулась.

Среди частых бабушкиных посетителей ее ближайшим другом был и Константин Петрович Победоносцев.

Жил он как раз напротив, окно в окно. По вечерам можно было наблюдать, как двигаются какие-то тени у него в кабинете.

Дружба их была длительная. Еще от времени, когда Победоносцев впервые появился во дворце Елены Павловны в качестве молодого и многообещающего человека. Так, в бабушкином представлении, он и до старости был молодым человеком.

Я не знаю, что их вообще связывало: бабушка к политике никакого интереса не чувствовала. Думаю, что просто были они старой гвардией, которой оставалось все меньше и меньше.

Советов Победоносцева бабушка очень слушалась. Однажды она затеяла поступить в монастырь. Победоносцев, посвященный в этот план, восстал:

— Помилуйте, Елизавета Александровна, чем вы не по-монашески живете? Вы себе не представляете, какой ужас наши монастыри: ханжество, мелочность, сплетни, свара... Вам там не место.

А мои отношения с Победоносцевым, — отношения маленькой девочки и семидесятилетнего старика, — настолько не вяжутся с общепринятым его обликом, что сейчас мне нужно большое беспристрастие для того, чтобы восстановить все, как было.

Победоносцев страстно любил детей. Поскольку могу судить, он любил вообще всяческих детей — знатных и незнатных, любых национальностей, мальчиков и девочек, вне всякого отношения к их родителям.

А дети, всегда чувствительные к настоящей любви, платили ему самым подлинным обожанием.

В детстве своем я не помню человека другого, который так внимательно и искренне умел бы заинтересоваться моими детскими интересами. Другие из любезности к родителям или оттого, что я в данный момент говорила что-нибудь забавное, — слушали меня и улыбались. А Победоносцев всерьез интересовывался тем, что меня интересовало, — и казался поэтому единственным равным из всех взрослых людей. Любила я его очень и считала самым своим настоящим другом.

Дружба эта протекала так: мне, наверное, было лет пять, когда он впервые увидел меня у бабушки. Я присела, появившись в гостиной, прочла с чувством какие-то стихи и села на диване около бабушки, чтоб по заведенному порядку молчать и слушать, что говорят взрослые. Но молчать не пришлось, потому что Победоносцев начал меня расспрашивать. Сначала я стеснялась немного. Но очень скоро почувствовала, что он всерьез интересуется моим миром, и разговор стал совсем непринужденным.

Уехав, он прислал мне куклу, английскую книжку с картинками и приглашение бабушке приехать со мной поскорее.

Через дня два мы отправились.

К Победоносцеву, живущему напротив, ездили так: садились в карету, доезжали до Владимирского собора, там поворачивали и подъезжали к Победоносцевскому подъезду.

Толстый, седобородый швейцар Корней открывал дверцу. Этот Корней внушал мне гораздо больше уважения, чем сам Победоносцев.

Синодский дом, где он жил, был огромен. Бесчисленное количество зал совершенно сбивало меня с толку. Помню моленную комнату, всю заставленную иконами и сияющую лампадами.

Жена Победоносцева, Екатерина Александровна, сравнительно с ним еще очень молодая женщина, принадлежала к миру взрослых и потому меня мало интересовала. Гораздо позднее я заметила, что она очень величественна и красива. А заинтересовалась ею, перестав с нею встречаться: я узнала, что будто бы Толстой писал с нее свою Анну Каренину. Думаю теперь, что это не так уж просто по фактам ее жизни: она была, видимо, очень высокого мнения о своем муже, держалась царственно строго, ни о каких событиях, подобных в жизни Анны Карениной, никогда мне никто не говорил.

Великолепные были у нее волосы, заложенные низко тяжелыми жгутами. А на плечах она носила бархатную, такую особенную красную тальму, или уж не знаю, как назвать.

Была у них приемная дочь, Марфинька, моложе меня года на три. Ей завивали длинные букли, лицо у нее было очень тонкое и капризное.

И несмотря на то, что в Победоносцевском доме был ребенок, я никогда не думала, что меня возят в гости к Марфиньке. — Я ездила исключительно к моему другу Константину Петровичу.

Бабушка, бывало, сидит с Екатериной Александровной, чай пьет, а мы с Константином Петровичем.

Марфинька кричит ему:

— Победоноска, на колени.

Потом мы его валим на ковер и катаем.

Если есть другие дети, — и они почти всегда бывали, — помню двух девочек в красных платьях, которые рассказывали, что они родились в Константинополе, — тогда Марфинька с ними, а я неизменно с Константином Петровичем.

Помню, как он повел меня однажды в свой деловой кабинет. Там было очень много народу: огромная и толстая монахиня, архиерей, важные чи-

новники, генералы. Не помню, какие вопросы они мне задавали и что я отвечала. Но все время у меня было чувство, что вот я с моим другом, и все это понимают, и совершенно естественно, что старый Победоносцев мой друг.

Рядом с кабинетом была какая-то совсем особенная комната. В ней все стены были завешаны детскими портретами, а в углу стоял волшебный шкаф. Оттуда извлекались куклы, книги с великолепными картинками, различные игрушки.

Однажды я была у Константина Петровича на Пасху. Он извлек из шкафа огромное яйцо лукутинской работы и похристовался со мной. Внутри яйца было написано:

«Его Высокопревосходительству Константину Петровичу Победоносцеву от Петербургских старообрядцев».

Это яйцо я потом очень долго хранила.

Однажды приехал Константин Петрович к бабушке какой-то необычайный. Она его спрашивает:

— Что это, Константин Петрович, вы как будто похорошели?

— Правда, — говорит, — похорошел: Государыня Марья Федоровна зубы велела вставить. Как ни отнекивался, а пришлось.

Вообще же к высочайшим особам относился он без всякого особого пиетета, как, впрочем, и ко всем людям. Я слыхала его беглые отзывы и о Витте, и о многих мне тогда неизвестных вершителях судьбы русского народа. Всегда без злобы, но с определенной усмешечкой — вот, мол, какие теперь умники нашлись, — не нам, старикам, чета.

Как-то приехал Константин Петрович в обычном своем засаленном сюртуке, бантик галстука криво повязан.

— Был я сейчас, любезнейшая Елизавета Александровна, у этой дуры, — он назвал имя, — и длинный разговор о том, какие люди раньше были, — Елена Павловна и другие, — и какие теперь пошли.

Я была страшно удивлена: цари тогда были для меня чем-то совершенно сказочным. Я была уверена, например, что царская карета обязательно должна по коврам ездить. И по аналогии с лодками, которые спускают в море, заноса вперед уже использованные козлы, я была уверена, что особые слуги несут уже пройденные ковры вперед, на дорогу перед царской каретой.

А тут вдруг засаленный сюртук, кривой галстук и непочтительность выражения Константина Петровича.

Когда я приезжала в Петербург, бабушка в тот же день писала Победоносцеву:

«Любезнейший Константин Петрович, приехала Лизанька».

На следующее утро он появлялся с книгами и игрушками, улыбался ласково, расспрашивал о моем, рассказывал о себе.

Научившись писать, я стала аккуратно поздравлять его на Пасху и на Рождество. Потом переписка стала более частой.

К сожалению, у меня сейчас не сохранились его письма. Но вот их приблизительный вид и содержание: написаны они бывали на половинке по-

чтового листа, сложенного вдвое, — каждая последующая строчка дальше от края бумаги, чем предыдущая. Обращение всегда: «Милая Лизанька».

Первые письма, когда мне было лет 6–9, — заключали только сообщения, что бабушка здорова, скучает обо мне, подарила Марфиньке огромную куклу и т.д.

Потом письма становились серьезнее и нравоучительнее. Помню одну фразу точно:

«Слышал я, что ты хорошо учишься и много читаешь. Но, друг мой, не это главное, — а главное сохранить душу высокую и чистую, способную понимать все прекрасное».

В минуты всяческих детских неприятностей и огорчений, я садилась писать Константину Петровичу. Думаю теперь, что мои письма к нему были самым искренним изложением моей детской философии.

Мать мою Победоносцев встречал у бабушки раза два-три. Отца ни разу не видел. Думаю, что отец не чувствовал к нему никакой симпатии.

И вот, несмотря на то, что семья моя была ему совершенно чужой, — он быстро и аккуратно отвечал на все мои письма, ощущая меня, видимо, не только как внучку своего друга, «любезнейшей» Елизаветы Александровны, а как человека, с которым у него есть определенные отношения.

Помню, как наши знакомые удивлялись всегда: зачем нужна Победоносцеву эта переписка с маленькой девочкой. У меня на это был точный ответ: потому что мы друзья.

Так шло дело до 1904 года. Мне исполнилось тогда 12 лет. Кончалась японская война. Начиналась революция. У нас в глуши и война и революция чувствовались, конечно, меньше, чем в центре. Но война дала даже и мне с братом ощущение какого-то большого унижения, — или, может быть, просто так передавались настроения старших. Я помню, как вошел отец в библиотеку и читал газету с описанием подробностей цусимского боя.

И началась революция... Она воспринималась мною, как нечто направленное лично против Победоносцева. И потому, поначалу, я относилась к ней совершенно нетерпимо.

Помню, как, узнав однажды случайно, что у одного нашего доброго знакомого хранится нелегальная литература, я мечтала тихонько забраться к нему и все сжечь. И мечтала об этом, как о подвиге каком-то, и приблизительно так же азартно, как через год мечтала уже о революционных подвигах.

Однажды к отцу пришел по делу один грузин. Отец оставил его пить чай. Я слыхала от кого-то, что он революционер, и, что если что обнаружится, — ему несдобровать. Издали я решила, что так и надо.

Но когда я увидела, что вот сидит у нас молодой человек за чайным столом, а ему, мол, «несдобровать», я сразу представила, что это значит, «несдобровать», — и мне стало его очень жалко. Но тотчас же я решила, что это слабость.

Ушла в гостиную, достала портрет Победоносцева с надписью: «Милой Лизаньке», — и на портрете непокорный галстук с одной стороны вывился из-под воротничка, — села в уголок и стала смотреть на него.

Чтобы не ослабеть, не сдаться, не пожалеть, чтоб остаться верной моему другу.

Потом мы переехали в Никитский сад под Ялту. Отец мой был назначен туда директором училища садоводства и виноделия.

Начались события 1905 года.

Ученики ходили в Ялту на митинги. Однажды отцу по телефону сообщили, что на обратном пути их собирается избить черная сотня, — погромщики из Воронцовской слободки. Отец выехал в коляске им навстречу, — «выручать».

Отец мой был огромный человек, на голову выше всякого и более шести пудов веса. Я думала тогда, что он едет выручать, рассчитывая на свою физическую, действительно невероятную, силу.

Но расчет его, конечно, был иной. Когда хулиганы увидели всем известную коляску директора Никитского училища, а вокруг нее чинно идущих учеников, то, конечно, решили, что драка не пройдет безнаказанно, и ученики вернулись домой благополучно.

В моей же душе началась большая борьба. С одной стороны, отец, — защищающий всю эту революционно-настроенную и казавшуюся мне очень симпатичной молодежь. С другой стороны, в заповедном стане Победоносцева, — погромщики из Воронцовской слободки.

Было над чем призадуматься.

Отец предложил ученикам организовать совет старост, разрешил митинги. Я слушала приезжающих из Ялты ораторов, подвергалась ежедневно распропагандированию учеников, и чувствовала, что все трещит, — все, кроме моей личной дружбы и любви к Константину Петровичу.

Долой царя? — Я на это легко соглашалась.

Республика? Власть народа? — Тоже все выходит гладко и ловко.

Российская социал-демократическая рабочая партия? Партия социалистов-революционеров? — В этом я, конечно, плохо разбиралась. Одна у меня немножко олицетворялась учеником Зосимовым и хромым ялтинским оратором, а другая, — учеником Ротанем и рассказами о всяческих подвигах и жертвах.

Но вообще, вся эта суетливо-восторженная и героическая революция была очень приемлема. Точно так же и социализм не вызывал никаких возражений. А борьба, риск, конспирация, подвиг, геройство, — все это было само по себе, вне зависимости от цели, привлекательно.

И на пути полного приятия всего этого нового для меня мира стояло только одно, но огромное препятствие, — Константин Петрович.

Увлечение революцией казалось мне каким-то личным предательством Победоносцева, хотя, конечно, ни о какой политике мы с ним не говорили, и ни о каких моих обязательствах перед ним не могло быть и речи.

И казалось невероятным, что я, зная его столько лет, будучи с ним в самой настоящей дружбе, проглядела, не заметила того, что известно всему русскому народу.

За то, что русский народ ошибается, а я права, — говорила моя близкая дружба с Константином Петровичем, возможность наблюдать непосредственно. А против этого было то, что не может же весь русский народ ошибаться, а я одна только и знаю настоящую правду.

И эти сомнения теоретически не поддавались никакому разрешению.

Помню сатирические журналы того времени: на красном фоне революционного пожара зеленые уши нетопыря. Это меня просто уже оскорбляло.

Я любила старческое лицо Победоносцева с умными ласковыми глазами в очках, со складками сухой и морщинистой кожи под подбородком. И нетопырь с зелеными ушами, — это было в моем представлении явной клеветой.

Но протекало это так мучительно только в области теории и внутренних переживаний, о которых я рассказывала только отцу, дававшему мне исключительную свободу выбора и собственных решений.

А на практике все было гораздо проще.

Помню, отец уезжал на несколько дней. Мы его все провожали на пристани. Там же случайно был знаменитый ялтинский исправник Гвоздевич. Видимо, желая поглумиться над отцом, который уже прослыл чуть ли не революционером, Гвоздевич дождался, когда пароход начал отчаливать, и тогда крикнул отцу, что вот, мол, забыл раньше сказать, а сейчас в Никитском училище должен быть обыск и, наверное, некоторые аресты.

Отец беспомощно разводил руками на отчаливающем пароходе. Он знал, что у учеников в этом отношении не все благополучно и что он, как директор, должен был бы быть во время обыска в Никите.

Увидав его беспомощный жест, я сразу решила принять в этом деле участие. С пристани пошла в гостиницу, принадлежащую отцу моей одноклассницы, с которой мы очень дружили. По телефону вызвала кого-то из учеников и сообщила все слышанное.

Обыск, конечно, состоялся. Но от момента моего телефонного разговора до того времени, когда Гвоздевич успел прибыть в Никиту, в училище топились все печи, — и предосудительного ничего не было найдено.

Таким образом, практически я уже изменила моему другу, — я была не с ним.

К весне 1906 года началась реакция. По доносу эконома и священника, служивших в охранке и поддержанных другими учителями, которым режим моего отца казался совершенно неприемлемым, он был уволен с должности директора.

Мы поехали в Петербург.

Я решила выяснить все свои сомнения у самого Победоносцева. Помню, с каким волнением шла к нему.

Тот же ласковый взгляд, тот же засаленный сюртук, тот же интерес к моим интересам. Мне казалось одно мгновение, что вопрос решен, и решен в пользу Константина Петровича.

— Константин Петрович, мне надо поговорить с вами серьезно, наедине.

Он не удивился, повел меня в свой кабинет, закрыл двери.

— В чем дело?

Как объяснить, в чем дело? Надо одним словом все сказать и в одном слове получить ответ на все. Я сидела против него в глубоком кресле. Он пристально и ласково смотрел на меня в свои большие очки.

— Константин Петрович, что есть истина?

Вопрос был пилатовский. Но он действительно все сказал. Победоносцев понял, сколько вопросов покрыто им, понял все, что делается у меня в душе. Он усмехнулся и ответил ровным голосом.

— Милый мой друг Лизанька, истина в любви, конечно. Но многие думают, что истина в любви к дальнему. Любовь к дальнему — не любовь. Если бы каждый любил своего ближнего, настоящего ближнего, находящегося действительно около него, то любовь к дальнему не была бы нужна. Неспособные любить ближнего любят дальнего. Так и в делах: дальние и большие дела, — не дела. А настоящие дела — ближние; малые; незаметные. Подвиг всегда незаметен. Подвиг не в позе, а в самопожертвовании, в скромности...

Тогда же я сразу решила про себя, что Константин Петрович экзамена не выдержал: были правы те, кто смотрел на него издали.

Он, видимо, тоже почувствовал, что в наших отношениях что-то поварилось. Это была наша последняя встреча.

Вскоре мы уехали на юг, в наш маленький город. Умер мой отец.

Потом умерла бабушка.

Не помню сейчас точно, когда умер Победоносцев. Во время его смерти я была опять в Петербурге, но на похороны не пошла.

Вообще, с момента нашего последнего разговора и много лет, почти до времени, когда я стала взрослым человеком, у меня оставалось чувство какой-то затаенной обиды против него. Я не смогла почувствовать его сразу совершенно чужим человеком, не сумела опустошить того места в моей душе, которое принадлежало ему; и поэтому долго продолжала болеть нашим разрывом.

Ясно, конечно, что Победоносцев меня ни в чем не обманывал; но я сама обманывалась в нем, и этого не могла долго простить ему.

Сейчас все, что я пишу, — только воспоминание, и воспоминание бесконечно далекое от моего теперешнего мира, а потому и беспристрастное.

Мое желание, — рассказать о Победоносцеве то, что мало кому известно, и что немного сместит черты шаблонного облика его, данного нам неписанным каноном, о котором я говорила вначале.

ПОСЛЕДНИЕ РИМЛЯНЕ

В прежние времена были остры и болезненны споры между отцами и детьми. Естественно ждать, что при нашем быстром темпе жизни спор этот должен дойти до полного отрицания друг друга.

И на самом деле, это отсутствие понимания уже начинает проявляться. В XIX книжке «Современных записок» Антон Крайний поместил «Литературную запись о молодых и средних» — статью, в которой ребром поставил вопрос: «каково поступательное движение и развитие нашей литературы за последние годы революции, *если оно есть?*» Последние слова, напечатанные курсивом, дают заранее повод предполагать, что автор статьи отрицает существование этого поступательного движения. Так оно и оказывается при дальнейшем чтении: автор «не утверждает, не думает, но боится, что развития русской литературы нет».

«Таланты стали употребляться на схватывание и передачу видимого, на извлечение из видимого черт наиболее кошмарных»...

«Юные... видели жизнь, как она есть в России... Сравнивать не с чем... Видели безобразия. Но не знают, что это безобразия, потому что не видели красивого. Чувства красоты они не могли утратить, — они его не имели...»

А Шлецер, рецензируя в XX книжке «Современных записок» 3-й том «Окна», говорит о том, что с положениями Антона Крайнего невольно приходится соглашаться, что, может быть, этому омертвлению русской литературы есть объяснение в чисто социальных условиях, но это самого факта не меняет.

Одним словом, группа писателей, принадлежащих к последнему до-революционному периоду русской литературы, дает совершенно определенный отзыв о следующем писательском поколении и с большой болью и искренностью говорит о гибели старых традиций, о перерыве в поступательном движении литературы.

О новой литературе я говорить не буду, потому что просто недостаточно знаю ее. Думаю, что вообще за пределами России ее трудно знать настолько, чтобы не рисковать ошибиться в ее оценке. Но о старой литературе скажу, потому что считаю совершенно ясным, что ее традиций продолжать *нельзя*.

Нельзя не потому, что новое поколение должно отрицательно относиться к старым авторитетам, не потому, что в последний предреволюционный период у нас не было больших и талантливых писателей, — а нельзя потому, что, — как верно замечает А. Крайний, — «русская литература никогда не шла вне жизни».

Жизнь же предреволюционного периода ничем и ни в какой степени не дает тех восприятий, какие дает период революции и какие, вне сомнения, будет давать следующий период.

Революции бывали в истории не раз; и часто вскармливались они идейно предшествующей литературой, связывались ею с прошлым, отбрасывали свой ответ на грядущий литературный период, — таким образом оставалась целой и нерушимой связь всех литературных периодов. Так было во Франции в эпоху Великой Революции, вскормленной энциклопедистами и вскормившей Байрона и романтиков. Так оно естественно должно быть в исторические периоды, не отмеченные знаком перехода из одной эры жизни человечества в совершенно другую эру.

Но в периоды, обозначающие великие грани, таких постепенных переходов ждать не приходится. После Аттилы трава не росла, и нельзя было продолжать традицию римской культуры. Надо было начинать все заново, строить свою новую культуру. И только через большой промежуток времени, когда эта новая культура окрепла, она смогла воспользоваться достижениями предшествующей эры, принять их вдумчиво и объективно.

В области культуры, так же, как и во всех областях жизни человеческой, грань между двумя эрами истории лежит именно между годами, предшествующими войне и революции, и годами последующими.

Очень вероятно, что период борьбы двух этих эр еще не закончен. И совершенно достоверно, что в русской истории культуры большевизм должен был сыграть роль Аттилы, под копытами коня которого трава не растет. Теперь, после того, как это шествие Аттилы духовно изжито, несомненно должно обозначиться стремление у писателей «схватить и передать видимое», настолько оно ново, настолько оно не устоялось еще. В этом есть, может быть, известное сходство с каким-нибудь киевским древним летописцем, который одинаково бережно стремится занести на страницы своей летописи и то, что князь воевал с кочевниками, и то, что в Днепре нашли уродца о двух головах.

Но, повторяю, подробно останавливаться на литературе новой не считаю для себя возможным.

Теперь о литературе старой. А сначала о последних годах прошлой эры в истории человечества.

* * *

После революции 1905 года отход от общественной работы у молодежи обозначился очень определенно. Революционный подъем в русской интеллигенции переживал наиболее сильный кризис. Пожалуй, такой полной апатии к общественной работе не наблюдалось в течение всего прошлого века.

Но это не значило, что молодежь была довольна существующим положением вещей. Весь тот период был в жизни молодежи отмечен мучительным поиском новых путей, потому что «так дальше жить нельзя».

Трудно определить, что должно было измениться, только несомненным было одно, что данные условия жизни настолько тусклы, настолько мешают свободному выбору жизненного пути, настолько опостытели всем, что «так дальше жить нельзя». Это был основной лозунг у молодежи довоенного периода. Как бы ни строились планы на будущее, — во всех них неизменной была предпосылка: сначала все «это» должно измениться, а потом будет то-то и то-то.

— Период реакции, — скажут одни.

— Послереволюционная неврастения, — скажут другие.

Думаю, что ни то, ни другое, а скорее острое ощущение, что «время наше на исходе», что мы стоим у самой грани, что скоро начинается неведомое.

Конечно, не только молодежь чувствовала приближающуюся гибель старого мира. Этим чувством были до конца проникнуты все, — многие бессознательно.

Теперь, оглядываясь назад, с точностью и ясностью видишь, что все делалось тогда именно под этим знаком гибельности. Под этим знаком вошел в царский дворец Распутин, под этим знаком быстро разлагалась устойчивая обычно психология простого обывателя и он терял представление о должном, о понятном и приемлемом ходе жизни. Под этим знаком в некоторых кругах русской интеллигенции остро выросло чувство какой-то мистической веры в путь войны и очищения через этот путь.

Но отношение к этой гибельности было различное.

Молодежь еще слишком мало срослась со старой культурой, слишком уродливо восприняла последний лик этой старой культуры, чтобы о чем-либо жалеть.

Старшее поколение, несомненно, жалело, потому что видело более объективно и другие лики культуры, не затемняло их чрезмерным преувеличением современности и поэтому так или иначе стремилось что-то удержать, что-то спасти.

Молодежь чувствовала себя грядущими гуннами, а старшее поколение, при всех своих индивидуальных различиях, противопоставляло себя гуннам, даже относясь к ним неодинаково.

Вспомните только ожидание грядущих гуннов у Брюсова, приветствующего их, и стремление Вячеслава Иванова «унести от них свой светильник в катакомбы, в пещеры». Оба знали, что гунны близятся, оба знали, что

они сметут все прошлое на своем пути, и, относясь к ним по-разному, одинаково противопоставляли себя им. Вячеслав Иванов становился на защиту старой культуры, стремился уберечь ее от полного уничтожения, а Брюсов предавал ее и вместе с нею и себя, потому что чувствовал все же, что он-то лично с нею связан, а не с гуннами, которые, уничтожая старую культуру, и его вместе с нею уничтожат.

Они были оба в одинаковой степени последними представителями старой эры, они крепко срослись с ней, они дали завершение ей. Без их работы, без их достижений старый мир не сказал бы своего последнего слова. И они болезненно чувствовали, что к старой эре, т.е. и к ним, приближается смерть.

Сравнить их можно с последними римлянами, видящими уже гибель своего римского мира.

Как же они относились к грядущему?

Само собой разумеется, что я говорю не о политическом их отношении к событиям. В области политики все еще было подвластно каким-то якобы очень хорошо изученным законам. Тут продолжала царить простая человеческая логика и вера в постепенный ход событий, — даже и революционный способ разрешения политических противоречий не мешал логическому подходу к вопросу и не уничтожал возможности обсуждать программы и давать им трезвую оценку.

Но в другой области, в области интуитивного восприятия грядущей катастрофы, логический путь мысли оказывался совершенно бессильным. Вся напряженная волна мистики, характеризующая мысль символистов, определенно указывает, что они усиленно искали выхода из того тупика, в который их загнала современность.

Связанные кровными узами с прошлым, они в мистической глубине своей не могли не быть консерваторами, уносящими свои светильники в катакомбы.

А наряду с таким пассивным консерватизмом, с стремлением спрятать, уберечь несомненно развивалось и другое течение, — побороть грядущую стихию, найти новое слово, тесно связанное со старыми словами, и новому этому понятному слову подчинить грядущее, заставить это грядущее принять старое наследство, связаться со старой культурой.

Обращусь к воспоминаниям личным.

Новичком, поистине варваром, пришлось мне бывать на «Башне», у Вячеслава Иванова. Там собирались люди, в полной мере владеющие ключами от сокровищницы современной культуры.

Ночное бдение до зари, какая-то непередаваемая пряность и утонченность всех речей.

Сам Вячеслав Иванов, прозорливый и умный, одновременно с этим поражал каким-то напряженным любопытством к каждому отдельному человеку, — каждого внимательно рассмотрит, точно и почти всегда правильно определит, отыскает приемы тонкими и лукавыми, — потом только отойдет уже с большим безразличием.

И у меня было первое впечатление от этого нового мира такое, будто бы то, о чем мы таились даже перед самыми близкими, что нам казалось самым нашим глубинным достижением, — здесь обнажено, смакуется, является темой для остроумного и утонченного словесного турнира между Вячеславом Ивановым и Недоброво или Бердяевым, в дальнейшем Эрном и т.д.

Сначала мне казалось, что происходит это оттого, что наше сокровенное, — еще не подлинное достижение, что люди, достигшие больших высот, смотрят на наши холмики с долей презрения, что их достижение просто нам еще недоступно.

Потом наступила реакция: стало ясным, что сокровенного нет, что за покровом слов и цитат все стало обыденным, вера в новое и чудотворное слово утрачена бесповоротно.

Теперь вижу, что в обоих определениях была доля истины. Любопытство и даже известная жадность к каждому новому человеку определялась надеждой, что вдруг случайно в этом человеке откроется то, что так необходимо, — какая-то мысленная ступень, связывающая знакомое и понятное прошлое, уж слишком изученное и от этого ставшее таким обыденным, с грядущим хаосом и мраком.

Сокровенного действительно не было, потому что перед лицом этого грядущего хаоса ничто не давало покоя и уверенности; но жажда этого сокровенного была искренняя, мучительная и очень сильная.

В этот период мне пришлось много заниматься философией. Очень по-студенчески одолевая я премудрость отдельных философов, вместе с Кантом торжествовал победу над философской мыслью, не постигшей еще тайн критицизма, от Канта шел дальше, к неокантианцам. И каждый вновь постигнутый элемент знания именно по-студенчески воспринимался, как нечто очень прочное, близкое по своей достоверности к математике.

А на «Башне» или на заседаниях Религиозно-философского общества чувствовалось, что Кант, даже Платон, более того — все мыслители всех времен и народов, — в известном отношении младенцы какие-то, ушедшие в свой переулочек, не умеющие широко и всесторонне взглянуть на весь мир и отдающие свои силы на изучение одного ничтожного уголка этого мира.

Тут же, у наших современных мыслителей, не только Кантовский или Платоновский переулочек, а весь город с птичьего полета виден. И достижения прежних веков, во всем их творческом разнообразии, суммируются в одно целое, в единое здание, совершенное и законченное.

О ком говорили?

О Григории Богослове, о Штейнере, о страдающем боге Дионисе, о Христе, о Марксе, о Ницше, о Достоевском, о древней мудрости Востока, о Гете, — и обо всем с одинаковым знанием, с одинаковой возможностью обозреть все с птичьего полета, взять отовсюду самое ценное.

И не только самое ценное, — довести все до парадокса, обострить и уничтожить, соединить Христа с Дионисом, Канта с Крупном и т.д.

Как пример, приведу толкование «Бесов» Достоевского Вячеславом Ивановым. Ведь без углубления особенного «Бесы» настолько глубоки,

настолько мистичны, что об их каком-то двойном, даже тройном смысле спорить не приходится. Вячеслав Иванов разбирал символическое значение отдельных действующих лиц «Бесов». Ставрогин — «князь мира сего» — такое определение его с ясностью вытекает из слов Хромоножки, — сталкивается на пути своем с землей. Земная поверхность, доступная человеку, не углубленная мистическим значением понятия земли, выявлена в образе Лизаветы Николаевны, — недаром она в зеленом, символизирующем землю, платье описана в сцене в Скворешниках; там земля изображена в круге вечности, — комната, в которой происходит разговор между Лизой и Ставрогиным, — комната круглая, круг — символ вечности. Хромоножка — это недра земли, недоступные человеку, князю мира сего, от этого она изображена безумной, фиктивной женой Ставрогина, от этого она в высшей мудрости своей одна проникла в сущность его, — сущность князя мира сего.

Говорю я это по памяти; многие подробности уже ускользнули, может быть, и это передаю не совсем точно, но общий смысл толкования Вячеслава Иванова был именно таков. Характеризовать его можно так: уже мудрости Достоевского было мало, — он не разрешал смятения, которое все росло перед лицом грядущего, — хотелось эту мудрость углубить до беспредельного, найти на дне ее ключ к грядущей загадке.

К такому же явлению принадлежит трилогия Мережковского, в которой Юлиан Отступник, Леонардо да Винчи и Петр Великий слиты в какое-то среднее существо, напоминающее всего больше самого Мережковского, как мы его знаем по его творчеству. Факты жизни его героев доведены до парадокса, обострены в своих противоречивостях, — ясно указано, что простым логическим путем из этих противоречий выхода нет, — только путем изощренного слова и перевернутого наизнанку понятия можно найти выход из противоречия.

До некоторой степени с этим можно сблизить переход от марксизма к церковности у Бердяева; когда логика стала изменять, надо было найти понятие определенное и находящееся вне простых логических построений и им оперировать там, где иначе ничего не выходит.

Кстати, о церковности этой. На «Башне» о ней очень много говорили, говорили о ней и в Религиозно-философском обществе.

Основным утверждением было то, что вот верим, верим, верим. Тут, мол, уж все остальное ни к чему, раз попросту, по-настоящему верим и чувствуем свою общность со всем остальным Христовым телом — церковью, — тут уж выход из всего.

Но все казалось, что упоминание Софии-Премудрости Божьей, ссылки на Соловьева, вера в Богочеловечество, — это все одно, а церковность гораздо более понятна и доступна любой старой салопнице, бьющей по воскресеньям поклоны в церкви. Утеряно было главное для этого пути: «Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Детскости не было, не могло быть, — была старческая, все постигшая, охладевшая ко всему мудрость.

И церковность стала одной из культурных ценностей, тщательно изученной, положенной в общую сокровищницу культурных ценностей.

Таким образом, было все, кроме веры, веры во что бы то ни было; была только сильная воля к вере.

Отчего же все складывалось так?

Уж кому бы, кажется, легче дойти до последней степени мудрости, где открывается самая ясная, самая чистая простота, — простота, дающая веру, простота целостного единобожия, — как не тем, кто вкусил от всех истин, кто приобщился всем учениям, был в храмах всех богов.

На самом же деле ни веры, ни подлинного творчества не было.

Более того, — не могло быть.

Всякое творчество питается жизнью и в свою очередь пробивает русло для будущей жизни. И, несомненно, что если бы мы жили в другое время, жизнь давала бы другое питание, — Вячеслав Иванов был бы не только мудрым, но и пламенным, Бердяев мог бы стать Лютером, Карташев — Аввакумом и т.д.

Но и в последние годы эры чем они могли быть, кроме эклектиков?

Жизнь мелела. Впереди стена. Для творческого порыва, для веры, проистекающей из творчества, — никакого питания. А из прошлого давит тяжелый груз многовековых достижений, чужих творческих подъемов, чужой животворящей веры.

Умирать же не хочется. Не хочется безропотно отдавать себя гибели, исчезать с исчезающей эрой.

И вот это былое творчество, былая вера, такая понятная, изученная, доступная, — комбинируется, сочетается в причудливых узорах, кромсается на осколки, спаивается воедино, — авось где-нибудь, случайно, вспыхнет новая искра, загорится новый свет, который преобразит мир, даст ему новый смысл, свяжет воедино уходящее и грядущее.

Но старые творения оставались по-прежнему неподвижными, но старая вера не могла родить новых заповедей, — и люди кончали тем, что возвращались к какому-нибудь острому парадоксу, утверждали его, вопили: «Веруем, веруем», не веря, только мучительно желая верить.

Мне случалось и тогда встретить точное и сознательное отношение к приближающейся гибели. При первой моей встрече с Блоком (в 1908 году) он говорил о том, что принадлежит к умирающему, он советовал всем, кто еще кровно не связан с этими умирающими, бежать от них, искать новых путей. Для меня сейчас вне сомнения, что он-то лично меньше чем кто-либо принадлежал к тому миру, умирание которого видел; силою своего пророческого дара он перенес свое творчество из современности в годы грядущие.

Но о Блоке особо.

Замечу только, что вряд ли можно было кому-нибудь не чувствовать себя связанными кровно с умирающим временем, вряд ли кто-либо сумел в полной мере осуществить бегство.

* * *

Последние римляне, впитавшие в себя мудрость долгих веков, бессознательно все же чувствовали, как кровь холодеет в жилах.

Потом началась война. С наибольшей остротой поставила она вопрос о гибели всего того, что было до нее. Какими бы мудрыми философствованиями ни прикрывались люди тогда, как бы ни говорили о Царьграде и св. Софии или даже о том, что только вот теперь, мол, при царе его помазанность проявляется, — за всеми словами и самоутешениями чувствовалось, что уже больше отойти от основного вопроса, отсрочить его разрешение нельзя.

В этот период мне случалось бывать у Вячеслава Иванова в Москве. Сознаю, что во время ночных бесед с ним всегда чувствовалось, что он подавляет своей мудростью, своим всезнанием, своим умением утончить каждую мысль и найти ее корни. Каждый раз верилось, что и здесь течет вода живая; и только в сумеречном утре, уже на улице, опять и опять чувствовалось: «Были, — уже отошли»...

А война все настойчивее говорила о том, что скоро ничего не будет, что мы все обнищаем, обнищаем до конца, что останется только голый человек на голой земле, — образ, созданный провидчески именно в последнее время эры.

Об этом внутреннем грядущем обнищании говорили как-то с Вячеславом Ивановым. И о Царьграде рядом.

Говорилось о том, что до владения Царьградом Русь должна раньше очиститься от своих многовековых грехов, что крест на св. Софии не может быть результатом только победоносной войны, которая совершенных грехов не покроеет, не искупит.

Для того, чтобы владеть св. Софией, необходимо раньше обнищать до конца, сознательно из глубины своего нищенства отказаться от Царьграда, отказаться от всякого нового венца, — и только тогда принять его, по Евангелию: «Се, раба Господня, да будет по слову Твоему», — т.е. полное отсутствие хотения или отказа, — а только — «да будет по слову Твоему», — из глубины сознания своего бессилия и своего нищенства.

Говорю об этом разговоре как об очень характерном для того времени. И самым характерным считаю, что вел его именно Вячеслав Иванов.

Может быть, все сказанное им было и верно, может быть, это и прозорливое указание на наше русское грядущее. Но ему ли обнищать, когда он сам заключил в себя неисчерпаемую сокровищницу культуры, когда все нищенство наше, уже наступившее, он иначе и не сможет рассматривать, как сквозь призму богатства своего, определять, классифицировать; до известной степени и будущую историю писать на основании прошлых традиций.

Будущая же история начинается со слов: в начале было... А до этого начала ничего не было... пустота. Копыто коня Аттилы.

Говорю я больше о Вячеславе Иванове по двум причинам: во-первых, считаю его индивидуально наиболее крупным представителем последних римлян, значение которого, может быть, главным образом личное даже значение, а не только значение его книг, — еще недостаточно оценено.

Во-вторых, с именем Вячеслава Иванова у меня ни в какой степени не связано ни малейшего отрицания. Я его принимаю целиком, очень ценю, люблю даже, — и на этом основании, говоря именно о нем, совершенно отвожу от себя всякий упрек в стремлении кого-либо унижить и развенчать, в желании внести элемент злобы и пристрастия в свои слова.

Говорю я только о неизбежном умирании традиций старой эры. Тут отдельные люди, конечно, не в силах были что-либо изменить.

И еще одна оговорка: утверждая, что новая история начнется со слов: «в начале было», — я, конечно, не стремлюсь доказать, что и фактически земля вся вымрет, а потом вновь заселится новыми людьми, которые начнут строить себе шалаши в лесах, охотиться на диких зверей и т.д.

Я только думаю, что тот культурный слой русского народа, который был фактически творцом русской литературы и иных видов русской культуры, должен будет уступить место совершенно иным пластам русского же народа, психология которых совершенно иная, чем психология уходящих. На этом основании и учитывая к тому же, что и жизненный опыт у тех, кто теперь будет призван выражать мысль русского народа, совершенно другой и питается совершенно другими источниками, — можно утверждать, что новое строительство начнется со слов: «в начале было», и только оформившись и окрепнув, выявив нам еще неведомое лицо свое, сможет в полной мере воспользоваться достижениями прежней эры.

* * *

Вернусь к утверждению А. Крайнего, что чувство красоты неведомо молодым, и что поэтому литература сейчас не имеет никакого поступательного движения. Он объясняет это отсутствие чувства красоты тем, что нет возможности учиться на красоте, — молодые только по инстинкту, по наследству могут ее ощущать.

Не так это все, конечно.

Разве сейчас закаты не такие, как десять лет тому назад? А в Петербурге не такие же белые ночи? И не такой разве снег зимой, и не такая трава весной?

Не в этом дело.

Дело в том, что культурная сокровищница, открытая для всех, кто жил в старой эре, сейчас для новых заперта или в лучшем случае оказалась в музее. И культурные достижения, бывшие для прежних своими, вошедшие в плоть и кровь, стали музейными номерами, на которые можно смотреть, а почувствовать их своими нельзя, — они под стеклом.

Поэтому для старых все новое кажется лишенным красоты, не связанным с прошлой красотой, а для новых надо создавать новое, на новой зеленой земле, без традиций, без авторитетов.

Римлянам не понять варваров, а варварам не понять римлян.

Кроме того, видимо, эстетическая оценка у различных людей, переживших русскую революцию, стала чрезвычайно разнообразной.

Я лично, например, не знаю более кошмарного литературного произведения, всецело построенного на «схватывании в передаче видимого», чем дневник Зинаиды Гиппиус, помещенный в «Русской мысли». А Гиппиус целиком принадлежит к поколению старому, владевшему еще ключами от культурных богатств.

И именно самым отрицательным в этом дневнике является то, что весь он построен только на основе «схватывания и передачи», что нет в нем никакого внутреннего стержня, дающего известную оценку схваченному и переданному, группирующему факты по их внутренней значимости. Стержнем таким нельзя ни в коей мере признать ту чисто обывательскую злобу, которая все окрашивает в один общий цвет. Обыватель не доволен, что жизнь стала неудобной, — и хлеба мало, и купить все дорого, и людей расстреливают.

И на основании этого своего недовольства он поведал миру все, что было им схвачено: в общей мешанине сплетни кухарки и разговор по телефону с Блоком, все свои большие и малые горести, все свои брюзжания, все недоумение и неумение разобраться в общей картине происходящего.

И рядом с дневником кажутся до известной степени более содержащими элемент красоты даже ультрареалистические произведения молодых, где с большим усилием авторы стремятся выгresti из хаоса событий к берегу, найти какую-то свою основную линию, преодолеть внутренне кровь и ужас, найти и в грязи подлинную и полновесную душу человеческую.

Интересно отметить, что еще задолго до катастрофы, когда внешние знаки о ней не говорили, в среде последних римлян начали появляться варвары.

Конечно, всегда, во все времена литература впитывала в себя элементы, не принадлежащие по своему складу к правящему литературному пласту. Таким впитыванием был приход «разночинцев», например.

Но раньше происходила довольно быстро ассимиляция, замечалась средняя линия между линией бывшей и той, которую несли новые люди; эти новые люди воспринимались именно как новые, — теперь же они воспринимались как чужие, как варвары, знающие совершенно другой круг истин, поклоняющиеся совершенно другим богам, говорящие на другом языке.

И литературный мир, утонченно-культурный, бесконечно изысканный, встречал их всегда с повышенным любопытством и вниманием.

Да оно и понятно: ища во всем мире воды живой, пригибаясь под гнетом такой тяжелой культуры, какой была культура прошлой эры, хотели попытаться в варварах, в людях нетронутых, легких, найти пути к обновлению. И чем их духовный облик был более чужд, чем больше разнились их боги от обычных богов, тем сильнее возбуждали они веру, что тут-то вот и лежит новое слово, которое, — стоит только понять, только вставить в логическую цепь старых слов, — чтоб желанный мост в будущее оказался найденным.

И так велика была эта страсть, — найти звено между уходящим и грядущим, что переоценивали варваров выше всякой меры; создавали боль-

шие литературные имена, где ничего по существу не было, кроме одного отрицательного признака, — отсутствия сходства с большинством.

Таков был приход на «Башню» Городецкого, отчасти Хлебникова. Позднее так же приняли Клюева и Есенина.

Их сразу определили: не наши, новые, кровь молодая. Радовались их культурной нетронутости, ждали от них настоящего, звонкого слова.

Этим объясняется нежность Вячеслава Иванова к Городецкому, этим объясняется чрезмерно высокая оценка стихов Клюева.

Но эти первые варвары обманули ожидания. Или их мало было и не осилили они стен старой крепости, или не подлинными они варварами были, — только произошло нечто, совершенно противоположное тому, чего ждали от них.

Вместо того, чтобы накинуться с враждою на древний мир и заставить его вступить в борьбу, — а в этой борьбе, может быть, и обновиться, окрепнуть, по-новому сознать себя, — варвары в первую очередь стали отрекаться от своего варварства — главного своего достоинства.

В то время, как подлинным римским гражданам опостылело уже это высокое звание, варвары стали добиваться признания и за ними римского гражданства. Ну, а в качестве таковых они, конечно, никому не были нужны, потому что выходили все время римлянами второго сорта, — и без них римлян было достаточно, — настоящих прирожденных.

А в жилах римлян ни капельки свежей крови от этих опытов с варварами не прибавилось.

Так кончилась и эта попытка ничем.

А жизнь мелела, мелела. Процесс перед революцией начал развиваться с головокружительной быстротой. Становилось все более душно. Слова звучали пустыми звуками. Вера умирала во всех окончательно. Ничего не было оправдано. Война давила сознание. И вместе с тем так мало чувствовалось всеми, что на войне люди умирают.

Как накипь, всплыла на поверхность жизни целая плеяда талантливых юношей, собиравшихся в «Бродячей Собаке», позднее в «Привале Комедиантов», одетых всегда чрезвычайно изысканно, читающих очень хорошо написанные, но такие пустозвонные стихи, всех их не перечислишь, — Георгий Иванов, Ивнев, — и не вспомнишь, — их было десятков, самое меньшее. Да и Игорь Северянин к ним принадлежал.

Уже и говорить им не о чем.

Отлетала уже душа от старой эры. Был гроб повапленный.

Был еще другой путь в последние годы эры. Путь, не обозначенный таким напряженным исканием, как путь мудрых. Путь более примиренный, более склонявшийся перед лицом грядущего уничтожения. Это путь крайнего эстетизма.

Да и не эстетизм это на самом деле, а просто взгляд такой на мир, когда знаешь, чтомотришь в последний раз, когда любовно и точно стараешься запечатлеть каждую подробность уходящего.

Эстетизм этот наш был любовью ко всему, — к каждой вещи, к каждому звуку, к каждой мысли, к каждому движению души человеческой. Осторожно, чтобы не вспугнуть, чтобы не сместить случайных черт, все рассматривалось, все описывалось.

Ведь в последний раз, — завтра так не будет. Завтра все сместится в хаос и мрак.

И любя все, хотели эстеты наши изобразить это все так, чтобы и в будущем, когда ничего не будет, каждая вещь продолжала бы жить, каждую вещь можно было бы почувствовать, потрогать.

В форме совершенной стремились они изобразить умирающий мир, стремились создать своим творчеством «зеркало вещей», двойник мира.

Поэты делали это с напряженной любовью. Критики, учувшие дух этого настроения, но менее, может быть, любовные, доводили такое отношение к миру до крайних пределов.

Мне помнится собрание в редакции «Аполлона». Разбирали стихи Ахматовой. Она сама, быть может, больше всех удивлялась тем открытиям, которые делали в ее строках критики. Она впервые узнавала, что здесь то следует традициям Пушкина и, кстати, именно таким традициям, которым до сих пор ни один поэт не следовал, что такое-то и такое-то сочетание звуков применено ею, чтобы передать такое-то и такое-то чувство, а данный ритм сознательно избран для передачи определенного настроения.

Непосредственное восприятие было заменено научностью. Может быть, это во многих отношениях и законно и правильно, но все же создавалось впечатление, что не современник подходит к современному поэту, а ученые археологи измеряют, классифицируют, упаковывают в ящики и отсылают в музеи произведение древнего искусства.

Это опять-таки уносили свои светильники в катакомбы. Распределяли их там по полочкам, чтобы сырость не испортила, чтобы ветер не развеял, чтобы не рассыпались прахом до того далекого времени, когда придет новый ценитель и сможет по осколкам нашего искусства воссоздать нашу жизнь.

Из общей линии эстетизма выделился акмеизм.

Акме — вершина, острие. Все поэты, примыкавшие к этому течению, могут быть разделены сообразно с этим двойным значением слова «акме».

Одни из них, подобно Гумилеву или Мандельштаму, приняли слово «акме» как слово, обозначающее вершину, — вершину творчества, стремление к творческому совершенству, к включению в свой сотворенный мир всего мира, видимого с творческой вершины. Для них акмеизм был крайним утверждением эстетизма.

Другие поэты, — главным образом Анна Ахматова и потом все ее бесчисленные подражатели, — приняли ближе второе значение «акме», — острие.

Оставаясь такими же эстетам, любовно культивируя отображение всего мира, — хлыстик, перчатки, каждая мелочь, каждая случайная вещь внимательно ими описывалась, бережно консервировалась, — они все же считали психологически неизбежным для себя среди этого мира милых вещей, на самом острие своего произведения, в минуту его творческого разрешения отобразить то жало, которое все время чувствовали в своей душе, которое повышало любовное отношение к миру.

Точно в светлой и уютной комнате, в которой человек прочно и хорошо обжился, — в окне случайно мелькнул ужас и страх, и на минуту всю комнату полонила жуть темной ночи, в которой совершается неведомое.

И это всегдашнее напоминание о жути, всегдашняя оглядка на окно, которое соединяет комнату с внешним миром, придает особую значимость стихам Ахматовой, увеличивает тайну и смысл тех простых и комнатных вещей и чувств, с которыми она имеет дело.

Смело можно сказать, что это еще новое отражение общего, — чувство идущей гибели, стремление или спрятаться от нее, или противопоставить ей свой мир, часто с полным пониманием, что противопоставить-то нечего.

А, впрочем, может быть, и верно, что описанные Ахматовой перчатки действительно останутся, будут долго, долго жить, когда всей жизни, во время которой они существовали, уже не будет.

Самым, пожалуй, ярким и завершенным представителем группы эстетов был Гумилев.

Когда читаешь его стихи, насыщенные любовью ко всему, о чем он пишет, насыщенные и любовью к тому, как он пишет, не кажется ли, что любовь эта корнем своим имеет желание запечатлеть все, все вобрать в свою память.

И с другой стороны, каждая вещь, каждое чувство, о котором он говорит, заострено, застыло, стало чувством, бывшим давно, когда-то, — теперь его можно изучать, смотреть на него, удивляться красоте его, совершенству формы лучших стихов античного мира. И там и тут знаешь, что это ты читаешь последнее слово; если воспримешь все до конца, то больше в этой области не удивишься ничему, пройдешь мимо всего спокойно.

И вспоминается, как Гумилев убеждал молодого художника рисовать ковры, на которых были бы бабочки, птицы, цветы и пальмы, еще обезьяны, жирафы, — все, имеющее цвет, форму, неизменное, вещи.

Вопрос не в творчестве новых вещей, а в комбинации уже сотворенного.

Будто ясным ему было, что все элементы, которые можно комбинировать, уже созданы и не стоит тратить сил на поиски новых, — это неосуществимо — найти новое. Хорошо то, что уже устоялось, что будет красочной деталью целого.

Синдик Цеха поэтов и его создатель, создатель акмеизма...

Ремесло свое, ремесло поэта не понимал ли он как долг некий, — в совершенном творении отобразить мир, чтобы мир этот хотя бы только в совершенных стихах продолжал жить, — другой жизни ему не было суждено.

И из такого понимания значения роли поэта вытекает то, что единственным достойным делом на земле он считал быть поэтом. Остальное все принадлежит к умирающей современности; остальное все временно и сроки ему поставлены краткие, — поэт же один творит для грядущего, поэту одному дано избавить современный мир от смерти и вынести осколки его в будущую жизнь.

Но Гумилев был сам, как индивидуальность, слишком живым человеком, слишком борцом, чтобы безропотно принять смерть и работать только для какого-то неведомого будущего ценителя.

Он все время пытался найти пути, пытался влить кровь в дряхлеющую культуру последних дней.

И искал он этих путей везде. Отсюда и «муза дальних странствий», отсюда и путешествия его по Африке, отсюда мечта о Синдбаде-мореходе, о конквистадорах, наконец, отсюда и ясное, героическое отношение его к войне, гордость георгиями своими солдатскими и, может быть, отсюда и смерть его от чекистских пуль.

Чего он искал?

Еще задолго до войны сам он это формулировал так:

«Я буду очень благодарен тому, кто меня напугает».

Что это? Молодая бравада? Стремление пококотничать своим бесстрашием? Желание быть зачисленным в число славных авантюристов, любимых им героев?

Нет, так кажется только с первого взгляда: ему хвастаться нечем, потому что и действительно трудно чего-нибудь испугаться среди мертвых вещей, неспособных воскреснуть и создать что-нибудь новое. Закон их мертвого существования изучен, пропорции измерены, свойства определены. Пусть часто они прекрасны. Но живому хочется живого, — хочется не смерти, — пусть даже прекрасной, — а бурь, риска, питания.

И в этом отношении он гораздо больше видел, чем видели мудрые. Для него иллюзий не было. Слов старых он не сочетал, чтоб добиться чего-то нового, не искал животворящей веры, — слишком ясным для него было, что в этом, данном мире все равно такие попытки обречены на неудачу.

В иных мирах искал он дорог, но и они приводили роковым образом назад, к стене.

В комнате его пахло странно, — он говорил, что носорожьим жиром, которым натерты абиссинские картины, — на диванах лежали леопардовые шкуры, на стенах висели доспехи и браслеты из Африки.

Это все трофеи из борьбы с главным врагом, которого он определял так: «Седая, незолотая старина»... Старина ли? Не современность ли?

И странно то, что Гумилев, так трезво определивший бесцельность искания путей к обновлению в пределах нашей культуры, мог наивно мечтать, что какая-то маленькая и бессильная духовно Абиссиния или мертвая африканская пустыня со своими львами и одинокими оазисами может что-то изменить, может оказаться полустанком на пути в новый мир.

Всего вероятнее, что по-настоящему у него этой веры не было, — было просто стремление уйти, не присутствовать при разложении жизни.

«Я никогда не встретил дамы
Той, чье сердце непреклонно».

Кому же в мире быть верным после этого? Камни рассыпались в песок, жизнь разлагалась на составные свои части.

Потом появился Гумилев в защитной рубашке, с какой-то цветной кистью, принадлежностью того полка, в котором он служил, — с несколькими георгиевскими крестами...

А на самом деле незолотая старина уходящего мира не изменилась, не нашла новых путей, не сумела напугать неожиданностью Гумилева; человеческая кровь, — говорил он в стихах своих, — «не святей изумрудного сока трав».

Через кровь, значит, тоже ничего не узнавалось, была она тоже только одним из явлений, изученным, мертвым фактом в мертвой жизни.

Наконец, последний этап в жизни Гумилева. Чекистская пуля.

Страшно себе представить человека, идущего на смерть. Кажется, что наряду с волной душевной смятенности должна где-то в глубинах его обозначиться очевидная, ясная и простая истина, примиряющая все.

И несмотря на то, что не знаю я последних часов жизни Гумилева, думается мне, что и в этот последний свой путь на земле шел он с таким же чувством полной неудовлетворенности, полной невозможности найти подлинный выход, оживить старый мир, сочетать его с грядущим.

Так и ушел он одною из последних глав книги о том, что было: как росла трава, как мечтали люди о колокольчиках в желтом Китае, о высокой пальме в оазисе, о мудром Гуссейне, — обо всем, что обещало вывести на дорогу и привело опять все к той же стене.

* * *

Пока мне пришлось касаться тех представителей литературного мира, которые еще были тесно связаны со стариной, с прежней культурой. Они чувствовали смерть этой прежней культуры, многие даже понимали, что лежит перед ними не живое существо, а покойник, но все ассоциации были у них не со смертью, а с тем временем, когда этот покойник был живым и животворящим.

Смерть делала только их восприятие мира более острым. И верилось им, что еще не все кончено, разложение не коснулось любимого лица, старый мир может воскреснуть, может совершиться чудо.

За ними же шли те, кто видел только разложение. Прахом, гнилью, смрадом распадался старый мир, разлагался на простые элементы, терял связь между ними. И в этот недолгий период его разложения пришли новые люди, которые и отобразили его разъятым на части, лишенным гармонии, испепеленным и развеянным. Последними певцами старого мира были

футуристы. Злой иронией над ними звучит их наименование, — будущего они не знали и не чуяли даже. Пусть они действительно элементарны, как должен быть элементарным всякий художник первого периода эры. Но это еще не делает их действительно принадлежащими к первому периоду новой эры, — ведь в последние годы старого мира, в минуты его умирания, и он становится элементарным, распадается на части свои, теряет единство сложного существа.

И именно эта элементарность разложений свойственна и понятна футуристам, о ней говорит Маяковский, ею полно все творчество тех, квазиновых и квазимолодых, которые так много кричали в первый период большевистской революции о том, что они именно и есть подлинная новая культура, что они именно и выражают собой народные чаяния в искусстве.

Характерно, что большевизм, тоже претендующий на новое слово и на основоположение новой эры, так охотно признал их подлинными выразителями новой культуры, так охотно дал им патент на пролетарское творчество.

Эта характерная особенность объясняется несомненно тем, что самозванному выразителю чаяний народных масс, — большевизму, — уж совсем не с руки было обличить в самозванстве кого бы то ни было, — по пути оказалось всем видам самозванства в России. И кроме того, что по пути, наметилось в них основное сходство, — стремление выдавать себя не за могильщиков, каковы они на самом деле, а за истинных основоположников новой жизни, за первых строителей мира, за великих пионеров.

Думаю, что во всех областях теперя это самозванство уже разоблачено. Да и трудно было его скрывать. Слишком ясно, что в мире новом трава должна расти особенно буйно, — тут же она совсем перестала расти: из футуризма нет выхода в даль.

Описав все части разложившегося тела, сладострастно просмаковав все тление, которое его окружало, он новых тем для себя не выдумал и не мог выдумать.

Теперь с этим покончено, как бы последние эпигоны футуризма ни стремились заявлять о том, что они еще живы, и к каким бы вычурам они ни прибегали.

И не только покончено. Можно смело утверждать, что последняя страница истории прошлой эры будет посвящена не футуризму, а тем литературным течениям, которые ему предшествовали. Да оно и понятно. Течения предшествовавшие давали подлинный духовный облик своей эры, завершали свою культуру, выявляли ее особенности, — футуризм же, конечно, не имел дела с культурой прошлой эры, а только с теми чисто материальными ее составными частями, которые, выпав из цельного организма, перестали носить на себе его характерные черты.

Этим будет определена быстрая и никому не заметная смерть футуризма; этим определится и то, что он не оставит по себе наследников, да и наследовать-то нечему.

* * *

В революционный период казалось, что русская культура так, как она проявляется в лице своих наиболее ярких и талантливых представителей, бесконечно выше культуры Европы.

Да оно и естественно: во-первых, Россия первая подошла к рубежу, первая должна была напрячь все свои силы, чтобы противопоставить их грядущему напору, связать как-то прошлое с будущим. В этом процессе сказалась вся сила борьбы за существование старой культуры, все стремление уберечь себя от смерти.

Во-вторых, особенно высокая духовная напряженность русской культуры последнего периода объясняется свойством, которое отчасти и ускорило процесс умирания старого мира. Верхи русской интеллигенции, представители наиболее высоких достижений русского духа, могли выполнить эти достижения, потому что почти совершенно оторвались от народной массы. Ни в одной стране не было такой разницы между культурным уровнем масс населения и культурным уровнем интеллигентской верхушки. Не ведя за собой массы, не считаясь с тем, что медлен и слаб ход культурного развития страны, наши русские «мудрые» могли проходить свой путь с исключительной быстротой, расплачиваясь за эту быстроту тем, что с каждым шагом становились все дальше и дальше от народа, пока, наконец, не стали народу совершенно чужими, говорящими на другом языке.

Но если в результате этого процесса отрывания от народного тела сейчас невольно напрашивается оценка последних годов эры как времени, лишенного творчества, как времени, пресыщенного чужими предыдущими творческими достижениями, способного только к талантливому пересказу, перепеву, углублению, лишенного живой и животворящей искры, — то это, конечно, несколько не умаляет исторического значения этой эпохи. И не только исторического значения, но и индивидуального таланта всех деятелей той эпохи, индивидуальной воли каждого из них выбиться из заколдованного круга, найти творческий путь.

Станным было бы кого-либо обвинять, стремиться доказывать, что слава отдельных писателей прошлого не заслужена, преувеличена. Прошлое действительно вправе гордиться своими литературными именами. Слава их заслужена, значение их огромно. Без их работы не была бы закончена история прошлой эры.

Больше того, думаю, что мертвенность и творческая пустота времени делали все их напряжения и искания более трудными и мучительными, чем будут искания новых людей, исток которых, — грядущая полноводная жизнь, дающая сама своим полноводием творческий запас человеческому духу.

Но вместе с тем все же несомненно, что последняя страница перевернута, книга захлопнулась. Опыт того времени изжит до конца. Идут варвары творить новую, для прежних варварскую культуру, — культуру следующей эры в истории человечества.

Исторический процесс привел мир к рубежу двух эр в жизни человечества. Рубеж этот обозначен великой всемирной войной и российской ре-

волюцией, масштабом своим покрывающей понятие революции. Последний период старой эры был весь проникнут чувством скорого умирания.

Это чувство умирания отобразилось в полной мере в русской литературе, ждущей грядущих гуннов, но связанной идеологически и кровно не с гуннами грядущими, а со старой гибнущей культурой.

Гибнущая культура не могла дать новой творческой волны, и поэтому вся работа последнего поколения русских писателей обречена была быть лишенной подлинного творчества и подлинной веры.

Чисто инстинктивное стремление пережить, сохраниться, спрятать свои светильники от грядущей гибели породило, с одной стороны, стремление к формальному совершенству своих произведений, таким образом консервирующих жизнь, а с другой стороны, напряженные поиски путей к выходу.

Эти поиски, неизбежно лишенные творчества, окрашены печатью крайнего эклектизма, стремлением из бывших творческих достижений вызвать новую творческую искру.

Последний период прежней культуры несомненно был обозначен исключительным обострением и утончением культурных достижений всех предшествующих веков.

Следующий этап в искусстве должен был отобразить умирание, полный распад культуры. Таким отобразителем умирания явился футуризм, лживо приписывающий себе новаторство в искусстве.

Этим завершен окончательно весь цикл.

С этим процессом умирания культуры параллельно развивался процесс общественно-политического умирания старого мира. Распад Великой Русской Империи шел у всех на глазах.

Было бы чрезвычайно ошибочно считать в какой бы то ни было степени большевизм основоположником новой эры.

Большевизм — та катастрофа, которая разрушила окончательно здание старой культуры. Удельный вес его достижений совершенно ничтожен, если он есть. В политическо-общественной области его роль параллельна роли футуризма в искусстве: он — завершение процесса разложения. Он Аттила, под копытами коня которого трава не растет.

После большевизма, конечно, не останется каких-нибудь культурных наследств, — только голая степь, на которой надо заново начинать пахать, вернее, учиться пахать.

И если новый человек столкнется со старыми умными рецептами прошлой эры, с тем, что питало отцов, с тем, что комбинировалось и острилось уходящими, возьмет тот плуг, которым они пахали, то вряд ли он сможет этим плугом работать, вряд ли сможет применить старые рецепты к жизни, — другая она будет.

Но прежде чем говорить о той жизни, которая будет питать новое искусство, замечу, что с этой точки зрения и молитва М. Волошина «за тех и за других», за людей, стоящих по разные стороны фронта, принимает совсем другой характер, чем это кажется А. Крайнему. Старый мир, в лице своих представителей, — белых генералов, идеологов единой и неделимой России, московских

колоколов, — в такой же мере стар, как и мир красного большевизма. Только белые еще верят в организованность своего мира, большевизм же учуял его смерть, — думает, что этим стал вне его смерти, а фактически является только моментом крайнего распада старого мира. По обе стороны фронта стояли люди обреченные, одинаково близкие смерти. И все их усилия были одинаково бесплодны, индивидуальные смерти отдельных борцов одинаково неоправданны. Одним словом, — все были представителями умирания, и в этом отношении значение их невольно вызывает чувство горечи и боли, способной вылиться в искреннюю молитву «за тех и за других» — одинаково обреченных.

Думаю, что идейно погребальный период большевизма окончательно преодолен всеми.

Но, несмотря на это, большевистский опыт еще существует в быте, пройти мимо него нельзя, нельзя почувствовать себя еще освобожденным от большевистского кладбища.

Антон Крайний упрекает молодых в любви изображать «сверхкошмар». И, несмотря на эту любовь, сверхкошмара гораздо больше не у тех, кто создает новую беллетристику, а в книгах, оперирующих с сухими фактами и документами, в «Чека», у Мельгунова, у всех, кто исследует русскую жизнь, стремясь описать ее на основании цифр и абсолютно ничего к ним лишнего не прибавить.

Другими словами, большевистский период создал сверхкошмарный быт, от которого уйти нельзя. На этом основании вся перегруженность страниц новых писателей кровью, мукой, расстрелами является простым следствием того быта, в котором они живут. Оправдать его нельзя, конечно, но преодолеть, приняв как данное, введя в свой, органически с собой связанный мир, — и нужно, и неизбежно. Нужно, потому что, только преодолевая через утверждение его существования, можно найти утерянный облик человека, можно опять утвердить в звере человека. Нужно, потому что победа факта, голого и жестокого, над его объяснением, над его преодолением, — будет полная. Нужно, наконец, потому что из этого кладбища, сразу за пределами стен его начнется новая жизнь. Да и кроме того, — ведь многие, живущие сейчас, — даже дети, — творцы будущей жизни, — имеют настоящую жизнь как свой опыт и, исходя из этого опыта, начнут строить будущее.

Вот на этих-то основаниях можно утверждать, что сверхкошмар, проникший в новую литературу, не только вполне законен, не только связывает жизнь с искусством, но и имеет свое великое оправдание, как фактическое преодоление сверхкошмара в жизни. Немудрено, конечно, и то, что первые отобразители этого быта ограничиваются его описанием, — данные слишком новы, чтобы их сразу теоретизировать.

Во всяком случае всякое отречение от изображения теперешнего быта в литературе создало бы произведение мертвое, не эстетическое, а эстетствующее.

Часто это законное желание отобразить новый быт достигает размеров гипертрофических. Но ведь такова всегда обратная сторона всякой новой медали, и неожиданного в этом ничего нет.

Ясно все же, что, за исключением этой чрезмерности, современные писатели говорят именно о том, о чем повседневно вынужден думать современный читатель.

Мне вспоминается, как в последний раз мне пришлось видеть Художественный Театр. Было это в годы Гражданской войны. Ставили «Дядю Ваню». Конечно, Чехов не стал хуже и «Дядя Ваня» по-прежнему прекрасен, и по-прежнему прекрасно играли художники, но у многих зрителей, с которыми мне пришлось говорить потом, осталось чувство какого-то недоумения, — будто не того «Дядю Ваню» мы все раньше смотрели, — что-то не то, — что-то или мы утеряли, или, наоборот, Чехов не знал. Вероятно, что и то и другое.

Конечно, мы многое утеряли, но многое нами приобретено, — и несомненно приобретена сила преодолеть ужас нового быта.

На этом основании то, что происходит сейчас с новой литературой, не должно никого пугать: она идет по тому руслу, которое указано ей жизнью.

Старые рецепты неприменимы.

Надо сначала наглядеться вволю, послушаться. И послушаться всего: и птичьего свиста, и ружейной трескотни, наглядеться и на солнечный закат, и на кровь и мерзость человеческую, — понять, вместить в себя, не испугаться, сочетать, — ну, а там, пожалуй, и другие рецепты появятся.

А из-за стены большевистского кладбища, на истоптанной Аттилой земле уже начинают обозначаться те, кто должен придти на смену старым.

Кто же не обречен? Где должна родиться новая жизнь?

Думаю, что ответить на это не так трудно.

Старый пласт выразителей русской культуры умер, погребен большевизмом, — единственное дело, на которое он был способен, будучи сам по существу мертвым.

Новые общественные элементы, разбуженные войной, которую несли на своих плечах, наученные жестоким и горьким опытом русского большевизма, который тоже на их плечах держался, — в конце концов, ни в войне, ни в большевизме сознательного участия не принимали; да и в Гражданской войне были стороною претерпевающей, поэтому учащейся, но не активной и желающей этой Гражданской войны.

Период смерти старого мира ускорил темп роста народного сознания, освободил народ от спячки многих предшествующих веков, указал ему на его значение в историческом процессе.

И новое слово должно родиться в толщах народных. Новое слово должно быть понятным народу в его целом. На этом основании для нас, захвативших еще жизнь старой, оторванной от народа эры, многое покажется чрезмерно примитивным. Отображение нового быта испугает нас своей грубостью, — но нет сомнения, что в этом отчасти будет виновата наша причастность к утонченному умиранию старого, наше воспитание на старых его образцах. А вода живая именно там, в новом, внутренне преодолевающем себя быте, в новом человеке, освобожденном к жизни в последние минуты мировой катастрофы.

ВСТРЕЧИ С БЛОКОМ (К ПЯТНАДЦАТИЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ)

Тридцать лет тому назад, летом 1906 года, в моей жизни произошло огромное событие, благодаря которому я стала взрослым человеком. За плечами было только 14 лет, но события того времени как-то быстро выросли нас. Мы пережили японскую войну и революцию, мы были поставлены перед необходимостью спешно разобраться в наших детских представлениях о мире и дать себе ответ, — где мы и с кем мы. И впервые в сознание входило понятие о новом герое, имя которому, — Народ. Единственно, что смущало и мучило, — это необходимость дать ответ на самый важный вопрос: верю ли я в Бога? Есть ли Бог?

И вот, ответ пришел. Пришел с такой трагической неопровержимостью. Я даже и сейчас помню пейзаж этого ответа. Рассвет жаркого летнего дня. Ровное румяное небо. Черные узоры овальных листьев акации. Громкое чириканье воробьев. В комнате плач. Умер мой отец. И мысль простая в голове: «Эта смерть никому не нужна. Она несправедливость. Значит, нет справедливости. А если нет справедливости, то нет и справедливого Бога. Если же нет справедливого Бога, то, значит, и вообще Бога нет».

Никаких сомнений, никаких доводов против такого вывода. Так на рассвете жаркого дня, еще до появления солнца, вместе со смертью моего отца в моей детской душе умерла вера в Бога.

Бедный мир, в котором нет Бога, в котором царствует смерть, бедные люди, бедный народ, бедная революция, которая тоже умирает, бедная я, маленькая девочка, вдруг ставшая взрослой, потому что узнала тайну взрослых, — что Бога нет, и что в мире есть горе, зло и несправедливость.

Так кончилось детство.

Осенью я впервые уехала надолго от Черного моря, от юга, солнца, ветра, свободы. Первая зима в Петербурге. Небольшая квартира в Басковом переулке. Гимназия. Утром начинаем учиться при электрическом свете, и

на последних уроках тоже лампы горят. На улицах рыжий туман. Падает рыжий снег. Никогда, никогда нет солнца. Родные служат панихиды, ходят в трауре. В панихидах какая-то примиренность, а я мириться не хочу, да и не с кем мириться, потому что Его нет. Если можно было еще сомневаться и колебаться дома, то тут-то, в этом рыжем тумане, в этой осени проклятой, никаких сомнений нет. Крышка неба совсем надвинулась на этот город-гроб, а за ней — пустота.

Я ненавидела Петербург. Мне было трудно заставить себя учиться. Вместо гимназии я отправлялась бродить далеко через Петровский парк, на свалку, мимо голубинового стрельбища. Самая острая тоска за всю жизнь была именно тогда. И душе хотелось подвига, гибели, — за всю неправду мира, чтобы не было этого рыжего тумана и бессмыслицы.

Я начала читать Достоевского, о том, как в осенний день, на грязной улице, среди луж и слякоти, бьют лошадь поленом по большим беспомощным и кротким глазам. От одноклассницы я узнала о жизни петербургской улицы, о Первой Рождественской. Ее мать была швейкой, отчим носильщиком с Николаевского вокзала. Кто был ее отец, она не знала, студент какой-то. Квартира их была на втором дворе, на лестнице пахло кошками, окна выходили в желтую стену, в комнате были дешевые обои с цветочками. Тоска, тоска в мире, в котором нет Бога.

В классе моем увлекались Андреевым, Комиссаржевской, Метерлинком.

Я мечтала встретить настоящих революционеров, которые готовы каждый день пожертвовать своей жизнью за народ. Мне случалось встречаться с какими-то маленькими партийными студентами, но они не жертвовали жизнью, а рассуждали о прибавочной стоимости, о капитале, об аграрном вопросе. Это сильно разочаровывало. Я не могла понять, отчего политическая экономия вещь более увлекательная, чем счета с базара, которые приносит моей матери кухарка Аннушка.

Белые ночи оказались еще более жестокими, чем черные дни. Я бродила часами, учиться было почти невозможно, писала стихи, места себе не находила. Смысла не было не только в моей жизни, — во всем мире безнадежно утрачивался смысл.

Осенью опять рыжий туман.

Родные решили выбить меня из колеи патетической тоски и патетической веры в бессмыслицу.

Была у меня двоюродная сестра, много старше меня. Девушка положительная, веселая, умная. Она кончала медицинский институт, имела социал-демократические симпатии и совершенно не сочувствовала моим бредням. Я была для нее «декаденткой». Все просто: Бога нет, но зато совершенно точно доказано, и даже в микроскоп можно увидеть, — что есть микроб. В мире много зла, — но Маркс тоже совершенно точно сказал, как произойдет прыжок из царства необходимости в царство свободы, и т.д. По доброте душевной она решила заняться мной. И заняться не в своем, а в моем собственном духе.

Однажды она повела меня на литературный вечер какого-то захудалого реального училища, куда-то в Измайловские роты.

В каждой столице есть своя провинция, — так вот и тут была своя Измайловскоротная, реального училища провинция. В рекреационном зале много молодого народу. На эстраде певицы поют, виолончелисты и скрипачи играют, им аплодируют. Читают стихи поэты-декаденты. Их довольно много. Один высокий, без подбородка, с огромным носом и с прямыми прядями длинных волос, в длиннополом сюртуке, читает весело и шепеляво, — каша во рту, говорят — Городецкий. Другой — Дмитрий Цензор, лицо не запомнилось. Еще какие-то, — не помню. И еще один. Очень прямой, немного надменный какой-то, голос медленный, усталый, металлический. Темно-медные волосы, лицо не современное, а будто со средневекового надгробного памятника, из камня высеченное, красивое и неподвижное. Читает стихи, — очевидно, новые, — «По вечерам, над ресторанами...», «Незнакомка». И еще читает...

В моей душе, — огромное внимание. Человек с таким далеким, безразличным, красивым лицом, — это совсем не то, что другие. Надо смотреть, смотреть. Надо понять. Передо мной что-то небывалое, головой выше всего, что я знаю, что-то отмеченное. В стихах много тоски, безнадежности, много голосов страшного Петербурга, рыжий туман, городское удушье. Они не вне меня, они поют во мне, они как бы мои стихи. Я уже знаю, что он владеет тайной, около которой я брожу, с которой почти уже сталкивалась столько раз во время своих скитаний по островам. Душа становится серьезной и напряженной.

Спрашиваю двоюродную сестру: «Посмотри в программе: кто это?»

Отвечает: «Александр Блок».

В классе мне достали книжечку. На первой странице картинка — молодой поэт вырывается на какие-то просторы. Стихи непонятные, но пронзительные, — от них никуда мне не уйти. «Убей меня, как я убил когда-то близких мне. Я все забыл, что я любил, я сердце вьюгам подарил...» Я не понимаю, не понимаю, но он знает мою тайну. Я читаю все, что есть у этого молодого поэта. Дома окончательно выяснено: я — декадентка. Я действительно в каком-то небывалом мире. Сама пишу, пишу о тоске, о Петербурге, о подвиге, о народе, о гибели, о тоске, о тоске, и о восторге.

Наконец, все прочитано, многое запомнилось наизусть, навсегда. Знаю, что он мог бы мне сказать какое-то почти заклинание, чтобы справиться с моей тоской. Надо с ним поговорить. Узнаю адрес: Галерная, 41. Иду. Дома не застала. Иду второй раз. Нету.

На третий день, заложив руки в карманы, распутив уши своей финской шапки, иду по Невскому. Не застану, — дождусь.

Опять дома нет. Ну, что ж, решено, буду ждать. Некоторые подробности квартиры удивляют. В маленькой комнате отчего-то огромный портрет Менделеева. Что он, химик, что ли?

В кабинете вещей немного, но все большие вещи. Порядок образцовый. На письменном столе почти ничего не стоит.

Жду долго. Наконец, звонок. Разговор в передней. Входит Блок. Он в черной широкой блузе с отложным воротником, совсем такой, как на известном портрете, единственном хорошем из всех изданных. Очень тихий, очень застенчивый.

Я не знаю, с чего начать. Он ждет, не спрашивает, зачем я пришла. Мне мучительно стыдно, — кажется, всего стыднее, что в конце концов я еще девчонка, и он может принять меня не всерьез. Мне скоро будет пятнадцать лет, а он уже взрослый, — ему, наверное, лет двадцать пять.

Наконец, собираюсь с духом, говорю все сразу. Петербурга не люблю, рыжий туман ненавижу, не могу справиться с этой осенью, знаю, что в мире тоска, брожу по островам часами, и почти наверное знаю, что Бога нет. Все одним махом выкладываю. Он спрашивает, отчего я именно к нему пришла. Говорю о его стихах, о том, как они просто в мою кровь вошли, о том, что мне кажется, что он у ключа тайны, — прошу помочь.

Он внимателен, как-то почтителен и серьезен, он все понимает, совсем не поучает и, кажется, не замечает, что я не взрослая.

Мы долго говорим. За окном уже темно. Вырисовываются окна других квартир. Он не зажигает света. Мне хорошо, я дома, хотя многого не могу понять. Я чувствую, что около меня большой человек, что он мучается больше, чем я, что ему еще тоскливее, что бессмыслица не убита, не уничтожена. Меня поражает его особая внимательность, какая-то нежная бережность. Мне большого человека ужасно жалко. Я начинаю его осторожно утешать, утешая и себя.

Странное чувство. Уходя с Галерной, я оставила часть души там. Это не полудетская влюбленность. На сердце скорее материнская встревоженность и забота. А наряду с этим сердцу легко и радостно. Хорошо, когда в мире есть такая большая тоска, большая жизнь, большое внимание, большая, обнаженная, зрячая душа.

Через неделю я получаю письмо, конверт необычайный, ярко-синий. Почерк твердый, не очень крупный, но широкий, щедрый, широко расставлены строчки. В письме есть стихи: «Когда вы стоите передо мной... Все же я смею думать, что вам только пятнадцать лет». Письмо говорит о том, что они — умирающие, что ему кажется, — я еще не с ними, что я могу еще найти какой-то выход, в природе, в соприкосновении с народом. «Если не поздно, то бегите от нас, умирающих...» Письмо из Ревеля, — уехал гостить к матери.

Не знаю отчего, — я негоую. Бежать, — хорошо же. Рву письмо, и синий конверт рву. Кончено. Убежала. Так и знайте, Александр Александрович, человек, все понимающий, понимающий, что значит бродить без цели по окраинам Петербурга, и что значит видеть мир, в котором нет Бога.

Вы умираете, а я буду, буду бороться со смертью, со злом, и за вас буду бороться, потому что у меня к вам жалость, потому что вы вошли в сердце и не выйдете из него никогда.

Это была первая встреча с Блоком, самым удивительным моим современником, — не символистом, нет, — но символом самой удивительной эпохи в жизни моей удивительной страны.

* * *

Петербург меня победил, конечно. Тоска не так сильна. Годы прошли.

В 1910 году я вышла замуж. Мой муж из петербургской семьи, друг поэтов, декадент по самому своему существу, но социал-демократ, большевик. Семья профессорская, в ней культ памяти Соловьева, милые житейские анекдоты о нем, — как он предлагал дать полотерам три рубля, чтобы они сразу ушли, как он падал в обморок от вида раков, как он писал стихи, поправлял ошибки в переводах с латыни моего мужа, тогда еще гимназиста.

Ритм нашей жизни нелеп. Встаем около трех дня, ложимся на рассвете. Каждый вечер мы с мужем бываем в петербургском мире. Или у Вячеслава Иванова на Башне, куда нельзя приехать раньше 12 часов ночи, или в Цехе поэтов, или у Городецких и т.д.

Непередаваем этот воздух 1910 года. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что культурная, литературная, мыслящая Россия была совершенно готова к войне и революции. В этот период смешалось все. Апатия, уныние, упадочничество, — и чаяние новых катастроф и сдвигов. Мы жили среди огромной страны, словно на каком-то необитаемом острове. Россия не знала грамоту, — в нашей среде сосредоточилась вся мировая культура — цитировали наизусть греков, увлекались французскими символистами, считали скандинавскую литературу своею, знали философию и богословие, поэзию и историю всего мира, в этом смысле были гражданами вселенной, хранителями великого культурного музея человечества. Это был Рим времен упадка. Мы не жили, мы созерцали все самое утонченное, что было в жизни, мы не боялись никаких слов, мы были в чем-то до наглости откровенны, в области духа циничны и нецеломудренны, в области жизни вялы и бездейственны. В известном смысле мы были, конечно, революция до революции, — так глубоко, беспощадно и гибельно перекапывалась почва старой традиции, такие смелые мосты мысли бросались в будущее. И вместе с тем эта глубина и смелость сочеталась с неизбежным тлением, с духом умирания, призрачности, эфемерности. Мы были последним актом трагедии — разрыва народа и интеллигенции. За нами простиралась всероссийская снежная пустыня, скованная страна, не знающая ни наших восторгов, ни наших мук, не заражающая нас своими восторгами и муками.

Я помню одно из первых наших посещений Башни Вячеслава Иванова. Вся Россия спит. Полночь. В столовой много народа. Наверное, нет ни одного обывателя, человека вообще, так себе человека. Мы не успели еще со всеми поздороваться, а уже Мережковский кричит моему мужу:

— С кем вы, — с Христом или с Антихристом?

Спор продолжается. Я узнаю, что Христос и революция как-то неразрывно связаны, что революция, — это раскрытие третьего Завета. Я слышу бесконечный поток каких-то последних, серьезнейших слов. Передо мной как бы духовная голизна, все наружу, все как-то бесстыдно.

Потом Кузмин поет под собственный аккомпанемент на органе духовные стихи. Потом разговор о греческих трагедиях, об «орхестре», о Дионисе, о православной Церкви.

На рассвете подымаемся на крышу, это тоже в порядке времяпровождения на Башне. Внизу Таврический сад и купол Государственной думы. Сонный, серый город.

Утром приносят новый самовар, едят яичницу. Пора домой. По сонным улицам мелкой рысцой бежит извозчичья лошадь. На душе мутно. Какое-то пьянство без вина, пища, которая не насыщает. Опять тоска.

И странно, — вот все были за революцию, говорили самые ответственные слова. А мне еще больше, чем перед тем, обидно за нее. Ведь никто, никто за нее не умрет. Мало того, если узнают о том, что за нее умирают, как-то и это все расценят, одобрят или не одобрят, поймут в высшем смысле, прокричат всю ночь — до утренней яичницы — и совсем не поймут, что умирать за революцию — это значит чувствовать настоящую веревку на шее, вот таким же серым и сонным утром навсегда уйти, физически, реально принять смерть. Мне жалко революционеров, потому что они умирают, а мы можем так умно и возвышенно говорить о их смерти.

И еще мне жалко, — не Бога, нет, Его нету. Мне жалко Христа. Он тоже умирал, у Него был кровавый пот, Его заушали, а мы можем об этом громко говорить, нет у нас ни одного запретного слова. И если понятна Его смерть за разбойников, блудниц и мытарей, то как-то непонятна, — за нас, походя касающихся Его язв и не опаляющихся Его кровью.

Постепенно происходит деление. Христос, еще не узанный, становится своим. Черта деления все углубляется. Петербург, Башня Вячеслава, культура даже, туман, город, реакция, — одно. А другое, — огромный, мудрый, молчаливый и целомудренный народ, умирающая революция, отчего-то Блок, и еще, — еще Христос. Я даже не думаю, был ли Он Богом или нет. И, может быть, не хочу, чтобы Он был Богом, потому что Бог пустил смерть и несправедливость, а Христос — это даже как будто самая страшная жертва Бога. Он страдает, а Тот заставляет страдать. Нет, Христос, — это наше... Чье наше? Разве я там, где Он? Разве я не среди безответственных слов, которые воспринимаются постепенно как кощунство, как оскорбление, как смертельный яд? Надо бежать, освобождаться. Но это не так-то легко. Жизнь идет точною колеєю, по башенным сборищам, а потом по цехам, по Бродячим Собакам.

Цех поэтов только что созидался. В нем было по-школьному серьезно, чутьчку скучновато и манерно. Стихи были разные. Начинали входить в славу Гумилев и Ахматова. Он рыскал вне русской равнины, в чужих экзотических странах, она не выходила за порог душной, заставленной безделушками комнаты. Ни с ним, ни с ней не по пути.

А гроза приближалась. Россия была немая и мертвая. Петербург, оторванный от нее, — как бы оторванный от берега, безумным кораблем мчался в туманы и в гибель. Он умирал от отсутствия подлинности, от отсутствия возможности просто говорить, просто жить.

Никакой вообще революции и никаких революционеров в природе не оказалось. Если они и были, то Азеф раз навсегда заставил забыть о них, заслонил собою все.

Была только черная петербургская ночь. Удушье. Тоска не в ожидании рассвета, а тоска от убеждения, что никакого рассвета никогда больше не будет.

Таков фон, на котором происходят редкие встречи с Блоком. Вся их серия, — второй период нашего знакомства.

Описывая этот фон, я чувствую, что теми же словами могла бы передать и атмосферу стихов Блока того периода, — до того в этом смысле он внушаем, до того он медиумичен, как бы конденсатор всего нашего чувства гибели. И в этом его гениальность, конечно: он как бы труба времени, — эпоха говорит его голосом. Потом я это понимание Блоковской поэзии углубила и осложнила. Но об этом дальше.

* * *

Первая моя встреча с Блоком произошла в декабре 1910 года, на собрании, посвященном десятилетию со дня смерти Владимира Соловьева. Происходило оно в Тенишевском училище. Выступали Вячеслав Иванов, Мережковский, какие-то артистки, еще кто-то и Блок. На эстраде он был высокомерен, говорил о непонимании толпы, подчеркивал свое избранничество и одиночество. Сюртук застегнут, голова высоко поднята, лицо красиво, трагично и неподвижно.

В перерыве муж ушел курить. Скоро вернулся, чтобы звать меня знакомиться с Блоками, которых он хорошо знал. Я решительно отказалась. Он был удивлен, начал настаивать. Но я еще раз заявила, что знакомиться не хочу, — и он ушел. Я забила в глубину своего ряда и успокоилась.

Вскоре муж вернулся, но не один, а с высокой, полной и, как мне сразу показалось, насмешливой дамой, — и с Блоком. Я не могла прятаться больше, — надо было знакомиться. Дама улыбалась. Блок протягивал руку.

Я сразу поняла, что он меня узнал. Действительно, слышу, он говорит: — Мы с вами встречались.

И тогда, чувствуя, что погибаю, отвечаю:

— Не надо, не надо.

Опять знакомая, понимающая улыбка. Он спрашивает, продолжаю ли я бродить, как я справилась с Петербургом. Мне тоскливо. Отвечаю невпопад. Любовь Дмитриевна приглашает нас обедать. Уславливаемся о дне. Слава Богу, разговор кончается. Возобновляется заседание.

Потом мы у них обедали. По его дневнику видно, что он ждал этого обеда с чувством тяжести. Я тоже. На мое счастье, там был еще, кроме нас, очень болтливый и толстый Аничков с женой. Говорили об Анатоле Франсе. Я внимательно разглядела Любовь Дмитриевну. Поразило в ней полное отсутствие трагедии. Дама с хорошим вкусом, хорошего прочного быта. Любит настоящие кружева и старинный фарфор. Очень размеренна и уравновешенна. Слегка скучновата, и везде уместна. После обеда он показывал мне снимки Нормандии и Бретани, где он был летом, говорил о Наугейме, связанном с особыми мистическими переживаниями, и спрашивал о моем прежнем. Еще говорили о родных пейзажах, вне ко-

торых нельзя понять до конца человека. Я говорила, что мое — это зимнее, бурное, почти черное море, песчаные перекаты высоких пустынных дюн, серебряно-сизый камыш и крики бакланов. Он рассказывал, что по семейным данным фамилия Блок немецкого происхождения, но, попав в Голландию, он понял, что это ошибка, что его предки именно оттуда, — до того ему там все показалось родным и кровным. Потом говорили о детстве и о всяческих детских склонностях к страшному и исключительному. Он рассказывал, как обдумывал в детстве пьесу. Герой должен был покончить с собой. И он никак не мог остановиться на способе самоубийства. Наконец решил: герой садится на лампу и сгорает. Я в ответ рассказала о чудовище, существовавшем в моем детстве. Звали его Гумистерлап. Он по ночам вкатывался в мою комнату, круглый и мохнатый, и исчезал за занавеской окна.

Между нами все мосты сразу были выстроены. Но все же встретились мы как знакомые, как приличные люди, за приличным обедом, в приличном обществе. Не то, что первый раз, когда я с улицы, из петербургского тумана, ворвалась к нему. Теперь я была жена его доброго знакомого. Мосты были выстроены, прочные мосты. Блок мог прийти к нам в гости, у нас была масса общих друзей, у которых мы тоже могли встретиться. Не хватало только какого-то одного и единственно нужного моста. Я не могла непосредственно к нему обратиться, через и мимо всего, что у нас оказалось общим.

Все помнят Блоковские стихи о мертвце, который ходит среди живых, бывает на службе, на балах, ведет беседы с живыми. И только изредка встречается с такой же мертвой, как он сам. Стихи передают их разговор, быстрый, полный намеков о ином знании, о иной жизни. В каком-то смысле наши встречи с ним очень точно напоминали эти стихи. С тою только разницей, что все было как бы негативом этих стихов. Среди мертвого и призрачного Петербургского мира, — среди мертвых служб и балов, в гуще мертвых разговоров обо всем и ни о чем, — мы встречались в тени какого-то заговора. Мне минутами казалось, что он единственный живой, и я, — о, я тоже живая. И намеками, понимающими полуулыбками, — мы давали друг другу весть, — это все так себе, это все немного нарочно, — а есть и настоящее и мы о нем крепко знаем.

Так кончился 1910 год. Так прошли 11 и 12. За это время мы встречались довольно часто, но всегда на людях, немного заговорщиками.

На Башне Блок бывал редко. Он там, как и везде, впрочем, много молчал. Помню, как первый раз читала стихи Анна Ахматова. Вячеслав Иванов предложил устроить суд над ее стихами. Он хотел, чтобы Блок был прокурором, а он, Вячеслав, адвокатом. Блок отказался. Тогда он предложил Блоку защищать ее, он же будет обвинять. Блок опять отказался. Тогда уж об одном, кратко выраженном мнении стал он просить Блока.

Блок покраснел, — он удивительно умел краснеть от смущения, — серьезно посмотрел вокруг и сказал:

— Она пишет стихи как бы перед мужчиной, а надо писать как бы перед Богом.

Все промолчали. Потом начал читать очередной поэт.

Помню Блока у нас, на квартире моей матери, на Малой Московской. Народу много. Мать показывает Любовь Дмитриевне старинные кружева, которых у нее была целая коллекция. Идет общий гул. За ужином какие-то речи. Я доказываю Блоку, что все хорошо, что все идет так, как надо. И чувствую, что от логики моих слов с каждой минутой растет и ширится какая-то только что еле зримая трещинка в моей жизни.

Помню рассказ Блока о Москве. О встрече с Брюсовым. Как тот назначил ему свидание в редакции, кажется, «Русской мысли», беседовали корректно и спокойно, а потом Брюсов стал извиняться.

— Простите, что к себе не зову, у меня дома неприятности, — ребенок умер.

Ни в каких воспоминаниях, вышедших за эти годы, я не встречала сведений о смерти ребенка у Брюсова. Так что почти колеблюсь, — был ли этот факт. Однако рассказ Блока, который помню отчетливо, убеждает, что был. Я даже вспоминаю, что особенно поняла всю горечь Блоковского рассказа в связи с тем, что у него незадолго до этого ребенок умер.

Помню еще, как мы в компании Пяста, Нарбута и Моравской в ресторане «Вена» выбирали короля поэтов. Об этом есть в воспоминаниях Пяста.

Одним словом, этот период, не дав ничего существенного в наших отношениях, как-то житейски приблизил нас, — этого даже, пожалуй, слишком много, скорее просто познакомил. То встреча у Аничковых, где подавали какой-то особенный салат из грецких орехов и омаров и где тогда же подавали приехавшего из Москвы Андрея Белого, только что женившегося. Его жена показывала, как она умеет делать мост, а Анна Ахматова в ответ на это как-то по-змеиному выворачивала руки.

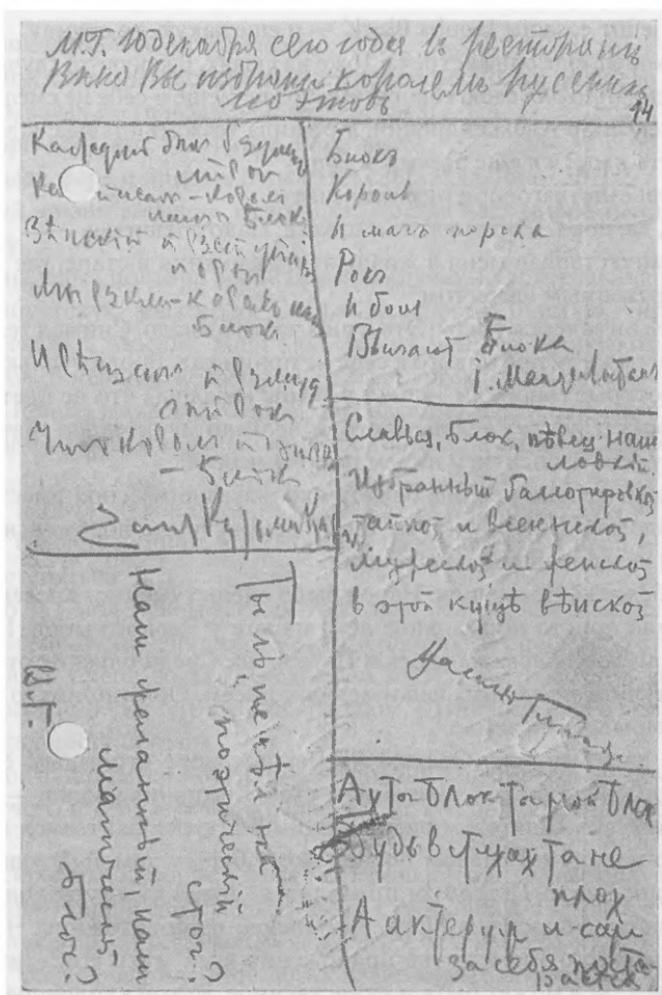
Наконец, этот период завершился приблизительно весной 12 года. В это время был один веселый и глупый вечер у Городецкого. Он чувствовал французских профессоров, приехавших открывать французский институт в Петербурге, — Луи Рео и Поль Бойе. Народу было много, все безалаберно. Только что кто-то играл на рояле, и крышка осталась открытой. Городецкий угощал всех крымскими мелкими яблоками, разнося их на огромном деревянном, кустарном подносе.

— Кушайте, пожалуйста.

Ни тарелок, ни салфеток, ни ножей.

Мы с Блоком сидели за роялем и оттуда видели, как французы взяли по яблоку и не знают, что с ними делать. Потом решились, стали есть, доели до сердцевин, — и не знают, куда ее девать. Оглянулись, — видят, — рояль раскрыт. Заложили руки за спину, подошли спиной к роялю и неприметно бросили яблочные сердцевинки.

У Блока припадок смеха. Он вскочил, подбежал к Любови Дмитриевне, подвел ее к французам, начал заново знакомить.



Стихотворный экспромт, посланный А. Блоку группой поэтов из ресторана «Вена» 10 декабря 1911. Е.Ю. Кузьминой-Караваевой здесь принадлежит следующий фрагмент:

Каждый был безумно строг,
 Как писал: король — наш Блок...
 «Венский» преступив порог,
 Мы рекли: король наш — Блок.
 И решил премудрый рок,
 Что король поэтов — Блок.

РГАЛИ

— La jeune cosaque Liouba Block* — и еще какую-то ерунду.

И, наконец, еще одна встреча. Тоже на людях. В какую-то случайную минуту, неожиданно для себя, говорю ему то, чего еще и себе не смела сказать.

— Александр Александрович, я решила уезжать отсюда: к земле хочу. Тут умирать надо, а я еще бороться буду.

Он серьезно, заговорщицки отвечает:

— Да, да, пора. Потом уж не сможете. Надо спешить.

Так напутствовал меня в жизнь этот заложник в стане, где все становилось мертвенным шелестом.

Вскоре он заперся у себя. Это с ним часто бывало. Снимал телефонную трубку, писем не читал, никого к себе не принимал. Бродил только по окраинам. Некоторые говорили — пьет. Но мне казалось, что не пьет, а просто молчит, тоскует и ждет неизбежного. Мне было мучительно знать, что вот сейчас он у себя взаперти, и ничем помочь нельзя.

Я действительно решила бежать окончательно весной вместе с обычным отъездом из Петербурга. Не очень демонстративно, без всяких громких слов и истерик, никого не обижая.

Куда бежать? Не в народ. Народ было очень туманно. А к земле.

Сначала просто нормальное лето на юге у Черного моря. Но осенью вместе со всеми не возвращаюсь в Петербург. Среди близких это вызвало толки, получила несколько недоуменных писем. Обычно никто из Петербурга не вырывался к земле.

Итак, тяга к почве. Осенью на Черном море огромные, свободные бури. На лиманах можно охотиться на уток. Компания у меня, — штукатур Леонтий, слесарь Шлигельмильх, банщик Винтура. Скитаемся в высоких сапогах по плавням. Вечером по морскому берегу домой. В ушах вой ветра, свободно, легко. Петербург провалился. Долой культуру, долой рыжий туман, Башню, философию. Есть там только один заложник. Человек, — символ страшного мира, точка приложения всей муки его, единственная правда о нем, — а может быть и единственное, мукой купленное, оправдание его, — Александр Блок.

Сейчас ни писать ему, ни давать о себе никаких вестей.

Но придет время, — встретимся.

* * *

Так проходит зима и лето 12 и 13 года. Осенью по всяким семейным соображениям надо ехать на север, но в Петербург не хочу. Если уж это неизбежно, буду жить зимой в Москве, а ранней весной назад, к земле. Кстати, в Москве я никого почти не знаю, кроме каких-то старых знакомых моей матери.

Первое время Москва действительно не отличается от южной жизни. В квартире около Собачьей площадки я одна. Сдала комнату двум студентам-землякам. Слышу утром за стеной:

* Юная казачка Люба Блок (фр.).

— Плохо, дорогой, понимаешь.

Это мой южанин не справляется с севером. Потом он долго рассуждает, видимо, следя по голым прутьям деревьев:

— Норд-вест, нет, даже норд-норд-вест.

Он знает море и привык считаться с направлением ветра.

В моей жизни затишье, пересадка. Поезда надо ждать неопределенно долго. Жду.

Месяца через полтора после приезда случайно встречаю на улице первую петербургскую знакомую, Софью Исааковну Толстую. Она с мужем тоже переехала в Москву, живут близко от меня на Зубовском бульваре. Зовет к себе. В первый же вечер все петербургское, отвергнутое, сразу нахлынуло. Правда, в каком-то ином, московском виде. Я сначала стойко держусь за свой принципиальный провинциализм, потом медленно начинаю сдаваться.

Вот и первая общая поездка к Вячеславу Иванову. Еду я в боевом настроении. В конце концов, все скажу, — объявлю, что я враг, — и все тут. Пусть будет борьба.

У него на Смоленском все как-то тише и мельче, чем было на Башне, он сам изменился. Лунное не так заметно, а немецкий профессор стал виднее. Не так сияющ ореол волос, а медвежьи глазки будто острее. Народу как всегда много. Толкуют о Григории Нисском, о Пикассо, еще о чем-то. Я чувствую потребность борьбы.

Иванов любопытен почти по-женски. Он заинтересован, отчего я пропала, отчего и сейчас я настороже. Ведет к себе в кабинет. Вот, бой начинается.

Я не скрываю, наоборот, сама первая начинаю. О словоблудии, о предании самого главного, о пустой жизни. О том, что я с землей, с простыми русскими людьми, с русским народом, что я отвергаю их культуру, что они оторваны, что народу нет дела до их изысканных и неживых душ, даже о том, что они ответят за гибель Блока.

Вячеслав Иванов очень внимателен. Он все понимает, он со всем соглашается. Более того, — я чувствую в его тоне какую-то попытку отпустить, благословить на этот путь. Но ни отпуска не прошу, ни благословения не хочу. Разговор обрывается.

Вскоре опять, 26 ноября, мы вместе с Толстыми у Вячеслава на Смоленском.

Народу мало против обыкновения. Какой-то неведомый поэт, по имени Валерьян Валерьянович (потом узнала, — Бородаевский), — с длинной, узкой, черной бородой, только что приехал из Германии и рассказывает о тоже мне неведомом Рудольфе Штейнере.

Хозяин слушает с таким же благожелательным любопытством, как слушает вообще все. Для него рассказ в основных чертах не нов, поэтому он спрашивает больше о подробностях, о том, как там Белый, Волошин и т.д. Оттого, что о главном мало речи, я не могу окончательно уловить, в чем дело.

А Толстой уже увлечен. Он вообще всегда жаждет авторитетов, правда, краткосрочных, — но на один вечер и Штейнера готов за авторитет почесть. Особенно оттого, что в рассказе о нем есть элемент таинственный. Он как ребенок сказки, — любит таинственное и мистифицирующее.

У меня, наоборот, какой-то неосозанный, но острый протест. Я возражаю, я спорю, не зная даже, против чего я спорю. Но странно, сейчас я понимаю, что тогда основная интуиция была верна. Я спорила против обожествления и абсолютизации человеческой природной силы. Многого можно добиться, пестуя и выращивая свою силу, но чем большего человек добьется, тем окончательнее будет его невозможность получить самое главное. Тут человек человеку, — крепость, — и нет мостов между ними.

И в душе я знаю уже, что надо противопоставить такому непомерному культу человеческой духовной силы. Я знаю даже, как с ней бороться. Надо все крепости в себе разрушить, — чтобы была «се раба Господня» человеческая душа.

И нападает на меня не заграничный антропософ, а Толстой. Все это у меня коренной нигилизм, лишь бы не было авторитетов, ненависть ко всему, что не под общий рост.

И вот в нелепом и каком-то приблизительном споре я вдруг чувствую, что это все не случайно, что борьба у меня идет каким-то образом за Блока, что тут для него нечто более страшное, чем все туманы и метели его страшного пути, потому что враг из безличного становится личным.

Поздно вечером уходим. Продолжаем говорить на улице. Сначала это спор. Потом просто какая-то моя декларация о Блоке. Мы уже не домой идем, а скитаемся по снежным сугробам на незнакомых пустых улицах.

Толстой слушает и быстро сдается. А я уже не помню, что он меня слушает, — я просто говорю громко, в снег, в ночь, вещи для меня пронзительные и решающие.

Вот что я знала в ту ночь о Блоке.

У моей России, у моего народа родился такой ребенок. Самый на нее похожий сын, такой же мучительный, как она, такой же голосистый, такой же любимый.

Ну, мать безумна, — мы все ее безумьем больны. Но сына этого она нам на руки кинула, и мы должны его спасти, — мы за него отвечаем. Даже не какие-то мы вообще, а вот, в частности, я. И я просто утверждаю, что люблю Блока, самого страшного и удивительного сына моей страны, что за него отвечаю и никаким заморским мистификаторам в руки не дам. А что мистификаторы свои руки к нему тянут, — это я уже чувствую, хотя у меня никаких данных и нет. Как его в обиду не дать, — не знаю, да и знать не хочу, потому что не своей же силой можно защитить человека. Важно только, что я вольно и свободно свою душу даю на его защиту.

Я, может быть, сейчас не очень точно вспоминаю эти мысли. Но одно точно, — была я тогда, как на крыльях, и в душе был огромный и всесильный восторг.

Потом Толстой ушел. Я продолжала скитаться по сонной Москве. Снег падал тихими мягкими хлопьями. И вместе с этим снегом, вместе с черным и мутным небом, я впервые молилась о моей стране, которая казалась мне живой, безумной, оставленной и голосящей в бескрайних полях. Я молилась о Блоке, — уже заблудившемся, уже потерявшем след.

На рассвете, крылатая, радостная и какая-то всесильная я вернулась домой.

1-го декабря, через четыре дня после этой ночи, я неожиданно получила письмо в ярко-синем конверте. Как всегда в письмах Блока, ни объяснений, почему он пишет, ни обращений, — «глубокоуважаемая», или «милая», или «дорогая». Просто имя и отчество, и потом как бы отрывок из какого-то продолжающегося разговора. Я наизусть не помню всего письма, но отдельные фразы остались в памяти точно. Он писал:

«...Думайте сейчас обо мне, как и я о вас думаю... Силы уходят на самую трудную часть жизни, — на середину ее... Я перед вами не лгу... Я благодарен вам, целую ваши руки...»

Может быть, сейчас мне трудно объяснить, отчего это короткое и не очень отчетливое письмо совершенно потрясло меня. Главным образом, пожалуй, потому что оно было ответом не на письмо, которого я не писала, а на мои ночные восторженные мысли, на мою молитву о нем. Я получила как бы некое мистическое утверждение в должности.

Я ему не ответила. Да и что отвечать письменно, когда он и так должен знать и чувствовать мой ответ? А чувствовать было что, потому что вся дальнейшая зима прошла в мыслях о его пути, в предвидении чего-то гибельного и страшного, к чему он шел. Да и не только он, — все уже смешивалось в общем вихре. Мне казалось, что стоит голосу какому-нибудь крикнуть, — и России настанет конец.

Это была как бы третья встреча моя с Блоком.

Четвертая серия встреч стоит уже под знаком войны.

* * *

Опять юг.

Весной 14 года, во время бури, на Азовском море погрузились на дно две песчаные косы с рыбацкими поселками. В это время у нас на Черноморском побережье земля стонала. Мне рассказывали охотники, как они от этих стонов бежали с лиманов и до поздней ночи провожали друг друга, боясь остаться наедине со страждущей землей. А летом было затмение солнца. От него осталось только пепельно-серебристое кольцо. Запылали небывалые зори, — не только на востоке и на западе, — весь горизонт загорелся зарею. Выступили на пепельно-зеленом небе бледные звезды. Скот во дворе затревожился, — коровы замычали, собаки залаяли, стал кричать петух, курицы забрались на насесты спать. Пеплом было овьяно все.

Потом события, о которых все знают, — мобилизация, война.

Надо признаться, душа приняла войну. Это был не вопрос о победе над немцами, немцы были почти ни при чем. Речь шла о народе, который вдруг стал единой живой личностью, который с этой войны в каком-то смысле начинал свою историю. Мы слишком долго готовились к отплытию, слишком истомились ожиданием, чтобы не радоваться наступившим срокам.

Брат ночью пришел ко мне в комнату, чтобы сообщить о своем решении, — идет добровольцем. Мобилизовывали рабочих. Двоюродные сестры спешили в Петербург поступать на курсы сестер милосердия.

Первое время я не знала, что делать с собой, сестрой милосердия не хотела быть, — казалось, что надо что-то другое найти и осуществить. Странные решения приходили в голову. Основное, — как можно дольше не возвращаться в город, как можно дольше пробыть одной, — чтобы все обдумать, чтобы по-настоящему все понять.

Осенью, оставшись одна, отрезанная тысячами верст от всего мира, я особенно чувствую, какие события совершаются. На душе спокойно и вместе с тем все полно не только предчувствием, — все напряжено.

По ночам, когда в доме тихо, а за окнами плачут равноденственные бури, я начинаю медленно приближаться к новому открытию. Лично мне оно дается мучительно. Я вдруг начинаю видеть, что вся наша неразбериха, наша мука, потерянности, нелепость, — война, черные годы перед ней, — все это, — многоголосый зов, многорукий стук в закрытые двери. И ждет Россия Христа. И я вижу Его совсем рядом, — на полях сражений, у снежных русских могил, в поездах, наполненных заунывными песнями людей в серых шинелях, на ветряных проспектах суровой столицы, в моей отстоящей от мира на тысячу верст дыре.

Это называется религиозный смысл войны. Не войны только. Религиозный смысл и нашей довоенной муки, и нашей тысячелетней трагической истории, и не оправдываемой иначе моей маленькой жизни, и Блоковского пожара, — все вдруг становится смысловым, все связывается в один узел.

И вот, босыми ногами по каменному полу, ночью, иду Ему навстречу. Пора уже, мы заждались. Больше ждать нет сил.

Наши жизни, — они вериги во имя Его. Вся русская история, — единый крест, поднятый народом во имя Его. И бремя Его легко, и иго Его сладко.

Так проходит эта мучительная осень. Трудно сказать, что дала она мне, — но после нее все стало тверже и яснее. И особенно твердо сознание, что наступили последние сроки. Война, — это преддверие конца. Прислушаться, присмотреться, уже вестники гибели и преображения бредут среди нас.

Брат мой воевал добровольцем где-то на Бзуре. Мать не хотела оставаться одна в Петербурге, — мне пришлось ехать к ней.

Как будто после долгого срока приближалась я к страшному городу. Поезд несся по финским болотам среди чахлой осины и облетевших берез. Небо темно. Впереди черная завеса копоти и дыма. Пригород. Казачьи казармы. Николаевский вокзал.

Еду и думаю. К Блоку пока ни звонить не буду, не напишу и уж, конечно, не пойду. Еще не время. И вообще сейчас надо по путям в одиночку идти.

Программа зимы, — учиться, жить в норе, со старыми знакомыми по возможности не встречаться.

Приехали к завтраку. Родственные разговоры, расспросы. День тихий и серый. Некоторая неразбериха после дороги.

А в три часа дня я звоню у Блоковских дверей... Горничная спрашивает мое имя, уходит, возвращается, говорит, что дома нет, а будет в 6 часов.

Я думаю, что он дома. Значит, надо еще как-то подготовиться. С Офицерской иду в Исаакиевский собор, — это близко. Забиваюсь в самый темный угол. Передо мной проходят все мысли последнего времени, проверяю решения. Россия, ее Блок, последние сроки, — и надо всем Христос, единый, искупающий все.

В 6 часов опять звоню у его дверей. Да, дома, ждет. Комнаты его на верхнем этаже. Окна выходят на запад. Шторы не задернуты. На умирающем багровом небе видны дуги белесых и зеленоватых фонарей. Там уже порт, доки, корабли, Балтийское море. Комната тихая, темно-зеленая. Низкий зеленый абажур над письменным столом. Вещей мало. Два больших зеленых дивана. Большой письменный стол. Шкаф с книгами.

Он не изменился. В комнате, в нем, в угольном небе за окнами, — тишина и молчание.

Он говорит, что и в три часа был дома, но хотел, чтобы мы оба как-то подготовились к встрече, и поэтому дал нам еще три часа срока. Говорим мы медленно и скупно. Минутами о самом нашем главном, минутами о внешних вещах.

Он рассказывает, что теперь в литературном мире в моде общественность, добродетель и патриотизм. Что Мережковские или еще кто-то устраивают патриотические чтения стихов в закрытых винных магазинах Шитта, — по углам больших улиц, — для солдат и народа. Что его зовут читать, потому что это гражданский долг. Он недоумевает, у него чуть насмешливая и печальная улыбка.

— Одни кровь льют, другие стихи читают. Наверное, не пойду, — все это никому не нужно.

— И Брюсов сейчас говорит о добродетели.

— А вот Маковский оказался каким честным человеком. Они в «Аполлоне» издадут к новому 15-му году сборник патриотических стихов. Теперь и Сологуб воспекает барабаны. Северянин вопит: «Я ваш душка, ваш единственный, поведу вас на Берлин». Меня просили послать. Послал. Кончатся так: «Будьте ж довольны жизнью своей, тише воды, ниже травы. Ах, если б знали, люди, вы холод и мрак грядущих дней». И представьте, какая честность, — вернули с извинениями, — печатать не могут.

Потом мы опять молчим.

— Хорошо, когда окна на запад. Весь закат принимаешь в них. Смотрите на огни.

Потом я рассказываю, что предшествовало его прошлогоднему письму. Он удивлен.

— Ах, это Штейнер. С этим давно кончено. На этом многое оборвалось. У меня его портрет остался, — Андрей Белый прислал.

Он подымается, открывает шкаф, из какой-то папки вынимает большой портрет. Острые глаза, тонкий, извилистый рот. Есть что-то общее с Вячеславом Ивановым, но все резче, чернее, более сухое и волевое, менее лиричное.

Блок улыбается.

— Хотите, разорвем?

Я хочу. Он аккуратно складывает портрет вдвое, проводит по сгибу ногтем. Рвет. Опять складывает. Рвет. Портрет обращен в грудку бумажек размером в почтовую марку. Всю грудку сыпет в печь.

Моя очередь говорить. Сначала рассказываю о черноморских бурях, о диких утках и бакланах. Потом о том, что надо сейчас всей России, в войне, в труде и в молчании искать своего Христа и в Нем себя найти. Потом о нем, о его пути, о моей боли за него.

Мы сидим в самых дальних углах комнаты. Он у стола, я забила на диване у двери. В сумраке по близорукости я его почти не вижу. Только тихий и усталый голос иногда прерывает меня, — значит, он тут. Да еще весь воздух комнаты полон какого-то напряженного внимания, — слушает, значит.

У меня мучительное чувство огромной ответственности и вдохновения. Я всю себя в каждое слово вкладываю, как будто камни ворожаю. И так просто все между тем. Вот уж воистину, от человека к человеку, без преград самолюбия, без преград какого бы то ни было духовного кокетства. Из глубины к глубине.

Поздно, надо уходить. Часов пять утра. Блок серьезен и прост.

— Завтра вы опять приходите. И так каждый день, пока мы до чего-то не договоримся, пока не решим.

На улице дождь. Пустота. Быстро иду по сонному городу. Надо его весь пересечь. Господи, как огромен и страшен Твой мир, и какую муку даешь Ты Твоим людям. У меня чувство, что грудь мою сковали золотые латы, что в руках меч, и помогает мне Некто могучий и крылатый.

На следующий день опять иду к Блоку.

У него опять такая же тишина. И так начинается изо дня в день.

Сейчас мне уже трудно различить, в какой раз что было сказано. Да и по существу это был единый разговор, единая встреча, прерванная случайными внешними часами пребывания дома для сна, пищи, отдыха.

Иногда разговор принимал простой житейский характер. Он мне рассказывал о различных людях, об отношении к ним, о чужих стихах.

— Я вообще не очень люблю чужие стихи.

Однажды говорил о трагичности всяких людских отношений. Они трагичны, потому что менее долговечны, чем человеческая жизнь. И человек знает, что, добиваясь их развития, добивается их смерти. И все же ускоряет и ускоряет их ход. И легко заменить должный строй души, подменить его, легко дать дорогу страстям. Страсть — это казнь, в ней погибает все подлинное. Страсть и измена — близнецы, — их нельзя разорвать.

И кончает неожиданно:

— Теперь давайте топить печь.

Топка печи у Блока, — священнодействие. Он приносит ровные березовые поленья. Огонь вспыхивает. Мы садимся против печи и смотрим молча. Сначала длинные, веселые языки пламени как-то маслянисто и ласково лижут сухую белесую кору березы и потухающими лентами исчезают вверх. Потом дрова пылают. Мы смотрим и смотрим, молчим и молчим. Вот с легким серебряным звоном распадаются багровые и золотые угольки. Вот сноп серебряных искр с дымом вместе уносится ввысь. И медленно слагаются и вновь распадаются огненные письма, и опять бегут алые и черные знаки.

В мире тихо. Россия спит. За окнами зеленые дуги огня далекого порта. На улицах молчаливая ночь. Изредка внизу на набережной Пряжки одинокие шаги прохожего.

Угли догорают. И начинается наш самый страшный, самый ответственный разговор.

— Кто вы, Александр Александрович? Если вы позовете, за вами пойдут многие. Но было бы страшной ошибкой думать, что вы вождь. Ничего, ничего у вас нет такого, что бывает у вожды. Почему же пойдут? Вот и я пойду, куда угодно, до самого конца. Потому что сейчас в вас как-то мы все, и вы символ всей нашей жизни, даже всей России символ. И все ваше нелепое и соблазнительное, — и не соблазнительно совсем, потому что и не ваше... Вот перед гибелью, перед смертью, Россия сосредоточила на вас все свои самые страшные лучи, — и вы за нее, во имя ее, как бы образом ее сгораете. Что мы можем? Что могу я, любя вас? Потушить — не могу, а если и могла бы, — права не имею: таково ваше высокое избрание, — горите. Но идти за вами, со-чувствуя, со-страдаю, со-живя, — это я могу, и хочу, и буду.

В мире есть две муки, — мука Голгофская и мука меча обоюдоострого, пронзившего Сердце Той, которая муку Голгофскую пережила как со-муку. На это все муки распадаются. Вот Россия сейчас распинается или будет скоро распинаться. И вы, как образ ее, тоже распинаетесь. Дорогой Александр Александрович, ничем, ничем помочь вам нельзя. Но есть и у нас путь. Вот, ваш крест обоюдоострым мечом входит в нашу душу... Нет, не вождь вы, а ведомый, влекомый. И мы влечемся за вами, потому что связаны такой невероятной любовью к вам и к вашей муке.

Он слушает молча. Потом говорит:

— Я все это принимаю, потому что знаю давно. Только дайте срок. Так оно все само собой и случится.

А у меня на душе все смешивается и спутывается. Я знаю, что все на волоске, что мы над какой-то пропастью, что моих сил недостаточно, — не удержу.

Наконец, все становится ясным. В передней, перед моим уходом, говорю о последних каких-то подробностях. Он положил мне руки на плечи. Он принимает мое соучастие. Он предостерегает нас обоих, чтобы это всегда было именно так.

Долго еще говорим. А за спокойными, уверенными словами мне чудится вдруг что-то неожиданное, новое и по-новому страшное. Я напрягаю слух: откуда опасность? Как отражать ее?

На следующий день меня задержали дома. Прихожу позднее обыкновенного. Александр Александрович, оказывается, ушел. Вернется поздно. Мне оставил письмо.

«Простите меня. Мне сейчас весело и туманно. Ушел бродить. На время надо все кончить. А.Б.».

Дверь закрывается. Я спускаюсь этажом ниже. Останавливаюсь на площадке. Как же я уйду? Как я могу уйти?

Подымаюсь назад. Стою долго у запертой двери.

Потом решаюсь. Сажусь на верхней ступеньке. Я должна дожидаться, чтобы еще что-то раз навсегда закрепить. А потом, — пусть. Не важно, как все внешне будет. По существу знаю, что все это навсегда.

Сижу долго. Изредка хлопает гулко парадная дверь, — это возвращаются нижние жильцы. Я каждый раз вскакиваю, потому что боюсь, что это в дверь на той же площадке кто-то возвращается. Но потом на первом, на третьем этаже хлопает дверь квартиры. Опять все тихо. Идут не минуты, — идут часы. Уже далеко за полночь. Скоро, наверное, утро. Мне даже думать не о чем. Все совершенно ясно, все обдуманно. Просто жду.

Наконец, долгий протяжный звонок внизу. Загорается в пролете свет. Где-то шаркающие шаги. Наверное, швейцар вышел отпирать парадную. Отпер. Впустил кого-то. Слышу, — этаж за этажом кто-то подымается, тяжело дышит от быстрой ходьбы. Вот все выше. Сюда, на верхний этаж. Это Блок. Встаю навстречу.

— Я решила дожидаться вас, Александр Александрович.

Он не удивлен. Только говорит, что нехорошо вышло, потому что у соседей в квартире скарлатина. Как бы я домой не занесла.

Отворяет двери. Входим. Я начинаю сразу торопиться. Он слегка задерживает.

— Да, да, у меня просто никакого ответа нет сейчас. На душе пусто, туманно и весело, весело.

А у меня на сердце мучительный восторг какой-то.

— Не знаю, может быть, оно и не надолго. Но сейчас меня уносит куда-то. Я ни в чем не волен.

Я опять начинаю торопиться.

Александр Александрович неожиданно и застенчиво берет меня за руку.

— Знаете, у меня есть просьба к вам. Я хотел бы знать, что часто, часто, почти каждый день вы проходите внизу под моими окнами. Только знать, что кто-то меня караулит, ограждает. Пройдете, взглянете наверх. Это все.

Я соглашаюсь. Быстро прощаюсь. По существу, прощаюсь навсегда. Я знаю, что в наших отношениях не играют роли пространство и время, но я чувствую их очень мучительно.

Ухожу. Будто еще новая тяжесть на плечи упала.

Со следующего дня начинаю нормальную, размеренную жизнь. Много читаю, — учусь. Никого почти не вижу. Война идет. В жизни мутно и предначально как-то. Я вне всего. Я не думаю. Я стараюсь много работать, чтобы легче было ждать.

По вечерам, когда голова устает от чтения и перед глазами огненные круги, часов в десять, почти каждый день выхожу из дому, сажусь на трамвай, — до конца Садовой, до Покровской церкви. Там пешком. Улицы все изучены. Я прекрасно знаю, с какой стороны лучше всего подойти. Иду к Пряжке глухой улицей, параллельной Английскому проспекту. Вот еще дом, который закрывает Офицерскую. Перехожу на другую сторону, чтобы площадь наблюдения была шире, потом замедляю шаги.

Вот. Смотрю на высокие стекла. Иногда в них тьма, иногда тусклый зеленый свет. Медленно, медленно прохожу по набережной, все время смотрю вверх. Потом дальше по Пряжке, ускоряю шаги, дохожу до Мойки, мимо Новой Голландии, опять на трамвай, можно домой, — дело сделано.

Бывал иногда перерыв, — кто-нибудь придет случайно, или какое-нибудь неотложное дело задержит, и самой надо быть в другом месте. Но вот сейчас я думаю, сколько времени это продолжалось. Во всяком случае, до весны 16 года.

А в это время мрачней и мрачней становилась петербургская ночь. Все уже, — не только Блок, — чували приближение конца. Не все ли равно, как они его воспринимали? Одни думали, что конец будет, потому что на фронте не хватает снарядов, другие — потому что Россией распоряжается Распутин, третьи, как Блок, — может быть, и не имели никакого настоящего «потому что», а просто в ознаменование конца сами погибали медленно и неотвратно.

И наконец, летом 1916 года последнее письмо от Блока.

«Я теперь табельщик 13-ой дружины Земско-Городского союза. На войне оказалось только скучно. О Георгии и Надежде, — скоро кончится их искание. Какой ад напряженья. А ваша любовь, которая уже не ищет мне новых царств. Александр Блок».

Это дословно.

С этим письмом в руках я бродила по берегу моря, как потерянная. Будто это было свидетельство не только о смертельной болезни, но о смерти. И я тут на юге, далеко (а если бы и не далеко, это тоже ничего не меняет), — ничего не могу поделать.

Это конец.

А потом мысль: такова судьба, таков путь. Россия умирает, Россия в ранах, — как же смеем мы не гибнуть, не корчиться в судорогах вместе с ней? И она тоже кончает свое искание Георгия и Надежды, она в аду напряженья. Скоро, скоро пробьет какой-то вещий час, и Россия, как огромный, оснащенный корабль, отчалит от земли, в Ледовитый океан, в ледовитую мертвую вечность. И на этом корабле повезет она мертвенный груз наших обледенелых душ.

ПРИ ПЕРВЫХ БОЛЬШЕВИКАХ (КАК Я БЫЛА ГОРОДСКИМ ГОЛОВОЙ)

I

*Добольшевицкие настроения. Обыватели. Доктор Стальнов.
Старая Дума. Партийные группы. Гражданский комитет.
Демократическая Дума. Совет. Арнольд и Мережко*

В таком маленьком городе, как Анапа, революция должна была почувствоваться не только как непомерный сдвиг в общерусской жизни, но и как полная перетасовка всех местных отношений. «Деятели», перед этим наперегонки стремившиеся добиться благоволения старого правительства и при помощи властей изничтожить друг друга, стали в революционном порядке искать новых возможностей и связей и ими пользоваться во взаимной борьбе. [В последние годы старого режима Анапой в буквальном смысле владел некий доктор Будзинский, владелец трех грандиозных санаторий, городской голова, не считающийся с Думой, свой человек у начальника области Бабича, в период войны наживающийся на выгодных контрактах с Красным Крестом и лечащий раненых так, что городской врач, назначенный на ревизию его санаторий, был поставлен в тупик: сказать о том, что там делается, — значит быть немедленно назначенным на фронт, — умолчать, — попадешь под уголовщину за соучастие. В первые дни революции доктор Будзинский презрел свои старые связи и решил расчитаться со своим старым врагом полицмейстером, но тот ждал этого удара и, будучи уже арестован, предупредил, кого следует, что в особом деле за № 22 у него в архиве полиции хранятся документы, изобличающие уголовную деятельность городского головы. Эти документы послужили в дальнейшем материалом для комиссии гражданского комитета по расследованию злоупотреблений д<окто>ра Будзинского.]

Пока верхи старались, так сказать, оседлать события и заставить революцию послужить им на пользу, низы жили совершенно особой жизнью. Я говорю не только о массе анапских мещан, но и об интеллигенции — учителях, докторах, чиновниках, раньше в большинстве случаев стоящих далеко от политики. Настало время, когда все почувствовали не только обязанность, но и потребность совершенно забыть о привычном укладе жизни, о своих ежедневных обязанностях и делах и принять участие в общем деле революции. Пожалуй, именно в этом резком изменении привычного быта сказала у нас революция. Все двигали ее, чрезвычайно сумбурно и непоследовательно, говоря целыми днями на митингах, в родившихся профессиональных союзах, в бесчисленных заседаниях и у себя дома, переживая заново весь длинный, полный событий день. Митинги шли в курзале, — как бы официальные; и около электрической станции, — менее людные и носящие более случайный характер. [Чрезвычайно активными оказались наши базарные торговки. Объединенные проходимцем доктором Стальновым, они проповедовали погром интеллигенции. И долгое время, пока не обнаружилась покража Стальновым микроскопа из городской амбулатории, он был совершенно неуязвим, так как благодаря известному демагогическому таланту, умел привлекать на свою сторону темную массу. Мы же все совершенно не знали, куда он в конце концов тянет, — окажется ли он самым отъявленным черносотенником или перейдет в другую крайность. Уверена, что сейчас он большевик.]

На фоне этой новой, путанной и сумбурной жизни старая городская Дума теряла всякий авторитет. Сильная группа гласных, поддерживавших голову Будзинского — человека очень скомпрометированного, — конечно, не могла думать взять движение в свои руки. Будзинский принужден был подать в отставку. Дума доживала последние дни. А ей на смену спешно выбирался гражданский комитет.

Положения о выборах гражданского комитета были нам присланы из центра. Голосование должно было быть всеобщим, прямым, равным и тайным. Не привыкшие еще к организации граждане валом валили голосовать. Но так <как> предварительного сговора о кандидатах почти не было, то каждый голосовал за нескольких ему лично хорошо известных соседей и приятелей. В результате на 40 мест членов комитета было более тысячи кандидатов, причем большинство их получало 10–20 голосов. А победителями в этом деле вышли лица, заранее столковавшиеся и успевшие отпечатать листки с наименованием кандидатов. Делала это группа противников доктора Будзинского. Получился такой результат: граждане, получающие такой листок, вычеркивали из него только тех, кто был для них заведомо неприемлем, и вписывали особо желательных на их место. Но так как каждый вычеркивал и вписывал разных лиц, а безразличные кандидаты не вычеркивались, то в общем почти весь список прошел.

Гражданский комитет был выбран ранней весной 1917. В то же время начали сорганизовываться партийные группы. Не помню сейчас, имели ли свою организацию немногочисленные анапские кадеты, — кажется, что

нет, а большинство их вошло в аполитичный, но достаточно по отношению к революции оппозиционный, союз домовладельцев. Народных социалистов было в группе 5–6 человек. Несмотря на это, группа имела значительный вес, так как ее членом был бывший депутат 1-ой Гос<ударственной> думы выборжец Морев — человек очень талантливый и опытный в общественной работе, но, к сожалению, благодаря своей болезни, — он был в последнем градусе чахотки, — абсолютно неуживчивый и желчный. Морев чужих мнений переносить не мог и выражал свое неприязненное отношение ко всем инакомыслящим настолько резко, что создавал себе везде личных врагов.

Меньшевики насчитывали неск<олько> больше членов, — человек до 15. Но их слабость заключалась в том, что эти 15 человек делились на плехановцев, интернационалистов и т.д. Кроме того, лидера у них не было, а все члены принадлежали к средним интеллигентским кругам, представителей народных масс у них тоже не было. [О некоторых из них, — о ветеринарном враче Надеждине и его жене, о землемере Шпаке, Мережке и т.д. — мне еще придется говорить.]

Наконец, самой многочисленной группой была группа партии социалистов-революционеров. И в то время, как другие группы страдали от безлюдия, эсеры, насчитывавшие до 500 членов, этим именно и ослаблялись. В партию эсеров повалили все. Шла в нее та масса, о которой я уже упоминала, раньше стоявшая далеко от политики, а тут вдруг почувствовавшая известную психологическую необходимость принять участие в общем деле и стремящаяся найти к этому делу пути через партию; шли лица, желающие забронировать свою мещанскую сущность ярлыком партийной принадлежности, шли из-за моды, шли, наконец, потому, что это было самое левое, самое революционное, проникнутое ненавистью к старому строю и, значит, способное ломать. А ломать — это было то, что постепенно заполняло все мысли.

Конечно, ни о какой партийной идеологии не приходилось говорить. В минуты уж слишком явного уклонения от общих линий поведения партии приходилось ссылаться на постановления ЦК и на партийную дисциплину. Незначительная часть членов партии, старых работников, чувствовала себя в меньшинстве. На них надо остановиться: учитель Соколов и его жена, очень принципиальные и честные люди, через которых события переклестнули сразу; инженер или техник, — не помню, — Милорадов, более или менее способный руководить партийной массой; штукатур Соловьев, раньше увлекавшийся террором, исключительно преданный партийным делам человек, единственный, может быть, настоящий эсер из всей группы; слесарь Малкин, скорее эсер по воспоминаниям молодости, очень буржуазившийся и обросший огромной семьей, — это все группа будущих эсеров — примыкающих к партии; и будущие левые эсеры, — Инджебели, студент, ловкий и беспринципный человек, демагог, провокатор и предатель; и Арнольд, председатель группы, бывший максималист, каторжанин, благодаря своему прошлому абсолютно и непререкаемо авторитетный сре-

ди массы, захваченной революционным угаром, мстительный, неорганизованный, бесчестный и демагог.

И после бурных партийных собраний мне иногда становилось страшно. Ведь это было лето 1917 г.; партия эсеров была фактически самой мощной в России. И авторитетность партийного центра, а отчасти и Временного правительства, покоилась ведь фактически на таких вот, как анапская, мелких группах, разбросанных по всей России. Из центра не видно, может быть, а на местах совершенно ясно, что все идет хорошо, пока нет ничего более сильного, чем Вр<ременное> пр<авительство>, но в момент любой, самой незначительной неустойки, все здание может рухнуть, потому что фактически на поддержку местных людей рассчитывать не приходится. И крушение будет тем сильнее, чем сильнее сейчас переоценка своих сил.

Я знала летом 1917 г., что наша анапская группа может рассчитывать только на единицы. При мало-мальски сильном толчке большинство, — мещанское, — просто отойдет, а другая половина уклонится в любой вид максимализма, — о большевизме мы тогда мало думали, но теперь-то ясно, что именно большевицкие элементы составляли значительную часть нашей группы.

И любопытно расценивалось это все анапскими интеллигентами из обывателей. Меня, например, не спрашивали, отчего я состою в партии эсеров, а только недоумевали: «Как вы можете состоять в одной группе с Арнольдом?» И на самом деле это было очень трудно и несносно.

В августе была избрана новая Дума. Выборы шли уже по твердым спискам. Большинство получили эсеры. Но так как у нас не было кандидата, который в смысле опытности мог бы конкурировать с Моревым, то он и был избран гор<одским> головой; товарищем был избран с<оциал>-д<емократ>, бывший секретарь Думы Сумцов, вскоре, впрочем, уехавший в Екатеринодар, а членами Управы эсер Милорадов и беспартийный малограмотный анапский мещанин Зубенко.

А раньше новой Думы был организован Совет солдатских и рабочих депутатов.

Солдат у нас, правда, — не было тогда, кроме сотни пограничной стражи; да и рабочих не было, потому что подавляющее количество анапских ремесленников были собственниками своих предприятий и наемных служащих в них не имели.

Но все же Совет организовался. Каждая партийная группа дала в него по три представителя, профессиональные союзы дали представителей пропорционально своей численности. Председателем Совета был избран некий Мережко, человек, истинную сущность которого я не берусь и сейчас установить. Называл он себя с<оциал>-д<емократом>. В выступлениях своих проявлял тот же уклон к анархическому максимализму, по профессии был частным поверенным и владел многими домами в Петербурге на Охте. Как он у нас появился, я не знаю. Только помню, что доверия он нам не внушал с самого начала. Это чувство еще усилилось после одного случая. Дело в том, что наша анапская буржуазия, раздраженная тем, что первыми

лицами в городе стали люди типа Арнольда, Мережки и т.д., начала против них поход, и надо сказать, что довольно удачный. Виноградарь Ключ предъявил Мореву письма Мережки, из которых с очевидностью явствовало, что до революции Мережко занимался освобождением от военной службы молодых людей, взимая за это немалую мзду. Морев официально снесся с Советом на этот предмет, и Совет был фактически поставлен в необходимость вынести суждение о деятельности своего председателя.

Опять голоса разбились. В меньшинстве остались старые партийные работники, без различия их партийной принадлежности, и главным образом люди интеллигентные. Громадное большинство Совета, люди, в политике новые, а часто и вообще малограмотные, [под предводительством Арнольда] постановило не судить Мережку и вообще не обращать никакого внимания на это дело.

Мы настаивали только на разборе дела, не предрешая нашего к нему отношения. Этого требовало элементарное желание охранить Совет от всяческих нареканий. [Я думаю, что электричество уже потухло (его тушили во всем городе в 12 ч<асов> ночи), а Арнольд все продолжал свою речь, в которой он собственно ничего не стремился доказать, а просто говорил, что на его руках были цепи, и что он уйдет из Совета, если делу Мережко будет дан ход.]

Опять подымалось чувство какой-то безнадежности. Очевидно, народная масса, составлявшая большинство Совета, совершенно по-иному, чем мы, воспринимала даже такие бесспорные вещи, как необходимость общественному деятелю себя реабилитировать в случае брошенных ему обвинений. И вывод, который тогда и не делался, пожалуй, потому что слишком сильна была вера в правду революции, — но вывод ведь напрашивался сам собой, — массе с нами не по пути. Придут люди, которые сумеют развязать ей руки, и тогда она полетит по совершенно другому руслу. В этом была неизбежность большевизма. И в нашей маленькой Анапе, как в капле воды, отражалось все, что делалось во всей России.

К осени, таким образом, в Анапе было три законных власти, — городская Дума, гражданский комитет и Совет. Очень трудно было разграничить компетенцию этих властей, и на этой почве происходили всяческие трения.

В конце августа я уехала по делам в Москву и Петроград. Там были иные настроения. Основное было, конечно, то, что и раньше мне казалось неизбежным, — полная оторванность от нашей низовой психологии; и оторванность эта не сознавалась; думали, что на низы именно и опираются. Должна сказать, что настолько это заблуждение было сильно, что, пожив некоторое время в центре, я тоже решила, что, очевидно, мои анапские впечатления или ошибочны, или являются результатом каких-нибудь особенно неблагоприятных стечений обстоятельств в Анапе, и Анапа не правило, а исключение.

Теперь, оглядываясь назад и часто слыша упреки по адресу правящей тогда революционной демократии, я всегда считаю, что главным пунктом ее защиты от обвинения в том, что довели дело до большевицкого восста-

ния, надо было бы выдвинуть общую настроенность русского народа, которую изменить нельзя было. И этот пункт слишком мало использован, потому что, может быть, и до сих пор лидеры и вожди не учитывают в полной мере, над какой пропастью они стояли и каким подвигом было это стояние, — пусть подвигом и не осознанным ими до конца.

II

Появление первых большевиков. Общественная и партийная работа. Развал группы. Инджебели и афоризм Егорова. Соловьев. Протанов и местные большевики. Мое избрание тов<арищем> гор<одского> головы. Отставка Морева. Стадник. Умирание Думы

Всю осень я провела в разъездах. Другие дела отвлекали меня от жизни Анапы, и только на Рождество, отрезанная от центров России, я вынуждена была опять осесть и заняться анапской жизнью. За это время многое изменилось. Расслоились настроения. Многие, первое время революции захваченные общим течением, совершенно отошли от политики, общая подавленность чувствовалась во всех. Оторванность от центров сказывалась в полной невозможности понять и оценить события.

Должна только подчеркнуть, что в конце декабря 1917 г. у нас на всю Анапу был один большевик Кострыкин, сиделец казначейства, бывший городской. К нему относились, как к чему-то чрезвычайно комичному и нелепому, и, несмотря на общую преднастроенность к развалу, все же не могли понять, каким образом этот развал осуществить.

Жизнь замерла. Ждали событий. На Рождество пришел первый эшелон солдат с Кавказского фронта. Так как Анапа лежит далеко от железной дороги, то и солдаты у нас появились только свои, — с детства мне известные Ваньки и Мишки. Но теперь они были неузнаваемы. Все они были большевиками, все как бы гордились тем, что привезли в город нечто совершенно неведомое и истинное.

Апатия, охватившая местных жителей, давала этим солдатам возможность голыми руками взять власть. Но беда в том, что они великолепно понимали, что брать власть у них некому. И на этом основании ограничивались устройством бесконечных митингов.

[На митингах выступали все по очереди. Самым талантливым оратором был солдат Иван Кособрюх. Он доходил во время своих речей до какого-то экстаза, плакал, бил себя в грудь, бросался на колени. Афоризмы его были неподражаемы. По поводу нашей несчастной Думы он говорил: «Ее надо разогнать, потому что ее выбирали только женщины и беспощадные старцы, а мы, солдаты, были на фронте». О старом режиме он всегда заявлял: «Кошмарская рука царизма» и т.д.] Надо сказать, что вообще при ближайшем рассмотрении все эти пророки новой веры, за небольшими исключениями, оказывались людьми очень искренними и совершенно невинно темными, с таким винегретом в мозгах, что просто бывало не зна-

ешь, с какого конца начинать с ними спор. И весь винегрет подкреплялся таким авторитетным тоном, такой уверенностью, что именно так думают Ленин и Троцкий, что просто диву приходилось даваться.

Убедившись, что при полной возможности взять власть в свои руки, у них не хватает вождей, солдаты послали за варягами в Новороссийск. В конце января оттуда прибыл некий товарищ Протапов, латыш, молодой еще человек, бывший в ссылке, имеющий известный опыт и очень талантливый диктатор. Этот неведомый нам человек был призван владеть городом.

Первый же митинг, руководимый им, постановил организовать военно-революционный комитет — будущую полноправную власть города. С удивлением узнали мы, что кроме Протапова и нескольких большевиков солдат в состав военно-революционного комитета вошел и наш партийный товарищ Инджебели. (Арнольд к тому времени исчез, после сильной драки с солдатами в пьяном виде. Он был арестован начальником милиции Домонтовичем, а потом скрылся в Новороссийск и принял там командование какой-то красной частью. Домонтовичу этот арест по пьяному делу стоил жизни, — но об этом потом.)

Соловьев, Милорадов и я в экстренном порядке созвали собрание группы для обсуждения поведения Инджебели.

Группа собралась, — увы, — теперь состав постоянных собраний не превышал человек 20.

Я была главным обвинителем Инджебели. Я цитировала постановление ЦК о том, что члены партии, входящие в состав руководящих большевицких организаций, тем самым исключаются из партии, я предлагала мирно разойтись, — с тем, чтобы Инджебели заявил, что он левый эсер, — и пусть даже за ним пойдет большинство, — лишь бы хоть незначительное ядро оставалось в партии. От прямых ответов он уклонялся, но заявлял, что считает необходимым присутствие в военно-революционном комитете своих людей, что за Учредительное собрание будет сейчас манифестировать только буржуазия и т.д. Группа молчала. Только Соловьев, Милорадов и Соколов поддерживали меня. Да еще один член группы, анапский мещанин Егоров, поразил удивительно точным определением разницы между эсерами, с одной стороны, и большевиками и левыми эсерами, с другой. «Эсеры говорят: пусть вчерашний господин и вчерашний раб будут сегодня равными. А большевики говорят: пусть вчерашний господин будет сегодня рабом; а раб господином. Эдак мы, товарищи, никогда не кончим, потому что господин в рабах очередь отбудет, опять менять придется, — и так без конца».

Во всяком случае собрание наше не дало никаких результатов.

На следующий день я встретила на улице Протапова. Он меня остановил и серьезно сказал: «Вы имейте в виду, что о вашем вчерашнем выступлении против военно-революционного комитета я уже осведомлен и очень вам советую бросить это, — для вас же лучше». На мой недоуменный вопрос, о чем идет речь, он ухмыльнулся и заявил: «Вчера в час ночи

Инджебели примчался ко мне и рассказал мне обо всем, что у вас происходило, прося принять меры против вас. Будьте довольны, что он попал ко мне, а не к товарищу Конверскому, например. Я доносчиков не люблю».

Картина была совершенно ясной. Наша группа, конечно, не могла дальше существовать, раз она не имела силы выбросить из своей среды предателя.

А большевики, организовав военно-революционный комитет и охранную роту, постепенно стали забирать всю власть в свои руки. Дума еще держалась. Но под ударом был городской голова Морев, благодаря тому, что личное отношение к нему было у всех отвратительное.

Надо было как-то иначе оберечь Думу и противопоставить большевизкой политике не брюзжание и желчь Морева, а политику защиты тех культурных ценностей, которыми владела городская Дума.

Мне предложили выставить свою кандидатуру на пост товарища городского головы. Я согласилась, тем более, что в моем ведении должны были быть отделы народного здоровья и образования.

После избрания, — в конце февраля приблизительно, на том же заседании Морев подал в отставку. Должна сказать, что если бы я эту отставку, да еще в такой <момент>, сразу после моего избрания, предвидела, я бы, может быть, не согласилась на выставление моей кандидатуры. С уходом Морева я становилась сразу заместителем городского головы. Вся административная часть работы Управы, все городские финансы, — ложились на меня. Но это, пожалуй, в тот период не должно было особенно пугать, потому что практическая работа Управы постепенно доводилась до минимума. Страшнее и ответственнее было то, что я фактически олицетворяла в себе ненавистную большевикам демократическую власть, что я была поставлена одна лицом к лицу с ними. Мои товарищи по Управе не были сильной поддержкой: Милорадов начинал леветь и постепенно приближался к позиции Инджебели, оставаясь по существу просто порядочнее его, а Зубенко был струсивший обыватель. Дума тоже не давала мне прочного большинства, т<ак> к<ак> партийная наша фракция явно раскалывалась, а беспартийные, которых было порядочно, относились к моему избранию так, что гласный Стадник был прав, когда заявил: «Що мы наробыли? Голову скинули, тай бабу посадили, тай що молодую бабу». Сознаюсь, что и я сама была с ним в большой степени согласна: действительно, «наробыли».

Приходилось на свой страх и риск вырабатывать линию поведения. Во-первых, я установила для себя, что должность городского головы, — должность непартийная и что ввиду этого я обязана вообще быть представителем интересов города. Во-вторых, так же ясно мне было, что говорить при общей политической обстановке того времени о творческой работе не приходится.

Главной моей задачей было — защищать от полного уничтожения культурные ценности города, способствовать возможно нормальной жизни граждан и при необходимости отстаивать их от расстрелов, «морских ванн» и т.д. Это были достаточно боевые задачи, создававшие иногда не-

возможные положения. А за всем этим шла ежедневная жизнь с ее ежедневными заботами, количество которых, правда, постепенно уменьшалось, так как большевики все прочнее захватывали власть и к нам обращалось все меньше народу.

Городская дума медленно умирала.

В этот период был создан новый, уже большевицкий Совет с председателем Протаповым.

В ведение военно-революционного комитета отошли только военные дела. Фронт Корнилова уже обнаружился, и военная работа у большевиков кипела.

Надо только сказать, что наш большевицкий Совет имел некоторые особенные черты. Все партийные группы, в том числе и большевики, были в нем представлены на равных началах. Большинство голосов большевикам давали представители солдат и профессиональных союзов. Причем многие из них не были ни большевиками, ни даже большевицки настроенными людьми, а просто будто решили, что время требует от них голосования за большевицкие резолюции.

Партийные же люди, под влиянием оторванности от центра, заняли такую позицию, — входить, не называя партии, во все большевицкие учреждения невоенного характера и тем самым получать там большинство, — так называемое «взрывание изнутри».

III

Дума слагает с себя полномочия и передает их Управе.

Моя работа в качестве исп<олняющего> обязанности городского головы.

Управские заседания. Дело Домонтовича. Раздача участков для постройки домов. Мобилизованные женщины. Поездка за нефтью. Матросы.

Надеждин. Дело Разумихина. Революционный трибунал.

Ответственность за учителей. Санатории и аптека.

Участок Будзинского. «Трудовая интеллигенция». Лекция Сиповского

Недели через две после моего избрания положение Думы стало настолько двусмысленным, что надо было решаться на какие-нибудь экстренные меры. Надо было выбирать, — или испить чашу унижения до конца и влачить свое существование, пока его будут терпеть большевики, или вступить с ними в решительную борьбу, не останавливаясь перед возможными жертвами и будучи уверенными в окончательном поражении, или, наконец, сделать красивый жест и сложить с себя полномочия.

У Думы хватило мужества отказаться от первого решения. Для второго не было достаточно сил, и по существу гласные не представляли из себя однородную массу, — без чего вопрос о борьбе сам по себе отпадал. Остановились на третьем решении. Дума вынесла постановление, что, ввиду создавшегося положения, ввиду засилья большевиков, она считает ниже своего достоинства продолжение своего существования, и на этом основа-

нии все гласные слагают с себя полномочия, передавая их Управе. Основной задачей, завещаемой Думой Управе, является отстаивание материальных и культурных ценностей, находящихся во владении города, и налаживание мало-мальски возможного нормального существования граждан.

Причин к такому решению было много: и стремление оградить Думу, как учреждение демократическое, от насилия советской власти, и желание выйти из двусмысленного положения при помощи красивого жеста, и полное отсутствие веры в свои силы, и, наконец, личный страх многих гласных оказаться чрезмерно одиозными перед большевиками.

Как бы то ни было, решение было принято единогласно. Управа не протестовала. Отчасти разношерстный состав гласных не давал нам необходимой поддержки, а отчасти, пожалуй, и на самом деле было легче исполнять думскую программу в небольшом управском составе. Мы были гибче и подвижней. Мы могли решать каждое конкретное дело, не прибегая к шумным и вызывающим резолюциям.

Обычная управская работа постепенно совершенно исчезала. Всегда полные народом коридоры Думы пустели. Жизнь помимо своей воли пробивала себе иное русло. Наши ежедневные управские заседания носили довольно нелепый характер. Сотни дел прошли в них. И, вынося резолюции по этим делам, мы великолепно понимали, что по существу этими резолюциями все дело и ограничится, потому что исполнительный аппарат ускользал из наших рук.

Сначала это положение заставило меня задуматься вновь о целесообразности моего пребывания в должности городского головы. Я было хотела уйти. Но потом количество дел иного порядка, решительная необходимость противопоставить советской власти хоть что-нибудь и определенная потребность у граждан иметь в лице Управы хоть какую-нибудь защиту заставила меня остаться.

Прежде чем говорить о конкретной работе, которую приходилось вести, я хотела бы указать на одно чрезвычайно любопытное явление, отмеченное тогда многими.

Мое положение было достаточно прочным, и я могла многого добиваться, главным образом, потому что я женщина. Объяснить это можно различно. Главным образом, на мой взгляд, объясняется это тем, что большевицки настроенная масса в самом факте существования женщины — городского головы видела такую явную революционность, такое сильное отречение от привычек старого режима, что как бы до известной степени самим фактом этим покрывались, с большевицкой точки зрения, контрреволюционные мои выступления. Я была, так сказать, порождением революции, — и потому со мной надо было считаться.

С другой стороны, мне прощалось многое, что бы большевики не простили ни одному мужчине. Между нами шла известная конкуренция. Если я открыто заявляла, что считаю какое-нибудь постановление Совета глупостью, и доказывала, что я права, — им было обидно, что женщина оказалась умнее их, и в этой плоскости и велась вся борьба.

И, наконец, третьим элементом в их отношении ко мне была просто уверенность, что я достаточно смела. Не берусь утверждать, что на самом деле это так. Но фактически это могло так казаться, благодаря тому, что только таким образом можно было работать: если я в результате какого-нибудь спора с Советом чувствовала, что дело идет к моему аресту, я заявляла: «Я добьюсь, что вы меня арестуете». На это горячий и романтический Протапов кричал: «Никогда. Это означало бы, что мы вас боимся».

Чтобы дать представление о моей работе того времени, я ограничусь перечислением тех дел, в которых приходилось принимать участие. Многие из них были полны подлинного трагизма, но большинство давало материал для анекдота. Ни о каком плане в работе, разумеется, не могло быть и речи. Приходилось отвечать только на потребность каждого дня.

Самым анекдотическим случаем была история с союзом жен запасных. Это был самый многочисленный у нас профессиональный союз. Он насчитывал до трех тысяч человек. Женщины в огромном большинстве были настроены большевицки. Они вообще имели бы большое значение в жизни Анапы, если бы поддавались хоть какой-либо организации.

Помню их первое, еще до большевиков общее собрание, на которое первоначально не допускались ни мужчины, ни женщины не жены запасных. Но после двух часов бесплодного крика по поводу выборов президиума пришлось это строгое правило отменить: в качестве варягов были приглашены я — председательствовать, и учитель И.К. Милашенко, — секретарствовать. Помню, что обращались ко мне «Мадам председательша». А результаты собрания были все такие же сумбурные.

Эти самые жены запасных получали в начале каждого месяца известное пособие от казны в Управе. Сумма пособия по сравнению с растущей дороговизной была ничтожна и колебалась в зависимости от количества членов семьи. Получали по 22 руб. 50 коп., по 35 руб. 25 коп. и т.д. А в казначействе, захваченном уже большевиками с комиссаром Кострыкиным во главе, мелких денег почти не было, и на все мои требования они выдавали тысячерублевые билеты.

Однажды дело с разменом этих билетов приняло такой оборот, что я не шутя испугалась полного разгрома всего управского здания. Женщины требовали мелочи и грозили расправой.

Мне пришла в голову мысль использовать их настроение, чтобы получить мелочь из казначейства. Я вышла к ним и предложила им строиться по десяти в ряд, чтобы идти в военно-революционный комитет с требованием мелочи. Моя грандиозная армия только что начала выстраиваться, когда за мной прибежал служащий звать к телефону; военно-революционный комитет, оказывается, уже услышал о мобилизации женщин и просит в срочном порядке распустить их, а кассира прислать в казначейство для получения мелочи. Я победила таким образом. И убедилась, кроме того, что есть способы довольно верные, для того чтобы проводить свою линию.

Перед своим роспуском Дума рассматривала проект раздачи огромного количества городской земли на окраинах по дешевой цене для участков и

для постройки на них домов. Анапа, благодаря своей курортной известности, росла быстро. Планы анапских мещан скупались дачниками, а местные жители оказывались бездомными. С возвращением с фронта большого количества солдат вопрос о квартирах встал очень остро, и Дума решила с торгов распродать часть городской земли.

Но митинг, организованный Советом, к сожалению, нас предупредил. Он вынес резолюцию о необходимости немедленного приступления к землемерным работам и к немедленной раздаче участков в 150 кв. саженей всем, кто не имеет еще в городе планов. В первую очередь бумажки с номерами участков должны тянуть фронтовики, потом все бездомные. Плата за участок — 25 руб. — столько, сколько стоит землемерная работа. Дума должна санкционировать это решение, потому что, если что и изменится в будущем, — участок должен быть законно приобретенным, продавать его нельзя. Незастроенные в течение десяти лет участки отходят опять к городу. Как будто это и все правила.

Дума восстала. Во-первых, она считала, что 150 кв. саженей, — слишком мало для одного плана; и что таким образом мы застроим площадь почти равную всей Анапе совершенно малоценными постройками. Анапе же принадлежит известная будущность как курорту, и об ее благоустройстве поэтому надо особенно заботиться. Дума предлагала делать в отводимых местах широкие улицы, большие площади для садов, более обширные планы для школ, сами участки увеличить, сразу же приступить к мощению улиц и к проведению электричества, что займет безработных, вернувшихся с фронта, а для проведения этих работ взимать за каждый участок не 25 рублей, а по разверстке то, что будет стоить устройство там различных культурных начинаний. Гласный Соколов размечтался даже о городе-саде. Но митинг заявил, что широкие улицы, площади и большие участки слишком отдалят крайние планы от города, всяческие удобства являются буржуазным предрассудком и что гражданам совершенно достаточно 150 саженей. Если Дума не согласна с этим постановлением, пусть пеняет на себя. Дума подчинилась. Этот инцидент был, пожалуй, решающим в деле ее самоликвидации. Уж очень все нелепо выходило.

Надо сказать, что анекдоты получались не всегда по инициативе большевиков. В Анапе, как в тихом городе, далеко от всяческих центров, скопилось очень много беженцев с севера. Сначала они получали откуда-то деньги, потом стали проедать свои вещи, наконец, и вещей не осталось. Приходилось приниматься за работу. Интеллигентного труда не было. В Управе лежали десятки прошений на должность учителя. Приходили ко мне ежедневно целыми толпами в поисках заработка. Наконец, организовали «союз трудовой интеллигенции». Представители союза пришли ко мне. Они просили участок огородной городской земли на песках. Я обещала. Они просили также всяческих сельскохозяйственных орудий и лошадь. Я и на это согласилась. Просили еще картошки и других семенных материалов. Тоже согласилась. Тогда обратились с самой неожиданной просьбой: им нужны деньги, чтобы оплачивать поденных рабочих, так как большинство

из них работать не может. Эту просьбу я, конечно, уже удовлетворить не могла. Дело рассыпалось. И только потом союз выделил артель чернорабочих, поденно ходивших перекапывать виноградники. Я видала их на работе. Впереди шел всегда нотариус из Николаева, потом наши привычные анапские девчата, а далеко сзади вся трудовая артель. Помню, что я обратила внимание на то, что во время работ из-за виноградных кустов у девчат совершенно не видно лопат, а у интеллигентов все время ручки лопат над кустами. Оказывается, девчата суют лопату в землю наклонно, мелко копают и каждый раз переворачивают значительное пространство земли, подвигаясь вперед более, чем на четверть аршина. Интеллигенты же суют лопату перпендикулярно к поверхности, входит она у них глубоко, и каждым ударом они поэтому подвигаются не более чем на один-полтора вершка.

Надо сказать, что вообще эта приезжая масса страдала невероятным паникерством. Помню, устраивали мы в пользу нашей партийной группы лекцию профессора Сиповского. В день лекции сначала ко мне, а потом и к Сиповскому прибежал в полной панике один присяжный поверенный — беженец — с предупреждением, что ему достоверно известно, что лекция будет большевиками сорвана, а организаторы и лектор арестованы.

Я сначала не поверила ему. Но потом с теми же вестями примчались две дамы. Наученная уже опытом, что с большевиками надо действовать напрямик, и кроме того, сильно разозленная, я пошла в военно-революционный комитет. Там было только несколько солдат, — его членов. Не давая возражать себе, я накинулась на одного из них, Шабарина. Я возмущалась тем, что даже при полной бедности Анапы на культурные развлечения, такое прекрасное и полезное начинание, как популярная лекция, встречает к себе дикое отношение большевиков.

В ответ на мою длинную речь смущенный Шабарин заявил, что они действительно виноваты, — до сих пор не взяли билета, но они думали, что это можно сделать при входе, а пойти собираются все. Я была посрамлена на этот раз.

Вообще все мои столкновения с интеллигентным беженством создавали полную уверенность, что среди них крепких людей искать не приходится.

В стремлении оградить нормальную жизнь анапских граждан я наткнулась на то, что в поисках всяческой контрреволюции большевики очень часто тревожили учителей, арестовывали их на несколько дней и тем самым останавливали занятия в школах. В одном училище в подвале обнаружили патроны, в библиотечной книге другого училища нашли какую-то глупейшую прокламацию. Надо было как-нибудь прекратить эти поиски и дать возможность детям учиться. Я созвала учительский союз, выяснила им обстановку и свои задачи и предложила им комбинацию, что они воздерживаются от лишнего фрондерства, а я перед лицом большевиков беру всю ответственность за их благонадежность на себя. Собственно, по существу я в данном случае и не рисковала, потому что основным настроением анапского учительства в тот момент была обывательская трусость, а с другой стороны,

даже в случае каких-либо осложнений наши большевицкие романтические верхи на многое могли посмотреть сквозь пальцы благодаря моему жесту. Фраза и жест были вообще наивысшими добродетелями у них.

Но все <же> некоторые осложнения мне приходилось ликвидировать довольно трудно. Помню одно из них. Однажды ко мне в кабинет пришла одна учительница с просьбой помочь ей. Муж ее, тоже учитель, накануне встретил на улице двух незнакомых матросов. Разговорились. Они назвали себя делегатами черноморского украинского флота. (Тогда у нас была довольно сильно распространена легенда о грядущем украинском десанте и об украинском флоте.) Учитель, как на беду, оказался ярым украинцем. Пригласил к себе земляков, распоясался и наговорил им с три короба о надеждах анапских граждан на освобождение при помощи украинцев. Выслушав все его речи, матросы заявили, что пойдут доносить на него в военно-революционный комитет.

С этим делом пришлось повозиться основательно, доказывая комитету, что, во-первых, никакого украинского флота не существует, а, во-вторых, сами эти делегаты — лица достаточно недостоверные.

В этот приблизительно срок начал у нас действовать военно-революционный трибунал. Как я уже говорила, идея «взрывания власти изнутри» была у нас широко развита. На этом основании трибунал организовался из представителей всех партий, по 2 человека от каждой. Такой состав обескровил его с самого начала, и действительно, ни одного судебного процесса они не довели до конца, т<ак> к<ак> суд не мог сговориться. Только по одному делу вынесли какое-то общественное порицание и арест на один день. Причем ночью в каталажку (тюремы у нас не было) члены трибунала принесли арестованному собственные простыни и подушку.

В этот же период случилось событие, которое потом чуть не кончилось для меня катастрофически.

Митинг постановил реквизировать санатории доктора Будзинского в пользу города. Началось там нечто невообразимое. Тогда более благоразумные из анапских граждан предложили передать заведование санаториями Управе, имеющей для этого дела готовый аппарат. Я колебалась. В реквизиции я, конечно, ни за что не стала бы принимать участия, — ни лично, ни от имени Управы, которая на это не имела права. Но нас поставили перед совершившимся фактом. С одной стороны, принять имущество в свое ведение напоминало сохранение заведомо краденой вещи, а с другой, — общее положение об охране культурных ценностей, находящихся в городе, диктовало необходимость взять и это дело в свои руки, чтобы не дать возможности разграбить ценное медицинское имущество санатории.

И хотя за отказ от этого дела говорило кроме всего и то, что при ликвидации большевиков доктор Будзинский не постесняется обвинить меня на этой почве в чем угодно, я согласилась от имени Управы временно вступить в заведование санаториями.

Мы назначили туда врача и сестер милосердия. По описи приняли все имущество и установили минимальный порядок в использовании его.

Несколько меня подбодрила в моем решении обращенная ко мне просьба аптекаря Назарова принять также в ведение города и аптеку, потому что в противном случае она может быть разгромлена по постановлению какого-нибудь митинга. До сих пор не знаю, как бы я поступила теперь в подобном случае. Думаю, что правильно понятое гражданское мужество и точное следование своей программе защиты культурных ценностей подсказали бы мне опять то же решение.

Вот еще один характеризующий работу случай, имевший место немного раньше. В городе на электрической станции кончилась нефть. Я решила поехать в Новороссийск и попытаться раздобыть там нефти. Одновременно со мной выехал солдат Лысенко, председатель продовольственной Управы, занимавшей какое-то среднее место между Советом и нами.

В Новороссийске местные власти согласились отпустить нам нефть только в обмен на пшеницу, которой в Новороссийске был большой недостаток. Но условия обмена были совершенно безбожные. Я запротестовала. Лысенко сначала тоже не соглашался. Потом вдруг хитро мне подмигнул и стал уступчивее. Я продолжала протестовать. Тогда он вытащил свои советские полномочия, заявил, что я являюсь представителем старого режима, и предложил писать договор.

Сначала он по поводу каждого слова начинал спорить, потом начал поглядывать на часы, потом попросил распорядиться заранее выдать ордера на нефть, так как нам надо спешить на поезд, а десятский ждет.

Ордера были выданы. Десятский отправился получать нефть. Условия были почти написаны.

Тогда Лысенко сорвался, заторопил меня и заявил, что нам надо бежать на поезд, — иначе мы опоздаем.

На улице я начала ругать его за уступчивость. Он расхохотался. «Ведь условия не подписаны, — заявил он, — нефть-то мы даром получили».

Трудным моментом в работе были взаимоотношения с отдельными служащими, которые в случае каких-либо недоразумений являлись в военно-революционный комитет и оттуда шли ко мне с приказаниями. Существовал закон, по которому все служащие, мобилизованные на фронт и замененные другими, по возвращении имели право получать свои старые места. В таком положении был городской садовник Иван, человек скромный и знающий. Но за время его отсутствия его место было занято пьяницей и хулиганом, — имени не помню. Все мои попытки водворить Ивана на старую службу разбивались о нежелание его заместителя уйти. Когда я решила прибегнуть к более серьезным мерам, этот человек обратился за защитой в комитет, и тот ультимативно потребовал от меня не увольнять его. А в частной беседе один из членов комитета сказал мне, что садовник докладывал комитету о моих непочтительных выражениях по его адресу и что вопрос об оставлении садовника стал для комитета вопросом принципиальным. Пришлось вести длительную руготню прежде, чем удалось развязать себе руки.

Этот же закон дал в результате одно из самых трагичных событий этого периода. У анапской Управы был свой юрисконсульт, пом<ощник>

пр<исяжного> поверенного Домонтович. Он был мобилизован и поступил в Московское юнкерское училище. Во время большевистского восстания бежал и оказался в Анапе.

Морев назначил его начальником милиции. Когда, благодаря аресту Арнольда, о котором я уже упоминала, и благодаря славе московского юнкера положение Домонтовича пошатнулось, Морев просил его все же оставаться на своем посту и обещал ему полную поддержку и защиту. Авторитет Морева был настолько велик, что Домонтович не только уверовал в свою прочность, но и стал держать себя достаточно агрессивно.

Я видела, что вопрос идет, в конце концов, о жизни Домонтовича, и решила, что Управа должна сама его уволить, чтобы положить конец той борьбе, которую большевики вели вокруг его имени. Он подчинился, но, во-первых, обиделся, во-вторых, стал просить содержания за три месяца вперед. Служил же он меньше месяца.

С трудом удалось уговорить его в интересах личной его безопасности быть умереннее.

Но через несколько дней он явился в Управу с требованием назначить его опять юрисконсультom, ссылаясь на тот же закон, что и садовник Иван. Юрисконсульт получал у нас вознаграждение из процентов от выигранных дел. В это время все судебные дела стояли. Материальной заинтересованности Домонтович в этом месте не имел. Но видно, кто-то настраивал его на фрондерски боевой лад. Он с принципиальной точки зрения подходил к вопросу о своем назначении. Надо сказать, что Домонтович был человек далекий от политики, веселый, почти всегда пьяный, прожигатель жизни. Жажды геройства мы в нем раньше не замечали.

Я с ним имела долгий разговор наедине. Вместо назначения юрисконсультom я предлагала ему немедленно скрыться, указывала на безопасное место у виноградарей, предлагала деньги и подводу. Для него момент был достаточно критическим, и я была об этом в полной мере осведомлена, да и от него ничего не скрыла. Но он с непонятным упорством настаивал на своем.

Может быть, все бы и обошлось благополучно, если бы в это время не прибыли в Анапу из Новороссийска делегаты Черноморского флота — пьяные матросы во главе с Пирожковым.

Начались повальные обыски.

Случайно я узнала о существовании проскрипционного списка, привезенного матросами. В нем предназначались к потоплению все наши бывшие городские головы, — среди них и Будзинский, и Морев, потом Домонтович, потом еще несколько человек. Список был составлен рукою давно исчезнувшего Арнольда.

Но только граждане, но и Совет были окончательно терроризированы.

Матросы потребовали с Совета контрибуцию в 20 тысяч рублей. Совет боялся отказать, но и согласиться на эту выдачу не решался. Протопов — председатель Совета — решил созвать митинг и тем самым перенести ответственность на безличную массу граждан.

Я на этот митинг пошла. До начала, походив между нашими стариками-мещанами, я установила, что соглашаться на контрибуцию ни у кого желания нет, но что и никто первым об этом не заявит.

Пришел, наконец, президиум Совета и матросы. Протапов доложил о требовании «красы и гордости революции». В зале царило молчание.

Я попросила себе слово. Когда я проходила к трибуне мимо Протапова, он остановил меня и шепотом сказал: «Вы полегче. Это вам не мы. Не постесняются».

Но я твердо была уверена, что при той опереточной декоративности, которой охвачены были тогда все большевики, есть способ наверняка с ними разговаривать.

Я подошла к кафедре и ударила кулаком по столу: «Я хозяин города, и ни копейки вы не получите!»

В зале стало еще тише. Протапов опустил голову. А один матрос заявил: «Ишь, баба».

Я опять стукнула кулаком: «Я вам не баба, я городской голова».

Тот же матрос уже несколько иным тоном заявил: «Ишь, амазонка».

Я чувствовала, что победа на моей стороне.

Тогда я предложила поставить мое предложение на голосование. Митинг почти единогласно согласился со мной. В контрибуции было отказано. Любопытно, что матросы хохотали.

Я считала, что успех мой кратковременный, и даже подумывала, не уехать ли мне на несколько дней на виноградники.

Но перед вечером пришел ко мне учитель Рудский, народный социалист, и еще кто-то, — не помню.

Они только что узнали о проскрипционном списке и решили просить меня, ввиду утренней удачи, попытаться еще раз воздействовать на матросов.

Я чувствовала почти полную невозможность что-нибудь сделать, но была принуждена согласиться.

Вечером состоялось заседание Совета. Я присутствовала на нем в качестве публики.

Выяснилось, что на рассвете матросы уезжают. Ночь, значит, имела решающее значение. Помню, что беседу в одиночку с матросами я вести не решилась: пригласила себе в компаньоны Соловьева, человека верного и честного. Он должен был быть живым свидетелем всего происходящего.

Заседание кончилось около 12 ч. Надо было приступать к моей дипломатической задаче. Матросы, Соловьев и я вышли из городского училища, где шло заседание. Отправились на высокий берег, к кладбищу. Я не помню сейчас, что я говорила. Знаю, что среди шуток моих спутников фигурировало часто предложение «одной, но хорошей морской ванны». Знаю, что у меня были попытки тоже шутить. Я говорила, что когда придет Корнилов (а о нем все чаще и чаще стали упоминать), то никто другой, как я, буду их всех от виселицы отстаивать. Были и попытки серьезного разговора. Один раз мы остановились уже около подъезда моревской

квартиры, — они хотели приступить к аресту. Работала не голова, а перенапряженные нервы. Кончилось все же тем, что они дали мне формальную расписку никого из тех, кто обозначены в проскрипционном списке, не трогать.

Я вернулась домой совершенно разбитая. А утром узнала, что матросы еще не уехали, но успели арестовать меньшевика Надеждина, учителя Рудского, акцизного чиновника Ковалева и Домонтовича.

Я за ночь слишком устала, да и имела глупость поверить в их обещание. Поэтому проявила недостаточно активности.

Надеждин, глухой, с трубкой в ухе, узнав, что при аресте они украли у него серебряный ветеринарный значок и поели все соленые огурцы, начал ругаться и называть их жандармами. Руготня и смелость дали свои результаты. Они его отпустили.

Жена Ковалева принесла им выкуп в несколько сот рублей. Ковалева тоже отпустили.

А Домонтович и Рудский остались на катере. Рассказывали мне потом, как жена Домонтовича, учительница, с дочерью Никой стояли на пристани; как она с бодрым видом спрашивала матросов, надолго ли увозят ее мужа, а они смеялись и отвечали, что он на днях будет освобожден.

Потом катер отчалил. Между Анапой и Новороссийском Домонтович и Рудский были потоплены. Тел их не удалось разыскать.

Жены долго не верили в их смерть.

Это трагическое событие заставило меня сильно задуматься. Я решила бросить свою неблагодарную работу.

Все эти отдельные эпизоды достаточно ярко рисуют обстановку, в которой приходилось работать. Но это все быт. А помимо быта были еще исторические события, которые окончательно определяли нашу работу.

IV

*Внешние события. Совет упраздняет Управу
и членов ее делает комиссарами. Участок Будзинского снят.*

Моя отставка. Саботаж. Бегство с Худаниным.

Новороссийская конференция

Весь наш юг начинал все сильнее и сильнее волноваться развивающимся фронтом Гражданской войны. В начале и середине февраля только глухо упоминалась фамилия генерала Корнилова; потом о нем забыли и стали больше говорить о борьбе с Кубанским краевым правительством. На устах у всех большевиков были имена атамана Филимонова, генерала Покровского, Бардижа, Быча и Рябовола. Общую характеристику давали всей этой «звездной палате», — контрреволюционеры, казакоманы, душители народа. Надо сказать, что большинство местных жителей слабо разбирались даже в своих кубанских делах и очень легко ставили знак равенства между всеми деятелями казачьей власти.

К началу марта разговоры приняли более конкретный характер. Правительство и Рада оставили Екатеринодар. Командующим краевых войск назначен Покровский. Начинается Гражданская война.

Большевики шли на эту войну с легким сердцем: подавляющее количество войск обеспечивало им, казалось, полную победу в кратчайший срок.

Даже дошедшие до нас сведения о соединении кубанцев с Корниловым не меняли картину. У них было, по большевицким данным, три тысячи бойцов при трех полевых орудиях, а у большевиков, — до 70 тысяч бойцов и более тридцати орудий.

Кроме того, и в смысле расположения сил преимущества были на стороне большевиков. Они все время пополнялись приходящими из Трапезунда в Новороссийск частями. С северо-востока пополнения шли к ним из Закавказья по железным дорогам; с севера центральная власть посылала якобы тоже подкрепления.

Несмотря на долю недоверия к большевицким источникам у нас всех все же было чувство, что дело Корнилова обречено. Оставалось совершенной загадкой, на что рассчитывают вожди его. Единственным объяснением казалось, что людям все равно нечего терять и идут они в порыве «мужества отчаяния».

Чуть ли не ежедневно приходили сведения, что Корнилов уже убит. Говорили о том, что кадры его, — помимо незначительного количества офицеров, — исключительно текинцы и горцы, что войска идут под зелеными знаменами пророка, что идет он защищать Учредительное собрание, что с ним в<еликий> к<нязь> Михаил Александрович, что зверствам белых нет предела и т.д. Вышелушить хоть крупницу истины из всего вздора, который приходилось слышать, было очень трудно. Единственное, что не подлежало сомнению, — это самый факт существования фронта Гражданской войны.

У нас была произведена мобилизация. Шли довольно безразлично. Образовалась шестая рота, заслужившая потом довольно громкую известность.

Кажется, под станицей Полтавской она была введена в бой. Не знаю отчего, но вышла она из боя победительницей и вскоре вернулась в Анапу. Солдаты были нагружены награбленным добром. Тащили коров, навьюченных подушками и самоварами. Первая удача очень способствовала упрочению воинственного духа среди наших мещан; второй отряд организовывался добровольно, бабы заставляли своих мужей идти воевать. Небольшой кадр местных буржуев был тоже мобилизован. Среди них во время недельного обучения выделялся непомерно толстый лавочник грек Эйбов, никак не могущий держать винтовку одновременно у колена и у плеча, — мешал живот.

Двинулось на фронт к станице Афипской человек 150.

Дня через четыре вернулись. Было около 80-ти человек раненых. Добычи не везли.

Раненых разместили в санатории.

Утверждаю, что среди них был самый незначительный процент большевицки настроенных людей. Общая масса поддалась какому-то гипнозу,

что, вот, настало время, когда все можно, когда грабить и убивать, — совершенно позволительно, когда вообще все расхлесталось; и шли на грабеж и убийство с какой-то непонятной наивностью и невинностью.

Я много беседовала с ранеными. В сущности моральным оправданием им было то, что большевики вели их, как стадо баранов, на убой. Любопытно, что в наших ротах было очень мало солдат, — основного большевизского кадра, — они предпочитали оставаться в Анапе в охранной роте во избежание восстания местных контрреволюционеров.

А наши мобилизованные мещане рассказывали такие чудеса, что у меня впервые мелькнула мысль о том, что дело Корнилова далеко не безнадежно.

Один контуженый говорил мне о том, как его огромный снаряд прямо в спину ударил, — до сих пор болит отчаянно.

Другой повествовал, как где-то в камышах они окружили Корнилова со всем штабом.

С вечера навели в середину кольца всю артиллерию и начали палить. Палили до утра, в полной уверенности, что все, находящиеся в кольце, уже убиты. Утром кинулись в атаку, а в кольце никого не оказалось. Корнилов успел незаметно прорваться.

Рассказывали много про каких-то сестер Орловых, живших у себя на хуторе. Подошла наша анапская рота к хутору; никого нет, а пулемет так их и поливает. Наконец старушку какую-то встретили, — она им сказала, чтобы на чердаке смотрели. Обходным путем отправились на чердак. Там старуха Орлова с одной дочерью у пулемета, а другая ленты подает.

Свели их вниз и спрашивают: «Что же с вами, товарищи, делать?» А барышни красоты удивительной. Один из солдат предложил, что он женится на какой-нибудь из них, чтобы избавить их от смерти. Но на него прикрикнули. А потом всех троих женщин «как капусту» порубили.

Была я в эти дни однажды в городской школе. На перемене прислушалась к разговору нескольких учеников. Один повествовал: «У кадетів діти білые, білые. Наши их “як капусту” порубили».

Видимо, неудача второго отряда заставила наших главарей задуматься. Решили мобилизовать офицеров.

У меня в Управе был брат, офицер, когда пришел Протапов и с усмешкой заявил, что вот, мол, решено заставить офицерство советскую власть защищать.

Мой брат спокойно заявил, что он не пойдет.

Протапов закипятился и стал грозить расстрелом.

Брат сказал: «Уж это ваше дело. Меня не касается».

Видимо, Протапов поверил в его твердость и вместе с тем не хотел быть принужденным расстреливать.

Когда во время регистрации по алфавитному порядку он дошел до фамилии моего брата, то остановился и сказал: «Нет, впрочем, достаточно. Остальные свободны».

А зарегистрированных объявили особым офицерским отрядом. Замечу, что все наши будущие добровольческие контрразведчики не проявили того мужества, как мой брат, и честно отмаршировали до Тоннельной, откуда были возвращены высшим начальством в Анапу по причине своей неблагонадежности. Были у нас, конечно, и офицеры другого типа. Но они, уворовав в большевицкой пулеметной школе несколько десятков пулеметов, скрывались.

Четвертый отряд мобилизованных потребовал, чтобы во главе его стоял человек, знакомый с военным делом. Выбрали прапорщика Ержа, из наших анапских мещан. Ержу, видимо, очень не хотелось быть начальником отряда. Отряд предполагался конный. Он заявил, что если в отряде будет 300 человек и только 299 лошадей, он не пойдет. Начальство заверило, что найдет все 300 лошадей. Тогда он сказал, что не пойдет, если хоть у одной лошади не будет уздечки. Начальство сразу же начало реквизировать уздечки, и начало с нашего управского обоза. И так как без уздечек обоз не мог работать, то большевики кстати мобилизовали всех обозных служащих, — в большинстве своем пленных турок. И турки эти получили винтовки, чтобы воевать во славу Красной армии.

В дальнейшем Ерж держал себя вполне лояльно: предупреждал всех офицеров о готовящейся мобилизации или аресте, так как они всегда успевали скрываться на некоторое время.

Забыла рассказать, что Эйбов, вернувшись из похода, очень интересно рассказывал, как он был в плену у Корнилова. Во время бегства не смог удрать, как увяз в пахоте. Привели его в станицу, в хату, где был сам Корнилов, — по описанию Эйбова, видимо, фантастическому, — большой, толстый бородатый генерал, весь в орденах. И хотели уже Эйбова повесить, но он стал говорить, что он не большевик, а коммерсант. Тогда его отпустили со смехом.

Наконец, слухи о смерти Корнилова стали упорны. Приехавшие из Екатеринодара говорили о той оргии, которая там была, когда тело Корнилова было туда доставлено. Надругательства над мертвым, мишурная и шутовская церемония, шествовавшая по городу и несшая тело Корнилова, не поддаются описанию.

Все происходящее тупило нервы, приводило в какое-то странное состояние. Терпеть было почти невыносимо. Теперь, пожалуй, ясно, что вся моя затея с охраной культурных и материальных ценностей совершенно не соответствовала силам одного человека и несла черты большого донкихотства. Но тогда, при всякой моей попытке бросить дело, являлись различные люди — учителя, врачи, беженцы-интеллигенты, — и просили меня остаться до конца. Собственно, они переоценивали мое значение и мои силы. Но, видимо, была потребность иметь между собой и властью хоть какой-нибудь буфер, рассчитывать хоть на какую-нибудь защиту.

Наконец, этому был положен предел. В середине апреля Совет постановил упразднить Управу, а членов ее сделать соответствующими комиссарами: меня по народному здравью и образованию; Милорадо-

ва — по техническим предприятиям города, а Зубенко — по городскому хозяйству.

Я на этом заседании не присутствовала и узнала о своем высоком назначении только утром на следующий день. Тотчас же я отправилась в Совет и на заседании Совета народных комиссаров заявила, что мои политические убеждения не позволяют мне быть большевицким комиссаром и что на этом основании я прошу меня считать выбывшей совершенно.

К моему удивлению, никто другой, как мой бывший партийный товарищ Инджебели, заявил, что мой способ действия называется саботажем, и на этом основании он предлагает Совету отставки мне не давать и силком заставить меня принять должность.

Я подтвердила, что работать не буду.

Выходя из заседания (оно происходило уже в Думском помещении), я встретила, между прочим, сына Будзинского, студента. Он просил меня, ввиду чрезвычайно тяжелого материального положения их семьи, помочь его отцу в следующем деле. Доктор Будзинский в свое время купил дачный участок у города, но сделка не была до сих пор оформлена. В данный момент он имеет возможность неофициально продать этот участок, — кажется, 400 кв. саженей — за 15 тысяч, для чего необходимо у нотариуса оформить сделку с городом. Для последнего дела необходима подпись городского головы. И доктор Будзинский прислал своего сына просить меня об этой подписи.

Я спросила его, знает ли он, что Управа упразднена, и что я рискую, давая подпись по должности, которая фактически не существует. Он ответил, что знает это и что вообще просит дать подпись задним числом.

В конце концов, это было мое дело. Я согласилась.

Чтобы отойти от дел, я уехала на несколько дней в сады. Вернувшись дня через три, чтобы взять в моем управском письменном столе кое-какие свои вещи, я на управской лестнице встретила Протапова.

Он заявил мне, что за время моего отсутствия пришло на мое имя письмо из Новороссийска. Он его распечатал и узнал, что это приглашение на эсеровскую губернскую конференцию для выборов делегата на Совет партии в Москву. На этом основании им уже выдано распоряжение меня из города не выпускать. Глумление начиналось самое явное.

Вместе с Протаповым я вошла в бывший кабинет городского головы. Там оказался какой-то мне незнакомый человек. Протапов познакомил нас, назвав его новороссийским комиссаром труда Худаниным, а меня комиссаром просвещения. Таким образом в глазах Худанина я смело могла сойти за большевичку.

Я открыла своим ключом ящик письменного стола, извлекла из него свои резолюции и начала отбирать некоторые бумаги.

Протапов вышел.

Я спросила Худанина, когда он едет обратно в Новороссийск. Оказалось, что сейчас, через полчаса и на своем комиссарском автомобиле. Я по-

просила его взять меня с собой. Он согласился. Я успела только позвонить по телефону домой.

Провожать знатного гостя собралось все начальство, — т.е. все те, кому был отдан приказ меня не выпускать. Протапов, видимо, не подозревал о моем трюке и спокойно разговаривал с Худаниным.

В последний момент, когда Худанин уже сидел в машине, я вскочила на подножку и на глазах у всех моих сторожей уехала. Впечатление у них было сильное. Но, видимо, не хотели подымать истории перед знатным гостем.

[Приехали мы в Новороссийск вечером. Все гостиницы там реквизированы. Остановиться негде. Адреса конференции или какой-либо точной явки у меня не было, т<ак> к<ак> о приглашении я знала только со слов Протапова.

Но история моего бегства с Худаниным настроила меня настолько азартно, что я предложила ему отправиться ночевать к каким-нибудь товарищам, а мне уступить свою комнату.]

На следующий день, разыскав нужных мне людей и попав на заседание конференции, я рассказала всю историю своего путешествия. Видимо, в Новороссийске дело было серьезнее и большевицкая власть не носила того опереточного характера, как у нас. Мои партийные товарищи были очень удивлены всеми этими приключениями. Надо сказать, что у них настроение было совершенно подавленное и к активности их было трудно возбудить.

На конференции я была избрана делегатом на 8-ой Совет партии.

Но до поездки в Москву я решила еще заехать домой, не в самую Анапу, а на виноградники, думая, что удрать я всегда сумею, а такая трудная поездка, как в Москву, требует все же приведения в порядок некоторых дел дома.

V

Волкорез. Смерть Протапова. Суд над убийцами. Необходимость отъезда

До Тоннельной я доехала на буфере товарного поезда. На станции извозчиков не оказалось. Мне сообщил знакомый носильщик, что местный начальник гарнизона Волкорез едет в Анапу, и что, может быть, с ним можно устроиться. Это у нас обычное явление, — искать попутчиков. Я отправилась к Волкорезу, и мы условились о совместном путешествии.

[Это была середина апреля. Ввиду моего экспромтного выезда, я не успела взять из дома каких-нибудь теплых вещей и мерзла отчаянно. В Новороссийск я ехала в бурке Худанина. Теперь попросила у Волкореза какую-нибудь шинель.]

Выехали часа в 4.

В галерее типов большевицких деятелей, с которыми мне приходилось встречаться, Волкорез занимает совершенно особое место. Казак станицы Варенниковской, человек малограмотный и некультурный, он принял

большевизм как некое откровение. Тайна его глубокой убежденности имела ключом ту кипучую энергию, которой было проникнуто все его существо и тот незаурядный и активный ум, который заставлял его стремиться так или иначе проявлять себя в событиях. Никакой другой режим при его полной безграмотности не дал бы ему возможности развернуться. Большевики же учли и его энергию, и его практическую сметку, и назначили его на ответственное место начальника ближайшего тыла своей армии.

Как все большевики того времени, он не скупился на жестокие слова, но при самом минимальном знакомстве выяснялось сразу, что на жестокие дела он не способен. Вообще он принадлежал к несомненно положительным типам большевизма.

Еще одна особенность, которую мне приходилось часто наблюдать. Он как-то по-мальчишески, с долей особой, я бы сказала, «влюбленности» относился к старым партийным работникам, а среди них, между прочим, и к нашему анапскому диктатору Протапову. А наряду с этим презирал откровенно шкурническую массу примазовавшихся солдат и обращался с ними поистине диктаторски. Так как эти черты в той или иной мере встречались мне у многих большевиков, то распознать истинную сущность Волкореза было не трудно за трехчасовое путешествие до Анапы.

[У меня вообще очень сильно стремление к наблюдению и к коллекционированию человеческих типов. И очень часто, если человек является собой какую-либо ценную с точки зрения наблюдателя черту, я не могу не простить ему многого. Волкорез был ценным экземпляром. Кроме того,] подход Волкореза к большевизму, несмотря на то, что по существу он был мне враждебен, — возбуждал жалость к нему. Чувствовалось, что он принадлежит к тем искренним, судьба которых сначала разочароваться, а потом и погибнуть.

[Дорогой мы разговаривали очень много о Протапове. Я уже часто упоминала в своем рассказе его имя, но думаю, что общего облика нашего диктатора не дала. А на его фигуре тоже следует остановиться подробнее, потому что и она чрезвычайно интересна.

Молодой человек лет 28, перенесший ссылку, видевший гибель своего старшего брата и отца, — они в 1905 г. были «лесными братьями», — латыш, говорящий слабо по-русски, — он являл странную смесь неврастенической демагогии и дипломатической хитрости с самым ярким романтизмом и любовью к красивой позе и громкой фразе, — любовью очень бескорыстной, — позы ради позы и фразы ради фразы. Со всем тем, всей своей предшествующей жизнью он был кровно связан с партией большевиков. Массу большевистствующих обывателей презирал глубоко и в довольно частые минуты откровенности говорил о том, что опоздал умереть, потому что нет ничего ужаснее, чем быть свидетелем победы. Самое больше счастье, — это смерть в момент победы. Харкал он кровью отчаянно, и не было сомнения, что смерти ему ждать недолго, — но он ее ускорял, совершенно не считаясь с опасностями, выходя ночью на прямые выстрелы и единолично отнимая винтовки у разбушевавшихся солдат.

Его большевики боялись и постепенно начинали ненавидеть. Особенно сильно начало расти это чувство ненависти, когда он обнаружил, что председатель военно-революционного комитета солдат Конверский вместе с несколькими членами комитета работают на паях с грабительской шайкой, начавшей действовать у нас довольно энергично.

Он свое открытие держал в тайне, желая найти неопровержимые доказательства преступления, но по отдельным его намекам шайка догадалась о его работе, и он стоял определенно под ударом, что и сознавал сам в полной мере.

Отношение его к анапской интеллигенции было довольно забавно. Не было тех слов, на которые он поскупился, особенно в присутствии солдат. Но по существу можно было всегда рассчитывать на его защиту.

Вот характерный пример. Однажды он пригласил к себе в кабинет профессора Сиповского, который был тогда у нас директором гимназии. Беседа шла в самых мирных тонах и на общие темы. Но вот за дверью раздались шаги солдат. Он шепнул Сиповскому: «Сейчас я буду на вас кричать». И действительно, при солдатах обрушился на него с дикими ругательствами.

Вообще же Протапов любил борьбу. Личное состязание с людьми, несогласными с его доктриной, доставляло ему удовольствие спорта. Думаю, что многое в моей работе проходило безнаказанно именно благодаря его этой черте.

По человечеству, больной, разочарованный, одинокий и стоящий всегда на романтических ходулях, — он производил впечатление жалкое. Обреченность в нем чувствовалась сама по себе, а он еще любил ей рисоваться и позировал всегда на жертву.]

Приехала в Анапу вечером. Добираться домой на виноградник нечего было и думать, и я решила переночевать в санатории у моей приятельницы, сестры Веры.

Она мне с ужасом сообщила, что днем Протапов прислал ей полную корзину тюльпанов, прося положить их ему на гроб, т-ак> к-ак> он будет убит. Я, конечно, посмеялась над этим мальчишеством, но она продолжала оставаться в ужасе.

У нее в комнате мы засиделись долго.

Часов в одиннадцать ночи в городе раздался взрыв, а потом частая трескотня револьверов. Кто-то зашел и заявил, что это начался обстрел Анапы знаменитым украинским флотом.

Но потом опять все стихло, и мы не знали, чем объяснить взрыв.

Вскоре Веру вызвали к телефону. Оттуда она пришла бледная и подавленная. Просили, оказывается, прислать санитаров с носилками: Протапов ранен, а с ним и два брата Разумихина, младший, — гимназист Сережа. Лежат они в случайной квартире, у зубного врача Вернера.

Целой толпой отправились люди из санатории.

Я вышла позднее. Улица была безлюдна. На Пуш<кин>ской только я встретила двух солдат, не узнала их, но инстинктивно вынула свой револь-

вер. Один из солдат сделал то же самое, и мы встретились так в упор, а потом еще долго шли, пятась с наведенными револьверами.

В доме Вернера была страшная суета. На полу лежали раненые. У них были совершенно зеленые лица, — очевидно, таков был состав взрывчатого вещества в брошенной бомбе. С трудом удалось их перенести в санаторию.

Был вызван врач Шабанов для извлечения пуль. В то время, как он производил операцию Протапову, ворвалась шайка солдат со штыками наперевес. Все мы были в таком нервном состоянии, что я начала кричать на них и за штыки их выпихивать. Это удалось.

Протапов умер через полчаса, не приходя в сознание.

Старший Разумихин, у которого пуля застряла в животе, умер на расвете.

Младший же был ранен не так сильно, и была надежда на его спасение.

Это была самая дикая и страшная ночь за все то время. В санаторию врывались ежеминутно пьяные солдаты; кто-то истерически плакал, доктор и медицинский персонал метались в панике.

К утру начали готовиться к торжественному перенесению тел в залу.

Меня отозвал один солдат, Степанов, очень близкий к Протапову, и сообщил совершенно невероятную вещь.

Оказывается, за мое отсутствие Протапов арестовал троих солдат, причастных к грабежам, имевшим место за последнее время. А так как центром грабительской организации был военно-революционный комитет, и члены его испугались, как бы и до них очередь не дошла, то они и решили убить Протапова. Во время покушения бой был настоящий. Протапов выпустил все свои заряды из нагана и парабеллума, но только ранил одного, все же успевшего скрыться.

Теперь идет вопрос о виновниках убийства. Есть две версии, поддерживаемые военно-революционным комитетом, т.е. фактическими убийцами. По одной, — в убийстве виноваты ранее арестованные Протаповым три человека, что хотя фактически и немыслимо, зато дает возможность главарям сразу от них отделаться и избавиться от опасных свидетелей.

Другая версия, — увы, — поддерживаемая главным образом Инджебели, обвиняет в убийстве анапскую контрреволюцию, — то ли в лице буржуазии, то ли в лице разогнанной Управы, то ли в лице меньшевиков и эсеров.

Но так как фактически все три названные группы были достаточно пассивны, то они были персонифицированы мною. Инджебели выдвигал версию, что я являюсь если не исполнителем, то организатором убийства.

Нужды нет, что я приехала из Новороссийска за полчаса до убийства. Нужды нет, что у меня лично с Протаповым были очень приличные отношения.

После этих предупреждений Степанов скрылся. Я пошла в зал, где уже стояли два гроба с целой стеной красных знамен над ними.

В ту минуту я не знала, на что решиться.

Вечером происходило заседание Совета. Говорили о кандидате на пост председателя. Называли имя Инджебели.

[Даже не зная тайны его часть анапской интеллигенции была подавлена этой новостью.]

Он начинал уже разворачиваться вовсю, коварно и низко набрасываясь на интеллигенцию.

Сиповский, как человек, бывший со мной в приятельских отношениях, был арестован и сидел уже в одной камере с мнимыми убийцами. Его допрашивали, навевая на него пулемет.

[Я понимала, что надо удирать. Но этим вопрос не исчерпывался. Привычка всеми способами все же налаживать какое-то сносное существование города заставила меня и в данном случае попытаться избавиться от Инджебели, который был, конечно, не только моим личным врагом, но и врагом всей интеллигенции.]

Я решила еще не скрываться, думая, что первые дни будут достаточно светлые.

На следующий день были назначены похороны.

Распоряжался всем Инджебели. Я видела, что хотя его все не любят, но другого кандидата у Совета нету.

Тогда мне пришла мысль найти варяга и всучить его Совету. Единственный, на ком я могла остановиться, как на человеке новом и импонирующем нашим массам своей энергией, — это был Волкорез. Я пошла к нему и рассказала все, что знала и о шайке, и о версиях военно-революционного комитета насчет убийства. Говорила и об обвинениях по моему адресу. Наше совместное путешествие делало в глазах Волкореза мое алиби совершенно достоверным. А та любовь к Протапову, о которой я упоминала, заставила его прийти в ярость. Я предложила ему выставить свою кандидатуру на пост председателя Совета. Он согласился. Через того же Степанова и кое-кого из беспартийных я и стала говорить о его кандидатуре.

Он был военный, — это много значило в глазах солдат из Совета. Кроме того, он друг Протапова и, наконец, человек новый.

Должна сказать, что до последней минуты я не была уверена в поражении Инджебели. А мое участие в борьбе против его кандидатуры было ему уже известно, и, в случае, если бы он был избран, мне надо было немедленно исчезать.

Но избранным оказался Волкорез.]

Митинг, созванный для суда над убийцами, приговорил арестованных Протаповым грабителей к расстрелу. Тела их валялись долго на площади перед Управой. Но эта смерть прошла довольно незаметно, потому что те дни вообще были сумасшедшими и никого нельзя было уже ничем удивить.

Хоронили Протапова и Разумихина пышно. У могилы Волкорез говорил речь, указывая пальцем на убийц и обвиняя их иносказательно.

Мне же делать было больше нечего. Я решила немедленно уезжать, потому что дальше выносить этой обстановки не было сил.

Полулегально я выехала в конце апреля.

VI

Москва

Полгода, проведенных мною в Москве, и та работа, в которой мне пришлось принять участие, не входят в план этих воспоминаний.

[Дам только несколько отдельных настроений, очень ярко характеризующих, как трудно для всей необъятной России найти хоть какую-нибудь общую формулу не только в вопросах принципиальных, но и практических.]

Я проехала до Москвы через Царицын дней в 10. Все, что мне приходилось наблюдать дома, подтверждалось впечатлениями дороги: вся Россия, от Черного моря до Волги и от Волги до Москвы — весь русский народ, — болен большевизмом. Это не значит, что весь русский народ сочувствует большевикам, а просто произошло какое-то психологическое передвижение ценностей, и говорить против большевиков нельзя, потому что неприлично. Может быть, это результат их демагогических лозунгов, а может быть, это массовый самогипноз, потому что, несомненно, такие же явления бывали и без демагогических лозунгов. Пожалуй, на большевиков просто была мода, и ей не следовать психологически обыватель не мог.

[Это неприличие антибольшевицких настроений в связи с теми сведениями, которые были у меня о скитании ничтожной кучки добровольцев по Кубанским и Донским степям, предreshало мое убеждение, что в данный момент об открытой борьбе с большевиками нельзя думать, потому что массы на нее не пойдут. Надо было или вести борьбу подпольно, или ждать. Если личный террор казался мне тактически приемлемым,] все разговоры об образовании фронтов и чехословаках казались полным незнанием реального настроения народных масс.

На Совете партии именно с такими разговорами я и столкнулась. Первое впечатление они произвели на меня оглушающее. У меня ясно стояла перед глазами кучка безумцев-добровольцев и несоизмеримая с ними масса солдат, окружившая их со всех сторон.

Я первое время отошла совершенно от работы, но частые встречи с людьми, верящими в дело освобождения при помощи фронтов, и частичные успехи этого метода борьбы, заставили меня поколебаться. Быть может, мои наблюдения имели только местный характер и в общероссийском масштабе неприменимы.

В июне я вошла в работу и до конца октября не оставляла ее.

[В конце сентября я выехала по командировке в Самару. Полтора месяца пропутешествовала на подводе, стремясь пересечь фронт, и к Самаре подъехала к моменту ее сдачи красным.]

В конце концов, в середине октября я была опять дома.

И опять любопытное несоответствие настроений. Я приехала, чувствуя себя, во-первых, и главным образом активным борцом против коммунистов, т.е. до известной степени контрреволюционером. Но все то, что определяло мою антибольшевицкую работу в советской России, по эту сторону

фронта оказалось почти большевизмом, во всяком случае чем<-то> достаточно с точки зрения добровольчества преступным и подозрительным.

VII

Возвращение. Ростов. Екатеринодар. События за время моего отсутствия. Казнь большевиков. Приезд домой. Арест. Каталажка и ее обитатели. Контрразведка и следственная комиссия. Военно-полевой суд и мое освобождение. Дело Сулькевича. Провокация Вознесенского. Настроения

Уже в Ростове люди понимающие советовали сначала запросить своих в Анапе, а потом уже ехать. [«Выпорят или повесят».] Я совершенно не представляла себе обстановки. Да и полуторамесячное скитание на подводе настолько утомило, что особенно рассуждать не хотелось, — просто об отдыхе думала.

В Екатеринодаре предостережения были еще настойчивее. Начинала обрисовываться картина событий за мое отсутствие.

Большевики были изгнаны из Анапы 15-го августа. Генерал Покровский, взяв Анапу, поставил сразу перед Управой виселицу. Выборные от граждан еле убедили снять ее. Началась расправа с большевиками и вообще со всеми, на кого у кого-либо была охота доносить.

Случайный анапчанин сообщил мне, что доношением, среди других, особенно усердно занимается доктор Будзинский. Из этого я могла бы, конечно, заранее сделать соответствующие выводы.

Некоторые казни поражали своей нелепостью. Казнено было 14 человек.

Казнили Инджебели. После вынесения приговора он, говорят, валялся в ногах у пьяного генерала Борисевича и кричал: «Ваше превосходительство, я верный слуга Его Величества». Генерал отпихнул его сапогом.

Казнен был Мережко, меньшевик, за то, что был председателем Совета еще при Временном правительстве. Я знаю, что был он человеком непорядочным, но любопытно, что, когда мне пришлось потом возмущаться его казнью и говорить, что она была несправедлива, выходило, что его именно за непорядочность и казнили.

Перед смертью он получил записку от жены: «Не смотри такими страшными глазами на смерть». Когда потом, через несколько месяцев, тела их откопали, чтобы похоронить одного из казненных на кладбище, в руке у Мережко нашли эту записку, залитую кровью. Его жена взяла ее и носила потом на груди.

Казнили начальника анапского отряда прапорщика Ержа и помощника его Воронкова. Я уже говорила, что Ерж не был большевиком и помогал офицерам. Во время отступления он дошел с большевиками до Тоннельной, а там вместе с Воронковым решил бежать к добровольцам. В коляске они приехали прямо к помещению городской стражи и были тотчас же арестованы. Доводам их о том, что они добровольно решили перекинуться,

никто не поверил. Судили их отчего-то с Малкиным, эсером, вместе. Разговаривать не дали и вынесли смертный приговор. Малкин только успел спросить, а как же он, — тогда офицеры судьи, бывшие до того пьяны, что не заметили, что перед ними не два, а три подсудимых, отпустили Малкина на свободу. Говорят, что Ерж умирал с исключительным мужеством.

Казнили Жинкина, винодела. Его вина заключалась в том, что он поступил в качестве винодела на службу в реквизируемый большевиками подвал общества «Латипак».

Казнили солдата Михаила Школяренко, тоже за службу в этом подвале. Дополнительно его обвиняли в том, что он украл 200 тысяч рублей у «Латипака», и, доискиваясь, где он спрятал эти деньги, избили его так, что он сошел с ума и сам разбил себе череп об угол печки в камере. Везли его на казнь разбитого, лежащего плашмя на подводе, сумасшедшего и громко орущего песни.

Казнили еще матроса, — фамилию забыла, — он перед смертью говорил офицерам, что сам бросал офицеров в топки.

Волкорез, Конверский и многие другие успели скрыться.

Арестное помещение при городской страже (милиции) — в просторечии катаджка — полно.

Конечно, все эти новости произвели на меня удручающее впечатление.

Но, с одной стороны, полугодовая работа против большевиков как будто обеспечивала меня от чрезмерных кар, а с другой — податься было некуда, и я просто устала.

С Тоннельной позвонила по телефону домой. Брат долго не мог верить, что это я с ним говорю, а потом мог только спросить: «Зачем ты приехала?»

Моя семья жила еще в саду в 6 верстах от Анапы. Я поехала туда, не заезжая в город. Общее настроение домашних было таково, что я решила не томить их ожиданием и на следующее утро отправилась в город и прописалась в адресном столе, что по нашим нравам было далеко не обязательно. Во всяком случае, я подчеркнула, что не скрываюсь. А после этого зашла еще к сестре Вере, которая служила в гарнизонном госпитале. У нее познакомилась с начальником гарнизона полковником Ткачевым. После этого вернулась домой.

Вечером во дворе раздался какой-то шум.

Брат вышел из комнаты и через минуту вызвал меня.

Оказывается, приехал взвод конных казаков под командой вольноопределяющегося Бескоровайного для того, чтобы меня арестовать.

Было уже темно, и брат предложил мне использовать свое офицерское право и отослать казаков, с тем, что он на следующий день сам доставит меня в катаджку.

Я чувствовала, в каком он неприятном положении, и решила ехать сейчас же.

Запрягли подводу. Вокруг скакали казаки с винтовками, впереди вольноопределяющийся. Брат вызвался меня проводить. Мы с ним мало разго-

варивали. Перед городом он сказал мне только: «Если это кончится плохо, я своего Георгия и свои погоны с почтением отдам Деникину».

Приехали ночью. В каталажке освещения не полагалось. Поместили меня в большой камере для вытрезвления пьяных. На нарах не было даже соломы. Окно было разбито и из него немилосердно дуло. Утром к этим подробностям прибавилась разбитая печка, угол у которой был весь в крови: тут, оказывается, бился сумасшедший Школяренко.

Глазок в мою камеру все время был в тени: местные офицеры, устроившиеся при контрразведке, наблюдали для любопытства.

Во время умывания, — мылись во дворе, набирая из бутылки воду в рот, а потом выливая ее на руки, чтобы мыть лицо, — познакомилась со всеми обитателями «дворца комиссаров». Священник Сокольский, некто стати служивший панихиды и бывший уже без меня комиссаром по бракоразводным делам, человек мало нормальный, и дьячок из его церкви; комиссар финансов Егоров, чахоточный молодой человек, служивший писарем у податного инспектора; старик какой-то, обвиненный в том, что для сигнализации большевикам спалил свой собственный хутор, а хутор стоял цел и невредим и не горел даже; а главное, — все убийцы Протапова, все большевики-уголовники, — они не расстреляны и будто чувствуют себя лучше, чем наш брат.

Потянулись медленные дни. Самое лучшее было, когда моя камера была заперта, потому что иначе являлся Сокольский и повествовал о том, как нас будут расстреливать.

На свидания ко мне пускали ежедневно мать, брата и тетку, которая в это время вообще очень энергично защищала перед всяческими властями осужденных и подсудимых.

Однажды во время прогулки один из убийц Протапова, здоровенный детина Ревученко от имени всей общей камеры обратился ко мне с просьбой.

Ждали прибытия начальника тылового района, генерала Борисевича, — в первой камере он всегда дерется. Арестанты предлагали мне просить начальство сесть в первую камеру, потому что, авось, он не решится бить женщину. К счастью, он не приехал.

Однажды я узнала, что арестован один из трех братьев, — фамилию забыла, — солдат, хромой сапожник, фактический убийца Протапова и участник всех бывших у нас грабежей. Я была уверена, что дело кончится расстрелом. В момент, когда у меня на свидании были мать и брат, в соседней камере его пороли. Он стонал и вопил немилосердно, но потом на прогулку вышел. Оказывается, он был арестован только за то, что в пьяном виде на базаре обнял начальника контрразведки князя Трубецкого. Его скоро выпустили.

И Ревученку выпустили. Ему Трубецкой сказал: «Какой ты, братец, большевик, ты борец цирковой. Любо-дорого смотреть на такие мускулы». Он быстро скрылся, получив свободу.

Мое дело было в ведении двух учреждений: военной контрразведки и следственной комиссии.

Начальник контрразведки Трубецкой с глазу на глаз в моей камере дал мне совет уговорить мою мать отпустить ему по дешевой цене вино, которое у нее было не продано. Я, смеясь, ответила ему, что боюсь, что даже дешевую плату он уплотит квитанцией от прошлогодней телеграммы.

Председатель следственной комиссии, старый следователь по особо важным делам или что-то в этом роде Назаров, был более умелым взяточником.

Брату моему он предложил внести 10 тысяч как залог за меня. Но предлагал он это с глазу на глаз, а брат имел наивность принести деньги при свидетелях. Он заявил тогда, что ничего подобного он брату не предлагал.

[На допросах он рассказывал мне, что получил 4 бутылки старого вина, очевидно, от моей тетки, как взятку за меня. Я сказала ему на это, что моя тетка не так наивна и понимает, что 4 бутылки, — мало. Он пригрозил занести мою фразу в протокол. Но угрозой дело и обошлось.

В дальнейшем этот Назаров был избит каким-то московским богачом пустой бутылкой от шампанского. Он хотел сделать этого богача большевиком и получить с него большую взятку.

После этой истории дело о его взяточничестве выплыло, и он отравился.]

Но пока что он действовал. На допросах я выяснила, что главным свидетелем обвинения по моему делу фигурирует Будзинский со своими служащими, — с одной стороны, и представители акционерного общества «Латипак» со служащими — с другой. Обвиняют, помимо факта моего невольного комиссарства, в том, что я была инициатором реквизиции санатории и подвалов «Латипак».

Дело по существу дутое, но совершенно очевидно стремление Будзинского заставить меня сидеть до суда в каталажке. Сулькевич, б<ывший> комиссар лесоохранения, Милорадов, комиссар труда, и другие были под залог и под подписку о невыезде отпущены на свободу. Все же просьбы моих родных о том, чтобы и меня до суда отпустили, встречали отказ со стороны Назарова.

В это время перед нами стоял вопрос о моем суде. Надо было искать защитника. Суд мог состояться в самой Анапе, так как туда ждали выездную сессию военно-полевого суда.

Этими заботами занялась моя тетка.

Однажды она сообщила мне, что одна наша родственница, очень близкий Будзинскому человек, звонила ей по телефону и просила ее пригласить защищать меня находящегося в Анапе московского присяжного поверенного Вознесенского, наверное, человека талантливого, но беспринципного. Он был гласным Московской думы от п<артии> эсеров, при большевиках в Анапе держал себя двусмысленно, а его поведение при добровольцах покажет в дальнейшем, что он из себя представлял.

Зная его близость к Будзинскому и зная близость к Будзинскому дамы-советчицы, я просила тетку передать им, что именно по этим причинам я их предложения принять не могу.

Между тем выяснилась довольно забавная подробность. Следственная комиссия, получив из Темрюка уведомление о выезде сессии суда в Анапу, немедленно выслала мое дело в Темрюк. Таким образом, в ближайшую сессию дело не могло слушаться.

Объяснение этому очень простое. Очевидно, мои доброжелатели были слишком уверены в моем оправдании и хотели оттянуть дело, а пока поддержать меня в каталажке. Этот факт меня очень разозлил. И когда председатель суда появился у меня в камере, я ему открыто рассказала, что считаю все следственное производство делом нечистым, и привела кое-какие данные.

Он сам сказал мне, что по существу считает для меня выгодным уклониться от военно-полевого суда и попасть в краевой суд, потому что у них только два приговора: расстрел или бессрочная каторга, а защитников они не допускают.

Кроме того, выслушав историю с моим освобождением на поруки, он сказал, чтобы я прислала к нему брата с тремя тысячами залога.

Брат отнес ему эти деньги, и вечером я была свободна, дав предварительно расписку о невыезде.

Было поздно, и я не могла взять с собой матраса и других вещей, которыми я обросла за полтора месяца в каталажке.

Вечером отмылась от грязи и вшей, а на следующее утро должна была идти заканчивать каталажные дела.

Брат с утра уехал в сад. А я зашла в Управу, где должен был происходить суд. Там увидела подсудимого Сулькевича, спокойного, в сюртуке, он был уверен в своем оправдании, т<ак> к<ак> кроме лесоохранения при большевиках ничем не занимался.

Потом я прошла к знакомым.

Через час было там получено сведение, что Сулькевича приговорили к смертной казни. Мы все этому не поверили.

Я на извозчике отправилась за матрасом в каталажку. В кордегардию посторонних не пускали, но меня пустили, так как знали, что там лежат мои вещи.

В углу я увидела Сулькевича. Он был бледен, галстук съехал набок. Вокруг него стояла стража с винтовками. Я подошла к нему.

Он начал быстро говорить: «Через 24 часа меня расстреляют. Скажите жене, что я хочу есть, а главное, курить, курить». Я дала ему свои папиросы и побежала к его жене.

Там я застала полную растерянность. Жена была вне себя; одиннадцатилетняя дочь рыдала. Несколько дам не знали, с какого конца приняться за дело.

Я передала просьбу Сулькевича и предложила сейчас же составить телеграмму Мореву, который был в Екатеринодаре в качестве члена Рады от Анапы. Он и Сулькевич были партийными товарищами, — народными социалистами.

Жена Сулькевича просила меня диктовать ей, так как она ничего не соображает.

Я продиктовала: «Муж приговорен к смертной казни...» В соседней комнате раздался страшный крик. Оказывается, от дочери она скрыла приговор и сказала ей, что отец приговорен к четырем годам тюрьмы.

Вернувшись домой, я узнала от матери, что в мое отсутствие приходил Милорадов. Его дело должно было слушаться за делом Сулькевича. Он был на суде. Услышав приговор над Сулькевичем, он решил скрыться и по дороге зашел ко мне, с советом — тоже немедленно исчезнуть, потому что ему достоверно известно, что этой ночью я буду опять арестована и что, пожалуй, до каталажки меня не довезут, знает это он от Вознесенского.

Кроме того, дома лежала записка к моему брату от нашего семейного друга священника Преображенского.

Я записку прочла, т<ак> к<ак> в ней могло быть что-нибудь экстренное. О<тец> Николай просил брата немедленно прийти в суд

Мы с матерью решили пойти туда, так как брат был все еще на виноградушке.

В Управе была толпа, но тишина царил подавляющая. Когда я вошла в коридор, передо мной люди расступались и смотрели мне вслед, как обреченной.

Слушалось дело комиссара почт и телеграфа. Его чуть было тоже не укатали к казни, но даже военно-полевой суд, в конце концов, подверг сомнению правильность следствия, и дело это, так же как и остальные дела, было направлено на доследование.

Но в тот момент суд только начался.

Я вызвала отца Николая. Он вышел из зала суда, отвел меня в сторону и стал говорить: «Зачем вы пришли сюда? Разве вы не понимаете, чем вы рискуете? Я вас умоляю этой же ночью скрыться. Если вам в голову не приходит, как это сделать, то у меня есть верные люди, которые вас передержат. Не будьте ребячливы, не бравируйте».

Я ничего не понимала.

Он стал уговаривать мою мать, чтобы она повлияла на меня.

Я просила рассказать, что ему известно. Оказывается, его заверили, что из контрразведки выданы три ордера на арест, и заранее известно, что арестованные при попытке к бегству будут расстреляны. Один из ордеров на мое имя.

В тот сумасшедший день все это казалось очень вероятным.

Я только догадалась спросить его, кто ему это сказал. Оказывается, присяжный поверенный Вознесенский. Будзинский будто бы тоже об этом знает и предупреждал. О<тец> Николай добавил от себя, что хотя он, как и я, Будзинского не любит, но в таком деле надо думать, что и у него есть же человеческие чувства.

Но для меня было достаточно знать, что в этом деле, в качестве контрагента Будзинского участвует Вознесенский, чтобы я решила не бежать.

А так как вопрос все же этим не решался и можно было легко предположить, что в данном случае я ошибаюсь, я прямо из суда отправилась к коменданту и начальнику гарнизона полковнику Ткачеву.

Он меня принял. Я ему предложила арестовать меня немедленно, так как я не хочу потеряться по дороге.

Он с удивлением смотрел на меня. Ему о моем аресте ничего не известно. Я же настаивала.

Тогда он вызвал к себе Трубецкого, а меня отправил к сестре Вере, жившей в том же помещении.

Через двадцать минут он пришел к нам и сообщил сведения, имеющиеся в контрразведке. Трубецкий получил донос, что в эту ночь я собираюсь бежать, и принял меры уже, чтобы поймать меня на дороге.

«При этом, конечно, возможны всякие случайности», — добавил полковник Ткачев.

Таким образом, я чуть было не стала жертвой самой отчаянной провокации. Каково было бы положение моих друзей, — о<тца> Николая и Милорадова, — если бы я послушалась их совета и они оказались бы слепым орудием в руках Будзинского и Вознесенского.

Комендант дал мне на ту ночь охрану из одного офицера и двух казаков.

На следующий день суд уехал.

Морев ходатайствовал о смягчении участи Сулькевича. Казнь ему была заменена пожизненной каторгой; потом и это заменили немедленной отправкой на фронт.

Милорадову мы сфабриковали документы, и он уехал в Батум.

Я жила под надзором без права выезда.

[Часто вызывали к допросам. Особенно много возился с моими показаниями приехавший контрразведчик, кокаинист полковник Крым-Шамхалов. Перед допросами он очень красочно рассказывал, как он казнил известную Ге. Вообще старался запугать до полусмерти. Но в Анапе была такая тоска, что все эти запугивания казались развлечениями, а кроме того, уж очень трудно запугать словами.

Когда он резюмировал свои рассказы: «У меня тактика такая: как тигр, одним ударом, со спины», — и при этом предлагал мне кокаину, я и злилась, и веселилась, и отвечала: «А моя тактика — прямо в лоб», — и показывала пальцем на его лоб. После этого он держался ближе к существу дела.]

Вообще же это время было исключительно тоскливым. Помимо всяческих политических и экономических показателей того, что добровольчество мертво, самым ярким показателем было то чувство безысходной апатии и тоски, которое царило в добровольческом тылу.

Впечатление создавалось какой-то всеобщей общественной и моральной инвалидностью. Никаких планов на будущее, никакой тяги к работе.

Анапа была мертвая. Было так, что в курзале после благотворительных вечеров несколько дней стоял запах винного перегара.

[Пили все: контрразведчики и бывшие комиссары, раненые офицеры и дамы-беженки, гимназисты и старик комендант.]



Елизавета Пиленко.
На обороте дарственная надпись
Е.А. Яфимович рукой С.Б. Пиленко:
«Тете Лизе от любящей внучки».
1896 или 1897. Арх. С.В.М.



Елизавета Пиленко с братом Дмитрием.
Сцена в домашнем театре. Анапа.
Ок. 1897. Арх. о.С.Г.



Юрий Дмитриевич Пиленко, отец
Елизаветы. Нач. 1900-х гг. Арх. о.С.Г.



Елизавета Пиленко. 1903



Елизавета Пиленко (внизу, первая слева) в кругу родственников и друзей. Вверху справа — мать Елизаветы, Софья Борисовна Пиленко. Анапа. Ок. 1904. Арх. Г.И. Лещенко



Анапа. Сквер Пиленкова, названный по имени деда (по линии отца) Елизаветы Юрьевны — Дмитрия Васильевича Пиленко. 1900-е гг. Арх. о.С.Г.



К.П. Победоносцев. Нач. 1900-х гг.



Елизавета Пиленко (вторая слева) с одноклассницами по Таганцевской гимназии. Санкт-Петербург. 1908

Слева направо, стоят: Д.В. Кузьмин-Караев, Е.Ю. Кузьмина-Караева, А.А. Ахматова, М.Л. Сверчкова; сидят: М.А. Кузьмина-Караева, Д.Ю. Пиленко, Д.Д. Бушен. Слепнево. 1911

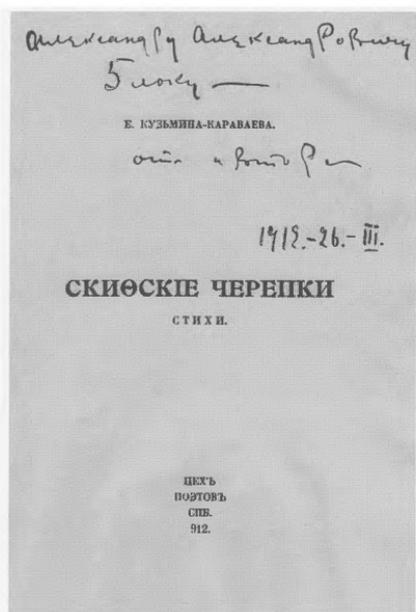




Д.В. Кузьмин-Караваев.
Санкт-Петербург. 1904



Е.Ю. Пиленко. Санкт-Петербург. 1909



А.А. Блок. 1907

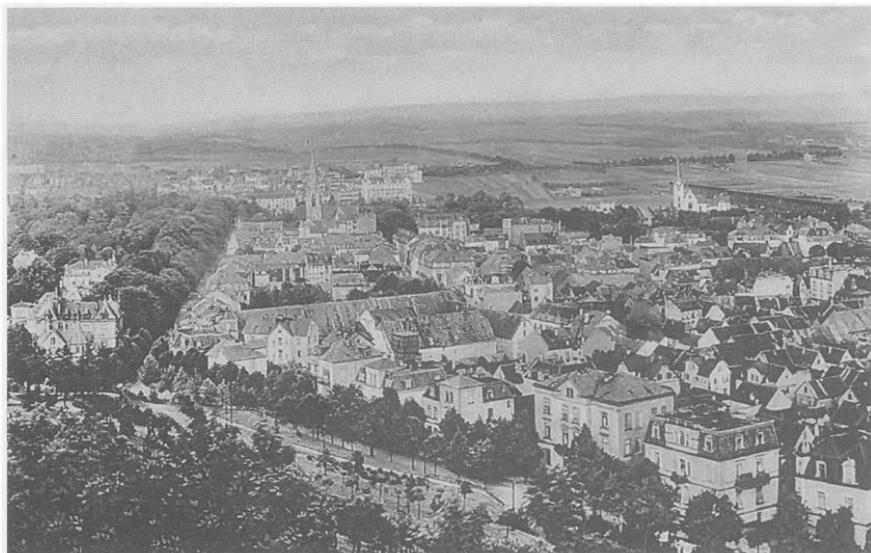
Авторская дарственная надпись
Е.Ю. Кузьминой-Караваевой А.А. Блоку
на книгу «Скифские черепки» (СПб., 1912).
ИРЛИ



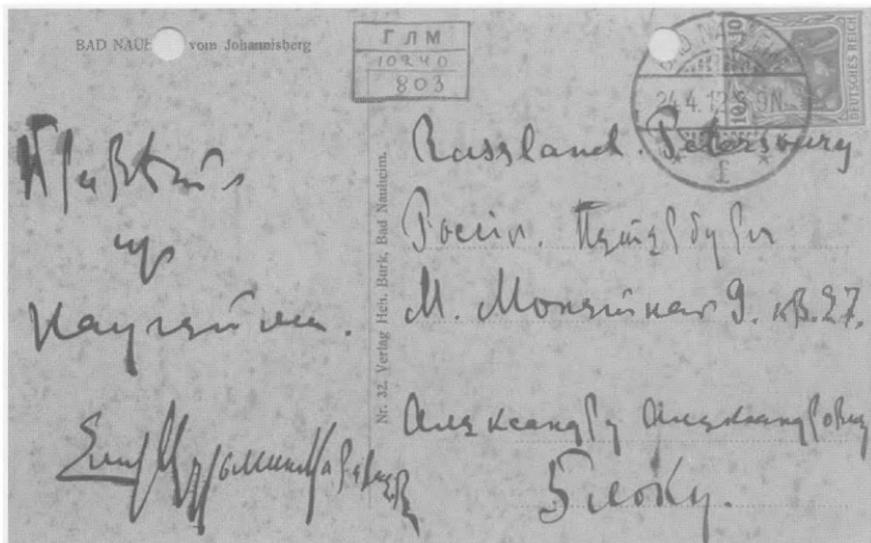
А.А. Блок. 1914



Н.С. Войтинская. Портрет девочки.
1909. Карандашный набросок портрета
Е.Ю. Кузьминой-Караваевой.
Из коллекции А.С. Сытовой
(Санкт-Петербург)



Открытка с видом на Бад-Наугейм с горы Иоганнисберг,
отправленная Е.Ю. Кузьминой-Караваевой А.А. Блоку 24 апреля 1912. РГАЛИ





Е.Ю. Кузьмина-Караваева (слева) среди знакомых. Анапа, Джемете. 1910–1913. Арх. о.С.Г.



С.И. Дымищ-Голстая.
Портрет Е.Ю. Кузьминой-Караваевой.
Пастель. 1913. Омский областной музей
изобразительных искусств им. М.А. Врубеля



Е.Ю. Кузьмина-Караваева. Анапа. 1912–1915. Арх. С.В.М.



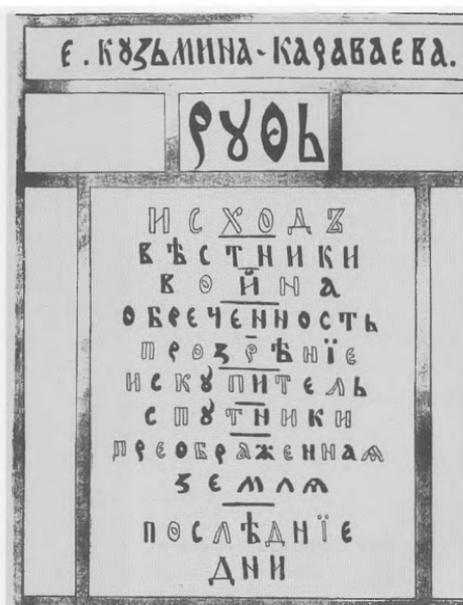
Е.Ю. Кузьмина-Караваева.
Анапа. 1912–1915.
Арх. С.В.М.

ВЫПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ, ЧАСТИ ПЕРВОЙ, О РОДИВШИХСЯ, ЗА 1914 ГОДА.						
Дата рождения	Адрес и дата	Имя рожденной	Зачи, ма, отчество и фамилия родителей и место рождения	Зачи, ма, отчество и фамилия крестных	Кто совершил крещение	Рисованная или другая запись на картоне
186 13 18	1914	Гаяна	Василиевской Олфимил. Васильевской Евдокии Александровны	Васильевской Евдокии Александровны Васильевской Евдокии Александровны	Протоиерей	
<p>Всего рожденных в 1914 году в Онуфриевской церкви г. Анапы 18 человек.</p> <p>Свидетельство Крещения Преподобный Дьякон священник Феофан Васильев</p>						

Выписка из метрической книги Онуфриевской церкви г. Анапы о крещении дочери Е.Ю. Кузьминой-Караваевой Гаяны от 18 октября 1914. Арх. Г.И. Лещенко



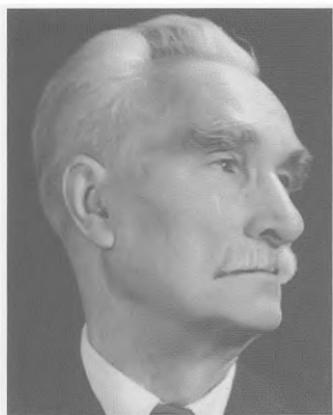
Авторская дарственная надпись Е.Ю. Кузьминой-Караваевой неизвестному лицу на книге «Юрали» (Пг., 1915). ОР РНБ



Е.Ю. Кузьмина-Караваева. Руфь (Пг., 1916). Обложка работы автора. Первый эскиз, датированный 1915 г., хранится в отделе рисунков ГРМ (Санкт-Петербург)



Семейная фотография. Слева направо: С.Б. Пиленко, Е.Ю. Кузьмина-Караваева, дочь Гаяна на руках у кормилицы Фроси, Д.Ю. Пиленко (брат Елизаветы Юрьевны). Анапа. Ок. 1915. Арх. о.С.Г.



Д.Е. Скобцов. 1950-е гг.

Этого листа заполняется на каждое отдельное лицо, независимо от возраста.

1	Фамилия	Скобцова	2082
2	Имя и отчество	Евдокия Юрьевна	
3	Из которого году родился	1891	
4	Взростовые данные	Вдовская	
5	Семейное положение	*) Жена вдов холост	
6	Состав семьи и возраст каждого члена семьи исходящего из Морозов. С. X. С. при сравнительного лица.	Муж. Василий Евсеевич - сапожник во Франции Дети - Таисия, 9 лет - купец Серафим, от 12 лет - сын - Юрий, 7 лет - дочь - Анастасия, 4 года	
7	Постоянное и временное жилище, став в России к началу мировой войны	г. Москва	
8	Образование (документы)	Курсовый курс Женской Школы в Москве. Женский курс в г. Константинополь. Франция	
9	Практическое знание языков:	*) Русский Английский Французский Немецкий	
10	Знание ремесла, домашнего хозяйства, получение заработка, и занимался ли фактически тем же ремеслом?	Домашнее	
11	Занимался ли сельским хозяйством и принимал ли непосредственное участие в сельскохозяйственных работах?	Шелководство, сад и работы	
12	Профессия и служебное положение к началу мировой войны	Взвешивание фруктов	
13	Профессия или занятие к моменту эвакуации из России	Шитье при машин	
14	Чем занимается в настоящее время, и с какого времени?	—	
15	Радиусь ежен. заработка (денеж. вознагражд. квартира, стол)	—	

Личная карточка, заполненная Е.Ю. Скобцовой при выезде из Белграда во Францию 2 января 1924. ГАРФ



Е.Ю. Скобцова с детьми: Настей, Юрой и Гаяной. Константинополь. Нач. 1922. Арх. о.С.Г.



С.Б. Пиленко
и Е.Ю. Скобцова
с детьми
Юрой и Настей.
Константинополь.
Нач. 1922. Арх. С.В.М.



Е.Ю. Скобцова с детьми. Югославия. Кон. 1923. Арх. С.В.М.



Е.Ю. Скобцова. Медон.
Ок. 1924. Арх. Г.И. Лещенко



Е.Ю. Скобцова с подругой шьют куклы. Франция. Ок. 1924. Арх. Г.И. Лещенко



Настя Скобцова. 1923. Арх. о.С.Г.

О нем только еще несколько слов. Казачий полковник, не дурак выпить, ругатель, — он по существу был за этот период единственным «человеком» в Анапе, с больной и измученной душой. Мы с ним очень сдружились, несмотря на разницу в возрасте и в убеждениях. И до сих пор я ему очень благодарна, т<ак> к<ак> во время всего моего дела он проявил максимум справедливости и активности, и исключительно сердечное отношение к моей матери, которая была совершенно подавлена всеми событиями.

Я готовилась к суду. Списалась с присяжным поверенным Каплиным в Екатеринодаре. Он в первую очередь постарался передать мое дело из военно-полевого суда в окружной военный. Там было больше законности и гарантий.

Подбирали свидетелей защиты. Часто являлись ко мне незнакомые люди и предлагали свои услуги. Какие-то две дамы, мне неизвестные, слышали, оказывается, случайно, как я спорила с Инджебели по вопросу о поддержке Учредительного собрания и о борьбе с большевиками. Один офицер присутствовал при моем разговоре с аптекаршей, которая просила, чтобы Управа реквизировала у нее аптеку. Один молодой человек случайно знал, будучи в Москве, чем я занималась там и т.д.

Будзинский, в свою очередь, не останавливался на полпути. Когда до него доходили сведения о том, что я просила кого-нибудь быть свидетелем, он к этому человеку отправлялся, сначала пытался убедить его в моем большевизме, а в случае неудачи — недвусмысленно угрожал ему. Таким путем ему удалось отвести несколько свидетелей.

Вообще наряду с незнакомыми людьми, предлагавшими свои услуги, многие друзья определенно уклонялись. У меня в Анапе кроме друзей личных, связанных со мной общностью взглядов, есть еще друзья семейные, знающие меня с детства и относящиеся ко мне хорошо, потому что они хорошо относятся ко всей моей семье. Многие из них дрогнули. Шутка ли защищать большевичку. Ведь даже в Екатеринодаре адвокаты на просьбы моей тетки выступить в мою защиту очень многие уклонились. Один из них, <Никифораки?>, — многим обязанный моему отцу, — уклонился довольно демонстративно. Не мудрено, — был период, когда было неприлично не быть архидобровольцем и контрразведчиком.

Я забыла еще упомянуть, что в приготовлениях к суду очень трогательную роль играл бывший сослуживец моего отца, бывший председатель какого-то окружного суда, старик Лабунский, живший в Анапе в качестве беженца. Он чуть ли не ежедневно являлся к нам и устраивал репетиции суда. Он изображал всех: и председателя, и прокурора, и защитника, и свидетелей, и всеми силами старался меня сбить, а я должна была защищаться. Он так и входил в комнату с возгласом: «Подсудимая, ваше имя, возраст и т.д.». Все это было и трогательно, и забавно, а мне дало достаточное представление о процессе, что мне очень пригодилось. В конце концов, я жалела, что пригласила защитников, — могла бы справиться и без них. Главное их значение — моральная поддержка.

VIII

*Суд. Свидетели защиты и обвинения. Способы защиты.
Приговор. Отклики советской прессы*

Наконец был назначен день суда на 29-ое января. Со всеми своими бесчисленными свидетелями я выехала в Екатеринодар.

За это время мой защитник Каплин стал членом правительства и просил взять мое дело прис<яжного> поверенного Коробьина, члена Рады. Тот в свою очередь пригласил пр<исяжного> пов<еренного> Хинтибидзе.

[Самым сложным делом было разместить всех свидетелей в Екатеринодаре, положительно переполненном. До поздней ночи я развозила их по различным знакомым. Сама остановилась в семье почти незнакомой, у дочери анапской начальницы Мариинского училища.]

При открытии заседания выяснилось, что кроме Будзинского, все свидетели обвинения отсутствуют. По требованию прокурора дело было отложено.

Пришлось всем опять возвращаться назад.

Я задержалась в Екатеринодаре и через несколько дней зашла к Хинтибидзе. Он сообщил мне, что только что получил сведения из суда, что по требованию Будзинского суд решил изменить меры пресечения по отношению ко мне и постановил меня арестовать.

Коробьин по этому поводу обратился к Кубанскому правительству. Арест удалось отменить.

Вторично мой суд был назначен на 2-ое марта.

Опять выехали со свидетелями на четырех экипажах. Опять размещала их по знакомым.

Пришлось основательно поспорить с моими защитниками. Они, во-первых, настаивали, чтобы я не выступала на суде иначе, как по их просьбе; на это я была согласна. Но, кроме того, я настаивала, чтобы они базировали мою защиту на моей принадлежности к партии эсеров. Они же возражали, что этот факт сам по себе с точки зрения состава суда достаточно предсудителен и гарантирует максимально недоброжелательное отношение судей.

В конце концов, я настояла на своем. А они, да и другие адвокаты, предупреждали меня, что я должна быть готова минимум к четырехлетнему пребыванию в тюрьме. Мне все же не верилось в это, хотя и судили меня по нелепому приказу № 10 Кубанского правительства, за подписью Быча и Кулабухова. По статье, по которой я обвинялась, наказание колебалось от смертной казни до трех рублей штрафа.

Но перейду к самому процессу. Должна сказать, что он удивительно умело построен. Несомненно, каждый подсудимый с волнением поднимается на свое место. И весь процесс построен так, что дает возможность подсудимому не только успокоиться, но и разозлиться настолько, чтобы азартно защищать себя.

Ответив на вопросы о своем имени, возрасте и т.д., подсудимый остается как бы в стороне. Начинается длинная процедура приведения к при-

сяге свидетелей. Уже за это время можно значительно привыкнуть к обстановке и почувствовать себя зрителем.

Потом допрос свидетелей обвинения. Успокоившееся внимание направлено только к нахождению слабых мест в их показаниях. Но конечно, подряд свидетели обвинения заставляют настроиться довольно пессимистически.

И только свидетели защиты уничтожают это настроение. Начинаешь верить в удачный исход дела.

Свидетелями обвинения у меня были: Будзинский, двое его служащих и Келлер, представитель общества «Латипак». Все они кроме Будзинского чувствовали себя неловко, были явно втянуты в дело и ничего особенного, что нужно было бы опровергать, не говорили.

Зато Будзинский не стеснялся.

К моему удивлению я узнала, что в порыве большевицкого экстаза отдала земельному комитету свое имение, которого, кстати сказать, у меня никогда не было. Узнала я дальше, что происхожу из чрезвычайно почтенной семьи, которая чувствует себя опозоренной моей деятельностью, узнала, что Будзинский собирается предъявить ко мне иск в 800 тысяч рублей за убытки в реквизированной санатории.

Кончил он оглашением убийственного для меня письма, в котором один из его служащих сообщает ему, что вот, мол, зашел на огонек на заседание анапской Думы, происходившее под председательством городского головы такой-то (т.е. под моим председательством). Она настаивала на необходимости реквизировать санатории, и под ее давлением Дума постановила это сделать.

Суд, видимо, отнесся к этому письму как к очень вескому доказательству. Защитники зашептались и предложили мне самой ответить на все обвинения Будзинского.

Мне пришлось коснуться всей истории нашей борьбы. У меня были в руках документы, по которым явствовало, что в конце декабря 1917 г. он обращался из еще небольшевицкой Анапы в Петербург, в уже большевицкое Управление Красного Креста, прося разогнать живущих у него в санатории офицеров как явных контрреволюционеров. Делал он это потому, что первоначальные его условия с Красным Крестом, ввиду непомерно возросшей дороговизны, оказались ему совершенно невыгодными.

Вообще в общих чертах очертив деятельность Будзинского и мотивы моей борьбы с ним, я подробнее остановилась на письме, которое он огласил.

Не входя в оценку обвинения по существу, я только просила судей обратить внимание, что такое письмо могло быть инспирировано человеком, хорошо знакомым с законом о старом самоуправлении и совершенно не знающим закона о демократических Думах. Раньше городской голова был в то же время и председателем Думы, — Будзинский именно такую практику знал в период своего главинства. По новому же закону власть исполнительная не смешивается с властью законодательной, и на этом

основании председательствовать на заседаниях Думы может, за отсутствием ее председателя и его товарища, кто угодно, только не городской голова и вообще не член Управы. На этом основании совершенно бесспорно, что я председательствовать на заседании Думы не могла. Утверждение же обратного является не случайным недоразумением, а той практикой, которую слишком хорошо знал человек, которому это письмо понадобилось.

В публике раздалась аплодисменты. Собственно, этим разоблачением была сильно подорвана достоверность всех показаний Будзинского.

Свидетелями защиты были люди очень разнообразные. Был тут офицер, которому я указывала, как ему пробиться к Корнилову. Была жена учителя украинца, о котором я упоминала уже. Был случайный свидетель моего разговора с аптекаршей, была начальница гимназии, которая очень подробно рассказала случай с дачным участком Будзинского и комментариями, которые тогда давались мною к этому случаю, — необходимость всеми мерами отстаивать интересы всех граждан перед большевиками. Были люди, которые, увы, — слишком откровенно и даже преувеличенно говорили о моей деятельности в Москве, несмотря на все знаки, которые я им делала. Были представители беженцев, был Сиповский, наконец, был полковник Ткачев, заявивший, что весь мой процесс — плод доноительства Будзинского и подкупности следственной комиссии.

Показания свидетелей защиты были очень характерны, так как ярко рисовали ту панику, в которой находились при большевиках анапские обыватели.

Из-за этого общий тон показаний делал мою работу гораздо более героической и рискованной, чем она была на самом деле. Совершенно исчезал момент спорта и азарта, которым сопровождалась все соприкосновения с тогдашними большевиками.

Часто в известных мне фактах я все же не узнавала себя, до такой степени моя роль в них принимала гипертрофические размеры.

Мне даже пришлось один раз реабилитировать память убитого Протапова и указать, что без его доброжелательства мне вряд ли удалось что-либо сделать.

Во всяком случае, приходилось скорее сдерживать свидетелей, чем развивать их показания. После каждого из них я давала небольшие комментарии фактической стороне дела.

Прокурор произнес довольно вялую речь. Зато мои защитники разразились целыми декларациями, Коробьин противопоставлял две психологии, — мою и Будзинского. Поскольку он выявил склонность Будзинского к доноительству и т.д., я не возражала, но когда он начал говорить, что великий Кант в свое время, во имя защиты науки и культуры, остался в Кенигсбергском университете во время нашествия Наполеона, а я с теми же целями осталась при большевиках городской головой, то я начала его потихоньку сзади дергать за фалды, — это было до беспредельности слишком сильно.

В последнем слове я просила суд принять во внимание, что, будучи членом партии эсеров, я считаю для себя обязательными все постановления ЦК партии эсеров. Среди них (я его прочла) есть постановление об исключении из партии всех, принимающих активное участие в большевистском государственном строительстве. Я же исключена не была, а, напротив, в Москве принимала самое активное участие в партийной работе.

Судьи хлопали глазами. Для них казалась невероятной работа эсеров против коммунистов. Но, во всяком случае, точного приказа о привлечении к суду за принадлежность к партии эсеров у них тоже не было.

Когда суд ушел совещаться, меня окружили адвокаты. Они считали ошибкой мое признание своей партийной принадлежности. Общий вывод был один: надо рассчитывать на четыре года каторжных работ.

Суд совещался часа два. Самое томительное мгновение в процессе, — это момент чтения постановления суда. Чувствуешь себя центром внимания и, не зная еще приговор, не знаешь, проявление каких чувств сдерживать: радости ли по поводу оправдания или огорчения по поводу сурового приговора.

Суд постановил все же считать меня виновной, но ввиду целого ряда смягчающих обстоятельств приговорил меня к двум неделям ареста. Дело кончилось в два часа ночи.

Потом я попала под амнистию.

О моем процессе все екатеринодарские газеты печатали отчет три дня. Любопытно было, что анапчане были в эти дни лишены газет, <как> <как> Будзинский скупал все номера, где были все разоблачения его работы.

Адвокатский мир считал этот процесс одним из самых интересных за все время существования Добрармии. Самым интересным, по их мнению, был способ защиты своей партийной принадлежностью.

Вскоре выяснилось, что и в советской прессе мое дело имело отклик.

В московских «Известиях» был подробный отчет о процессе. Моя антибольшевицкая работа приняла формы уже совершенно гипертрофические.

Похищала у большевиков золотой фонд для Колчака, способствовала Фанни Каплан в покушении на Ленина и т.д.

Советское радио по этому поводу сообщало так свое извещение: «Суд приговорил ее к двум неделям штрафа. Как же иначе мог приговорить добровольческий суд своего лакея».

Дома, в Анапе, большинство было удовлетворено моим процессом. Выснялась возможность рассчитывать не только на расстрел, но и на минимальную справедливость.

Тем, собственно, и кончился эпизод моего головинства.

Оглядываясь теперь назад, я все же уверена, что была права, противопоставив большевицкому натиску стремление как-то охранить права анапчан на существование.

Думаю, что по точному смыслу должности городского головы я должна была это сделать, — таков был мой гражданский долг. Думаю, что так я

№ по порядку	Время получения копии приговора	№ настольного реестра	Звание, имя, отчество и фамилия осужденного и краткое означение преступления за которое осужден	Сколько лет осужден	Къ какому приговору наказан
1552	Мар-апр 1919г.	ВХ-3395	Кузьмина - Караваева Елизавета Ивановна на основании 7100 ч.1. Времен. Судебн. уст. т. 1. В" ст. 3. Трудового Кодекса Краевая Коалиционная ст. 12 ²⁰ июля 1918 года за № 10.		Подвергнута содержанию под стражей в тюрьме по 2-м неделям.

Какому суду и когда постановлен приговор	Время, с которого считается срок содержания осужденных в камерах, работ, отбыв в арестантских отрядах, терены, заключению и аресту	Находился ли осужденный до исполнения приговора на свободе или совершал под стражей	Кому и когда сообщено об исполнении приговора	Когда повторено об исполнении приговора	Когда получено уведомление об исполнении приговора	Когда сообщено суду о состоянии исполнения
Кубанский Краевая Временная Судебная Палата 1919 года		Вс. время. Не была освобождена из камер по 2-м неделям на ч. 1. Судебн. уст. т. 1. В" ст. 3. Трудового Кодекса Краевая Коалиционная ст. 12 ²⁰ июля 1918 года за № 10.	Ср. Макс 1919г. до № 3395	Ср. Макс 1919г. до № 3395	Ср. Макс 1919г. до № 3395	Исполнен
			Начальнику Ананской городской Стрелки 13 ⁵ июля за № 4626.			

Запись о деле Е.Ю. Кузьминой-Караваевой в книге реестров
Екатеринодарского окружного суда. 1919. ГАКК

ПРОЗА

ЮРАЛИ

1. Приближается моя смерть, и не хочу я, чтобы вместе со мной исчезли те слова учителя, которые я слышал.

Оглядываясь на долгий путь свой, вижу я, что многим, как и мне некогда, облегчат они дорогу, сделав зрение — ясным, сердце — бестрепетным, а руку — уверенной. Ибо, изнемогая на пути, встретил я Юрали и родился вторым рождением.

Вам, изнемогающие, пишу я и верю, что слова и жизнь его будут вам источником воды живой.

Ясен и безбурен мой вечер. Мирно гаснет заря. Сердце — свиток, исписанный рукой мудрого. Как плод созревший, отдаю я жизнь свою вечности. Дети мои, узнайте, что близится жатва.

И еще узнайте, что здесь, среди нас, живущих и юных даже в старости, был тот, кто обречен. Обреченным назовете вы Юрали, узнав слова его и деяния.

Память моя, видя в тумане настоящее, сохранила мне каждое его слово, дабы поведать о нем мог я.

2. Среди горных пастбищ рос Юрали. Крутые скалы делали эти пастбища почти недоступными. Только в самые жаркие месяцы, когда весенние потоки пересыхали, отвесная тропа могла вывести через несколько дней пути к селеньям, находящимся в долинах.

Начиная ранней весной и кончая дождливыми осенними днями, отец Юрали пас свои стада на зеленых лугах, перегоняя их все выше и выше. Зимой с первым снегом скот запирался в низкие сараи; там же за перегородкой жил и Юрали с отцом.

Дни были так похожи один на другой, что казалось Юрали, — всегда жил он в горах и вечно будет жить там.

Часто бродил младенец по лугам, собирая цветы и наблюдая птичьих стаи: к солнцу потянутся птицы, — и знал он, что скоро белым снегом будут покрыты луга; и с весенним перелетом ждал он первой травы.

К полдню, когда отец задремлет, Юрали садился над обрывом и наблюдал, как внизу живут люди, — пашут нивы, меряют пыльные дороги, собираются толпами у дверей низких домов своих.

Длинными же зимними вечерами просиживал Юрали у тлеющих поленьев напротив отца, слушая, как коровы за перегородкой мерно дышат и пережевывают жвачку, а в окна бьется и гудит ветер. И молчал младенец Юрали, мудрый неведеньем своим.

3. Однажды пропала из стада корова. Отец послал Юрали отыскать ее между скалами. С полдня вышел он. Долго виднелись с вершин пастбище, и тихо бредущее стадо, и отец с длинным бичом в руках. Но за последним поворотом скалы окружили его тесно; и уже склоняющееся солнце косыми лучами позлащало желтые зубцы. Юрали вглядывался в тропинку, ища следов копыт.

Наступила ночь. Бесстрашно брел Юрали, не узнавая скал и еле различая дорогу при слабом блеске звезд.

Уже и предутренним холодом потянуло, и вновь зазолотились вершины скал.

Крутой тропой спустился он, ведомый следами копыт, к ручью. Еле различил в утреннем сумраке на берегу остов коровы, обглоданной хищниками. Надо было поворачивать; но скалы были так похожи одна на другую, что не знал Юрали, откуда пришел он.

Наугад начал он карабкаться вверх. Но куда ни поворачивал он, нигде не было видно следов копыт, которые привели его к ручью.

Долгие часы бродил он, то спускаясь, то вновь карабаясь по крутым уступам; а скалы все теснее окружали его, и казалось, — конца им нет.

Не боялся ребенок. Тайное знание осенило его: куда бы ни привели шаги, — везде будет его родина ждать, — родина еще неведомая. То же солнце будет освещать путь его; то же небо ласково раскинется над ним; те же звезды тихо запыхают ночью.

Извечная родина, ласковая колыбель лелеет усталого от пути Юрали; тихая мать нежит ноги его: мать земля зеленая.

И к восходу или к закату, в страну ночи или в страну солнца поведет его дорога, — везде он желанный сын мудрой земли, везде он любимый брат зверям и злакам земным.

4. Поздним вечером на следующий день вернулся Юрали к стадам своим; случайно вывели шаги его к родному пастбищу.

Дремали коровы, отец тихо сидел у потухающего костра; и Юрали, уже отрок Юрали, рассказал ему, как скитался он между скалами, как узнало сердце, что везде родина любимая ждет его.

И впервые стал говорить ему отец как равный равному, ибо в одиночестве своем двухдневном стал Юрали отроком мудрым и знающим.

«Юным принадлежит земля, тихая мать их; глаза отроков видят невидимое, и очи слышат неслышимое. И только тот, кто однажды услышал слово мира сего и запомнил его, только тот становится глухим, и не трогает его ласка родимой».

«Милый отрок мой, Юрали тихий, о себе хочу поведать я. Некогда и я, как ты теперь, юный и не ведающий, жил с отцом среди зеленых пастбищ».

«Сердце мое не знало ни радости, ни горя; сердце мое ведало, что после ночи будет восход солнца, что зима предшествует весне; уши мои слышали рост трав; и голосом своим мог я призывать птиц и зверей земных».

«Но кончилось мое отрочество: к селеньям в долины вывел меня отец и ушел от меня. Долгие годы жил я между людьми, питался их пищей, слушал их слова; из селений хлебопашцев пришел я к городу и узнал тайну его».

«Там впервые встретился я с матерью твоею, Юрали, и полюбил ее. И поразила любовь зрение мое и слух мой: только в ней видел я жизнь любимую, в ее голосе слышал пение птиц; когда же она, оставив мне тебя, ушла, показалось мне, что смертельно ранена душа моя, что солнце больше не будет меня веселить, что птицы немы и трава не зелена».

«Несла она тайну города; влила в меня яд, которым отравлены люди, слепые и лишенные слуха».

После этих слов просил Юрали отца, чтобы он открыл ему тайну иных жизней, тайну, убивающую людей.

Но с улыбкой возразил отец ему: «Не спрашивай, ласковый; еще долгие годы твоего неведения. Но знай, что настанет час, когда и ты поймешь тайну тех, кто живет в долинах».

«Знай также, что вернулся я на родные пастбища уже дряхлым. И хотел спросить ручьи, но не поняли они вопроса моего; и хотел голосом тихим призвать к себе птичьи стаи, но с громкими щebetаньями мимо пролетали птицы. И показалось мне, что умер мир: мертвая лежала земля, мертвые шелестели травы».

«Так стал я старцем, Юрали; каждый день с восходом солнца просыпаюсь я, надеясь, что вновь будут меня радостно приветствовать братья. Но молчаливо лежит земля».

«Так тянулись годы; и я, чужой всему, что меня окружало, знал только одну радость: твою молодость, Юрали, твою юную мудрость».

И замолк старик. Юрали же начал ему рассказывать о тех тайнах, которые поведали ему травы и звери, скалы и звезды. И с грустной улыбкой слушал старик слова далекой, утерянной родины.

Снова потянулись весенние дни; снова бродил Юрали, радостный и тихий, по родимым лугам; снова ласковые речи шептало ему солнце, и сказки рассказывали пестрые цветы, и весенние песни пели птицы.

Только по вечерам, сидя у костра, возвращался Юрали к расспросам об иной жизни, о любви, о старости, о времени, о смерти.

* Так у автора.

И много думал он над ответами отца, и говорил ему так: «Если люди долин не знают и не слышат родину свою, то к ним хочу, отец; им хочу рассказать тайну живую, научить их тому, что сам знаю».

Но просил отец еще подождать Юрали, потому что придет его время, — время первой смерти.

Юрали же не верил, что может душа его умереть, и хотел идти к людям, чтобы воскресить их.

5. В тот год была сильная засуха; весенние потоки пересохли раньше, чем когда-либо; русла горных ручьев, прежде бушующих, были покрыты пылью; небольшие речки, ворочавшие камни, пересохли так, что их можно было перейти в брод. После долгих лет горные пастбища стали доступными людям; в течение нескольких летних месяцев, вдоль по пересохшим руслам, как по тропе, можно было пройти, минуя отвесные, всегда неприступные скалы.

Однажды в жаркий полдень приблизилось из-за уступа к стадам несколько путников. Впереди шли два старца, а за ними утомленные женщины, некоторые с детьми на руках. Отроки, девушки и дети постарше теснились дальше, удивленно взирая на Юралиного отца, на мирное стадо и на Юрали, тихо наигрывавшего на сопелке птичьи песни.

Отец Юрали встал к ним навстречу с приветом.

О приюте пришли просить они: неожиданный набег соседних племен разрушил их селенья; все мужчины, способные держать оружие, сейчас в бою; а они, — слабые, — решили искать спасенья в бегстве; несколько дней шли они и уже изнемогают от усталости.

Пастух предложил им пищу, а Юрали с любопытством наблюдал и слушал пришельцев. Он не мог понять, отчего женщины плакали, рассуждая о войне. Чуждыми казались мудрому отроку слова их, и думал он, что говорят они о тайне иной жизни.

Уже несколько дней жили люди долин на пастбище. Юрали рассказывал своим сверстникам сказки, которые он узнал в своем одиночестве, затевал с ними игры, водил их по зеленому лугу, называя странными именами цветы и кликая птиц.

Дети сначала с любопытством слушали непонятного им отрока и хотели научиться у него умению распознавать травы и кликать птичьи стаи; потом постепенно стали привыкать к нему и полюбили его даже, чуя в нем непонятную им силу и мудрость.

И в свою очередь говорили они ему непонятные слова: мальчики мечтали о том, как они вырастут и станут воинами, играли в игры, где одна сторона шла на другую; на все же вопросы Юралины не могли объяснить они, отчего на словах и играх их лежит печать смерти; и тогда казалось ему, что они уже знают тайну, что они уже испытали то, что отец его назвал первым умираньем.

Юрали любил их, но был среди них одиноким и чужим.

6. Среди детей были две девочки: одна — горбунья, а другая — ласковая и злая; маленькой змейкой казалась она Юрали. Они особенно привязались к нему.

Горбунья впервые видела, что уродство ее не пугает, что Юрали так же ласков с ней, как и с другими детьми.

Часто говорила она ему так: «Ты как солнце, Юрали; солнце светит и добрым и злым, прекрасным и калекам. Ты на меня смотришь так же ласково, как и на других; ты не боишься моего уродства. Это потому, что ты мудр и ясен, Юрали; только тот боится уродства, кто сам уродлив. Мой прекрасный, тихий Юрали, я люблю тебя».

И нежно гладила горбунья его руки, и заглядывала ему в глаза.

Тогда Юрали говорил ей, что тоже любит ее, что сестра она ему желанная, что зеленая земля — извечная мать их. И учил он ее понимать птичьи голоса и ласкать стебли, говоря, что каждый злак земной тоже, как и он, Юрали, — брат ее. И потом удивленно замечал Юрали: «Только многих твоих слов не могу понять я. Разве не все знают, что и ты, горбунья, единая из светлых детей нашей матери?»

И после этих слов великая радость посещала девочку, потому что впервые чувствовала она, что и для нее, как и для других, светит солнце и пахнут цветы, что так же нежно и ей поют птицы, что в сердце Юралином равна она травам и зверям, звездам и людям, — всем братьям любимым его.

А Юрали с улыбкой внимал радости ее, и в сердце его была пустота, потому что впервые узнал он жалость. И новым, еще неизвестным чувством казалась ему нежность к горбунье: иначе любил он других детей своей матери земли.

7. Другая девочка рассказывала ему о городе, о матери своей, и тогда казалось Юрали, что о страшном сне слышит он.

«Я могла бы быть такой же ясной, как ты, — говорила она. — Но люди сделали меня старой и мертвой. Когда я была еще совсем маленькой, приходили они к моей матери и говорили ей ласковые слова, и нежно обнимали ее, и давали ей денег. Я думала долго, что они любят нас, и знала, что после нескольких дней голода придет кто-нибудь и будет у нас хлеб. Часто смеялись они и гладили меня по голове. Мать к приходу их одевала лучшие одежды и становилась красивой и молодой. И долго, засыпая, слышала я рядом смех и веселье».

«Иногда к матери приходили подруги, и тогда эти ласковые люди и им давали деньги, угощали сладкими винами. Ко всем всегда одинаково нежные, они любили всех. Как солнце, Юрали, светили они и добрым и злым, прекрасным и калекам».

И при этих словах девочка хохотала и злилась.

«Потом я узнала, что мать и ее подруги продают себя им; что они никого не любят, потому что любят всех; что, ласковые, они не пустили бы мать на пороги домов своих; что, твердя слова любви, они презирают; что за стенами нашего дома они забывают нас».

«О, Юрали, Юрали, ты, улыбающийся всем, ты воистину подобен солнцу, греющему и добрых, и злых; и ты подобен тем, кто приходил к моей матери и говорил слова любви, никого не любя».

«Разве ты не видишь, неразумный и неведающий Юрали, что нам всем ты нужен безраздельно? Если ты хочешь улыбаться мне, то не смей улыбаться другим; если же другие увидят твою улыбку, то бей, мучь, не замечай меня, — только не смотри ласково, потому что не верю я, что в твоём сердце есть любовь».

«Я не хочу быть равной птицам и цветам для тебя. Я хочу быть солнцем твоим, дыханьем твоим, — всем, что ты видишь и слышишь. Ты слеп и глух, ты не мудр, Юрали».

И казалось тогда Юрали, что он не видит и не слышит, что он — как маленький зверь.

Тогда он обнимал нежно подругу свою, и сердце его наполнялось мучительной любовью; немудрые, простые слова говорил он ей, и на душе ее становилось тихо и радостно.

«Будь моим, только моим, Юрали; никто в мире не знает таких слов, как ты; никто не умеет так ласково заглянуть в глаза. Я знаю, Юрали, что не встречу любви большей, чем твоя любовь».

А у Юрали вновь становилось на душе ясно и холодно. Подходили другие дети, и он забывал о той, которая только что переполняла его любовью.

Несколько раз было так. Девочка мучилась, глядя на Юрали, когда он улыбался другим; мучилась, когда он, задумчивый, уходил в скалы, не замечая никого.

И любовь сменилась в сердце ее ненавистью.

«Никогда не подходи ни к кому слишком близко, Юрали, — говорила она, — ибо никто не может подойти ближе тебя, и никто не будет потом дальше, чем ты».

8. И Юрали поверил ей; каждый раз, когда кто-нибудь обращался к нему со словом более ласковым, чем обычные слова, он говорил: «Бойся, если я отвечу тебе лаской на ласку, любовью на любовь, потому что безмерна моя любовь, но не моя она. Не тебя одного буду любить я, а всех в тебе».

И многие отходили от него после этих слов.

Некоторые же отвечали ему: «О, Юрали, мы знаем, что ты, как солнце, светишь и добрым и злым. Но не ревнуем мы солнца. Единый раз улыбнись нам, и мы уйдем с улыбкой твоей. Любя нас, ты берешь нашу тяжесть, нашу смерть; и вечно юным остаешься ты, Юрали».

И чувствовал Юрали, что с каждым словом, с каждой улыбкой уходит из души его часть великой силы, которой жив он. Но улыбался ласковый отрок.

И видя, как расцветают детские души от слова его, решил он, что такая судьба; вечным странником будет брести он; и каждый возьмет у него, что надо, и уйдет.

Обреченной была душа отрока.

Узнав это, пришел он к отцу. Пастух сидел с другими старцами и мирно беседовал о делах минувших, вспоминал свою жизнь в приморском городе Гастогае.

И просил его Юрали, чтобы отпустил он его к людям свершать судьбу свою.

Но старик запечалился и снова стал говорить, что в долинах ждет его первая смерть.

Тогда один из старцев сказал: «Отпусти его, ибо никто не властен изменить предначертанного; разве не видишь ты, что обречен он на путь земной?»

Долго еще уговаривал Юрали отца отпустить его; и согласился наконец с печалью старик.

9. Последние летние дни приходили к концу. Скоро вместе с гостями своими должен был покинуть Юрали родимые пастбища.

Тихо бродил он по любимым местам; в последний раз перекликался с птицами. И тайная грусть обняла его; и уже тосковал он о родине зеленой; но знал, что судьба должна исполниться, что обречен он нести в мир радость минутную и горькую.

Так подошел последний день. С печальной улыбкой обнял его отец. Еще раз окинул Юрали взором пастбище и бодро двинулся в путь, к новому миру, к неведомой тайне, неся в сердце тайну свою и зеленую родину.

10. Уже несколько дней бродил Юрали по Гастогаю; давно оставил он спутников своих и чувствовал себя потерявшимся среди незнакомого ему мира.

В первый же день, скитаясь по городу, пришел случайно Юрали к храму; внизу под скалой расстиралось море; у берега высоко поднимали корабли свои неоснащенные мачты, и суетились корабельщики.

Юрали вошел в храм. Сизый сумрак окружил его со всех сторон. По крутой лестнице взобрался он на башню; в косых лучах солнца встали перед ним каменные чудовища, окружавшие башню тесным кольцом.

Утомленный от дороги и одинокий, Юрали лег на каменных плитах и задремал. И приснился ему сон.

Снилось ему родное пастбище, по-весеннему зеленое; синее небо без единого облака низко нависло над ним; сам он, уже дряхлый пастух, сидит на камне; а перед ним, повернувшись к нему спиной, стоит его стадо, — каменные чудовища с башни храма приморского города Гастогае. И косые вечерние лучи солнца золотят их каменные, выщербленные спины. Низко опустили они головы, так что у некоторых резко выступают лопатки, а у других горбом выдается хребет.

И с трудом поднялся тоже каменеющий Юрали, чтобы оглядеть внимательно свою странную паству. Знал он также непонятным знаньем, что и им всем имя — Юрали.

И когда он начал обходить их по очереди и всматриваться им в глаза, то почувствовал неожиданно, что уже давно знает многих из них, других же только недавно встретил на площадях и улицах Гастогая.

Сначала подошел отрок к чудовищу с клювом ворона — и испугался; но, взглядевшись внимательно, он увидел большие и ясные глаза своей подруги горбуньи; и к следующему чудовищу подошел Юрали; и оскалился на него рот злой собаки; а волосы были у него подобны волосам окаменевшего воина, ясного и спокойного.

Всех узнавал Юрали среди стада своего: и отца — пастуха, и злую подругу — змейку, и случайных спутников.

И тихой любовью наполнилось сердце его. Почувствовал он, что и ему, — пастуху, — назначено медленно каменеть под косыми лучами солнца, что навеки раскинулось над ним синее небо, и навеки остановилось среди дуга зеленого каменное стадо и он, пастух его.

11. Проснулся Юрали. Не ведая тайного смысла сна своего, почувствовал он только безмерную радость в сердце.

Уже утро настало; и вновь бодро смотрел Юрали в лицо ласковому солнцу, и вновь рассказывало солнце ему, любимому, мудрые сказки.

Тихо спустился Юрали к берегу. Только что прибыл из далеких стран корабль; корабельщики еще суетились, спуская и связывая паруса; широко раскинулись по небу тонкие снасти; толпа на берегу шумно приветствовала прибывших.

Юрали, спокойный и еще очарованный ночью, вынул свою сопелку и заиграл птичьими песнями.

Приблизились люди к нему, чтобы внимать щebetанью и щелканью птичьему; и всем им стало радостно, ибо радостно было лицо отрока, и о солнце пели птицы его сопелки. Долго пел Юрали; все знакомые напевы пастбища и еще новые, неведомые песни спел он.

Когда же он замолк, со всех сторон посыпались к нему мелкие монеты. Так, не ведая какими путями, стал Юрали, отрок тихий и мудрый, уличным музыкантом.

Потянулось время; к ночи уходил Юрали на башню храма, а днем бродил по берегу, встречая прибывающие корабли и следя за уходящими: с тоской провожал он каждого нового путника, похожего на белую птицу.

На берегу бывало всегда шумно: сильные и загорелые рабочие таскали тяжелые тюки; рыбаки выгружали серебряную рыбу; тут же торговались с ними купцы; и возчики пересыпали ее в большие плетеные корзины, чтобы везти в город.

Юрали любил этот шум; ему нравились лица рабочих, собиравшихся в Гастогай со всех стран света; его тянуло вдаль за уходящими парусами; ему казались непонятными тонкие знаки снастей, распластавшихся на небе.

Скоро уже все на берегу знали его и встречали приветом. В полдень, во время отдыха, он бродил между сидящими на земле корабельщиками и играл им на своей сопелке. Иногда он рассказывал им сказки.

12. Однажды рассказал он грустную сказку о продавце.

Вдоль по берегам рек земных, вдоль по пыльным дорогам бродил продавец, несущий за спиной большой короб, наполненный всем, что было лучшего на земле.

Красные осенние листья и пестрые оперенья птиц, белые изваянья и блестящие ожерелья были в его коробе.

Из селенья в селенье шел он, предлагая свой товар. И, завидя его, сбегались юноши и девушки, старцы и дети. И развязывал он свой короб.

Но, видя товар его, люди говорили: «Это слишком дорого», — и уходили от него.

Тогда он начинал убеждать их и назначал самую маленькую цену. И снова подходили люди, и щупали листья, и смотрели на изваянья. А потом, подумав, решали, что все это слишком прекрасно для их убогих жилищ.

И дальше шел продавец, изнемогая под тяжестью своего короба.

Наконец, встретил он девушку, ласковую и ясную. «Возьми у меня все, что я имею», — сказал он ей. Но девушка ответила, что нечем ей будет заплатить за такой богатый дар.

И тщетно убеждал он ее, что не нужна ему награда; девушка не могла поверить ему.

Тогда вновь взвалил он на плечи короб и двинулся в путь; от пыльных дорог, через леса предгорий, через высокие зеленые пастбища и желтые безводные скалы пришел продавец к последним высотам, где вечно блистает снег. И там, под тяжестью короба своего, упал он и умер.

13. И, выслушав сказку, подошла к Юрале девушка и сказала: «Ты еще юн; но думается мне, что многое открыто тебе. Рассуди меня».

И длинную повесть о себе рассказала она.

Несколько лет назад встретила она человека, много старше себя; и с первой же встречи показалось ей, что мир стал иным, что иначе стало солнце светить и иначе волны биться о берег. Был этот человек моряком и только не на долгие дни приезжал в Гастогай. И этими днями освещалась вся жизнь ее.

Каждый раз, когда корабль его отплывал от Гастогая, думала она, что не любит он ее, ибо иначе остался бы он с ней, не ушел бы вновь в далекие страны; знала она сама слишком хорошо, как дороги часы встреч.

Когда же он возвращался, то по улыбке его, по каждому взгляду она могла догадаться, что долгая разлука не убила в его сердце любви; и несколько дней была она счастлива; ей же казалось каждый раз, что это счастье — навсегда.

И так велика была ее любовь, что могла бы она долгие годы ждать его возвращения, живя памятью о прошлой встрече и надеясь на новую.

Но вот в последний раз спросила она его, зачем уезжает он.

Он же ответил ей так: «Тот, кто не хочет утрат, не должен говорить: только этим живу, только это прекрасно. Если несколько дней свиданья

дают ей радость, то все же она не должна забывать, что радость эта — не единственная. Надо всю жизнь заполнить минутами радости. Если один источник ее иссякнет, то не жалеть о нем, а искать другого. И кто поймет это, у того не будет потерь».

Но не могла она понять этих слов, ибо знала, что в потере иногда радость бывает, что человек, несущий любовь к другому в сердце своем, переполнил сердце до края, и нет в нем места для другой любви.

И хотела девушка, чтобы любовь к ней так же до края наполнила сердце любимого. Не первой, но единственной хотела быть она.

Выслушав, ответил ей Юрали: «Если душа твоя щедра, то не бойся щедрости. Тот, кого ты любишь, скуп. Но на скупость его щедростью отвечай. И пусть он наполняет жизнь свою радостью, не считая потерь. Ты знаешь радость более светлую, — радость разлуки и любви единственной. Пока сердце вмещает ее, не бойся и неси бережно счастье неразделенное».

14. Рыбаки же и корабельщики долго молчали, выслушав ответ Юрали, и дивились мудрости отрока. И спросил его один из них, отчего говорит он, как может говорить лишь знающий тайну.

Но ничего не мог ответить ему Юрали, уже наигрывающий веселые песни на своей сопелке, ибо сам не знал тайного смысла слов своих.

Иногда говорил он о родных пастбищах и о других родинах своих, имени которым не знал он.

И тихая радость владела сердцами всех, кто его слушал.

Часто увозили рыбаки его в море, и помогал он им вытаскивать тяжелые сети. Они же замечали, что от его присутствия больше ловится рыбы, и не рвут камни и водоросли сетей. Тогда стали все еще ласковее к нему, и подымались споры, потому что каждый хотел видеть Юрали на своей лодке.

На высокие, острогрудые корабли звали его, веря, что его песня зачарует море, и будет огражден корабль от бурь и подводных камней.

И ласково разговаривал Юрали с морем, поручал ему корабли и рыбацьи лодки; море же тихо шумело в ответ.

Так жил Юрали в Гастогае; осенью он переселялся в рыбацьи хижины, ночуя по очереди у всех своих новых друзей, чтобы не обидеть никого.

И знал он, что судьба уже стережет его, но не ведал путей своих.

И часто казалось ему, что тайна города уже постигнута, но нет в ней смерти. И тогда вспоминал он отца, который не вынес тяжести своего пути.

А рыбаки и корабельщики, все, хотя раз видевшие Юрали, верили, что тайная мудрость привела к ним юношу, и ждали с нетерпением дальнейшего.

Слава же о сказках и песнях его разнеслась далеко за пределы Гастогае; каждый корабль приносил его имя, приносил радость о светлом Юрали.

15. Так прожил Юрали уже несколько лет в Гастогае.

Однажды правитель города давал пир; много недель по дороге к Гастогаю двигались приглашенные: воины в блестящих доспехах верхом на

разукрашенных лошадях; властители соседних стран, предшествоваемые придворными и слугами; музыканты и певцы с лютнями и флейтами своими — все стремились в Гастогай на пир, зная, что сзывает их правитель, желая выбрать мужа для единственной дочери своей.

Каждый надеялся быть избранником, хотя о царевне ходили в народе странные слухи. Говорили, что больна она тяжким недугом; что судьба властительная пугает ее; что с радостью променяла бы она судьбу свою на судьбу последней рабыни своей или рыбачки, живущей у подножья ее дворца.

Юрали, Гастогаевский певец, тоже был зван на пир.

В день торжества подошел он к широким воротам дворца. Слуги правителя ввели его во двор, заполненный уже гостями: всадники правильными рядами разместились у лестницы, поблескивая золотыми доспехами своими; царевичи и властители разместились по другую сторону двора, окруженные пышными свитами и пестро одетыми скороходами; самые именитые граждане города с женами и дочерьми занимали глубь двора; а за ними теснились музыканты и певцы, пробуя флейты, лютни и сопелки, слагая и напевая песни в честь славного своего хозяина. К ним подошел и Юрали.

Когда все гости собрались, вышел к ним правитель, ведя за руку дочь свою.

И несмотря на то, что весело светило солнце, что для радости собрались нарядные гости, что уже слагались песни, долженствующие прославить царевну, глаза ее были грустны, и ни разу не мелькнула улыбка на губах ее.

И, ответив на привет гостей, такую речь повел правитель: «Я становлюсь стар, и скоро придет ко мне смерть. Дочь же моя не сможет справиться с великой властью, которая ее ожидает. Многих власть радует, ее же она пугает. Вот созвал я вас, чтобы выбрать достойнейшего и сделать его преемником моим, правителем Гастогая, отдав ему в жены царевну».

И каждый гость после этих слов стал перебирать заслуги свои и заслуги своих предков и высчитывать богатство и славу города, думая, что он и есть достойнейший.

Тогда объявил правитель, что только тот из воинов сможет заместить его в Гастогае, чья рука сильнее его руки, чей меч иступит его меч.

На бой вызывал он гостей своих.

Но многие, думая, что он хочет испытать их, отказались от этого боя; и только несколько воинов выехало на середину двора, приняв вызов правителя.

Много раз менялись сражающиеся; много было нанесено таких ударов, о которых потом могли слагаться песни; много мечей было сломано и убито коней; но ни разу не дрогнула рука правителя, ни разу не дотронулся чужой меч до его доспехов.

А когда состязание было окончено, объявил правитель, что не нашлось среди воинов достойного заместителя ему, что судьба найдет заме-

стителю не воина, который духом своим заменит силу меча и мудростью своею оградит Гастогай от враждебных ратей.

И широкой толпой двинулись гости в покои дворца.

В большом зале, освещенном факелами и пропитанном запахом цветов, стали разносить слуги гостям яства и вина. На широких серебряных подносах еле несли четыре человека огромных птиц с радужным опереньем, розоватых рыб, пойманных в бассейнах дворца, баранов с вызолоченными рогами. Прекрасные девушки-рабыни в легких одеждах разносили полные кубки с пенящимся золотым вином или с густым и непрозрачным красным.

А когда пир приходил к концу, подал правитель знак, чтобы выступили вперед певцы и музыканты.

16. Первым вышел старик, пришедший издалека, и начал песней своей восхвалять силу правителя, богатство его города и пышность дворца.

«Много кораблей острогрудых привозят к стенам Гастогая шелк и золото, мечи и щиты; много кораблей разносит по свету славу о Гастогаевском правителе, о храбрых воинах его, о богатых гражданах города. Подобны солнцу щиты Гастогаевской дружины; подобны лучам его седые кудри правителя; и дню ослепительному подобна слава его».

Так пел старик. Когда же он кончил, велел правитель слугам своим дать ему кованный кубок со стола.

И запел другой певец, — юноша с золотыми кудрями.

«Славен Гастогай, великий город; но прекраснее богатств его царевна юная. Как звезды, глаза ее; как волны морские, волосы ее; как свет месяца, улыбка ее. Ласковым словом побеждает она сильных воинов и взором дарует радость певцам».

И долго еще восхвалял юноша царевну; и в награду за песню велел правитель увенчать чело его венком.

Наконец, настала очередь Юрали; но не славословие начал петь он.

«Каждого человека стережет судьба; и никто не может уйти от пути своего. Много царевичей рожденьем предназначены властвовать, но не дает им судьба власти: еще юными идут они в плен и рабами кончают жизнь свою».

«Только тот властитель, кто с колыбели почувствовал судьбу властительную, кто знает, что не изменит ему рука и не обманет счастье. Только тот властитель, кто не боится себя, не боится ни своих воинов, ни воинов врага своего. Каждое слово его должно быть словом властителя. И кто бы он ни был, — пастух или рыбак, хлебопашец или воин, — знаком власти отмечен каждый взор его, знаком власти отмечены все деяния его».

«Если он скажет: счастлив будь, — то дарует счастье; если он скажет: погибни, — то гибель дарует. И под взором его пенится море и расцветают цветы; и от слова его слетаются птицы и выздоравливают недужные».

«Если ты, властитель города Гастогая, таков, то радуйся». Кончил Юрали, и ласковой улыбкой наградил правитель певца.

17. Потом же, когда состязанье кончилось, позвал правитель его к дочери своей, минуя толпу воинов и певцов, восхвалявших царевну и певших ей славословия.

И так сказал он: «Если ты знаешь, что значит власть, то попробуй силу свою на царевне. По песне твоей решил я, что ты тот, кого я ищу; но докажи мне это на деле».

И расступилась толпа перед ними, и ушел правитель. Тут впервые взглянул Юрали в глаза царевнины.

И внезапно острая любовь и жалость охватила сердце юноши; знал он эту любовь давно уже: еще при встречах с первыми подругами посещала она его.

Царевна же задумчиво глядела куда-то вдаль, в звездное небо за окнами; и полны слез были глаза ее.

Тогда стал Юрали расспрашивать о причине тоски ее и нежно гладить ее холодные руки.

Царевна же ответила ему так: «Каждая девушка в стране отца моего может мечтать, что придет ее час, встретится ей тот, кому она отдаст юность свою и любовь; как властителя ждет она мужа; и покорно войдет в дом его; каждому слову поверит и каждому приказанью подчинится. Я же, слабая и незнающая, должна отречься от мечты, на которую имеет право последняя из служанок моих. Руки мои понесут великую власть, слова мои будут менять судьбу людскую».

«О, Юрали-певец, ты знаешь, что такое власть; посмотри на меня; разве этим рукам нести тяготу ее, разве этому голосу повелевать? Тихой доли хочу я; властителя жду; но не даст мне его судьба».

И задумался Юрали.

Царевна продолжала: «Если же и смогу я передать власть тому, кого отец выберет мужем мне, то все же от самой светлой мечты должна буду отказаться: власть мою и страну, а не меня полюбит избранник». И просила царевна сказать ей хоть несколько ласковых слов.

Тогда Юрали, переполненный любовью, острой и мучительной, так сказал ей: «Царевна, ты для меня сейчас тихая девочка, и в сердце моем любовь к тебе. Но не за власть твою грядущую полюбил я тебя, ибо власть твоя моею не будет; а за тоску твою».

И после этих слов положила царевна ему руки на плечи и улыбнулась.

Он же продолжал: «Но хочу я, чтобы ты радовалась. Радуйся, ибо и над твоей властью будет солнце сиять; ибо и у твоего трона будут земные цветы; ибо и тебе будут птицы петь. Радуйся, царевна, ибо обречена ты на путь властительный, ибо радуется сердце мое о тебе; радуйся, тихая девочка».

И нежно гладил Юрали руки ее. И знал, что все его слова от судьбы предназначены, что долго уже ждала его больная и грустная царевна.

Она же, впервые слыша слова, обращенные к ней — тихой и грустной девочке, а не к царевне, будущей властительнице Гастогая, — почувствовала радость в сердце своем.

Перестала ее страшить грядущая власть; и поняла она неожиданно, что исцелилось сердце ее, что бодро и смело может она заглянуть в лицо судьбе не любимой. И впервые светло смотрели глаза ее; гостям же, стоявшим в отдалении, показалось, что огласился двор дворцовый птичьими песнями, и расцвели алые цветы во дворцовом саду, — так была светла улыбка царевнина.

И приблизилась царевна к гостям, держа за руку Юрали, ибо знала она в сердце своем, что только с ним сможет она разделить власть, он только освободит ее от тяготы правленья и сделает со временем сердце ее мужественным и спокойным.

Юрали же, не ведая путей своих, думал, что уже время ему возвратиться домой к рыбакам.

Но встал навстречу к нему правитель и сказал: «Ты, не славословящий певец, разве не о себе пел ты в песне своей? От ласки твоей распустились цветы и птицы запели; от слова твоего недужные обрели исцеление. И не боялся ты себя, потому что судьба владела словами твоими. Не тебя ли я ждал давно, чтобы выбрать тебя преемником своим? Отныне ты будешь правителем Гастогая; зятем моим, мужем единственной дочери моей будешь ты».

А Юрали, покорный судьбе и ведающий, что все предназначено, ответил: «Да будет так».

Так стал Юрали, сын пастуха и уличный певец, правителем великого города Гастогая и мужем царевны.

18. Единолично правил Юрали городом; старый властитель, найдя в нем достойного заместителя себе, с радостью отошел от власти; после долгой и полной труда и волнений жизни смог он наконец отдохнуть. Царевна же, впервые узнавшая молодость, с тихими песнями бродила по саду или спускалась к морю, ни единым словом не вмешиваясь в дела названного мужа своего.

По утрам приходили к Юрали царедворцы; и мудрые веленья давал он им, ибо не его, — пастуха и певца, — веленья были, а судьбы, которая стояла за плечами его и обрекла его на великую власть.

Иногда он спускался в город провожать уходящие корабли или напутствовать воинов, идущих в бой; и знали тогда корабельщики, что удачно будет их плаванье; и не сомневались воины в победе, — так велика была вера их в Юрали и в слова его.

Часто приезжали в Гастогай послы от соседних правителей, и дивились мудрости Юралиной, и возвращались в страну свою, зачарованные его лаской.

Так проходили его дни, полные забот и труда. Только поздним вечером освобождался он; и короткие часы отдыха проводил в саду дворцовом с царевной, рассказывая ей сказки и играя на своей сопелке.

19. Ежедневно в дворцовом дворе собирались просители, и он выходил к ним; прикосновением руки исцелял больных и единым словом возвращал жизнь тем, кто отчаялся.

И были перед лицом его равны все; всем одинаково давал он помощь и исцеление.

Однажды, обходя просителей, увидел Юрали мальчика, над которым все смеялись; и спросил Юрали его, что ему нужно. Тогда люди, смеявшиеся над мальчиком, сказали, что с ничтожным желанием <пришел> он к Юрали, и недостойна просьба его обратить на себя внимание правителя.

Но Юрали настаивал. И протянул ему мальчик мертвую птицу и сказал: «Я слышал, что радость и исцеление даруешь ты, правитель; по слову твоему мертвые возвращаются к жизни. Вот птица моя; я отбил ее уже мертвую у коршуна; если ты хочешь дать мне радость, — воскреси ее».

И подал мальчик мертвую птицу Юрали.

Тот с улыбкой поднял вперед руку, положив на нее мертвую птицу; она же свесила закованную голову с красным пятном раны, и вытянулись по ладони ее лапы.

И долго стоял молча Юрали и улыбался. Птица же неожиданно для всех вздрогнула, встрепенулась и, расправив крылья, медленно полетела. Несколько минут кружила она над изумленной толпой; потом опустилась на плечо к мальчику, хозяину своему.

Тогда великая радость овладела всеми, ибо поняли они, что нет цены чуду и силе правителя, что равны перед ним все, несущие горе свое и утраты.

Он же стал опрашивать следующих просителей.

Так давал Юрали радость всем, кто просил ее.

Иногда приводила к нему царевна друзей своих, с которыми она встретила в городе, и говорила: «Этот человек нуждается в ласке твоей, Юрали». И тихие слова говорил ему правитель, и заглядывал в глаза; и уходил от него человек исцеленным.

Юрали же никогда не сомневался в шагах своих и действовал как знающий, ибо ведал, что ведет его судьба.

А тот, кто уходил от него исцеленным, не возвращался больше к нему. И у Юрали в сердце тоже быстро угасала любовь. Был он одинок в могуществе своем. Каждый раз, когда приближался к нему кто-нибудь, и осеняла его минутная и мучительная любовь, дающая исцеление и радость, чувствовал он, что исходит из него часть великой силы, которой он жив. И уставал властитель и чудотворец Юрали.

А слава о нем разнеслась далеко за пределы Гастогая; и со всех стран земных приходили к нему калеки и усталые, отчаявшиеся и грешники. И великую радость давал он. Но с каждым днем росла толпа ищущих его, и понял Юрали, что никогда не сможет он исцелить всех.

20. Однажды среди просителей увидел Юрали женщину в нарядных одеяниях, с браслетами и серьгами; несколько слуг держали носилки, на которых лежала она. Когда, обходя всех, приблизился Юрали к ней, спустилась она с ложа своего и, склонившись, сказала: «Не об исцелении и не о чуде пришла просить я, а о прощении. Несколько лет тому назад

стала я женой царедворца. Он был стар и богат, а я только молодостью и красотой обладала; золото его заставило меня согласиться стать его женой. Целый год жила я с ним, надеясь победить злые мысли в сердце своем; но наконец победили они меня: не стерпела я нелюбимого мужа и отравила его. Никто не узнал о моем преступлении; и все, знающие меня, по-прежнему ласково обращались со мной. Так думала я некоторое время, что достигла счастья. Но потом по ночам стала меня тревожить тень мужа: преступление не давало покою, и не радовало меня больше золото, и ненужными казались слуги. Так поняла я, что навеки проклятье надо мной. Если ты сможешь, то прости меня, и слово твое облегчит мою душу. Или воскреси моего мужа и сделай меня последней его рабыней».

Толпа же, стоявшая во дворе, заволновалась, потому что многие знали женщину эту, но никто не думал, что преступница она.

Юрали же, положив ей руки на плечи, так ответил: «Нельзя вернуть того, что прошло. Не в моей власти дать жизнь тому, кого ты лишила ее. Пусть спит с миром. Но если искренне раскаянье твое, если воистину мука твоя безмерна и не по силам тебе, то я возьму ее от тебя. Вот собрались во дворе моем люди, нуждающиеся в хлебе; раздай им богатства свои неправедные».

И с радостью согласилась женщина; но отшатнулась от нее толпа, ибо никто не мог решиться запятнать руки свои золотом, на котором кровь. Женщина стала тогда умолять и плакать, и протягивала ожерелья свои. Но толпа стояла в отдалении, молчаливая и угрожающая.

Тогда сказал Юрали: «Не бойтесь; слезы ее смыли с золота кровь. Но если не хотите вы принять этого даяния, то я возьму его как залог. Отныне, женщина, ты должна знать, что преступленья не совершала ты. Я его взял от тебя вместе с золотом твоим. Отныне я буду нести и грех, и покаяние, потому что сильны плечи мои и не согнутся под мукой этой. Ты же вновь стала невинной и чистой; и знак невинности, знак того, что ничего не было, — бедность, вернувшаяся к тебе. Иди».

И сложила женщина к ногам Юралиным драгоценности свои, и радостно покинула дворец, ибо была душа ее снова светлой и омытой словами Юралиными.

А когда проходила она мимо других просителей, поняли они по взгляду ее, что нет больше на душе у нее преступления, что воистину обновилось сердце женщины.

И слух об этом деянии Юралином быстро разнесся по стране. И стали приходить к нему люди, совершившие преступление или не знающие путей своих. И с улыбкой брал Юрали их грехи и сомнения на свои плечи, и говорил им: «Так надо». Они же верили ему, и казалось им, что у ног его оставили они тяжесть своей жизни, что могут они снова, подобно детям, ждать радости и чуда, верить в силу свою; ибо не они совершили грех, а Юрали, вздевший его на свои плечи, и не силой своей сильны они, а его силой; он вернул им юность, отдав часть души своей.

И тогда понял Юрали, как слабы и нищи все, кто приходит к нему; понял он, что ни преступления, ни подвига не в силах они вынести, что не чудо нужно им, а слово, которому они могли бы поверить; потому что не могли они сами сказать в сердце своем: «да, принимаю» или «нет», — чужая мудрость и чужая власть делала для них каждое деяние злым или добрым.

И тяжелым бременем ложились их преступления на душу мудрого и ведающего Юрали. Но знал он, что такова судьба, и никому не отказывал в ласковом слове и тихой улыбке.

Только изредка твердил он: «Обреченная душа, обреченная на радость горькую и минутную».

21. А рядом с ним, под улыбкой его, под нежными словами его, росла и крепла его нареченная жена, царица.

Часто уже вместе с ним входила она к просителям, часто напутствовала воинов. И радовался Юрали, потому что видел, что воскресает душа ее, что скоро сможет она править страной отца своего. Радовался он, потому что знал, — для этого чуда привела судьба его в Гастогай.

Но пока был он единым в полноте своей власти, и к нему как к первоисточнику шли за силой и мудростью. Завершителем живого он был. Когда же он сомневался и мучился, то чувствовал, что от края земли и до края нет человека, к которому он может прийти как младший, как ученик.

Шло время; и с каждым днем незаметно становилась царица сильнее и способнее нести тяготу власти. Мудро вел ее Юрали по пути властительному. И видя, как ясно на сердце его, как легко ему бремя правленья, стала она забывать слабость и страх перед судьбою своею.

Когда же совсем окрепло ее сердце, и впервые почувствовала она себя властительницей Гастогая, исцеленной и сильной, — быстро погасла в сердце ее любовь к тому, кто дал ей исцеление.

И узнав это, не удивился Юрали, ибо ведал, что такова судьба его: уходят прозревшие и обрадованные, чтобы не возвращаться более.

И знаком исцеления был уход царицы.

22. Тогда решил он, что завершается путь его власти, что новые пути готовит ему судьба.

И в ночь, никем не замеченный, покинул правитель Юрали дворец, уступив царице власть свою недолгую.

И было на душе у него пусто и холодно, ибо много силы своей источил он; но ведал, что еще долог путь, что трудные испытанья ждут его, и никто не ведает, куда ведет его судьба. Еще не узнал он последнего слова, которое даст ему свободу творить предназначенное.

Пока же жаждал он утомленной душой отдыха и покоя. Под бременем власти устал он и властью чужой думал исцелиться.

Так стал искать Юрали учителя и владыку.

Из Гастогая пошел он по берегу морскому. Встречные не узнавали в скромном путнике правителя. Долгие дни шел он; много неведомых стран

миновал; через глубокие реки переправлялся. Но нигде не находил Юрали желанного учителя и владыку.

Иногда казалось ему, что среди пахарей должен остаться он; но сразу узнавали они в нем обреченного, и были ему не строгими хозяевами, а послушными учениками.

И тогда казалось Юрали, что осужден он на вечное одиночество, что никто не услышит голоса его вопрошающего, что своими усилиями и великой мукой должен он приблизиться к тайне, которая откроет ему дальнейший путь его.

23. И пришел он, наконец, к стенам монастырским; как неведомого паломника приняли его в монастыре и строгому брату отдали, чтобы тот научил его правилам суровым и мудрым.

И узнал Юрали, что монастырь этот — оплот братии воинствующей. Как из орлиного гнезда выезжали монахи на конях своих творить суд, расправу и милость. И недоступны были монастырские стены напору враждебных воинств: острыми стрелами отражали монахи приступ. Так много уже веков стояли они на страже справедливости и закона.

И часто выходили монахи, воины монастырские, в мир, чтобы возвестить людям суровые слова своей мудрости.

И карали они грех, и знали одну добродетель — справедливость.

И странные вещи узнал Юрали о брате начальнике своем: когда он по уставу монастырскому спускался к людям, то брал на себя подвиг защиты. Но не во имя любви требовал он оправдания, а во имя справедливости.

«Призванное к жизни, — говорил он, — должно завершить круг свой; и не вы, судьи, обреченные рождением смерти, можете сказать: смерть. За преступленья будет их жизнь карать».

Так говорил монах. И суровая справедливость пьянила его. Часто, кончая речь свою, зачарованный верой в единую добродетель, падал он замертво перед судьями. И ни разу не вынесли они обвинения тем, кого защищал монах.

А оправданные вновь возвращались в жизнь. Но не радовала их она, ибо не для радости давалась им, а для искупления.

Монах же защищал новых преступников, не ведая любви к ним, ибо справедливость была его добродетель.

И был он только единственным из слуг справедливости; все воины монастырские служили ей и никто из них не знал слова: любовь.

24. А Юрали радовался тому, что пришел к ним, так как казалось ему, что здесь найдет он учителя и владыку.

И бежало время; все суровее и холоднее становилось на душе у тихого и любящего Юрали.

Тяжелые работы давал ему учитель, и безропотно исполнял он их. И никогда не видел улыбки на лице его.

Монах же, всегда суровый и бесстрастный, полюбил покорного Юрали, но никто не знал, что в сердце его любовь, ибо считалась она по уставу монастырскому позором.

Когда же выдержал Юрали первый искус — послушание, начал изредка вести с ним беседу учитель.

О работе и о пути тяжелом говорил он ему. И слушал Юрали, и вместо холода и суровости подкрадывалось к нему еще неведомое чувство. Забыл он о жалости и о любви мучительной и минутной: другая любовь покорила его. Как ребенок нежную мать любит, как любит больной ласковую улыбку той, кто не спит у его изголовья, так полюбил он суровую душу владыки, выбранного волей свободной, ибо в его пути видел путь своей судьбы обрекающей.

И долго молчал он о любви своей. И были они, спаянные любовью взаимной и первой, чужды друг другу.

Иногда, когда умирал трудовой день, призывал монах к себе Юрали и говорил слова суровые и мудрые.

«Вытрави из сердца своего жалость; пусть бестрепетным будет оно, Юрали; если ты увидишь горе людское, то карай того, кто его создал, но не жалея огорченного, ибо слабостью был он виновен. Будь бесстрастным и знай один закон, один путь; и закон этот и путь — справедливость».

И тогда рассказывал ему Юрали о жизни своей, о чудотворчестве, о любви, дающей исцеление и радость. Монах же назначал строгие наказания ему за всю прошлую жизнь.

«Любви твоей имя — порок. Как женщина, продающая себя, не охранял ты своего сердца от любви минутной, расточал душу свою всем. Не ведал ты закона справедливого и карающего».

И чувствовал тогда Юрали, что обнищала душа его, ибо единым богатством была сила любви и радости у него. Но оставил он эту силу у ног учителя.

Нагим и нищим стал он. А любовь, острая и уничтожающая, все сильнее завладевала его сердцем.

Учитель же говорил дальше: «Ты из последних последний, Юрали, из преступников преступнейший, ибо и преступники знают любовь, но любовь эта у них едина; ты же расколол сердце свое на куски, ты расточил любовь свою».

И о суровых уставах монастырских говорил он.

«Кто хочет быть свободным и справедливым, должен выжечь из души своей любовь. Отец и мать, невеста и сестра должны быть равны в сердце его с другими людьми, друзьями и оскорбителями, спутниками и встретившимися впервые. Беспристрастно должен сказать освободившийся: виновен или прав. Только суровая справедливость должна владеть мыслями его».

И, говоря это, чувствовал монах, как растет и крепнет в сердце его любовь к тихому и покорному Юрали. И после суровых слов своих дол-

гие ночи проводил он в покаянии, бичуя себя; и не мог вытравить великой нежности из сердца своего.

25. Юрали же не замечал борьбы, которая была в душе монаха. Тяжелыми усилиями хотел он добиться понимания закона единой добродетели — справедливости.

Наконец, показалось ему, что сможет он бесстрастно и мудро, подобно учителю, нести в мир справедливость.

И когда поведал он об этом монаху, вывел тот его к просителям. В широком дворе монастырском собирались часто люди, обвиняя или ища защиты.

И должен был Юрали в этот раз по приказанию монаха быть им судьей.

Когда появились на крыльце монах и Юрали, выступил вперед богатый купец, прибывший издалека, чтобы найти справедливость в монастыре; а за ним шла дочь его, неся ребенка на руках.

И так сказал купец: «Много поколений славился род наш добродетелью. Женщины наши до замужества не смели поднять взора на мужчину; а выйдя замуж, становились покорными слугами мужей своих. Ясной и безбурной бывала жизнь их. Но позор пал теперь на мою голову; дочь моя принесла его в дом мой. Ты видишь, на руках ее ребенок; но не знаем мы, кто отец его. Рассуди меня по закону справедливому и мудрому, как поступить мне с нею».

А Юрали, сердцем которого уже овладела великая жалость и любовь к девушке, стоящей перед ним и покорно ждущей приговора, старался вспомнить учение монаха и быть безжалостным и справедливым.

«Да будет ребенок не на радость ей, — сказал он, — да будет он ей вечным напоминанием о позоре и грехе».

И склонились перед ним отец и дочь. Он же не в силах был продолжать, видя покорность словам своим жестоким. Тогда дотронулся монах до руки его, чтобы напомнить о долге судьи карающего.

Но Юрали, покорившийся жалости своей и любви, так кончил суд свой: «Женщина, я вижу, что не в силах нести ты подвига своего искупающего. Властью, вам неизвестной, говорю я: отныне свободна ты от греха; иди с миром в дом отца своего».

И к купцу обратился он: «Пусть исчезнет и из твоего сердца память о позоре; знай, что с этой минуты вновь чист дом твой; помни, что женщины вашего рода вновь и навеки добродетельны. Я, Юрали, по велению судьбы моей, беру на себя и грех, и память о нем».

И с этими словами подошел Юрали к женщине и взял из рук ее ребенка. «Ребенок этот теперь мой ребенок».

Когда же Юрали нагнулся к нему, то увидел, что он умер.

Тогда, обращаясь к монаху-учителю своему, воскликнул Юрали: «Суровая тайна ваша убила жизнь. Где нет любви — жизни нет. Я говорил о забвении греха; теперь же скажу я: женщина, иди в дом отца своего и плачь о сыне, и помни о нем, и знай, что справедливость безжалостная отняла

его у тебя. Помни, что смерть его — наказание роду вашему; ибо призваны люди любить и лелеять жизнь; ты же видела в жизни ребенка своего грех; отец твой считал тебя, жизнедательницу, — несущей позор. Идите, и когда все, живущие в доме вашем, поймут, что совершали они преступление, не радуясь новой жизни, когда не будет у них уже хватать слез, чтобы оплакивать умершего, — тогда только вернется вновь в дом ваш покой и мир».

И с этими словами ушел Юрали в келью свою.

26. Монах же, смятенный и потерявший путь свой, пришел к Юрали и молча встал перед ним.

Знал он, что по уставу монастырскому должен был он строго осудить поступок Юралин; но великая любовь завладела сердцем его, и не имел он силы исполнить свой долг.

Когда же Юрали поднял на него глаза свои, то впервые заметил эту любовь ответную во взоре учителя. И испугался он сначала. Потом же понял, что совершилось великое чудо, что привела его дорога к стенам монастырским для этого чуда: подобно воскрешению умершего было оно: ибо новую жизнь, — жизнь любви и прощения, — открыл он воину монастырскому.

Но молчал он, ибо видел, как борется с чувством своим монах.

Наконец, после нескольких дней безуспешной борьбы, пришел он к Юрали и сказал о любви своей. И обоим им стало ясно, что это навеки; но оба молчали. И просил монах, чтобы помог ему Юрали освободиться и стать вновь холодным и бесстрастным служителем суровой справедливости.

Когда же увидел он, что нет в мире силы, могущей исцелить его, то пошел к настоятелю монастырскому, чтобы тот отпустил его навеки в мир; недостойным братом почитал он себя.

И выслушал его исповедь настоятель, и закрылись за ним ворота монастырские. Так ушел он в мир, неся заповеди суровой справедливости, бесстрастной и холодной, в мыслях своих и великую, единую до смерти любовь к Юрали, тихому ученику своему.

И ни Юрали, и никто из братии не знал, куда исчез суровый монах.

Тогда призвал настоятель к себе Юрали и сказал ему: «Уже много веков стоит монастырь наш; но ни разу не было среди братии его отступников. Но ты внес в стены монастырские отступничество. Сильнейшего и мудрого брата соблазнил ты; долгие годы был он подвижником суровым. С твоим же приходом овладела сердцем его любовь, — позор для познавшего. И дабы не распространилась от тебя зараза далее, на других братьев, приказываю я тебе покинуть стены нашего монастыря».

И молча вышел от настоятеля Юрали; ни с кем не прощаясь, как отверженный и преступник, покинул он монастырь.

27. Казалось ему, что смерти обречена душа его, что как немудрый мальчик верил он в свою судьбу необычайную.

Ни владыкой и целителем, ни учеником покорным не мог он быть. В мир вела его дорога; и равным пахарям и рыбакам чувствовал он себя.

О власти тоскуют они и владыку ищут; о свободе мечтают и ждут покорителя. Таков и он, Юрали, прошедший через власть и послушание.

И тогда решил Юрали, что и его ждет где-то нива и плуг, ласковая жена и дети. И стал он искать судьбы человеческой.

И сложилась в душе его притча: жил некогда садовод; с любовью возвращивал он цветы свои; каждого нового побега ждал он, каждого листика распускающегося.

И однажды достал он семена неведомых цветов, о красоте которых только слышал. И посеял он семена эти на грядках своих.

Каждый день выходил он смотреть, не проросли ли они; но черными были гряды его.

Тогда, не в силах больше ждать, разрыл он в одном месте землю и увидал, что тонкие, белые стебельки проросли уже из семян. И снова стал ждать садовод.

Наконец, показались из земли зеленые ростки; и только на том месте, где разрыл он грядку, осталась черная земля, потому что завяли им однажды обнаженные семена.

А нетерпеливому садоводу казалось, что слишком медленно поднимаются вверх стебли, и вновь стал он разрывать землю, чтобы посмотреть, как развиваются цветочные корни. Так каждый день перекапывал он часть своих грядок.

Когда же настало время цветам расцвести, только желтые, высохшие листья покрывали землю, ибо все семена убил садовод, желая видеть рост их.

Такова была сказка Юрали. И думал он, что подобна душа его неразумному садоводу, что пытал он судьбу свою и раньше часа назначенного стучался к ней в двери. И мертвой стала судьба его.

Ни сомнений, ни надежд не было в сердце Юралином. Казалось ему, что дорога его круто оборвалась у пропасти, что белым туманом покрыты высоты, что должен он, погубивший душу свою, идти к людям долин и искать судьбы человеческой.

28. А она, ему незримая, уже стерегла его.

Среди пахарей стал жить он, острым плугом взрезывать землю, бросать золотые зерна в нее.

По вечерам же, утомленный долгим днем, делил он скудную пищу приютивших его. И наступала ночь; и без сновидений засыпал Юрали, ища во сне только отдыха, только силы к новому трудовому дню.

И там, среди вечной работы, встретил он ту, которая должна была стать женой его. Юной была она, но от работы были покрыты мозолями ее ладони; силой была равна она братьям своим. И долгое время, живя под одним кровом с Юрали, у тех же хозяев, не замечала она его, ибо были всегда ее мысли только о работе ежедневной или о коротких днях отдыха, которые казались ей великой радостью: громкие песни запевала она, и подхватывали эти песни ее подружки; и начиналось веселие у них иногда вплоть до нового трудового дня.

Юрали же после первых слов с нею понял, что должно ему полюбить ее любовью земной; но не видела она, как Юрали присматривался к ней, как он уже решил судьбу ее.

И однажды, когда вместе жали они хлеб, сказал ей Юрали, что хочет назвать ее женой своей.

Она же знала, что с детства предназначена она войти в дом чужой и называть его своим домом, и принять с любовью мужа, доселе чужого и, может быть, нелюбимого, ибо так поступила и мать ее, ибо так поступили сестры и сверстницы; и дочери ее поступят так же. Поэтому, выслушав слова Юрали, сразу согласилась она.

И совершилась судьба: как жену ввел он ее в свое жилище, только что для нее выстроенное им.

И, видя безмерную покорность ее, знал он, что не ему, — обреченному и властительному, — покоряется, а только мужу своему, Юрали, так же, как покорилась бы всякому, кого ей судьба мужем назначила бы.

И казалось ему, что наконец обрела покой душа его; что миновала его судьба грозная и обрекающая.

29. А когда кончилась жатва и наступили долгие осенние дни, узнал он, что с новым летним урожаем станет жена его матерью. И было это знание подтверждением ему, что верный путь избрал он.

С любовью стал ждать Юрали ребенка своего. И говорил он жене своей так: «Многие мудрые и сильные лепят себе крылья, чтобы подняться с пути земного. И не знают, что судьбою предназначен каждый земле, что путь земной — единый путь их. Я был одним из них и много раз собирался полететь. Не выполнив завета земли, иного завета искал. Но не несли меня крылья мои. Тогда взбирался я на высокие горы и на крыльях своих бросался в пропасти; и разбивались крылья, и долго замертво лежал я на дне. Так наказывала за измену меня родина».

«Но, наконец, понял я, что не дана мне, земному, возможность полета. И к земле вернулся я, и тебя встретил».

«И, видя путь твой земной, думал я, что вместе пойдем мы по нему. Но теперь понял я, что не могу стать к земле столь близко, как ты, ибо несешь ты ее заветы; и знаю я, что так назначено, потому что ты женщина».

«В свои темные недра принимает семя земля и покорно несет его; и выходят зеленые посевы, и колосится нива, — тихо лелеет земля все корни в глубинах своих. А летом, когда придут дни жатвы, покорно несет она муку от серпов отточенных. И падают долу дети ее, — колосья желтые».

«Так к осени остается вновь земля одинокой, вновь готовится к великому подвигу своему, — подвигу жизнедательному».

«Воистину подобна ты, женщина, земле. Так же, как и она, несешь ты семя жизни новой; так же, как и она, с покорностью принимаешь муку родов».

«И знай, женщина, что только тобою приобщился я земле, только через ласку твою почувствовал ласку извечной родины».

Так говорил Юрали; но не внимала ему жена его, потому что все ее помыслы были в той новой жизни, которую носила она.

И тогда понял он, что хоть и велика ее покорность мужу, назначенному судьбою, но не последняя покорность это. Покорилась она навеки заветам земным и несет тяжесть их с любовью и без ропота; и муж-властитель только единая из тяжестей, которым служит она.

И показалась она тогда ему далекой и замкнутой в недоступной тайне. Но еще сильнее почувствовал он, что только ею к земле вернуться может.

Вновь настала весна; и с каждым днем сильнее ждал Юрали ребенка своего. Казалось ему, что им благословляет его земля и принимает в число сынов своих, простив долгое забвение.

И часто, идя по ниве, чувствовал Юрали, что будет подобен его ребенок каждому колосу желтому.

30. Настали наконец дни родов. Как о торжестве мучительном и великом думал о них Юрали.

И тянулись часы, и ждал он ребенка своего любовно и нетерпеливо. А жена кричала от боли, и казалось ему — изнемогает она.

Юрали же не ведал, что вновь стоит судьба у дверей, что новые испытания ему готовит: в миг, когда раздался крик детский, возвещающий о том, что новый человек вступил в жизнь, мертвой откинулась жена его на ложе.

Так дала ему земля скорбь великую и великую радость. И у изголовья умершей плакал от горя своего и смеялся от счастья, ибо еще не знал, что значит ее смерть, и видел в ней только утрату.

Когда же похоронил он жену свою, пришлось ему быть для ребенка не только отцом, но и матерью. И долгие ночи сидел он над ним, и баюкал его, и песни грустные и спокойные ему напевал.

Казалось ему, что у колыбели ребенка закончилась дорога его, что ни радости, ни печали его, Юралиной, больше не будет, а будет радость, и печаль, и дорога длинная его сына. И тогда думал он, что себя отдала ему земля, унеся от него жену.

А ребенок стал расти и грустной радостью переполнять сердце Юралино. Знал он, что приблизился к тайне, но не постиг ее.

31. Когда же три года исполнилось его сыну, вернулся он к смерти жены своей и понял.

Понял он, что вновь провещала в смерти этой судьба; понял он, что о тайне земли сказала она смертью.

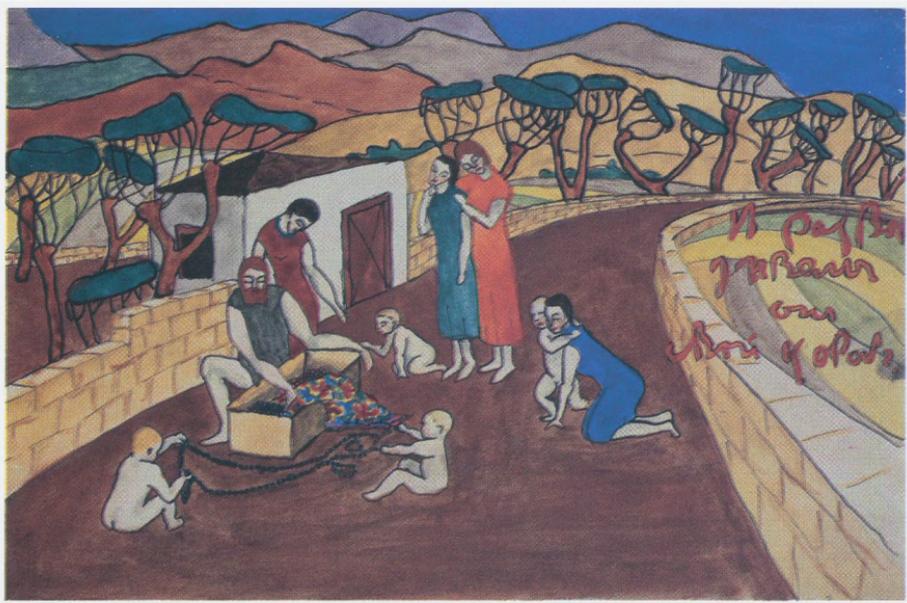
Не вечная покорность была дана земле, а покорность минутная, ибо после нее наступает вечная смерть.

И несущая жизнь земля смерти причастна, а не жизни. Ибо нет смерти только там, где нет начала. Извечный покой ведет к бессмертию. Там же, где приходят желанья и вновь уходят, где страсть чередуется с бесстрастием, там наступает смерть. Семя любовно принимает земля и любовно несет его, но не во имя радости ожидания вечного, а во имя завершения,

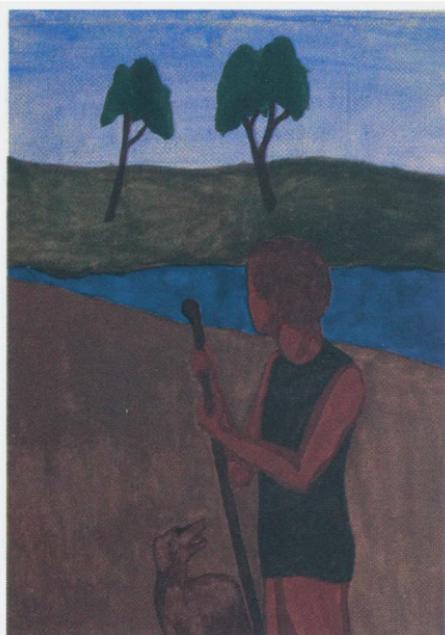


Е.Ю. Кузьмина-Караваева. Бад-Наугейм. Акварель. 1912.
Музей А. Ахматовой (Санкт-Петербург)

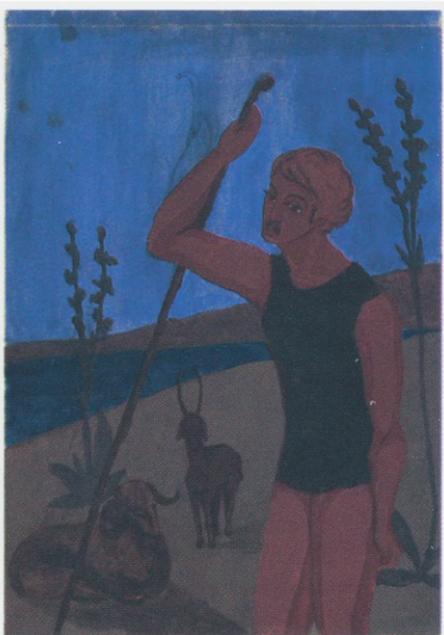
АВТОРСКИЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ К КНИГЕ «ЮРАЛИ». 1910-е гг. ГРМ (Санкт-Петербург)



«И развязал он свой короб...»
Бумага, акварель



Юноша с собакой.
Бумага, акварель, гуашь, графитный карандаш



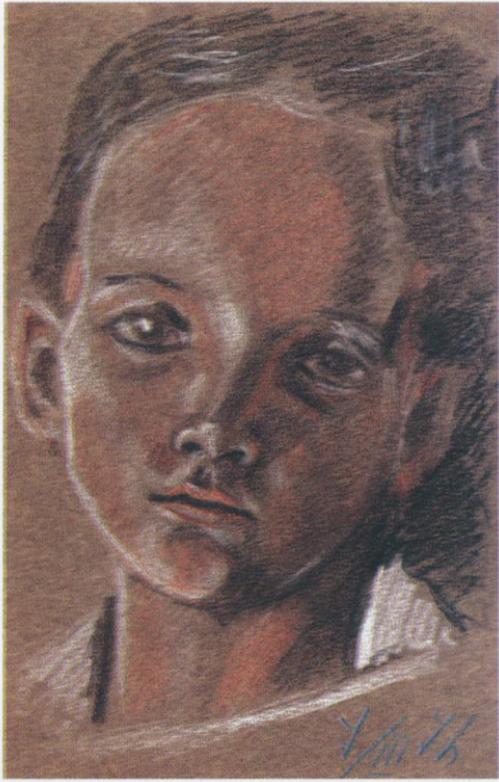
Пастырь.
Бумага, акварель, темпера



«Так дала земля ему скорбь великую и великую радость».
Бумага, акварель



Фантастический город с химерами.
Бумага, акварель, тушь



Е.Ю. Скобцова.
Умирающая Настенька.
Бумага, карандаш. 1926.
Арх. о.С.Г.



Е.Ю. Скобцова. Умирающая Настенька. Бумага, карандаш. 1926. Арх. о.С.Г.

жизнедательства. И когда под серпами падают колосья, смерть принимает земля и ждет нового рождения.

Так думал Юрали.

И еще узнал он, что говорит ему земля о бессмертии вечном, которое над желаньем и достижением, ибо минутны они и смерти причастны.

Тогда увидел он, что только опоясывает землю дорога его и вновь в неизведанное уходит.

Пусть нежность и ласка его принадлежит матери зеленой, и жене, и невесте; будет вновь перекресток; расстанется душа его человеческая со спутницею своею, с землей родимой, как и с женой своей, тихой женщиной, пришедшей с нив земных, расстался он.

Тогда стал ждать Юрали новых знаков судьбы, стал искать дороги уже не земной.

И великая ясность осенила его душу. Понял он, что земля не только мать и невеста извечная, не только рождение, но и смерть. Смертью рождает она жизнь и рождением смерти обрекает ее. Так обретает она новую жизнь, но жизнь, ограниченную годами короткими.

Так понял он знаки судьбы своей: мать зеленая сама на новый путь его посылает; жена желанная освобождает от дороги человеческой; и отрекается от него невеста, обручившись с извечным женихом своим — смертью.

Тогда, обездоленный, почувствовал он силу свою и, нищий, не мог измерить богатств своих. И сочетал горе потери с радостью освобождения.

И такое сказанье сложилось у него в сердце:

32. Некогда были все люди только детьми своей матери зеленой, только старшими сыновьями ее, нежными братьями зверю каждому и злаку. И как злакам, только однажды улыбалась им весна; только однажды лето колосистое наступало; и приходила вслед за жатвою к ним смерть, а к жизни призывались новые братья.

И поняли они, непричастные чуду и неведающие, что короток круг жизни их и вечна жизнь сама.

И однажды, внимая торжественному пению солнца, наблюдая извечную дорогу его чудотворную, взалкали они о чуде и о вечности. Долго молили они солнце о лучах его жизнедательных; долгие годы продолжалось их терпеливое ожидание; и умирали прошедшие круг свой и распылялись в мире и в жизни его вечной. Тогда другие, младшие братья, молили о чуде.

И, наконец, пришел к ним вестник и сказал: «Услышана ваша мольба; отныне будут жить среди вас чудотворцы и жизнедатели; но знайте, что имя им — обреченные. Обречены они, ибо должны сочетать в сердце своем смерть и бессмертие, чудотворение и бессилие; обречены они, ибо среди вас, умирающих, будут они вечными; обречены они, ибо не поймут, что значит на языке вашем время. И будет им мать зеленая чужой и неласковой, и братья родные неслышащими и слепыми. И будет радость их торжественна, и скорбь обречения торжественна будет. Но знайте, что судьба даст им силу и власть творить, потому что будут сильны они от рождения; первым их сло-

вом будет слово властительное. Вы же, молящие о чудотворчестве и вечности, не могли бы обречения вынести. Радуйтесь, что услышано ваше моление, и радуйтесь, что не вам дано чудо, а посланным и отмеченным обречением».

Так сказал вестник.

И вот пришли в мир и назвали землю матерью дети вечности и чудотворцы. И поклонились им братья их, и дали им имя учителей и пророков. Имя же их истинное было — обреченные. Когда же забывали они о призвании своем, стуком в дверь напоминала им о нем судьба, и они выходили в путь.

И расточали они силу свою среди ищущих и просящих; и любовь свою делили между обездоленными и нищими. И уходила сила, и не было на любовь любви ответной. Когда же, усталые, искали они пути человеческого и простого, вновь стучала к ним судьба их обрекающая, и уходили они. И были они, дающие радость и освобождение, одиноки.

Так думал Юрали. И ведал он, что и его сердце обречено, что нет на земле крова, под которым может он обрести покой, что нет конца дороге его. И ведал он еще, что нет смерти для его души.

33. И, видя знаки судьбы своей обрекающей, видя, что даже мать земная на путь неземной ему указывает, решил он, что великие жертвы должен он принести, ибо только с кровью вырвет он память о родине из сердца.

В неизведанное должен уйти он, отрекшись от любимого и близкого. И как залог неумирающей любви своей к родине, как знак великой раны в сердце его, должен был он оставить земле своего ребенка.

Решив так, взял он за руку сына, запер дверь дома своего и отвел мальчика к родным его матери. И не оглядываясь на сына своего, вечным странником пошел он в путь. И не было у Юрали на душе ни радости, ни горя, — все сгорело в нем от жизни томительной и вечной. И хотел он только выполнить предназначенное.

Когда же в пути его обращались к нему с расспросами люди, молчал он и опускал взор свой, чтобы и по взору его не могли они догадаться, что перед ними обреченный. Тяжелого испытанья ждал он и, только обновившись им, мог он вернуться в мир, к тем, кто нуждался в нем.

Так пришел Юрали в пустыню. И в первую же ночь приснился ему там сон.

34. Снилось ему, будто идет он, не зная пути своего, и уже ноги подкашиваются от усталости. А с неба спускается к нему плавно орел и говорит голосом человеческим: «Юрали усталый, на своих крыльях хочу я донести тебя к великому городу Гастогаю, к власти и славе». Юрали же молча идет дальше. Тогда падает к ногам его перо из крыла орлиного и вновь говорит орел: «Подыми это перо; и в час, когда ты его прижмешь к сердцу, прилечу я к тебе и дам невиданную власть». Но мимо идет молчаливый Юрали.

И встает на пути его ягненок с покорными глазами и говорит голосом человеческим: «Усталый Юрали, покорись; только в покорности найдешь

ты покой». Но не внемлет Юрали. Тогда падает к ногам его веревка с шеи ягненка и вновь говорит ему ягненок: «В миг, когда прижмешь ты эту веревку к сердцу, явится к тебе учитель, и сможешь ты отречься от себя, и будешь ты, как дитя, как учитель* перед знающим». Но дальше ведет дорога Юралина и молча проходит он.

Наконец, видит он женщину красоты великой. Неподвижно лежит женщина, и голова ее покоится на снопе колосьев зрелых. И с ласковой улыбкой простирает она к Юрали руки и говорит: «Здравствуй, сын мой возлюбленный, усталый Юрали; у меня обретешь ты покой, ибо не долгие пути даю я; все пути мои пресекает смерть, — покой вечный».

Но видит Юрали, что далеко за ней извивами вьется путь его, и идет. Тогда подымается женщина и дает колос желтый ему и говорит: «В час томления последнего прижми этот колос к сердцу, и приду я; и дам тебе жизнь простую и ясную; и дам тебе легкую смерть».

Тогда бросил Юрали колос на землю; и исчезла женщина, и потемнело небо; а путь Юралин извечной чертой лежал вновь перед ним.

35. Когда же он проснулся, то понял, что отрекся от всего, что было в прошлой жизни у него.

И почувствовал он, что среди желтой пустыни затерял он сердце свое человеческое. И страшно ему стало.

И еще яснее узнал он, что в сердце обреченного тайно сочетаются бесилие и чудотворение, смерть и бессмертие; и что его сердцем сильнее всего владеет усталость.

И понял Юрали еще, что нужно ему освобождение. Свободным должно было быть его сердце нежелающее.

И еще понял он, что соблюдал в тайне чистоту души своей, боясь греха, как осквернения, и чтил праведность свою.

Удаляясь от пройденного пути, должен был он удалиться и от праведности своей. С высоты, где вечный лед и холод, должен был он спуститься вниз и, окруженный искушениями, принять их, оставшись холодным и бесстрастным; разумом укорял себя за то, что соблазнился, а сердцем вольным знал, что чужды ему желанья и, значит, соблазны чужды.

Тогда отрекся он от пути обрекающего и от детской привязанности к матери своей земле; так предался он в руки судьбы.

36. А когда он подумал так, заметили глаза его, что приближается к нему толпа кочевников. И молча стал ждать их Юрали. Когда же были они уже совсем близко, вышла из среды их женщина с мертвым ребенком на руках и бросилась к Юралиным ногам.

«Ты чист душой и мудр, учитель, — сказала она. — Сердцем матери знаю я, что в твоей власти вернуть жизнь моему ребенку; возложи на него руки, и он воскреснет».

* Так у автора.

Но молчал Юрали. Тогда стала женщина умолять его и протягивала к нему ребенка своего, и слезами орошала ноги Юралины.

Мучительная жалость посетила Юрали. Знал он, что права женщина, что единым словом вернет он ребенку жизнь. И была минута, когда хотел он уже протянуть руки свои и возложить их на умершего. Но вспомнил он недавние мысли свои и решил, отказавшись от пути обычного, не совершать чуда и тем от чудотворения избавиться. А дабы победить в сердце своем жалость и великую возможность помощи, грехом хотел он заменить обрекающую добродетель.

И так сказал он женщине: «Воистину узнала ты сердцем твоим, что пред тобою тот, кто может облегчить твою скорбь. Но узнай также, что отныне отрекся я от чудотворения, что теперь будут уходить от меня голодные ненасыщенными и просящие неудовлетворенными. Иди от меня со скорбью своей и не ищущай моей судьбы».

И стала тогда называть его женщина жестоким; но не внимал ей Юрали. А вслед за женщиной стали просить все кочевники о чуде. Потом начали грозить они; но безмолвным оставалось сердце Юралино.

Тогда решили кочевники, что не имеет Юрали власти чудотворческой, и хотели уже отойти от него. Юрали же, желая завершить путь отречения и греха, остановил их, подошел к женщине и возложил руки на ребенка ее. И воскрес ребенок.

Прежде же, чем начала женщина благодарить его, вновь возложил он руки на ребенка и сказал: «Этим деянием своим отрекаюсь от чуда и от любви, дабы свободно было сердце мое для ожидания судьбы обрекающей». И вновь мертвым был ребенок на руках у женщины.

Тогда пришли кочевники в великую ярость и в гнев своем начали побивать Юрали камнями. Он же не мог бежать от них.

Когда же они решили, что мертв он, то отошли от него.

А он, избитый и израненный, понял, что освободился от чудотворения и вечности и не по закону обреченности может вернуться к чуду, а лишь в конце длинного пути, когда не будут молить познавшие о чуде.

37. Так остался Юрали один в пустыне безводной и желтой. Много раз уже подымалось над головой его солнце; много раз мерещились ему деревья вдали; но когда направлял он к ним шаги, разлетались призраки дымом.

И уже с трудом шел он, ибо изнемогали ноги его от усталости, ибо мучительный голод и жажда томили его.

Тогда послышался ему голос: «Поклонись своей матери, земле зеленой; и прохладные родники потекут тебе из недр ее».

Но не внимал Юрали голосу искушающему.

Тогда вновь слышал он: «Припади к своей жене возлюбленной, земле зеленой; и колосья с желтыми зернами прорастут из недр ее».

Но вновь безмолвным оставался Юрали, ибо ведал, что к отречению от своей судьбы единственной приведет его слабость.

И шел он дальше, чувствуя, что изнемогает от голода томительного и жажды.

Когда же обессилел он совсем, спустился к нему голубь, неся в клюве хлеб и сочные плоды. И долго старался Юрали отворачиваться от птицы; а голубь кружился и сел, наконец, к нему на плечо.

Тогда взял его Юрали в руки и держал так в руках, полный страха и нерешительности. И была минута, когда хотел он уже взять из клюва голубиного пищу. Но понял он тотчас же, что этим навеки отречется он от дороги своей единственной, им и его судьбою созданной.

Тогда медленно стал он душить птицу и задушил ее. Хлеб же и плоды закопал в землю.

И почувствовал Юрали, что грех великий свободно выбрало сердце его.

А голод и жажда перестали его мучить.

Так впервые узнал он слово: грех; впервые совершила душа его преступление. Тогда узнал он, что душа обреченного бывала всегда чистой и святой; что для свободы великой и для завершения пути, предназначенного судьбою, должен был он совершить грех, но грех, избранный сердцем свободным.

38. А когда узнал это Юрали, увидел он, как над его головой погасло земное солнце, — мертвый красный шар плыл вместо солнца жизнедательного по небу. И земля мертвая распростерлась у ног его.

Тогда решил Юрали, что долгие годы надлежит провести ему в пустыне, и что нет выхода из нее, ибо бесплодной стала мертвая земля, и вымерли люди, и пожелтели на всех лугах стебли и листья.

Среди каменных желтых утесов выбрал он себе пещеру. Одинок был Юрали; изредка только подползали к жилищу его змеи и ящерицы; да пауки ткали над изголовьем его паутину.

Когда же приближались к нему звери, — некогда любимые братья, — камнями отгонял он их.

Так стал Юрали пустынником, одиноко ищущим путей своих.

Казалось ему, что нету больше звуков земных, ибо ни птичьих песен, ни голоса человеческого не слышал он, и нем был язык его. Часто под палящими лучами солнца стоял Юрали около пещеры долгими часами, так что видел он, как с движеньем солнечным медленно передвигалась тень его за ним. И, склонив голову, не думал он в это время и не рассуждал о пути своем, а только вглядывался в мир, некогда родной. И тогда казалось ему, что у любимой могилы стоит он.

И так долгие годы провел он в желтой пустыне; и долгие годы думал, что грехом освободил он душу свою от вечности, что подойдет к нему старость; и смерти ждал, как искупления, как отдыха от длинного пути земного.

Когда же увидел он, что волосы его не седеют и не горбятся спина, поняло сердце его, что от земли и ее заветов освободился он, совершив грех,

ибо убил он одного из братьев своих, сына земного, и отвернулась от него зеленая мать.

Понял он, что грехом своим нарушил путь обреченного, ибо извечно была обреченная душа безгрешной; что убил он чудотворение в сердце своем.

И ясно видел Юрали, что обреченной по-новому остается душа его. Нет чуда в его сердце, но нет и земной смерти; есть дорога вечная, но есть и грех. И тайна эта казалась ему недоступной, ибо знал он, что первым грехом отдала себя душа его времени, а времени не чувствовал он.

Наконец, после долгих лет понял он тайну пути своего и испугался. Понял он, что и величайшее преступление, им совершенное, не будет грехом, что без нужды совершит он его, волей свободной выберет.

И еще узнал он, что свободно совершенный грех делает его навеки вольным и греху непричастным.

Так, уверовав в бессмертие свое, увидел Юрали, что не может он и других лишить жизни и не может, значит, греха совершить, ибо грех есть всегда умерщвление.

39. И тогда умерли желанья в сердце Юралином; а ему казалось, что сердце умерло.

И тогда посетила его новая ясность; он же думал, что вторым рождением земным родился он.

И тогда зазвенела пустыня, и властно простучала судьба в сердце Юрали, и упал он перед ней, освобожденный и покорный, с ненарушимой верой в долгий и великий путь, от века ему предназначенный.

Так просветилось его сердце. И настал в пустыне великий покой. Юрали же почувствовал, что каменеет он, что подобно острым скалам пустыни становится его тело.

И долгое время пребывал он так.

Когда же вновь поднялись глаза его, давно забытый призрак его посетил.

Показалось ему, что зазеленела пустыня безводная; что небо, только что бывшее пустым и серым, синим куполом вознеслось над ним. И ярко засияли косые лучи вечернего солнца, долго им невиданного.

И с трудом поднял Юрали голову, потому что чувствовал, как медленно каменеет он.

Когда же пристально всмотрелся он вдаль, то увидел, что приближается к нему каменное стадо, ярко позлащенное солнцем.

И далеко, от края и до края земли, раскинулось стадо его. И всех узнал он, кого встречал в жизни, среди каменных чудовищ. И многих еще невиданных людей заметил он среди них.

Тогда понял он, что в эту минуту не осталось на земле ни единого человека; что все пришли к нему в изгнание, в желтую и безводную пустыню.

И хотел встать Юрали, и не мог.

Тогда внезапно нарушилось безмолвие, и громкую песнь запело солнце, и звонкие птичьи щебетанья раздались, и зашуршали прорастающие травы, и невидимые звери земные стали вновь говорить понятным языком.

А стадо чудовищ каменных с выщербленными спинами низко склонились перед Юралаи.

И раздался голос, покрывающий голоса земные: «Отныне призван ты пасти все стадо земное; и имя пастве твоей — Юралаи. Обреченным осталось сердце твое, но обреченным твоей судьбе единственной».

И камнем упал к ногам его мертвый орел с поднебесья; и зарезанный ягненок оказался у ног его; когда же он оглянулся, то увидел мертвую женщину, покоящуюся на снопе выветрившихся колосьев.

И громко возопила паства его: «Иди и веди нас, учитель; дай нам мудрость и ясность твою».

После слов этих сразу исчезло все. Вновь пустынные и бесплодные стояли скалы, да змеи грелись на солнце.

40. Юралаи же понял, что повернула его дорога снова в мир; и с надеждой великой, с последним покоем и бесстрашием в сердце покинул он пустыню.

И когда через много дней пути приблизился он к приморскому городу Гастогаю, то не узнал его; и кораблей, стоявших у берега, не узнал.

В вечерний час вошел он в Гастогай. Миновав предместье, увидел он дворец, где некогда был правителем, и храм, увенчанный башней.

В темном проулке, который вел к морю, остановила его женщина и просила, чтобы он последовал за ней, обещая ему ночь свою.

И Юралаи, который знал, что нельзя противиться судьбе, согласился за нею идти.

По пути же начала вести с ним беседу женщина и удивлялась суровым словам его, ибо все, кого она раньше встречала, отвечали ей шуткой на шутку и были веселы и ласковы.

Когда же проходили они мимо раскрытых дверей какого-то притона, ярко освещенного и шумного, впервые увидела ясно женщина лицо и одежду спутника своего. Тогда поняла она, что идет с нею суровый отшельник.

И она, вечно творящая любовь и радующаяся ей, сказала Юралаи: «Посмотри на меня и ответь: есть ли желанье в сердце твоём?»

И отрицательно ответил ей Юралаи.

Женщина же, помня, что ведет она строгого пустытника, начала рассказывать ему о радости ночей своих и о радости той жизни, которую вела она. Когда же не было у нее больше слов, чтобы сделать речь свою еще более убедительной, вновь спросила она Юралаи, хочет ли он приобщиться той жизни, которую вела она. И сказал ей Юралаи: «У меня нет желаний в сердце».

Тогда замолчала женщина. Так вышли они к берегу морскому. И вновь спросила она Юралаи: «Зачем же идешь ты со мной?»

Но на этот вопрос промолчал он.

Тогда стала говорить ему женщина, что только презрением может она объяснить себе деяние его. Строгий отшельник, лелеющий и любящий только добродетель свою, пришел он, чтобы глумиться над нею, ибо греш-

на она; пришел он, чтобы еще раз убедиться в белизне одежд своих, ибо в грязи она, ибо низко пала она.

Но ответил ей Юрали: «Женщина, жизнь твоя дает тебе радость; грех же ведет к отчаянью. Итак, нет грешных желаний в сердце твоём. Как же могу презирать я чистое сердце?»

Но не поверила ему женщина и стала упрекать его еще больше в гордости, ибо даже презренье недостойна она по его мнению.

Когда же Юрали несколько раз повторил ей, что чиста она перед лицом его, потребовала она, чтобы деяниями доказал он ей это.

«Упади до меня, — говорила она, — не отворачивайся от греха моего, ибо совершишь ты его, не имея грешных желаний. Если же не согласишься ты исполнить то, что прошу, то буду знать я, что слова твои лживы».

И ласково улыбнулся ей Юрали, и сказал: «Да будет по воле твоей. Если тебе будет радостно от моей близости или от знания, что я равен тебе, то я пойду с тобой. Только помни, что презираешь ты себя больше, чем я».

И с этими словами взял он женщину за руку, и повела она его по темным переулкам к себе.

А на душе у Юрали было так же тихо и ясно, ибо знал он, что бессилен грех перед судьбою обрекающей.

41. В ранний же утренний час привела его женщина в притон, где пили и веселились гуляки с подругами ее. И удивленно смотрели юноши и девушки веселившиеся на строгое лицо Юралино; и смеялись над запыленной его одеждой.

«Если ты мудрец, — говорили они, — то не можешь знать радости. Вот мы пьяны и нам весело; может быть, многих из нас ждет дома невеста или жена; может быть, многие оставлены возлюбленными. Мы смеемся; мы говорим друг другу слова любви, и нам весело. Будь с нами, пустынный».

И снова пили они, и переходили из притона в притон. И пил с ними Юрали.

Многие же из них уже плакали пьяными слезами и жизнь свою ежедневную проклинали. Потом вновь начинали смеяться и обнимали спутниц своих.

И пели они песни: о любви минутной говорили песни эти. И тогда хотали женщины и объявляли, что от ночи и до новой ночи тянутся часы сна, что вся жизнь их любви минутной предана. И кричали они так: «Сердце развеяно! Душа умерла! Слава любви!»

Юрали же молчал.

Тогда стали они просить его, чтобы разделил он веселие их, чтобы сказал им хоть несколько ласковых слов.

Он же притчу им, пьяным, сказал.

42. «О сердце растраченном и о душе уснувшей буду говорить я. Подобна душа человеческая ядру; человек же скорлупе ореховой подобен. Од-

нажды решил мудрый садовод вырастить ореховую рощу; и много орехов посадил он в землю и стал ждать роста их».

«Но мимо проходило стадо; и копытами своими разрыл бык в одном месте мягкую землю; и многие орехи обнажились. И пошли дожди; и морозом сковалась земля; а орехи лежали, открытые ветру. И тогда сказали они: “Нет у нас ядра; мертва наша сердцевина”. Потом пришли дети и стали играть ими. Тогда обрадовались откопанные орехи и закричали: “Слава любви! Слава жизни!”»

«Другие же орехи, оставшиеся под землей, начали расти. Но у одних из них была тонкая скорлупа, и быстро пробили ее молодые побеги; другие же были как броней непроницаемой закованы, и не могли прорасти поэтому. Но все славили жизнь по-своему. Первые говорили: “Слава жизни; слава небу синему и черной земле”. А вторые говорили: “Разве есть что-нибудь за нашей скорлупой? Слава нашему миру, темному и тесному”».

«Тогда вновь пришел мудрый садовод, отнял у детей выкопанные орехи, зарыл их в землю и часто стал поливать насаждение свое».

«Когда же пришло время — проросли все орехи, и зеленым молодняком покрылась земля».

Так кончил Юрали.

А пьяные слушали его внимательно и казалось им, что еще никогда так властно и громко не звучали слова человеческие.

И спросила одна из женщин его: «Странник, что значит твоя притча?»

Юрали же ей ответил: «Все вы пели: сердце развеяно, душа умерла. А я знал, что уже близится к вам садовод, чтобы вновь предать вас земле; и что скоро прорастут зеленые стебли из оболочки вашей».

И когда он сказал это, молча встали все.

Он же продолжал: «Призываю вас. Ныне впервые увидите вы небо, увидите мир земной; ныне впервые покинете вы оболочку свою, и сгнет она. Кто может, пусть идет за мной».

Тогда вышла из среды их та женщина, с которой провел он предшествующую ночь, и сказала: «Я хотела бы, но я не могу».

Но еще раз позвал ее Юрали.

И юноша подошел к нему и спросил так: «О любви ли ты говоришь или о смерти?»

И ответил Юрали: «О ясности и покое».

После этих слов вышли они втроем, и знал Юрали, что навеки принадлежат ему первые ученики его. Они же чувствовали, как упадет с сердец их оболочка за оболочкой и как тянется душа из-под покрова земного на волю.

Те же, кто остался, хотели вновь славить жизнь свою. Но знал Юрали, что еще не пробил их час и что не могут они пока жизнь по-иному славить.

43. Юрали же и спутники его вышли из Гастогая.

И быстро подошел к ним человек, испуганный и растерянный, и сказал так:

«Я убил и ограбил встретившегося путника. Золото взял у него. Теперь настигает меня погоня. Если есть в сердцах ваших жалость, то спасите меня, — скажите, что вместе вышли мы из города. И тогда погоня пройдет мимо».

И Юрали согласился. Так встретили они погоню и миновали ее. А разбойник не ушел от них.

После нескольких дней пути заметил Юрали, что тайная тоска мучит его. И спросил он у него, какая причина ей. Тогда рассказал ему разбойник о своей жизни.

Много убийств совершил он; много золота прошло через руки его. Но каждый раз вслед за радостью о полученном начинала мучить его тоска. Так уже давно терзают его стоны умирающих. И тогда, чтобы не слышать их, новые убийства совершает он, но не может душа его никогда освободиться.

Однажды решил он, что искупить надо совершенные грехи. Тогда отдал он все награбленное нищим; но и это не помогло: по-прежнему продолжала тоска его терзать, по-прежнему мучили по ночам стоны убитых.

И теперь знает он, что нет на земле силы, которая может его исцелить. Так говорил он о преступлениях своих, как о рабстве.

Юрали же молча слушал его и только раз сказал: «Вольна душа твоя».

Тогда на следующий день вновь приступил к нему убийца со словами: «Зачем сказал ты мне, что душа моя вольна? Слова такие может говорить только тот, кто обладает властью освободить. Я поверил тебе; но наступила ночь, и вновь призраки мною убитых стали меня мучить, вновь узнал я, что вечен мой плен. Лучше было бы, если бы не слышал я твоих слов о свободе».

И взял его Юрали за руку, и такую речь повел:

«Неразумный и неведающий, разве не знаешь ты, что, и не имея награбленного золота, не умер бы ты с голоду? Разве не вольным сердцем выбрал ты путь греха?»

И, помолчав, ответил ему убийца, что истинны слова его.

Тогда стал говорить Юрали о том, что каждый шаг человеческий предназначен судьбою; но может всякий отречься от того, что свободно выбрала его душа. «Ибо, — говорил Юрали, — как тяжелую ношу нес ты преступления свои, и они же карали тебя. Но говорю я тебе: вольным сердцем избрал ты этот путь. И когда исполнишь ты предначертанное, когда каждое убийство острым ножом пронзит твою душу, тогда знай, что завершён твой круг, что исполнилась мера мук твоих и радостей. Тогда знай, что круто оборвалась дорога, и что выбор новых путей в твоих руках».

Но не верил преступник Юралиным словам и только знал, что после этих слов свободна душа его от желаний, ибо открылась ему истинная цена достижения желаемых благ.

Когда же он сказал об этом Юрали, то возрадовался тот и воскликнул: «Знай, что нет греха там, где нет желаний».

И последними этими словами очистилась, наконец, душа преступника; и радостно отошел он от Юрали, чтобы передаться новой своей, еще неведомой судьбе.

44. Спутники же Юралины молча внимали всему совершившемуся. Тогда стал говорить Юрали им о путях человеческих, выбираемых свободным сердцем, и о том, что только без желаний выбранный путь совпадает с путем, судьбою предназначенным. И о грехах и искушении говорил он.

Когда же проходили они мимо селений, случайно встретившиеся провожали их, чтобы послушать слова Юралины.

И вот подошел к Юрали один юноша и стал просить его, чтобы тот рассудил одно его деяние.

Был он слугою богатого купца; и однажды взял его господин вместе с другим слугою своим, чтобы сопутствовать каравану, везшему в дальний город товар.

Когда все уже было распродано, и возвращался купец домой с большими барышами, стал убеждать юношу товарищ его убить купца и поделить между собою барыши. Но он отказался. И много раз вновь приступал к нему неверный слуга, желая склонить к преступлению.

Однажды в пустыне безводной и голой, после того, как помогал юноша хозяину своему сосчитать выручку и был совсем ослеплен золотом, отправил купец слуг своих на охоту, так как вышел весь запас пищи.

А во время охоты вновь стал убеждать юношу товарищ и соблазнять золотом виденным и рассказывал о том, что можно будет на это золото приобрести.

Когда же почувствовал юноша, что склоняется сердце его к преступлению, то решил он, дабы избежать искушения и не лишиться жизни хозяина, всегда к нему доброго, освободиться от искушающего.

И в пустыне убил он спутника своего; когда же вернулся к хозяину, то сказал, что растерзали его дикие звери.

И так рассудил его Юрали: «Не о поступках могу судить я, а о желаниях, которые их создавали. Ты, юноша, боролся с искушением, — благо будет тебе за желание преодолеть его. Но ты убил искушающего, и это значит, что бесплодна была борьба твоя, что поддался ты искушению. Ибо если в мыслях своих мог бы ты убить соблазн, то не нужно было бы тебе в действительности убивать соблазнителя. Ты убил его, потому что желанья твои подчинились его желаньям. А раз совпадали желанья ваши, то значит, — ограбил и лишил ты жизни хозяина твоего, потому что этого хотел соблазнитель».

И, оборачиваясь к другим своим слушателям, так продолжал Юрали: «Запомните навсегда, что не тот преступник, кто совершает грех, — ибо грех может быть иногда без грешных желаний совершен, — а тот, кто имеет желанья эти в сердце своем. И не тот победил соблазн, кто уничтожил его, а тот, кто сумел заставить себя не замечать соблазна. Знайте, что руки могут

быть в крови и грязи, а душа чиста; и что чистые руки не могут еще быть доказательством чистоты душевной».

И многие не поняли слов Юралиных. Другие же, понявшие его, стали вспоминать свои деяния и думы; и многие, считавшие себя преступниками, почувствовали, как обелилась душа их словами Юралиными; другие же нежданно открыли в сердцах своих преступления, не совершенные, но великие.

45. Так, поучая и творя суд, пришел, наконец, Юрали с учениками своими к городу, которого он никогда еще не видел. Начиная с предместий была заметна небывалая суета на улицах. Чем дальше шли они, тем сильнее рос шум, и крики становились все громче. Юрали спросил мимо бегущих граждан о причине волнения и узнал, что город охвачен восстанием.

Когда же он со спутниками своими приблизился к главной площади города, то великая толпа уже не позволяла им двигаться дальше. С трудом пробрались они ко дворцу правителя.

Окруженный вожаками восстания, стоял правитель на высокой лестнице и пробовал защищать поступки свои от обвинения толпы. И уже носилось по рядам тихим шепотом: «Смерть ему».

Но никто не хотел громко сказать этого слова, потому что всем было ясно, что сказавший так будет палачом: вслед за словом, громко произнесенным, бросится толпа на правителя и убьет его.

И узнал Юрали из речей окружавших его, что не ведал правитель единого закона властительного — милости; что, будучи жестоким, боялся он возмездий, боялся даже тех, кто оставался ему верен.

Уже долго стояла толпа и не могла сказать последнего слова, ибо не может обиженный судить обидчика.

И ждали все они человека, который не имел бы в сердце обиды на правителя, но мог бы мудро и справедливо судить его без ненависти и боязни.

Наконец, один из вожаков, бывших рядом с правителем, узнал по одежде, что чужестранец Юрали, и просил его выйти, чтобы бесстрастно и справедливо сказать последнее слово.

46. И вышел Юрали, и сразу замолкла многоголосая толпа, ибо сразу поверила ему.

А он начал говорить: «К смерти хотите вы присудить человека, перед которым недавно склоняли головы. Если вы были покорны ему, то не ненависть к власти в ваших сердцах, а ненависть к тому, кто нес эту власть. И воистину правы вы, ибо недостоин власти тот, кого не любят, как владыку своего. Но не надо присуждать его к смерти, ибо каждому человеку указаны пути его, и вся вина вашего правителя в том, что не понял он своей судьбы, дорогу чужую избрал. И ваша вина, что поверили вы в него. Верните его предназначенному пути и отпустите с миром. За власть украденную властью же и наказан он».

И когда замолк Юрали, поняли все, что им безразлична судьба дальнейшая правителя их, что страха к нему нет ни в чьем сердце; и отпустили они его.

А перед Юрали низко склонились, ибо думали, что дала им судьба владыку мудрого и справедливого.

Но отрекся Юрали перед ними от пути властительного и такую речь повел им: «Знаю я, что каждому из вас его дорога единственная предназначена. И вот говорю я вам об этом и отныне навеки запомните слова мои».

«Когда почувствуют ваши сердца, что искать этот единственный путь свой надо, не сможете вы принять владыку. Те дела и проступки, за которые судил он вас, дела ежедневные; вы же уже чувствуете после слов моих, что не будет день ваш похож на минувший день, и день грядущий будет разниться от сегодняшнего. Так и преступлений совершенных больше не повторит ваша душа; и значит — не нуждаетесь вы в каре».

«Только знайте отныне, что долог путь ваш, только сможете полюбить его безраздельно и навеки».

Так кончил Юрали и хотел уже удалиться, но не пускала его толпа из города и громко приветствовала, и бросала ему под ноги одежды свои и цветы.

47. Когда после большого труда удалось ему покинуть стены города, многие из граждан продолжали следовать за ним, обращаясь с вопросами и прося точно разъяснить, что назвал он путем души человеческой.

Тогда остановился Юрали на вершине холма придорожного и стал беседовать с ними.

«С детства видит человек, что пути его от судьбы предназначены. Но начинается жизнь его зрелая, и о случае говорит он. Тогда предается он в руки старшего, в руки владыки, свободно выбранного им, и думает, что власть чужая сделает шаги его не случайными, к тайной цели поведет его; владыка же названный сильнейшего ищет, ибо душу его терзает не только случайность его единственного пути, но и случайности в путях его паствы. И так тоскует каждый владыка земной о рабстве и покорности».

«Я же пришел сказать вам: нет случая. Как зерно не случайно вырастает, как стебель не случайно выкидывает колос свой, так же не случайна дорога человека».

«Всеми вами властно правит судьба. И не бойтесь прямо заглянуть ей в глаза, ибо не обманет она вас, ибо даст она вам знание великое, — знание каждого дальнейшего шага. Но помните и знайте, что судьба каждого, — его судьба единственная. Великий путь лежит перед каждой душой человеческой, и не властен никто изменить его, — властен только отсрочить».

«И вот о пути этом хотел я поведать вам».

48. Тогда подошел к Юрали юноша из толпы и сказал: «Учитель мудрый, о своей единственной судьбе хотел я спросить тебя. Сердцем своим давно знаю я то, о чем говорил ты; но найти дороги не могу, ибо слепы

глаза мои и уши не слышат. Вот уже несколько лет прошло юности моей; и все, смотря на меня, радуются, ибо все, что может желать человек, есть у меня. Только я один на судьбу свою не радуюсь. Каждый раз, когда посещает любовь меня, жалость мучительная посещает мое сердце. И жалость эта убивает любовь. Сначала я не понимал, что значит эта жалость. Теперь же знаю, что тайным знаком отмечает она путь мой единственный, но все же не ведаю, каков этот путь. Научи меня, ибо зорко зрение твое и чуток слух».

И положил ему Юрали руки на плечи, и спросил: «Юноша, а себя не жалеешь ли ты так же мучительно, как и других?»

Юноша же, подумав, сказал: «Нет».

Тогда ласково улыбнулся ему Юрали.

«Прав ты, юноша, видя в жалости своей мучительной тайный знак пути своего. Но знай только, что о муке нестерпимой говорит твоя жалость. Нигде не найдешь ты человека, который тебя за тебя самого любить будет; всякий полюбит жалость твою. И твое сердце тоже любви не узнает, ибо, любя, будешь ты жалость свою любить».

«Так будет, если станешь искать ты любви земной и безжалостной; потому что этим только отсрочишь ты путь, от судьбы тебе предназначенный».

«Я говорю тебе: иди. Иди к тем, кто любовью не тронет сердца твоего, иди к отверженным и не знающим путей своих. Приди и скажи: я владыка ваш. И они поверят тебе, и их грех понесешь ты; и тогда наполнится до края сердце твое и увидишь ты, как дальше поведет твоя дорога».

«Но пока ты молод и не знаешь сердец человеческих, за собою зову я тебя».

И последовал юноша за Юрали.

Перед тем же, как покинуть толпу, еще раз сказал Юрали, что ждет каждого великий и трудный путь судьбы его.

49. Через несколько дней пути пришел Юрали со спутниками своими к стенам монастырским. Много народу собралось в эти дни в монастыре. В стране той свирепствовал мор, и не было семьи, в которой не погиб бы кто-нибудь.

Поэтому и стояла большая толпа в монастырском дворе: одни пришли просить чудотворцев-монахов об исцелении братьев и детей своих, оставшихся дома; большинство же молило облегчить души их от ужаса смерти и тяжести жизни, ставшей одинокой и пустой после утраты близких.

И часто приезжали гонцы и вестники, чтобы сообщить, что напрасно молят люди об исцелении: умер уже больной.

Но многим даровывали чудотворцы исцеление, и тогда, обрадованные, шли получившие дар этот по домам, чтобы обнять исцеленных.

Когда Юрали и спутники его вошли за монастырскую ограду, увидели они монаха, стоящего на крыльце кельи своей, и толпу, с мольбой распростершуюся перед ним. Монах же стоял неподвижно, и, видимо, сомневался сердце его.

Юрали прислушался к мольбам.

«Если мы вернемся в дома наши, — говорила женщина, стоящая около Юрали, — то вновь увидим умерших детей. Сердца наши измучены».

А в другом месте старик протягивал монаху руки со словами: «Ты, исцеляющий больных и дающий жизнь мертвым, отчего не хочешь ты исцелить и воскресить души наши? Мы больны смертью чужой, мы мертвы чужим умиранием».

И со всех сторон тянулись люди к монаху и просили его о чуде. Все кричали: «Мы устали от тяжести пути нашего земного! Если ты воистину чудотворец, сними эту тяжесть с плеч наших, сделай нас свободными».

Но молчал монах.

Наконец, после долгих стенаний и просьб, он сказал им: «Во власти моей дать вам то, о чем просите, снять тяжесть с плеч ваших. Но не знаю, по какой причине сомневаюсь я. Лучше просите меня об исцелении других ваших недугов; лучше о чуде, ежедневно совершаемом, просите».

Но толпа отвечала: «Пусть мы будем голодны и бездомны; пусть тяжелые недуги мучат нас; дай нам только свободу от тяжести извечной. Входя в мир, от юности еще поднимаем мы тяжелую ношу, и до смерти давит она наши спины. Дай нам радость и свободу».

Тогда решил монах исполнить просьбу их. Уже простер он руки над толпой, уже готов был произнести слова простые и чудотворные, — но подошел к нему Юрали и остановил его.

50. Потом обернулся Юрали к толпе и начал говорить ей.

«Прежде всего, узнайте, люди, что тяжесть ваша чудом не уничтожится; а упадет бременем на плечи чудотворца».

Тогда возопила толпа: «Он силен; он может поднять то, что нам не по силам».

А Юрали продолжал: «Все пути земные смерть пресекает. Узнайте, что за воротами смерти встретит вас привратник и поведет к судье мудрому и нелицеприятному. И подымет судья весы справедливости, и упадут на одну чашу весов прегрешения ваши, а на другую — ваша добродетель. Пусть каждый вспомнит жизнь свою и ответит, какая чаша перетянет».

И молча стояла толпа.

«На лицах ваших вижу ответ, — продолжал Юрали. — Но слушайте, в последний час, когда ни одного оправданного не будет, встанет перед судьей некто, и попросит он судью, чтобы тот разрешил бросить на чашу добродетели тяжесть земного пути».

«И говорю я вам: высоко взвешется чаша греха и низко опустится чаша добродетели, отягченная ношей тяжелой каждого дня. И грех ваш, тяжесть вашего греха будет перед лицом судьи великим подвигом».

«Теперь, когда вы знаете о суде последнем, если хотите, — просите о чуде, и будет оно дано вам, грешите безвольно и пользуйтесь без сомнений плодами грехов своих; но знайте, что настанет час последний и тогда не будет ни чуда, ни милосердия; а только одна суровая справедливость».

«Говорю я вам: любите тяжесть своего пути, любите ношу невыносимую грехов ваших».

«Пусть будет радость ваша горькой; пусть мука ваша будет неисчислимой. Как великий дар примите муку эту и радость горькую».

Так кончил Юрали. И сурово глядела на него толпа, ибо был он вестником судьбы их неумолимой. Но склонились перед ним все, и все приняли трудный путь подвига для радости горькой.

И в спокойствии ненарушимом стали люди расходиться, каждый ведая, что сможет без страха заглянуть в лицо судьбы своей.

Многие же не ушли из двора монастырского, желая следовать за Юрали всю свою жизнь, дабы, внимая его словам, легче могли отречься души их от счастья и греха во имя радости минутной и горькой.

51. А когда спустилась ночь, и остался на дворе только Юрали со спутниками своими, приступил к нему один из учеников его и спросил: «Учитель, кто ты? Как власть имущий говоришь ты — и от власти отказываешься; слова твои подобны словам чудотворца, но от чуда отрекаешься ты. Кто ты, учитель?»

Тогда сел Юрали на ступенях лестницы монастырской, и окружили его тесным кольцом ученики его. И так сказал он о себе.

«Я — только один из вас, ибо каждый из вас и чудотворец и властелин; я — только один из вас, ибо все вы, подобно мне, бессильны и нищи. И мое имя — Юрали — тайно и ваше имя перед лицом судьбы».

Тогда вновь спросил его ученик: «Но как же это может быть? Тебя мы называем мудрым и учителем; ты же говоришь, что равен нам, неведающим ученикам своим».

И ответил ему Юрали: «Воистину равен я вам; но разнствует дорога наша. Судьба заставила меня заглянуть в глаза свои, и понял я мой путь; судьба властно вела меня, и забыл я, что значит желанье и воля, ибо в руки ее предалась душа моя».

«Если же хотите еще точнее знать, кто я, — то имя мое — обреченный. Не бойтесь этого слова и не жалеите, ибо достоин жалости только желающий, ибо страшно только то, что можно отвратить. Моя же душа не имеет желаний, и с дороги своей не властен свернуть я. И радуйтесь обо мне, ибо к великой радости пришел я; радуйтесь обо мне, ибо путник вечный — мое имя. Сердца моего не победит жизнь и смерть не победит; тела моего не скует усталость и не измучит жажда; труден и прост путь обреченного. Если же не поняли вы сказанного, то еще скажу вам: о великом покое слова мои».

Тогда начали ученики обсуждать слова его и просить, чтобы ясному пути научил он их.

И сказал Юрали: «Не о власти пекитесь и не о покорности. Но если будет сердце ваше свободно от желаний и мудро, то идите к людям желающим и не ведающим ясности и покоя. А если скажет вам человек, впервые встретившийся: покоришься, — то с радостью отдайте ему волю вашу, оста-

ваясь навеки свободными. Ибо и воля ясная так же лишает свободы, как и покорность, если держаться за нее и любить ее. Если же встретите вы человека, ищущего учителя и владыку, то скажите ему: «Я учитель твой, я владыка, судьбою тебе дарованный», — ибо знаете путь вы и тайну; беря же в руки свои волю чужую, чужую тяжесть берете; но не сломит тяжесть безмерная плеч того, кто познал. Итак, будьте свободными в судьбе своей и даруйте накопленные богатства, и принимайте дары великие. Не только тот скуп, кто бережет достояние свое, но и тот, кто от дара отказывается».

52. Тогда отошли от него ученики и стали обсуждать непонятные слова его.

Не знали они, отчего и им тайное имя — Юрали; и не ведали, бессмертен ли учитель их или равен им и в смертном часе своем.

Но не могли они разрешить этого сами и вновь подошли к Юрали: «О вечном пути говоришь ты, учитель; поведай нам: придет ли смерть к тебе?»

И так ответил Юрали: «Смертный, я обречен на бессмертие; но, дабы исполнился во мне круг жизни человеческой, смерть изберу я. Она же не будет властна надо мной».

Но не поняли ученики слов его.

Он же продолжал: «Знайте, что близится мой смертный час. Но не умру я, а только уйду от вас; и вновь приду, когда настанет время. Смерть я избрал, не имея желаний жизни и смерти в душе».

После этих слов перестали задавать ученики ему вопросы и только ведали, что великое делается.

Тогда встал Юрали, чтобы покинуть монастырь, и двинулись за ним все, полные страха и покорности перед лицом неведомой судьбы.

И было уже утро.

53. Люди же, накануне слышавшие слова Юралины, разнесли славу о нем по всем селениям своим. И вот навстречу ему шла большая толпа желающих услышать его.

Кроме того, был в эти дни в монастыре праздник, и со всех сторон стекались к нему паломники-чужестранцы.

И окружили люди Юрали, и просили научить их, поведать им свою тайну.

«Скоро придет мой час, и тогда расстанусь с вами, — сказал им Юрали. — Пока же о знании своем тайном хочу сказать вам. Но о многом умолчу, ибо будет открыто дальнейшее каждому в душе его. Теперь же о начале пути буду говорить я».

Тогда опустились люди на землю, и сел посреди них Юрали, чтобы в длинной беседе поведать им о себе и о вере своей.

54. «Раньше всего почувствуйте душу свою одинокой; но поймите, что одиночество не тоскует и не ждет. Одиночество — последний покой. В час,

когда появится у вас привязанность земная, знайте, что умерло ваше одиночество. Одинок тот, кто не имеет желаний».

«Итак, будьте свободны от желаний; знайте, что путей судьбы нельзя изменить, а только отсрочить можно. И вас, не желающих, поведет судьба».

«Чутко слушайте голоса своей судьбы единственной. Каждый из вас — и великий воин, и мудрец, и пророк, если он внимлет голосу судьбы своей. Знайте, что каждого ждет обильная жатва и серп отточенный; и знайте, что только прямая дорога судьбы ведет к этой жатве. Но не отчаивайтесь, если желанье полонит ваше сердце, и вы изберете окольный путь: не осыплются колосья на ниве вашей и не сожнет их другой жнец, ибо вам эта жатва уготована, для вас созрели колосья».

«Не бойтесь греха, но творите его, не имея грешных желаний в сердце. И помните, что каждый шаг ваш имеет возмездие. Знайте, что за победой идет тягота власти и за счастьем земным — смерть».

«Любите тяжесть каждого пути единственного, ибо тяжесть радует. И под ношей непомерной, по крутым тропам, дойдете вы до солнца, до последних высот».

«Не любите ни близких своих, ни себя любовью земной, но чтите с благоговением как свой путь, так и путь самого отверженного и последнего из живущих».

«Не ищите счастья, ибо нельзя найти несуществующего, но ищите радости».

«Знайте, что радость бывает всегда минутной, мучительной и горькой, ибо следует за нею расплата и отвержение».

«И, вкушая радость горькую, ведайте, что великий покой царит извечно на земле и на небе, в жизни и в смерти».

«О покое и радости пекитесь».

«Не думайте о смерти, ибо тот, кто поверит в нее — умрет; тот же, кто в вечную жизнь уверует, будет бессмертен. Ваши же души еще слишком юны, чтобы и смерть и бессмертие вынести».

«Знайте, что каждая душа обречена, и ищите тайного знака своего обречения».

«Не жалейте ни себя, ни других, ибо все одинаково радуются радостью горькой».

«Вот я скоро уйду от вас, ибо крут мой исполнен, ибо звонко прозвучали слова мои. Но ведайте, что в час, назначенный судьбою, снова вернусь я к вам, и ждите».

«И никто не знает места, где снова прозвучат слова мои; и никто не узнает меня, ибо другое сердце будет биться жизнью моею».

«Тот, кто поймет и примет слова мои, поймет и дальнейшее, о чем вам еще рано говорить. И возрадуется дух его, ибо о свободе, покое и радости слова мои».

«Больше, чем в слова мои, верьте в себя».

Так кончил Юрали. И медленно стали расходиться люди, неся в сердцах семя великой и горькой радости.

55. И когда остался он с учениками своими, стал он им говорить, что заканчивается путь, предначертанный судьбою, что уведет в неизведанное иная дорога его.

Но несколько дней еще переходили они из селения в селение, из города в город. И везде говорил о знании своем тайном Юрали. И слушали люди, и радовались словам его, хотя многое оставалось им непонятым и неведомым.

И однажды дал Юрали ученикам своим свиток, исписанный его рукою, говоря: «Когда приблизитесь к тайне, то ясными станут вам все слова мои. Для тех же, кто завершит путь мой, оставляю я ключ от ворот тайны. И сможет перешагнуть порог ее только тот, кто умертвит сердце свое для судьбы, еще вам неведомой. Имя же ей — милость и торжественность. Другие же имена ее узнаете из свитка, который даю вам».

56. И пришел однажды Юрали с учениками своими к подножью высокой горы. И там начал он в последний раз говорить им.

«Вот ухожу я от вас и знаю, что не оставлю печали в ваших сердцах. По земле рассеетесь вы; ко всем алчущим в дверь простучитесь: и радость великую им даруете. Вам оставляю я бремя радости моей горькой».

«Но ведаю я, что и вы еще не знаете, куда ведет дорога тех, кто отрекся от счастья во имя радости. Не знаете вы до конца, что значит быть обреченным».

«В час же, когда поймете вы тяжесть пути своего, новым светом засияет над вами солнце».

«И в мир несете вы только часть тайны, ибо вся тайна надолго вместе со мною исчезнет».

«И будете вы одиноки на путях ваших; но, дабы не было лжи между вами, еще один завет оставляю я вам».

«Мною земля вам дарована: реки и моря ее, равнины и горы, звезды над нею и солнце, звери и птицы, и рыбы, люди и помыслы их, травы и камни».

«И будете вы говорить обо мне, и слова ваши будут громче голоса трубного, ибо глухие услышат их».

«Но бойтесь прибавить к тому, что узнали от меня, хоть единое слова, ибо оно будет ложью. Бойтесь создавать монастыри и верованья, ибо забудете вы тогда, что я — только один из вас, и нельзя поклоняться имени моему. Если же любовь ваша ко мне требует знамений, то да будет единым знаменьем путь, по которому идете; ибо указать его приходил я».

«Когда же исполнятся слова мои и нечего будет вам сказать, вернусь я и скажу о дальнейшем».

«Итак, к людям идите и помните, что тайное имя ваше и всех, кто услышит вас, — Юрали».

57. И после этих слов сказал Юрали ученикам своим, чтобы не следовали они за ним; и пошел он в гору.

Они же долго следили, как идет он. Часто пропадал Юрали за уступами скал и вновь появлялся. Наконец, мелькнул он перед ними в последний раз на вершине и исчез навеки.

И молча стояли они, желая еще раз увидеть его.

Когда же настала ночь, поняли они, что это был последний час учителя среди людей.

Утром же двинулись ученики по следам учителя, дабы узнать, как окончил он круг своей земной жизни.

Долго шли они, много гор миновали, ведомые следами ног его. Так пришли они к высокому песчаному плоскогорью, окруженному со всех сторон пропастью.

И четки были следы учителя на желтом песке. И была в час тот великая тишина, так что не пересыпался песок и не сглаживал следов Юралиных.

Так шли они долго и стали замечать, что следы, дотоле четкие, становятся все менее и менее заметными, будто с каждым шагом легче ступал Юрали.

С трудом уже стали они различать дорогу его.

И наконец, исчезли следы совсем.

Тогда поняли ученики, что не умер, а только исчез Юрали, и исполнились слова его: смертный, обрел он бессмертие.

И не было в сердцах их печали об утрате, ибо великая торжественность спустилась к ним, и знали они, что только на время разлучился Юрали с землей.

РАВНИНА РУССКАЯ (ХРОНИКА НАШИХ ДНЕЙ)

I

Петербург готовился к своей осенней ночи. Еще последним солнечным золотом сияли листья березы, еще клен багровел зорями утренними, и осина пылала закатом, а дни становились короче. Холодные ветры с залива несли желтые клубы тумана, Нева начинала сесть и косматиться. А огни на улицах отражались уже столбиками в лужах на мостовых.

Кто не испытал тайной силы призрачного города? Разве не кажется всякому, кто раз попал в него, что из него возврата нет? Разве не хочет он каждому подменить Россию? Россия, мол, это Петербург, — а за ним болото финское, через которое дорог нет, в котором виднеются только чахлые осины да оливковые кочки.

Так островом и высится призрачный город. И не знаешь, — может быть, его вовсе нет, а может быть, он — это все, — вся Россия болотистая и пустынная.

Катя Темносердова жила в пятом этаже. Два окна ее комнаты выходили на залив. В вечернем закате среди тумана вырисовывались доки, черные краны подымались в небо, призрачной сеткой сквозили какие-то воздушные мосты, по вечерам мерцающие фонарями. Улица была внизу широкая и тихая; она упиралась в маленький канал. А по другую сторону тянулись заборы.

И в полдень, после позднего осеннего утра, в сером тумане неба, неожиданно обозначался низко над доками мохнатый, но не светящий шар солнца. Так, — чтобы люди не забыли о солнце в долгие осенние дни.

Катя смотрела на красный шар, и ей казалось, что солнце, наверное, таким кажется рыбам, живущим в глубокой воде. И тогда она очень не любила Петербурга.

Каждый день она бывала на курсах; в коридорах пахло пылью. Неярко горел электрический свет, и торопливо сновали курсистки. В больших аудиториях было тесно и душно. Тоже пахло пылью. Катя любила вечерние занятия в семинариях, — маленьких комнатах будто нежилой квартиры. Работала она много. Дома, забравшись с ногами в кресло, читала толстые немецкие книги и заполняла целые тетради конспектами.

Но эти годы, кроме знания предметов, читаемых на курсах, дали ей и другое знание, название которому она не могла подыскать. Впервые поняла она необъятную величину мира, необъятную величину равнины русской. И испугалась.

В осеннем тумане, давящем желтой рукой голову, и в белые ночи, когда все невозможное делается возможным, и когда сказки, притворившись приличными людьми, гуляют по набережной и с Троицкого моста смотрят на Невские волны, — услышала Катя надрывный голос, зовущий из просторов финских болот. С каждым годом голос этот звал ее все громче и громче.

Ей казалось часто, — в окраинных переулках, где дома из сосновых досок и березы за заборами, — мелькает облик старой женщины, голосащей все время. Она видела, как ветер треплет седые космы. Но догнать ее нельзя. Кате чаще всего казалось, что женщина идет рядом с нею, шаркает босыми ногами по тротуару. А повернешь лицо, — и нет никого.

Это совпало с тем, как Катя, пережив очередное увлечение науками, как ранее пластическими танцами, театром, религиозно-философским обществом, драмами и событиями личной жизни, — впервые оглянулась вокруг.

Она неожиданно поняла, что война гремит, и это значит, — гибель. Она почуяла Россию не по Соловьеву, не по славянофилам, не по газетам или лекциям, — а попросту, — от края и до края распростертую на черной земле, неподвижную, одинокую, безпризорную под стужей и ветром. Раскинулась и лежит. И докричаться до нее нельзя, потому что все равно не услышит.

С тех пор Катя и старуху стала встречать в переулках.

Она приехала с юга; оторвалась от степей и воздуха ковылевого. И жителям петербургского тумана показалось, что среди них та, что дает. И потянулись к ней берущие.

Любили? Нет. Только слушали ее смех и радовались, что люди еще так смеяться умеют. А она волновалась чужими делами, хлопотала о чужих жизнях, большими глазами ловила новый мир, где каждое слово болит и где груден путь.

И только однажды в двузорную ночь весеннюю, высунувшись в окно и следя, как облако загорается солнечной кровью, поняла она, что все это ни к чему, что только чужая растенья прилипали к ней при ее стремлении раствориться в жизни чужой.

Третья зима в Петербурге... Русская армия уже отступала... Люди чуткие слышали запах гари грядущих пожарниц.

Кате казалось, что она поняла основную неправду своих первых петербургских зим: она была слишком жадна к жизни и слишком верила в свои силы. А для того, чтобы воистину хоть крохи человек мог дать человеку, надо, чтобы дающий вошел в сердце жизни берущего, чтобы чужая жизнь закружилась вокруг него, как вокруг оси своей. Это может сделать только любовь. Но в Катиной душе не было любви; может, был даже страх и ужас перед этим путем человеческим.

А грядущий огонь требовал уже, и внятн был его голос: надо выйти из жизни своей, из жизни отдельных людей; ни крошки не надо давать отдельному человеку; не надо вступать в сердце человеческое на место, обозначенное знаком любви.

В мире, среди множества надо встать и в давании своем расплыться...

В прошлую зиму впервые встретила она друга. Его звали Андрей Викторович Голосков. Он был приват-доцент, читал лекции по истории средних веков. Но кроме своих средних веков он знал множество вещей: математику, умел составлять гороскопы, умел гравировать по дереву, играл на скрипке и бегал на лыжах.

Кате нравилось с ним бывать, потому что каждую ее случайную мысль он умел развить так, что она становилась значительной, интересной, а часто даже подкрепленной длинными, тяжеловесными цитатами на древнеславянском, латинском, греческом и немецком языках. И как-то подчеркнуто он воспринимал каждую Катину мысль, как нечто чрезвычайно важное, почти как откровение. Это было очень приятно и заставляло напряженно работать.

А кроме того, Катя чувствовала, что по-человечески он относится к ней, с какой-то нежной заботливостью.

Иногда только Катю смущало, что своих мыслей, острых и новых, у него как будто и нету, что все его слова являются дополнением или развитием ее слов, а часто пересказом авторитетных мнений. И тогда он казался ей могучим и чувствительным резонатором. Но во всяком случае с ним будились мысли и усыплялась тоска.

И теперь, приехав после лета в свою зеленую комнату, она в первый же день позвонила по телефону Андрею Викторовичу.

Его появления были почти через день.

Катя только что вернулась с курсов. Она простудилась немного, у нее болела голова и знобило. Укутавшись в теплый платок, она сидела в кресле и смотрела, как горит печка.

В передней звякнул звонок. Катя подумала, что это, наверное, Андрей Викторович, но не пошевельнулась. Вскоре он, слабо постучавшись, вошел.

Казалось, как бы Катя себя ни чувствовала, о чем бы ни думала, — он с первого взгляда поймет, о чем говорить надо или как помолчать. Так и сейчас: он, поздоровавшись, сел на корточки около топящейся печки и молча начал размешивать пылающие угли кочергой. Они сразу затрещали, и сноп красных звезд метнулся ввысь.

Катя, не отрываясь от огня, почему-то шепотом, сказала:

— Знаете, Андрей Викторович, я сейчас шла с курсов; и вдруг мне показалось, что я за первым углом какого-то пророка встречу. И будет он совсем не современный, — не в пиджаке, одним словом.

Голосков спокойно и размеренно, низким голосом и тоже шепотом, ответил:

— Екатерина Павловна, да это же ясно: у пророка Иоиля еще сказано: «И будет после того: изведу от Духа Моего на всякую плоть; и будут пророчествовать сыны ваши, и старцы будут видеть видения; и на рабов, и на рабынь изведу от Духа Моего». Конечно, насчет вида современного или несовременного можно спорить. Но думается, что у вас это ощущение несовременности происходит оттого, что пророк Иоиль в древние времена открыл нам это.

Все было ясно.

Катя опять таким же шепотом, помолчав, продолжала:

— А разве Россия готова воспринять это? Ведь мы все же нищие.

Тут Голосков встал и, прислонившись к углу уже нагретой печки, начал рассказывать:

— Когда я плывал с китоловным судном в Ледовитом океане, мне случилось посетить маленький скалистый остров. На нем, кроме птиц, никого не было. А на берегу лежал огромный камень, на котором расписывались по древнейшему обычаю все моряки, потерпевшие здесь крушение. Языком пятнадцатого века какой-то скандинавский моряк между прочим изобразил: (он сказал длинную фразу по-норвежски), что в переводе значит: «Потеряв свои корабли, проклиная судьбу». Дальше подпись. А рядом с этой надписью виднелась другая, русская, поскольку мне удалось установить, времени Иоанна Грозного: «Здесь горевал Гришка Дудин». Тогда же я понял, что в этой записи точно отразилась психология всего русского народа. А из этой психологии с несомненностью вытекает особая восприимчивость к высшим откровениям, особая талантливость, — если так можно выразиться, — к пророчеству и ясновидению. Потому что только при крайнем смирении, при крайнем отсутствии духовного скряжничества и духовной алчности, человек может воспринять эти дары.

Помолчали опять.

Не следя за последовательностью своих мыслей, Катя сказала:

— Сегодня я видела на курсах товарища Шило. Знаете, такой, что по Марксу живет. Он ужасно меня презирал, а мне было это очень приятно... В конце концов, за ними может быть будущее. И тогда пусть презирает... Это уж будет значить время прекрасной ясности.

— Вот тут эта ваша усталость сказалась. Какая там прекрасная ясность? Просто далеко не прекрасные шоры.

Так они беседовали, перескакивая с предмета на предмет; Андрей Викторович, все знающий и умеющий объяснить, и Катя, очень уставшая, чувствующая, что только и отдыхаешь во время этих бесед, которые, как собственные думы, только более насыщены.

В печке догорели угли. Катя зажгла лампу. Около полночи Голосков ушел, а Катя стала продумывать все, о чем они говорили.

II

В конце декабря, на последних днях Святков, Катя неожиданно получила телеграмму от своего второго брата Петра. С начала войны он отказался от посещения лекций в Университете и пошел на фронт добровольцем. Теперь он приезжал с фронта в командировку на две недели.

Сговорившись с квартирной хозяйкой о том, что та уступит Кате на эти две недели свой кабинет, она принялась ждать Петра. Она не знала точно дня его приезда: поезда с фронта приходили как-то неопределенно, выехать его встречать на вокзал нельзя было.

С позиции своего полка Петр долго добирался до железной дороги. Бесконечная метельная снежная равнина как бы отделяла царство войны от остальной страны Российской. Там, сзади, боевые будни, свои полковые солдаты, общая биография отступлений и атак, походов, бесконечных стоянок на одном месте. Тонкая цепочка фронта, изгибаясь своими бесчисленными звеньями, жила своей особой жизнью, такой непонятной за пределами снежных просторов Польши и Галиции. Великим начальником, не знающим послушания, была смерть: она поравняла всех перед собой, она научила всех своему языку.

И поэтому на фронте все было таким понятным, не тревожащим глубин душевных. И во всеобщей обнадеженности этой давно уже по-новому звучало для Петра слово: Россия. Из него как-то постепенно выветрились все признаки великого государства, исчезли политические понятия и определения. Она воплотилась в какое-то живое существо, плохо поддающееся восприятию, но почти всегда близкое, — вот тут, рядом находящееся. Вот убило солдата, с которым Петр час тому назад разговаривал, — эта смерть, — такая естественная и ожидаемая, — ложится на сердце тяжестью. И такой же тяжестью, как смерть или ранение близкого, ложится на сердце неудача России, поражение, отступление... Будто живое существо, до конца близкое, с детства любимое, несет на своих плечах горечь поражений и неудач; будто совершенно отчетливо страдает это живое существо, и Петр не может не страдать его страданиями.

И когда изредка он начинал углубляться в эти мысли, то казалось ему самым тяжелым из всего, что лежит на плечах этой новой, воплощенной России, — тяжесть долгих, нелепо изжитых веков, тяжесть темной истории. И явственно чувствовал он, какой древней мукой веет от старой родины.

Но только такой может быть она понятна и мила каждому. Потому что пышные одежды не для нее, и в них она кажется чужой. Вот так, в снежной метели голосящая, предупреждающая каждого солдата, что с утра будет бой, — а из боя кто живым выйдет? — плачущая о русской крови пролитой, не знающая путей своих, — так она каждому близка и желанна.

И казалось Петру иногда, что мысли эти все, — только от дикой тоски фронтовых безработных зимних месяцев, когда все сказки солдатские переслушаны, когда каждый человек опротивел каждому человеку до одури.

А начнется весна. Начнется работа, — и от мыслей этих ничего не останется.

На пятые сутки путешествия с фронта показались высокие фабричные трубы; поезд пролетел мимо красных казачьих казарм и ворвался под стеклянный купол вокзала.

И скоро Катя из окна своей комнаты увидала, как показались из-за угла санки Петра и, выйдя на площадку лестницы, стала его ждать.

Вот он, слегка запыхавшись, подымается. Катя сбежала вниз и обняла его. Он смущенно как-то поцеловал ее в лоб. Остановились на минуту, улыбаясь друг другу.

В комнате Катя, все еще улыбаясь, спросила его:

— Ну, что? По обыкновению в первую голову ванну надо?

Петр утвердительно кивнул головой.

Катя пошла распорядиться. Вернулась с чашками, с чайником, с хлебом, маслом и с любимой Петиной ливерной колбасой.

Он принялся пить чай, оглядывал комнату, прочитывал заглавия книг, лежащих на столе.

Катя подумала: «Еще по-настоящему не встретились. Еще он не совсем приехал». И смотрела на него.

Волосы низко острижены, немного сутулиться начал, а все тот же. Она опять улыбнулась. Когда он жевал, на висках напрягались и шевелились мышцы. Так и раньше бывало.

— Ты знаешь, — говорил он потом со странной какой-то торопливостью, как будто стараясь успеть сказать все, ничего не забыть, — вот книги у тебя, и мысли всякие и прочее, уж не знаю там, что; все это понятно и нужно даже не миллиону, а десяткам тысяч, сотням, — а нам, ста восьмидесяти миллионам, все это ни к чему.

— Кому вам? — удивилась Катя.

— Ах, виноват, оговорился: им всем, вот тем, что составляют русский народ, — крестьянам, конечно, главным образом; ну, и армии. Хотя армия это те же крестьяне. А, впрочем, не им, а, действительно, нам. Пробыв это время вместе, — понимаешь, — не какое-нибудь, а это время, — конечно, от многого отстанешь и многое новое узнаешь. Уж таких, как я, теперь, пожалуй, от ста восьмидесяти миллионов не отцепишь.

Катя слушала очень внимательно, и ей показалось, что за словами Петра она чувствует какое-то иное значение.

— А если мы хотим стать нужными этим миллионам твоим?

— Напрасно. Все равно безнадежно. Они совсем из другого теста. Если они тебя с первых слов не возненавидят, то просто начнут считать дурой. Там, матушка моя, все чрезвычайно ясно и просто. А к чему эта простота и ясность приведут, — не знаю, — и представить себе не могу.

— Петя, ты ждешь революции?

— Ну, голубушка, это детская забава, твоя революция. Будет нечто похлеще. Ты только представь себе хотя бы демобилизацию армии, миллионы людей, стремящихся попасть в наикратчайший срок домой. Это все сметет.

Он кинул окурочку прямо на пол.

Катя заметила, что он делает это уже второй или третий раз.

— Зачем ты окурочки бросаешь?

— Разве? Прости. Привычка такая. У нас за это даже штраф полагался, но не помогало.

Горничная вошла и сказала, что ванна готова. Петр направился к двери; но, уже приоткрыв ее, начал все тем же быстрым шепотом, смотря прямо перед собой:

— Ну, а если война кончится, ведь к старой жизни нельзя вернуться. Заставь ты их пахать, — ни за что.

И, еще постояв, добавил:

— Ну, я пойду.

Кате стало немного жутко; будто в комнате ее оказался кусок чужой веской жизни.

После ванны и выбрившись, Петр звонил по телефону: разговаривал со знакомыми, узнавал, когда его могут принять по командировке. Все спешил, будто торопился.

Вечером, по старой своей привычке, Катя уселась в кресло, а Петр, обняв ее, сел на ручку рядом. Он говорил, говорил без конца, — будто год целый не мог говорить и изголодался. В рассказах его чередовались отдельные случаи его жизни, пересказы солдатских сказок, рассуждения, необычные, лишённые логики, но от этого не менее убедительные.

— Знаешь, самое тяжелое без соли быть. Однажды у нас целую неделю не было соли. Как-то большого кабана зарезали, а есть не могли, потому что без соли ужасно противно.

И Кате казалось, что этот рассказ очень важен, что тут она ничего не понимает.

Разошлись они на рассвете, причем минут через десять Петр вернулся в комнату и сказал, что не может уснуть на тахте: слишком мягко и душно. Присев в ногах ее кровати, он начал ее расспрашивать о своих стариках. Она отвечала уже сквозь сон.

Так потянулись дни... Из случайных слов Петра, из манеры его держаться, Кате прозревался какой-то иной мир. А Петр наслаждался отдыхом, бывал у знакомых, собирал белье для своих солдат, каждый вечер прочитывал газеты, аккуратно, даже все объявления.

Андрей Викторович приходил раза два, но разговор втроем как-то не клеился. Катя ходила с Петром к различным знакомым. Там он становился тусклее, молчал, но обязательно досиживал вечер до конца и, видимо, получал наслаждение от общения с людьми.

— Удивительно, какими красивыми все женщины стали, — сказал он ей раз и засмеялся, — это, наверное, после моего вшивого фронта.

Потом как-то говорит:

— Ты знаешь, большинство солдат в оборотней верит. Один даже, Сыромятников, уверяет, что его оборотень из Псковской губернии в Новгородскую носил. А вообще самые смешные люди, — это псковичи, — «пскапские».

Он рассказал несколько окопных анекдотов про «пскопских».

Катя все его случайные рассказы запоминала. Объединить их она еще не могла, но чувствовала, что у Петра они все объединены каким-то общим, особым смыслом, что он тяжело и мучительно создает себе какой-то новый мир.

— Самое правильное это после войны засесть на каком-нибудь маленьком хуторе и хозяйничать. Чтобы осенью ни прохода, ни проезда туда не было, чтобы летом мухи жужжали, а собаки головами мотали: мухи им в кровь уши разъедят.

— Не высидишь: скучно будет.

— Это после фронта скучно-то? Нет, милая моя, после фронта только так и можно, а то совсем пропадешь и озверешь.

И Катя не понимала, где у него кончается серьезное, где он подсмеивается сам над собой.

А иногда они принимались возиться, как в детстве: Катя громко хохотала, а он пыхтел и улыбался. Он был ужасно сильный.

Но многие вечера она проводила одна: он уходил к родным своих однопольчан рассказать им об их близких и передать письма.

Однажды, оставшись одна и устав от всех новых мыслей, Катя решила прилечь. Не зажигая электричества, завернувшись в платок, легла на свою кровать и скоро задремала.

Стук в дверь разбудил ее. Она зажгла свет, пригладила голову и повернула ключ.

На пороге стоял человек с очень худым, суровым лицом; щеки его были плохо бриты. На одежде лежала печать чего-то непетербургского.

Катя удивленно на него посмотрела.

Он молча вошел в комнату, притворил плотно дверь за собой и тогда спросил, протягивая ей руку:

— Ты не узнаешь? Не мудрено: давно не видались.

Голос Кате показался знакомым, очень знакомым. Через минуту она кинулась пришедшему на шею: перед ней стоял ее старший брат Александр.

Он поцеловал ее в лоб и, слегка отстраняя ее руки, сказал:

— Да, да, не ждала, небось. Вот приехал.

Потом помолчал и добавил:

— А хозяйка надежная? Ведь я, знаешь, нелегально.

Катя его успокоила, рассказала, что Петр сейчас тоже здесь, в командировке.

Александр обрадовался очень:

— Его-то мне и надо. Это очень хорошо, что он здесь. Это упростит все дело.

Начали вызывать Петра по телефону. Александр был все время деловит, говорил мало, будто озабочен был он чем-то.

Скоро Петр вернулся. Братья встретились сердечно, не без доли любопытства друг к другу.

Когда уселись втроем в Катиной комнате, Александр начал спокойным, деловитым тоном, ударяя ребром руки по столу:

— Видите, мои друзья, я должен вам объяснить, каким образом я оказался здесь. Но так как я думаю, что большинство моих мыслей вам не интересно, то я постараюсь ограничиться самым главным. Русский социализм, как, впрочем, и социалистическое движение во всем мире, сейчас, благодаря войне, переживает тяжелый кризис. Социалисты разделились на два лагеря: одни считают, что война есть безусловное зло, что победа любой из воюющих сторон приведет к крайней реакции, к усилению империалистических и милитаристических тенденций, а поэтому считают, что дело социалистов сейчас заключается в том, чтобы сорвать войну; они являются сторонниками поражения, как ступени к мировой революции. Другие социалисты считают, что мы обязаны защищать нашу родину и не давать ее в рабство германскому милитаризму, так как Германия издавна была цитаделью монархизма, а на стороне союзников сражаются великие демократии. Я примкнул ко второй группе. На этом основании я решил бежать с поселения и попасть на фронт. Конечно, легально этого сделать нельзя, потому что, если узнают, что я бежал, то мне, как беглецу, грозит каторга, и уже не в качестве политического, а в качестве уголовного. Поэтому я особенно был рад, узнав, что ты, Петя, здесь. Если твоим убеждениям не противно это, то, может быть, ты мне сможешь помочь попасть на фронт, минуя центральные официальные учреждения.

Катя и Петр широко открытыми глазами смотрели на Александра. Видимо, они не сразу поняли, в чем дело, и молчали.

Потом Петр стремительно кинулся к нему, сжал его в объятиях и, смеясь, закричал:

— Вот это здорово! Вот это дело! Ну, и молодец, ну, и чудак! Ах, ты чудак такой, право?!

Потом обернулся к Кате, которая стояла, широко улыбаясь:

— Нет, ты слышала, чего он только не наговорил: кризис, социализм, реакция, империализм и прочее... о, у нас для всего для этого теперь другие слова... А выдумал ты здорово. И устроить удастся. Рядовым в наш полк, в мою роту, хочешь? хочешь?.. Чудак ты, право.

У них начался разговор, который могут вести только люди, понявшие друг друга до конца и поверившие друг в друга. Катя только молчала и улыбалась. Она была в эту минуту очень счастлива. А братья, перебивая друг друга и вместе с тем друг друга внимательно слушая, рассказывали о большом и о малом, что ковало за эти годы их жизнь.

Оба они видели черную ночь, которая нависла над бесконечной равниной русской, оба они чувствовали, как затерян в ночи этой человек, как

бездомно сейчас человеку. Оба они ощущали боль, разлитую в мире, и оба хотели бороться.

Катя прошептала:

— Новый рыцарский орден должен быть создан.

Но Петр на нее только рукой махнул:

— Это все слова и слова. А мы и без рыцарских лат, а в серой шинели кое-что сделаем.

И захохотал весело, по-мальчишески, ударяя себя по коленям.

Решили, что Петр поедет на фронт и подготовит там почву. А Александр будет ждать его зова у Кати. Потом решили послать телеграмму старикам, чтобы они выехали в Петербург. О приезде Александра телеграфировать нельзя было, так что звали только по случаю командировки Петра.

От разговоров теоретических перешли к обсуждению различных мелочей сборов Александра. Петр давал ему практические советы и очень серьезно отнесся к этому делу.

Потянулись напряженные дни взаимных объяснений между двумя братьями. Катя стояла все время немного в стороне, но всем существом своим старалась понять, что происходит перед ее глазами.

Как-то вечером, выйдя провожать Голоскова, она сказала ему:

— Друг мой, мне такой сон приснился: страшный пожар; все вокруг в огне. Я смотрю на огонь и вдруг слышу, что в горящем здании во втором этаже кричит ребенок. Никто на него не обращает внимания. Я хочу его спасти, кидаюсь к пожарной лестнице, чтобы пробраться наверх, и по дороге вижу ведро с водой. Чтобы легче было спасти горящего, я хватаю ведро и окатываю себя с ног до головы. Все удивленно смотрят на меня, а мне вдруг делается страшно, и я не решаюсь войти в горящее здание. Так даром себя водой окатила.

И она недоуменно посмотрела на него.

А он, как всегда спокойно и рассудительно, начал ее успокаивать:

— Такие сны вам снятся оттого, что вы окружены людьми, уже призванными к работе. От этого вас томит непричастность общему делу. Но не идти же вам сейчас сестрой милосердия, в самом деле, и не начинать же говорить: «у нас на фронте»? Время придет, когда ваши духовные силы будут необходимы, а пока вы в периоде накопления их. Слушайте, понимайте, но до времени таитесь.

Катя немного успокоилась.

Александр пошел однажды к своему старому партийному товарищу, доктору Рубакину, с которым вместе судился и который только благодаря случайности избежал каторги.

Его удивило, что Рубакин изменился. Живет широко. От партийной работы отстал, хотя иногда дает свою квартиру для партийных собраний, видимо, в душе тяготясь этим. Рубакин, насмешливо улыбаясь, рассказал ему партийные сплетни, критически отнесся к надеждам на скорую революцию, которые еще живут у некоторых товарищей.

— Вообще, — заметил он, — вся серьезная публика давно от этого всего отошла. На партийной работе теперь подвизается молодежь. Старики разве изредка дают директивы.

К решению Александра идти на фронт он отнесся с усмешкой:

— Что ж? Попробуй. Пожалуй, это, действительно, лучше, чем сидеть в Сибири.

В воскресенье была получена телеграмма, что старики будут вечерним скорым поездом. Поехали на вокзал их встречать только Катя и Петр. Александр остался дома: они решили, что неожиданная встреча с ним может слишком сильно подействовать на мать.

Стоя на платформе, Петр издали увидел фигуру отца на площадке вагона. Он кинулся к нему. Ольга Константиновна, спустившись вниз, обняла его голову руками и плакала мелкими слезинками.

Павел Александрович шутливо отстранил ее:

— Дай же и мне с нашим воином поздороваться.

Катя была рада, что мать приехала.

Когда первые минуты свидания прошли, Катя взяла под руку отца, отвела его в сторону и сказала:

— Папа, у нас сейчас и другая вам радость есть, — неожиданная. Угадай, кого ты у меня встретишь.

— Не знаю, голубушка. Кого же?

— Кого ты хотел бы больше всего на свете встретить?

Павел Александрович побледнел и сказал:

— Катя, я боюсь догадаться.

Катя прижала его руку к себе:

— Папа, в моей комнате Александр.

Павел Александрович слегка вскрикнул.

Но Катя не дала ему повернуться к матери:

— Осторожно, осторожно; надо маму предупредить.

Ольга Константиновна заметила что-то и стала расспрашивать. Стараясь говорить как можно спокойнее, с бесконечными отступлениями и водящими фразами, Павел Александрович объяснил ей, в чем дело.

Опираясь на руку Петра, плача и смеясь, дрожа мелкой дрожью и сменяя на месте отказывающимися ей служить ногами, она только шептала:

— Скорее, скорее.

Извозчика она умоляла торопиться. На лестнице Катиного дома чуть не задохлась. И, войдя в комнату, упала на руки Александра, молча смотря ему в глаза.

Павел Александрович и Катя вошли в комнату позднее, когда мать сидела уже в кресле, держа за руки обоих сыновей.

Павел Александрович чувствовал, что и ему силы изменяют в эту минуту, но бодрился и все время твердил:

— Это хорошо; это очень хорошо. Вот так, так.

Когда Александр по секрету от матери сказал ему, что он бежал, и зачем это нужно было, тот помолчал, а потом с любящей улыбкой произнес:

— Ах ты, мой трудный! Ну, да ничего.

Катя чувствовала, что вокруг нее напряженная атмосфера любви и страдания. Перед тем, как уснуть, она забралась к матери под одеяло и начала гладить ее седые волосы. Ольга Константиновна сразу сдалась на эту ласку и перестала держать себя в руках, чем при сыновьях она занималась с утра до вечера, не желая смущать их своими заботами.

С отцом Катя видалась мало с глазу на глаз: он спал с братьями в одной комнате; но ей показалось, что за три месяца, что они не видались, он постарел очень.

III

Ольга Константиновна никак не знала, кому из сыновей она в данную минуту больше нужна, кто из них более несчастен. Но за бесконечной жалостью к обоим, — таким молодым, не жившим еще, — и принужденным мучиться без конца, — у нее сквозило чувство материнской гордости.

Нежно гладила она начинающие сесть виски Саши и любовно смотрела на маленькие морщинки около его глаз. Потом переводила взгляд на Петра, шуточно старалась расправить начинающую сутулиться спину, удивлялась, что, несмотря на зиму, у него лицо загорелое, а лоб разделен загаром на две части: наверху белый, как шапка была надета, а снизу коричневый.

— От снега на солнце самый сильный загар, — объяснял он.

У братьев подъем не уменьшался. Они проводили вместе все свободное время. Их настроения так совпадали, что они понимали друг друга без слов. Да в словах своих они были и различны, так как последнее время провели в различной среде. Эта общность мысли при различном способе выражения ее зачастую останавливала внимание обоих. В жизни их было что-то стремительное и предпрешенное.

Катя чувствовала себя немного в стороне. Только один Павел Александрович отнесся к ней внимательно. Остальные были слишком поглощены собой. Но Катю это радовало.

Павел Александрович тоже внимательно отнесся и к Голоскову, о много его расспрашивал. Катя даже сказала:

— Ты его экзаменуешь как будто.

Андрей Викторович был как всегда серьезен, говорил умно и обстоятельно.

После его ухода Павел Александрович однажды сказал:

— Мне он очень понравился. Кроме того, я заметил, что на тебя он очень хорошо влияет: умиротворяет как-то. — Потом, помолчав: — Я был бы рад, если бы он стал твоим мужем: с ним тебе было бы просто и спокойно.

Катя искренне удивилась этим словам: возможность такого конца их дружбы ни разу не приходила ей в голову.

Но Павел Александрович настаивал на том, что это совсем уж не так невероятно:

— Он тебя любит. Разве ты этого не чувствуешь?

— Я об этом не думала.

— Напрасно. Мне кажется, что и ты его можешь полюбить.

Катя ответила не сразу:

— Папа, я очень устала, и мне любовь совсем сейчас не нужна. Мне хочется чего-то другого... И ты, пожалуй, прав, что Андрей Викторович мне это другое, нужное дает. Мы с ним большие друзья. Только о любви у нас не было сказано никогда ни слова.

Этот разговор заставил ее задуматься. Она решила отойти немного от Андрея Викторовича, чтобы не заставлять его думать, что, кроме дружбы к нему, она еще чувствует нечто другое. Он это охлаждение заметил, но промолчал, приписывая его той напряженной атмосфере, которая царила в Катиной семье.

Наконец, приблизилось время отъезда Петра.

Провожали его все. Когда поезд тронулся, он еще раз крикнул Александру:

— Значит, будь готов. Наверное, недели через две вызову тебя.

Ольга Константиновна крестила исчезающую фигуру его и потом долго смотрела на то, как покачивается последний вагон поезда.

Ночью она всхлипывала и шептала что-то. Катя не тревожила ее.

А на следующее утро Ольга Константиновна начала заботиться новой заботой: приготовлением Александра к отъезду на фронт.

Дни шли быстро. Наконец, пришло письмо от Петра. Он писал, что ему пришлось рассказать командиру полка всю историю Александра, что тот встретил его решение сочувственно и согласен принять его. Хорошо бы только на всякий случай получить удостоверение из какого-нибудь госпиталя, что Александр был в нем на излечении. Это можно сделать через доктора Рубакина.

Павел Александрович все время удивлялся своему старшему сыну. Наконец спросил его:

— Вот, Саша, ты собрался на фронт, и для тебя это еще рискованнее, чем для других, потому что должен ты все это исподтишка делать. Неужели же в тебе нет никаких сомнений?

Александр ответил просто и не задумываясь:

— Мне уже, папа, поздно сомневаться. Все равно вся моя жизнь на это отдана. Приходится только думать, как целесообразнее ее использовать.

И Павел Александрович сразу понял, что кроме этого единого порыва, который завел Александра на каторгу, а теперь гонит на фронт, в его душе, действительно, ничего не осталось.

— Ну, а личная жизнь?

Александр улынулся:

— Я прошел такую школу, что о личной жизни думаю теперь, как об юношеских сказках. В первые годы каторги мне, действительно, хотелось,

до тоски хотелось близкого человека, женской ласки. Но это было так неисполнимо, что я раз навсегда запретил себе об этом и думать. Теперь у меня отношение к женщинам или как к товарищам, равным мне во всем, или никакого нет, — просто их не замечаю. Да и не имею я права связывать себя с другой жизнью. Ведь я ничего отдельному человеку дать не могу, потому что все мои силы на другое дело мобилизованы давным-давно.

— Что же, и Петр, по-твоему, такой же безлюбый какой-то? — спросил Павел Александрович.

— Нет, Петру тяжелее, чем мне. Ему очень хочется сознавать, что для кого-то он самое главное в жизни, что кто-то его всегда ждет, о нем всегда думает.

Павлу Александровичу показалось, что Саша, пожалуй, слишком уж хорошо разобрался в настроениях Петра, и у него мелькнула мысль, что и ему эти настроения гораздо ближе, чем он сам думает. Ему стало безотчетливо жаль сына. И впервые, несмотря на то чувство застенчивости, которое всплывало в нем каждый раз, когда он встречался с прямолинейностью и замкнутостью Александра, он начал говорить ему о тех своих сокровенных мыслях, которые его все время мучали.

— Вот, Саша, тебе все понятно. А мне понятно, только пока я о вас не думаю. Как представлю себе Петю в окопах, такого еще маленького, безпризорного, — мне все начинает казаться бредом, страшным сном. Вы, — это лучшие. Зачем вам гибнуть? А ведь погибнете... А если лучшие будут гибнуть, то что же останется? Один, другой, третий, — а там Россия осиротееет... И иногда кажется мне, что Россия погибнет. Понимаешь, — не государство Российское, а Россия, — живое существо...

Длинным взглядом посмотрел на него Александр и, отвернувшись, тихо сказал, — так тихо, что Павел Александрович с трудом разобрал его слова:

— Вот, ты самое важное затронул, о чем я никогда не говорил и даже думать боялся. А теперь скажу. Я хочу, чтобы ты знал все, как бы дальше моя дорога ни пошла. Я приблизительно так же ее чувствую, как ты. Немного иначе. Но это не важно. А важно то, что я знаю, — наше время на исходе. Война — это начало. Будет нечто страшнее и сильнее революций. Даже непонятно, как люди, дорожащие современным положением, допустили до войны... Надо быть готовым. Понимаешь, я чувствую, что призван, и уклониться нельзя, да и не хочу. Это великое счастье, хотя в личном плане это может стать гибелью. Но и гибели не боюсь. Да и разве от неизбежного можно уйти. Ты понимаешь?

— Понимаю, родной, — и добавил: — но страшно мне.

— Всем страшно... Но, может быть, очень скоро всем станет нестерпимо радостно... Так ты, значит, живую Россию слышал? Мне она часто также мерещилась в сибирской пустыне. Господи, и что делать с нею? И где силы найти?

Оборвал сразу:

— Довольно. Пустяки это. Надо ехать к Рубакину за удостоверением.

И опять стал деловитым и сухим.

Через час после его ухода звонил телефон. Павел Александрович пошел. Говорил доктор Рубакин. Голос его был взволнован. Павел Александрович долго не мог вслушаться, потому что рядом с телефоном у Рубакина кто-то шумел.

А тот твердил:

— Вы слушаете?.. Не слышно?.. Александра... Слышите?.. Александра сейчас арестовали. Слышите?.. Надо принять меры. Понимаете?

Да, Павел Александрович понял. Он рухнул на стул перед аппаратом. В глазах поплыли круги. Сердце тяжелым камнем кинулось к горлу. Комната закачалась и исчезла на мгновение. Потом, прорезая сознание, все покрывая, промелькнула мысль:

— Саша совсем погиб... Каторга... Конец.

С трудом поднялся он со стула, пошел к Кате и, обняв ее, прошептал:

— Саша арестован. По какому праву?.. Моего сына? Ведь он на фронт хотел, воевать.

И начал глухо рыдать, закрыв лицо руками.

Катя тоже не сразу сообразила, в чем дело. Спокойная и напряженная жизнь последних недель заставила ее забыть о том, что Александру грозит опасность. Он сам слишком много был поглощен своими заботами о фронте, а о другом не думал...

Надо было действовать. По телефону Катя узнала у Рубакина подробности ареста брата. Очевидно, он был несколько дней тому назад узнан, и на него донесли. Не могла добиться только, куда его повезли.

Павел Александрович понемногу пришел в себя. Первой его мыслью было то, что Ольга Константиновна может вернуться домой каждую минуту. И как ей сообщить страшную весть?

Потом он начал вспоминать все свои связи в Петербурге, которые могли бы ему помочь.

— Я им скажу, я им скажу, — твердил он, — ведь для войны все. Ведь Саша хотел воевать. Это с их точки зрения должно быть полезно. Ведь нельзя же так.

Ольга Константиновна обеспамятовала, узнав об аресте. Она села у стола, бессмысленно смотрела на Катю и *хохотала*. А голова ее тряслась, и жилы на лбу налились. С трудом Катя уложила ее в постель. К ней нужно было звать доктора.

Таким образом и Катя была сейчас прикована к комнате, так как мать нельзя было оставить. Она вызвала Андрея Викторовича. Он приехал сейчас же, выслушал все внимательно, сказал, что двоюродный брат его приятеля, — товарищ прокурора и может сразу все узнать, и поехал хлопотать.

Растерянный Павел Александрович сразу как-то поверил во всемогущество этого товарища прокурора и очень все время просил Андрея Викторовича помочь. Он был выбит так из колеи, что неожиданно успокоился, почувствовав, что Голосков не волнуясь и просто взялся за это дело.

Катя все время была около матери, а Павел Александрович ходил взад и вперед по комнате и рассуждал сам с собой.

Только на следующее утро Андрей Викторович сообщил, что Александр в Крестах, что он хлопочет сейчас о свидании с ним и до вечера не сможет приехать.

— Мой знакомый прокурор отнесся очень сочувственно и говорит, что при связях, может быть, кое-что и удастся сделать.

Павел Александрович опять начал перебирать с Катей всех своих знакомых и обсуждать степень их полезности для Сашиного дела. Его товарищем по университету был бывший министр, теперь член Государственного совета; но с университетской скамьи они не встречались. Кроме того, он знал одного директора департамента министерства финансов. Этого, пожалуй, мало.

Катина однокурсница была дочерью какого-то важного чиновника из военного министерства, — тоже, пожалуй, недостаточно.

Вечером приехал Голосков. Павел Александрович встретил его с радостью.

— Все время хлопотал. Пока удалось выяснить, что личность Александра Павловича установлена, что обвиняется он в бегстве с поселения и, как бежавший, должен быть помещен в каторжную тюрьму для повторения срока своего наказания, что все льготы, применяемые к политическим, отпадают при этом. Но мой знакомый, узнав мотивы побега, думает, что возможно смягчение его участи, а может быть, и полное освобождение, если за него будет хлопотать кто-нибудь из власть имущих. Я успел съездить к незнакомому члену Думы и взять у него для вас письмо к Протопопову. Кроме того, возможно получение еще кое-каких рекомендаций. Надо пустить в ход все. Теперь ради войны они идут на многое.

Павел Александрович рассказал ему о всех своих петербургских связях.

— Да, этого маловато. Значит, начнем с Протопопова, а там посмотрим.

На следующее утро, волнуясь и чувствуя себя немного расстроенным, Павел Александрович отправился к Протопопову. Андрей Викторович довез его до министерского подъезда, вместе с ним поднялся в приемную и стал ждать.

Протопопов принял его не сразу: была очередь.

Когда его вызвали, он прошептал: «А вот сейчас совсем веры в успех нету», — и пошел.

Минут через двадцать дверь растворилась, и Андрей Викторович увидел бледного и тяжело дышащего Павла Александровича. Он кинулся к нему:

— Ну как?

— Неудача, — прошептал тот.

Спустились по лестнице. Уже на извозчике Павел Александрович зволнованно рассказал, как все было.

Протопопов выслушал его внимательно и сначала будто очень сочувственно отнесся ко всему. А потом вдруг неожиданно сказал: «Только вы

меня напрасно просите: я из принципиальных соображений ничего не могу сделать. Во-первых, для армии вредно пребывание в ее среде революционеров; во-вторых, дело правительства одних лиц призывать на фронт, других не призывать, — на основании этого я вообще против всякого добровольчества, тем более против такого экстравагантного. Значит, остается помимо этого только факт бегства. А вы знаете, как он карается по закону. Тут я ничего поделывать не могу».

Павлу Александровичу было ясно, что Протопопову до войны нет дела, а быть может, ко взглядам Александра на войну Протопопов отнесся просто отрицательно.

Андрей Викторович пробовал его успокаивать и выдумывал новые ходы. Но Павел Александрович вдруг сразу решил, что дело безнадежно. И вместе с тем преисполнился великой гордости за своего Александра. Ему вдруг показалось, что так он еще гораздо больше пользы своему делу принесет, потому что, мол, теперь всякому ясно, кто прав, а кто виноват. А потом он сразу застыдился этих своих мыслей, и ему мучительно жалко стало Сашу. Он представил себе его одиночество, его отчаяние сейчас там, в тюрьме, и заплакал.

Андрей Викторович искоса посмотрел на него и уже больше ни о чем не говорил до самого дома.

Прошла еще неделя в страшной суете. Катя ходила к отцу своей однокурсницы и с какими-то письмами, которые добывал Андрей Викторович, но все было безнадежно. Везде встречали холодно, причинам бегства Александра многие не верили.

Катя сказала одному генералу, что она может это доказать, так как командир того полка, куда он собирался поступить, знал все дело. Генерал поднял обе руки, как бы отстраняясь от Кати:

— Ради Бога, не делайте этого: я совершенно не хочу знать, что какой-то полковой командир скомпрометировал себя участием в крамольном деле. Ведь вы понимаете, что дело это с определенным крамольным душком.

Катя молча ушла от него.

Наконец получили от Александра записку.

Он писал так: «Меня мучает, что я опять причинил вам страдание. Лучше всего, если бы вы могли забыть, что я приехал сюда. Ведь я был на каторге, и теперешнее сидение для меня только продолжение знакомой жизни. Так что для меня в этом ничего особенного, непривычно тяжелого нет. Лучше всего, если бы ты, папа, сейчас же увез маму домой. Там она немного забудется и начнет вспоминать о моей судьбе, как о чем-то, к чему она привыкла за целые десять лет».

Этот совет показался Кате правильным. Она тоже начала уговаривать стариков вернуться домой. Но Павел Александрович долго не соглашался, считая, что в Петербурге ему легче помочь Александру.

Наконец, когда все пороги влиятельных людей были обиты и везде Павла Александровича встречало только равнодушие и даже недоброжелательство, он как-то сразу решил ехать.

Ольга Константиновна начала вспоминать о младшем сыне Сереже, который так долго один, и затосковала по своем доме.

Провожали их Катя и Голосков. На вокзале молчали: не о чем было говорить после всего пережитого.

А в поезде ночью, вытянувшись на койке и прикрывшись шубой, Павел Александрович вспоминал свой разговор с Александром; до болезненности стало ясно, что помочь уже никому и ничем нельзя, потому что сама судьба начертала перед душами человеческими пути к гибели.

— А Саша все же верил, что радость будет.

И он заплакал тихими и горькими слезами, которые схватили его за горло и заставили дрожать все его большое стариковское тело.

И плача так уже без мыслей всяких, он повторял себе только:

— Тяжело, тяжело. — Как бы в такт стучащим колесам:

— Тяжело, тяжело...

Потом ему опять вспомнилось Сашино лицо, когда он говорил о радости.

Так до рассвета не спал он.

IV

Проводив своих стариков и вернувшись домой, Катя почувствовала, как она смертельно устала за все это время. Ни о чем не думая, легла она на кровать, положив руки под спину. Глаза были открыты, но она ничего не видала.

В таком состоянии страшной душевной утомленности прошел весь день. К вечеру ей вспомнилось все. Но вспомнилось не памятью ума, а острой и больной памятью чувства.

Ей мерещились белые стены Сашиной камеры, где всегда горит электричество, ни минуты не бывает темно. Ей чудились его ровные шаги, — или это маятник в столовой стучит? Вот так, как маятник, прошагает всю жизнь в маленькой каменной коробке.

Потом почудилось, что Петру сейчас холодно, ноги промокли, уши болят от мороза.

«Он уже все знает про Сашу, — подумала она, — как он теперь воевать будет?»

Дальше вспомнился печальный, затаенный взгляд отца и нервные слезы матери.

Потом опять все слилось в одну боль, — свою ли? Их ли, — близких, любимых? Одним с ними человеком чувствовала она себя.

Когда вечер надвинулся, она вышла побродить. Это было испытанное средство, дающее мыслям ясность, а душе спокойную напряженность. Смотря перед собой и ничего не видя, дошла она до Николаевского моста и повернула по Набережной. Снежный простор Невы клубился ветром. Далекие огни другого берега мерцали неясно. Она шла быстро, засунув руки

в карманы. Впереди обозначилась дуга Троицкого моста. Ей захотелось пить, — в горле пересохло. Она повернула назад и той же дорогой пошла домой.

Ходьба не принесла успокоения. Все было неоправдано у нее в душе. От ветра стучало в висках.

Войдя в комнату, она увидела, что ее ждет Андрей Викторович. Ни о чем не думая, чувствуя только боль совершившегося, она обняла его сзади за шею и начала тихо плакать.

Он вздрогнул от неожиданности, отстранил ее руки, усадил ее в кресло и сам сел у ее ног. Он гладил ее руки и молчал. Ей казалось, что сейчас более чем когда-либо он понимает ее и чувствует каждое движение ее сердца.

Катя не удивилась, когда, встав, он поцеловал ее в лоб. Она даже ответила ему поцелуем. Потом опять наступила минута молчания.

Когда же она, отрешившись на мгновение от своего душевного мира, взглянула на него, ее поразила какая-то новая черта в его лице. Но она не остановилась на этом впечатлении дольше.

А он уже начал взволнованно шагать по комнате, будто этим хотел себя успокоить и скрыть от Кати свое волнение.

Катя его подозвала:

— Вы мой друг?

— Да.

— Что случилось?

Он молчал.

Она взяла его за руку:

— Андрей Викторович, вы знаете, как мне трудно. Я рада, когда вы со мной.

И вот, близко пригнувшись к ней и смотря ей в глаза, он начал шептать:

— Родная моя, любимая моя, я вас такую, — усталую, измученную, потерянную, — еще больше люблю. Как маленькую девочку заблудившуюся люблю. Не думайте ни о чем. Дайте мне радость всю вашу тяжесть на свои плечи взять; дайте мне радость вашей болью болеть, лишь бы вам теплее было, лишь бы вам было хорошо.

Она не удивилась, опустила ему голову на грудь и тихо ощущала его прикосновения, его поцелуи на своих волосах.

А потом, порывисто отстранив его, громко сказала, будто сознание сразу вернулось к ней:

— Я сейчас совсем измучена. Лучше уйдите. Не надо всего этого.

Но, сжав ее руки, он продолжал:

— Ведь я люблю вас. Вы это давно знаете. Люблю большой единственной любовью. И для меня вы вся, — одно. Со всей вашей усталостью, со всеми вашими муками, вы, — это Катя моя, Катя, Катя.

И опять ей стало тихо и хорошо. Уже не сопротивляясь, позволила она усадить себя в кресло и слушала его слова. И казалось ей, что он поднял ее высоко сильными руками и бережно несет; что теперь ей не надо ни о чем

думать и мучиться: все он сделает, — друг, брат. Да, друг, брат, — других слов в Катиной душе не было.

И видя, как беспомощно и доверчиво идет она к нему навстречу, он чувствовал совсем другое, и другие слова были в его душе. Пожалуй, несмотря на сильное напряжение этой минуты, он прекрасно сознавал эти слова. Лгал ли он? Может быть, и нет. Он действительно сейчас принимал в свое сердце и муку Катину, и усталость, — но только оттого, что за их покровом, неотделимую от них, он видел Катю. Он видел свою Катю, которую любил во всех ее проявлениях, которой хотел дать всего себя, но взамен получить ее, всю ее.

И в душе его, кроме чувства дружбы, сильно росло чувство какой-то неудержимой жадности ко всему, что касалось Кати, — к ее усталости этой, к ее слезам, каждой слезинке, к тону ее голоса, такому упавшему, к протянутым вдоль колен рукам, ко всей этой комнате зеленой.

Все, в чем была часть Кати, должно было быть его. И она должна быть его, окутанная его волей и его мыслями от всего страшного мира, надвинувшегося на нее; отгороженная его объятиями от прикосновения других людей. Он знал, что никакими усилиями не сдержать ему этой жадности, и думал, что не сможет Катя противостоять ей.

Сегодня она устала. Это ничего: было много дней в прошлом и много дней будет в будущем; в них это сегодня потонет. И в них, в Катиной всей жизни должен быть он, только он.

И не в силах противиться нахлынувшему чувству, он крепко сжал Катину руку, приблизил к ней побледневшее лицо и зашептал:

— Я люблю вас. Понимаете? Я хочу, чтобы вы это по-настоящему услышали и поняли. Люблю вас. Люблю всю до конца.

Но Катя не сразу услышала и поняла:

— Да, да, друг мой... — И слова замерли у нее на губах.

Андрей Викторович понял всем существом своим, что совершается что-то непоправимое. Страшным усилием воли он остановил себя. Потом тихо прошептал:

— Не надо так мучиться. Впереди еще долгая жизнь. Надо быть к ней готовой, — и замолчал.

Что это? Значит, Кате показалось только? Что показалось? За ласковым и понимающим лицом друга вдруг мелькнуло перед ней другое лицо, хищное и требующее. За чувством заботливой любви сверкнуло другое чувство, все сокрушающее и ломающее. Да, показалось.

Она слишком была подавлена усталостью, чтобы дольше разбираться в этом. Тихо опустила голову и рассеянно слушала, как журчит уже спокойный голос Андрея Викторовича.

Он скоро ушел.

На следующий день пошла Катя после долгого перерыва на курсы. Но с середины лекции ушла, — не могла сосредоточиться, и слова профессора долетали до нее, как неясное гудение. Опять бродила. Без конца бродила.

Так прошло несколько дней. Было начало февраля.

Отрешаясь от своей боли, Катя чувствовала, что в мире приближается великая гроза. Издали доносились к ней звуки грома: это колесница истории, калеча на пути своем людей и опустошая поля, мчалась, влекомая взбесившимися конями. Она была близко. В сердцах вспыхивал трепет. А кони, раздув ноздри и испуская пламя, мчались уже рядом.

Кого они раздавят? Не всех ли? Миллионы и миллионы были уже обречены погибнуть под их тяжелым копытом.

А старуха, что голосит? Не ей ли в сердце наступила стопа огненного коня? Не от боли ли голосит она?

Андрей Викторович пришел на следующий день хмурый и молчаливый. Быстро ушел. Потом опять пришел через несколько дней. Удивил Катю неожиданной исхудалостью какой-то.

Но она его не успела ни о чем спросить, потому что властно и не позволяя возражать себе, он начал говорить сам. Он смотрел ей в глаза, и под его взором она опустила свой взгляд.

Что он говорит? О, Господи, и говорить не надо: она инстинктом все поняла, поняла по этому взгляду, поняла по прикосновению руки, поняла, увидев, как вздрагивают его губы и как ложится около них какая-то складка, жадная такая складка. Но, опустив глаза, не перебивала его, не в силах была перебить его.

Он говорил, как он ее любит, как привык всю свою жизнь на ее жизнь равнять. И вот теперь ему ясно, что она должна стать его женой, что пусть сейчас устала она, — это пройдет, он сумеет оберечь ее, он сумеет дать ей новые силы. А главное: он знает окончательно, что она должна быть его.

И в ушах ее звенели слова: «Моя, моя», и опять через несколько слов: «моя».

Он требовал, он предъявлял счет долгой дружбы, он учитывал каждое понимание свое ее душевных движений. И выходило так, что теперь он имеет право: Катя была только должницей. Надо расплачиваться. Надо давать. Что давать? Она сейчас нищая.

В ответ на это звенели слова: «моя, моя».

Себя дать?

Катя громким криком прервала его:

— Не надо, не надо!

Он сразу замолчал и осунулся. А она была уже на другом конце комнаты и шепотом повторяла:

— Не надо.

Потом оба опомнились. После долгого молчания Голосков сказал:

— Забудьте об этом.

И, тоже помолчав, Катя ответила:

— Не знаю. Постараюсь.

Потом он быстро ушел.

И сразу Кате стало ясно, что забыть нельзя. С дрожью вспоминала она выражение лица Андрея Викторовича. В ушах ее звенело слово: «моя». Что случилось? Неужели их дружба, такая большая и прочная, должна была

сразу оборваться и умереть? Да, так должно было быть. Катя чувствовала в душе огромное пустое место, которое раньше заполнялось отношением к Андрею Викторовичу.

Потом, немного придя в себя, она старалась разобраться в том, что произошло. Собственно, может быть, он и был прав, и дружба их должна была привести к любви, именно к такой любви, о которой он говорит ей, которая охватила его всего и которая должна была поглотить и Катю... Нет, это не то, это противоположно дружбе. Раньше он давал, и она, наверное, давала, и ни один из них не требовал от другого. А теперь он только требовал. И жадным стал каким-то.

Так ничего не решив и не поняв, Катя провела ночь. На следующий день Андрей Викторович зашел к ней. Вид у него был смущенный какой-то. После долгого разговора о всяких пустяках он спросил Катю:

— Вы сможете забыть вчерашнее?

И честно посмотрев ему прямо в глаза, она ответила:

— Нет, на это у меня нет силы.

— Что же будет дальше?

Катя не выдержала его взгляда и, вздохнув, ответила:

— Мне кажется... Я думаю... это конец всему нашему прошлому.

— Та-ак, — протянул Андрей Викторович; он убеждать ее ни в чем не стал и сразу покорился ее решению.

— Ваши, наверное, уже дома, — добавил он, чтобы что-нибудь сказать, так как нестерпимее всего было молчание.

— Да, уже два дня.

...И опять молчание.

— А от Петра Павловича письма не было?

— Нет.

— Ну, я пойду.

Он встал. Не глядя на нее, протянул руку.

Так навсегда уходил из ее жизни этот человек, такой близкий и понимающий. Ей было жалко прошлого, и вместе с тем она чувствовала, что никакими силами этого прошлого вернуть нельзя.

Когда он ушел, Катя подумала, что ей собственно больше в Петербурге делать нечего: на курсах она сейчас не могла бы работать; Александру все равно не нужна.

И вдруг ей так мучительно захотелось домой, так остро затосковала она об отце, о родных просторах, о тихой и простой жизни, которая, как легкий сон, окутала собой родную глушь, — что она решила ехать, ехать завтра же, как можно скорее.

Лихорадочно уложила она свои вещи; в последнюю минуту сообщила об отъезде своем Голоскову по телефону.

Через два дня поезд мчал ее на юг. Эта страница жизни была перевернута.

Впереди...

Впереди навстречу ей мчалась тяжелая колесница и в беге своем калечила людей и топтала поля. И голосила в полях изможденная старуха.

V

Опытный моряк по небольшому облачку, появившемуся на горизонте, говорит: «Быть буре», — и крепит якорь на своем судне, и плотнее привязывает паруса.

На всем пространстве равнины русской, в душных теплушках и в удобных квартирах, в суровом северном городе и в бескрайних южных степях, люди говорили: «Быть буре». Но не крепили якорей, не спускали парусов. И многоликий народ, разбросанный по городам и деревням, не хотел останавливать порывов ветра, не хотел бороться с грозой. Душное время последних годов слишком сдавило сердце, ядовитые испарения крови слишком затуманили разум.

Даже тот, кто видел грядущую гибель, твердил: «Я погибну, а со мной и они. Гибну с радостью».

И гремела колесница истории, несомая бешеными конями, и люди чуяли гибель, и шли к ней спокойно.

Голос вещей старухи пророчил гибель и рыдал над сыновьями своими. Кровь убитых потом проступила по русской земле.

Февраль 1917-го года.

Рухнул трон. Многовековая сказка развеялась легким призраком. И народ русский, не останавливаясь, прошел мимо обломков крушения.

Содрогалась земля. Острой молнией прорезала буря мрак долгой ночи и гулким громом оповестила всех: «Пора».

И заалелась Россия единым пожаром. На фронте пламенем металась кровь в небеса, в городах пламенели красные знамена, в степях бескрайних зарделись сердца пламенем, и вспыхивала древняя воля, воля к земле, кровью завоеванной и потом удобренной.

Как в дни светлой заутрени стоит народ, ожидая чуда, так в те незабвенные дни весь народ замер перед воочию совершаемым чудом и верил, что все сроки исполнились, что чаяния долгих столетий воплотятся сегодня.

Так было.

Пусть по-разному бились сердца миллионов, пусть разными словами говорили люди, пусть разного ждали, — все видели, как ярко запламенела Россия, все горели этим яростным пламенем.

Так было.

Еще вчера полковник Луговской, сидя в дымной халупе, насмешливо говорил Петру, взглядывая на него поверх очков:

— Что ж, уважаемый, нашей солдатне ответственное министерство нужно? Евро-опа... — А Петр молчал и чувствовал, что ворвется и в душу полковника Луговского длинный язык грядущего пламени.

Еще вчера царь метался в поезде по русской равнине, и нигде не принимала его родная земля, — отверженным метался он.

Еще вчера молча стояли друг против друга две силы, готовые кинуться друг на друга; и петербуржец с трепетом ждал кровавых боев.

Еще вчера Александр не верил, что двери тюрьмы раскрылись надолго, и обдумывал план своего бегства, чтобы не поймали, когда спохватятся.

И неслась пламенная колесница истории, не в силах остановить своего бега. И рушился под копытами древний мир, распадаясь пылью. А ветер вихрем взметал эту пыль.

Так развеялось вчера и наступило завтра.

Как никчемны были газеты. Надо только выйти на Невский и пройти его от Адмиралтейства до Александра Третьего, и все будет ясно без газет.

Трамваев нет. Везде красные флаги. Огромная толпа не движется, а разбросанная кучками по всему Невскому, стоит и обсуждает события. Много солдат, много рабочих. Изредка попадаетея мужик из дальней деревни. Какие-то девушки, студенты, штатские.

На углу Морской агроном, — видно приезжий, — толкует бороатым солдатам, что землю разделить не так-то легко.

— Вот возьмем, к примеру, Вологодскую губернию. Там, пожалуй, и двадцать десятин так не прокормят, как в Таврической три десятины.

Солдаты слушают внимательно, но, видно, не это им интересно, а что-то большее, — может быть, каждому свое. «Сколько, мол, в моей собственной Рязанской губернии на душу земли придется. А до Вологодской мне, пожалуй, и дела мало».

Пролетел тяжелый грузовик. На нем вооруженные люди: рабочие, гимназисты. На крыльях грузовика лежат два солдата с винтовками. Развевается красный флаг.

Барышня, смотря ему вслед, говорит своему спутнику студенту:

— Когда будут ставить памятник революции, то, по-моему, лучше всего изобразить такой грузовик, на котором мчится революционный народ, вооруженный винтовками.

Студент ничего не отвечает и прислушивается к словам оратора, стоящего посередине толпы, которая запрудила весь Полицейский мост, но слышно плохо.

Дальше спорят два солдата. Народ окружил их. Один говорит:

— Нет, так, товарищ, не резон. Что такое революция? А то, что ты вчера рабом был, а я господином. А сегодня проснулись равными: ни господ, ни рабов.

А другой возражает:

— Ты, товарищ, дурак. Ну, а в прошлом как поравняешь? По-моему, так выходит: ты вчера господином, а я рабом; а сегодня обратно: ты — раб, а я — господин.

В разговор вмешивается рабочий и примыкает к мнению первого солдата:

— Вот я в тюрьме сколько лет отбарабанил, а такой озлобленности во мне нет. Потому что я сознательно отношусь. Если мы опять с господами и рабами будем, то свободы и не увидим. Да и ни к чему все это. Классовое сознание говорит: равенство и дорогу трудящемуся. Пусть и вчерашний барин трудится, — это конечно.

Восторженная девица, смотря с любопытством вокруг себя, приперла к дверям магазина молодого солдата:

— Ну, товарищ, а как на фронте встретили революцию? Расскажите. Ведь вы только сегодня приехали.

Солдат смущается и говорит тихо:

— Радовались очень. Сразу все сало поели.

Девица недоумевает.

А около Публичной библиотеки целая толпа. Чернобородый крестьянин в состоянии полного восторга толкует:

— Братики, товарищи, ведь это теперь, значит, вся жизнь другая будет. Оно, конечно, — земля ничья, земля Божья. Так оно и по Писанию, значит, выходит. Братики, товарищи, значит, дождались мы светлого денечка.

Его слушают сочувственно.

Дальше идет батальон гвардейского полка. Идет в разбивку, нестройно.

На тротуаре встала старуха и твердит:

— Изверги, что сделали. Царя скинули.

Солдаты не обращают внимания. А она все свое.

Тогда один из солдат ее спрашивает:

— Да много тебе пользы от царя было?

— И не надобно! — с сердцем отвечает старуха.

Солдаты смеются и идут дальше.

На углу Литейной стоит товарищ Шило и говорит о том, что политическая революция только начало, что надо пролетариату готовиться к социальной революции. Народ слушает сочувственно: слова все умные, — пусть и непонятно немного.

А вот летит автомобиль. Кто-то узнал сидящего в нем. Шепот, громкие крики: «Ура». Сидящий кланяется. Автомобиль летит и сворачивает мимо Екатерининского сквера и Александринки к министерству внутренних дел: там происходят заседания Временного правительства.

Да, так было.

В середине апреля приехала первая партия эмигрантов.

В редакциях, в партийных квартирах с утра начинаются заседания. Сегодня городская конференция, завтра губернская, заседания Центрального комитета, курсы агитаторов и пропагандистов, редакционная коллегия, солдатская секция, — и так без конца.

Кто сумеет создать крепкую плотину и заставить течь бурную речку по предугазанному руслу?

Александр занят вопросом о созыве крестьянского съезда. Кроме того, ему приходится много работать в Исполнительном комитете Совета, — ему поручена редакционная часть в крестьянской секции. Надо давать массу

инструкций, надо беседовать с ходоками из деревень, снабжать их литературой. А зачастую надо неожиданно срываться и мчать на грузовом автомобиле, чтобы выступить на митинге где-нибудь на Выборгской стороне: там направление рабочей мысли уклонилось в сторону крайнего максимализма. Ночью придется еще написать большую статью и составить две резолюции. И так каждый день. Он часто забывает обедать. Он очень похудел. Но усталости нет. Невероятный подъем дает ему силы и обостряет восприимчивость.

И лишь бы поспеть, лишь бы угнаться за бегом истории, которая искалечила прошлое в миг, а теперь заставляет строить на обломках тоже в миг, в такт огненным копытам взбесившихся коней.

На плечи русского народа легла великая тяжесть: история велела ему сразу выполнить две непосильные задачи, — вести войну, сомкнутым строем отстаивая родину и революцию, и создать новую жизнь, перестроить все здание государства Российского заново.

Армия русского самодержца стала революционной армией: трехцветный флаг сменен красным знаменем. И болезненно совершали этот переход на фронте.

Петр был с солдатами в хороших отношениях. Теперь ему часто удавалось отстоять нелюбимых офицеров от вспышек солдатской мести. Но и он несмотря на это чувствовал, что по существу солдаты его только терпят, потому что он по своему положению должен как бы вести их, а не может их вести туда, куда летят все их помыслы и мечты: к земле, которая вот-вот начнет делиться, к родной деревне, которая без них там что-то решает. И поэтому они только терпели Петра, только снисходили к нему, как к человеку. Он это чувствовал остро. Хотя часто солдаты приходили к нему вместе читать газеты, спрашивали у него объяснения событий, осведомлялись, отчего нельзя сейчас же кончить войну, потому что война, мол, уже теперь не такое важное дело, — это, пожалуй, могли бы понять и немцы и союзники и отпустить Россию, — пусть, мол, своими делами занимается.

Наконец, Петра даже выбрали в полковой комитет, и там удавалось ему без особых трений ладить с самыми озлобленными демагогами и добиваться решений, не вредящих, по его мнению, общему делу войны.

Два русских центра, взаимно исключаящих друг друга и вместе с тем неразрывно связанных, — революционная столица и армия, — огнем своего пожара затопляли постепенно всю русскую землю. Скоро вся Россия приобщилась к этому огненному крещению. И море пламени охватило каждую деревню, каждого человека.

Воистину каждый человек в эти первые дни революции мог совершить любой подвиг. И не скоро еще первый вал опал и затих, не скоро еще люди начали заниматься своими обычными делами, а главное, почувствовали, как сквозь радостные возгласы праздника начинает проступать смертельная усталость от войны, желание скорее закрепить за собой то, что дала революция и что кажется таким непрочным еще: помещичьи поля не дали еще плодов своим крестьянину, — и он не уверен, впрямь ли дадут они ему эти

плоды; мир обещанный еще не осуществлен; и немецкие штыки в окопах напротив как-то мало убедительны для того, чтобы в этот мир поверить. Наконец, народ еще несорганизован, — нет хозяина у русской земли. А каждый человек норовит все по-своему, а волость по-своему, а полковой комитет опять по-своему. Да еще, может быть, их решение будет перерешено губернским комитетом или земельным каким-то новым. Да неизвестно, что скажет совет. И казалось, что хотя все сейчас как будто бы и прочно, а вдруг измена совет где-нибудь гнездо, так что сразу не заметишь; вдруг генералы не захотят кончать войны во имя революции и придется идти даром умирать. Умирать на фронте определенно стало восприниматься как умирать даром.

Видно, люди не в силах были поспеть за бегом колесницы. Видно, река рвала плотины и грозила затопить своими волнами все.

Но это еще мало чувствовалось: конференции заседали, советы выносили резолюции, Временное правительство издавало законы, генералы говорили о необходимости наступления.

Все верили, что трудная работа по силам человеку.

И только в полях, орошенных росой, седая старуха не переставала голосить жалобно. И людям становилось тревожно, и события запутывались клубком, и солдаты пробирались с фронта в свои деревни, — потому что не было сил выносить ее вопля, потому что пророчил он черные дни и последнюю гибель.

Так взлетала колесница истории на гребень неприступных гор, чтобы оттуда рухнуть в пропасть.

VI

Ольга Константиновна каждый вечер, ложась спать, высчитывала, каких лет Александр выйдет из каторги, и тяжело вздыхала. Иногда она об этих своих расчетах рассказывала Кате.

Однажды во время такого разговора к ним пришел батюшка, отец Николай.

— Вот, — сказал он, — сам не могу понять в чем дело, может, у вас что новое узнаю, — ведь вы можете от сыновей знать. Получил от дочери из Москвы телеграмму. Прочтите.

Катя взяла у него лист и прочла громко:

— Поздравляю великой радостью освобождения России.

А батюшка продолжал:

— Вот и поймите, а газет третий день нет.

В тот же вечер уже весь город говорил о том, что в Петербурге и Москве произошла революция, что царь отрекся от престола, что образовано Временное правительство.

Павел Александрович отнесся к этим слухам недоверчиво. Даже сказал Сереже, гимназисту восьмого класса, который собирался на манифестацию по поводу событий:

— Погоди радоваться. Может, все еще и не так.

Но вот пришли газеты. Революция, действительно, совершилась. Наконец, принесли телеграмму от Александра. Он свободен, он уже по горло занят, он счастлив и шлет привет своим милым старикам, которые теперь могут быть, наконец, совершенно за него спокойны.

Ольга Константиновна сразу помолодела как-то и расцвела. Павел Александрович, видимо, тоже до глубины души обрадовался освобождению сына. Но все же продолжал таиться.

А вечером он записал в свою толстую черную тетрадку: «Рад за Александра: наконец-то открылся простор для его кипучих сил. Но не думаю, что у него теперь впереди только радость, на пути будет много терний».

Дальше он не стал писать. Подпер голову руками и задумался.

— Эх, дело трудное...

Кроме него, пожалуй, никто в городе трудности этой не сознавал. Основное чувство, охватившее всех, было чувство возможности своими собственными руками строить новую жизнь. Все бросили опостылевшие ежедневные свои занятия, все с головой ушли в новое дело, которое требовало к себе людей, кипело еще и пенилось бурно, не зная своего настоящего русла, не найдя еще путей железной дисциплины, благодаря которой оно могло бы приковать к себе человеческую силу и использовать ее. Люди хватались за любое дело, бросали его, чтобы заняться другим делом. Митинги шли непрерывно. В зале Думы были, так сказать, официальные митинги, на площадке около электрической станции было образовано нечто вроде политического клуба, где с утра и до поздней ночи толпился народ и говорились речи. Наконец, базар стал тоже неумолкающим митингом.

Опечатывали полицию. Комиссия по изучению полицейских секретных документов состояла из присяжного поверенного Карповича, — меньшевика, техника Милованова, — эсера, и отчего-то попавшего к ним в секретари студента Игоря.

Катя держалась немного в стороне: она еще не совсем отрешилась от личных своих переживаний. Кроме того, ей все время казалось, что за внешней праздничностью все проникнуты какими-то будничными настроениями. И основного, что, по ее мнению, должно было определять великую революцию, — всеобщей жажды подвига, — она не видала кругом. Благодаря авторитету имени Александра многие из молодых относились к ней, — его сестре, — с повышенным вниманием и часто спрашивали у нее совета.

Молодая и горячая учительница Дракова чаще других забегала к ней.

Катя убеждала ее, что совершенно сама далека от общественной и, тем более, партийной жизни. Но Дракова, упрямо встряхивая головой, доказывала ей, что гражданским долгом является для Кати помочь им, начинающим, разобраться в обстановке.

Однажды она пришла чуть не со слезами на глазах.

— Нет, вы только подумайте, до какой степени наш народ темен. Я сейчас с митинга. Доказывала им, что в их интересах голосовать в гражданский

комитет за социалистов. А они кричат: «Шляпка, долой!» Я разозлилась особенно на одного детину, мясника, и говорю: «Шляпка вещь грошовая. Теперь буржуев по новым башмакам узнают. А мои, — вот». И показала им, что мои башмаки из себя представляют, — сами видите.

И она показала Кате на свои дырявые туфли.

Катя спросила, смеясь:

— Ну, а на них такой способ пропаганды подействовал?

— То-то и обидно, что подействовал. Потребовали к осмотру сапоги мясника. А они новешеньки. Ну, хохот еще сильнее. А мне после этого начали аплодировать чуть не после каждой фразы... Понимаете, ведь вот к чему приходится прибегать. Никакой сознательности.

Она вздохнула и деловито предложила Кате принять участие в составлении избирательного списка. Катя отказалась.

Дракова не на шутку рассердилась. А потом быстро как-то согласилась.

— Ну, Бог с вами. А на заседание, на первое, гражданского комитета приходите непременно. — И ушла.

Столетняя пыль маленького города, мирно окутывавшая всю жизнь, теперь вихрями была развеяна.

Так же, как и в центре, заседания сменялись заседаниями, резолюции выносились ежедневно и по всякому поводу, союзы росли как грибы.

Всем казалось, что надо торопиться, что дела, которыми люди занимались всю жизнь, — совсем не главное, а главное, — это принять участие в напряженной суете, в митингах и заседаниях.

По поводу вопроса о необходимости повысить ежемесячный членский взнос в профессиональном союзе упоминались имена Маркса и Каутского, говорилось о великой бескровной революции и о земле и воле. Гражданский комитет часами обсуждал вопрос о необходимости ремонта библиотеки, потому что десять, по крайней мере, ораторов высказывались на эту тему принципиально, по существу и по личному вопросу.

Но, несмотря на это, за потоками слов и в бесконечно растрчиваемом времени чувствовалось повышенное биение жизни, чувствовалось, что просто люди еще не приспособились и ищут других форм, другого общественного опыта.

В первые месяцы в городе не существовало партийных групп.

Но когда почувствовалось, что в одиночку трудно работать, кинулись в партии.

Меньшевиков в городе было мало. Это была чисто интеллигентская группа, члены которой были везде желанными работниками, но настоящему на массы они влиять не могли.

Зато группа социалистов-революционеров росла ежедневно. Сюда шли решительно все, желающие так или иначе приобщиться к революции.

Шли также люди, с революцией никак не связанные: просто авантюристы и дельцы, часто и не лишенные известного демагогического таланта. Для них партия давала то удостоверение в политической благонадежности,

которое помогало им легко заниматься собственными делами и жить веселой жизнью.

И только сейчас, когда авторитет Временного правительства был еще велик, местная группа социалистов-революционеров имела вид единства, но в момент перемены политической обстановки разброд был неизбежен.

Старые партийные работники, техник Милованов и учитель Васильев, это почувствовали очень остро.

Особенно резко выступили противоречия, когда в город приехал некий товарищ Герман, детина с косящими глазами и с огромными руками, которыми он любил внушительно потрясать, вопия при этом: «Товарищи, на этих вот руках были цепи. Я прошел школу каторги и теперь говорю: проклятие кровопийцам!» По вечерам почти ежедневно он напивался и буянил.

А слухи ходили, что он за какое-то уголовное убийство был приговорен в свое время к каторге, что к политическим делам раньше касательства не имел, и что ночью с ним лучше не встречаться; тем не менее за ним шли массы.

Скоро у Германа появился помощник, — студент Кусони. Этот был уже местным человеком; но раньше никто не знал, что он имеет касательство к партии. На этом основании к нему сначала отнеслись все очень сдержанно. Да и помимо всего было в нем что-то, что внушало сдержанность и заставляло людей, соприкасающихся с ним, не говорить ничего лишнего.

Такое положение он занимал до появления товарища Германа. С первых дней его приезда Кусони, видимо, учел, какое он сумеет получить влияние, и поэтому сразу же начал подчеркивать ему свою самую бескорыстную преданность.

Очень скоро они стали друзьями. Там, где у Германа не хватало ума и тонкости, а одними потрясениями рук ничего нельзя поделывать, выступал Кусони. Они дополняли друг друга, и поэтому оба очень скоро поняли, что совершенно необходимы друг другу.

И вот вскоре они уже попали в комитет вместе с Васильевым и Миловановым. Те оба чувствовали, что влияние окончательно переходит в их руки, и однажды Павел Александрович Темносердов увидел у себя и Милованова и Васильева.

Они просили его непременно написать Александру. Может быть, он сможет хоть на неделю вырваться и заглянуть к ним в город.

— От этих милостивых государей проходу нет, — говорили они. — А там в центре все никак не хотят понять, что без нас, без глухой провинции, останутся висеть в воздухе. Вы так и напишите товарищу Александру. Пусть он об этом серьезно подумает. Лозунгом сегодняшнего дня должно быть стремление кинуть все силы в провинцию и обеспечить себе ее поддержку во всяком случае.

Павел Александрович писал. Но от Александра приходил один и тот же ответ: он обещал непременно приехать, но сейчас, в данную минуту, нет ни малейшей возможности вырваться.

Наконец, он сообщил, что после предполагающегося в Москве Государственного совещания он сразу же выедет домой.

Павел Александрович сам пошел сказать об этом Милованову, так хотелось ему с лишним человеком поделиться своей радостью.

VII

В середине августа в Москве было назначено Государственное совещание.

На него многие возлагали большие надежды.

Но с первого же дня стало ясно, что единого языка у русских людей нет. Государственное совещание разделилось резко на две части: правая часть настаивала на крупных мерах по отношению ко всем, не желающим выполнять требований, которые предъявляются необходимостью вести войну, а левая утверждала, что о старой дисциплине сейчас говорить не приходится, что везде и повсюду должно сказаться влияние новой жизни, созданной революцией.

Первым мерещилась за спиной социалистов ухмыляющаяся физиономия Ленина, и поэтому они им не верили; социалисты же в свою очередь прозревали за спиной своих противников белого генерала, которому будет поручено «прекратить все это безобразие», — и они в свою очередь не верили им.

Александр был членом Совещания. Сумбурная обстановка его, напряженное ожидание каких-то выступлений, о которых в эти дни говорила вся Москва, — причем правые говорили о выступлении большевиков, а левые о захвате власти Корниловым, — все произвело на него удручающее впечатление.

Уже несколько месяцев он отказывался от всякой чисто политической работы и с головой погрузился в дело организации крестьянства. Он много разъезжал, имел дело с партийными губернскими комитетами, присутствовал на заседаниях земельных комитетов, собирал в селах крестьян и толковал с ними подолгу, — это давало все большую ясность и полную уверенность в том, что он правильно поступает, правильно оценивает положение и понимает стремление крестьян.

Но каждый раз, когда ему приходилось бывать в Петербурге или даже в Москве, эта ясность утрачивалась, создавалось впечатление, что все висит на волоске, что люди совершенно потеряли способность понимать друг друга, что дни новой власти уже сочтены. И тогда он опять бросался в деревню и уходил с головой в свою чисто практическую работу.

Чувство всеобщей неразберихи какой-то и всеобщего ожидания катастрофы охватило его с особой силой в зале Большого театра. Все члены Совещания приезжали с готовыми мнениями, общего языка, конечно, никто не смог бы найти, и значение Совещания сводилось, таким образом, лишь к тому, чтобы еще лишний раз показать, как разошлись пути революции и какая бездна лежит перед страной.

И Александр ясно чувствовал, что в утверждениях своих большинство до конца искренне и до конца правдиво. А это еще сильнее подчеркивало неизбежность скорой катастрофы, так как никто не хотел идти на уступки, никто не искал общего языка. Таким образом, одна точка зрения исключала другую, а средней не было.

В ночь после первого заседания Александр долго думал над этим. Легкие объяснения вопроса различием классовых точек зрения, казалось ему, мало помогают делу. Может быть, отчасти это и так, но по существу дело гораздо глубже, — пожалуй, в самой сложности задач, которые должен разрешить народ русский.

Знакомый его старый земец, примыкающий к правому крылу Совещания, встретившись с ним, сказал озлобленно:

— Беда в том, что на Совещании есть партии, земские и городские самоуправления, советы, фронтовые организации, представители кооперативов, — одним словом, каждой твари по паре, — а России-то и нет.

Это было, конечно, неверно. Александр верил подлинной любви к России, которой горело большинство членов Совещания. Не все ли равно по существу, в каком порядке говорят они: спасение родины и революции или революции и родины? Только крайние фланги Совещания разделили между собой этот лозунг пополам: большевики говорили только о революции, а правые только о родине, подразумевая под родиной прошлую Россию и не приемля новую. Но это было меньшинство. У остальных родина и революция сочетались в нечто, за что надо было бороться, что требовало жертв и мысль о чем заставляла тревожно задумываться, — становилось ясно, что грядущие испытания будут невыносимы.

Россия несомненно присутствовала здесь. У Александра даже мелькнула мысль, — не она ли своим безумием затуманила головы холодным политикам, не она ли своей усталостью всем связала руки, не она ли, утерев язык человеческий, онемев в долгом рабстве и в огне небывалой войны, лишила всех способности понимать друг друга, сделала всех глухими и безумными.

— Да, это она. Нужно чудо, чтобы спасти ее, она все потеряла, она стремится к гибели. Тут словами, самыми искренними, помочь нельзя; тут бессильны законы, ломающие все старое и создающие новую жизнь; а еще бессильнее тут виселица и плетка. Только чудо может ее спасти.

Но сразу он устыдился всей этой своей неразберихи и принялся себя сдерживать:

— Это все от переутомления, это все еще сибирское одиночество называется. Надо быть трезвым.

Он решил для себя, что надо искать других путей, что все, что говорится на Государственном совещании, ни в какой мере не сможет вывести Россию из того тупика, в который она попала. Но есть ли этот другой выход?

С трех сторон были пропасти: впереди, — победное шествие императора Вильгельма на несопротивляющуюся Россию; направо, — возврат к

старому, генерал на белом коне, душащий жизнь во имя победы; налево, — восстание большевиков, анархия, море ненужной крови, гибель и России, и революции.

Александр досидел последние дни Совещания.

Выхода не было.

Это наглядно подтверждалось каждым сказанным словом. Власть металась и чувствовала себя бессильной. Враждующие стороны ненавидели друг друга и ярко обнаруживали друг у друга ошибки в мыслях. И никто не сказал, что кроме этих ошибок ничего и нет, ничего и не может быть, потому что какое бы лекарство ни давать умирающему, ни одно не поможет, и каждый врач будет прав, упрекая другого в том, что его лекарство не дало здоровья больному.

От смерти лекарств нет.

Так ли это? Александр никому не говорил своих мыслей. Он решил опять уехать из центра, окунуться в подлинную жизнь русскую и проверить свои выводы.

Его вагон по какому-то случаю был полупустым.

Спутником у него оказался человек в защитном платье с длинною курчавой русой бородой. В лице его была смесь прямо иконописного благообаяния с каким-то холодным лукавством.

Спутник, войдя, молча сел и углубился в чтение бумаг, аккуратно разложенных по папкам. Просмотренные папки он откладывал в сторону.

Александр случайно взглянул на одну из них и с удивлением прочел на ней: «О Вельзевуле».

Это показалось ему так неожиданно, что он с любопытством перевел глаза на человека, разбирающего в вагоне дела о Вельзевуле.

Тот сразу заметил его удивление и улыбаясь сказал:

— Не беспокойтесь. Это вовсе не папка с делами о Вельзевуле; тут только дела Военного министерства, куда я вчера ездил с докладом. А надпись старая: я давно такую работу писал, когда еще в Духовной академии был.

И несмотря на эти спокойные слова и чуть ироническую улыбку, Александру показалось на мгновение, что с ним рядом сидит сумасшедший, таким пронзительным холодом веяло от серьезных, странно светлых голубых глаз. Понемногу они разговорились.

Когда наступила ночь и весь вагон, слабо покачиваясь на колесах, был наполнен только дыханием спящих людей, этот странный человек стал откровеннее.

— Да, да, времена тяжелые... Пожалуй, никого винить нельзя... Вы знаете, чтобы спасти сейчас Россию от гибели, конечно, человеческих сил слишком мало... Бог? Нет, Бог нас карает, и от него милости просить нельзя. Возможно только одно. Возможно, что найдется один человек, — понимаете, — всего только один за всю необъятную Россию, — и что этот человек обратится к нему. — Он указал глазами на заголовок своей папки.

Александр был ошеломлен. Опять он решил, что перед ним безумный.

А тот продолжал, видимо подсмеиваясь даже над его удивлением:

— Боже мой, до чего современные люди далеки от тех точных знаний, которыми в совершенстве владели наши предки. Вот вам кажется, что я безумный, а между тем ведь с точностью установлено, что в истории бывали многочисленные договоры людей с дьяволом, что дьявол за человеческую душу готов дать любую плату и что пути к нему не так трудно найти.

Александр уже плохо слушал. А спутник его подробно объяснял, каким путем человек может найти дьявола, как надо с ним сговариваться, как после подписания договора должна сохнуть правая рука у подписавшего.

Только под утро Александр поднялся на верхнюю полку и уснул.

Под влиянием странного разговора ему приснился сон. Ему казалось, что он блуждает в каком-то молочно-белом тумане. Облака окружили его со всех сторон. А впереди виднеется огромный шар. Он приглядывается и видит, что это земля, — вся земля, в виде исполинского глобуса. Четко легли в море лапы Скандинавского полуострова, вырисовывается сапог Италии, Черное и Азовское море неудачной просфорой вдвинулись в сушу.

И видит Александр, что из России торчит веревка.

Как он только это заметил, то сразу почувствовал, что его вчерашний собеседник оказался за его спиной, и блестит нестерпимо глазами, и шепчет: «Дерни, дерни за веревку».

И сразу стало ему ясно, что дернуть за веревку, — это значит отдать свою душу дьяволу и этой ценой спасти Россию. Он еще колеблется. Но спутник со страшной силой толкает его.

Наконец, они начинают быстро мчаться навстречу земному шару. Александр хватает за веревку, дергает ее и просыпается.

Уже солнце высоко. Вчерашнего собеседника нет.

VIII

Стояла поздняя осень. Временное правительство пало. Отгремели московские пушки.

А на юге не признавали новой власти, еще верили, что все это ненадолго. Большевиков в городе не было. Один только сиделец казначейства заявил, что он большевик, но его заявление приняли со смехом, припомнили ему его недавнюю полицейскую службу и на том успокоились.

Но вот отзвуком донеслось, что и Учредительное собрание разогнано...

Александр ломал себе голову, какими бы путями добраться до Москвы. Железные дороги стояли. Минутами на него нападало отчаяние. Город казался ему тюрьмой, еще более ненавистной, чем каторга. Там сидел он, по крайней мере, в глухое время, а сейчас, когда нужна каждая лишняя голова, он вынужден томиться здесь.

— Ну, Саша, а что сейчас делать? — как-то сказала ему Катя. — Вот завтра, послезавтра? Ведь нельзя же сидеть так и смотреть, как стены падают и кругом остаются обломки?

Он ответил:

— Я думаю на днях двигаться. Хоть пешком, да дойду.

А Катя, замирая и волнуясь, сказала:

— Саша, если ты найдешь какое-нибудь дело, которого я была бы достойна, такое, — гибельное, — позови!

— Хорошо, — просто ответил он.

Но так скоро уехать Александру не удалось. Болезнь Ольги Константиновны неожиданно ухудшилась. Доктор сказал, что сердце ее настолько ослаблено различными волнениями, что он не ручается за исход. На глазах близких она с каждым днем приближалась к смерти.

Но сама она не сознавала, что смерть может прийти к ней так скоро. Ей хотелось перед концом еще раз увидеть Петра.

— Это было бы счастьем умереть среди вас всех. Я так измучилась о Пете...

Ее не стало за два дня до Рождества. Хоронили ее тихо. Мало народа следовало за гробом.

Павел Александрович не плакал; только говорил о том, что с нею ушла старая жизнь, а новой жизни ему, старому, не дожидаться.

Всего больше был поражен ее смертью младший, Сережа. Может быть, оттого, что все чувства у него проявлялись очень бурно и он не умел сдерживаться. А может быть, он понял каким-то чутьем, что без матери останется слишком предоставленным себе и не сумеет с собой справиться. Время было такое, что только закаленные жизнью люди чувствовали власть над собой; другие же или терялись, — и жизнь шла мимо них, или же разнуздывали себя до конца и плыли на гребне жизни, не зная, куда их вынесет волна. Сереже было тяжело еще и оттого, что в доме он был немного чужим, и только Ольга Константиновна отводила ему в своей душе место, равное месту других детей. Его друг Ткаченко не мог ему ничего дать, и только, пожалуй, Юленька, его двоюродная сестра, понимала, какую тяжелую утрату нес он со смертью матери.

В конце Рождества движение неожиданно восстановилось. Сразу в город пришло несколько поездов, набитых солдатами, возвращавшимися с фронта.

Александр на следующий день решил ехать. Отец не останавливал его. Катя даже торопила.

На прощанье она сказала ему:

— Помни, — позови!..

Он кивнул головой и исчез среди толпы, набившейся на площадке вагона.

А пришедшие с фронта солдаты разбрелись по деревням. Человек около пятидесяти осталось в городе. Первые дни они проводили в своих семьях, потом бурно и пьяно встречали Новый год, паля все время из ружей и крича какие-то песни.

А потом созвали митинг, на котором объявили, что каждое утро можно записываться в милиции в партию большевиков-коммунистов, — там будет дежурить секретарь их комитета.

Горожане притихли. Базар опустел. По улицам ходили патрули и производили обыски.

Жизнерадостная молодежь бегала на митинги, и Юленька могла рассказывать о них без конца, особенно о выступлениях солдата Ивана Кособрюха. По ее мнению, он несомненно обладал талантом и ораторским темпераментом. На протяжении своей речи он часто падал на колени, вопил, иногда рыдал, проклинал, переходил на шепот и потом опять гремел.

Митинг, — собрание всех граждан, — решил упразднить городскую Думу. Товарищ Кособрюх по этому поводу высказался так:

— Кто выбирал ее, эту знаменитую Думу? Одни женщины да беспощадные старцы, а мы были на фронте, нас никто не спросил.

Дума немедленно была упразднена. Вместо нее был призван править городом революционный комитет.

Юленька уговорила и Сережу ходить на митинги.

В первый же раз, когда при нем говорил товарищ Кособрюх, Сережа не выдержал и устроил ему громкую овацию.

После речи своей Кособрюх подошел к ним и спросил:

— Вот я знаю, что вы нам не сочувствуете, а аплодируете. К чему бы это?

Сережа ответил:

— Товарищ, нам действительно не нравится то, что вы говорите. Мы аплодируем за то, как все это сказано.

Кособрюх ответа не понял, решил, что Сережа над ним глумится, и важно заметил:

— Конечно, может, мы и дураки. А вот на днях приедут к нам товарищи. Уж те, — будьте покойны, — умные. Посмотрим, как вы тогда зааплодируете.

Они вообще ждали чего-то.

Наконец, приехал этот умный большевик, товарищ Яур, латыш. Он сразу оказался председателем Совета. В качестве такового открыл очередной митинг и выступил с обширным заявлением.

Он давнишний коммунист. Это дает ему право отнестись критически к работе более молодых товарищей. Советская власть сейчас победила своих врагов и займется новым строительством. Он предупреждает всех, что всякая помеха, чинимая кем бы то ни было, будет сурово караться.

— Пока новые законы не написаны, я прошу помнить, что закон наш на конце штыка. — Так кончил он под аплодисменты большинства митинга.

Когда народ выходил из зала Думы, Юленька увидела товарища Яура в коридоре. С сильным нерусским акцентом он разговаривал с двумя солдатами и улыбался. Она подошла к нему поближе и потянула за собой Сережу.

Они услышали, что один солдат, указывая на рваные башмаки латыша, говорит ему любовно и подобострастно:

— Дорогой товарищ, просто смотреть нельзя, что у вас башмаки драные. Дозвольте я у одного гада реквизирую для вас.

Яур засмеялся и сказал, что не надо.

Потом посмотрел на Юленьку и Сережу и громко заметил:

— А эти цыплята что по митингам шатаются? Будто не из наших?

Юленька обиделась и сразу же заметила, что у Яура руки краснее даже, чем у Ткаченко, и так же торчат из рукавов. А Сережа отвернулся и подумал, что Яур года на три старше его, не больше.

У выхода их встретил Кособрюх и спросил восторженно, как им понравилась речь нового товарища. Сережа ответил, что сам Кособрюх лучше говорит, а кроме того, какое касательство этот латыш имеет к городу? И, разозлясь, добавил:

— Ну, терпим дураков, да, по крайней мере, своих. А теперь еще чужого терпеть прикажете?

Кособрюх удивился его дерзости и заметил тихо:

— Берегитесь, милый человек. По дружбе говорю, — берегитесь. А то плохо будет...

Товарищ Яур метался по городу в своей белой папахе, подчинял и распекал непокорных, отнимал единолично винтовки у пьяных солдат, судил, законодательствовал, заполнял сам маленький листок местных «Известий», говорил длинные речи все с тем же диким акцентом и обедал в ресторане ежедневно, одними блинчиками с вареньем.

У Сережи росла к нему ненависть. Юленька тоже не забывала обиды. Особенно им, молодым, казалось нестерпимым, что этот мальчишка Яур командует всем городом и никто ни в чем не смеет противоречить ему.

Под их влиянием собралась молодежь, — гимназисты и гимназистки, — все участники любительских спектаклей. Они решили показать себя. Сережа уверял, что Яур трус и вызова не примет. Долго обсуждался план действий.

Наконец, было принято решение.

После репетиции Юленька первая затянула «Боже, царя храни». Остальные подхватили. Громкий бас Ткаченко далеко разносился по улице.

Пели не больше двух минут. А вокруг уже раздавались тревожные свистки милиции. Скоро проскакал верхом патруль. Солдаты спрашивали прохожих, кто пел. Преступники были все скоро поименно обнаружены. Только одна гимназистка как-то скрылась от патруля и, запыхавшись, прибежала домой.

Через час началось экстренное заседание военно-революционного комитета, а весь город говорил, что обнаружена мощная монархическая организация, которая хотела свергнуть советскую власть.

Когда Павел Александрович узнал, что Сережа арестован, он сначала не очень испугался и решил, что все это недоразумение. Но вскоре к нему в кабинет вбежала Клавдия Алексеевна, Юленькина мать; лицо ее было покрыто красными пятнами, и все старания Кати ее успокоить ни к чему не привели. Она истерически выкрикивала что-то о расстреле, умоляла спасти ее Юленьку, кричала, что надо как можно скорее начинать хлопоты, иначе будет поздно. Потом неожиданно сорвалась и со словами:

— Я к этому чудовищу Яуру, — выбежала из комнаты.

Катя решила тоже отправиться прямо к Яуру и выяснить, в чем обвиняют Сережу и что ему грозит.

Она пошла в дом, занимаемый революционным комитетом. В большой комнате стоял гул от множества голосов, говорящих о чем-то одновременно. Бродили солдаты с винтовками. Было пыльно и грязно.

Кате сказали, что у товарища Яура посетительница и ей придется подождать.

Через минуту дверь из кабинета широко открылась, и оттуда вылетела красная, растрепанная и обливающаяся слезами Клавдия Александровна. За ней показался Яур в своей неизменной папаче. В комнате все сразу замолчали.

А он кричал:

— С контрреволюционерами у нас один разговор: к стенке. Пощады быть не может. Нам нет дела до того, кто попался в преступлении. Ваша дочь не будет помилована. Я не обращаю внимания на ваши слезы.

Клавдия Алексеевна не заметила Кати и выбежала из комнаты.

А солдат уже докладывал Яуру, что еще одна просительница хочет его видеть. Он велел ввести ее.

Не садясь на предложенный ей стул, Катя громко и решительно сказала:

— Собственно, я уже узнала все, что мне нужно, и дальнейший разговор ничего нового не даст.

Но Яур опять попросил ее сесть и изложить суть своего дела. Ей показалось, что решительный тон на него действует успокаивающе.

— Дело мое заключается в том, что сегодня арестовали моего брата, Сергея Темносердова. Я хотела бы знать, за что он арестован и что ему грозит.

Яур заявил, что арестован он за участие в контрреволюционном заговоре.

Увидав, что Катя молчит, он начал опять кричать:

— Контрреволюции мы не терпим. Кто не признает советскую власть, тот наш враг. Наш закон мы заставим выполнять штыками.

Катя его решительно перебила:

— Простите, товарищ, я ужасно не люблю слушать повторений. Я только что имела счастье выслушать все эти истины, когда вы провожали мою предшественницу. Мне хотелось бы только знать, насколько эти обвинения доказаны и что Сергею грозит.

— Как? А пение гимна вы ни за что не считаете?

Яур говорил уже спокойнее. Катя почувствовала, что взяла правильный тон.

— Ну, если дело касается только этой мальчишеской выходки, то я, конечно, могу быть спокойна за участь брата. Мне кажется, что сильная власть, уважающая себя, не будет унижаться до того, чтобы карать слишком строго глупых мальчишек и девчонок. Но мне хотелось бы знать, когда же их освободят.

Товарищ Яур громко рассмеялся:

— Вы, право, молодец. Так дела можно делать. Но поймите же, товарищ, что ваши эти глупые мальчишки и девчонки ставят меня в отчаянное положение. Ведь я не могу им потворствовать: если я освобожу их сегодня, то завтра же каждый солдат будет на меня пальцем показывать. И могу уверить вас, что вашим мирным гражданам от моего провала не будет лучше. Вы встаньте на мое место и придумайте, что можно сделать. Я выполню.

Катя на минуту задумалась, потом, прямо смотря в глаза Яуру, сказала:

— Вы правы. Вы не можете по своему почину их освободить. Но вот как можно: кто-нибудь из членов военно-революционного комитета поручится за них, и тогда их можно будет выпустить.

— Как же, например?

Катя нерешительно сказала:

— Я мало кого из них знаю. Но вот, например, товарищ Кусони. Он долго был с моим братом Александром в одной организации и всегда подчеркивал свое хорошее отношение к нему. Может быть, он согласился бы быть поручителем.

Но Яур только ухмыльнулся в ответ:

— Ну, это безнадежно. На заседании Совета он требовал самых суровых мер против них. Вы вообще этому мерзавцу не доверяйте. Раньше он предал вашего брата, а в будущем так же легко предаст меня.

Катя с течением разговора все больше и больше удивлялась откровенной непринужденности этого маленького диктатора.

Яур продолжал:

— Вот что. Вы все же хорошо выдумали, и поручителя я попытаюсь достать. Что вы думаете о Кособрюхе? Он мне очень предан.

Катя сказала, что не знает его.

Яур нажал кнопку звонка. У дверей через минуту выросла фигура солдата. Яур велел позвать Кособрюха, но вдруг решил, что Кате лучше при их разговоре не присутствовать, и отпустил ее.

Вечером раздались у подъезда Темносердова тревожные звонки. Катя выбежала в переднюю и отперла дверь. На пороге стояла Клавдия Александровна и, видимо плохо соображая, твердила, увлекая Катю за собой на улицу:

— Скорее, скорее к Яуру. Их решили сегодня на рассвете расстрелять.

Катя заявила решительно, что с ней вдвоем она никуда не пойдет, потому что ее волнение только испортит все дело. Потом торопливо оделась и опять пошла в революционный комитет.

Там было почти пусто. Несколько солдат спало на столе. Яура не было. Кате сказали, что он живет в гостинице «Флоренция», в маленьких номерах на базарной площади.

Когда она подошла к номерам, они были уже заперты. На три повторных звонка отворил двери какой-то заспанный малый и проводил Катю до комнаты Яура. На ее стук дверь почти моментально распахнулась.

Яур удивился ей. Он был сейчас какой-то другой, чем на людях.

— Вот не ждал вас, — сказал он просто.

Катя заметила, что он без башмаков, и неловко старается скрыть от нее свои ноги в упавших, грязных и дырявых носках. Вообще от всей комнаты повеяло на Катю страшной бесприютностью. На смятой кровати валялась книжка. На столе стоял недопитый стакан чаю и рядом с ним лежала платяная щетка. Свет от лампы ударял в глухую стену соседнего дома. Окно было не завешено.

Яур, видимо, догадался, зачем она пришла, и начал:

— Все хорошо. Товарищ Кособрюх согласился. Он даже уверял меня, что и на самом деле Сергей Темносердов, ваш брат, и эта девица, мать которой так много плачет, всегда очень аплодировали на его выступлениях, и ему кажется, что из них когда-нибудь выработаются настоящие коммунисты. Правда ли это?

— Нет, не правда.

Катя объяснила, почему Сережа и Юленька аплодировали Кособрюху. Яур слабо улыбнулся:

— Да, он очень смешной бывает, но он лучше других, — он искренний.

Катя хотела идти. Но Яур удержал ее.

— Если вам не очень здесь со мной скучно, то побудьте еще немного.

На ее удивленный взгляд он пояснил:

— Так устаешь от этой суеты. И так в этой суете одиноко. Вы знаете, мой отец был старым революционером и погиб. Мой брат был расстрелян, — вы слышали что-нибудь о лесных братьях? — он был одним из них. Они не дожили до нашей победы, а я вот дожил и не радуюсь. Каждая победа портит идею. Вы с этим согласны?

Катя удивлялась все больше и больше. Но тут она разозлилась и ответила резко:

— Вольно же вам победу такими методами осуществлять.

Но он опять мягко перебил ее:

— Забудьте, что я большевик. Мы сейчас просто, как люди, будем разговаривать, если вы того захотите. Мне кажется, что я был бы счастлив в момент победы умереть. Только бы не видеть этих рож, только бы не чувствовать, что вся сила в руках темных, своекорыстных, диких...

Он сильно закашлялся, и у Кати мелькнула мысль, что он болен.

Далее он продолжал почти истерически:

— Презираю. Презираю всех, всех. Презираю буржуазию за то, что она меня боится и позволяет кричать на себя; презираю солдат за то, что они меня слушаются и позволяют, — даже пьяные, — вырывать у себя винтовки, вместо того, чтобы винтовками этими прямо в грудь, прямо в грудь...

И опять закашлялся...

— Но если они заметят, что я слаб, если они почувствуют во мне равного себе человека... О, тогда будьте покойны, каждый подойдет, чтобы плюнуть в лицо, каждый надругается.

Кате становилось как-то душно.

Словно почувствовав, что она его жалеет, он рассердился и зашепшил:

— Вы думаете, что мне ваше сочувствие нужно; вы думаете, что я позволю себя жалеть. Не смейте жалеть. Просто среди всей этой гнили мне показалось утром, что вы настоящий человек. А знаете, как должны настоящие люди встречаться? Я зову вас на борьбу. Вы нам чужой человек. Вы нас ненавидите. И я говорю вам: давайте бороться, бороться на смерть. Единственное, что я вам обещаю, это то, что, презирая всех, я буду уважать вас, но несмотря на это, я буду беспощаден.

— Ну, — возразила Катя, — ведь с вами-то бороться не очень интересно. Если вы где-нибудь почувствуете, что я побеждаю, вы велите вашим солдатам арестовать меня и конец.

Но Яур начал возражать ей, мечась по комнате:

— Нет. Если вы вынудите меня арестовать вас, это будет значить, что вы меня победили. Но вам не удастся этого, вы не добьетесь ареста.

Кате мелькнуло в нем что-то ребяческое. И уже совсем весело улыбаясь, она сказала:

— Согласна, согласна, товарищ грозный мальчишка. Хотя, по правде, у меня к вам сейчас совсем никакой ненависти нет!

Она встала. Он проводил ее до дверей.

Через несколько дней Сережа, Юленька, Ткаченко и вся их компания преступников по поручительству товарища Кособрюха были выпущены на свободу.

IX

Петр за последнее время как-то сжался и потускнел. Сначала его выбрали командиром полка. Потом через два дня сменили. Потом опять выбрали и грозили, что в случае неповиновения воле выборщиков и отказа от должности будут его судить. Но, несмотря на это, он отказался, успев за время своего пребывания в должности написать только одну бумагу по начальству, в ответ на то, что необходимо принять все меры для защиты полкового имущества от разграбления.

Он ответил рапортом: «Мною приняты все имеющиеся в моем распоряжении меры, вплоть до уговора».

После его отказа не только не последовало суда, а, напротив, солдаты выбрали его в полковой комитет. Он решил не отказываться больше.

Работать пришлось, главным образом, с неким Лошкаревым, солдатом из фабричных, человеком бывалым и ловким. Этот Лошкарев в дни первых братаний стащил у австрийцев пулемет и, несмотря на то, что рисковал быть узнанным, отправился к ним в окопы, на следующий день после этого, взяв с собой несколько кусков глины, тщательно обмазанной со всех сторон мылом. У австрийцев он выменял на этот свой товар две рубахи и серебряные часы. Правда, впоследствии часы оказались не серебряными, а никелевыми. Но, несмотря на это, всем солдатам понравился такой способ мены, и накануне очередного братания вся рота занялась фабрикацией мыла из глины.

Все это было Петру бесконечно противно, но он продолжал тянуть лямку. Часто возникал вопрос: чем может это кончиться?..

К началу весны от полка, кроме офицерского состава, осталось только человек пятьдесят солдат. Все они разместились в небольшом католическом монастыре на границе Галиции и ждали, чтобы прошла весенняя оттепель, которая мешала передвижению.

Петр скучал, слушая часами рассказы Лошкарева о своих подвигах, где ложь смешивалась с правдой самым причудливым образом, и никак не знал, как быть дальше.

Самым опасным сейчас было оторваться от своей части. Здесь в силу какого-то своеобразного патриотизма свои солдаты чужим людям офицеров на суд не отдадут. С ними же самими можно кое-как ладить, но стоит только оторваться от своих, как становишься сразу гонимым золотопогонником, — и тогда никто защитит не сможет.

Офицеры решили совместно обсудить, что им делать, когда последние солдаты разбегутся. Было два мнения: большинство, ввиду полной невозможности пробираться домой одиночным порядком, решило идти к австрийцам, — даром что война как будто и кончена, — в плен, авось примут. Меньшинство, состоявшее из Петра и поручика Чижикова, заявило, что нужно дотянуть каким-нибудь образом полковое имущество до Киева. Спорили долго и ни к какому решению не пришли. К мнению Петра присоединился еще один поручик. Тогда решили друг другу не мешать и действовать каждому сообразно своему желанию.

Петру при помощи Лошкарева удалось уговорить солдат не рассыпаться еще хоть неделю. Тот же Лошкарев ездил куда-то хлопотать о теплушке, и несколько дней спустя они уже перетаскивали на исхудавших клячах казенное имущество из монастыря на станцию и грузили его.

Тронулись не скоро: сперва не могли найти начальника станции, потом машинист забыл набрать воды... Ехали долго, с частыми остановками. На одной узловой станции пришлось выдержать форменную атаку. К ним в теплушку ломились, требовали, чтобы они бросили имущество и впустили людей. Петр хотел выйти к толпе, но Лошкарев не пустил и сам отбил эту атаку. Дальше ехали без приключений до самого Киева.

В Киеве опять суета, ежеминутные требования документов. Петр был рад, что в последнюю минуту догадался сам написать себе удостоверение от имени своего полкового комитета. Для патрулей — печать в порядке, — большего не требовалось.

Несколько дней прошло в поисках такого учреждения, которое согласилось бы принять полковое имущество.

Но вот можно было ехать и дальше. У Петра оставалось только два попутчика из своих солдат, да и те к вечеру высадились.

Дальше предстоял страшный путь одиночным порядком. Лошкарев советовал на прощанье отдать кому-нибудь австрийскую винтовку, которую Петр хотел привезти домой, но он не обратил внимания на этот совет.

На какой-то большой станции стояли часа два. Шла тщательная проверка бумаг. Когда очередь дошла до Петра, он, успокоенный прежними удачами, протянул без всякого волнения свое удостоверение.

Солдат прочел его внимательно и даже посмотрел зачем-то на свет, потом передал двум другим. Те вполголоса начали читать опять все сначала, поправляя друг друга. Потом переглянулись и зашептались.

Петр протянул руку за удостоверением. Но один из солдат велел ему слезать и идти за ними. Он взял свой мешок и винтовку и пошел вдоль платформы. Толпа, стремящаяся попасть в поезд, на него не обращала внимания.

Солдаты привели его в бывший буфет первого класса. Тут было пусто. Шкафы буфета были забраны досками. Столы стояли в углу один на другом. Скоро пришел часовой с винтовкой, с примкнутым штыком. Петр заметил, что он пьян. Потом один из караульных принес два стакана и бутылку водки.

Поезд ушел. Толпа на платформе начала таять. В дверь заглянул было заспанный телеграфист и скрылся.

Солдат ловко раскупорил бутылку и, наливая сначала Петру, а потом себе, предложил ему выпить. Петр отказался.

— Пей, товарищ, а то я с трезвым человеком говорить не умею.

Петр решил, что лучше не спорить, и глотнул. Это была даже не водка, а какая-то странная смесь, которая жгла горло и била в голову. Он отставил стакан. Солдат не заметил этого жеста и стал пить медленно, наслаждаясь каждым глотком.

Потом повернул мутный взгляд на Петра:

— Ты, значит, товарищ, офицер будешь?

— Да.

— Та-ак.

Опять молчание; только булькает пьяная жидкость из бутылки.

— Как же это ты, — из народных кровопийцев, значит, а винтовку за собой тянешь? Это ты что ж, против нашего брата?

Петр, чтобы отвязаться, сказал, что отцу в подарок.

Солдат хитро ухмыльнулся:

— Это ты, товарищ дорогой, врешь. Я все-е знаю. Знаешь, что Корнилов объявился?

— Нет, не знаю.

— Врешь, дорогой... Врешь...

Опять молчание. Солдат будто задремал. Потом неожиданно вскочил. Схватил свою винтовку на перевес и кинулся на Петра.

Тот схватился руками за штык:

— Ты что, с ума сошел?

— С ума я не сошел. А ты хоть и милый человек, а заколоть тебя надо. Так...

И неожиданно для себя шлепнулся на стул. Он был совершенно пьян. Потом налил себе и выпил.

— Пей и ты, товарищ дорогой, так оно лучше.

Петру становилось совсем не по себе.

В комнате не было света. В окно только сиял белый фонарь.

А солдат, немного очнувшись, продолжал:

— Да, милый человек, вам один конец: в штыки и баста.

Он, видимо, опять хотел схватить свою винтовку, но раздумал.

— Вот ты командовал, — ты мог меня штыком. А теперь я командую, — я штыком. Понял? Нет, ты скажи, — ты понял?

Так медленно шли часы ночи. Раза три солдат хватался за свою винтовку. Наконец, он заснул. Петр начал соображать, как ему поступить. Обратил внимание, что дверь полуоткрыта.

Бежать? Но куда в этом незнакомом месте? Все равно поймают.

Он сел опять и стал рассматривать спящее лицо своего тюремщика. Рыжие усы обвисли. На покрасневшем лбу виднелись капельки пота.

До рассвета было далеко. Через полчаса начал медленно высыпать на платформу народ. Петр подошел к окну и увидел, что контрольный патруль тоже прохаживается по платформе. Подошел поезд и начался обычный бой между пассажирами, рвавшимися попасть внутрь. Петр видел, как в передний вагон вошел патруль.

В одну минуту у него созрело решение. Он схватил свой мешок и винтовку и стал напряженно ждать у окна. Солдат громко храпел и ворчал что-то во сне. Патруль перешел в следующий вагон.

Петр кинулся на платформу, сбил с ног какого-то старика и затерялся в толпе, осаждавшей поезд. С силой протискиваясь вперед, он добрался до вагона, ухватился за поручни... Одна, две ступеньки... И как раз в ту же минуту поезд медленно двинулся.

Петр вздохнул с облегчением.

Два дня он ехал спокойно. Впереди предстояла только рискованная остановка в Ростове. Говорили, что дальше проезд свободный, но что за Ростовом делается что-то непонятное.

Приехали на закате. Петр страшно устал. Неожиданно он сообразил, что в Ростове живет отец его однополчанина, и стал припоминать адрес.

На улицах мигали редкие фонари. Прохожих почти не было. Изредка встречались конные патрули. Петр волочил свою винтовку и мешок.

Свернув в боковую улицу, Петр заметил, что какая-то дама, осторожно держась в тени, пробирается около стен.

«Эта, наверное, из нашего брата», — подумал он и подошел к ней.

Она вздрогнула всем телом.

— Ради Бога, не волнуйтесь, — сказал он тихо, — я хочу вас спросить, как мне найти одного знакомого.

Дама, пристально взглядевшись в него, еще сильнее испугалась и зашептала:

— Я вижу, что вы офицер. Как вы решились выйти?

Петр ничего не понимал.

— Я только что с поезда, — ответил он.

Тогда дама схватила его за руку и стала быстро шептать, оглядываясь по сторонам:

— Ну, так знайте, что третьего дня добровольцы ушли в поход. Сейчас здесь власть красных. Офицеров ищут везде. Смерть неминуема, если вас узнают... — и она быстро отошла прочь.

Петр в недоумении остановился. Потом медленно, все так же сгибаясь под тяжестью мешка и винтовки, направился через весь город к вокзалу. Страшно хотелось есть...

Встречные патрули его больше не останавливали. У него мелькнула мысль, что этим он обязан своей винтовке: она придает ему легальный вид человека, которому нечего бояться и таиться. До вокзала он добрался благополучно. Сел в поезд, сравнительно не очень наполненный.

Когда отъехали, на первой станции патруль, проверяющий документы, очень долго задержался в соседнем купе. Потом с громкой руготней стал требовать из него какого-то человека.

И вдруг Петр услышал злой, металлический голос:

— Да, я не скрываю, что я офицер. Но вывести себя отсюда не позволю. Вы видите, у меня две ручные гранаты. Если вы сейчас не уйдете из вагона, то и вы, и я через минуту взлетим на воздух!..

Патруль помялся секунду и прошел дальше.

Х

После своего освобождения Сережа резко изменил прежнее отношение к Яуру. Сначала он зашел к нему на квартиру вместе с Ткаченко, чтобы от имени всей компании поблагодарить его.

Яур встретил его просто и просил чуть ли не с первых слов изобразить, как произносит речь товарищ Кособрюх. Сережа таких просьб не ставлял повторять дважды.

Он неожиданно упал на колени среди комнаты, выкатил глаза и, разрывая рубашку у себя на груди, начал вопить:

— Товарищи, кошмарная рука товарища Яура сжала в железных тисках всех граждан: нас, фронтовиков, женщин и беспощадных старцев.

Это было так похоже, что Яур расхохотался.

— У вас талант. Это ведь самое большое счастье.

Сережа был польщен. Ничто не доставляло ему такого удовольствия, как признание в нем артистических способностей. За это он готов был простить Яуру все.

С этого дня дружба их стала расти. Однажды Яур сказал, что больше всего на свете любит музыку. Сережа объявил, что Юленька прекрасно играет, и потащил его в дом ее отца, а своего дяди, Михаила Александровича, в «ковчег», как все называли эту всегда полную народа гостеприимную обитель. Сначала Яур долго не хотел идти, говоря, что если солдаты узнают, что он посещает дома буржуазии, то решат, что он ей проданся, и устроят

скандал. А по существу он попросту стеснялся. Ему казалось диким в качестве частного человека прийти в благоустроенный дом, разговаривать с дамами, слушать музыку.

Но Сережа ничего и слышать не хотел. Почти силком дотащил он Яура до «ковчега», впихнул в переднюю и стал сзывать народ.

Юленька первая выбежала им навстречу и остановилась в удивлении.

Но Сережа не смущался.

— Юля, это мой друг. Я тебе говорил уже. Он прекрасный ценитель искусства. Ты должна играть ему.

В гостиной она усадила его около рояля и сразу начала играть, к явному удовольствию понемногу успокоившегося гостя.

Яур стал изредка бывать в «ковчеге», всегда молчаливый и угрюмый. Зато они часто гуляли втроем, и тогда он один говорил, а Сережа и Юленька больше слушали его.

В окрестностях города между тем было неблагополучно. Ограбили двух мужиков, продавших на базаре дрова и возвращавшихся домой; ограбили купца; ночью ворвались в церковь соседней деревни и вынесли из нее всю ценную утварь.

Становилось небезопасно и в самом городе: следователь еле укрылся у знакомых от гнавшихся за ним ночью грабителей; с одной дамы сняли серьги и кольцо. Яур говорил, что он надеется в ближайшем будущем прекратить это.

В «ковчеге» стали замечать, что Юленька при каждом удобном и неудобном случае говорит об Яуре. Мать, оставшись как-то наедине с нею, спросила:

— Девочка, я не ошибаюсь, что ты этим Яуrom очень увлекаешься?

Юленька ответила, не смущаясь:

— Да, мама, он мне очень нравится...

Однажды они шли втроем по обыкновению — Юленька, Сережа и Яур, и случайно встретились с Катей. Яур страшно смутился, особенно заметив Катину улыбку.

Потом рассердился на себя и сказал ей:

— Улыбаться еще рано: если меня не убьют, то борьба наша будет неизбежна... А если убьют, то мне хотелось бы, чтобы вы при моей смерти присутствовали и видали, как мы умеем умирать.

Катя опять улыбнулась:

— Господь с вами. Живите еще десятки лет. Ведь это для младшего возраста, — эти разговоры о смерти. Вот посмотрите, как Юленька пришла в восторг и испугалась. А я, право, к таким разговорам мало чувствительна... — и пошла своей дорогой.

А Яур сказал ей вдогонку с досадой:

— Ведь вот какая: хочет, чтобы за ней всегда оставалось последнее слово. Так нет же: убьют, убьют, — это наверное!

Сережа начал спрашивать, кто может его убить, и заметил, что для всех, принципиально не приемлющих советскую власть, он лично приемлемее всякого другого большевика.

Но Яур отрицательно покачал головой:

— Нет, этих контрреволюционных слизней я не боюсь. Они сами для этого слишком трусливы. Меня убьют свои. Дело об участии солдат в шайке на днях должно выясниться. Они знают об этом, и мне несдобровать.

Сережа обдумывал молча все сказанное, а Юленьке стало и жалко Яура, и вместе с тем она почувствовала себя гордой, что немного замешана в таком романтическом деле.

После одной из таких прогулок с Сережей и Юленькой Яур шел домой. До него донеслись с другого конца улицы громкие крики. Было поздно. Кругом ни души. Он кинулся бегом на крики, которые не смолкали. Но он опоздал: перед ним за минуту грабители выбежали из дома податного инспектора Никитина, захватив с собой столовое серебро и значительную сумму денег.

Податной инспектор лежал со связанным ртом у себя в кабинете, а кричали его жена и горничная с балкона. На расспросы Яура они рассказали, что грабители были в масках, трое солдат, а остальные в штатском.

Когда он уходил, то на дворе заметил какой-то блестящий предмет, который оказался портсигаром. Он его внимательно осмотрел и сунул в карман. Потом медленно направился на окраину города к дому мещанина Леденцова.

Там был еще свет. Он постучался в окно и ждал довольно долго. Наконец старший из братьев, подозрительно вглядываясь в темноту, открыл двери. Яур назвал себя, сказал, что страшно голоден и зашел на огонек поест. Леденцов впустил его в комнату.

Остальные два брата сидели за столом и ждали объяснения стуку в окошко. Яур поздоровался с ними и начал какой-то общий разговор. Принесли творогу, хлеба и вина. Присидел он у них с полчаса.

И уже уходя, непринужденно спросил:

— Вот, товарищи, чуть было не забыл: у вашего двора портсигар нашел. Не ваш ли?

Он протянул портсигар.

Второй Леденцов сказал:

— Вот добро, а я его целый вечер ищу, — и протянул руку.

Улика была налицо. Станным взглядом поглядел Яур на него. Сначала хотел промолчать, но вдруг злоба охватила его с силой.

Не сдерживая себя, он начал:

— Товарищ, нашел я его довольно далеко отсюда...

Но резко оборвал себя.

А Леденцовы переглянулись: они, видимо, поняли в чем дело.

Яур ушел от них. Весь следующий день он совещался с бывшим следователем. К ночи решение было готово. В час патруль должен был арестовать Леденцовых и их сообщников.

Перед вечером Катя сидела в своей комнате и читала. Вдруг ее заставил вздрогнуть неожиданный стук в окно. Она вгляделась в темноту внимательно и заметила белую папаху Яура. Она отворила окошко.

— В чем дело?

— Я думаю, что меня сегодня убьют, — сказал он спокойно, — вы тогда поспешите посмотреть, как я буду умирать.

Он отошел прочь, а Катя только пожала плечами и закрыла окно.

Сереза решил встретить Яура у военно-революционного комитета и оттуда пойти слушать Юленькину музыку. Он ждал недолго. Вышли быстро и направились по улице.

На третьем квартале издали увидели сидящих на скамейке людей. Сереза заметил, что Яур вздрогнул, но не обратил на это никакого внимания.

Сидящие были совершенно неподвижны. Когда они приблизились к ним, один из них вскочил, другой, сидя, бросил под ноги Яуру какой-то сверток.

Сереза заметил только, как выхватил Яур револьвер; потом упал, оглушенный страшным взрывом. Раздалась частая стрельба. Сереза потерял сознание.

Народ со всех сторон сбежался на стрельбу. Мчался патруль.

Вскоре раненых Яура и Серезу солдаты внесли в революционный комитет.

Кто-то дал знать Павлу Александровичу. Катя прибежала в комитет и, еле пробившись через толпу, увидела на полу лежащих Яура и Серезу. Над ними уже суетился доктор.

Яур сразу заметил ее и почти крикнул:

— Смотрите, как я умираю.

Потом добавил:

— Возьмите мой револьвер на память.

Катя почти не слыхала его: она наклонилась над Серезей.

Доктор шепотом сказал ей:

— Этот будет спасен. А тот безнадежен. И организм никуда, — дохлятина.

Катя пыталась уговорить солдат отнести Серезу домой. Но никто не соглашался: они хотели присутствовать при смерти товарища Яура.

Тот начал уже терять сознание, требовал пить и говорил еще что-то быстро, быстро на языке, которого никто из окружающих не понимал.

Солдаты сгрудились толпой. Доктор истерически заявлял, что при таких условиях не может работать.

В толпе были и три брата Леденцовы.

Пришло еще несколько солдат, совершенно пьяных, со штыками. Они начали кричать, что сейчас же убьют преступников, лишивших их товарища Яура, и направили штыки на доктора, решив, что он виновник-то и есть.

Катя с силой схватилась за чей-то штык и, не помня себя, громко потребовала прекратить безобразие и уйти.

К удивлению доктора толпа отодвинулась на несколько шагов.

Сереза застонал. Катя наклонилась к нему. Он был без памяти.

Пока она усиливалась подложить ему под голову шинель, Яур все продолжал что-то невнятное говорить. Но дыхание его становилось все тяжелее.

— Кончается, — прошептал кто-то около Кати.

Она приподнялась и взглянула на него. Лицо стало зеленым каким-то. Глаза были полузакрыты. Из рта сочилась тоненькой струйкой кровь.

Через секунду он вздрогнул и вытянулся.

Доктор опять подошел к Сереже.

Солдаты замолчали; только по-бабьему, уткнувшись в подоконник, громко причитал и выл Кособрюх.

Вскоре перенесли Сережу домой. У него было прострелено правое легкое. Кроме того, отравление взрывом сказывалось непрекращавшейся тошнотой.

На следующее утро зал военно-революционного комитета был разубран красными знаменами.

Яур лежал на столе, желтый, маленький, как будто недоумевающий.

Толпа прибывала все время. Солдаты молчали. У стенки стоял, весь сжавшись, Кособрюх. Члены исполнительного комитета суетились и представляли новые знамена.

Среди всеобщей тишины через толпу приблизилась к мертвому Юленька. Глаза ее были заплаканы. Она сразу бросилась на колени и, крепясь, начала бить земные поклоны. Слезы бежали по ее щекам.

Два солдата, взглянув на нее, тоже перекрестились.

XI

Началась расправа.

Солдатская масса от неожиданной смерти товарища Яура, с одной стороны, озлобилась, с другой, — страшно перепугалась. Везде мерещились заговоры, везде чудились мощные организации, которые могут в один прекрасный день смести советскую власть и расправиться со своими противниками. Надо было спешить: по малейшему подозрению стали хватать всякого, чтобы в корне подрезать возможность заговоров и восстаний.

Это настроение всеми мерами поддерживалось братьями Леденцовыми; они хотели замести следы и заставить обвинить невинных в убийстве, чтобы тем потушить чувство подозрительности и прекратить дальнейшие розыски.

Бурный митинг провозгласил, что убийство товарища Яура дело рук местной интеллигенции. Один из Леденцовых был главным обвинителем.

В ту же ночь было арестовано трое: агроном Пискарев, учитель Тимофеев и присяжный поверенный Карпович. Карповичу удалось бежать из-под ареста и скрыться, а тех двоих митинг судил.

Пискарев сразу понял, какая опасность грозит ему, и говорил истерически, умоляя о пощаде, а Тимофеев, видимо, совершенно не усваивал обстановку и начал тянуть бесконечную принципиальную речь, где упоминались и завоевания революции, и роль интеллигенции в освободительном движении, и сидение его, Тимофеева, в тюрьме при старом режиме.

Его начали прерывать криками «довольно».

Леденцов настаивал на их осуждении. Улик не было. Единственным доказательством их виновности Леденцов выставлял то, что убийц было двое и их сейчас перед толпой тоже двое.

Но он так настойчиво твердил об опасности, которой подвергается советская власть в городе, так наглядно рисовал участь всех советских деятелей в случае торжества какой-либо другой силы, что у толпы совершенно определилась психологическая потребность во что бы то ни стало сейчас же, не откладывая этого дела ни на минуту, найти виновных и расправиться с ними. Только это могло уничтожить чувство затаенного ужаса, которыми были охвачены все большевики.

На глазах подсудимых поднятием рук митинг голосовал вопрос о их виновности. Небольшим большинством признали, что учитель Тимофеев и агроном Пискарев в целях свержения советской власти убили товарища Яура.

Следующим стоял вопрос о наказании виновных. Так же поднятием рук было решено их сейчас же расстрелять.

Во время этих голосований Пискарев низко опустил голову, а Тимофеев с удивлением оглядывал поднятые руки.

Когда вопрос был решен, Пискарев глухо зарыдал.

Тимофеев же, видимо, не верил, что все это происходит в действительности. Он потирал себе руки и твердил:

— Товарищи, да ведь это какое-то страшное недоразумение. Товарищи, да что же это такое?

Их тесным кольцом окружила охранная рота.

Митинг медленно расплзался. Мещане, проходя мимо арестованных, старались на них не смотреть. Было очень тихо.

Тимофеев курил, не переставая, и продолжал убеждать в своей невинности солдат охранной роты. Те тоже отмалчивались и старались не глядеть на него.

Потом их повели за город. Все словно вымерло. На улицах не было ни души.

Гроб Яура стоял в пустой комнате: солдаты ушли на расстрел, а граждане забились по своим домам.

Через час все было кончено. Окровавленных два тела валялись в карьере каменоломни. Над Тимофеевым склонилась его жена и смотрела на него невидящими, сухими и безумными глазами...

В эти тревожные дни Катя как-то увидела, что мимо ее окна проехал извозчик с каким-то солдатом. В фигуре солдата ей показалось что-то знакомое. Она пристально взглянула и с удивлением заметила, что солдат уже расплачивается с извозчиком около подъезда их дома. Она пошла посмотреть, кто это.

Не успела она отворить двери, как вскрикнула с радостным испугом: перед ней стоял ее брат Петр.

На ее возглас вышел из комнаты Павел Александрович и, смотря на Петра, строго начал было:

— В чем дело? Или обыск?..

Но тот уже тискал его в объятиях, смеялся и твердил:

— Вот до чего я дожил! Отец родной не узнает...

Начались расспросы. Петр рассказал, как он добрался домой с развалившегося фронта. Даже Сережа немного оживился. К вечеру, когда уставший Павел Александрович ушел спать, Сережа неожиданно начал откровенничать: он много говорил об отношениях Юленьки и Яура, а потом добавил:

— Вот и я сейчас не могу быть с ней, а вместе с тем, я знаю, как ей тяжело и одиноко! Ах, ведь удивительно глупо делить людей по партиям: они ведь все на самом деле одинаковы.

Петр слушал все внимательно и серьезно.

— Значит, Юленька уже взрослая сейчас. Вот не думал-то, — удивился он.

Катя советовала Петру держаться как можно больше в тени, потому что, хотя большевики благодаря ранению Сережи их не трогают, но все может измениться с прибытием к ним в дом офицера. Тогда им несдобровать, а в первую очередь, конечно, самому Петру.

На следующий день Петр с Катей пошли в «ковчег». Он был там сумрачен, о своем не рассказывал.

Когда вышла к ужину Юленька, Петр подошел к ней первый и ласково сказал:

— Вот вы, Юлия Борисовна, уже взрослым человеком стали, — это хорошо.

И так посмотрел на нее, что она не удивилась необычному величанию по отчеству, а поняла, что этими простыми словами хотел он сказать нечто большее.

Она посмотрела на него с благодарностью, но ничего не ответила.

За ужином хозяин дома начал:

— Ну, а о наших новостях слыхал? Братца твоего как подстрелили? А все оттого, что с этим авантюристом связался.

Петр посмотрел на Юленьку: она покраснела до корня волос, но не проронила ни слова. Ему стало нестерпимо жалко ее.

И быстро, торопясь будто, он начал возражать:

— У меня, дядя, со слов Кати и Сережи составилось совершенно другое впечатление о деле. Ведь этот Яур был несомненно не типичным большевиком, а большим романтиком. Еще слава Богу, что между ними такие встречаются.

Юленька посмотрела на него с благодарностью, а он подумал, что все же недостаточно ясно подчеркнул свою мысль.

Михаил Александрович вскипел:

— Фразер, мальчишка, кружил тут голову всякой дуре, на эту смерть, как на рожон лез!..

— Будет, дядя, на смерть люди от радости не идут.

— Да ты что, на фронте большевиком стал? — вдруг решил Михаил Александрович.

Тут и Петр разозлился. Покраснев, он начал:

— Человеку, пережившему развал армии и все унижения, которые я перенес, как офицер, нельзя стать большевиком. Я им враг был и буду. Но я не озверел до такой степени, чтобы и во врагах не видеть человека. Каждый раз, когда я замечаю в них что-нибудь в подлинном смысле человеческое, я радуюсь. И думаю, что Юлия Борисовна лучше разглядела человека, чем вы...

Катя начала заминать разговор: она видела, что Петр вне себя. Конечу жина прошел в полном молчании.

На следующий день Юленька пришла навестить Сережу. И долго рассказывала Петру всю ту же историю двухмесячного владычества в городе Яура.

Он слушал каждое ее слово так внимательно, что она про себя подумала: «Ведь вот он уже не мальчик, а слушает серьезно. Значит, действительно, меня за равного себе взрослого человека считает».

А Петру казалось, что в Юленьке он видит то понимание, ту чуткость, которой нет у других: в такое сумасшедшее время люди замечают только внешние события, чувствительность их притуплена, и душевный мир даже самых близких людей становится им неинтересен и недоступен.

Внутренний мир самого Петра был в таком состоянии, что всякое внимание к нему заставляло его дорожить им. Он страшно устал от фронта, устал не только физически. Долгие годы борьбы и лишений были неоправданы, казались какими-то глупыми донкихотскими похождениями, никому не нужными. Основное, чем он болел все это время, была боль о России. Теперь же ясно, что, даже жертвуя жизнью, миллионами жизней, ее спасти нельзя. И вся работа прошлая стала ему казаться сплошной нелепостью.

С Юленькой было ему тепло и тихо. Можно было молча смотреть на нее и радоваться тому, что вот сейчас, когда в городе пьяные солдаты занимаются расстрелами, когда вся жизнь опоганена и ничего не осталось, рядом с ним сидит человек, воспринимающий жизнь чисто и ясно, не запачканный этой грязью, не исковерканный бессмыслицей своего прошлого и безнадежностью будущего.

Так начала расти между ними большая и тесная дружба, с примесью со стороны Петра безграничной нежности.

Между тем в городе заговорили о близости мобилизации.

Петр заявил дома, что регистрироваться не пойдет. Решено было, что ему необходимо скрыться. Знакомый хуторянин, живший в глуши, согласился временно передержать Петра.

В день мобилизации Петр ушел. Явившимся за ним солдатам сказали, что он на несколько дней поехал на охоту.

Юленька через два дня пришла к Кате и Сереже, уселась тихо на диване и, обхватив колени руками, сказала:

— Вы себе представляете, как ему там, наверное, скучно? Я думаю, что Сережа настолько поправился, что мог бы его навестить, а мы все по письму с ним пошлем.

Но Катя строго заявила, что Сережа никуда не пойдет: во-первых, он для этого недостаточно здоров, а во-вторых, это может навести большевиков на след.

В воскресенье приехал на базар хуторянин; сам не зашел, а через верного человека передал, что все благополучно, только у Петра Павловича лихорадка сильная.

Юленька, узнав об этом и услышав, как Павел Александрович с Катей обсуждают вопрос, каким путем доставить Петру хины и красного вина, предложила свои услуги. Но Павел Александрович сказал ей строго, чтобы она не думала делать такой глупости и идти одна в глухое место, куда она вдобавок и дороги не знает.

Возвращаясь домой, она решила, что все равно пойдет.

Наутро, купив вина и хины и не сказав никому ни слова, — только Сережу просила всех успокоить, если она задержится, — Юленька двинулась в путь.

На хуторе с лаем накиннулись на нее собаки. Немолодая женщина вышла на крыльцо и стала их отгонять.

— Вам что, барышня?

Юленька храбро ответила:

— От Павла Александровича лекарства его сыну принесла.

Женщина взглянула на нее подозрительно, потом сказала:

— Не пойму я, о чем вы говорите. Вот мужа сейчас пришло, — и ушла.

Юленька ждала, окруженная собаками, которые на нее недружелюбно поглядывали и ворчали.

Опять отворилась дверь. Вышел бородастый мужчина и, увидав ее, сказал:

— Пожалуйте, пожалуйте. Они рады будут.

Он, видимо, знал ее.

Через минуту она входила в маленькую каморку, отведенную Петру. На ее шаги он не обернулся, а продолжал лежать на кровати лицом к стене. Она его окликнула. Он удивленно вскочил.

— Вы как сюда? С кем? Одна? Да как вы решились в такую даль?

А Петр и бранил ее за отчаянность, и вместе с тем никак не знал, чем бы сильнее подчеркнуть свою радость и свою благодарность.

Юленька начала возню с маленькой хозяйской девочкой. Петр смотрел на нее, улыбался и думал, что лучшей жизни, чем сейчас вот, он себе не представляет.

Потом как-то уж слишком быстро настал вечер. Надо было решить, каким способом Юленька отправится домой. Петр хотел, чтобы хозяин довез ее до города. Это можно было еще сделать до полной темноты.

Но Юленька заявила, что она на это ни за что не согласится, так как около города ее может встретить разъезд и решит, что за такой поздней

прогулкой скрывается что-то подозрительное. Она заявила, что остается ночевать здесь, а утром пешком пойдет домой; дома не будут беспокоиться, потому что Сережа предупредит всех.

Так и решили. Она заняла хозяйскую широкую постель, а хозяева легли на печке.

Утром чуть свет она двинулась домой. Петр провожал ее недолго и на прощанье поцеловал ей руку. Она очень смутилась. Ей показалось, что в их отношениях не все так просто, как она думала. И уже отойдя от хутора, она решила, что, наверное, от этого ей так сейчас весело и тепло на душе.

— А он хороший! — почти громко подумала она.

Петр пошел назад. Ему впервые за долгое время было радостно. А издали доносилась веселая песня, которую напевала Юленька. Потом в кустах в последний раз мелькнуло ее синее платье, и песня замерла.

XII

В городе свирепствовал террор, и мобилизации шли одна за другой. Никогда не державшие винтовки мещане спешно отправлялись на фронт. Первая партия вернулась скоро: из восьмидесяти человек было более тридцати раненых!.. Началась паника. Боялись измены и видели предательство везде. Был потоплен бывший городской голова. Гимназистка шестого класса, сестра офицера, который якобы воевал на стороне белых, была арестована и «при попытке бежать» расстреляна. Жители в смертельном ужасе притаились...

А через несколько дней большевики бежали, и в город уже вступал первый разъезд добровольцев. Человек двадцать казаков ехали по улице и громко пели. Их встретили с радостью: даже сочувствовавшие большевикам жители окраин за последнее время красного террора отошли от советской власти и были довольны ее падением. На улицах показался народ. К утру в город входил полк, — оборванные люди в пестрой, разнокалиберной одежде, — в большинстве случаев все самая зеленая молодежь. На коне верхом проехал генерал, окруженный штабом.

Перед Управой несколько человек солдат и офицеров строили виселицы.

Под сильным конвоем вели в милицию, — теперь уже городскую стражу, — первых арестованных: отца Леденцовых и двух солдат-красноармейцев, отставших от своих частей.

Через несколько часов привели Кусони. Он громко плакал и кричал на допросе, что он «верноподданный Его Величества».

Потом привели комиссара продовольствия, солдата Лысенко, и помощника комиссара по лесоохранению, штабс-капитана в отставке Демидова.

К вечеру арестное помещение было полно. Тут неожиданно столкнулись недавние враги, — еле избежавший смерти при большевиках Карпович и наиболее жестокий из всех членов революционного комитета Кусони.

Почетные граждане города добивались у генерала снятия виселиц. Генерал был пьян и долго не соглашался. Наконец, после того, как его адъютант заметил, что, пожалуй, и без виселиц можно расправиться с большевиками, дал свое согласие на их уничтожение.

Ночью при свете лампы в помещении городской стражи был суд. Демидова, Лысенку и Кусони быстро приговорили к расстрелу. Демидов только побледнел сразу, — он понял, что ему пощады не может быть, так как он бывший офицер.

А Кусони кинулся в ноги к генералу и стал умолять его о пощаде. Генерал сапогом отпихнул его.

Еще судили. Судили и расправлялись.

Под утро четырнадцать человек было приговорено к расстрелу. Их заставили взять с собой лопаты и вывели за город.

Когда их вели на казнь, старому мещанину, у которого два сына ушло с красными, жена сунула в руку записку. При бледном свете сумерек он прочел каракули: «Не смотри такими страшными глазами на смерть».

В город глухо донеслись выстрелы.

Вскоре у места казни собралась толпа родных, близких и просто любопытных. Громко плакала какая-то девушка. Жена мещанина первая приблизилась к лежащим телам. Рука ее мужа была прижата к груди, около раны. Она нашла в ней свою записку, залитую кровью, бережно сложила и спрятала на грудь. Подъезжал разъезд и потребовал разойтись.

Вскоре чуть было не арестовали Сережу на том основании, что он был ранен вместе с большевиком Яуром. Вернувшийся с хутора Петр ходил объясняться.

На Сережу все это произвело гнетущее впечатление. Он, видимо, совсем гнулся под тяжестью жизни. Катя с тревогой замечала, как Сережа зачастую смотрит пристально перед собой, ничего не видя и не соображая. В нем шел какой-то мучительный процесс.

Через неделю была объявлена мобилизация «белыми». Петр должен был идти в первую очередь.

Накануне своего отъезда он говорил Юленьке:

— В это дело я не верю и, пожалуй, добровольно не пошел бы. Но и не идти сейчас не могу: тут долг своеобразный, — погибать вместе. Вы, Юлия Борисовна, вспоминайте меня часто и знайте, что я буду много думать о вас. Вы не знаете, как мне дорого то время, что мы были вместе.

Юленька смотрела на него тоскливо и гладила ему руку.

А по ночам вдоль берега скользили одинокие лодки. Скрывавшиеся в горах и камышах большевики пытались проскользнуть и соединиться со своими. Многим это удалось. Но однажды береговой разъезд заметил такую лодку и обстрелял ее.

Тогда была устроена засада: верстах в десяти от города катер поймал три лодки. Все путники вместе с лодочниками были расстреляны на месте.

Об этом в городе знали; а камышовые жители все еще продолжали думать, что таким способом можно пробраться через фронт, и искали лодок.

XIII

Через день после отъезда Петра горничная принесла Сереже какую-то записку. Он развернул ее и долго не мог понять, кто пишет.

Там стояло: «Ваш поручитель больше не может ждать смерти в трупнице. Если вы помните и можете, он будет ждать вас с лодкой завтра в полночь под обрывом у бойни. Надо свистнуть три раза. Вверяюсь вам. Другого спасения нет».

Сережа перечел записку.

— Да ведь это Кособрюх просит помощи! — решил он.

Вскоре пришел к нему Ткаченко и протянул молча записку такого же содержания.

— Что же делать? — спросил Сережа.

Ткаченко мрачно ответил:

— Безднадежно. Спасти его все равно нельзя. Лодки ловит засада. А у бойни и к горам дальше завтра будет облава. Его все равно расстреляют.

Сережа долго думал.

— Значит, что же, по-твоему? Так и бросить его?

— Все равно спасти нельзя, — мрачно ответил Ткаченко.

— А ты помнишь, что ведь благодаря ему мы остались живы?

— Ну, а что же делать?..

Ночью Сережа не спал: ему представлялось, как Кособрюх будет арестован, как его избьют, как поведут на расстрел. Он умел мыслить образами, и вся картина перед глазами проходила с такой ясностью, что ему становилось жутко.

— Самое страшное не смерть, а ожидание смерти, — рассуждал Сережа, — от смерти мы его спасти не можем. А так, чтобы ему легче было умереть, чтобы без унижения, чтобы неожиданно...

И в голове его мелькнул дикий план, которого он сам ужаснулся и решил больше об этом не думать.

Но мысли его все время возвращались к Кособрюху: «Ведь пишет, что другого спасения нет. Значит, на нас только надеется... Нет, лучше буду считать, чтобы не думать... Раз, два, три, четыре, пять... Сидеть будет под скалами и ждать свистка... и бояться, что никто не придет за ним. А если приехать, то сядет в лодку и сразу совсем успокоится... А если в это время пуля неожиданно, совсем неожиданно... Это легче, чем на расстреле. Это даже совсем легко, — в минуту надежды...»

И к утру Сережа сам уже не понимал, бредит ли он или разумно рассуждает. Но, несмотря на это, решение было готово. Он пошел к Ткаченко и передал ему свой план. Тот сначала ужаснулся и отказался. Но Сережа заявил, что в таком случае он сам все сделает.

Тогда Ткаченко показалось, что все равно ничего страшного этого не будет, — слишком нелепо, чтобы могло быть, — а Сережа, — просто больной или с ума сошел. Ему стало жаль Сережу. И, кроме того, какая-то доля Сережиного безумия заражала его, подчиняла себе. На них обоих нашла

такая минута, когда вдруг перед ногами засияет бездна, и человек ей не удивляется и не пугается, а идет к ней, будто так и надо. И он согласился действовать с Сережей заодно.

Когда стемнело, они вышли к рыбацкому поселку. Там никого не было. Лодки на берегу оказались замкнуты цепями. Они выбрали столбик полегче и начали его расшатывать. Вскоре он поддался. Они положили цепь со столбиком в лодку и осторожно спихнули ее в воду.

Вокруг было совершенно тихо. Только где-то на краю города лаяли собаки.

Сели. Ткаченко у весел, Сережа на руле. Плыли медленно. Вода слабо плескала. Было сыро, и на берегу причудливо клубился туман.

Часа через полтора дно лодки слабо зашуршало по прибрежным камням.

Сережа тихо свистнул три раза. Раздался ответный свист.

Вскоре по обрыву посыпались камни, и голос Кособрюха спросил взволнованно:

— Это вы, дорогие товарищи?

Они ответили спокойно.

Кособрюх оттолкнул лодку от берега и на ходу впрыгнул.

— Спасибо вам. Никогда не забуду, что вы для меня сделали! Теперь, значит, спасен.

Они ему сказали, что надо молчать. Ткаченко усиленно греб в открытое море. Отплыв версты на две, круто повернули и поплыли параллельно берегу.

И вдруг Сереже стало ясно, что он не сможет сделать задуманного, не решится. Рука сильно сжала револьвер в кармане. Ему стало тошно до тошноты.

Ткаченко тяжело дышал и греб.

Низко над водой пронеслась птица с жалобными криками.

Сережа очнулся, встал, сделал шаг к Кособрюху, который сидел перед ним спиной к нему, и в упор, не глядя, выстрелил, потом опять выстрелил. Зажмурился и упал на свое место.

И слышал он, как Кособрюх тяжело вздохнул, будто ухнул.

А Ткаченко испуганно и пронзительно завизжал, потом сразу смолк и уже шепотом начал твердить:

— Он убит, совсем убит.

Весла больше не плескались по воде. Сережа открыл глаза. Ткаченко склонился над распростертым телом Кособрюха и что-то возился с веревками.

Сережа прошептал:

— Ты сам, я больше ничего не могу, — и начал тихо плакать, вздрагивая всем телом.

Но вскоре Ткаченко потребовал его помощи. Еле пересиливая себя, Сережа поднялся с места. К ногам Кособрюха Ткаченко плотно привязал два больших камня. Надо было сбросить тело в море. С трудом подняли

они его. Лодка закачалась сильно, и Сережа чуть было не упал. Наконец тело было скинуто в воду. Лодка продолжала качаться. По воде шли большие круги.

Сережа молча сел на свое место. Ткаченко не греб. Было страшно тихо.

Первый опомнился Ткаченко. Уже светало. Он заметил на дне лодки большое кровавое пятно и стал мыть его, стирая кровь своим носовым платком. Сережа не обращал на него никакого внимания.

На рассвете они поставили лодку на старое место. Ткаченко засунул кое-как столб в яму, из которой они его вытащили. Дойдя до первого переулочка, они распрощались: так было заранее условлено, да кроме того им было сейчас нестерпимо смотреть друг на друга. Сережа, засовывая руку в карман, вздрогнул, коснувшись револьвера.

На следующее утро Катя была поражена его видом. Он взял ее за руку и ввел к себе в комнату. Она все смотрела на него испуганно. Сережа заставил ее сесть.

Сам стал смотреть в окно и начал говорить:

— Вот написано: душу свою за други своя, — и блажен. А я сейчас себя чувствую негодяем... Все равно, ты не перебивай меня, потому что объяснить я ничего не могу... Все тайна... Но хочу сказать тебе, что больше жить не под силу...

Он глухо заплакал. Катя взяла его за плечи:

— Милый мой мальчик, что случилось с тобой?

— Оставь меня, — взвизгнул Сережа. — Не трогай, запачкаешься, — я гадина, гадина... — и разрыдался неудержимо.

Катя долго успокаивала его. Наконец, она решила, что он болен, и потребовала, чтобы он лег в постель. Сережа как-то вдруг утих и подчинился ей. Потом она заметила, что дыхание его становится ровнее, — он заснул. Катя было хотела послать за доктором, но потом решила, что он выспится, и все пройдет. Она вышла из комнаты и притворила за собой дверь. Павла Александровича не было дома. Везде было тихо.

К обеду Сережа вышел совсем спокойный. Только изредка у него подергивало нижнюю губу.

Павел Александрович заметил:

— Что ты сегодня зеленый такой?

Сережа ничего не ответил.

День тянулся для него бесконечно долго. Рано разошлись спать.

Запершись у себя в комнате, Сережа шагал взад и вперед и думал. Вдруг ему показалось, что ничего и не было, что приснился сон такой страшный. А потом отчетливо прозвучали в ушах два глухих выстрела и крик визгливый Ткаченко. Опять вспомнилось все. И было ему ясно, что теперь вся жизнь с этим убийством связана.

«Хорошо или плохо сделал? Хорошо или плохо? — твердил он про себя, — ведь ему все равно от расстрела некуда было уйти, а так умер легко, неожиданно. Значит, я ему облегчил смерть, значит, сделал хорошо»...

«Мерзавец я, — человека убил, человека, который мне жизнь спас» — так чередовались мысли.

А за ними, все покрывая, всплывало сознание, что с этой смертью на душе все равно жить нельзя.

«Если это преступление, то я должен сам себя за него покарать. А если подвиг, то не по моим силам, — не вынесу».

Уже утро брезжило слабо в окно, и какая-то птица тихонько начала ворковать под крышей, когда Сережа задул свечку, лег на свою постель, вытянувшись, взял дуло револьвера в рот и нажал курок.

Выстрел раздался глухо и никого не разбудил. Сережино тело вздрогнуло и вытянулось, а рука с револьвером упала с постели.

Через два дня его хоронили.

В то же самое время в землю зарывали в соседнем прибрежном селе тело утопленника, никем не опознанного, с двумя ранами в спину и с веревкой от привязанных камней на ногах.

XIV

Центром событий становилось Приволжье. В Муроме, во Владимире, в Пензе, — везде побывал Александр, везде принимал участие в лихорадочной работе: ждали чехословаков, готовились к предварительному выступлению, которое должно было облегчить им продвижение вперед.

Осенью ему предложили выехать в Саратов, а потом и дальше, в Самару, через фронт. Александр с радостью согласился. Поручение было ответственным. Надо было спешить...

За Аткарском, на маленьком полустанке, он вышел из поезда.

Ранняя багряная осень тронула уже своими красками перелески на холмах. Черные борозды земли уходили за пригорки. Густая щетина собранных полей чередовалась с ними желтыми пятнами.

Как тиха земля вдали от жилья человеческого. Как неподвижно лежит она под синим покровом неба, древняя и неизменяющаяся.

И странным казался Александру этот вечный и древний образ земли рядом с суетой человечества, с безумными бурями последних времен, с надвигающейся, может быть, совсем уже близко гибелью...

Дойдя до первой деревни пешком, он начал искать себе подводчика. Это было делом трудным, так как крестьяне не хотели отъезжать далеко от своих деревень: вдруг фронт пододвинется и они окажутся отрезанными.

Обойдя десяток, если не больше, изб, Александр наконец сговорился с одним мужичком, Алексеем, человеком средних лет, с узкой черной бороденкой и лукавыми глазками. И сначала даже удивился Александр, что Алексей этот так скоро согласился везти его. Ночевать пришлось у него. Даже в бедной деревне выделялась беднотой и бесхозяйственностью его изба. И лошаденка, впряженная им в подводу, поражала необычайной ху-

добой. Но Алексей, видимо, мало унывал, жил бобылем, и как-то ему было будто терять нечего.

Выехали на рассвете, когда туман еще только начал свиваться по морщинам холмов. Алексей оказался человеком молчаливым: не только сам в разговор не пытался вступить, но и на вопросы Александра отвечал неохотно. Верст через восемь проехали деревню. Вниз через мост задребезжала подвода. Опять тишина, только жаворонок в небе рассыпается бисером песни.

И начало казаться Александру, что они забирают слишком на север, не к Волге, а наперерез железной дороги, что ведет на Сызрань. Он сказал об этом Алексею. Но тот принялся доказывать, что только таким путем и можно перебраться через фронт: тут сейчас красные стоят на месте, и не придется с ними вперегонки скакать.

Остановились на хуторе каком-то поить лошадей. Александр разговаривал со стариком хозяином. Опять выходило, что едут они неправильно, слишком на север забирают. Но Алексей стоял на своем.

Под вечер добрались до деревни Дворянской Терешки. Красных еще не было видно. Один только случайный разъезд попался им навстречу. Деревня имела какой-то мертвый вид. Большинство изб стояло с закрытыми ставнями. Во многие двери стучался Александр. Нигде не отворяли. Одна баба высунулась в окошко и на просьбу Александра впустить его в избу и дать поесть ответила лениво и неохотно, что не до того, — все в доме валяются больные. Из дальнейших расспросов выяснилось, что чуть ли не вся деревня болеет испанкой. Много народу умирает ежедневно.

— И войска от этого в деревне не стоят, — пояснила баба, — смертной заразы боятся.

— А где же фронт? — спросил ее Александр.

— Да вот, батюшка, до Мазыкиных хуторов версты четыре переедешь, там и фронт начнется. А ежели еще верст восемь проскачешь, то и фронт, наверное, кончится, — по другую сторону будешь. Только сын мне говорил, что фронт недолго около нас держаться будет: готовятся красные вперед идти.

Александр решил торопиться. Алексей тоже, видимо, не боялся предстоящей переправы. И не мог понять Александр, что заставляет этого придурковатого мужика рисковать, отчего он так охотно взялся за такое мало прибыльное и ответственное дело.

С час провозились около деревни и выехали дальше. Начало смеркаться. К Мазыкиным хуторам подъехали в полную темноту. Остановились в леску, и Алексей пошел на разведку. Ходил он недолго. Скоро в темноте зашуршали под его ногами листья и раздался шепот:

— На хутора заезжать нельзя, — всех задерживают. А сказывал мужик один, что логом можно проскочить через самый через фронт, а там по полю напрямик до Овражьей Терешки. А в ней либо никого нет, либо белые.

Александр заторопил его. Усталая лошадь ленивой рысцой спустилась в овраг. Кругом было тихо. Проехали версты две благополучно.

Но вот в месте, где скаты оврага сужались и начинался небольшой перелесок, раздался окрик:

— Кто едет?

Александр еще не сообразил, что отвечать, как тихий его возница ударил кнутом по лошади, и телега понеслась вскачь сначала по крутому лесному спуску, потом через трясущийся мостик на ровную полевую дорогу.

Сзади началась трескотня винтовок; вскоре завизжали в темноте невидимые пули. Обстреливалась телега со всего пригорка.

Алексей молча гнал лошадь и тяжело дышал. Одно время Александру почудилось, что за ними скачет несколько всадников, но скоро он убедился, что погони нет.

Стрельба продолжалась. Наконец где-то далеко ухнула пушка. Видимо, даже артиллерийским обстрелом было решено остановить беглецов.

Но пули звучали все реже и реже: направление, куда проехала подвода, было стрелявшими утеряно.

— Вывезла кобылка, надо думать! — весело сказал Алексей.

Спасение казалось почти чудесным.

В полночь въехали в Овражью Терешку. Алексей долго колесил по пустынным улицам, отхлестываясь от собак. Наконец около одной избы остановился, соскочил с подводы и по-хозяйски застучал кнутовищем в окно:

— Встречай, Матрена, добрался-таки.

«Что же это за Матрена такая?» — подумал Александр, и у него мелькнуло подозрение, что не ей ли он обязан неукоснительным стремлением Алексея ехать не к Волге, а наперерез дороги.

Вот засветился огонь в избе; заспанная баба, кутаясь в платок, отворила ворота. Алексей провел под уздцы лошадь во двор. Вошли в избу.

Александр узнал, что белые сегодня днем отступили из Терешки на запад, к Волге.

— Значит, на рассвете надо выезжать, — сказал он своему вознице.

Но тут выяснилось, что подозрения его были правильны. Алексей решительно отказался ехать дальше. Выходило, что целью его путешествия была кума Матрена, которая его давно ждала.

Еще солнце не встало, когда Александр пошел искать себе нового возчика. Но это было немыслимо сделать: большинство подвод были мобилизованы белыми, а крестьяне, оставшиеся дома, ни за какие деньги не хотели в минуту наступления и возможных боев оставить свой дом на произвол судьбы.

Пришлось ждать. Александр был так зол на своего возчика, что решил перебраться из избы Матрены в какое-нибудь другое место.

Новая хозяйка оказалась словоохотливой и любознательной старушонкой.

С первого слова она начала спрашивать о красноармейцах:

— Что, очень звери, сказывают?

Зять ее успокаивал и доказывал, что они рабочий народ, что против буржуев только. Вообще, на общем фоне полной деревенской отрешенно-

сти от всех революционных событий, этот зять оказался человеком более других осведомленным о нравах большевиков. Он хитро подмигнул Александру и заявил:

— Кому звери, а нам ничего. Мы понимаем, что к чему. Сразу укажу, что у Ильи Никифорова две лошади припрятаны, — вот и в свои люди без забот выйду.

Александр молчал, не желая дать повода хитроумному мужику воспользоваться и им для того, чтобы в свои люди к большевикам выходить; а старушонка, видимо, была подавлена житейской мудростью своего зятя.

К вечеру в село вошли красные.

В окно скоро раздался нетерпеливый стук прикладом, и на пороге появилось человек пять солдат.

— Старуха, давай яиц.

Бабка завозилась и засуетилась, и стала клясться и божиться, что ни одного яичка у нее нет, — все негодяи белые побрали. Но солдаты в конце концов пригрозили ей штыком. Тогда она через мгновение принесла пяток яиц и положила одному солдату в фуражку.

Он вытащил из кармана керенку-сорокарублевку и небрежно бросил на стол.

Старуха опять стала причитать:

— Батюшка, да яйца только десять рублей десятком стоят, а сдачи-то у меня и нет.

Но солдат милостиво махнул рукой:

— Не нужна мне твоя сдача-то.

И ушел.

Старуха повертела в руках керенку, бережно спрятала ее за образа и, посмотрев на Александра, самодовольно сказала:

— Ишь, говорили, — звери. А они тоже, значит, лю-юди.

И так она протянула «лю-юди», что Александр понял, — сорока рубля-ми совсем куплена ее нищая старческая душа.

А в комнату входил другой отряд солдат и опять требовал яиц. Бабка не заставила просить себя дважды и принесла полный картуз. Солдаты молча стали уходить. Она кинулась к ним:

— Родименькие, а деньги-то?

Но задний солдат направил на нее штык:

— Что-о? А этого хочешь?

И недоумевающая бабка уже окончательно не могла понять, что же большевики, — люди или звери.

Прошло два дня. Дальнейшее сидение Александра становилось все рискованнее. Надо было во что бы то ни стало двигаться дальше.

С трудом он, наконец, нашел мужика, который после долгих опросов согласился его везти. И, к удивлению, добавил хитро и лукаво:

— Вашему брату у Романа Васильевича в помочи отказа нет. Так и знай, милый человек!

Александр решил лучше не спрашивать, кому в помощи Роман Васильевич не отказывает. Поутру он пошел к нему, чтобы двигаться дальше. На площади его остановил солдат окриком «хальт!». Александр с удивлением увидел, что перед ним стоит немецкая батарея. Кое-как объяснив, что он местный учитель, Александр попытался расспросить, каким образом немецкая часть оказалась на Волге. Но солдат сурово и недоверчиво оборвал его с первых слов.

Наконец выехали. Роман Васильевич ругал Алексея, который завез Александра совсем не по пути. Он заявил, что переправляться лучше всего около Волги, и решил ехать сначала на Хвалынский. Александр согласился с его доводами. Пришлось ехать вдоль большевицкого фронта.

Рыжебородый, немного тучный, веселый и по-своему мудрый, — Роман Васильевич был старообрядцем. Всю дорогу он занимал Александра разговорами, в которых текстами из Священного Писания доказывал греховность курения табаку или, удивительно последовательно, на основании все тех же текстов, развивал законченную теорию анархизма.

Около большого села Сосновки Роман Васильевич указал на лес за холмами:

— Эва, видишь лес? Туда наши два пулемета стащили, что с фронта доставлено было. Как в село с реквизицией хлеба отряд придет, так пулеметы в лесу и застрекотят. А отряд наутек. До сих пор ничего не взяли, а про пулеметы все начальство знает, да руки коротки.

— Отчего же леса не обложат красноармейцы?

— Вот я и говорю, что руки коротки. Кто такие красноармейцы самые? Есть, конечно, и киргизы, и пришлые, а по мобилизации все наши же. Бывали даже такие случаи, — вот с Кузнецовыми например: сыну вышли года, когда белые мобилизацию производили; вот его и забрали. А отцу года подошли, когда красные мобилизовали; а они не сговариваясь решили хоть воевать вместе: сын от белых удрал, а отец от красных. Теперь сын большевиками в армию забран, а отец, если благополучно добежит, наверное, в белой армии сына ищет. Вот и полагайся на них.

В Сосновке оставались недолго. Александр все время торопил Романа Васильевича.

— Что, милый, к своим захотелось? — поддразнил его тот и подмигнул хитро.

— К кому, к своим? — спросил Александр.

— Да ну тебя, — не финти. Малый я, что ли? Вижу, какая ты птица. А умный, — сказать нечего: и о том, и о сем говоришь, — а о главном, что тебе знать нужно, — так себе, между прочим, будто и не интересуешься. Только ты на будущее запомни, что так оно все яснее делается. А ты прямо жарь: боюсь, дяденька, что большевики меня ухлопать могут, потому что я для них буржуй. Всякий и поймет, что маленький человек, если так первому встречному обо всем открываешься. Ну и не подозрительно, потому что кто их не боится. А ты крутишь, крутишь — просто любопытство возьмет: что он, мол, за птица такая?

За время дороги Александр уже не в первый раз удивлялся сметке и хитрости Романа Васильевича. Только ему казалось, что этот тип русского мужика как-то исключителен, необычен. Ведь, по существу, в нем не было простоты. Была особая сложность, лишь наружу проступающая простыми чертами.

А главное — он чувствовал, что Роман Васильевич очень хорошо себя знает и высоко ценит. Он благожелательно отнесся к Александру, потому что сразу смекнул, что «за народ, мол, старается, значит, не ирод какой-нибудь, не выжига». Но, по существу, он и Александра, и большевиков, и белых, и Москву с ее рабочими и интеллигенцией, — презирает, потому что они все для него щуплые какие-то.

Александр пришел к такому выводу: у этого человека, сросшегося с землей и широкого и простого, как земля, свое земляное самосознание проявляется, как чувство какой-то избранности, аристократизма крестьянского: мы люди во весь рост; а вы все, — и баре, и рабочие, красные, белые, — никакие, — вы все вполчеловека. А потому наша первая задача отгородиться от вас. Когда вы сильны, — не мешать и не помогать, — авось, вы сами друг другу помешаете (этому-то, пожалуй, и помочь можно), когда вы слабы, — не очень с вами связываться, а больше от вас свое мужицкое оберегать, чтобы вместе с вами и оно сильному в зубы не попало.

— Люблю я вашего брата возить, — задумчиво сказал Роман Васильевич.

— Сочувствуешь?

— Главным образом для интереса.

— Какого интереса?

— Не могу я понять, за что вы работаете. Ведь не для Бога, потому что в Боге мало понимаете. Один мне сказал, что для народа. А я ему: народа, мол, на белом свете много; всех не спасешь все равно.

— Как же, по-твоему, выходит?

— А по-моему, свою линию гни. Если ты из крестьянства, к примеру, то и гни свою линию, и не только крестьянскую, а свою, Сосновскую, сказать прямо, потому что каждый другой крестьянин свою линию гнуть будет. Ему, выходит, и помощников не надо.

Александр рассердился:

— Ну, а когда большевики придут, они, пожалуй, с твоей Сосновской линией разбираться не станут. А почему? Потому что Сосновская линия слабая, слабее их линии. Значит, чтобы их линию одолеть, надо много линий объединить, всех, кто с большевиками не согласен.

— Нет, Александр Павлович, это опять война, значит.

— Ну и война. Так что же делать?

— Наша линия, брат, такова, что нам все равно, кто у нас коней берет, — красные или белые, и все равно, в какую армию наш народ мобилизуют. Одни мобилизуют, — плохо; другие мобилизуют — тоже плохо.

— Что же, какими силами вы от врагов избавляться будете?

— Своими, испытанными. У нас также жестяная дощечка есть: с одной стороны «Волостное Правление» написано, а с другой, — «Волостной Совет». Так вот таким манером мы все наши вывески переделаем, а сами будем жить по-своему. Никто и не придерется, да и не получит многого от нас никто.

— Дураки вы: за «Волостной Совет» вас генералы выпорют, а за «Волостное Правление» большевики повесят.

— Так мы не без ума: знаем, когда каким боком поворачиваться...

Дорога, тянувшаяся все время холмами и перелесками, вдруг на опушке соснового бора круто кинулась вниз. За первым же поворотом вдали засверкала Волга и на берегу ее раскинувшийся Хвалынский. Роман Васильевич, несмотря на крутизну, не очень сдерживал лошадей, так как путь стал песчаным и лучше всякого тормоза сдерживал быстроту езды. Песок шуршал под колесами и падал дугой.

— Скоро приедем. Вперед, голубчики!..

Через полчаса въехали в город. Первым делом надо узнать, какая здесь власть.

Подъехали к Волжским номерам.

Снеся свою небольшую поклажу в маленькую каморку, Александр сразу пошел на базар: там все можно узнать, даже никого не спрашивая.

Лари стояли закрытыми. Торговок не было видно. В одном только месте мальчик продавал воблу. А за большим лабазом на земле сидели две старухи: одна продавала семечки в решете, а у другой в корзине, прикрытые тряпками, лежали баранки.

Александр подошел к старухам:

— Здравствуйте, бабки!

— Здравствуй, сынок... А ты чей будешь? Что-то не видали тебя ранее. Он объяснил, что только что приехал.

— Так... Не от них ли прибыл? Не от белых ли?

— Нет. А разве их ждут сейчас?

— Да ты что? С луны свалился? Не знаешь разве, что красная армия отступила?

Александр вернулся в свои номера и лег спать рано, чтобы на рассвете ехать дальше.

Утром он проснулся от громких голосов в коридоре. Около его двери толпились солдаты. Его сразу заметили, и белообрый солдат очень маленького роста в помятой фуражке спросил:

— Это, вы откуда же к нам появились?

Александр спокойно рассказал свою вымышленную историю, к которой он привык за длинную дорогу.

— Ну а вы кто же?

— Мы? А мы пулеметная команда первого советского Пензенского полка. Вот прогулялись за два десятка верст и опять в свою казарму пожаловали.

Город вновь был занят красными. Переправа не удалась. Александру было досадно, что он вчера же вечером не двинулся дальше: сейчас большевики никого не выпускали из города, и поэтому Роман Васильевич отказался пока выезжать. Надо было ждать.

Пулеметчики отнеслись доверчиво к Александру. Им, видимо, было приятно общество нового человека, которому можно было без конца рассказывать о своих похождениях.

— Что же, воевать-то не надоело? — спросил он их между прочим.

— Да нам другой дороги и нету, — ответил словоохотливый парень с раскосыми глазами, у которого на околышко фуражки была повязана лиловая бархатная лента, а вместо кокарды приколота маленькая брошка с бирюзой и жемчужинами: — вот уже столько лет воюем. Посади нас теперь в крестьянскую избу да заставь землю пахать, — так или руки на себя наложишь, или для удовольствия по ночам грабить пойдешь.

— Вы что же все, партийные коммунисты?

— Всякие есть. Я коммунист, потому что сознательный и в красной армии добровольно состою.

— Ну, а живется трудно?

Другой солдат вмешался в разговор:

— Чего трудно? Обут, одет, сыт, — чего нужно? И деньги есть, — жалованье платят.

Первый перебил его:

— Ну, а деньги нам для шику больше нужны.

— Как для шику?

— А так, чтобы народ понимал, что такое красноармеец. Деньги, — это вроде самого главного агитатора большевицкого.

И стали рассказывать случаи, как деньги за агитатора работали. Все хохотали.

Александру странным казалось, что эти вот сидящие перед ним парни и есть настоящие враги, эшелоны с которыми он помогал сбрасывать под откосы, которые были реальной силой в руках большевицкого центра. Вот тот маленький белобрысый, что первый его окликнул, — что-то болезненное и озлобленное есть в нем; а вот румяный и здоровый с черными усиками, — этот просто, без злобы живет; дальше — совсем деревенский увалень; киргиз в черной папахе и с грустным лицом. И еще, и еще... По отдельности, — люди, а вместе, — пулеметная команда, боевая единица врагов.

Прошло в разговорах два дня. Роман Васильевич все еще не решался нарушить запрета и тайком выехать из города.

Тогда пришла в голову Александра смелая мысль: он сказал своим новым приятелям пулеметчикам, что ему до зарезу надо спешить, и попросил их помочь ему выбраться из города.

— Очень просто, — сказал черный с усами, — пусть дед ваш запрягает, вы садитесь и айда. А мы вокруг верхами, — человек пять. Никто не оставит, потому что нас здесь все знают: из первого Пензенского полка.

Так и решили. Роман Васильевич улыбался себе в бороду, садясь на подводу. По пустынным мощеным улицам загремела телега, окруженная эскортом солдат. Они пели громкую песню. В окно выглядывали удивленные обыватели. Так доехали до соснового бора, — вершины подъема. Там распрощались. Красноармейцы с шумом и гиканьем кинулись вниз, а телега медленно начала месить густой и сыпучий песок.

— Вот мы опять в нашем царстве-государстве, — сказал Роман Васильевич.

— В каком это?

— А где ни совета, ни волости, а нейтральная полоса. Тут мы, мужики, хозяева.

Начал попархивать легкий снежок. Воздух был крепкий и свежий.

Помолчав, Александр сказал:

— А я бы, Роман Васильевич, под все ваше царство, под линию эту вашу, палку бы подсунул, да понатужился, да от земли бы вас на сажень и поднял: смотрите, мол, не в землю свою измозоленную, а и в даль взгляните — авось что и увидите, хозяева земли русской...

Роман Васильевич ответил не сразу:

— А я бы тебя, мил человек, удостоил: награду тебе бы выдал. Вот тебе плут, — крестьянствуй, обрости мало телом... Уже очень мне понравилось, как ты болванов этих нас вывозить заставил... Ах, болваны! — Он засмеялся. — Право слово, Александр Павлович, из тебя еще человек выйдет.

Александр тоже развеселился.

Так, уже без особых осложнений, доехали до Сызрани. Но там Александр узнал, что Самара пала. Белые поспешно отступали к Уфе.

Смысл его путешествия терялся. Он опоздал.

Разгром белых на Волге всколыхнул сразу все его мысли о том, какими средствами надо вести борьбу. Запрета больше не было. Стало ясным, что вновь вооруженная борьба оказалась несостоятельной. Александр считал, что теперь у него руки развязаны, и он может приняться за то, что считает сейчас единственно нужным.

Но, чтобы окончательно проверить правильность своих выводов, он решил все же сейчас не возвращаться в Москву, а попытаться добраться до своего родного города, пересечь добровольческий фронт, который, по слухам, опять существует, посмотреть, что делается там, и на что там рассчитывают...

Так он и сделал.

XV

Катя чувствовала себя как бы выброшенной из жизни. Стремительные события, многочисленные встречи, бурные переживания, — все вдруг затихло и замерло. Во внешнем мире кипела гроза, а Катя наблюдала ее, как посторонний зритель, мучилась и страдала много мучениями и страданиями

других. Сама же была не нужна жизни или, вернее, — будто готовилась к чему-то, накапливала наблюдения, берегла силы, училась на страшных уроках жизни.

И знала Катя, что сейчас нельзя думать о том, чтобы сохранить свои белые одежды, — через кровь и через грязь, во имя жертвы, во имя мира, надо перешагнуть тому, кто решился. Надо взять на свои плечи грехи и тяжести многих. Надо принять на себя ответственность за буйство пьяного солдата, за темную волю народную, за смерти несправедливые, за грядущий голод, за слезы детей, за дикий вопль всей равнины русской, которая лежит под небом распростертая, нищая, раскинула бессильные руки свои, плачет слепыми глазами, шепчет имена убитых, имена обреченных смерти своих детей.

Когда Катя думала так, ей казалось, что у нее много силы, что любую тяжесть она сможет поднять. А самая тяжелая, непосильная тяжесть, — это тяжесть ожидания. До времени, до знака какого-то, должна была она таиться и ждать, тихо зарывать в землю гробы своих близких, молча слушать, как содрогается родная земля, насыщенная кровью, чувствовать, как под окнами в темную ночь вопит безумная старуха, мечущая по ветру седые косы, не ждущая уже помощи, не зовущая спасителей.

И когда приехал Александр, почудилось Кате, что вот должно теперь начаться, что его приезд, — знак.

Он мало говорил. Ему было тяжело. С ужасом выслушал он весть о Сережиной смерти. За этой смертью он сразу почувствовал тайну, которой никто не знал.

Но Катя первая и настойчиво стала напоминать ему об его обещании позвать. Она говорила, что время пришло, что только личным подвигом, личной жертвой можно очистить пути. Другими словами, на другом языке, Александр твердил себе это давно. И то, что их, по-разному сказанные, мысли так совпадали, что Катя в глуши, а он в Москве одинаково чувствовали, — заставило его еще сильнее поверить в неизбежность того пути, над которым они задумались.

Об этом они говорили теперь с Катей просто, как о решенном. Самое трудное было, — это оставить Павла Александровича одного около двух могил. Но Павел Александрович, и всегда чуткий к душевному миру своих детей, теперь, после смерти Сережи, научился читать в мыслях Кати и Александра, как в открытой книге.

Он первый заговорил с ними:

— Я уже стар, я уже почти не живу, потому что у меня слишком много в прошлом. И я знаю, что наше время требует жертв. Я каждую минуту думаю о России. Она стала для меня живым существом; я чувствую, как она мечется сейчас. Если вам нужно уйти от меня, — идите. Я понимаю, что ваша жизнь будет в ваших сердцах неоправданна, если вы не попытаетесь совершить чуда. Думаю, что теперь каждый живой человек должен пытаться совершить чудо... И думаю, что каждый живой человек во время этой попытки погибнет... Но что же, если иначе нельзя? Ведь иногда только гибель

бывает праведной... Решайте, не думая обо мне. Мне все равно очень трудно жить стало. Вы меня ничем не можете облегчить.

Они слушали его молча. Не могли ему возражать; они понимали, что он был прав. И глубокая благодарность была у них к отцу.

А в городе стало тихо. Расстрелы прекратились; фронт отодвинулся далеко вперед. Бродили по улицам раненые офицеры. Жизнь шла так, будто никому не был нужен этот отрезанный от мира глухой угол. Черные тучи низко пролетали над землей; невылазная грязь покрыла дороги.

От тоски ли, от безделья ли, от черной ли безнадежности, много пили. Пили даже женщины. Мещане пили в своих домишках на окраине, пили самогон, вонючий и ядовитый; нарядные дамы, офицеры, банковские служащие, — интеллигенция, — пили коньяк и хорошее красное вино, — пили в «ковчеге», в доме коменданта, в ресторанах. И в пьянстве этом чудилось такое бескрылое неуменье жить, такое страшное бессилье, такая тоска, что казалось самым легким после попойки, где будто и много смеха было, — уйти грязной дорогой вон из города и всю жизнь месить эту грязь, — лишь бы подальше уйти, лишь бы не чувствовать рядом с собою тоскующих и ничего не ждущих людей...

В конце года Катя и Александр решили ехать в Москву. Павел Александрович ни на день не хотел их задерживать. Путь предстоял очень трудный и долгий. Добровольческая армия наступала стремительно, и Александр знал, как это осложняет переправу через фронт. Надо было ехать в Ростов и там, смотря по обстоятельствам, наметить дальнейшее направление переправы.

Выехали на рассвете. У подъезда Павел Александрович долго стоял, глядя им вслед. Он не знал, на какое дело поехали его дети, но чудилось ему, что больше он их не увидит. Здесь, в этой части России, оставался один Петр, — да и тот неизвестно, — выберется ли когда-нибудь благополучно из вечных боев, из мороза и ветра, из опасности заразиться тифом и погибнуть.

В старом доме Темносердовых было тихо и жутко. Особенно по вечерам, когда лампа горела только в одном кабинете, а в остальных комнатах витали призраки ушедших, — ушедших навек, и ушедших по пути, с которого, пожалуй, как и из могилы, нет возврата.

XVI

А Петр воевал.

Опять знакомая обстановка «своего полка», с которым крепнет связь все прочнее и прочнее после каждого боя. За пределами полка, — сумятица и неразбериха. Там можно спорить и не соглашаться, там можно иметь свои мнения и искать своих особых путей.

А здесь все сливается воедино. Пусть полковник Сергеенко, — зверь, озверевший после расстрела жены и сына, — он умеет командовать, с ним

пришлось четыре раза смотреть смерти в глаза. Пусть штабс-капитан Якубовский любит приврать, — разве не с ним пришлось отбиваться от окруживших красных, и разве их жизни не действовали одной волей, когда они пробивались?

И солдаты, бывшие недели четыре тому назад красными, потом взятые в плен и теперь ставшие отличными стойкими добровольческими солдатами, — разве и они не связаны с Петром какой-то особой связью, которой в мирной жизни имени нет? Связь совместной опасности, совместных удач и поражений и совместной смерти впереди.

Солдаты эти обладали особой философией, которую очень охотно посяняли Петру:

— Были мы в царской армии, — ну что ж? — властям надо подчиняться, — мы хорошо воевали. Потом нас большевики мобилизовали, — опять власть, — мы и у них воевали хорошо. А взяли нас в плен и стали мы добровольцами, — опять, — сами видите, — деремса — слава Богу, потому что одно надо помнить: против власти не пойдешь.

А один постарше добавил:

— Так и в Писании сказано.

И за этими словами чувствовал Петр другое, то, что и у него было: страх оторваться от массы; ощущение известной прочности и обеспеченности своего существования только в массе и полной растерянности, когда из обычной жизни боев, переходов, приказов, — приходится перейти на довольствие решениями собственного ума, тут сейчас же подкрадываются сомнения, каждый шаг кажется неоправданным, весь мир, — нелепым и сумбурным...

Офицеры распались на несколько групп.

Главная масса, подобно солдатам, пошла в армию по мобилизации; связана она была с нею кровно, но не принципами какими-нибудь, а общностью боев, переходов, невозможностью жить в одиночку.

Второй группой были все редующие добровольцы первого состава. Они вкладывали в идею добровольчества всю свою жизнь и шли в бои, как на подвиг. Самым странным среди них было то, что при общности отношения своего к армии они чрезвычайно отличались в политических своих взглядах: среди них были и монархисты, оскорбленные самым фактом революции и относящиеся одинаково отрицательно, как к Советам, так и к Учредительному собранию; были республиканцы и демократы, наиболее ненавидящие большевиков за разгон Учредительного собрания и за борьбу против демократических лозунгов; были, наконец, люди, сосредоточившие весь свой политический идеал в одном образе Корнилова и плохо разбирающиеся в политических программах.

Но по какому-то молчаливому соглашению о партиях и о политике спорить не было принято.

Наконец, довольно многочисленную группу составляли офицеры, стремящиеся в тыловые контрразведки, поставившие своей задачей месть, ожесточенные и не гнушающиеся самых страшных преступлений и расправ.

Различие в психологическом складе людей приводило иногда к острым столкновениям.

В первые дни службы Петра ему пришлось присутствовать при таком столкновении: он был по делу в штабе дивизии. К молодому еще генералу, одному из плеяды славных первых добровольцев, явился с докладом офицер кавалерист, в красных рейтузах, чрезвычайно нарядный.

— Я пришел доложить вашему превосходительству, что мой эскадрон не смог выбить красных, как мне было поручено. Три раза мы ходили в атаку. И каждый раз атака была отбита.

Генерал взглянул на него недоверчиво:

— Потери велики?

— Ранены две лошади.

Генерал отвернулся от докладчика и обратился к своему соседу вполголоса, но все же достаточно громко:

— Отчего это, скажите, как человек наденет красные галифе, — так словочуть?..

Обладатель красных галифе быстро исчез.

У добровольцев было, действительно, много накипи, и ей в душе Петра не было оправдания. Он чувствовал, что это именно потянет в первую очередь дело добровольчества к гибели.

Но и эти мысли он гнал от себя: спасение, личное спасение, сохранение хотя бы относительного душевного равновесия могло быть только в том, чтобы спокойно производить ежедневную будничную работу, наступать, отступать, идти в атаку, устраиваться на ночевку, — лишь бы со своей частью, лишь бы так, как все свои, потому что дальше начинался хаос, в котором было невысказанно разобратся.

Он писал Юленьке: «Настроение у нашего полка такое, что если бы нам сказали: разделитесь пополам и обстреляйте друг друга, — мы бы беспрекословно это исполнили. По приказу ближайшего начальства мы с одинаковым успехом могли бы взять штурмом большевицкий броневик и поезд нашего главнокомандующего. Лишь бы приказ был... Вам это непонятно, конечно. А на самом деле только дисциплина и спасает каждого из нас в отдельности от излишних дум, которые могут привести к безвыходной тоске, потому что и положение наше безвыходное по существу. Сейчас я на отдыхе в селе Ремонтном. Отдых дается на три дня всем, чтобы все могли по очереди выспаться, — ведь больше двух месяцев спать приходилось около трех часов в сутки. На позициях время проводим так: утром мы занимаем станцию Ясную, к вечеру большевики привозят подкрепления и выбивают нас. Утром зачастую является к нам генерал, который, видимо, придает большое значение нашему участку. Он просит еще немного “постараться”. Мы “стараемся” и восстанавливаем положение. И так почти каждый день. Остряки говорят, что в штабе решено нам особый орден из угля выдать за геройское толчение в угольном районе. Вы себе представляете восторг жителей станции Ясной от такого времяпрепровождения. Я просто иногда

физически чувствую, как они нас ненавидят. Конечно, в такой же мере они ненавидят и большевиков».

А бои действительно были жестокие. И какие-то совсем другие, чем в Великую войну. Враги были в непосредственной близости. На огромном пространстве дрались отдельные раскинутые отряды.

Страшнее всего казались бронированные автомобили. Перед таким автомобилем однажды бежал весь полк Петра. Сам он задержался почему-то и оказался далеко сзади полка. Перед ним маячила только тоненькая фигурка одного штабс-капитана, только что перенесшего тиф, и поэтому еле передвигавшего ноги. Дорога шла в гору. Нагнав штабс-капитана, Петр подхватил его под руку и потянул быстро за собой. Но вскоре выяснилось, что броневик свернул в сторону. Удалось уйти...

Так воевал Петр.

Сумбурное впечатление от фронта Гражданской войны заставило его всего сократиться, уйти в себя. Он старался не чувствовать себя человеком, а только частью великой машины, которая действует предуказанными путями, идет к намеченной цели, руководствуется другими законами, чем душа человеческая.

XVII

В Москве Катя и Александр поселились отдельно. Он снял маленькую комнату около Остоженки и почти целыми днями сидел дома. Катя жила на Спиридоновке. Дом был старый, деревянный; ее окна выходили в сад. Целый месяц они встречались мало.

Катя, с точки зрения Александра, немного по-дилетантски принялась за дело. Она заявила ему, что не будет посвящать его в свои планы, и только если первоначальные ее шаги будут иметь успех, она попросит его совета и помощи. Она восстановила связи со старыми московскими знакомыми, видала много людей, но все еще не приступала к выполнению своего плана, который оказался на месте гораздо труднее осуществимым, чем ей думалось.

Среди старых своих знакомых Катя чаще всего бывала у Галкиных. Сам Галкин служил в бывшем Скобелевском комитете и имел почему-то касательство к кинематографам. Через него проходили принимаемые советским правительством к постановке сценарии.

Жили Галкины около Арбата, в огромном доме, выходящем в тихий и глухой переулок. А над ними, полуэтажом выше, жила молодая дама, Дора Ильинишна, решившая при посредстве Галкина заработать себе на пропитание писанием кинематографических сценариев.

Как-то мельком Галкин сказал, что дама эта дальняя родственница влиятельного народного комиссара Гродского. Тогда Катя сразу же решила, что с ней надо познакомиться поближе.

Это оказалось не очень трудно. Дора Ильинишна, не будучи коммунисткой, все же чрезвычайно гордилась своим знаменитым родственни-

ком. Хотя эта гордость была достаточно своеобразная: она не без почтения заявляла, что Гродский женат на дочери генерала и что у его сыновей дядька настоящий матрос, — «совсем как у наследника».

Потом Дора Ильинишна закатывала скорбно глаза и говорила:

— Нет, вы не можете себе представить, как он и его семья томится Кремлевской обстановкой. Подумайте, ведь даже вся посуда с царскими двуглавыми орлами, и у служителей на пуговицах тоже орлы.

Катя сочувствовала. Она быстро поняла, что, несмотря на родственные отношения, Дора Ильинишна в особой близости к семье Гродского не находится и, пожалуй, была бы рада чем-нибудь привлечь его к себе и восстановить старые связи. Катя, видимо, показалась Доре Ильинишне человеком достаточно интересным для Гродского: она много могла рассказать о жизни провинции под добровольцами, о местных коммунистах, о настроении крестьянства, — о таких вещах, от которых люди, стоящие у власти, всегда фатально далеки, хотя стремятся делать вид, что все это им хорошо известно и ясно. Словом, Дора Ильинишна хотела Кате похвастаться Гродским, а Гродскому Катей. Может быть, в этом была и доля по существу невинной корысти. Во всяком случае Кате удалось ее убедить в том, что она издавна относилась к тов. С.Я. Гродскому с чувством безграничного восхищения и считает его самым большим человеком, выдвинутым русской революцией.

Месяц спустя Дора Ильинишна сказала ей:

— Я хочу вам доставить большое удовольствие: вы сможете познакомиться у меня с человеком, который вас давно интересуется.

Катя встрепенулась.

— Да, да, у меня завтра в одиннадцать часов вечера будет Семен Яковлевич. Он только что обещал мне это по телефону. Он бывает редко, — это правда. Но раз обещал, — значит, не обманет... Милости просим.

Катя пошла к брату.

— Саша! Завтра в одиннадцать часов вечера я буду сидеть в одной комнате с Гродским.

Он недоверчиво посмотрел на нее, потом спросил:

— Расскажи подробно, где и как.

Катя сначала рассказала ему про Дору Ильинишну. Он начал расспрашивать про дом, где она живет. Катя про себя улыбнулась: мысль Александра шла тем же путем, как и ее мысль.

— Дом большой. Семь этажей. Стоит на углу двух глухих переулков. Ты знаешь. На этой лестнице, кроме многих частных квартир, помещается еще одна театральная школа; целый день шатается народ. Потом тоже очень посещаемый зубоврачебный кабинет. Так что новым лицам на лестнице никто, конечно, не удивляется. Квартира Галкиных в шестом этаже и выходит на улицу. Квартира Доры Ильинишны не над ними, а вбок, во двор. Пролет на лестнице большой, и лифт останавливается только у квартир, выходящих на улицу. Таким образом, ему придется выйти из лифта против Галкинской квартиры и еще пол-этажа подыматься пешком.

Александр спросил, можно ли думать, что он скоро еще раз будет у Доры Ильинишны.

Катя ответила, что она недели через три собирается уехать из Москвы и говорила, что перед ее отъездом Гродский непременно будет у нее.

— Только не знаю, позовет ли она меня и во второй раз.

— Это не важно, — сказал Александр. — Ты только должна теперь все хорошенько заметить.

Видимо, он обдумывал план действий.

На следующий день часам к восьми Катя явилась к Галкиным. Их она застала в передней, одетых, чтобы куда-то идти. Катя просила их не оставаться дома ради нее, а сама сказала, что посидит у них, почитает, потому что очень устала и сразу идти домой не хочется. Они ушли.

Она села на диван в кабинете Галкина и, не зажигая электричества, стала думать о предстоящем свидании. Ей было как-то жутко. Кроме того, минутами ей казалось, что самым правильным было бы сейчас все и выполнить. Ведь точно неизвестно, — будет ли в дальнейшем такой случай.

Само дело ее не останавливало больше и не нуждалось ни в каком оправдании.

Стоило только прислушаться к надвинувшимся сумеркам ночи, чтобы услышать в них отчетливо жалобный вой. Земля ли стонет, старуха ли безумная голосит, — все равно, — голос требует жертв и зовет. И возврата услышавшим — нет.

В квартире было тихо. Только часы в столовой сухо и четко считали улетающие мгновения.

Около одиннадцати Катя открыла окно и села на подоконник.

Внизу переулок слабо мигал фонарями. Прохожих не было. Стояла мертвая тишина.

Но вот из-за поворота сначала показались две полосы электрического света, потом мягко и бесшумно вынырнул из темноты черный автомобиль и, медленно подрагивая на шинах, остановился у подъезда.

Катя свесилась из окна.

Дверца автомобиля открылась; кто-то вышел на тротуар и исчез в подъезде. Дверца с шумом захлопнулась, и автомобиль подался немного назад.

Катя пробежала быстро в переднюю и, приоткрыв немного парадную дверь, притаилась. На лестнице гудел лифт, подымался.

Катя притаилась совсем, и сердце ее стучало громко и взволнованно.

Около дверей лифт остановился. Кто-то вышел из него, позвонив сначала. Лифт начал проваливаться. Человек поднялся по лестнице и остановился у дверей Доры Ильинишны.

Катя заперла дверь, прошла в столовую, минуту постояла сосредоточенно, будто что-то решая, потом накинула на плечи пальто и взяла в руку шляпу.

Пора было идти. Она еще раз у самых дверей остановилась. Потом быстро поднялась по лестнице и позвонила.

Дора Ильинишна открыла дверь сама. У нее был вид восторженно взволнованный.

Шепотом она сказала Кате:

— Я его уже предупредила, что вы придете. Сказала, что вы коммунистка и можете много рассказать про добровольцев. Ведь ничего, ничего, что я так сказала?

Катя молча шла за нею.

В маленькой комнате сидел Гродский. Катя заметила, что он будто избегает смотреть в глаза. Поздоровавшись с ней и делая вид, что больше не замечает ее, он начал говорить с Дорой Ильинишной об общих родных. Но каждый раз, когда Катя отводила от него взгляд, она чувствовала на себе его пристальные глаза, выпытывающие, зачем она здесь.

— Дора Ильинишна, я вам в подарок хлеба привез, в передней оставил.

Та пошла взять подарок. В комнате наступило неловкое молчание.

На груди Гродского была прикреплена большая красная звезда.

Катя, не отдавая себе отчета в том, что она делает, — лишь бы прервать молчание, — показала на нее пальцем и сказала:

— Вы с ней не расстаетесь?

— Ах, просто забыл снять. — И он быстро спрятал звезду в карман.

Опять молчание.

Потом он начал:

— Вы, говорят, недавно с юга? Интересно, какое на вас впечатление производит добровольческий фронт.

Катя ответила, что не верит в его прочность.

Но Гродский быстро ее перебил:

— Ну, я знаю, у вас, как у правоверной, следующее слово будет о зверствах добровольцев. Но это пустяки. Поверьте, — все звери. И наша солдатня в той же степени.

Ей почудилось в нем что-то обнаженное, циничное и вместе с тем запуганное, как у затравленной лисы.

Но тут вошла Дора Ильинишна. Она стала сетовать, что к нему в Кремль не пробраться. Начали улавливаться, когда она будет у его жены.

Надо было ей в определенный час с красным тюльпаном в руках пойти к солдатам, которые стоят, — Гродский неуверенно сказал:

— Знаете, около такой белой сквозной башни.

Дора Ильинишна спросила:

— Около башни Кутафьи?

— Как? Как? Кутафьи?..

Он продолжал спрашивать Катю о событиях юга. Потом неожиданно встал и откланялся.

После его ухода Дора Ильинишна кинулась к Кате:

— Ну, как вам Семен Яковлевич показался? Правда, замечательный человек? Ведь он просто гений, просто гений.

Но Катя, поспешно соглашаясь, стала прощаться.

Она пошла к Александру и рассказала ему все подробности своего свидания с Гродским.

— Значит, без всякой охраны? — спросил он, и задумался.

Дело представлялось легким. Надо было только точно знать, когда он опять будет у Доры Ильинишны. Однако ожидание показалось Кате нестерпимо тоскливым. Без дела бродила она по Москве, встречалась со знакомыми, говорила ненужные слова.

В эту пору только с одним человеком чувствовала она себя легко: это была одна странная женщина, — Вера Ивановна Маркелова, — с которой она познакомилась у тех же Галкиных. Вере Ивановне было за сорок. Всю свою жизнь она провела в глуши с больной матерью. Два года тому назад мать умерла. Вера Ивановна переехала в Москву, поселилась в большой комнате, в которую надо было проходить через церковный дворик, окружила себя какой-то странной атмосферой колдовства и прорицания и стала жить призрачной ночной жизнью.

Она плохо видела и была глуха. Может быть, от этого весь мир воспринимался ею как-то своеобразно. В день первого знакомства Катя просидела у нее в низком кресле всю ночь. Без конца пили черный крепчайший кофе, и Вера Ивановна без конца курила.

Жизнь она знала, но видела ее под своим собственным, единственным в своем роде углом зрения. Она ничему не удивлялась и никогда не огорчалась. Всю неразбериху наших дней она принимала, как что-то должное, и даже любовалась ею. А если около нее кто-нибудь чувствовал себя несчастным, она будто радовалась этому и с упоением доказывала, что так и надо, что это лучший путь.

На столе ее лежала толстая рукопись ее собственных стихов, — «кирпич», — как она сама ее называла. И большинство этих стихов было посвящено великому поэту и мудрецу, нашему современнику. Причем, читая их, нельзя было понять, глумится ли она и над ним и над собой или обращается к нему со словами, достойными войти в песнопение какому-нибудь божеству.

Она была откровенна и непонятна, проста и лукава, сложна и упрощена в одно и то же время. А жизнь в ее толковании была искажена в такую страшную гримасу, от которой хотелось взвыть, но и гримасу эту она преподносила, как произведение высокого художественного достоинства.

Так, питаясь черным кофе и дымя папиросами, жила она в сумбурной Москве, не старая и не молодая, с птичьей походкой, с худющими руками, с раскосыми подслеповатыми глазами и с копной пышных седеющих волос.

Кате было у нее легко, потому что все речи шли не теми путями, где нужно было таиться и скрываться. Наоборот, — общение с Верой Ивановной подымало со дна Катиной души забытые мысли и заставляло вновь и вновь переоценивать свой путь. И чем больше Катя углублялась в себя, тем привычнее ей становилась ночная комната Веры Ивановны, тем яснее было, что путь ее выбран правильный.

Она чувствовала убийство не только как подвиг, но и как грех. И это было нужно, потому что подвигом одним нельзя насытить душу. Нужно было почувствовать себя на дне пропасти, нужно было дойти до того, чтобы потерять себя в страхе и отчаянии, — и только тогда поступок мог получить должную силу, мог оправдать себя и стать толчком для миллионов других людей. И Катя в безнадежности окружающего чувствовала, что летит ее душа камнем на дно пропасти, и чувствовала, что так надо.

Тогда ей было непонятно иное отношение к делу, которое сквозило у Александра: в глубине души он еще оставался старым партийным работником, для которого террор, — только подвиг, всячески оправданный, всячески неизбежный, а террорист, — никак, ни одной частью своей души не убийца, а только герой и жертва.

Катя с ним не говорила об этих своих мыслях. Вдвоем они в сотый раз принимались обсуждать подробности дела. И в этой деловой близости их было нечто, что отгораживало их от всего мира.

А когда Катя уходила, Александр ложился на кровать и курил, курил без конца, внимательно глядя, как поднимаются кольца дыма к потолку. Он вновь обдумывал все. В нем не было сомнений. Так надо. Но только минутами казалось тяжело так в одиночку делать это дело: он привык за долгие годы партийной работы ощущать за спиной своей сочувствующие взгляды товарищей, он хотел бы заранее знать, что каждый его шаг не только оправдан, но и заставляет их гордиться им. Впрочем, до конца он этого и не создавал, пожалуй.

Наконец Катя пришла к нему с новостями: в четверг на следующей неделе в десять часов вечера Гродский должен на минуту заехать к Доре Ильинишне, чтобы передать ей какую-то посылку для своих родных, которых та увидит в пути.

Надо было готовиться. План был составлен давно. Катя должна была зайти в четверг к Александру днем, а до этого больше не встречаться. На том и расстались.

Александра потянуло повидаться с кем-нибудь из «своих».

По прежней памяти он решил для этого зайти в маленькую библиотеку на Смоленском. Поднявшись по грязной лестнице, он вошел в комнату, сплошь заставленную книгами. Библиотекарша тихо кивнула ему головой и указала на маленькую дверь в соседнюю комнату: она его давно знала. Какой-то толстый студент рассматривал заглавия книг на полках. Другой студент читал каталог и записывал себе что-то в тетрадку. У стола стояли две барышни; библиотекарша выдавала им книги.

Александр прошел в другую комнату. Так и есть: здесь все те же. Распросы, новости... У них все по-старому. Александр решил было уже уходить, когда в соседней комнате послышался какой-то необычайный шум. Все настожились.

Через минуту дверь распахнулась, и на пороге появилось несколько солдат с винтовками.

Один товарищ схватил быстро какую-то тетрадку и кинулся к окну, другой встал за дверь. Но через минуту их окружили. У Александра взяли револьвер, который он машинально вытащил из кармана. Они были арестованы.

— Это надолго, — задумчиво сказал тот, который хотел через окно спастись бегством.

Другой мрачно ответил:

— Если не навсегда.

Их троих, библиотекаршу, двух студентов и двух барышень, находившихся случайно в библиотеке, повезли на грузовом автомобиле. Барышни волновались почти до слез. Библиотекарша была спокойна.

А Александра душила злоба: надо же было именно в этот день выйти из дому, надо же было так глупо попасться. И вспоминалась ему Катя.

— Теперь дело провалилось, — это ясно.

Ему и Катю было жаль: ведь для нее это будет страшным ударом.

— Да, это, пожалуй, действительно надолго, — подумал он. Потом закурил папиросу и стал равнодушно рассматривать лица конвойных солдат.

XVIII

К Рождеству девятнадцатого года Петр получил возможность поехать на неделю домой. Павел Александрович написал ему, что местные дамы нашли много белья, которое хотят передать в его полк. Кроме того, у него были кое-какие дела в Екатеринодаре.

Отец встретил его очень спокойно; но от этого покоя Петру стало жутко. Отец страшно постарел за последнее время; глаза у него все время задерживались слезами. И показалось Петру, что Павел Александрович только наполовину в этой жизни.

Дом был мертвым. Комнаты Кати, Сережи и Александра даже днем стояли с закрытыми ставнями и с запертыми дверями. Павел Александрович жил только в одной комнате. Видно было, что он не живет, а доживает.

— Сын, сын, — говорил он, — ведь, наверное, ты один остался из всех. Да и то на тебя посмотреть: ноги у тебя еле двигаются. Господи, сколько жертв! И неужели все даром? Неужели надежды нет?

Петр пошел в «ковчег». Юленька не знала об его приезде. Он вошел в гостиную, откуда неслись звуки рояля, и молча остановился за ее спиной.

Она быстро повернулась на табуретке. Увидав его, сначала слабо вскрикнула, потом сорвалась с места и обхватила его шею руками. Она и плакала и смеялась.

Петру было нестерпимо радостно, будто волна какого-то безмерного, нечеловеческого счастья подхватила его и несет. Он чувствовал всей душой своей, что любит Юленьку, любит ее милые руки, и такие забавные косы, и всю ее, такую чистую и ясную. И казалось ему, что единственное место на земле, где можно жить и дышать, — это здесь, в гостиной «ковчеха», где

только что звучала Юленькина музыка, где на рояле разбросаны ее ноты, где она сама тесно сплела свои руки вокруг его шеи.

Но она уже смутилась первого порыва и стояла перед ним красная и улыбающаяся.

Петр взял ее руку и, нежно целуя, начал говорить что-то совсем даже не то, что хотел сказать, и сам не зная почему говорил, обращаясь к ней на ты.

— Ты рада, что я приехал? Я тоже страшно рад. Как около тебя хорошо, моя родная. Как везде тоскливо, где тебя нет. Господи, какое счастье знать, что ты совсем близко тут.

И ему, действительно, казалось сейчас, что тяжесть войны не от войны, а оттого, что там нету Юленьки.

Они сели на диван. Петр продолжал говорить ей свое, чередуя рассказы о фронте с уверениями, что единственное место на земле, где можно чувствовать себя счастливым, — это диван в гостиной «ковчега».

И, будто о чем-то, что уже много раз было сказано между ними, он говорил:

— Ведь когда-нибудь война кончится. Если я уцелею, то подумай, какое счастье будет никогда не расставаться, быть всегда вместе, вместе строить жизнь.

Начались для Петра совершенно особые дни. Не верилось ему, что какое-то время предшествовало этим дням и что скоро они должны кончиться. Юленька была спокойнее. Она вдруг как-то сразу стала для всех взрослой. И на самом деле она чувствовала, что во всем ее существовании произошла огромная перемена.

Целыми днями или Петр сидел в «ковчеге», или Юленька забиралась с утра в дом к Павлу Александровичу.

Он тоже как будто переменялся, смотрел на Петра любовно и все твердил:

— Вот уж не думал, что радость будет, а она тут как тут...

Юленька старательно проветривала старый дом, открывала во всех комнатах окна, отпирала двери, убедила Павла Александровича, что надо стены побелить. И хотя в сущности это было совсем не нужно, но как-то с общим тоном напряженных дней хорошо сочетались и толстая поденщица Ариша, которая перевернула весь дом кверху ногами, и нестерпимые сквозняки, и запах сырой извести.

Когда время приблизилось к отъезду Петра, Юленька осторожно, исподволь стала его уговаривать не ехать.

— Ведь посмотри, — весь город наполнен офицерами, и вовсе среди них немного раненых, — просто все понимают, что не стоит больше ехать. А дальше пусть будет, что будет.

Но он шутливо зажимал себе уши и говорил:

— Отойди, искуситель. Ну, вдруг я послушаюсь и останусь, — как я после этого на себя смотреть буду?

И дни шли с такой неумолимой быстротой, что казалось, будто старенькое потрепанное время пустилось вскачь и катит перед собой солнце,

как футбольный мячик. Только что встало солнце и опять закатилось, будто в дне было не больше часа какого-нибудь...

Так пришло время прощаться. Юленька, серьезная и осунувшаяся, говорила Петру:

— Ты только помни: что бы ни случилось, мы в конце концов должны быть вместе. Иначе я не могу. Без тебя я не могу.

Он целовал ее руки и отвечал:

— Ты-то не забудь. А у меня на всю жизнь только один путь есть, — к тебе...

После его отъезда Юленька долго оставалась у Павла Александровича. А уходя, все с тем же серьезным и осунувшимся видом сказала ему:

— Дядичка, мне теперь все время будет хотеться к вам. Можно? А то у нас так шумно. Мне дома не по себе...

Он согласился с радостью. Этот приезд Петра заставил его привыкнуть к ней и полюбить ее.

XIX

В Екатеринодар съехались все связанные с добровольчеством, и сразу же по приезде Петру удалось попасть на заседание Верховного Круга, где в этот день выступал со своим заявлением главнокомандующий.

Странное впечатление произвело каждое его слово на Петра. Манера говорить, пафос речи, пожалуй, отдавали чем-то библейским. Слышалась большая искренность и прямота, чувствовалось умение любить и ненавидеть. Он и сейчас под властью этих двух чувств говорит каждое слово: близких своей идее и себе, — любит, противников ненавидит, готов анафематствовать. Слова его просты и сильны. В них много подлинной боли, много надломленной, но все-таки веры, упрямства, решения идти до конца. Это не только солдат. Но в конечном итоге, главным образом, все же солдат.

И только нелепым чем-то показались во всей этой тяжелой фигуре, — такой простой и цельной, — торчащие вверх, с тонкими кончиками нафабранные усы, — будто чужие, — в такой степени они не отвечали его облику.

Вот он обвиняет. Но не слишком ли в его словах много виновных? Вот он требует жертв. Но не будут ли сейчас эти жертвы уже напрасны? Он, пожалуй, в своих словах прав до конца, потому что сам еще верит...

Но если оглянуться кругом: вот недавний губернатор, уже приобретший вид беженца, облокотился о спину казака-черноморца и слушает; вот два офицера контрразведчика, — молодые, но все видавшие люди, шепчутся тихо; вот казаки, гурьбой наклонившиеся над перилами, — что объединяет всех этих людей? Вот бритый и картавый профессор, — глава Добровольческой пропаганды, — он ли находит слова, одинаково веские для каждого, он ли сможет заставить всех согласно чувствовать общую борьбу?

Россия?..

Да, в словах главнокомандующего есть Россия, как бы к ним ни отнестись. И в лицах фронтовиков есть Россия. И, пожалуй, вообще на заседании пестрого Верховного Круга она есть. Но она представлена здесь именно в подлинном своем виде: путей не знающая, кровью замученная, раскинутая в бескрайних пространствах, не верующая сама в свое спасение.

Пусть европейские дипломаты слушают здесь со все понимающим видом, пусть камнями ветхозаветного пророка летят слова главнокомандующего; — разве и в этой зале под лепным потолком не гудит и не вихрится другой голос, все покрывающий? Разве среди людей не мелькают нечеловечьи черты? Разве воздух не душен от крови?

Старуха, безумная старуха, как бессильны дети твои, большие и маленькие, главнокомандующие, казаки, офицеры, законодатели, агитаторы, жертвы, палачи, генералы и большевики, члены Учредительного собрания и депутаты казачьего Круга, — все, все, все, — как бессильны они помочь тебе.

И душно тебе в Московском Кремле и в Екатеринодарском зале, в теплушках с тифозными и на кладбищах заброшенных, в селах, в станциях, в городах...

Разве вот, — когда запоет удалая метелица, когда снежные вихри со всеми четырьмя мирскими ветрами закружатся в пляске, когда даже волки уйдут в глубь леса от непогоды, а небо черное тяжелым камнем надвинется на землю, — тогда и тебе хорошо выйти на заметенный перекресток, и вместе с трубными возгласами ветра, вместе с тонкими голосами метелей, вместе с грудным стоном раздавленной земли, затянуть свою песню, так, чтобы от нее все растаяло, рассеялось, развеялось, разнеслось и сгнуло.

Ты сгнула. И мы гибнем. Все гибнем...

С головной болью и с ознобом ушел Петр с заседания. Вечером опять надо ехать «домой», на позиции.

* * *

А на следующее утро Петр бредил уже на всю теплушку. Около него возился свой, полковой солдат, случайно оказавшийся тут же.

Солдат решил на свой страх устроить Петра в санитарном поезде или госпитале.

— А то отступать начнем, пропадет человек.

Сначала из теплушки он перенес Петра в зал третьего класса на первой же узловой станции. Там положил его на полу, рядом с такими же бредящими... Пока он метался по госпиталям и по санитарным поездам, Петр лежал, не соображая, где он находится, и громко и радостно говорил, говорил и днем и ночью. Только на третьи сутки солдат определил его в госпиталь, — тоже лежать на полу в коридоре.

Доктор ему сказал на прощанье:

— Полковому командиру доложи, что сыпной тиф.

А Петр мучительно старался припомнить какие-то стихи, которые он должен непременно знать. В голове они слагались и опять распались

на совершенно неуловимые слова. Наконец вспомнил он и громко на весь свой коридор начал декламировать:

— Люблю отчизну я, но странною любовью...

Дальше опять не мог вспомнить. Наверное, будет «кровью». Вот даже в стихах кровь... Нет, там это иначе как-то выходит, не кровь отчизны... Кровь отчизны здесь, на оставленных полях...

К нему подошла сестра милосердия, высокая, из-под косынки на лоб желтые буколки. Это он ясно увидал. Значит, он не в бреду. Он хорошо сознает, что он болен... Мать укроет сейчас ему ноги теплым своим платком, — так она всегда делает, когда он болен, — и сразу перестанут ноги ныть. А потом приложит свою прохладную руку к его лбу, чтоб не горел он так, чтоб не ныла голова нестерпимо. А завтра будет яркий солнечный свет ударять в окно, и лягут квадратики от оконных рам на полу, и медленно будут двигаться: сначала один только уголок доберется до ковра, потом целый кусок ковра станет ярким, ярким, а через ковер первый квадратик доберется до книжного шкафа и тихо поползет наверх, где на полке его игрушки.

И забыл Петр, что много лет отделило его от маминого платка, от маминой прохладной руки. Снова казался он себе маленьким мальчиком. Маленький мальчик беспомощней большого человека, но зато есть у него много утешителей, которые потом перестают утешать. А главная радость, главное утешение, — это весь мир земной вокруг, солнце такое белое, оживляющее в комнате тысячи пылинок, и скатерти на столах, такие белые, праздничные... А теперь этой белизны нет... Когда теперь?..

И опять минута сознания. Койка с больными рядом, больные на полу... Стонут, мечутся...

Офицеры жарко натопили печь могильными крестами... И вдруг неожиданно пришел к ним в хату главнокомандующий в длинной серой блузе, а может быть, и не он, а кто-то другой, только Петр его хорошо знает, — и велел всем отвечать ему стихи. Кто знает, того он ставил по одну сторону, кто не знал, оказывался на другой стороне. И было очень страшно Петру, что он забудет, все забудет, — даже начало... Вот и его очередь... «Люблю отчизну я, но странною любовью»... Дальше он опять не может вспомнить. Дальше есть: «Но я люблю, за что не знаю сам». Но он дальше не спрашивает, кивает головой, ставит в сторону знающих... А печь горит все ярче и ярче, становится так нестерпимо жарко, что Петр начинает требовать, чтобы открыли окошко. Никто не слушает его. Он кричит, кричит, кричит...

Опять над ним сестра милосердия с желтыми буклями...

Командир полка, узнав о болезни Петра, телеграфировал Павлу Александровичу. Тот сейчас же решил разыскивать сына. Юленька умоляла его, чтобы он взял ее с собою. Но ни он, ни Клавдия Алексеевна не считали возможным для нее ехать.

Было решено, что Павел Александрович постарается доставить Петра каким-нибудь способом домой. Никто из них последнее время не ездил по железным дорогам, и поэтому такое решение казалось им возможным.

Павел Александрович долго узнавал, в каком госпитале лежит Петр. Узнав, никак не мог за ним угнаться. В Тихорецкой ему сказали, что госпиталь эвакуировался в Екатеринодар; в Екатеринодаре выяснилось, что он накануне переведен в Новороссийск.

В бесконечных теплушках, образовавших на запасных путях целый город, он часами бродил и расспрашивал всех встречных, как найти госпиталь Петра. Только к вечеру случайно попал на госпитального санитаря, который проводил его.

Павел Александрович застал сына в беспамятстве. Ему не было лучше. Сестра многозначительно качала головой. А Петр, не узнавая отца, весело и громко разговаривал среди таких же безумных и бредящих.

И, сжавшись комочком около сына, Павел Александрович целыми ночами слушал его бред. Было в нем что-то знакомое, что, может быть, и здоровый человек готов бы повторить, да стесняется, — вспоминает, что недавно было все ясно и нормально, и не верит до конца, что теперь все переменялось и ничего ясного нет.

Раз он неожиданно узнал отца и начал говорить с ним с рассудительностью нормального. Так, по крайней мере, показалось Павлу Александровичу.

— Ты, пожалуйста, не верь, — говорил он, — если тебя станут убеждать, что у меня тиф. Здесь все на этом тифе помешались. А у нас в полку выяснено, что если у человека много своих насекомых, то уже чужие к нему не пойдут. Значит, полная гарантия от заразы. А у меня их достаточно, поверь. Так что сыпным тифом я заразиться никак не могу... Но я, действительно, болен, потому что моя кровь никак не может пробиться в подземную кровавую реку, где кровь всех наших бурлит и пенится...

Иногда на него находили минуты какого-то дикого отчаяния. Тогда в беспамятстве метался он на своих подстилках, рвал на груди рубаху, кричал громко и пронзительно.

И в нагроможденных образах бреда его чудился Павлу Александровичу последний смысл всего происходящего вокруг.

Ему виделись закрома пустые, в которых только мыши шуршат... Пустыня, горькая пустыня, без воды, с тяжелым небом, с сухой землей. Разъятое тело, разлагающийся прах России, матери, великой страны... И, мертвая, призраком встанет она на глухой тропе, чтоб никого не пустить к своей могиле, будет вьюгою выть, и ветром гудеть, и снегом вихриться. А летом будет сушить грудь каждого, кто подойдет, великим зноем; обвеет жарким воздухом губы каждого, так что они в кровь потрескаются; колючками изранит ноги наглеца, захотевшего преступить границу ее, границу смерти без воскресения...

Бред ли это был тоже или мысли здравого человека? Павел Александрович не знал сам уже, где кончается подлинная жизнь и где начинается жизнь его призраков.

И только, когда выходил он из теплушки в город, то отрешался немного от этих своих мыслей.

Люди уже начали брать с боя пароходы. Вся масса народа, связанная с добровольческой армией, была прижата теперь к узкой полоске земли и с тоской смотрела на глубокую Новороссийскую бухту.

Качались у пристани корабли. По ночам английские прожекторы вспыхивали белой полосой прибрежные горы. Итальянские пароходы ломились от пассажиров: везде, — на палубе вповалку, в трюме, где раньше люди никогда не находили себе места, — везде сидели, лежали, притыкались к канатам и к каким-то ящикам люди. Все покидали Россию. Все спасались от гибели.

И никто не знал: надолго ли это; что ждет их на далеких чужих берегах.

Кто из живых мог бы сейчас вдунуть душу в мертвое дело? Кто мог бы вернуть веру в сердца, заставить людей идти на смерть? Зачем ты обманываешь всех, родина? Зачем не явишься людям такой, как ты есть?

Единая единством всеобщего тления и распада, неделимая в своей неделимой тоске, великая... Даже смерть твоя не величественна, даже безумие твое не безумие героя...

Россия... Мука какая...

И нет тебя. И везде ты, вопящая, потерянная. В сердце каждом ты. В каждой капле крови, — ты. Отрава наша. Тоска наша. Любовь наша.

Россия... Мука какая...

На дне лежим... На дне лежим. Мертвые без воскресения...

Теплушки с больными выгружались. На носилках переносили людей на пароход. Ехать с рассветом.

Куда? На Принцевы острова, на Кипр, — не все ли равно!

Павел Александрович ехал с Петром. И когда он бросил в почтовый ящик письмо к Юленьке с описанием всего того, что помешало ему привезти Петра домой, — он почувствовал, что в душе его что-то оборвалось.

А на следующее утро, переночевав уже на пароходе, он на рассвете смотрел, как медленно скользит прочь от него мол, как люди становятся на берегу все меньше и меньше.

Вот миновали волнорез. Вот маяк на каменной косе проплыл совсем близко, — мимо, к берегу. Новороссийские горы сдавливают еще с двух сторон глубокую бухту, а город уже далеко виднеется красными крышами, высоким зданием элеватора, рядом серых цистерн около вокзала.

Впереди открытое море.

И у Павла Александровича, наряду с тоской по безвозвратно покидаемой родине, вдруг из самой глубины души всплыло чувство какой-то животной радости: хоть одного из четырех вырвал из всероссийского пожара, хоть один, может быть, уцелеет.

И тогда он его больше не отдаст. Будут они вместе, долго вместе. Пусть будут лишения, пусть будет тяжелый труд, — зато хоть один не сгорел в пожаре, хоть один остался ему, старику.

Вот только, как он без Юленьки? Ну, да ей-то и оставаться не так опасно. А остальное, — вопрос времени: свидятся когда-нибудь. Еще оба молоды, — жизнь перед ними длинная.

И неожиданно он поймал себя на том, что в этих его мыслях нет основного, что мучило его последние годы: нет мысли о России.

Он прислушался. Море только тихо плещет, да вскрикивают осторожно летящие за пароходом чайки.

«Неужели, — подумал он, — весь мир все это время нашего вопля не слышал? Неужели никто в мире по-настоящему России не видел и не чувствовал?»

И стало ему ясно, что люди, не знавшие огня русского горения, вообще ничего не знают, и что каждый русский теперь, — кто бы он ни был, — мудрее самого мудрого европейца.

Надо было спускаться в трюм, к Петру.

Далеко легкой дымкой исчезали синие Новороссийские горы, — Россия...

Петр действительно поправлялся: у него уже наступали минуты, когда он мог говорить с отцом.

XX

В назначенный час Катя стучалась в комнату Александра. Из соседних дверей выглянула хозяйка и сказала, что вот уже несколько дней, как он исчез. Комната стояла незапертой. Катя вошла в нее и подумала, что, может быть, Александр решил до назначенного часа не быть дома.

Она даже улыбнулась про себя:

— Удивительно забавны эти старые конспираторы.

Она попробовала читать. Но мысли о сегодняшнем вечере не давали ей сосредоточиться. Начинало смеркаться. Катя все еще не предполагала, что с Александром случилась какая-нибудь катастрофа.

Часы в соседней комнате пробили семь. Оставалось три часа. Со стороны Александра все же непростительное легкомыслие так запаздывать. Хотя по существу дело совершенно налажено: надо быть только без четверти десять около галкинского дома. Катя взволнованно ходила по комнате: время шло так медленно. Вот на небе начали высypать бледные звезды.

Вдруг в душе Кати шевельнулось сомнение: а может быть, с Александром что-нибудь случилось? Как узнать? Вспомнился номер телефона одного из ближайших товарищей Александра. Она спустилась вниз по лестнице, — телефон был в подъезде. Долго старалась соединиться. Долго какой-то чужой голос допрашивал ее, кто она такая.

Наконец, уверившись в том, что она действительно сестра Александра, голос сказал удивленно:

— Странно, что вы ничего не знаете. Вот уже четыре дня, как он вместе с другими арестован на явке в библиотеке. Содержатся они в Бутырской тюрьме. Свиданий не дают. Надежд на скорое освобождение нет никаких.

Катя повесила трубку. Сначала ей отчетливо вспомнилось, как тоже по телефону в Петербурге было получено известие об аресте Александра.

Потом остро и больно мелькнула мысль, что все ее дело сорвалось. Одной нечего и думать браться за него. Наверное, уже скоро девять часов, — через час надо быть готовой. А она совершенно вне себя, совершенно не владеет своей волей. Значит, все пропало.

Она опять поднялась в комнату Александра, легла на его постель и начала плакать. В этих слезах ее было и отчаяние безграничное, и злость. Потом представилось ей, что должен был чувствовать Александр в минуту ареста: ведь он тоже, как она, весь отдался делу; и сразу почувствовал, наверное, что все кончено.

Звезды ярко горели в уже темном окне. Наверное, и десять прошло.

Катя повернула голову к стене: и звезд спокойных не хотела она видеть. Что-то кончилось безвозвратно. Как им везет, врагам. Ведь, может быть, если бы она вчера узнала об аресте Александра, то к сегодняшнему вечеру и собралась бы с силами.

Но вдруг стало ясно, что если бы после ареста удалось убийство, то Александр, его товарищи и многие, многие другие, часто совершенно случайные люди, ее выстрелом были бы обречены на смерть. Круговая порука смерти стала ей очевидной. И страх впервые пробрался к ней в душу: ведь как ни отмахиваться от себя этих мыслей, все же ясно, что в конечном, последнем счете она была бы убийцей; во всяком случае, всю ответственность за их смерть она должна бы была взять на себя. Это слишком, пожалуй, для одного человека. И ей как-то жалко себя стало.

Мысли шли странными путями, и время незаметно бежало. Очнулась Катя от оцепенения только утром. Надо было решать, что же делать дальше.

Домой ей не хотелось идти: там все полно ожидания события. Придется опять думать о том же, опять тоска безумная охватит душу.

Она пошла к Вере Ивановне. Застала ее за варкой кофея на спиртовке. — Хорошо, друг, что пришли. Вас уже неделю не видно... Да что с вами? Она с ужасом глядела на Катину осунувшееся лицо.

Катя села в кресло и тихо прошептала:

— Брат арестован. Вообще все, чем я жила последнее время, окончательно провалилось... Мне сейчас прямо нестерпимо трудно.

Умные, подслеповатые глазки взглянули на нее с каким-то странным выражением:

— Ну, выкладывайте все, чтобы я знала, с какого конца к вам приступить. Раз все провалилось, значит, и не надо вам больше вашей глупой конспирацией заниматься.

Катя действительно могла сказать теперь ей обо всем.

— Вера Ивановна, вчера вечером должен был быть убит Гродский. И я должна была принимать в этом деле ближайшее участие.

Вера Ивановна всплеснула руками:

— Так и думала я, родная, что вы что-нибудь в этом роде затеяли... Ну, значит, теперь неудача и отчаяние. А отчаиваться, конечно, нечего. Просто вы еще никак не можете понять, что в последнем счете совершенно безраз-

лично, убит он или жив. Не менее безразлично, чем то, имею ли я возможность раскуривать еще свои папиросы, или вы стоите на панихиде по мне.

Катя ответила зло и упрямо:

— Вера Ивановна, вы хороший и интересный человек; но, право же, у вас вместо человеческой души, — дым табачный. Вы не чувствуете, что так продолжаться не может, вы не ненавидите.

— Ненавидеть? Кого? За что? За то, что жизнь дорога? До-ро-го-зна... И слово-то какое поганое... За то, что власть советская? Еще там за что-нибудь подобное? Дорогая моя, все это пустяки.

Катя опять злилась:

— Да разве вы не чувствуете, что вся земля стонет? Разве вы ни разу не представляли себе, что испытывает человек, которого ведут на расстрел. Вот вы представьте себе, — вас сейчас поведут умирать. И старайтесь представить себе каждую мысль свою, каждый шаг... Неужели же вы России не чувствуете и не понимаете, что она жертв требует?.. Кровь невинных отмстить хочет, спасителя ищет.

Катя почти плакала.

А Вера Ивановна как-то по-кошачьему изогнулась вся, искривилась, растянула в страшную улыбку рот свой, закрутила костлявыми руками и начала тихо, шепотом:

— Не спасете, не спасете, голубчики, — руки не выросли. Поплачьте, поплачьте, попробуйте. Эка невидаль, — Гродского убить, — Россию спасти. Уж очень и просто, пожалуй. Нет, не так это просто. Пусть она повоет да поголосит, пусть пожариками посветит, пусть кровью попотеет, пусть в прах рассыпется... Смотрите, смотрите, слушайте голос будущего, — разве вы не видите, какой свет над будущим разлит? Разве вы не слышите трубу славы?.. Кровью и потом, смертью и тлением, нищенством, падением, воплем — к свету, к славе, к преображению плоти земной... Смотрите, смотрите, — да ведь не слепая же вы... Народ-богоносец, — это чепуха. Народ, — Богочеловек... Но чтоб в человеческом до дна дойти, до дна... Вот мы все в кровавом подвале чрезвычайки, вот мы все не верим уже в преображение, — так надо. А потом будет, будет... Слышите, — трубы славы... О, Господи!..

Она без сил опустила в кресло.

Потом помолчала долго и сухо сказала:

— Однако пейте кофе, а то остынет.

Катя покорно выпила чашку.

— Ну, а теперь ложитесь на мою кровать. Я вас платком своим укурю. Платок у меня волшебный, — под ним спокойно будет.

И она, уже совсем другая, суетилась около Кати, обхаживала ее, как малого ребенка. Катя поддавалась ей, — так хотелось сейчас ни о чем не думать.

Начались призрачные дни Катины, дни во власти Веры Ивановны. Пока Катя лежала под волшебным платком, та уже успела все ее вещи с квартиры к себе перевезти и заявила, что никуда Катю от себя не отпустит.

Прошло недели две. Вера Ивановна решила, что дальнейшее безделье ее пациентке вредно, и предложила помочь ей устроиться на службу в библиотеку, где она сама работает. Оказывается, она даже кое с кем успела об этом переговорить. Катя опять покорно согласилась.

В высоких полупустых комнатах, где так успокоительно пахло книгами, где редкие посетители разговаривали шепотом, Катя с утра и до вечера чувствовала себя отгороженной от внешнего мира. Она в свободное время читала, читала без разбора, лишь бы этого мира не чувствовать. Это было время в монастыре, на покое.

Вера Ивановна сама хлопотала о свидании с Александром, но это не удавалось.

Опять у Кати рождалось чувство, что все временно, что надо ждать настоящего часа. Слова безумные Веры Ивановны приходили ей часто в голову, но в них ввела она свой порядок и дала им свой смысл.

Об Александре думала долго и мучительно, — она не знала, как он переживает последнее разочарование.

А Александр, сидя в общей камере с людьми, которых почти всех давно знал или по работе, или по каторге, долго не мог побороть чувства злости на себя за последнюю неудачу. Дни шли по-тюремному медленно и однообразно. Сначала ему хотелось быть одному, но постепенно знакомые споры, общие интересы втягивали его в жизнь камеры. Как всегда, основной темой разговоров был вопрос о том, как пойдут русские пути дальше. Много спорили. Некоторые ждали освобождения скоро, чуть ли не через месяц; другие ни во что не верили больше, третьи думали, что большевиков свергнет контрреволюция, идущая с юга.

Александр же казалось, что вопрос тут, во-первых, не во времени. А во-вторых... Перемены, пережитые русским народом, так непостижимо велики, что привычными старыми словами ничего больше объяснить нельзя. Тут современники еще, пожалуй, бессильнее, чем какие-нибудь люди средних веков, которые захотели бы характеризовать грядущее возрождение. И пусть во всем мире перемена эта еще не ощущается, — на самом деле в недрах России растится нечто еще невидимое, о чем мир и догадываться не может, растится в муках и лишениях... Скоро должна захлопнуться книга истории Европы. Скоро откроется новая книга, книга истории народа Русского, еще не рожденного, — но час родов его уже близок.

Вот о чем думал и говорил Александр. Над ним посмеивались. Тогда он перестал говорить. А жить ему в тюрьме стало по-старому, — привычно. Кате он пробовал писать, письма, наверное, не доходили.

После эвакуации добровольцев из Новороссийска Катя получила письмо от Юленьки. Та ей сообщала, что Петра, больного сыпным тифом, Павел Александрович увез за границу. Катя обрадовалась, что он спасен.

Но ее удивил весь тон Юленькиного письма: оно было проникнуто такой скорбью и такой нежностью, что Катя почувствовала всю силу любви этой девочки к ее брату. Ей захотелось повидаться с ней.

Весной она поехала домой на юг, остановилась в пустом и мертвом доме своей семьи. По странной случайности он еще не был реквизирован ни под какое советское учреждение.

На время ее пребывания Юленька тоже перебралась к ней из «ковчега». И начались у них тихие разговоры о прошлом. Спокойно называла себя Юленька невестой Петра. И действительно, она была вся проникнута чем-то, что в представлении Кати связывалось с понятием невесты: было в ней что-то очень собранное, сосредоточенное; большая любовь сквозила в каждом слове. Казалось, что ожидание, которое ей выпало на долю, было не пассивным состоянием, а деланием каким-то — она непрерывно ждала, готовилась непрерывно к встрече и верила в эту далекую встречу. Кате было ясно, что, несмотря на молодость свою, Юленька не изменит этому чувству ожидания и будет им все свои дни наполнять.

А Кате не сиделось дома. Какая-то странная тоска тянула ее, будто в конце дороги, где небо слилось с землею, увидит она что-то новое и радостное. После месяца разговоров с Юленькой она решила опять ехать в Москву.

Но накануне отъезда получила письмо от Веры Ивановны. Та предлагала бросить пока все планы и идти бродить странницами, богомолками.

Катя сразу согласилась. Это казалось ей продолжением того душевно-го скитания, которому обрекла ее судьба.

На маленькой станции где-то в Воронежской губернии они встретились. Сразу вышли на дорогу. Сзади терялся в лощинке станционный поселок. Хлеба начали колоситься. Жаворонки пели над головой в синих волнах воздуха.

Вера Ивановна имела настоящий вид странницы. Катя казалась немного чужой на этой дороге.

— Вот, голубушка, — это самое хорошее. — Вера Ивановна показала рукой на поля и пригорки, покрытые редким леском.

Ночевали в какой-то маленькой деревне. Хозяин избы долго жаловался, что вот без света живут, — ни спичек нет, ни керосина. В темноте легли на полу в углу. Вера Ивановна что-то говорила шепотом.

Катя плохо слушала, потому что виделся ей в пути образ любимый и мучительный старухи безумной, слышались ее вопли. И вся дорога странная казалась ей погоней. По следам в пыли дорожной гналась она за матерью своею, которая родила ее, такой на себя похожей, такой же безумной и путей не знающей, такой же не ищущей спасения.

В полях бескрайних была Катя частью России, плотью от плоти матери своей; и хотелось ей больше и больше растаять, рассыпаться пылью, чтобы с матерью соединиться до конца, чтобы ее голосом безумным тревожить людей по деревням, чтобы ее костлявыми пальцами стучать в окна:

— Спите? Что спите? Вставайте! Пора!

Но было не пора еще. Надо было ждать...

КЛИМ СЕМЕНОВИЧ БАРЫНЬКИН

I

В середине лета, в самую жару, когда золотится пшеница, солнце может перестать освещать спутницу свою, — тяжелую хлебами землю, — и все равно в темном небе будет она сиять золотой полосой пшеничных своих полей.

Наш край... Как его назвать, наш край? Сказать ли, что это часть великого государства Российского? Но в Российском государстве есть и сибирские тундры, и бесплодные пески Закаспия, и леса, и унылые северные болота... Наш край на них не похож. Наш край, — пшеничное царство...

Миллионы десятин золота, не деленные на узкие полосы, как делят землю на севере, а сплошные, — от края неба и до края. Хоть целый день иди, — конца не увидишь; и другой день иди, — все та же золотая пшеница будет окружать тебя. И так будет, пока тебе не покажется, что ты даже не идешь вовсе, а давно уже растаял и растворился в золоте солнечного неба, в золоте солнечной пшеницы.

Потом заметишь вдали белую колокольню с ярким крестом, услышишь залихватый собачий лай, потянет жженым навозом.

Это жильё человеческое, — Кубанская станица.

Пшеничные люди земли не жалеют. Станица вытянулась далеко. Дворы у хат огромны. В пыли у заборов возятся ребята, копаются свиньи и куры, собака греется на солнце и изредка поводит лениво ухом, — мух отгоняет. Трава выросла по улице, тонкой полосой вьется между нею проезжая дорога.

Пыль черноземных дорог. Мягкая, — нога в ней тонет, — пушистая, горячая...

Выйдешь в степь. По краям стоит пшеница засыпленная. Колосья лениво клонятся к земле. Набежит легкий ветер, — и волной золота зарябится пшеничное поле.

А в небо высоко парит коршун, да сыпятся искры раскаленного солнца.

В конце июня, когда скосят пшеницу, поля потемнеют немного, но до самых осенних дождей будут все же отливать золотом и сверкать на солнце.

Начнут расти в степи соломенные города. Молотилка призывно засвистит, и клубы дыма потянутся из ее тонкой трубы в воздух. Народ зашевелится около нее. Золотая соломенная пыль густым облаком подыметса от земли. Повезут в станицу тяжелые мешки с зерном. А вокруг молотилки все гуще и гуще будут лепиться тоненькие переулочки между соломенными скирдами. Скирды вырастут выше и больше, чем хаты в станице.

По степи начнут бродить огромные отары овец, то расплзающихся серыми комками, то сбивающихся в одну кучу; а старый пастух, весь высушенный солнцем, с крючковатым, длинным посохом, будет лениво глядеть вслед случайной подводе, исчезающей в облаках пыли. И если отрешиться на мгновение от того, что сзади осталась станица, в которой все же получают газеты и знают точно, в каком веке живут, — то такой седой древностью повеет от старого пастуха с его овечьим стадом, от синего, глубокого неба, от потемнелого золота скошенных полей, что просто неудивительно было бы увидеть вдали смуглую Руфь, собирающую колосья на полях Вооза.

Так неизменен лик земли, плодородной, насыщенной солнцем, тяжелой.

Крепкая земля в нашем крае. Крепкий, могучий народ. Пшеничные люди.

Если бы выбирать столицу пшеничному царству, то по всему надо было бы выбрать станицу Хлебную. От нее во все стороны одинаково далеко до голода, до холода, до болота и леса. Весь ее юрт, — тридцать тысяч с лишним десятин, — отливает летом пшеничным золотом.

И хлебов печеных, таких, как в станице Хлебной, нигде нет. Высокие, румяные, корочка хрустит, легкие, в меру вскисшие.

И не то, чтобы у баб станичных какая особая наука была насчет печения хлебов, а просто такие сами они удавались, — мука такая, значит, выходила из благодатной пшеницы станичной.

Всякому человеку понятно, что там, где хлеба хороши, вся жизнь должна быть сытой, довольной и веселой, — труд в степи благодатный, — всякий хлебороб уверен, что и в этот, и в следующий год не изменит ему черноземная степь, — наградит за работу сторицею. А от этого и тоска не растет, и жизнь идет счастливо, спокойно.

Станица вытянулась верст на десять в длину, а поперек было только по два двора с каждой стороны улицы.

Белая церковь, еще новая, с зелеными куполами, стояла на небольшом пригорке посередине площади. Вокруг площади были все каменные дома: станичное правление с красной черепитчатой крышей и с заплеванным подъездом, высокая, с большими окнами, школа, выходящая в чистенький палисадник, дом батюшки, отца Лаврентия Малахова, с цветными стеклами на полузакрытом балконе, с густыми зарослями дикого винограда вдоль стен.

На площади вообще жили больше люди именитые. А чем дальше к окраинам, тем беднее становились хаты, и дворы при них не так уж велики. Сады, пожалуй, везде одинаково зеленели вишняком своим густым.

И жизнь людская шла во всех хатах приблизительно по одному образцу. Работа у всех ведь одинаковая, — пожалуй, весь юрт можно назвать хлебной фабрикой, а казаки на этой фабрике все одинаковые мастера.

Разница только, что на фабриках настоящих труд противный и подневольный, а труд степной, — самый радостный и благодатный. Кроме того, хлеборобное дело летом в самую жаркую пору человеку и поспать почти не дает, — времени нету, ни часу в уборке пшеницы пропустить нельзя. Поздно ложиться приходится и вставать, когда раннее летнее солнце еще встать не успело. Зато зимою дела почти никакого у станичников нету: озимые уже забархатились, черный пар влагой небесной насыщается, амбары стоят полные, — работы никакой и нету.

Слава Богу, что вечера зимою рано наступают, — спать можно ложиться с петухами.

А днем, если по хозяйству ничего не надо справиться, то единственное дело в лавочке ли у площади или так по хатам собраться и рассуждать. И были в станице великие мастера рассказы рассказывать. Соберется народ вокруг них, а они издалека заводят, — часто уж и раньше всеми слышанное, — да это не беда, — когда хорошо говорят, и несколько раз одно и то же послушать можно.

Казаки вообще народ такой, что каждого будут слушать внимательно. И спорить они не очень охотники. Если даже враль какой рассказывать небылицы начнет, — и его не перебьют, только замолчат после рассказа все, да какой-нибудь старик заметит спокойно:

— Могёт быть.

И сам враль не поймет, кто же в конце концов одурачил кого, он ли своими выдумками, или слушатели его, которые и спорить с ним даже не захотели, а только и буркнули:

— Могёт быть, — отвяжись, мол.

Друг друга народ знал и понимал очень хорошо, кто чем живет и о чем про себя думает. А свежему человеку трудно было во всем сокровенном станичном думанье разобраться, потому что свежий человек, как ни старайся на чистую разговор вывести, как на споры своих собеседников не натаскивай, — тоже почти всегда услышит:

— Могёт быть.

А дальше, значит, — проваливай, — мы своим живы, а о твоём тебя не спрашиваем.

А так вот, не споря, отшить полегонечку, — это даже, пожалуй, вежливость станичная была.

Ну, а между своими и споров мало, потому что одна приблизительно у всех жизнь складывалась, и одни мысли у всех в голове роились: весною на небо посматривают:

— Дал бы Бог дождя.

В сенокос смотрят, — не надвигаются ли, не дай Господи, тучи.

Сын подрастет, — к службе готовить надо, а потом женить, а там у него ребят крестить. А там волов новых покупать или пшеницу в город на продажу везти.

Одним словом, жизнь известная, — другою в станице и жить нельзя. И все очень хорошо понимали, что все главным образом пшеницей определяется, — так с этим понятием и сообразовали всю жизнь.

II

Один был только человек в станице, который неизвестно откуда других понятий набрался, всем наперекор, все был недоволен, все тосковал и искал себе лучшего удела.

И не чужой человек, а свой, казак, — Семен Петрович Барынькин.

Еще как вернулся со службы, начали у него всяческие чудачества проявляться. Начать с того, что объявил он матери свою волю, захотел стать мясником.

Для нашего народа это занятие не считается особенно почетным. А Семен Петрович был человеком богатым, — мог бы и без такого ремесла хорошо жить. Но у него раз сказал, — значит сделал: открылась в станице мясная Барынькина.

Мальчишку он себе лет пятнадцати в подмогу нанял. Вот этот-то мальчишка своими рассказами и обратил внимание станичников, что Семен Петрович, — человек необычайный.

Рассказывал он, что когда зарежет мясник быка или овцу, освежает ее и потом начнет потрошить, — так потрошит не просто, а как-то по-особенному, — каждую кишку рассматривает, опять в утробу прилаживает; будто все хочет дознаться, на что она скотине нужна была. Так же и желудок, и печенку, и почки, — все проверяет, прилаживает. Легкие однажды пробовал воздухом надувать. А с сердцем бычьим целый вечер возился, резал его на части.

И мальчишка рассказывал про такие занятия мясника не раз и не два, а уверял, что редко какая скотина через его руки без этих опытов проходит.

Все эти рассказы сильно разожгли любопытство станичников. Но никто не мог понять, к чему это Семен Барынькин так чудачит. У него же спросить не решались, — за насмешку примет и еще обругает.

Потом стали ползти слухи, что Семен Петрович у одного старика на хуторе научился целебные травы распознавать, и какая против чего помогает. И будто даже с наговорами всякими он этими травами врачует.

Сначала не верили. Потом мало-помалу начал к нему народ собираться со всякой хворобой. До фельдшера все равно пятьдесят верст, — не удосужишься в рабочее время.

Но все же шли к нему с опаской, потому что с детства знали его и не могли понять, откуда он премудрости набрался.

Он народа от себя не гнал, но и окончательно в своих знаниях не признавался. Все в шутку будто старался обратить.

— У тебя, мол, и болезни никакой нет, — одни мысли такие глупые. Вот тебе, наверное, такая пустяковина поможет.

Даст сушеной молодой крапивы, как чай пить, вместо слабительного, — человек действительно и поправится.

Сам, значит, в своих силах не был уверен, потому и не объявлялся народу, а исподволь на народе пробовал себя.

Уверовали в него сильно, когда дьячок на масляной чуть было ног не протянул, да Барынькин помог: сразу определил, что он себе глотку блином горячим спек, — дал какой-то настойки, прочел вроде молитвы, велел живот постным маслом растирать, — дьячок в два дня и поправился.

А потом получил Семен Петрович и научное признание: на огородах нашли мертвое тело; началось о нем следствие. Из города врач приехал на вскрытие.

Семен Петрович просил разрешения при вскрытии присутствовать: и смело начал с врачом разговор о всяких врачебных вопросах, показал полное знание строения человеческого тела и даже обратил внимание врача на какие-то неполадки у мертвеца в сердце.

Врач с удивлением спросил его, где он всей этой премудрости набрался. На что Семен Петрович ответил, что недаром он и мясником стал, — это самое премудрое дело для того, кто хочет врачевать.

Врач очень удивился этому ответу и с улыбкой спросил его:

— Значит, ты теперь и лекарь готовый?

Но Семен Петрович скромно ответил:

— Тело, можно сказать, что изучил, но душу человеческую только что изучать приступаю.

Опять тогда никто не понял ответа его и не сообразил, как же он теперь души человеческие потрошить начнет.

А народ стал валить к нему валом, так что он и мясную свою забросил. Одному палец молотилкой помяло, у другого в груди печет, у детей понос кровавый, — он на все средства знает.

Были у него лекарства и совсем особенные, — от чахотки, например. Это средство он только и давал тем, кому дни будто и сочтены совсем были, да и то по предварительному соглашению, потому что дело было серьезное: Семен Петрович предупреждал, что без его лекарства человеку жить не больше месяца осталось, а с лекарством, — или сейчас же умрет, — не выдержит душа яда, — или, если преодолет, то месяца через три совсем здоров будет. И находились смельчаки, что соглашались на это лекарство. Выздоровливали действительно. Деготь, что ли, это какой-то особенный был.

Так стал он необходимым человеком в каждой семье. И трудные роды, такие, что около родильницы народ весь с зажженными свечами уже стоит, а она помирать совсем приготовилась, — и детские болезни, и старческое хирение, — все проходило через него, всему он был свидетелем и помощником.

А в страданиях и болезнях душа человеческая открывается так, что читай в ней, как в открытой книге. В страданиях учился Семен Петрович познавать душу человеческую. И, пожалуй, если бы врач, который ему вопрос задавал, теперь приехал в Хлебную, Семен Петрович мог бы ему смело сказать, что и вторую часть науки своей он уже постиг.

Но постигнув ее и почувствовав себя мудрым, — мудрее, чем все станичные старики, — Семен Петрович возгордился и затосковал. Нелюдимым он стал, опротивело ему все. Работать работу такую, как все, — хлебоборобную, — будто и не так интересно ему; дальше изучать свое дело тоже трудно, потому что и книги-то все по врачебному искусству, — он пробовал их покупать, — написаны так, как будто бы этим искусством простой человек и поинтересоваться никогда не захочет, — язык прямо суконный, как раз такой, что только мозги забьет и последние понятия вышибет.

К сорока годам достиг он большого влияния в округе, а тоска не унималась, — прямо до сухого звона в голове доходила.

Так навидался он всего, так научился распознавать людей, что с ними ему скучно стало. Человек начнет какую-нибудь хитрую речь, да обиняками, — а он уже знает, чем эта речь должна кончиться, и только от скуки не перебивает собеседника, дает ему до конца договориться.

В это время Семен Петрович решил жениться. Невесты у него подходящей в станице не было. Да он, пожалуй, и сам не знал, какая для него невеста подходящая, — только бы что-нибудь живое было в доме и вместе с тем не очень шумливое.

Услыхал от кума он, что в соседней станице живет вдова молодая, бездетная и хорошая хозяйка. Подумал и решил, что это самое подходящее.

Вскоре стала Дуня его женой. Венчались они не сразу, — Семен Петрович заявил, что прежде посмотреть надо, не очень ли она шумная, а потом уж на всю жизнь связываться.

Вскоре после свадьбы родился у Дуни сын, называли его Климом, а отец с первого дня начал его Климом Семеновичем величать.

III

Когда Климу было уже лет восемь, Семен Петрович выстроил себе новую хату, как раз за батюшкиным двором. Врачевать он стал меньше, все больше теперь в чужих делах разбирался и, если надо, порядки наводил. Тоска его утихла.

Сын радовал, — лицом походил на него, — такой же разумный будет. Только весь он как-то шире костью удался, да и озорной очень, безудержный. Ну, да это еще не беда, — лишь бы сразу догадался, на что свою безудержность в жизни кинуть.

Клим через батюшкин двор и в школу ходил, никогда не забывал цепного пса подразнить и за косу дернуть одну из батюшкиных дочерей. Тем, пока что, знакомство между ними и кончалось.

Зато старшие, — отец Лаврентий и Семен Петрович, — жили не только как добрые соседи, но и как большие друзья. Отец Лаврентий любил пофилософствовать и в самый корень вещей углубиться. А для таких разговоров Семен Петрович был собеседником незаменимым: он ведь и к самому простому делу подходил издалека, отыскивал, откуда начало ему и какого оно корня.

Особенно часты их беседы бывали в зимние сумерки, когда отец Лаврентий, уже отдохнув после обеда и дожидаясь вечернего чаепития, бывал в отменно философском настроении духа. Усадит он соседа у себя в кабинете, сам опустится на стул против письменного стола и начнет сначала вопросы задавать.

— Так как же, Семен Петрович, значит, по-твоему, что человек, что скот, — все единственно?

Семен Петрович знает заранее, что каждый разговор у них приблизительно так начинается, и степенно разъясняет батюшке, что, может, разница какая и есть, но вот сколько народу прошло через его руки, а в строении тела человеческого он никак не мог найти ничего такого, что могло бы почитаться вместилищем души:

— Все так же, как и у скотины.

На это батюшка засмеется добродушно и начинает убеждать Семена Петровича, что душе никакого органа особого не надо:

— Читал, небось, что дух дышит, где хочет?

Так полегоньку и поспорят до того времени, когда окна станут уже совсем сизыми и черты лиц собеседников расплывутся в сумраке.

Тогда послышится из столовой стукотня посуды, Семен Петрович возьмется за шапку, а батюшка пойдет чай пить.

Батюшкин дом выделяется из всех станичных домов. Клим однажды по поручению отца был в комнатах и все разглядел. В зале полы воощеные, очень чистые, и по ним полотняные половички от двери и до двери постланы. Перед окнами на высоких подставках фикусы стоят, а на подоконниках герань в горшках. У стенки пианино, на нем фотографические карточки аккуратно расставлены. Стол посередине комнаты застлан вязаной скатертью с хитрыми узорами.

И в других комнатах тоже чисто, все блестит, везде салфеточки вышитые.

Летом Клим из своего сада через забор часто видал, как вся семья батюшкина на балконе чай пьет. На столе скатерть белая, вазочка с вареньем или с медом, хлеб сдобный и огромный начищенный самовар.

От всей жизни, словом, веет уютом и домовитостью.

Про отца Лаврентия надо вообще много рассказывать, чтобы сразу его жизнь понятной стала. В Хлебной был он первым человеком и уважением всеобщим пользовался, и несмотря даже на малый грешок, который за ним водился. Такой был человек разумный, дельный, станичные дела хорошо понимал, с учителями в ладу жил, не кляузничал.

Только беда его была в том, что овдовел он рано. Оставила ему покойница жена двух дочерей погодков, — Олю и Наташу. С год он сам с ними

возился, — старая стряпуха помогала. Но потом, видно, одиноко жить не по силам ему стало: появилась в его доме некая домоправительница, Марья Андрониковна, женщина хозяйственная, разбитная и лицом довольно приятная, — только суховата немного.

Стали девочки выбегать на улицу всегда причесанные, в чистых платьях. Варенья и соленья заполнили батюшкину кладовую, как и при покойной матушке не заполняли. А всякая натуральная плата за требы сильно повысилась, потому что Марья Андрониковна на малость какую и смотреть бы не стала.

И батюшка был очень доволен своей жизнью, хотя по станице сплетничали о нем и даже архиерею доносили. Но архиерей принял во внимание, что двум малолетним девочкам нужно женское попечение, и тем дело и окончилось.

Оля была годом моложе Клима, но по виду можно было думать, что между ними разница в годах гораздо больше. Клим был широкоплечий, сильный, большой, с грубым голосом и быстрыми движениями. А у Оли были такие тонкие руки, что просто палочками казались. Глаза большие и будто потушенные, грустные. Наташа была хоть и моложе, да живет как-то, здоровее.

Клим относился к девочкам с презрением, любил их дразнить, в игры с ними не вступал. Просто даже стыдно было подумать, чтобы с ними всерьез, как с равными в игру войти.

А девочки не обращали на него никакого внимания, — много их, удальцов, из школы мимо них бегало.

Только раз, когда Клим на площади поссорился с другим мальчиком и к удовольствию школьников начал его жестоко избивать, в окошке батюшкиного дома появилась голова Оли, и она спокойным голосом сказала ему: — Брось, Клим. Смотреть противно.

И он бросил. Сам не знал, отчего бросил, — послушался глупую девочку. Да и голос этот ее спокойный надолго запомнил.

Потом он на себя страшно зол был.

А на следующее утро, идя в школу и встретив во дворе Олю, он подошел к ней сам первый и задорно сказал:

— Ты что, дура, меня не боишься?

Оля ничего ему не ответила и молча ушла в дом.

Это совсем озадачило Клима, и он решил добиться от девочки признания своего превосходства. Тут впервые проявилась вся его неистовость.

Сначала он просто хотел из-за угла напасть на нее и вздуть хорошенько, чтобы долго помнила. Потом решил, что не такая уж она дура, — и без трепки понимает, насколько он сильнее ее.

Тогда захотелось ему проявить себя перед Олей каким-нибудь невероятным геройством. Он долго думал, что бы ему устроить такое, чего еще никто не устраивал.

Наконец, пришла ему мысль: надо выкрасть из конюшни станичного правления племенного жеребца, прокатиться на нем перед батюшкиными

окнами. Жеребец был строгий, — только лучшие наездники решались на него садиться, — это вся станица знала.

Клим стал все свободное время проводить около станичного правления, поджидая случая, чтобы вывести жеребца незаметно. Наконец, такая минута подошла. Тихо, никем не замеченный прокрался он в конюшню, отвязал жеребца, тут же в конюшне вскочил ему на спину и вылетел стрелой через пустой двор на площадь.

Жеребец сразу почуял, что седок на нем неопытный и, раздувая ноздри, помчался вдоль улицы. Пыль поднялась столбом.

Клим вцепился обеими руками в гриву коню и чувствовал какой-то совершенно дикий восторг от бешеной скачки.

Собаки неслись за ним с громким лаем.

Через несколько мгновений станица была позади. Пшеничные степи раскинулись перед Климом. Ветер свистел в ушах и четко раздавался топот копыт по дороге.

В правлении быстро заметили неладное. Но пока снаряжали погоню за беглецом, прошло некоторое время. И казаки, выехав за станицу, увидели, как далеко перед ними в степи несется жеребец, уже скинувший всадника и наслаждающийся полной свободой.

Его поймали с трудом. А Клима принесли к отцу без памяти, с окровавленным лицом и исцарапанными руками.

Когда он немного поправился, Семен Петрович сильно избил его. Но так колдун и не мог добиться, зачем его сын пустился на эту затею.

А Клим в это время, принимая отцовские побои и чувствуя еще невыносимую боль от падения, думал мучительно, узнали ли о его подвиге в доме Малаховых.

Оля, встретившись с ним через некоторое время, ничего не сказала, а Наташа прошептала задорно:

— Скакун...

— Значит, знает, — подумал он, — теперь уж, пожалуй, и задаваться не будет.

Наступило между ними полное перемирие, но все же более близкого знакомства не начиналось.

Прошло так лето. Семен Петрович начал пахать озимые. Клим ему помогал, пока в школу ходить не надо было. В станице бывал мало, — все с отцом в степи.

Только кончили пахать, — батюшка заболел, — послали за знахарем.

Семен Петрович его внимательно осмотрел, потрогал ему живот, кое-где сильно помял. Потом принес из дому всяких снадобей и долго учил Марью Андрониковну, что после чего давать и какие припарки класть.

На следующий день отцу Лаврентию стало хуже. Семен Петрович начал злиться, дал новых лекарств и велел написать батюшкиной сестре, которая жила где-то далеко, чтобы она приезжала, потому что в доме лишние руки могут понадобиться.

И на следующий день батюшке не полегчало. Так длилось с неделю.

Наконец, Клим заметил, что отец его пришел от Малаховых прямо как туча черный. Только пообедать успели, как он велел Климу бежать к Марье Андрониковне, узнать, не случилось ли чего.

Клим скоро вернулся, — Марья Андрониковна сказала, что все по-старому.

Перед вечером Семен Петрович опять послал Клима к Марье Андрониковне за новостями, — видно, очень тревожился, ждал чего-то плохого.

Клим только вошел в столовую батюшкиного дома, как увидал, что происходит что-то неладное. Марья Андрониковна, красная и запыхавшаяся, тащила сундуки на балкон, носила огромные пуховые подушки. В следующей комнате, где лежал отец Лаврентий, Клим заметил, что весь письменный стол перерыт, ящики выдвинуты, бумаги валяются на полу.

Он взглянул на больного, — глаза закрыты, тонкие восковые руки недвижно лежат на одеяле, и только ноги, покрытые еще теплым платком, слабо вздрагивают.

Климу стало жутко. Он стрелой кинулся из комнаты. Отцу сказал, еле переводя дух:

— Он кончается, она грабит, а девочек нету.

Семен Петрович еще сильнее нахмурился, быстро взял шапку и палку и вышел на двор. Клим решил идти за ним. С отцом ему было совсем спокойно: он знал, что все будет как надо.

Теперь он особенно отчего-то обратил внимание, как в столовой кружатся мухи над вазочкой с медом и как сдернута скатерть с одного края стола.

Семен Петрович несколько раз сильно стукнул палкой, но все же им навстречу никто не вышел. Только через несколько минут распахнулась дверь и на пороге появилась Марья Андрониковна с новым тюком всякого добра.

Семен Петрович остановил ее:

— Ну-ка, покажи, красавица, много ли успела натаскать.

И двинулся на балкон.

Там стоял большой сундук, наполовину пустой. В него, видимо, складывались приносимые вещи.

Солнце в это время сбоку ударило в цветные стекла балкона. Семен Петрович вышел на крыльцо, пристально всмотрелся в пылающий закат и обернулся к Марье Андрониковне, стуча палкой по каменному полу балкона:

— Смотри, — видишь солнце, еще полвершка до земли осталось. Пока будет хоть кусок солнца на небе, — грабь, — ты свое заслужила. А как солнце скроется, — чтоб ноги твоей больше здесь не было, — остальное детское.

Марья Андрониковна без колебания и сразу уверовала в право колдуну разрешать и запрещать ей. Она кинулась быстро в комнаты, чтоб до заката успеть вытащить хоть что-нибудь.

Семен Петрович пошел к отцу Лаврентию.

Теперь Клим увидал тут и девочек: они стояли в ногах кровати, прижавшись друг к другу.

Клим стало до боли жаль их, и казалось ему, что он чувствует сейчас, как свою, каждую их мысль. Он знал, что им страшно. И страшно оттого, что вот между ними в этой комнате лежит человек, так недавно такой родной, такой близкий, а теперь уже отгороженный от них каким-то непроницаемым кругом, который очертила вокруг него приближающаяся смерть. И оттого, что она была так близко, они уже не могли различать, где жизнь властвует и все по-настоящему, а где воцарилось мертвое, чужое, необычайное.

Климу хотелось плакать, смотря на них. Он прижался к печке и старался быть совсем незаметным.

Семен Петрович посмотрел внимательно на больного и тихим, но спокойным голосом сказал девочкам:

— А вам здесь сейчас делать нечего. Клим, уведи их пока в сад.

Потом помолчал и добавил совсем ласково:

— Вы, красавицы, не бойтесь. Вот я вам моего Клима и на ночь в сто-рожа оставлю. Страшного ничего нет.

Дети с Климом молча вышли.

В саду сели на скамейку в самой дали и тоже продолжали молчать.

У Клима что-то щипало в глазах. Он тихо дотронулся до Олиной руки и сказал ей:

— Если бы я знал, что такое будет, никогда бы тебя не обидел.

Она ответила тоже тихо:

— Я знаю, — и даже попыталась улыбнуться.

Потом опять наступило молчание.

Через час, когда подвода уже отвезла вещи, предназначенные Марье Андрониковне, и в доме засветились огни, Клим услышал, что отец зовет их с балкона. Они подошли быстро и волнуясь.

— Дети, батюшка приказал долго жить.

Наташа слабо вскрикнула, Оля низко опустила голову.

Прошли в комнату, где лежал покойник. Девочки плакали. Клим кусал себе губы и удивлялся, что у отца Лаврентия стало совсем незнакомое лицо, — еще более сухое, чем час тому назад, но какое-то очень важное.

Потом наступила ночь. Семен Петрович ушел домой. Клим свернулся калачиком на тюфяке в комнате Марьи Андрониковны. А девочки легли вместе на ее широкую кровать. Им обоим отчего-то казалось, что так, не в своей комнате, не на обычном месте, будет легче. Вообще сейчас должно быть все не так, как всегда, — даже на своих постелях спать нельзя.

Лампада горела перед образами, то потухая, то вспыхивая ярко. Пахло какими-то травами и было очень душно. В углу жалобно жужжала муха, попавшая к пауку. А через затворенную дверь доносился голос дьячка, читающий псалтырь над покойником. Слов нельзя было разобрать, — слышалось только непрерывное гудение. Этот голос долго мешал Климу вслушаться в то, о чем шепчутся, изредка всхлипывая, девочки. Наконец, он уснул.

Утром осторожно, чтобы не скрипеть, отворил он двери и вышел из комнаты, когда девочки еще спали. После полумрака его ослепило яркое солнце, и особенно бросилось в глаза, как блестит пол в гостиной, как вы-

тянулись цветы по окнам. Ничего не изменилось, — все было так же аккуратно и чисто, как всегда, — будто в доме и не царил теперь смерть.

К девочкам днем приехала тетка. Тянулись панихиды. Потом отца Лаврентия хоронили. Клим шел за гробом, насупившись.

Потом через два дня Семен Петрович сказал дома жене:

— Тетка-то завтра батюшкиных девочек к себе отвозит.

Клима эта новость поразила невероятно.

Вечером он пробрался к батюшкиному забору и стал ждать.

Вскоре он увидал, как в саду мелькнуло Олино платье. Он ее окликнул.

Она подошла и первая начала говорить:

— Это хорошо, Клим, что ты здесь. Мне тебя очень нужно.

Он покорно наклонил голову.

— Знаешь, Клим, о чем я хотела сказать тебе...

И замолчала, будто стыдно стало...

А потом зашептала еще тише:

— Знаешь, Клим, когда ты вырастешь большой, займешь мне, пожалуйста, Индейское царство.

И Клим серьезно ответил:

— Завоюю...

Потом подумал и уже не так решительно добавил:

— А какое оно?

— Не знаю, — сказала Оля, — только это очень далеко и на всех крышах там колокольчики.

Тогда Клим повторил опять:

— Завоюю...

А на следующее утро они уехали.

IV

Настало для Клима тоскливое время, — все будто в станице чего-то не хватает. Озорничать он сильнее стал, задирали школьников, с матерью начал воевать. И только ему по душе было, что все свободное время шататься по степи: сядет, бывало, на какой-нибудь курган и смотрит, как ястреб в небе кружит. Так часами и просидит на одном месте.

Мать на него часто жаловалась, а Семен Петрович по-прежнему сыном доволен был. Видел он, что в Климе есть дух, который его и на большие дела натолкнуть может. Конечно, понимал, что при его необузданности на пути и пропасть легко.

Время тянулось все же скоро для Клима. Осенью опять в школу начал ходить. По вечерам стал много читать, книжки из школы брал. Мысль у него часто являлась, — вот он человек станичный, — станичная и наука у него, — трудно дальше куда-нибудь сунуться. А Оля теперь в городе. Там все это легко. Придет, пожалуй, через несколько лет такой умной, что с ним и говорить не станет.

Весной он однажды спросил отца:

— Ну, батюшка, а как кончу школу, что ты со мной делать будешь?

Семен Петрович вопросу не удивился и сразу ответил:

— Учись хорошенько, — я тебя потом в город отдам, в фельдшерскую школу.

Клима ответ обрадовал:

— Фельдшер, — это уж не просто станичник. Даже, поди, умным надо быть, чтобы фельдшерское дело хорошо понимать.

На Страстную и на Пасху пахали. От весеннего ли воздуха, от тонкого ли духа согревающейся земли или от ветра, слабо шевелящего зелены, Климу стало тоскливо. Раньше он тоски такой не знал, — будто веревкой к самому сердцу привязалась, — тянет за собой, неизвестно куда тянет, — лишь бы дальше за нею, непонятной, идти, не сворачивать.

Детство уходило. Детские годы, — годы, когда на свете праздники бывают. Заранее знаешь, что вот Пасха или Троица близится, что для большого дня и солнце будет светить по-особенному, — белым светом таким, и люди особенными будут, — будто украшением торжественным празднику. Чувствуешь, что вот совершается он, праздник этот, заранее ожидаемый.

А уйдет детство, — наступает обманное время. Торжество исчезает из дней жизни, праздники становятся праздниками только по имени. И великую волю должен иметь человек, чтоб в жизни своей яркую Пасху и Троицу зеленую создать. И от трудности этой юность человеческая всегда тоской, как огонь пеплом, подернута, — от детского опыта не оторвалась и не достигла еще праздника зрелого достижения.

Стал Клима уже и не по-мальчишески о своей жизни задумываться. Отцовская черта сказала: захотелось ему поискать себе лучшего удела. Всю жизнь-то на краденном жеребце не проскачешь, а надо бы что-нибудь в этом роде, чтобы народ вокруг кричал и удивлялся, а сердце в груди сладко замирало и несло на краю гибели. Иначе не мог Клима думать о жизни своей, иначе она ему, пожалуй, и не дорога была.

Летом Клима сворачивал с дороги в степь, где колосья выше его ростом были, ложился между ними так, что его и найти нельзя, и смотрел, не мигая, в глубокую синеву небесную, пока небо не казалось ему темным и тяжелым, будто готовым упасть на него, а звяканье кузнечиков не сливалось с медленными ударами сердца в один общий гул. Тогда он засыпал под солнцем.

К вечеру возвращался домой, ел лениво, молчал или перебранивался с матерью.

Однажды в августе неожиданно приехали в Хлебную девочки с теткой. Она должна была кончать дело по батюшкиному наследству: дом хотела сдать новому священнику.

Олю Клима видел мало. Однажды, оставшись с нею наедине, он спросил ее серьезно:

— Тебе нравятся фельдшера?

Она не сразу сообразила, чего он от нее хочет, но потом все же решила, что фельдшера ей нисколько не нравятся.

Для Климa вопрос о фельдшерской школе был, таким образом, решен отрицательно. И снова не знал он, как же ему со своей жизнью порешить.

А решать надо было, — кончилась станичная учеба.

Долго резонились с Семеном Петровичем. Наконец, сговорились на сельскохозяйственном училище. Да и то Клим согласился, чтобы больше не спорить, — душа у него и к сельскохозяйственному мало лежала.

Но город поразил его первоначально. И без всякой школы в то время в городе многому научиться можно было.

Потрясало государство Российское. Нежданно и способами неведомыми били японцы многомиллионный русский народ на полях Маньчжурии и на волнах желтого океана своего.

Мукден ли и Цусима были причиной пылающей лихорадки, которую мучилось государство Российское, они ли занозили народное тело ядовитой занозой, — или, обратно, — прорвалась боль и мука народная кровавым нарывом там, за Уральским хребтом, за далеким Байкалом, в гаоляновых степях чужой страны? — Не все ли равно?

Поверженным в горячке было Российское государство, и народ его, всегда спокойный и притерпевшийся, как спокойна бывает кровь в жилах у здорового и ленивого человека, — народ его забурлил и задвигался, шумным потоком понесся по родным пшеничным полям, поднялся валом грозным, чтоб опрокинуться пеной, чтобы смести и уничтожить все бывшее.

Так чувствовали все. Так чувствовал и Клим.

Нужды нет, что попал он в город чучелой станичной, ничего не знал и в мудрейших науках никак не был натаскан. Нужды нет, что поначалу весь огонь его никому не был нужен.

Шептаться он по кружкам всяческим никак не умел, рефератов о Марксе с Энгельсом не только не мог написать, — а даже и чужих понимать не осиливал. Зато естеством своим, всею безудержностью природной был он частью общего кипенья. Весь в это ушел.

Он бывал везде, — в кружке украинцев, где по-русски говорить было не принято и где пели трогательные песни, и в кружке молодого помощника присяжного поверенного, который заставлял гимназистов читать рефераты по политической экономии, и в каком-то аграрном кружке, и на каких-то партийных собраниях.

Сначала ему быстро все это и наскучило, — что в школе уроки, что в кружках рефераты, — разница малая.

Но тут как раз война прикончилась, — из подпольных мышинных щелей, из опротивевших кабинетов поток вырвался на улицу, — началась революция. Уже никто не спрашивал:

— Что ты знаешь?

А только:

— Что ты можешь?

Клим же мог все: литературу распространял, листки расклеивал, из-под стражи политического освободил с самой беспримерной отчаянностью. На митингах даже выступать начал, — правда, уж под самый ко-

нец, под нагаечный свист, когда не умные слова требовались, а азарт безудержный, — так председатель ему и слово давал:

— Товарищ Барынькин, вам принадлежит последнее слово.

После уж начиналась потасовка самая настоящая.

Так длилось, пока в город не были вызваны войска. Начались обыски и аресты. Клим исключили из училища.

Надо было ехать домой.

Мелькнула у него мысль уйти в подполье, так продолжать работу. Он пошел к одному товарищу, человеку бывалому, за советом.

Тот выслушал его доводы серьезно и сказал:

— Я вас, Клим, очень хорошо понимаю и советую вам все это бросить. На революционной работе скоро истреплетесь и станете простой клячей. Волна пошла сейчас на убыль. Пока что учитесь, готовьтесь, — из вас может выйти и большой человек, и большой революционер.

Клим пробовал спорить, но товарищ сказал ему уже строго, что он употребит все свое влияние на партию для того, чтобы она отказалась от услуг Клим.

Клим ушел от него злой. Долго бродил по улицам и размышлял, как ему быть. В одном он был согласен со своим собеседником, революционная волна заметно шла на убыль. Значит, опять вся работа уйдет в подполье, опять начнутся кружки с рефератами, пустые слова, — это скучно и ни к чему. Он решил ехать домой.

Дома отец встретил сурово, хоть и ничего не сказал.

Но после всего, что было, он просто не знал, куда ему девать себя. Читатель и подучиваться не хотелось. Хоть и понимал, что просто он неграмотный человек и так ему дороги дальше нет.

Да какая теперь дорога, когда революция кончилась и ничего больше нет такого, чтобы манило его. За этот год, буйный и бешеный, он от всякой учебы бесповоротно отошел.

Начал Клим озорничать вовсю. Даже напиваться стал. И более взрослые парни не могли с ним в озорстве потягаться. Девчата на улице стали его избегать. А ему будто и нравилось, что на него с опаской посматривают, — он еще сильнее старался показать себя.

Семен Петрович начал хмуриться, — впервые ему показалось, что из сына его толку не будет, — не найдет он себя.

Так шло время...

Однажды в весенний вечер увидел Клим, что к дому Малаховых кто-то подъехал. На минуту мелькнуло у него в мыслях, что, может быть, это Оля, но он сразу отогнал от себя такое невероятное предположение. Спокойно вернулся домой, а вечером с компанией парней пошел по улице. Всех встречных задирает. Песни орал. Хотя пьян не был, но со стороны всем мог пьяным показаться.

И опять, возвращаясь домой, подумал, что вдруг правда девочки Малаховы приехали.

А на следующее утро он действительно в батюшкином саду увидел Олю. Она тихо шла с семинаристом, сыном нового священника, и о чем-то разговаривала. Клим она не заметила.

Он зато разглядел каждую черту ее лица. Высокая стала, но худая, как и раньше; смуглая, глаза большие, не блестят совсем, будто смотрят куда-то далеко.

У Клим стало радостно на сердце, но в следующую же минуту он возненавидел семинариста и решил его избить при первом случае.

Потом он залез на сеновал и лежал там долго. Ему казалось, что исполнилось теперь то, чего он раньше ждал: Оля стала совсем городской барышней, — с ним говорить не захочет. Таким городским девицам только и понятны, что пустые слова, как, наверное, этот семинарист несчастный ей говорил в саду. А Клим любит дела, пустые же слова ненавидит.

Через два дня на площади произошла драка: Клим избил батюшкиного сына, — кинулся на него даже без предварительной ссоры. Все, кто был рядом, говорили, что он был совсем как бешеный, — даже глаза кровью налились. Потом и его изрядно помяли.

Ночью он лежал опять на сеновале и чувствовал такую злобу и тоску, что даже проклятой луне погрозил в окошко.

Он решил по возможности с Олей не встречаться.

— Уж теперь, поди, целая Ольга Лаврентьевна, — подумал он со злостью.

А наутро, только с сеновала успел слезть, — злой, трепанный, с сеном в волосах, — как у себя же на дворе Олю встретил. Он сначала чуть не убежал, — так ему все вдруг противно стало.

А она спокойно подошла к нему, протянула руку и сказала, обращаясь на вы:

— Про вас, Клим, чего только тут не рассказывают. Правда ли это?

— Чего рассказывают? — огрызнулся он. — А мне-то какое дело? Живу, как хочу.

Теперь, наверное, она обернется и уйдет, как тогда в детстве, когда он ее обругал.

Но она не ушла, а, дотронувшись до плеча Клим, так же спокойно сказала:

— Пойдем поговорим, как в старину, — и повела его в свой сад.

И Клим пошел покорно, не умел не пойти.

Сели на ту самую скамейку, где сидели, когда отец Лаврентий умирал. Оля смотрела внимательно и без злобы.

— Чего вам неладно так? Чего вы хотите?

Клим продолжал злиться. И начал он ей отвечать сначала, главным образом, для того, чтобы показать, каким он теперь совсем другим человеком стал, — настолько другим, что, пожалуй, не о чем им и говорить. Он будто хвастался своим озорством, выискивал каждую мелочь, которая могла бы покоробить Олю.

Но потом он увлекся сам своим рассказом и уже попросту стал говорить, как в сельскохозяйственном училище революцией занимался, как весело было в минуты, когда самый большой риск настает, как он хотел этому делу весь отдаться, как ему в станице тоскливо, как не знает он, на что ему свою жизнь деть.

И Оля слушала так, что Клим был уверен, — она все понимает, она даже за битого семинариста не сердится, — да и куда семинаристу до нее?

Кончил он рассказ свой, а потом взял ее за руку, — совсем осмелел, — и промолвил:

— Понимаете, Ольга Лаврентьевна, простору мне нет, душно мне. И неужели же сейчас на земле никому подвиги не нужны? Просто счастьем было бы, если бы кто-нибудь сказал: Клим, соверши невыполнимый подвиг.

Тут и Оля ответила впервые на все его слова:

— Значит, корабль ваш уже совсем оснащен, а реки-то поблизости и нету.

Она любила так, красивыми словами, говорить.

Это понравилось тоже и Климу.

— Да, реки нету. На всякую реку согласен бы был, — хоть кровавую, — лишь бы плыть.

Оля остановила его:

— Это все уж лишнее. Вам, наверное, подождать придется... Очень мне хочется сказать вам что-нибудь такое, чтобы вам легче стало. Да не знаю... Разве вот что, — если, впрочем, это для вас значение имеет, — по-прежнему в вас верю и не прощу вам, — слышите, не прощу, если вы зря свою жизнь потратите.

И видел Клим, что она и вправду не простит, — такое лицо у нее вдруг сердитое стало. Он молчал.

А Оля только прошептала:

— Ну, прощайте, — и быстро пошла к своему дому.

Клим еще остался сидеть на скамейке в батюшкином саду. Задала ему Ольга Лаврентьевна загадку. С какого конца решать начинать, — не придумаешь.

Потом встречались они еще, но мельком. А в середине лета обе сестры уехали к подруге гостить.

На прощание Оля просила Клима писать ей, но он сразу решил, что писать не будет, потому что слишком много ошибок делает, — еще засмеет его она.

V

Стали Оля с Наташей в городе жить. Быстро почувствовали себя совсем другими людьми. Слишком много пришлось насмотреться, слишком сильно пришлось хлебнуть и радости и печали.

Радость первая и самая большая, — они взрослые, гимназия позади, впереди широкая, необъятная жизнь.

Радость вторая, — из скучного уездного города переехали они в Петербург, людей узнали таких, о которых раньше только в книгах читали, жизнью живут такой, какая раньше им и не снилась.

Печаль самая большая, — что и старуха тетка умерла теперь, — одни они остались на всем Божьем свете.

Печаль другая, — что много мыслей, и сил, и времени отдавать надо на то, чтоб себе ежедневное пропитание зарабатывать.

Так просто сказать об этих радостях и печалях, — будто и нет ничего особенного, — а переживать их трудно, ох, как трудно; по-новому надо на весь мир взглянуть, чтобы в себе силы найти все как следует рассудить и на свое место приспособить.

Наташа как-то ловчее оказалась: кончила зубоврачебные курсы, к какому-то дантисту в помощники поступила. Днем чужие зубы ковыряет, рубли собирает, а вечером в театр пойдет, в концерт или просто в гости поговорить с людьми о разных вещах.

А Ольга человек путанный. Все ей мало. Все чего-то огромного хочет. Вот обидел ее Господь, что крыльев не дал, — она бы уж полетать сумела. А так, на простые земные дела у нее охоты никакой нет. В театральной школе была. Понятно каждому, что от театральной школы толку большого быть не может, а она все же поступила туда, полгода зря потратила, потом только за ум взялась и бросила.

Поступила просто в какую-то контору на машинке стучать, — лишь бы о зароботке не было неотступной мысли, лишь бы хоть как-нибудь проканителить время до того, до главного, что в ее жизни непременно быть должно.

Наташа просто говорит:

— Замуж выйду за кого-нибудь. Все, мол, замуж выходят.

А Оля так не скажет, потому что любовь у нее не простое дело житейское, а такое, что только избранным душам дается и что всю жизнь воспламенить должно.

Когда война началась, Наташа со своею зубодерной наукой и на фронте понадобилась. А Оля на войне не нужна, да и война Оле тоже ни к чему.

В то время началось в ее жизни то, чего она ждала, — пламень этот, который должен был все спалить.

Надо заметить, что уж в эту пору она о станции Хлебной и не вспоминала.

А началось вот что, — любовь. И как началось, — сказать нельзя, потому что теперь Оле кажется, что так эта любовь всю жизнь с нею и была.

Господи, целую вечность, — год тому назад, — познакомилась она с ним, с Акинфиевым, с Сергеем Сергеевичем. Теперь вспоминает, что с первого слова поняла, куда это знакомство приведет. А тогда даже Наташа ничего в ней особенного не замечала.

Акинфиев был присяжным поверенным, старше Оли лет на двенадцать; даже волосы на висках начали у него раньше срока серебриться. Говорить он умел очень хорошо и даже возвышенно, и казалось Оле, что он

умел каждую ее мысль возвысить. И была Оля перед ним маленькая и глупая, — вся в один комок собранная, — вот кинется этот комочек к ногам Сергея Сергеича, — делай, мол, со мной, что знаешь, — я сама себе не нужна, а если тебе понадобится, так радости большей не надо.

Сергей Сергеич смотрел на нее благожелательно и принимал всякое ее такое кидание ему под ноги, как нечто естественное и непротивное ему.

Когда же один раз они вдвоем весною гуляли по островам, он даже сам очень возвышенно и тонко сказал ей, что любит ее, что готов ей посвятить всю свою жизнь, если бы еще больше, — больше всего на свете не любил бы свободы своей.

— Вот, — говорит, — как этот ветер, что с моря дует, свобода моя. И променять ее ни на что не могу и не хочу.

А потом опять о том, как ее он любит.

Оля сказала ему, что понимает его очень, что никогда не посмеет после этого о его свободе подумать с жадностью, что подчиняется его воле, потому что для нее самая большая радость знать, что он ее любит, так как у нее в душе кроме любви к нему ничего другого и не осталось, — вся в эту любовь претворилась.

И за руку шли они домой. А у Оли был такой сияющий вид, и такой вместе с тем скорбью мерцали ее глаза, что ни один прохожий, наверное, не мог бы сказать, что это, — невеста ли радостная встретила его на пути или вдова неутешная.

Сергей же Сергеич продолжал ей много говорить о своей любви и свободе, сам не понимая, что этой свободой делает он ее рабскую, а любовью лишает любви.

И после этого разговора начала Оля гореть, — того, наверное, и хотела, когда о пламени мечтала.

Сидит в своей конторе с желтыми стенами, стучает на машинке и сама не понимает, что стучает, — буквы сами ложатся на бумагу. Ей же легко на душе и пусто. Правда, только крыльев не хватает, чтобы свой огонь яростный до самого неба донести.

А старый конторщик посматривает на нее, поглаживает бороду, улыбается тихо. И грустно ему почему-то на нее смотреть, — даже сердцу больно. Или свою молодость далекую вспоминает, или видит, как сжигается Олина душа в пламени любовном.

Так жила Оля, — без ответной любви и без свободы.

А Сергей Сергеич жил и с любовью, и со свободой. Ему душу пламя не сжигало. Свобода его слагалась из многих составных частей: из длинных речей, произносимых им в суде в качестве защитника, из таких же длинных речей, произносимых в заседаниях комитета партии народной свободы, из частых посещений букинистов на Литейной, где он покупал редкие книги, из вечной радости, что у него в кабинете так чисто и так тепло, и так располагает к работе, и, наконец, из права прийти вечером в комнату к Ольге Лаврентьевне, целовать ее руки и смотреть в ее большие, немигающие и неблещущие глаза.

Сергей Сергеич дорожил своей свободой, потому что считал себя человеком общественным, призванным служить отечеству. И на самом деле он хорошо мог рассказывать, что отечеству нужно будет послезавтра и какими средствами этого нужного добиться. Вот насчет завтрашнего дня у него не все так благополучно было: никак не мог он найти того мостика, который соединяет существующее с должным. И происходило это, наверное, от того, что мостик такой дается только волевым людям, а у Сергея Сергеича в душе воли-то настоящей и не было, хотя о воле он много любил говорить и считал себя носителем ее.

Может быть, и Олину любовь отверг он, главным образом, потому что хотелось ему лишний раз в своей воле убедиться: хочу, — люблю, хочу, — и запрещаю себе любить.

Тут-то ему удалось волю свою проявить потому, что от непривычного отказываться ему легко было, а к привычкам своим был он сильно привязан. От них, пожалуй, — от своего спокойного кабинета, от речей своих длинных и от пыльных магазинов Литейных букинистов, — отказаться бы не сумел. Жестокая вещь, — воля железная, — все на своем пути дробит и ломает.

А пожалуй, еще жесточе эдакое вот стремление к воле, без стержня внутреннего: все вокруг покалечит, — не доломает, не уничтожит, вечно теплит надежду, что все еще может на хорошее повернуться, вечно тербит, покою до самой смерти не дает.

Так и у Сергея Сергеича выходило.

Сильный человек, волевой, сразу сказал бы Оле:

— Не быть мне связанным с вами на всю жизнь, — просто потому, что я вас мало люблю. А чтобы не мучиться вам, надо нам с вами навсегда расстаться.

Оля бы страдала долго и сильно, но уж знала, что этого слова изменить нельзя.

Сергей Сергеич и от любви ее отказался, и не отошел от нее. Так и осталась она рабою его, калекой.

Но она-то, конечно, этого не замечала, — где заметить, когда вся душа пламенем переливается?

Она вообще ничего не замечала, — ни того, что война уже третий год продолжается, и по улицам то и дело полки на фронт идут, ни того, что еще что-то новое надвигается на Россию, шепчутся люди, довольных нет, все ненавистью живут, все ждут скорого разрешения.

Осенью поздней получила она неожиданно короткое письмо от Клима. Первое письмо. Писал он так, будто только вчера расстался с Олей и живет она их последним разговором и до сих пор.

«Дорогая Ольга Лаврентьевна! Вот воюю, воюю, — и конца этому не видно. Но по справедливости надо сказать, что тут хоть и тоскливо, да не так, как в Хлебной было: река намечается. Только думаю, что будет река моя не иначе как кровавая. Зря жизни своей не загублю. Обо мне еще в каком большом деле услышите. Тем и рад буду. А какое дело, — сказать еще

не могу, потому что время наше неопределенно. Вас каждую минуту помнящий Клим Барынькин».

И за чтением этого письма застал ее Сергей Сергеич. Она ему рассказала все о Климе. И впервые начала вспоминать о детстве своем, о золотых просторах пшеничных, о житье легком и сытом, привольном и солнечном, как оно помнилось ей в станице Хлебной, — по праву столице пшеничного царства.

И странно, — Оля никак не могла вспомнить, какая там осень бывает и какая зима, — все мысли были только о золотой летней пшеничной поре.

Сергей Сергеич не очень внимательно слушал ее, а над письмом Клима посмеялся чуть-чуть: тут, мол, вот какие люди путей ищут, да толку нет во всероссийском безвременьи, — а вдруг путь этот мерещится, — кому же? — казаку простому, Климу Барынькину... Барынькину...

— Вот начнутся после войны волнения, — сказал он, — начнет нас ваш Клим нагайкой полосовать, — в герои выйдет.

Оля промолчала. Ей чудилось, что в комнате ее серой, с промозглым небом за окнами, с тяжелыми шторами, — вдруг пронеслось легкое дуновение ветра, вдруг запахло благодатной пшеницей золотой, вдруг солнце метнуло искры свои.

Но она отогнала воспоминания эти от себя: надо было приниматься за подвиг свой, — нести ношу свою непосильную, любовь безрадостную и безответную.

VI

Клим пошел на службу задолго до войны.

Сначала показалась она ему еще несноснее, чем жизнь в Хлебной. Одолеvalo то, что все по порядку налаженному жизнь строить надо, — да еще то, что он в самых младших был, — все кругом начальство, — хоть дурак, да начальство, — знай тянись перед всяким.

Служил он в Тифлисе.

Только это и хорошо было, что город новый, а жизнь вокруг не казачья, неизведанная.

В редкое свободное время шатался он по проулочкам старого Тифлиса, смотрел, как вокруг него толпа снует, — русская не русская, грузинская не грузинская, — и не поймешь какая. Армяне, татары, курды, персы, грузины, — сбор всей Азии, черноволосый сбор.

Одни в халатах ковры пестрые продают, другие в своих духанах терпким кахетинским торгуют. Персы щурят длинные свои глаза, сидят на солнцепеке в круглых бараньих шапках перед фруктовыми лавочками.

А соберется вся эта азиатчина вместе, — и толпа небольшая, — нашумят же, как целый полк солдат не нашумел бы.

Стали Клима в караул отряжать, Метехский замок сторожить.

Ночью луна в небе высоко. Кура, узкая и мелкая, будто не воду, а серые помои катит, громко гремит камнями и клокочется. А за спиной толстые стены Метехские, — в узких окошечках свет еле желтеется.

— Слуш-ай... — раздаётся в ночи; да арба за Курой скрипит, да летучие мыши бесшумно летают...

Клим любил эти ночи, — чего только он ни передумал в них, — станицу родную, правда, редко вспоминал, — больше в дали сердце его просилось, — до самой грани земной, где начинается никем неведомое Индейское царство, звенят колокольчики на высоких крышах, жизнь совсем другая, легкая, прозрачная, лишённая того груза, каким наша жизнь пропитана.

Конечно, так думал он только тогда, когда все передумано взаправданнее, когда долгий путь весь в мыслях измерен не сказочной меркой, а самой простой человеческой, — вот что завтра делать, а что послезавтра, а что после службы.

Все будто ясно. Есть такие пространства в пути, что, пожалуй, и тяжельки для него, простого станичника будут, — ну, да лишь бы время скорее бежало, лишь бы не мешкать в пути.

С товарищами своими по службе Клим ладил очень. Его любили за удалство и побаивались, пожалуй, за то, что перечить себе он не позволял. Вроде старшего он у них был: от него все затеи, за то ему и нагоняй от начальства.

Но особенно ему в службе противно было то, что вот военный он, — на действительной, — а все это не на самом деле, игрушки детские, канитель одна, — потому что в военном человеке толк только когда война есть, а иначе он, как соление впрок, — без толку своей очереди ждёт.

Войне обрадовался поначалу. Даже не подумал, что она ему невесть на какой срок службу затынет. В станицу возвращаться ему особой охоты не было, а уж раз приспособился к ученьям всяким, к караулам и к строю, то обидно было бы бросать это дело, не показав себе и людям, впрок ли ему это учение пошло.

Сначала их погнали на Турецкий фронт. Опять первое время казалось глупым, что главный враг и не турок вовсе, а непроходимые Армянские горы.

Но это было недолго, — скоро и турок встретили... И пошло...

Конечно, воевать страшно, но от этого, наверное, и весело. Почти то же, что на краденом жеребце скакать, — свою жизнь под пули носить. Сердце летит куда-то вниз и замирает сладко, а потом будто берег почувствуется, — выносит нелегкая, — спасение близко, — тогда уж совсем себя не помнишь, не видишь лиц противников, сгрудившихся тесно, не слышишь ничего, пока откуда-то не налетит волною — «ура» — не захватит всего, не понесет с собою дальше, дальше...

Так во время конных атак бывало, во время дела.

Хорошо тоже было во время глубоких разведок, когда ползешь между камней в темноте и все время думаешь, что рядом за утесом враги притаились. Как игра азартная, — кто кого? Вывезет ли кривая?

Но нестерпимо тоскливо бывало во время медлительных наступлений или отходов, во время стоянок и отдыха. Тут были уж такие беспросветные будни, что таких в самую даже осеннюю погоду и в станице не бывало.

Под Саракамышем Клима сильно ранило. Его часть была на фланге. В самом бою участвовала мало. И ранило Клима случайно как-то. Вообще же в полку мало было потерь.

Рана была в живот, — жар поднялся. До железной дороги его четверо суток на волах везли, — по руслу какого-то пересохшего ручья, — с камня на камень, — голова как арбуз по арбе перекачивается.

Доктора не думали, что он выживет, а он сам ничего думать не мог, потому что без памяти недель шесть провалялся в Тифлисе.

Но железный человек был Клим, — выздоровел, — медленно только дело на поправку шло.

Получил он на полгода отпуск и опять в станице оказался. С Георгием приехал, — героем.

И Георгий, и ранение, и похудевшее лицо, и более степенное поведение, — все сильно изменило отношение станичников к нему. Уж даже Климом Семенычем и вправду стал.

Отец же начал разговоры с ним, как с равным. Как-то женить его предлагал. Но Клим наотрез отказался: где тут жениться, — во-первых, война неизвестно когда кончится, а во-вторых, он еще относительно себя ничего не решил.

Семен Петрович вспомнил, видно, что и сам женился поздно, человеком уже окончательно сложившимся, и не настаивал.

Были у них и другие разговоры, — уж совсем, можно сказать, дружеские. Разъяснял Клим отцу, что война теперь всем людям дороги перепутает, и если постараться не робеть и свою линию все время помнить, то можно очень далеко пойти.

— Пойми, батюшка, каждому умирать, — хоть там и за родину, — а не хочется все же. Потому и можно выйти в самые отчаянные герои, — против всех отличиться. И не так это уж мне опасным кажется, — потому что вот ранили меня все равно что в тылу, а многие по несколько суток из боя не выходили, — целы остались. Тут, значит, все случай, — беречься не приходится.

Семен Петрович не отговаривал сына выходить в первые герои — и бесполезно было бы, и самому ему нравилась мысль, что вот найдет, наконец, Клим себе широкую дорогу, — действительно, ведь от такой небывалой войны всего ждать можно.

После отпуска пришлось Климу уже на Австрийский фронт ехать, на немецкую науку военную смотреть. Как раз вовремя поспел, когда весь его полк перебрасывали.

В Севастополе был царский смотр. Государь обходил казаков, разговаривал с ними. Клима спросил, какой станицы и женат ли, — и при этом очень застенчиво улыбнулся. Клим долго потом вспоминал его голос.

Вот человеку от рождения дорога дана. Знай, расширяй ее только. А, пожалуй, ему-то она и ни к чему, — голос такой у него и улыбка застенчивая.

Война на Австрийском фронте оказалась совсем другой, — много подлее, но, пожалуй, и легче.

Было и тут все ничего, пока наступали, брали Карпатские высоты, да и потом, когда началось отступление, — пришлось казакам тыл прикрывать, показывать себя всячески.

Но нестерпимо скучно стало, когда все остановилось и начало ждать неизвестно чего.

Кроме того, у Клима и личные его дела очень плохо обернулись. Вернулся он в полк и стал воевать сразу со всей отчаянностью и удалью, на которую только может быть способен такой безудержный человек. К концу первых боев он уже считался воякой и исполнителем приказов, какого другого и не сыщешь. Командир смотрел на него как на правую свою руку.

Дело так пошло, что стал Клим думать уже о производстве.

Однако других и хуже его произвели, а ему вместо того Георгия третьей степени дали.

В следующий срок опять не захотел командир лишаться Клима и вместо производства получил он Георгия второй степени.

Наконец, так вышло, что все самые последние вояки начали его обскакивать.

Клим злился на это, и мстительное чувство росло у него ко всем новым благородиям, которые теперь могли его заставить тянуться перед собой, а по делам были совсем ниже его.

Вот в это время на Клима опять все это прошлое нахлынуло, — стал он думать, что годы идут быстро, а толку все никакого не видно. Почувствовал он себя опять кораблем оснащенным, а реки нету.

Оля вспомнилась, к ней душа запросилась. Верит ли теперь в судьбу его или просто забыла? Ведь за такие страшные годы кто новым человеком не станет? — и она могла измениться.

Но чем чаще вспоминал он это все, тем сильнее росла в нем уверенность, что все неизменно и в Оле, и в судьбе его, — будто война не через его душу прокатилась, а только рядом прошла. И весь путь начинать надо с той точки, где он до войны остановился.

Тогда-то он и написал Оле письмо, над которым Сергей Сергеич подсмеивался.

А тут вскоре, в минуты, когда он ждал и сомневался, — река бурная где-то прорвала плотину свою, разгромила всю жизнь устоявшуюся, перевернула все вверх ногами, забурлила, заревела и, — нежданная, негаданная, — сама пенной волной своей Клима обдала, подхватила его, закружила в мутных своих просторах, понесла быстро и уверенно, так, что казалось ему, — для него она и хлопчет, для него в обломках весь старый мир по течению разметан...

Началась революция...

Клим сразу вошел в революционную работу, — сначала был избран членом полкового комитета, а вскоре стал его председателем.

Обида на обогнавших его прапорщиков укрепляла мысль, что теперь, мол, надо сосчитаться за старое, теперь все выскочки и прихвостни царского времени должны поплатиться за все. И так повел он себя, что вскоре все

они поодиночке покинули полк, — поняли, что слишком им рискованно с Климом, облеченным доверием казаков, в одном месте служить.

Но наряду со злорадством и с желанием расплатиться за все старое в душе Клима была в это время уверенность, что войну надо во что бы то ни стало продолжать, потому что без нее и воды-то в реке взбунтовавшейся не окажется.

Говорил он об этом много и очень горячо; с генералами умел даже хорошо объясняться.

Удивлялся все, что генералы эти, — люди большие и ученые, вышедшие давно на широкую дорогу, — в конце концов, такие же люди, как и все. Мало у них хотения настоящего.

А вот он... Он ли не умеет хотеть? А пока все толку мало. Начальство новое, революционное относилось к нему хорошо, — товарищ Барынькин, за руку здороваются, — а ведь и для них он такой же, пожалуй, рядовой, как и для генералов, — только рядовой от революции. Это решил Клим преодолеть, потому что и воли и ума у него достаточно было.

Преодолеть, — это значит найти свой путь, — не говорить то, что теперь все говорят, — отечество в опасности, кинжал в спину революции и прочее, — а надо сказать что-то такое, что мало еще кто слышал, что слушатели целиком на его счет отнесут, и тогда уж обязательно за ним пойдут, какой он такой, Клим Семенович Барынькин.

И надо сказать такое, чтобы каждому понятно и желательно было, очень простонародное, очень доступное всякому солдату-серяку. Потому что теперь именно в серяке все дело, а генералы всякие, — военные и революционные, — одинаково без сил, если серяку по сердцу не придутся.

Эти мысли не долго были так неопределенны в голове Клима. Революция ширилась. Война казалась ему уж и ненужной. Стали доноситься до фронта голоса большевиков.

Клим несколько времени прислушивался к ним внимательно и следил, какое они впечатление на других производят. Наконец, объявил себя большевиком, стал доказывать, что война для простого человека ни к чему и если уж воевать, то против врагов внутренних, которые хотят революцию в пользу буржуям повернуть. И кончил он тем, что провозгласил мир хижинам, войну дворцам.

Солдаты и казаки, слушавшие его, подхватили эти слова громким «ура», и он единогласно прошел в корпусный комитет, — это уж значило быть большим человеком.

Вскоре и в Петрограде стала упоминаться фамилия Барынькина, — речами своими добился он того, что целый участок фронта был в его руках.

У него же было ощущение, что он не сам даже все это совершает, что какая-то посторонняя воля овладела им, и так надо, — иначе нельзя.

Заразой настоящей становился он. Заражал солдат каждым своим словом, и сам заражался от них их злобой и усталостью, а от этого становился сильнее, всенароднее.

Тут только для полной справедливости надо рассказать со всеми подробностями, как впервые на этом его пути кровь появилась, а появившись, все дальнейшее определила. Надо рассказать это, чтобы лишних мыслей ни у кого не оставалось, чтобы были люди поначалу только в своей вине виноваты, — и ее хватит, — без всякой чрезмерности.

Поражая тех, кого он мыслил врагами народными, ежедневными своими речами, Клим постепенно стал чувствовать сам к каждому из них острую ненависть. Тем более, что в первых рядах этих врагов оставались все те же произведенные за время войны офицеры, которые все ему предателями казались.

А главное, — он внушал эту ненависть еще сильнее и острее тем, кто его слушал.

Вскоре все солдаты знали, что врагами народными надо считать всех, кто не хочет согласиться с двумя главными солдатскими требованиями: мир во что бы то ни стало и земля народу сейчас же. Всякие резоны почитались барскими выдумками, призывы к терпению — преступлением, проповедь наступления — прямым предательством народного дела.

Страсти быстро росли. Сначала они находили себе выход в многочасовых спорах и пререканиях, — но потом этого стало мало.

Молодой и горячий поручик, выступивший на митинге с речью о том, что армия обязана защищать революцию штыками от императора Вильгельма, — пал первой жертвой самосуда.

Никто не мог бы сказать даже, как это случилось, потому что к поручику относились солдаты неплохо. И Клим чувствовал, что, может быть, его ответные слова поручику были для того смертным приговором, но сам себе в этом чувстве не сознавался, потому что ведь его, — поручика, — он убивать не хотел, а говорил только вообще о том, что такие поручиковы мысли преступны.

Да и никто в отдельности из толпы себя убийцей не чувствовал.

Но, несмотря на это, всем стало ясно, что убивать легко, не только когда пули летят в невидимого врага или когда в пылу атаки не помнишь себя, но и тут, среди своих русских, когда вот был только что поручик среди них, — потом все сгрудилось, охнуло что-то, тяжело задышали солдаты, — и нет поручика, — только куски растерзанного мяса, — на одном куске погон болтается. Совсем нет поручика, — будто и не было.

И стала толпа как пьяная.

В это время на несчастье проезжал в автомобиле начальник штаба дивизии.

Остановили автомобиль, речей потребовали.

Увидел начальник штаба кровавое мясо перед своими ногами, — не так, наверное, от испуга, что-то сказал... Пьяная кровью была толпа, сумасшедшая... И убили начальника штаба, — штыком в грудь один солдат хватил.

Это уж было как-то нагляднее, явственнее, — не то что исчез, — а вот он, убийца, стоит.

Замолчала толпа. Потом медленно стала расплзаться.

Клим прямо в степь пошел, один. В висках у него стучало, и был он тоже нетрезвый сейчас. Сам даже понимал, что пьян он этой пролитой кровью. И казалось ему, что пьян он теперь как бы на всю жизнь.

К началу большевицкого переворота сила Клим была хорошо учтена в Петрограде. О нем поминал даже в какой-то своей речи и Ленин. Перед ним открывался широкий простор взбаламученного моря. Надо было только крепить паруса и точно знать, куда плыть.

VII

Быть может, во всем огромном Петербурге только Оля не понимала, какое великое чудо совершается. Поглощенная сама собой, она не видела, как запенилась жизнь, как рвется и стремится все к неизведанному. И даже Невский, летний Невский девятьсот семнадцатого года не поражал ее необычайностью своей.

Но она знала, что совершается революция, она знала это, потому что Сергей Сергеич стал приходить к ней реже и всегда как-то по-особенному взволнованный.

Сначала он радовался очень всему совершающемуся: мостик между настоящим и будущим был перекинут самой жизнью. Теперь только берись за дело и осуществляй все, о чем столько лет говорил.

Да он за дело действительно взялся: стал председателем какой-то подсекции, которая новые законы обсуждала, писал для своей подсекции доклады, оспаривал мнения председателей других подсекций. И свои дела он считал ужасно важными для отечества, — даже удивлялся, что кто-то торопит их, — жизнь теперь могла бы и подождать, пока новое здание законов выведут, по самым ученым образцам, лучше, чем в Германии, какого и в мире нет.

И уверовав в великую пользу своей работы, он как бы даже и забыл себя, — особенно ту сторону своего существа, которою был повернут к Оле. Ведь перед событиями даже любовь, — мещанство. Да вдобавок Оля так далека от всего, так не может заразиться всеобщим напряжением и восторгом.

Это его ужасно злило и раздражало в ней.

Особенно, когда революция начала забирать все выше и выше, и вдруг со всех сторон послышалось ему, что теперь он со своей работой, пожалуй, и не очень-то уж нужен, — годилась бы его работа, если бы русская история постепенный путь избрала, а так все это уж ни к чему.

Тогда он и раздражению своему на Олю полную свободу дал.

Сначала сухо и строго пытался ей доказать, что не время теперь для совместного вечернего сидения. Но она на все эти слова открывала на него шире огромные свои глаза и смотрела на него тоскливо.

Наконец, когда все во внешнем мире ему уж окончательно не понравилось и когда он почувствовал, что не знает теперь, как дальше ему быть, об-

рушился он на Олю: она оказалась во всем виноватой. Она цепями висела у него на руках, — а он человек общественный, он должен быть свободен, у него руки должны быть развязаны.

Опять только смотрела она на него жалобно.

Тогда как-то по телефону пригласил он ее к себе и просил помочь в старых бумагах разобраться.

Она пришла покорно.

В кабинете у него топился камин, но старых бумаг не было видно. Только небольшую пачку Олиных писем передал он ей, которые она ему давно писала, когда он в Финляндию отдыхать уезжал.

— Вот, Ольга Лаврентьевна, что ненужное, сжечь надо.

И присев около пылающего камина, опустив голову низко, сжигала она ненужное, — письмо за письмом, — все свои письма сожгла.

Слезы подступали ей к глазам, и мука была нестерпимая чувствовать, что он на нее смотрит, как она свои письма сжигает.

Зачем он так поступил, он и сам хорошенько не знал. Наверное, чтобы пробить ее броню бесчувственную, чтобы заставить ее понять настоящему, как она ему мешает, как уже напортила много в его жизни.

И он добился своего.

Сожгла Оля письма и сказала, помолчав:

— Я, Сергей Сергеич, в Хлебную думаю ехать, — надо посмотреть, как наш дом там. Да и в конторе моей сейчас работы почти нет, — наверное, скоро закроется.

Он молчал. Ему это было весело слушать, — хоть что-нибудь по его выходит.

Тогда Оля встала, спокойно попрощалась и на пороге только еще добавила:

— Вы помните, Сергей Сергеич, если здесь все плохо будет, в Хлебной всегда вам переждать можно. И если устанете, — тоже приезжайте туда.

И ушла.

Наташе на фронт телеграфировала, звала ее тоже в Хлебную.

В станице дом Малаховых стоял пустой. Новый батюшка давно себе другое жилище отстроил.

Оле пришлось сначала переночевать на общественной квартире. С утра только пригласила соседа одного дощатые ставни отбивать, порядок у себя наводить. Пришлось протопить комнаты, потому что было сыро, пахло плесенью и нежилым помещением. На окнах висела густым слоем паутина, и свет еле пробивался серыми лучами сквозь пыль. Мыши шуршали по углам. На полу валялись клочки бумаги и сор, — видно, последние жильцы не вымели, когда уезжали.

Оля бродила по комнатам, которые показались ей теперь гораздо меньше, чем раньше были, и вспоминала, как они жили в Хлебной. Отца вспоминала, его смерть, отъезд Марьи Андрониковны.

Даже, наверное, и не знала она, в ее ли жизни все это было или только чей-то подробный рассказ она припоминает.

В окна был виден сад, разросшийся, густой. Деревья кое-где уже сильно пожелтели. Дорожек не видно, — травой затянулись. Вообще и в саду чувствовалось что-то мертвое, к чему рука человеческая уж давно не прикасалась.

В первую ночь спать было жутковато. Мыши сильно мешали и, несмотря на топку, было очень сыро.

Эти дни Оля не думала ни о чем. Сразу слишком ясно стало, что соприкоснулись две жизни ее, — детство и юность, — и друг друга исключили, сделали друг друга чужим каким-то, только хорошо запомнившимся рассказом.

Дня через четыре пошла Оля к ближайшему своему соседу, Семену Петровичу Барынькину.

Жена его, Дуня, за это время умерла уже. Сам он постарел очень, брови на глаза нависли, борода стала почти белая. И впрямь на колдуна похож.

Поговорили о станичных новостях. О Климе Оля спросила.

Старик нахмурился:

— Люди говорят, что Клим совсем окаянным стал, — лучше его и не помянуть.

Большого Оля от него не добила.

В тишине и пустоте своего дома перебирала она все, что было с нею за последние годы, и чувствовала себя тоже тихой и опустошенной, как старейший дом.

Любовь... Любовь выжгла все в ее душе дотла и сама в этом горении погибла.

Теперь она спокойно вспоминала Сергея Сергеича, без волнения, без тоски, без злобы. Даже могла понять, что многое в нем было не такое, как надо, как ей виделось. И жестокость его к ней определила она правильно: от слабости, — все же бедный он, слабый. Где уж тут любить, когда силы у него на самое главное в его жизни не хватает.

Пожалела его, но пожалела с некоторой долей безразличия.

Сама-то она сильная, что ли? Да, сильная, потому что всю себя отдавать умеет. Не силою сильная, а напряжением своим, которое все ее существо воедино объединяет. И в любви своей была она сильной. Подумать теперь, — столько лет мучения вынести...

Что же дальше?

Пустая душа ничего не хочет. А если хочет, то такого невыполнимого, — сама даже не знает, чего.

Вот осень уже теперь, а душе хочется лета, хочется золотого сияния пшеницы, хочется пронзиться солнечным светом. Как пахнет пыль летом на дорогах, нежная, пушистая; как трещат кузнечики непрерывно; как небо могуче и глубоко. И орел широкими кругами летает над добычей. А в степи призывно стрекочут перепела, — будто незвонкие струны перебирают.

Этого всего хочется душе, — слиться с миром, забыть свою одинокую пустоту.

А тут в окна воев ветер. Дождь барабанит. И кажется, что ничего на свете не существует, кроме яркого круга на столе, освещенного лампой, кроме жалобно поющего самовара, кроме углов, тонущих во мраке.

Да вот еще на полке два толстых переплетенных тома «Нивы» за давно минувшие годы.

О, Господи, долго ли так? Или просто это томление невыносимое называется жизнью, и нет другой жизни на путях человеческих?

Легче и веселее стало, когда приехала Наташа. Она сразу перезнакомилась со всеми новыми станичными жителями, встала на сторону одних, перессорилась с другими, узнала, кто чего хочет и на что надеется, и закрутила колесо обычной станичной жизни, где время летит, летит, хотя дни отдельные и долгими кажутся.

Когда сестры оставались одни, Наташа все хотела затеять с Олей разговор об ее отношениях к Сергею Сергеичу. Но та все отмалчивалась, — не хотелось ей теребить старое, слушать Наташины наставления о том, что все это ужасно глупо, — совсем не так, как у людей полагается.

А потом и сама Наташа бросила об этом говорить, — показалось ей, что тут все кончено, что ничего от старого в Олиной душе не осталось.

С Наташей опять все сильнее и сильнее внешний мир проникал в сознание Оли. Слышала она, как люди волнуются, толкуют о новой большевицкой власти, ждуг, чем это на их жизни скажется.

Станица большевиков не хотела, но пока что притаилась, голоса своего не подымала, — авось и так беду отведет, — удастся в глуши своей отмолчаться и отсидеться. Тревожнее и темнее плыли слухи, — станичники становились все молчаливее и затаеннее.

Перед Рождеством случилось в батюшкином доме такое, чего никто ждать не мог. Подъехала таратайка захудалая к подъезду, с нее спрыгнул закутанный человек, вошел на балкон, застучался громко и решительно, в окно и в двери.

— Просто по-хозяйски, — подумала Наташа.

Сергей Сергеич Акинфиев пожаловал.

Оля встретила его ласково, но совсем спокойно.

— Как мертвая, — подумала опять Наташа.

А Сергей Сергеич с первых же слов, злясь и брызгаясь слюною, начал рассказывать, как дело с большевиками вышло, как он раньше говорил, что так нельзя, как никто его слушать не хотел, и кончил, наконец, тем, что вообще русский народ, — удивительный подлец.

И с тех пор ежедневно повелись у них такие разговоры.

Наташа с ним спорила. Оля молчала, жалела и его, и русский народ весь, и чувствовала, что все, — Сергей Сергеич, война, большевики, казаки, — все, все, — не то.

А что то, — не знала.

Сергей Сергеич на ее отношение поначалу обиделся, — уж очень он привык, что у нее в жизни кроме него ничего и нету, а тут вдруг и его в Олиной жизни не осталось.

А потому ему даже как-то легче стало, — можно было проще все говорить и на высокое себя не натаскивать.

И он говорил, говорил без конца, брызгаясь слюною и злясь каждому новому известию. Жизнь их втроем приняла какое-то совсем обычное течение. Сергей Сергеич вроде родственника брюзгливого очень хорошо прижился в Малаховском доме.

Все ему было холодно, все он ноги как-то по-стариковски в теплый платок заворачивал, дымил своей папиросой и читал нотации и Наташе, и Оле, и всему русскому народу, который его не понял и вот теперь в какую пропасть летит.

Потом станица была долго отрезана от внешнего мира.

Ни газеты не приходили, не приезжал никто.

Потом неожиданно как-то объявилось, что в станице уже советская власть, потому что везде власть советская.

Казачи замолчали совсем.

Но уж чувствовалось, что молчанкой не отыграешься от грядущих испытаний.

Самое же странное было для станичников услышать среди многих других имен большевицких имя Клима Семеновича Барынькина, военачальника очень прославленного и отчаянного.

Но и об этом они долгое время слышали только глухо. И Семен Петрович ничего им более ясного сообщить не мог, потому что от Клима не имел никаких известий.

Подшло дело к весне. Начало уже таять. Зеленыя в степи забарахтались. Жаворонки зазвенели в бледном небе.

Потом стал от земли теплый пар подыматься, и дрожали зыбко в этом земном дыхании дальние деревья.

Весна яркая начиналась.

Буйная, славная, смертельная весна 1918 года.

VIII

В тихий вечер услышали станичники отдаленный гул пушечной стрельбы. Но несмотря на все предшествующие слухи долго не могли понять, что эта стрельба обозначает.

На следующее утро в станицу на рысях ворвались отступающие большевики. Так быстро промчались части по улице, что опять-таки не ясно было, что происходит. Одни говорили, что немцы близко, другие, — что какая-то украинская армия завоевывает Кубань.

Наконец, через некоторое время вошли в станицу добровольцы.

Был собран сход на площади перед правлением, так что из открытого окна Сергей Сергеич мог слышать каждое слово, которое говорил казакам маленький, сухой генерал, — главнокомандующий Корнилов.

Сергей Сергеич очень волновался и старался узнать у штабных офицеров, на что, собственно, добровольцы надеются.

Те улыбались загадочно и говорили, что генерал Корнилов верит в русский народ и в скорое отрезвление его после большевицкого утара.

Сергей Сергеич пожимал на это плечами и, оставаясь уж вечером без посторонних, только с Олей и Наташей, принимался доказывать, что для генерального штаба странно, по меньшей мере, заменять стратегию верой в русский народ, а тактику, — словами о грядущем отрезвлении.

Несмотря на всю суету, поднявшуюся в станице с приходом добровольцев, казаки были им рады, — может быть, только не очень уж уверовали сразу в их непобедимость, — кучка их, — вот все здесь могли разместиться — даже с обозом своим.

А в красных газетах писали, что против них и непобедимая 39-я дивизия, и какие-то части, прибывшие из Трапезунда в Новороссийск. Кроме того, по станицам большевики мобилизовали казаков.

И казалось, что кольцо красных войск должно окружить рано или поздно непроницаемой стеной кучку добровольцев. Только еще удивляться приходилось, как это они до сих пор по степи крутятся и не попались в железные когти врагов.

А от этого, несмотря на призывы Корнилова, на длинные и проникновенные речи Алексева, казаки чесали в затылках и молчали.

Идти за ними? — Конечно, — отчего не пойти?

Но сегодня они уйдут, а завтра большевики в станицу ворвутся, — что тогда с семьей и хозяйством будет? Тут станица не так велика, чтоб большевики не могли дознаться в два счета, где кадетская семья и кадетское добро прячется, — а тогда уж расправа будет коротка.

Другое дело, — добровольцы. На Кубани они народ без роду и племени. Свою голову унес и слава Богу, — о других головах им сейчас думать не приходится, — от семей своих давно оторвались. Им, конечно, — обречь себя на смертельную борьбу, — никак и нигде нельзя отмолчаться да отсидеться.

Ну, а станичникам, пожалуй, до времени это самое подходящее не подставлять станицу на поток и разграбление красным, помолчать немного, посидеть тихо.

Оно бы, может, и еще какое другое решение казаки надумали, да тут как раз надо было начинать пахать, — все равно в такое горячее время ничего не выдумаешь. — Яровые не ждут.

Так и укатились опять добровольцы в весеннюю степь со всеми своими бесконечными обозами, с Алексевым на линейке, старым, сморщенным, с Корниловым, над которым развевалось русское трехцветное знамя.

Попала станица в руки красным.

Заявили они, что казаки кадетов покрывают, что ничего другого они от казаков не ждали, — известные контрреволюционеры и нагаечники. И объявили войну самому казачьему духу.

А война эта была такова, что пошли красноармейцы по хатам, где увидят казака, — старика ли, молодого, — все равно, — всадят ему штык в живот или по голове шашкой хватят, — и дальше идут. И так в один вечер было убито народу много, — девяносто восемь человек.

Ночью кутили и бушевали, а утром их как водой смыло.

Так заметно росло с каждым новым приходом в людях что-то звериное, — да просто сказать, — зверями самыми лютыми постепенно все люди делались.

Двадцать девять раз переходила станица из рук в руки. Чего только народ не насмотрелся.

Видал, как пленные в одном белье, белые от страха, подгоняемые верховыми, рысью бежали по улице сами себе могилы копать. Видал, как пиروвали среди крови комиссары, как те же комиссары на виселице у самой церковной ограды болтались.

И, пройдя через ужас весь, вкусив горькую долю до конца, решили казаки, что надо им гарнизоваться.

Примкнули в конце концов к добровольцам: во-первых, у них без того много казаков, — даже казачье правительство, и Атаман, и Рада по степи вместе с ними скитаются, — потом они казаков только за казачество не судят, — большевики же против самого казачьего духа воюют.

Может быть, и говорить не стоит о том, как в это время жили Оля с Наташей и Сергей Сергеич при них. Чего говорить, когда каждому ясно, что жизни такой не дай Бог никому.

Но все же надо отметить, что по-разному на них кровь и страх сказались.

Всего больше перетрусил Сергей Сергеич, — ведь он считал себя общественным человеком, таким, какого большевикам одна польза была бы убить, потому что повернутся немного времена, и он против них может выступить откровенно, и тем их делу очень повредить. Теперь, мол, против них не сопляки какие собрались, а народ боевой, такой, что Сергея Сергеича слушать станет.

Но сначала этот страх был у него в пределах человеческих и он мог много рассуждать по-умному, как и раньше. А со временем, когда положение никак не прояснялось, опасность же увеличивалась и, главное, — уж очень близко было от окон дома до площади, до виселиц, до винтовок, — даже слышны были из двора правления крики тех, кого вновь вошедшая власть порет, — случился с ним страх, уже переходящий всякие человеческие границы. По ночам ему спать в темноте было страшно, а днем не хотел в комнате один оставаться. Вдруг как бы малым ребенком стал, — даже плакать начал зачастую.

Смотрела на него Оля и удивлялась, — что от человека осталось.

А иногда после слез и страхов своих неожиданно в исступление впадал, до полного бешенства доходил. Кто бы в станице ни правил, ему тогда ни по чем.

Кричит:

— Я им покажу, я им расскажу, — мерзавцы...

Еле его успокоить можно было. Чуть что, — за свой револьвер хватался. Наташа просто боялась, что подойдет в таком состоянии к окну и начнет палить в кого ни попало.

А успокоится, — и задрожит мелкой дрожью, ноги в пуховой платок укутает, уткнувшись в Олины колени.

Странно, что и Наташа сильнее Оли поддалась. Уж очень она раньше в жизни уверена была и отлично знала, что почему происходит. А тут такое время, что понять этих причин и последствий, пожалуй, и нельзя. И она в душе своей никак не могла концов с концами свести. Было ей поэтому ужасно томительно и тоскливо.

Оле же отчего-то казалось, что все происходящее она давно в одном мучительном сне видала. И, может быть, поэтому ей все сейчас немного сном казалось. Да, кроме того, она и ничего в жизни объяснить не могла, так что необъяснимость ее не смущала.

А самое главное, — казалось ей с очевидностью, что есть в этой крови, во всем этом ужасе предельном что-то должное, что-то заслуженное всеми, — и ею, и Сергеем Сергеечем, и казаками, и красноармейцами, — что из-под крови и грязи, сквозь дым и чад вдруг выступит в людях настоящее, горящее и рвущееся вверх, чего, может быть, человечество уж сотни лет не видало.

Опять искала она пламени и не боялась скверного, потому что верила, что пламя все очистит.

Это, наверное, так было с нею, потому что, повторяю, она как во сне была, а значит, может быть, до самого конца чувств своих человеческих не осязала простого житейского ужаса всего происходящего.

Наконец, настало будто бы успокоение: больше двух с половиной месяцев большевики станицы не занимали.

Даже Сергей Сергееч не таким плаксивым стал, понемногу рассуждать начал, причину искать.

И довольно быстро причину всех бед нашел.

— Все так происходит, потому что добровольцы по-настоящему государственности не понимают и немного от большевиков даже их пониманием заразились.

А на эту беду он и лекарство сразу нашел. Решил сам в Екатеринодар ехать и все сказать, чтобы на этот счет больше никаких недоразумений не было.

— Просто самому Деникину сказать. Он человек неглупый, — поймет.

Так он и поехал, хотя Наташа особенно сильно старалась отговорить его от этого. Ей казалось, что если не так уж удачно кончится его путешествие, как он рассчитывает, то потом его настроение так упадет, что просто спасения от переменных слез и бешенства не будет.

Перед отъездом он даже совсем загордился, — на Олю с презрением взглядывал. Ничего, мол, глупая, не понимает и к святому делу общественного строительства никак не годна.

После его отъезда тишина в Хлебной продолжалась довольно долго.

Уже осенью стали опять говорить, что красная конница прорвала фронт и может неожиданно в станице очутиться. Но опять этому не верили, потому что добровольцы засели прочно и намобилизовали огромную армию.

Наконец, пришли даже такие вести, что прорвавшейся конницей командует никто другой, как товарищ Барынькин, что добровольцы ничего с ним поделать не могут, что силы у него несметные, а лошади как на подбор.

Тут уж станица заволновалась немного, — коли Клим командует, то, стало быть, конница Хлебной никак не минует.

Таскали Семена Петровича в правление, как отца большевицкого главоверха. Да на его счастье времена немного спокойнее стали, а то ему несдобровать бы. Он успел доказать, что о сыне ничего уже несколько лет не знает.

Его и отпустили с миром.

IX

Клим же действительно стал командиром одной из самых непобедимых частей красной конницы. Случилось это как-то само собою, постепенно.

Сначала он был опьянен своим успехом и чувствовал себя близким к вершине всегдашних своих мечтаний.

Но время шло. Он привык к новому положению своему, и опять прокралась в его душу тоска. Может быть, первейшим врагом его была именно она, а не жизнь прежняя, несвободная, не буржуи-кадеты, с которыми он воевал, не все враги рабоче-крестьянского правительства.

В боях, забывая все, он и ее забывал. Тогда сердце в груди билось, как молот, и вихрем мчался конь, и радовали дикие возгласы и гиканье.

А потом опять становилось непосильно тоскливо. Чем дальше, тем больше.

Надо бы с этим врагом справиться, покорить его, уничтожить.

Как и чем уничтожить его?

А вокруг удалая жизнь, развеселая, пьяная кровью, утратившая память о берегах своих, несется и хлещется пеной. В него, в этот кровавый и пенный поток, с головой ушел Клим, чтоб захлебнуться, чтоб меру забыть, чтоб дни одним хороводом свистели вокруг него.

И стало так, — куда налетит конница Барынькина, там все покалечено. Спадет пьяная волна, — одни обломки торчат.

А добровольцы все становились сильнее, все глубже и глубже вклинивались в самую толщу советской республики. Самым центром своим, всеми силами ломались к Москве.

В Екатеринодаре и Ростове о звоне московских колоколов проповедовали, на священную войну народ созывали.

Положение красных становилось день ото дня труднее. Теснили их по всему фронту. Далеко в тылу лежащие города быстро эвакуировались, потому что не верили в свою безопасность.

Вот тогда-то и пришла Климу мысль, прославившая его по всей советской России.

Он пригласил к себе начальника штаба. Этот уж все должен разработать по требованиям военной науки, — на то его и держат. Да и недаром же, в конце концов, полковник еще при старом режиме четыре года в академии генерального штаба сидел.

Клим начал с ним издали.

— Что, товарищ, похоже, что скоро наше время придет на виселице у добровольцев поболтаться?

Товарищ полковник кисло улыбнулся и поправил пенсне.

— Ну, а что ж на этот счет ваша военная наука говорит?

Полковник только развел руками, а потом добавил неохотно:

— Военная наука говорит, что против силы нужна сила, против знающих специалистов нужны знающие специалисты. А у нас ни того, ни другого.

Клим тогда поудобнее уселся в кресло и начал спокойно выкладывать свой план.

Он предлагал, продолжая бои на главном северном направлении, двинуть отборные части красной конницы на восток, через Царицын к Ставропольскому слабому фронту противника и таким образом оказаться у него в тылу.

Полковник становился внимательнее с каждым словом Клим. Уже впервые ему приходилось удивляться прирожденному военному дару своего начальника.

— Видите, товарищ Барынькин, с точки зрения современной науки, этот план, конечно, не годен. Но дело в том, что наука считается с техническими условиями, которые сейчас совершенно изменили военное дело. В Гражданской войне этот план, пожалуй, применим. Его надо только разработать подробнее.

И некоторое время в штабах лучшие специалисты давали окончательную отделку плану Клим.

Наконец, в начале осени Клим был назначен командиром особой конной части, которую спешно сняли с фронта.

На главном направлении бои продолжались все так же неуспешно для красных. Они еле сдерживали наступающего противника.

Клим же в это время был со своей конницей в Царицыне и заканчивал последние приготовления к быстрому наступлению.

Он работал со всей безудержностью своей, потому что знал, что в случае успеха последствия этого дела были неисчислимы.

Но все шло так гладко, а разведка давала такие утешительные сведения о слабости белых в этом направлении, что Клим скоро перестал сомневаться в удаче.

Сразу же дело показалось ему совершенно легким, а поэтому и мало интересным.

После этого началась тоска.

Разношерстный народ собрался в коннице Барынькина. Объединялись все ненасытимой жадой наживы, склонностью к разгулу, легкостью убийства.

Но даже и в этом общем люди разнились.

Одним нравилось перепугать своим приходом село, переловить всех кур, попавшихся по дороге, до смерти застрашать девчат, поджечь крайнюю хату, — и дальше.

Другие грабили, как жатву снимали, — переходили из дома в дом, не пропускали ни одного бабьего сундука. И только уж излишки от этих грабежей поступали на пропитие и уничтожение.

Были и менее жадные к бабьим сундукам, но строгие в поддержании советского духа у населения. Эти занимались расстрелами и поркой, искали везде контрреволюцию, заливали весь путь конницы кровью.

Начальник штаба, — все тот же полковник Карпов, был несколько другого нрава, чем конники. Безудержности в нем нельзя было заметить. Больше он любил наблюдать и заранее определять, на что теперь спрос будет, — так и свои познания все к спросу приспособлял.

Но войдя однажды в соприкосновение с жизнью конницы, почувствовав, что все живут в ней, как хотят, он решил и своих желаний не прятать, а по возможности жить так, как это для него весело и приятно. Самогону он не пил, а хороших вин всяких почти не попадалось. Расстрелов и бесчинств не любил.

Но зато от самого Царицына вез он собою очень нарядную и очень накрашенную женщину, которая ютилась то на повозке штаба, то в санитарном отряде, то гарцевала верхом, что ей, впрочем, было очень неудобно, так как платью ее к верховой езде приспособлено не было и ногам делалось холодно.

Эта женщина на стоянках пила не меньше красноармейцев, в походе ругалась не хуже их, имела характер буйный и смешливый и была совершенно безразлична ко всему, что вокруг нее творится, за исключением реквизируемых вещей, к которым она проявляла особый интерес. Но мелочей, — тряпья всякого, — она не брала. Только ценное и не очень громоздкое попадало к ней.

Выгрузившись из вагонов и очутившись в Ставропольской губернии, конница еще долго не встречала противника.

Клим ехал впереди.

Здесь степь была такая, как родная Кубанская. В утреннем холодном свете темным золотом блестели скошенные поля. Над головой пролетали косяки журавлей и размеренно кричали, будто звали за собой всех лететь в даль бледного осеннего неба. Дороги, примятые первыми осенними дождями, еще не раскисли. От редких хуторов тянуло запахом горелого навоза и звонко несся собачий лай. По пути попадались отары овец, кочующих в беспредельных просторах.

Климу хотелось, чтобы время шло быстрее, чтобы скорее все совершилось.

Наконец, добрались до линии противника. Он ничем не подкрепил ее, потому что об исчезновении Барынькина с главного фронта белые не знали. Завязалась перестрелка.

Случайной пулей был убит командир четвертого полка, матрос Агапин. Почти без потерь удалось коннице прорваться на вражескую территорию.

Перед Климом открывалась теперь дорога к сердцу добровольцев, — к Екаторинодару. Белые могли, конечно, спохватиться и выставить еще какой-нибудь заслон против него, но он был уверен, что они долго будут считать его успех успехом частичным, не предположат тут главного удара красных, а потому и заслон выставят пустяшный, чтобы не оголять главного фронта на севере, где бои идут с большим напряжением.

Но все же надо спешить, чтобы использовать всю выгоду от неожиданности прорыва. В быстроте лежит залог успеха.

Вошли в большое село, только что оставленное белыми. Первый разезд, видно, изрядно похозяйничал здесь.

На площади две виселицы. На одной висел старик какой-то, и ветер слабо трепал его седую бороду. На другой виселице, вытянув толстую шею, болталось тело огромного и тучного человека.

Женщины голосили кругом.

От того, что толпа закрывала ноги повешенных, казалось, что они стоят на стульях, а не висят мертвые. Ветер слабо шевелил их тела, и от этого еще сильнее казалось, что посреди толпы возвышаются два живых человека.

В правлении было все по-обычному, — вносили реквизированное оружие, разгружали подводы со всяким добром, — сахаром, салом, бочонками вина, четвертями самогону. Да и одежды всякой набрали порядочно.

Климу все это было привычно и от того просто нестерпимо противно.

Вообще, как всегда, после боевого напряжения тоска начала одолевать его.

Он вошел в комнату туча тучей.

Под вечер согнали девок со всего села в правление, — песни петь. Они жались друг к другу и со страхом смотрели на веселых солдат, крутившихся вокруг них.

Старик какой-то пришел, со слезами умоляя внучку его отпустить:

— А то что я потом ее отцу скажу?

Сразу решили, что отец в белых. Солдаты начали над стариком глумиться. Девушка заплакала. За ней заголосили другие.

Клим вышел из соседней комнаты. Не спрашивая в чем дело, ударил со всего размаха кулаком в лицо первого солдата, который ему под руки подвернулся, буркнул потом, даже не взглянув на старика.

— Выпороть.

Того схватили под руки и потащили. Он весь побелел даже и закрыл глаза.

Девушки стояли как вкопанные. Слезы даже от страха высохли.

Клим прошел в соседнюю комнату.

Там стоял гроб Агапина. Горело три свечи. Почетный караул вытянулся по бокам. Тело убитого было покрыто красным сукном со стола правления.

Климу было жалко Агапина. С его смертью он лишился одного из лучших своих конников. Главное, что не только сам был он храбрым, но и приказывать умел. Заменить его будет трудно.

Он подошел ко гробу, провел рукой по холодному лбу мертвеца. Потом пристально всмотрелся в посеревшие крупные черты. Смерть всех меняет. Знакомое лицо стало каким-то чужим, будто в последнюю минуту узнал Агапин что-то небывалое и так с этим небывалым и ушел из жизни.

Свечи потрескивали и освещали неровным светом своим сумеречную комнату.

Клим повернулся и уж на пороге крикнул:

— Пусть над товарищем Агапиным дьячок читает. Все должно быть как следует. Последний почет надо ему оказать.

Красноармеец быстро выбежал искать дьячка.

Через полчаса началась попойка. Царицынская нарядная дама предложила влить стариковой внучке немного вина в горло, чтобы она стала веселее.

Несколько человек с хохотом принялись исполнять это.

Потом заставили ее плясать. И перед ней, изгибаясь и выворачиваясь дико, сыпля все время руготней, самой непристойной, носился по комнате солдат с прилипшими ко лбу волосами, с улыбающимся ртом, — и улыбался он, как скалился, — открывал гнилые зубы.

Клим смотрел по сторонам рассеяннo, — только морщился иногда. Самогон на него не действовал. У девчонки был испуганный вид. Все они, положим, были не веселы.

А особенно уж надоело на каждой остановке смотреть на этого пляшущего дурака.

В комнате становилось нестерпимо жарко. На дворе начал тихо дождик барабанить.

Выйти разве? Но он не вышел, — там, наверное, тоже пьяные морды, да еще дед где-нибудь после порки стонет.

Пляска была неожиданно прервана, — несколько человек втащили пианино, только что реквизированное у батюшки.

Царицынская дама обрадовалась очень, уселась за пианино и стала барабанить различные польки.

Самогон сильно разобрал плясавшую девушку. Лицо у нее стало красным, глаза заволоклись туманной пленкой. Она шаталась и старалась спрятаться за своими подругами. Танцор шел за нею. Слышались визг и руготня. Солдаты хохотали громко.

Потом, как это часто бывает, наступило короткое молчание. Клим явственно услышал из соседней комнаты голос дьячка, читающего псалтырь. Этот голос напомнил ему что-то. Так же вот в другой комнате читали псал-

тырь, так же по-церковному, особенно, голос то повышался, то понижался, певуче растягивая слова.

Где это было? Он не вспомнил.

Опять начался визг и смех. Царицынская красавица сидела уже на пианино, высоко подобрав юбки, и старалась каблуками своих туфель сыграть польку. У нее ничего не выходило. Тогда она с громким хохотом затопала ногами по клавишам. Начальник штаба протягивал ей стакан с вином.

К горлу Клима подступил ком какой-то. Вот, — знал он, — сейчас этот ком подымется, сдавит его, — станет нестерпимо.

А потом вдруг легкость найдет, все поплывет перед глазами, тело само станет двигаться, а сознание будет только рядом, за огромным и грузным телом спешить, будет замечать все, но само ничего не сможет исправить, изменить. Звериная сила одолеет. Зверь-хозяин начнет пировать.

Даже в комнате будто светлее стало, — не так чадили керосиновые лампы. И холодный пот на лбу выступил.

Потом началось... Началось то, что тоску побеждает.

С криками и руготней вскочил он с места, толкнул по дороге ногою пьяного какого-то, успевшего уже заснуть на полу.

Ворвался в круг девчат.

Его крики подхватили другие.

Девчата завывали сначала, шарахнулись в сторону.

Потом все смешалось. Лампа потухла. Клим уже ничего не помнил. Кровь глухо шумела в ушах. Волна красная несла его.

Мелькнул в глазах корабль оснащенный, весь в пламени. В глазах вообще все время пламя, — пламенные круги.

Плоть человеческая, человеческая буйная кровь... Непонятною тайной прикреплена она к вольному духу Господнему, потом своим и грязью вольный дух облепила.

Что изменилось в душах девчат после Климова неистовства? Ничего не изменилось. Только вольность их на всю жизнь оказалась связанной, только плоть их гирей им на плечи легла, — с гирей этой, с грузом непомерным, никуда уж от себя не уйдешь.

На рассвете проснулся Клим на своей постели. Так в сапогах и спал. Голову ломило и во рту от самогону было противно. В соседней комнате все так же бубнил дьячок над Агапиным. Но сейчас это Климу ничего не напомнило.

На дворе слышался шум какой-то. Делили добычу.

Клим поднялся и вышел на крыльцо.

Начальник штаба с серьезным лицом прищипливал брошку к воротнику своей Царицынской дамы. А она улыбнулась Климу ласково и значительно.

Вообще он последнее время замечает, что она его всегда такой значительной улыбкой встречает. Вот дура. А впрочем, не все ли равно?

Знал Клим только одну тайну, из-за которой все эти улыбки и вся эта значительность были ему противны. Что человек ни делай, как ни стремись

порвать круг, ему назначенный, — безумство, преступления, подвиги, — все равно от себя человеку никуда не уйти, — и не только от себя, — а из душной клетки своей, в которую никому другому подступа нет. Одиноким бирюком живет душа человеческая. А от этого все, — любовь, пьянство, бои, — не лекарство. Так черта с два ему тогда эта любовь, — только муть одна.

Клим велел подать умыться.

Дул ветер. Опять срывался дождь. Небо было серо, и облака низко неслись над землей. Вдоль по улице раздавалась пьяная песня.

Клим велел собираться. Через час нестройная толпа всадников выезжала в степь. Скрипели скачущие рысью тачанки с пулеметами.

Тяжелый конь Клим ступал тихо по лужам. В ушах жалобно выл ветер.

Опять тоска. В этой голой степи под дождем всегда тоска.

Конница почти без отдыха неслась вперед.

Кубанская граница...

Помнит, помнит Клим, что тут он вырос, что тут он начал жизнь свою, — тоску свою, что тут он с Ольгой Лаврентьевной встречался.

И тоска утихла. Предстояло слишком большое дело, — впереди дорога на Екатеринодар была свободна. Клим мечтал уже, как он голыми руками возьмет в плен весь штаб Деникина с ним самим во главе.

Это было настолько важно, так изменяло всю обстановку, такой простор открывало Климу в дальнейшем, что не до тоски ему было.

Как зоркая птица вглядывался он в родные дали, будто гончая следил за добычей. И смотря на него, — красноармейцы знали, — дальнейшее будет важнее всего пройденного пути. Они верили, что товарищ Барынькин даст им победу, лишь бы слепо идти за ним, лишь бы в бою не потерять, где маячит его белая папаха над широкими плечами.

К Климу подъехал начальник штаба.

— Пока, товарищ, все идет блестяще. Если так будет и дальше, то мы можем рассчитывать дня через четыре быть в Екатеринодаре.

Клим ответил:

— Раньше бы надо, раньше. А то, черти, спохватятся. Ведь они по железным дорогам могут подкрепление своей ставке дать.

Начальник штаба только свистнул:

— Не догадаются. Все будут считать это дело частичным своим поражением.

Во встречных станицах не задерживались. Только уставших лошадей бросали, новых брали. Неслись по степи быстро. Врага не было видно.

Скоро, — а надо бы еще скорее.

Завтра на рассвете войдут в Хлебную.

Хлебная... У Клим что-то дрогнуло в душе. А вдруг там сейчас Оля. Нет, что ей там делать в такое сумасшедшее время?

А если там, — что она ему скажет? Как посмотрит на него? С ненавистью? С печалью?

Скорее бы только, скорее... Хлебная тоже не задержит. Надо дальше, дальше... В сердце удар, к Екатеринодару.

Все показалось вдруг таким осуществимым и сильный враг таким слабым, что Клим громко расхохотался.

Он решил в Хлебной не задерживаться. Но разведка донесла, что там обнаружен довольно сильный заслон белых. Это злило его.

Он громко выругался, — затяжка движения могла стать длительной.

Неожиданно после первой перестрелки белые отступили за станицу.

Он решил переждать до вечера. К вечеру стянуть все силы в Хлебную и попытаться опрокинуть противника атакой в лоб.

Может быть, и какое другое решение было бы более правильным, но Климу вдруг почему-то захотелось остановиться хоть на день в Хлебной, посмотреть, — может быть, действительно чудо совершится, — встретит он Олю там.

Сам он себе в таких мыслях не признался бы сейчас. Только въехав уже в Хлебную, он понял, что в решении его мысль об Оле была самой главной.

Вот и станичная площадь. Грязь такая же, как и раньше была. Около правления никого нет.

Клим пришпорил коня и хотел было проехать напрямик, но потом повернул направо и поехал мимо зданий.

Те же знакомые цветные стекла на батюшкином балконе.

Он вглядывается внимательно в окна.

Показалось ли ему? За темным стеклом очертания знакомого лица с большими глазами.

Он ударил сильно лошадь и промчался к правлению. Сердце билось глухо и отрывисто.

«Сама судьба», — подумал он.

И защемило что-то в груди радостно и тревожно, будто гибель была близко.

Через час началось в правлении обычное. Вели арестованных, несли отобранное оружие и добро. Но ввиду близости противника и серьезности положения Клим приказал всем быть в полной боевой готовности и по первому знаку выступать. На этом основании пьянства повального не было, — пили только в одиночку, — кто где раздобудет самогону.

Клим сам допрашивал станичников о силах белых и при каждом ответе становился все мрачнее и мрачнее. Было ясно, что заслон, выставленный против конницы, мало в чем уступает ей. Значит, можно было думать, что бои затянутся и потери будут велики.

У него мелькнула даже мысль просто уйти вечером назад, проскакать за ночь большое расстояние, спутать противника и обрушиться в новом месте на его фронт.

Но потом ему захотелось переждать еще с окончательным решением.

Надо было раньше во что бы то ни стало узнать, не ошибся ли он, когда по площади проезжал.

Спросить кого-нибудь из станичников он не хотел и долго стоял в недоумении.

Потом надел шапку и вышел на улицу.

Х

Улицы были пустынные. Холодный закат обнял полнеба и пролился кровью между раздвинувшихся туч.

Опять защемила тоска.

Вот в такой закат, плещущий на землю холодом и отчаянием, особенно близко чувствуется смерть. И вместе с тем она, — смерть, — искажающая людские лица, кажется сейчас такой торжественной и спокойной. Она, — это выход из долгого заключения жизни; она порвет узы, отгораживающие человека от всего мира; она соединит все воедино.

Клим шел мимо знакомых хат. Все казалось мертвым, уснувшим. Приходилось лепиться около плетней, потому что дальше начиналась непроходимая грязь.

Вот большой камень на углу. Вот покосившаяся соседская хата. Потом плетень. И отступая от улицы, в глубине огромного двора родной дом.

Клим нагнулся и прошел в калитку. Старая подслеповатая собака тихо вякнула, но осталась лежать на месте.

Все стало каким-то заброшенным и неудобным за эти годы.

Закат бил теперь красной волной в низкие окна. Не стучась, Клим вошел в хату. Семен Петрович заметил его еще на дворе и встретил на пороге.

Молча остановились друг против друга, и пристально разглядывал отец сына.

Наконец тихо сказал:

— Ну что ж, коли пришел, гостем будешь... Заходи.

Вошли в комнату. Сели. Начало уже темнеть, а лампы Семен Петрович все еще не зажигал.

Климу показалось, что в хате сыро и воздух промозглый какой-то.

Опять помолчали.

И Семен Петрович, продолжая опасно вглядываться в сына, начал первый:

— Наслышаны о тебе. Прославлен ты там у своих. Ну, что ж? Кому какая судьба...

Клим перебил его и поморщился:

— А у тебя, батюшка, тоскливо как-то.

— Не всем на роду написано веселиться да безобразничать.

Клим промолчал.

Отец продолжал уже вопросом:

— Правда о тебе говорят, что на безобразия другого мастера такого и не найдешь?

И стало Климу вдруг скучно, скучно, опять припомнился закат холодный. Он махнул рукой.

— Тоска... Ты-то, я знаю, это понимаешь... Тоска все.

Потом неожиданно добавил:

— А кто теперь в Малаховском доме живет?

Семену Петровичу все ясно стало. Даже жалость зашевелилась к этому огромному и страшному человеку, который все же для него родным был, надеждой долгой и последней.

— Ольга Лаврентьевна тут... Обе они тут... Повидай их. Изменилась она очень.

— Счастлива?

— Кто ее поймет? Неспokoйная она. Наверное, не до счастья ей.

Разговор пошел легче. Клим даже начал немного о своих дальнейших планах рассказывать. Он отчасти хотел теперь похвастаться перед отцом, но старый колдун чувствовал, что хвастаться, может быть, и есть чем, да не это в Климовской жизни главное, а главное, — несытость прежняя, гибельность какая-то. И все сильнее становилось ему жаль Клина.

Наконец, он сам прервал разговор:

— Ну, а дальше, из Хлебной, скоро?

— На рассвете.

— Так спеши, а то поздно будет, — Ольгу Лаврентьевну напугаешь. Да она теперь, пожалуй, тебя все равно и при дневном свете испугается. На-видались мы всего.

Клим нахмурился от этих слов и поднялся.

Отец вышел на крыльцо.

— Ну, желаю тебе всякого... Однако вряд ли все для тебя добром повернется. Все равно себя не преодолеешь. Знай лишь, чего хочешь, и о стороннем не думай.

Попрощались спокойно. Заря уж совсем погасла.

Через сад прошел Клим к забору и простоял долго неподвижно, глядя в одно освещенное окно Малаховского дома. Свет по временам затенялся, будто по комнате взад и вперед ходил человек.

Наконец, он перепрыгнул через забор и тихо подошел к самому дому. Теперь он ясно увидал, что по комнате ходит Оля. Лицо у нее очень сосредоточенное. Глаза открыты широко. Руки за спину заложила.

Он осторожно стукнул в стекло.

Она вздрогнула и быстро открыла окно.

— Кто там?

— Я, — Клим Барынькин. Не прогоните?

Оля заторопилась как-то:

— Входите, входите, я ждала вас.

Через минуту он уже был в ее комнате. Жарко топилась печка... Дрова потрескивали. Оля смотрела на него так тревожно и вопросительно, что ему даже жутковато стало.

Наконец, она усадила его в кресло, а сама опять принялась ходить по комнате.

— Мне, Клим Семенович, вам рассказывать нечего, — вся тут. А вас слушать готова. Все говорите.

Опять, как в детстве, это звучало почти приказанием. Но Клим знал, что и пришел-то он сюда, чтобы все рассказать, все положить перед ней, — пусть судит судом своим, — единственным судом, решению которого он безропотно покорится.

Он закрыл глаза рукою и начал медленно говорить.

Оля молчала.

— Когда я шел сюда, я еще не знал, какой я человек. Теперь знаю... Вы, Ольга Лаврентьевна, слышали про товарища Барынькина, знаете, что люди его зверем почитают. Люди не врут. Я по-звериному живу. Грабить, — грабил. Насиловать, — насиловал. Убивать, — убивал.

Клим остановился.

Потом продолжал уже криком:

— Одну мерку греха знаю, — грех то, о чем мне вам трудно сказать. Делаю так, потому что хочу. И не надо мне господина надо мною, который мог бы указывать. И вам рассказываю все это, — не каюсь, не каюсь отнюдь. А просто, чтоб вы знали, чтоб вам на минуту в одной комнате со мною страшно стало. Да и так, небось, уже испугались, когда услышали, что конница Барынькина в станицу ворвалась, — хоть старый знакомый, а долго ли до греха?

Лицо Клим покраснело и теперь он смотрел на Олю вызывающе и насмешливо.

Оля продолжала ходить по комнате. Потом спросила его, глядя куда-то в даль.

— Много вы мне наговорили, чтобы я узнать могла, каким вы теперь человеком стали, а о главном молчите. Что ж, и вы довольны?

И сразу Клим догадался, что она о главном его уже знает, поняла.

Опять он опустил голову.

— Понимаете, Ольга Лаврентьевна, если бы бой или разгул никогда не прекращался, я бы, пожалуй, счастлив был, себя бы не помнил. А так, — промежутки есть... Вот закат сегодня... Вы не обратили внимания? Закат сегодня такую тоску нагнал.

— Чего же вы стараетесь?

Клим шепотом ответил:

— А вдруг... Понимаете, — верю еще, что вдруг случится такое... что такого достигну... Радость будет...

Оля была по-прежнему спокойна, только увидал Клим в глубине ее глаз искорки какие-то: слезы, может быть, наливались и зрели в ее глазах, не блестящих таких, будто не видящих вблизи ничего.

Она провела рукой по лбу.

— Ну, а теперь скажите, — ведь коммунист вы? Правда?

Клим даже улыбнулся:

— Это вы насчет Ленин-Троцкого и рабоче-крестьянской? Вам откроюсь. Мне на них совсем наплевать. Дела мало. И о коммунизме не думаю никогда. А все не в этом совсем заключается. Нам с ними очень по пути. Но, может быть, и ненадолго. Ну, скажите, кто кроме них дал бы мне волю развернуться? Кто кроме них стал бы меня за полновесного человека почитать? Все другие меня бы в услужении держали, боялись бы, что своим безудержьем прорвусь и беды натворю. А они дали мне направление, — войну эту гражданскую, конницу мою, — жарь, действуй.

Оля кивнула молча головой. Она поняла, видимо, что Клим говорит правду. Теперь она слушала совсем спокойно и что-то соображала.

Потом сказала вопросительно:

— Дорогу дали, а может, и не ваша дорога-то. Ведь если бы настоящая дорога была, то вряд ли с тоской пришлось бы возиться. Может быть, настоящего и не будет. Ну, а если будет, то как бы вам не каяться. Зверь-то сквозь все ваши поры пророс. Пожалуй, уж больше вам с ним и не совладать... Да... Вы еще о страхе говорили. Я ни минуту вас не боялась, Клим, и не боюсь, и думаю, что вам самому страшнее должно быть, чем мне.

Оба замолчали надолго.

Потом Клим встал, побелел весь даже, взял Олины холодные руки в свои и тихо, тихо, почти шепотом стал ей говорить, не отводя своих глаз от ее лица:

— Оленька, милая, родная, я мой единственный путь знаю, с самого детства знал. Только все его заслоняла жизнь... На этом пути тоска уйдет, зверя смирю... Оля, помнишь Индейское царство? О нем я все время думаю. Хочешь, завоюю тебе это Индейское царство. Только смири меня волею своею, не отпусти человека от себя.

Он даже задохся будто.

А потом веселым голосом начал ей рассказывать, как он после победы здесь первым человеком в красной армии будет, как начнут его Ленин с Троцким бояться и не будут знать, куда его силу от себя отвратить. Да он сам им подскажет, — он от знающих людей все на этот счет выпытал. Индейское царство коннице Барынькина завоевать очень просто, — там и так народ недоволен, освободителей ждет, из-под английского ига чтобы вывели. Вот он освободителем и явится, — по всем пустынным пескам, где даже Скобелев не ходил, от моря и до моря пронесется Клим Барынькин со своими конниками. А Москва, — даром что поначалу думала от него таким путем надолго отвязаться, — Москва тогда волей-неволей с ним посчитаться должна будет. И посмотрим еще, кто кого одолеет, — он ли, — герой всенародный, или комиссары московские. Да, впрочем, тут-то и смотреть нечего, — с ним будет сила и слава.

— И поклонится мне вся Россия, — так кончил он. — А я ей скажу — вот мои законы, которым следовать надо.

Оля дрожала.

— Это безумие, Клим, это безумие... Индейское царство... Россия поклонится... Так нельзя говорить.

Оля начала плакать.

Клим не понимал в чем дело и даже растерялся.

А Оля причитала:

— Несчастные мы, несчастные... Как же быть-то теперь?

Потом вдруг замолчала.

Клим стоял перед ней грузный, растерянный.

Небывалое совершалось в Олиной душе. Будто горячей волной затопилась ее душа. Налилась любовью напряженной ко всему живому, испоганенному, гибнущему. К Климу этому дикому, к себе, — такой всегда беспомощной, — ко всем людям страдающим по просторам русской земли. И даже не любовь это была, а острое чувство, что все это живет, живет по-настоящему, чувствует все, — как кожу ветер обдул, как Климова шашка на плечо опустилась, как закат холодом своим напугал, как тоска сердце охватила.

Все живое, и она, Оля, тоже живая, и ей, как и всему, больно. И нет разницы между нею живой и другими живыми, — и все неотделимо.

Она подошла к Климу, положила ему руки на голову и сказала:

— Завоюй мне, Клим, Индейское царство.

Потом поцеловала его в лоб и показала рукой на дверь.

Как в детстве, он деловито ответил:

— Завоюю.

И вышел из комнаты.

В саду он сел на глухую скамейку. Было как-то тихо на душе у него. Будто только в самом начале пути был он.

А с площади неслась пьяная песня и визг какой-то. Потом опять все затихло.

В небе, среди мути облаков неожиданно показалась луна, и быстро поплыли ей навстречу разорванные низкие тучи. Клим смотрел вверх. Ему мерещились города с огромными башнями, драконы и старики с горбатыми носами в причудливых очертаниях облаков. А потом он явственно увидел, как к луне приближается огромный оснащенный корабль, — паруса раздуты, стройный корпус плывет, не вздрагивая.

Потом он начал думать об Индейском царстве, о звонких колокольчиках на крышах.

И незаметно заснул.

Проснулся от тревожных возгласов и от цоканья копыт, доносящихся с площади. Минуту прислушался и сообразил, что происходит что-то неладное. Быстро поднявшись, он вышел на площадь и пошел к правлению.

XI

В правлении Клим застал настоящую панику. Во дворе толпились верховые. Люди искали своих лошадей и метались по площади.

Оказывается, только что примчался разъезд и донес, что белые перешли в наступление. Пехотные цепи приблизились уже к Хлебной.

Клим не успел даже распорядиться, как топот его конников раздался вдоль по улице. Началось настоящее бегство. Он слишком долго просидел на скамейке в Олином саду. Его искали и, не найдя сразу, потеряли сердце, — растерялись.

Уже верхом он пробовал остановить людей, стремящихся проскочить как можно скорее через ворота на площадь. Около церкви затарахтели тачанки с пулеметами. Вокруг Клим оставался только десяток, другой людей. О том, чтобы отстаивать станицу, нечего было и думать. Клим выехал на площадь и увидел, что она уж совсем опустела. Тогда он тоже направился к выезду, хмурый и недовольный собой. В степи он думал нагнать своих и попытаться восстановить положение.

Через короткое время на площади показались верховые казаки. Первый разезд быстро промчался назад. Вскоре по улице вытянулся конный полк белых. Народ начал высматривать из хат. Правление опять загудело и зашумело. В нем остановился штаб отряда. Станица была отбита от красных.

Суд и расправу добровольцы не начинали, — враг был еще слишком близок и положение казалось очень неустойчивым.

На границу станицы выступила пехота и залегла в своих старых окопах. Конные разезды то и дело скакали взад и вперед. Тяжело пофыркивая, прополз по станичной грязи броневик.

Оля спала и не знала еще о происшедшей перемене. Ее разбудила Наташа, взволнованная и бледная.

— Как бы в самой станице боя не было. Красные ушли. Добровольцы уже здесь. Все ужасно напоминает обстановку боя, — люди без памяти мечутся по улице.

Оля плохо слушала. В уме ее был вчерашний разговор с Климом. Сейчас ей было как-то особенно тоскливо.

К чему еще ее вчерашние слова приведут? Зачем было вмешиваться? Ведь пути их так разошлись, — все равно по-своему, наверное, он понял ее, — не по-настоящему.

Наташа говорила еще что-то, — долго и нудно. Наконец, ушла.

У Оли слабо кружилась голова и встать не хотелось.

Потом опять пронеслись чередой все слова, сказанные вчера. И росла уверенность, что все же иначе ей нельзя было говорить, чем она вчера говорила. Потом даже радостное спокойствие появилось, — все будет хорошо. Клим понял, — не мог не понять. Может быть, даже она своими словами на настоящий его путь направила. Клим большой человек, даже сам не знает, какой он большой. Просто тесно ему в жизни. А если сумеет из этой тесноты выбраться, то дороге его и конца не видно.

Потом вспомнила она все рассказы о зверствах конницы Барынькина и его собственные признания.

Глаза закрыла, жутко стало.

Но просто сил нет поверить, — пусть и сам признавался. Вот тут на этом кресле сидел перед ней, такой ей понятный был, — и не может, просто не может быть, чтоб это он о себе рассказывал.

Впрочем, если это даже и так, она ли судьей ему будет? Она знает, какая тоска у него.

И стало Клима жалко, как ребенка большого и беспомощного.

Потом впервые во всю жизнь проснулась жалость и к себе. Господи, Боже, — как нелепо жизнь сложилась. И ей уж выхода нет, — сама обрекла себя на полное бессмыслие какое-то.

Только вот разве один выход есть... Один... Индейское царство...

Она даже сама не знала, что называет этим своим детским Индейским царством. Только это тоже было нелегкое, мучительное, — но зато какое-то быстрое, стремительное, пламенное...

Подвиг в этом был и высота недоступная.

Подвиг, — и зверства Клима. Высота, — и она сама такая приниженная... Но это ничего, — так надо. Пусть у него грех, кровь, — он очистится. И она из приниженности своей восстанет. А остальные препятствия все будут сразу сломлены.

Только к обеду встала Оля. Голова продолжала кружиться, и какое-то странное ощущение легкости было во всем теле.

Наташа все время вглядывалась в окна и продолжала волноваться. Они не успели сесть за стол, как услышали, что около подъезда остановилась подвода. Наташа быстро подбежала к окну. Ей померещилось что-то страшное.

Она увидела, как с подводы спустился человек и стал подниматься по ступенькам подъезда.

— Сергей Сергеич, — крикнула она и пошла отпирать ему двери.

Действительно, это был он, но в виде просто неузнаваемого. Весь как-то сжался в комок, дрожал мелкой дрожью, плакал по-детски. Еле успокоили его, — усадили за горячий суп.

После некоторого времени он отошел немного и начал говорить, как всегда безудержно.

Он, оказывается, не знал ничего о прорыве конницы Барынькина и спокойно возвращался из Екатеринодара. Даже на станции не поверил, что около Хлебной идут бои. А потом попал в такую кашу, — раз даже под настоящий артиллерийский обстрел. Отступал вместе с добровольцами. Сегодня с утра все у них переживал. Наконец, можно было двигаться домой. Замерз, измучился, — помилуйте, три дня от станции ехал. А главное, наверно, глупость сделал, что не повернул назад, — будто бы здесь не прочно, — а ему теперь уж окончательно нельзя красным попадаться, — все знают, что он с Деникиным разговор имел, — гибель его в случае возврата красных предрешена.

И, говоря все это, он продолжал ежиться и вздрагивать.

Оля попробовала перевести разговор на его Екатеринодарские дела. Но оказалось, что и об этом неподходяще говорить.

Он окончательно в отчаянии.

Деникин ничего не хочет понимать. Он окружен генералами, которые думают, что они ужасно как умны, а на самом деле в государственном

праве просто ничего не понимают. Их он слушает, а до простых смертных, как Сергей Сергеич, ему просто дела нет. Вообще, если все будет и дальше так продолжаться, то он предсказывает, что дело обречено на гибель.

Наконец, просто приходится признаться, что Россия несчастная страна, что она идет к гибели, что в России принято не ценить тех, кто понимает обстановку. Так было и так будет.

После обеда его уложили спать, напоив липовым цветом и закутав в различные платки и одеяла.

Наташа испуганно твердила Оле, что Сергей Сергеич внушает ей самые серьезные опасения.

— По-моему, он просто ненормальный стал. Помяни мое слово, — втянет он нас в беду.

Оля слушала плохо и безразлично.

Тогда Наташа стала опять глядеть в окно и тревожилась при появлении верховых со стороны красных, — ей казалось, что это начало отступления добровольцев, и сейчас перед их окнами начнется бой, а пушки весь дом разнесут.

Оля же ушла в свою комнату и по-вчерашнему стала ходить взад и вперед, заложив руки за спину. Вот и Сергей Сергеич опять здесь. Как все складывается так, что надо окончательно себя проверить.

Что было в жизни? Была любовь, большая любовь, — и ничего не осталось.

Может быть, Сергей Сергеич и прав, что она слишком для себя и собой жила.

Вот с Климом говорила, — учила Клима, — ведь он враг, он их, большевицкий.

Надо во всем разобраться.

И вспомнила она время любви своей. Вот тогда, кто бы ни старался ее из круга любовного вывести, — все равно нельзя было, — такая ей уж судьба была. Так, наверное, и у всех, — просто судьба, — а греха или подвига нету нигде никакого.

Но ей, — ей дана великая власть над судьбой одного человека, — над судьбой Клима. Без нее он зверем будет, — начальником звериной конницы своей. С нею он пойдет на другое, на настоящее. В нем так много таится, так широка может быть дорога его.

Как он говорил:

— Вот мои законы, которым следовать надо.

А главное, ему уж очень тоскливо, уж очень она нужна ему. Быть может, это и есть все дело ее человеческое.

Вечером опять собрались вместе за чаем. Сергей Сергеич выспался и набрался немного сил. Теперь он говорил уже не так плаксиво. Громил всех, — и Деникина, и большевиков. Говорил, что за эти три дня войны навидался всего, сам военным стал.

Если Деникин со своими генералами не может защитить мирных граждан, то мирные граждане должны показать, что сами за себя постоять умеют.

Он теперь без револьвера никуда. Он свою жизнь не продаст дешево. Теперь ясно уже, что все идет по-звериному и каждый должен сам себя защищать.

И вспомнились Оле Наташины утренные страхи по поводу Сергея Сергеича. Ей показалось, что в Сергее Сергеиче действительно безумие проступает, что не сам он это говорит, а страх его, победивший в нем до конца человека. И не волен он уже больше в своих поступках.

Но это на минуту только такое проступило в нем. Потом он стал опять более спокойно говорить о том, как все надо бы сделать, и где ошибки командования, и как их еще исправить можно, если не опоздать.

Главная ошибка, что дали людям озвереть. Теперь от этого звериного начала надо каждого русского, как опасного больного лечить. Поэтому законы должны быть мудрыми и мягкими, сочетанием разумной свободы с принудительной властью диктаторской. Когда народ поймет, что законы мудры, — преступников карают, заблудившихся милуют, а невинным гражданам обеспечивают мирную жизнь, — тогда, конечно, большевики сами собой исчезнут, потому что никто за ними не пойдет.

Сестры слушали его молча, не перебивая. Наташа чувствовала, что это не то, что не об этом жизнь велит сейчас думать, а Оля продолжала подсчет своих сил и казалось ей, что приближается какой-то необъятно великий час в ее жизни, к которому надо быть совершенно готовой.

Разошлись рано. Наташа носила в комнату Сергею Сергеичу воду. Он показал ей, что на столике около кровати револьвер заряженный лежит.

— Это теперь единственный друг, которому верить можно.

Наташа от него прошла к Оле.

— Слушай, я серьезно говорю, что на Сергея Сергеича надо обратить внимание. Около него всю ночь револьвер лежать будет. Он совсем сумасшедшим от страха стал.

Еще на рассвете проснулись от близкой команды. Оля же слушала глухие выстрелы, ни о чем не думая.

На площади стояли оседланные кони в поводу у казаков. Потом проехала медленно мимо окон батарея. Чувствовалось, что напряжение у добровольцев растет.

Оля села на подоконник своей комнаты, выходившей в сад. И опять старалась сосредоточиться, до самого дна своего дойти, все определить и быть готовой. Не хотелось больше слушать Наташиных страхов и печалей Сергея Сергеича.

И вместо того, чтобы идти пить чай, она вышла в сад, прошла через калитку во двор Семена Петровича и постучалась в дверь.

Она давно не была у него в хате, но он ей не удивился.

Так в прихожей остались стоять, — Семен Петрович забыл, что надо гостью в комнату пригласить. А она уперлась рукой в косяк двери и смотрела на него своими будто невидящими, тоскливыми глазами.

— Вот, Семен Петрович, скажите мне, — может так быть? — один человек большой, но пути своего не знает, а другой, — маленький — и большому дорогу показывает, — на великое, может быть, дорогу.

Семен Петрович понял сразу, что говорит Оля о Климе и себе. Понял и обрадовался.

Но велика была в нем привычка раньше всего понаблюдать, что в человеческой душе, на самой глубине делается. А тут он уж слишком явно увидел, что в Олиной душе огромное происходит, — вся она стояла перед ним особенная, напряженная, как стрела, которую сейчас пустят из лука лететь.

Он ответил иносказательно:

— Сильный да слепой посадил себе на плечи хромого да зрячего. Отчего же?.. Так, видите ли, даже в сказке говорится.

Оля помолчала. Она плохо понимала его слова. О чем-то другом опять задумалась.

— Семен Петрович, Клим большой человек. Мне его ужасно жалко. Она опустила глаза.

А старому колдуну, видевшему так много на своем веку, хранившему у себя в душе все станичные тайны и изучившему душу человеческую, — вдруг впервые как-то жутковато стало. Уж очень в Оле что-то было стремительное и хрупкое вместе с тем, что-то такое, гибельное, само себя сжигающее.

Он обнял ее за плечи.

— Ольга Лаврентьевна, Климу конец скорый, — это я вижу, — догорит его свеча... Ну, если чудо какое, может, и спасен будет. Только думаю, что и вы с ним сторите в одночасье. А затем, — воля ваша... Ведь и вам, вижу, только и радости, что гореть.

Это Оля слышала и поняла, даже по-особенному ясно поняла, как редко человеком слова другого человека воспринимаются.

— А если я за него против судьбы войну начну? Вы не думайте, что я слаба. Это вы правы, что только гореть умею. А огонь всегда сила, — что бы ни горело.

Семен Петрович пожал плечами:

— Воля ваша, — вы хозяйка себе.

Оля пошла домой, — даже попрощаться забыла.

Семен Петрович смотрел ей вслед, пока она не исчезла за забором.

Дома Оля застала еще большую тревогу: мимо по площади пронеслась часть казаков. Пулеметы трещали у самой окраины станицы. Было ясно, что красные наступают и скоро ворвутся.

Наташа стояла бледная около окна. А Сергей Сергеич сидел в кресле и плакал. Наташа показала на него глазами.

Оля заметила, что около него на стуле лежит револьвер, и он время от времени каким-то осторожным движением поглаживает его. Но вид у него был совсем не воинственный, а скорее вид загнанного зверя, — злой и растерянный.

Наташа охнула, — на площадь вылетела казачья сотня и понеслась к противоположному краю станицы. Отступление шло быстро. Вот спешным шагом мелькнула перед окном пехота. У всех лица тревожные и усталые. Люди что-то кричали. Ружейная стрельба была слышна совсем близко, — чуть ли не в самой станице. Минут через двадцать вся площадь наполнилась верховыми. Слышались отрывистые приказания. Потом, быстро строясь в колонну, отступали казаки из Хлебной. Перестрелка стала совсем редкой. Наконец, проскакала последняя сотня, прикрывавшая отступление. На площади было совсем пусто. Звуки сразу смолкли.

Наташа прислонилась к стене и глухо рыдала. Оля все таким же безразличным взглядом смотрела на площадь. А Сергей Сергеич побелел весь, дрожал тихо и сжимал рукой свой револьвер. Во всем его лице отпечаталось такое отчаяние и действительно безумие какое-то, — будто не от него была та решимость, которою горели глаза.

Наконец на площадь вынеслись карьером пять всадников. Оля сразу узнала Клима, скачущего впереди. Наташа глухо сказала:

— Большевики.

Сергей Сергеич поднялся со своего кресла и встал за Олиной спиной.

Всадники на минуту остановились. За ними показалось еще несколько человек.

Клим что-то говорил ближайшим и показывал рукой по направлению ушедших казаков.

Потом они опять тронулись, но уже не так быстро и не наперерез площади, а мимо училища и Малаховского дома. Через мгновение они поравнялись с окном. Оля успела заметить, что у Клима лицо возбужденное, — таким она его не видала еще.

Она не почувствовала, как мимо ее щеки протянулась рука Сергея Сергеича с револьвером. Раздался выстрел. Со звоном упало разбитое стекло.

Сергей Сергеич ахнул и без сил опустил в свое кресло.

По площади несся конь Клима.

Сам Клим лежал на земле с широко раскинутыми руками. Он был убит.

Наташа громко кричала. Оля кинулась на улицу к Климу.

Но в дверях ее оглушило что-то. Она только успела разглядеть несколько человек с безумными лицами.

Через мгновение Олино тело, окровавленное и истерзанное, валялось на крыльце. А из комнаты разнесся безумный крик Наташи.

Конники отомстили за смерть своего вождя, — все трое обитателей Малаховского дома были зарублены.

К полудню Хлебная была опять в руках белых.

ЙОТА

Нет, не на белом свете живу, а в дыре кромешной!

Избеглица, штабс-капитан, рабочий на все руки, человек, одинаково успешно коверкающий несколько балканских языков, — о чем мне думать, кроме того, что Дунай разлился и затопил кирпичный завод, где я работал, глину месил. И вот сиди уже второй месяц без заработка.

А тут еще эта грязь невылазная, небо серое, одиночество в сырой и нетопленной комнате, лампа чадит, а штукатурка со стен облупилась вся. Только и остается, что лечь под шубу и заниматься воспоминаниями.

Каждому русскому человеку много есть, чего вспомнить. Даже, пожалуй, и слишком много. Только не дай Бог итоги подводить, ум за разум зайдет. Кроме самого черного отчаяния ничего не получится.

А я вот сдуру именно этим и начал заниматься. Смотрю в окно, как ветер срывает солому со стогов, что стоят против дома, слежу, как жирные гуси стаями вперевалку бредут к разливу Дуная, и думаю приблизительно так: «если бы да кабы», и опять «если бы да кабы».

Что было бы, если бы не то, что было? Дальше ясно, — становишься полоумным.

Но есть и другой способ думать. Обо всем себя спрашивать: отчего? Тут уже и итоги сами приходят в голову, и все делается более или менее ясным. Но не веселее все от этого.

И думается мне, что на всем пространстве Сербии, в грязи ли белградских улиц, на высотах ли снежных перевалов, — везде, — такие же, как я, избеглицы руссы одинаково мозгуют: отчего?

Как увижу где английскую старую шинель, так и мелькнет мысль: до чего, брат, уже успел додуматься? Понял ли, наконец, что к чему.

У меня же эти два месяца оказались неожиданно плодотворными. Именно потому, что совсем я от теории всякой отошел сначала, а просто

вспоминал людей отдельных, разговоры, университетские лекции, бои в Галиции, первые дни революции, отдельные дни Гражданской войны, — а потом, когда вспомнились и чувства свои прежние, все стало ясным, слово нашлось, которое объединило разрозненное, и душу до конца повергло в отчаяние.

Наша русская душа, — испепеленная душа. Куда ни кинь нас, чем ни старайся поразить, — мы будем все те же, до конца дошедшие, в самую глубину заглянувшие.

Право же, русский человек одинаково себя чувствует, что на берегах Босфора, в кипучих кварталах Галаты или между сонными, торжественными улицами Стамбула, что под Триумфальной аркой Парижа у могилы Неизвестного солдата, что среди снежной метели на горных перевалах Балкан, — все это не то, не Россия, и все немножко призрачно, нарочно, не всерьез, — чужое.

Ну, а в прошлом всякое было.

В молодости удивительно мне везло в сообщении с людьми: в Петербурге, студентом еще, стал бывать я в славящихся тогда по всей интеллигентской России кружках, квартирах литературных; слушал все слова из первоисточников, внимал, можно даже сказать, и бессознательно наблюдал, наблюдал верующих, говорящих. Это был период увлечения религиозно-философским обществом, идеями богоискательства.

Еще дома, в восьмом классе, я сам к этим мыслям и увлечениям подошел вплотную. А приехал в Петербург, — с головой ушел в этот круг идей.

Но уж, видно, такова моя натура: ужасно люблю все точное и определенное: уж если православие, то поклоны бей и церковной службы не пропускай, а главное, — смирись, смирись до конца; и не надо в этом деле слов лишних, — нецеломудренны лишние слова.

И вспоминается мне стальная Нева и две зори белых ночей, полыхающие на небе. В эти ночи особенно легко думалось, особенно легко бродилось, шире как-то были открыты глаза, а дух воспринимал весь мир до самой его глубины, приобщался к миру.

Ну, а на людях я молчал все больше.

И вот столкнулось мое это молчание с таким торжеством слова, с таким праздником речи, с такой любовью к отточенной фразе, которое господствовало в то время в литературно-философских кружках Петербурга.

И странное получилось у меня впечатление: я молчу, таюсь; мучительно сам с собою, с духом своим ищу правды, — а там, в центре, просто говорят, слов не боятся: «с Христом или с антихристом»; а другой доказывает, что таинства Диониса близки сокровенному смыслу Евангелия. А главное, каждый каждого тут же публично разлагает на составные части, в самой глубине человеческой души копается. Ошибется такой препарат — какое-нибудь движение души неправильно определит, — препарированный его поправит: «Я, мол, не так, а эдак чувствую, вы неверно определили; а чувствую так по таким-то и таким-то основаниям».

Подавай себя всего, одним словом, до самого дна, чтобы все разглядеть можно было, чтоб уж без недоумений. И потрогают, и перещупают все твое духовное содержание, разложат по полочкам, а то и жонглировать им начнут, перебрасываться с места на место, комбинировать всячески. Ну, точно ты среди <них> голый стоишь, — именно нецеломудренно как-то.

Но я тогда молод был, авторитеты всяческие очень высоко ставил, — поэтому решил так: что для меня, молокососа, тайна тайн и глубина глубин, то для них, посвященных, ничто: глубина их глубинная такова, что мне и во сне не снилось.

На этом и успокоился.

Меня же быстро разобрали, на полочки разложили, — несложная птица, можно сказать, просто ничего особенного, — из публики внимающей.

А потом опять мои смущения начались. Поднялись уж вопросы теоретические.

Увлекались все помаленьку общественностью. Ждали новой революции, которая должна была окончательно мессианский лик России выявить.

Надо сказать, что я тоже очень ждал революции и не представлял себе даже, что я при тогдашнем положении вещей после университета делать буду: уж очень мертвая, сонная жизнь была, просто ни к чему вся.

Но революция для меня была, как какой-то неизбежный и практический выход из того положения, в котором оказался русский народ. И ясно было, что участие в ней должны принять все независимо от того, что одни будут людьми религиозными, другие нерелигиозными. Как все ежедневно едят, дышат воздухом, имеют заработок и так далее. Вроде воинской повинности для целого поколения должна была быть революция в моих представлениях.

А в кружке религиозном неизбежность ее доказывалась текстами, чуть не третьей ипостасью Божества она объявлялась. Просто поругание митрополиту Филарету с его катехизисом, где на основании текстов делалось уж такое сильное ударение на том, что власть, ныне сущая, от Бога.

И тогда мне бросилось в глаза, что удивительно легко текстами подтвердить любое положение, обзаконить ими любое настроение. Вроде того, что закон, как дышло, — куда повернешь, туда и вышло.

Тогда начался у меня отпад от этого всего, протестантизм известный. Просто на подозрение все решительно взял, вплоть до Церковных Соборов, все мне дышлом показалось.

Но настоящее слово я нашел гораздо позднее и по другому случаю. А нашел, и все же не сумел распространить на все и подо все фундамент подвести.

Слово это, — йота.

Обстоятельства нахождения такого слова были очень поучительны.

После октябрьского переворота я скрывался долго: офицер, — самая приятная дичь, — скроешься поневоле.

К весне оказался в сфере действия чехословаков.

Пробирался из деревни в деревню, посмотрелся всяческих чудес, опытным путем изучал родной народ свой, и могу теперь сказать, что учебники все по этому предмету, — литература наша, изучению этому не помогают, а только способствуют усвоению совершенно неверных и предвзятых точек зрения. Это вся литература, — справа налево и обратно, — без единого исключения.

Основная ошибка, — это искание в народе каких-то особых черт, отделяющих его от интеллигенции, — на самом деле ничего тут за скобки особенного, народного, не вынесешь, — все то же. Только, пожалуй, типы ярче и цельнее.

А главное, — уж очень высока стена, отделяющая даже не интеллигенцию, а город от земли настоящей. И стена эта высокая воздвигнута волею земли, гордой и презрительной ко всему, что так или иначе оторвалось от нее. Тут молчат не потому, что нечего сказать, а просто из высокомерия, — не стоит, мол, говорить, все равно не всякий поймет. Тут отказываются от борьбы не потому, что где-то в глубине души таится зародыш толстовского непротивления злу, а просто из чувства, что нечего руки марать, и без склоки проживем сами с усами. Да, мимоходом замечу, что из Толстого-то, пожалуй, в его непротивленчестве, если до глубины копнуть, тоже презрительность ко злу была: меня, мол, зло не полонит, в глубине я очень хороший, ну так и пусть себе старается на здоровье, мне с ним бороться не пристало.

Но когда я потерял свой городской облик, свылся со скитаниями своими, прокормил вшей на десятках железнодорожных станций, проработал в качестве простого рабочего за харчи во многих деревнях, намозолил себе руки, — весь сплошной мозолью стал, — перестали меня по деревням дичиться, и сам я научился настоящему русскому земляному языку.

А тогда и понимание пришло. И не только народ стал я понимать, а и интеллигенцию всю через это понимание легче определил и в определении этом утвердился.

Все дело в йоте: от этого и большевики в России пошли, от этого и белые армии рассыпались, от этого еще неведомое и страшное ждет нас впереди.

Был у меня хозяин, мужик зажиточный, с огромной серой бородой, с крепкими и жилистыми руками, со взглядом острым и умным, из старообрядцев, — вся деревня была старообрядческая, — Иван Семенович Пазухин.

Очень он меня попервам за мое курево ругал, и не просто ругал, а все текстами, текстами. И выходило, действительно, что именно по Писанию нельзя курить табаку.

Но несмотря на это, отношения у нас были самые хорошие, — оба любили пофилософствовать о событиях, оба любили загадывать, что же дальше русскую землю ждет.

Я рассуждал на основании редких номеров «Правды», доходивших до деревни, а он к тем же печальным выводам приходил на основании все тех

же текстов, которых он знал неисчислимое количество, а книгу Иова мог всю наизусть сказать. Но в его рассуждениях всегда преобладали мысли недоговоренные, намеки одни, эдакие указания перстом, — взглядишь, мол, и, коли Бог умом не обидел, пойми хорошенько и восчувствуй соответственно.

Когда чехи начали приближаться, он стал рассуждать явственнее и определеннее.

А в один раз, — уж ясно было, что скоро к нам чехи придут, — рассказал он мне совершенно доверительно, что большевицкая власть несомненно от дьявола, и является она преддверием царства антихристового. И в доказательство этого привел мне целый длинный ряд текстов, которые сомнения не оставляли.

Надо сказать, что и я по своим источникам пришел к выводам, довольно близким к выводам Ивана Семеновича. Он только головою скорбно качал, когда я рассказывал ему о судьбе Ярославского восстания, о том, как потом глумились большевики над своими жертвами.

И единомыслие было у нас полное.

А главное, — обоим в глубине души мало верилось, что спасут Россию чехи или еще кто, — путь ей другой обозначился, — через великие испытания.

Тут началась горячая пора, — сенокос. Дожди перепали, — надо было спешить. Работу мы начинали до зари, а домой возвращались после заката. Уставали, как собаки, — не до рассуждений было.

Но удивительно, как совместная трудная работа объединяет людей. Больше, чем все наше единомыслие по большевицкому вопросу, объединил нас сенокос этот. Одновременно машешь целый день руками, идешь плечо к плечу; под одним небом, на той же зеленой шири обливаешься потом; дышишь даже в такт, и будто в одно какое-то существо четырехрукое сливаешься; — жжжих — падает трава, а солнце жжет спину невыносимо.

Так ли или нет чувствовал нашу близость Иван Семенович, только после сенокоса стал он много откровеннее, — совсем, казалось мне, перестал таиться.

Я же в ту пору уже совсем отчаялся в том, что чехи до нас дойдут, и решил сам к ним пробираться: надоело скрываться, да и неуместным казалось сенокосом и философией заниматься, когда можно по-настоящему свое дело делать, — за свой образ родины воевать и бороться. И хоть плохо я верил в спасительность этой борьбы, однако долгом своим почитал в нее свои силы влить, — ведь каждый человек, может быть, на счету.

О своем решении идти сообщил своевременно Ивану Семеновичу.

Он меня с места начал отговаривать: не то работника не хотел в горячее время лишиться, не то и взаправду считал мою затею негодной.

Сначала отговаривал соображениями материального свойства; потом, видя, что это не действует, перешел к излюбленному доказательству текстами.

Я было попробовал его оспаривать его же текстами, что он против большевицкой власти выдвигал, но он только ухмыльнулся.

Это, дорогой, все, как повернуть: есть и против белых самые настоящие тексты, потому что ведь и они самозванцы, сиречь лжепророки, волки в овечьей шкуре. И блажен, кто не соблазнится.

Я даже рассердился.

— Ну, так по-твоему, Иван Семенович, царь, значит, один только и не был самозванцем, а помазанником Божиим? Значит, за царем вся правда?

Он руками замахал:

— Что ты? Что ты? А Саула забыл? Цари наши, — истые Саулы; нет в них правды; слава Господу, что сгинули.

Даже колдунью Аендорскую каким-то образом с Распутиным сравнил.

На том и разговор кончили.

Потом потихоньку стал я собираться. Несколько дней прошло в молчании.

И опять начал Иван Семенович разговор затевать, но уж, видно, на полную откровенность решился. И вид у него стал такой проникновенный, значительный.

— Слушай повнимательнее, родимый, что я тебе скажу. На этот раз скажу уж всю полную правду... Всякие места в Писании бывают... А если все внимательно изучить, тогда уж с несомненностью ясно будет: человеческая власть вся от дьявола. Ведь вот возьми, к примеру, Давида: был самый праведный человек перед Господом, а как стал царем, сразу начал обнаруживаться, потому что, значит, и дьявол в нем участие принял. А уж об остальных и говорить не приходится, — каждый свихнулся... Да и ни к чему эта власть, если подумать... Только привычка одна; сами себя тешат, да армиями командуют. А народу какое до этого дело? Так-то, голубчик, подумай, стоит ли еще собою неизвестно на что жертвовать. Тебе-то какое дело до большевиков? Живи себе тихо, — авось не тронут. А если они тронут, значит, и другие тронуть могут, потому что все на один манер, — власть человеческая, — дьявольская.

— Иван Семенович, — воскликнул я, — знаешь ты, в чем тут дело. Были в Петербурге последнее время люди такие, все Бога искали. Так ты и богоискатель эдакий, и митрополит Филарет — все в одном лице соединил. И грех какой в твоих словах, — знаю я теперь точно. Йота, помнишь, — йота, что по Писанию изменить нельзя. Пока ни одна йота неизменна, до тех пор Писание, — истина, а как изменишь хоть йоту, — все ложью становится. Одну йоту ты против большевиков изменил, другую против белых; понадобилось к слову, — против царя у тебя йота для изменения нашлась; а потом всех одной изменной йотой дьяволу предал, вместе даже с пророком Давидом.

Вот и они, петербургские, тоже йоты меняют: все как будто по самой настоящей правде. А вот нравится одному из них революция, — и выходит, будто все Писание только в оправдание революции написано; а другой тоже на основании Писания докажет, что только и правды, что в сочетании православия, самодержавия и народа. А у митрополита Филарета все уж просто за одного царя свидетельствует.

На самом же деле Писанию ни до чего этого и дела нет. Просто и вопросы там поважнее в божественном смысле, чем революция, царь, большевики, белые и прочее. Не больше дела Писанию до этого, чем до нашего сенокоса, к примеру.

Это был наш последний разговор. Я ушел на следующее утро.

После бесконечных скитаний оказался не у чехов, а у добровольцев на юге. Отмаршировал с ними до Орла, докатился обратно до Новороссийска, эвакуировался в Крым, наступал, отступал, оказался в Константинополе, торговал пончиками, работал в сапожной мастерской, попал в Сербию, рисовал вывески, мостил мостовую; сейчас жду, чтобы опять начал работать мой кирпичный завод, а то динары к концу подошли.

И за все это время слишком напряженно и трудно жилось, чтобы найти в себе силу и охоту подвести черту под всем прошлым и написать: «Итого».

А вот сейчас само собой все всплыло, все встало в рубрики, черта подвелась.

Все надежды, — израсходованы; в графе прибыли одна жгучая горечь и опыт искалеченной жизни. А за словом «Итого», — другое слово: «йота».

Теперь я знаю, что это не только к Писанию относится, — это относится ко всей нашей жизни: к нашим индивидуальным жизням и ко всему существованию народа русского, родины нашей России.

Белые, черные, красные, — все нарушали закон неизменности каждой буквы своего писания.

По писанию своему все служили народу, и все изменяли понятие народа на одну незначительную йоту, — и становилось все дело не служением народу, а служением специальным задачам различных групп.

Впрочем, все это, пожалуй, уж слишком сложная политика. Не моего ума дело.

Я же, как одно из бесконечно многих действующих лиц нашей родной драмы, сижу сейчас, жду, когда спадет вода в Дунае, и без конца, без конца вспоминаю.

Проклятые воспоминания! Какой в них толк?

Разве еще где-нибудь найдешь изменение йоты и в тысячный раз разуверишься в очередной надежде.

Такова судьба наша...

СОСЕДИ

Часто бывало со мной прежде, — да и теперь бывает, — что какими-то особыми своими чертами, — иногда чужими и даже отвратительными, — привлечет меня человек, и смотрю на него, смотрю жадным таким смотрением. И ничего мне от него не нужно, и никак он в мою жизнь не может вклиниться, и лежат между нами пропасти непроходимые, — а вот между тем чувствую я, что надо мне в мыслях отобразить, запечатлеть этого человека, определить точно и внимательно, как книгу прочесть и на полях сделать заметки.

Иногда лишь малая черта человека так запечатлевается, штришок самый незначительный. И потом род и племя забудешь, — ничего от человека не остается, — только штришок этот, — ухо какое-нибудь без мочки, или фраза случайная, или приговорочка: «ну-ти, ну-ти», или взгляд поверх очков, когда неправда говорится, — что-нибудь такое незначительное от человека остается и в нужную минуту из хаоса памяти всплывает, как самое верное доказательство, как самая убедительная правда, — и сразу почувствую, — знаю, мол, — на складах моих это знание точно подтвердить можно.

Часто под влиянием времени как-то сочетаются различные штрихи в памяти. Из случайных к общему переносятся. Много в моих воспоминаниях таких сделанных людей, у которых нет ни одной черты выдуманной, а вместе с тем никогда они на свете не существовали.

Но есть в памяти моей и люди, вошедшие целиком, — разве только мелочь какую-нибудь забыть пришлось. Есть и такие, что целиком вошли, но слегка потом для верности изменены были.

Все это — богатство, накопленное многими годами, Брокгауз и Эфрон, составленный собственным трудом и на основании собственного опыта, музейная тишь, объясняющая житейский шум, любовная умудренность, лаборатория будней, — все это моя правда.

И так нужны, и так ценны иногда эти найденные черточки, что на многое можно часто пойти, в самые опасные научные экспедиции пуститься, чтобы только, — у одного, — на дне душевного моря выудить нужную затонувшую мелочь, — у другого, — под пустыми песками тягучих будней откопать забытый храм и угадать его Бога.

Есть в этом деле несколько ступеней. Вначале, — радость накопления. Потом, — некоторая изумленность перед тем, как часто в обычном прячется необычное. Потом, — духота и тошнота от липкой сладости чужих жизней, от отсутствия ветра широких просторов в них, оттого что все тайны и непонятности наших дней вскрываются легко одною воровскою отмычкой, — знанием мутного бессилия брата моего человека.

И, наконец, — завершением, — жалость и оправдание. Милые кривульки человеческие, если случайно врываюсь я в ваш размеренный путь, то не мне ли и надлежит искать последнего оправдания этого пути, — исток которого, — жалость, захлестывающая все, перекатывающаяся волною через все человеческие жизни.

И вот, раз начав соби́рание людей и поступков, черт и черточек, как-то помимо воли своей сталкиваешься с самым неожиданным и самым нужным. У обычного находишь такое, что всю необычайность нашей жизни легко подтверждает.

Были у нас, например, соседи. Крепкие, несмотря ни на что люди. Особенно сам Герасим Иванович. Не надо быть мудрецом, чтобы таким, как он, определение дать. «Ну-ти, ну-ти», — как раз его присказка к каждому слову. Главное его, — что богатеть и хотел и умел. Себя помнил, — это, во-первых.

И пиджак крепкий, и сапоги крепкие, и плечи крепкие, и походка тяжелая, и скулы, как у гуся широкие, глаза чуть раскосые, волосы очень прямые и сесть начали, а нос до последней возможности курносый, — будто кто ему тяжелым кулаком нос раз навсегда придавил.

Любил он: собственность (даже когда у самого не было собственного клочка земли, как к избранному существу относился ко всякому, кто землю владел, и совсем не понимал, в чем еще можно святость, кроме собственности, найти). Еще любил — охоту, — даже если и убить ничего не удавалось. Еще любил, чтобы на обед был борщ со сметаной и непременно мясное блюдо. Еще любил, чтобы его на общественные должности, — вроде попечителя школы или чего там другого, — избирали. И еще, наконец, чтобы жена его была не хуже других одета.

Не любил: революции, лентяев и бездельников, безденежья, недожаренного мяса и больных в доме.

«Ну-ти, ну-ти», Герасим Иванович, что еще о вас сказать можно? И так будто уж всякому, не знающему вас, ясно, какой вы, а знающий скажет:

— Как же, это он, вот уж именно он самый и есть.

Тут бы, казалось, и точка. Мелкобуржуазная стихия и баста. Даже непонятно о чем разговор идет, раз всякий человек по десяти раз на день Герасима Ивановича или ему подобного встретить может.

А между тем есть в этом деле маленький зигзаг такой, тоже от общего существа Герасима Ивановича и не уводящий, но все же — кое-что очень значительно меняющий.

Для начала сплетни одни только. Был у нас тоже сосед, сплетник очень талантливый. А от талантливого сплетника многое спрашивается: должен быть он, во-первых, человеком наблюдательным, чтобы если и сочинить что про кого-нибудь, так сочинить кстати, а не то, что совсем неподходящее. Кроме того, у хорошего сплетника фантазия должна просто лимонадом играть и пениться, потому что без фантазии настоящая сплетня выходит пресной и просто ни к чему. Талантливых сплетников на свете так же мало, как талантливых артистов и художников, а наш знаменитый сплетник по исключительным его достоинствам был то же, что среди певцов Шалляпин, что ли: самый он был первоклассный и непревзойденный.

И главное что хорошо. Посмотришь на него и заранее знаешь: сейчас вот творить начнет, — и уж слушаешь дальнейшее с особым вниманием.

Верным признаком этого вскипающего творчества был взгляд такой особый, — поверх очков, — очки он синие носил. Взглянет вопросительно, — будто спросит, — готов ли собеседник к восприятию невероятно-го, — а потом и начнет.

Все он насчет скупости Герасима Ивановича прохаживался, — и так кстати всегда, что и не понять, где правда, а где творчество.

Была у Герасима Ивановича теща, — старуха совершенно ослепшая.

И вот сплетник наш говорил, что однажды он по делу долго в столовой Герасима Ивановича подждал, — отлучился тот. От нечего делать начал газету просматривать и сидел очень тихо. И вошла тут в столовую теща эта слепая, его не учяла, к буфету подобралась, стул подставила, сама на стул этот вскарабкалась, мешок бумажный с сахаром нашарила и давай сахар горстями есть.

— Вот до чего он скупостью своею тещу довел, — и взгляд вопрошающий поверх синих очков.

Правда там это или неправда, а похоже на правду. Сразу как-то слепую старуху на стуле, поедающую сахар горстями, все себе легко представили.

А через несколько времени еще один рассказ, который и подтвердился потом различными воспоминаниями детей Герасима Ивановича, — Андрюшки и Ниночки, — они из этих воспоминаний тайны не делали.

Заболел у него конь чем-то: надо было коня пристрелить.

Но Герасиму Ивановичу стало пули жалко, — на что другое может пуля пригодиться. Долго и семейно обсуждали способ, коим лишить коня жизни.

Порешили.

Собрались все, — и дети, — у конюшни на дворе. Супруга Герасима Ивановича, Ольга Афанасьевна, хоть и заинтересована была, но Андрюшкины дырявые чулки штопать не перестала, — с ними и во двор вышла.

Вывели коня из конюшни. Больной, понурый такой конь, да и возраст не маленький.

Герасим Иванович накинул ему петлю на шею и начал душить. Конь сначала попятился назад, потом заметался, ноги заплел от напряжения, глаза выкатил, — длинные ресницы у конских глаз, — зубы желтые оскалил.

А Герасим Иванович ногами в землю уперся и тянет, душит коня. От натуги лицо покраснело и жилы на лбу налились.

Дети смотрят с любопытством, но серьезно. Ниночка палец в рот засунула. Жена от штопки оторвалась, иголку даже в кофточку засунула, чтобы не потерять.

Конь задними ногами упирается. Веревка ту же сжимает шею. Язык изо рта вывалился. Слюни густой пеной текут. Белки глаз красными стали. Герасим Иванович устал, но отдохнуть нельзя.

Конь боком пошел, зашатался, потом рухнул грузно на землю.

И все же Герасиму Ивановичу передохнуть нельзя, потому что конь и отойти опять может.

Так до конца и без перерыва потрудиться пришлось.

Потом собственноручно освежевал Герасим Иванович коня. Все хозяйски сделал. Жена пошла вечерний чай собирать, за ней и дети побежали.

Перед сном, — конец месяца был, — Герасим Иванович подсчитывал свою приходно-расходную книгу. Никак не мог припомнить, куда он три рубля пятьдесят копеек задевал.

Этот рассказ, хоть и подтвержденный многократно Андрюшкой, все же нам невероятным казался, пока уже от самой Ольги Афанасьевны не услышали историю другого звериного удушения. А так как она сама виновницей всего дела была и рассказывала сразу после события, — стгоряча и со многим волнением, то уж тут всяческие сомнения были неуместны, — приходилось все на веру без всяких разговоров принимать.

Дело в том, что появился у нас к тому времени участковый землемер Павлов, — непьющий человек, только в долг любил занимать, а другого ничего не замечено.

Очень ему Ольга Афанасьевна понравилась. И он ей тоже. Собственно, ничего в этом такого и не было, но раз их вместе кто-то за кладбищем увидал, а потом на гимназической вечеринке они особенно переговаривались, — так что только им одним эти переговоры понятны были. С этого и пошло. Все сильно способствовали Герасиму Ивановичу в его чувствах укрепиться. А Ольга Афанасьевна этого всеобщего похода ни ждать не ждала и ни заметить не сумела, — и таким образом своих мер не нашла нужным принимать.

Герасим Иванович притаился и ждал, когда самая достойная минута выпадет ему за честь свою вступиться.

И случилась эта минута как раз на Рождестве, когда взаимное хождение по гостям так оборачивалось, что три вечера подряд Ольга Афанасьевна рядом с землемером за ужином сидела.

После третьего вечера, вернувшись домой, Герасим Иванович решил приступить к полной ликвидации этого дела и вообще в настоящий азарт пришел.

Запер он дверь на замок и велел жене кончину больного коня хорошенько припомнить, потому что, мол, ее точно такая же участь ждет.

Она сначала не поверила, усмехнулась даже. Он же совершенно решительно приступил к ней и велел к немедленной смерти быстро готовиться.

Уже и веревку начал он в петлю ссучивать.

Полночи они в разных угрожаительных разговорах провели. Как только Ольга Афанасьевна ни пыталась доказывать свою чистоту и полную невинность. Каких только страхов и туманов не наводил Герасим Иванович.

Трудно даже и приблизительно передать, что у них в эту половину ночи происходило и что они перечувствовали и передумали.

Однако все это перечувствованное и передуманное общего положения не меняло, а лишь оттягивало развязку, потому что был Герасим Иванович к рассвету так же тверд в своем решении, как и с самого начала.

И лампа начала потухать, — керосину не хватило, — и окна поутреннему просерели, — а он все с веревкой по комнате метался.

И случилось тут, что старый черный Марс с седеющей мордой, охотничий пес Герасима Ивановича и неизменный друг детей его, спавший на подстилке у печки, от шумного разговора проснулся и, подойдя к двери, стал проситься на двор.

Видно, к этому времени у Герасима Ивановича настоящая воля к умерщвлению жены своей уже отошла, а вместе с тем податься было уже некуда, как бы против воли приходилось на что-нибудь из ряда вон выходящее решаться.

И уж, наверное, все бы кончилось очень печально, если бы Марс не начал чрезмерно надоедать своим повизгиванием и не скреб дверей лапами.

Тут-то и обозначился выход для Герасима Ивановича, — и вместе с тем смог он от первоначального плана без урона для самолюбия своего освободиться.

Отомкнул он дверь, дал ногой пинок Марсу и с веревкой в руках кинулся за ним сначала в столовую, потом в кухню, а затем во двор.

Как там дело произошло, Ольга Афанасьевна не знает. Только через четверть часа вернулся Герасим Иванович уже без веревки, — хоть и угрюмый, но будто успокоенный, и молча начал раздеваться, молча лег в постель и укрылся одеялом.

А на следующее утро Ольга Афанасьевна обнаружила во дворе, на заборной перекладине повешенного Марса. Вместо нее отдала собака свою жизнь, по этому делу.

Вот и все, не совсем обычное, что мне удалось узнать о Герасиме Ивановиче. Но могу сказать, что без этого необычного все, что в его жизни обычно, только наполовину понятно было бы.

А уж раз пришлось узнать, значит, буду это знание в памяти беречь, хоть оно веселья не прибавляет.

ЖУТКОЕ

В деревне, — час езды от Парижа, два километра пешком от станции, — уже глушь, провинция.

Наискось через улицу, в ряду других домов, — дом из серого камня с захлопнутыми всегда ставнями. Даже когда из него несутся дребезжащие звуки расстроенного пианино, ставни закрыты. По вечерам только, в щель окна на втором этаже падает желтоватый свет.

Играют на пианино, желтый свет по вечерам, — значит, дом обитаем.

Среди фермеров, ведущих по мостовой своих тяжелых и медленных лошадей, среди рабочих, спешащих к утреннему поезду на вокзал, среди устойчивого быта, аперитива в свободную минуту, школьничьего гама от одиннадцати до часу, вяжущих чулки старушек в корсетах, — женщина, живущая через улицу, наискось, кажется совсем необычайной.

Лет ей под семьдесят. Начесанные наперед волосы крашены в ярко-рыжий цвет. И рыжесть эта, — (что живее рыжего огня?), — у нее кажется мертвенной, придает всему ее лицу печать смертную. Глаза умные и злые. На губах всегда улыбка, — так теперь не улыбаются, — улыбка только из вежливости, как еще со времен Марии-Антуанетты полагается улыбаться, — а за этой улыбкой ничего нет. — Не взывайте. Подбородок вперед выдается, — маленький и крепкий. Руки тоже маленькие, — кошачьи лапы, — кости легко прощупываются.

А тела нет. Вместо тела, — широко задрапированные траурные ткани, — и плащи какие-то, вуали траурные до пят, — тела же совсем не чувствуется. Будто как в куклах фетишах автомобильных, траурные ткани на проволоку намотаны, и голова и руки к проволоке прикреплены.

Она писательница, у нее есть своя собственная понедельничная газета.

На мой вопрос, какова программа этой газеты, она мне сказала:

— Мы занимаемся аграрным вопросом, феминизмом и спиритизмом.

Об аграрном вопросе у нее есть целая книга. Основной принцип ее, — каждый человек должен иметь возможность родиться, жить и умереть на своем клочке земли. А практическое применение этого принципа, — десятки десятин земли, разбитые на крошечные участки с полуобитаемыми свинушничками.

Феминистка... Во-первых, все мужчины, — бездарные и грязные животные. Во-вторых, они связали женщину традициями и законами, только им выгодными.

— Вы знаете, отчего французская революция приняла такой трагический оборот? — О, всего-навсего оттого, что Мария-Антуанетта отвергла ухаживание Мирабо.

Вторая Империя погибла из-за неприступности императрицы Евгении, — этой замечательной женщины, далеко опередившей свой век. Если бы она уступила!..

Нет сомнения, что высокие моральные качества русской императрицы сыграли трагическую роль в развитии русской революции, — не так ли, *mon pauvre ami*?

И, наконец, спиритизм...

Семидесятилетняя женщина, надевающая для поездок в Париж тяжелую серебряную цепь и брошку с аметистами, носящая на пальце аметист с вырезанным профилем Данте...

У меня нет основания утверждать, что по ночам не она, ощерившись черною кошкою, крадется вдоль желобов. Я не имею уверенности, что наш русский Левко в лунную ночь не увидит остов железных когтей сквозь кошачьи крепкую руку в просвет траурных тканей.

В ней живет дух мадам Жанлис, — в этом она не сомневается.

А мне кажется более вероятным, что в свое время, причастная к тайному колдовству Калиостро, была уведена она от ступеней гильотины и с тех пор скитается по Франции, ненавидя новую жизнь и презирая всех, кто моложе ее.

Впрочем, презирает не всех. Есть исключения. Среди них, — Шатобриан, мистически воплотивший в себе романтическую душу Франции. Он, живший на всех семи планетах, он, растворившийся сейчас в солнце, подобно Жанне д'Арк, — с тою только разницей, что она была два раза на планете Земля: в первый раз в качестве св. Женевьевы.

Шатобриана она не презирает, а, заведя высоко свои умные и злые глаза, шепчет:

— Oh, mon pauvre ami!

В доме с закрытыми ставнями много книг, блох и пыли. Если сдвинуть посреди комнаты стоящий стул, — а стоит он так, наверное, не менее полугода, — хозяйка недовольна. Комната, — застывший хаос; будто давно здесь убили кого-то, перевернули убийцы все комоды и шкафы, — и ушли.

* Мой бедный друг (*фр.*).

С тех пор люди в ней не живут, а живет колдунья, кошка черная, друг мадам Жанлис и Шатобриана, знающая, что Вильгельма Второго на земле не ждет никакое наказание, потому что в следующем своем воплощении он должен будет с мукой неопишуемой все искупить.

Занятия спиритизмом накладывают особый отпечаток на всю жизнь.

До часу приходится лежать в постели: во-первых, так теплее, — не надо тратить лишних дров, во-вторых, именно в это время можно беседовать с потусторонними. Для этого существует полукруглая фанерная доска красного дерева. По бокам написано «oui» и «non»*. Веером расположены все буквы, под ними цифры. Надо только отдаться настроению и водить рукой, как она сама идет.

И вот точные сведения, касающиеся биографии Наполеона, в бытность его еще на Марсе и на Юпитере.

— ...Да, да, это можно считать совершенно установленным, что ему была дана возможность совершить только эти два, хотя и значительные, но, конечно же, недостаточные путешествия.

Иногда в полдень, — правда, при закрытых ставнях, — около кровати появляется сияние. Это Жанна д'Арк воплощается, — обительница солнца.

Спиритке, конечно, не страшно, но она очень устала. Необходимо подкрепить себя, а выползть из-под теплой перины на холод не хочется. Для таких случаев в ящике ночного столика заготовлен шоколад.

Беседа с Жанной д'Арк и плитка шоколада. И опять тайны обители солнца и опять шоколад.

— Когда священник говорит мне о Христе и о христианстве, я молчу. Я с ним согласна — я католичка... Но вместе с тем я жду, чтобы он кончил, потому, что там, где последнее слово христианства, там мое первое слово. *Mon pauvre ami*, как люди слепы!

Однажды она уговорила меня пойти в общество феминисток, где сама работала.

Помещение библиотеки. В задней комнате чай со сладкими пирожками. На дамах бриллианты, у всех красные губы сердечком.

Моя приятельница знакомит меня с рыжеватым господином, у которого за пенсне глаза бегают и косят.

Меня она представляет так:

«Вот мой русский друг, человек замечательный: дважды приговорен к смертной казни» и т.д.

Рыжий господин, писатель.

Ему нужны точные указания русского собрата для некоторых мелочей в авантюрном романе из эпохи русской революции.

Я удивляюсь: откуда знаком Monsieur с русской революцией?

Глаза писателя скашиваются:

— А, Боже мой, он много читал, и вообще...

* *Oui* — да (*фр.*). *Non* — нет (*фр.*).

Фабула романа не сложна. Действие происходит в транскавказских республиках. В лесах около Баку скрывается Grand duc*.

О, эти грандюки! Они положительно вытеснили «Samovar» и «Vodka». Они смело конкурируют с развесистой клюквой.

Я делаю вежливую и приличную улыбку:

— Monsieur не пытался еще написать авантюрный роман из истории Мексиканской революции?

— Нет, а что?

— Может быть, он бы вышел более похож на действительность.

Писатель отходит.

Моя приятельница довольна: она вообще любит, когда говорят злые вещи с приятной улыбкой. А мы, русские дикари, мы так мало на это способны.

Вообще она воспринимает нас немного как сенегальцев: очень забавно молодо-зелено, а у нее в жилах двадцативековая кровь.

Я чувствую, я знаю, что древняя, медленная кровь и старинный, чеканный французский язык, и аметисты в серебре, и сладостно-приличная улыбка, — все это, — так, видимость одна. Я чувствую железные когти панночкиной матери, я угадываю оскал ощерившейся черной кошки.

Столб света, возвещающий появление Жанны д'Арк, — это не представляемо в пыльной комнате, с грудой переплетенных книг на полу, с двумя полками карточек, — на одной живые, на другой, — мертвецы, среди мертвых и Императрица Евгения.

Свет — в сочетании с удушливой жутью Эдгара По... Солнечная обитель, — и блохи в пыли, неделями не убранная кровать.

А кроме того, запахи. Запахи плесени и тления. Запахи пожелтевшей бумаги и мышей, почти выветрившихся пачулей и развешенного в столовой стирального белья. И среди них еле чуемый, скорее угадываемый трупный запах.

Нет, не юпитерская, и уж никак не солнечная обитель...

* * *

На днях мне пришлось узнать много новых подробностей о ней.

Раньше, оказывается, в доме жили три женщины. Моей знакомой, младшей из них, было тогда лет шестьдесят. С нею жила ее мать и мать матери столетняя старуха, неподвижно сидевшая и днем и ночью в кресле.

Тогда в доме топили, потому что две старшие любили тепло.

Старшие женщины были обычны, — трезвые и практичные француженки.

Сначала умерла собачонка. В ящике, обложенным цветами и еловыми ветками, ее зарыли в саду.

Потом стала болеть мать. Водянка вздула тело и душила ее. Много месяцев развивалась болезнь. Наконец, старуха умерла.

* Великий князь (фр.).

Тело ее было положено в гроб и на него надвинули крышку, потому что разложение шло очень быстро.

Столетняя бабушка смертью дочери не то что была огорчена, а просто отупела как-то, — без сна и без сознания сидела в своем кресле на верхнем этаже.

И вот воистину делятся люди на тех, кто связан с жизнью, на дневных, солнечных, от воли и от ветра, — и на тех, кто насыщен смертью, на людей ночных, с лунным загаром, с безвольными заклинаниями и тихой болотной прелестью.

Внучка была из их числа.

В доме трех старух, трех оттрудившихся поколений, в ночную пору, при желтом свете свечи и при закрытых ставнях, в окологробовой тишине начала она действовать по-своему, по-дикому, по-ночному.

Тайком в саду кухонным ножом выкопала ящик с останками собаки, принесла его в комнаты, напрягаясь и задыхаясь, сдвинула крышку с гроба, — и неловко сдвинула: задела углом голову матери, — и в ноги поставила собачий ящик.

Так их и хоронили потом...

Вот, услышав это и вспомнив бестелесные плащи и вуали, я как-то сразу понял, что в жизни самой размеренной и трезвой, там, где танцуют фокстрот и вообще упразднили тайну, иногда может быть...

О, Господи, зачем нам Шатобриан, и Наполеон, и Жанна д'Арк, и все планеты, когда наше дело при земном ветре и под земным солнцем упорно и упрямо волочить свой плуг.

НЕПОБЕДИМАЯ

— Ну-ка, жизнь, покажи мне тех, кого ты опять победила? Всех, смертельно усталых, всех, утеревших веру, всех, не ждущих завтрашнего дня.

У жизни синодик длинный. Каждый день, каждый час — новые жертвы. Все, — по разделам и рубрикам. Банкир, потерявший на биржевых операциях три четверти своего состояния и не знающий, как жить с одной четвертью, — несколькими миллионами. Выход найден, — пуля в лоб. Его наследники считают и пересчитывают наследство.

Неудачная любовь, измена, ревность. «В смерти моей прошу никого не винить».

Просто усталость. Сегодня работа, завтра работа. О, глупая, никому не нужная работа. Каждый день десять часов, в неделю шестьдесят часов. Сколько часов на протяжении всей жизни? И зачем думать, мечтать, стремиться? Лязг машины, — вот она жизнь. Оборот колеса, — вот они дни. Челнок прядает взад и вперед. Челнок-маятник отмеряет бесцельно поугбенное время.

— Ну-ка, жизнь, покажи мне тех, кого ты опять победила? Всех, смертельно усталых, всех, утеревших веру, всех, не ждущих завтрашнего дня.

Гибнут надежды и планы, гибнут люди, рассыпаются семьи.

В молодости говорят: «Все будет завтра».

В старости: «Все было вчера».

И никогда, никогда, никогда не бывает дня, когда человек говорит: «Все, — сегодня».

И завтра, и вчера, и сегодня, — суета сует.

Но существуют непобежденные. Существуют люди, которых победить нельзя.

В синодике жизни, внизу, под списками, есть мелкими буквами напечатанные сноски: «Непобедимые».

Не цари, не банкиры, не удачливые любовники, не изобретатели, не ученые, — просто, — непобедимые.

* * *

У соседей сегодня с утра слышны звуки скрипки.

«Ехал раз с ярмарки ухарь купец, ухарь купец, удалой молодец».

А потом:

«Ямщик, не гони лошадей».

И еще, и еще...

Тонким и быстрым ручейком текут знакомые напевы.

Сочетание удали, певучести и тоски, тоски, тоски.

Тоска кабацкая, пьяная и рыдательная.

Это в гости пришла Ариадна Аркадьевна и скрипку свою по всем пере-
садкам метро протащила, — в черном футляре, — кормилицу и поилицу.

Легкую жизнь Господь послал Ариадне Аркадьевне.

Во-первых, — уже возраст такой, что всяческие кафе и бары никаким
соблазном обернуться не могут. (Кстати, — в чем разница между кафе и
баром я не знаю, и она не знает.)

Во-вторых, работа, можно сказать, по специальности, — доставлять лю-
дям удовольствие игрой на скрипке и за это снискивать скромное пропитание.

Загудят струны, запрыгает мелкими брызгами поток знакомых напе-
вов, что-то в сердце защежит, глаза у человека откроются в даль, — к ушед-
шему или к грядущему, — расступится табачный воздух бара, и душа как
на уздечке безвольно повлечется в мечту. Вот и день обедом обеспечен.
Скромный труд имеет скромную награду.

«Не осенний мелкий дождичек...»

Маленькое окно в иной мир, в иное быванье.

Влекись, усталая душа, на крепкой уздечке, в невозможное, в мечту...

Истинный артист, — все равно где, — перед многосотенной концерт-
ной толпой, или в кафе, где за столиками обнимаются парочки, а у стойки
громко спорят забежавшие на минуту приятели, или на улице, во дворах-
колодцах, — истинный артист, — всегда кудесник и всегда творит свою лег-
кую, крылатую тайну.

В списках жизни около имени истинного артиста всегда стоит звездоч-
ка, а внизу сноски — «Непобедимый».

Такой звездочкой и такой сноской была и Ариадна Аркадьевна в спи-
сках жизни отмечена.

О Господи, и терять-то нечего, — вот богатство. Бумаги в цене не упа-
дут, потому что их нет. Разориться нельзя, потому что скрипка кормилица
в руках. Неудачная любовь? — это дело давно миновавшее. Теперь и о не-
удачной любви с приятностью вспоминать можно. Потому что хоть неудач-
ная, а все же любовь. И часто неудачная многих удачных стоит. Ну, а разо-
чарование в жизни? — Как в ней разочароваться, когда вокруг так много
хороших людей существует...

Вот на днях была Ариадна Аркадьевна в консульстве. Там квитанции
на бесплатные обеды выдают. Народу много, — безработные русские.

Очень хорошо провела все утро. Очередь большая, со многими пого-
ворить пришлось. Как приятно с русскими не торопясь побеседовать.

Есть, конечно, в жизни существенные неприятности. Во-первых, каждые две недели за квартиру платить надо. Во-вторых, совершенно неизбежна покупка башмаков. Самое безотлагательное время пришло. В-третьих, уж очень поздно приходится спать ложиться со всеми этими ресторанными выступлениями.

Но на эту беду управа нашлась. Ариадна Аркадьевна решила несколько изменить вид труда. Перейти с ночной на дневную работу. На счастье молодой француз попался с голосом удивительным. Поет, — прямо за сердце хватает.

Немного сложно с репертуаром вышло. Он все больше «*Mon Paris*» и другие французские мотивы, а «Ямщика», «Мелкий дождичек» совсем не знает. Ну, да кой-как срепетировались.

Только русские слова ему не даются. Одна надежда, что слушатели-французы и не обратят внимания на неправильности в русской речи.

Стали ходить по дворам. Надо только знать, в какие дома пускают, а в каких консьержка нечеловеческая и до ажанов* дело дойти может.

Ариадна Аркадьевна проведет смычком по струнам, француз поднимет голову к верхним этажам, обведет взглядом все окна и начнет.

Хороший голос, молодой и свежий, так и льется и «*Mon Paris*», и «Ухарь купец». Только выходит «Ухарь купэс».

Скрипка поет протяжно, точно радуется сотоварищу, вежливо ему главное место уступает, нежными звуками сопровождает его, будто охраняет, будто покровительствует его силе и свежести.

Замолкнет певец, — тогда скрипка подбадрывающе призывно устремится вперед, дорогу ему показывает и расчищает. И уже без боязни он на эту дорогу всю силу голоса бросается.

Окна открылись. В третьем этаже высунулась кухарка, наверное. А в первом двое детей к стеклу прижались носами. А вон старичок стоит в окне и попыхивает трубочкой.

Хорошо доставлять людям удовольствие и таким путем зарабатывать себе на ежедневное пропитание.

Ариадна Аркадьевна прижалась подбородком к скрипке и сбоку наблюдает за окнами. Француз-певец закинул голову и тоже следит.

Вот упал один белый пакетик. Вот с самого верхнего этажа другой.

Француз не умолкает. Нагибается и кладет бумажки в карман.

А они еще сыпятся. Не так уже много, но все же раз восемь певцу нагнуться пришлось.

Потом в следующий двор, если консьержка добрая.

И опять «Ухарь купэс».

И опять белые пакетики из высоких окон.

Вечером, — дележ.

* Мой Париж (фр.).

** Agent — полицейский (фр.).

Только стала замечать Ариадна Аркадьевна, что заработок сразу как-то очень уменьшился. Даром что бросают такое же количество белых пакетиков.

И открыла, что певец ее обманывает.

Да как хитро выдумал. Рукою сквозь бумагу нащупает, есть ли в монете дырочка или нет. С дырочкой, — мелочь значит. Без дырки, — франк. Дырявые в один карман, а цельные — в другой кладет. Вечером же делится одними дырявыми.

Одним словом, так работать нельзя. Хоть работа и совсем подходящая.

И не только работать нельзя, а совсем вообще это предприятие с мошенничеством Ариадну Аркадьевну из всех расчетов вывело. Совсем все иначе предполагала и иначе свои доходы рассчитывала. А тут ни за квартиру не заплатить, ни, уж конечно, башмаков не купить.

И такой голос хороший, а обманывает.

Пришлось применять экстренные меры.

Давно приглашал старый знакомый, — еще по России, — за комнату и стол давать уроки игры на скрипке детям, — мальчику и девочке.

Ферма своя, коровы, молоко, сад фруктовый, место хорошее и воздух чудный.

Пришлось поехать.

Дети к музыке не очень способные. Воздух, местность и молоко, — это правда, — первый сорт.

Но только все вовремя, все вовремя. Обед в положенный час, а в десять вечера все спать ложатся.

Пишет Ариадна Аркадьевна друзьям в Париж:

«Я здесь как птица в золотой клетке. Плохого сказать ничего не могу. Люди отличные и воздух дивный. Кормят как на убой, постель мягкая и часто белье меняют. Маленькая у меня просьба к вам, — пришлите пять франков. А то покурить не на что. При случае верну. Думаю скоро быть в Париже, потому что здесь скучновато. И как меня мой француз подвел. Ну, кто мог думать. А голос великолепный. Ну, да ничего».

* * *

Жизнь, жизнь, признавай себя побежденной. Чем ты можешь соблазнить, чем можешь смутить непобедимых?

Все соблазны твои, — клетки золотые. Все соблазны твои для бескрылых. А крылатым принадлежит власть над тобой, — над синим небом и над зеленой землей. Над барами и кафе, над улицами и дворами, над певцом-обманщиком, — над всем миром.

Что же? Ломай и калечь слабых. Пусть разорившиеся банкиры стреляются и неудачные изобретатели пьют, пусть устают и разочаровываются те, кто не таит великого богатства в своем сердце.

Ты вольна над ними.

Но отойди в сторону, и пригнись, и стыдливо умолкни, когда встретишь тех, кто в списке твоём отмечен звездочкой, а внизу сноски, — непобедимый.

РЯЖЕННЫЕ

Если у человека есть какое-нибудь несоответствие — горб ли, глаз ли кривой или даже только сердце с перебойми, — нечего от него ждать правильных понятий, — обязательно все вверх ногами видит такой человек.

А уж горбатые люди, — это совсем особенные люди. Руки и ноги у них непомерно длинные, — голова же на короткой шее еле поворачивается. И душа у них рукастая, цепкая, — за что только уцепиться правильно не понимает, потому что вся жизнь им с одного и того же поворота видна.

В полозовском семействе вообще все благополучно. Старик веселый и делами заниматься не охотник, — дела созданы только, чтобы на них жаловаться. Младшая, Верочка, с курсов домой приезжает и на лето, и на Рождество, гости каждый день неизвестно зачем приходят. Пелагея по воскресеньям пироги ставит. Только Саша, старшая дочь, совсем к общему благополучию не пристала.

От рождения Саша горбатая. Как ни крои ей балахоны, из каких шелков и бархатов не мастера их, а всё одно плечо на вершок выше другого, все спереди грудь однобоким камнем торчит, а сзади будто под платьем мешок с чем-то твердым привешен. Будто камнями по горло засыпана Саша и из каменного мешка только голову высунула, — тоже особенную, как у горбчатых у одних бывает, — с костями жесткими, точно под кожей обозначенными.

И в голове ее все мысли перевернуты: в летний вечер, когда закатный сумрак теплым туманом крадется по земле, когда с берега речки пение и смех слышны, — Саша тоскует. Нет ей покоя, все хочется, чтобы что-то яркое и пламенное всю душу ее испепелило, ничем не довольна, воздух такой, что и дышать-то им противно, а уж если что и есть на свете, на что без противности смотреть можно, так это первая звезда на закатной зелени небесной, — да и то оттого, что звезда эта, — верный знак самой безысходной тоски.

Это когда всем весело.

А когда людям неуютно и жутко, в зимние, застуженные вечера, во время панихидного пения всех четырех мирских ветров, в часы, когда стены домов содрогаются, а стекла в окнах жалобно позванивают и дребезжат под ударами дождевых капель, — Саша ощущает покой. Сидит с ногами в кресле перед печкой, перебирает на груди бахрому вязанного платка, смотрит, как медленной волной пламя переливается по рдеющим углям, и думает — о легком, о мирном, о том, что не придавлено к земле двумя каменными горбами.

А отец и Верочка жалуются на тоску и на то, что ногам холодно. Места себе в большом доме найти не могут. Верочка на полке старые книги в сотый раз перероев. Вытащит истрепанный роман Вернера без конца, перелистает стоя, две страницы в середине прочтет и опять в общую грудку кинет.

Верочке, положим, всегда скучно, когда в доме гостей нет. Все отцовские усмешечки и словечки давно наизусть знает, а с Сашей говорить, — это спорить, — неизвестно о чем.

В больших городах квартира к квартире прилеплена, как соты медовые, — человек себя среди товарищества чувствует. Даже на улицах в позднюю пору не страшно, потому что электричеству великая сила дана, — страх отгонять.

А вот в такой дыре, где Верочке свои каникулы проводить приходится, все иначе. Выйдешь вечером на улицу, — в беспросветный мрак, как в черную реку окунешься. Редкие, желтые огни фонарей, точно гвозди в черноту вбиты, — света от них нет. Ветер, словно огромной метлой улицу метет, в телеграфных проводах, как в паутине муха путается и визжит протяжно.

И сразу покажется, что светлая комната, в которой только что чай пили, без возврата растаяла в ночи, что вот только и есть на свете, что эта чернота да упорный собачий лай где-то на окраине, — будто большое и могучее существо посадило на ладонь человека и высоко, к самой небесной крыше его подняло.

И Верочка, и отец не то что боялись Сашу, а как-то неловко чувствовали себя с нею. Им весело, а она грустную муть около себя разведет, тошно вокруг станет. Им тоскливо, — а она в кресле блаженно жмурится, на огонь мигает, будто чужой тоске радуется.

А заводила Верочка к себе ежедневно целые таборы молодого люду со всего города. Саша совсем в свой каменный мешок голову втягивала, морщилась, к себе иногда даже уходила. Пелагея сбивалась с ног, — то в лавчонку за лимоном сбегай, то самовар подогрей, то чью-нибудь шубу под горой других шуб угадай и выволочи на свет Божий.

Отец же доволен был. Очень тонко, как в его молодости принято было, говорил всякие остроумные слова, улыбался молодым барышням, щурил глаза ласково и насмешливо, подкладывая варенье на блюдечки.

Студенты каждый приезд появлялись с особой поговоркой: то все кстати и некстати говорили «очень просто, понимаешь», то повторяли при

каждом случае «сквер-рно, дорогой мой», то о каждом замечали: «хитрый, как бублик».

Кроме них приходили чиновники, учителя, гимназисты, но студенты все же были первыми гостями и тон всей компании задавали.

Каждую зиму в полозовском доме бывали ряженные. Ряженные предупреждали о своем появлении, Пелагея с утра начинала готовиться, в подсвечник у рояля вставлялись новые свечи.

А Саша впадала в тоску. И уйти нельзя, потому что она за музыкантшу слыла и должна была польки и вальсы барабанить. Так ряженные и выбирали, куда ехать, — где рояль есть или хоть гитара какая-нибудь.

Вот и теперь, накануне предупредили. Пелагея затеяла к ужину заливное и сладкий пирог пекла. Старик без дела по зале прохаживался, изредка стул переставит, чтобы посередине больше места было. Ковер с утра свернули огромной трубкой и вдоль стены положили.

Ряженным рано, а весь дом уже не так живет, как обычно. С пятичасовым чаем опоздали. Саша сама два раза на кухню ходила: самовар никак не хотел закипеть. Два раза потухал, а Пелагея ворчала и гремела посудой. Печи тоже не натопили как следует, — народу много ждали, и без печей жара будет. Верочка всю комнату перерыла, маскарадный костюм себе ладил из всякого старья, шумела, собою весь мир заполнить хотела, так что Саше и места больше не оставалось.

Самое несносное, — эта веселая суета. Будто ключом открывает она двери в такой бездонный провал, в такой страшный мрак, что зажмуриться хочется Саше.

Вообще ряженных она не любит и боится. Все ей кажется, что могут они безнаказанно посмеяться над ней, что за рожами крашеными настоящие лица они теряли.

К восьми часам кое-как чаю напились, отец, выбритый и надушенный, звонков в передней поджидал, улыбался. Верочка оделась принцессой какой-то, старую тюлевую занавеску широким шлейфом распустила, русую голову золотой короной из елочного дождя украсила. Пелагея зажгла в зале три лампы. У рояля поставила свечи.

Первой пришла тетушка Мария Александровна с мужем на ряженных посмотреть, похвалила Верочкину выдумку занавеску приспособить. Саша стала их разговором занимать, потому что Верочке не до того было, — забегалась.

Потом раздались оглушительные звонки на парадном. Пелагея кинулась со всех ног отпирать, отец пробежал, потирая руки.

Влетели с визгом и хохотом ряженные, закружили Верочку, даже Пелагею подхватили, Сашу повлекли к роялю.

Многих можно было сразу узнать. Сын начальника почты только натянул клоунский колпак, а две батюшкины дочери были в летних своих вышитых мордовских костюмах, следовательно неумело менял голос. А остальные: ведьмы, черти, паяцы, цыгане, — казались сначала совсем незнакомыми, чужими.

Саша играла польку. Ряженые кружились парами, человек в красном фраке с огромным наклеенным носом неистово дудел в длинную трубу. Огромный клоун кувыркался через голову и сбивал с ног танцующих.

Саша кончила. У нее болела голова, а визг и хлопанье хлопушек каждый раз заставляли вздрагивать. Отец, под руку с ведьмой, угощали гостей орехами и финиками. Верочка старалась заглянуть под маску длинному и худому паяцу — единственному, кого она не узнала.

У дверей передней толпились гости Пелагеи, соседский кучер с женой и две горничные, видимо, заранее ею приглашенные.

Саша осталась сидеть за роялем и напряженно старалась улыбнуться. Самое глупое — это иметь трагическое лицо, когда всем весело.

Потом она начала играть вальс, но ее прервал новый звонок, не такой бешеный, как первый.

Через минуту в залу медленно входила новая толпа ряженых. На самодельном деревянном троне сидело чучело Масленицы, сплошь увитое соломой. Первую минуту казалось, что кроме соломы на троне ничего и нет, до того неподвижно восседала Масленица. Но то напряжение, с которым несли трон странные люди, — не то лешие, не то ведьмы, с густо приклеенными бородами из пакли, с замотанными шеями, — неузнаваемые, ни на кого не похожие и, — Саше показалось — трагически-взволнованные, — указывало на то, что человек, изображающий Масленицу, очень тяжелый. Из соломы торчало только ухо и свешивалась прядь волос.

Саша опять заиграла. Трон с Масленицей поставили посередине комнаты. Около него, как бы на страже, остался один леший. Остальные закружились в бешеной пляске.

Саша барабанила неистово. Ей минутами казалось, что вот только такими рублеными, крепкими звуками она прикрепляет эти кружащиеся маски к комнате, а остановится, — и все исчезнет, закружится призраками, развеется.

Верочка уже не пыталась никого узнавать. Она что-то рассказывала, улыбаясь, паяцу и кружилась вместе с другими вокруг соломенного чучела с человеческим ухом.

После вальса окружили Масленицу и начали петь:

«Прощай, прощай, Масленица».

Следователь хотел обнять неподвижную фигуру, но леший сурово его оттолкнул.

Саша встала из-за рояля и вышла в столовую.

Накрытый белой скатертью стол был заставлен бутербродами и сладостями. Пелагея расставляла чашки на подносе. Соседский кучер принес из кухни кипящий самовар.

Саша заглянула в окно. Черная, беззвездная ночь совсем близко прилипла к стеклу, будто черным тестом замазала его.

Лешие внесли свою Масленицу и поставили во главе стола. Другие ряженые, уже немного остепенившись и устав, входили в столовую. Саша села на другом конце стола, против Масленицы и начала разливать чай. Ве-

рочка уговаривала всех съесть пирога. Узнанные соглашались, а не узнанные прятали свои подбородки в воротники, натягивали колпаки и глухо мычали, отнекиваясь. Лешие выпили коньяку и торжественно предложили рюмку своей чучеле, таинственно пряча ее в соломе.

А Масленица не меняла положения, высилась соломенной горой, над которой где-то виднелось ухо с прядкой волос, прикрытое сверху соломенным колпаком, вроде бредня для ловли рыбы.

Отец провозглашал тосты и поминутно наполнял свою рюмку. Ведьма, давно снявшая маску, предлагала через часок ехать дальше, в следующий дом. Верочка хотела ехать вместе со всеми.

После чаю опять танцевали. Саша играла кадрили и вальсы.

Только Масленица и лешие остались в столовой, допивая коньяк.

Верочка бесилась, что так и не узнала никого из второй компании. Не может быть, чтобы в этой дыре незнакомые люди оказались.

Батюшкины дочери сооружали ей маску из куска материи. Красили щеки и прорезали дырки для глаз и рта.

Потом стали собираться.

В передней долго не могли разобраться в горе шуб. Установили очередь. Сначала одевались пришедшие позднее, так как их шубы были наверху. Лешие торопили свою компанию, чтобы дать место следующим.

Верочка была уже одета и стояла около дверей.

Первая компания уже отъезжала, бубенцы звенели на тройках.

Паяц долго не мог найти свою шапку, а следовательно уговаривал старика Полозова ехать с ними.

Пелагея сбилась с ног, разыскивая шапку.

Саша стояла на пороге с той же натянутой улыбкой и думала, что вот сейчас у них в комнате беспорядок после Верочкиных сборов, а Пелагея не скоро утомится и приберет все, да и во всей квартире пахнет табачным дымом и какими-то отвратительными духами.

Когда последние гости, уводя с собой Верочку, исчезли в черноте подъезда, отец пошел к себе в кабинет, а Саша попросила Пелагею поскорее убрать у них в комнате.

Потом она вошла в зал. Хотела потушить свечи перед роялем, но забыла. Села на табуретку и стала играть. После первых аккордов отец крикнул из кабинета: «Как у тебя все не кстаети. После ряженных похоронный марш какой-то. Это на тебя похоже».

Саша быстро закрыла рояль, задула свечи. Потом подкрутила все три лампы.

Пелагея еще не кончила убирать. Саша прошла в столовую.

Там, на своем неуклюжем троне сидела соломенная Масленица, такая же неподвижная и громоздкая.

Саша сказала: «Послушайте, все уехали...», — но оборвала недоконченную фразу. Ей стало жутко.

Через мгновение она решила, что ошибалась, что это просто соломенное чучело, забытое ряженными. Она подошла близко, дотронулась до

колпака, он упал и обнажил седеющую голову с довольно длинными, растрепанными волосами.

Не соображая, что она делает, Саша отогнула сноп соломы, скрывающий лицо ряженого. На нее уперлись мертвые, невидящие, стеклянные, немигающие, застывшие в недоумении каком-то глаза.

Как во сне, Саша дотронулась пальцем до лба незнакомца и отдернула руку: лоб был холодный и сухой, — лоб мертвеца.

Крепко привязанный веревками к своему трону, обложенный снопами соломы, уставив свой неподвижный взор в Сашины глаза, скрыв под соломой уже не кровоточащую рану, в столовой полозовского дома, над допитыми рюмками коньяка и недоеденными бутербродами, сидел мертвый человек. Саша громко закричала и бросилась из комнаты.

Вообще Саша не могла понять, отчего люди не видят всего ясного, что ей видно. Тоненькой пленкой, как первым ледком рек, покрыта бездонность этим вот видимым и всем доступным миром. А взглядишь только поприспальнее, и за жизнью, за Верочкиной суетой, за отцовскими усмешечками, такая рожа осклабится, мертвенная, с пустыми глазами, что поймешь сразу — нет ничего, все в ничто упирается, все смертью отсвечивает, небытием. А рожи ряженных тем страшнее для Саши, что и без того зыбкое лицо человеческого стирают.

В передней раздались звонки. Протрусила Пелагея двери отпирать. Отец пробежал, потирая руки.

Ввалились ряженные. Холодным ночным ветром пахнула широко раскрытая парадная дверь. Далекими, из другого мира, показались Саше визги и словечки пестрой оравы.

И даже то, что она сразу узнала двух батюшкиных дочерей — по их летним мордовским костюмам, и следователя по неумело измененному, картавому голосу, не показалось ей достаточно убедительным, чтобы всех за настоящих, живых людей почитать.

Она села за рояль и заиграла польку. Застывшие в улыбке, белые с красными щеками, мелькали отвратительные мертвые маски. Пестрые клоунские балахоны и серые халаты ведем кружились. Какой-то толстый человек в красном фраке с огромным наклеенным носом надувал щеки и дудел в трубу. Паяц кружил Верочку и нелепо вскидывал ногами.

«Все, все, нарочно, — думала Саша, механически барабанила по клавишам, — все, чтобы совсем настоящее потерять».

Вообще настоящее будто на волоске висело. Куда-то отступили привычные стены дома, завешанные фотографиями и японскими веерами с бабочками и рыбами. Красное и желтое, визгливое и тревожное, под рубящие и крепкие звуки польки кружилось и металось по комнате.

Саша кончила и старалась улыбнуться. Самое нелепое — иметь трагическое лицо, когда всем весело.

ВАДИМ ПАВЛОВИЧ ЗОЛОТОВ

Вадим Павлович Золотов считал, что самая существенная часть в обстановке всякой комнаты — это то, что видно в пролет — окна. Если за окном высятся серо-рыжие стены дворового колодца, то в такой комнате работать нельзя. Нельзя тоже работать, если комната слишком низка и в окно можно увидеть людей и ломовых, гремящих по мостовой.

Искал он всегда квартиру в верхнем этаже, с окнами большими, открытыми на всю необъятность города. Днем крыши и верхушки деревьев исчезали в сизых туманах, лиловые дымки курились над ними, галки летали в пустом, бледно-сером небе, будто вестники неведомых стран пламенили на западе, фиолетовые тени ложились на ближних крышах, от окна начинался невидимый мост в мир восторга и тревоги, в мир далеких огней города, сизой мглы и тревожащей тоски.

Письменный стол Вадима Павловича стоял всегда у незанавешенного окна. Во всем мире была тишина, торжественность, напряженное ожидание. И Вадим Павлович писал.

Не встречающийся с людьми и одинокий, он писал повести о людях, о том, что делается — на дне колодцев домов, о трескотне ломовых колес по раскаленной летней мостовой, о смехе в подворотнях, о дребезжании трамваев, о больной и задушенной любви человеческой. И молодое его литературное имя с каждой повестью приобретало все больший вес. Перед ним была широкая литературная дорога.

Сейчас писать нельзя, — темнеет. Свет зажигать не хочется, — он своей определенностью отрежет сразу от комнаты призрачный мир за окном. Вадим Павлович смотрит в прозрачную даль, думает...

В передней тихий звонок. Потом робкий стук в дверь. На пороге показался небольшой человек, в сумраке лицо не разобрать.

— Позвольте представиться, — Мавриди Георгий Георгиевич. Служил раньше на табачной фабрике, происхождение, — грек, а теперь просто чердачное существо.

Стоит у дверей, ждет.

Вадим Павлович указал на кресло около письменного стола.

— Садитесь. Чем могу служить?

Мавриди замялся, помолчал немного, будто совсем в сумрак ушел. Потом тихим голосом начал:

— Моя просьба к вам, я знаю сам, очень несурозна. Но вопрос идет о моей жизни. Вы — необыкновенный человек, вы — писатель большого таланта, и потому вы поймете, вы обязаны понять... — И опять замолчал, собираясь с духом.

Вадим Павлович заинтересовался.

— Я слушаю вас.

— Видите, я — ничтожество, табашник, больной человек, — только в банной температуре жить могу, а иначе от воздуха кожа на груди воспаляется и мучительно больно. И сейчас больно, но это не то... Я ничтожество, и полюбил одну девушку, одну... Ну, не важно вам знать, кого... Она, конечно, на меня не может обращать внимания. Она умница. А я так не в силах... Я долго страдал... Потом сказал, что я пишу под псевдонимом Вадим Золотов... Стал ей мой... то есть ваши повести давать. Заинтересовалась.

Вадим Павлович перебил его.

— То есть как так? Ведь это подлость, ложь!

Мавриди замахал руками.

— Знаю, знаю, не говорите, иначе не могу... Поймите, поймите! Для этого и пришел к вам. Я в типографии недавно у знакомого наборщика вашу рукопись на несколько дней взял... Переписать только пришлось... она читала... понимаете — еще неизданное, первая читала... свои замечания делала...

— Слушайте, ведь это же недопустимо!

— Нет, допустимо! Вы должны понять... У меня просьба к вам. Давайте мне ваши рукописи на одну ночь только. Я переписывать буду. Вам, ведь, все равно... Во имя любви прошу. Вы не можете не понять...

Стало совсем темно. Вадим Павлович не знал, что ему ответить. Мавриди молчал и весь как-то ушел в кресло. Наконец Вадим Павлович сказал:

— Нет, я, конечно, не согласен.

Мавриди медленно поднялся из кресла, подошел к окну, где стоял Вадим Павлович, и опустил перед ним на колени.

— Умоляю вас... Во имя любви, поймите... никогда я в жизни радости не знал, — это единственное... понимаете... Я конченный, больной человек. Перед смертью, напоследок... Вот, чтобы она приходила ко мне, садилась на диван около печки и говорила: «Это хорошо, а это не так. Я в вас верю, — вы будете большим человеком...» Пусть это и не ко мне относится, но я не могу иначе... Если вы не поймете, то кто же поймет. Это вот, настоящая

жизнь, та, о которой вы пишете, — вы должны не только понять, вы должны полюбить нас...

Потом встал так же медленно.

— Вот у вас огоньки далекие видны в окно, и за плечами будто крылья, а я живу на чердаке, от мира желтыми обоями с цветочками отгорожен, и стиркой в комнате пахнет. А в окне соседняя желтая стена, и неба, как грязный холст, маленький кусочек виден, и вязаная занавеска. И кожа на груди от воздуха воспаляется. Чердачное существо.

Вадим Павлович колебался. Ведь в конце концов Мавриди просит о том, что ему легко сделать. Во имя любви, чужой и огромной, сделать это. Обман? Но разве любовь эта не покроет обмана? Если он любит так, как говорит, как чувствуется это?

Он согласился.

Мавриди наклонил голову так же торжественно, печально, как и раньше.

— Я знал, что вы поймете.

Внезапно взял руку Вадима Павловича и поцеловал ее.

Потом начал деловито улаживать о размерах рукописей, о сроках их получения и возврата, о том, где какая из них должна быть помещена, — чтоб не ошибиться, не выдать себя.

Ушел он, аккуратно свернув трубочкой новый рассказ Вадима Павловича.

На следующее утро он вернул его.

Через две недели пришел за новой рукописью.

Из кармана вынул сложенную тетрадку.

— Может, захотите полюбопытствовать... Критика.

Он слабо улыбнулся.

Тетрадка была исписана его крутым и мелким почерком. Сюда он спisał первый рассказ, а поля были испещрены узкими и прямыми буквами.

— Каждую вашу фразу она взвесила, иное одобрила, а иное нашла несоответствующим. Целых два дня изучала. Обратите внимание.

Вадим Павлович попросил оставить тетрадь.

Мавриди согласился и ушел с новой рукописью.

Заметками своего неведомого критика Вадим Павлович очень заинтересовался. Ловко построенный и стилизованный рассказ его рассматривался совсем не так, как обычно рассматривают журнальные критики. Техника, школа, философская подоплека были автору заметок на полях совершенно неинтересны.

Единственное, что отмечалось им, — это правда, страдание, проникновение в душу одураченного и забитого человека, сила понимания и прощение.

С тонкостью исключительной критик этот отмечал все слова и фразы, в которых, кроме истинной боли, кроме перевоплощения Вадима Золотова в жизнь его героя, была хоть тень позы, украшающего завитка, вычуры.

В таких случаях на полях беспощадно стояло: «Ложь! Ближе к истине».

И в конце рассказа, на последних листках тетради, была написана целая рецензия. Вадим Павлович читал ее с нескрываемым волнением.

«Милый друг, — стояло там, — я вижу, что перед Вами лежит широкий путь. Одаренность Ваша исключительна. Сила любви и страдания делают Вас зрячим и заостренным. Но вот Вы пишете об огромных просторах мира за Вашим окном, о пламенных вестниках в закатном небе. Милый друг, страшно учить такой талант, как Ваш, но от всей глубины моего калечества, взываю к Вам: вестники, — они далеко... мертвые, холодные просторы доступны только ветрам. Не уходите от нашего мира в эти заповедные страны. Поймите и оправдайте нашу слепую жизнь, и эту стену, что закрыла перед Вашим окном весь свет Божий, и вонь от стирки белья, на которую Вы всегда жалуетесь, грязь и пыль земную, на которую Вы тоже всегда жалуетесь. Сумейте преобразить Вашу убогую жизнь, и тогда Вы будете достойны Вашего дарования. Не надо лжи, сделайте правду сказочной. А.»

Вадим Павлович задумался. В мутном небе медленно кружились галки. Оконная рама четко ложилась крестом на простор. Ненаселенным и пустым показался мир Вадиму Павловичу. Он открыл окно и высунулся. Внизу чернел пролет двора. Мальчик тащил поблескивающий жестяной лист. Из какого-то кухонного окна торчал погребец, полный кулечками. А рядом свешивалось красное ватное одеяло.

На следующее утро Мавриди пришел смущенный.

— Простите, Вадим Павлович, в вашей рукописи есть такое, что я не могу переписывать. Вы тут о калеках пишете, о том, что внешнее убожество соответствует духовной калечности. Не могу я этого принять. Александра Семеновна немного тоже калечная, — горбатая она. Как бы ей это оскорбительным не показалось.

— Что же вы хотите? Не переделывать же мне повесть из-за вас.

— Это как вам будет угодно. Может быть, просто другое дадите.

Вадим Павлович сердился. Сердился не только на Мавриди, но и на то, что поддался вчера этой рецензии неведомого человека.

Он дал черновик еще неоконченной повести.

Мавриди ушел. Не писалось. Вадим Павлович в раздумье шагал по комнате.

Так шло время. И с каждой новой рецензией, аккуратно приносимой Мавриди, Вадим Павлович все сильнее и сильнее подпадал под обаяние неведомого существа, все понимающего, мудрого, измученного и так дружески-ласкового.

Постепенно все, что он писал, писалось ей, таинственной Александре Семеновне. Далекая жизнь чердаков и мостовых, полного угара и многодневных будней, нищенства и тоски, подступила к широкому пролету окна, закрыла бездонно-пустое небо лиловым дымом далеких труб.

Рассказ о калеках был переделан. В нем восхвалялась теперь мудрость страдания, отвергалась тупость и пошлость нормальной и радостной жизни.

Журнальные критики писали о повестях Золотова, что в русской литературе совершается величайшее событие: нить порвалась с смертью Достоевского, и вот — найдена. Могучий гений Золотова с небывалой силой освещает и преображает страдание, оправдывает человека в грязи и тине

жизненного дна и ведет русскую литературу к яркому свету любви и человечности.

Но эти рецензии мало интересовали Золотова.

С напряженным вниманием читал он узкие и прямые строчки:

«Милый друг, в мире, где человек навеки отгорожен от человека стеной, в мире, где все обречены на одиночество, чего можно еще желать, когда совершается чудо. Из этой замкнутости вдруг намечается выход во вселенную, — человек понял брата своего человека. Вы даете мне это чудо, эту радость. Вы поняли, какая тоска в приниженности моей, в убожестве моем. Вы говорите о любви. Я не стану Вам отвечать, а отошлю Вас к Вашим же страницам. Я — ничтожный и маленький человек, Вы, — тоже больной и жизни не нужный. И вот, вне любви человеческой, в Вашем творчестве мы преображаемся».

Однажды Вадим Павлович начал спрашивать Мавриди об Александре Семеновне, все хотел знать.

Мавриди за эти два года их знакомства совсем истаял как-то. На груди бесчисленные шарфы, каким-то восковым стал, ресницы желтоватые гноились, — совсем мертвец.

Но об Александре Семеновне мог говорить всегда и сколько угодно.

Какая она? С желтыми волосами, глаза большие, немигающие, голос, как колокол, но не самый глухой, а что на тоску звенит. Горбатая — да, но это быстро совсем незаметным становится. Руки тонкие, а кисти рук большие и тяжелые. И вообще и не расскажешь, какая она.

Кто она? — У нее было очень трудное детство. Мать ее швейкой была. Отца она не знала. Отец их бросил, когда ей три дня было. Кажется, что он был студент. А подросла она и помнит, как мать к себе гостей приводила, ее высылала на лестницу, ночью там холодно, кошками пахнет.

Потом за носильщика мать замуж вышла, а ей, благодаря исключительным способностям, удалось на стипендию в гимназию поступить. Теперь на курсах, скоро кончает.

И Вадим Павлович впитывал каждое слово рассказа Мавриди. Все мысли его были с Александрой Семеновной.

Большой роман, задуманный им не так давно, писался.

Властно и решительно, на весь мир, на грязь и пыль земную, на муку и убожество, — смотрела со страниц этого нового романа Александра Семеновна, милый друг, всепонимающий и мудрый.

По частям, в черновиках, роман сдавался Мавриди.

Отзывы были точные, сжатые. Она будто вместе с Золотовым творила этот роман, — свою жизнь.

Наконец последняя часть была кончена и отослана.

Вадим Павлович с тревогой поджидал Мавриди. Он думал, что окончательная рецензия уже обо всем романе будет самой значительной.

Но Мавриди не приходил.

Однажды утром раздался звонок. Вадим Павлович сам вышел отпирать дверь, и он был уверен, что это пришел Мавриди.

На пороге стояла маленькая горбатая девушка в сером стареньком пальто.

Еще не входя в переднюю, она сказала:

— Три дня тому назад Георгий Георгиевич отравился и мне оставил письмо, в котором все объяснил. Обманывать больше не мог. Вот я и пришла к вам.

Вадим Павлович очень заколебался и первый прошел в кабинет.

Александра Семеновна шла за ним, засунув руки в пальто, будто ей зябко было.

У письменного стола остановились молча.

Чтобы не молчать, засовывая руки в карманы, Александра Семеновна сказала:

— Вот ведь как все вышло! — и заплакала.

Вадим Павлович взял ее за руки и смотрел в окно... Галки кружились в пустом небе, перемещаясь из одного квадрата рамы в другой.

КАНИТЕЛЬ



I

Привыкли мы себя и людей обманывать. Да так привыкли, что обман за условную какую-то правду почитаем. Вот, к примеру, если захочет кто-нибудь о человеке все точно написать, всего человека изобразить, — то кроме знаков слабых, обозначений условных — ни у кого ничего не выйдет.

Из каких свойств слагается полный облик человеческий? Из сотни и тысячи свойств, часто таких мелких, что уследить за ними нельзя. А забудешь хоть самую малую малость — и остается от человека не человек, а знак один условный.

Любой отрезок жизни, час один, прожитый человеком, — требует тома для описания своего.

Вот задумалось мне рассказать о многом, хорошо известном и часто виденном, рассказать о канительном хитросплетении различных жизней, о днях медленных и тягучих, о людях очень обыкновенных, потому что каждый человек при рассмотрении из обыкновенных частей состоит. Но разбиваются люди на сотни и тысячи планов, и каждый план свое самостоятельное значение имеет. Это только в пристрастии своем к некоторым из них, что-то мне напоминающим, хочу рассказать о сотой или тысячной доле того, что на самом деле знаю.

А главное, хочу я говорить сейчас не только о людях, а и о многом другом. О серовато-желтом доме, где в трех различных этажах живут Столбцовы, Колоколовы и швейка Анна Ивановна с матерью, — о лунном загаре на коже Николая Колоколова, о дарвинизме, о вязании с узорами, о письмах без адреса, — и как узел всего, центр домашней жизни, — о лестнице, ведущей от дверей столбцовской квартиры к дверям колоколовской квар-

тиры, и от дверей колоколовской квартиры к чердачному помещению, где обитает швейка Анна Ивановна с матерью. Лестница в моем повествовании — становой хребет. Без нее и повести не будет, без нее вся жизнь дома распадется.

Лестница — становой хребет. А Александр Константинович Столбцов, — корень, главный квартирант и плательщик, отец семейства, ключ ко всей жизненной канители.

С этого ключа и повествовать начну, чтобы потом, ступенька за ступенькой, всю лестницу измерить и всю жизнь желто-серого дома посильно показать и объяснить.

Александр Константинович знал о всех своих достоинствах очень точно. Во-первых, он происходил из очень хорошей семьи, от целого рода крепостников и англоманов, от людей талантливых и вырождающихся. А в известном смысле лишь то, что вырождается, имеет некоторую цену, — так думал Александр Константинович, и на этом основании давал волю себе и своему вырождению. Во-вторых, был он очень свободомыслен и даже имел свою законченную философскую теорию, покоящуюся на дарвинизме и в корне пресекающую все пошлости социализма. Эта теория и заставляла его особо в себе уважать все черты так называемого вырождения, и был он на основании этой теории уверен, что вся власть в мире находится в руках у вырожденцев.

И теория его, — сверхдарвинизм этот, — очень просто все объясняла, но так, как до него, Столбцова, никто ничего не объяснял. Род человеческий, происшедший из рода обезьяньего, по законам природы должен выделить из себя новый род, — сверхчеловеческий, который будет в таком же отношении к человечеству, в каком человечество к роду обезьяньему. В настоящее время происходит этот отбор будущих предков сверхчеловека. Это те, кого толпа считает вырожденцами, но кто на самом деле владеет властью, деньгами, биржей, фабриками, армиями, пушками, — всем, что может поработить другую часть человечества. Для этих избранных существует наука, только им доступна утонченность искусства, им на пользу работает вся человеческая масса, обставляя их жилища с роскошью, добывая им алмазы в толщах гор и жемчуга на дне океанов. Эти избранные владыки мира, обладая вкусами утонченными и высоко эстетическими, имеют возможность насыщаться питательными обедами, жить в теплых и удобных комнатах, всячески холить и лелеять себя.

Им противоположна, им враждебна толпа, — предки будущего рабочего скота в хозяйстве сверхчеловека, — и в бессильной злобе своей создает теорию социализма, проповедует всеобщее равенство, говорит о грядущей революции.

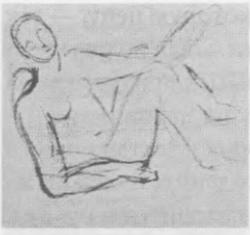
Все это, конечно, не страшно, потому что о равенстве можно говорить в каком-то одном семействе животных — равенство моллюсков, равенство птиц, равенство обезьян, равенство людей, равенство сверхчеловеков. Людское равенство не может принизить до себя сверхчеловека и победить

его не может, и даже до известной степени полезно, потому что создает хорошо организованный рабочий скот.

И будучи точно уверен в непреложной истине этой теории, Александр Константинович особенно тщательно и любовно собирал все сведения, касающиеся прошлого семьи Столбцовых, и по ним устанавливал несомненность своей принадлежности к группе избранных предков сверхчеловечества.

А себя Александр Константинович чувствовал очень приблизившимся, даже по сравнению с прадедом, к намеченной цели.

У прадеда была еще помещичья грубость эдакая, — результат незавершенного периода борьбы. Александр Константинович был уже победителем, — грубость у него заменилась такой особенной твердой и цепкой ласковостью — как люди собак гладят, чтобы с ними познакомиться, оградить себя от укусов, с полной уверенностью, что собаку ввести в обман очень легко, — так оглаживал Александр Константинович и близких и далеких людей. Властной ласковостью давал им понять, какой он такой, и какого он особого внимания требует, и на какие блага в жизни особое право имеет.



И выходило всегда все по его ласковой воле: жена его, болезненная и слабая, до самой своей смерти в его исключительность верила, и детей ему, двух девочек, растила, — как великое задание столбцовского рода выполняла.

А после ее смерти, да, положим, и за два года до ее смерти, когда она очень болела, Вера Васильевна Колоколова, несмотря на все сложные причуды природы своей и несмотря даже на всю свою привычную избалованность, так же безоговорочно и преданно стала лелеять Александра Константиновича, как раньше жена его лелеяла.

Стал он и в колоколовском семействе полноправным и ласково брезгливым хозяином.

Просто против всей своей природы пошла Вера Васильевна, перед сыном унижение терпела, ласково заискивала и улыбалась, когда встречала на лестнице Ольгушу или Соню Столбцовых.

Соня пофыркивала на ее улыбочки и поругивалась дома, говорила о пудреном носе Веры Васильевны, а Ольгуша каждый раз тревожилась очень, потому что она тревогу вообще любила, и еще по одной причине, которая совсем небывалое осложнение в жизнь Колоколовых и Столбцовых, а вернее вообще в жизнь всей лестницы, — станového хребта желто-серого дома вносила. Но об этом еще не время рассказывать.

Единственный человек, не поддающийся на ласку сверхчеловека Александра Константиновича, был Николай Колоколов. Он вообще был человеком накрахмаленным, с лунным загаром на лице, на лице падшего ангела, как думала Ольгуша, на лице Коленки любимого, как думала швейка Анна Ивановна.

II

Каким-то непонятным вывихом во всей теории Александра Константиновича были дочери его Ольгуша и Соня, — даром, что друг на друга мало походили, — обе самым существованием своим до корня отрицали веру отца в призвание столбцовской породы быть предками сверхчеловека.

На Ольгуше весь дом держался. И не то что любила она хозяйство и с удовольствием обучала кухарку, как пироги ставить, а просто в виде служения у нее это выходило. В самые мелочи, — в пыль на карнизах, в топку печей, — азарт подвига вносила. И все молча, не ожидая похвал, будто награда ей не здесь обещана, — а потом взрывом каким-то обидится, что никто ее трудов не замечает, никто ее не ценит, не любит, — и тогда ляжет плашмя на кровать, — пусть пыль на карнизах, пусть пирог не взошел, пусть печи не топлены.

Тяжелый человек Ольгуша, — на всех своей заботой, как каменной глыбой, обрушивается. Если заметит, что гость какой-нибудь любит печенку, а другой грибы, так уж и не спутает, — сколько бы раз эти гости ни приходили в столбцовский дом, и уж всегда одному печенка будет, а другому грибы.

Но это еще ничего — в днях обычных и ничем исключительным не отмеченных.

Тяжелее становилась Ольгуша там, где находила способы из обычного устроить необычное и мучительной канителью, как иглами, дни свои пронзить.

И к этой канители открыла она себе широкую дорогу. Сначала, встречаясь на прежней квартире с Верой Васильевной Колоколовой, когда та изредка по самому неотложному делу к отцу забегает, она только чувствовала себя этими ее посещениями как-то сладко униженной и вспоминала особенно яро о покойной матери.

Потом случай вышел ей совершенно неожиданно с Николаем Колоколовым у одних знакомых столкнуться. И разговорилась она с ним, не зная, что он сын Веры Васильевны. Да и он не знал, что она столбцовская старшая дочка. Если бы так дело в незнании продолжалось, то, наверное, из знакомства этого ничего бы и не вышло. Но ко второй их встрече хозяева дома постарались обоим раскрыть глаза на то, кто они такие, и сами не без особо повышенного интереса наблюдали за их разговором.

Ольгуша сначала оскорбилась существованием Николая, сына Веры Васильевны, мать опять вспомнила и обиделась уже окончательно. Но потом почувствовала, что скорее всего его своим существованием, — а уж во всяком случае нелепой беседой на людях оскорбить может, и тогда показалось ей, что она перед ним очень виновата и ничем этой вины загладить не может. Тогда она разговор прервала и заторопилась домой.

Николай Колоколов посмотрел на нее долгим, но очень невнимательным взглядом, а потом гораздо внимательнее стал рассматривать свои овальные точеные ногти.

Возвращаясь домой, Николай думал о том, что у Ольгуши глаза мученические, голос придушенный, походка тяжелая, — на всю ступню сразу ступает.

Может быть, и не знал он, что с такими глазами мученическими любят люди мучение свое, вину свою, подвиги себе выискивают, и чем придушеннее у них душа, тем незаметнее и мучительнее должен быть подвиг.

И начинают они подвиг свой обожествлять, и тех, кого как труд на свои плечи берут, за тяжесть и муку любить до самозабвения.

Так вот и Ольгуша выбрала в тяжесть свою Николая Колоколова и за это его полюбила. И тем любимее, и тем тяжелее он был, что все это должно под знаком запрета и вины быть.

Может Ольгуша до самой глубины дойти, а похвастаться ей перед собой нечем: тяжесть, одна только тяжесть.

Потом Александр Константинович решил, что в одном доме с Верой Васильевной ему жить гораздо удобнее.

Поселились Столбовы и Колоколовы на одной лестнице, — столовая над столовой, гостиная над гостиной, спальня Веры Васильевны над комнатой Ольгуши и Сони, кабинет Николая над кабинетом Александра Константиновича.

Стала тогда Ольгуша из дома выходить озираясь. Сначала у дверей долго стоит, — слушает, не движется ли кто сверху по лестнице, а потом выскочит, быстро, быстро, опустив голову, пробежит на крыльцо, и через двор быстро, и в подворотню. Только на улице оглянется, — путь свободен, — и тогда степенно пойдет в колбасную московскую колбасу или сосиски к ужину покупать, — это ко второму ужину, когда все в доме спят, а Александр Константинович со второго этажа в третьем часу ночи спускается.

Знал ли Николай об Ольгушиной любви? Знал ли, как она от него в подворотне к дворнику в комнату будто за делом спускалась? — Тоже не ко времени сейчас об этом говорить, потому что сказать, — знал, — не сказав, какой он такой, Николай Колоколов, и что в его жизни в это время происходит, — значит сказать просто слово «знал», ничего этим словом не объяснив.

А между тем никто кроме него об этом не знал. Отец замечал стойки Ольгушины перед дверью и посмеивался, — он над всем умел подсмеиваться, — наследственная, мол, ненависть ко всему колоколовскому духу у Ольгуши.

А Соня... Соня в своем кругу жила. Да и жила ли Соня? — Просто вернее сказать, что в своем замкнутом кругу дремала она.

Была она человеком без ретивости, без заботы. С утра и до вечера вязала все время. Вязала шарфы и шапочки, кофты и одеяла. Никому уже ее вязание не было нужно. Вся семья была ее шарфами в изобилии снабжена, — всевозможных швов, с вязанными рисунками, в полосочку, в клеточку, гладкие. Целый сундук ломился от вязаний всяких, а Соня все еще продолжала вязать, — говорила, что так думать легче. А о чем ей думать?

Думала она, что вот она вдруг певицей окажется, и все ее слушают, а она о самом, самом настоящем поет. Или она на море под парусом летит и ей это не страшно. И все в таком роде думала она.

Если же кто невзначай придет в гости, — она смущалась и краснела — руки до самых локтей, как в красных перчатках бывали.

Когда шерсть кончится и вязать нечего, она кривыми ножницами ногти стригла, — тоже думать помогает, если медленно, часами стричь.

Скрытная и застенчивая была Соня, и тяжело ей было от этой скрытности. Давно уже она выдумала, как одиночество одолевать и как себе неведомых друзей находить.

Часто по вечерам, оставшись одна у себя в комнате, она писала письма, в которых рассказывала обо всем, о мелком и большом, — и об опостылевшем вязании, и о том, что вокруг все пусто, пусто, и что больше она так не может. Много в письмах бывало многоточий и восклицательных знаков. Подписавшись С. Столбцова, она запечатывала конверт и утром на углу соседнего переулка опускала письмо в ящик, не надписав на нем адреса. Неизвестному писала она и ответа не ждала. Потом возвращалась домой и принималась за свое вязание у печки, где потеплее.

Однажды Ольгуша и Соня, возвращаясь домой, у двери столкнулись лицом к лицу с Николаем Колоколовым, который спускался по лестнице. Он вежливо и холодно поднял шляпу и сказал:

— Pardon.

Ольгуша испугалась и затревожилась, как бы ей не слишком нелюбезно и не слишком ласково, а в меру, — безразлично поклониться.

Соня же, пофыркивая себе под нос что-то, на поклон только головой мотнула.

Войдя в свою комнату, она сказала:

— Каков, — кланяется. Пальто, как у Евгения Онегина!

И хотела уже идти в столовую, за вязание братья, но Ольгуша остановила ее, и пристально смотря на нее своими мученическими глазами, спросила:

— Ты что о нем думаешь?

Потом будто извиняясь:

— Пальто, — это ничего. А вот бледность эта... лунный загар этот, — и засмущалась.

Соня посмотрела на нее удивленно, но ни о чем не догадалась. Подумала только, что и на самом деле есть крепкая нить, связывающая их, столбцовских дочек, с сыном Веры Васильевны Колоколовой.

Она серьезно ответила:

— Что я о нем думаю! — Знаешь, он как салфетка чистая и накрахмаленная в ресторане или на вокзале. Хоть и чиста, хоть и накрахмалена, а все хочется рот вытереть своим грязным платком носовым, а не этой салфеткой.

Ольгуша не спорила, а только глаза опустила и начала быстро свой ящик в комод перебирать.

Больше уже о Николае они не говорили.

Еще раз только разговор о нем зашел, но это уже сам Александр Константинович начал.

За обедом журить стал дочерей, что они одеваться не умеют: у Ольгуши волосы притянуты, будто облизанная голова, а Соня поперек головы пробор проводит косой, но нелепый. Переднюю часть волос напуском на лоб начесывает, а сзади косичку плюшкой закручивает.

— Точь-в-точь как будто на акушерских курсах, — жаловался Александр Константинович. — Вы посмотрите хоть на Николая Колоколова, — даром, что мужчина, — одет всегда как следует, ногти лакированы, пробор ровный, костюм модный, носовой платок духами пахнет и взгляд такой... — он не нашел, как определить взгляд Николая.

А потом неожиданно добавил:

— Ну, просто ангел падший... А у вас вид настоящих мещанок.

Соня с отцом не стеснялась и не любила его. Она поднялась со своего кресла у печки, скрестила руки на груди, подошла в упор к Александру Константиновичу и отчетливо сказала:

— Наплевать.

— То есть на что наплевать? — закипятился тот.

— На все наплевать. На проборы, на духи, на Николая Колоколова, на эту даму из второго этажа, на все наплевать.

А потом будто устыдилась своей горячности и опустила голову над вязанием. Вообще, при всей ее застенчивости каждый разговор ее с людьми руготней оборачивался.



Александр Константинович возмущился. Он повернулся к Ольгуше. Она более благоразумна. Но, увидев, каким странным пламенем горят ее глаза и как мучительно сжался рот в необычную для Ольгуши усмешку, он замолчал, ничего не поняв, а про себя подумал, что в головах его дочерей предрассудков больше, чем у любой деревенской бабы.

Разошлись молча.

Ольгуша не стала Соню расспрашивать вечером и только в постели уже решила, что действительно отец прав, — у Сони всегда кофточки какие-то тесные, шерстяные и под мышками вылинявшие, а у нее... ну, а у нее вообще такой облик весь, что просто смешно сопоставлять с Николаем Колоколовым.

— Как отец сказал: падший ангел... — Она задумалась об этом определении.

А на следующее утро, по причине, ведомой только ей одной, вытащила из старого сундука особенные, уродливые боты-корабли, которые мать носила перед смертью, когда у нее ноги пухли. И в этих ботах стала Ольгуша на улицу даже выходить, — так что прохожие обращали на нее внимание, а знакомая булочница спросила:

— Что это, барышня, у вас с ногами случилось?

— Пухнут, мерзнут, — больные ноги у меня, — неохотно ответила Ольгуша.

И надев на ноги эти корабли, стала она меньше бояться встреч на лестнице — будто все равно ничего уж изменить эти встречи не могут, и ботами она это и себе и всему миру доказала.

Впрочем, надо сказать, что с ботами она поторопилась. Вскоре после разговора с отцом была она случайной свидетельницей такого обстоятельства, после которого в самую пору было бы боты ей надевать.

Дело было так. Под вечер возвращалась она домой. Лестница на второй этаж не была освещена еще. Она остановилась и как всегда прислушалась, не опускается ли кто-нибудь сверху.

Вдруг раздался явственный звук поцелуя и потом заглушенный шепот. Ольгуша вдавилась просто в темный угол около своей двери. С лестницы спускался Николай Колоколов, обняв за талию швейку с верхнего этажа, Анну Ивановну, шившую недавно Столбцовым рубашки. Николай нагнулся к самому лицу Анны Ивановны. Она слегка отшатнулась от него и слушала его шепот смущенно.

Ольгуша себя не помнила и начала неистово звонить к себе в квартиру.

Тогда Николай заметил ее, пропустил Анну Ивановну вперед, а сам, проходя мимо Ольгуши, церемонно приподнял свою шляпу и сказал, глядя на нее в упор холодными и безразличными глазами:

— Добрый вечер, Ольга Александровна.

Анна же Ивановна проскользнула перед ним, не догадавшись от смущения даже поздороваться с барышней Столбцовой.

III

Каждый раз в десять часов вечера, когда самовар убрали со стола и Ольгуша домывала чашки, Александр Константинович уходил во второй этаж, к другому, еще кипящему самовару.

Вера Васильевна ждала его, ставила заранее перед его обычным местом корзиночку с солеными сушками, аккуратно размещала сбоку колоду карт и вечернюю газету.

На звонок она сама открывала дверь и с той же улыбкой, что и восемь лет тому назад, встречала Александра Константиновича.

Он побряхтывал, потирал руки, усаживался медленно на привычное кресло, рассказывал длинную и уже рассказанную давно историю, в которой надо было на заранее известном месте улыбаться, а дальше тоже на известном месте сочувственно качать головой.

И он знал, что улыбаться и качать головой Вера Васильевна будет, и она знала, что он этой улыбки и сочувствия ждет.

Это у них вроде какой-то условной игры было, которая обоим очень нравилась: и сушки, — уж, в конце концов, он вовсе не так любил эти сушки, — но полагалось считать, что он их любит и что они необходимая при-

надлежность всего этого разыгрываемого уюта, — и рассказ его, и побряхтывание, и потирание рук, и пасьянс бесконечный после двух стаканов чая с молоком.

Пасьянс, — это, положим, совсем особая наука была: сначала карты тасовались медленно и долго, а Вера Васильевна в это время щеточкой крошки со стола сметала.

Потом аккуратно раскладывались рядами слегка уж припухлые, но привычные рукам карты. Черви надо было класть носиками вниз, а пики вверх, так же как и трефы должны были ягодками вверх лежать.

Вера Васильевна становилась коленями на стул, клала локти на скатерть и смотрела, как медленно движутся руки Александра Константиновича.

Если он зевал, то добродушно побряхтывая говорил ей:

— Зевака — собака.

А она отвечала:

— А я-то при чем? Сами виноваты.

Потом опять замолкали. Целый час перекладывались карты с места на место. Лежащие вверх рубашками переворачивались, собирались в отдельные места, чередуясь — черная красная, черная красная, целые грозди карт, до самой двойки. Грозди эти переносились целиком с места на место. Под ними открывалась новая карта, на нее нанизывалась постепенно уже не такая длинная гроздь из колоды.

После «косынки» шла «могила Наполеона», потом «большой пасьянс», потом «тузы», потом опять «косынка».

Если пасьянс не выходил, Вера Васильевна лукаво поглядывала и говорила:

— Жаль, а сколько времени пришлось зря потратить.

И ее словам, повторяющимся почти ежедневно, Александр Константинович довольно и значительно улыбался, — и даже не намеку улыбался, а опять этой игре в простой и легкий уют, в создаваемый ими быт.

Потом он пересаживался к камину, начинал кочергой угли тревожить. Вера Васильевна пододвигалась совсем близко и смотрела, как красные мухи улетают в трубу, а угли, только что покрытые серым пеплом, заалеют и выкинут вверх синие язычки пламени.

И трудно сказать, хорошо ли было в эти вечера Вере Васильевне и хорошо ли Александру Константиновичу.

Много лет прошло с первой их встречи. Вера Васильевна все свои силы в эту последнюю любовь вложила. Раньше ревновала его к семье, ко всем случайным встречным, — хотела, чтобы был он ее нераздельно.

Потом ревность ушла, может быть, и любовь ушла, осталась только такая прочная и необходимая привычка, игра эта осталась, память о прошлом, ответ молодости. И может быть, оттого, что на людях продолжали они играть роли чужих друг другу людей и оттого, что Александр Константинович дома внизу к десяти часам вечера заявлял, что ему нужно по делу уйти, а Вера Васильевна, услышав ночью звонок Николая, спускала ноги с

кресла и приглаживала волосы, — может быть, от того, что делало их отношения как бы запретными и ежевечерние свидания как бы у судьбы уворованными, — казалось им обоим, что в «косынке» и в «могиле Наполеона», и в сушках, и в гудящем самоваре, и в ночной тишине спящего дома, и в искрах растревоженных углей, — нет будней, нет ничего обычного и скучного, — а есть, наоборот, им одним понятная значительность и тайна.

Возвращаясь домой, Николай часто не заставал уже у матери Александра Константиновича. Но если и заставал, то суховато говорил ему: «Спокойной ночи», — и уходил в свою комнату.

Там он зажигал электричество, подходил к морозному и черному окну и долго бесцельно смотрел в эту морозную и черную муть. Потом выводил пальцем по стеклу сложный зигзаг какой-то, перебирал разложенные на столе стопками книги и начинал медленно раздеваться, аккуратно раскладывая вещи на стул.

Делал он все это как всегда, в полусне каком-то, и думая в это время о том, как он запутался и как невозможно из всей путаницы выхода найти. Анна Ивановна была главным, что его сейчас окончательно спутало. Но кроме нее была еще очень сложная система отношений со всем миром, — с матерью, которая с каждым днем так жалобно стареет, с Александром Константиновичем, который ему в конечном счете совершенно безразличен, — даже самому противно на себя, что он ему безразличен, с матерью Анны Ивановны, которая смотрит на него очень искательно, как бы хочет сказать: «не добивайте», — и наконец, с этой странной девушкой, еле отвечающей на поклоны и таящей черный пламень в глазах, у которой походка такая тяжелая, а голос придушенный, и которая его, наверное, ненавидит, как только может ненавидеть. — Обе сестры его ненавидят — и Ольгуша и Соня. А он перед ними ни в чем, в конце концов, не виноват. Продумав все это несколько раз подряд и убедившись, что из этой запутанности выхода нет, и главным образом потому, что он даже по-настоящему не понимает, в чем же именно запутанность выражается, Николай взял томик французских стихов, наудачу, первый попавшийся ему на полке. Но, перелистав несколько страниц, он отложил книгу, закурил папиросу и, уже отвлекаясь от собственных своих бед и осложнений, стал рассуждать философски о том, как вообще все в жизни должно было бы быть.

Он был твердо уверен, что все проявления человеческие не только законны, но и божественны, так как, проявляясь полно и цельно, человек осуществляет красоту, а красота — высшее выражение божества. Более точно он не определял этих своих мыслей.

Но жизнь насквозь пронзена нелепыми запретами, которые приходится невольно признавать, не видя в них смысла. Теперь, пожалуй, только и можно жить, имея такой черный пламень в глазах, как у Ольгуши Столбцовой...

Опять Ольгуша... Что ему до этой девушки, которая долгом своим почитает ненавидеть его?..

Запутался, — вот что главное.

И потом бесконечно жалко мать, когда она сначала с самого утра десяти часов вечера ждет, а потом, как наизусть, фальшивые словечки Александра Константиновича повторяет. А он противен, просто безотносительно к матери противен. Самодовольством своим, уверенностью в своей исключительности, избранности, — ведь кроме пасьянсов ничего не может делать, а вместе с тем никаких сомнений ни в чем не знает.

Но это не его дело. А вот Анна Ивановна, — тут надо что-то решить окончательно, потому что дальше так продолжаться не может.

Он повернулся на другую сторону, потушил электричество и старался поскорее заснуть, чтобы больше об этом не думать.

IV

Ступенька за ступенькой, ступенька за ступенькой поднимается лестница от дверей столбцовской квартиры.

До второго этажа она покрыта красным сукном, а по сукну полотняный половичок протянут.

А от второго этажа, от квартиры Колоколовых к третьему, чердачному, к дверям Анны Ивановны, — только половичок тянется, сукна уже нет.

Внизу в каждой квартире по четыре комнаты, а наверху только две, потому что полчердака под сушку белья отведено для всего дома. Там стропила в черную вышину поднимаются, балка протянута от стены к стене и подперта кое-где толстыми столбами. Между ними, как струны на гитаре, натянуты веревки для белья. Небольшое окошечко слуховое в крыше, — в пустое небо прорезано, — даже труб и соседских крыш в него не видно, — только один угол проводом телефонным или каким другим перерезан. На чердаке, как в церкви, — уходят в высокую темноту стропила, столбы поддерживают балки, — свет мутный, рассеянный, — белеют в нем растянутые по веревкам простыни и рубашки, частыми квадратиками носовые платки нанизаны, полотенца длинными полосами спускаются.

Одна неделя — белье Столбцовых сохнет, следующая — колоколовское белье прачка развешивает, а потом Анна Ивановна свои рубашки и блузочки щипчиками к веревкам прикрепляет и дует на покрасневшие от холодной воды и колючего мороза пальцы.

Анна Ивановна все сама, все сама. Утром комнаты приберет, постели застелет, кофей сварит, все к обеду купит, потом за шитье берется и готовит тут же. На руках шьет, — без машинки, чтоб наряднее выходило. Мелкие складочки закладывает, нитки для мережки по тонкому полотну продергивает, кружевами узенькими вырез рубах обшивает, потом в пальцах выпуклой гладью метит, хитро сплетенными буквами, одна буква за другую завитками завилась, выкрутасами всякими, тонкими колечками и выпуклыми нажимами.

Потом гладит Анна Ивановна сшитое белье, складывает стопками, цветным шнурочком обвязывает крест-накрест, несет заказчикам сдавать.

Все сама, все сама, — мать одышкой страдает, — по лестнице ходить почти не может, сидит, кофей из большой чашки пьет целыми днями и на судьбу свою вдовью жалуется. Все ее путешествия за целый день с кровати в кресло под канареечной клеткой у окна, а с этого кресла на стул у обеденного стола, а потом опять на кровать, а потом на кресло, — и так до вечера, до девяти с половиной часов, когда она спать ложится.

Тогда Анна Ивановна лампу к себе в комнатушку уносит и продолжает работать. Большие меты на скатертях вышивает. По белой выпуклой глади красной бумагой точки выводит.

Так из года в год, с шестнадцати лет, сразу после мастерской. Не было времени Анне Ивановне задуматься, как же дальше все будет, — или всю жизнь ей надлежит чужое белье метить и кружевами обшивать. Только последний год что-то будто оборвалось старое и крепкий узелок на новой ниточке завязался. Незаметно это как-то произошло. Между прочим.

Раньше, очень редко, правда, — ходила Анна Ивановна в кинематограф. В темноте, смотря на многоверстные драмы, тихонько плакала, а домой возвращалась, будто чужой яркой и праздничной жизни была свидетельницей. Вот была героиня нищенкой или продавщицей цветов, потом графу жизнь спасла, полюбил ее граф, — стала она не нищенкой, а королевой, обсыпанной бриллиантами, с огромными белыми перьями в пышных волосах.

Но и не перья и не бриллианты главными были, а эти самые графские тонкие пальцы, и чисто выбритый подбородок, и взгляд такой — значительный и вместе с тем ничего не значащий, весь этот мир особенный, который облаком за графом неся, облаком светлым нищенку окутал и возвысил. И вот это светлое облако, и тонкие губы графа, и вообще эта жизнь такая тонкая и возвышенная, — вот это все тревожило сладко Анну Ивановну.

И метя чужие рубашки или застывшими руками развешивая материнские стиранные тряпки на чердаке, — дверь в дверь со своею квартирой, Анна Ивановна задумывалась о том, как это все в жизни бывает. Светлые и ясные ее глаза задерживались туманной пленкой мечты. Застенчиво, сама себя стесняясь, клала она подбородок на хитро сплетенные кисти рук, — так героиня-нищенка во второй части картины несколько раз делала. Потом вытягивалась по-кошачьи и улыбалась.

Хорошо так... А он говорит... Что он говорит? Она никак не могла придумать, какие такие особенные слова должен граф говорить ей, только зато как живого видит его — склоненную голову с прямым пробором, тонкие пальцы, — на одном тяжелый перстень. Не кольцо, — а перстень. Это у них, у нищенок, у таких, как Анна Ивановна, — кольца, колечки даже серебряные с сердоликом, а у графа тяжелый перстень с темно-лиловым камнем, а на камне фигурка вырезана.

Завитые метки на чужом белье, стоптанные свои башмаки, обои с желтенькими цветочками, запах кофей жареного в комнатах, вязаная скатерть на комод, — кружочек к кружочку, — а на ней полинявший портрет отца с матерью, — мать сидит, руки на колени совочком положила, — прямо

сидит, колено к колену, а отец покойный стоит за нею, тоже прямо, глаза вытаращил, одну руку тоже совочком на плечо к жене опустил, — вот все это, — и вдруг на самом деле, а не в кинематографическом мелькании, — граф с тонкими пальцами.

То есть не граф, конечно. Но это не важно. На самом деле все равно, как в кинематографе. И она — нищая цветочница или швея, — это похоже, а он, Николай Сергеевич Колоколов, — он, — граф.

Познакомились. Познакомились на лестнице. Он спускался, она подымалась. Он улыбнулся ей, а она из озорства, просто из озорства, — два дня раньше в кинематографе была, — ответила ему такую улыбкой, какую ответила Луиза в кинематографе. Очень похоже вышло — она знает.

И сначала даже ни о чем не подумала другом, как только о том, что похоже вышла улыбка.

Он заговорил, спросил, давно ли она живет тут, чем занимается. Она ответила не смущаясь, но уже забывая, как надо по-настоящему, по-кинематографическому, графам отвечать.

Потом он вежливо попрощался и пошел вниз, а она добежала до своих дверей и перегнулась через перила. Так простояла, пока парадная дверь не хлопнула за Николаем Сергеевичем.

Вечером, когда мать легла спать и она осталась одна в своей комнате, освещенной зеленоватым светом лампы с низко спущенным колпаком, — задумалась Анна Ивановна опять. Но теперь думала она не об Адольфе и Луизе, и не о графе и цветочнице, а о Николае Колоколове и себе.

И думала так:

— Он скажет... А я отвечу... А он опять скажет... А я опять отвечу... А потом он улыбнется особенно так, а я опущу глаза и тоже улыбнусь. А он скажет... а я отвечу.

И так долго, — он скажет, а я отвечу. А потом уже иначе:

— Я скажу, а он ответит... Я опять скажу, а он опять ответит.

И все так гладко, гладко, так благородно и возвышенно выходило, что Анна Ивановна даже удивилась: ведь выдумывай нарочно и не выдумаешь ничего лучше, — она труженица, швея, молодая девушка, живущая под крышей, а он, хоть и не граф, правда, но Николай Колоколов зато, — это не хуже графа... и вдруг на одной лестнице живут, и все как нарочно, совсем как нарочно.

Рассказываю я о мыслях и мечтаниях Анны Ивановны все очень точно и правильно и не боюсь наскучить мелочами, — потому что надо ее понять и ни в чем дальнейшем особенно не винить. И понять надо то, что, конечно, кроме кинематографических графов и цветочниц знала она и многое другое, что совсем не как нарочно выходит. Знала она жизнь с высоты своего чердачного этажа или, что то же, — из глубины городских подворотней. Знала она, как на улице молодые лоботрясы пристают, знала она, как грустно обернулась жизнь у некоторых ее подруг по мастерской, часто спешила от выгодного даже заказа отделаться, чтобы избавиться от приставаья барина какого-нибудь почтенного, и настав-

ления матери, очень точные, очень грубые даже, — хорошо помнила. Вот и теперь мать:

— Хороший человек! Что ж! Стекла не ест? Гвоздями не закусывает?.. Ну, а по мне, лучше чтоб подальше этот хороший человек...

Но это все было, — вообще. И было правдой, — вообще. А у нее в жизни, — в этом она была уверена, — правда будет совсем другая, особенная. С ней все случится именно, как нарочно, как с нищенкой цветочницей. Уж такая в ее молодости праздничность внутренняя, и вообще в жизни так все торжественно, так светло, так весело по-особенному, — даже на чердаке ее весело, — одним словом, — пусть есть правила для других, и жестокие правила, — а у нее не по правилам будет, а «как нарочно».

Потом видела она однажды, как Николай от матери вечером гостей провожал, на извозничьих санях полость так ловко запахивал.

И вообще был он совсем из особенного мира, — духами пахло на лестнице, когда он проходил, и пальто было у него не как у всех, а узкое, в талию.

Вот эту-то отдаленность, чуждость, духи и пальто, запахнутую полость саней, взгляд особенный, браслетку на левой руке, с часами, тонкие пальцы с длинными ногтями, — все разглядела и полюбила Анна Ивановна.

Спросить: на одном берегу окно с вязаными занавесками, рыжие столбы и рыжеватое небо за ними, обои с желтыми цветочками, ночные вздохи матери, — что на другом берегу? — Анна Ивановна скажет, — Николай Сергеич.

Спросить: на одном берегу стоптанные башмаки и мечта о невозможном, — что на другом берегу? — Опять скажет, — Николай Сергеич.

Был он всем, что у нее не было. Отрицал весь ее мир. Вот за это она и полюбила его.

Он и Анна Ивановна, — это уже весь мир целиком, дальше ничего не противоположишь.

Стали встречи их чаще и чаще. Сначала на лестнице между колоколовской квартирой и чердаком, потом гуляли два раза по каким-то глухим переулочкам на петербургской стороне. А один раз целое воскресенье на Волковом кладбище провели.

Галки в голых прутьях деревьев кричали и тяжело хлопали крыльями, песок хрустел под ногами на узеньких дорожках, протоптанных среди снежных сугробов. Огромные снежные шапки прикрывали, каждый раз немного набекрень, чугунные кресты, мраморные часовни и венки в стеклянных коробках. Было так тихо, что казалось, будто все кладбище таким стеклянным, прозрачным колпаком прикрыто. И галочий крик казался мудрым, все объясняющим.

Так бродили по посыпанным дорожкам, пока ранняя зарева алость не засквозила в черных узорах переплетенных деревьев, и пока от холодного воздуха лицо не начало гореть по-особенному, как всегда после долгого дня, проведенного в морозной тишине.

Потом еще встречались у себя дома, на высоком, сумрачном чердаке, под перекрещивающимися балками и стропилами.

День за днем, встреча за встречей, становился Николай Сергеевич ближе и милее Анне Ивановне. Уже не граф, не мир далекий, не сказка как нарочно, а просто Коленька любимый, глаза ласковые, руки нежные.

Стала жить она от встречи и до встречи. Для этих коротких часов на чердаке, под влажным бельем распяленным, и жила Анна Ивановна.

И опять в голову не приходило ей, что все это старая повесть, повесть большой беды и глухого отчаяния. Пусть так у всех, а у нее с Коленькой все будет иначе.

Один раз только испугалась. Сначала догадкой, а потом и точно узнала она, что беременна. Ребенок ждет.

Сразу мелькнула мысль, как же дальше? Что мать скажет? Что люди скажут? Как вообще ей дальше с собою после этого быть?

Вечером подкараулила Николая на лестнице, ему, смущаясь и заводя его в темноту, об открытии своем рассказала. Он не успокаивал, — сам, наверное, не знал, как дальше быть, — и только целовал молча ее руки, палец за пальцем, потом по голове гладил.

А ночью, уже в своей постели, Анна Ивановна вдруг поняла, что материнские слова, и людская недобрая молва, и трудность, и позор даже, — все это пустяки и ничтожество.

Не пустяки же, важное же и единственно истинное и справедливое, что вот сейчас она, Анна Ивановна, швейка с чердачного этажа, — несет в себе целый мир. Что любовь ее стала творением.

— Как Бог сотворил человека, — подумала она.

И никакой хитростью, никакой наукой, никакими словами самыми даже умными не может никто сравниться в деле с великим делом создания нового человека.

Это она подумала. А к этому еще почувствовала, что ребенок, наверное, будет на Николая похож, что будет он маленький, маленький, и что вообще так надо, и ничего не страшно, что около нее, как каменная стена крепкая, — Николай.

Так и заснула спокойно.

Потом же в течение нескольких месяцев лишь изредка тревога пробивалась в ее чувства.

Не до тревоги было. Надо было бережно и торжественно нести в себе весь мир, всю тайну, всю жизнь, — надо было нести в себе человека, нового человека.

Да не просто человека, а ее ребенка, ее и Николая.

И казалась Анна Ивановна себе огромной, огромной, как земля. И такой же тяжелой, такой же насыщенной и медлительной, как земля. Покойной, умудренной, объявшей собою все, принявшей в себя все. Началом и концом, путем земным, женским, материнским, казалась Анне Ивановне жизнь ее. И была ее жизнь матерью жизни, сама она была матерью жизни.

Это все внутри, — в том таинственном деле, которое совершается в ней.

А во внешнем мире, где никто этого главного и самого важного понять не может, там есть Коленька. Он огородит, защитит, не даст в обиду.

V

Вера Васильевна заболела. С вечера еще почувствовала себя плохо. По спине сладко и мучительно озноб проползал, ноги холодели, а голова пылала, и в висках тяжелыми ударами билась горячая кровь.

С трудом улыбалась она на словечки Александра Константиновича, с трудом старалась сделать вид, что ничего с нею не случилось.

Но все же на вопрос какой-то ответила невпопад, чай расплескала, забыла в стакан сахару положить.

Александр Константинович взглянул на нее удивленно и заметил, что глаза у нее блестят как-то по-особенному, а щеки красными пятнами покрыты.

— Что с вами? — спросил он полутревожно, полураздраженно.

Вера Васильевна хотела улыбнуться и скрыть от него болезнь. Но в эту минуту от шеи по спинному хребту волнами пополз озноб, веером разбежались холодные мурашки, слабость одолела, глаза зажмурились, а в висках сильнее, до боли сильно застучала жаркая кровь. Скрывать не захотелось. Она жалобно скривила губы и тихо ответила:

— Простудилась, наверное... Знобит что-то... Впрочем, пустяки, пройдет.

Села поглубже в кресло, голову на спинку откинула, мерзнущие ноги вытянула к камину.

Александр Константинович был недоволен. Он вообще больных не любил. Кроме того, болезнь Веры Васильевны уюта не прибавляла. Прежде всего он совершенно не знал, что ему делать и как теперь весь вечер налаживать. Будто и пасьянс разложить неловко. Вообще какое-то ложное положение у него. Ясно, что весь вечер исковеркан.

Он раздраженно сказал:

— В таких случаях меряют температуру, милая моя. Неужели вы этого не знаете?

И сразу обрадовался, что так легко догадался, что ему делать надо.

— Непременно, непременно, сейчас же надо поставить градусник.

Вера Васильевна возражала:

— Все пустяки.

Александр Константинович почувствовал сразу, что надо облечься диктаторской властью, и что его дружеский долг состоит именно в том, чтобы заставить ее смерить температуру.

— Голубчик, это безумие... Я категорически требую, чтоб вы поставили градусник.

Раздражение у него прошло. Выходило все очень как надо.

Вера Васильевна улыбнулась ему слабо, как бы благодаря за заботливость, позвонила горничной и приказала ей принести градусник.

Александр Константинович вынул свои часы из кармана, хотя против него на стене висели тоже часы, но уж так как-то полагается, чтобы градусные десять минут отсчитывались по карманным часам, и очень, очень точно, — ни секундой меньше, чем десять минут.

Ведь, в конце концов, традиции освящают жизнь: и традиции должны быть во всем, — даже в измерении температуры.

Но, только что восстановив равновесие, Александр Константинович вновь потерял его, когда внимательно выискивая ртутный столбик на градуснике, — самой Вере Васильевне он этого дела не доверил, — он убедился, что температура очень высока, 39,2, — это уж вне традиций приятных забот о больном, а доктора надо звать и вообще неизвестно, что делать.

Он решил обратиться за помощью к Николаю. Постучал к нему в дверь решительно.

Тот встретил его удивленным взглядом. Не бывало еще, чтоб Александр Константинович к нему в комнату заходил.

Выслушав весь раздраженно-встревоженный рассказ о расплеснутом чае, о высокой температуре, о необходимости послать за доктором, — Николай решил, что мать должна немедленно лечь в постель, что до утра ничего особенного предпринимать не надо, а там он пошлет за доктором и выяснит, в чем дело.

Александр Константинович обрадовался.

— Вот, вот, конечно, так... А за мной пришлите, когда доктор придет. Я очень волнуюсь. Теперь же мешать не буду. Пусть больная отдохнет.

Он зашел только проститься к Вере Васильевне и спустился вниз.

Утром, часов в 10 пришел доктор, поднялся Александр Константинович и в столовой ждал результатов осмотра больной.

Доктор вышел из спальни с Николаем и имел вид серьезный.

— Пока еще ничего особенного, сильный бронхит, инфлуенца. Но можно ждать, что начнется воспалительный процесс в правом легком. Надо быть очень осторожным. Необходим хороший уход и точное выполнение всех предписаний. Надо поставить компресс...

Доктор ушел.

Во всей квартире, даже непонятно в чем именно, был налет какой-то бесхозяйственной суеты. Николай сохранял каменное спокойствие, но заявил, что компресса он поставить не сумеет.

Тогда Александр Константинович, которому очень хотелось поскорее спуститься вниз, так как тут он чувствовал себя очень беспомощным, да, кроме того, и с Николаем не любил оставаться вдвоем, решил, что он попросит Ольгушу поухаживать за больной, — она это любит и умеет.

Николай не спорил, но подумал, что Ольгуша, наверное, откажется, и что вообще это и матери и ей будет тяжело и неловко.

Но Александр Константинович как-то сразу такому своему решению обрадовался и заспешил.

У себя дома застал дочерей в столовой. Соня вязала, а Ольгуша записывала расходы в черную узкую книгу.

Слегка смущаясь, но стараясь сделать вид, что все очень естественно и само собою понятно, Александр Константинович громко и непринужденно сказал:

— Вот что, Ольга, там наверху Вера Васильевна Колоколова опасно заболела. Воспаление легких, наверное. Надо компресс поставить и вообще поухаживать. Не можешь ли ты за это взяться? Ведь я знаю — ты любишь возиться с больными.

Соня положила вязанье на колени и пробормотала, глядя на отца:

— А нам-то дело какое? Там сын есть, горничная есть. Нам-то дело какое? Александр Константинович заволновался:

— Послушайте, дети, я взываю к вашему чувству...

Он замолчал, не зная, к какому чувству дочерей может он взывать, вообще, какие чувства у них есть, а каких нет. Потом продолжал:

— Я взываю к вашему чувству христианского милосердия... Надо поставить компресс.

Ольгуша положила приходо-расходную книгу на камин и спросила:

— А клеенка там есть? Впрочем, у нас найдется.

И, не торопясь, пошла искать нужные для компресса принадлежности.

А Соня продолжила вязать и пофыркивала:

— Дура Ольга, дура... Там модники, духами пахнут, а мы что? Мы мясчане, мы с курсов акушерских... Дура Ольга. Куда лезет?

Александр Константинович чувствовал себя неловко и заискивающе смотрел на Соню. Потом подошел к ней и сказал, стараясь быть ласковым и дружески-равным:

— Ты, Сонечка, напрасно так. Я вас обеих очень ценю. Скромницы вы... Ну, а тут дело такое, — помочь надо. Понимаешь?

— И понимать нечего... Дура Ольга... Куда лезет?

Ольгуша вошла с завернутым пакетом. Она была готова.

— Ты уж сама, Ольгуша, дорогу найдешь. Я предупредил там, что ты придешь, — сказал ей все так же дружески-ласково Александр Константинович и пошел проводить ее до передней.

Ольгуша быстро взбежала по лестнице и с каким-то отчаянием решительно позвонила.

Дверь ей открыл Николай.

Стараясь не глядеть на него, Ольгуша сказала:

— Вот. Я пришла для компресса. Где больная? У меня все есть, только воды прикажите подать.

Николай молча провел ее в комнату матери и ушел на кухню распорядиться о воде.

Ольгуша сразу заметила, что в столовой посуда стоит еще не вымытая после утреннего чая, а Вере Васильевне лежать на низких подушках неудобно.

Вера Васильевна очень засмущалась, увидав ее, и пыталась сделать вид любезной и обрадованной хозяйки, но, заметив, что Ольгуша сразу при-

нялась за дело и на нее не обращает внимания, облегченно закрыла глаза и опять подчинилась власти сладкого и волнами разбегающегося по всему телу озноба.

Потом ей опять было неловко и неприятно даже, когда пришлось спустить рубашку и чувствовать близко около своего подбородка гладко прилизанную черную голову этой суровой и чужой девушки.

А Ольгуша, расправляя мокрое полотенце на спине и на боках и прикрывая его клеенкой и толстым слоем ваты, почувствовала вдруг какую-то щекочущую жалость к этому рыхлому и горячему телу, к выросшему на спине жировому горбику, к складкам на красной шее.

Она ловко наматывала широкий бинт, охватывая своими сильными руками всю Веру Васильевну. Горничная только поддерживала сзади клеенку, потом подавала булавки, помогала надеть рубашку.

Ольгуша не любила чужой помощи и чувствовала себя всегда очень уверенно, когда на ней хоть самая маленькая ответственность лежала. Вообще, ей нравилось быть нужной и умелой и чувствовать около себя людей слабых и неумелых.

Покончив с компрессом, она подложила под подушку свернутый платок, приподняла Веру Васильевну, хоть та уж и не так слаба была, чтобы самой не подняться, стряхнула с простыни хлебные крошки, оставшиеся после утреннего чая, аккуратно расправила одеяло на ногах, прибрала баночки и бутылочки на ночном столике и, попросившись, вышла.

В столовой она увидела Николая. Он ждал ее.

Прямое ее дело было кончено, и поэтому она чувствовала себя сейчас более смущенной, чем входя к Колоколовым.

Надо было что-то сказать.

— Ну, компресс поставила. Только вы, видно, за больными ухаживать не умеете. Днем-то ничего, и прислуга поможет, а на ночь приду я.

Николай поблагодарил ее и проводил до лестницы.

Теперь он с какой-то странной тревогой ждал вечера.

Матери он не был нужен. Она только слабо улыбалась, когда он заходил в комнату, и чуть заметно пожимала его руку, когда он брал ее за руку.

Ольгуша также тревожно ждала внизу у себя этой ночи.

В конце концов, все очень просто. Там, рядом с больным человеком, она себя чувствует нужной и уверенной. О чем тревожиться? И кроме этого ничего нет... Есть, положим, но есть — у нее боты материнские на ногах и серый оренбургский платок с дырочками на плечах, а у Николая, — пробор прямой и взгляд безразличный, — так о чем же тревожиться.

Вечером Николай опять только встретил ее в передней, а потом больше не появлялся. Она же, наладив у больной все так, как считала нужным, уверенно и решительно больше из спальни не выходила.

Лампу затенила книгой раскрытой, поправила дрова в топящейся печке, одернула одеяло на кровати, сделала лимонаду в голубой кружке и села у стола штопать Сонины чулки.

Вера Васильевна опять поначалу засуетилась и хотела что-то такое наладить, показать, что она все понимает и чувствует Ольгушино поведение очень тонко, и что вообще все это в каком-то высшем порядке.

Но сразу от этих усилий устала. А потом почувствовала себя так спокойно и по-сказочному от перевернутой холодным полотном наверх подушки, что ни двигаться, ни говорить, ни улыбаться больше не хотела. Она задремала.

Ольгуша штопала чулки долго. Сначала она думала только о том, что в час ночи надо не забыть микстуру дать. Потом вдруг набежала волною какая-то непонятная тревога, будто брошенной оказалась она в неведомом месте и все вообще не так уж просто, а, наоборот, решаяще и мучительно.

Тогда она отложила начатый чулок в сторону и сжала виски руками.

Печка догорела, и слабо потрескивали рассыпающиеся уголья. Вера Васильевна тяжело и шумно дышала.

В час Ольгуша разбудила ее и, полусонной, как маленькому ребенку, дала столовую ложку микстуры, стараясь не пролить ее на одеяло.

Потом опять наступила тишина.

Днем или вечерами, когда люди не спят, тишина бывает тихой. Но стоит только одинокому человеку остаться бодрствовать среди заснувшего мира, как звонким комаром начинает гудеть тишина, непрерывно и касательно, обнажая какие-то тайные недра свои, тонкой иглой пронзая одинокого человека.

Ольгуша, сидя в спальне Веры Васильевны, чувствовала не только слухом эту звонкую тишину. Она смотрела на розоватые обои, подернутые тенью от поставленной перед лампой книги, на белые простыни и пухлые руки Веры Васильевны, на всю эту комнату, точно такую же, как и ее комната внизу, и чувствовала, как она сейчас далеко от этой своей нижней комнаты, от всего своего вчерашнего мира.

Бессонная ночь странным ощущением налегла на нее. Будто была она в грязном белье, прилипшем к телу, будто запорошились глаза тончайшим песком, а башмаки на ногах стали тесны, и под коленями неудобными складками сбились чулки.

За кружевной занавеской слабо стала выявляться противоположная стена, желто-серая стена с черными пятнами мертвых окон. Над стеной бледной серостью подернулось пустое небо. Где-то далеко на улице медленно прогремели колеса ломовых и затихли. Утро начинало озабоченно копошиться в сумраке. Свет лампы, желтый и жалобно-тревожный, с каждой минутой становился слабее и желтее, уступая комнату холодному, стальному свету окна.

Ольгуша медленно вышла в столовую, кутаясь зябко в свой серенький платок.

Она вздрогнула от неожиданности, увидав там Николая.

Он только что зажег на буфете спиртовку и ставил на нее кофейник.

В призрачном утреннем свете был он как-то на себя не похож, а спиртовка мягко горела синим пламенем.

Ольгуша сразу подумала, что он тоже всю ночь не спал, и что у него в комнате также назойливо и требовательно звенела тишина. Значит, и мысли были у него такие же, как у нее, и что все сейчас очень покойно и совсем просто.

Действительно, не по обычаю своему просто Николай сказал ей:

— А я вам кофей решил сварить. После бессонной ночи это обязательно нужно, — и прибавил огня в спиртовке.

Ольгуша села в кресло Веры Васильевны около камина — забыла поблагодарить его. А только сказала, даже не ему, а просто так:

— Отчего это по утрам так особенно холодно, зябко так?

Помолчали они, пока кофей не закипел и Николай не налил две чашки.

— Черный придется пить... Молока сейчас нету.

Когда начали пить кофей, Николай слегка дотронулся до Ольгушиной руки и сказал ей, все так же просто:

— Вам, наверное, быть здесь очень противно.

— Нет, мне сейчас только тревожно... И потом, знаете, я, наверное, умру именно на рассвете, когда небо сереет.

Сказала это Ольгуша, и сразу ей еще тревожнее стало. А Николай пристально посмотрел на нее.

Потом вдруг он решил, что даже против воли надо ей сейчас все сказать, что сейчас она все понимает, и он все понимает, и такая минута больше никогда не повторится.

Он подошел к окну и стал смотреть куда-то вдаль, в черный провал окна напротив.

Ольгуша внимательно глядела на него, на этот взгляд, взгляд падшего ангела, как отец говорил, на лунный такой, особенный загар на лице.

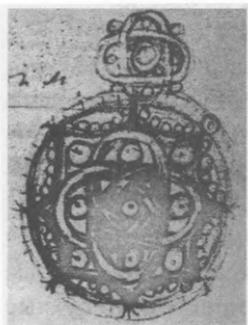
Николай начал прерывисто:

— Вот такая вы — походка тяжелая, голос задушенный, черный огонь такой в глазах... Я каждый раз на вас смотрю... Уж теперь знаю вас, наверное, даже хорошо знаю... А я запутался совсем... Тогда вы меня с Анютой встретили, с Анной Ивановной... Не знаю я, к чему это... вот...

И замолчал, так же продолжая неподвижно смотреть за стекло. А потом добавил:

— Вы с нею, с Анной Ивановной, поговорите, а то вдруг и не захотите больше тут кофейю пить... Она вам все скажет. А я ничего не понимаю больше и запутался. У вас же все ясно, все мучительно и черный огонь.

Ольгуше стало опять очень тревожно, будто куда-то вниз скользила душа. Но о многом, Николаем не сказанном, она догадалась, и поэтому рядом с тревогой было торжество, страстное, напряженное и само себя пожирающее торжество, — будто не надолго торжествовать можно было, а дальше чернота сплошная.



— Знаю я, — медленно растягивая слова, сказала она, — знаю все, понимаю все... Поговорю с Анной Ивановной... Что ж, что запутались? Наверное, так и надо... Канитель канитель... Все запуталось. Я тоже запуталась... Вот кофей здесь с вами пью... О, Господи, как оно все выходит.

— Как?

— Как? Мучительно все выходит, но напрямик, хорошо, торжественно... И себя никто не изменяет.

— Не изменяет?.. А запутанность моя?

— Это все ничего. Так надо!

Николай подошел к ней совсем близко и пристально посмотрел прямо в глаза:

— Вы запутанность, значит, принимаете?

— Принимаю... Ведь я радостей никаких не жду, а только жду того, что неизбежно.

Николай усмехнулся.

— Понял я... Хорошо я вас разглядел. Давно уже. Пусть по-вашему будет.

Вера Васильевна слабо позвала из своей комнаты.

Ольгуша кинулась туда.

Этим зовом Вера Васильевна как бы кончила ночь. Началось настоящее, совсем уже проснувшееся и от тайны освободившееся утро. Горничная пришла комнаты убирать. Во дворе разносчик какой-то кричал.

Вера Васильевна чувствовала себя лучше и уговорила Ольгушу идти спать.

VI

Еще с неделю Ольгуша ходила наверх, к больной Вере Васильевне, но уж больше таких разговоров с Николаем не было, потому что тогда, в первый раз до всего договорились, и надо было еще сначала это договоренное жизнью исчерпать и заполнить. Только так, словами такими особенными перекидывались, будто глухонемые знаками, только им одним и понятными.

Вера Васильевна поправлялась, а поправляясь, чувствовала, как неловкость ее от присутствия Ольгуши у нее в комнате все растет и растет.

Стыдно ей было перед Ольгушей и своих голых рук, и помятой постели, — всей себя неприбранной и ослабевшей стыдилась она.

А уж особенно, когда Александр Константинович при Ольгуше зашел в комнату и начал какие-то свои привычные словечки говорить, не отвечала даже.

Вера Васильевна почувствовала себя как на позорище какое-то выставленной, покраснела даже.

Ольгуша виду не подала, но бывать стала реже, — не нужна, мол, больше, — а там и совсем свои посещения прекратила.

Теперь было перед ней важное дело: надо было с Анной Ивановной поговорить обо всем. Но Ольгуша решила, что поговорить надо как будто невзначай, начать, а там дальше уж видно будет, как разговор пойдет.

И никак все такого случая не подходило, чтобы с Анной Ивановной невзначай на лестнице столкнуться.

То Соня помешает, вместе из квартиры выйдет, то сама Анна Ивановна уж очень поспешно к себе наверх по лестнице проскользнет.

Николай же, видимо, этого разговора ждал, а так как его не было, то будто сторониться стал, хотя все это не на самом деле, не на лестнице, проходящей через весь желто-серый дом, — а в других плоскостях, непонятных, но отчетливых для Ольгуши, во встречах их, когда она свой разговор единственный с ним вспоминала у себя в комнате, — и теперь решила, что он обязательно должен отстраняться.

Николай чувствовал <в> это время, что запутанность его разговором с Ольгушей не устранилась, а стала, наоборот, еще как-то ответственнее.

Кроме того, после разговора он долго думал о своих отношениях к людям, и что для него Анна Ивановна, и что для него Ольгуша. Выходило нехорошо.

В конце концов, кроме нежности, как к птице подшибленной, он к Анюте ничего не чувствует. Сейчас ему даже ее серые глаза и смех колокольчиком не нравятся.

Но нежность есть. И оттого, что она беспомощна, он сам чувствует себя беспомощным и не знает, что с собою и с нею делать. А она в него верит, и этим окончательно по рукам связывает.

Кроме того, помимо шепота под сохнувшим бельем, помимо поцелуев и пожимания рук, а последнее время помимо еще каких-то новых утешающих и успокаивающих слов, он не знает, что ей говорить и как ей понятным стать.

Все запутывается и завинчивается, а Анюта улыбается и себя, как полный сосуд, по земле несет и о путанности ничего знать не хочет. Властно это все и решающе.

И вот еще Ольгуша... Если взять себя в руки и думать с трезвостью, то ничего и не было. Так только случайная минута откровенности, после бессонной ночи, на рассвете. И никакого в этом обязательства ни с чьей стороны нет.

Но если забыть о трезвости этой, а думать, как чувствуешь, то ясно, что и Ольгуша своими словами дала ему знать, что и она с его жизнью как-то связала давно уже свою жизнь, и он сказал ей, что разрешение всей канители в ее руках, а этим самым настоящее обязательство на себя взял. И он уверен, что она именно так все это понимает.

Все тянулось так неопределенно, пока все трое, — Ольгуша, Анна Ивановна и Николай, — на лестнице неожиданно не столкнулись. Николай вниз спускался, Анна Ивановна только что в парадную вошла, а Ольгуша на пороге своей квартиры показалась.

И все остановились, смотря друг на друга.

Первый сообразил Николай, что делать надо.

Он протянул правую руку Ольгуше, а левую положил на плечо к Анне Ивановне и сказал:

— Вот и встретились все вместе. Надо поговорить нам. Пойдемте на чердак.

Анне Ивановне неприятно было, что он посторонней столбцовской барышне на их чердак предлагает пойти. Но главным образом, она смутилась сначала, как это он так открыто ей руку на плечо положил, — смутилась, а потом восторжествовала, — ведь как же иначе, что скрывать-то, чего стыдиться? Скоро все это ясным будет и никто ее за любовь упрекнуть не посмеет.

Ольгуша заторопилась. Она очень хотела все понять, все принять, ничего горького не почувствовать, будто само собой разумеется ее роль, — роль дружественной советницы в материнских ботах-кораблях. И сейчас впервые, поднимаясь по лестнице за Анной Ивановной, она обратила внимание, как та необычно, вперевалочку идет и дышит тяжело, какая у нее особенная округлость во всей фигуре, — что-то такое очень неловкое, неуклюжее, неприглаженное.

На чердаке уселись на пустых ящиках в темном углу.

Николай закрыл глаза и почувствовал, что сейчас все решается, что он как в глубокую воду нырнуть должен.

— Ольга Александровна, — сказал он и остановился. — Ольга Александровна... Вот мы с Анюткой... Дело в том, что Анюта ребенка ждет...

Он опустил голову. Ольгуша молчала. А Анна Ивановна почувствовала что-то очень оскорбительное в том, как он это все сказал. Чего им перед этой барышней тянуться? И чего перед ней откровенничать так торжественно? И что она за судья такая? А главное, отчего это Анюта ребенка ждет? а он-то тут ни при чем, что ли? — Но сказать этого всего она не сумела, а только закинула голову с гордостью и посмотрела на Ольгушу в упор.

Николай взял руки Анны Ивановны в свои руки и криво усмехнулся.

— Я у вас совета спрашиваю. Живя в одном доме, поневоле почувствуешь друг друга, — это он для Анюты так сказал, — и вот я чувствую, что вы посоветуете, поможете.

Потом, уже забывая об Анюте и желая спасти что-то, что безнадежно уходило, уносилось течением каким-то:

— Ведь все я понимаю: вот вы в ваших ботах ходите, чтоб отступление было отрезано, а я для этого вас сюда привел и говорю все. Напрямик, похорошему, без измены себе. А дальше что будет? К черту, к черту все, что дальше.

Теперь Анна Ивановна начала тихонько плакать. Дальше, — это он, ребенок. А кроме него никакого дальше и нету. Николай же говорит: к черту, что дальше. Ее, Анну Ивановну, оскорблять можно, потому что она знает, что недостойна Николая, и что все это вообще незаслуженное для нее счастье, а главным образом потому, что она его любит, — ее можно

оскорблять, а уж маленького оскорблять она никому не позволит. А главное, что это за судья такой непререкаемый, столбцовская барышня?

Ольгуша сидела также молча. Ей, пожалуй, как и Анне Ивановне, было совершенно ясно, что тут уже самое главное, и что раз все так случилось, то и изменить ничего нельзя. Просто тайной своей заворожило ее это творение нового существа, а Анна Ивановна оказалась бесконечно важной и значительной; сама же она себе представилась совершенно ненужной, набором слов каких-то пустых и вообще просто невоплощенной в жизни.

А Николай отошел. Чужим, ее, Анны Ивановны, был Николай, непонятностью и тайной от нее отделенный.

Наконец, она заставила себя начать говорить:

— Что я могу? Я, конечно, понимаю. Я не осуждаю, а радуюсь. Я очень радуюсь. Если вам, Анна Ивановна, я понадобится могу, то вы не сомневайтесь во мне, — я на все готова, чтобы вам помочь. Я вам друг, если вы это позволите.



Она подошла к плачущей Анне Ивановне и обняла ее за плечи. Та затихла, но на ласку не поддавалась, а только недоуменно взглянула исподлобья на Николая.

Ольгуша опять почувствовала, что она сама и весь ее мир стал шатким и призрачным. И как-то цепляясь за то, что еще казалось ей непризрачным, подогревая и раскаляя острую боль, она стала говорить Николаю:

— Вы не ошиблись, вы правы, — я вам обоим друг. Только нужна ли, право, не знаю. А если нужна, то рада, просто рада.

Она задышалась совсем.

Николаю было совершенно нестерпимо слушать ее. Ему казалось, что он не должен видеть, как Ольгуша себя унижает, ему казалось, что он ее оскорбил уже теперь совсем непоправимо, и она, чуть ли что не назло, простила ему.

Он начал чувствовать злобу на Анну Ивановну, да вообще на все.

— Слушайте, Ольга Александровна, уж коли напрямик и не изменяя себе, так до конца и до последней точности. И ты, Анюта, если решаешься свою жизнь с моей связывать, тоже должна все до конца знать, — да я, положим, и раньше тебе это говорил, только ты усмехалась все... Вот смотрю я на нас на двоих сейчас и не знаю, куда мне от отчаянья деться... Ты, Анюта... Любовь наша, — хохот твой, как колокольчики, поцелуи вот здесь, на этих ящиках, а теперь ребенок этот наш... Ну, а пройдет это все, — и не будешь ты знать, что тебе со мной делать, говорить о чем, как молчать. Буду я тяжестью в твоей жизни и все тут... И вам, Ольга Александровна, хочу я два слова сказать. Вы уже сейчас в моей жизни нестерпимая тяжесть, и я в вашей жизни тяжесть. И задыхаемся мы оба, глядя друг на друга, и замучаем друг друга — и от этого нас не разорвать, и от этого только и смысл во всем есть. Поняли?

Анна Ивановна плакала теперь громко и причитала:

— Коленька, Коленька, как же это ты так все изничтожил.

А Ольгуша чувствовала сразу два исключаящие друг друга чувства. Еще осталось ощущение тайны, которую Анна Ивановна знает и несет в себе и которая отдалила Николая от нее, от Ольгуши, и в этом было одновременно и ощущение собственного убожества и жалости к Анне Ивановне, не убогой, а, наоборот, насыщенной, богатой.

Но наряду с этим появилось и другое чувство, чувство какого-то торжества. Да, она нищая здесь сейчас, да, она несет за плечами только тяжесть, но сила ее, — и судьба ее все это изничтожит и гибель всему пророчит, и уж ее крепкое и последнее.

Она так и не подумала даже, а только почувствовала. А потом, выпрямляясь и сложив руки крест на крест, спокойно сказала:

— Ну, что ж, все ясно. Думаю, что большего к сказанному не прибавишь. Пусть каждый решает, как ему быть.

И пошла к двери. На пороге же будто опомнилась и обернулась.

— Только я, Анна Ивановна, повторяю, — если вам что нужно, можете на меня вполне рассчитывать.

Потом вышла и медленно закрыла за собою двери.

VII

Вера Васильевна плакала уже второй день.

Сначала рыдала и металась по кровати в полном отчаянии, — уж дальше некуда. А потом будто немного успокоилась, — лицо вымыла, напудрилась, — но только вспомнит все, как опять слезы на глаза против воли наворачиваются.

Случилось в семействе Колоколовых необычайное дело: Николай заявил матери, что женится на верхней жилище, швее Анне Ивановне.

Сначала Вера Васильевна просто верить отказалась такой несурзости, вопросы начала задавать. Но с Николаем говорить, когда он этого не хочет, нельзя. Решил, мол, и все тут.

Тогда Вера Васильевна пришла в отчаяние и начала плакать такими уж окончательными слезами, после которых вообще всему конец.

Вечером совещалась она с Александром Константиновичем. Тот возмущился до самой глубины всех чувств своих, забрызжал, зафыркал, заявил, что мальчишку сечь надо, что это он без мужской твердой руки погибает, — и даже решил, что он-то и есть мужская твердая рука, потребная Николаю, — поговорит с ним властно и ласково, и тот одумается.

Но поговорить не решался и, подойдя к двери Николаевой комнаты, сразу обратно повернул:

— Поймите, дорогая моя, под каким титулом я с этим мальчишкой говорить буду? — сказал он, будто извиняясь, Вере Васильевне.

Она страдальчески на него посмотрела и прижала носовой платок к опухшим и красным глазам.

Николай ждал всяческих увещаний и воздействий, но заранее знал, что это, конечно, ничего изменить не может.

Тогда, после чердачного разговора втроем, он долго думал, что делать. С одной стороны, Анна Ивановна была без вины унижена и заплевана, с другой стороны, Ольгуша будто возгордилась и возненавидела все. И бросать ей под ноги Анюту, себя, ребенка, — так, впустую бросить, потому что все равно из этого никакой радости не будет, а только эдакий взаимный угрызающий и тошнотный восторг.

Если же не радость, если же не создавать ничего настоящего, ничего достойного их, Ольгуши этой и его, Николая, — так пусть уж угрызаться до конца, до полного своего изничтожения, чтобы поворота назад не было и чтоб ее, Ольгушу, в этом изничтожении обскакать и не дать ей права бóльшим жертвовать, чем он жертвует. Так решил он жениться на Анне Ивановне.

Анна Ивановна, пребывавшая после разговора в глухом отчаянии, сразу его словам о необходимости венчаться не поверила, — да и не так он говорил, чтобы очертя голову обрадоваться и успокоиться.

Но он настойчиво стал ее торопить, чтобы свадьбу через два воскресенья назначить. И вообще все было так определено, что она начала верить, — само по себе событие это значительностью своей покрывало то, как Николай к нему подходил.

Да и дела оказалось очень много. Сам Николай обнаружил себя просто ребенком большим, — ни о квартире их будущей, ни об обстановке и белье, всяких кастрюлях, ложках и плошках думать не мог.

Дал Анне Ивановне денег и сказал, чтобы она все по своему вкусу устраивала.

Пришлось бегать целыми днями. А бегодня эта, осмотры квартир и прикидыванье, какая комната к чему будет приспособлена и как ее лучше обставить, — все это заняло не только время, но и все мысли Анны Ивановны. Она решила, что их жилье должно быть совершенно уютно, как гнездышко, и по своему крайнему разуменью начала об этом уюте хлопотать.

Квартира была найдена в три комнаты, — светлая и большая. Для них и для будущего маленького ребенка, для матери Анны Ивановны комната и столовая.

Потом начала свозиться в эту квартиру мебель, — самая необходимая только, но очень миленькая и располагающая. Долго Анна Ивановна сомневалась, купить ли ей зеркало, круглое, и его дама такая серо-зеленая держит, — в талии узкая, а юбка колокольчиком расходится, а волосы японски сначала начесаны наперед заложены, а наверху собраны куликом. Вся эта фигура с зеркалом очень ей нравилась и была недорогая. В конце концов, она решила, что не только же все полезные вещи покупать, а надо хоть что-нибудь для красоты.

Для красоты, положим, был у нее дома не очень уж малый сверток вещей припасен, — скатерть большая, цвета экры, вязанная и положенная

на красный сатин, накидки на подушки с прошивками и складочками, занавески на окна, сверху кончающиеся кружевами из белых тесемочек, две дорожки на стол, вышитые гладью фиалками и ландышами, — стирались только один раз, — и некоторое количество белья постельного, столового и носильного с метками и с продернутыми ленточками где надо. Но, несмотря на это обилие, она все же не удержалась от покупки японской ширмочки, — можно на камин или на подоконник поставить, — тоже вещь очень миленькая и недорогая.

Наконец квартира приняла совершенно готовый вид. Было в ней чисто, светло, уютно, в спальней в уголке стояла колыбелька для маленького, и в столовой между окнами висели два веера с приседающими маркизами, открытки, — одна с картины Бэклина, другая — «Лес» Шишкина, а третья какой-то «немой простор».

Да и время было все эти приготовления кончать, потому что день свадьбы приближался.

Возила она и Веру Васильевну на будущее жилище ее сына взглянуть. Та осмотрела все внимательно, вздохнула, но ничего не сказала. А вечером шептала Александру Константиновичу, что будущая невестка ее совершенная мещанка и с нею Николай, наверное, очень скоро опустится.

Александр Константинович утвердительно кивал только. Вообще он считал совершенно недопустимыми неравные браки. Надо все же чувствовать людям свою ответственность перед родом и не засорять фамильную кровь черт знает чем.

— Ведь дети у них только наполовину Колоколовыми будут, а наполовину швейкиными детьми. Вот что непозволительно.

Он был так всем этим возмущен, что даже дочерям дома жаловался.

Ольгуша ничего на его жалобы не говорила, а Соня спорила с ним.

— Очень все это даже хорошо. Решил человек настоящим человеком стать, а не куклой надушенной. А впрочем, может, и эту свадьбу из-за выверта особенного затеял. Нам же наплевать.

В воскресенье, в день свадьбы, все окончательно смешалось в голове Веры Васильевны. Только вот сейчас она бесповоротно уверовала, что так оно все и будет и что ничего изменить нельзя.

А тут началась суета, так что и поплакать времени не было.

Гостей не звали никаких посторонних. Но и близких накопилось достаточно, да и без шаферов не обойдешься.

В церкви Вера Васильевна чувствовала себя просто как на панихиде, у Александра Константиновича был вид, будто он в совершенно его недостойное место попал. Николай сохранял каменное спокойствие. Анна Ивановна из-за смущения ничего не видела и только боялась, что беременность ее уж очень сейчас некстати заметна, шафера и гости смотрели с недоуменным любопытством на невесту, и только мать Анны Ивановны чувствовала себя блаженно и понимала, что дочери ее неожиданное счастье прикатило.

Перед ужином, у Колоколовых, она очень достойно и с большим сознанием важности своей роли протягивала всем гостям руку совочком, уселась на диване в гостиной и вздыхала громко.

А за ужином, рядом с Александром Константиновичем, почувствовала себя уж окончательно введенной в круг новых родственников, ела мало, оставляя на тарелке, и складывала губы бантиком, совсем по-благородному.

Вера Васильевна несколько раз посматривала на нее с тоской. Вообще свадьба была не веселая. Все не знали, о чем говорить, и не понимали, отчего это чувство такое, будто все это игра такая, комедия, нарочность, ничем не оправданная.

Ольгуши и Сони не было, конечно, на свадьбе. Они сидели дома и слышали, как наверху ногами стучат и стулья передвигают. Соня вязала. А Ольгуша ходила по своей комнате взад и вперед и думала о том, что так оно все и нужно, что ничего вообще изменить нельзя и не надо, и что в сущности она очень счастлива, потому что душа у нее, как большая птица, что по ночам в мрак и в неведомое зовет. Однако ботов своих не сняла и как бы всем существом своим к бою приготовилась.

Потом было слышно, как народ по лестнице от Колоколовых спускается, — наверное, молодых в их новое жилье провожают. Ольгуша к дверям в передней подошла даже, но кроме общей суеты и шарканья ног ничего не разобрала. Тогда она вернулась к себе в комнату, не раздеваясь легла плашмя на кровать и вдруг почувствовала отчаянье от того, что, наверное, — уж теперь совсем, наверное, — все дни в жизни на этот вот и на вчерашний, на всю череду пустых и бесцельной тяжестью насыщенных дней, похожи будут.

VIII

Белые перья в пышных волосах и хитро, по-лебединому изломанные кисти рук, цветы и внимание изысканное, жизнь праздничная преображенной цветочницы, — этого всего не дождалась Анна Ивановна.

Не дождалась она и того, чтоб квартира ее стала уютным гнездышком, где всегда на коврике перед комодом квадратик солнца из окна лежит, где смех беззаботный и большая ласка все насыщают.

А дождалась она совсем другого. Молчаливых и угрюмых обедов, прежних, как на чердаке, оханий матери, рассеянного взгляда Николая, своих пустых, срочной работой не заполненных, часов.

С утра сама смотрит, чтоб румяная Маша пыль везде стерла и все салфеточки перетряхнула, потом начнет пеленки маленькому подрубать или белое с голубым одеяло крючком вязать, но все это не оттого, что надо, а оттого, что делать нечего.

Николай ласков, предупредителен и смотрит все с такой тоской непонятной, что и ласковости, и предупредительности этой совсем не нужно.

Так вот и дни идут, тревожное все еще, будто может еще раз все измениться, будто не окончательно жизнь вырешена.

А от этой тревожности неопределенной растет самая настоящая, самая определенная тревога.

Живот таким огромным уже стал. Устанет Анна Ивановна, — маленький начинает ворочаться, тугим кулаком таким к боку подкатит, потом нежными и тупыми ударами внизу живота отзовется и будто в глубину куда-то провалится, а дальше опять в другом месте начнет твердеть и прощупываться.

Совсем он уже ясный, уже существующий, — как самый настоящий человек. И страшно Анне Ивановне от этой неотделимости нового человека от нее, и еще почему-то страшно.

Кажется ей, что вот весь мир напал на нее и на ее ребенка, и что должна она его от всего мира защищать.

Икона вспоминается, — женщина крылатая и ребенок во чреве: даны были жене два крыла большого орла, дабы спасла она в пустыне Того, кому надлежало от нее родиться.

Где у Анны Ивановны крылья? Нету их; слабость только и страх — не страх даже, а жуть у нее в сердце. А кто спасет, и кто защитит? И разве есть силы человеческие, которые защитить могут, когда тут весь мир, весь хаос вселенной на душу надвигается, сердце сжимает, распадается обыкновенное и ясное прахом, песчинками мириадами, ледяными иглами колючими, и на нее, на чрево ее вихрем — походом идет.

Страшно Анне Ивановне. Чувствует она, что это уже гибель.

Дни все высчитаны, сроки известны, еще два месяца ждать можно спокойно. А спокойно не ждет. Ребенок о себе все время помнить заставляет. Стучится, всю волю душевную и всю кровь телесную из Анны Ивановны в себя впитывает, и остается она сосудом мертвым, тяжестью неподвижной, оболочкой тайны.

А тут и дома это страшное. Длинные обеды, во время которых никто слова никогда не произнесет, взгляд пустой Николая, — нет ласки, нет тепла, — холод, холод, сушь такая морозная, одинокая.

И так случилось все, что Анна Ивановна уж окончательно страху этому поддалась, себя окончательно потеряла и до последнего отчаянья дошла.

Николай ушел куда-то из дому. Она побродила по комнатам, нигде себе покоя не нашла, никаким делом заняться не сумела и тоже ушла.

Сначала до усталости скиталась по городу. Осторожно, вразвалочку, по переулочкам, по весенним гулким и ясным улицам. До ломоты в пояснице наскиталась, до слез соленых надумалась. Пуст людный город. Одна она идет, младенца своего по каменным мостовым несет, вперевалочку, осторожноенько.

Идет Анна Ивановна, идет до усталости, и некуда ей вернуться.

Вот это некуда почувствовала она вдруг с такой ясностью и с такой мукой, что уж и не знала, как ей за угол ближайший повернуть. На веселенькую квартиру, гнездышко нету путей, потому что и в веселенькой квартире как бы все тот же путь в пустыне безлюдной продолжаешь.

А когда она все это ясно представила себе, то не только в мыслях почувствовала боль и жуть, но и во всем теле будто что-то переломилось, будто обруч железный около поясницы кости сжал, а потом тяжелая гирия вниз опустилась.

Но отпустила боль скоро, только слабость оставалась в ногах, и свет солнечный белее показался, прозрачнее.

А потом опять и опять.

Уже не помня себя, брела Анна Ивановна по весенним улицам. Но теперь знала, куда она спешит, куда ей дорога обозначена сейчас. Спешила, живот свой тяжелый и будто закаменевший по каменной мостовой несла.

А боль все сильнее, все чаще кости ломает и свинцом ноги наливает.



И когда стало нестерпимо, пришла она. Притягиваясь за перила руками на третий, на чердачный этаж добралась. На пустые ящики в темном углу доползла кое-как. Сначала села, чтоб отдышаться, но не усидеть было — встала, согнулась, всею тяжестью руками на ящики оперлась, чтоб неподвижной быть, чтоб раскаленной волне боли дать пройти...

С каждым разом сильнее сжимало поясницу, а потом будто всю жизнь, все тело, все жилы железная рука мяла и вниз тянула.

Начала Анна Ивановна стонать громко.

Но теперь ее тут никто услышать не мог, — соседняя квартира в две комнаты пустая стояла.

А ей как раз стало казаться, что самое страшное, — это одной остаться, а всякий человек — это уж верная помощь и спасение.

Как боль отпустит, — сразу холодно станет, — до пота на лбу такого липкого, до мурашек в ногах.

А потом от боли, от труда этого и напряжения, — жарко.

Вскоре уже не в силах сдерживаться, кричала Анна Ивановна.

И на счастье ее был этот крик таким громким, что на лестнице можно было его услышать. Соня, выходя из своей квартиры, и услышала его.

Сначала только не сообразила, — зверь ли это, или человек кричит, испугалась даже.

А потом решила пойти посмотреть, — с чердака крики неслись.

Там она увидела в темном углу, на полу около ящиков Анну Ивановну. Голова закинута назад, глаза так открыты, будто она их из орбит выдавить хочет. Руками уцепилась за железный край ящика, напряглась вся. Огромный живот будто придавил ее к земле, будто размозжить может. Ноги скрючены и напряжены.

— Что с вами? Что с вами? — закричала Соня и кинулась к ней, чтобы приподнять ее.

Анна Ивановна ничего не могла ответить. Только знаком руки показала, что не трогайте, мол, хуже будет.

Соня растерялась. Ольгуши дома не было, не у кого спросить, что делать надо.

Кинулась вниз, к Вере Васильевне позвонить не догадалась, сама к ближайшему доктору побежала.

Через час Анну Ивановну отвезли в больницу. Соня с ней ехала и всю дорогу повторяла только:

— Фу, ты, пропасть! — Фу, ты, пропасть.

А Анна Ивановна то затихала и по-звериному жалобно взглядывала на Соню, то опять начинала напряженно вытягиваться и стонать.

К обеду дали знать Николаю.

Но в больнице его к жене не пустили, велели на следующее утро прийти. Сиделка сказала, что положение серьезное, операцию сейчас делают.

А наутро в приемной собрались все: Вера Васильевна, Ольгуша и Николай. Молча ждали, когда их позовут. Николай ходил по приемной нервно взад и вперед.

Пустили к Анне Ивановне только его одного.

Она была после хлороформа в полузабытьи, лежала на спине вытянувшись. Живот опал, так что одеяло аккуратно и плоско прикрывало ее тоненькое тело.

Недоношенный ребенок жил только полчаса. Мальчик был.

Больная слаба очень, но опасности для жизни нет.

Потянулись медленные дни выздоровления. Николай навещал ее каждый день. Ольгуша приходила тоже часто, но старалась прийти всегда в другое время, чем Николай.

Анна Ивановна с ними мало говорила, делала вид, что ей спать хочется и вообще не до разговоров.

Даже Соня, поваркивая и будто с безразличностью, забегала часто в больницу.

С нею с первой стала Анна Ивановна о своих сокровенных мыслях беседовать.

Забыла будто, что она жена Николая, мадам Колоколова, стала опять Соню барышней величать.

— Вы, барышня, человек простой, и я человек простой. Вот поэтому я к вам и обращаюсь. Больше не к кому. Устройте вы там, у нас в доме, чтоб опять квартира на чердаке за мною оказалась. И мать предупредите, но так, чтоб никто пока не знал, что больше я на эту новую квартиру возвращаться не буду.

Соня поняла ее сразу, но все же начала уговаривать:

— Слушайте, ведь вы же ему жена, сеньора... Что за черт?.. Куда вам опять от мужа на чердак забираться. Плюньте с высокого дерева...

Анна Ивановна только рукой махнула:

— Какая я ему жена? Матерью ребенка его должна была стать, да вот не вышло. А теперь этому конец. Его развяжу, себя развяжу.

— Что за черт? Что за черт, сеньора... Бросьте дурь разводить, миндали разводить... А впрочем, наплевать, вы правы.

И потихоньку сговаривалась со старшим дворником относительно чердачной квартиры. К матери Анна Ивановна ходила, но ее убеждать было не долго:

— Как Анюточка хочет. Ей виднее.

Месяц провела Анна Ивановна в больнице. Когда срок пришел выписываться, заявила Николаю о решении своем к нему больше не возвращаться, а поселиться опять в старом своем чердачном помещении, чтобы все было, как раньше.

Николай ее долго уговаривал это решение изменить, но ничего не добился, потому что она чувствовала, что во всех его словах много жалости и много стремления свой долг до конца выполнить, а настоящего, этого теплого, все освещающего и соединяющего нет.

Так и вышло все по воле Анны Ивановны. Сам Николай ее из больницы на чердак доставил, на лестницу чуть ли не на руках внес. Там опять мать ее поселилась, канарейка трещала, пахло жареным кофеом. Только добавилась еще горничная Веры Васильевны, которая почти полдня на чердаке помогала, да Ольгуша с молчанкой и печалью своею, да Соня, с вязанием, с поругиванием:

— Что за черт? Что за черт? Фу, ты пропасть... Дурите вы, дурите, сеньора.

IX

Ступенька на ступеньку, ступенька на ступеньку, как позвонок на позвонок, высится лестница — становой хребет желто-серого дома.

Внизу живут Столбцовы, во втором этаже Колоколовы, — Вера Васильевна с сыном, а на чердаке, — швея Анна Ивановна с матерью. Канителью, как канатом корабельным, тесно связали себя, — никуда не уйти.

Встретится Ольгуша с Николаем на лестнице, он шляпу церемонно приподнимет, скажет:

— Добрый день, Ольга Александровна.

И она только кивнет.

А на самом деле не о «добром дне» сказал он, и не просто она головою кивнула, — а льдистыми иглами уколол он ее, и черным пламенем она его обожгла.

И обоим нестерпимо стало. Но не обернулись уж дальше, она за собою дверь захлопнула, он ключик американский в свою дверь вложил.

К Анне Ивановне ходила часто Ольгуша. Придет и молчит, и молчит все. И сразу Анне Ивановне как-то неудобно становится, будто воротник на платье тесный.

Раз этой тесноты не выдержала, при Соне даже не смогла умолчать. Искоса взглянула на Ольгушу и сказала будто спокойно:

— Не пойму я, Ольга Александровна, чего вы теперь-то канитель канителите. Была я наметочкой, наживочкой в жизни Николая Сергеича. За

узелок потянули и выдернули, — и следа не осталось. Теперь ваша очередь уж на прочное шить, на век, до износу.

Ольгуша покраснела вся и сердито сказала:

— Глупости, Анна Ивановна. Не надо так говорить. Глупости.

А Соня посмотрела на обеих внимательно и расфыркалась:

— Обе дуры, дуры канительные. Эх вы, жизненное надругательство... Разве так живут?

И быстро стала перебирать разноцветные шерстяные мячики, — вязала длинную кофту с узорами пестрыми вдоль борта.

Только и было без затей, — это у Веры Васильевны по вечерам в столовой.

Александр Константинович после всех событий и после обратного вселения Николая в материнский дом очень много философствовать начал.

— Дорогая моя, — говорил он, медленно тасуя колоду карт, — в наши времена все иначе было. Молодежь теперь не нам чета.

Вера Васильевна, облокотившись на стол и <смотря> за движениями пальцев Александра Константиновича, задумчиво говорила:

— Вы правы, мой друг. Мне кажется, — разница в том, что мы умели любить так, чтоб всю жизнь любви отдать. А они не умеют.

— Так, так, совершенно верно. Все один надлом пустой. Сегодня на швейке жениться. Завтра с женой разойтись и каменным видом свидетельствовать, — вот я, мол, каков и какие у меня чувства необычайные. А на самом деле одно ломанье, поиски небывалого, не как у других.

Потом Александр Константинович умолк и внимательно стал раскладывать пасьянс, — пики носиками вверх, трефы ягодками вверх, черви кончиком вниз, а бубны так, чтобы сверху от края большое пространство оставалось.

Разложив уголком косынку, он остановился и опять зафилософствовал.

— Теперешняя молодежь всего более напоминает мне такую вот колоду карт. Тасуются, раскладываются по воле случая, чьих-то чужих рук. Сейчас черви с бубнами рядом, потом с трефами, все от случая или от правил каких-то вне их лежащих.

Вера Васильевна слабо улыбнулась и продолжила его мысль.

Опять принялся Александр Константинович за косынку. Черную на красную, черную на красную, — до двойки, вниз.

Дочерей своих вспомнил. И чего они в эту общую перетасовку запутались, в канитель эту?

Он давно уже заметил, что и у них что-то неладно. Особенно у Ольгуши.

А внизу в это время Ольгуша и Соня сидели в тишине. Ольгуша сидела в столовой, подперев подбородок руками, и без мыслей смотрела на электрическую лампочку.

Соня же, уже раздевшись и в постели, писала письмо.

«Научи меня, как жить, — писала она неведомому, — или дни наши, как петли вязанья, петля за петлей без смысла и нужды? Или вот в этой окружающей бесцельной боли правда жизни? Или уж действительно всякая радость обманна? Научи меня, как мне стать легкой и вольной, носиться по седым волнам на легкой лодке, дышать воздухом крепким и соленым.

Ты знаешь все дни мои. Ты знаешь, как трудно тянуть эту тонкую нитку. Облегчи меня».

Она подписала письмо, запечатала его в конверт и положила под подушку, потом вытянулась в кровати и крикнула:

— Ольгушка, черт, иди спать, а то тушить буду.

Ольгуша очнулась от Сониного голоса. Встала медленно, потушила в столовой электричество и пошла в спальню. Молча, ни о чем не думая, стала раздеваться. Только неясными образами роились в голове эти встречи странные на лестнице, слова Анны Ивановны о наметке и ушедшие уже, — разговор на чердаке, рассвет в Колоколовской квартире, шум за парадной дверью, когда молодых там провожали.

Все равно изменить ничего нельзя. Только тяжесть, только горечь. Но в тяжести этой есть непонятный восторг какой-то, будто всегда душа к бою готова.

НЕСКОЛЬКО ПРАВДИВЫХ ЖИЗНЕОПИСАНИЙ

1. Введение

Прежде чем приступить к выполнению данного мною обязательства, — подробного и правдивого жизнеописания семьи нашей, — семьи Иконниковых, — и всех тех лиц, кои в ближайшее соприкосновение с нашей семьей вступали, должен я выяснить два вопроса, чтобы в дальнейшем избегнуть всяческих недоразумений.

Первое: кто я, что писать о чужих жиязнях решилса? — Ответ таков: никто или почти никто в происходящих здесь действиях. Я приемный сын Семена Алексеевича Иконникова, младший в семье, ко времени всех описываемых мною событий почти еще несмышленное существо, — и тем не менее не смущает меня сложная задача жизнеописания, потому что, во-первых, так условлено было между нами: мною и сестрою моею Екатериной Семеновной, а, во-вторых, несмышленость и молодость мои делали меня по мере сил беспристрастным наблюдателем всего происходившего и, таким образом, могу я передать виденное, не кривя душой ни в чью сторону.

Из ответа на этот первый вопрос вытекает и ответ на второй вопрос: может ли быть жизнеописание мое кому-либо нужно и интересно? Полагаю, что как труд молодого и мало сознательного человека жизнеописание никому интересным быть не может. Зато как повествование о событиях давно прошедших и неповторимых, а главное, как повествование о характерах существовавших на свете людей, из коих многие занимали потом значительные посты и были почти повсеместно и всесветно прославлены, — с этой точки зрения повествование мое должно иметь интерес для всех лиц, имеющих склонность к истории родного своего народа, иногда отблеск истории блестит и там, где труд принадлежит неизвестному мемуаристу, — случайному свидетелю событий.

Ни семья приемного отца моего Семена Алексеича, ни наша тихая Медынь, ни ее обитатели, вроде Митяйко или Пелагеи Михайловны, ни даже съезды неведомого люда в наше Медовое, — не это все в отдельности является историей; а общая комбинация лиц и характеров, мелких событий и единого Великого события, — это все уже исчезло и постольку стало историческим достоянием.

Мне никогда не приходилось еще писать систематический труд, и очень страшит меня возможность забвения каких-либо основных черт в описываемых мною людях и событиях. Дабы избежать такого несчастья и дабы иметь возможность распределить свои знания с абсолютной точностью, я решил в жизнеописаниях моих придерживаться определенного плана.

Сначала я хочу сообщить сведения, так сказать, топографические с легким историческим отклонением в более отдаленное прошлое. В эту часть войдет: 1) описание Медыни и 2) описание усадьбы Медового.

Вторую частью хочу я избрать описание характеров, так сказать, изначально данных мне. Сюда войдет: 1) описание семьи Иконниковых, 2) описание некоторых лиц, проживающих в Медыни, как то: Митяйки и его жены, Пелагеи Михайловны и ее квартирантки Марьи Сергеевны и некоторых других.

Наконец, в третьей части хочу я приступить к изложению событий, правда, не столь уж и бурных, но во всяком случае показательных для определения как Иконниковских характеров, так и других. В эту часть войдет: 1) характеристики трех приехавших друзей Федора Иконникова, 2) описание всех имевших место событий.

И дабы уж не продолжать рассказ, а сделать из него окончательные выводы, заключительно сообщу я о разнообразных судьбах всех, принимавших в событиях моих участие и так или иначе поглощенных единым и все поглощающим событием — революцией.

Чтобы избежать каких бы то ни было нареканий, я еще раз повторяю, что целью моею не является дать занимательный и захватывающий рассказ о различных трагических или героических положениях, из которых так или иначе выходят победителями действующие лица. Цель моя, — дать правдивое и точное жизнеописание лиц с известными мне характерами, причем эти характеры я считаю величиной самой значительной в моем повествовании и их прошу внимательно проследить.

II. Часть топографическая

По всем историческим, географическим и экономическим данным наша Медынь могла бы быть настоящим центром большого Восточного района России, если бы этому не помешали некоторые случайные факты: во-первых, не слишком далеко от нее к северу и, немного подальше, но все же близко — к югу, — оказалось два города чрезвычайно центральных. И Медынь, находящаяся между ними, не сумела стать по отношению к ним

метрополией, а превратилась в изрядное захолустье. Второй факт, также отразившийся печально на судьбе Медыни, это расписание поездов. Все поезда выходили из соседних центральных городов по вечерам. Ночью скрещивались в Медыни и утром прибывали к месту своего назначения. И третий факт, — река с каждым годом мелела. Более подробно этих обстоятельств не буду касаться.

План Медыни таков: посередине довольно широкая и очень синяя река. На север низкий луговой Монастырский берег. Там домов не много, зато огромное пространство занимает Отрочь монастырь. А так как смотреть на него приходится всегда с высокого городского берега, то сверху не только зубчатые стены монастырские видишь, но и зеленый луговой двор его, и двухэтажные здания, к которым кирпичные дорожки ведут, и церкви многоглавые, и за ними опять зеленый двор. Только две колокольни и одна башня стенная на небе вырисовываются, а все остальное на луге зеленом. И никто из художников настоящих этого изобразить не умеет, а вот почему-то лубочные картинки, что у мещан Медынских около киота развешаны, они все это очень подметили и так и Афон, и Киево-Печерскую Лавру изображают, — только посередине картинки облако в небе голубом, а из облака Божья Матерь с покровом малиновым, а по бокам два предстоятеля. Мне всегда казалось, что если долго на монастырь смотреть и над ним белого облака в ясный день дожждаться, то и остальное все будет как на лубочной картинке.

Все это я не только к слову говорю, а к тому, чтобы показать сразу, какую цену должен моему писательству свежий человек давать.

Перейдя к описанию города, я уже и не знаю, с чего начать. С точки зрения исторической, самое замечательное в городе — это старинный собор с огромным темно-синим куполом, а по куполу золотые звезды. Однажды обратил я внимание на этот купол в грозовой день, когда в небе медленно тянулись друг за другом клубящиеся облака, будто с недоверием друг друга оглядывая, будто псы какие-то дикие, перед дракой угрожающе-внушительно и медленно толкущиеся на месте. И вот взглянул, а соборный купол темнотою своею синей как открытый путь в заоблачную страну. В детстве это было, и я с тех пор с особым чувством на купольные звезды гляжу, будто что-то они мне открыли.

От собора начиналась главная улица и тянулась тоже до исторического места, — круглой площади, — дома в ней с таким внутренним ущербом были, что вся площадь круглой казалась. Тут был дом губернатора, земская губернская Управа и Казенная палата.

Собственно, моя повесть к исторической площади касательства не имеет. Я сюда забрел по привычке каждому новому человеку все городские достопримечательности показывать.

Для моей повести важнее отметить: во-первых, — на Московской дом Товарищества мелкого кредита, где помещались: склад сельскохозяйственных машин, выдаваемых напрокат, канцелярия и бухгалтерия правления и квартира из двух комнат бухгалтера Митяйко Ивана Андреича и жены его Ксении Степановны. Это раз.

Два. Важно отметить еще за огородами, там, где и летом дорога грязноватая, дом Пелагеи Михайловны. Он, кроме своих обитателей, ничем не замечателен.

Вот, собственно, этим можно и ограничиться при описании Медьни.

Далее начинается третья составная часть всего плана: Медовое, — усадьба моего приемного отца Семена Алексеевича Иконникова.

Самая замечательная черта Медового заключается в том, что у него нету ни начала, ни конца. Редкий Медынский обыватель сумеет вам план нашего города изобразить так, чтобы и Медовое правильно в него включить.

Так граница идет: ну, по обрыву реки все знают, что вот столько-то саженей берега речного, — иконниковское; потом граница идет рядом с городским садом; в самой чаще дикой и непроходимой: вал не вал, забор не забор, а препятствие. Потом по каким-то навозным задворкам граница проходит, от живого мира самыми нищими конурами отгорожено Медовое; только и вестей о нем, что котов этих конурочных Медовный сторож из ружья бьет, чтоб за дичью в гнезда не лазили. Потом непонятно каким выкрутасом выходит Медовое железной калиточкой в самый центр города, между двумя огромными магазинами. Уже никто никогда не догадается, что эта калиточка в тополевою аллею ведет, а потом через лужайку во фруктовый сад, а дальше к самому дому. Река с одной стороны, сад городской, — с другой, с третьей, — город — окружили Медовое, с четвертой же — начинаются сосновые перелески, подъем в гору, — опять там не разобратся, где чему начало, где конец.

Медовое, — усадьба одна, — земли давно нет. Старый дом очень потрепан со внешней стороны, — штукатурка облупилась окончательно. Ну, а внутри каждая комната соответственно своему хозяину. Есть комната как бы древняя от пыли, паутины и серых отблесков на окнах, есть, — последнее европейское издание, как комната брата моего Федора Семеновича. Общие комнаты сразу все века и все страны смешали. Но уже тут, пожалуй, надо с топографией кончать и к жизнеописаниям переходить.

III. Жизнеописание изначальных характеров

1

Чтобы не чрезмерно и не сразу затруднить себя жизнеописаниями лиц, близких и дорогих мне, я начну дело, так сказать, с разбега, с лиц мне безразличных или даже неприятных, но к повести моей имеющих непосредственное касательство.

Более того: начну с таких анекдотических ничтожеств, как Иван Андреевич Митяйко и жена его Ксения Степановна.

Что такое Митяйко? Бухгалтер Общества взаимного кредита. Как его описать? С внешним описанием дело обстоит очень просто. Таких, как он, много можно встретить. Роста он очень высокого, даже если судить в со-

ответствии с узостью его плеч, то рост его непомерно высокий; носит он всегда такие тоже очень часто встречающиеся и приметные узкие и короткие тужурки, так что как руки в карманы засунет, — сразу, на мой взгляд, какой-то мещанский и неприличный вид получается; лицо у Митяйки без особых примет, только что всегда неважно выбрит.

Думаю, что в повествовании о жизни Медового вряд ли пришлось бы упоминать о таком городском обывателе, как Митяйко, если бы не был он довольно крепко связан с моим старшим братом Федором Семеновичем. Связь эта была очень таинственная поначалу. Потом, когда вообще в России не оставалось тайн, мы узнали, что с давнего времени и брат мой Федор Семенович Иконников и бухгалтер Взаимного кредита Иван Андреевич Митяйко принадлежали к одной и той же нелегальной и конспиративной социалистической партии. С тою только разницей, что Федор Семенович, по причине многих исключительных свойств своего ума и образования, был в этой партии одним из самых первых зачинателей и начальников, слово которого было обязательным к исполнению по всей России, а Митяйко являлся как бы рядовым солдатом. И в этом отношении объединялись они не общностью работы, а скорее территориальной близостью единомышленников.

Впрочем, Федя никогда особой склонности к Митяйке не обнаруживал и ограничивался только товарищеской вежливостью.

Должен сказать, что все эти партийные товарищества и нелегальная работа, — все это было в то время почти совершенно уже историческим прошлым.

Брат мой Федор Семенович очень много потрудился для девятьсот пятого года. Я был тогда еще совершенным мальчиком, но знаю, что он и в тюрьмах сидел, и скрывался подолгу, и из ссылки бежал и вообще всячески гремел на всю революционную Россию. Тогда же и Митяйко у нас в городе довольно жарко все дело поставил.

Кончился девятьсот пятый год, потом пришел конец и поре всяческого начальственного возмездия и жандармской подозрительности. Тихонько и полегоньку начал Митяйко после тюрьмы опять в нашу провинциальную жизнь вклиниваться, ну и вклинился постепенно, но окончательно.

О брате рассказ дальше.

Теперь, говоря о Митяйке, я все касался внешних и общественных его примет, а между тем личное его жизнеописание представляет тоже значительный интерес.

Многого рассказывать не стану. А чтобы показать всю его неистовость, расскажу историю его женитьбы. (Кстати, партийный его товарищ, мой братец, этой истории, конечно, не знает.)

Одно время, по каким-то служебным делам приходилось Митяйке очень много разъезжать по селам, чуть ли что не целый уезд объезжал он: и вот в какой-то деревеньке встретилась ему баба Аксинья, — красавица, умница, работница, — и бойка, и скромна за один раз. Шутки шутками, а кончилось дело тем, что полюбил он ее со всею своею неистовостью. Но как ни уговари-

вал ее на эту любовь ответить благосклонно, она каждый раз отвечала, что любит своего мужа, а потому ей до Ивана Андреевича и заботы мало.

Совсем Иван Андреевич загрустил и затревожился, — хоть руки на себя накладывай. А Аксинья при встрече, даже если муж рядом, все под-разнивает его.

Вот он и решился на отчаянное дело. Раздобыл где-то тройку; вечером поздним подкараулил, когда Аксинья одна с нивы в деревню возвращалась, подхватил ее, рот полотенцем завязал и умчал к себе в город.

В кабинете своем запер ее, — отпирал только, чтобы пищу давать. На слезы ее и жалобы никакого внимания не обращал. А с другой стороны, и не трогал ее никак, — с любовью не приставал, будто и не любовь была этого умыкания причиной.

Три дня просидела Аксинья взаперти. На четвертое утро вошел к ней в комнату Иван Андреевич, закурил папироску, руки засунул в карманы, оперся о печку и говорит:

— Вот что, Аксинья Степановна, сама понимаешь, небось, что тебе теперь дороги к мужу нету. Не поверит он никак, что ты у меня тут три дня и три ночи в одиночестве полном просидела. А не поверит, — значит, убьет. Ты его знаешь.

Аксинья принялась тихонько плакать. А он подошел к ней, положил ей руку на плечо и продолжает.

— Аксинья Степановна, плачь не плачь, а слезами делу не поможешь. Одно тебе и остается, это чтобы ты согласилась моей женой стать. Посуди же сама.

И с этими словами ушел.

А Аксинья Степановна целые сутки примеряла и прикидывала. Действительно, выходило так, что ей в деревню возвратиться никак нельзя, — муж убьет. И одной без защитника на свете жить тоже и непривычно и боязно.

На следующее утро, когда Иван Андреевич пришел к ней, она ему сама первая сказала:

— Быть, мол, по-твоему, Иван Андреевич, а там видно будет.

Все это мне сама Ксения Степановна рассказывала. Может быть, в обычную минуту она бы на такую откровенность и не пошла, а тут как раз дело такое вышло, что всем этим своим преступлением Митяйко пренебрег и в открытую влюбился.

— Это трех-то лет с моего умыкания не прошло, — жаловалась Ксения Степановна.

Вот и все, что я почел нужным о Митяйке сообщить, дабы дальнейшая его роль была бы достаточно ясной.

Вторые городские жители, имеющие к нам касательство, собственно, могли бы быть введены в повествование и после, но мне хочется, говоря о них,

рассказать один совершенно особенный случай, который должен остановить внимание человека, имеющего склонность к изучению человеческих душ.

Мой рассказ должен был бы касаться главным образом Марьи Сергеевны, как девушки, вошедшей потом в нашу семью. Но на самом деле я как бы придрался к ней, чтобы попутно сообщить о ее квартирной хозяйке Пелагее Михайловне.

Пелагея Михайловна была чрезвычайная калека. В молодости она, говорят, отличалась изрядной красотой и музыкальными талантами, так что должна была даже в концертах выступать.

Была она замужем, с мужем не ладила. И однажды даже проклял ее муж. А она на это обратила мало внимания и уехала в соседний город на бал к каким-то знакомым.

Но по дороге случилось несчастье. Во время хода поезда вышла она на площадку вагона, оступилась как-то и ухнула в пролет под колеса.

Ну, как дело было, подробно не знаю, — только жива осталась. Руку ей правую колесами отрезало, и ослепла она окончательно.

А самое страшное в ее слепых глазах было то, что, не мигая, смотрит она ими и будто видит, только все отчего-то на четверть аршина в сторону смотрит.

Какая ее жизнь была, легко себе представить. Комнаты начала она квартирантам сдавать.

У нее и поселилась Марья Сергеевна, когда в наш в город приехала.

И вот к чему я все это говорю. Через долгое время после этого вселенья, уже когда мой брат Федор поселился в Медовом, пошел я по его поручению к Марье Сергеевне. А она меня встречает, и плача и смеясь.

— В чем дело? — спрашиваю.

И рассказала она мне тут дело действительно мало обычное.

Сидит Марья Сергеевна у себя в комнате, в уголок дивана забила и читает. Вдруг отворяется дверь и совсем неслышно Пелагея Михайловна входит. Вошла и спрашивает:

— Марья Сергеевна, вы здесь?

А та возьми и промолчи, так, неизвестно отчего.

Тогда Пелагея Михайловна ощупью, ощупью к стулу; стул к полочке подвинула. Ощупью на стул и давай по верхней полке руками шарить. Нашарила кулек с сахарным песком и давай это горстями в рот, горстями в рот.

Тут где-то шорох какой-то раздался; она притаилась, потом со стула соскользнула, на место его протатила и ушла, — дверь затворила. Как раз в это время и я пришел, — вижу, Марья Сергеевна и плачет и смеется сразу.

* Так у автора.

Приступая к самой трудной части жизнеописания моего, — к подробному изложению характеров членов нашей семьи, — я чувствую, что весь этот разбег, все Митяйкины фокусы и выверты Пелагеи Михайловны, не подвинули меня никак к настоящему делу.

А поэтому начну прямо:

Приемный отец мой, Семен Алексеевич Иконников, был человеком ни на кого совершенно не похожим. Душа его состояла из взаимно исключаящих качеств, и потому был он постоянно в борении сам с собой.

Если знатный человек мог бы указать на Семена Алексеевича как на самого большого гордеца, которого ему удавалось встречать, то какой-нибудь железнодорожный служащий Прокофьев, — правда, не дурак, — но человек темный, — имел полное право ухмыльнуться и сказать:

— Семен-то Алексеич? Да мы с ним закадычные друзья.

В городе Семена Алексеича считали нелюдимым. А между тем я не преувеличу, если скажу, что Медовое было известно многим в самых отдаленных углах России как место, куда можно незваному пожаловать. И дом был действительно всегда этими незваными набит.

Федор говорил о них:

— Отцовские кривульки.

И воистину так. Кого только не перебывало в Медовом: какой-то полицеймейстер из приволжского городка, который одиннадцать месяцев в году был самым настоящим полицеймейстером; а один месяц, — в отпуску, бродил по России с бродягами, пропивал с себя все, в рыболовные ватаги на Азовском побережье поступал, даже раз, под осень, с голоду фасоли целый мешок украл. Был еще инженер, изобретатель аэропланов особенных. Мой брат ему часто доказывал, что аэроплан его построен на таком законе, что сел человек в клетку, одну руку из клетки вытянул, взялся за кольца и давай сам себя с клеткой от земли подымать. Еще гостил малиец один, — фокусник. Он все твердил: для непосвященных — ловкость рук; а для посвященных, — сила самовнушения. Еще был монах беглый, — уже бороду сбрить успел, — с голосом удивительным, — хотел стать ветеринарным фельдшером. Еще Максим Прокофьевич, — фамилию забыл, — очень озлобленный человек. Все во время разговоров руки и ноги выбрасывал, будто их за веревку дергали, аристократов ругал, богачей ненавидел и виселицы всем предрекал, ни во что не верил и никому не верил; потом детей трое гостило у нас как-то: с их матерью Семен Алексеевич у знакомых в Петербурге встретился; она говорила, что не знает, куда детей на свежий воздух весной отправить. Он их и захватил с собой.

Не зря я это все перечисляю. Скажу даже, что это только одна десятая часть всех шатунов, которым Медовое по дороге оказывалось. И убедив в этом читателей моих, я, может быть, почти точно определил, какой человек был Семен Алексеевич.

Вот уж воистину чужие дела его и поседеть заставили. Сидит в Медовом и пишет письмо куда-нибудь на Волынь, какой-нибудь неведомой жене неведомого нового гостя, что должна она, мол, его по человечеству понять. И что же вы думаете? — случилось, что такая жена десять лет по человечеству своего мужа не понимала, а после письма Семена Алексеевича проплакала целую ночь, утром в путь собралась, а через два дня в Медовое уже с полным понятием прибывала.

Ясный, чистый, искристый, любящий, — вот он, мой отец приемный.

А если и был у него какой недостаток, так не мне о нем судить, потому что любви его отеческой я именно соответствием в этом недостатке у него заслужил. Не было для него большей радости, как человека понять. Особенно когда какая-нибудь новая, раньше им еще невиданная черта в человеке обнаруживалась. Уж тут безразлично: черта эта — из добродетелей или пороков, — важно, что еще невиданная или даже только еще не определенная раньше. И как бабочку коллекционер бережно расправляет, не считаясь с тем, дневная она или ночная, так Семен Алексеевич в своей коллекции новым открытиям радуется.

А — по-настоящему — я сын садовника в Медовом. Мать умерла при моем рождении, а отец, когда мне лет восемь было. С тех пор я и попал в семью к Семену Алексеевичу.

Но усыновил и полюбил он меня, когда мне уже лет тринадцать было. И сразу это после одного разговора случилось, где моя страсть к жизнеописанию характеров для него явной стала.

Теперь, чтобы покончить с обычными обитателями Медового, я должен сказать еще несколько слов о сестре моей Екатерине Семеновне Иконниковой.

Катя, человек от природы своей и неизбежно несчастный. Лучшего друга, вернейшего товарища, нежнейшей сестры нельзя найти, — а вместе с тем Катя неизбежно несчастный человек. Более того. Я часто замечал, что Катя очень легко нравится, — несмотря на известную свою неуклюжесть и на совершенно непомерную застенчивость. Было у нее в глазах что-то такое притягивающее и обещающее, что заставляло многих за нею идти. А ей многие нравились. Но как бы все это легко и просто ни бывало, я всегда знал, что Кате от самого легкого одна тяжесть достанется, и от самого радостного, — огорчение.

А застенчивость ее была действительно совершенно невероятная. Для примера приведу только два случая из молодости ее. Пошла она в гости к своей однокласснице, — в гимназии еще тогда училась. Дошла до дому, и сомнения ее взяли, — идти ли. Наконец, она нашла, как ей поступить — пробралась на черную лестницу и позвонила на кухню. Открыла ей прислуга, провела в гостиную. Там на нее накинудись, отчего она с черного хода пришла. А она потупилась и говорит:

— Я подумала, что, услышав мой звонок на парадном, вы решите, что вот кто-нибудь приятный пришел. А потом вдруг это я.

Другой раз она долго слушала разговор Федора с приезжей нашей гостьей Татьяной Александровной. Очень они действительно умно говорили. Потом Катя ушла.

Мне почудилось что-то неладное. Я к ней в комнату пошел и вижу, лежит она на кровати, лицом в подушку и плачет.

Я и так и сяк. Молчит.

Наконец, добился я ответа от нее.

— Кислород, — говорит, — понимаешь, кислород?

Ничего я не понял.

— Обидно мне, — говорит, — что вот рядом с такими, как Федя и как Таня, — и я существую даром и у них кислород выдыхаю.

Вот она какая, сестра моя любимая и друг верный. И пусть глупец посмеется над ней. Но не для глупцов я пишу это и знаю, что мудрый поймет Катю и заочно полюбит ее.

Так как брат мой Федор Семенович до известной степени был в нашем доме отщепенцем, то о нем буду я говорить лишь тогда, когда по ходу действия он на родную почву Медового вступит.

IV. Остальные характеры и события жизнеописания

1

Часто и раньше бывало, что неожиданно-негаданно к нам в Медовое Федор заявится, — то отдохнуть, то работать, то от скуки, то от переутомления. Его вообще не поймешь, потому что в его характере было многое наперекосья. Ленив, например, совершенно без границ, — лежит на диване, с босых ног и туфли спустил, а толкует, какие в саду вкусные яблоки растут.

Катя на это улыбнется и скажет:

— А ты пойди, нарви к обеду.

Так Федя даже глаза выпучит. Чтобы он из-за яблок с места двинулся? Пусть они на дереве сгниют, и он о них на диване мечтает, — если кто другой не поможет, так он этих яблок и не попробует.

— Работа, — говорит, — всегда работа... И всякая работа неприятна.

А наряду с этим станет он свое прошлое вспоминать. Не преувеличивает, — я его знаю.

И извозчиком-то он был, и в морозы в самые трескучие по Петербургу катался, у костров зимних грелся, рукавами в варежках себя по ребрам для теплоты хлестал. И машинистом одно время служил, — так прятаться приходилось. И из тюрьмы побег устраивал, — в каком-то возу с картошкой проехал мимо всей стражи; и лекции в рабочих кружках читал, и статьи писал, и сам журнал печатал на особых машинах, и гримировался всячески, — ну, одним словом, не жил, а кипел.

Домой же придет. Все пиджаки к черту. Воротнички там, галстуки. На босу ногу туфли оденет и заявит, с улыбкой:

— Облекаюсь в ветхого человека.

А дальше на диван, «Север» за 1889 год в руки, папиросу в зубы и конец.

Последнее время он много за границей жил; будто службу там даже какую-то имел. К нам наезжал на месяц, на два. Сначала было примечательно, что он наезжал как бы урывочно. А когда война началась, видимо, совершенно закончил он свою прежнюю конспиративную работу, — появился в Медовом довольно открыто, прожил полгода в полном спокойствии и потом еще не раз наезжал.

И вот, наконец, весной 1916 года приехал он к нам как бы окончательно. Дальше я сообщаю все подробности основного дела, из-за которого Федор Семенович к родительскому дому возвращаться стал. Теперь же, придерживаясь стремления к жизнеописанию характеров, вспомню о первом дне его пребывания в Медовом и о разговоре с приятелем нашего отца, — Прокофьевым. Уж очень этот разговор жизнеописательный.

Пришел Прокофьев, не зная, что Федя дома. Тот на него никакого внимания, лежит на самом солнечном месте, мухи над ним кружатся, волосатая грудь открыта, — не то книгу читает, не то дремлет.

Прокофьев очень так весь опочтенился, или не знаю, как и выразить это: одним словом — ти-ста да п-ста, мы, мол, понимаем, что к чему. Минутку помолчал, а потом без особых приготовлений и начал, даже не смущаясь моим пребыванием в комнате.

— Это мне, знаете, Федор Семенович, очень повезло, что я с вами встретился. Давно подобной встречи искал; Семен Алексеич, это, конечно, наш человек, только скептизмом сильно зараженный. А на вас я, извиняюсь, совершенно рассчитываю.

Федя открыл лениво один глаз, почесал шею и пробормотал:

— Ну, жарьте.

Тогда Прокофьев пододвинул стул к Фединому дивану, уселся поудобнее и начал излагать.

— Вы как насчет революции полагаете?.. Я полагаю, что забастовочка с революцией вышла. Вот на эту тему разрешите мне вам, как лицу заинтересованному, кое-какие соображения привести... У меня, знаете ли, приятель был, очень боевой человек, в Триполитанской войне добровольцем участие принимал, потом во всех Балканских войнах. Может быть, читали, — он раньше книжечку чрезвычайно полезную и дельную выпустил: «Тактика уличных боев». Ну, так вот он и открыл, что вообще на Европу ставок не стоит ставить.

Так быстро, убедительно и отчаянно проговорил все это Прокофьев, что Федя будто немного очумел даже, приподнялся на локте, внимательно взглянул на своего собеседника и сказал:

— Ну, дальше.

— Дальше-с? Извольте... Все спасение в цветных народах. По существу европейский пролетариат, если сравнить его с колониальными массами, — является классом привилегированным. Ясно?.. Поэтому сначала цветная

революция, а потом уже социальная... А конкретное мое предложение таково: вы можете достать мне три тысячи рублей?

— Зачем?

— Очень просто. В Восточной Африке имеется оазис Адалия. В нем 40 тысяч жителей. Европейская дипломатия закрасила этот оазис зеленой краской — находится, мол, под протекторатом Италии, а на самом деле никакого протектората. 40 вооруженных по-европейски людей, 2 пушки, и я положу корону Адалии к вашим ногам. А для этого немедленно нужно достать три тысячи... Слушайте, не корона, так республика. В африканских условиях это не имеет значения... Ясно?..

Федор расхохотался.

— Знаете, — говорит, — вы пока что по этим делам с моим полномочным представителем снеситесь. Коля, — обратился он ко мне, — я тебя назначаю моим посланником, при адалийском дворе.

Прокофьев, видимо, обиделся и ушел. Почем знать, может быть, и напрасно поступил с ним так Федор Семенович. Мне, например, достоверно известно, что у него имелись какие-то очень подробные африканские карты, и он зачастую письма получал с совершенно невероятными марками.

Впрочем, заносу все это только для жизнеописания...

В этот же первый день своего приезда Федор обратился к отцу с вопросом, может ли он гарантировать ему свободу Медового от всевозможных окончательных посторонних кривулук в течение наступающего лета.

Дело в том, что ему очень хотелось бы продолжительно и окончательно договориться с некоторыми своими товарищами, принимавшими вместе с ним раньше участие в революционном делании. Попутно же он был бы рад дать этим своим друзьям возможность отдохнуть в деревенских условиях. Можно думать, что их будет трое или четверо, но во всяком случае, хотя сейчас они совершенно от всяких надзоров чисты, однако он не рискнет звать их в Медовое, если не будет уверен в том, что здесь им не придется иметь дело с различными полицмейстерами, африканцами и прочими кривульками Семена Алексеевича.

Отец подумал, посоветался со мною и с Катей и, наконец, заявил Феде, что на 3 месяца гарантирует его товарищам полную изолированность Медового. Так Федя им письменно и сообщил.

Я лично начал ждать с большим нетерпением их приезда, потому что чувствовал, сколь интересным элементом они для всяческих жизнеописаний могут оказаться. Думаю, что и отец был рад таким неожиданным гостям.

Федя же, наладив это дело, как бы забыл о нем и начал предаваться тому, что я давно и справедливо почитал основным смыслом его появления в Медовом.

Их приехало к нам в Медовое трое. Татьяна Александровна Александровская, Виктор Иванович Канатов и Алексей Алексеевич Столбцов.

Приехали они без всякого особого предупреждения, и в этом отношении помимо нашей воли договор оказался нарушенным: сразу застали они в Медовом Митяйку.

Феде было это неприятно, хотя Митяйка именно в данном отношении своим человеком мог бы считаться. А гости, наоборот, мало на него внимания обратили.

Сначала недолго приводили они себя в порядок по своим комнатам, а потом к обеду вышли в столовую. Митяйку все у стены стоял и покашливал. Он как-то догадался, какие все это важные птицы были в их партийной жизни.

А я сразу принялся копить материал для своих жизнеописаний.

Столбцов был очень маленького роста и с чрезвычайно белой кожей. Голова у него начала сильно лысеть; по бокам оставался такой особенный, будто сияющий пух. Глаза были очень острые, будто в светлые зрачки кто-то гвоздики вколотил; губы тонкие; и непомерно большие, красивые, очень белые руки. Напомнил он мне побеги весенней травы, оказавшиеся под черепком каким-нибудь. Вся трава вокруг зеленая, а эти побеги теньевые, бледно-желтые, прозрачные.

За всем тем сразу я понял, что в Алексее Алексееиче большая сила заложена, и что он и любит и умеет приказывать. И это несмотря на то, что голос у него был очень вкрадчивый и тихий, будто извинялся все.

Виктор Иванович Канатов сразу поразил меня какой-то непобедимой молодостью своей, прямо мальчишеством. Напоминал он елочные звезды такие, которые искрами во все стороны сыпят и сияют. Никакой я в нем сначала упористости не почувствовал, а решил отчего-то, что мне его жалко. Вот уж, наверное, ему бы было смешно, если бы он о моей жалости узнал, потому что сам себя хоть и любил, — не скрою, — но уж, во всяком случае, не жалел.

Более всех в тот первый день Татьяна Александровна проявилась. Сама себя рекомендовала, когда Семен Алексеевич с ней знакомился.

— Слыхали вы, дедушка, — (так прямо с первого раза дедушка) — сказку про «Веселую девчонку»? Так это про меня сказка написана. Не слышали?.. Виктор Иванович, расскажите то, что вы в дороге рассказывали.

Виктор Иванович улыбнулся, будто давно с Семен Алексеевичем в заговоре шутилом против Татьяны Александровны состоял, и рассказал нам эту сказку, солгоубовскую, оказывается:

— Жила, мол, на свете веселая девчонка. Что ей ни сделай, а она все смеется. Вот отняли у нее подруги куклу. А она бежит за ними и кричит: «Наплевать, очень мне кукла нужна...» Вот прибили ее мальчишки, а она хохочет и кричит: «Наплевать, где наша не пропадала...» Тут и мать ее на нее разозлилась и говорит: «Вот погоди. Я веник возьму, тебя выдеру».

А девчонка пуще прежнего смеется: «Вот уж не заплачу. Вот уж мне наплевать». Веселая, мол, такая девчонка.

Виктор Иванович кончил и опять подмигнул Семен Алексеичу. А тот, видимо, впервые почувствовал, что в знатных гостях Фединых есть его любимая черточка — кривульность эта, без которой он готов был все лето проскучать, — а потому широко улыбался и разглаживал свою длинную бороду с желтыми пропleshинками. Катя внимательно и удивленно слушала эту сказку, Столбцов с Федей о чем-то серьезно говорили, а кто меня совсем поразил, так это Митяйко. Он сразу какое-то особое значение и в высшем смысле дал сказке о Веселой девчонке, очень усиленно стал себе в кулак кашлять, отделился от стены и, покачиваясь, будто на хороших рессорах коляска, подплыл к Татьяне Александровне. О чем они говорили, я не приметил; потому что тут меня Катя позвала.

Потом сели обедать.

После обеда в сад вышли.

Татьяна Александровна опять-таки всем пример подавала и игру особую предложила. Каждый должен был рассказать совершенно искренне и правдиво, чего он в детстве всего больше хотел.

Митяйко сидел рядом с Татьяной Александровной, а потому за ним был черед исповедь свою начинать. Он отчаянно откашлялся в кулак, потом покраснел очень и, уж, наверное, не искренне и не правдиво, а для того, чтобы всех удивить, сказал:

— Я, когда мальчиком был, к мрачным мыслям склонность имел. Видимо, потому и мечты были с известной мрачностью... Хотелось мне на возвратном пути после каких-нибудь похорон на катафалке под балдахинном от кладбища до города доехать...

Сказал эдакое, несвятое, — и гордо на всех посмотрел.

Все очень хохотали, а Виктор Иванович ударил Митяйку по плечу и начал своим громким до неприятности голосом говорить:

— Вот, дорогой мой, у нас с вами общее оказалось. Я, по правде сказать, когда мальчишкой был, тоже прокатиться мечтал, только не на катафалке похоронном, а на пожарной лестнице, знаете, такой бесконечно длинной. Лошади-звери апокалиптические ее по мостовой мчат, погромыхивают, а она как на пружине в воздухе качается, — роскошь просто.

Опять все начали смеяться. А Таня сказала с досадой:

— Вот всегда так. Я думала, что вы все что-нибудь эдакое такое расскажете, а на самом деле вышла одна чепуха. Теперь только на вас, Алеша, и надежда, потому что ведь от Федора Семеновича одной мечты дожدهшься: чтоб ему на ночь пятки чесали...

Алексей Алексеич поднялся зачем-то с травы, руки в карманы засунул, посмотрел куда-то и далеко уж очень, и пристально чересчур, и сказал:

— Моя мечта детская? Да, пожалуй, она и теперь все та же. Хотелось мне, чтоб жизнь моя была бурной, чтоб по самым диким хаосам носился мой дух, чтобы много света и много мрака, чтоб много всего, одним сло-

вом, было в моей жизни. Ну, а под старость, — это вот и есть настоящая моя детская мечта, — под старость хотелось мне стать смотрителем плавучего маяка. Понимаете, друзья мои, вокруг море на солнце блестит, просто назойливо блестит, и чайки летают, и корабль на якоре медленно колыхается, — и никого, никого вокруг... Вот.

Мы промолчали все. А Татьяна Александровна велела Феде говорить. Он отказался, будто оттого, что она его обидела:

— У всех, мол, мечты могут быть, а у меня только пятки чесать... Нет, благодарю за честь. Мы лучше помолчим.

На самом же деле ему как раз пора было по ежедневному своему делу, о котором я и раньше мельком поминал, отлучиться.

Постепенно вся компания разбрелась. Катя взяла меня под руку и увела в глубину сада.

— Слушай, дружок мой, — говорила она взволнованно, — ведь это здорово: сначала гореть, гореть, биться, биться; понимаешь, все в свою жизнь вместить, — а потом вдруг маяк плавучий и ни-ко-го, понимаешь.

Я удивился этой ее горячности. Но пока собирался ей ответить, заметил, что из соседней аллеи Семен Алексеевич с Митяйкой вышли. Митяйкой изгибался по-особенному и каким-то не своим голосом твердил:

— Примите во внимание, Семен Алексеевич, что глаза у меня прозрели в одно мгновение, загубил я свою жизнь... Ведь вот бывают же такие женщины, как эта. Ведь вот...

Я сразу догадался, что это речь о Татьяне Александровне идет, и мне отчего-то очень неприятно и как-то оскорбительно стало.

Они прошли, нас не заметив. Но я уже начал чересчур рассеянно слушать Катины слова, и она покорно повернула домой.

Этим и завершились все события первого дня пребывания Фединых гостей у нас.

Прежде чем рассказ мой дальше продолжить, я должен рассказать о Феде то, о чем уже не раз намекал, но что рассказать мне трудно, так как, не пользуясь откровенностью ни одной стороны, я многого в данных взаимоотношениях не понимал.

3

Вместе с моими немногочисленными наблюдениями по этому поводу, решил я в этой главе изложить Катины мысли и замечания, а также философские объяснения многих явлений со стороны отца моего Семена Алексеевича. И уже скомбинировав эти все разнородные элементы, я постараюсь дать правдивую картину Фединых переживаний.

Как я уже упоминал, Федор был очень ленив. А если сопоставить эту лень с большой подвижностью в его революционных делах, то можно было сделать очень правдоподобный вывод, что лень тут ни при чем, а одна усталость очень исключительная такую роль играет.

Семен Алексеевич, сам очень подвижный и всегда занятой и ленивец не любящий человек, — к безделью Федора относился очень снисходительно, — никогда его не попрекал им. И Катя уверяла меня, что несколько раз удавалось ей поймать у Федора такой тоскующий и понуждающий себя взгляд, что стала она думать, — недаром он зря все валяется, — наверное, в это время что-нибудь трудное решает.

Мне же он однажды очень серьезно сказал:

— Заметь, милый мой, что человеку в 38 лет очень трудно быть все время всем недовольным. Отчаянно надоедает все только критиковать и чрезвычайно хочется в какой-нибудь положительной работе участие принять.

А подумав, добавил:

— Все это в мои года так же естественно, как стремление иметь семью, свой угол, где всегда дома, никогда не лишний, где покой, и куда никакие бури этой проклятой моей судьбы не доходят.

Вот, взвесив эти рассуждения, я почувствовал, что Федору, несомненно, на ум пришло себе такое тихое пристанище создавать. И тогда объяснимыми стали частые его пребывания в доме у Пелагеи Михайловны.

Заинтересованный этим всем до чрезвычайности, я поделился моими наблюдениями с Катей, но она промолчала. Тогда я задался целью установить, что из себя являет Марья Сергеевна, у которой Федор все свое свободное время проводит.

Да, уж воистину тишина. Тишина и скромность. Трудовая девушка. Будто больше и добавить нечего. А только с самого основания я в эту тишину и скромность не верю. Мое мнение такое: гордость самая беспредельная; от нее и скромность, — чтобы, Боже сохрани, кто чего не подумал. И так все. Тишина, потому что буря не удалась, — вот и вид такой, что тишине радуется. И трудовая учительница-послушница, потому что опять-таки приказать-повелеть некому. Впрочем, это досужие наблюдения. А я не раз замечал, что если чрезмерно наблюдать и с выводами торопиться, то они потом сами начинают поспешность высказывать и один за одним выплывают уж без всякой связи с наблюдением.

К слову как-то этими своими мыслями я с Семеном Алексеевичем поделился. Он заволновался сразу, всю бороду себе в руку забрал и давай ее тереть. Потом гулять меня повел. На обрыве у реки сели, и стал он мне свои философские выводы по поводу своих наблюдений того же самого предмета излагать.

— Тяга у них взаимная... Это ты прав... Ну, а чем эту тягу объяснить? Тоже ты близок к истине, сынок. Так, на мой взгляд, дело обстоит. Каждому в другом привлекательно то, что самим человеком изничтожению предопределено. Поясню: Федя с бурями своими покончить окончательно хочет; надоело ему опасное мыканье. Причаливает. И вот чудится ему в Марье Сергеевне пристань крепкая. Да если хочешь, так оно и есть: всегда работает, причесана гладко, лицо такое — скромницы-монашки, — что себе цену знает, — в комнате, наверно, порядок и уют, — и книг в меру, и каких-

нибудь украшенъцев, а то и лампадка есть. Вот на эту лампадную часть ее души и тянется Федор. А у нее как раз дело обратное. Буря она, страсть она; на неудачи — оскорбляется; унижением, — гордится. Сама себя в железную рукавицу сжала, пригнула, судьбе подчинила... И уж больше ей этот покой и тишина совсем не посылны. Хочется, чтоб иначе жизнь шла, чтоб борьба, и страх, и страсть, и вихрь в жизни были... А тут Федор, с этим своим буйным прошлым, от которого он еще не вполне отделался... И получается в этих отношениях начало очень сложных жизнеописаний. Ведь друг друга они не обманывают, а вместе с тем друг насчет друга обманываются очень жестоко. Вот.

Я сразу решил, что отец прав. Он же задумался и не обращал на меня никакого внимания, будто не мне он все эти мысли излагал, а сам с собою беседовал.

После этого разговора Федор не раз и на довольно продолжительные сроки уезжал из Медового. Но теперь нам всем ясно было, что он вернется, потому что не Медовое, а Медынь его привлекала.

Теперь же, когда в отцовском доме он вроде главного хозяина оказался, так как гости были все его друзья, — почувствовал он, что надо дело с Марьей Сергеевной немного менять, и что должен он ее в круг своих друзей ввести. Наверное, по гордости и самолюбию ее случилось все это не просто, — вроде посольства пришлось к Марье Сергеевне отряжать. Федя долго все это налаживал, никому ничего не объяснял. Но, видимо, и без объяснения все догадались, в чем дело, и Алексей Алексеевич сказал ему, посмеиваясь:

— Ладно уж, довольно дипломатию разводить. Веди нас, куда знаешь.

В это самое посольство вошли: сам Федя, Катя, Алексей Алексеевич, Татьяна Александровна и я.

Через весь город прошествовали вчетвером по самой жаре и солнцепеку. Федя шел впереди и нас поторапливал.

К Пелагее Михайловне в дом я лично не заходил, чтобы не создавать там чрезмерной толпы. Да и на улице ждать было приятнее, потому что можно было стоять под тенью огромной акации.

Ждать пришлось недолго. Вскоре наша компания вышла из дому вместе с Марьей Сергеевной. Очень мне бросилась в глаза ее наружная разница со всеми нами. Мы все, — от жары ли, от того ли, что летом отдыхать полагается, — мы все имели вид несобранный, расхлистанный, будто застали нас здесь под акацией врасплох. Лица у всех от длинного путешествия по городу, — вспотели и раскраснелись.

А Марья Сергеевна, в черном своем очень длинном и плоском каком-то платье, с поясом, туго стягивающим талию, с белым чистым воротничком и с белыми манжетами, с зонтиком в руках, — а на руках темные перчатки, — бледная сама до неестественности, под глазами тени довольно приметные и в волосах густая прядка седых волос, — она казалась среди нас матросом на вахте, солдатом на часах, мудрой девой, неспящей, но уж, пожалуй, чересчур мучительно и напряженно караулящей час, когда грядет судьба ее.

Она отнеслась без особого любопытства к Федеиным друзьям, будто давно уже знала, что они именно такие должны быть.

На обратном пути мы разбились на пары. Впереди почти бежали Федя и Марья Сергеевна, — мне даже на минуту смешно стало, — успокоит она его, — подумал я.

Дальше шли Катя и Алексей Алексеевич. Им тоже постепенно становилось все безразличнее и безразличнее окружающее, когда они оставались вдвоем. Я это давно начал подмечать.

За ними волей неволей и нам с Татьяной Александровной пришлось в паре идти. Но мы молчали. А я прислушивался к вкрадчивому и будто извиняющемуся голосу Алексея Алексеевича. Он говорил.

— Я ехал из Вены в Париж. И случилась у меня в Инсбруке пересадка. Надо было часов 8 поезда ждать. Я пошел в город... Снег тихо падал... Улица пустынная. Небо темнее земли оснеженной. Дома со вторыми этажами выступающими, в нишах часто Божья Матерь стоит, будто от тихого снега укрылась, — или святые монахи какие-то, в коричневых халатах таких... Я очень долго бродил... Как-то забыл даже, каким образом я в этом городе очутился. И вдруг понял, что город-то мой, что я здесь свой, родной... Вы понимаете это?

Катя слушала очень взволнованно. Она все это, конечно, очень хорошо понимала. Задумчиво отделила она прядь своих волос и начала их грызть, — с самого детства признак напряженной мысли. А Алексей Алексеевич продолжал:

— Тихо падающий снег... Отчего-то он мне всегда мертвых напоминает. Не вообще мертвых, а моих, близких, любимых... Со души праведных скончавшихся... души рабов твоих, Спасе, упокой... Понимаете?

Катя долгим взглядом посмотрела на него, и они повернули к реке. Мы с Татьяной Александровной остались одни на улице. Мне было отчего-то не очень по себе. А она, обычно разговорчивая, тут как назло молчала.

Выручил нас Прокофьев. Из-за угла разлетелся, чуть с ног не сшиб. Новость, видите ли, сообщить должен.

— Не могу, — кричит, — ничего возразить, когда что-нибудь гениально. Пусть подлец — лишь бы гений... Слыхали? Набрал наш полицмейстер добровольных даяний от торговцев различных в пользу войск. Накупил всякой дряни и снаряжает рестораника Алеева подарки от Медынских граждан в полк полицмейстерского сына вести. Алееву сначала ехать не хотелось, — на свой-то счет, — кому лестно? А потом сторговались: он на свой счет подарки везет, а за это ему полицмейстер разрешение дает на вывоз с нашего винного склада трехведерного бочонка коньяку. Поняли, какая гениальная комбинация? За дорогу платит Алеев, но зато на фронте он продает коньяк. Офицеры в полку коньяку будут более рады, чем кисетам и другой всякой дряни. А кто в убытке? — Никто... Ге-ни-аль-но.

И он помчался дальше.

Татьяна Александровна расхохоталась, и мы дошли домой уже без всякой принужденности.

С того дня повелось, что в общей нашей Медовой компании и Марья Сергеевна стала бывать. Целыми днями шла такая обычная в Медовом жизнь. Лишь по вечерам, да и то не каждый день, Федя со своими товарищами о чем-то совещался, но это было вполне конспиративно, и упоминаю я об этом не для того, чтобы свою осведомленность обнаружить, а только чтобы показать, что недаром компания вся жила у нас, не баклуши били, а к каким-то постепенным решениям приближались.

4

Самое, может быть, значительное, что мне пришлось в жизни увидеть, самая мучительная красота, открывшаяся мне, — было зарождение и рост любви у сестры моей Екатерины Семеновны.

На глазах моих утончалась она как-то, особым таким горением загоралась вся, напрягалась, как тетива, и вся была охвачена ожиданием небывалого чуда, которое вот уже у дверей ее жизни.

Катю я знал хорошо, а потому, забыв наблюдать и поучаться, просто любовался ею.

Зато другая сторона, вступив на этот, видимо, неожиданный и неизвестный путь любви, многим моим заключениям давала пищу. Я говорю, конечно, об Алексее Алексеевиче Столбцове.

Но, следуя самому правильному способу в ознакомлении с чужими характерами, я сначала расскажу все, что мне удалось установить во мнениях других людей по отношению к Алексею Алексеевичу.

В этом отношении богатую пищу давала Татьяна Александровна, у которой откровенность носила почти болезненный характер. У нее личных своих тайн, видимо, не было, и никак она не считалась с чужими личными тайнами. В деле, — не тайна, а конспирация. А в личной жизни, — все, мол, должно быть наружу, потому что надо каждому знать, с кем он дело имеет.

Из ее слов, а отчасти и из тех споров, которые иногда имели место между Федей и его товарищами, удалось мне установить, что Алексей Алексеевич, несмотря на все свои бывшие революционные добродетели и заслуги, за последние годы стал в партии почитаться чуть ли не отступником, — якобы очень отклонился вправо от основных положений их партии. А именно: из войны сделал самые крайние выводы, ругал всех за беспочвенное фрондерство и резкостью своих мнений, высказанных даже с большой презрительностью, очень способствовал полному прекращению конспиративной работы, так как его мнения ребром поставили вопрос о том, что раньше-де надо расколоться, а потом можно работать. Время же для работы было глухое, так что во имя его раскол уж очень обидным при теперешних условиях казался. И вся их организация как бы захлороформиривалась.

Я заранее хочу предупредить, что об этих вещах я с полным невежеством рассуждаю, а потому стремлюсь своих рассуждений поменьше вставлять, а больше передавать то, что слышать пришлось от других.

В данном-то случае важно мне установить, что подавляющим большинством своих товарищей Алексей Алексеевич почитался лицом, очень заблудившимся и уклонившимся вправо.

Надо заметить, что и он будто со своей правизной согласился и часто с иронией некоторою говорил: «Я, мол, правый...», или «с правой точки зрения», или еще как-нибудь. А на самом деле выставлял на посторонний взгляд ни правую, ни левую, а какую-то упрямую точку зрения. Впрочем, опять напоминаю, что в этом я большой невежда.

Однако очень в курсе всех этих вопросов была Татьяна Александровна, а и та до известной степени такого же взгляда, как я, держалась.

Мне однажды пришлось от нее такие слова услышать (очень верные, во всех отношениях, на мой взгляд):

— Алексей, — говорит, — поправел? От социализма ушел? Революционером перестал быть? Очень все внешне судить надо, чтоб к таким выводам прийти. Вся его эта военная тактика — грош ей цена, конечно. И главным образом оттого, что в ней ничего длительного нет... А каждого человека надо в корне рассматривать. Вот возьмите, к примеру, на сравнение Федора Семеновича и Алексея Алексеевича. Все скажут — Иконников левее. А я вам говорю, что это чепуха: у Федора Семеновича всяческие левые программы только в голове остались, а на самом деле в душе у него давно произошло оседание внутренних революционных пластов, — ему теперь все это просто скучно, скучно. А у Столбцова дело другое. Его судьба, — не только революционером вечно быть, — а при случае и революционным диктатором. Впрочем — это последнее, если бы не было в нем одной запятой...

Какая запятая, она не пояснила. Не все ее в этом будто поняли.

Вечером я зашел в комнату к Семену Алексеевичу. Там и Катя оказалась. Вид у нее был невнимательный. Неуклюже так в кресле сидела и смотрела на огонь лампы.

У нас же с отцом обычай был, — делиться по вечерам наблюдениями. Он первый и начал о словах Татьяны Александровны.

— Что ты скажешь? Права она?

— Думаю, что насчет обоих права.

Отец задумался, а потом вспомнил наш прежний разговор о Марье Сергеевне:

— Что ж, — выходит, что без этих самых революционных пластов у них толку не будет...

Опять помолчал и дальше уже о Столбцове говорить начал, — уж не знаю, — вообще ли или в большой мере для Кати старался.

— Да, запятая, — это она права... Посмотри-ка внимательно: он у них самый умный, и самый разумный даже. И воли в нем больше, чем в других, — просто даже скажу, редкая воля, — часто, наверное, и злая воля бы-

вает. И может он заставить других себя слушаться, и сам себя подчинить делу может. А с другой стороны, — знаний много, образованнейшая личность. Все, все, все есть. Чем, правда, не кандидат в диктаторы? А тут эта самая запятая. И какая такая запятая, — понять не могу. А как до нее дело дойдет, так всему аминь, конец. Сам себя, наверное, изгрызет, сам себя, как бабочку на булавку пришьит, всю свою силу на подмогу врагам сам на себя обрушит.

Катя слушала теперь внимательно, — изредка лишь ухмылялась, будто она гораздо больше об этом деле знает, чем отец.

А отец, уже уклоняясь от Алексея Алексеевича, к общим рассуждениям перешел. Опять думается мне, что многое говорил он для Кати.

— Еще интересная вещь: знаешь ли ты, что вообще их всех за безбожников принято считать? — Ну, так я утверждаю, что все это нелепость какая-то. Про Татьяну Александровну не знаю и про Канатова не знаю. О Феде нашем не сомневаюсь, что в самое ближайшее время он к Богу вплотную подойдет. Сейчас уже на полпути. А насчет Алексея Алексеича я тебе больше скажу: он просто самый настоящий православный христианин, помяни мое слово. И естественно, — потому, что при таком характере податься некуда. Ведь людей ему только презирать можно, — таков уж; а от себя уйти тоже нужно, потому что это компания невеселая. Друзей у таких не бывает, потому что отталкивает всех. Вот и нужно последнее прибежище.

Не успел отец договорить этой фразы, как Катя очень быстро поднялась и прямо выбежала из комнаты. Лицо у нее было все в красных пятнах, а походка сделалась еще тяжелее, чем обыкновенно.

Я спросил отца, зачем он так.

Он очень серьезно покачал головой, будто сочувствуя чему-то, мне неизвестному, а потом сказал.

— Заметь себе и запомни хорошенько, что Катерина наша, с одной стороны — глупая, слабая и застенчивая женщина. А с другой стороны, Катерина наша — если и не мудрее мудрых, то во всяком случае сильнее сильных. Бывает это у редких женщин, — назвать можно — покровность, — понял. Вот и у нее так. Нужно ей чувствовать сильного и гордого человека ребенком слабым. Он молотом скалы дробит, а она с него от великой жалости пылинки сдувает. И в этом много справедливости. Без таких, как Катя, многим бы собственной силой и собственной гордостью удавиться бы пришлось. А она — двужильная, все вытянет. Пусть глаза на лоб выскочут, — вытянет.

— Знаешь, — добавил он — уже смеясь, — Прокофьев мне про нее как-то говорит: «древнеисторического вида дочь ваша, Семен Алексеевич, — не девушка, а Апшерон настоящий». Это он, видимо, вместо Першерон Апшерон сказал. Ну, и похотел я над этим. И правда все же, именно тиски.

Много раз в дальнейшем приходилось мне убеждаться в истинности слов моего отца.

С Катей нашей случилось что-то значительное, будто вся душа у нее в новые одежды облачилась. Вся какой-то торжественностью и ответственностью прониклась.

И уж тут не могу я не рассказать самое интересное мнение о ней, высказанное самим Алексеем Алексеичем.

— Вот, — говорит он, — если бы на земле остались жить только такие люди, как Екатерина Семеновна, — тогда бы нигде никто ни против кого борьбу бы не вел. Все было бы совершенно спокойно. Ну, а если бы таких людей, как Екатерина Семеновна, никого бы на свете не осталось, — тогда бы тоже и первый бой был бы последним, потому что некому было бы на смену первым азартным борцам выступить, никто бы за них, им на защиту не встал. Начинают борьбу, — фитюльки, мы, а доводят ее до победы, — земляная сила, Катерина Семеновна.

Это излагаю в очень непонятном духе, потому что, по правде сказать, за Катей я никогда никаких склонностей к войнам не замечал. Наоборот, кротости она и смирения редкого. А впрочем, я при всей этой противоречивой непонятности ощущаю, что доля правды в этих словах есть. Если ей на долю придет кого-либо защищать, то уж, наверное, не выдаст, как собака своих щенят не выдает.

А за всеми этими уж чересчур торжественными словами можно сказать, что происходило явление частое и довольно в наших жизнях обычайное. Не знаю, в каком порядке, а полюбили друг друга Катя и Алексей Алексеич. И от всех нас этого уже не скрывали.

Я видел, что Катя очень счастлива, просто не верится, чтоб она такой счастливой могла быть, — вид она такой имела — будто что-то переполнило ее до краев, и она не идет по земле, а шествует, чтобы этого драгоценного переполнения не расплескать. Действительно, «покрывное» что-то было в ней.

А рядом Алексей Алексеич. Конечно, я его мало знаю, и сравнивать его мне трудно с тем, каким он раньше был.

Но все же сдается мне, что в нем эта любовь новая была причиной какого-то настоящего успокоения, будто нашел он лесенку, ту самую, которую ему только и не хватало, чтобы на самую нужную вершинку забраться, будто Катя и любовь ее были ему единственным раньше недостающим мосточком через главную пропасть, — а дальше, — все ясно и хорошо.

Полно уж, — не заменила ли любовь эта ему основной запятой недостающей? Не воздвигла ли она его здание, стоявшее раньше на песке, не воздвигла ли она его на некрушимом фундаменте?

Радостно было нам всем на них смотреть, будто и мы во всем этом деле немало виноваты.

Чтобы эту линию до новых и потрясающих событий всю целиком определить и к ней пока не возвращаться, я должен добавить, что в течение всего лета отношения Кати и Алексея Алексеевича развивались в том же русле. Ни для кого из нас не было неожиданностью, когда мы узнали

осенью, что они собираются повенчаться, и что Катя вместе с ним уезжает из Медового.

Я без всяких сомнений радовался.

Семен же Алексеич хотя огорченным и не был, но очень задумчиво сжимал свою бороду в ладонях и говорил:

— Конечно, может это и хорошо обернуться. Однако не верится. Боюсь я, что Катю большие трудности и непереносимые испытания ждут. Впрочем, она, я думаю, сама это знает и на всяческие испытания идет с большой радостью. А сил у нее хватит, потому что это ей на роду написано, — покровность эта.

5

Должен со всей откровенностью признаться, что, несмотря на всю свою любовь к душевным наблюдениям и несмотря на то, что гости Федора с самого начала вызывали у меня большое любопытство и даже большую любознательность, только к концу лета удалось мне заметить некоторые очень значительные явления. Вернее даже будет сказать, что явления эти я и раньше замечал, но давал им совершенно неправдоподобное объяснение.

Я уже упоминал как-то о болезненной какой-то откровенности, свойственной Татьяне Александровне. Подметив эту черту, я раньше из нее никаких выводов не делал и только к концу лета обратил внимание, что это вовсе не так просто.

Трудно мне вдаваться в более подробные объяснения, потому что это значило бы говорить о многих мне очень мало известных предметах. Но, однако, не рискуя обнаружить чрезмерного невежества, я скажу, что вся Федина компания была как бы на распутье и совершенно ощупью искала настоящего пути. А так как во внешнем мире тогда еще ничего не объявлялось, что могло бы знамен<и>ем послужить, то и стремились они эти знамена внутри собственных жизней найти и как бы все время взрезали свою душу в различных направлениях и распинали себя с большою жестокостью.

Усвоив такое объяснение <по> многим словам и разговорам, я в дальнейшем стал еще внимательнее прислушиваться, и вот что, к примеру, в один и тот же вечер мне удалось отметить:

Собрались все в саду, под вечер, кроме Медовых жителей, и Марья Сергеевна и, конечно, Федя рядом, и Митяйко, — один, без Ксении Степановны, приплелся, — уселся с видом мечтательным и свирепым около копны сена, недалеко от Татьяны Александровны, конечно.

Должен признаться, что незадолго до этого я Татьяну Александровну в историю Митяйкиной женитьбы посвятил. Татьяна Александровна, хоть и много на эту историю смеялась, но осталась, по-видимому, недовольна, — может быть, и мною, что рассказал.

До прихода Митяйки мы сидели молча. Федя усиленно наблюдал, как по соломинкам муравьи ползут, и отлежал себе даже руку.

И среди такой всеобщей лени, — только Семен Алексеевич и Катя с Алексеем Алексеевичем отсутствовали, — вдруг Татьяна Александровна говорит:

— Иван Андреевич, мы тут без вас игру выдумали. Каждый должен, опять-таки откровенно и правдиво, рассказать историю своей первой любви. Теперь ваша очередь.

Митяйко заволновался и заявил, что ему сначала других надо послушать, а то что это он первый, да первый.

Татьяна Александровна только головой тряхнула:

— Хорошо, — говорит, — коли вас робость одолела, так я начну.

И начала...

Эх, сказка о веселой девчонке, недаром она так хорошо запомнилась, потому что тут уж веселая девчонка сама себя бьет и хохочет: «Наплевать, мол».

Рассказ таков был. Была еще Татьяна Александровна девочкой лет 13–14. Только что осиротела она, и поместили ее в дом к богатой тетке в Петербурге. Оттуда и в гимназию ходила. И вот как-то на улице встретила она сестру старшую своей подруги прежних времен — с родины приехали.

Разговорились об общих знакомых. А девица эта встретившаяся на фельдшерских курсах была, и очень у них было принято самые секретные вещи своими именами называть, — принцип какой-то в этом заключался.

И вот в рассказе о различных знакомых девица и говорит:

— Помните, мол, Журавского? Дурной болезнью болен.

Татьяна Александровна мало этого Журавского помнила, — встречалась раза два и только. Знает, что о нем говорили, — хоть умен, а есть в нем что-то, что доверия не внушает. Кроме того, что такое за дурная болезнь, — она совсем себе не представляла.

И вот, несмотря на эти два обстоятельства, так ей жалко стало почти неизвестного Журавского, что она прикидывала всячески и, наконец, решила написать ему письмо.

Так и письмо начала: «Журавский, я на днях узнала, что Вы заболели дурной болезнью...»

Ответа не получила.

Она опять письмо написала. И опять осталась без ответа.

На четвертое, кажется, письмо пришел ответ, — брань самая площадная.

Она опять письмо написала. Тут уже ответ был хоть сухой, но вежливый.

Так постепенно между ними утвердилось самая дружественная переписка. Татьяна Александровна серьезно думала, что вот руководит чужой душой, настоящую дорогу человеку показала.

Длилось это дело года два. Наконец, получает она однажды от него письмо, что едет он в Петербург со специальной целью с ней повидаться и о важных делах переговорить. Условились, где встретиться.

Целый день бродили они по легкому морозцу, в пасмурный денек. Набережную всю вдоль прошли, в какой-то чайной на Песках сидели, и на верхушке конки по Невскому проехали.

И все, значит, говорили...

Если бы кто тогда Татьяну Александровну спросил, — любит ли она этого самого Журавского, — она, наверное, ответила, что любит; а на самом деле, конечно, это не любовь была, а просто радость веры в собственную мощь.

А он, герой-то этот, сначала очень куражился, все из крахмального воротничка свою шею высвобождал. А потом, видимо, внимательнее к Татьяне Александровне присмотрелся, чего по письмам недосмекнул, то уж тут ясно стало, — и понял, и разговор изменил.

— Слушайте, — говорит, — Таня, дело мое к вам такое: благодаря вам я сейчас на ноги встал, новым человеком сознаю себя. Но я горд. А потому не хочу больше чувствовать вашу дружескую руку около себя. Не нужна мне больше ничья помощь.

Татьяна Александровна все это выслушала не менее торжественно, чем оно говорилось, со своей стороны сказала несколько прочувствованных слов, и они расстались навсегда.

А через несколько месяцев Татьяна Александровна опять ту же свою приятельницу фельдшерницу встретила. Та на нее так и накинута:

— Из дому письмо получила. Вас касается... Журавского помните? Так он некоторое время тому назад по всему городу распространил слухи, что вы огромное наследство получили и что он едет в Петербург на вас жениться. А потом действительно исчез. Что вы скажете? Вот нахал-то.

Татьяна Александровна обомлела. Теперь ей, пожалуй, и не понять, на что она тогда так обиделась. А в ту минуту обида эта казалась ей самой глубокой, будто все в ней опачкали и омерзели.

Теперь же, расхаживая мимо нас по скошенной поляне, она только изредка всем в лицо взглядывала по очереди:

— Что, мол, хорошо? Веселая девчонка?

Любопытно, что при последнем ее слове Митяйко сорвался и, не прощаясь, домой помчался. Про себя скажу, что я очень зол был.

Федя продолжал муравьев с соломинки на соломинку перегонять, а Марья Сергеевна, ухитряясь и на скирде сидеть прямо, как аршин проглотив, недовольно как-то и на него и на нас всех поглядывала. Видно, все это ей только словами казалось.

Я же до того зол был, что расхрабрился и говорю:

— Вот, Татьяна Александровна, вы, конечно, много опытнее меня, а на самом деле причины этих событий не уяснили. Вы меня простите, а барства тут много. С жиру-с, с жиру-с все это. Со стороны нашей, мужичьей, — так оно сразу видно.

А на меня за эти слова гроза наскочила, откуда-то и не ждал. Виктор Иванович просто разбегом ко мне подлетел:

— Бросьте, бросьте, Коля, — говорит, — не мне об этом барстве слушать. Вы-то, небось, здесь у Семена Алексеича сызмальства забыли о той, о прежней, о небарской жизни. А я помню...

И опять, как Татьяна Александровна, вызовом, усмешкой, стал говорить о себе:

— Почтенный родитель мой, — говорит, — служил городовым в Нижнем Новгороде; хороший был человек, царство ему небесное, только выпить малость любил...

И все так вот, с глумом, с глумом и над собою, и над нами.

Семеро их детей было, а мать умерла рано. Отец бил. Старшая девчонка отцовскую водку пить приспособилась.

— А младший мой брат, — поверите ли, — если отец прольет, так он языком все вылижет... Ну-с, существовали в таком благополучии до следующего несчастного случая: вел отец арестованного жулика. Идут мимо кабака, а тот и говорит: «Выпить бы». И сговорились, что жулик на скамейке посидит, подождет, а отец зайдет в кабак, водку купит. Вытащил жулик полцены, — в складчину покупали. Ну-с, а пока отец с покупкой возился, жулик и удрал, не дождался его. За это происшествие он был со службы уволен, а по причине пьянства другого места найти не смог и обратился в самые профессиональные бродяги, чем, собственно, нас, детей, мало обидел, — без его отцовского попечения наше воспитание пошло вольнее. Из семерых четверо умерло. А трое, сестра и два брата, до сих пор живы. Сестра у портнихи в Нижнем работает, брат в пекарне служит, а я, как вам известно, нечто вроде журналиста, — впрочем, образование более чем законченное имею, — так-то-с.

И, в конце концов, этими словами больше всего он Татьяну Александровну устыдил. Будто она была виновата, что ему так обидно распоясаться пришлось.

Так и она это поняла. Просто до слез покраснела вся.

Многого не понимая, предчувствовал я, что мы к самой какой-то границе подошли. Даже Федя муравьев своих оставил, на живот перевернулся, руками подбородок поднял и с волнением в Канатова всматриваться начал.

Одна Марья Сергеевна наподобие гордого монумента возвышалась <нрзб.>.

Татьяна Александровна начала очень мягко:

— Слушайте, Виктор Иванович, дорогой мой, не кажется ли вам, что уже довольно этого всего? Кого мы еще обучать хотим? Все всем ясно.

А убедясь, что такие спокойные слова еще больше всех смущают, она, будто с вызовом, воскликнула:

— Ну, что ж? Правды хотите? Не боитесь самой настоящей правды?.. Хорошо же... Виктор Иванович, вы просто очень маленький и очень средненький человек. И точка... А потом, понимаете, другая фраза начинается.

Вашей силы, — нету, вашего разума, — нету, вашей воли, — нету. Но стоит другой воле, и другому разуму, и другой силе до вас коснуться, как каждое движение малейшее вы усилите в сотни раз. Вы — рычаг, огромной мощности. Если никто его не трогает, он бессилён, но стоит надавить его плечо одним пальцем, как рычаг этот каменные глыбы, как песчинку, в воздух подымет... Разве можно сказать, как вы кончите? Про всех можно, только не про вас. Я у вас ничему не удивлюсь, потому что все зависит от того, кто эту вашу сумасшедшую интуицию оседлает, чей голос вами, как великим рупором, воспользоваться сумеет, — точкой приложения чьей силы будете вы. Вот и правда вся целиком.

А потом, очень неожиданно и в великой злобе, сама себя прервала Татьяна Александровна.

— Марья Сергеевна, отчего это вам кажется особенно интересным?

Марья Сергеевна, действительно, слушала с повышенным вниманием, и даже как будто рвануться ей все время хотелось вперед.

Но тут, после этого неожиданного вопроса, будто ее разоблачающего в чем-то, она очень спокойно и насмешливо сказала:

— Понятно. С самого детства интересуюсь хиромантией, гаданием по почерку и прочей чертовщиной.

Тут уж меня не только злоба взяла, а какое-то отчаяние, и я просто решил уйти. За мною, что-то насвистывая, и Виктор Иванович побрел к дому.

6

Тут, может быть, следовало бы и точку поставить, потому что больше за все лето никаких уследимых невооруженным глазом событий не произошло.

Однако, помимо уследимых событий, бывает нечто, столь же существенно воплощенное, но как бы не поддающееся спокойному наблюдению. Мыслей моих в этой области доказывать не берусь, потому что нет ни одного слова и ни одного взгляда ни с чьей стороны, которые их бы подтверждали.

Однако все то, что имело место через какие-нибудь полгода, настолько подтверждало правильность моих наблюдений, что я смело решаюсь излагать их в виде непреложных фактов.

Опишу подробно всю обстановку, какая она была к концу этого лета перед всеобщим разъездом.

Совершенно из общего действия можно исключить Алексея Алексеича и Катю, которым вообще до всего этого мало было дела. Со стороны смотреть — можно было заметить, как чередуются у них бури и ясные дни, как по <нрзб> терзают они друг друга, а потом с восторгом неким к каким-то разрешениям приходят и так чувствуют себя блаженно. Думаю, что большего самоуглубления и самоиспытания нельзя себе представить, чем это у них было. Тут уж не только последняя правдивость в душевных переживаниях наблюдалась, а и более того, — будто нарочно несуществующее и

самое трудное выдумывали и разбирали, — а если, мол, так случилось бы, тогда бы, мол, оба мы что подумали бы? И опять мука и бичевание себя, а потом выход самый светлый и радостный из этой загадки... Все же несомненно, что любовь их всегда им выходы светлые и радостные уготовляла.

Отец и я, — хоть и не в такой мере, как они, но тоже до известной степени в стороне стояли. Или вернее — действующими лицами мы не были. Но все происходящее действие наблюдали с самым повышенным, даже мучительным вниманием. Я не знаю, что мы хотели. О себе скажу, что в то время по отношению ко всем действующим лицам у меня были равносильные чувства, заполнившие меня всего, — это злоба и жалость.

Чтобы окончательно отделить все побочное от главного, упомяну еще о Митяйке, который мрачно и усиленно стремился сделать Татьяне Александровне понятной свою любовь. Мне это было противно. Остальным могло бы быть смешно, если бы вообще в то время хоть что-нибудь могло смешным казаться.

Завидев издали в саду его долговязую фигуру, Татьяна Александровна пряталась, а он, не застав ее с нами, часами разыскивал по парку, карабкался по обрыву и под конец возвращался опять к нам, усталый, отчаявшийся и злой. Никто не надсмехался над ним после этих нелепых розысков, но все старались, чтобы он скорее ушел, будто посторонние мешали окончательной разборке наших событий. А как только мы одни оставались, так наступало упорное молчание, и все равно узел наш ни развязывался, ни разрубался.

В чем же дело? Деликатные все это вещи и имеют не только свой реальный смысл, а иное значение. Впрочем, попытаюсь объяснить в пределах своего разумения.

Татьяна Александровна, собственно, тоже в основной игре ни при чем. Не знаю точно, какие чувства руководили ею, — по виду, или вернее по тому, как она нам разрешала понимать эти чувства, — основное было, — товарищеское участие, нелюбовь к лживым и двусмысленным положениям и стремление вернуть все события на прямую и ясную дорогу.

Думаю, что это так. Но помимо этого было еще что-то, — не знаю, что именно.

Таким образом, исключив всех второстепенных, по крайней мере, посторонних лиц, я могу теперь говорить о главных персонах, принимающих в событиях непосредственное участие. Это были: Марья Сергеевна, Федя и Виктор Иванович.

С того самого памятного разговора у копны, когда Татьяна Александровна и Виктор Иванович в каком-то странном воодушевлении слишком много и болезненно разоблачили себя, начались какие-то новые линии взаимоотношений.

Опять-таки, так как фактов нету, то я буду только ссылаться на глубокое убеждение мое в истинности этого положения... Убеждение это со мною разделял и Семен Алексеевич.

Дело в том, что, соприкоснувшись со всей Фединой компанией, Марья Сергеевна как бы постепенно начала ощущать, что основная бурная река идет где-то хоть и близко, но не совсем уж рядом. Федор же сам лежит как бы на отмели, и вряд ли можно будет надеяться, что волны его опять подхватят.

Видимо, для нее было совершенной мукой ощущать, что вот где-то что-то трещит и ломается, а Федор смотрит, как муравей с соломинки на соломинку переползает.

Странная она была женщина. Запал так силен в ней был. Лишь бы дотронуться до вещества, взрывам подверженного, — и взрыв будет. Ну, а Федор никак не мог почитаться таким существом.

Думаю я, что, обнаружив все это, Марья Сергеевна, наверное, предалась большому отчаянию и сожалению. Впрочем, никому этого по скрытности не показала и, видимо, решила, что дела уже не поправишь.

Несомненно, при всем ее азарте бешеном очень хранились у нее в тайне всяческие долговые обязательства и была она очень, как люди говорят, — порядочный человек, — никого обманывать не хотела и надеялась сама себя скрутить и на настоящее место поставить.

В это я верю.

Но постепенно она начала сдавать. Непосильным оказалось себя вновь искалечить и изломать. Основное, что она в жизни любила, — это простор и власть. И вот вся прошлая жизнь в этом отношении одной сплошной неудачей была — с Фединым вторжением надежда появилась, — единственный раз. Тут или выход, или возврат к старой потяготе с сахарными кулками Пелагеи Михайловны.

И выход этот, — увидела она, — оказался вполне обманным.

Ну, что ж? Казалось бы, отчаяние и смирение.

А тут, как для того, чтобы дразнить и соблазнять другими выходами, простором и властью, — эти загадочные слова Татьяны Александровны о точке приложения сил, о рупоре, который заставит громом прозвучать любой голос.

Бессознательно начала Марья Сергеевна свои силы тут пробовать; можно сказать, — шепотом начала твердить слова, которые рупор должен был сделать громоподобными. (Это, между прочим, уж не только рассуждения, а и наблюдения.)

И действительно почувствовала она, — может быть, не умом еще, а так, ощущением одним, — что права Татьяна Александровна, что во многих отношениях Виктор Иванович словно воск в руках тает, что вбирает он в себя все, — чужие мысли, и чужую волю, и чужой разум, — души чужие вбирает он в себя, и претворяет их в себя, и заставляет их по-новому жить и переливаться.

А почувствовав это, не могла уже Марья Сергеевна остановиться. Голова закружилась, дыхание сперло. Представила она себе, как умно, и умело, и властно заиграет она на этом волшебном инструменте, как умножит

она себя им, как расцветит им разум свой, раздует волю свою, добьется всего, — простора и власти.

Не берусь я утверждать, что до такой степени сознательности доходила она в мыслях своих, но что основу ее мыслей я передаю правильно, в этом нет сомнения.

А подтверждением такому выводу могут быть два явления: первое, — это неу<нрзб.>ая и звериная тоска Федора. Прирос он к дивану своему, болтает босою ногой и говорит, как трещина на потолке на колдуна похожа. Однако тоска эта, — с покорностью известной и со стремлением уж лучше ничего не понимать.

А второе, еще более показательное, — это Татьяна Александровна.

С полной точностью могу сообщить, что однажды вечером взяла она Виктора Ивановича под руку, вышла с ним в сад к обрыву и довольно ясно предложила ему в ближайшие сроки покинуть Медовое.

На его удивленный вопрос, что это, мол, значит, она спокойно объяснила, что его пребывание, во-первых, нарушает Федино благополучие, а во-вторых, нисколько не способствует его собственному гордому самосознанию, так как Марья Сергеевна многой силы, — правда, в пустяках, — но все же добилась над ним.

Он был искренне этому обороту удивлен. Подумал недолго и обещал при первом случае уехать.

Случай же этот представился в таком виде. Объявил нам Алексей Алексеевич, что они с Катей венчаться в ближайшее время собираются, а потом и уезжать, что дела его всяческие ждут.

Мы удивлены не были, так как всего этого давно ожидали.

Перед самым венцом с Катей я долго беседовал, и вот тогда же и поручила она мне вести записи и жизнеописания, будто предчувствовала, что всему этому возврата не может быть.

Венчались они рано утром, в большом нашем синекупольном и золотозвездном соборе. И все было обставлено почти как секретное дело.

И у них и у нас всех это венчание вызвало чувство большой торжественности. У меня же кроме того еще сильнее определилось чувство жалости. Впрочем, за последнее время все во мне покрывалось и определялось этим чувством, так что я могу даже сказать, что жалость во мне приняла размеры серьезной и острой болезни.

С этим же чувством, ночью провожал я молодых на вокзале. С ними вместе уехал и Виктор Иванович.

В Медовом, будто после бури, все стало спокойнее и тише.

В конце сентября появились первые отцовские кривульки: рыболов один, очень безобидный человек, — просто мы даже забывали, что он существует, — и еще чахоточный и желчный скрипач Прокопенко. Он все искал себе правильного аккомпанемента; говорил, что его убивает немзыкальность большинства людей, и при этом харкал кровью. Потом притянулся и Максим Прокофьевич, по-старому выкидывал во все стороны руки и ноги, как будто их за веревочки дергают, и всячески дразнил

Татьяну Александровну тем, что для нее революция острый сырок после жирного обеда.

Уже после Рождества состоялась у нас и вторая свадьба — Федора и Марьи Сергеевны. Тут у меня не было жалости, а скорее досада какая-то. Хотя надо сказать, что в течение осени все будто наладилось и изменилось на хорошее. Даже Семен Алексеич однажды сказал мне:

— Знаешь, кажется, это мы на нее напрасно все. Еще толк будет.

Может быть, конечно, потому что отрицать нельзя у Марьи Сергеевны большой воли и против своих взбалмошностей, — сумеет и себя она в руках держать, если захочет.

После свадьбы и они уехали, — и с венчанием даже поспешили, потому что Федора по каким-то делам вызывали.

А Татьяна Александровна осталась у нас.

Стала она совсем своей в Медовом и от Митяйкиной любви перестала бегать, а лучше сделала: в ответ на эти его приставания — в дружбу с Ксений Степановной вступила и тем его совсем обезоружила.

Жили мы тихо и январь и февраль. А тут уж пошло такое, что и Медовое все вверх дном перевернулось.

Во всяком случае, с первой вестью о начавшейся революции Татьяна Александровна от нас тоже уехала.

7

Если описание событий, имевших место на родной почве, порою казалось мне непосильно трудным, то легко себе представить, с каким чувством приступаю я к описанию событий, по величине своей затмевающих все, что знала история, и по неожиданности своей, — чрезвычайно далеких от моих восприятий жизненной истины.

И вот, дабы не грешить невежеством и чрезмерной смелостью, я буду стремиться оставлять все события внешние в стороне, предполагая, что всякому они известны по более авторитетному источнику. Моей целью по-прежнему остается правильное жизнеописание характеров. А так как я по многим линиям подхожу уже к развязке, то и решаюсь самое <истори?>чески трудноописуемое время сделать фоном, на котором мое повествование протекает.

Надо сказать, что Федор и два его товарища, о которых я уже повествовал, довольно быстро заняли в нашем всем обширнейшем и богатейшем районе совершенно исключительную роль. Я не буду подробнее говорить о том, какие они должности занимали, потому что это уж и не столь важно, — скажу только, что их имена стали известны всей решительно России и часто их деятельность приводилась в пример, как образец для подражания центральным представителям власти.

Не вдаваясь в подробности и никому ничего не стремясь доказать, я все же должен упомянуть об одном чрезвычайно курьезном факте. Зять

наш Алексей Алексеевич Столбцов заведовал всеми военными силами у нас в округе и при великом наличии всяческих генералов и полковников, свойственном военному времени, он, — чрезмерно штатский человек — был с головой погружен в какие-то комплектования, дисциплинарные проекты, борьбу с дезертирством, ускорение юнкерских выпусков и т.д.

Федор был очень занят, работал горячо и добросовестно, но, видимо, без всякого честолюбия, а потому оставался в тени. Его имя хотя и упоминалось, но более в наших провинциальных газетах, а столицам был он мало известен. Действовал он скорее по чувству долга и по старой привязанности к революционным начинаниям, чем по личному увлечению и азарту.

Но кто сразу превысил все расчеты и просто буйно в гору пошел, так это Виктор Иванович.

На этих вот трех беспристрастных определениях положения вещей я пока и остановлюсь. К этому лишь добавлю, что первые месяцы революции знал я все это по газетам и отчасти по Катиным письмам. И только в конце лета получил я от нее письмо, где она просила меня навестить ее, так как Алексей Алексеевич уехал, а ей очень тоскливо.

Я собрался к ней быстро. Отец меня поторавливал.

Катя меня очень удивила всеми теми внешними переменами в своей наружности, которые произошли за это время. На лице у нее были заметны какие-то желтоватые пятна, а под глазами основательные мешки. Руки стали не по ней тонкими и даже прозрачными. А походка еще тяжелее, чем раньше было. Посмотрев на нее, я почувствовал, что у меня сердце перевернулось.

А она, как и раньше всегда, угадала сразу мои мысли, поцеловала меня в лоб и сказала с ласковой усмешечкой:

— Глупый мой мальчик, я ребенка жду. Вот в чем дело.

И опять улыбнулась ласково и гордо.

Я немного смутился от этого ее признания, сам не знаю почему. А потом почувствовал, что сейчас вот люблю и жалею ее как никогда.

Но однако все эти личные мои чувства не относятся к делу.

Рассказав ей наши Медовые новости, я стал ее расспрашивать о их городских делах и надеждах, а главное, — о действующих лицах. Марья Сергеевна меня очень интересовала.

То, что Катя мне рассказала, хотя и имело довольно резкую форму, однако в существе дела неожиданностью не поражало.

Когда вся эта революция у них произошла, — объявилось одно главное действующее лицо всех событий, — толпа. Будь это толпа на улице, или толпа на званом митинге, или даже в Думе, — толпа гласных, или толпа Совета. Важно, что всяческая толпа стала главным действующим лицом. А помимо этого важно, что, желая действовать, она сама действовать хорошо не могла, ни воли, ни разума воплощенных у нее не было. От имени ее кто-то должен был говорить и работать, а она только покрикивать: «правильно».

Пишу это все и чувствую, что мне опять пора и за себя и за Катю извиниться, что наши ненаучные мнения я так свободно излагаю. Однако без них ничего объяснить во многих событиях не сумел бы.

Итак, сначала толпа выдвинула одного кузнеца-молотобойца. Одобряли долго и решительно каждое его слово, а он больше кулаками потрясал и глазами вертел довольно страшно. Потом уж выяснилось, что он очень дураком оказался, хотя с мыслями совсем правильными для большинства. Пришлось его скинуть. Тут Федор подвернулся. (Марья Сергеевна очень волновалась в те дни и уговаривала его взять на себя ответственность.) Ну, хоть он говорил все и умно, и подходяще, и правильно дело размечал, однако разных степеней азарты были у толпы и у него. Он все с прохладностью, а толпа от азарта стонет... Скинули.

Много было народу перепробовано. И до Алексея Алексеевича очередь дошла. Но ему удалось только два часа на высоком посту продержаться.

— Потому что рука у него тяжелая, — смеясь, объясняла Катя, — стал он шепотком своим извиняющимся говорить толпе. И через слово все: «должны» да «должны». А они никак никто и ничего сейчас не должны. Ну, и загудели — «долой! — долой!». Потом один подошел и говорит Алексею: «Вот что, товарищ, коли у нас пост начнется, мы вас пригласим обедню служить; а пока что, — у нас масленица. Великопостный трезвон совсем некстати».

Катя очень этому смеялась и говорила, что так оно и есть: занят сейчас Алексей Алексеевич подготовкой обороны, если масленица паче чаяния постом обернется.

Ну, а насчет этого самого вождя народного множества, пока еще ничего не выяснилось. Вчера Виктор Иванович приехал из центра, какой-то план у него новый будто есть.

Сегодня будут разговоры у Феде. Она звана к нему, и меня просит пойти.

Пошли мы с ней вечером. Опоздали немного. Комната была уже народом полна. Дым папиросный такими газовыми шарфами по комнате носился.

Марья Сергеевна встретила нас настороженно-сдержанно как-то, будто не тем ее мысли были заняты. Зато Федя просто тронул меня своею радостью по поводу моего приезда и сердечными расспросами об отце и обо всем нашем Медовом. Будто сейчас ему Медовое было гораздо ближе и важнее, чем проекты какой-то там резолюции, о чем шумно толковали и спорили в кабинете. Мы с ним уселись у дивана и вполголоса стали разговаривать.

Видимо, кого-то ждали. Особенно Марья Сергеевна. Катя сразу исчезла в других комнатах. Люди околачивались от разговора к разговору и тоже сознательно не поминали главного.

Наконец, вошли в комнату еще человек пять. Среди них Виктор Иванович.

Вот кто изменился. И не знаю я, в чем была главная перемена, а почувствовал я, что этот человек уже сам собою никак не владеет, что ветром несет его и сам он не знает, как этот полет кончится. Сила в нем большая ощущалась всеми, а вместе с тем, я-то, например, да и многие другие знали точно, что силы этой нет. Все это я быстро очень обдумал, определил и стал слушать и смотреть.

И тут пришлось мне увидеть и услышать самое удивительное. Может быть, кроме меня это было понятно только Кате. Федор мог слабо об этом догадываться и мучиться. А я видел воочию и удивлялся.

Я увидел бой. Бой скрытный и неявный, бой бессознательный и все же жестокий, между Марьей Сергеевной и какими-то мне неизвестными людьми, много курящими, говорящими вперебой друг с другом и плохо знающими, чего они хотят.

Описать этих всех я вряд ли сумею. Но вот ощущение, какое осталось.

Марья Сергеевна, недавно еще такая тихая и скромная, закинув назад голову, слегка прищурив строгие глаза свои, — никому, — так, — в пространство — бросает: «Вы должны».

А потом <с> подлинным азартом и страстью начинает бичевать всех, — никто, мол, ничего не может, стихия оказалась сильнее всех, все плетутся в хвосте у событий. Революция не так идет, как ей идти нужно было бы, а это потому, что люди вокруг ленивые, безразличные, безвольные, не мудрые... и опять: «Вы должны».

Я сразу, по прежнему опыту, почувствовал, кому она бросает вызов. Посмотрел на Виктора Ивановича и понял, что он тоже все это чутьем своим уразумел, что уже начались в нем эдакие внутренние вихри взвихриваться. Вот, думаю, не дано нашей Марье Сергеевне быть Жанной Д'Арк от Русской революции, так она вот в другого человека перевоплотится и заставит его по правилам Великого Петра над самой бездной Россию вздернуть на дыбы... Подумал я так и жду, когда начнет могучий рупор Виктора Ивановича облекать воспринятые слова в гром. Татьяну Александровну и ее пророчества вспомнил.

Но тут выступила другая сторона. Эти вот неизвестные, что говорили все сразу, оказывается, все это была советская публика, пришла обсудить совместно положение.

И вот, после отточенных и горячих слов Марьи Сергеевны начали они эдак мэкать и бэкать. Но мне лично за этим мэканием и бэканием устой какой-то крепкий почувствовался, а слова Марьи Сергеевны жидковатыми показались, — так, — женская истерика одна. Эти же вперебивку, вперебивку, а все в одну точку жарили.

Замечу, что в местном совете мало было настоящих натасканных мудрецов, потому что мешчане многие от крестьян мало чем разнились, да и рабочие — грузчики речные — народ все был темный и непросвещенный.

— Нам, — говорят, — эта самая стихия, — оно самое и есть. Нам все хорошо. Только нужно, где следует, точки поставить, а где другие междометия по положению.

И хоть и упоминали они изредка всякие мудреные слова, а на самом деле все же весь смысл их речей был именно в этих междометиях к стихии.

Все курили и молчали, изредка с места на место переходили.

Федор устало закрыл даже глаза.

А Марья Сергеевна, уж и припомнить не могу сейчас точно, на каких основаниях, но в одиночку горячий спор вела с четырьмя представителями этого самого совета. Все они друг у друга оспаривали. И стал я замечать, что постепенно в ее голосе звенящем такая больная и надтреснутая нотка зазвучала.

С час, если не больше, этот спор длился. Наконец, Виктор Иванович прервал его:

— Хорошо, — говорит, — товарищи, вы говорите, что сейчас у вас это самое собрание комиссии. Так идемте же.

Будто Марья Сергеевна и не говорила ничего, будто ее и в комнате не было.

Встал Виктор Иванович, а за ним и спорщики эти советские, долго прощались, пересмеивались с кем-то о том, что вот пленника себе ведут Виктора Ивановича.

Марья Сергеевна молча смотрела на них. Потом и в переднюю вышла их проводить.

А после их ухода будто еще сильнее задымили сизые папиросы, и разговор пошел на непонятные темы о партийной тактике, о резолюции последнего съезда, о расколах, разногласиях, ответственностях, оборончестве, пораженчестве, поддержке власти и т.д.

Забегая вперед, скажу, что мне пришлось присутствовать в этот вечер при начале бурной и громкой карьеры Виктора Ивановича. До сих пор он как-то сознательно в тени был, будто связи прочной не мог установить с источником революционной силы и энергии. А тут на него как налетело что. Этой ночью он стал в совете всем, он воплотил в себе весь совет. Он и был именно тем, кого толпа революционная ждала в свои волеизъявители. И воистину, он вобрал в себя всю волю и всю мощь этой толпы, все ее чаяния оформил в себе и потом именем ее, а может быть и голосом ее, заявил: «Да будет». Толпою одержимым стал Виктор Иванович. А толпа эта стала лишь неисчерпаемым источником его силы. Сбылись слова Татьяны Александровны в полной точности.

Но это я коснулся того, что было в дальнейшем.

Тут же на наших глазах происходило мучительнейшее событие. Эта самая мэкающая и бэкающая толпа оказалась счастливой соперницей Марьи Сергеевны.

Признаюсь, что тогда у меня было мгновенное чувство злорадства. Получила, мол, не суйся, куда не спрашивают. А потом, подумав серьезно, я понял, что достойна Марья Сергеевна великой жалости. Она была, как поток многоводный. И вот хотелось ей завертеть своими водами могучими колеса и жернова, заставить стучать, двигаться и работать огромные машины, хотелось ей — сотворить и, — из своей силы пропустив ее через

какое-то оформляющее и воплощающее начало, — сотворить нечто сущее, чтоб не оставаться вечно мутными, буйными и бесполезными волнами потока. И это ей не удавалось. А таким образом выходило, что вообще ей и вся жизнь не удалась окончательно.

В тот же памятный вечер, почувствовав решительное поражение, она собралась как-то вся в комок один и замолкла.

Думаю, что не ошибусь, если скажу, что замолкла она надолго.

В тот приезд у Кати я прогостил довольно долго. Алексей Алексеевич еще застал меня, вернувшись из своего путешествия.

Наконец, получили мы письмо от отца, где он просил меня поспешить возвращением.

8

Сжав зубы и напрягая всю свою волю к выдержке, приступаю к этой самой страшной части моих жизнеописаний. Хоть и прошло значительное время после этих событий, однако вспоминать о них до сих пор нету у меня сил.

Итак, осень прошла у нас в Медовом очень глухо и спокойно. Только слухи о великих новшествах и переворотах в центре тревожили нас, а в глубинах российской глуши слухи эти продолжали оставаться слухами.

Единственное, что можно было считать признаком сильно устрашающим, — это быстрое уклонение главы нашей городской Медынской власти Ивана Андреевича Митяйко, — в сторону неясного сочувствия новым переворотам.

После Рождества я получил от Кати опять приглашение приехать к ней погостить, писала она, что время в городе очень тревожное, что со дня на день всяческих событий и выступлений ждут, а потому Алексей Алексеевич занят выше всякого предела организацией защиты, и она его почти не видит.

Я поехал. Одну станцию до города не доезжая, поезд наш товарный остановился; дальнейшее движение было отменено. Пришлось пробираться пешим способом и в самый город удалось мне попасть только глубокой ночью. Несмотря на полную темноту в окнах и потушенность уличных фонарей, — было довольно светло, потому что с севера полыхал отсвет какого-то большого пожара и освещал низкие облака, несущиеся очень быстро.

Дул сильный ветер. Срывались капли дождя. На улицах прохожие не встречались. Только вдали где-то раздавалась ружейная стрельба и отчетливое стрекотание пулемета.

Я пересек весь город, прежде чем пробрался к Катиной квартире. На мои длительные звонки никто мне не ответил. Я сел на лестнице у подъезда и задремал от усталости.

Когда я очнулся, начинало светать. Холод совершенно оковал меня. Воздух был еще меловым, розоватые облака реяли на востоке.

А передо мной, завернутая в какие-то серые платки, в огромных валенках, стояла Татьяна Александровна.

Я ей как родной обрадовался. Она обещала проводить меня к Кате, — та, мол, в каком-то комитете, — в комитете по обороне, — там все отсиживаются.

По дороге мы говорили мало. Видно, что Татьяне Александровне было так же холодно, как и мне. А кроме того, ей уж все было настолько ясно, что говорить, наверное, от этого не хотела.

Какими-то переулочками и кружащим путем мы пробирались долго. Мне все казалось, что главное стремление Татьяны Александровны, — это на выстрелы идти. Так оно, наверное, и было, потому что шли мы в центр обороны.

Потом пришлось в заборную дырку в один огромный сад пролезть, из него уже через забор, в другой сад, а тут в нем и дом этот самый, обороны, — оказалось юнкерское училище.

Мы шли по каким-то пустым сводчатым коридорам, подымались по лестницам; Татьяна Александровна шепотом переговаривалась со встречаемыми: двумя юнкерами, очень спешащими куда-то с винтовками, с господином в золотых очках с козьей бородкой, потом еще с кем-то.

Пройдя множество коридоров и лестниц, мы оказались в темном проходе, битком набитом людьми. Вроде это приемной было. Все толпились у двери, у которой стоял навтыяжку юнкер, выпуская из нее просителей и отрывисто выкрикивая:

— Следующий.

У другой двери Татьяна Александровна велела мне подождать, а сама исчезла.

Через пять минут она вернулась, бледная и взволнованная, и сказала мне, что скоро всему конец, что Алексей с Катей вышли во двор, а может быть, и на улицу, и что ей необходимо здесь остаться.

Я кинулся, как она мне указала, во двор. Тут юнкера, гимназисты, небольшая кучка штатских, — все с винтовками, строились и выходили в ворота. Я обогнал их бегом и кинулся на выстрелы по главной улице налево.

Вскоре на углу двух улиц я увидел лежащего на снегу убитого юнкера; он смотрел прямо в небо. И мне стало непонятно, как же это сюда мою Катю пустили.

Потом я мало что помню. Помню, как молния врезалось в мозг: у стены какой-то очень высокой и белой, в большой круглой шляпе и непонятно аккуратно одетый идет Алексей Алексеич, — лицо у него не белое, а молочное какое-то, как лунатик идет, за стену своими большими руками цепляется.

Я кинулся к нему и схватил его за руку.

Он будто и пристально взглянул мне в глаза, своими острыми глазами-гвоздиками, но не узнал и сказал очень спокойным шепотом:

— Это хорошо, дорогой товарищ, исполним свой долг.

И так же по-кошачьи, цепляясь огромными руками за совершенно гладкую стену, стал пробираться дальше.

Тут я увидел за ним мою Катю. Лицо у нее было прозрачное и щеки ввалились; волосы давно не чесаны. Было на ней мужское пальто какое-то, и я сразу отчего-то заметил, что на пальто этом только две пуговицы, да и то одна висит на нитке, а другая только застежкой и служит, охватывая тесно огромный Катин живот. А живот такой огромный, что юбка Катина сзади хвостом по снегу бьется, а спереди животом высоко приподнята.

И идет моя Катя, будто ничего в этом удивительного нет, будто вот именно так она и должна вдоль белой стены, среди смерти, беременная, за своим мужем брести.

Все это в одно мгновение через душу мою искрою пылающей прошло. Я кинулся к ней, стал целовать ее руки и плакать.

Она ласково гладила меня по голове. Потом, поначалу, взяла под руку, и я почувствовал, что, опираясь на меня, ей гораздо легче идти.

Но через минуту она как бы опомнилась и строго велела мне возвращаться назад.

Тут из-за угла начал отступать небольшой отряд гимназистов, и совсем близко застрекотал пулемет.

Около нас упал мальчик один, — совсем мальчик. Я нагнулся к нему. Тут кто-то стал бежать: меня толкнули. Закружилось все как-то. Не знаю, по правде сказать, что в это время происходило.

Только когда удалось мне подняться со снега и пробиться среди бегущих навстречу мальчишек, увидел я на другой стороне улицы, вдоль серого дощатого забора, вкрадчиво, по-кошачьи перебирающего большими руками и медленно передвигающегося Алексея Алексеича, а за ним прямую, тяжелую Катю. В чужом пальто, в юбке спереди вздернутой.

Я хотел кинуться к ним.

Но тут на меня налетел верховой какой-то и закричал:

— Назад, назад!

Я хотел обежать его с другой стороны.

Опять где-то совсем надо мною раздалась стрельба. На меня надвинулась конская морда, потом я споткнулся о бревно какое-то и упал, стукнувшись со всего размаху о тротуарную тумбу.

Лежал я недолго. Минуты три, наверное.

А когда поднялся, никого живого вокруг не было. Солнце до боли блесло на снегу. Рядом со мной валялась чья-то шапка, а немного подальше, у самых домов, подряд три мертвых человека, будто аккуратно уселись.

Я перешел через улицу, к серому дощатому забору.

Издали увидел, что там, поддержанные снежным сугробом, лежат двое.

Это были Алексей Алексеевич и Катя.

Я нагнулся над ними. Раны Алексея Алексеевича не было видно. Он широко разбросал свои большие руки по снегу и смотрел мертвыми глазами очень пронзительно и сосредоточенно.

А сестра моя закрыла лицо руками, и между пальцев застыли струйки крови. И снег под нею налился розовым, от пропитавшей его крови.

Я нагнулся над нею и отвел руки от лица. Глаза закрыты. Лицо такое же прозрачное, как три часа тому назад.

Потом этот ушиб об тумбу дал себя знать. Я перестал помнить все, что видел в ту минуту вокруг.

И только через некоторое время услышал, будто издалека, издалека, настойчивый шепот, вдруг перешедший в крик:

— Коля, Коля, Коля, Коля.

Я открыл глаза. Это Татьяна Александровна кричала над самым моим ухом и тянула меня за руку.

Я пошел за ней.

Опять какие-то переулочки, потом мост большой и яркое солнце на оснеженной реке, потом извозничий двор пустой, с сильным навозным духом, потом еще подворотня и, наконец, комната какая-то.

Как из тумана выплыло откуда-то измученное лицо Федора. Он молча положил мне руки на плечи, потом неожиданно громко всхлипнул и отошел. Потом я разглядел у окошка почерневшую какую-то Марию Сергеевну. Она была совершенно неподвижна.

Потом какой-то юркий и маленький человечек раздавал всем по большому куску вонючей колбасы без хлеба. Потом замелькали и засуетились вокруг какие-то люди; офицер один, полковник, наверное, все поправлял на носу пенсне и щурился близорукими глазами.

А в углу, со стариком мужиковатым таким, разговаривал повышенно громко и бодро Виктор Иванович. Я заметил, как изредка прыгает у него правая бровь, и это прыганье молнией такой по лицу и до уголка губы доходит.

Я сидел на пуховой кровати какой-то и смотрел. Мне дали чаю, горячего очень, в стакане без блюдечка, — я никак не мог приспособиться держать его, пальцы жег, — а потому торопился выпить, чтобы освободиться.

Под вечер Федя сказал мне, что я должен ехать с Татьяной Александровной в Медовое. Тогда я не понял, что это он так сказал, чтобы меня хоть чем-нибудь утешить, будто я должен ехать спасать ее в Медовом. А на самом деле просто она по доброте своей решила доставить меня к отцу, помочь нам с ним пережить эти страшные дни.

Сначала переулочками опять до проходного двора, потом через него на большую улицу, а там неожиданно нас грузовой автомобиль поджидал. На нем доехали за две станции от города и только там сели на товарный какой-то поезд.

Дома с большим трудом и напряжением воли мы с Татьяной Александровной все рассказали отцу. Он во время рассказа бороду свою неистово тербил и о каждой подробности переспрашивал несколько раз.

А потом ушел в свою комнату и заперся.

Я тоже не знал, где себе место найти. Ясно чувствовал, что теперь все уж кончилось. И странно в моих мыслях тогдашних, чрезмерно затуманенных горем, как-то начали сливаться два образа воедино: образ убитой моей сестры, такой исхудавшей и отяжелевшей, несшей ребенка, — и образ родины моей, тоже, мне казалось, — замученной, поруганной, убитой.

И так все это переплеталось, что, наверное, не удалось бы моему слабому разуму из этих теней выбраться, если бы на помощь не пришли внешние события.

Я уже раньше упоминал, что во главе нашей Медынской власти стоял Иван Андреевич Митяйко. А также говорил, что как отзвук на центральные события, начал и он свою политическую платформу менять и уклонился к перевороту.

Когда же вокруг повсеместно большевики заняли командные высоты и даже самая упорная организация нашего районного совета, возглавляемого Виктором Ивановичем и прославившегося в те дни своей стойкостью, <нрзб.> — когда, я говорю, даже этот районный совет попал в руки к восставшим и признал центральную большевистскую власть, Иван Андреевич по всему городу расклеил приказ № 23, в коем объявил, что он до времени только таился, а ныне доводит до всеобщего сведения о своей принадлежности к левым партиям и призывает всех граждан разделить с ним его политические убеждения, потому что в противном случае с ними будет поступлено по всей строгости закона, на каковой предмет в доме Мелкого кредита по Московской улице уже учреждена комиссия — по борьбе со спекуляцией и прочими преступлениями.

Я лично Митяйкиной подлости нимало не удивился.

Но признаюсь, что, приняв это все как должное, дальнейшим был и я немало поражен.

Митяйко знал чуть ни с первых дней о моем совместном с Татьяной Александровной возвращении в Медовое. Знал, по всей вероятности, и о причинах Катиной смерти. Таким образом, ему ничего не стоило, основываясь на новых своих политических устремлениях, отнести все Медовое в лагерь лиц, подлежащих рассмотрению комиссии.

Так оно и случилось. В полночь однажды он заявился к нам на какой-то подводе, окруженный десятком всадников, — и не понятно, откуда он их в Медыни выкопал.

Произвел он обыск, все каких-то зарытых пулеметов искал, — а потом объявил Татьяне Александровне, что она арестована, и увез ее в свою комиссию на подводе.

Мы с отцом поначалу совершенно растерялись. До утра ничего не могли придумать.

А утром решили, что нам самим надо пытаться на выручку идти.

В Мелком кредите еле пропуска добились к председателю комитета — тому же Митяйке. Народ во дворе толпился. Солдат с винтовкой в виде караула на сенокосилке сидел, а просители стояли около молотилок красных двух.

Принял нас Митяйко в бухгалтерской комнате. На стенах все те же плакаты висят о сельскохозяйственных орудиях Маккормика и кооперативные объявления: «Время — деньги» или что-то в этом роде.

Отец начал, волнуясь, к нему речь держать. Он слушал мало и все пальцами по столу барабанил.

Я говорить совсем не мог от волнующей меня злости.

А Митяйко покачивался на своих длинных ногах, засунув растопыренные руки в карманы, и открыто глумился над Семеном Алексеевичем.

Так мы от него ничего и не добились.

Отец совсем сразу ослабел как-то и на следующие дни на свидания с Татьяной Александровной мне пришлось ходить одному.

Сидела она в нашей медынской каталажке, в общей камере с какой-то воровкой. Камера была с выбитыми стеклами, нары без соломы, стены изрисованы возмутительными рисунками. Носы у всех арестованных были темные, потому что кто-то разбил стекло от единственной лампы, и теперь она по ночам без стекла горела и коптила так, что все просыпались с черными копытными зубками около носа.

Допрашивал Митяйко своих арестованных, наведя на них пулемет.

Когда я на свидание пришел, в соседней камере били кого-то. Слышно было: ж-ж-ж, потом стон: а-а-а! потом опять: ж-ж-ж, и опять: а-а-а.

А веселая девчонка встретила меня при этом не только спокойно, но и бодро.

Даже более того, увидав мой смятенный вид, она стала утешать меня и рассказывать о всяких невероятных случаях.

Говорила, как Прокофьев, железнодорожник, на допросе заявил, что он ориентируется на африканский пролетариат, как Пелагея Михайловна на допросе заявила, что считает себя пострадавшей за народ, и еще многое другое.

От нее я отправился к Ксении Степановне и стал просить ее заступничества. Она только рукой на меня махнула:

— Да что вы, голубчик, не понимаете? Что ли? Вспомните-ка, как Иван Андреевич меня в свое время умыкал. Теперь дело тем же пахнет. А я тут ни при чем, — и заплакала даже.

От этой мысли дурацкой об умыкании меня просто в жар бросило. Конечно, Татьяна Александровна не даст себя к стенке припереть, и от нее добровольного согласия Митяйко не добьется.

Ну, а если силком?

А главное, что при такой постановке дела ясно, что никакими просьбами и уговорами ничего не поможешь.

Но тут на наше счастье Митяйку вызвали на неделю в центр. На свой риск я собрал все деньги, которые в ту минуту в доме имелись, — двести шестнадцать рублей, — как сейчас помню, — и пошел к Митяйкиному заместителю Демиденкову, — бывшему сидельцу казначейства, деньги любящему. И за эти двести шестнадцать рублей удалось мне уговорить его отпустить вроде как на поруки Татьяну Александровну. А как только она вышла, мы сразу, конечно, переправили ее в другой город.

За все за это пришлось пострадать несколько и мне, потому что, по возвращении своем, Митяйко пришел в настоящую ярость и приказал арестовать меня.

Не буду описывать всех глумлений, каким я в каталажке подвергался.

Одно скажу: всего обиднее для меня было то, что в конце моего двухмесячного сидения в Медовое заезжал Федор с Марьей Сергеевной.

Они нелегально пробирались на восток, и Федя захотел перед окончательным отъездом с отцом и со мной попрощаться.

Потом отец мне рассказывал, что Марья Сергеевна будто заморозилась вся. Говорит мало, сидит по привычке своей навтыжку. Куда-то мечтательно в даль далекую большими глазами смотрит; впрочем, седая прядь на голове в два раза шире стала.

А Федя еще больше обленился как-то. Если же присмотреться повнимательнее, то будто получается впечатление, что и он не менее мечтательно и не менее далеко старается заглянуть.

Ну, да это уже наша с отцом философия обыкновенная.

10

Чтобы закончить мне эти жизнеописания, остается сказать немногое.

Виктор Иванович больше в Медовом, конечно, не появлялся. По обрывочным и ругательным сведениям наших новых местных газет, можно думать, что ему удалось выбраться из России, где он именно, — я не знаю, — точно так же не знаю, насколько можно верить всем сведениям о его измене первоначальным убеждениям.

Между прочим, об этом писали и по отношению к Федору. А так как я все же его знаю хорошо и совершенно ничего подобного допустить не могу, то думаю, что и относительно Виктора Ивановича все враки.

Верно только то, что и он, и Федя, и, наверное, Марья Сергеевна — за границей. Что они там делают, не знаю, потому что не имею никаких связей ни с кем из их товарищей.

Одно время я думал, что и Татьяна Александровна с ними. Но не так давно пришлось мне встретить ее имя в газетах по поводу усмирения какого-то бунта ссыльных. Ее-то главным образом и пришлось усмирять, потому что она всего этого движения душой была.

Митяйку однажды, когда наш город на шесть часов попал в руки к зеленым, — убили. Жена его куда-то уехала. Но это не важно, потому что на его месте сейчас точно такой же человек сидит. Впрочем, это я уж от злобы.

Дабы закончить мои жизнеописания достойно памяти тех лиц, кого я любил, — а особенно достойно памяти сестры моей Екатерины Семеновны Столбцовой, — последние страницы посвящу я Семену Алексеевичу.

Перенеся много невзгод, после отобрания и сожжения Медового, живя со мною вдвоем в тесной комнате у Пелагеи Михайловны и жалуюсь

на сильное потемнение зрения, он по внутренним своим душевным силам оставался все прежним человеком.

И вот однажды, очень рано утром разбудил он меня. Вижу, он уж одет как для выхода дальнего. И говорит мне:

— Вот тебе, Коля, письмо. В нем все написано... А я сам в одиночестве побродить по России решил. Иначе не могу... А ты не вставай. Я, было, тебя и будить не хотел, думал секретно уйти, а потом слабость одолела, — попрощаться с родным человечком захотелось.

Он нагнулся и поцеловал меня в лоб. А потом, уже не поворачивая ко мне лицо, быстро вышел.

Я глаза даже протер, — таким мне это все неожиданным показалось — не приснилось ли, — однако письмо на одеяле лежит.

Догонять отца я не стал, конечно, — его воля. А тут же, не одеваясь, разорвал конверт и стал читать письмо.

Привожу его дословно и на том заканчиваю повествование, ибо что могу я прибавить к отцовской мудрости, и какой памятник более полной любви могу я воздвигнуть душам наших близких, ушедших от нас.

Вот оно:

«Милый, лет двадцать тому назад плыл я по Черному морю на большом пароходе. На рассвете подошли мы к порту, где мне спускаться надо было. Пароход встал верстах в полуторах от берега.

Спустился я по трапу, сел в фелюгу, гребцы вскинули весла, поплыли мы. А из-за парохода, ото всех сторон туман белой стеной клубящийся и извилистый — на нас неся, будто густой пар от черной морской воды подымался.

И тут почувствовал я, что отделена моя жизнь от бездны морской тонкой досточкой фелюги этой... Ни в чем, — ни в тумане, ни в воде черной у меня опоры нет, только в этой досточке тончайшей. И тогда мне взвзвять захотелось.

Но взял я себя в руки и подумал уже философски: можно такое соответствие провести между фелюгой и жизнью и между морем и смертью: кто верит, тот чувствует себя пассажиром, умеющим плавать, кто не верит в загробную жизнь, тот ощущает себя подобным ключу, опущенному в воду. А в общем и верующий, и неверный, и умеющий плавать, и не умеющий, — все это одна относительность, — вопрос лишь в том, сию минуту погибать или через несколько часов. Ибо и вера, и неверие человеческое слишком неразумно и ничтожно перед вечностью и не в силах этой вечности охватить.

Милый, пишу об этом, дабы мог ты легко мысль мою продолжить. Жизненный опыт подтверждает истинность предположения, что во всех, самых плотских, солнцем насыщенных делах наших, тонкой дощечкой отделены мы от вечности или небытия, — это как хочешь назови. Если ты веришь в бессмертие и говоришь “вечность”, то по отсутствию подлинного содержания в этом понятии оно очень близко к понятию “небытия”, о котором говорит тот, кто не верит.

Что такое жизнь, мой милый? Жизнь включает в себя два круга понятий. Один круг: это жестокость всегда стерегущего нас небытия, это жизненный жернов, дробящий кости, это смерть Кати и ее нерожденного младенца, это голодные дети на русских просторах сейчас, это убивающий и потом и сам убитый Митяйко. Понимаешь, о чем я говорю. Большая часть жизни отрицает справедливость, глумится над радостью, уничтожает всякий смысл наших путей и наших достижений. Жизнь, зло, злость, обман, разuverение, глумление, обида, насмешка, отчаяние. Вот она, — большая часть жизни.

А наряду с этим есть минуты в жизни, которыми мы стремимся все оправдать. Иногда это с детства запомнившийся луч солнца, положивший квадраты оконных рам перед нашими ногами на пол. Иногда это час такой ночных размышлений, когда вдруг душа расширится и порвет все пути свои. Иногда это жалость к больному ребенку, который вдруг улыбнулся сквозь жар и беспамятство.

Или вот вспоминается мне такой миг: утро смерти моего отца, в далеком городе, летом, южным летом, на рассвете. Небо, алое от зари, на нем четко листья акации своими кругляшками удлинненными, на палочках чернеют. И воробьи проснулись, чирикать бодро и громко начали.

Вот и сейчас, через пятьдесят лет вспомнил, — и чувствую, — утвердили тогда эти воробьи жизнь над смертью.

Из-за этих, ничтожных и быстро преходящих минут, оплакиваем мы наших мертвецов. Не все ли равно, ждет ли их это непонятное нам бессмертие или идут они просто в ничто, — важно для нас, что они никогда, никогда, никогда не увидят солнца и не услышат чирикающего воробья.

И вот когда поймешь это, когда почувствуешь всю подлинную хрупкость нашей жизни, — до такой степени хрупка она, что если бы меня сейчас должны были бы казнить, я ощущал бы жизнь палача немногим прочнее своей жизни, — вот когда поймешь это, когда дашь волю этой последней нашей человеческой мудрости, перестанешь ее держать в клетке какой-то на дне души, на запоре, — тогда и настоящую, безудержную, все изгрызающую жалость почувствуешь, и не будет душе твоей никакого покоя.

Все всем раз навсегда простишь, потому что все ничтожно.

Всему раз навсегда перестанешь радоваться, потому что все ничтожно.

Ни на что не станешь надеяться, потому что все ничтожно.

И будешь только смотреть перед собою на свою дорогу и бояться еще одного лишнего муравья задавить, потому что уж слишком их много, этих задавленных муравьев, и некому отвечать за них.

Или, смотря перед собою на свою дорогу, будешь ждать, когда придет твой час, и тебя самого, как муравья, всею тяжестью своею задавит.

Смех же, радость, веселье и надежда, — это только игра молодой крови, это бывает тогда, когда человек еще подобен слепому щенку и не видит ничего.

И радость эту, и надежду так же я жалею, как горе.

Милый, мне хочется, чтобы, прочтя эти строки, ты понял главное: надо открыть свою душу всем дорогам, всем ветрам, — пусть бредет в нее беспрепятственно, как домой, каждый бродяга полевой, пусть будет она прозрачным прибежищем каждому ищущему, где преклонить голову. Пусть постигнешь ты всю эту мою старческую мудрость и скорбь, чтобы могла душа твоя хоть чем-нибудь, хоть самую собою всемирный холод утешить.

Надолго прощай теперь.

Твой отец Семен Иконников».

К этому письму добавлять у меня нечего.

ПИСЬМА И ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ

ПИСЬМА

К А.А. БЛОКУ

1

24 апреля 1912 г., Бад-Наугейм

[24.IV.1912. Бад-Наугейм]

Russland. Petersburg.

Россия. Петербург

М. Монетная, 9, кв. 27

Александру Александровичу Блоку.

Привет из Наугейма.

Елиз. Кузьмина-Караваева

2

<Конец апреля – начало мая 1912 г., Бад-Наугейм>

[Конец апреля – начало мая 1912. Бад-Наугейм]

Мне хочется написать Вам, что в Наугейме сейчас на каштанах цветы к<a>к свечи зажглись, что около градинеру воздух морем пахнет, что тишина здесь ни о жизни, ни о смерти не знает: даже больные в креслах забыли обо всем. Я сидела целый час на башне во Фридберге. Меня там запер садовник, чтобы я могла много рисовать. Мне кажется, что много в Ваших стихах я люблю еще больше, чем раньше любила; думала об этом и смотрела с Иоганнисберга на город: на старое кладбище и буро-красные крыши около него, на парк и серые крыши вилл. Знаете ли Вы здесь потерянную среди полей и яблонь Hollur's Kapell'у? Я ее нашла и обрадовалась. Кажется, что тишина, как облако неподвижное, и в мыслях моих неподвижными крыльями облако распласталось. И не верю, что этому конец будет. И усталость, которая была и которая есть, только радуется, как радуется туман иногда. Я думаю, что полюбила здесь, может быть, не то, что Вы

нашли и полюбили, но во всяком случае рада, что полюбила и что могу Вам это написать.

Если смогу, то хотела бы Вас порадовать, написав о том, что Вы здесь знаете; как оно живет и старится. Если смогу ответить, то спросите. На озере лебеди плавают, а на маленьком острове на яйцах белая птица сидит и при мне лебедят выведет. Мое окно выходит на Иоганнисберг, и по ночам там белые фонари горят, а внизу каштаны свечами мерцают. Я не верю, что в Петербурге нет каштанов, и красных крыш, и душного, сырого воздуха, и серых дорожек, и белых, с черными ветками, яблонь. Тишина звенит; и покой, как колокол вечерний. Во Фридберге, — знаю, — был кто-то печальный и тихий, и взбирался на башню, где всегда ветренно и где полосы озимей внизу дугами сплетаются.

Очень, очень хочу порадовать Вас, прислать Вам привет от того, что Вы любите. Не знаю, увижу ли это, за тем, что уже увидела и полюбила. Если захотите спросить и поверите, что смогу дать ответ, напишите.

Мой адрес: Bad Nauheim. Britaniestrasse. Villa Fontana.

Привет.

Елиз. Кузьмина-Караваева

3

<27 ноября 1913 г., Москва>

[27.XI.1913. Москва]

Я не знаю, как это случилось, что я пишу Вам. Все эти дни я думала о Вас и сегодня решила, что написать Вам *необходимо*. А отчего и для кого, — не знаю. Мучает меня, что не найду я настоящих слов, но верю, что Вы *должны* понять.

Сначала вот что: когда я была у Вас еще девочкой, я поняла, что это навсегда, а потом жизнь пошла как спираль, и снова, и снова, — выше, — но на том же самом месте бывала я. О себе не хочу писать, потому что *не для себя* пишу. Буду только собой объяснять. Кончался круг, и снова как-то странно возвращалась я к Вам. Ведь я в первый раз и не знала, зачем реально иду к Вам, и несла стихи как предлог, потому что боялась всего, что не может быть определено сознанием. Близким и недостижимым Вы мне тогда стали. Только теперь я имею силы верить, что это Вам нужно. Пусть не я, но это неизбежно. В каждый круг вступая, думала о Вас и чувствовала, что моя тяжесть Вам нужна, и это была самая большая радость. А тяжести я ищу.

С мужем я разошлась, и было еще много тяжести после этого. Иногда любовь к другим, большая, настоящая любовь, заграждала* Вас, но все кончалось всегда, и всегда как-то не по-человечески, глупо кончалось, потому что — вот Вы есть. Когда я была в Наутейме — это был самый большой перелом, самая большая борьба, и из нее я вышла с Вашим именем. По-

* Было: заменяла.

том был год совершенного одиночества, дома, в глуши, на берегу Черного моря. (Вот не хочется описывать всего, потому что знаю, что и так Вам все ясно будет.) И были Вы, Вы. Потом к земле как-то приблизилась; — и снова человека полюбила, и полюбила, полюбила по-настоящему, — а полюбила, потому что знала, что Вы есть. И теперь, месяц тому назад у меня дочь родилась, — я ее назвала Гайана, — земная, и я радуюсь ей, потому что — никому неведомо, — это Вам нужно. Я с ней вдвоем сейчас в Москве, а потом буду с ее отцом опять, и что дальше будет, — не знаю, но чувствую — и не могу объяснить, что это путь какой-то, предназначенный мне, неизбежный; и для Вас все это нужно. Забыть о Вас я не могу, потому что слишком хорошо чувствую, что я только точка приложения силы, для Вас вошедшей в круг жизни. А я сама, — ни при чем тут.

Теперь о другом: *не надо чуда*, потому что тогда конец миру придет. Христос искупил мир, дав нам всем крестную муку, которую только чудо уничтожит, и тогда мы будем мертвые. И целить людей нельзя. Недавно слышала о Штейнере и испугалась, вспомнив Вас; потом стыдно своего страха стало, потому что верю, верю и верю, что это не нужно Вам. И верю, что Вы *должны* принять мое знание и тогда будет все иначе, потому что Вы больше человека, и больше поэта; — Вы несете не свою, человеческую тяжесть; и потому что чувствую я, всегда и везде чувствую, что избранная, может быть, случайно — я, — чтобы Вы узнали и поверили искупленью мукой и последней, тоже нечеловеческой любовью.

Боюсь я, что письмо до Вас не дойдет, потому что адреса я Вашего не знаю; — вот уже 2 года, как узнать его мне не от кого; но почему-то кажется мне, что я верный адрес пишу. Слишком было бы нелепо и глупо, если бы письмо пропало. Хотя, может быть, время еще не пришло: — и не исполнилась мера радости и страданий. Ведь Вы все это знаете? Всякие пояснения были бы слабой верой.

Если же Вы *не хотите* понять этого, то у меня к Вам просьба: напишите хоть только, что письмо дошло. Я буду знать, что не от случая все осталось без перемены, а от того, что мало муки моей, которая была; что надо еще многие круги спирали пройти, может быть, до старости, до смерти даже. Во всяком случае я почувствую, где бы я ни была, что Вам все это нужно стало. Хорошо, что, — самый близкий, — Вы вечно далеко, — и так всегда.

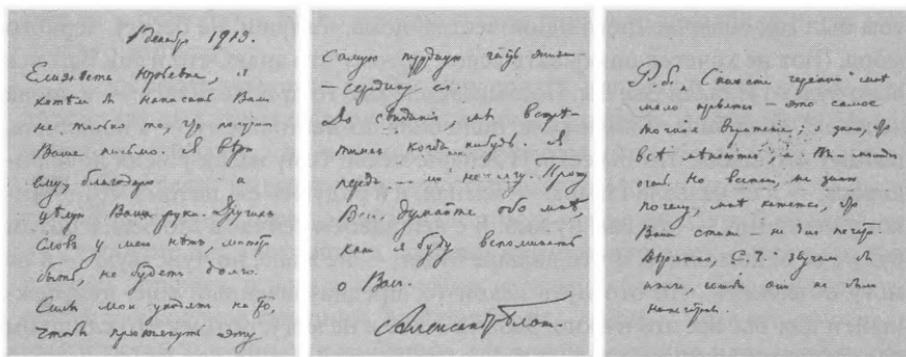
Елиз. Кузьмина-Караваева

Если бы я, я человеческая осмелилась, я бы издала 2-ую книжку, чтобы взять к ней эпиграфом: «Каждый душу разбил пополам и поставил двойные законы».

Е. К.-К.

Москва. Собачья площадка, Дурновский пер., д. 4, кв. 13.

Пошлю письмо и буду каждый час считать, ожидая Вашего ответа, что Вы его получили.



Ответ А.А. Блока от 1 декабря 1913
на письмо Е.Ю. Кузьминой-Караваевой от 27 ноября 1913.
ОР РГБ

4
19 января 1914 г., Москва

19.I.1914

Москва. Собачья площадка.
Дурновский пер., д. 4, кв. 13

Месяц тому назад я решила издать вторую книгу стихов; тогда мне уже приходила в голову мысль попросить Вас просмотреть книгу до того, как я отдам ее в печать. Но по очень запутанным соображениям я решила, что этого делать не надо: дело в том, что я не знаю, как отдам Вам ее на просмотр: с тем, чтобы потом напечатать ее, приняв во внимание Ваши указания, или чтобы только узнать Ваше мнение и уже не печатать книги. Все это у меня очень запутанно в письме выходит, но яснее я не умею сказать.

Теперь я виделась на днях с Толстым, который знает, что в своих стихах я не умею разбираться, и он мне сказал, что видел Вас, что он Вам говорил о моей новой книге, и Вы ничего не имеете против, если я Вам ее пошлю в рукописи.

В книгу эту, как я ее Вам посылаю, вошла четвертая часть написанного за это время.

Если Вы мне скажете, что ее издавать можно, то мне хотелось бы это сделать до конца марта, потому что потом мне придется уехать, и я думаю, что не вернусь в большой город несколько лет.

Есть два пути: один, — он ясно выражен в отделе «Вестников»*, а другой, — более долгий и трудный, но приводящий к целям первого, — определяет тот порядок, в котором распределены отделы книги. Чтобы видеть, верить, ну — главным образом, — мочь, — надо отречься от непосредствен-

* Было: *получить*.

** Слово «Вестников» подчеркнуто Блоком, сверху поставлен вопросительный знак.

Сегодня же посылаю Вам мою книгу и буду ждать Вашего ответа; если же Вас это почему-либо затруднит или просто по прочтении не захочется высказываться, то пришлите рукопись обратно без всяких пояснений.

Я много думаю о Вас.

Елиз. Кузьмина-Караваева

5

15 февраля 1914 г., <Москва>

15. II. 1914. [Москва]

Уже давно хотела написать Вам, чтобы поблагодарить за просмотр стихов; но все это время моя дочь была при смерти больна.

Прежде чем писать о чем-либо другом, хочу сказать Вам, что мои письма к Вам, — вот уже третье, — каждый раз неожиданны для меня; каждый раз я думаю, что пишу Вам последнее письмо или, вернее, последнее сейчас, потому что совершенно ясно знаю, что когда-нибудь, через долгий промежуток, будут новые письма к Вам.

Я читала Ваши заметки на полях рукописи; и за ясными и определенными словами, почти всегда техническими, я узнавала** то, что заставило меня написать Вам тогда, осенью, что заставит еще много раз, почти*** всегда, думать о Вас.

Я знаю, что в моей жизни пути только намечаются, но даже и поэтому так ясно, что все двойственно. Вы писали мне: жар души и хлад ума; — есть в человеке еще и жар ума; не знаю, как это иначе выразить; но потому что он есть, я узнала, что не только свободно создаю свою жизнь, но и свободно вылепливаю душу свою, ту, которая будет в минуту смерти. И для ее жизни надо, чтобы было много *бездольности*, греха, падений.

И еще вот о чем хотела написать Вам: самое радостное состоянье, — *одиночество*****; но одиночество, когда нет никаких привязанностей, когда сознаешь его только в минуты спокойного рассуждения; и есть другое одиночество, неправильно так названное: с первой привязанностью к кому-нибудь мир как-то пустеет, и одиночество становится мучительным. Хорошо сознавать человека*****, любить, чувствовать его, не боясь потери, — чтобы потеря была невозможной. И поэтому, когда я мучаюсь тем, что кто-нибудь забыл или забыт мною, или когда радуюсь чувству, которое неизбежно завтра исчезнет, — мне хорошо думать, что нет в жизни ничего, что бы могло удалить или изменить для меня Вас. Вы знаете, я бы не могла и Гайану свою любить, если бы не знала, что Вы вечны для меня. И так же твердо знаю я, что это Вам необходимо: не сейчас, и *не мое* отношение; не мое, если пони-

* Подчеркнуто Блоком.

** Было: *искала*.

*** Подчеркнуто Блоком.

**** Подчеркнуто Блоком.

***** Было: *без*.

мать это как мое отношение к друзьям, к отцу моего ребенка и к остальным людям.

У меня сейчас опять, — всю эту зиму, — перепутье. Поэтому мне необходимо, исключительно для себя, издать книгу. Попытаюсь переработать ее соответственно Вашим указаниям и издам.

Вот и теперь я опять уверена, что это последнее на долгое время письмо к Вам. И ответа опять ждать не буду. Весной уеду, буду жить чужой жизнью, говорить о революции, о терроре, об охоте, о воспитании детей, о моей любви к тому человеку, куда я уеду, — и думать о Вас. *И так будет долго, долго***.

Елиз. Кузьмина-Караваева

6

<Начало декабря 1914 г., Петроград>

[Начало декабря 1914. Петроград]

Я сегодня с самого утра засуетилась; может быть, поэтому мне кажется, что произошло что-то скверное. Дело было так: мои родные, от которых я звоню к Вам, знают, что есть такой номер телефона; шутки ради они хотели узнать, чей он. Все это, может быть, слишком*** просто и глупо, чтобы огорчаться; но мне хочется объяснить Вам сейчас же.

А огорчилась я потому, что у меня слишком бережливое отношение к нашему; много нежности и поэтому застенчивости (даже не перед Вами, а перед собою скорее).

Мне и хорошо, — очень хорошо, — и тяжело. Как смешно быть одновременно уверенной и сомневаться в пустяках.

Я очень хочу Вас видеть, но это не значит, что это нужно, потому что теперь так выходит, что я буду хотеть Вас видеть и сегодня, и завтра, и уезжая от Вас, и не видя Вас несколько лет. Но это тоже хорошо, потому что является доказательством уверенности, что все идет, как необходимо, и все верно, — никакой лжи нет. *Вы с этим моим желаньем не считайтесь никак.*

В субботу позвоню.

Ваша Елиз. Кузьмина-Караваева

Милый Александр Александрович, ведь ничего скверного не произошло? Мне, наверное, так кажется по моей глупости?

* Подчеркнуто Блоком.

** Подчеркнуто Блоком.

*** Было: *очень*.

7

21 декабря 1914 г., <Петроград>

21. XII. 1914. [Петроград]

Дорогой Александр Александрович, мне надо Вам написать, потому что я опять чувствую право на это, и не только право, но и необходимость. Весь этот месяц шла борьба. Вожди, о которых я Вам говорила в последний раз по телефону, были отпущены совсем. А у меня это всегда совпадает с чувством гибели — определенной, моей гибели, — потому что вне того пути, о котором Вы уже знаете, я начинаю как-то рассыпаться, теряюсь в днях, в событиях. Если Вы верите, что Вы тесно связаны в моих мыслях с тем путем, который все другое уничтожает, то Вы поймете, что все это было из-за Вас: я была сама виновата, конечно; я дала слишком много свободы тому человеческому, чего так страшилась. Мне так хотелось изменить все, и отречься, чтобы иметь возможность просто сказать: ничего не осталось, потому что есть у меня одна радость: знать, что я Вас люблю, что я видела Вас и, может быть, еще увижу, что я могу думать о Вас. Только этого я и хотела.

Я не боюсь сейчас, и не отрекаюсь от этого. Но я знаю, что это *только* не мешает, и *даже* не мешает, потому что главное неизмеримо больше: оно все должно покрыть. Это очень тяжело, почти нестерпимо тяжело, но совершенно неизбежно. И я могу поэтому спокойно говорить, что мне хорошо, зная, что Вы этому должны поверить. Пусть очень холодно и мертво подчас вокруг, — но это только путь. Видя срок и веря в цель пути, разве можно страшиться этой тяжести? Тут только один вопрос: надо стараться быть все время совершенно собранной. И все, сказанное многим (что Вам так чуждо показалось), — это только тяжелая работа, и потому что в мыслях своих я никак не могу сочетать Вас и их, а знаю, что это необходимо: не для Вас и не для меня, а для того, чтобы Ваше имя не загрозило цель.

Когда я припоминала вечером слова, которые Вы мне говорили по телефону, я сообразила, что Вы мне сейчас не верите или не хотите верить. Сначала мне было от этого тяжело, и я решила, что сама виновата, дав волю своему человеческому; а потом я сообразила, что это нелепость какая-то, что Вы не можете не верить мне: ведь все это так реально, как то, что я живу сейчас, и так связано тесно с Вами, что если бы Вы не верили, просто пришлось бы как-то внутренне исчезнуть.

Время идет очень быстро, и многое узнается теперь как-то сразу. Узнала и я многое: главное в области практического поведения. А так как мне* совершенно ясно, что все это тесно связано с Вами, то у меня есть к Вам дело, но о нем сейчас писать не буду, потому что для этого надо, чтобы Вы *перестали хотеть* мне не верить.

Елиз. Кузьмина-Караваева

* Было: у меня.

7а

12 апреля 1915 г., Петроград

12.IV 1915. Петроград

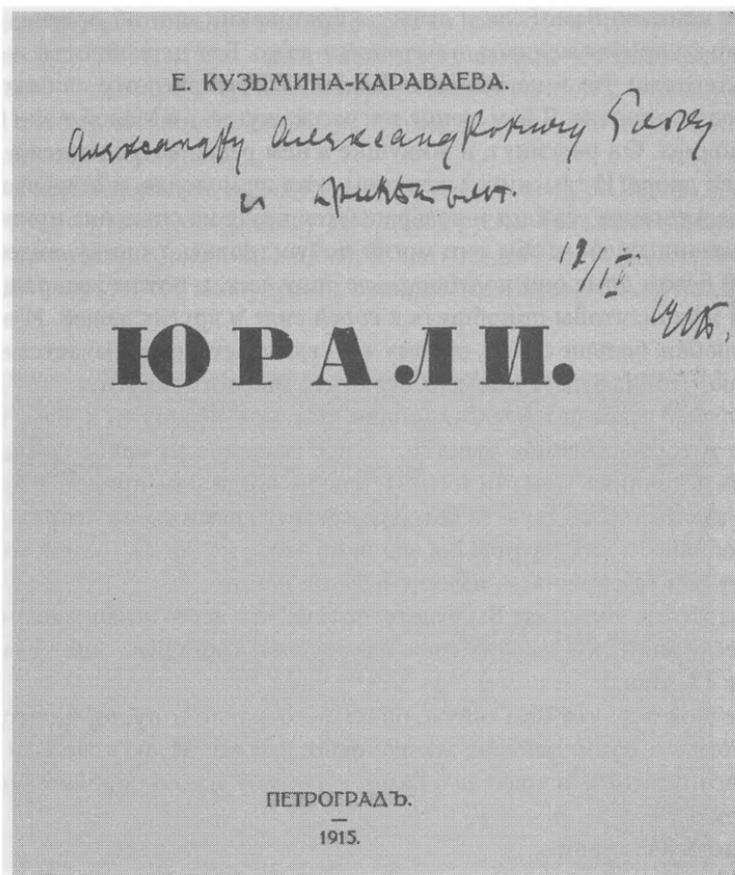
Александрю Александровичу Блоку с приветом.

8

10 июля 1916 г., Дженет

10.VII.1916. Дженет

Сегодня прочла о мобилизации и решила, что Вам придется идти. Ведь в конце концов это хорошо, и я рада за Вас. Рада, потому что сейчас сильно чувствую, какую мощь дают корни в жизнь. У меня эти корни совсем иначе



Авторская дарственная надпись Е.Ю. Кузьминой-Караваевой
А.А. Блоку на книге «Юрали» (Пг., 1915). ИРЛИ

создались, но создались прочно. В них самое удивительное всегда то, что появляются они со стороны, — будто кто-то на рельсы поставил, и приходится только катиться. И только потом начинаешь понимать, что разливается моя сила везде, и я получаю силу отовсюду.

Когда я думаю о Вас, всегда чувствую, что придет время, когда мне надо будет очень точно сказать, чего я хочу. Еще весной Вам казалось, что у меня есть только какая-то неопределенная вера. Я все время проверяла себя, свои знания, и отношение к Вам, и — не додумалась, — а формулировала только. И хотела бы, чтобы это было Вам понятно. Если я люблю Ваши стихи, если я люблю Вас, если мне хочется Вас часто видеть, — то ведь это все не главное, не то, что заставляет меня верить в нашу связанность. И Вы знаете тоже, что это не связывает «навсегда». Есть другое, что почти не поддается определению, потому что обычно затеняется определяемыми чувствами. Веря в мою торжественность, веря в мой покой, я связываю Вас с собою. Ничего не разрушая и не меняя обычной жизни, существует посвященность, которую в Вас я почувствовала в первый раз. Я хочу, чтобы это было понятно Вам. Если я скажу о братовании или об ордене, то это будет только приближенным, и неточным даже. Вот церковность, — тоже неточно, потому что в церковности Вы, я — пассивны; это слишком все обнимающее понятие. Я Вам лучше так расскажу: есть в Малой Азии белый дом на холмах. Он раскинут, и живущие в нем редко встречаются в коридорах и во дворе. И там живет женщина, уже не молодая, и старый монах. Часто эта женщина уезжает и возвращается назад не одна: она привозит с собой указанных ей, чтобы они могли почувствовать тишину, видеть пустыню. В белом доме они получают *всю силу всех*; и потом возвращаются к старой жизни, чтобы приобщить к своей силе и других людей. И все это больше любви, больше семьи, потому что связывает и не забывается никогда. Я знаю, что Вы будете в доме; я верю, что Вы этого захотите.

Милый Александр Александрович, вся моя нежность к Вам, все то большое и торжественное чувство, — все указание на какое-то родство, единство источника, дома белого. И теперь, когда Вам придется идти на войну, я как-то торжествую за Вас, и думаю все время очень напряженно и очень любовно; и хочу, чтобы Вы знали об этом: может быть, моя мысль о Вас будет Вам там нужна, — именно в будни войны.

Я бы хотела знать, где Вы будете, потому что легче и напряженнее думается, если знать, куда мысль свою направлять. Напишите мне сюда: Анапа. Ящик 17. Мне.

Мне кажется, что Вам сейчас опять безотрадно и пусто, но этого я в Вас не боюсь и принимаю так же любовно, как все. Итак, если Вам будет нужно, вспомните, что я всегда с Вами, и что мне ясно и покойно думать о Вас.

Господь Вас храни.

Елиз. Кузьмина-Караваева

Мне бы хотелось сейчас Вас поцеловать очень спокойно и нежно.

9

20 июля 1916 г., Дженет

20.VII.1916. Дженет

Мой дорогой, любимый мой, после Вашего письма я не знаю, живу ли я отдельной жизнью, или все, что «я», это в Вас уходит. Все силы, которые есть в моем духе: воля, чувство, разум, все желания, все мысли, — все преобразено воедино, и все к Вам направлено. Мне кажется, что я могла бы воскресить Вас, если бы Вы умерли, всю свою жизнь в Вас перелить легко. Любовь Лизы не ищет царств? Любовь Лизы их создает, и создаст реальные царства, даже если вся земля разделена на куски и нет на ней места новому царству. Я не знаю, кто Вы мне: сын ли мой, или жених, или все, что я вижу, и слышу, и ощущаю. Вы — это то, что исчерпывает меня, будто земля новая, невидимая, исчерпывающая нашу землю.

О Георгии и о Надежде Вы пишете. Если бы Бог помог Вам родиться скорее, и облегчил бы Вас. И я не знаю, кем надо мне стать сейчас и как смириться, чтобы это было принято (не Вами даже). И хочу, чтобы Вы знали: землю буду рыть за Вас, молиться буду о Вас, все, что необходимо для равновесия, — сделаю. И Вы должны, должны это принять, и помнить, что это есть, потому что, повторяю, это исчерпывает меня, это моя радость, это мне предназначено, велено.

И Вы не заблудитесь, потому что я все время слежу за Вашей дорогой, потому что по руслу моему дойду до Вашего русла. Только когда Вы говорите о скором конце искания, я вижу, какая мне дана сила (может быть, не власть). Вот верьте, что такая преобразившая все в одно, голая душа многое

Если в этой книге мои мысли
схватили и дали мне что-то, —
и так в образе, —
Зиньку, или как-то так
20/11 1916.

Авторская дарственная надпись Е.Ю. Кузьминой-Караваевой
А.А. Блоку на книге «Руфь» (Пг., 1916). ИРЛИ

может. И если Вы только испугаетесь, если Вам станет нестерпимо, — напишите мне: все, что дано мне, Вам отдам.

Мне хочется благословить Вас, на руках унести, потому что я не знаю, какие пути даны моей любви, в какие формы облечь ее.

Я буду Вам писать часто: может быть, хоть изредка Вам это будет нужно.

Вот пишу, и кажется, что слова звучат только около. А если бы я сейчас увидала Вас, то разревелась бы, и стала бы Вам голову гладить, и Вы бы все поняли по-настоящему, и могли бы взять мое с радостью и без гордости, как предназначенное Вам.

Поймите, что я давно жду Вас, что я всегда готова, всегда, всегда, и минуты нет такой, чтобы я о Вас не думала.

Господь Вас храни, родной мой. Примите меня к себе, потому что это будет только исполнение того, что мы оба давно знаем.

Елиз. Кузьмина-Караваева

Я чуть было не решила сейчас уехать из Дженета разыскивать Вас. И не решилась только потому, что не знаю, — надо ли Вам. Когда будет нужно, — напишите.

10

26 июля 1916 г., <Дженет>

26.VII.1916. [Дженет]

Вы уже, наверное, получили мой ответ на Ваше письмо. И пишу я Вам опять, потому что мне кажется, что теперь надо Вам писать так часто, как только возможно. Все эти дни мне как-то смутно; и не боюсь за Вас, а все же тоскливо, когда о Вас начинаю думать; может быть, просто чувствую, что Вам тяжело и нудно. И буду Вам писать о всех тех мыслях, которые у меня связаны с Вами.

Начинается скоро самая рабочая моя пора, — виноделие; а потом будет, как всегда, тишина; все разъедутся, и я одна буду скитаться по Дженету. И самое странное то, что эти осенние дни ежегодно совершенно одинаковы, — как бы ни прошло время, их разделяющее. Тогда проверяется все; и очень трудно не забыть, что это не круги, а медленно восходящая спираль, что душа не возвращается к старому месту, а только поднимается над ним.

Если же помнить это, то вообще утверждается все пройденное и самое восхождение. А потом становится ясно, что только в рамке дней отдельных движение кажется медленным. И «скучно» только в днях, а за ними большой простор, и влекут нас быстро.

И насчет нашего пути знаю я, что мы теперь гораздо ближе стали, вот за самое последнее время; ближе и друг к другу, и к концу. Мне никогда ни к кому не стать так близко, как к Вам. Будто мы все время в одной комнате

живем, — так мне кажется; и еще ближе, — будто меня по отдельности нет. И нелепо выходит, что Вы этого не знаете.

После Вашего письма писала я стихи. Если Вы можете их читать как часть письма, то прочтите; если же нет, — то просто пропустите. Они тогда выразили точно то, что я хотела Вам сказать:

Увидишь ты не на войне,
 Не в бранном, пламенном восторге,
 Как мчится в латах, на коне
 Великомученик Георгий.
 Ты будешь видеть смерти лик,
 Сомкнешь пред долгой ночью вежды;
 И только в полночь громкий крик
 Тебя разбудит; зов надежды.
 И белый всадник даст копьё,
 Покажет, как идти к дракону;
 И лишь желание твое
 Начнет завтра оборону.
 Пусть длится напряженья ад, —
 Рассвет томительный и скудный, —
 Нет славного пути назад
 Тому, кто зван для битвы чудной.
 И знай, мой царственный, не я
 Тебе кую венец и латы:
 Ты в древних книгах бытия
 Отмечен, вольный и крылатый.
 Смотреть в туманы, — мой удел;
 Вверяться тайнам бездорожья,
 И под напором вражьих стрел
 Твердить простое слово Божье,
 И всадника ввести к тебе,
 И повторить надежды зовы,
 Чтоб был ты к утренней борьбе
 И в полночь, — мудрый и готовый.

Все это ясно, и все это Вы теперь наверное уже знаете. А вот «дни» Ваши, тот предел, который надо одолеть, Ваша скука, оторванность, нерожденность, — это так мучительно издали чувствовать, и знать, что это только Ваше, что Вам надлежит одиноко преодолеть это, потому что иначе это не будет преодолением.

Только одного хочу: Вы должны вспомнить, когда это будет нужно, обо мне; прямо взаимно взять мою душу. Ведь я же все время, все время около Вас. Не знаю, как сказать это ясно; когда я носила мою дочь, я ее меньше чувствовала, чем Вас в моем духе. И опять не точно, потому что тут одно другим покрывается.

Елиз. Кузьмина-Караваева

11

27 августа 1916 г., Дженет

27.VIII.1916. Дженет

Я, наверное, останусь всю зиму в Анапе; только в октябре поеду одна в Кисловодск подправить сердце. И уже заранее знаю, как вся зима пройдет. В Петербург мне ехать теперь не надо. Буду скитаться и думать, думать. Все постараюсь распутать и выяснить. Только боюсь я, что изменить уже ничего нельзя, и не в своей я власти. Настало время мне совсем открыто взглянуть на то, что будет, и не только знать, но и делать.

А Вы так далеко: как-то особенно это чувствуется, когда неизвестно, где именно Вы сейчас. Будто на другую планету пишу письма. Но все равно; ничего этим не меняется. Ведь сейчас будни. И так трудно говорить о том, что праздник будет, особенно говорить Вам: Вы ведь сами знаете о празднике, и у Вас будни.

Я сучусь, сучусь, устаю, — будто так должна проходить каждая жизнь. Но это все нарочно. И виноделие мое сейчас, где я занята с 6-ти утра до 1 ч. ночи, — все нарочно. И все это более призрачно, чем самый забытый сон. Вот и людей много, и команду что-то нелепое; а знаю твердо, что на всей земле только Вы и есть по-настоящему. И когда теряю нити настоящего, внутреннего знания, то становится непонятно, что будет дальше, как сможет все быть на фоне вот этой жизни. Только и в такие минуты помню, что все это неизменно, и что нет ничего такого в призрачном, что не было бы с Вами связано. Будто каждый шаг для Вас делается.

Хотела бы я много говорить сейчас о Вас, смотреть на Вас. Мой милый, мой любимый, как Вам сейчас? И скоро ли кончится этот дурной сон? Ведь все время чувствую я, что Вам какие-то бездны мерещатся. И если бы это были не Вы, я бы боялась и думала, что скоро конец. Когда я была этой зимой у Вас, мне одну минуту было очень жутко, потому что Вы будто призраками окружены, и по-человечески, может быть, даже по-женски, я думала в ту минуту, что от Вас мне отойти нельзя, что призраки от моей любви к Вам все уйдут. Но знаю, что это не так: Вы сами должны их разогнать, потому что иначе они уйдут, но вернуться и не будут обессилены. Значит, мне надо опять ждать. И как мучительно ждать, когда хочется помочь, и кажется, что помочь можно. А когда настанет время, Вы мне скажете.

Елиз. Кузьмина-Караваева

12

5 <сентября> 1916 г., Дженет

5.[IX.]1916. Дженет

Начинается моя любимая осенняя тишь, и все, бывшее в году, подсчитывается. И кажется мне, что я узнала, отчего возможно сочетание ясности и трудности, уверенности и тоски: в начале дней каждому дана непогре-

шимость, то, где нет «моей» воли, где я знаю: так надо, и выполняю чужую волю; это благодать, осеняющая человека, без его ведома. Но потом для того, чтобы эта непогрешимость воплотилась, чтобы она стала действенной в этой вот жизни, надо воле стремиться к личной святости. (Я, может быть, не те слова употребляю.) Тут только слабо помнится, что «так надо». А в жизни действует только человек, принявший благодать, и каждый час не знает, так ли надо. И от этого тоска и трудность; и чем больше первоначальная благодать и непогрешимость, тем труднее, потому что тем больше пропасть между нею и личной святостью. Особенно трудно сознание, что каждый только в возможности вестник Божий, а для того, чтобы воплотить эту возможность, надо пройти через самый скудный и упорный труд. И кажется мне, что если это достигнуто, то наступает сочетание, дающее полную уверенность в вере и полную волю, тогда закон, данный Богом, сливается с законом человеческой жизни.

Когда я думала, что мне дано, и от меня кроме данного ничего не требуется, было очень легко и ясно. А теперь к этой ясности примешивается действительная, человеческая жизнь, требующая моего личного решения каждую минуту.

Пишу это Вам, потому что знаю, что у Вас большая данная воля и власть, и знаю, что она не воплощена личной Вашей волей. И потому что знаю, как Вам томительно и трудно, и верю, что это только начало второго периода.

На зиму окончательно остаюсь в Анапе. Только в октябре поеду в Кисловодск сердце поправить немного. Здесь мне будет особенно хорошо думать о Вас.

А Вы как, родной мой? Не могу себе представить Вашей жизни, и это меня отчего-то мучает.

Елиз. Кузьмина-Караваева

13

14 октября 1916 г., Анапа

14.X.1916. Анапа

Все эти дни, — такая тоска. И о Вас даже мало думаю, потому что не во время тоски мне о Вас думать. Вы для меня всегдашняя радость. Пусто на душе сейчас, и вокруг кажется куда ни помотришь, — никого нет, никого. Шататься по Анапе уже ноги устали. Была сегодня на кладбище, где отец мой похоронен: и там не так, как всегда, не покой, а тоска деятельная; она покою не знает. Если сейчас совершается большое, то так далеко; только отзвуки доходят. А от этого еще тоскливее.

Вот не хотела я Вам никогда о грустном своем говорить, хотела подходить к Вам только, когда праздник у меня, внутренне принаряженная. А теперь пишу о тоске. Может быть, и не сказала бы, а написать хочется. Так же, как только кажется мне, что если бы Вы были сейчас здесь, я бы усидила

Вас на свой диван, села бы рядом, и стала бы реветь попросту, и Ваши руки гладить. А окажись Вы сейчас здесь, — наверное, я начала бы убеждать Вас, что все очень хорошо, и только издали смотрела бы на Вас.

Все — ничто. И жизнь впустую идет; и эти жизненные ценности, — побрякушки какие-то. Знаю, знаю и помню все время, что они только прикрывают настоящее. Но если у меня есть земные глаза, то они хотят видеть то, что им доступно, и уши мои земные должны земное слушать. Так что зная о том, другом, хочу его знаки здесь на всем видеть.

Солнца много сейчас у нас. Но ни к чему это. Вот и брожу, брожу, будто запрягли меня и погоняют.

Милый Вы мой, такой желанный мой, ведь Вы даже, может быть, не станете читать всего этого. А я так хочу Вас, так изголодалась о Вас. Вот видеть, какой Вы, хочу; и голос Ваш слышать хочу, и смотреть, как Вы нелепо как-то улыбаетесь. Поняли? Даже я, пожалуй, рада, что Вы мне не говорите, чтобы я не писала: все кажется, что значит Вам хоть немного нужны мои письма. Все как-то перегорает, все само в себе меняется. И у меня к Вам многое изменилось: нет больше по отношению к Вам экзальтации какой-то, как раньше, а ровно все и крепко, и ненарушимо, — и проще, может быть, даже стало. Любимый, любимый Вы мой; крепче всякой случайности, и радости, и тоски крепче. И Вы самая моя большая радость, и тоскую я о Вас, и хочу Вас, все дни хочу.

Где Вы теперь? Какой Вы теперь?

Ваша Елиз. К.-К.

14

22 ноября 1916 г., <Анапа>

22.XI.1916. [Анапа]

Только что вернулась из Новороссийска и Ростова, куда ездила по делам и брата проводить. Мучает меня, что мои письма не доходят к Вам; хочу это даже послать по петербургскому адресу. Мудрено мне как-то. Вот наряду с тишиной идут какие-то нелепые дела: закладываю имение, покупаю мельницу, и кручусь, кручусь без конца. Всего нелепее, что вся эта чепуха называется словом «жить». А на самом деле жизнь идет совсем в другой плоскости, и не знает, и не нуждается во всей суете. В ней все тихо и торжественно. Как с каждым днем перестает жаль. Уже ничего, ничего не жаль; даже не жаль того, что не исполнилось, обмануло. Важен только попутный ветер; и его много.

Мне приходит мысль, что Вы еще в городе. Так ли это? Господи, в конце концов, все равно ведь. И для Вас более безразлично, чем для других, потому что Вам все предопределено.

Не могу Вам сейчас писать (хотя хочу очень), потому что ничего не выговаривается.

Е. К.-К.

15

4 мая 1917 г., <Петроград>

4.V.1917. [Петроград]

Дорогой Александр Александрович, теперь я скоро уезжаю, и мне хотелось бы Вам перед отъездом сказать вот что: я знаю, что Вам скверно сейчас; но если бы Вам даже казалось, что это гибель, а передо мной был бы открыт любой другой самый широкий путь, — всякий, всякий, — я бы все же с радостью свернула с него, если бы Вы этого захотели. Зачем — не знаю. Может быть, просто всю жизнь около Вас просидеть.

Мне грустно, что я Вас не видала сейчас: ведь опять уеду, и не знаю, когда вернусь.

Вы ведь верите мне? Мне так хотелось побыть с Вами.

Если можете, то протелефонируйте мне 40-52 или напишите: Ковенский 16, кв. 33.

Елиз. Кузьмина-Караваева

К Б.А. САДОВСКОМУ

3 декабря <1913 г., Москва>

3.XII.[1913. Москва]

Здесь

Тверская

Меблированные комнаты Михеевой

бывший Фальцфейк № 35

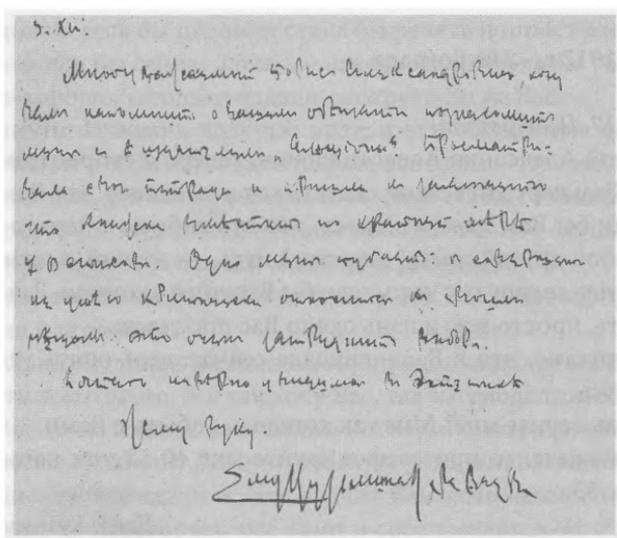
Борису Александровичу Садовскому

Многоуважаемый Борис Александрович, хочу Вам напомнить о Вашем обещании познакомить меня с издателем «Альционы». Просматривала свои тетради и пришла к заключению, что книжка вместит по крайней мере 70 стихов. Одно меня пугает: я совершенно не умею критически относиться к своим вещам. Это очень затруднит выбор.

Пятого, наверно, увидимся в Эстетике.

Жму руку.

Елиз. Кузьмина-Караваева



Автограф письма Е.Ю. Кузьминой-Каравеевой
 к Б.А. Садовскому от 3 декабря 1913. РГАЛИ

К С.П. БОБРОВУ

27 февраля 1914 г., <Москва>

27. II. 1914. [Москва]

Многоуважаемый Сергей Павлович,
 посылаю Вам не те стихи, о которых говорила, но Вы дали мне возмож-
 ность свободно выбрать, что послать, — и я этим воспользовалась. Наде-
 юсь, что переписала я их достаточно четко.

Привет

Елиз. Кузьмина-Каравеева

К И.С. КНИЖНИКУ-ВЕТРОВУ

4 июня 1915 г., <Анапа>

4 VI. 1915. [Анапа]

Я так затормошилась перед отъездом, что не дала Вам никаких вестей
 о себе, Иван Сергеевич.

Хотела написать Вам давно, но и здесь было много суеты.
 Как мой Юрали живет у Вас?

Думала начать большую новую вещь; мне казалось, что она в большой степени исправит Юралины недостатки. А получается скверно: вроде какого-то романа для юношества.

Думаю, что это происходит потому, что каждый пишущий должен проникаться не только теоретическими мыслями своего труда, но и подчинить им жизнь.

Как это ни нелепо, но Юрали был тесно связан с моею жизнью; а то, что теперь пишу, — так трудно выполнимо.

Можно даже сказать парадокс: гораздо легче создать что-нибудь и проникнуться этим, чем подчинить себя чужому, даже такому, что теоретически принято.

Вот продолжаю я заниматься своими академическими лекциями и так ясно чувствую, что это самое меньшее из того, что надо делать, а кроме того — побочное. Это то же, что выбирать обстановку, не начав строить фундамента дома. А если приняться, как нужно, то камня на камне не останется не только от всего уклада жизни, но и от воспоминаний всех даже.

Я здесь дома, и любила я всегда жизнь здесь за тишину. Но никогда здесь не было такой неподвижной тишины, как теперь. А чем тише, тем острее ждешь необходимого.

Пишите мне, Иван Сергеевич, если найдете время и охоту.

Мой адрес: Анапа, Кубанской области. Ящик 17. Мне.

Привет.

Елиз. Кузьмина-Караваева

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

7 марта 1926 г.

7.03.1926 г.

Столько лет, — всегда, — я не знала, что такое раскаяние, и сейчас ужаснулась ничтожеству своему. Еще вчера говорила о покровности, все считала себя властной обнять и покрыть собою, а сейчас знаю, что просто молиться, — умолять, я не смею, потому что просто ничтожна.

Если материя едина и неизменна, то мне нужно ощущать духовное всеединство, как здание без крыши, внизу мы отделены материей, а сверху все сливается воедино. Это говорю так, потому что хочу, а в действительности сейчас даже не могу почувствовать своего окончательного единства с моей маленькой, с моей маленькой Натиллой.

Не только «да будет первый последним», но и во всем так. Если сильно верить в радость жизни (оптимизм), — то смерть совершенно нельзя оправдать, и вся вера принимает мрачный оттенок; и обратно: пессимистический взгляд на прелести жизни дает легкость смерти, — создает настоящую гармонию.

Рядом с Настей я чувствую, как всю жизнь душа по переулочкам бродила, и сейчас хочу настоящего и очищенного пути, не во имя веры в жизнь, а чтобы оправдать и понять и принять смерть. И чтобы, оправдывая и принимая, надо вечно помнить о своем ничтожестве. О чем и как ни думай, — большего не создашь, чем три слова: «любите друг друга», только до конца и без исключения, и тогда все оправдано и вся жизнь освящена, а иначе мерзость и тяжесть.

* * *

Противоположное

У людей разная походка, у людей разный голос, разное зрение. Иное видит близорукий, иное, — дальнорский. И не может сказать дальнор-

кий близорукому, — то, что ты видишь, — не существует, также не может сказать близорукий дальнорукому: того, что ты видишь, нет. Но часто так укоряют люди и возмущаются, — как это может быть, что другой видит то, чего я не вижу. Простая человеческая мудрость заключается в том, чтобы позволить ходить людям разной походкой, говорить разными голосами, видеть разное. И эта мудрость встречается не часто, но все же во внешней жизни она встречается. Гораздо менее ее в жизни духовной. Тут каждый придает своему собственному пути абсолютное значение и хочет, чтобы все совершенно так же развивались и двигались, а остальному не верить...

* * *

Вспомнила. В Риге молодой человек из очень трагической семьи купца. Он бездельник. Разводит голубей. Потерял веру в Бога, потому что крыса ночью отъела голубенку ноги, — как ножом срезала. Голубенка пришлось убить, — а веру потерял, потому что это несправедливость, которую Бог допустил. Если же Бог несправедлив, то просто нет Бога. Это даже сильнее, чем слезинка ребенка у Достоевского, потому что ребенок как-то с человечеством Адамовым связан, органически связан, а тут и вся тварь стонет и страждет... Много говорила с ним о том, что его чувство справедливости только отражение Божественной справедливости, что его отношение к Богу такое: *капля просит океан: «Будь мокрым».*

* * *

Молитва из посланий апостола Павла к Римлянам (8: 35–39)

«Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано: за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может нас отлучить от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.

Истину говорю, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему: я желал бы сам быть отлученным за братьев моих».

* * *

Есть люди инструментальные для Бога. Он не творит их, а творит ими. Тут уже не приходится думать о своей маленькой душе, а лишь о том, чтоб всегда быть в воле Его, орудием Его.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Творческий процесс матери Марии не знает того, что мы привыкли называть «черновиками», — рукописных листов с зачеркиваниями, многослойными исправлениями, рисунками на полях и т.д. Она писала как бы сразу набело и исправляла текст чаще всего в связи с требованиями редакторов, как правило, касавшимися объема публикуемых текстов. Естественно, что созданию текста, почти без единой помарки выливающегося на бумагу, предшествовала долгая и серьезная подготовительная работа. Наиболее полное представление о стадиях этого внутреннего процесса дают частично публикуемые в настоящем издании подготовительные материалы к повестям «Несколько правдивых жизнеописаний» и «Канитель», включающие в себя фрагменты личных воспоминаний, схемы действующих лиц, планы развития событий и др.

Тексту повести «Несколько правдивых жизнеописаний» в рукописи предшествует раздел, который сама мать Мария озаглавила «То, что нужно помнить». В него входят двенадцать пронумерованных и зачеркнутых, вероятно, по мере включения в повесть, фрагментов. Это короткие истории из жизни знакомых матери Марии людей («маминого двоюродного брата Мити»; старой армянки, «бывшей музыкантши»); запомнившиеся необычные фразы («тоска до сухого звона в голове»; «Я говорю Вам категорически: я или приду, или не приду» и др.) и даже небольшие литературные произведения (Ф. Сологуб «Веселая девчонка»); развернутые характеристики революционных деятелей «А.», «Р.» и «К.» и, наконец, личные воспоминания о «детских мечтаниях», о «детском представлении о жизни», об особом мистическом переживании, посетившем ее по дороге в Париж в Инсбруке.

За исключением нескольких необычных фраз, все эти фрагменты личных воспоминаний обрели в повести «Несколько правдивых жизнеописаний» продолжение и развитие, чаще всего давая матери Марии материал для создания образов персонажей. Так, революционеры «А.», «Р.» и «К.» превратились соответственно в Федора Иконникова и его товарищей по партии: Алексея Столбцова и Виктора Канатова; сологубовская «Веселая девчонка» стала самохарак-

теристикой Татьяны Александровны Александровской; жизненные истории мамино двоюродного брата Мити и армянки-музыкантши вошли в текст повести почти без изменений. Наиболее сокровенные личные переживания — «основное детское представление о жизни» и «пересадка в Инсбруке» — доверены в повести Алексею Алексеевичу Столбцову, человеку, чей внутренний духовный путь ведет его от революции к христианству.

Представление о том, как мать Мария «работает» с материалом собственной памяти, можно составить на примере последнего, двенадцатого фрагмента из наброска «То, что нужно помнить». Мать Мария вспоминает: «По дороге в Париж у нас была пересадка в Инсбруке или Инстербурге. Там пришлось ждать часов 8. Я оставила детей и маму на вокзале, а сама пошла покупать им хлеб. Было очень раннее утро. Прохожие не успели смять выпавшего за ночь снега. Я бродила по незнакомым улицам. Снег продолжал тихо падать. Вокруг были дома с нависшими вторыми этажами, узенькие улочки, церковки, башни с часами. В нишах — раскрашенные статуи Божьей Матери. И было это все такое особенное, что нельзя передать. Я чувствовала и совершенно точно, что я сейчас здесь дома, и не только дома, а и вблизи самых моих близких покойников. (Впрочем, снег, — падающий, — всегда и везде передает ощущение близости Б.) Так я пробродила все время. Чуть на поезд не опоздала. И ничего за эти несколько часов, собственно, не случилось. А вместе с тем я знаю, что забыть их совершенно нельзя».

В повесть «Несколько правдивых жизнеописаний» этот фрагмент вошел с небольшими, но значимыми изменениями. О своем пребывании в Инсбруке вспоминает Алексей Алексеевич Столбцов, один из революционеров, прибывших для отдыха и совещания в усадьбу Медовое, принадлежащую семейству Иконниковых. Между Катей Иконниковой, дочерью владельца усадьбы, и Столбцовым неожиданно для них возникает глубокое чувство. Единственный момент, когда их отношения приоткрываются повествователю изнутри, а не со стороны внешних наблюдений, — обрывок разговора, случайно услышанный Николаем:

«А я прислушивался к вкрадчивому и будто извиняющемуся голосу Алексея Алексеевича. Он говорил.

— Я ехал из Вены в Париж. И случилась у меня в Инсбруке пересадка. Надо было часов 8 поезда ждать. Я пошел в город... Снег тихо падал... Улица пустынная. Небо темнее земли оснеженной. Дома со вторыми этажами выступающими, в нишах часто Божья Мать стоит, будто от тихого снега укрылась, — или святые монахи какие-то, в коричневых халатах таких... Я очень долго бродил... Как-то забыл даже, каким образом я в этом городе очутился. И вдруг понял, что город-то мой, что я здесь свой, родной... Вы понимаете это?

Катя слушала очень взволнованно. Она все это, конечно, очень хорошо понимала. Задумчиво отделила она прядь своих волос и начала их грызть, — с самого детства признак напряженной мысли. А Алексей Алексеевич продолжал:

— Тихо падающий снег... Отчего-то он мне всегда мертвых напоминает. Не вообще мертвых, а моих, близких, любимых... Со души праведных скончавшихся... души рабов Твоих, Спасе, упокой... Понимаете?

Катя долгим взглядом посмотрела на него, и они повернули к реке».

Очевидно, что внешние условия вспоминаемого события сохраняются неизменными: путь в Париж, пересадка в Инсбруке, 8 часов свободного времени, прогулка по заснеженному городу. Сохраняется и само событие — тихо падающий снег в незнакомом городе и связанное с ним глубинное переживание. И в том и в другом случае подчеркивается мистическая, не вербализуемая природа вспоминаемого переживания. В первом случае это отмечается фразами: «И было это все такое особенное, что нельзя передать», «И ничего за эти несколько часов, собственно, не случилось. А вместе с тем я знаю, что забыть их совершенно нельзя». Во втором — многоточиями, постоянно прерывающими рассказ Столбцова. С другой стороны, из реального жизненного воспоминания уходят конкретные эмпирические подробности, оно символизируется и обретает большую метафизичность. Так, например, исчезает указание на время действия «раннее утро», исчезают «кузенькие улочки, церковки, башни с часами», раскрашенные статуи Божьей Матери. Вместо вполне реальной картины маленького европейского городка перед нами пустынные улицы неведомого города, являющегося как бы зеркальным отражением земного бытия: «Небо темнее земли оснеженной». В этом городе (а может быть, и Граде) обитают Божья Матерь, укрывающаяся в нишах домов от тихого снега, и святые («монахи какие-то, в халатах коричневых таких...»). В этом городе и Елизавета Юрьевна, и ее герой чувствуют себя как в родном доме, вблизи всех своих умерших близких. Рассказ Столбцова особо подчеркивает, что за гранью земного города мерцает образ вечной обители Небесного Отца, что подтверждается и цитатой из православной заупокойной службы: «Со души праведных скончавшихся... души рабов Твоих, Спасе, упокой...»

В основе хранимого памятью переживания лежит предельно личный импульс: «Впрочем, снег, — падающий, — всегда и везде передает ощущение близости Б.». Скорее всего, речь идет об Александре Блоке, чрезвычайно близком и дорогим для матери Марии человеку. Первые стихи Блока, которые прочитала ученица гимназии Елизавета Пиленко, были из сборника «Снежная маска» (1907). Она запомнила его обложку («молодой поэт вырывается на какие-то просторы»¹) и строчку «Убей меня, как я убил когда-то близких мне. Я все забыл, что я любил, я сердце вьюгам подарил...». Когда в 1914 г. молодая поэтесса Кузьмина-Караваева послала на рецензию Блоку рукопись своей книги стихов «Дорога», он отметил в ней фразу «В комнате жарко, за окнами падает снег», написав «это хорошо», а внизу добавил: «За одну строчку легко отдать все стихотворение»². И наконец, в воспоминаниях матери Марии о Блоке есть еще один «снежный» эпизод их отношений. В 1913 г. на вечере у Вячеслава Иванова в Москве Елизавета Юрьевна ожесточенно спорит с ним, поклонником Рудольфа Штейнера, чувствуя, что ведет борьбу за Блока. Поздно вечером вместе с А.Н. Толстым она выходит на улицу и еще долго бродит «по снежным сугробам, на незнакомых, пустых улицах», декларируя «в снег, в ночь, вещи для меня пронзительные и решающие»³. «Потом Толстой ушел. Я продолжала скитать-

¹ См. «Встречи с Блоком» (с. 75). (Здесь и далее, где не указаны выходные сведения, ссылки даются на настоящее издание.)

² Елизавета Кузьмина-Караваева и Александр Блок / сост. Л.И. Бучина, А.Н. Шустов. СПб.: РНБ, 2000. С. 54.

³ См. «Встречи с Блоком» (с. 86).

ся по сонной Москве. Снег падал тихими мягкими хлопьями. И вместе с этим снегом, вместе с черным и мутным небом я впервые молилась о моей стране, которая казалась мне живой, безумной, оставленной и голосящей в бескрайних полях. Я молилась о Блоке, — уже заблудившемся, уже потерявшем след, я молилась, чтоб Христос дал мне свою силу, чтобы помочь им. На рассвете, крылатая, радостная и какая-то всесильная, я вернулась домой»⁴.

Налицо явное совпадение как в деталях, так и в самой природе московского, 1913 г., и инсбрукского, 1920-х гг., событий-переживаний. Скитание по пустым незнакомым улицам, тихо падающий снег, темное небо, которые становятся внешними атрибутами таинственной встречи с инобытийной реальностью. В результате тихо падающий снег обретает для матери Марии качество знамения, символа, образа, не столько воскрешающего эмоциональное переживание, сколько возвращающего к пережитой некогда духовной реальности. Этот образ со всеми его мистическими смыслами явственно проступает в пространстве повести, но личные импульсы, его породившие, уходят внутрь, универсализуются.

Хотя другие художественные тексты матери Марии не предваряются личными воспоминаниями, личные импульсы в них, несомненно, сохраняются. Так, например, «голубиное стрельбище», присутствующее в черновых набросках к «Канители», мы встречаем в одной из редакций воспоминаний матери Марии о Блоке: «Мне было трудно заставить себя учиться. Вместо гимназии я отправлялась бродить далеко через Петровский парк, на свалку мимо голубино-го стрельбища. Самая острая тоска за всю жизнь была именно тогда»⁵. Образ рабочего, чердачного Петербурга, который юная Елизавета Пиленко восприняла через свою одноклассницу по гимназии, узнаваемыми чертами проявляется в ее повестях: «дешевые обои с цветочками», «окна, выходящие на желтую стену», «лестница, на которой пахнет кошками».

Это, характерное для модернистской поэтики, стремление постичь существование личности не только в ее социально-бытовой и психологической обусловленности, но и через «ее вовлеченность в самые всеобщие вещи, такие как Само-бытие»⁶, во многом определило последовательность становления творческого замысла матери Марии. Одной из начальных стадий формирования замысла для нее зачастую является организация пространства, позволяющего героям жить не только в городе, усадьбе, доме, но и во всем Божьем мире и даже за пределами земного бытия.

Так, подготовительные наброски к повести «Несколько правдивых жизнеописаний» включают в себя «топографический раздел», в который входит описание города, «похожего на Тверь», и усадьбы — места обитания «старика». Образ города создается деталями двух рядов: с одной стороны, закрытое, душное, земное пространство («круглая площадь с казенными домами»); с другой — бесконечный простор, раскрывающийся вдаль и вверх («на другом берегу на далеком лугу знаменитый монастырь» и «собор с куполом синим, а по нем

⁴ «Блок» (с. 482–483).

⁵ «Встречи с Блоком» (с. 74).

⁶ Седакова О.А. При условии отсутствия души. Постмодернистский образ человека // Наше положение. Образ настоящего: Сборник. М.: Изд-во гуманитарной литературы, 2000. С. 110.

звезды»). Усадьба «старика» наделена атрибутами традиционного усадебного пространства: дом, сад-парк, парковая аллея. Но в отличие от традиционного усадебного парка, хранящего свою отгороженность от остального мира, местообитание старика оказывается «неуловимым» и принципиально открытым к пространствам иных типов: «...какими-то заборами на город и на пустыри выходит. К реке крутым обрывом. И вдруг, чуть ли не в центре города, между магазинами калиточка в парк — в парковую аллею, а потом в заросли, а дальше дом, где старик живет»⁷. В повести эта идея двойной жизни усадьбы получит развитие через образы многочисленных гостей, стекающихся в усадьбу Медовое со всей России тайком от жителей города: «В городе Семена Алексеича считали нелюдимым. А между тем я не преувеличу, если скажу, что Медовое было известно многим в самых отдаленных углах России как место, куда можно незваному пожаловать. И дом был, действительно, всегда этими незваными набит»⁸.

В набросках к повести «Канитель» оппозиция открытого и закрытого пространства выражена еще очевиднее. Мать Мария нумерует предполагаемые эпизоды повести и делит их на две группы: «Дом» и «Воля». В первую группы попадают, например: «1. Дом, населенный “канителью”»; «2. Общая нелепость отношений»; «5. Два вида религий»; «8. Старик “дарвинист”» и др. В раздел «Воля» автором отнесены следующие эпизоды из предварительного плана повести: «3. На их фоне “молода”»; «4. Философия ее мужа»; «6. Бегство»; «7. Старый охотник» и др.

Характерно, что мать Мария так же, как в случае с усадьбой Медовое, обращается к традиционному и хорошо разработанному в русской литературе типу пространства — дому. «Дом в разрезе», как слепок социального устройства общества, появился в произведениях русских писателей, принадлежавших к «натуральной школе», еще в 40-х гг. XIX в. Мать Мария сохраняет размещение героев по этажам в зависимости от их социального достатка, но разрушает непроницаемость границ между этажами и социальными группами. Обитателей чердака с населением первых этажей связывают отношения любви, они равны перед правдой жизни и смерти. Поэтому и в черновых набросках важны обобщающие и смежные характеристики пространства: «весь дом», «уход из “канители”», «площадка», а в основном тексте — «лестница» (как место встречи обитателей разных этажей).

Одновременно с организацией пространства в черновиках происходит формирование повествовательной позиции. В повести «Несколько правдивых жизнеописаний» рассказ ведется от лица младшего сына старика Иконникова Николая. В черновых набросках мать Мария ищет достоверную мотивацию, позволяющую рассказчику начать повествование, и как будто примеряет к себе маску этого чужого «Я»: «“Я” обязан по обещанию жизнеописать всю эту компанию, которая сначала вместе училась, потом разбрелась и наконец постепенно стянулась в наш город Медынский»⁹. В окончательном тексте повести «обещание» рассказчика превращается в «обязательство», обретает качество не только личного долга, но и исторического свидетельства, хотя в целом этическая мотивация

⁷ См. набросок «Несколько точных жизнеописаний» (с. 499).

⁸ «Несколько правдивых жизнеописаний» (с. 398).

⁹ «Несколько точных жизнеописаний» (с. 499).

повествования сохраняется: «...не смущает меня сложная задача жизнеописания, потому что, во-первых, так условлено было между нами: мною и сестрою моею Екатериной Семеновной, а, во-вторых, несмышленность и молодость мои делали меня по мере сил беспристрастным наблюдателем всего происходившего, и, таким образом, могу я передать виденное, не кривя душой ни в чью сторону»¹⁰.

В «Канители» «Я» рассказчика более приближено к авторскому «Я», поэтому возникает необходимость в более сложных эстетических объяснениях читателем, в первую очередь, о принципах построения образа человека в повести. В одном из черновых сценарных планов «Канители» первым пунктом обозначено: «Невозможность написать о человеке всего». В самой повести этот тезис разворачивается в обширную эстетическую декларацию: «разбиваются люди на сотни и тысячи планов, и каждый план свое самостоятельное значение имеет»¹¹; «любой отрезок жизни, час один, прожитый человеком, — требует тома для описания своего»¹²; «И так мелочь за мелочью, мелочь за мелочью, — будто в пыль рассыпается человек, и неизвестно, что в нем одним общим именем назвать можно»¹³. Сложность и многослойность душевной жизни человека, открытая и облеченная в художественную форму Л.Н. Толстым, в классической русской литературе сочеталась с понятием «характера», некой социально-типологической модели, определявшей внешнее поведение героя. Отбор качеств, «планов» человеческого бытия, из которых складывается облик героев, у матери Марии определяются совсем по-иному: «Это только в пристрастии своем к некоторым из них, что-то мне напоминающим, хочу рассказать о сотой или тысячной доле того, что на самом деле знаю»¹⁴. Критерием отбора материала оказывается не верность «правде жизни», а близость к экзистенциальному опыту автора.

Следующей стадией развития творческого замысла, зафиксированной в черновиках матери Марии, становится составление списка действующих лиц. Герои будущей повести выписываются в столбик и нумеруются: в повести «Несколько правдивых жизнеописаний» их 11, в первой редакции «Канители» — 14, во второй — 6. Описание каждого персонажа состоит из двух частей: «имени», в качестве которого может выступать социальная, родовая или какая-либо другая принадлежности персонажа («Иконников», «табашник», «соседка», «дочь К.», «горбунья»), и минимальной характеристики. Причем если в «Канители» характеристики действующих лиц представляют собой перечисление неких ключевых качеств героя («дарвинист — пессимизм, никому не верит, высшая порода»; «охотник — мудрость и природа»), то в повести «Несколько правдивых жизнеописаний» герои соотношены с их жизненными или литературными прототипами, названными в разделе «То, что нужно помнить»: «3. Р. — его товарищ Столбцов»; «7. В<еселая> Д<евчонка> — товарищ Таня»; «10. Армянка — соседка» и т.д.¹⁵

¹⁰ «Несколько правдивых жизнеописаний» (с. 391).

¹¹ «Канитель» (с. 356).

¹² Там же.

¹³ См. с. 611.

¹⁴ «Канитель» (с. 356).

¹⁵ Полностью схема взаимодействия героев из чернового наброска к повести в тексте настоящего издания не приводится. См. ил. на с. 498, воспроизводящую страницу рукописи с данной схемой.

Рядом со списком действующих лиц мать Мария чертит схему взаимодействия персонажей повести. Ей чрезвычайно важно найти узел, позволяющий связать всех героев в единую сюжетную конструкцию. В повести «Несколько правдивых жизнеописаний» искомая целостность возникает благодаря пересечению и взаимодействию двух групп персонажей: семьи Иконниковых и революционеров, приезжающих на совещание в усадьбу Медовое. Остальные персонажи включаются в орбиту их взаимодействия благодаря родственным и любовным связям (Митяйка влюбляется в Татьяну Александровну, Марья Сергеевна — в черновиках «соседка дальняя» — становится женой Федора Иконникова). Взаимность или односторонность возникающих между героями отношений обозначается направлением стрелочек, соединяющих персонажей между собой. На схеме члены семьи Иконниковых, Митяйко и его жена, Марья Сергеевна и ее квартирная хозяйка Пелагея Михайловна расположены в горизонтальной плоскости, а революционеры — в вертикальной. На символическом уровне пересечение этих двух плоскостей, широкой раскинутости Руси и ее революционной взвихренности, и составляет основной узел повести, дает общую комбинацию «лиц и характеров, мелких событий и единого Великого события»¹⁶.

Черновые наброски к «Канители» сохранили три варианта предварительной схемы взаимодействия действующих лиц повести. Очевидно, что именно невозможность увязать всех намеченных героев в единый сюжет в конечном итоге приводит мать Марию к расслоению замысла на три части. Из первой редакции «Канители» вырастают «Ряженные», «Вадим Павлович Золотов» и вторая редакция «Канители» со значительно меньшим количеством действующих лиц. Первоначально система персонажей должна была соединять два принципа: противопоставление героев «канители» — героям «воли», «природы» (охотник и его дочь) и разделение «канительных» персонажей по этажам дома. В окончательной схеме, воплотившейся во второй редакции «Канители», сохраняется только второй принцип. Согласно первоначальному замыслу, на первом этаже должны были обитать «дарвинист», две его дочери «М.» и «К.» и персонаж, обозначаемый в черновиках как «сын-муж», — возможно, муж героини, от лица которой предполагалось вести повествование. На втором этаже располагалась вторая семья «дарвиниста», состоявшая из «эстетической дамы» и двух ее сыновей: «сын Г. — сильная личность» и «сын лоботряс». Третий этаж был населен еще четырьмя персонажами: «б<ывшая> проститутка» Анна Ивановна, ее муж, ее дочь «горбунья» и квартирант «табашник». Почти от всех поселенных в доме персонажей стрелочки были направлены в сторону охотника и его дочери, которые должны были «ворваться» в жизнь дома, произвести «революцию “чужеядных”» и привести к «уходу из “канители”».

В результате схема значительно упростилась и приобрела почти математическую стройность: на первом этаже — три человека («дарвинист» и его дочери «Ольгуша» и «Соня»); на втором этаже — два («эстетическая дама», превратившаяся в «старуху Колоколову», и единственный ее сын Николай); на чердаке — один («швейка», унаследовавшая имя Анны Ивановны). Нити отношений связывают, с одной стороны, «дарвиниста» и Колоколову, а с другой — Оль-

¹⁶ «Несколько правдивых жизнеописаний» (с. 392).

гушу, Николая и швейку. История любви табашника к горбуны выделилась в самостоятельный рассказ «Вадим Павлович Золотов».

После того как все герои увязаны в единый сюжетный узел и ясны связывающие их отношения, возникает план повести, отражающий последовательность «жизнеописаний» и событий по главам. Планов может быть несколько (вторая редакция «Канители»), в окончательном тексте последовательность эпизодов и деление по главам может меняться («Несколько правдивых жизнеописаний»), но в целом типология эпизодов, композиция, основные сюжетные ходы будущего произведения на стадии плана уже находят свое воплощение.

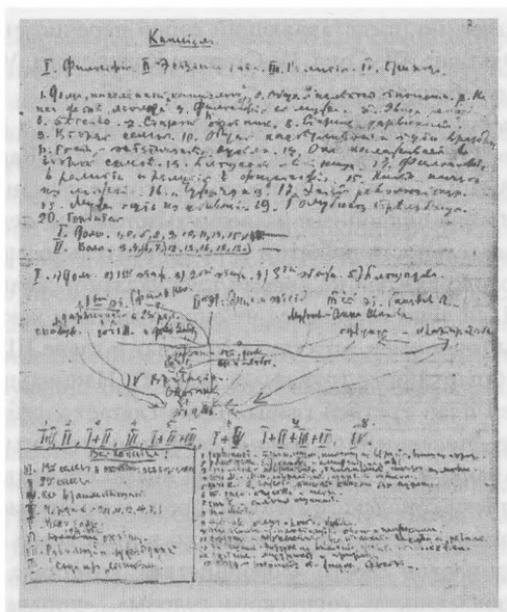
Так, план повести «Несколько правдивых жизнеописаний» имеет четкую двухчастную структуру, отражающую деление событий и отношений на до- и послереволюционные. Характерно, что в первую часть попадают эпизоды любви и жизни («Павел и квартирантка», «Столбцов и Катя», «Митюшко и Таня»), а во вторую — разрушения и смерти («Смерть соседки», «Смерть Иконникова», «Смерть Столбцова и Кати», «Митюшко-комиссар преследует Таню»).

Планы, составляемые матерью Марией к своим произведениям, убеждают нас в том, что главный интерес для нее представляют люди и их отношения, которые раскрываются в самых предельных ситуациях любви и смерти. В двух планах второй редакции «Канители» ситуация болезни и смерти последовательно примеряется к самым разным героям: «старухе Колоколовой», Анне Ивановне, ее ребенку, Ольгуше. В плане «жизнеописаний» смерть упоминается трижды. Ситуация столкновения человека со смертью становится сюжетной основой рассказа «Ряженные», возможно, тоже выделившегося из первоначального замысла «Канители». Именно героиня «Ряженных» формулирует, что открывает человеку встреча со смертью: «Тоненькой пленкой, как первым ледком рек, покрыта бездонность этим вот видимым и всем доступным миром»; «все в ничто упирается, все смертью отсвечивает, небытием»¹⁷. Но наряду с этим всегда стерегущим небытием в жизни человека есть минуты, которыми, по выражению старика Иконникова из повести «Несколько правдивых жизнеописаний», «мы стремимся все оправдать»: «Иногда это с детства запомнившийся луч солнца, положивший квадраты оконных рам перед нашими ногами на пол. Иногда это час такой ночных размышлений, когда вдруг душа расширится и порвет все пути свои. Иногда это жалость к больному ребенку, который вдруг улыбнулся сквозь жар и беспомощность»¹⁸. Эти ситуации «откровения жизни» и «откровения смерти» и создают сюжет в произведениях матери Марии и, соответственно, становятся звеньями плана ее повестей.

В большинстве случаев в черновых набросках матери Марии план непосредственно предшествует созданию текста повести. Но в подготовительных материалах к первой редакции «Канители» мы находим пример предварительного плана, отражающего не только последовательность эпизодов, но и философский замысел повести. Предполагалось, что в повести будут рассмотрены четыре грани человеческого бытия: «I. Философия. II. Эстетика быта. III. Религия. IV. Природа». Эти самые общие категории должны были быть раскрыты в

¹⁷ «Ряженные» (с. 349).

¹⁸ «Несколько правдивых жизнеописаний» (с. 434).



Черновой набросок к повести «Канитель»: план со схемой взаимодействия героев. БАР

20 эпизодах, над некоторыми из них были сделаны пометы, соотносящие подробный план с общим:

- «1. Дом, населенный “канителью”; 2. Общая нелепость отношений — э<стетика>; 3. На их фоне “молода”; 4. Философия ее мужа — ф<илософия>; 5. Два вида религии; 6. Бегство; 7. Старик охотник — п<рирода>; 8. Старик “дарвинист”; 9. Вторая семья; 10. Общая надоедливость и пути вразброд; 11. Гости — эстетические куклы; 12. Она налаживает во второй семье; 13. Площадка, лестница; 14. Философия в религии и религия в философии; 15. Никто ничего не может; 16. “Чужаядное”; 17. Эстет-революционер; 18. Муж чуть не убивает; 19. Голубиное стрельбище; 20. Горбатая».

Судя по приведенному плану, на ранних стадиях своего существования замысел «Канители» включал в себя как личные, автобиографические мотивы (бегство из «канители» города и дома к природе), так и стремление создать целостный образ предреволюционной эпохи сквозь призму ее интеллектуальных и духовных интересов («общая надоедливость и пути вразброд»). Вероятно, попытка идти в построении сюжета от рациональной философской конструкции не оправдала себя, и мать Мария вернулась к более естественному для нее типу «жизнеописаний». В своей автобиографической прозе она свидетельствовала: «У меня вообще очень сильно стремление к наблюдению и к коллекционированию человеческих типов»¹⁹. Видимо, поэтому вторую редакцию «Канители» предваряет своеобразный план, по внешнему оформлению напоминающий

¹⁹ «При первых большевиках» (с. 117).

план первой редакции, но представляющий собой перечисления персонажей: «I. Дарвинист. II. Ольгуша. III. Соня. IV. Старуха Колоколова. V. Николай Колоколов. VI. Швейка с ребенком».

Планы предшествуют не только художественным, но и мемуарным текстам матери Марии. Так, история о том, как Е.Ю. Кузьмина-Караваева была городским головой Анапы, имеющая в рукописи второе название «При первых большевиках», снабжена подробным развернутым планом, цель которого восстановить последовательность событий и приблизительно определить объем будущего текста (около каждой из восьми глав указано, сколько страниц она будет занимать). План явно создавался не одновременно: какие-то эпизоды в главах вычеркнуты (например, «отставка Морева» в главе III), какие-то, наоборот, добавлены («партийные группы» в главе I). Наибольшей переработке оказался подвержен план третьей главы «Дума слагает с себя полномочия и передает их Управе», посвященной самому сложному моменту в деятельности матери Марии в Анапе — времени, когда она волею обстоятельств начинает исполнять обязанности городского головы города и принимает ряд решений, оспариваемых ее оппонентами. Первоначально в этой главе она предполагала осветить семь эпизодов своего «головинства»: «отставка Морева», «я — исп<олняющий> обязанности городского головы», «управские заседания», «дело Домонтовича», «раздача участков для постройки домов», «мобилизованные женщины» и «поездка за нефтью в Новороссийск». Однако, в конечном итоге, план главы значительно расширился и включил в себя 16 эпизодов, среди которых «матросы», «дело Разумихина», «революционный трибунал», «ответственность за учителей», «санатории и аптека», «участок Будзинского» и т.д.

В тексте воспоминаний деление на главы, предложенное в плане, сохраняется, но распределение материала внутри глав в ряде случаев оказывается иным. В начале каждой главы мать Мария еще раз записывает те события, характеры, ситуации, о которые собирается рассказать. Планы, предвещающие главы, в целом соответствуют общему плану, но не дублируют его: меняется количество и порядок эпизодов, заголовки глав превращаются в один из пунктов их содержания. В процессе написания главы логика изложения снова меняется, в результате чего исчезает прямое соответствие содержания главы плану. Например, и в общем, и в предвещающем главу III плане есть пункт «Дело Разумихина», однако Разумихин в этой главе нигде не упоминается, и лишь в главе V появляются братья Разумихины, один из которых погибает во время покушения на Протапова. История о том, как мать Мария дает подпись по должности, которая фактически не существует, чтобы Будзинский имел возможность продать свой дачный участок, по первоначальному плану должна была войти в главу III. В ходе написания воспоминаний эпизод «участок Будзинского» перемещается в главу IV, но и здесь не сразу находит себе место. В предвещающем главу плане он стоит до рассказа об отставке и обвинении в саботаже, в тексте же главы — после этих эпизодов. Подобного рода трансформации свидетельствуют, с одной стороны, о некоторой спонтанности процесса воспоминания, продолжающегося и в момент записывания (об этом же говорят конструкции типа: «забыла рассказать»; «я уже часто упоминала в своем рассказе его имя, но думаю, что общего облика нашего диктатора не дала» и т.п.), а с другой стороны — об авторской установке сохранить в сознании читателей и потомков определенные эпизоды.

Так, история о бескорыстной и даже опасной для самой матери Марии помощи Будзинскому крайне важна в свете его обвинений в ее адрес: Будзинский выступал на суде, судившем Е.Ю. Кузьмину-Караваеву за пособничество большевикам, главным свидетелем обвинения и собирался предъявить к ней иск в 800 тысяч рублей «за убытки в реквизированной санатории».

Наличие плана и схемы действующих лиц позволяет матери Марии приступить к созданию текста. Если замысел вполне оформился, пишется легко, можно сказать, на одном дыхании. Так, почти без поправок написан текст повести «Несколько правдивых жизнеописаний». Замысел воплощается в том виде, в каком он сложился в черновых набросках; меняются только одно слово в заглавии (в черновиках было «Несколько точных жизнеописаний») и имена некоторых действующих лиц (Павел Иконников превращается в Федора, а Митюшко — в Митяйко).

Неопределенность замысла «Канители» приводит к появлению двух редакций текста повести. Первая редакция содержит две главы, рассказывающие об обитателях чердака и первого этажа. В начале каждой главы дан короткий план, который не вполне соответствует следующему за ним тексту — так, ни в той, ни в другой главе не появляются обещанные «охотник» и «охотница».

Первая редакция повести имеет как бы два начала. Первый абзац дает своеобразную экспозицию, описывает чердачную квартиру и ее обитателей, «надрыв быта». Затем это традиционное начало как бы отбрасывается, следует фраза «Горбатые люди — совсем особые люди», и внешний мир дается уже сквозь призму этой «особости», изнутри сознания горбатой героини. В дальнейшем повествовательная позиция, представляющая сознание кого-либо из героев, чаще всего — горбуни Саши, чередуется с повествовательной позицией всезнающего автора, стоящего над текстом. В окончательной редакции повести автор скрывается за фигурой повествователя — свидетеля, но не участника происходивших событий: «Вот задумалось мне рассказать о многом, хорошо известном и часто виденном»²⁰. Однако найденный в первой редакции прием повествования сквозь призму особого, искаженного внешним уродством сознания, сохранен матерью Марией в рассказе «Ряженые».

Первая редакция «Канители» обрывается на характеристике сына дарвиниста Александра Константиновича Полозова Кости, единственной надежды отца на «продолжение славного рода до сверхчеловека»²¹. Оставшаяся часть листа заполнена рисунками, не имеющими прямого отношения к тексту повести и, возможно, появившимися значительно позднее. Сохранились следы авторской работы над текстом: вычеркивания и пометы, свидетельствующие о том, что в окончательную редакцию были перенесены целые отрывки первой редакции, связанные с характеристикой того или иного персонажа. Эти отрывки маркированы обведенными в рамочку пометами: «Ольгуша», «дарвинист», «Соня», «П.А.» (Николай Колоколов).

Фрагменты первой редакции, описывающие отношения между героями, также не исчезают бесследно. Историю любви табашника Мавриды к горбунье Саше мы находим в рассказе «Вадим Павлович Золотов». Сложный комплекс

²⁰ «Канитель» (с. 356).

²¹ См. первую редакцию начала повести «Канитель» (с. 495).

чувств, связывающих Сашу и Николая, Ольгушу и Мавриды, сохраняется в самой «Канители», но как бы передоверяется другим героям. Чувство любви к Николаю Колоколову как к прекрасно-иному существу испытывает теперь не горбунья Саша (которая вообще исчезает со страниц повести), а швейка Анна Ивановна. К нему же в окончательном варианте «Канители» привязана и Ольгуша тем сложным сплавом любви, тяжести и подвига, который в первой редакции определял ее отношение к Мавриды.

Попутно отметим «пристрастие» матери Марии к определенным именам. Герои сохраняют их, даже кочуя из одного замысла в другой, как это происходит с «горбуньей Сашей» и «Георгием Георгиевичем Мавриды». На чердаке в «Канители» должна жить непременно не имеющая фамилии «Анна Ивановна», которая в окончательной редакции оказывается уже не бывшей проституткой, матерью Саши, а швейкой, влюбленной в Николая Колоколова. Выбор имени может быть мотивирован его социальным контекстом. В «Канители» на первом этаже располагается семейство, имеющее дворянскую фамилию Полозовых (в окончательном варианте — Столбцовых); на втором — менее знатные и богатые Колоколовы, судя по фамилии, имеющие корни в духовном сословии; на третьем — бесфамильная швейка Анна Ивановна. В других случаях очевидны смысловые и автобиографические интенции в наименовании героев. Например, фамилия «Иконников» подчеркивает иконичность, идеальность главного героя повести «Несколько правдивых жизнеописаний», а фамилия «Митяйко» произведена от имени «маминоного двоюродного брата Мити», ставшего прототипом героя той же повести. Тем любопытнее, что мать Мария могла внезапно менять имена своих героев или непосредственно перед написанием текста, или даже в ходе его написания. Так, старший сын Иконникова во всех черновых набросках значится как Павел, а в тексте повести фигурирует как Федор; семейство Столбцовых носит фамилию Полозовых как в первой редакции, так и на первых страницах второй редакции повести «Канитель».

Вероятно, сразу же за созданием письменного текста начиналась его подготовка к публикации. Об этом свидетельствуют сложные цифровые подсчеты, почти всегда появляющиеся в конце рукописей матери Марии. Путем умножения среднего количества букв в строке на количество строк и страниц она высчитывает приблизительное число печатных знаков в будущей публикации. Скорее всего, это было связано с требованиями редакторов газет и журналов, в которых мать Мария публиковала свои произведения, — планируя номер, редакторы, как правило, выделяют под тот или иной текст определенный объем страниц и следят за тем, чтобы авторы не превышали его.

Промежуточное звено между рукописью и печатным текстом в творческом процессе матери Марии занимала машинопись, появлявшаяся в ходе подготовки текста к публикации и, вероятно, передававшаяся в редакции. Машинописей могло быть несколько, так как они делались под копирку. В машинописные экземпляры тоже вносились правка: как техническая (дописывались непечатавшиеся буквы и знаки), так и смысловая (добавлялись сноски — например, в машинописи текста «Как я была городским головой» от руки добавлено 17 сносок), осуществлялась серьезная переработка текста, включавшая даже смену заглавия (в машинописи заглавие очерка «О Блоке» меняется на «Встречи с Блоком»).

Анализ правки рукописного текста и его сопоставление с машинописными копиями позволяет сделать ряд наблюдений над тем, как шла работа матери Марии над уже сложившимся текстом. Типологически в правке рукописи чаще всего встречаются вычеркивания как отдельных фраз, так и обширных фрагментов текста. Это позволяет предположить, что одной из основных причин крупной правки было стремление уложиться в заданный редакторами объем. Однако требования редакторов были отнюдь не единственной причиной авторской доработки текста. Следует отметить также политические, этические и художественные мотивы, подвигавшие мать Марию к изменению написанного.

Политические и этические мотивы в большей степени заявляли о себе в работе над текстами мемуарного характера, предполагавшими упоминание еще живущих людей и создание собственного образа. Так, в рукописи мемуарного очерка «При первых большевиках (Как я была городским головой)» вычеркнуто около 15 фрагментов текста, среди которых развернутая характеристика большевика Протопова, нелицеприятные замечания о деятельности доктора Будзинского и доктора Стальнова, детали, передающие атмосферу безысходности и жестокости жизни Анапы «под белыми». Подобного рода наблюдения могли быть неадекватно восприняты читателями эмигрантского левозсеровского журнала «Воля России», в котором публиковался очерк. С другой стороны, мать Мария вычеркивает, казалось бы, совсем безобидное замечание о том, что в Екатеринодаре, где проходил суд, она остановилась «в семье почти незнакомой, у дочери анапской начальницы Мариинского училища». Возможно, вычеркивание связано с нежеланием подводить под удар новой власти людей, некогда связанных с ней и оставшихся в большевистской России. Очевидно, что те же соображения заставляют мать Марию в машинописи заменить ряд имен и географических названий буквами или вымышленными именами и названиями.

В создании собственного образа в очерках «При первых большевиках» и «Встречи с Блоком» последовательно прослеживается тенденция к самоумалению, стремление уйти от развернутых самохарактеристик, приписывания себе особых талантов и побед. Например, в рассказе о своем головинстве мать Мария убирает тему азартного «заигрывания» с большевиками («...история моего бегства с Худаниным настроила меня настолько азартно, что я предложила ему отправиться ночевать к каким-нибудь товарищам, а мне уступить свою комнату» и т.п.), позволяя проявиться в тексте основному мотиву своей деятельности — «защите человека».

Безусловно, что помимо задач политического и этического свойства мать Марию волнует и собственно художественная сторона написанного. Возможно, именно эстетическое чутье заставляет ее убирать из текстов все, что нарушает некую внутреннюю меру художественного целого излишней пристрастностью, азартностью, вовлеченностью в споры современности. Правка идет на макро- и микроуровнях. Так, из «Встреч с Блоком» (правка машинописи) уходят характеристики людей, втянутых в орбиту ситуации, но невольно отвлекающих читателя от Блока как центральной фигуры очерка: Любви Дмитриевны Менделеевой, Валерия Брюсова, — однако уходят и метафизические и символические откровения матери Марии о личности Блока, о смысле войны, позволяя читателю самому совершить поиск внутренних смыслов происходящего. С другой стороны, ведется и стилистическая правка, проявляющая себя

чаще всего не в поиске более точного слова, а в стремлении к большей выразительности высказывания. Например, фраза, которую юная Елизавета Пиленко мысленно обращает к Блоку, получает экспрессивное завершение в виде слова «никогда»: «Вы умираете, а я буду, буду, буду бороться со смертью, со злом, и за вас буду бороться, потому что у меня к вам жалость, потому что вы вошли в сердце и не выйдете из него *никогда*»²² (курсив наш. — Ю.Б.).

Таким образом, некоторые текстологические наблюдения над творческим процессом матери Марии позволяют говорить о ее прозе как о явлении самобытном и несомненно представляющем интерес не только с исторической, мемуарной, но и творчески-художественной стороны. Своей антропоцентричностью, чувством гармонии художественного целого, уважением к читателю, чуткостью к исторической действительности она обнаруживает тесную связь с традицией русской литературы XIX в. В то же время она ищет новых подходов к человеку и миру, новой интонации в обращении к читателю, позволяющей говорить «от глубины к глубине». Не дерзнем заявлять о принципиальной новизне художественных поисков матери Марии, но безусловно можно говорить, что в ее творчестве модернистская поэтика обрела плодотворное воплощение и своеобразное развитие.

²² «Встречи с Блоком» (с. 76).

Приложение 1. ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

БЛОК (ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ ОЧЕРКА «ВСТРЕЧИ С БЛОКОМ»)

Тридцать лет тому назад, летом 1906 года, в моей жизни произошло огромное событие, благодаря которому я стала взрослым человеком. За плечами было только 14 лет, детский опыт переоценки ценностей 905-го года, преклонение перед мне неведомыми героями революции, разрозненные осколки какого-то еще старого мирозерцания, не всегда сочетаемого с новым. Все давалось легко: один горячий разговор опровергал патриотические настроения периода японской войны, русская история строилась чуть ли не по Шишко, впервые в сознание входило понятие о новом герое, имя которому — было Народ, молодое чувство всего более жаждало подвига, жертвы. Единственное, что смущало и мучило, — это необходимость дать ответ на самый важный вопрос: верю ли я в Бога? Есть ли Бог?

И вот ответ пришел. Пришел с такой трагической точной неопровержимостью. Я даже и сейчас помню пейзаж этого ответа. Рассвет жаркого летнего дня. Ровное румяное небо. Черные узоры овальных листьев акаций. Громкое чириканье воробьев, — только просыпаются. А в комнате торжественная смерть. Только что умер мой отец. Близкие плачут. Ничего нельзя вернуть. Первое горе во всей его неотвратимости. И мысль простая в голове: «Эта смерть никому не нужна, она несправедливость. Значит, нет справедливости. А если нет справедливости, то, значит, нет справедливого и милосердного Бога. Если же нет справедливого Бога, то, значит, вообще Бога нет». Никаких сомнений, никаких доводов против такого вывода. На рассвете жаркого дня, еще до появления солнца, вместе со смертью моего отца, в моей детской душе умерла вера в Бога.

Бедный мир, в котором нет Бога, в котором царствует смерть, бедные люди, бедный «Народ», — бедная революция, которая тоже умирает, бедная я, маленькая девочка, вдруг ставшая взрослой, потому что узнала тайну взрос-

лых, что Бога нет и что в мире есть горе, зло и несправедливость. И у девочки сжимается сердце, воля напрягается, — надо бороться, против смерти, против того, кто обманывает и говорит, что Он есть, против зла, против несправедливости, — за какую-то иную светлую и добрую жизнь, за народ, за революцию. Так кончилось детство.

* * *

Осенью я впервые уехала надолго от Черного моря, от юга, ветра, солнца, свободы. Первая зима в Петербурге. Небольшая квартира на Басковом переулке. Гимназия. Утром начинаем учиться при электрическом свете, и <на> последние уроки тоже зажигают лампы. На улицах рыжий туман. Падает рыжий снег. Никогда, никогда нет солнца. Родные служат панихиды, ходят в трауре. В панихидах, — какая-то примиренность. А я мириться не хочу, да и не с кем мириться, потому что Его нет. Если можно было сомневаться и колебаться дома, то тут-то, в этом рыжем тумане, в этой осени проклятой, никаких сомнений нет. Крышка неба совсем надвинулась на этот город-гроб, а за ней, — пустота.

Я ненавидела Петербург. Мне было трудно заставить себя учиться. Вместо гимназии я отправлялась бродить далеко, через Петровский остров, на свалку, мимо голубинового стрельбища. Самая острая тоска за всю жизнь была именно тогда. И душе хотелось подвига, гибели, — за всю, за всю неправду мира, чтобы не было этого рыжего тумана и бессмыслицы.

У меня была подруга, учившаяся со мною в одном классе, хотя было ей года на четыре больше, чем мне. Она была горбата, очень ревнива и очень умна. Знала она жизнь совсем иную, чем я, и многому меня научила. Она мне первая рассказала о Достоевском, — о том, как он пишет про лошадь, — в осенний день, на грязной улице, среди луж и слякоти, бьют лошадь поленом по большим, беспомощным и кротким глазам. Она мне рассказывала о жизни петербургской улицы, о 1-ой Рождественской. Ее мать была швейкой, отчим носильщиком с Николаевского вокзала. Кто был ее отец, она не знала, — студент какой-то. Квартира их была на втором дворе, на лестнице пахло кошками, окна выходили в желтую стену, в комнатах были дешевые обои с цветочками. Тоска, тоска в мире, в котором нет Бога.

В это же время я прочла первую из всех книг, которые вонзились в сердце, — «Идиот» Достоевского... Если бы Достоевский знал, что его книги еще сильнее раскаляли душу к жажде борьбы. В классе моем не было революционных настроений, — увлекались Андреевым, Комиссаржевской, Метерлинком. Я мечтала встретить настоящих революционеров, которые каждый день готовы пожертвовать своей жизнью за Народ, за правду. Мне случилось встречаться с какими-то маленькими партийными студентами, но они не жертвовали жизнью, а рассуждали о прибавочной стоимости, о капитале, об аграрном вопросе. Это сильно разочаровывало. Я не могла понять (и сейчас не очень понимаю), отчего политическая экономия, — вещь более увлекательная, чем счета с базара, которые приносит моей матери кухарка Аннушка. В сущности, мой нигилизм распространялся даже и на политическую экономию. Единственно, что было свято и непререкаемо, — это тоска и жажда подвига.

И вид у меня был нигилистический: драные локти гимназического платья, никогда не закрывавшаяся шуба и большая финская шапка с ушами. Никакого стремления к красивости, к кокетству. Поистине, — трагическое настроение, тоска, нигилизм, ощущение гибели.

Белые ночи оказались еще более жестокими, чем черные дни. Я бродила часами, учиться было почти невозможно, писала стихи, места себе не находила, — смысла не было не только в моей жизни, — во всем мире безнадежно утрачивался смысл.

Осенью опять рыжий туман. Родные решили меня развлекать, заставить чем-то увлечься, выбить из колеи патетической тоски и патетической веры в бессмыслицу.

Была у меня двоюродная сестра, много старше меня, девушка положительная, веселая, умная. Она кончала медицинский факультет, имела социал-демократические симпатии и совершенно не сочувствовала моим бредням. Я была для нее декаденткой. Все просто: Бога нет, но зато совершенно точно доказано и даже в микроскоп можно увидеть, что есть микроб. В мире много зла, — но Маркс тоже совершенно точно сказал, как произойдет прыжок из царства необходимости в царство свободы и т.д. По доброте душевной она решила заняться мной, и заняться не в своем, а в моем собственном духе.

Однажды она повезла меня на литературный вечер какого-то захудалого реального училища, куда-то в Измайловские роты.

В рекреационном зале много молодой публики. В каждой столице есть своя провинция, — так вот тут была своя измайловскоротная, реального училища провинция. На эстраде певицы поют, виолончелисты и скрипачи играют, им аплодируют. Читают стихи поэты-декаденты. Их довольно много. Один высокий, без подбородка, с огромным носом и с прямыми прядями длинных волос, в долгополом сюртуке, читает весело и шепеляво, — каша во рту. Говорят, — Городецкий. Другой Дмитрий Цензор, — лица не запомнила. Еще какие-то, — не помню. И еще один, очень прямой, гордый какой-то, голос металлический и усталый, темно-медные волосы, лицо не современное, а будто со средневекового надгробного памятника. Читает свои стихи, — очевидно, новые: «По вечерам, над ресторанами»... «Незнакомка»... И еще читает.

В моей душе, — огромное внимание. Человек с таким далеким, безразличным, красивым лицом, — это совсем не то, что другие. Надо смотреть, смотреть. Надо понять. Передо мной что-то головой выше всего, что я знаю. В стихах, — много тоски, безнадежности, много голосов страшного Петербурга, рыжий туман, городское удушье. Я уже знаю, что он владеет тайной, около которой я брожу, с которой почти уже сталкивалась столько раз во время своих скитаний по островам.

Спрашиваю двоюродную сестру: «Посмотри в программе, — кто это?»

Отвечает: «Александр Блок».

В классе мне достали книжечку. На первой странице картинка, — молодой поэт вырывается на какой-то простор. Стихи непонятные, но пронзительные, — от них никуда мне не уйти. «Убей меня, как я убил когда-то близких мне. Я все забыл, что я любил, я сердце вьюгам подарил...» Я не понимаю, не понимаю, но он знает мою тайну. Я читаю все, что есть у этого молодого поэта.

Дома окончательно выяснено, — я декадентка. Я сама пишу, пишу о тоске, о Петербурге, о подвиге, о народе, о гибели, о тоске, о тоске.

Наконец, все прочитано, многое запомнилось наизусть навсегда. Знаю, что он мне мог бы сказать какое-то почти заклинание, чтобы справиться с моей тоской. Надо с ним поговорить. Узнаю в редакции газеты «Товарищ», как будто бы на Садовой, — его адрес Галерная 41. Иду. Дома не застала. Иду второй раз. Нету. На третий день, заложив руки в карманы, распустив уши моей шапки, иду по Невскому. Не застану, — дождусь.

Опять дома нет. Ну, что ж, решено, — буду ждать. Некоторые подробности квартиры удивляют. В маленькой комнате отчего-то огромный портрет Менделеева. Что он, химик, что ли?

В кабинете вещей немного, но все большие вещи. Порядок образцовый. На письменном столе почти ничего не стоит. Жду долго. Наконец, звонок, разговор в передней. Входит Блок. Он в бархатной черной блузе, с отложным воротником, совсем такой, как на известном портрете. Очень тихий, очень застенчивый.

Я не знаю, с чего начать. Он ждет, не спрашивает, зачем я пришла. Мне мучительно стыдно, — кажется, всего стыднее, что, в конце концов, я еще девочка, и он может принять меня не всерьез, — мне скоро будет пятнадцать лет, а он уже взрослый, ему двадцать пять. Наконец, собираюсь с духом, говорю все сразу. Петербурга не люблю, рыжий туман ненавистен, не могу справиться с этой осенью, знаю, что в мире тоска, брожу на островах часами и почти наверное знаю, что Бога нет. А кроме того, — из прошлого, — люблю солнце и море, буду бороться всю жизнь. Вообще все одним махом выкладываю. Он спрашивает, отчего я именно к нему пришла. Говорю о его стихах, о том, что я вижу, будто бы он у ключа тайны, прошу помочь.

Он внимателен и серьезен, он все понимает, совсем не поучает и, кажется, не замечает, что я не взрослая.

Мы долго говорим. За окном уже темно, вырисовываются окна других квартир. Он не зажигает света. Мне хорошо, хотя многого и не могу понять. Я чувствую, что около меня большой человек, что он мучается больше, чем я, что ему еще тоскливее, что бессмыслица не убита, не уничтожена. Мне большого человека ужасно жалко. Я начинаю, его осторожно утешая, утешать и себя.

Странное чувство. Уходя с Галерной, я оставила часть души там. На сердце легко и пусто. Хорошо, когда в мире есть такое большое: большая тоска, большая жизнь, большое внимание.

Через неделю я получаю письмо. Конверт необычайный, ярко-синий. Почерк твердый, не очень крупный, но широкий, и очень широко расставленные строчки. В письме есть стихи: «Когда вы стоите предо мной, такая печальная, такая красивая... Все же я смею думать, что Вам только пятнадцать лет». Письмо говорит о том, что «они», т.е. «он», — умирающие, что ему кажется, что я еще не с ними, что я могу еще найти какой-то выход. «Если не поздно, то бегите от нас, умирающих». Письмо из Ревеля, — уехал гостить к матери.

Не знаю, отчего, я негодую. Бежать, — хорошо же. Рву письмо, и синий конверт рву. Кончено. Убежала. Так и знайте, Александр Александрович, чело-

век все понимающий, понимающий, что значит бродить без цели по окраинам Петербурга и что значит видеть мир, в котором нет Бога.

Вы умираете, а я буду, буду, буду бороться со смертью, со злом, и за Вас буду бороться, человек, которого мне так жалко, человек, который вошел в сердце и не выйдет из него. Это была первая встреча с Блоком, самым удивительным моим современником. Не символистом, нет, — но символом самой удивительной эпохи в жизни моей удивительной страны.

* * *

Петербург меня победил, конечно. Тоска не так уже сильна. Годы прошли. Я ручной зверенок. Знаю многое о символистах. Читаю только что вышедший первый номер журнала «Аполлон». Знакомая художница показала мне портрет Гумилева, — поэт, который будет в «Аполлоне» печататься. Очень некрасивый. Потом у нее я с ним и познакомилась. Вместе ехали в Царское вечером, — я тогда в Царском у тетки гостила. Я многое могла бы вспомнить о нашем с ним знакомстве, но сейчас не хочу этого делать. Мне до сих пор кажется, что Гумилев не только в моей жизни, но и в русской литературе, и в русской жизни вообще, вместе с Цехом поэтов, — это придаточное предложение. Блок же, — главное.

* * *

В 1910 году я вышла замуж. Это была окончательная победа Петербурга. Мой муж из петербургской семьи, друг поэтов, «декадент» по самому своему существу, но социал-демократ, — большевик. Вставал он в 3 часа дня, ложился в 4 утра. Каждый вечер мы с ним бывали в петербургском мире. Или у Вячеслава Иванова на Башне, куда нельзя было приехать раньше 12 часов ночи, или в Цехе поэтов, или у Городецкого и т.д.

Зимой было собрание, посвященное десятилетию со дня смерти Владимира Соловьева. Происходило оно в Тенишевском училище. Выступали Вячеслав Иванов, Мережковский, еще кто-то и Блок. Я его первый раз увидела после нашей первой встречи. На эстраде он был высокомерен, говорил о непонимании толпы, презирал эту толпу, подчеркивал свое избранничество и одиночество. Сюртук застегнут, голова высоко поднята, лицо очень красивое и неподвижное. Далекий, далекий. В перерыве муж ушел курить. Скоро вернулся, чтобы звать меня знакомиться с Блоками, которых он хорошо знал. Я решительно отказалась. Он был удивлен, начал настаивать. Но я еще раз заявила, что знакомиться не хочу, и он ушел. Я же забилась за какого-то соседа и начала волноваться.

Вскоре муж вернулся, но не один, а с высокой, полной и, как мне сразу показалось, насмешливой дамой и с Блоком. Я не могла прятаться больше, — надо было знакомиться. Дама улыбалась, Блок протягивал руку.

Я сразу поняла, что он меня узнал. Действительно, слышу, он говорит: «Мы с вами встречались». И тогда, чувствуя, что я погибаю, я отвечаю: «Не надо, не надо».

Опять знакомая, понимающая улыбка, он спрашивает, продолжаю ли я бродить, как я справилась с Петербургом. Мне тоскливо, отвечаю невпопад. Любовь Дмитриевна приглашает нас обедать. Уславливаемся о дне. Слава Богу, разговор кончается. Заседание возобновляется.

Потом мы обедали у них. На мое счастье, там был еще кроме нас очень болтливый толстый профессор с женой, говорили об Анатоле Франсе. После обеда Блок показывал мне снимки Нормандии и Бретани, где он был летом, говорил о Наутейме и спрашивал опять о моем прежнем. Сразу все мосты были заново выстроены. Но все же встретились мы как знакомые, как приличные люди, за приличным обедом, в приличном обществе. Не то что первый раз, когда я с улицы, из петербургского тумана ворвалась к нему, — теперь я была жена его доброго знакомого. Мосты были выстроены, прочные мосты, Блок мог прийти к нам в гости, у нас была масса общих друзей, у которых мы тоже могли встретиться, — не хватало какого-то одного, — и единственно нужного моста, — я не могла непосредственно к нему обратиться, через и мимо всего, что у нас оказалось общим.

Это было время «ночных часов». Многомудрые молодые поэты говорили, что Прекрасная дама и Незнакомка оказались не то смертью, не то Россией. А я как-то удивительно легко читала большинство его стихов, обращая их к нему самому: «Не пропадешь, не гинешь ты» и т.д.

* * *

Непередаваем этот воздух 1910 года. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что культурная, литературная, мыслящая Россия была совершенно готова к войне и революции. В этот период смешалось все. Апатия и уныние от 1905 года, упадочничество, что ли, — и чаяние новых катастроф и сдвигов. Мы жили среди огромной страны на каком-то необитаемом острове. Россия не знала грамоту, — в нашей среде сосредоточилась вся мировая культура, — цитировали наизусть греков, увлекались французскими символистами, знали богословие и философию, поэзию и историю всего мира. Это был Рим времен упадка. Мы не жили, мы созерцали все самое утонченное, что было в жизни, мы не боялись никаких слов, мы были в чем-то до наглости откровенны, в области духа циничны и нецеломудренны, в области жизни вялы и бездейственны.

Я помню одно из первых наших посещений Башни Вячеслава Иванова. Вся Россия спит, — полночь. В столовой много народа. Наверное, нет ни одного обывателя, человека вообще, так себе человека. Мы не успели еще со всеми поздороваться, а уже Мережковский кричит моему мужу: «С кем вы, — с Христом или с Антихристом?»

Спор продолжается. Я узнаю, что Христос и Революция как-то неразрывно связаны, что Революция, — это раскрытие третьего Завета, я слышу бесконечный поток каких-то последних, серьезнейших слов. Передо мной как бы духовная голизна, — все наружу, все как-то бесстыдно. Потом Кузмин поет под собственный аккомпанемент на органе духовные стихи. Потом разговоры о греческой трагедии, об «оркестрах», о Дионисе, о православной Церкви.

На рассвете подымаемся на крышу, это тоже в порядке времяпрепровождения на Башне. Внизу Таврический сад и купол Государственной думы. Сонный, серый город.

Утром приносят новый самовар, едят яичницу. Пора домой. По сонным улицам мелкой рысцей бежит извозчикья лошадь. На душе мутно. Какое-то пьянство без вина. Пища, которая не насыщает. Опять тоска.

И странно. Вот все были за революцию, великие решительные слова говорили. А мне ее еще больше жалко, эту революцию, — чем раньше было. Ведь никто, никто за нее не умрет. Мало того, — если узнают о том, что за нее умирают, — как-то и это все расценят, одобряют или не одобряют, поймут в высшем смысле, прокричат всю ночь — до утренней яичницы — и совсем не почувствуют, что умирать за революцию, это значит чувствовать настоящую веревку на шее, — вот таким же серым и сонным утром навсегда уйти, физически, реально принять смерть. Мне жалко революционеров, потому что они умирают, а мы можем так умно и возвышенно говорить о их смерти.

И еще мне жалко, — не Бога, — нет, Его нету. Мне жалко Христа. Он тоже умирал, у Него был кровавый пот, Его заушали, — а мы об этом можем громко говорить, — нету у нас ни одного запретного слова. Постепенно Христос, какой-то еще неопознанный, становится своим, в нашем лагере, — вообще, черта разделения проводится довольно резко. Петербург, Башня Вячеслава, культура даже, туман, город, реакция, — это одно. А другое, — огромный, мудрый, молчащий и целомудренный народ, революция умирающая, отчего-то Блок и еще, — еще Христос. Я даже не думаю, был ли Он Богом или нет. И, может быть, не хочу, чтобы Он был Богом, потому что Бог попустил смерть и несправедливость, а Христос, — это даже как будто самая страшная жертва Бога. Он страдал, а Тот заставлял страдать. Нет, Христос, — это наше.

На Башне изредка бывал Блок. Он там, как и везде, впрочем, много молчал. Помню, как первый раз читала стихи Анна Ахматова. Вячеслав Иванов предложил устроить суд над ее стихами, хотел, чтобы Блок был прокурором, а он, Вячеслав, адвокатом. Блок отказался. Тогда он предложил Блоку защищать ее, он же будет обвинять. Блок опять отказался. Тогда уж об одном только кратко выраженном мнении стал он просить Блока.

Блок покраснел (он удивительно умел краснеть от смущения), серьезно посмотрел вокруг и сказал:

«Она пишет стихи перед мужчиной, а надо писать перед Богом». Все промолчали. Потом начал читать очередной поэт.

Кроме Башни были еще места, где люди встречались и говорили, — в разных, немного иных комбинациях. Началась «Бродячая Собака» — о ней так незаслуженно много писалось, что не стоит повторять. Так, просто еще один круг ада.

Собирался только что созданный Цех поэтов. Там было по-школьному серьезно, чуточку скучновато и манерно. Стихи были разные. Начинали входить в славу Гумилев и Ахматова. Но об этом писать не очень хочется, все это придаточное предложение.

Передавали еще шепотом, но с некоторым восторженным захлебыванием, что в особняке графа Зубова против Исаакиевского собора собирается не только институт истории искусства. Что там собирается еще какое-то общество, изучающее пороки и извращения всех эпох и народов. Что собрана огромная библиотека по этому вопросу, что Розанов даже сидит в ней и изучает, что люди там собираются зачастую в масках и переодетые. Что Ахматова пишет ему, Зубову, все сероглазые стихи, что он «знаменитый современник», что все там познается не только теоретически, но и опытно.

Гроза приближалась. Россия была немая и мертвая. Петербург, оторванный от нее, тоже умирал от отсутствия подлинности, от отсутствия возможности просто говорить, просто жить.

Никаких вообще революционеров в природе не оказалось. А если они и были, то Азеф раз навсегда заставил забыть о них, заслонил собою все. Была только черная петербургская ночь. Удушье. Тоска не в ожидании рассвета, а тоска в убеждении, что рассвета никакого не будет.

Был один веселый и глупый вечер у Городецкого. Он чествовал французских профессоров, приехавших открывать фр<анцузский> институт в Петербурге, Луи Рео и Бойе. Народу было много, все безалаберно. Только что кто-то играл на рояле, и крышка осталась открытой. Городецкий угощает всех крымскими мелкими яблоками, разносит их на огромном деревянном кустарном подносе. «Кушайте, пожалуйста». Ни тарелок, ни салфеток, ни ножей. Мы с Блоком сидим за роялем и оттуда видим, как французы взяли по яблоку и не знают, что с ними делать, потом решили, стали есть, доели до сердцевин, не знают, куда ее девать. Оглянулись, видят, — рояль раскрыт. Заложили руки за спину, подошли спиной к роялю и незаметно бросили яблочные сердцевинки. У Блока припадок смеха. Он вскочил, подбежал к Любви Дмитриевне, подвел ее к французам, заново знакомит:

— Le jeune cozaque Louba Block, — и еще всякую ерунду.

Потом возвращается.

Я ему говорю:

— Я решила уехать отсюда. К земле хочу. Тут умирать надо, а я еще бороться буду.

Он серьезно отвечает:

— Да, да, пора. Потом уже не сможете. Надо спешить.

Я действительно решила бежать. Вскоре Блок заперся у себя. Это с ним часто бывало. Снимал телефонную трубку, писем не читал, никого к себе не принимал. Бродил только по окраинам. Некоторые говорили — пьет. Но мне казалось, что не пьет, а просто молчит, тоскует и ждет неизбежного. Мне было мучительно знать, что вот сейчас он у себя взаперти, и ничем помочь нельзя.

Весной вместе с обычным отъездом из Петербурга я решила бежать окончательно. Не очень демонстративно, без всяких громких слов и истерик, никого не обвиняя.

Куда бежать? Не в народ. «Народ» было очень туманно. А к земле.

Сначала просто нормальное лето на юге у Черного моря. Но осенью вместе со всеми не возвращаюсь в Петербург. Среди близких это вызвало толки, получила несколько недоуменных писем. Обычно никто из Петербурга не вырывался к земле.

Итак, тяга к почве. Осенью на Черном море огромные, свободные бури. На лиманах можно охотиться на уток. Компания у меня, — штукатур Леонтий, слесарь Шлигельмилх, банщик Винтура. Скитаемся в высоких сапогах по плавням, вечером по морскому берегу домой. В ушах вой ветра, свободно, легко. Петербург провалился. Долой культуру, долой рыжий туман, Башню, философию. Есть там только один заложник, человек, — символ страшного мира, точка приложения всей муки его, единственная правда о нем, — Александр Блок.

Сейчас не писать ему, не давать о себе никаких вестей. Но придет время, — освобожу.

* * *

Так проходит год — зима 1912–13 года. Осенью по всяким семейным соображениям надо ехать на север. Но в Петербург не хочу. Если уж это неизбежно, буду жить зимою в Москве, а ранней весной назад, к земле. Кстати, в Москве я никого почти не знаю, кроме каких-то старых знакомых моей матери.

Первое время Москва действительно не отличается от южной жизни. Около Собачьей площадки я одна. Сдала комнату двум студентам-землякам. Слышу утром, за стеной: «Плохо, дорогой, понимаешь». Это мой южанин не справляется с севером. Потом он долго рассуждает, видимо, следя по голым прутьям деревьев: «Норд-вест, нет, даже норд-норд-вест». Он знает море и привык считаться с направлением ветра.

В моей жизни затишье. Пересадка. Поезда надо ждать неопределенно долго. Жду.

Месяца через полтора после приезда случайно встречаю на улице первую петербургскую знакомую, Софью Исааковну Толстую. Они тоже уехали из Петербурга, живут близко от меня, на Зубовском бульваре. Зовет к себе. В первый же вечер — все петербургское, отвергнутое, сразу нахлынуло. Правда, в каком-то ином московском виде. Я сначала стойко держусь за свой принципиальный провинциализм, потом медленно начинаю сдаваться.

Вот и первая общая поездка к Вячеславу Иванову. Еду я в боевом настроении. В конце концов, все скажу, объявлю, что я враг, — и все тут. Пусть будет борьба.

У него на Смоленском все как-то тише и мельче, чем было на Башне, он сам изменился. Лунное не так заметно, а немецкий профессор стал виднее. Не так сияющ ореол волос, а медвежьи глазки будто острее. Народа, как всегда, много. Толкуют о Григории Нисском, еще о чем-то. А я буду воевать.

Вячеслав любопытен почти по-женски. Он заинтересован, — отчего я пропадала, отчего и сейчас я настроюже. Ведет к себе в кабинет. Вот, бой начинается.

Я не скрываю, наоборот, сама первая начинаю. О словоблудии, о предании самого главного, о пустой жизни, — о том, что я с землей, с ветром, что я отвергаю их культуру, что они оторваны, что народу нет дела до их изысканной и не живущей души, даже о том, что у них Блок погибает.

Вячеслав Иванов очень внимателен. Он все понимает, он со всем соглашается. Более того, я чувствую в его тоне какую-то попытку отпустить, благословить на этот путь. Но ни отпуска не прошу, ни благословения не хочу. Разговор обрывается.

Вскоре опять, 26 ноября, мы вместе с Толстыми у Вячеслава на Смоленском.

Народу мало против обыкновения. Какой-то мне неведомый поэт, по имени Валерьян Валерьянович, с длинной, узкой черной бородой, только что приехал из Германии и рассказывает о мне тоже неведомом Рудольфе Штейнере.

Хозяин слушает с таким же благожелательным любопытством, как слушает вообще все. Для него рассказ в основных чертах не нов, поэтому он рас-

спрашивает больше о подробностях, о том, как там Белый и др. Оттого, что о главном мало речи, я не могу окончательно уловить, в чем дело.

А Толстой уже увлечен. Он вообще жаждет авторитетов, правда, краткосрочных, но на один вечер и Штейнера готов за авторитет почесть. Особенно потому, что в рассказе о нем есть элемент таинственный. Он как ребенок сказки, любит таинственное и мистифицирующее.

У меня наоборот, какой-то неосознанный, но острый протест. Я возражаю, я спорю, не зная даже, против чего я спорю. Но странно, сейчас я понимаю, что тогда основная интуиция была верна.

Я спорила против обожествления и абсолютизации человеческой природной силы. Многого можно добиться, пестуя и выращивая свою силу, но чем большего человек добьется, тем окончательнее будет его невозможность получить самое главное. Тут человек человеку, — крепость, — и нет мостов между ними.

А в душе я знаю уже, как надо, — совсем все крепостные стены разрушить, — чтобы была — «се раба Господня», — человеческая душа.

Нападает на меня не заграничный антропософ, а Толстой. Все это у меня коренной нигилизм, лишь бы не было авторитетов, ненависть ко всему, что не под общий рост.

И вот в нелепом и каком-то приблизительном споре я вдруг чувствую, что это все не случайно, что борьба у меня идет каким-то образом за Блока, что тут для него нечто более страшное, чем все туманы и метели его страшного пути.

Поздно вечером уходим. Продолжаем говорить на улице. Сначала это спор. Потом просто какая-то моя декларация о Блоке. Мы уже не домой идем, а по каким-то снежным сугробам, на незнакомых пустых улицах.

Толстой слушает и быстро сдается. Его вообще всегда можно убедить, если он чувствует напор воли и если чужие взгляды выражены в понятных и приемлемых образах.

Вот что я знала в ту ночь о Блоке.

У моей России, у моего народа (а Россия и народ, — это одно и то же), — родился такой ребенок. Самый на нее похожий сын, такой же мучительный, как она, такой же голосистый и такой же любимый.

Ну, мать безумна, мы все ее безумьем больны. Но сына этого она нам на руки кинула, и мы должны его спасти, мы за него отвечаем.

Даже не какие-то мы вообще, а вот в частности я. И я просто утверждаю, что люблю Блока, самого страшного и удивительного сына моей страны, что за него отвечаю и никаким заморским мистификаторам в руки не дам. А что мистификаторы свои руки к нему тянут, — это я уже чувствую, — хотя у меня никаких данных и нет.

Как его в обиду не дать? Не знаю, да и знать не хочу, потому что не своей же силою можно защитить человека. Важно только, что я вольно и свободно свою душу даю на его защиту.

Я, может быть, сейчас не очень точно вспоминаю этот разговор. Но одно точно, — была я тогда как на крыльях, и в душе был огромный и всесильный восторг.

Потом Толстой ушел. Я продолжала скитаться по сонной Москве. Снег падал тихими мягкими хлопьями. И вместе с этим снегом, вместе с черным и

мутным небом я впервые молилась о моей стране, которая казалась мне живой, безумной, оставленной и голосащей в бескрайних полях. Я молилась о Блоке, уже заблудившемся, уже потерявшем след, я молилась, чтоб Христос дал мне свою силу, чтобы помочь им.

На рассвете, крылатая, радостная и какая-то всесильная, я вернулась домой.

* * *

1-го декабря, через четыре дня после этой ночи, я неожиданно получила письмо в ярко-синем конверте.

Как всегда в письмах Блока, ни объяснения, почему он пишет, ни обращения, «глубокоуважаемая», или «милая», или «дорогая». Просто имя и отчество, и потом как бы отрывок из какого-то продолжающегося разговора.

Я наизусть не помню всего письма, но отдельные фразы остались в памяти точно. Он меня благодарил. Он писал: «думайте обо мне, как и я о Вас думаю. Силы уходят на самую трудную часть жизни, на середину ее. Я перед вами не лгу».

Может быть, сейчас мне трудно объяснить, отчего это короткое и не очень отчетливое письмо произвело на меня впечатление полного потрясения. Главным образом, пожалуй, потому что оно было ответом не на письмо, которого я не писала, а на мои ночные восторженные мысли, на мою молитву о нем.

Я ему не ответила. Да и что отвечать письменно, когда он и так все должен знать и чувствовать? А чувствовать было что, потому что вся дальнейшая зима прошла в мыслях о его пути, в предвидении чего-то страшного и губительного, к чему он шел. Да не только он, — все уже смешивалось в общем вихре, мне казалось, что голос какой-нибудь крикнет, и всему настанет конец.

* * *

В апреле опять дома. У меня гостят Толстые. Из-за них живу сама немного дачником, хожу на берег, лежу на солнце. Очень много свободного времени, много можно думать. Думать есть о чем. Вся Россия ждет.

Потом события, о которых все знают. Мобилизация, война.

Надо признаться, — душа приняла войну. Конечно, это был вопрос гораздо больший, чем победа над немцами, немцы были почти ни при чем. Речь шла о народе, который вдруг стал единой живой личностью, который с этой войны в каком-то смысле начинал свою историю.

Помню, в начале августа, ночью ко мне в комнату входит брат, садится в ногах кровати, будит и шепчет:

— Ты слышишь? Я решил идти добровольцем.

Только что, видимо, решил, 20 лет ему, не мог вытерпеть, хотел поделиться. Я понимаю, я одобряю. Иначе нельзя.

Многих мобилизуют из рабочих. Двоюродные сестры с осени решили поступать на курсы сестер милосердия.

Я решила, что это для меня не верно, а делать надо что-то, оставаться так нельзя. Думаю, думаю, какие-то странные решения приходят в голову. Основное, — в город не вернусь, тут буду.

Осенью совершается самое огромное событие в моей жизни. Я остаюсь одна. Оттого, что в мире так много событий, особенно чувствую, какими тысячами верст я отрезана от мира. На душе и тихо, и вместе с тем все полно не только предчувствий, — все напряжено. Надо действовать в каком-то самом главном направлении.

Знаю, наконец. Я должна добиться Христа. Верю ли я в Него? Не знаю. Но я буду верить, я заставлю себя верить, я научу себя молиться.

Вот Он, совсем близко, но Он не хочет показаться мне, Он спрятан где-то рядом. Я силой, упорством добьюсь Его.

По ночам, когда в доме тихо, а за окнами плачут равноденственные бури, босыми ногами, в одной рубашке становлюсь в темной комнате перед иконами, бью земные поклоны, молюсь, зову Его, зову Его. Иногда распластанная на каменном полу лежу часами. И пусть дрогну, пусть мне нестерпимо, — я Его добьюсь.

Пытаюсь добыть духовные книги. Их, конечно, ни у кого нету. Но вот при церкви оказались толстые славянские тома Четьи Минеи, — Жития святых. Мне труден славянский язык. Читаю медленно. Многое — очень чужое. Но в другом, в каких-то кратких житиях — все понятно, — жертва собою за мир, за людей, путь за Ним.

Отчего Он не дается, отчего Он не скажет, есть ли Он?

Покупаю толстую свинцовую трубку, тяжелую довольно. Молотком ее расплюсываю, зашиваю в тряпку. Это самодельные вериги. Ношу как пояс под платьем. Все это, чтобы стяжать Его, вынудить Его открыться, помочь — нет, — просто дать только знак, что Он есть.

И в Четьих Минеях, и в свинцовой трубке, в упорных, жадных и бесплодных молитвах на холодном полу, — мое важное дело. Это отчего-то нужно для войны, для России, для народа. Для народа нужен только Христос, — это я знаю. Пусть никогда мне лично Он не даст радости встречи, — это уже становится неважным, я чувствую Его совсем рядом, и на полях сражений Он, и в снежной русской могиле, на всех путях моего народа любимого.

Так проходит эта мучительная осень. Трудно сказать, что дала она мне, но после нее все стало тверже и ясней. А кроме того, появилось ощущение последних сроков...

Война, — это не одно из событий русской истории. Это преддверие конца. Прислушаться, присмотреться, — уже вестники гибели и преображения бредут среди нас.

Брат мой уже воевал добровольцем где-то на Бзуре. Мать не хотела оставаться одна в Петербурге. Мне пришлось ехать к ней.

Как будто после долгого срока приближалась я к страшному городу. Поезд несется по финским болотам среди чахлой осины и облетевших берез. Небо темно. Впереди черная завеса копоти и дыма. Пригород. Казачьи казармы. Николаевский вокзал.

Еду и думаю. К Блоку пока ни звонить не буду, не напишу, и уж, конечно, не пойду. Еще не время. И вообще сейчас надо по пути в одиночку идти. До какого-то общего срока.

Буду жить тихо. Кроме того, мне многому научиться надо. Я слышала столько высоких речей о христианстве и о Церкви, а чего-то элементарного

не знаю. Как можно скорее надо по-школьному, прилежно и систематически многое выучить. Пойду в духовную академию, спрошу совета, пособий. Вериги, — это мало. Надо иметь запас знаний. Такова программа зимы, — учиться, к Блоку не ходить, жить в норе, со старыми друзьями по возможности не встречаться.

Приехали к завтраку. Родственные разговоры, расспросы. День тихий и серый. Некоторая неразбериха после дороги.

А часа в три дня я звоню у Блоковских дверей. Горничная спрашивает мое имя, уходит, возвращается, говорит, что дома нет, а будет в 6 часов.

Я думаю, что он дома. Значит, надо еще как-то подготовиться. С Офицерской иду в Исаакиевский собор, — это близко. Забиваюсь в самый темный угол. Вериги на мне. Я привыкла принуждать себя и звать, звать Невидимого. И зову Его, чтобы Он мне помог с Блоком, который такой же, как и Россия, потерянный и опустошенный, перед такими же последними крайними сроками.

* * *

В 6 часов опять звоню у его дверей. Да, дома, ждет. Комнаты его на верхнем этаже. Окна выходят на запад. Шторы не задернуты. На умирающем багровом небе видны дуги белесых и зеленоватых фонарей, — там уже порт, доки, корабли, Балтийское море. Комната какая-то темно-зеленая. Низкий зеленый абажур над письменным столом. Вещей мало. Два больших зеленых дивана, большой письменный стол, шкаф с книгами.

Он не изменился. В комнате, в нем, в угольном небе за окнами, — тишина и молчание.

Он говорит, что и в 3 часа был дома, но хотел, чтобы мы оба как-то подготовились к встрече и поэтому дал нам еще три часа сроку. Говорим мы медленно и скупно. Минутами о самом нашем главном, минутами о внешних вещах.

Он рассказывает, что теперь в литературе в моде общественность, добродетель и патриотизм. Что Мережковские или еще кто-то устраивают патриотические чтения стихов в закрытых винных магазинах Шитта, по углам больших улиц, — для солдат и народа. Что его зовут читать, потому что это гражданский долг. Он недоумевает, у него чуть насмешливая и печальная улыбка. «Наверное не пойду читать. Все это никому не нужно».

...«А вот Маковский оказался каким честным человеком. Они издают к новому 15-му году сборник патриотических стихов. Теперь и Сологуб бьет в барабан, и Брюсов говорит о добродетели, Северянин вопит: “Я ваш душака, ваш единственный, поведу вас на Берлин”. Меня просили послать, послал, — кончаются так: “Будьте же довольны жизнью своей, тише воды, ниже травы. Ах, если б знали, дети, вы холод и мрак грядущих дней”. И представьте, какая честность, — вернули, печатать не будут».

Потом мы опять молчим.

«Хорошо, когда окна на запад. Весь закат принимаешь в них. Смотрите на огни».

Потом я говорю, что предшествовало его прошлогоднему письму.

Он удивлен: «Ах, это Штейнер. С этим давно кончено. На этом многое обобралось. У меня его портрет остался, Андрей Белый прислал».

Он подымается, открывает шкаф, из какой-то папки вынимает большой портрет. Острые глаза, тонкий извилистый рот. Есть что-то общее с Вячеславом Ивановым, но все резче, чернее, более сухое и волевое, менее лиричное.

Блок улыбается. «Хотите, разорвем?» Я хочу. Он аккуратно складывает портрет вдвое, проводит по сгибу ногтем. Рвет. Опять складывает. Рвет. Портрет обращен в грудку бумажек размером в почтовую марку.

Всю грудку сыпет в печь.

Моя очередь говорить. Сначала рассказываю о черноморских бурях, о диких утках и бакланах. Потом о том, что надо сейчас всей России искать своего Христа и в Нем себя найти.

Потом о нем.

Мы сидим в самых дальних углах комнаты, он у стола, я забила у двери в диван. В сумраке по близорукости я его почти не вижу, только тихий и усталый голос иногда прерывает меня, — значит, он тут. Да еще весь воздух комнаты полон какого-то напряженного внимания, — слушает, значит.

У меня какое-то мучительное чувство. Огромной ответственности и вдохновения. Я всю себя в каждое слово вкладываю, как будто камни ворочаю.

А так просто все, между тем. Вот уж воистину, — от человека к человеку, без преград самолюбия, без преград какого бы то ни было духовного кокетства. Из глубины к глубине.

«Кто вы, Александр Александрович? Если вы позовете, за вами пойдут многие. Но было бы страшной ошибкой думать, что вы вождь. Ничего, ничего у вас нету такого, что бывает у вожды. Почему же пойдут? Вот и я пойду, куда угодно, до самого конца. Потому что сейчас в вас как-то мы все, и вы символ всей нашей жизни, даже всей России символ. И все ваше нелепое и соблазнительное, — и не соблазнительно совсем, потому что и не ваше... Вот перед гибелью, перед смертью Россия сосредоточила на вас все свои самые страшные лучи, — и вы за нее, во имя ее, как бы образом ее сгораете. Что мы можем? Что могу я, любя вас? Потушить, — не могу, да и права не имею, — таково ваше высокое избрание — горите. Но идти за вами, — со-чувствуя, со-страдаю, со-живя, — это я могу, и хочу, и буду.

В мире есть две муки, — мука Голгофская и мука меча обоюдоострого, пронзившего Сердце Той, которая муку же Голгофскую пережила как со-муку. На это все муки распадаются.

Вот Россия сейчас распинается или будет скоро распинаться. И вы, как образ ее, — вы тоже распинаетесь. Дорогой Александр Александрович, ничем, ничем помочь вам нельзя. Но есть и у нас путь. Вот ваш крест, обоюдоострым мечом входит в нашу душу.

Нет, не вождь вы, а ведомый, влекомый. И мы влачимся за вами, потому что связаны такой неимоверной любовью к вам и к вашей муке.

Что бы я хотела? Я бы хотела запеленать вас и укрыть от всякого ветра, от всякой бури, до какого-то царства донести. Но разве это возможно? Вы, наоборот, должны притягивать все ветры и бури, так пусть хоть они к вам и через мою душу приходят».

Он слушает молча. Потом говорит:

— Я все это принимаю. Только дайте срок, чтобы вдуматься, чтобы срастись. А теперь давайте топить печь.

Топка печи у Блока священнодействие. Он приносит ровные березовые поленья. Огонь вспыхивает. Мы садимся на пол против печи и смотрим молча. Сначала длинные веселые языки пламени как-то маслянисто и ласково лизут сухую белесую кору березы и потухающими лентами исчезают вверх. Потом дрова пылают. Мы смотрим и смотрим, молчим и молчим. Вот с легким серебряным звоном распадаются багровые и золотые угольки. Вот сноп серебряных искр с дымом вместе уносится ввысь. И медленно слагаются и вновь распадаются огненные письма огня, и опять бегут алые и черные знаки. В мире тихо, Россия спит. За окнами зеленые дуги огней далекого порта. На улицах тихая ночь. Изредка внизу на набережной Пряжки одинокие шаги прохожего.

У меня в душе все смешано и спутано. Я знаю, что все на волоске, что мы над какой-то пропастью, что моих сил недостаточно, чтобы удержать.

«Ты, приведший меня сюда, основоположник всякого подвига и всякой муки, дай Твои силы этому изможденному человеческому духу. Явись хоть на одно мгновение рядом с ним, чтобы он знал, что не бессмыслен его удивительный путь. Помоги и мне».

Угли догорают. Сейчас часов 5 утра.

Я хочу уходить. Блок серьезен и прост:

— Завтра вы опять приходите. И так каждый день, пока до чего-то не договоримся, пока не решим чего-то.

На улице дождь. Пустота. Быстро иду по сонному городу, надо его весь пересечь. Господи, как огромен и страшен Твой мир и какую муку даешь Ты Твоим людям. У меня чувство, что грудь мою сковали золотые латы, что в руках меч, а за спиной идет кто-то могучий и крылатый.

* * *

На следующую ночь опять иду к Блоку. Именно иду, не еду. Надо по дороге все обдумать, еще как-то больше напрячь волю.

У него опять такая же тишина. Опять топим печь. Молчим больше, чем в первый раз.

И так начинается изо дня в день.

Сейчас мне уже трудно различить, в какой раз что было сказано, да и по существу это был единый разговор, единая встреча, — прерванная случайными внешними часами пребывания дома для сна, пищи, отдыха.

Иногда разговор принимал простой житейский характер. Он мне рассказывал о различных людях, об отношении к ним, о чужих стихах.

— Я вообще не очень люблю чужие стихи.

Однажды говорили о трагичности всяких людских отношений. Они трагичны потому, что менее долговечны, чем человеческая жизнь. И человек знает, что, добиваясь их развития, добивается их смерти. А все же ускоряет и ускоряет их.

Наконец, все становится ясным. В передней перед моим уходом говорим о последних каких-то подробностях. Он положил мне руки на плечи. Он принимает меня, мое со-участие, он предостерегает, — чтобы это было всегда именно так.

Как легко заменить этот строй душ, подменить его, как легко дать дорогу страстям. Страсть это гибель влюбленности. Это ее отрицание, это ее казнь.

И страсть и измена, — близнецы. Их нельзя разорвать. Будем оба на страже. Только так и нужна наша встреча.

Долго еще говорим. А за спокойными, уверенными словами мне чудится вдруг что-то нежданное, новое и по-новому страшное. Я напрягаю слух: откуда опасность? Как отражать ее?

* * *

На следующий день меня задержали дома. Прихожу позднее обыкновенного.

Александр Александрович, оказывается, ушел, вернется поздно. Мне оставил письмо.

«Простите меня. Мне сейчас стало весело и туманно. Ушел бродить. На время надо все кончить. А.Б.».

Дверь закрывается. Я спускаюсь этажом ниже. Остановливаюсь на площадке. Как же я уйду? Как я могу уйти?

Подымаюсь назад. Стою долго у запертой двери.

Потом решаюсь. Сажусь на верхней ступеньке. Я должна дожидаться, чтобы еще что-то раз навсегда закрепить. А потом, — пусть. Не важно, как все внешне будет. По существу, все это навсегда.

Сию долго. Изредка хлопает гулко парадная дверь, — это возвращаются нижние жильцы. Я каждый раз вскакиваю, потому что боюсь, что это в дверь на той же верхней площадке кто-то возвращается. Но потом на первом, на третьем этаже хлопает дверь квартиры. Опять все тихо.

Идут не минуты, идут часы. Уже далеко за полночь. Скоро, наверное, утро.

Мне даже думать не о чем. Все совершенно ясно, все обдуманно, все известно. Просто жду.

Наконец, долгий протяжный звонок внизу. Зажигается в пролете свет. Где-то шаркающие шаги. Наверное, швейцар вышел отпирать парадную. Отпер. Впустил кого-то. Слышу, этаж за этажом кто-то поднимается. Тяжело дышит от быстрой ходьбы. Вот все выше. Сюда, на верхний этаж. Это Блок. Встаю навстречу.

— Я решила дожидаться вас, Александр Александрович.

Он не удивлен. Только говорит, что нехорошо вышло, потому что у соседей в квартире скарлатина. Как бы я домой не занесла.

Отворяет двери. Входим. Я начинаю сразу торопиться. Он слегка задерживает.

«— Да, да, у меня просто никакого ответа нет сейчас. На душе пусто, туманно, но весело, весело».

А у меня на сердце мучительный восторг какой-то.

«Не знаю, — может быть, так оно и не надолго. Но сейчас меня уносит куда-то. Я ни в чем не волен».

Я опять начинаю торопиться.

Александр Александрович неожиданно и застенчиво берет меня за руку.

«Знаете, у меня есть просьба к вам. Я хотел бы знать, что часто, часто, почти каждый день вы проходите внизу под моими окнами. Только знать, что кто-то меня караулит, ограждает. Пройдите, взгляните наверх, — это все».

Я соглашаюсь. Быстро прощаюсь. По существу, прощаюсь навсегда.

Я знаю, что в наших отношениях не должны играть роли пространство и время, но они, увы, очень чувствительны.

Иду, думаю о смерти. И о своей, и вообще о смерти. Но, главным образом, о его смерти. Будет ли хоть смерть освобождением?

* * *

Со следующего утра принимаюсь за нормальную размеренную жизнь. Иду в Александро-Невскую лавру, узнаю программу духовной Академии, ищу студентов, через которых можно достать литографированные лекции, говорю с ректором о возможности для меня экзаменоваться.

Дома скоро мой стол стал утопать в книгах и лекциях. Начинаю с истории древней церкви, читаю тома Болотова и курс Бриллиантова. С утра начинаю. Тетради заполняются конспектами. Еле вырываюсь из нового мира соборов, догматических разногласий, отцов церкви, борьбы с ересями, для того чтобы наскоро пообедать.

Учусь школьно и запойно. Часов по 10 в день не отрываюсь от книг. Никого почти не вижу. Ничего не знаю. Война идет. В жизни мутно и предначально как-то. Я вне всего, я не думаю, а запоминаю, я просто готовлюсь к экзаменам.

По вечерам, когда голова устает от чтения и перед глазами огненные круги, часов в десять, почти каждый день, выхожу из дому, сажусь на трамвай, — до конца Садовой, до Покровской церкви. Там пешком. Улицы все изучены. Я прекрасно знаю, с какой стороны лучше всего подойти, иду к Пряжке глухой улицей, параллельной Английскому проспекту. Вот еще дом, который закрывает Офицерскую. Перехожу на другую сторону, чтобы точка наблюдения дальше отстояла, потом замедляю шаг.

Вот. Смотрю на высокие стекла. Иногда в них тьма, — иногда тусклый зеленый свет. Медленно, медленно прохожу по набережной, все время смотрю вверх. Потом дальше по Пряжке. Ускоряю шаги, дохожу до Мойки, мимо Новой Голландии, опять на трамвай, — можно домой, дело сделано.

Бывали иногда перерывы. Кто-нибудь придет случайно, или какое-нибудь неотложное дело, надо самой быть в другом месте.

Но вот сейчас я думаю, сколько времени это продолжалось? Во всяком случае, всю зиму 14–15 года и следующую зиму 15–16. До отъезда на юг.

Знакомые иногда приносили всякие новости о Блоке. Я слушала. Но, по существу, новостей никаких не было и не могло быть.

Иногда мне очень хотелось, чтоб он пошел на войну, хоть простым солдатом, но по-настоящему, без всяких общественных прикрытий. Но, может быть, и это не вывело бы его к жизни.

Мрачнее и мрачнее становилась петербургская ночь. Все уже, не только Блок, чуяли приближение конца. Не все ли равно, как они его воспринимали? Одни думали, что конец будет, потому что на фронте не хватает снарядов, другие — потому что Россией распоряжается Распутин, третьи, — как Блок, — может быть, и не имели никакого настоящего «потому что», а просто в ознаменование конца сами погибали медленно и неотвратимо.

Летом 16 года последнее письмо от Блока:

«Я теперь табельщик 13 дружины Земско-Городского Союза. На войне оказалось только скучно. О Георгии и Надежде. Скоро кончится их искание.

Какой ад напряженья, и Ваша любовь, которая уже не ищет мне новых царств. Алек<сандр> Блок».

Это дословно.

С этим письмом в руках я бродила по берегу моря, как потерянная. Будто доктор какой-нибудь прислал мне свидетельство не только о смертельной болезни, но о скором конце. И я тут, на юге, далеко и отрезанно (да если бы и не далеко, — разницы нет), — ничего не могу поделать.

Это конец.

А потом, — и пусть, пусть конец. Таков путь, такова судьба. Россия умирает, Россия в судорогах, — как же мы смеем не гибнуть, не корчиться в судорогах вместе с ней. И она тоже кончает свои искания Георгия и Надежды, она в аду напряжения. Скоро, скоро пробьет какой-то вещий час, и Россия, как какой-то огромный оснащенный корабль, отчалит от земли, — в Ледовитый океан, нет, в ледяную мертвенную вечность. И на этом корабле понесет она мертвенный груз наших обледенелых душ.

Это была последняя подлинная встреча с Блоком.

Потом в 18 году случайно, на людях. Говорили тоже о «12-ти». Я высказала свое мнение. Он заметил: «Не знаю, похоже на правду. У самого меня никакого мнения нет».

В революцию не много изменилось из этого подспудного сверхобычного мира наших жизней.

Россия уже громко голосила на всех полях. Снега не были побеждены и растоплены кровью. Блок задыхался в своем петербургском любимом гробу. Я была скиталицей.

Весть о его смерти встретила в Константинополе.

Церковь Покрова Пресвятыя Богородицы.
77, рю де Лурмель. Женское общежитие.
7 ч. 30 м. — вечера панихида по А. А.
Блокъ.

Заметка о панихиде по А. Блоку, отслуженной в общежитии матери Марии на ул. Лурмель, в газете «Последние новости»
(1936. 7 авг. № 5614. С. 6)

КАНИТЕЛЬ (ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ НАЧАЛА ПОВЕСТИ)

I

Чердак: муж, Анна Ивановна, горбунья, табашник, охотница, старший сын — <нрзб.> — старшая дочь религ<иозна>

В чердачной квартире коридор был темный — обоев не разглядеть, зато в большой комнате обои были хорошо видны, по бледно-желтому полю розовые цветы. Кое-где они были порваны, и штукатурка выступала. На окне висела кружевная занавеска, прикрывая глубокий колодец двора, крыши напротив, рыжие стены и рыжеватое, ровное, как грязный холст, небо. В этой комнате жили, — Алексей Семенович Семенов, жена его Анна Ивановна и падчерица хромоногая Саша. Алексей Семенович и Анна Ивановна спали за ширмой, на широкой кровати, а Саша на диванчике около окна, тут же и ее стол стоял со всякими книгами, преимущественно по истории и социологии. Кончала она курсы, занималась много, целые тетради заполняла круглым и крепким своим почерком.

А старики перед ее ученостью благоговели...

Горбатые люди — совсем особые люди. Жить им положено на чердаках, окна их чуть прикрывают вязаными занавесками широкий пролет двора, крыши напротив, рыжие стены и рыжеватое, ровное, как грязный холст, небо. У горбатого человека веселость, как желтые обои с розовыми цветами, — тошнит их от веселости, от убогой веселости тошнит. Это Саша хорошо знала. Весь мир был от нее отгорожен двумя горбами, — на спине, — ровный и кругловатый, а спереди слева будто придавленный. Знала Саша, что у нее слишком большие и длинные руки, что душа ее должна быть тоже горбатой, даже рукастой, убогой душой. А убогая душа, — предательская душа. [И му-

чилась Саша своим предательством.] Потому что много она нести не может и тяжестями своими с другими людьми готова поделиться, — тут и корень предательства.

Анна Ивановна, Сашина мать, сдала малую комнату квартиранту, — табашнику, Мавриди, бывшему греку, теперь тоже очердаченному существу; у него от воздуха кожа на груди болела, — это была болезнь неизлечимая, — и жил он только по ночам, — керосину сжигал без конца. Окно свое все заклеил бандеролями от папирос, чтобы <2 нрзб.>, как в бане натоплено. <2 нрзб.> цвет всей комнате.

Однажды вечером, когда Анна Ивановна с отчимом Алексеем Семеновичем уже за ширмой своей спали, зашла Саша к Мавриди потолковать. И такой она себя «кривульной» почувствовала, и такая тоска к самому горлу подступила, — будто оба горба горло давить начали, что не удержалась, тяжесть свою рассказала, душу расплескала, предала.

Рассказала, как в детстве она с матерью в большом городе жила, как мать гостей приводила, а ее, Сашу, гости на лестницу за дверь высылали, — привозили гости и вино, — и сладости; у одного волосы были черные, напомаженные, а глаза, как сливы, — он часто приходил, Сашу горбатую по комнате в вальсе кружил.

А на лестнице ждать было холодно, противной кошачьей <?> вонью воняло, в темноте только окна маячили да огоньки ламп по противоположной стене. И рассказала, как она теперь вот, в 19 лет, все знает, и знает, что все очень плохо. Лошадей на улицах ломовые стегают, — так вот душа ее, — такая же ислхстанная лошадь, и вообще убогая душа у нее, да и весь мир живет с такою же убогой душой.

Рассказала все, чего говорить не хотела, и заплакала, и [повернулась] ушла к себе, легла на диванчик, — только заснуть долго не могла, слушала, как мать и отчим во сне ровно дышат.

А Мавриди, хоть и не горбатый был он, — все же что-то понял из Сашиных слов, стал ее чаще к себе по вечерам приглашать, — к хозяевам в комнату не шел сам, так как там воздух был свежий и кожа на груди и шее воспалялась от свежего воздуха.

Всяческую философию развивали они по ночам до тех пор, пока Мавриди не признался ей в том, что с того самого разговора полюбил ее. Тут уж они плакали вместе. Саша от жалости, а он от трогательности. Потом Саша сказала, что это все только кажется ему, и что она его не любит, потому что любит другого. А кто этот другой, — не сказала. В утешение же ему, указав на горбы свои, заметила, что вообще ей о любви думать не приходится, а вот ей известно, что захаживает к нему по вечерам барышня из первого этажа, Ольгуша, и что вот об этом-то пусть Георгий Георгиевич подумает, — потому что Ольгуша человек значительный и даром, для болтовни, ходить бы не стала.

После этого Саша стала избегать к нему в комнату заходить — да и время подошло к экзаменам готовиться, — была она на втором курсе.

И словами своими ввела она в чердачную жизнь Георгия Георгиевича сразу еще двух людей, — и всех ввела по дорогам любви, — один человек Ольгуша, будто его любит, а другой, — неведомый, — Сашей любим.

Об Ольгуше он и сам раньше догадывался, когда был здоров и случайно у знакомых с нею встречался, обратил внимание на глаза ее мученические и на придушенный голос. Походка у нее была тяжелая, на всю ступню сразу ступала. И случайно поселились в одном доме: Ольгуша, — с многочисленной своей семьей в нижнем этаже, а он, — на чердаке, у Анны Ивановны.

Стала Ольгуша к нему на четверть часика заходить. Знал, понимал он, что с такими глазами мученическими любят люди мучение свое и себе подвиги выискивают, и чем придушеннее у них душа, тем незаметнее и мучительнее должен быть подвиг. И начинают они подвиг свой обожествлять, а тех, кого, как груз, на свои плечи берут, за тяжесть и муку любят до самозабвения. Так вот и Ольгуша выбрала в тяжесть свою Георгия Георгиевича и за это его полюбила. И тем тяжелее был он, что совсем незаметным казался, — всего одна малая комната на чердаке у Анны Ивановны, с полинявшими голубыми обоями, с бандеролью на окнах, без книг на столе, с глупой болезнью. Сам же <?> хозяин комнаты, да и хозяин-то, — табашник, — служил раньше на табачном складе. Может Ольгуша до самой глубины дойти, а похвастаться ей перед собою нечем, — тяжесть одна, только тяжесть. Вот за что и полюбила, и стала у них бывать <?>, придет, а лицо такое, что вот сейчас самое главное он скажет, что все это неспроста, и служение, ему служение, Георгию Георгиевичу Мавриди.

Это он знал. А кого же Саша любит? Кого другого, — трудно было Георгию Георгиевичу из своей чердачной комнаты уследить. А на самом деле тоже далеко ходить не пришлось бы.

Во втором этаже, под чердачным, жила вдова Колоколова; было у нее два сына, — Николай и Сергей. Сергей был просто лоботрясом, а Николай не просто. Бледный очень, от матери по вечерам гостей провожал, — дам и певцов, на извозчичьих санях полость так ловко запахивая, — Саша видала. И вообще был он совсем из другого мира, духами пахло на лестнице, когда он проходил, и пальто было у него не как у всех, а как у Евгения Онегина. Вот эту-то отдаленность, чуждость, духи и пальто, запахнутую полость саней, невидящий, стеклянный взгляд, браслетку на левой руке и тонкие пальцы с овальными ногтями, — все разглядела, — и полюбила Саша.

Спросить: на одном берегу окно с вязаными занавесками, рыжие стены и рыжеватое небо, желтые обои и храп отчима за ширмой, — что на другом берегу? Саша скажет: Николай Колоколов.

Спросить: на одном будет 2 горба Сашиных, длинные ее руки, и любовь Георгия Георгиевича, и в прошлом гости Анны Ивановны, — что на другом? Опять скажет: Николай Колоколов.

Был он всем, чего у нее не было, отрицал он все, что составляло ее мир. Вот за это и полюбила.

А на лестнице уступала дорогу и смотрела вслед. Он же вежливо приподнимал шляпу и говорил: «Pardon».

И этой любви своей Саша не могла бы предать, потому что тут кроме тяжести от вечного противоположения, была радость, что вот он и она, Саша, — это уже весь мир. Дальше ничего не противоположишь.

II
1-ый этаж. Дарвинист. Мария Александровна. Костя. Ольгуша. Соня. Охотник. Охотница

Но чердак и чердачные люди, — это на самом деле не было основным в народонаселенном доме. Они как-то случайно прилепились здесь, случайными и некрепкими путями связали свою жизнь с жизнью двух первых этажей.

А истинным корнем, все связующим и объединяющим 2 враждебных начала, был Александр Константинович Полозов, главный в доме квартирнаниматель, потому что помимо квартиры первого этажа, где жила его, подлинная, Полозовская семья, оплачивал он и квартиру Колоколовых. А в обеих квартирах был он хозяином, единым фундаментом всего разношерстного населения дома, — чердак, конечно, в счет не шел.

Александр Константинович знал о всех своих достоинствах очень точно: во-первых, он происходил из очень хорошей семьи, от целого рода крепостников и англоманов, от людей талантливых и вырождающихся. А в известном смысле лишь то, что вырождается, имеет некоторую цену, — так думал Александр Константинович и на этом основании давал волю себе и своему вырождению. Во-вторых, был он очень свободомыслен и даже имел свою законченную философскую теорию, покоящуюся на дарвинизме и в корне пресекающую всю пошлость социализма. Эта теория и заставляла его особо в себе уважать все черты так называемого вырождения; и был он уверен, что вся власть в мире находится в руках у вырожденцев.

И теория его, сверхдарвинизм этот, очень просто все объясняла, но так, как до него, Полозова, никто ничего не объяснял. Род человеческий, происшедший из рода обезьяньего, по законам природы должен выделить новый «род», — сверхчеловеческий, — который будет в таком же отношении к человечеству, в каком человечество в отношении к роду обезьяньему. В настоящий момент происходит этот отбор будущих предков сверхчеловека. Это те, кого толпа считает вырожденцами, кто на самом деле владеет властью, деньгами, фабриками, армиями, пушками, биржей, — всем, что может поработить другую часть человечества. Эти-то избранные немногочисленные владыки мира <?>, с вкусами утонченными и высокоэстетическими, с исключительно питательными обедами, с теплыми и удобными жилищами, — они-то и есть будущие предки сверхчеловека. Им противоположна, им враждебна толпа, — будущее домашнее животное в сверхчеловеческом хозяйстве, и в бессильной злобе своей создает теории социализма, проповедывает всеобщее равенство, говорит о революции. Все это, конечно, не страшно, потому что о равенстве можно говорить в каком-либо одном семействе животных, — равенство моллюсков, равенство птиц, равенство обезьян, равенство людей и равенство сверхчеловеков. Людское равенство не может принизить до себя сверхчеловека и победить его не может, и даже до известной степени полезно, потому что создаст хорошо организованный рабочий скот.

Так думал Александр Константинович, себя причисляя к числу избранных, и верил, что по прямой линии от него произойдет сверхчеловек.

Следующим звеном на пути к сверхчеловеку были его дети. И надо сказать, что своим существованием они сильно опровергали теорию отца.

Дочери, — [это уж несомненно] Ольгуша и Соня, были совсем вне этой борьбы за существование.

На Ольгуше весь дом держался. И не то что любила она хозяйство и с удовольствием учила кухарку, как пироги ставить, а просто в виде служения у нее это выходило. В самые мелочи, в пыль на карнизах и в топку печей, — азарт подвига вносила. И все молча, не ожидая похвал, будто награда ей не здесь обещана, — а потом взрывом каким-то обидится, что никто ее трудов не замечает, никто ее не ценит, не любит, — и тогда лежит плашмя на кровати, — пусть пыль на карнизах, пусть пирог не взошел, пусть печи не топлены.

Тяжелый человек Ольгуша, на всех своей заботой, как каменной глыбой, обрушивается. Если заметит, что гость какой-нибудь любит печенку, а другой грибы, так уж и не отступает <нрзб.>, сколько бы раз эти гости ни приходили в Полозовский дом, а уж всегда одному печенка будет, а другому грибы.

Соня была другим существом, без ретивости, без заботы. Просто жила, вязала все время. Вязала шарфы и шапочки, кофты и одеяла. Никому уже ее вязание не было нужно. Вся семья была шарфами в изобилии снабжена — всевозможных швов, с вязанными рисунками, в полоску, в клеточку, гладкими; целый сундук ломился от вязаний всяких, — а Соня все еще продолжала вязать, — говорила, что так думать легче, и о чем ей думать. — Думала она, что вот она вдруг певицей окажется, — и все ее слушают, а она о самом, самом настоящем поет, или она на море, под парусом летит и ей не страшно, и все в таком роде думала она. Если же кто невзначай придет в гости, она смущалась и краснела, — руки до самых локтей, как и в красных перчатках бывали. Когда шерсть кончится и вязать нечего, она кривыми ножницами ногти стригла, — тоже думать помогает, если медленно часами стричь.

Скрытной и застенчивой была Соня. И тяжело ей было от этой скрытности. Давно уже выдумала, как одиночество одолевать и как себе неведомых друзей находить. Часто по вечерам, оставшись уже одна у себя в комнате, она писала письма, в которых искренне говорила обо всем, — о мелком и о большом, и об опостылевшем вязанье, и о том, что вокруг все пусто-пусто, и что больше она так не может... Много в письмах бывало многоточий и восклицательных знаков. Подписав письмо «С. Полозова», она запечатывала его в конверт и утром, озираясь по сторонам, на углу соседнего переулочка опускала письмо в ящик, не надписав на нем адреса. Неизвестному писала она и ответа не ждала. Потом возвращалась домой и принималась за свое вязание, у печки, где потеплей.

И единственной надеждой на продолжение славного рода до сверхчеловека в семье Полозовых был сын Костя. Правда, то, что так ясно сознавал Александр Константинович, в Косте было совсем не осознано; правда, — для великого начинателя он не имел основных качеств, — воли и уверенности в себе, но зато это самое вырождение, талантливость избранных, возвышенность над толпой проявлялись в нем в самой большой степени.

«НЕСКОЛЬКО ПРАВДИВЫХ ЖИЗНЕОПИСАНИЙ»
(НАБРОСКИ К ПОВЕСТИ)

ТО, ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ

1. Рассказ Ж. о заседании эрдэков: «Нас было фармазонское число только. А Кулишер эдак рот сжужил и давай к нам *древнеисторические приемы* применять... Общий смысл нашего выступления тот, что создали мы им *в воздухе спертую атмосферу*».

2. Из детских мечтаний: хотела в Петербурге от какого-нибудь кладбища на возвратном *катафалке под балдахином* проехаться или, еще лучше, на конце *пожарной лестницы*, которая как на пружинах колыхается, а лошади-звери мчат вовсю.

3. Основное детское представление о жизни: моя жизнь должна быть переполнена событиями: в ней должно быть очень много *героизма, отчаянности, славы, победы*, — какие-то войны, въезды в покоренные города победительно верхом на белом коне, вообще, — во всем и всегда полная удача; и люди вокруг тоже победительные и совсем особенные. Потом — старость. Это уж непременно *плавучий маяк* или корабль на якоре в открытом море. И мертвой зыбью колыхает, колыхает его. Много солнца, ветра вольного много, синее море, и никого нет, кроме меня. Такова должна быть моя старость. Или монастырь глухой. Но монастырь и маяк плавучий — это одно и то же. И хоть это сказка самой ранней юности, я еще до сих пор не знаю, не будет ли оно так и на самом деле.

4. Написать надо «о параллельности». В центре двойная жизнь старика, охотника, о котором знаю очень много уже. Он заменит мельмотовскую владычицу: и дом тоже двойной — заборами и пустырями сад в деревню или в

город выходит, и как-то к нему никак не пробраться из-за обрыва. Туда самые разнообразные люди пришатываются, и всегда жизнь двойная, и в городе отзвук этим параллелям.

5. К исправленным характеристикам, которые сами собой во взаимоотношения вступают. А. — очень человек уютный, голос бархатисто-раскатистый, жест округленный, в меру умен и в меру культурен. Только революционности не может быть, потому что произошло оседание внутренних духовных пластов. При встрече чувствуешь себя как гусеница в шелковой куколке, — тепло и не дует. Р. — самый значительный. Очень характерны непримиримость и любовь к войне. Считается правым, но это просто нелепая тупость, потому что по складу всему своему, — неисправимый революционер, и даже вернее, — революционный диктатор. Много воли, много разума, много ума, — всего много, — а не хватает какой-то запятой. Трудно сказать, какой именно. Только как до нее дело дойдет, так все насмарку и начинается достоевщина, самоугрызение, самобичевание всяческое, анализ ненужнейший. Очень важно: православный христианин; в этом: во-первых, вызов прежней тупости, во-вторых, философская завитушка — и в-третьих, настоящее, — потому что, в конце концов, ему приткнуться некуда. Третье действующее лицо — это К. Нет сомнения в том, что в нем воли не меньше, чем у многих, и ума тоже, и культурности во всяком случае. Так если подсчитать, во многом головою ниже других. А на проверку выходит, что много в нем ветра свежего, интуитивность гениальная, все освещающая. Вместе с тем, большой надрыв (подергивание глазом), — вызывает острую жалость и большое ощущение виноватости. Я понимаю, что мог быть тогда точкой приложения мистических сил нации, потому что, несомненно, очень легко поддается внушению всяческих сил. А с этой точки зрения, принимает особое значение рассказ <? ова> тогда в поезде о том, как К. душу дьяволу продал, чтобы Россию спасти, — от этого у него, мол, и рука сохнет. А его собственное добавление к этому рассказу: что рука, мол, на самом деле болела, и до сих пор <не так?> висе<е>ла, — это пришлось пожать руку трем тысячам балтийских матросов в Ревеле. Это три главных действующих лица.

6. Как эпитафия к большой повести: Сологуб «Веселая девчонка». Сказка. Жила такая веселая девчонка, — ей что хочешь сделай, а она смеется. Вот отняли у нее куклу подруги, а она бежит за ними, заливается, смеется и кричит: — Наплевать на нее! Не надо мне ее. Вот мальчишки ее прибили, а она хохочет: — Наплевать! — кричит. — Где наша не пропадала! — Говорит ей мать: — Чего, дура, смеешься, — вот возьму веник. Девчонка хохочет: — Бери, — говорит, веник, — вот-то не заплачу, — наплевать на все!.. Веселая такая девчонка!..

7. В О<?> армянка, бывшая музыкантша, старая. Ехала в Тифлис концерт давать. Упала под поезд. Руку пришлось отнять, и ослепла. Живет одна; большой сад; глаза будто видят, только всегда на четверть аршина в сторону смотрит. Раз ее квартирантка сидела в своей комнате и читала. Вдруг дверь отворяется, на пороге слепая. Видимо, она не почувствовала, что кто-то есть, подошла к квартирантскому буфету, влезла на стул даже, — все это ощупью, — достала сахару кулек и стала его горстями есть. Видимо, не в первый раз такую штуку проделывала.

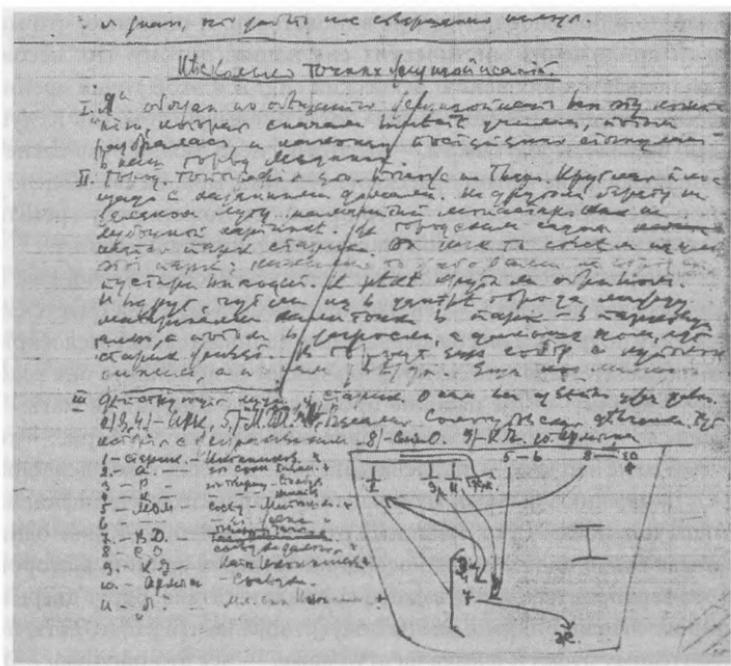
8. «Я говорю вам категорически: я или приду, или не приду».

9. «Тоска до сухого звона в голове».

10. «Как Ваши раны, Ваше Высокопревосходительство?» — «Да как Вам сказать? Если хотите, через все эти торты пересягнуть могу» (это Павличенко на парадном обеде в Ейске).

11. Мамин двоюродный брат Митя. Он влюбился в крестьянку замужнюю, — та на все его слова не сдавалась, потому что мужа любила. Тогда он на тройке поехал в поле, где она одна работала, украл ее, привез к себе и запер. А через несколько дней говорит: «Иди к своему мужу, если не боишься, что он тебя убьет». Она поняла, что возвращаться ей никак нельзя, и осталась ему женою навсегда.

12. По дороге в Париж у нас была пересадка в Инсбруке или Инстербурге. Там пришлось ждать часов 8. Я оставила детей и маму на вокзале, а сама пошла покупать им хлеб. Было очень раннее утро. Прохожие не успели смять выпавшего за ночь снега. Я бродила по незнакомым улицам. Снег продолжал тихо падать. Вокруг были дома с нависшими вторыми этажами, узенькие улочки, церковки, башни с часами. В нишах, — раскрашенные статуи Божьей Матери. И было это все такое особенное, что нельзя передать. Я чувствовала и совершенно точно, что я сейчас здесь дома, и не только дома, а и вблизи самых моих близких покойников. (Впрочем, снег, — падающий, — всегда и везде передает ощущение близости Б.) Так я пробродила все время. Чуть на поезд не опоздала. И ничего за эти несколько часов, собственно, не случилось. А вместе с тем я знаю, что забыть их совершенно нельзя.



Черновой набросок к повести «Несколько правдивых жизнеописаний», озаглавленный «Несколько точных жизнеописаний», со схемой взаимодействия героев. БАР

НЕСКОЛЬКО ТОЧНЫХ ЖИЗНЕОПИСАНИЙ

I. «Я» обязан по обещанию жизнеописать всю эту компанию, которая сначала вместе училась, потом разбрелась и наконец постепенно стянулась в наш город Медыньск.

II. Город. Топография его. Похож на Тверь. Круглая площадь с казенными домами. На другом берегу на далеком лугу знаменитый монастырь, как на лубочной картинке. За городским садом начинается парк старика. Он как-то совсем не ухожен, этот парк; какими-то заборами на город и на пустыри выходит. К реке крутым обрывом. И вдруг, чуть ли не в центре города, между магазинами калиточка в парк — в парковую аллею, а потом в заросли, а дальше дом, где старик живет. В городе еще собор с куполом синим, а по нем звезды.

Приложение 2
ДЕЛО Е.Ю. КУЗЬМИНОЙ-КАРАВАЕВОЙ НА СТРАНИЦАХ
КУБАНСКОЙ И МОСКОВСКОЙ ПРЕССЫ
(март-апрель 1919)

1. «УТРО ЮГА»

<РЕПОРТАЖ>

2 марта в краевом военно-окружном суде началось слушанием дело бывш<его> тов<арища> анапского городского головы Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой, обвиняемой по ст<атье> приказа Краевого правительства за № 10 в том, что занимала ответственную должность народного комиссара при большевиках в г. Анапе.

Председательствует полк<овник> Кириченко.

Обвиняет пом<ощник> воен<ного> прокур<ора> Петров.

Защищают прис<яжный> пов<еренный> Коробьин и пом<ощник> прис<яжного> пов<еренного> Хинтибидзе.

Согласно обвинительному акту дело заключается в следующем:

21 октября председателем следственной комиссии в городе Анапе в присутствии понятых был произведен осмотр газеты «Известия Анапского совета раб<очих> деп<утатов>» с 29 марта 1918 г. за № 6, причем на стран<ице> 3 указанной газеты значилось: «в настоящее время Совет народных комиссаров еще окончательно не сформирован. В него входят: Кузьмина-Караваева в качестве комиссара народного образования и медицины».

На произведенном по этому делу предварительном расследовании оказалось: в марте месяце 1918 г. в г. Анапе, Куб<анской> обл<асти>, состоявшем на военном положении, власть была захвачена большевиками, причем Совет раб<очих>, крестьянских и солдатских депутатов постановил упразднить городскую Думу и Управу. Кузьмина-Караваева, незадолго до этого избранная товарищем городского головы и принадлежащая по своим политическим убеждениям к партии соц<иалистов>-революционеров, продолжала и после сего нести службу уже в качестве комиссара народного образования и медицины.

Играя весьма заметную роль в насаждении и развитии большевистского движения в Анапе, работая в полном контакте с представителями советской власти, Кузьмина-Караваева явилась одним из участников отобрания санаторий «Акц<ионерного> о<бщест>ва Анапа и Семигорье» и конфискации вина у общества Латипак.

По отобрании санаторий, Кузьмина-Караваева стала во главе заведования ими.

Когда же в начале апреля 1918 г. состоялось заседание совета народных комиссаров по вопросу о вине, принадлежащем Акц<ионерному> о<бщест>ву Латипак, Кузьмина-Караваева в этом заседании выступила с обвинением названного о<бщест>ва в том, что оно «как паук высасывает у всех кровь», и рекомендовала конфисковать все вино этого общества, о чем и состоялось постановление сов<ета> нар<одных> комиссаров и приведено в исполнение.

Изложенное в соответствующих частях находит себе подтверждение в показаниях свидетелей: доктора Будзинского, А.В. Келлера, Бжегалова и Данилова.

На предварительном расследовании Кузьмина-Караваева признала себя виновной в том, что занимала в гор. Анапе ответственную и руководящую должность комиссара народного образования и медицины и объяснила, что 4 февраля 1918 г. она была избрана товарищем гор<одского> головы и заведовала народным здравием и образованием. С переходом же власти в руки большевиков, подала в отставку, не считая для себя возможным сотрудничать с ними, но отставка не была принята, вследствие чего она и вошла в качестве народного комиссара в состав исполкома, являясь по существу «буфером» между интеллигенцией г. Анапы, с одной стороны, и советской властью — с другой. На заседаниях исполкома, когда начинались разговоры о конфискациях, отстаивала принцип хотя бы самой маленькой справедливости, многих спасала от арестов и обвинений.

ДОПРОС СВИДЕТЕЛЕЙ

По оглашении обвинительного акта производится допрос свидетелей.

СВИДЕТЕЛЬ Д<ОКТО>Р БУДЗИНСКИЙ

Первым допрашивается главный свидетель д<окто>р Будзинский, известный общественный деятель и бывший анапский городской голова. Свидетель свои показания начинает с истории появления и развития большевизма в Анапе.

— На предварительном следствии я в коротких словах показал, что Кузьмина-Караваева была главной виновницей развития большевизма в Анапе, — говорит свидетель. Дальнейшие его показания сводятся к следующему:

Во время Февральской революции д<окто>р Будзинский, как городской голова, был с депутатией, хлопотавшей о постройке жел<езной> дороги в Анапу, в Петрограде.

Вернувшись в Анапу, свидетель увидел сплошную митинговщину. На митингах выступали неизвестные лица, кричавшие о необходимости разгона городских Думы и Управы, ответственных якобы не только за местные грехи, но и всего государства.

Вскоре образовался военно-революционный комитет, в формировании которого самое горячее участие принимала Кузьмина-Караваева.

Комитет начал свою работу не с удовлетворения общих местных нужд, а с разборов личных счетов и преследования отдельных лиц.

Вожаками в гражданском комитете свидетель считает (называет имена) Шпака, Мережко, Варвинского и подсудимую.

На митингах подвергалась критике деятельность, главным образом, Думы и Управы, а также и отдельных общественных деятелей, особенно, — свидетеля, как председателя правления «Акц<ионерного> о<бщест>ва курорт Анапа и Семигорье».

Травля дошла до того, что д<окто>р Будзинский покинул Анапу и выехал в ст<аницу> Натухаевскую, под защиту казаков.

На митингах не раз поднимался вопрос об отобрании в народную собственность санаторий Акц<ионерного> о<бщест>ва. Эта идея встретила сочувствие в Кузьминой-Караваевой, по свидетельству некоторых гласных, передававших лично об этом свидетелю, в заседании Думы защищавшей постановление митинга. И если постановление Думы о реквизиции санаторий не состоялось, то вследствие отсутствия кворума.

Так было до большевиков. Семя большевизма упало на подготовительную почву.

Во главе большевиков стоял латыш Протапов, по инициативе которого и при содействии Кузьминой-Караваевой и была, в конце концов, произведена реквизиция.

— Реквизиция была санкционирована революционным комитетом и гор<одской> Управой, действовавшими, как говорят хохлы, «в контакте», — замечает свидетель.

Образовался совдеп, в который вместе с большевиками вошли и «крайние левые эсеры», и «крайние левые эсдеки».

В реквизированной санатории было разграблено все имущество, которое открыто продавалось с клеймами общества даже в Екатеринодаре.

Далее свидетель переходит к характеристике личности подсудимой, которую знал еще в детстве.

— Она мне казалась девушкой экспансивной, ищущей. Будучи городским головой, я предложил ей работать в комиссиях, но это ее не удовлетворило.

Началась реквизиция, и в ней вскрылись все тайные желания.

Из допроса сторон выясняется, что подсудимая безвозмездно отдала казакам ст<аницы> Гостагаевской свое имение, состоящее из виноградника и пахотной земли в количестве 60 дес<ятин>.

— Почему отдала? — спрашивает прокурор.

— Это был красивый жест. Земля — народу и прочее, — отвечает свидетель.

Прокурор спрашивает: была ли известна подсудимая в Анапе по деятельности в области народного образования и медицины.

— Знаю, что деятельность ее по народному образованию ограничилась прибавками к жалованью учителей.

Санаторию же при ней превратили в трактир, которым правили сторожа и сиделки.

Убытки, понесенные Акц<ионерным> о<бщест>вом от реквизиции санатории, свидетель определяет в 800 тыс. руб.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОКУРОРА

Обвинитель ходатайствует перед судом о занесении в протокол дальнейших показаний д<окто>ра Будзинского, что вызванный по настоящему делу свидетель Варвинский состоял членом революционного трибунала, будучи его секретарем, а иногда и замещал председателя Инджебели, был членом исполкома, и что им подписан акт об уничтожении института мировых судей.

Защитник Хинтибидзе просит суд разъяснить свидетелю ст<атью> 940 Улож<ения> о нак<азаниях> угол<овных> и испр<авительных>, чтобы защита имела возможность в будущем, в случае наличия к тому законных оснований, привлечь свидетеля к уголовной ответственности за ложные показания.

Суд ходатайство прокурора удовлетворяет, а в ходатайстве защиты отказывает.

ОБЪЯСНЕНИЕ ПОДСУДИМОЙ

По существу показаний д<окто>ра Будзинского подсудимая дает объяснения, сводящиеся к следующему:

Еще до революции в санатории д<окто>ра Будзинского существовали такие порядки, которыми нельзя было не возмущаться.

По возвращении своем из Петрограда д<окто>р Будзинский, на митинге, предлагал сместить полицеймейстера Анапы Левитеса.

Это заинтересовало подсудимую. Но дело оказалось просто: у г. Левитеса имелись документы, изобличающие уголовную деятельность Будзинского.

Подсудимая знала также, не будучи еще гласной, о привлечении д<окто>ра Будзинского городским управлением к уголовной ответственности за присвоение городского имущества.

Подсудимая, живя в Анапе, искала общественной деятельности. По уходе тов<арища> гор<одского> головы Сумцова ей предложили выставить свою кандидатуру на эту должность, после чего она и была избрана.

В Управу к ней являлись представители митинга и военно-революционного комитета, передавшие постановление о реквизиции санатории в пользу города. Посовещавшись, Управа решила уклониться от участия в реквизиции.

В Думе постановлено потом было купить санаторию или вступить членом в Акционерное общество «Анапа и Семигорье».

Но сделка не состоялась, потому что Будзинский, как передали Управе, просил за санаторию 1 мил<лион> 200 тысяч рублей.

Работа в гор<одской> Думе была нестерпимо тяжелой — советская власть всячески мешала. Наконец, на заседании 3 марта Дума решила самоликвидироваться, причем Управа должна была сохранить полную самостоятельность в управлении городским хозяйством.

С этим не согласился военно-революционный комитет. Управа в лице личного состава была переименована в совет народных комиссаров, что заставило подсудимую подать в отставку, которая, однако, принята не была.

Таким образом, г-жа Кузьмина-Караваева механически вошла в состав народных комиссаров г. Анапы, по-прежнему ведая делами народного образования и здоровья.

Комиссаром же реквизированной санатории состояло другое лицо.

Это было 12 марта; а 24 марта она, категорически отказавшись работать у советской власти, выехала из Анапы в Москву.

ХОДАТАЙСТВО ЗАЩИТЫ

Защита ходатайствует об оглашении и приобщении к делу ряда документов, характеризующих «деятельность» д-окто>ра Будзинского и порядки в санатории Акц<ионерного> о<бщест>ва, но суд, по формальным основаниям, отказывает в ходатайстве.

СВИДЕТЕЛИ БЖЕГАЛОВ И КЕЛЛЕР

Названные свидетели — акционеры общества «Латипак».

Оба свидетеля удостоверяют косвенное участие подсудимой в реквизиции вина у общества в количестве 15 тыс. ведер.

«ЛАТИПАК»

Относительно показаний свидетелей Бжегалова и Келлера, подсудимая говорит:

— А.В. Келлер должен лучше меня знать, что он сказал. Мы с ним были делегатами на Всероссийском съезде виноделов. Отношения к «Латипак» было у всех отрицательное.

Оно — крупнейший в Анапе скупщик вина, эксплуатирующий мелких производителей, виноградарей и виноделов.

Что касается Егорова, то, по глубокому убеждению подсудимой, он ввел свидетелей в заблуждение.

КУЗЬМИНА-КАРАВАЕВА И УЧАЩИЕ

Свидетель Соломонов — учитель и офицер — говорит:

— Когда большевики в феврале 1918 г. объявили мобилизацию, Кузьмина-Караева, по просьбе учащихся, собрала училищную комиссию, которая, по предложению подсудимой, вынесла постановление с ходатайством об освобождении учителей от мобилизации.

И учителя были освобождены.

Он же удостоверяет тот факт, что Кузьмина-Караева всячески противодействовала реквизиции большевиками школьных помещений и имущества и производствам обысков. Во время комиссарствования подсудимой ни одного обыска, ни одной реквизиции у учителей и в школах не было.

В частности, свидетель рассказывает о том, что его хотели арестовать большевики за отказ мобилизоваться.

Кроме того, в школу свидетеля была подброшена пачка патронов, которую обнаружили. Собралась толпа, явились власти, и только благодаря вмешательству подсудимой «историю» удалось ликвидировать без неприятных последствий.

— Как только стало известно об аресте Кузьминой-Караевой, — заканчивает показания свидетель, — учительское собрание постановило ходатайствовать перед начальником гарнизона об освобождении ее.

СВИДЕТЕЛЬ СЛАВИНСКАЯ

Г-жа Славинская — начальница гимназии — показывает, что, когда она однажды присутствовала на митинге, то была свидетельницей выступлений Кузьминой-Караваевой. Г-жа Кузьмина-Караваева оппонировала председателю исполкома от имени соц<иалистов>-револ<юционеров> в таких резких выражениях, что ее, свидетельницу, охватил страх за возможность расправы большевиков с подсудимой.

В качестве комиссара народного образования Кузьмина-Караваева способствовала получению гимназией казенного пособия.

Свидетельница, — одна из тех, которые во время выборов в гор<одскую> Управу настаивали на избрании товарищем головы Кузьминой-Караваевой как человека, могущего противостоять большевистскому напору.

Касаясь передачи подсудимой имения при стан<ице> Гостагаевской казакам и крестьянам, свидетельница говорит, что имение это жалованное деду подсудимой ген. Пиленко и, как жалованным, Кузьмина-Караваева не считала возможным владеть. Ее мыслью было, при передаче имения, обратить его на просветительную цель в виде устройства школы имени деда.

Свидетельница, близко знающая семью Пиленко (г-жа Кузьмина-Караваева — урожденная Пиленко) и подсудимую, отзывается о последней как о человеке с душевным характером, но умеющем владеть собой.

— Когда Кузьмина-Караваева уезжала в Москву на съезд партии соц<иалистов>-рев<олюционеров>, у меня зародилась мысль — не поехала ли она с целью убить или способствовать убийству Ленина.

Со слов партийной товарки подсудимой, г-жа Славинская показывает, что подсудимая давно и много работала в своей партии, была несколько раз арестовываема большевиками.

ЛИЧНОСТЬ КУЗЬМИНОЙ-КАРАВАЕВОЙ

На вопрос защиты свидетельница так отзывается о личности подсудимой: человек больших способностей, таланта и разнообразного образования. Училась на Бестужевских курсах по философскому факультету, слушала лекции в духовной академии. Писательница-поэтесса, выпустившая в издании «Всходы» три тома своих произведений. Принадлежит к литературной школе А. Блока.

Затем свидетельница удостоверяет крайне недоброжелательное отношение Будзинского к подсудимой.

Защ<итник> Хинтибидзе:

— Вы не знаете, какую роль сыграл Будзинский в судьбе Кузьминой-Караваевой?

— В Анапе арест подсудимой приписывают проискам Будзинского, — отвечает свидетельница.

ПРИГОВОР КУЗЬМИНОЙ-КАРАВАЕВОЙ

Военно-окружной суд, признав подсудимую виновной в занятии ответственной должности в составе советской власти, но приняв во внимание смягчающие вину обстоятельства, приговорил потомственную дворянку Е.Ю. Кузьмину-Караваеву, 27 лет, к двухнедельному аресту.

БОЛЬШЕВИЗМ И КУЗЬМИНА-КАРАВАЕВА

Свидетель Поляков рассказывает:

— При встрече на молу я как-то раз задал Кузьминой-Караваевой откровенный вопрос: почему вы работаете с большевиками? Она ответила: но нужно же хоть что-нибудь сохранить от разгрома! И прибавила — вы, мужчины, счастливее нас — вы можете бороться с винтовкой в руках.

Свидетель ездил в Москву и там, через знакомых, узнал о работе Кузьминой-Караваевой в пользу чехословацкого фронта.

Ему известно, что подсудимой было послано чехословакам 168 тыс. руб.

— Вы сейчас служите где-нибудь? — спрашивает защита.

— Я — агент Добровольческой армии.

— В чем заключается ваша служба?

— Об этом я говорить не могу...

РАБОТА В ПАРТИИ

Подсудимая дополняет показания свидетеля.

Она говорит о своей работе в партии.

По отъезде из Анапы в Москву она была делегирована на майский совет партии, затем работала при ЦК, участвовала в организации по охране золотого запаса.

Заведовала паспортным бюро при партии.

По делам отправки добровольцев на фронт Учредительного собрания посетила ряд городов: Нижний, Тамбов, Пензу, Хвалынский, Сызрань, Казань, Самару, была в это время несколько раз арестовываема.

Защита спрашивает:

— Не были ли вы знакомы с Каплан, стрелявшей в Ленина?

Подсудимая отвечает утвердительно, добавив, что Каплан проникла на митинг, с целью убить Ленина, с подложным документом члена коммунистической партии.

КОНЕЦ СУДЕБНОГО СЛЕДСТВИЯ

После показаний свидетеля — коменданта гор. Анапы полк. Ткачева, заявившего, что арест был произведен по доносу д<окто>ра Будзинского, судебное следствие объявляется законченным.

ПРЕНИЯ СТОРОН

РЕЧЬ ПРОКУРОРА

Русская общественность имеет много различных представителей, — говорит пом<ощник> воен<ного> прокурора подпор<учик> Петров.

Общественные деятели, вышедшие из народной среды, лучше других понимают нужды народа, а потому их убеждения всегда крепки. Правда, встречаются люди убежденные, с чистыми идеалами и из буржуазной среды, но это было раньше, при царском режиме.

Теперь наблюдается иное. Людей с чистыми идеалами стало меньше.

Прокурор оговаривается, что он не имеет в виду отнести подсудимую целиком к политическим деятелям второго разряда, но все же находит некоторые черты и штрихи, так сказать, неустойчивости убеждений в подсудимой.

По крайней мере, д<окто>р Будзинский так характеризовал ее: натура ищущая, но неустойчивая.

Из этого обвинитель делает логический вывод: в своих желаниях подсудимая могла отступить от своих принципов.

Для него вопрос — была ли она идейной эсеркой.

Молодая женщина избирается товарищем городского головы, становится во главе городской Управы тогда, когда дни последней были уже сочтены, что значило: служить тогда в Управе — идти рука об руку с большевиками.

Другие люди это так и понимали, например, Морев, покинувший при большевиках должность городского головы.

Для прокурора ясно, что Кузьмина-Караваева шла работать в контакте с большевиками.

— Я не обвиняю ее в большевизме, — говорит обвинитель, — но обвиняю в том, что она принесла вред за время своей комиссарской деятельности.

Дума не имела права реквизировать санаторий д<окто>ра Будзинского, но она толкала на этот путь военно-революционный комитет. Кузьмина-Караваева, стоя во главе городского управления, не приняла мер к защите законности.

Санаторий перешел в распоряжение города преступным путем. Подсудимая знала это, когда принимала «подарок» военно-революционного комитета.

И для кого был сделан подарок? В санатории, кроме красноармейцев, никого не принимали.

В совет народных комиссаров Кузьмина-Караваева вступила добровольно, сознательно, ибо никто ее к этому не принуждал.

Прокурор считает также доказанным косвенное участие подсудимой в реквизиции вина у общества «Латипак».

Поддерживая обвинение в целом, обвинитель находит в деле подсудимой некоторые смягчающие вину обстоятельства.

РЕЧЬ ПР<ИСЯЖНОГО> ПОВ<ЕРЕННОГО> Ю.А. КОРОБЬИНА

Кузьминой-Караваевой вменяется в вину то, что она занимала ответственную и руководящую роль в советской власти, выразившейся практически в реквизициях санатории и вина.

Но, по его мнению, ни один свидетель этого не подтвердил, как и не сказал, что ее избрали комиссаром.

Наоборот, все подтвердили, что она механически сделалась комиссаром народного образования и здравия.

Кузьмина-Караваева отказывалась от звания комиссара и лишь под влиянием настойчивых просьб учителей и др. временно согласилась находиться в составе советской власти, от которой вскоре же отказалась.

Что касается реквизиции санатория, то, как выражается защитник, в этом деле и сам д<окто>р Будзинский спутал все карты.

Все то, что сделала городская Дума, не подлежит рассмотрению суда, ибо постановления Думы — решения вполне закономерного учреждения, за которые Кузьмина-Караваева отвечать не может.

Кроме того, Дума старалась спасти санаторий от большевистского разгрома, она хотела купить его. Весь вопрос сводился лишь к невыгодным условиям сделки.

Что касается конфискации вина, то она произошла задолго до того, как Кузьмина-Караваева стала комиссаром.

Утверждение прокурора, что святые от революции были лишь при царском режиме, вызывает у защитника ряд иронических замечаний.

Защитник опровергает утверждение, что подсудимая осталась у власти из сочувствия большевикам, что она, подобно Мореву, должна была покинуть пост городского головы.

— Морев ушел тогда, когда ему грозила смертная казнь. В лице же подсудимой нашлась решительная женщина, которая поставила своей целью спасти народные ценности, блага культуры.

И этой цели она достигла, спасла учительство, школы, офицерство.

Она была ответственна за высокий пост не перед большевиками, а перед общечеловеческой культурой.

Великому Канту во время революции пришлось пережить и перечувствовать то же, что и заурядной женщине Кузьминой-Караваевой. Кенигсберг, в котором жил Кант, переходил из рук в руки. Но он остается в городе и просит назначить себя ректором университета, чтобы оберегать храм науки, защищать великие сокровища мысли и образования. То, что сделал большой Кант в большом Кенигсберге, <смог> сделать маленький человек для маленькой Анапы.

— Перед нами, — говорит г. Коробьин, — несомненно, убежденная женщина.

Будзинский представляет революцию вазой с розовой водичей.

Наслушавшись в Петрограде речей Родзянко, он думал, что революция потечет тихо-гладко. Но революция — не ваза с розовой водичей. Это — бурный поток.

У подсудимой убеждения с делом не расходятся.

Убежденная социалистка-революционерка, она отдает землю казакам. По Будзинскому, — это красивый жест.

— Что это значит? Говорит ли это низменная натура или желание человека во что бы то ни стало послать подсудимую на каторгу?

— Да! Красивый жест, но у подсудимой красивая и душа!

У Будзинского же другие «жесты». Он и сейчас ищет возможности получить с правительства в счет причиненных ему убытков в санатории, стремится взять за счет общенародного несчастья.

— Будзинский — главная пружина в этом деле. По его доносу арестована была Кузьмина-Караваева.

— Насколько хорош он как доктор, я не знаю, — заявляет г. Коробьин, — но одно ясно: охранное отделение потеряло в нем талантливого сотрудника.

— Перед нами, — продолжает защитник, — типичная русская интеллигентка, любящая народ, не представляющая личных интересов без интересов народных.

В союзе с большевиками работают лучшие интеллигентные силы — писатели, художники, ученые, но они работают не в пользу большевиков, а работают на культурном поприще.

— Представьте, — заканчивает Ю.А. Коробьин, — что в Москву явится Добровольческая армия. Неужели она посадит на скамью подсудимых всю русскую интеллигенцию за то, что она работала у большевиков...

РЕЧЬ ПОМ<ОЩНИКА> ПР<ИСЯЖНОГО> ПОВ<ЕРЕННОГО> ХИНТИБИДЗЕ

Речь другого защитника подсудимой касалась исключительно анализа обстоятельств дела и свидетельских показаний.

Оба защитника настаивали на полном оправдании подсудимой.

«ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО»

В своем кратком последнем слове подсудимая заявила, что ей приходится отвечать за чужие преступления, за чуждую ей идеологию.

Что касается показаний д<окто>ра Будзинского, то подсудимая считает виновной себя в том, что недостаточно формально обставила свои деловые отношения с ним.

Приговор суда, известный уже читателям, многочисленной публикой, ожидавшей решения участи подсудимой до двух часов ночи, был встречен громкими аплодисментами.

2. «ПРИАЗОВСКИЙ КРАЙ» ОТ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА

В Кубанском краевом военном суде слушалось дело Е.Ю. Кузьминой-Караваевой по обвинению ее в большевизме.

Дело по своему существу является довольно ординарным для нашего революционного времени, но незаурядная личность подсудимой не могла не привлечь к себе внимания общества, и переполненный зал судебного заседания представлял типичную обстановку сенсационного судебного процесса.

Елизавета Кузьмина-Караваева, урожденная Пиленко, — внучка известного на Кавказе общественного деятеля, бывшего начальника Черноморской губернии генерал-лейтенанта Пиленко, дочь крупных черноморских помещиков и виноделов, жена сына известного профессора Кузьмина-Караваева, была гор<одским> головой демократической Думы в Анапе и комиссаром по народному образованию и медицине. Е. Кузьмина-Караваева — поэтесса, писательница, эсерка, готовящаяся к покушению на Ленина, деятельный член тайного комитета с<оциалистов>-р<еволюционеров> в Москве, вербовавшего и снабжавшего паспортами офицеров, едущих на чехословацкий фронт летом 1918 г. и проч. и проч.

Обстоятельства дела просты.

Была в Анапе демократическая Дума; пришли большевики, Думу разогнали, а Управу (социалистическую) заставили механически войти в Совдеп, и председательница Думы, заведовавшая отделами народного просвещения и здравоохранения, превратилась в комиссара народного образования и медицины.

Это и привело Е.Ю. Кузьмину-Караваеву на скамью подсудимых. Обвинялась она в том, что служила сов<етской> власти на ответственном ру-

ководительском посту, реквизировала вина у фирмы «Латипак» и санаторий <окто>ра Будзинского.

Показаниями почти всех свидетелей обвинение было опровергнуто.

Перед судом прошел ряд свидетелей — представителей анапской интеллигенции. Все они дали о подсудимой лучший отзыв как о защитнице интеллигенции, как о блестящей мужественной общественной деятельнице, являющейся на своем комиссарском посту буфером между большевиками и интеллигенцией. Среди свидетелей: и полковники, и агитаторы Добровольческой армии, и учителя, и начальница анапской гимназии, и офицерские жены.

Все свидетели в один голос подтвердили:

— Помогла нам, выручала, заступалась, спасала.

После показаний каждого свидетеля подсудимая давала свои объяснения, проникнутые необычайной скромностью и искренностью.

Небезынтересно отметить одно из таких объяснений подсудимой, где она говорила о своей антибольшевистской деятельности в Москве, в Казани и в Нижнем после своей отставки и отъезда из Анапы летом 1918.

Е.Ю. Кузьмина-Караваева, пробравшись в это время через Новороссийск в Совдепию, начала работать в Москве при Центральном комитете в паспортном отделе, снабжая паспортами ответственных деятелей с.-р. партии, переправлявшихся на чехословацкий фронт.

Далее, Елизавета Юрьевна переезжает на Волгу и принимает деятельное участие в организации спасения золотого запаса в Казани. Кроме того, подсудимая работает в подрывном отделе, подготавливая взрыв мостов.

Рассказ подсудимой похож был даже для нашего времени на необыкновенную сказку.

На вопрос одного из защитников, не была ли подсудимая знакома с Каплан, стрелявшей в Ленина, Е.Ю. Кузьмина-Караваева просто ответила:

— Фанни Каплан проникла на митинг с паспортом, сработанным моей рукой.

В последнем слове подсудимая, между прочим, заметила:

— Я понимаю, что за комиссарство можно судить, но мне лично чрезвычайно тяжело и неприятно, что я обвиняюсь в идеологии, мне совершенно несвойственной и чуждой.

После получасового совещания суд вынес приговор: Е.Ю. Кузьмина-Караваева признана виновной при наличии смягчающих вину обстоятельств и приговорена к аресту на две недели.

Подсудимой грозила по предъявленному ей обвинительному акту смертная казнь.

3. «ОДЕССКИЙ ЛИСТОК» ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Пришло известие, что в Екатеринодаре передана военно-полевому суду Елисавета Юрьевна Кузьмина-Караваева по обвинению в большевизме, и ей грозит смертная казнь. Нельзя прочесть это известие без тревоги. Кузьмина-Караваева — поэт, мыслитель, философ — первая из русских женщин окончила

духовную академию и пророчилась в ректоры предполагавшейся женской духовной академии (ее книги: «Скифские черепки», «Руфь», «Юрали»).

Со времен Февральской революции она была городским головой г. Анапы и не покинула своего поста и при большевиках и только впоследствии, под угрозой расстрела, была принуждена бежать оттуда. Мы не знаем точно обвинения, предъявленного ей, но во всяком случае, все знающие Елисавету Юрьевну могут засвидетельствовать, что она не только не имела ничего общего с большевизмом, но была его ярой противницей.

Мы надеемся и уверены, что суд над Кузьминой-Караваевой кончится ее полным оправданием. Невозможно подумать, что даже в пылу гражданской войны сторона государственного порядка способна решиться на истребление русских духовных ценностей, особенно такого веса и подлинности, как Кузьмина-Караваева.

*Максимилиан Волошин,
гр. Алексей Толстой,
Леонид Гроссман,
Габр. Гершенкройн,
Нат Инбер,
Вера Инбер,
Наталья Крандиевская,
Тэффи,
Амари,
Александр Биск,
Александр Кипен*

4. «ИЗВЕСТИЯ»

РАБОТА ВРАГОВ РЕВОЛЮЦИИ

ОДЕССА, 24 апр<еля>. «Одесские Новости» сообщают: Целый ряд преступлений тайного Центрального комитета эсеров в Москве в 1918 году не только против сов<етской> власти, но и против революции в России вообще, случайно раскрылся несколько времени тому назад в городе Екатеринодаре, в Добровольческом краевом военно-окружном суде.

В конце марта сего года слушалось дело бывш<его> город<ского> головы г. Анапы, потомственной дворянки Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой, жены сына известного профессора Кузьмина-Караваева. Она обвинялась в том, что занимала ответственную должность комиссара при большевиках. Ей грозила смертная казнь. Подсудимая дала следующие объяснения: 4 февр<аля> 1917 она была избрана тов<арищем> городского головы и заведовала Народным Здравием и Образованием. С приходом власти в руки большевиков она подала в отставку, не считая для себя возможным сотрудничество с ними, но отставка не была принята, вследствие чего она вошла в качестве комиссара в состав Исполкома и явилась по существу «буфером» между интеллигенцией г. Анапы и советской властью. Сама она эсерка. С приходом добровольцев, летом 1918 г., она оставила Анапу и пробралась в Москву через Новороссийск. В Москве она деятельно работала в тайном ЦК эсеров против

сов<етской> власти и за учредиловскую армию. Главным образом, она работала в паспортном отделе, вербовала активных деятелей для учредиловской армии, снабжала фальшивыми паспортами ответственных эсеров, ехавших на чехословацкий фронт, и готовила покушения против видных советских деятелей. «Вы были знакомы с Каплан, стрелявшей в Ленина?» — задает ей на суде вопрос ее защитник. Кузьмина-Караваева отвечает, что Фанни Каплан проникла на митинг с паспортом, сработанным ее рукой. Дальше Кузьмина-Караваева сообщает, что из Москвы она уехала на Волгу, в Казань и в Нижний. В Казани она принимала деятельное участие в организации захвата чехословаками золотого запаса России и, кроме того, она работала в подрывном отделе, готовя взрывы мостов и т.д. Добровольческий военно-окружной суд, признав подсудимую виновной в занятии ответственной должности комиссара при большевиках в Анапе, но, приняв во внимание смягчающие вину обстоятельства, приговорил Кузьмину-Караваеву, вместо смертной казни, к двухнедельному аресту.

(ПОСТА)

ХРОНИКА ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА (1891–1945)¹

ДЕТСТВО И ОТРОЧЕСТВО (1891–1916)

8 (21) декабря 1891

Рождение в Риге в семье Юрия Дмитриевича Пиленко (1857–1906) и Софьи Борисовны Пиленко, урожденной Делоне (1862–1962).

27 декабря

Крещение в Рижском православном кафедральном соборе. Крестными Елизаветы стали дедушка Д.В. Пиленко и двоюродная бабушка Е.А. Яфимович (см. очерк «Друг моего детства» в наст. изд.).

27 октября 1893

Рождение в Риге брата Дмитрия.

14 ноября

Крещение Дмитрия в Рижском православном кафедральном соборе.

Июнь 1895

Переезд семьи в Анапу в связи с наследованием земель и поместных владений после смерти Д.В. Пиленко.

¹ Хроника включает краткий обзор биографии матери Марии с более детальным освещением тех событий, которые связаны с хронологией этого издания и с вошедшими в него произведениями. Сообразно с данным принципом Хроника будет воспроизводиться и расширяться в последующих книгах, каждая из которых подробно представит определенный творческий период матери Марии. (См. также: Краткая летопись жизни матери Марии / сост. А.Н. Шустов // Е.Ю. Кузьмина-Караваева (мать Мария): Библиографический указатель произведений и критической литературы / сост. О.А. Александрова и др.: отв. ред. И.П. Кузнецова, А.Н. Шустов. СПб.: Сударыня, 2002. («Знаменитые эмигранты России»). С. 133–158.)

1896–1906

Дружба и переписка с К.П. Победоносцевым (см. очерк «Друг моего детства»).

1905

Первый известный стихотворный экспромт.

1905 – начало 1906

Семья переезжает в Ялту в связи с назначением Ю.Д. Пиленко директором Никитского ботанического сада.

Весна 1906

Возвращение в Анапу.

19 июля

Смерть Ю.Д. Пиленко в возрасте 49 лет (см. очерк «Встречи с Блоком» в наст. изд.).

17 августа

В Петербурге умирает Е.А. Яфимович.

Август

Переезд в Петербург, обучение в гимназии Л.С. Таганцевой, где Елизавета «рисовала охотно и много». Преподавание искусства и литературы на вечерних курсах Путиловского завода.

Январь 1908

Литературный вечер, на котором Елизавета впервые слышит Александра Блока (см. очерк «Встречи с Блоком»).

Начало февраля

Первая встреча с А. Блоком. Получает от него письмо со стихотворением «Когда вы стоите на моем пути...».

1908–1909

Обучение в гимназии М.Н. Стоюниной. Окончание с серебряной медалью.

С сентября 1909

Учеба на философском отделении историко-филологического факультета Бес-тужевских курсов.

19 февраля 1910

Е.Ю. Пиленко выходит замуж за Дмитрия Владимировича Кузьмина-Караваева (1886–1959), 24-летнего юриста из профессорской семьи, дальнего родственника Н.С. Гумилева.

1910–1912

Сближение с петербургскими литературными кругами вокруг «Цеха поэтов» и «Башни» Вячеслава Иванова (см. очерк «Последние римляне» в наст. изд.). Изучение богословия в Санкт-Петербургской духовной академии. Обучение рисунку и живописи у петербургских художников из среды Н.С. Войтинской и С.И. Бодуэн де Куртенэ.

Середина 1910-х

Работа над поэмой «Мельмот Скиталец».

14 декабря 1910

Вечер памяти Вл. Соловьева в Тенишевском училище, на котором происходит вторая встреча с А. Блоком (см. очерк «Встречи с Блоком»).

Середина декабря

Обед у Блоков, на котором присутствуют Кузьмины-Караваевы.

Лето 1911

В имении Борисово Тверской губернии. Общение с Н.С. Гумилевым, А.А. Ахматовой, художником Д.Д. Бушеном.

20 октября

Открытие и первое заседание «Цеха поэтов». На заседании присутствует А. Блок.

7 ноября

Первое чтение своих стихов в присутствии А. Блока на «Башне» Вячеслава Иванова.

10 ноября

Третье заседание «Цеха поэтов» на квартире у С.Б. Пиленко.

10 декабря

Избрание Блока «королем русских поэтов» в ресторане «Вена» группой поэтов, в числе которых была и Елизавета Юрьевна. После этого, в тот же день — очередное заседание «Цеха поэтов» у Кузьминых-Караваевых.

Конец декабря 1911 – январь 1912

Участие в 3-й художественной выставке «Союза молодежи» в Петербурге с картиной «Змей Горыныч» в окружении крупнейших представителей русского авангарда (Н. Гончарова, М. Ларионов, К. Малевич).

10 марта 1912

Очередное заседание «Цеха поэтов» у Кузьминых-Караваевых.

Март–апрель

Первые публикации: сборник стихов «Скифские черепки» (СПб.: Цех поэтов; обложка Сергея Городецкого); подборка стихотворений в № 2 журнала «Гиперборей» («Хорошо, хорошо, отойду я теперь...», «Как исчислю, Владыка, Твою благодать!», «Вестников путь неведом...»).

26 марта

Подписывает экземпляр «Скифских черепков» А. Блоку.

Апрель–май

Посещение немецкого курорта Бад-Наугейм. Начало переписки с А. Блоком, продлившейся до июля 1916 г. (см. письма к А. Блоку в наст. изд.).

Лето

Живет в Анапе, у нее гостят А.Н. Толстой и С.И. Дымшиц. Поездка в июле в Коктебель к М.А. Волошину.

Зима 1912 – лето 1913

Переезд из Петербурга в Анапу. Одинокая жизнь в родном имении.

Осень 1913

Переезд в Москву. Встречи с Толстыми, Вячеславом Ивановым. Развод с Д.В. Кузьминым-Караваевым.

18 октября

Рождение дочери Гаяны в Москве.

Конец ноября

Возобновление переписки с А. Блоком.

3 декабря

Письмо к Б.А. Садовскому (см. наст. изд.) о намерении издать новую поэтическую книгу.

19 января 1914

Письмо к А. Блоку с рукописью книги стихов «Дорога».

27 февраля

Письмо к С.П. Боброву (см. наст. изд.), попытка наладить связь с футуристической группой «Центрифуга».

Май

Публикация стихотворений в сборнике «Руконог» (М.: Центрифуга) («По вечерам горят огни на баке...», «Исчезла горизонта полоса...», «В небе угольно-багровом...»). Художественные работы (живопись, вырезки из бумаги). В Анапе у Елизаветы Юрьевны гостят Толстые.

18 октября

Крещение Гаяны в Онуфриевской церкви г. Анапы.

Конец 1914

Возвращение в Петербург, общение с А. Блоком, «заговор душ» (см. письма к А. Блоку, очерк «Блок» в наст. изд.).

Апрель 1915

Издана книга «Юрали», к которой автором готовилась серия иллюстраций. 12-м апреля подписан дарственный экземпляр для А. Блока.

Лето

Возвращение в Анапу, письмо к И.С. Книжнику-Ветрову, датированное 1 июня (см. наст. изд.).

Осень

Изучает богословие при Санкт-Петербургской духовной академии. Большинство экзаменов сдает экстерном.

Апрель 1916

Опубликован поэтический сборник «Руфь» (Пг.: Тип. Акционерного общества типографского дела), в который вошло 97 стихотворений 1913–1914 гг. Обложка подготовлена автором. Дарственный экземпляр для А. Блока подписан 20-м апреля.

Лето

Уединенная жизнь в анапском имении. Письма к А. Блоку, мобилизованному в действующую армию.

Октябрь

Поездка из Анапы в Кисловодск «поправить сердце» (см. письмо к А. Блоку от 27 августа 1916 г. в наст. изд.).

Середина ноября 1916

Поездки из Анапы в Новороссийск и Ростов-на-Дону, проводы брата Дмитрия из отпуска на фронт (см. письмо к А. Блоку от 22 ноября 1916 г.).

ВРЕМЯ ПЕРЕВОРОТОВ

(1917–1919)

Весна 1917

Избрание в состав гражданского комитета г. Анапы в качестве представителя от партии эсеров.

4 мая

Во время пребывания в Петрограде пишет последнее (внутрипетроградское) письмо к А. Блоку.

Лето

Безвозмездно отдает казакам станицы Гостагаевской свое имение, состоящее из виноградника и пахотной земли в количестве 60 гектаров.

Конец августа

Отъезд в Петроград и Москву, партийная работа.

Конец декабря

Возвращение в Анапу. Смена власти в городе, постепенный переход ее к большевикам и попытка Елизаветы Юрьевны противостоять этому процессу (см. очерк «При первых большевиках (Как я была городским головой)» в наст. изд.).

4 (17) февраля 1918²

Избрание товарищем городского головы.

Конец февраля

После отставки городского головы Н.И. Морева Елизавета Юрьевна становится городским головой Анапы. В городе избран военно-революционный комитет, провозглашена советская власть.

Март

Анапская городская Дума слагает с себя полномочия и передает их Управе, в функции которой входит управление городским хозяйством. Создание большевистского Совета народных комиссаров во главе с П.И. Протаповым. Период двоевластия. Начинают действовать военно-революционные трибуналы. Деятельность Елизаветы Юрьевны направлена на сохранение культурных ценностей города и на максимально возможное ограждение граждан от произвола новой власти.

Апрель

Совет постановляет упразднить Управу, а членов ее сделать народными комиссарами. Елизавета Юрьевна вынуждена принять должность комиссара народного образования и медицины. В середине апреля — бегство в Новороссийск, участие в губернской конференции правых эсеров, на которой ее избирают делегатом на VIII Совет партии. Перед поездкой в Москву Елизавета Юрьевна решает заехать домой.

15 апреля

Возвращение в Анапу. В Анапе убивают П.И. Протапова.

19 апреля

Похороны П.И. Протапова. В конце апреля Елизавета Юрьевна уезжает в Москву.

7–16 мая

Участие в работе VIII Совета партии эсеров (Москва) в качестве представителя Черноморской губернской организации.

² Далее даты даны по новому стилю.

Весна

Стихи Елизаветы Юрьевны «Собирала колосья в подол...», «И жребий кинули...», «Рядом пономарь горбатый...», «Какой бы ни было ценой...» опубликованы в сборнике «Весенний салон поэтов» (М.: Зерно), подготовленном И. Эренбургом.

Лето–осень

Антибольшевистская деятельность в рядах эсеровской партии в Москве, Петрограде и районах Поволжья.

Октябрь

Возвращение из Москвы на Кубань с Е.М. Ратнер. Приезд в Анапу, в которую в августе вошла Добровольческая армия. Арест деникинской контрразведкой. Передача дела в краевой суд.

Зима

Заключение в Анапе. Выпущена под залог до суда.

15 марта 1919

Судебное дело Е.Ю. Кузьминой-Караваевой по обвинению в сотрудничестве с большевиками рассматривает Кубанский краевой военно-окружной суд. Обвиняемая приговорена к двум неделям ареста на гауптвахте (см. «Дело Е.Ю. Кузьминой-Караваевой на страницах кубанской и московской прессы» в наст. изд.).

Осень

Выходит замуж за Даниила Ермолаевича Скобцова (1884–1968), члена Кубанского краевого правительства по ведомству земледелия.

ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЭМИГРАЦИИ

(1920–1925)

Март 1920

Эвакуация с дочерью Гаяной и матерью на пароходе «Прага» из Новороссийска в Потти. Дальнейшая эвакуация в Тифлис.

Начало апреля

Рождение в Тифлисе сына Юрия³.

Апрель

Смерть от тифа Д.Ю. Пиленко.

³ Даты эвакуации из России, рождения детей и этапов беженского существования уточнены по архивным материалам ГАРФ (Ф. 6792. Картотека. № С. Л. 3029–3032), воспоминаниям Д.Е. Скобцова «Годы революции и гражданской войны на Кубани» (ГАРФ. Ф. 5881. № 621–628), а также воспоминаниям С.Б. Пиленко (архив, собранный С.В. Медведевой, на хранении у Е.Д. Клепининой-Аржаковской).

Январь 1921

Эвакуация из Батума в Константинополь, где семья воссоединяется с Д.Е. Скобцовым, эвакуировавшимся с Кубанским краевым правительством. Известие о смерти Д.Ю. Пиленко.

Август

Известие о смерти А. Блока (см. очерк «Блок»).

Январь 1922

Рождение в Константинополе дочери Анастасии.

1 ноября 1923

Прибытие из Константинополя в Королевство сербов, хорватов и словенцев. Белград, затем переезд в Сремские Карловцы.

25 ноября

Крещение Юры и Насти в Сремских Карловцах протоиереем Василием (Виноградовым).

Начало января 1924

Выезд из Сремских Карловцев с С.Б. Пиленко и детьми во Францию, где Скобцовы вначале обосновались в предместье Парижа Вильпре (Villepreux), затем в Медоне (Meudon). Елизавета Юрьевна расписывает платки, шьет кукол, вышивает иконы.

1924

Опубликованы (под псевдонимом *Юрий Данилов*): очерк «Последние римляне», автобиографическая повесть «Равнина русская», рассказ «Йота», очерк «Украинная психология и люди центра».

1925

Опубликованы: очерк «Как я была городским головой» (под инициалами *Ю.Д.*), повесть «Клим Семенович Барынькин» (под псевдонимом *Юрий Данилов*), очерк «Друг моего детства» (за подписью *Е. Скобцова*) и ряд статей: «Религия и демократия», «Нечто о лозунготворчестве» (под псевдонимом *Юрий Данилов*), «Русские во Франции» (под инициалами *Ю.Д.*).

ПЕРЕЛОМ

(1926–1945)

Зима 1925–1926

Вся семья переболела гриппом. Здоровье младшей дочери Насти, так и не оправившейся после болезни, начинает вызывать все большую тревогу.

3 января 1926

В газете «Дни» опубликован очерк «Жуткое» под псевдонимом *Юрий Данилов*.

7 марта

Смерть Насти от менингита в Пастеровском институте (Париж). Призвание.

21 марта

В газете «Дни» опубликован рассказ очеркового типа «Соседи» под псевдонимом *Юрий Данилов*.

Вторая половина 1920-х гг.

Пишет рассказы «Непобедимая», «Ряженые», «Вадим Павлович Золотов», повести «Канитель» и «Несколько правдивых жизнеописаний».

Весна 1927

В издательстве «УМСА-Press» выходят две книжки житий святых «Жатва Духа».

Сентябрь

На 5-м съезде РСХД в Клермоне избрана секретарем по социальной работе.

1929

Начало «борьбы за монашество». Активное участие в РСХД.

Март 1931

Эксгумация Насти в связи с перезахоронением на другом участке кладбища. Елизавета Юрьевна присутствует при этом и заново переживает смерть дочери.

Март 1932

Церковный развод с Д.Е. Скобцовым и постриг (16 марта) в храме Сергиевского подворья. Наречена митрополитом Евлогием (Георгиевским) в честь Марии Египетской.

24–31 апреля

Участие во 2-м съезде прибалтийского Студенческого христианского движения, прошедшем в Эстонии, в Пюхтицком женском Успенском монастыре.

Сентябрь

Открытие первого женского общежития на улице Вилла де Сакс (Villa de Saxe) в седьмом округе Парижа.

Август 1934

Приобретение особняка на улице Лурмель в пятнадцатом округе Парижа, в котором открываются ежедневная столовая для безработных и воскресный культурный центр.

22 июля 1935

Отъезд Гаяны в Ленинград в сопровождении А.Н. Толстого.

Осень

Открытие дома отдыха для туберкулезных больных в Нуази-ле-Гран.

27 сентября

Открытие на улице Лурмель объединения «Православное Дело». В числе основателей кроме матери Марии: Н. Бердяев, о. Сергей Булгаков, Г. Федотов, К. Мочульский, секретарь — Ф. Пьянов. Митрополит Евлогий благословляет объединение.

30 июля 1936

Смерть Гаяны в Москве. Похоронена на Преображенском кладбище.

Осень

Открытие мужского общежития на улице Франсуа Жерар.

Октябрь

Настоятелем Покровского храма на улице Лурмель, д. 77 назначен архимандрит Киприан (Керн).

12 июля 1937

Отслужена панихида по Гаяне.

18–23 декабря 1938

Посещение французских психиатрических больниц, основание в начале следующего года Комитета помощи русским душевнобольным.

1939

Начало войны. Назначение на Лурмель 10 октября нового настоятеля, отца Дмитрия Клепинина.

1940

С 14 июня Париж оккупирован немецко-фашистскими войсками. Помощь сотрудников «Православного Дела» евреям в связи с выходом первых указов нацистских оккупантов. Благотворительная столовая на Лурмель объявляется муниципальной, организуется негласный комитет для помощи заключенным и их семьям.

1941

Нападение Германии на СССР. В Париже аресты русских эмигрантов. Арестованы И. Фондаминский и Ф. Пьянов. На Лурмель организована передача посылок заключенным. Мать Мария встречается с И.А. Кривошеиным и начинает участвовать в Сопротивлении. Отец Дмитрий Клепинин для спасения евреев выдает желающим свидетельства о крещении.

1942

Дело «Музея человека». 23 февраля расстреляны русские участники Сопротивления Б. Вильде и А. Левицкий. Мать Мария пишет поэму «Духов день» и мистерию «Солдаты».

Июль

Массовые аресты евреев. Мать Мария проникает на велодром, куда согнали арестованных; ей удается организовать побег четырех детей.

19 ноября

При неизвестных обстоятельствах в одном из концлагерей погибает И.И. Фондаминский.

8 февраля 1943

Обыск гестапо на Лурмель. Арест Юрия Скобцова в качестве заложника.

9 февраля

Арест матери Марии и отца Дмитрия Клепинина. Арестованные отправлены в форт Роменвиль.

26 февраля

Мать Мария, Юрий Скобцов, отец Дмитрий Клепинин и Ф. Пьянов отправлены из форта Роменвиль в пересыльный лагерь Компьень.

22–27 апреля

Депортация в женский концлагерь Равенсбрюк. Последняя встреча с сыном в Компьене.

Декабрь

Отец Дмитрий Клепинин и Юрий Скобцов отправлены в Германию в концлагерь Бухенвальд, затем в лагерь Дора.

8 февраля 1944

Гибель в концлагере Дора отца Дмитрия Клепинина. В том же году гибнет 22-летний Юрий Скобцов.

31 марта 1945

Сожжена в газовой камере Равенсбрюка.

1947

Усилиями Д.Е. Скобцова выходит книга: *Мать Мария*. Стихотворения. Поэмы. Мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк (Paris: La Presse Française et Étrangère).

1949

В Париже выходит книга: *Мать Мария*. Стихи.

1985

Указом Президиума Верховного Совета СССР Елизавета Кузьмина-Караваева посмертно награждена орденом Великой Отечественной войны II степени за антифашистскую деятельность

1987

Присвоение матери Марии и отцу Дмитрию Клепинину звания «Праведников Мира» израильским институтом Яд Вашем.

Февраль 2004

Причисление к лику святых по решению Священного синода Вселенского патриархата. Одновременно прославлены отец Дмитрий Клепинин (1900–1944), иподьякон Юрий Скобцов (1920–1944) и Илья Фондаминский (1880–1942). День почитания — 20 июля.

ЛИТЕРАТУРА

1914

Львова Н. Холод утра (к вопросу о женском творчестве) // Жатва. М., 1914. Кн. 5. С. 249–256.

1919

Дело Е.Ю. Кузьминой-Караваевой // Утро Юга. 1919. 3 (16) марта. № 50 (78); 5 (18) марта. № 51 (79); 6 (19) марта. № 52 (80).

Р.Н. Дело Е.Ю. Кузьминой-Караваевой // Приазовский край. 1919. 7 (20) марта. № 54.

Письмо в редакцию // Одесский листок. 1919. 11 (24) марта. № 78.

Работа врагов революции // Известия (Москва). 1919. 27 апр. № 89 (641).

1923

Гумилев Н.С. Письма о русской поэзии. Пг.: Мысль, 1923. С. 144–146.

1924

Афанасьева А. Воспоминания о прошлом // Революционное юношество: Из прошлого социал-демократической и учащейся молодежи. Л.: Госиздат, 1924. С. 93–94, 109–110.

Бенедиктов М. «Современные записки». Кн. XIX // Последние новости. 1924. 24 апр. № 1228. С. 3.

Бенедиктов М. «Современные записки». Кн. XX // Последние новости. 1924. 3 июля. № 1285. С. 3.

1928

Горбов Д. У нас и за рубежом. М.: Федерация, 1928. С. 73–74.

Федотов Г.П. Рецензия на «Жатву Духа» Е.Ю. Скобцовой // Современные записки. 1928. № 35. С. 554–555.

1936

Адамович Г. «Современные записки». Кн. 62 // Последние новости. 1936. 10 дек. № 5739. С. 3

Ходасевич В. Книги и люди. «Современные записки». Кн. 62-я // Возрождение. 1936. 26 дек. № 4058. С. 9.

1937

Адамович Г. Литературные заметки [Отзыв на сборник «Стихи» (Берлин, 1937)] // Последние новости. 1937. 17 июня. № 5927. С. 5.

Мочульский К.В. Монахиня Мария. Стихи. (Берлин, 1937) [Рецензия] // Путь. 1937. № 53 (июнь-июль). С. 86–87.

1938

Цетлин М. Рецензия на сборник «Стихи» (Берлин, 1937) // Современные записки. 1938. № 66. С. 450–451.

1946

Мочульский К.В. Монахиня Мария (Скобцова). Воспоминания // Третий час (Нью-Йорк). 1946. № 1. С. 64–78; То же (с сокр.) // Вестник РХД. 2004. № 187. С. 24–30.

1947

Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни: Воспоминания митрополита Евлогия, изложенные по его рассказам Т. Манухиной. Париж, 1947. С. 538, 540–542; То же. М.: Московский рабочий, 1994. С. 445, 450–451, 492–495, 507, 517.

Из воспоминаний С.Б. Пиленко // Мать Мария. Стихотворения. Поэмы. Мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. Paris: La Presse Française et Étrangère, 1947. С. 151–153; То же // Христианос: Альманах. Рига, 2004. Вып. 13. С. 70–73.

Из воспоминаний Д.Е. Скобцова // Мать Мария. Стихотворения. Поэмы. Мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. Paris: La Presse Française et Étrangère, 1947. С. 153–159.

Из воспоминаний И.Н. Вебстер // Мать Мария. Стихотворения. Поэмы. Мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. Paris: La Presse Française et Étrangère, 1947. С. 159–165; То же // Христианос: Альманах. Рига, 2004. Вып. 13. С. 76–82.

Носович С.В. Встреча с матерью Марией в лагере Равенсбрюк // Вестник русских добровольцев, партизан и участников Сопротивления во Франции. Париж, 1947. № 2. С. 47–48.

Knout D. Contribution a l'histoire de la Résistance juive en France, 1940–1944. Paris: Éditions du Centre de documentation juive contemporaine, 1947. P. 7. (Ser. «Études et monographies»; № 3).

Stepun F. Vergangenes und Unvergängliches. Aus meinem Leben: In 3 Bänden. Erster Teil. Band I: 1884–1914. München: Verlag Josef Kösel, 1947. S. 370–371.

1949

Бердяев Н. Самопознание: (Опыт философской автобиографии). Париж: YMCA-Press, 1949. С. 299–300; То же. М.: ДЭМ, 1990. С. 267.

Пиленко С.Б. Детство и юность матери Марии // Мать Мария. Стихи. Париж, 1949. С. 5–11.

Раевский Г.А. О поэзии матери Марии // Мать Мария. Стихи. Париж, 1949. С. 13–14.

Poliakoff P. L'étoile jaune. Paris: Éditions du Centre de documentation juive contemporaine, 1949. P. 43.

1953

Терапиано Ю. Мать Мария // Терапиано Ю. Встречи. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953. С. 143–147.

1955

Зандер В.А. Мать Мария (Скобцова): К 10-летию со дня смерти // Вестник РСХД. 1955. № 1 (36). С. 3–7.

Манухина Т. Монахиня Мария: К 10-летию со дня кончины // Новый журнал. 1955. № 41. С. 137–157.

1956

Варшавский В.С. Незамеченное поколение. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956. С. 293–298, 306; То же. М.: ИНЭКС, 1992. С. 293–298, 306; То же (с сокр.) // Русский Париж. М.: Изд-во МГУ, 1998. С. 370–371; То же. М.: Русский путь; Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 2010. С. 290–297.

Степун Ф. Бывшее и несбывшееся: В 2 т. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956. Т. 1. С. 324; 2-е изд. Лондон: Overseas Publications Interchange Ltd, 1990. Т. 1. С. 323–324; То же. СПб.: Алетейя, 2000. С. 251–252.

1957

Любимов Л. На чужбине // Новый мир. 1957. № 4. С. 172; То же. М.: Советский писатель, 1963. С. 341–342; То же. Ташкент: Узбекистан, 1965. С. 341–342; То же. Ташкент: Узбекистан, 1979. С. 341–342.

1960

Тверитинова А. Форт Роменвиль. Л.: Советский писатель, 1960. С. 237–243; То же // Звезда. 1960. № 4. С. 104–136; То же (с изм. загл.): Под крышами Парижа // Нева. 1984. № 2. С. 116–122.

1961

Эренбург И. Люди, годы, жизнь: В 6 кн. Книга первая и вторая. М.: Советский писатель, 1961. С. 204–205.

1962

Неизданные письма А.А. Блока / публ. З.Г. Минц // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Тр. по русской и славянской филологии. Сб. V. Литературоведение. Тарту, 1962. Вып. 119. С. 394; То же // Блок А. Собрание сочинений: В 8 т. М.; Л.: ГИХЛ, 1963. Т. 8. С. 430.

1963

Zander V. Mère Marie, mère des pauvres (1891–1945) // Le Messager Orthodoxe (Paris). 1963. № 21–22. P. 30–32.

1964

Корн Р. Никитские субботники // Вопросы литературы. 1964. № 12. С. 237–238.

1965

Бердяев Н.А. Памяти монахини Марии (Скобцовой) // Вестник РСХД. 1965. № 78. С. 21–23; То же // Общая газета. 1993. 22–28 окт. № 14/16. С. 16; То же // Интеллектуальный капитал. 2001. № 3. С. 8.

Блок А.А. Записные книжки: 1901–1920. М.: Художественная литература, 1965. С. 202, 203, 245, 246, 250, 251, 258, 261, 290, 291, 314.

Сухомлин В.В. Гитлеровцы в Париже // Новый мир. 1965. № 12. С. 96–129.

Anthony, Archbishop of Sourozh. [Foreword] // Hackel S. One, of great price: The life of Mother Maria Skobtsova, Martyr of Ravensbrück. London: Darton, Longman and Todd Ltd, 1965. P. VII–VIII.

Contacts. Revue française de l'Orthodoxie (Paris). 1965. № 51. [Номер, посвященный матери Марии].

Hackel S. One, of great price. The life of Mother Maria Skobtsova, Martyr of Ravensbrück. London: Darton, Longman and Todd Ltd, 1965.

Stratton Smith T. The rebel nun: The moving story of Mother Maria of Paris. London: Souvenir Press, 1965.

Stratton Smith T. Mère Marie: Nonne et rebelle. Paris: Presses de la Cité, 1965.

1966

Бердяев Н.А. Две годовщины // Русские новости (Париж). 1966. 1 апр. № 1085. С. 2.

Богат Е. Ахилл и черепаха // Молодая гвардия. 1966. № 1. С. 258–299; То же // Богат Е. Избранное. М.: Московский рабочий, 1986. С. 7–47; То же // Богат Е. Бессмертны ли злые волшебники. М.: Молодая гвардия, 1967. С. 207–272; То же // Богат Е. Ахилл и черепаха. М.: Московский рабочий, 1979. С. 7–63.

Богат Е. «Не снижайте мысли» // Культура и жизнь. 1966. № 1. С. 8–9.

Коряков М. Листки из блокнота (Никитинские субботники) // Новое русское слово (Нью-Йорк). 1966. 3 нояб.

Мейснер Д. Миражи и действительность: Записки эмигранта. М.: Изд-во АПН, 1966. С. 261.

Чертков Л.Н. Кузьмина-Караваева Елизавета Юрьевна // Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. М.: Советская энциклопедия, 1966. Т. 3. С. 878–879.

De Gaulle G. Mère Marie // Voix et Visages (Paris). 1966. Janvier–Février. № 102. P. 1–4; То же: de Голль Ж. «О смерти! Нет, не тебя я полюбила...» (пер. с фр.) // Вестник РХД. 2004. № 187. С. 31–33; То же: de Голль Ж. Из воспоминаний о Матери Марии // Христианос: Альманах. Рига, 2004. Вып. 13. С. 82–84.

Goriely V. Mère Marie // Esprit (Paris). 1966. Juillet–Août. P. 102–114.

1967

Жаба С. Мать Мария // Русская мысль. 1967. 12 янв. № 2568. С. 4–5.

Hackel S. Die größere Liebe: Der Weg der Maria Skobtsova (1891–1945) / ins Deutsche übertr. von A. Böll. Düsseldorf: Patmos-Verlag, 1967.

Hackel S. Mother Maria Skobtsova: Deaconess manquée? // Eastern Churches Review. 1967. № I/3. P. 264–266.

1968

Ахматова А. Сочинения: В 2 т. Мюнхен: Международное литературное содружество, 1968. Т. 2. С. 173–174, 420–421.

Дейч А.И. Арабески времени // Звезда. 1968. № 12. С. 182–203; То же // Дейч А.И. День нынешний и день минувший: Литературные впечатления и встречи. М.: Советский писатель, 1985. С. 310–311.

Кожевникова О. Памяти ушедших (собрание памяти русских сопротивленцев) // Русские новости (Париж). 1968. № 1218. С. 7.

Максимов Д.Е. Воспоминания о Блоке Е.Ю. Кузьминой-Караваевой: [Вступ. ст. к публикации очерка Е.Ю. Кузьминой-Караваевой «Встречи с Блоком»] // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Тр. по русской и славянской филологии. Сб. IX. Литературоведение. Тарту, 1968. Вып. 209. С. 257–264; То же // Максимов Д.Е. Поэзия и проза Ал. Блока. Л.: Советский писатель, 1981. С. 522–544.

Kahle W. Die Erforschung der orthodoxen Kirchen und Kirchen des Ostens // Theologische Rundschau (Tübingen). 1968. Jg. 33. H. 4 (Dezember). S. 349.

1969

Богат Е. Такая живая, такая красивая // Богат Е. Удивление. М.: Молодая гвардия, 1969. С. 149–158; То же (с сокр.) // Комсомольская правда. 1965. 5 сент.

1970

Кривошеин И.А. Мать Мария (Скобцова): К 25-летию со дня кончины // Журнал Московской Патриархии. 1970. № 5. С. 30–42.

1972

Кривошеин И.А. Мать Мария // Против общего врага. Советские люди во французском движении Сопротивления. М.: Наука, 1972. С. 270–273.

1973

Богат Е. Вечный человек: (Диалоги. Портреты. Размышления). М.: Молодая гвардия, 1973. С. 177–184.

Зернов Н.М. Русские писатели эмиграции: Биографические сведения и библиография их книг по богословию, религиозной философии, истории Церкви и православной культуре: 1921–1972. Boston, MA: G.K. Hall, 1973. С. 122.

Микулина Е. Мать Мария: [Повесть] // Простор. 1973. № 12. С. 90–124.

1974

Зернов Н. Русское религиозное возрождение XX века. Париж: YMCA-Press, 1974. С. 249, 252, 257–258, 306, 359–360; 2-е изд. Париж: YMCA-Press, 1991; То же // Zernov N. The Russian religious renaissance of the twentieth century. London: Darton, Longman and Todd Ltd, 1963. P. 241–243, 246, 348.

Милиц З.Г., Лотман Ю.М. О глубинных элементах художественного замысла (к дешифровке одного непонятого места из воспоминаний о Блоке) // Материалы Всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1974. № I (5). С. 168–175; То же // Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб.: Искусство – СПб., 1996. С. 670–675.

1975

Максимов Д.Е. Блок и Кузьмина-Караваева (По поводу ее воспоминаний о Блоке) // Максимов Д.Е. Поэзия и проза Ал. Блока. Л.: Советский писатель, 1975. С. 498–517.

Никифорова Н. Памяти матери Марии // Русская мысль. 1975. 24 апр. № 3048. С. 13.

1977

Богат Е. История одной любви // Литературная газета. 1977. 14 сент. № 37 (4635). С. 6.

Устами Буниных: Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы: В 3 т. Frankfurt am Main: Посев, 1981. Т. 2. С. 241, 267, 274–275.

Hackel S. «What can we say to God?»: The poetry of Mother Maria Skobtsova (1891–1945) // *Sobornost*. 1977. Ser. 7. № 5. P. 377–385.

1978

Богат Е. «...Что движет солнце и светила»: Любовь в письмах выдающихся людей. М.: Детская литература, 1978. С. 194–217.

1979

Крыщук Н. «Открой мои книги...»: (Разговор о Блоке). Л.: Детская литература, 1979. С. 163–164.

Сытова А.С. Неизданные портреты поэтессы Е.Ю. Кузьминой-Караваевой // *Памятники культуры. Новые открытия: Ежегодник*. Л.: Наука, 1980. С. 319–325.

Matzneff G. Une femme russe // *Le Monde*. 1979. № 10514. P. 2.

Рутан А. The life of Aleksandr Blok: In 2 vols. Oxford: Oxford University Press, 1979–1980. Vol. 1. P. 318–320; Vol. 2. P. 27, 118–120.

1980

Антоний, митр. Сурожский. Слово о матери Марии: Предисловие // *Гаккель С., прот. Мать Мария: (1891–1945)*. Париж: YMCA-Press, 1980. С. 13–14; То же // *Христианос: Альманах*. Рига, 2004. Вып. 13. С. 86–87.

Гаккель С., прот. Мать Мария: (1891–1945). Париж: YMCA-Press, 1980; 2-е изд. Париж: YMCA-Press, 1992; То же. М.: Всецерковное православное молодежное движение, 1993.

Жаба С.П. За други своя... // *Вестник РХД*. 1980. № 1–2 (131). С. 325–352; То же (с сокр.) // *Христианос: Альманах*. Рига, 2004. Вып. 13. С. 35–44.

Жаба С.П. Мать Мария [о книге о С. Гаккеля] // *Русская мысль*. 1980. 16 окт. № 3330. С. 12, 14.

Макаров Л. Мать Мария и русское студенческое христианское движение (1932–1935) // *Вестник РХД*. 1980. № 131. С. 353–361.

Шустов А.Н. Посвящено Блоку // *Байкал*. 1980. № 5. С. 150.

1981

Александр Блок. Новые материалы и исследования. М.: Наука, 1981. С. 57, 211. (Литературное наследство; Т. 92. Кн. 2).

Шустов А.Н. Жизнь и творчество Е.Ю. Кузьминой-Караваевой // *Русская литература*. 1981. № 4. С. 160–170.

Anthony, Archbishop of Sourozh. [Foreword] // *Hackel S. Pearl of great price: The life of Mother Maria Skobtsova, 1891–1945*. London: Darton, Longman and Todd Ltd; New York: St. Vladimir's Seminary Press, 1981. P. XI–XII.

Hackel S. Pearl of great price: The life of Mother Maria Skobtsova, 1891–1945. London: Darton, Longman and Todd Ltd; New York: St. Vladimir's Seminary Press, 1981.

1982

Зленко Г. Дочь России // *Вечерняя Одесса*. 1982. 13 апр. № 86 (2621). С. 2.

Райт-Ковалева Р. Человек из музея человека. М.: Советский писатель, 1982. С. 91–100.

1983

Клепинина-Аржаковская Е.Д. Советский фильм «Мать Мария» // *Вестник РХД*. 1983. № 1 (138). С. 236–242.

Куприянов Д. Здесь бывала мать Мария // Калининская правда. 1983. 5 марта. № 54 (19876). С. 4.

Микулина Е. Мать Мария: Роман. М.: Современник, 1983; 2-е изд., доп. М.: Советская Россия, 1988.

Яновский В.С. Поля Елисейские: Книга памяти. Нью-Йорк: Серебряный век, 1983; То же. СПб.: Пушкинский фонд, 1993.

1984

Кривошеина Н.А. Четыре трети нашей жизни. Париж: YMCA-Press, 1984. С. 134–140 (гл. «Мать Мария»); 2-е изд., доп. М.: Русский путь, 1999. (Всероссийская мемуарная библиотека).

Кузьмина-Караваева Е.Ю. [Дарственные надписи на книгах «Скифские черепки, «Юрали», «Руфь», подаренных А.А. Блоку] // Библиотека А.А. Блока: Описание: В 3 кн. Л.: Библиотека АН СССР; Ин-т русской литературы АН СССР, 1984. Кн. 2. С. 41.

Светов Ф. Мать Мария: Поэзия. Служение. Крест // Надежда. Христианское чтение. Frankfurt am Main, 1984. Вып. 10 (май). С. 233–284.

Струве Г. Русская литература в изгнании. 2-е изд., испр. и доп. Париж: YMCA-Press, 1984. С. 230–231, 240, 328–329, 380; То же: *Струве Г.* Русская литература в изгнании: Краткий биографический словарь русского зарубежья. 3-е изд., испр. и доп. Париж: YMCA-Press; М.: Русский путь, 1996. С. 159, 219–220, 324–325.

Lindenberg W. Lob der Gelassenheit: Weisheiten und Geschichten. Freiburg: Herder, 1984.

1985

Богат Е. Мать Мария: мифы, версии, достоверности // Литературная газета. 1985. 26 июня. № 26 (5040). С. 13.

Толстой А.Н. Материалы и исследования. М.: Наука, 1985. С. 195, 300, 319, 335, 486.

Шустов А.Н. Дочь России // Белые ночи: Очерки. Зарисовки. Воспоминания. Документы. Л.: Лениздат, 1985. С. 198–227.

1986

Богат Е. Мать Мария: мифы, версии, достоверности // Юность. 1986. № 4. С. 86–92.

Корн Р.Э. Друзья мои... Воспоминания. Очерки. Зарисовки. М.: Советский писатель, 1986. С. 181–189.

Купченко В. Не богу — людям // Черноморская здравница. 1986. 15 июля. № 134 (14825). С. 4.

Vachmann E.M. Im anderen das Bild Gottes erkennen. Mutter Marias Weg und Dienst außerhalb schützender Klostermauern (Reconnaitre en l'autre l'image de Dieu. La vie et le service de M. Marie hors des murs du monastère) // Stimme der Orthodoxie. 1986. № 3. S. 32–37.

1987

Веленгурич Н. Мать Мария // Кубань. 1987. № 3. С. 11–32.

Кузьмина-Караваева Елизавета Юрьевна (1891–1945) // Литературный энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1987. С. 628–629.

Плюханов Б. Мать Мария // Даугава. 1987. № 3. С. 108–118.

Плюханов Б. Свет великой души / беседу записала С. Подберезина // Ригас Баллс. 1987. 22 июня. № 142 (9047). С. 4.

1988

Веленгурин Н.Ф. Узница лагеря Равенсбрюк // Веленгурин Н.Ф. Пути и судьбы: Литературные очерки. Краснодар: Книжное изд-во, 1988. С. 199–251.

Гонтаренко А.Н. Заветная нить поиска // Заветная нить поиска: Рассказы об Омском музее изобразительных искусств. Омск: Омское книжное изд-во, 1988. С. 68–72. [О портрете Е.Ю. Кузьминой-Караваевой работы С.И. Дымшиц].

Грехно В. «Враг народа» в Юровке // Юность. 1988. № 9. С. 93; № 11. С. 78.

Емельянова Т.В. Типология жанра мистерии в английской и русской драматургии первой половины XX века (Ч. Уильямс, Д. Сэйерс, К. Фрай и Е.Ю. Кузьмина-Караваева): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1988. С. 20–28.

Казак В. Мать Мария // Kasack W. A dictionary of Russian literature since 1917 = Энциклопедический словарь русской литературы с 1917 г. London: Overseas Publications Interchange, 1988. P. 478–480.

Сытова А.С. Неизвестные рисунки Е.Ю. Кузьминой-Караваевой // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник 1987. М.: Наука, 1988. С. 289–300.

Шустов А.Н. Юрий, Юровка и Мария // Неделя. 1988. № 31 (7–14 авг.). С. 20.

1989

Будыко М. Рассказы Ахматовой // Звезда. 1989. № 6. С. 70–87.

Елизавета Кузьмина-Караваева // Смена. 1989. 25 окт. № 245 (19395). С. 3.

Кайдаш С.Н. Судьба и вера матери Марии // Театр. 1989. № 5. С. 148–150.

Кузьмина-Караваева (Пиленко) Елизавета Юрьевна (в монашестве мать Мария) // Советский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989. С. 674.

Плюханов Б.В. Мать Мария // Собеседник. 1989. № 9. С. 158–168.

Плюханов Б.В. Мать Мария (Скобцова) // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Блоковский сб.: Памяти Д.Е. Максимова: Биография и творчество в русской культуре начала XX века. Сб. IX. Тарту, 1989. Вып. 857. С. 159–177.

Тэффи Н.А. Ностальгия: Рассказы. Воспоминания. Л.: Художественная литература, 1989. С. 354–356.

Behr-Sigel E. Mère Marie Scobtsov // Le Messenger Orthodoxe (Paris). 1989. № 111. P. 56–72.

Kasack W. Mat' Marija aus verschiedener Sicht // Primi sobranè pestyryh glav: slavistische und slavenkundliche Beiträge für Peter Brang zum 65. Geburtstag / Hrsg. von C. Goehrke, R. Kemball, D. Weiss. Bern [u.a.]: Peter Lang, 1989. S. 103–111.

1990

Грехно В.Н. «Всего четыре поколения из жизни одной семьи...» // До востребования. 1990. 24 дек.

Грехно В.Н. «И наша боль, и наша гордость...» / беседу записал В. Феоктистов // Анапа. 1990. 21 дек. № 1. С. 2–3.

Краткий краеведческий словарь Бежецкого района Тверской области / сост. П.В. Москвин, при участии Д.В. Куприянова, С.А. Герасимовой. Тверь: РИО Упрполиграфиздата, 1990. С. 24.

Маковский С. Николай Гумилев по личным воспоминаниям // Николай Гумилев в воспоминаниях современников. М.: Вся Москва, 1990. С. 84.

Милютин Т.П. Три года в русском Париже // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Блоковский сб.: А. Блок и русский символизм: Проблемы текста и жанра. Сб. X. Тарту, 1990. Вып. 856. С. 141–167; То же // Вестник РХД. 1991. № 162–163. С. 269–304.

Павлова И. Хан-Чокрак — Золотой родник // Отчизна. 1990. № 1. С. 44–48.

Тименчик Р.Д. [Примечания] // Гумилев Н.С. Письма о русской поэзии. М.: Современник, 1990. С. 318–319; То же // Сочинения: В 3 т. М.: Художественная литература, 1991. Т. 3. С. 286.

Шустов А.Н. Петербургские адреса Кузьминой-Караваевой // Диалог. 1990. № 7. С. 25–27.

Эйгер-Мошковская Ю.Я. Надеждой бились юные сердца / публ. А.Н. Шустова // Ленинградская панорама. 1990. № 11. С. 32–35; № 12. С. 26–29.

1991

Грехно В. На заре туманной юности и позже... Малоизвестные страницы из жизни Е.Ю. Кузьминой-Караваевой // Советское Черноморье. 1991. 20 дек. № 202 (9384). С. 3.

Грехно В.Н. «Я вновь умру, и я воскресну вновь...»: К 100-летию со дня рождения матери Марии. Одесса: Весть, 1991; То же (с сокр.) // Анапа. 1991. 8–11 сент.; 12–18 сент.; 19–25 сент.; 3–9 окт.; 10–16 окт.; 24–30 окт.; 6–13 нояб.

Грехно В., Курбацкий В. Мать Мария. К 100-летию со дня рождения Е.Ю. Кузьминой-Караваевой // Советское Черноморье. 1991. 3 дек. № 192 (9374). С. 2.

Дзюя Р. Е.Ю. Кузьмина-Караваева: вторая жизнь // Вече Твери. 1991. 9 нояб. № 229 (266). С. 4.

Е. Кузьмина-Караваева и ее время // Тверские ведомости. 1991. 29 нояб. № 114 (130). С. 3.

Жирмунская Т. Отец Александр — о матери Марии // Семья. 1991. № 11. С. 7, 10.

Жирмунская Т. Урок на прощанье // Памяти протоиерея Александра Меня. М.: Рудомино, 1991. С. 178–184.

Зернов Н. Русское религиозное возрождение XX века. Париж: YMCA-Press, 1991. С. 368.

Кайдаш С., Шустов А. Не опуститься в забвение // Тверская жизнь. 1991. 6 дек. № 236 (22438). С. 3.

Куприянов Д.В. Мать Мария // Тверская жизнь. 1991. 19 нояб. № 223 (22425). С. 3.

Куценко И.Я. Кубанская «тайна» матери Марии. К 100-летию Е.Ю. Кузьминой-Караваевой // Вольная Кубань. 1991. 7, 12, 13, 14 нояб.

Лемякина З. Жизнь положить // Советское Черноморье. 1991. 14 дек. № 199 (8381). С. 3.

Линник Ю.В. Мать Мария // Вестник РХД. 1991. № 161. С. 121–132.

Милютин Т.П. «Не хочу я быть воспоминанием, буду вам в грядущее призыв» // Русская почта (Таллинн). 1991. № 3 (13). С. 3.

Осьмаков Н. Жизнь — подвиг: [Вступ. ст.] // Кузьмина-Караваева Е.Ю. Избранное. М.: Советская Россия, 1991. С. 3–22.

Памяти матери Марии // Вече Твери. 1991. 27 нояб. № 227 (264). С. 3.

Плюханов Б. Объединение «Православное дело» // Вестник РХД. 1991. № 161. С. 133–139.

Плюханов Б. О тетради стихотворений монахини Марии (Скобцовой) 1928–1933 гг. // Вестник РХД. 1991. № 161. С. 140–142.

[Шмаина]-Великанова А. Мать Мария (Е.Ю. Кузьмина-Караваева) // Памятные книжные даты. М.: Книга, 1991. С. 140–143.

Шустов А.Н. Блок в жизни и творчестве Е.Ю. Кузьминой-Караваевой // Александр Блок: Исследования и материалы. Л.: Наука, 1991. С. 125–141.

Шустов А. Два поэта // Тверская жизнь. 1991. 10 дек. № 238 (22440). С. 3.

Шустов А. Е.Ю. Кузьмина-Караваева в оценке С. Городецкого // Вопросы литературы. 1991. № 9–10. С. 302–304.

1992

Кайдаш С.Н. Она откликнулась на боль мира... // Известия. 1992. 6 янв. № 4 (23578). С. 4.

Шустов А. Кому посвящено? К истории стихотворения «Это было не раз...» // Тверские ведомости. 1992. 7 февр. № 22 (167). С. 3.

Шустов А.Н. «Повенчана с дворянином Кузьминым-Караваевым» // Тверская страница. 1992. № 1 (3). С. 70–75.

Шустов А.Н. Раскрывая тайну матери Марии // Вольная Кубань. 1992. 5 нояб. № 173 (21454). С. 4; 6 нояб. № 174 (21455). С. 4.

Шустов А.Н. Свидетельства современника о матери Марии // Вестник РХД. 1992. № 166. С. 272–279.

1993

Богомолов Н.А. Петербургские гафизиты // Серебряный век в России: Избранные страницы. М.: Радикс, 1993. С. 203–204.

Богословский А.Н. Поэты русского зарубежья — соотечественникам // Человек. 1993. № 6. С. 181–188.

Грехно В. Музей матери Марии в селе Юровка // Русская мысль. 1993. 30 апр. – 6 мая. С. 17.

Евлогий (Георгиевский), митр. Слово на собрании памяти о. Дмитрия Клепинина (Париж, 1944) // Вестник РХД. 1993. № 168. С. 88–89.

Емельянова Т.В. Философия духовного «восхождения» в творчестве Е.Ю. Кузьминой-Караваевой // Литература русского зарубежья. Тюмень, 1993. Ч. 2. С. 37–43.

Плюханов Б.В. РСХД в Латвии и Эстонии: Материалы к истории Русского Студенческого Христианского Движения. Париж: YMCA-Press, 1993.

Сланевский Л.В. Мона Лиза — Мария // Сланевский Л.В. «Все мне памятно до боли...». Тверь: Тверской гос. ун-т, 1993. С. 4–10; То же // Домовой. 1994. № 1. С. 35–37.

Шевченко С. Французский художник из Борискова // Тверская жизнь. 1993. 27 авг. № 161 (22867). С. 3.

Шустов А.Н. Искания (1914–16): Глава из документального повествования о матери Марии // Вестник РХД. 1993. № 167. С. 13–44.

Шустов А.Н. Мать Мария — родственница Грибоедова // Вольная Кубань. 1993. 20 янв.

Behr-Sigel E. Un moine de l'Église d'Orient: Le père Lev Gillet. Paris: Cerf, 1993.

Marie Skobtsova // Chrétiens en Marche. 1993. № 37. P. 9.

1994

Восхождение: О жизни и творчестве Е.Ю. Кузьминой-Караваевой: К 50-летию со дня героической гибели матери Марии: Сборник / сост. Д.В. Куприянов; науч. ред. А.Н. Шустов. Тверь: Тверское областное книжно-журнальное изд-во, 1994.

Грибова Н. «Такая живая, такая красивая...» // Бежецкая жизнь. 1994. 17 марта. № 23 (14623). С. 4.

Куприянов Д. Борисково // Бежецкая жизнь. 1994. 29 окт. № 87 (14687). С. 2.

Куприянов Д. «Восхождение» // Бежецкая жизнь. 1994. 29 окт. № 87 (14687). С. 2.

Манухина Т. Монахиня Мария // Дальние берега: Портреты писателей эмиграции. М.: Республика, 1994. С. 183–200.

Петрова Т.Г. Кузьмина-Караваева (мать Мария) Елизавета Юрьевна // Писатели русского зарубежья (1918–1940): Справочник: В 3 ч. Ч. 2: К–С / гл. ред. А.Н. Николокин. М.: ИНИОН РАН, 1994. С. 48–55. (Литературная энциклопедия русского зарубежья; Т. 1).

Преображенский В. Птенцы дворянского гнезда // Тверская жизнь. 1994. 6 янв. № 2 (22956). С. 3.

Кузьмина-Караваева Е.Ю. // Русские писатели: 1800–1917: Биографический словарь: В 5 т. М.: Большая российская энциклопедия, 1994. Т. 3. С. 210.

Терапиано Ю. Мать Мария // Дальние берега: Портреты писателей эмиграции. М.: Республика, 1994. С. 200–203.

Шустов А.Н. Библиографический указатель литературных, философских, публицистических и художественных произведений Е.Ю. Кузьминой-Караваевой (матери Марии). Томск: Водолей, 1994.

1995

Иоанн (Шаховской), архиеп. Сан-Францисский. Мать Мария // Христианос: Альманах. Рига, 1995. Вып. 4. С. 241–248.

Лемякина З.Н. Елизавета Юрьевна Пиленко — мать Мария // Я говорю торжественно: «Во имя...». Анапа, 1995. С. 3–5.

Мень А., прот. «И надо всей мне, до конца сгореть»: мать Мария // Вышгород (Таллинн). 1995. № 3. С. 130–138; То же: *Мень А., прот.* Мать Мария // Мень А., прот. Мировая духовная культура: Христианство. Церковь: Лекции и беседы. М.: Фонд имени Александра Меня, 1995. С. 576–584.

Милютин Т. Вспомнившееся // Вопросы философии. 1995. № 4. С. 98–106.

Михайлов О.Н. Мать Мария (Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева) // Михайлов О.Н. Литература русского зарубежья. М.: Просвещение, 1995. С. 321–328.

Омельченко Е.А. Из неопубликованных воспоминаний Е.А. Омельченко / публ. А.Н. Шустова // Анапа. 1995. 30 марта. № 37 (557). С. 2.

Сенин С. «Семь веков служат Отечеству». Старинный род Кузьминых-Караваевых // Источник: Документы русской истории. 1995. № 5 (18). С. 17–34.

Шустов А.Н. Сто лет демократии в Анапе // Анапа. 1995. 7 сент. № 105 (625). С. 2.

Шустов А.Н. «Хотя бы скромный камень...» // Санкт-Петербургские ведомости. 1995. 11 марта.

Arjakovsky-Klepiline H. La joie du don (biographie spirituelle) // Le Sacrement du Frère. Pully, Switzerland: Sel de la Terre, 1995. P. 13–70; То же. Paris: Édition du Cerf, 2001. P. 15–69.

Clement O. Preface // Le sacrement du frère. Pully, Switzerland: Sel de la Terre, 1995. P. 5–11.

Ware K. The Orthodox way. New York: St. Vladimir's Seminary Press, 1995. P. 40, 41, 85, 153.

1996

Бердяева Л.Ю. Дни напряженной тревоги (Из дневника Л.Ю. Бердяевой. 1939–1945) // Встречи с прошлым. М.: Русская книга, 1996. Вып. 8. С. 322–366.

Зеньковский В., прот. Мои встречи с выдающимися людьми. Ч. 3. Париж-Америка // Зап. Русской академической группы в США. 1996/1997. Т. 28. С. 19–21, 23–24, 31.

Казак В. Скобцова Елизавета Юрьевна // Казак В. Лексикон русской литературы XX века. М.: РИК «Культура», 1996. С. 382–383.

Купченко В.П. Странствие Максимилиана Волошина: Документальное повествование. СПб.: Logos, 1996. С. 157, 263–264; То же (с сокр.) // Подъем. 1992. № 1. С. 107–110.

Лекманов О.А. «Цех поэтов» и символизм // Гумилевские чтения: Материалы международной конференции филологов-славистов. СПб., 1996. С. 25–32.

Лемякина З.Н. «Весь путь ее огненный огнем завершен» // Анапа. 1996. 19 дек. № 150 (824). С. 2.

Лемякина З.Н. «Чтобы все сочеталось в одном...» // Анапское Черноморье. 1996. 30 марта. № 52 (10012). С. 3.

Манухина Т. Письма к Вере Николаевне Буниной // Вестник РХД. 1996. № 173. С. 159, 165, 170–171, 173–174, 180, 188, 189, 193, 202–203, 205; 1997. № 174. С. 180; № 175. С. 182, 188.

Милютин Т. Мать Мария // Истина и жизнь. 1996. № 7. С. 30–33.

Славутич Р. Но можно ходить по водам... Матери Марии посвящается // Анапское Черноморье. 1996. 31 марта. № 51 (9805). С. 4.

Стефанова В. «Писать стихи как бы перед Богом...» // Анапское Черноморье. 1996. 31 марта. № 51 (9805). С. 4.

Шустов А.Н. Анапчанка, шагнувшая в бессмертие // Анапа. 1996. 9 апр. № 42 (716). С. 4.

Шустов А.Н. «Дворянские гнезда» Сулежской и Бокаревской волостей Бежецкого уезда в пореформенный период // Бежецкий верх: Сборник статей по истории Бежецкого края. Тверь: Русская провинция, 1996. С. 67–78.

Эренбург, Савинков, Волошин в годы смуты (1915–1918) // Звезда. 1996. № 2. С. 157–201.

Beaune D. Mère Marie (1891–1945) et l'Action Orthodoxe // La Revue Reformée. 1996. T. XLVII. № 4. P. 25–33.

Schröder G.-A. Nichts anderes als Christus besitzen. Zum 50. Jahrestag der Ermordung von Mutter Maria (Elizaveta Kuz'mina-Karavaeva-Skobcova †31.3.1945) // Kirche im Osten: Studien zur osteuropäischen Kirchengeschichte und Kirchenkunde / Hrsg. von G. Schulz. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1996. Bd. 39. S. 101–128.

1997

Емельянова Т. Жанр средневековой мистерии: О творчестве матери Марии (Скобцовой) // Страницы: Богословие. Культура. Образование. 1997. Т. 2. № 4. С. 586–595.

Кайдаш-Лакишина С.Н. Религиозный поэт XX века — Елизавета Кузьмина-Караваева, мать Мария // Сестры Аделаида и Евгения Герцык и их окружение. М.; Судак: Дом-музей М. Цветаевой, 1997. С. 65–73.

Каухчишвили Н. Русская «География душевная» и эмиграция (мать Мария Скобцова) // Культура русской диаспоры: Саморефлексия и самоидентификация. Тарту, 1997. С. 119–131.

Крахмальникова З. Русская идея матери Марии. М.: Стефанус, 1997.

Кузьмина-Караваева Елизавета Юрьевна (1891–1945) // Энциклопедический словарь по истории Кубани: С древнейшего времени до октября 1917 г. Краснодар: Эдв, 1997. С. 237.

Куценко И.Я. С.Я. Маршак: Жизнь и творчество на Кубани: 1918–1922. Краснодар: РИО РИПО «Адыгея», 1997. С. 248–253.

Лемякина З. Встречалась ли Е. Кузьмина-Караваева с Феодосием Кавказским? // Анапское Черноморье. 1997. 26 апр. № 67 (10235). С. 4.

Милютин Т.П. Люди моей жизни. Тарту: Крипта, 1997. С. 66–75, 82–85, 88–89, 91–93.

Петрова Т. Кузьмина-Караваева Е.Ю., мать Мария // Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть XX века: Энциклопедический биографический словарь. М.: РОССПЭН, 1997. С. 320–322.

Пяст В. Встречи. М.: Новое литературное обозрение, 1997. С. 142–143, 170, 340, 365.

Струве Н.А. Новые сведения о последних днях матери Марии // Вестник РХД. 1997. № 176. С. 51–53.

Шустов А.Н. Встреча судеб: Е.Ю. и Г. Кузьмины-Караваевы и А.Н. Толстой // Филологические записки: Вестник литературоведения и языкознания. Воронеж, 1997. Вып. 9. С. 212–222.

Kauchtschischwili N. Mat' Maria. Il cammino di una monaca. Bose: Comunità di Bose, 1997.

1998

Агеева Л.И. Мать Мария вернулась в родные места // Вечерний Петербург. 1998. 28 окт.

Аржаковская-Клепинина Е. В поисках последней вышивки матери Марии (Скобцовой) // Русская мысль. 1998. 9–15 июля. № 4230. С. 20.

Грякалова Н.Ю. Кузьмина-Караваева Елизавета Юрьевна // Русские писатели. XX век: Биобиблиографический словарь: В 2 ч. Ч. 1: А–Л. М.: Просвещение, 1998. С. 708–709.

Емельянова Т.В. Пятидесятница матери Марии (иконография матери Марии Скобцовой) // Истина и жизнь. 1998. № 9. С. 38–43.

Емельянова Т. Тишина, огонь и слово // Новый мир. 1998. № 9. С. 126–127.

Каухчишвили Н.Н. Бердяев и мать Мария // Зап. Русской академической группы в США. 1998. Т. 29. С. 73–106.

Кузьмина-Караваева (урожд. Пиленко) Елизавета Юрьевна (в монашестве мать Мария) // Всемирный биографический энциклопедический словарь. М.: Большая российская энциклопедия, 1998. С. 392; То же. М.: DirectMedia, 2000. С. 392.

Струве Н. Мать Мария в оценке прот. В. Асмуса // Вестник РХД. 1998. № 178. С. 263–266.

Шаров А.С. Российские Делоне в легендах, воспоминаниях и документах. М.: Космосинформ, 1968. С. 5–7, 62.

Шмаина-Великанова А. О новых мучениках // Страницы. 1998. № 3/4. С. 504–509.

Шустов А.Н. «...Где сквозь синь мелькает дно» (Крымские страницы Е.Ю. Кузьминой-Караваевой) // Феодосийский альбом. 1998. № 64 (нояб.).

Эткинд Е. Звание человека: Жизнь и судьба Елизаветы Кузьминой-Караваевой, в постриге матери Марии // Всемирное слово. 1998. № 10–11. С. 79–84.

Benevich G. Judaism and the Future of Orthodoxy // Religion in Eastern Europe. 1998. Vol. 27. № 2. P. 27–34.

1999

Агеева Л.И. Друг детства // Вечерний Петербург. 1999. 13 янв.

Алексеев П.В. Кузьмина-Караваева (Скобцова по второму мужу) Елизавета Юрьевна (урожд. Пиленко), мать Мария // Алексеев П.В. Философы России XIX–XX столетий: Биографии, идеи, труды. М.: Академический проект, 1999. С. 429.

Аржаковская-Клепинина Е.Д. Звезда Давида. Мать Мария и судьба еврейского народа // Христианос: Альманах. Рига, 1999. Вып. 8. С. 102–112.

Баклыков Л.И. История курорта Анапа. Краснодар: Советская Кубань, 1999. С. 148–149.

Богомолов Н. Русская литература первой трети XX века: Портреты. Проблемы. Разыскания. Томск: Водолей, 1999. С. 29.

Гаккель С. Мать Мария // Благая весть. М.: Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ; СПб.: Университетская книга, 2000. С. 107–202. (Антология выставивания и преобразования: Век XX; Т. 1).

Кайдаш С. Мать Мария // Наука и религия. 1999. № 8. С. 8–11; № 9. С. 20–22; № 10. С. 28–31; № 11. С. 16–19; То же (с сокр.) // Наука и религия. 1986. № 6. С. 42–46; То же (с изм. загл. и сокр.): Земная святость матери Марии // Спутник (Дайджест советской прессы). 1987. № 6. С. 60–66.

Коростелев О.А. Адамович // Литература русского зарубежья: 1920–1940. М.: ИМЛИ – наследие, 1999. Вып. 2. С. 180–181.

Лемякина З.Н. «У всех есть Родина любимая...»: История и личность // Анапское Черноморье. 1999. 31 дек. № 250 (10876). С. 2.

Монахиня Мария // Словарь поэтов Русского Зарубежья / под ред. В. Крейда. СПб.: Изд-во РХГИ, 1999. С. 159–160.

Шустов А.Н. Неизданная книга Е.Ю. Кузьминой-Караваевой с редакторскими замечаниями Блока // Тр. Гос. музея истории Санкт-Петербурга. Музей-квартира А. Блока: Материалы научных конференций. 1999. Вып. 4. С. 130–138.

Шустов А.Н. Через линию фронта — в «красную столицу» // Анапа. 1999. 2 марта. № 24 (1158). С. 3.

2000

Беневиц Г. Мать Мария (Скобцова) и Федор Достоевский: святая земля // Вестник РХД. 2000. № 181. С. 47–63.

Беневиц Г.И. О вышивке матери Марии «Житие царя Давида» // Реализм святости: Сборник статей / сост. О.Т. Ковалевская. СПб.: Проспект, 2000. С. 81–86.

Гаккель С., прот. На страже свободы. Мать Мария и Николай Бердяев // Христианос: Альманах. Рига, 2000. Вып. 9. С. 65–81.

Елизавета Кузьмина-Караваева и Александр Блок / сост. Л.И. Бучина, А.Н. Шустов. СПб.: РНБ, 2000.

Емельянова Т. Немецкий курорт Бад-Наутейм в восприятии А.А. Блока и Е.Ю. Кузьминой-Караваевой // Вестник РХД. 2000. № 181. С. 186–202.

Каухчишвили Н.М. Повествовательная проза матери Марии // Russian Literature. 2000. Vol. 46. № 4. P. 437–451.

Клепинина-Аржаковская Е., Емельянова Т. На страже свободы // Русская мысль. 2000. 20–26 апр. № 4314. С. 20.

Кузьмина-Караваева (урожд. Пиленко) Ел. Юр. (в монашестве м. Мария) // Биографический энциклопедический словарь / гл. ред. А.П. Горкин. М.: Большая российская энциклопедия; Оникс, 2000. С. 316.

Лемякина З.Н. Анапа. 1917–1920. По материалам документов и воспоминаний // Очерки по истории Анапы. Анапа: Анапский археологический музей, 2000. С. 205–238.

Лемякина З.Н. Постигание Синего Ока: Малоизвестные факты из жизни матери Марии // Истина и жизнь. 2000. № 4. С. 39–42.

Литературная энциклопедия русского зарубежья: 1918–1940: В 3 т. Т. 2: Периодика и литературные центры / гл. ред. А.Н. Николюкин. М.: РОССПЭН, 2000. С. 15, 121, 122, 210–212, 261, 263, 333, 382, 384, 515–517, 531, 534.

Маковский С. Максимилиан Волошин // Маковский С. Портреты современников: Портреты современников. На Парнасе Серебряного века. Художественная критика. Стихи. М.: Аграф, 2000. С. 205–206.

Мать Мария (Е.Ю. Кузьмина-Караваева). Жизнь. Творчество. Судьба: Тезисы международной конференции. 29 марта – 1 апр. 2000 г. СПб.: Серебряный век, 2000.

Петрова Т.Г. Кузьмина-Караваева Е.Ю.; в монашестве мать Мария // Русские писатели XX века: Биографический словарь. М.: Большая российская энциклопедия; Рандеву-АМ, 2000. С. 390–391.

Письма сестры Иоанны к Н. Белевцевой // Реализм святости: Сборник статей / сост. О.Т. Ковалевская. СПб.: Проспект, 2000. С. 88–91.

Шмаина-Великанова А. Внехрамовая литургия матери Марии // Вестник РХД. 2000. № 181. С. 30–46.

Шмаина-Великанова А. Мать Мария (Скобцова), Дитрих Бонхеффер и Симона Вейль: апостольство в безрелигиозном мире // Христианос: Альманах. Рига, 2000. Вып. 9. С. 108–120.

Шустов А.Н. Духовный подвиг матери Марии // Реализм святости: Сборник статей / сост. О.Т. Ковалевская. СПб.: Проспект, 2000. С. 20–45.

Шустов А.Н. Е.Ю. Кузьмина-Караваева в годы революции и гражданской войны // Новый часовой. 2000. № 10. С. 82–92.

Шустов А.Н. Е.Ю. Кузьмина-Караваева (мать Мария) и А.Н. Толстой: контакты // Russian Literature. 2000. Vol. 48. № 4. P. 425–456.

Benevich G. The saving of the jews: The Case of Mother Matiya (Skobtsova) // Religion in Eastern Europe. 2000. Vol. XX. № 1. P. 1–19.

Varaut L. Mère Marie: 1891–1945: Saint-Pétersbourg–Paris–Ravensbrück. Paris: Perrin, 2000.

2001

Беневиц Г.И. Синтез религии, философии и культуры в жизни и творчестве Е.Ю. Кузьминой-Караваевой: Автореф. дис. ... канд. культурол. СПб., 2001.

Боград Г.Л. Дом с «башней» // Дома рассказывают / сост. И.И. Лисаевич. Л.: Лениздат, 1991; 2-е изд. СПб.: Лениздат, 2001. С. 264–265.

Емельянова Т.В. «Руководитель, друг, отец...»: мать Мария (Скобцова) и прот. Сергей (Булгаков) // Вестник РХД. 2001. № 182. С. 45–63.

Корнилий, митр. Монашество в миру // Мир православия. 2001. № 2 (февр.). С. 6.

Кривошеина К. Мать Мария // Мир православия. 2001. № 2. С. 6.

Кривошеина К. Мать Мария. Биографический очерк // Православное слово. 2001. 11 июня. № 192. С. 4.

Кривошеина К., Гринбаум А. Петербургские адреса // Интеллектуальный капитал. 2001. № 3 (31). С. 8; № 4 (32). С. 8; № 5 (33). С. 8. [Статьи опубликованы под общим названием «Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева — мать Мария: “Так я стала Божьей дочерью”»].

Можаева Л.А. Мать Мария (1891–1945) // Новый исторический вестник. 2001. № 3 (5). С. 196–206.

Нестеренко Н.Д. «Всю жизнь свяжу обетами, чтоб видеть край желанный» // Анапа. 2002. 5 дек. № 137 (1721). С. 6.

Чащин В. Три легенды Анапы: Таргитао. Динамия. Е.Ю. Пиленко (Кузьмина-Караваева) // Анапское Черноморье. 2001. 6 марта. С. 8.

Шубина М. Мы все родом из детства // Анапское Черноморье. 2001. 20 окт. № 162 (11287). С. 16.

Шустов А.Н. Безымянных жертв не должно быть // Анапа. 2001. 13 нояб.

Шустов А.Н. Сила веры и сила слова // Кузьмина-Караваева Е. Мать Мария. Равнина русская: (Стихотворения и поэмы. Пьесы-мистерии. Художественная и автобиографическая проза. Письма) / сост. А.Н. Шустов. СПб.: Искусство – СПб., 2001. С. 5–26.

Behr-Sigel E. Mother Maria Skobtsova, 1891–1945 // Discerning the signs of the times. The vision of Elisabeth Behr-Sigel. New York: St. Vladimir's Seminary Press, 2001. P. 41–54.

2002

Беневич Г.И. Мать Мария, А. Блок и Вл. Соловьев. Тема Софии // Христианство и русская литература. СПб.: Наука, 2002. Сб. 4. С. 426–440.

Богданова Л.А. Е.Ю. Кузьмина-Караваева и Тверской край // Анапа. 2002. 3, 8 окт.; То же // «Принимаю с любовью мой дом...»: Сборник материалов, посв. 110-й годовщине со дня рождения матери Марии. Анапа, 2002. С. 33–40.

Гаккель С. «Собой тушить мирскую скорбь»: О языке матери Марии (Скобцовой) // Язык церкви: Материалы международной богословской конференции. М., 2002. С. 200–202.

Емельянова Т. Обновление поэтического и иконографического языка в служении матери Марии // Язык церкви: Материалы международной богословской конференции. М., 2002. С. 191–199.

Е.Ю. Кузьмина-Караваева (мать Мария): Библиографический указатель произведений и критической литературы / сост. О.А. Александрова и др.: отв. ред. И.П. Кузнецова, А.Н. Шустов. СПб.: Сударыня, 2002. («Знаменитые эмигранты России»).

Мать Мария (Скобцова): 1891–1945: Mère Marie et son art. СПб.: Глобус, 2002.

Можаяева Л.А. Мать Мария (1891–1945) // Очерки антибольшевистской эмиграции 1920–1940-х гг.: Сборник статей. М.: Ипполитов, 2002. Вып. 4. С. 198–209.

Петрова Т.Г. Кузьмина-Караваева (мать Мария) Елизавета Юрьевна (1891–1945). «Достоевский и современность» // Литературная энциклопедия русского зарубежья: 1918–1940: В 3 т. М.: РОССПЭН, 2002. Т. 3. С. 302–304.

«Принимаю с любовью мой дом»: Сборник материалов, посв. 110-й годовщине со дня рождения матери Марии. Анапа, 2002.

Шустов А.Н. Внучка генерала Пиленко // Анапа. 2002. 25 апр. № 46 (1629). С. 3.

Шустов А.Н. Легенды о матери Марии // Анапа. 2002. 9 июля. № 74 (1658). С. 2.

Шустов А.Н. Мать Мария и ее время (по воспоминаниям протоиерея Б.Г. Старка) // Анапа. 2002. 30 апр. № 47–48 (1631–1632). С. 6–7.

Языкова И. Мать Мария (Скобцова) о религиозном смысле культуры и творчества // Христианос: Альманах. Рига, 2002. Вып. 11. С. 320–337.

Clement O. Preface // Mother Maria Skobtsova: Essential writings. Maryknoll, NY: Orbis Books, 2002. P. 7–12.

Forest J. Mother Maria of Paris // Mother Maria Skobtsova: Essential writings. Maryknoll, NY: Orbis Books, 2002. P. 13–44.

Plekon M. Living icons: Persons of faith in the Eastern church. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2002.

2003

Агеева Л.И. «Петербург меня победил...»: Документальное повествование о жизни Е.Ю. Кузьминой-Караваевой — матери Марии. СПб.: Журнал «Нева», 2003. С. 400.

Беневич Г. Мать Мария (1891–1945): Духовная биография и творчество. СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 2003.

Большакова Н. Христианство осуществимо на земле. Жизнь монастыря Покрова Пресвятой Богородицы в Bussy-en-Othe (Франция) // Христианос: Альманах. Рига, 2003. Вып. 12. С. 208–210.

Зверев А. Повседневная жизнь русского литературного Парижа: 1920–1940. М.: Молодая гвардия, 2003.

Мень А., прот. Мать Мария // Мень А., прот. Русская религиозная философия: Лекции. М.: Фонд имени Александра Меня, 2003. С. 262–279.

Померанц Г. Перед неподвижным ликом // Звезда. 2003. № 11. С. 220–226.

Шустов А.Н. Матери Марии было у кого учиться // Анапа. 2003. 12 авг. № 90 (1821). С. 3.

Юрвева М.В. Концепт «бессмертие» в художественном универсуме лирики Е.Ю. Кузьминой-Караваевой // Теоретическая и прикладная семантика. Парадигматика и синтагматика языковых единиц: Сборник науч. тр. Краснодар: КубГУ, 2003. С. 148–161.

Bazzarelli E. Мать Мария // Frauen Identität Exil. Russische Autorinnen in Frankreich / Hrsg. von G. Spendel, F. Göpfert. Fichtenwalde, 2003. S. 59–72. (Frauen Literatur Geschichte; Bd. 17).

Himmel-Agisburg A. Auf dem Weg göttlich zu werden Die Spiritualität orthodoxer Frauen am Beispiel Xenias von St. Petersburg und Maria Skobtsova // Theologische Frauenforschung in Mittel-Ost-Europa. Theological women's studies in Central/Eastern Europe. Recherche théologique des femmes en Europe orientale et centrale / Ed. by E. Adamiak, R.J. Anić, K. Buday with C. Methuen and A. Berlis. Leuven, Belgium: Peeters Publishers, 2003. S. 129–142. (Journal of the European Society of Women in Theological Research; Vol. 11).

Laszczak W. Мать Мария. В кругу идеи преобразования мира. // Frauen Identität Exil. Russische Autorinnen in Frankreich / Hrsg. von G. Spendel, F. Göpfert. Fichtenwalde, 2003. S. 73–82. (Frauen Literatur Geschichte; Bd. 17).

Stanton S. Mother Maria Skobtsova // Stanton S. Great women of faith: Inspiration for action. Mahwah, NJ: Paulist Press, 2003. P. 78–80.

2004

Акт причисления к лику святых Православной Церкви протоиерея Алексея Медведкова, священника Димитрия Клепинина, монахини Марии (Скобцовой), сына ее Георгия (Юрия) Скобцова и Ильи Фондаминского // Христианос: Альманах. Рига, 2004. Вып. 13. С. 11–12.

Антоний, митр. Сурожский. В поддержку канонизации матери Марии и ее сподвижников // Вестник РХД. 2004. № 187. С. 6–7.

Быть Христовым слугой — это призвание пожизненное. Интервью с прот. Сергием Гаккелем // Кифа. 2004. № 5–6 (20–21), май–июнь. С. 5.

Григорий, иеромон. Канонизация матери Марии (Скобцовой) // Русская мысль. 2004. 6–12 мая. № 18. С. 11.

Делоне Е. Горячее сердце // Нескучный сад. 2004. № 4 (11). С. 70–76.

Зелинский В., свящ. Новые православные святые во Франции // Русская мысль. 2004. 29 апреля – 5 мая. № 17. С. 11.

Каменщики небесного Иерусалима // Христианос: Альманах. Рига, 2004. Вып. 13. С. 5–8.

Канонизация святых — это свидетельство любви. Интервью Е.Д. Клепининой-Аржаковской // Кифа. 2004. № 4 (19), апр. С. 1–2.

Колымагин Б. Святая русской поэзии // Культура. 2004. 19–25 авг. № 32 (7440). С. 4.

Красота спасающая. Мать Мария (Скобцова). Живопись. Графика. Вышивка / авт.-сост. К.И. Кривошеина. СПб.: Искусство – СПб., 2004.

Кривошеина К. Святые эмигранты // НГ-религии. 2004. 7 апр. № 5 (135). С. 2.

Нам нужен живой пример служения ближним. Интервью с архиепископом Команским (де Вильдером) // Кифа. 2004. № 5–6 (20–21), май–июнь. С. 1.

Послание Высокопреосвященного Гавриила Команского, Архиепископа православных русских церквей в Западной Европе и Экзарха Вселенского Патриарха // Христианос: Альманах. Рига, 2004. Вып. 13. С. 13–17.

Те, кто может это делать, должны думать о вере. Интервью с прот. Михаилом Евдокимовым // Кифа. 2004. № 5–6 (20–21), май–июнь. С. 5.

Шполянский М., свящ. К вопросу о предстоящей канонизации матери Марии (Скобцовой) // Вестник РХД. 2004. № 187. С. 8–23.

Юрєва М.В. Поэтическое творчество Е.Ю. Кузьминой-Караваевой: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Таганрог, 2004.

Behr-Sigel E. Mère Marie Skobtsov et le père Gillet // Contacts. 2004. Vol. 56. P. 361.

Pérez E.B. Maria Skobtsov: Una emigrant morta als camps de concentració nazis. Barcelona: Publicacions de l'Albadia de Monserrat, 2004.

2005

Большакова Н. Свидетельство примирения. Новые православные святые во Франции // Истина и жизнь. 2005. № 5. С. 12–15.

Булнина С.Н. Е. Кузьмина-Караваева и культура Серебряного века. СПб., 2005. (Научные доклады СПбГУ).

Булнина С.Н. Поэты маргинального сознания в русской литературе начала XX века (М. Волошин, Е. Гуро, Е. Кузьмина-Караваева). СПб., 2005. С. 22–29. (Научные доклады СПбГУ).

Мать Мария // Книга праведников / сост.: И.А. Альтман, А.Е. Гербер, Д.И. Полтораки. М.: Фонд «Холокост»; Изд-во «МИК», 2005. С. 76–78.

Шмаина-Великанова А.И. Белая птица. Эсхатологические предпосылки экклезиологического учения прмц. Марии (Скобцовой) // Кифа. 2005. № 11 (37), нояб. С. 10–11.

2006

Святая с револьвером. Елизавета Кузьмина-Караваева (в монашестве мать Мария) (1891, Рига – 1945, концлагерь Равенсбрюк) // Новые известия. 2006. 7 апр. № 60 (1938). С. 20. (Из антологии Евгения Евтушенко «Десять веков русской поэзии»).

2007

Нивьер А. Мария (Пиленко Елизавета Юрьевна, по 1-му мужу Кузьмина-Караваева, по 2-му Скобцова), монахиня // Православные священнослужители, богословы и церковные деятели русской эмиграции в Западной и Центральной Европе: 1920–1995: Биографический справочник. М.: Русский Путь; Париж: YMCA-Press, 2007. С. 311–312.

Desanti D. La sainte et l'incroyante. Rencontres avec mère Marie. Paris: Bayard, 2007; То же: *Десанти Д.* Встречи с матерью Марией: неверующая о святой // Вестник РХД. 2008. № 194. С. 141–155; То же: *Десанти Д.* Встречи с матерью Марией: Неверующая о святой / пер. с фр. Т.В. Викторовой. СПб.: Алегейя, 2011.

Forest J. Silent as a stone: Mother Maria of Paris and the trash can rescue. New York: St. Vladimir's Seminary Press, 2007.

Pérez E.B. Maria Skobtsov: Madre espiritual y víctima del Holocausto. Madrid: Narcea, S.A. de Ediciones, 2007.

ЛИТЕРАТУРА

Plekon M. Mother Maria Skobtsova (1891–1945) // The teachings of modern Orthodox Christianity: On the law, politics, and human nature / ed. by J. Witter Jr., F.S. Alexander. New York: Columbia University Press, 2007. P. 233–270.

2008

Викторова Т. Паломничество в Равенсбрюк // Вестник РХД. 2008. № 193. С. 300–306.

О паломничестве в Равенсбрюк. Беседа с о. Владиславом и Юлией Трёмбовельскими // Вестник РХД. 2008. № 193. С. 307–311.

Шустов А. Мать Мария о русской идее // Красноярский рабочий. 2008. 29 авг. № 125 (25659). С. 6.

Schmidt R.H. Maria Skobtsova (1891–1945). Martyrdom // Schmidt R.H. God seekers: Twenty centuries of Christian spiritualities. Grand Rapids, MI: Wm.B. Eerdmans Publishing Co, 2008. P. 280–290.

2009

Обоймина Е. Свет земной любви. История жизни матери Марии — Елизаветы Кузьминой-Караваевой. М.: ЭНАС, 2009.

В данную библиографию вошли, прежде всего, работы, относящиеся к тому периоду творчества матери Марии, которому посвящена эта книга, а также основной корпус работ, освещающих в целом ее биографию и творчество.

ПРИМЕЧАНИЯ

СОКРАЩЕНИЯ

авт. — автограф

Арх. о.С.Г. — основной архив матери Марии, на хранении у о. Сергия Гаккеля (Льюис, Великобритания)

Арх. С.В.М. — архив, собранный С.В. Медведевой, на хранении у Е.Д. Клепининой-Аржаковской (Париж)

Арх. УМСА-Press — архив издательства «УМСА-Press» (Париж)

б.д. — без даты

гл. — глава

изд. — издание

кн. — книга

маш. — машинописный, машинопись

наст. — настоящий

неопубл. — неопубликованное

опубл. — опубликован

переизд. — переиздание, переиздан

псевд. — псевдоним

ред. — редактор, редакция

рук. — рукопись

сб. — сборник

св. — святой

сокр. — сокращение

соч. — сочинение

ст. — статья

стих. — стихотворение

указ. — указанный

урожд. — урожденная

фам. — фамилия

АББРЕВИАТУРЫ

- ААМ* — Архив Анапского музея
АДП — Архив Дома Плеханова РНБ (Санкт-Петербург)
БАР — Бахметьевский архив Колумбийского университета (Нью-Йорк) (Columbia University, Rare Book and Manuscript Library, Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture)
ВСЮР — Вооруженные силы на Юге России
ГАКК — Государственный архив Краснодарского края
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации (Москва)
ГОПБ — Государственная общественно-политическая библиотека (Москва)
ГРМ — Государственный русский музей (Санкт-Петербург).
ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (Санкт-Петербург)
ОР РГБ — Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (Москва).
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва)
РГБ — Российская государственная библиотека (Москва)
РГИА — Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
РНБ — Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург)
РСХД — Русское студенческое христианское движение
РХД — Русское христианское движение
РЦХИДНИ — Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории (Москва)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ММ 1 и 2, 1992* — *Мать Мария (Скобцова)*. Воспоминания, статьи, очерки: В 2 т. Париж: YMCA-Press, 1992.
- ВК* — «Вольная Кубань». Орган Кубанского краевого правительства (Екатеринодар), 1918–1920. Издание возобновлено в наше время.
- ВР* — «Воля России». Первоначально газета, затем ежемесячный журнал политики и культуры под ред. В.И. Лебедева, М.Л. Слонима, В.В. Сухомлина, выходивший с 1922 в Праге. С 1927 по 1932 издавался в Париже.
- ГМ* — «Голос минувшего на чужой стороне: Журнал истории и истории литературы». Выходил с 1926 по 1928 в Париже под ред. С.П. Мельгунова, В.А. Мякотина и Т.И. Полнера.
- Д* — «Дни». Ежедневная берлинская газета. С сентября 1928 по июнь 1933 — еженедельник, издаваемый в Париже под ред. А.Ф. Керенского.
- ЗК* — *Блок А.А.* Записные книжки: 1901–1920. М.: Художественная литература, 1965.
- К-К, 1991* — *Кузьмина-Караваева Е.Ю.* Избранное / сост. и примеч. Н.В. Осьмакова. М.: Советская Россия, 1991.
- К-К, 1996* — *Кузьмина-Караваева Е.Ю.* Наше время еще не разгадано... / сост. и примеч. А.Н. Шустова. Томск: Водолей, 1996
- К-К, ММ, 2001* — *Кузьмина-Караваева Е.* *Мать Мария*. Равнина русская: (Стихотворения и поэмы. Пьесы-мистерии. Художественная и автобиографическая проза. Письма) / сост. А.Н. Шустов. СПб.: Искусство – СПб., 2001.
- ММ, 1947* — *Мать Мария*. Стихотворения. Поэмы. Мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. Paris: La Presse Française et Étrangère, 1947.
- ММ, К-К, 2004* — *Мать Мария (Кузьмина-Караваева Е.)* Жатва духа: Религиозно-философские сочинения / сост. А.Н. Шустов. СПб.: Искусство — СПб., 2004.
- ОЛ* — «Одесский листок». Основатель В.В. Навроцкий, выходил в 1918–1920 в Одессе.
- ПК* — «Приазовский край». Ежедневная политическая, экономическая и литературная газета, основана С.Х. Арутюновым, выходила в Ростове-на-Дону в 1917–1919.
- ПН* — «Последние новости». Русская ежедневная газета, выходившая с 1920 по 1940 в Париже под ред. М.Л. Гольдштейна, с 1921 — П.Н. Милокова. Издание прервано в связи с немецкой оккупацией.
- Руфь* — *Кузьмина-Караваева Е.Ю.* Руфь. Пг.: Тип. Акционерного общества типографского дела, 1916.

ПРИМЕЧАНИЯ

- СЗ — «Современные записки». Ежемесячный общественно-политический и литературный журнал под ред. И.И. Бунакова-Фондаминского, Н.Д. Авксентьева, М.В. Вишняка, В.В. Руднева и А.И. Гуковского. Издавался с 1920 по 1940 в Париже. Издание прервано в связи с немецкой оккупацией.
- СС — Блок А. Собрание сочинений: В 8 т. М.; Л.: ГИХЛ, 1960–1963.
- Стихи, 1937 — *Мать Мария*. Стихи. Берлин, 1937.
- Стихи, 1949 — *Мать Мария*. Стихи. Париж, 1949.
- УЮ — «Утро Юга». Ежедневная литературная и общественно-политическая газета, выходившая в 1918–1920 в Екатеринодаре.

ВОСПОМИНАНИЯ

ДРУГ МОЕГО ДЕТСТВА

Воспоминания о встречах с К.П. Победоносцевым (1827–1907), государственным деятелем, обер-прокурором Синода.

Впервые: *Д.* 1925. 18 сент. № 804. С. 3; 19 сент. № 805. С. 2–3. Подпись: *Е. Скобцова*. Публикуется по этому изданию.

Другие источники: рук. (БАР. Mother Maria Papers. Box 1); маш. копия, с правкой рукой С.Б. Пиленко (Арх. С.В.М.); маш. копия, с правкой рукой С.Б. Пиленко, идентичная первой (Арх. УМСА-Press).

Переизд.: *ММ 1*, 1992. С. 11–23 (по материалам Арх. УМСА-Press); *К-К, ММ*, 2001. С. 578–587.

После: закаменелым представлениям о нем. — *в рук. было:* Добродетели являются всегда добродетелью беспримесной, злодейство тоже окрашено в один общий черный цвет. Так же — в поощрениях.

Сейчас изданы письма Победоносцева... — Е.Ю. Скобцова имеет в виду «Письма Победоносцева к Александру III», сохранившиеся в архиве Зимнего дворца и опубликованные Централхивом с предисловием М.Н. Покровского в 1925 г. в Москве (Изд-во «Новая Москва», 1925). Отклики в эмигрантской печати: *ПН*. 1925. 26 марта. № 1509; *Д.* 1925. 29 марта. № 728 и др. Очерк Е.Ю. Скобцовой появляется в этом контексте как своего рода «отклик», с намерением представить «неканонический портрет» Победоносцева.

Смелость и внутренняя свобода, характерные для данных воспоминаний Е.Ю. Скобцовой о К.П. Победоносцеве, проявляются не только в том, что, как представитель революционной демократии, она не могла не относиться негативно к победоносцевской деятельности. Разногласие затрагивает и самую заветную для нее сферу христианской мысли: Скобцова, видевшая основу пореволюционной церковности в свободе и независимости от государства, в подлинно евангельской жизни, а не во внешнем бла-

гочестию, неизбежно оказывалась в другом «лагере», чем последователи охранительно-государственного победоносцевского православия. Однако все эти расхождения не мешали ей нарисовать портрет К.П. Победоносцева с любовью и благодарностью к нему за детскую дружбу, портрет живого человека, а не идеологическую схему.

Яфимович Елизавета Александровна (урожд. Дмитриева-Мамонова; 1820–1906) — фрейлина великой княгини Елены Павловны с 1841 по 1843, крестная мать Елизаветы Пиленко.

...в маленьком городке на берегу Черного моря... — в Анапе.

О них бабушка заранее вычитывала в «Новом времени»... — «Новое время», одна из крупнейших и самых читаемых петербургских газет конца XIX – начала XX в., с 1876 издавалась А.С. Сувориным (1834–1912). Ее упоминание вводит оттенок иронического подтрунивания автора над своей семьей и ее окружением, поскольку для левой общест-венности того времени это была одиозная, черносотенная и скандальная газета, со-трудничество с которой превращало человека в презренного «нововременского молодца» (фраза встречается у И.А. Бунина в «Окаянных днях» и у И.В. Одоевцевой в книге «На берегах Сены»).

Елена Павловна Романова (1806–1873) — супруга великого князя Михаила Павло-вича, российская государственная и общественная деятельница, благотворительница.

Нарышкин Алексей Васильевич (1742–1800) — тайный советник, сенатор, с 1787 член Санкт-Петербургской академии наук. Сопровождал Екатерину II в ее путешествии по Волге. Е.А. Яфимович состояла в дальнем родстве с Нарышкиными: ее бабушка Пра-сковья Семеновна была урожденной Нарышкиной.

Кауфман Мария Анна Анжелика (1741–1897) — немецкая художница, чье творче-ство было очень популярно в Европе и в России на рубеже веков.

Текст: Раньше у бабушки был другой лакей, Франц. ~ считала ягодой подлой, кото-рую есть неприлично. — *в рук. и переизданиях отсутствует.*

...в московской родовитой и богатой семье Дмитриевых-Мамоновых. — Софья Борисовна Пиленко (урожд. Делоне; 1862–1962), мать Елизаветы Юрьевны, пишет в воспоминаниях о своих предках по материнской линии: «Мама была из очень аристо-кратической семьи. Они были Рюриковичи. В гербе Дмитриевых-Мамоновых был Ангел — Киевский герб, и птица на пушке — Смоленский. Один из прадедов мамино-го отца был женат на царевне Прасковье Иоанновне, родной племяннице Петра Великого и сестре императрицы Анны Иоанновны» (*Пиленко С.Б. Три года царствования и 40 лет революции: Рук. // Арх. С.В.М.*). Род Дмитриевых-Мамоновых отличился и в войну 1812 г.: А.М. Дмитриев-Мамонов (1790–1863) тогда сформировал за свой счет конный полк, который доблестно сражался под Тарутином и Малоярославцем.

Фраза: (Кстати, по ее просьбе ~ всем доступным музеем.) — *в рук. и переизданиях отсутствует.*

...Михаил Павлович... — Речь идет о супруге Елены Павловны великом князе Ми-хаиле Павловиче Романове (1798–1849), четвертом сыне Павла I.

Вместо: Но вообще все то, что ей пришлось видеть за свою долгую жизнь, ~ «Было очень весело и анимированно». — *в рук. и перезданиях стоит:* С таким же обожанием говорила она о своем муже Владимире Матвеевиче Яфимовиче.

...хорошо знала поэтов Алексея Толстого и Баратынского. — Имеются в виду русские поэты А.К. Толстой (1817–1875) и Е.А. Баратынский (1800–1844). Дружба с писателями и поэтами является отличительной чертой великой княгини Елены Павловны, стоявшей вровень с культурой своего времени: она тесно общалась с В.А. Жуковским, Е.А. Баратынским, Ф.И. Тютчевым, имела доверительные отношения с А.С. Пушкиным, дружила с И.С. Тургеневым.

Вместо: можно было застать принцессу Елену, внучку Елены Павловны, и бабушкину крестницу, дочь ее швеи, или нашего детского друга-репетитора, косматого студента, рядом со степным генерал-губернатором, — *в рук. и переизданиях стоит:* можно было увидеть принцессу Елену, внучку Елены Павловны, и бабушкину крестницу, дочь ее швеи, или нашего детского друга студента Боргахадзе рядом с членом Государственного совета Таубе...

«О, родина святая, какое сердце не дрожит, тебя благословляя?» — Стихотворение В.А. Жуковского (1783–1852) «Певец во стане русских воинов» (1812).

Текст: Оставаясь одна с нами ~ А бабушка даже не задохнулась. — *в рук. и переизданиях отсутствует.*

...лезгинку... какой ее Нина Александровна Грибоедова обучила. — Н.А. Грибоедова-Чавчавадзе (1812–1857), жена поэта А.С. Грибоедова (1794 или 1795–1829). О дружбе и родственных связях Н.А. Грибоедовой с Е.А. Яфимович рассказывает в своих воспоминаниях С.Б. Пиленко: «В Тифлисе тетя (Е.А. Яфимович. — *Сост.*) сейчас же подружилась с Ниной Александровной Грибоедовой и на всю жизнь хранила потом память о ней. Грибоедов был родственник. Сестра прабабушки Прасковьи Семеновны была замужем за Грибоедовым. Нина Александровна хранила память своего убитого мужа и до самой смерти была верна ему. У нее было много блестящих и интересных женихов, но она всем отказывала. Она выучила тетю танцевать лезгинку, и тетя потом с князем Дадиани вызвала фурор своей лезгинкой» (Пиленко С.Б. Указ. соч.). Этот раздел воспоминаний частично опубликован С.Б. Пиленко под подписью София Делоне (см.: Д. 1926. 9 мая. № 1001).

Судя по приведенным воспоминаниям, Е.А. Яфимович состояла в родстве с Грибоедовыми (сестра прабабушки была замужем за одним из представителей этого рода), что и привело к знакомству с грузинской княжной Ниной Александровной Чавчавадзе, женщиной удивительной судьбы. 15-летней девушкой она вышла замуж за известного русского поэта и дипломата А.С. Грибоедова, плененного ее красотой. Через несколько месяцев после свадьбы она стала вдовой. До конца жизни Н.А. Грибоедова хранила верность памяти мужа, а на его могиле сделала надпись: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя!»

...мне, наверное, было лет пять, когда он впервые увидел меня у бабушки. — Сохранилась фотография Елизаветы Пиленко в возрасте около 5 лет, отправленная из Риги Е.А. Яфимович. На оборотной стороне надпись рукой С.Б. Пиленко: «Тете Лизе от любящей внучки» (Арх. С.В.М.).

После: приехать со мной поскорее. — *в рук. было:* Мы поехали. (Бабушка вообще пешком по улицам не ходила. Делала у себя в комнатах ежедневно 5 верст.)

Жена Победоносцева <...> очень величественна и красива <...> я узнала, что буд-то бы Толстой писал с нее свою Анну Каренину. — Объяснение можно найти в воспоминаниях Е.А. Энгельгардт-Победоносцевой, записанных З.А. Зарудиной в 1920-е гг. (гл. «Желание быть похожей на Анну Каренину»): «Льва Толстого я не знала. Но в то время был в моде р<ома>н “Анна Каренина”. Все им увлекались. Я тоже, и сшила себе платье такое же, как было у Анны Карениной в романе Толстого, черное декольте и, приколов, как и она, на грудь пучок анютиных глазок, поехала в театр в ложу. Все нашли, что я очень похожа на Анну Каренину. Меня это забавляло. И другие платья я шила себе такие же, как описываются в романе у Анны Карениной. Может быть, оттого и пошел слух, что Толстой с меня написал Анну Каренину, а с моего мужа самого Каренина? Хотя ничего общего в наших характерах не было» (РГИА. Ф. 1574. Оп. 1. Ед. хр. 29. С. 80). Слух о том, что жена Победоносцева стала прототипом Анны Карениной, мог быть связан, по всей видимости, с тем, что в образе самого Каренина угадываются черты К.П. Победоносцева.

Фраза: Думаю теперь, что это не так уж просто ~ мне никто не говорил. — *в рук. и переизданиях отсутствует.*

Текст: Марфинька кричит ему ~ валим на ковер и катаем. — *в рук. и переизданиях отсутствует.*

...огромное яйцо лукутинской работы... — Название связано с лакокрасочным промыслом купцов Лукутиных, усадьба которых с начала XIX в. до 1917 г. находилась в подмосковном селе Данилково (ныне Федосково). Сделанные из папье-маше лаковые шкатулки, табакерки, пасхальные яйца, подносы и другие лакированные изделия так и назывались «лукутинскими».

Текст: Однажды приехал Константин Петрович к бабушке какой-то необычайный. ~ не нам, старикам, чета. — *в рук. и переизданиях отсутствует.*

...Государыня Марья Федоровна зубы велела вставить. — Имеется в виду императрица Мария Федоровна (1847–1928), супруга Александра III.

Витте Сергей Юльевич (1849–1915) — министр финансов (1892–1903), премьер-министр России (1905–1906). Именно под его руководством был составлен и принят Николаем II Манифест 17 октября 1905 г., даровавший обществу гражданские свободы. При активном участии Витте были проведены государственные реформы, включая создание Государственной думы, преобразование Государственного совета, введение избирательного законодательства и редактирование Основных законов Российской империи.

Вместо фразы: — Был я сейчас, любезнейшая Елизавета Александровна, у этой дуры, — он назвал имя, — *в переизданиях (данных по маши.) стоит:* «Я был сейчас, любезнейшая Елизавета Александровна, во дворце у Марии Федоровны...» (*в рук. фраза сильно зачеркнута, ниже отдельно, в скобках, зачеркнутое слово:* дуры).

Отца ни разу не видел. Думаю, что отец не чувствовал к нему никакой симпатии. — Отец Елизаветы Юрьевны — Юрий Дмитриевич Пиленко (1857–1906), почет-

ный мировой судья, директор Никитского сада и училища виноградарства и виноделия в Ялте, председатель городского собрания Анапы.

...с описанием подробностей цусимского боя. — Морское сражение, в котором российский флот потерпел тяжелое поражение от японцев в ходе Русско-японской войны, произошло 27 мая 1905 г. в районе острова Цусима. В результате сражения большая часть русских кораблей была потоплена японцами или затоплена собственными экипажами, часть капитулировала, лишь четырем кораблям удалось дойти до Владивостока — пункта назначения эскадры; более 5 тысяч человек было убито и свыше 6 тысяч взято в плен.

Текст: Я слыхала от кого-то, что он революционер ~ и мне стало его очень жалко. — *в рук. и переизданиях передан так:* Я слыхала от кого-то, что он революционер и что, если что обнаружится, ему грозит каторга. Издали я решила, что так и надо. Но когда я увидела, что вот сидит молодой еще человек у нас за столом, кашляет отчаянно, смотрит очень печально, я вспомнила все слухи о нем и мне стало его очень жалко.

Вместо ошибочного: садоводства и виноделия — *в рук. было правильно:* виноградарства и виноделия. (*Ошибочное название училища, которым руководил Ю.Д. Пиленко, дается и в публикации в «Днях».*)

Вместо: и более шести пудов веса. — *в рук. было:* и более 8 пудов веса. *В переизданиях:* восьми.

Вместо: Помню, отец уезжал на несколько дней. — *в рук. и переизданиях стоит:* Помню, отец — уезжал в Симферополь.

Вместо: и что он, как директор, должен был бы быть во время обыска — *в рук. и переизданиях стоит:* и что он, как юрист, как директор, должен был бы быть во время обыска.

ПОСЛЕДНИЕ РИМЛЯНЕ

Воспоминания о литературе Серебряного века.

Впервые: ВР. 1924. № 18/19. С. 103–124. Подпись: Юрий Данилов. Публикуется по этому тексту.

Переизд.: К-К, 1991. С. 189–208 (с сокр.); К-К, 1996. С. 99–126; К-К, ММ, 2001. С. 554–577.

Очерк «Последние римляне» родился как полемический отклик на статью «Литературная запись» А. Крайнего (псевдоним Зинаиды Гиппиус), опубликованную в «Современных записках» (1924. № 18. С. 123–138; № 19. С. 234–249) и представляющую собой резкую критику современного состояния русской литературы, и прежде всего — пореволюционной литературы, создаваемой в Советской России. О резонансе, вызванном этой статьей, вспоминает редактор журнала М.В. Вишняк: «Бывали недоразумения, которые вынесены были в печать и подверглись публичному обсуждению. Повод к этому дала, по явному недосмотру редакции, Гиппиус своей “Литературной записью”, напечатанной за подписью Антон Крайний. А Крайний критически отозвался почти о всех писателях, находившихся в эмиграции <...> На Антона Крайнего и редакцию “Современных запи-

сок» посыпались упреки и нападки со всех сторон. Они не были лишены оснований» (*Вишняк М.В.* «Современные записки»: Воспоминания редактора. СПб.: Logos, 1993. С. 100).

В этом контексте на страницах «Воли России» появляется отклик матери Марии на вторую часть очерка Крайнего «О молодых и средних» (СЗ. № 19), также подписанный псевдонимом от мужского лица.

А Шлецер, рецензируя в XX книжке «Современных записок» 3-й т. «Окна»... — См.: Шлецер Б.Ф. «Окно». Литературный сборник, кн. 3. (Изд. М. и М. Цетлин, Париж, 1924) // СЗ. 1924. № 20. С. 432–434. Шлёцер Борис Федорович (де Шлёцер Борис; 1881–1969) — французский писатель русского происхождения, с 1921 г. живший во Франции, литературный и музыкальный критик, брат жены композитора А.Н. Скрябина.

...совершенно достоверно, что в русской истории культуры большевизм должен был сыграть роль Аттилы... — Образ вождя гуннов Аттилы (434–453) как олицетворение варварства большевизма был популярен в литературных кругах того времени (В. Брюсов, Вяч. Иванов, Е. Замятин). Этот образ встречается и в поэзии матери Марии, например:

Аттила, Божий бич, суров и строг,
На каждого печать наложит плетью,
Раздавит запад, покорит восток...

(Неопубл. отрывок из поэмы «Духов день» // Арх. С.В.М.).

В средневековой церковной традиции было принято называть Аттилу бичом Божиим (*flagellum dei*, лат.), олицетворением Божьего наказания, посланного народам за недостаточное служение Богу. Этот образ встречается и в статье «Литературная записка»: Антон Крайний цитирует стихотворение Максимилиана Волошина «Северовосток», эпиграфом к которому выбраны «слова св. Лу, архиепископа Труаского, обращенные к Аттиле»: «Да будет благословен приход твой — Бич Бога, Которому я служу, и не мне останавливать тебя». А Крайний, процитировав волошинскую строку: «Божий бич! — приветствую тебя!», — скептически заключает, не соглашаясь с волошинской оценкой: «Своеобразный привет! Такой же послал арх. Лу — Аттиле. Лу — “святой”. А сколько русских Лу, святых именно этой святостью!» (СЗ. 1924. № 19. С. 243).

...«так дальше жить нельзя». — Отголоски диспутов предреволюционной молодежи. См. редакционное предисловие к сб. «Факелы» под ред. Г.И. Чулкова (СПб.: В.М. Саблин, 1906. Кн. 1).

...«что время наше на исходе»... — Мотив, звучащий в книге стихов Е.Ю. Кузьминой-Караваевой «Руфь», где он связан с библейской темой «исхода» (см. цикл «Исход»), например:

Средь знаков тайных и тревог
В путях людей, во всей природе
Узнала я, что близок срок,
Что наше время на исходе...

(*Руфь*. С. 48).

...именно под этим знаком гибельности. — «Под знаком гибели» — так будет называться одна из более поздних статей матери Марии (см.: Новый Град. 1938. № 13. С. 145–152; ММ 1, 1992. С. 189–199), в которой гибельность предстанет как одна из главных характеристик эпохи. Здесь же речь идет о предчувствии надвигающейся гибели и будущей исторической катастрофы России. Наиболее ярким выразителем такого настро-

ния, певцом гибели был А. Блок. В 1906 г. он писал в одном из писем к Е.П. Иванову: «Зато со мной — моя погибель, и я несколько ей горжусь и кокетничаю».

Распутин Григорий Ефимович (1869–1916) — крестьянин Тобольской губернии, приобретший репутацию «старца» и целителя и ставший близким к семье Николая II, несмотря на то что его религиозное учение оказалось вульгарной смесью хлыстовской восторженности и декларируемого аморализма.

Под этим знаком в некоторых кругах русской интеллигенции остро выросло чувство какой-то мистической веры в путь войны и очищения через этот путь. — Подробнее мать Мария пишет об этом в очерке «Встречи с Блоком». Ср. это настроение с настроениями, выраженными в поэзии В. Брюсова: «Пусть, пусть из огненной купели / Преображенным выйдет мир!» («Последняя война», 1914), Н. Гумилева: «И поистине светло и свято / Дело величавое войны, / Серафимы, ясны и крылаты, / За плечами воинов видны» («Война», 1914) и др. См.: сб. «О войне: Стихотворения современных поэтов» (Пг.: Тип. Г.Г. Браудо, 1915).

В кн. «Руфь» этой теме Е.Ю. Кузьмина-Караваева посвящает отдельный цикл стихотворений «Война», например:

Все горят в таинственном горниле;
Все приемлют тяжкий путь войны.
В эти дни неизреченной силе
Наши души Богом вручены...

(*Руфь*. С. 50).

...ожидание грядущих гуннов у Брюсова, приветствующего их... — Имеется в виду стихотворение В. Брюсова «Грядущие гунны» (1904), где есть строки: «Но вас, кто меня уничтожит, / Встречаю приветственным гимном».

...и стремление Вячеслава Иванова «унести от них свой светильник в катакомбы, в пещеры». — См. ст. «О веселом ремесле и умном веселии» (1907; см.: *Иванов Вяч.* Родное и вселенское. М.: Республика, 1994. С. 60–72).

...на «Башне», у Вячеслава Иванова. — «Башня» — квартира поэта-символиста В.И. Иванова (1866–1949) на Таврической, д. 25 (Санкт-Петербург), в которой проходили знаменитые ивановские «среды», собиравшие виднейших представителей Серебряного века. О посещении «Башни» Вяч. Иванова см. также очерк матери Марии «Встречи с Блоком» (с. 78 наст. изд.).

Недоброво Николай Владимирович (1882–1919) — поэт, прозаик, драматург, историк русской литературы, критик, оказавший большое влияние на А. Ахматову.

Эрн Владимир Францевич (1881–1917) — философ, публицист, член московского Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева. Автор сборника статей «Борьба за Логос» (М., 1911), ряда работ о В.С. Соловьеве и Г.С. Сковороде.

О Григории Богослове, о Штейнере... — *Свт. Григорий Богослов* (ок. 330 – ок. 390), ранневизантийский церковный деятель, богослов и поэт. О *Р. Штейнере* см. примеч. к очерку «Встречи с Блоком» (с. 567).

...соединить Христа с Дионисом, Канта с Крупном и т.д. — Тема поиска мистической связи, соединяющей Христа и Диониса, поиск точек соприкосновения дионисий-

ства с христианством в качестве ориентира для современной культуры характерны для творчества Вяч. Иванова. См., например, его статьи «Спорады» (1908; гл. «О Дионисе и культуре» (см.: *Иванов Вяч.* Родное и вселенское. С. 81–83) и «О любви дерзающей» (см.: Там же. С. 87–90)) и «Ты еси» (1907; Там же. С. 91–95). Окончательное оформление эти идеи Вяч. Иванова получили в его докторской диссертации «Дионис и прадионисийство» (начата в 1912 г. в Риме, закончена и издана в 1923 г. в Баку), где дионисийство рассматривается как некое «упреждение» христианства в его самых существенных чертах, причем типологическое сходство прослеживается начиная с «прадионисийства» — совокупности античных обрядов, давших начало культу бога Диониса.

О Канте и Круппе см. статью В.Ф. Эрнэ «От Канта к Круппу» (первоначально — речь, произнесенная на публичном заседании Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева 6 октября 1914 г., т.е. в начале войны). Статья носила ярко выраженный германофобский характер; вошла в сборник статей «Меч и крест» (М., 1915). Впервые опублик.: Русская мысль. 1914. № 12. С. 116–124. См. также: Эрн В.Ф. Сочинения. М.: Правда, 1991. С. 308–318. «Крупп» — название (по фамилии владельцев) одного из крупнейших металлургических и военно-промышленных концернов Германии; в период Первой мировой войны концерн возглавлял Густав Крупп фон Болен (1870–1950).

...толкование «Бесов» Достоевского Вячеславом Ивановым. — См.: Вяч. Иванов. Эскурс. Основной миф в романе «Бесы» // Борозды и межи. М.: Мусагет, 1916. С. 61–72. Переизд.: Вяч. Иванов. Собр. соч.: В 4 т. Брюссель: Foyer Oriental Chrétien, 1987. Т. 4. С. 437–444.

...трилогия Мережковского, в которой Юлиан Отступник, Леонардо да Винчи и Петр Великий слиты в какое-то среднее существо... — Речь идет о трилогии «Христос и Антихрист» Д.С. Мережковского (1866–1941), писателя, религиозного философа, одного из основателей Религиозно-философских собраний (1901–1903). В трилогию вошли романы: «Смерть богов (Юлиан Отступник)» (1896), «Воскресшие боги (Леонардо да Винчи)» (1902) и «Антихрист (Петр и Алексей)» (1905). На примере различных исторических эпох и персонажей автор проводит мысль о борьбе и напряженном сосуществовании в истории Христа и Антихриста, язычества и христианства. Противоречие такого сосуществования может быть разрешено, по художественной логике Мережковского, только в грядущем царстве «третьего завета» — завета Святого Духа, идущего на смену Ветхому и Новому Заветам и соединяющего языческую «правду о земле», «правду о плоти» с христианской «правдой о небе».

До некоторой степени с этим можно сблизить переход от марксизма к церковности у Бердяева... — Описание духовного пути Н.А. Бердяева см. в его автобиографии «Самопознание» (Париж: YMCA-Press, 1949. С. 61). Итогом внутреннего переворота, приведшего часть русской интеллигенции от марксизма к церковности, стал вышедший в 1909 г. сборник «Вехи», в который вошла и статья Бердяева «Философская истина и интеллигентская правда».

...в Религиозно-философском обществе. — Объединения, возникшие в Петербурге и Москве как попытка сближения светской и духовной интеллигенции. Одним из постоянных участников Религиозно-философского общества в Санкт-Петербурге был Д.В. Кузьмин-Караваев, муж поэтессы.

См.: Записки С.-Петербургского религиозно-философского общества. СПб., 1908–1916. Вып. 1, 2, 4, 6. См. также: Мейер А.А. Петербургское религиозно-философское общество // Вопросы философии. 1992. № 7. С. 107–115.

«Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». — Мф 18: 3.

Карташев Антон Владимирович (1875–1960) — общественно-политический и церковный деятель, выдающийся историк Церкви, богослов, публицист, религиозный мыслитель. Председатель Религиозно-философского общества в Санкт-Петербурге (1909), последний обер-прокурор Священного синода, министр культов Временного правительства, вдохновитель и один из организаторов Поместного собора. В эмиграции — один из основателей и профессор Свято-Сергиевского Православного богословского института в Париже.

Но о Блоке особо. — Через несколько лет, уже будучи монахиней, мать Мария посвящает Блоку очерк воспоминаний (см. «Встречи с Блоком»), пишет о нем в неопубликованном фрагменте поэмы «Духов день»:

Недалеко, у Финского залива,
На запад окнами и на восток,
Спиной к домам прижавшись сиротливо,
Был дом. В нем комната. На потолок
Настольной лампы падал свет зеленый.
В том доме долго жил и умер Блок.
Душой обветренной и оголенной
В себя он русскую тоску впитал,
И задохнулся, той тоской пронзенный.

(Арх. С.В.М.).

...«Были, — уже отошли»... — Неточная цитата из стихотворения А. Блока «Бред» (1905).

...голый человек на голой земле... — Один из образов, возникших в русской литературе под влиянием немецкого экспрессионизма: впервые появляется в пьесе Л. Андреева «Савва» (1906); затем звучит в произведениях М. Горького, Б. Пильняка.

Возможна также апелляция к фельетону Е.Н. Чирикова «Голой человек», опубликованному в екатеринодарской газете «Утро Юга» (с редакцией которой Елизавета Юрьевна была связана в 1918–1919 гг.), где автор в резких тонах выступает против «рыцарей материализма», пришедших на смену интеллигенции народнического периода, для которых «вместо ближнего, — андреевский голый человек на голой земле» (УЮ. 1919. 13 (26) янв. № 11 (39)).

Говорилось о том, что до владения Царьградом Русь должна раньше очиститься от своих многовековых грехов... — Сходные мысли о внутреннем очищении и обновлении российской жизни, необходимым для обретения Константинополя, в чем многие деятели культуры видели тогда основной смысл и задачу начавшейся войны, звучат и в статье Вяч. Иванова «Лик и личины России. К исследованию идеологии Достоевского» (1917; см.: Иванов Вяч. Родное и вселенское. С. 328).

...«Се, раба Господня, да будет по слову Твоему», — т.е. полное отсутствие хотения или отказа, — а только — «да будет по слову Твоему», — из глубины сознания своего бессилия и своего нищества. — Ср. Лк 1: 38. См. очерк матери Марии «Встречи с Блоком» (эпизод спора с А.Н. Толстым; с. 86 наст. изд.), а также письмо к Блоку от 5 сентября 1916 г. (с. 450–451 наст. изд.).

...дневник Зинаиды Гиппиус, помещенный в «Русской мысли». — См.: Русская мысль (София). 1921. № 1/2. С. 139–191; № 3/4. С. 49–99. Переизд.: Гиппиус З. Петербургские дневники: 1914–1919. Нью-Йорк; М.: Центр «Про»; СП «Саксесс», 1990. См. также: Гиппиус З. Черная книжка (1919); Серый блокнот (1919) // Гиппиус З. Дневники: В 2 кн. М.: Интелвак, 1999. Кн. 2. С. 179–280.

Таков был приход на «Башню» Городецкого, отчасти Хлебникова. Позднее так же приняли Клюева и Есенина. — О С. Городецком см. примеч. к очерку «Встречи с Блоком» (с. 653). Хлебников Велимир (наст. имя Виктор Владимирович Хлебников; 1885–1922) — поэт-футурист, своими смелыми языковыми экспериментами оказавший большое влияние на поэзию XX в. Клюев Николай Алексеевич (1884–1937) — поэт, родом из крестьянской старообрядческой семьи, друг С. Есенина, автор стихов, проникнутых ностальгией по крестьянской Руси и нередко выдержанных в стиле раскольничьих песнопений, духовных стихов и апокрифов, хотя и использующих приемы символизма и относящихся к модернистской поэзии; расстрелян в 1937 г.

Иванов Георгий Владимирович (1894–1958) — поэт, литературный критик, участник петербургского «Цеха поэтов».

Рюрик Ивнев (наст. имя и фам. Михаил Александрович Ковалев; 1893–1981) — поэт, писатель, переводчик. Был близок к имажинистам и эгофутуристам.

Отлетала уже душа от старой эры. Был гроб повапленный. — «Гроб повапленный», т.е. раскрашенный снаружи, — евангельский образ: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей и всякой нечистоты» (Мф 23: 27).

Мне помнится собрание в редакции «Аполлона». Разбирали стихи Ахматовой. — Одно из заседаний «Общества ревнителей художественного слова», созданного Н. Гумилевым при редакции литературно-художественного журнала «Аполлон», куда А. Ахматова была приглашена после письма Г.И. Чулкову (от 14 марта 1911 г.) с просьбой принять ее в общество.

«Аполлон» — иллюстрированный журнал, посвященный вопросам изобразительного искусства, музыки, литературы и театра; издавался в Петербурге в 1909–1917 гг. под редакцией С.К. Маковского. В журнале публиковались сочинения И. Анненского, А. Блока, В. Брюсова, Н. Гумилева, Вяч. Иванова, М. Кузмина, печатались материалы по истории искусства, обзоры выставок, музыкальной и театральной жизни, литературно-критические статьи.

Одни из них, подобно Гумилеву или Мандельштаму, приняли слово «акме» как слово, обозначающее вершину... — О смысле и назначении акмеизма см. статью Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» (Аполлон. 1913. № 1. С. 42–45) и статью О. Мандельштама «Утро акмеизма» (Сирена (Воронеж). 1919. № 4/5 (30 янв.). С. 69–74; переизд.: Мандельштам О. Собрание сочинений: В 4 т. М.: Терра, 1991. Т. 2. С. 320–325).

Другие поэты, — главным образом, Анна Ахматова... — О знакомстве Е.Ю. Кузьминой-Караваевой и А.А. Ахматовой см., напр.: Ахматова А. Сочинения: В 2 т. Нью-Йорк: Международное литературное содружество, 1968. Т. 2. С. 420–421.

...хлыстик, перчатки... — См. стихотворения А. Ахматовой из ее первого сборника «Вечер» (1912): «Дверь полуоткрыта...» (1911) и «Песня последней встречи» (1911).

Самым, пожалуй, ярким и завершенным представителем группы эстетов был Гумилев. — О взаимоотношениях Е.Ю. Кузьминой-Караваевой и Н.С. Гумилева упоминает в своих воспоминаниях С.К. Маковский (см.: Николай Гумилев в воспоминаниях современников. М.: Вся Москва, 1990. С. 84). Согласно его свидетельству, стихотворение Гумилева «Это было не раз...» из кн. «Жемчуга» (1910) было посвящено Кузьминой-Караваевой (см.: Шустов А.Н. Кому посвящено? (К истории стихотворения «Это было не раз...») // Тверские ведомости. 1992. 7 февр. № 22 (167). С. 3).

...мечта о Синдабаде-мореходе... — Образ из стихотворения «Ослепительное» (1910) из книги «Чужое небо» (1912).

...«Седая, незолотая старина»... — Стихотворение «Старина» (1910) из кн. «Жемчуга» (1910): «И сердце мучится бездомное, / Что им владеет лишь одна, / Такая скучная и томная, / Незолотая старина».

«Я никогда не встретил дамы / Той, чье сердце непреклонно». — Цитируемые по памяти заключительные строки стихотворения «Он поклялся в строгом храме...» (1910) из кн. «Жемчуга»: «Я нигде не встретил дамы, / Той, чьи взоры непреклонны».

...человеческая кровь, — говорил он в стихах своих, — «не святей изумрудного сока трав». — Заключительные строки стихотворения «Детство» (1916) из кн. «Костер» (1918).

Наконец, последний этап в жизни Гумилева. Чекистская пуля. — 3 августа 1921 г. Гумилев был арестован по подозрению в участии в заговоре «Петроградской боевой организации В.Н. Таганцева» и расстрелян. Точная дата его расстрела и место захоронения неизвестны. 24 августа вышло постановление Петроградской ГубЧК о расстреле участников так называемого «Таганцевского заговора» (всего 61 человек). Постановление было опубликовано 1 сентября с указанием на то, что приговор уже приведен в исполнение.

...как мечтали люди о колокольчиках в желтом Китае... — Имеется в виду поэтический образ из стихотворения «Я верил, я думал...» (1911) из кн. «Чужое небо».

...о мудром Гуссейне... — Образ из стихотворения «Ослепительное» (1910) из кн. «Чужое небо».

...молитва М. Волошина «за тех и за других», за людей, стоящих по разные стороны фронта... — Имеется в виду стихотворение М. Волошина «Гражданская война» (1920):

А я стою один меж них
В ревушем пламени и дыме,
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.

Опубл.: Волошин М.А. Стихи о терроре. Берлин: Кн-во писателей в Берлине, 1923. С. 10–11 (с пометкой «при Врангеле. Коктебель»).

...в «Чека», у Мельгунова... — Речь идет о сб.: Че-Ка: материалы по деятельности чрезвычайных комиссий / предисл. В. Чернова. Берлин, 1922.

Мельгунов Сергей Петрович (1879–1956) — историк, публицист, издатель. В 1923–1924 гг. ред. сб. «На чужой стороне» (Берлин; Прага). Имеется в виду его книга «Красный террор в России, 1918–1923» (Берлин: Ватага, 1924), дающая «кровавую статистику» тех

лет (перезид.: Нью-Йорк: Телекс, 1979; Нью-Йорк: Телекс, 1989; М., 1990; М.: СП «РИУ-СО», 1999).

Другими словами, большевистский период создал сверхкошмарный быт, от которого уйти нельзя. — Описанию и осмыслению путей его преодоления посвящена статья Е.Ю. Скобцовой «Комсомольский быт», опубликованная двумя годами позднее в газете «Дни» (1927. 27 окт. № 1219).

Мне вспоминается, как в последний раз мне пришлось видеть Художественный Театр. Было это в годы Гражданской войны. Ставили «Дядю Ваню». — Пьеса «Дядя Ваня», в числе других спектаклей из репертуара Художественного театра, была представлена жителям Екатеринодара труппой московских артистов во время гастролей в Зимнем театре с 15 по 22 декабря 1919 г. (см.: УЮ. 1919. 15 дек. № 280–308) в постановке Н.О. Мас-салитинова и Н.Г. Александрова. Отклики: ВК. 1919. 18 дек. № 281; УЮ. 1919. 18 дек. № 282–310; ПК. 1919. 30 нояб. (13 дек.). № 271.

Предположение о просмотре Е.Ю. Кузьминой-Караваевой спектакля летом 1919 г. в Москве высказано А.Н. Шустовым (см.: Через линию фронта — в «красную столицу» // Анапа. 1999. 2 марта. № 24 (1158). С. 3).

...у многих зрителей, с которыми мне пришлось говорить потом, осталось чувство какого-то недоумения... — Со схожим чувством «недоумения» в «Заметках по театру» описывает гастроли Художественного театра, прошедшие незадолго перед тем в Одессе, К.В. Мочульский, который в это время заведовал литературным отделом «Одесского листка»: «Без предвзятости театральных направлений и школ, просто анализируя наше впечатление, мы приходим к выводу, театр Станиславского утратил для нас художественную действенность. Он возбуждает в нас неопределенные эмоции-воспоминания, которые при более внимательном рассмотрении ничего общего с эстетическими эмоциями не имеют <...>, сам театр на наших глазах уходит в историю» (ОЛ. 1919. 14 (27) дек. № 206. С. 4).

ВСТРЕЧИ С БЛОКОМ

(К пятнадцатилетию со дня смерти)

Воспоминания о встречах с великим русским поэтом А.А. Блоком (1880–1921). Впервые были прочитаны матерью Марией на собрании литературного объединения «Круг».

Источник: маш. текст на пожелтевших от времени страницах тонкой бумаги с многочисленными слоями правки, выполненными: серо-черными чернилами, толстым пером (правка рукой матери Марии; подпись в конце текста ее же рукой: ММ); синей и черной шариковой ручкой (надпись «Елизавета Скобцова — м. Мария» на первом листе и надпись «Елизавета Скобцова» на последнем листе — рукой С.В. Медведевой); серо-черными чернилами, тонким пером; простым карандашом; черными чернилами; черной и синей шариковой ручкой; красным карандашом; синим карандашом (Арх. С.В.М.). Впервые публикуется полный вариант очерка по этому тексту.

Другие источники: маш. копии, с правкой рукой С.Б. Пиленко (Арх. УМСА-Press).

Опубл. (с сокр.): СЗ. 1936. № 62. С. 211–228. Подпись: *мон. Мария.*

Отклики: *Адамович Г.* Современные записки. Кн. 62 // ПН. 1936. 10 дек. № 5739. С. 3; *Ходасевич В.* Книги и люди. «Современные записки». Кн. 62-я // Возрождение. 1936. 26 дек. № 4058. С. 9; *Степун Ф.А.* Бывшее и несбывшееся: В 2 т. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956. Т. 1. С. 324; *Яновский В.С.* Поля Елисейские: Книга памяти. Нью-Йорк: Серебряный век, 1983. С. 193.

Переизд.: Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Тр. по русской и славянской филологии. Сб. IX. Литературоведение. Тарту, 1968. Вып. 209. С. 265–278. (Публ., вступ. ст. Д.Е. Максимова по тексту «Современных записок», примеч. З.Г. Минц); *Кузьмина-Караваева Е.Ю.* Воспоминания о Блоке / публ. В.Н. Орлова // Александр Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. М.: Художественная литература, 1980. Т. 2. С. 58–75; *К-К*, 1991. С. 364–381; *ММ 1*, 1992. С. 24–46; *Елизавета Кузьмина-Караваева и Александр Блок* / сост. Л.И. Бучин, А.Н. Шустов. СПб.: РНБ, 2000. С. 108–130; *К-К, ММ*, 2001. С. 618–635.

Среди обширной литературы, написанной о Блоке в эмиграции, мемуары матери Марии «...правдиво и ощутительно воспроизводят ту атмосферу трудно уловимых, но сложных человеческих отношений, неясных намеков, смутных предчувствий, которая всегда окружала Блока, которая есть отчасти в его стихах, которой еще больше в его статьях и которую в особенности полны его письма, дневники, записные книжки» (*Ходасевич В.* Книги и люди. «Современные записки». Кн. 62-я // Возрождение. 1936. 25 дек. № 4058. С. 9).

Машинопись, по которой публикуется текст воспоминаний, хранит, помимо следов правки рукой матери Марии, многочисленные следы редакторской и корректорской правки. По всей видимости, данная машинопись была направлена автором в редакцию «Современных записок» для публикации: редакторские изменения, в большинстве своем, имеют целью сокращение объема текста; кроме того, имеет место несмысловая правка, относящаяся к подаче текста в печатном издании и выполненная, по всей видимости, корректором или наборщиком. В результате ряда подобных сокращений (несколько слов правки, выполненных не рукой матери Марии) текст принял тот объем и вид, который появился в «Современных записках». В основу данной публикации положен текст машинописи с первичным слоем правки, выполненным рукой самой матери Марии (правка серо-черными чернилами, толстым пером), с незначительными изменениями, сделанными на основе редакторской правки «Современных записок» (изменения приняты в тех случаях, когда они не имеют целью сокращение текста и не меняют авторской стилистики; эти изменения и наиболее характерные отрывки текста, отличающие данную публикацию от уже известного и не раз публиковавшегося варианта текста «Современных записок», указаны в примечаниях. Кроме того, в приложении «Другие редакции и варианты» приводится первоначальный вариант текста по рукописи, отличающийся иной композицией и расстановкой акцентов (см. «Блок», с. 473).

Фраза: (К пятнадцатилетию со дня смерти) — в маш. отсутствует, печатаем в соответствии с СЗ.

Умер мой отец. — Об отце Елизаветы Юрьевны, Ю.Д. Пиленко, см. примеч. к очерку «Друг моего детства» (с. 552–553 наст. изд.).

Вместо: на Басковом — печатаем: в Басковом (в соответствии с СЗ).

Небольшая квартира в Басковом переулке. — Семья Пиленко (Софья Борисовна Пиленко с двумя детьми — Елизаветой и Дмитрием), переехавшая в Петербург в конце

лета 1906 г., снимала квартиру в Басковом переулке, д. 26. Одноклассница Елизаветы Пиленко, Ю.Я. Эйгер (Мошковская), так описывает эту квартиру: «Средства, видимо, у них были очень ограниченные, так как в Петербурге они жили с матерью в маленькой квартире в Басковом переулке, более чем скромно обставленной» (*Эйгер (Мошковская)* Ю.Я. Гимназические года Лизы Пиленко // Елизавета Кузьмина-Караваева и Александр Блок / сост. Л.И. Бучина, А.Н. Шустов. СПб.: РНБ, 2000. С. 184).

Гимназия. — Гимназия Л.С. Таганцевой, одна из лучших в городе, в которой по приезду в Петербург училась Елизавета Пиленко, находилась по адресу: ул. Моховая, д. 27. Вот как описывает эту гимназию в своих воспоминаниях Ю.Я. Эйгер (Мошковская): «Лизе Пиленко было 14 лет, когда она поступила в V кл<асс> гимназии, в которой я училась. Я хочу сказать несколько слов о нашей гимназии, потому что она оставила на многих из нас, учившихся в ней, глубокий след. Это была частная гимназия Любови Степановны Таганцевой, и она отличалась от обычных казенных женских гимназий Мариинского ведомства тем, что в ней, прежде всего, очень хорошо было поставлено преподавание, там царил серьезная атмосфера дисциплины и научный дух критики. Учителя, действительно, были прекрасные, и мы, старые таганцевки, до сих пор вспоминаем их с благодарностью» (Указ. соч. С. 183).

Вместо: и последние уроки тоже лампы горят — *печатаем:* и на последних уроках тоже лампы горят (в соответствии с С3).

Вместо: было сомневаться — *печатаем:* было еще сомневаться (в соответствии с С3).

...я отправлялась бродить далеко через Петровский парк, на свалку, мимо голубиного стрельбища. — Голубиное стрельбище находилось на Крестовском острове.

Я начала читать Достоевского, о том, как в осенний день, на грязной улице, среди луж и слякоти, бьют лошадь поленом по большому беспомощным и кротким глазам. — См. роман Ф.М. Достоевского (1821–1881) «Преступление и наказание», часть первая, V.

Текст: Я начала читать Достоевского ~ в котором нет Бога. — в С3 отсутствует.

От одноклассницы я узнала о жизни петербургской улицы, о Первой Рождественской. Ее мать была швейкой, отчим носильщиком с Николаевского вокзала. Кто был ее отец, она не знала, студент какой-то. Квартира их была на втором дворе, на лестнице пахло кошками, окна выходили в желтую стену, в комнате были дешевые обои с цветочками. — В рукописи первоначального варианта воспоминаний о Блоке такая характеристика одноклассницы матерью Марией дополняется еще одной характерной деталью: «У меня была подруга, учившаяся со мною в одном классе, хотя было ей года на четыре больше, чем мне. Она была горбата, очень ревнива и очень умна» (см. очерк «Блок», с. 474 наст. изд.).

Схожий образ горбуны возникает также в прозе матери Марии: в рассказах «Ряженые» и «Вадим Павлович Золотов» (в котором нашли отражение и упомянутые здесь бытовые реалии: запах на лестнице, стена, обои с цветочкам), в первом варианте повести «Канитель».

Возможно, речь идет об Анне Алексеевне Афанасьевой (по мужу Пиянзиной; 1887 – ок. 1948). Вот как описывает Афанасьеву Эйгер (Мошковская) в своих воспоминаниях: «Обычно большинство девочек в классе принадлежало к аристократическим семьям, — к высшему чиновному миру, — меньшинство к купеческому сословию и

интеллигенции. Но наш класс, куда поступила Лиза Пиленко, был исключением: он оказался очень демократичным по своему составу. Были девочки из среды интеллигенции, а одна ученица, Анна Алексеевна Афанасьева, которую мы называли “Митя”, в будущем педагог и писательница, пользовавшаяся большим влиянием в классе, и близкий друг Лизы Пиленко, вышла из рабочей среды» (Указ. соч. С. 183). А.Н. Шустов в примечаниях к данным воспоминаниям сообщает, что именно Афанасьева была самой старшей в «демократической» группе таганцевских гимназисток, включающей Елизавету Пиленко, остальные девушки были почти одноклассницы (Там же. С. 191, примеч. 5, 6).

Андреев Леонид Николаевич (1871–1919) — писатель, драматург, представитель русского экспрессионизма.

Комиссаржевская Вера Федоровна (1864–1910) — известная русская актриса.

Метерлинк Морис (1862–1949) — бельгийско-французский поэт и драматург, представитель символизма.

Текст: Все просто: Бога нет ~ в царство свободы, и т.д. — в СЗ отсутствует.

Вместо: куда-то на Измайловские роты — печатаем: куда-то в Измайловские роты (в соответствии с СЗ).

Вместо: так вот тут была своя — печатаем: так вот и тут была своя (в соответствии с СЗ).

Городецкий Сергей Митрофанович (1884–1967) — поэт, один из основателей первого петербургского «Цеха поэтов».

Цензор Дмитрий Михайлович (1879–1947) — поэт, в 1900-х гг. был близок к символизму.

...*поэт вырывается на какие-то просторы.* — Имеется в виду фронтиспис обложки сборника А. Блока «Снежная маска» (СПб.: Оры, 1907) работы Л. Бакста.

«*Убей меня, как я убил...*» — Строки из стихотворения «Сердце предано метели» (1907) из цикла «Снежная маска».

В маленькой комнате отчего-то огромный портрет Менделеева. Что он, химик, что ли? — Жена А. Блока, Любовь Дмитриевна Менделеева, была дочерью великого русского химика Д.И. Менделеева (1834–1907). Описывая события того времени, мать Мария нарочито подчеркивает свое детское изумление происходящим, позволяя увидеть картину встречи с Блоком глазами того ребенка, которым она тогда была.

Входит Блок. — Об этой первой встрече с Блоком см. также письмо Е.Ю. Кузьминой-Караваевой к А.А. Блоку от 27 ноября 1913 г. (с. 438 наст. изд.).

Он в черной широкой блузе с отложным воротником, совсем такой, как на известном портрете... — Вероятно, речь идет о фотографии 1907 г. (см.: А. Блок в портретах, иллюстрациях и документах. Л.: Просвещение, 1972. С. 105). Хранится в музее ИРЛИ.

Вместо: я еще девочка — *печатаем:* я еще девчонка (в соответствии с СЗ).

«Когда вы стоите передо мной...» — Мать Мария цитирует по памяти. Стихотворение «Когда вы стоите на моем пути...» (1908) впервые опубликовано в сб. «Земля в снегу» (1908) под заглавием «Письмо» и с эпиграфом из А.А. Фета («Бал»): «В чужой восторг переселяться / Заране учится душа». Впоследствии вошло в цикл «Фаина» (1906–1908).

Письмо из Ревеля... — Блок гостил в Ревеле у матери 14–24 февраля 1908 г. (см.: Хронологическая канва жизни и творчества А. Блока / сост. В. Орлов // СС. Т. 7. С. 529).

Мой муж из петербургской семьи... — Кузьмин-Караваев Дмитрий Владимирович (1886–1959), юрист, историк, участник первого петербургского «Цеха поэтов», участник Религиозно-философского общества в Санкт-Петербурге, был знаком со многими литераторами, в том числе и с Блоком, который неоднократно упоминает о нем в своих дневниках (см.: СС. Т. 7. С. 70–237) и записных книжках (см.: ЗК. С. 182, 422, 436, 457). В 1920 г. принял католичество. С 1923 г. в эмиграции, где вступил в орден иезуитов и принял священство.

Семья профессорская, в ней культ памяти Соловьева... — Свекор Е.Ю. Кузьминой-Караваевой, В.Д. Кузьмин-Караваев, профессор Петербургского университета, был в тесной дружбе с Владимиром Соловьевым. См. его мемуары: *Кузьмин-Караваев В.Д. Из воспоминаний о Вл. Сергеевиче Соловьеве* // Вестник Европы. 1900. № 11. С. 443–453.

...у Вячеслава Иванова на Башне... — О посещении «Башни» Вяч. Иванова см. также в очерке матери Марии «Последние римляне» (с. 56 наст. изд.).

Вместо: среди огромной страны — *печатаем:* среди огромной страны, словно (в соответствии с СЗ).

Это был Рим времен упадка. — Та же тема подробно рассмотрена автором в «Последних римлянах».

...раскрытие третьего Завета. — Об идее «третьего завета» Д.С. Мережковского см. примеч. к очерку «Последние римляне» (с. 556).

...Кузьмин поет под собственный аккомпанемент на органе духовные стихи. — Под органом мать Мария подразумевает фисгармонию. Кузьмин Михаил Александрович (1875–1936) — известный русский поэт Серебряного века. Сочинял музыку к своим стихам и был известен мастерским исполнением русских народных и духовных песнопений.

Текст: Я даже не думаю ~ заставляет страдать. Нет, — в СЗ отсутствует.

Цех поэтов только что создался. — Поэтическое объединение «Цех поэтов» было основано в 1911 г. Н.С. Гумилевым и С.М. Городецким в качестве литературной оппозиции символизму. Первое заседание, на котором присутствовал А.А. Блок, состоялось 20 октября 1911 г. В «Цех поэтов», кроме «синдиков»-основателей, вошли: А.А. Ахматова, В.В. Гиппиус, М.А. Зенкевич, Д.В. и Е.Ю. Кузьмины-Караваевы, М.Л. Лозинский, О.Э. Мандельштам, М.Л. Моравская, В.И. Нарбут (все они в 1912 г. примут программу акмеизма), вначале также М.А. Кузьмин, В.А. Пяст, А.Н. Толстой и др.

Никакой вообще революции и никаких революционеров в природе не оказалось. Если они и были, то Азеф раз навсегда заставил забыть о них, заслонил собою все. — Азеф Евно Фишелевич (Евгений Филиппович) (1869–1918), агент департамента полиции, вошедший в ЦК партии эсеров. Разоблачен в 1908 г. Материалы судебно-следственной комиссии ЦК партии эсеров по делу Азефа (ГАРФ. Ф. 1699. Оп. 1. № 130) с показаниями В.М. Чернова, И.И. Бунакова-Фондаминского и других деятелей партии эсеров (в которую позднее вступит и Е.Ю. Кузьмина-Караваева) отражают потрясение в рядах партии, вызванное предательством «великого провокатора». Сложность ситуации заключалась не только в факте предательства, но и в масштабе деятельности Азефа в рядах партии, где он непосредственно участвовал в подготовке реальных террористических актов, вел реальную подрывную работу, так что сама возможность такой «двойной игры» символически показывает масштаб кризиса во всем обществе в предреволюционной России.

Текст: Описывая этот фон ~ об этом дальше. — в СЗ отсутствует.

Первая моя встреча с Блоком произошла в декабре 1910 года, на собрании, посвященном десятилетию со дня смерти Владимира Соловьева. — Вечер памяти Вл. Соловьева состоялся 14 декабря 1910 г. Выступление А. Блока, переработанное в статью «Рыцарь-монах», впоследствии было опубликовано в сб. «О Владимире Соловьеве» (М.: Путь, 1911). См.: СС. Т. 5. С. 446–454.

Происходило оно в Тенишевском училище. — Коммерческое Тенишевское училище размещалось в построенном для него здании по адресу: ул. Моховая, д. 33–35.

По его дневнику видно, что он ждал этого обеда с чувством тяжести. — В описываемый период (конец 1910 – начало 1911) Блок дневника не вел. Впервые записи о Кузьминых-Караваевых появляются 20 октября и 7 ноября 1911 г. (см.: СС. Т. 7. С. 75, 83). По-видимому, речь идет о письме Блока к матери от 13 декабря 1910 г.: «В среду предстоит самое трудное, а именно — у нас будут обедать Аничковы, Л.Я. Гуревич и Кузьмины-Караваевы. Я сам это затеял, а теперь с ужасом думаю об этом». В следующем письме к матери от 16 декабря 1910 г. Блок описывает саму встречу: «...хотя разговоры были очень интересные, но я невыносимо устал, как всегда, когда гости приходят неслучайно» (см.: Письма А. Блока к родным. М.; Л.: Academia, 1932. Т. 2. С. 105–106).

Опубликованные в России письма и дневниковые записи Блока частично перепечатывались в эмигрантских периодических изданиях (где мать Мария и могла с ними познакомиться) и вызвали многочисленные отклики, напр.: Рецензия на кн. «Письма Ал. Блока к родным» // Д. 1927. 9 окт. № 1201. С. 4; «Из дневника А. Блока» (1911–13) // Д. 1927. 25 дек. № 1278. С. 3; Главы из книги «Письма Ал. Блока» (воспоминания С. Соловьева) // Д. 1926. 24 янв. № 912. С. 3; и др.

...был еще... Аничков с женой. — Аничков Евгений Васильевич (1866–1937), историк литературы, фольклорист; Аничкова Анна Митрофанова (псевд. Иван Странник; 1868–1935), прозаик, критик, переводчица.

Франс Анатоль (1844–1924) — французский писатель-романист и литературный критик, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1921 г.

Текст: Я внимательно разглядела ~ и везде уместна. — в СЗ отсутствует.

...говорил о Наугейме, связанном с особыми мистическими переживаниями... — О восприятии Блоком немецкого курорта Бад-Наугейм (в современном написании:

Бад-Наухейм) см. в его «Автобиографии» (СС. Т. 7. С. 16). См. также в разделе «Письма и записные книжки» письма Е.Ю. Кузьминой-Караваевой к А.А. Блоку из Бад-Наухейма (от 24 апреля 1912 г., конца апреля – начала мая 1912 г. и от 28 ноября 1913 г.). Подробнее об этом см. статью Т.В. Емельяновой «Немецкий курорт Бад-Наухейм в восприятии А.А. Блока и Е.Ю. Кузьминой-Караваевой» (Вестник РХД. 2000. № 181. С. 186–202). О Бад-Наухейме см. также примеч. на с. 623.

Он рассказывал, как обдумывал в детстве пьесу. — Об этом замысле Блока см. статью Ю.М. Лотмана, З.Г. Минц «О глубинных элементах художественного замысла. (К дешифровке одного непонятого места из воспоминаний о Блоке)» (*Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии.* СПб.: Искусство – СПб., 1996. С. 670–675).

Текст: Все помнят Блоковские стихи о мертвце ~ и мы о нем крепко знаем. — *в СЗ отсутствует.*

...Блоковские стихи о мертвце... — «Как тяжело мертвцу среди людей...», первое стихотворение из цикла «Пляски смерти» (1912), в свою очередь, вошедшего в цикл «Страшный мир» (1909–1916).

Вместо: перед мужчиной, а надо писать перед Богом — *печатаем:* как бы перед мужчиной, а надо писать как бы перед Богом (*в соответствии с СЗ*).

Помню, как первый раз читала стихи Анна Ахматова. <...> — Она пишет стихи как бы перед мужчиной, а надо писать как бы перед Богом. — М. Цветаева в своей статье «Искусство при свете совести» (СЗ. 1932. № 50. С. 323) также упоминает эти слова А. Блока об А. Ахматовой (перепечатано в: *Цветаева М. Сочинения: В 2 т. М.: Художественная литература, 1988. Т. 2. С. 392*). Однако в своем дневнике А. Блок положительно отзываясь о поэзии А. Ахматовой.

Помню Блока у нас, на квартире моей матери, на Малой Московской. — О собраниях «Гумилевско-Городецкого общества» («Цеха поэтов») на квартире С.Б. Пиленко есть запись в дневнике Блока от 11 ноября 1911 г. (см.: СС. Т. 7. С. 86).

...в редакции, кажется, «Русской мысли»... — «Русская мысль» — один из самых распространенных литературно-политических журналов дореволюционной России. Выходил в Москве с 1880 г., с 1906 г. его возглавлял П.Б. Струве, в 1918 г. журнал был закрыт большевиками, в эмиграции выпуск журнала продолжался до 1927 г. Начиная с 1947 г. и по сегодняшний день во Франции издается русскоязычная газета с тем же названием.

Текст: Помню рассказ Блока о Москве ~ у него незадолго до этого ребенок умер. — *в СЗ отсутствует.*

Я даже вспоминаю, что особенно поняла всю горечь Блоковского рассказа в связи с тем, что у него незадолго до этого ребенок умер. — Сын Л.Д. Блок Дмитрий прожил всего 8 дней: 2–10 февраля 1909 г. На его смерть 2 марта 1909 г. А. Блок написал стихотворение «На смерть младенца».

Пяст Владимир Алексеевич (наст. фам. Пестовский; 1886–1940) — поэт-символист, переводчик, друг и один из биографов А. Блока. В своей записной книжке 28 июня 1916 г. Блок называет его в числе своих четырех ближайших друзей: «Мои действительные друзья: Женя (Иванов), А.В. Гиппиус, Пяст (Пестовский), Зоренгфрей» (ЗК. С. 309). Пяст

оставил свои воспоминания о Блоке (см.: *Пяст В.* Встречи. М.: Федерация, 1929; переизд.: *Пяст В.* Встречи. М.: Новое литературное обозрение, 1997). Описание упоминаемого вечера, состоявшегося 10 декабря 1911 г., см.: *Пяст В.* Встречи. М.: Федерация, 1929. С. 256–257.

Открытка с текстом шуточного послания (среди прочих — импровизация Е.Ю. Кузьминой-Караваевой «Каждый был безумно строг...») в тот же день была отправлена Блоку (ЦГАЛИ. Ф. 55. Оп. 1. Ед. хр. 375. Л. 14).

Нарбут Владимир Иванович (1888–1938) — поэт, входивший с 1912 г. в «Цех поэтов», журналист. Расстрелян в 1938 г.

Моравская Мария Людвиговна (1889–1947) — поэтесса, прозаик, критик, член первого «Цеха поэтов», выступала с чтением своих стихов в «Обществе ревнителей художественного слова».

Текст: Наконец этот период завершился ~ *La jeune cosaque Liouba Block* — и еще какую-то ерунду. — в СЗ отсутствует.

...был один веселый и глупый вечер у Городецкого. Он чествовал французских профессоров, приехавших открывать французский институт в Петербурге, — Луи Рео и Поль Бойе. — Об этом вечере с французами Бойе и Рео см. также дневниковую запись А. Блока от 20 октября 1911 г. (СС. Т. 7. С. 75–76). Научно-исследовательский институт по изучению русской литературы, учрежденный группой французских филологов, открылся в Санкт-Петербурге в 1911 г.

Фраза: Так напутствовал меня в жизнь этот заложник в стане, где все становилось мертвенным шелестом. — в СЗ отсутствует.

Текст: Среди близких это вызвало толки ~ Итак, тяга к почве. — в СЗ отсутствует.

Текст: Сейчас ни писать ему ~ встретимся. — в СЗ отсутствует.

В квартире около Собачьей площадки я одна. — В Москве Е.Ю. Кузьмина-Караваева жила по адресу: Собачья площадка, Дурновский пер., д. 4, кв. 13.

Дымшиц-Толстая Софья Исааковна (1889–1963) — художница, в 1907–1914 гг. жена А.Н. Толстого. Осенью 1913 г. С.И. Дымшиц написала портрет Е.Ю. Кузьминой-Караваевой (пастель, 67х84,5), который хранится в Омском областном музее изобразительных искусств.

Свт. Григорий Нисский (ок. 330 – ок. 395) — церковный писатель, богослов и философ, один из виднейших представителей греческой патристики.

Бородаевский Валериан Валерианович (1874–1923) — поэт, близкий к символизму, автор сб. «Стихотворения. Элегии, оды, идиллии» (СПб.: Оры, 1909) и «Уединенный дол» (М.: Мусaget, 1914).

Штейнер Рудольф (1861–1925) — немецкий мистик-антропософ, основатель Антропософского общества. Разработанная Штейнером «духовная наука», своеобразный синтез немецкой идеалистической философии с новейшим естествознанием и оккульти-

ным истолкованием различных религиозных доктрин, ставила своей целью с помощью специальных упражнений в овладении своими «тайными» силами достичь духовного совершенства человека и мировой гармонии. Друг А. Блока поэт Андрей Белый был одним из ближайших учеников Штейнера и основателем русской антропософской школы. См. также запись о Штейнере в дневнике А. Блока от 20 января 1913 г. (СС. Т. 7. С. 209–210).

Текст: А Толстой уже увлечен ~ таинственное и мистифицирующее. — в СЗ отсутствует.

Текст: Многого можно добиться ~ что не под общий рост. — в СЗ отсутствует.

Я знаю даже, как с ней бороться. Надо все крепости в себе разрушить, — чтобы была «се раба Господня» человеческая душа. — См. также письмо Е.Ю. Кузьминой-Караваевой к А.А. Блоку от 5 сентября 1916 г. (с. 450 наст. изд.).

Текст: Даже не какие-то мы вообще ~ хотя у меня никаких данных и нет. — в СЗ отсутствует.

Важно только, что я вольно и свободно свою душу даю на его защиту. — См. письмо Е.Ю. Кузьминой-Караваевой к А.А. Блоку от 26 июля 1916 г. (с. 448 наст. изд.).

...я впервые молилась о моей стране, которая казалась мне живой, безумной, оставленной и голосящей в бескрайних полях. — См. также образ старой женщины, голосящей все время, который красной нитью проходит по повести матери Марии «Равнина русская» (1924) и встречается в ее поэзии.

«...Думайте сейчас обо мне...» — Полный текст письма Блока от 1 декабря 1913 г. опубл.: СС. Т. 8. С. 430. Оригинал хранится в ОР РГБ (Ф. 423 (А. Блок). № 1. Ед. хр. 18), его фотокопия воспроизводится в настоящем издании. См. также примеч. к письму Е.Ю. Кузьминой-Караваевой к А.А. Блоку от 27 ноября 1913 г. (с. 438).

Фраза: Я получила как бы некое мистическое утверждение в должности. — в СЗ отсутствует.

Я получила как бы некое мистическое утверждение в должности. — Следы подобных размышлений можно найти и в письмах Е.Ю. Кузьминой-Караваевой к А.А. Блоку, где она определяет свою духовную связь с поэтом так: «...путь какой-то, предназначенный мне, неизбежный; и для Вас все это нужно» (см. письмо от 27 ноября 1913 г., с. 439 наст. изд.).

Текст: Это была как бы третья ~ уже под знаком войны. — в СЗ отсутствует.

Брат ночью пришел ко мне в комнату, чтобы сообщить о своем решении, — идет добровольцем. — Дмитрий Юрьевич Пиленко (1893–1920), младший брат Е.Ю. Кузьминой-Караваевой. Участвовал сначала в Первой мировой, затем в Гражданской войне. Некоторые документы, отражающие его участие в военных действиях Добровольческой армии, хранятся в ГАРФ (Ф. 1513, 1514, 1487).

Произведен в офицеры из вольноопределяющихся в 1915 г. приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта. Подпоручик 50-й артиллерийской бригады. В Добровольческой армии и ВСЮР в 3-м отдельном артиллерийском дивизионе, затем в 3-й батарее Дроздовской артиллерийской бригады. Поручик (с 11 января 1919 г.). Умер

от тифа в апреле 1920 г. в Севастополе (согласно базе данных, созданной в процессе работы над словарем участников Белого движения и эмиграции под руководством историка С.В. Волкова).

В.С. Яновский в книге «Поля Елисейские» так вспоминает рассказ матери Марии о Дмитриии: «Помню ее рассказ о своем брате, студенте, записавшемся юнкером в артиллерийское училище. Не желая дожидаться очереди в тылу, он тут же зачислился добровольцем в пехоту и ушел на фронт. А дома его долго разыскивали как дезертира из военного училища... Потом она его провожала на юг, к Деникину.

— И что осталось от всего этого вдохновения и подвига? — спрашивала мать Мария. <...> — Что осталось от всего этого горения и жертвенного подъема? Ровным счетом ничего не осталось, — продолжала она не спеша, убежденно. — Разве только еще одна могилка у Перекопа. Его гибель была совершенно не нужна и ничего не изменила. А ведь он мог еще жить здесь и с нами работать...» (Нью-Йорк: Серебряный век, 1983. С. 194).

В одном из поздних стихотворений матери Марии так говорится о смерти брата:

Брат, умерший от сыпного тифа,
Одинок на больничной койке

(«Мой отец больной седобородый...» (неопубл. рук.) // БАР. Mother Maria Papers. Box 2).

Текст: Осенью, оставшись одна ~ И бремя Его легко, и иго Его сладко. — в СЗ *отстствует*.

И бремя Его легко, и иго Его сладко. — Ср.: «...ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф 11: 30).

И особенно твердо сознание, что наступили последние сроки. Война, — это преддверие конца. Прислушаться, присмотреться, уже вестники гибели и преображения бредут средь нас. — См. стихотворения из циклов «Вестники» и «Война» книги «Руфь». Схожим опытом восприятия мать Мария поделится позднее, в преддверии Второй мировой войны, в статье «Прозренье в войне» (см.: ММ 1, 1992. С. 312–327). См. также примеч. к очерку «Последние римляне» (с. 555 наст. изд.).

Брат мой воевал добровольцем где-то на Бзуре. — Бзура — река в Польше, в районе которой в ноябре–декабре 1914 г. шло сражение между австро-германскими и русскими войсками. После тяжелых боев немцы оттеснили русских за Лодзь, к реке Равке. Последующие за этим ожесточенные бои, начавшиеся 5 декабря наступлением австро-германских армий левого берега Вислы, вошли в историю как «сражение на четырех реках» (Бзуре, Равке, Пилице и Нице). Урон русской армии в этих боях превысил 200 тысяч человек, особенно тяжелые потери понес кадровый состав, что непосредственно повлияло на печальный исход кампании 1915 г. Потери германской армии в «сражении на четырех реках» превысили 100 тысяч человек.

С Офицерской иду в Исаакиевский собор, — это близко. — С июля 1912 г. А. Блок жил по адресу: ул. Офицерская, д. 57, кв. 21.

...патриотические чтения стихов в закрытых винных магазинах Шитта... — Петербургские винные магазины знаменитого торгового дома «К.О. Шитт», основанного в 1818 г. Летом 1914 г. в России был объявлен «сухой закон», торговля спиртными напитками прекращена, с чем и связано закрытие магазинов.

Вместо: другие стихи читают. Наверное, не пойду, — *в маш. было:* другие стихи читают. Наверное, пойду...

Маковский Сергей Константинович (1877–1962) — художественный критик, редактор и издатель журнала «Аполлон». Многие мемуаристы отмечают исключительное душевное благородство Маковского. М. Цветаева, например, приводит слова М. Волошина, назвавшего Маковского «безупречным рыцарем» (см.: *Цветаева М. Живое о живом* (Волошин) // Цветаева М. Проза. Кишинев: Лумина, 1986. С. 208).

Теперь и Сологуб воспеваает барабаны. — Стихотворение Ф. Сологуба «Марш» («Барабаны, не бейте слишком громко...») из сб. «Война. Стихи» (Пб., 1915. С. 8).

Северянин вопит: «Я ваш душка, ваш единственный, поведу вас на Берлин». — Неточная цитата из стихотворения Игоря Северянина «Мой ответ» (1914).

«Будьте ж довольны жизнью своей, тише воды, ниже травы. Ах, если б знали, люди, вы холод и мрак грядущих дней». — Неточная цитата из стихотворения «Голос из хора» из цикла «Страшный мир» (1910–1914).

Об идейном размежевании А. Блока с руководителями журнала «Аполлон» см.: *Максимов Д. Блок и империалистическая война* // Литературный современник. 1936. № 9. С. 192.

Текст: У меня мучительное чувство огромной ответственности ~ Из глубины к глубине. — *в СЗ отсутствует.*

Господи, как огромен и страшен Твой мир, и какую муку даешь Ты Твоим людям. У меня чувство, что грудь мою сковали золотые латы, что в руках меч, и помогает мне Некто могучий и крылатый. — В стихах матери Марии, написанных в 30-е гг., т.е. в тот же период, что и очерк о Блоке, явственны два тематических пласта. Первый относится к «огромному и страшному Твоему миру»: «Убери меня с Твоей земли, / С этой пьяной, нищей и бездарной...» (*К-К, ММ, 2001. С. 133*), «О, Христос, Твой грустный мир прогорклый. ...Мир Твой горький, горький, Иисус» («Жить в клопину нищенской каморке...» // Там же. С. 137). Второй — рисует ту муку, какую «даешь Ты Твоим людям»: «Только Ты дал муку, — мы ей не изменим...» («Мы не выбирали нашей колыбели...» // Там же. С. 129), «Вот приближается Царь Славы, / Чтоб мукой освятить рабу» (Там же. С. 149). Но оба они неразрывно связаны с темой славы, ликованья, крылатости и помощи, даруемой могучим и крылатым Вожатым («А Ты ведешь, неведомый Вожатый, / Летучий, огневидный и крылатый...» (Там же. С. 143), «Мне казалось — не тихость, / А звенящие латы, / А взметенные вихри, / Огневая крылатость» (Там же. С. 164), «И вновь пылающий рубеж, / И странник на пути крылатый / Протягивает меч и латы...» (Там же. С. 162). Вот характерное их сочленение:

Волною последней огнистая лава

Голодный, стенающий мир Твой зальет.

О, мука какая. А сердце поет:

Тебе, показавшему солнцу нам, слава.

(«Последнее солнце и день наш последний...» // Там же. С. 145).

Текст: У меня чувство, что грудь ~ Некто могучий и крылатый. — *в СЗ отсутствует.*

У него опять такая же тишина. И так начинается изо дня в день. — Об этих встречах А. Блок упоминает в своих записных книжках от 25 октября и 4, 5 ноября 1914 г. (см.: ЗК. С. 245, 246).

Топка печи у Блока, — священнодействие. — См. стихотворение Е.Ю. Кузьминой-Караваевой «Снова можно греться у печей» (*Руфь*. С. 79; К-К, 1996. С. 60).

Текст: Но идти за вами, со-чувствуя, со-страдаю, ~ к вам и к вашей муке. — в СЗ отсутствует.

В мире есть две муки, — мука Голгофская и мука меча обоюдоострого, пронзившего Сердце Той, которая муку Голгофскую пережила как со-муку. — Богословское развитие этой мысли дано в статьях 1930-х гг. о Богоматери («О подражании Богоматери», «Православное почитание Богоматери» — *ММ* 1, 1992), а также в поэтических образах:

Так было предуказано в начале.
Начало мира, — это меч и крест,
Мир на двуликой выращен печали:
Меч для Нее, Невесты из Невест,
Крест Отпрыску Давида, Сыну Девы.
Одно и два. Смешенье двух веществ.
(«Духов день» // *ММ*, 1947. С. 34).

См. также примеч. к письму Е.Ю. Кузьминой-Караваевой к А.А. Блоку от 21 декабря 1914 г. (с. 626 наст. изд.).

После: связаны такой неимоверной любовью к вам и к вашей муке. — в маш. было: Вы притягиваете все ветры, все бури, так пусть они к вам хоть через мою душу приходят.

— *Я все это принимаю, потому что знаю давно. Только дайте срок. Так оно все само собой и случится.* — См. запись А. Блока от 14 марта 1916 г. (ЗК. С. 290).

Текст: А потом, — пусть. ~ Опять все тихо. — в СЗ отсутствует.

Текст: Со следующего дня начинаю нормальную, размеренную жизнь. ~ Во всяком случае, до весны 16 года. — в СЗ отсутствует.

Смотрю на высокие стекла. — Этой фразой начинается стихотворение Е.Ю. Кузьминой-Караваевой, вошедшее в цикл «Обреченность» (*Руфь*. С. 60; К-К, 1996. С. 54), явно написанное под впечатлением от последних встреч с А.А. Блоком:

Не жду ничего я сегодня,
Я только проверить иду,
Как вестница слова Господня,
Свершаемых дней чреду.

Д.Е. Максимовым отмечено сходство обозначенного пейзажа с городским окружением блоковской квартиры на Офицерской ул. (см.: *Максимов Д.Е.* Воспоминания о Блоке Е.Ю. Кузьминой-Караваевой: [Вступ. ст. к публикации очерка Е.Ю. Кузьминой-Караваевой «Встречи с Блоком»] // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Тр. по русской и славянской филологии. Сб. IX. Литературоведение. Тарту, 1968. Вып. 209. С. 262).

...летом 1916 года последнее письмо от Блока. — См. ответ Е.Ю. Кузьминой-Караваевой от 20 июля 1916 г. (с. 447 наст. изд.).

Фраза: И на этом корабле повезет она мертвенный груз наших обледенелых душ. — в СЗ отсутствует.

ПРИ ПЕРВЫХ БОЛЬШЕВИКАХ
(Как я была городским головой)

Воспоминания о событиях 1917–1919 гг. в г. Анапе.

Источник: рук. (БАР. Mother Maria Papers. Box 1). Впервые публикуется полный вариант очерка по этому тексту.

Другие источники: машинописная копия, с правкой рукой матери Марии и поздними поправками рукой С.Б. Пиленко (Арх. УМСА-Press).

Опубл. (с сокр.): ВР. 1925. № 4. С. 63–80; № 5. С. 68–80. Подпись: Ю.Д.

Переизд.:

К-К, 1991. С. 209–241; ММ 1, 1992. С. 47–89; К-К, ММ, 2001. С. 587–617.

В целом, комментируемый текст может быть рассмотрен как автобиографическое свидетельство о малоизвестном периоде жизни матери Марии, породившем большое количество мифов.

Так, вопреки распространенному мнению, Е.Ю. Кузьмину-Караваеву судил не деникинский военный суд, имевший на кубанской территории весьма ограниченные полномочия (см.: *Богат Е.* Мать Мария: мифы, версии, достоверности // Юность. 1986. № 4. С. 86–92; *Куценко И.Я.* Кубанская «тайна» матери Марии. К 100-летию Е.Ю. Кузьминой-Караваевой // ВК. 1991. 7, 12, 13, 14 нояб.; *Шустов А.Н.* Раскрывая тайну матери Марии // ВК. 1992. 5 нояб. № 173 (21454). С. 4; 6 нояб. № 174 (21455). С. 4). Особенность ситуации на Кубани в тот период состояла в сосуществовании и столкновении интересов двух антибольшевистских центров власти — Кубанской краевой Рады и деникинского Главнокомандования, что допускало одновременное функционирование независимого суда на конституционных основаниях, определенных Радой, с одной стороны, и добровольческих военно-полевых судов как учреждений, «временно созданных для борьбы с большевизмом» и действовавших, как правило, в полосе военных действий, с другой.

Дело Е.Ю. Кузьминой-Караваевой, возбужденное по доносу В.А. Будзинского и первоначально находившееся в ведомстве военной контрразведки и судебно-следственной комиссии, было передано в Кубанский краевой военно-окружной суд (ГАКК. Ф. 629. Оп. 1. № 33. Л. 202), что и решило его благополучный исход. Суд, работавший по крайвым законам, при ходатайстве заинтересованных членов Рады (что было широко распространено, судя по частично сохранившейся переписке с судебными учреждениями «по вопросам ареста разных лиц» — см.: ГАКК. Ф. Р-6. Оп. 1. № 194), со многими из которых Е.Ю. Кузьмина-Караваева была непосредственно связана в период ее общественной деятельности в Анапе, освободил ее от чрезмерно сурового приговора.

Вот как описывает сам механизм кубанской военной юстиции того времени очевидец, «возвращенец», во время войны служивший в Донском войске военным прокурором в чине полковника, И.М. Калинин в книге «Русская Вандея»: «Согласно судебным законам трех государственных образований юга России — Добровольческой армии, Дона и Кубани, имевших свои особые и независимые друг от друга судебные организации, все дела о причастных к большевизму лицах передавались на рассмотрение военно-полевых судов, а при сложности и неясности — нормальных военных судов (военно-окружные,

корпусные, донской военный суд), предварительное же расследование поручалось особым органам, судебнo-следственным комиссиям.

Эти последние, впрочем, учреждались только в тылу, одна комиссия на округ или уезд. Во главе каждой комиссии стоял председатель, чаще всего из числа строевых офицеров, членами же назначались и офицеры-юристы, и офицеры-неюристы, и всевозможные чиновники, и мобилизованные адвокаты и т.д.

<...> Первоначально за комиссиями не существовало никакого надзора. Только в последнее время деникинского владычества, когда все чаще и чаще стали раздаваться голоса о чинимых в комиссиях беззакониях, надзор за ними предоставили военной прокуратуре» (М.; Л.: ГИЗ, 1926. С. 199).

Автор также подробно описывает юридические функции контрразведки, которая, несмотря на широко распространенный миф о ее карательной деятельности, занималась не вынесением приговоров, а расследованием дел, в дальнейшем передаваемых в суды; касается он и особенностей военно-полевых судов: «На фронте судебнo-следственных комиссий не существовало. Там расследование о деятельности “причастных к большевизму лиц” возлагалось или на строевых офицеров, производивших краткое дознание, или на чинов контрразведки. Это столь прославленное учреждение действовало и в тылу, играя роль розыскного аппарата и передавая добытые сведения в судебнo-следственные комиссии.

Когда контрразведка достаточно изобличала кого-либо в “причастности к большевизму”, и дальнейшего расследования не требовалось, судебнo-следственные комиссии имели право прямо направлять дело в военно-полевой суд. Напротив, если комиссия находила дело чересчур сложным и требующим серьезного расследования, она передавала его к нормальной военной подсудности, т.е. к военному следователю.

<...> Военно-полевые суды имел право учреждать при своей части каждый военный начальник, пользовавшийся правами командира полка. На Дону в каждом городе и сколько-нибудь значительном пункте при комендантских управлениях учреждались постоянные военно-полевые суды.

<...> Военно-полевой суд по законодательству царского времени учреждение временное, создаваемое *ad hoc* и прекращавшее свое существование после разбора дела. В период гражданской войны на Дону, а частично и в Доброволии, эти судилища превратились в постоянные и разбирали дела всякого рода, больше же всего о большевизме» (Там же. С. 200–202).

Примечания к очерку, касающиеся истории Анапы и Кубани, составлены по архивным материалам, найденным в ГАРФ, ГАКК, ААМ, и по публикациям в прессе того времени.

Сведения о малоизвестных жителях Анапы, упоминаемых в очерке, даны по выпискам из приходских метрических книг двух храмов Анапы: «Метрической книги Онуфриевской церкви Кубанской области Сухумской епархии» и «Метрической книги Осиевской церкви Кубанской области Сухумской епархии». Выписки были составлены сотрудницей Археологического музея г. Анапы З.Е. Харалдиной и обработаны для примечаний к настоящему изданию сотрудницей этого музея и исследовательницей творчества матери Марии З.Н. Лемякиной, опиравшейся в своей работе также на архивные данные (ААМ).

Первоначальный текст очерка, представленный в данном издании по рукописи, был впоследствии значительно сокращен и переработан автором для публикации в «Воле России». В частности, матери Марии, как она сама оговаривает в примечании в «Воле России», «пришлось многие имена заменить псевдонимами, ибо ряд действующих лиц описываемых событий остались в России». Статья подписана инициалами псевдонима *Юрий Данилов*. Характерно, что зашифровка имен производилась последователь-

но: сначала в машинописи подлинные имена были заменены инициалами, потом в тексте «Воли России» инициалы были заменены вымышленными именами. В настоящем издании все сокращения раскрыты, а вместо псевдонимов указаны подлинные имена — так, как они даны в рукописи.

При публикации в «Воле России» (и последующих переизданиях) была сохранена лишь вторая часть первоначального заглавия: «Как я была городским головой»; в печатный текст «Воли России» не вошли и краткие подзаголовки, коротко отражающие содержание каждой главы очерка. В данной публикации приводится максимально полный вариант текста по рукописи; наиболее значимые смысловые отрывки, не вошедшие в текст, опубликованный в «Воле России», и определяющие новизну настоящего издания, указаны в примечаниях. Для удобства сравнения разные варианты текста даются в примечаниях через слеш (/), в скобках указаны их источники. Фрагменты рукописи, зачеркнутые автором (в основном с целью сокращения текста и зашифровки действующих лиц), приводятся в тексте в квадратных скобках и в примечаниях их новизна не оговаривается.

В результате сверки рукописи с авторизованной машинописью и публикацией в «Воле России» обнаружен ряд редакторских поправок, сделанных или одобренных автором и имеющих целью не сокращение или зашифровку текста, но чисто языковую работу с ним. Эти поправки внесены в текст и отражены в примечаниях. Все сокращения служебных слов, имеющие место в рукописи, в тексте раскрыты и специально не оговариваются.

I

Будзинский Владимир Адольфович (1865–1923) — врач, общественный деятель, основатель первых санаториев в Анапе, руководитель акционерного общества «Курорты Анапы и Семигорья».

Бабич Михаил Павлович (1844–1918) — русский генерал от кавалерии. В 1908 г. назначен начальником Кубанской области и наказным атаманом Кубанского казачьего войска. Во время войны управлял войском и руководил формированием кубанских казачьих частей. В марте 1917 г. был уволен от службы по причине болезни, с мундиром и пенсией; жил в Пятигорске. В октябре 1918 г., вместе с генералами Н.В. Рузским и Р.Д. Радко-Дмитриевым, был арестован солдатами-большевиками и вывезен в лес у г. Бештау, где палачи перебили ему руки и ноги и живого закопали в землю.

Вместо: Городская старая Дума — печатаем: старая городская Дума (в соответствии с ВР и маш.).

Гражданский комитет был выбран ранней весной 1917. — Сохранился «Список членов и кандидатов Анапского гражданского комитета» от 15 марта 1917 г., в котором в качестве кандидатов фигурируют «*Кузьмина-Караваева Е.Ю., садовладелица*», а также упоминаемые в очерке: присяжный поверенный Н.И. Домонтович, землемер Н.И. Шпак и учитель И.С. Рудский (ААМ).

Морев Никифор Иванович — депутат I Государственной думы в Петрограде, член партии народных социалистов. В августе 1917 г. стал городским головой вместо отправленного в отставку В.А. Будзинского. Характеристика «выборжец», данная ему Е.Ю. Кузьминой-Караваевой, означает, что Морев был одним из тех, кто в 1906 г. подписал так называемое Выборгское воззвание — «Народу от народных представителей»,

составленное в Выборге депутатами I Думы после ее роспуска указом императора Николая II. Воззвание, призывавшее к пассивному сопротивлению властям (в форме неуплаты налогов, отказа от военной службы), подписали 180 депутатов Думы. Против большинства из них было возбуждено уголовное дело, они были осуждены на три месяца тюремного заключения и лишены избирательных прав, в результате чего уже не могли стать депутатами Думы в дальнейшем.

Слова: он был в последнем градусе чахотки — в ВР и маш. отсутствуют.

Наконец, самой многочисленной группой была группа партии социалистов-революционеров. — О популярности этой партии в Анапе, как имеющей «наиболее сильные влияния на умы крестьянской и казачьей массы», вспоминает учитель Кузьма Гаврилович Остапенко (в 1918 г. был первым секретарем учительского союза). В своих воспоминаниях он называет среди «лидеров этой партии Руттенберга и Караваеву, савладелицу с высшим образованием, — одну из активнейших женщин» (ААМ).

Соколов Владимир Николаевич — потомственный гражданин г. Анапы (с 1907 г.), учитель биологии, виноградарь.

Соловьев Максим Александрович —штукатур.

Инджебели Христофор Кириакович — студент-юрист Петербургского университета; эсер, тяготеющий к большевизму; был председателем Революционного трибунала.

Арнольд Герман — лидер партии эсеров, по воспоминаниям учителя К.Г. Остапенко (ААМ).

Слова: товарищем был избран с<оциал>-д<емократ>, бывший секретарь Думы Сумцов, вскоре, впрочем, уехавший в Екатеринодар, а членами Управы эсер Милорадов и беспартийный малограмотный анапский мещанин Зубенко. — в ВР и маш. отсутствуют.

Сумцов Николай Михайлович — бывший секретарь городской Думы, дворянин.

Зубенко Наум Филиппович — в 1918 г. член Управы, в 1919 г. специализировался по земельным делам.

Мережко — председатель гражданского комитета гарнизонного Совета. По воспоминаниям К.Г. Остапенко, Мережко, вместе с Жинкиным, был расстрелян в 1918 г. при генерале В.Л. Покровском (ААМ).

Слова: [под предводительством Арнольда] — в ВР и маш. присутствуют.

II

Всю осень я провела в разъездах. Другие дела отвлекали меня от жизни Анапы, и только на Рождество, отрезанная от центров России, я вынуждена была осесть и заняться анапской жизнью. — 19 января 1918 г. в газете «Кубанский край» была опубликована заметка «От Петрограда до Екатеринодара», подписанная Е.К., где «по словам приезжей, выехавшей из Петрограда... вечером 7 января», сообщались «подробные и точные

сведения как о жизни в нашей столице, так и о долгом железнодорожном пути, со всеми, связанными с ним перипетиями, вплоть до пределов Кубанского края».

«Приезжей», на наш взгляд, могла быть Е.Ю. Кузьмина-Караваева, что вполне совпадает с фактами, изложенными в очерке. Она же, согласно своей партийной роли (осуществление связи между югом и центром), вероятно, была и автором заметки, в которой рассказала об увиденном от третьего лица.

Самым талантливым оратором был солдат Иван Кособрюх. — Солдата Ивана Кособрюха Е.Ю. Скобцова упоминает также в повести «Равнина русская» (см. гл. VIII), где приводится та же фраза о разгоне Думы, выбранной «беспощадными старцами».

Протапов Павел Иванович — секретарь большевистской фракции Новороссийского Совета, революционер-профессионал с опытом работы в Москве, Петрограде, Ростове, Екатеринодаре. Возглавил в Анапе Революционный комитет и Совет народных комиссаров. Стал прототипом «умного большевика» — товарища Юра в «Равнине русской» (см. примеч. на с. 605).

Текст: (Арнольд к тому времени исчез ~ но об этом потом.) — *в ВР и маш. отсутствует.*

Домонтович Николай Иванович — присяжный поверенный в городской Думе в период главинства Морева, впоследствии — начальник милиции.

Егоров Алексей Иванович — губернский секретарь.

После избрания, — в конце февраля, приблизительно... — Е.Ю. Кузьмина-Караваева была избрана товарищем городского головы Анапы 4 (17) февраля 1918 г. После ухода в отставку Н.И. Морева стала исполнять обязанности городского головы (см.: УЮ. 1919. 3 (16) марта. № 50 (78)).

Текст: Во-первых, я установила для себя ~ о творческой работе не приходится. — *в ВР и маш. отсутствует.*

Вместо: уже большевицкий Совет. — *печатаем:* уже большевицкий Совет с председателем Протаповым (*в соответствии с ВР и маш.*).

III

...Дума рассматривала проект раздачи огромного количества городской земли на окраинах по дешевой цене для участков... — В Новороссийском государственном архиве хранится документ: письмо за № 36 анапского Совета в городскую Управу, подписанное П.И. Протаповым. В письме идет речь о необходимости рассмотреть проект раздачи участков. Письмо зарегистрировано в Управе входящим номером от 5 марта 1918 г. Копия хранится в ААМ.

Вместо: напрямик, и кроме того и разозленная, я пошла — *печатаем:* напрямик, и кроме того, сильно разозленная, я пошла (*в соответствии с ВР и маш.*).

...а с другой стороны, даже в случае каких-либо осложнений наши большевицкие романтические верхи на многое могли посмотреть сквозь пальцы благодаря моему же-

сту. / А с другой стороны, мой жест произвел на большевиков определенное впечатление. (ВР, маш.)

Вместо: назвали себя делегатами украинского флота — *печатаем:* назвали себя делегатами черноморского украинского флота (в соответствии с ВР и маш.).

Вместо: в ведение города аптеку — *печатаем:* в ведение города и аптеку (в соответствии с ВР и маш.).

Текст: Вот еще один характеризующий работу случай ~ «нефть-то мы даром получили». — *печатаем после слов:* подсказали бы мне опять то же решение — *а не после слов:* Я решила бросить свою неблагодарную работу (в соответствии с пометками на полях рук. и в соответствии с ВР и маш.).

Вместо: этот человек обратился в комитет — *печатаем:* этот человек обратился за защитой в комитет (в соответствии с ВР и маш.).

Когда, благодаря аресту Арнольда, о котором я уже упоминала, и благодаря славе московского юнкера положение Домонтовича / Когда с приходом большевиков положение Дашкевича (ВР); Когда с приходом большевиков положение Д. (Маш.)

Вместо: Он с принципиальной точки зрения требовал своего назначения. — *печатаем:* Он с принципиальной точки зрения подходил к вопросу о своем назначении (в соответствии с ВР и маш.).

Вместо: Геройства в нем мы раньше не замечали — *печатаем:* Жажды геройства мы в нем раньше не замечали (в соответствии с ВР и маш.).

Вместо: но он непонятно настаивал на своем — *печатаем:* Но он с непонятым упорством настаивал на своем (в соответствии с ВР и маш.).

Вместо: учитель Пирусский (? П.И. Русский?) и учитель Рудский — *печатаем:* учитель Рудский (в соответствии с архивными источниками ААМ).

Рудский И.С. — анапский учитель. По воспоминаниям К.Г. Остапенко, во время обыска моряки нашли у Рудского нечто вроде памфлета, листовку, в которой Совет был назван «Советом собачьих, кошачьих, ежачьих и прочих зверячьих депутатов» (ААМ).

Вечером состоялось заседание Совета. Я присутствовала на нем в качестве публики. Выяснилось, что на рассвете матросы уезжают. Ночь, значит, имела решающее значение. Помню, что беседу в одиночку с матросами я вести не решилась: пригласила к себе в компаньоны Соловьева, человека верного и честного. Он должен был быть живым свидетелем всего происходящего. Заседание кончилось около 12 ч. Надо было приступать к моей дипломатической задаче. Матросы, Соловьев и я вышли из городского училища, где шло заседание. Отправились на высокий берег, к кладбищу. / Вечером, после заседания Совета, я попросила товарища Воронова помочь мне, так как не хотела оставаться одна с матросами, и мы повели с ними беседу. (ВР); Вечером, после заседания Совета, я попросила товарища С. помочь мне, так как не хотела оставаться одна с матросами, и мы повели с ними беседу. (Маш.)

Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918) — генерал от инфантерии, с августа 1917 г. Верховный главнокомандующий Добровольческой армией; погиб во время артиллерийского обстрела при осаде Екатеринодара 31 марта (13 апреля) 1918 г.

Вместо: Кончилось все же тем — печатаем: Работала не голова, а перенапряженные нервы. Кончилось все же тем (в соответствии с ВР и маш.).

Я вернулась домой совершенно разбитая. — С.Б. Пиленко пишет об этом эпизоде: «Для меня это была самая мучительная ночь в моей жизни, и я не могу понять, как я ее пережила. Всю ночь стояла на коленях и молилась. Не спала и Фрося, кормилица Лизинной дочки Гаяны. Она беспрестанно подбегала ко мне и плача просила: “Барыня, милая, да пожалейте себя”. Так мы с ней всю ночь и провели. Но Господь услышал наши молитвы, и рано утром вернулась Лиза, страшно уставшая, но сияющая, что могла уговорить матросов» (Воспоминания С.Б. Пиленко (рук.) // Арх. С.В.М.).

Ковалев Николай Иванович — акцизный чиновник, губернский секретарь.

Фраза: Рассказывали мне потом, как жена ~ на днях будет освобожден. — в ВР и маш. отсутствует.

Фраза: Жены долго не верили в их смерть. — в ВР и маш. отсутствует.

Все эти отдельные эпизоды ~ окончательно определяли нашу работу. / Кроме того, внешние события окончательно определяли наше положение. (ВР, маш.)

IV

...и стали говорить о борьбе с Кубанским краевым правительством. — См. об этом воспоминания Д.Е. Скобцова, члена Кубанского краевого правительства, ставшего впоследствии мужем Е.Ю. Кузьминой-Караваевой: статья «Драма Кубани» (ГМ. 1926 № 1. С. 223–262), воспоминания «Три года революции и гражданской войны на Кубани» (Париж, 1962).

Текст: На устах у всех большевиков ~ между всеми деятелями казачьей власти. — в ВР и маш. отсутствует.

На устах у всех большевиков были имена атамана Филимонова, генерала Покровского, Бардижа, Быча и Рябовола. — Речь идет об активных представителях органов самоуправления, сложившихся на Кубани после провозглашения ее в январе 1918 г. самостоятельной республикой, входящей в состав России на федеративных началах. У истоков их создания стоял К.Л. Бардиж (1868–1918), назначенный из Петрограда комиссаром Временного правительства. 4 июля 1917 г., когда Кубанская краевая войсковая Рада объявила Кубанский областной Совет распущенным, он передал всю полноту власти войсковому правительству. После этого 1 ноября 1917 г. было заявлено о непризнании власти Совнаркома и сформированы Законодательная Рада, председателем которой стал Н.С. Рябовол (1883–1919), и краевое правительство, председателем которого вместо избранного атамана Кубанского войска А.П. Филимонова (1866–1948) стал Л.Л. Быч (1870–1945). При этом К.Л. Бардиж, Н.С. Рябовол, Л.Л. Быч принадлежали к той части деятелей Рады, которые были сторонниками автономии Кубани и федеративного устройства России, в то время как атаман А.П. Филимонов ориентировался на единство с Россией. Генерал

В.Л. Покровский (1889–1922) возглавил вооруженные силы Кубанской Рады, впоследствии объединившиеся с Добровольческой армией генерала Л.Г. Корнилова.

Даже дошедшие до нас сведения о соединении кубанцев с Корниловым не меняли картину. У них было, по большевизским данным, три тысячи бойцов при трех полевых орудиях... — С.В. Денисов в книге «Белая Россия» приводит следующие данные о количестве людей и орудий у белых: в Добровольческой армии в начале похода — 4500 чел. при 8 орудиях, в Кубанском отряде — 2100 чел. при 6 орудиях, после их соединения, с учетом потерь, — 5500–6000 чел. при 14 орудиях (см.: Альбом № 1. Нью-Йорк: Главное правление Зарубежного союза русских военных инвалидов, 1937. С. 110–111).

Слова: что войска идут под зелеными знаменами пророка ~ зверствам белых нет предела и т.д. — в ВР и маш. отсутствуют.

Великий князь Михаил Александрович (1878–1918) — младший брат императора Николая II, до рождения цесаревича Алексея считался законным наследником престола. В Первую мировую войну командовал Кавказской Туземной («Дикой») конной дивизией, кавалерийским корпусом. После отречения Николая II от престола в его пользу, 3 марта 1917 г. отказался от власти, оставив вопрос о ней на усмотрение Учредительного собрания. После Октябрьской революции находился в Гатчине под домашним арестом. В июне 1918 г. был расстрелян большевиками в окрестностях Перми.

Текст: Небольшой кадр местных буржуев ~ мешал живот. — в ВР и маш. отсутствует.

Фраза: Я много беседовала с ранеными. — в ВР и маш. отсутствует.

Текст: Рассказывали много про каких-то сестер Орловых ~ «как капусту» порубили. — в ВР и маш. отсутствует.

У меня в Управе был брат, офицер... — О Дмитрие Юрьевиче Пиленко см. примеч. на с. 568.

Текст: А зарегистрированных объявили особым офицерским отрядом. ~ тело Корнилова, не поддаются описанию. — в ВР и маш. отсутствуют.

Ерж Николай Тимофеевич — офицер царской армии, принудительно назначенный начальником красногвардейского отряда (ААМ).

Приехавшие из Екатеринодара говорили о той оргии, которая там была, когда тело Корнилова было туда доставлено. Надругательства над мертвым, мишурная и шутовская церемония, шествовавшая по городу и <несшая> тело Корнилова, не поддаются описанию. — Вот как описывает эти события Виктор Севский (В.А. Краснушкин) в книге «Генерал Корнилов»: «Двор был переполнен красноармейцами; ругали генерала Корнилова. Отдельные увещания из толпы не тревожить умершего человека, ставшего уже безвредным, не помогли, настроение большевистской толпы повышалось. Через некоторое время красноармейцы вывезли на своих руках повозку на улицу. С повозки тело было сброшено на панель. ...Появились фотографии; с покойника были сделаны снимки, после чего тут же проявленные карточки стали бойко ходить по рукам. С трупа была сорвана последняя рубашка, которая раздиралась на части и обрывки разбрасывались кругом.

Несколько человек оказались на дереве и стали поднимать труп. Но веревка оборвалась и тело упало на мостовую. Толпа все прибывала, волновалась и шумела.

После речи с балкона стали кричать, что труп надо разорвать на клочки. Наконец отдан был приказ увезти труп за город и сжечь его. Труп был уже неузнаваем: он представлял из себя бесформенную массу, обезображенную ударами шашек, бросанием на землю и пр. Тело было привезено на городские бойни, где, обложив соломой, стали жечь в присутствии высших представителей большевистской власти, прибывших на это зрелище в автомобилях. В один день не удалось докончить этой работы: на следующий день продолжали жечь жалкие останки: жгли и растапывали ногами, а потом опять жгли» (Ростов-на-Дону: Изд. Корниловского ударного полка, 1919. С. 92).

Худанин Александр Евдокимович — член Российской социал-демократической рабочей партии (фракция большевиков), зимой 1917 г. — кандидат в Учредительное собрание (см.: Кубанский край. 1917. 29 дек.).

Фраза: Я открыла своим ключом ~ отбирать некоторые бумаги. — в ВР и маш. отсутствует.

Фраза: Я успела только позвонить по телефону домой. — в ВР и маш. отсутствует.

Вместо: я вскочила в машину и на глазах всех — *печатаем:* я вскочила на подножку и на глазах у всех (в соответствии с ВР и маш.).

Текст: Мои партийные товарищи были очень ~ их было трудно возбудить. — в ВР и маш. отсутствует.

Вместо: Конференция кончилась моим избранием на VIIИй Совет партии. Я решила заехать домой — *печатаем:* На конференции я была избрана делегатом на 8-ой Совет партии. Но до поездки в Москву я решила еще заехать домой (в соответствии с ВР и маш.).

На конференции я была избрана делегатом на 8-ой Совет партии. — Сохранился документ, подтверждающий участие Е.Ю. Кузьминой-Караваевой в работе VIII Совета партии эсеров с 7 по 16 мая 1918 г. в Москве «с правом совещательного голоса от Черноморской губернской организации» (ГАРФ. Ф. 9591. Оп. 1. № 26. Л. 4). Документ хранится в РЦХИДНИ (Ф. 247. Оп. 1. № 5).

На Совете было принято решение о вооруженном сопротивлении большевистской власти и активизации работы в районах Поволжья. Факты, приведенные Е.Ю. Кузьминой-Караваевой и ее свидетелями во время судебного процесса (см. Приложение 2), ее активная общественная позиция и ответственность перед партийными постановлениями позволяют с большой долей вероятности говорить о том, что она могла быть одним из инициаторов и деятельным исполнителем данных решений.

Слова: не в самую Анапу, а на виноградники, ~ некоторых дел дома. — в ВР и маш. отсутствуют.

V

...местный начальник гарнизона Волкорез... — Большевик Волкорез заменил Протапова на посту председателя Революционного комитета после его гибели.

В галерее типов большевицких деятелей, с которыми мне приходилось встречаться, Волкорез занимает совершенно особое место. Казак станицы Варенниковской, человек малограмотный и некультурный, он принял большевизм как некое откровение. ~ распознать истинную сущность Волкореза было не трудно за трехчасовое путешествие до Анапы. / Это между прочим одна из любопытнейших фигур большевизма в провинции. Человек малограмотный, но с железной волей и энергией, он принял большевизм, как некое откровение. После двухчасового совместного путешествия я уже имела возможность точно знать, что он принадлежит к тем искренним, судьба которых, — сначала разочароваться, а потом погибнуть. (ВР, маш.)

Текст: У меня вообще очень сильно стремление к наблюдению и к коллекционированию человеческих типов. ~ Волкорез был ценным экземпляром. Кроме того, — в ВР и маш. отсутствует.

подход Волкореза к большевизму, несмотря на то, что по существу он был мне враждебен, — возбуждал жалость к нему. Чувствовалось, что он принадлежит к тем искренним, судьба которых сначала разочароваться, а потом погибнуть. / И несмотря на всю мою враждебность не только к большевизму, но и к большевикам, при встрече с такими людьми я чувствовала только жалость. (ВР, маш.)

Текст: Дорогой мы разговаривали очень много о Протапове. ~ Обреченность в нем чувствовалась сама по себе, а он еще любил ею рисоваться и позировал всегда на жертву. — в ВР и маш. отсутствует.

Вместо: Решила ночевать в санатории у моей приятельницы — печатаем: и я решила переночевать в санатории у моей приятельницы (в соответствии с ВР и маш.).

Текст: Она мне с ужасом сообщила, что днем Протапов ~ но она продолжала оставаться в ужасе. — в ВР и маш. отсутствует.

Вместо: Часов в 12 ночи раздался взрыв какой-то в городе — печатаем: Часов в одиннадцать ночи в городе раздался взрыв (в соответствии с ВР и маш.).

Протапов ранен, а с ним и два брата Разумихины, младший, — гимназист Сережа. — Разумихин Петр Иванович, педагог, с начала 1918 г. — секретарь Революционного комитета, друг и соратник Протапова.

Разумихин Сергей Иванович, младший брат, остался в живых и рассказал подробности покушения (ААМ; см. также: Лемякина З.Н. Анапа. 1917–1920. По материалам документов и воспоминаний // Очерки по истории Анапы. Анапа: Анапский археологический музей, 2000. С. 223, 225).

Покушение произошло 15 апреля 1918 г. в 22 часа. Эти события подробно освещались в газете «Известия Анапского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» (1918. 20 апр. № 11), редактором которой был до гибели сам Протапов.

Текст: Лежат они в случайной квартире, у зубного врача Вернера. Целой толпой отправились люди из санатории. — в ВР и маш. отсутствует.

Вместо: а потом долго шли, пятясь — печатаем: а потом еще долго шли, пятясь (в соответствии с ВР и маш.).

Старший Разумихин, у которого пуля застряла в животе, умер на рассвете. Младший же был ранен не так сильно, и была надежда на его спасение. / Один гимназист умер на рассвете. Другого надеялись спасти. (ВР маш.)

Степанов Иван Иванович (1890–?), проживал в Анапе еще в 1950-е гг. (ААМ).

Вместо: арестовал троих, причастных к грабежам, а так как Конверский и компания боялись, что они все раскроют, то и решили убраться Протапова — *печатаем:* арестовал троих солдат, причастных к грабежам, имевшим место за последнее время. А так как центром грабительской организации был военно-революционный комитет, и члены его испугались, как бы и до них очередь не дошла, то они и решили убить Протапова (*в соответствии с ВР и маш.*).

Вместо: поддерживаемые революционным комитетом — *печатаем:* поддерживаемые военно-революционным комитетом (*в соответствии с ВР и маш.*).

...приговорил арестованных Протаповым грабителей к расстрелу. Тела их валялись долго на площади перед Управой. — Имеются в виду братья Лучины — Тихон, Дмитрий и Яков Лукьяновичи, уличенные в разбоях. Как отмечает З.Н. Лемякина, «о том, что убили Протапова и Разумихина не те, чьи тела в телеге были, как бы для устрашения, оставлены на площади <...> конфиденциально говорили некоторые из анапчан, помнившие это событие в 1960 г.» (ААМ; см. также: *Лемякина З.Н.* Указ. соч. С. 223). Об их смерти сохранилась также запись за февраль 1918 г. в приходской метрической книге Онуфриевского храма: «Казнены постановлением народного суда». Погребены 21 апреля 1918 г.

Текст: Хоронили Протапова ~ обвиняя их иносказательно. — *в ВР и маш. отсутствует.*

Фраза: Я решила немедленно уезжать, потому что дальше выносить этой обстановки не было сил. — *в ВР и маш. отсутствует.*

VI

Текст: Дам только несколько отдельных настроений ~ В конце концов в середине октября я была опять дома. — *в ВР и маш. отсутствует.*

...и к Самаре подъехала к моменту ее сдачи красным. — Самара была занята красными в начале октября 1918 г.

...в середине октября я была опять дома. — В своих воспоминаниях С.Б. Пиленко приводит интересные детали возвращения дочери домой: Е.Ю. Кузьмина-Караваева сопровождала Евгению Моисеевну Ратнер (1886–1931), члена ЦК партии эсеров: «Когда Лиза уехала в Москву, она вернулась оттуда не одна, а с Ж.Р. и ее крошечным сыном. Им было дано какое-то важное поручение. Лиза была нарядно одета, а Женя просто, с платочком на голове. Она изображала кормилицу и кормила своего собственного сына Шуру. Ездили они долго и где только ни побывали. Приходилось и на подводах ездить, и много интересного и поучительного видеть, но много было опасного и страшного. Карманы были набиты фальшивыми паспортами, и на одной из пересадок в другой поезд они чуть не погибли.

К ним в вагон вошел комендант поезда, матрос Сахаров, человек огромного роста, с татуировкой якоря на груди. Он объявил пассажирам: “Мне некогда с вами разговари-

вать, подходит Петлюра, будем по десяти человек расстреливать! Собирайтесь!” И стали выводить из вагонов по десять человек. Дошла очередь и до наших путешественниц. “Собирайтесь!” — крикнул Сахаров, и, к удивлению Жени, Лиза с полным хладнокровием поднялась и сказала Сахарову: “Сначала пошлите телеграмму, а то потом вы можете поплатиться”. “Какую телеграмму, что за вздор?” — сказал Сахаров. “Мне надо, чтобы Ульянова знала, что со мной стало и на какой станции”. “Какая такая Ульянова?” “Как, вы не знаете, что это жена Владимира Ильича? Какой же вы большевик?” “Ну, пишите”, — сказал Сахаров. Лиза написала: Москва, название переуллка, № дома и вымышленную фамилию: “Скажите Ульяновой, что меня сейчас расстреляют”. Он прочел и сказал: “Вы свободны”.

“У Вас не дочь, а каменная баба”, — говорила Женя, которая рассказала мне об этом. “С каким хладнокровием она все это проделала, но когда мы пересели на другой поезд, даже она не выдержала, — то плакала, то смеялась”.

Женя прогостила у нас некоторое время и вернулась в Россию, где ее ожидали огромное испытание и страдание» (Арх. С.В.М.).

По процессу 1922 г. над партией социалистов-революционеров Е.М. Ратнер была приговорена к смертной казни, однако приговор заменили тюремным заключением сроком на 5 лет; из тюрьмы вышла с тяжелым онкологическим заболеванием; затем вместе с матерью и тремя детьми была выслана в Самарканд; умерла от рака.

И опять любопытное несоответствие настроений. Я приехала, чувствуя себя, в-первых, и главным образом активным борцом против коммунистов, т.е. до известной степени контрреволюционером. Но все то, что определяло мою антибольшевицкую работу в советской России, по эту сторону фронта оказалось почти большевизмом, во всяком случае чем-то достаточно с точки зрения добровольчества преступным и подозрительным. / Для того лишь, чтобы было понятно дальнейшее, я должна сказать, что, возвращаясь из Москвы домой в октябре 1918 г., я думала, что ни у кого не может быть сомнения в активной антибольшевицкой работе той организации, членом которой я состояла. Я ни минуты не предполагала, что за добровольческим фронтом мне грозит какая-нибудь опасность и, устав за полгода шатания по всей России, полгода риска и конспирации, сильно подумывала об отдыхе в своей тихой А. Но все то, что определяло мою антибольшевицкую работу в советской России, по эту сторону фронта оказалось почти большевизмом, и во всяком случае с точки зрения добровольцев, чем-то преступным и подозрительным. (ВР); Для того лишь, чтобы было понятно дальнейшее, я должна сказать, что, возвращаясь из Москвы домой в октябре 1918 г., мне казалось, что ни у кого не может быть сомнения в активной антибольшевицкой работе той организации, членом которой я состояла. Я ни минуты не предполагала, что за добровольческим фронтом мне грозит какая-нибудь опасность и, устав за полгода шатания по всей России, полгода риска и конспирации, сильно подумывала об отдыхе в своей тихой А. Но все то, что определяло мою антибольшевицкую работу в советской России, по эту сторону фронта оказалось почти большевизмом, и во всяком случае с точки зрения добровольцев, чем-то преступным и подозрительным. (Маш.)

VII

Текст: Я совершенно не представляла себе обстановки. ~ Начинала обрисовывать картину событий за мое отсутствие. — в ВР и маш. отсутствует.

Фраза: Выборные от граждан еле убедили снять ее. — в ВР и маш. отсутствует.

Текст: Некоторые казни поражали своей нелепостью. Казнено было 14 человек. — *в ВР и маш. отсутствует.*

Казнили Инджебели. <...> Казнен был Мережко... — Инджебели и Мережко были расстреляны 6 сентября 1918 г. без следствия экстренным судом по приказу командующего войсками Таманского фронта (ААМ).

Борисевич Иван Терентьевич (1895–1946) — генерал. Окончил Рижское реальное училище (1895), Алексеевское военное училище (1897), Николаевскую академию Генерального штаба (1903). В Первую мировую войну командовал 2-м Сибирским казачьим полком; в 1917 г. генерал-майор, начальник штаба 7-й Кавказской стрелковой дивизии; георгиевский кавалер. Летом 1918 г. командирован на Тамань, с 26 июня 1918 г. в Донской армии; затем штаб-офицер для поручений при помощнике походного атамана Кубанского казачьего войска, с 29 июля 1919 г. в распоряжении начальника штаба Кавказской армии, затем в резерве чинов при штабе Кавказской армии, с 12 сентября по октябрь 1919 г. — командир 2-й бригады Астраханской казачьей дивизии. Эвакуирован до осени 1920 г. из Севастополя на корабле «Лазарев». 6 мая 1920 г. возвратился в Русскую армию в Крым (Севастополь) на корабле «Шилка». С февраля 1921 г. начальник Константиновского военного училища. В эмиграции в Югославии; в 1923–1924 гг. член Общества офицеров Генерального штаба, затем во Франции, с 1925 г. председатель отделения Союза галлиполийцев в Ле Крезе (согласно базе данных, созданной в процессе работы над словарем участников Белого движения и эмиграции под руководством историка С.В. Волкова).

Фраза: Я знаю, что был он человеком непорядочным ~ за непорядочность и казнили. — *в ВР и маш. отсутствует.*

Я уже говорила, что Ерж не был большевиком и помогал офицерам. Во время отступления он дошел с большевиками до Тоннельной, а там вместе с Воронковым решил бежать к добровольцам. / Ерж не был большевиком и во время отступления решил перейти к добровольцам. (*ВР маш.*)

Фраза: Доводам их о том, что они добровольно решили перекинуться, никто не поверил. — *в ВР и маш. отсутствует.*

Фраза: Говорят, что Ерж умирал с исключительным мужеством. — *в ВР и маш. отсутствует.*

...подвал общества «Латипак». — Частное акционерное общество, занимавшееся скучкой вина и его перепродажей в других регионах России. Впоследствии преобразовано в «Капитал».

Вместо: лежащего на подводе, сумасшедшего, и громко поющего песни — *печатаям:* лежащего плащия на подводе, сумасшедшего и громко орущего песни (*в соответствии с ВР и маш.*).

Казнили еще матроса, — фамилию забыла, — он перед смертью говорил офицерам, что / Казнили матроса Редько. Он перед смертью говорил, что (*ВР маш.*)

Фраза: Волкорез, Конверский и многие другие успели скрыться. — *в ВР и маш. отсутствует.*

Вместо: записалась в адресном столе — *печатаем:* прописалась в адресном столе (в соответствии с ВР и маш.).

Ткачев Егор Семенович — комендант Анапы, член городской Думы (1918). Во время суда выступил свидетелем в защиту Е.Ю. Кузьминой-Караваевой, сообщив, что арест был произведен по доносу В.А. Будзинского. Впоследствии, по предписанию от 23 марта 1919 г., вновь назначен на должность коменданта (ГАКК. Ф. Р-7. Оп. 1. № 359).

Фраза: Глазок в мою камеру все время был в тени: местные офицеры, устроившиеся при контрразведке, наблюдали для любопытства. — в ВР и маш. отсутствует.

Во время умывания, — мылись во дворе, набирая из бутылки воду в рот, а потом выливая ее на руки, чтобы мыть лицо, — познакомилась / Во время умывания, — мылись во дворе, — познакомилась (ВР, маш.)

Священник Сокольский... — Отец Николай Сокольский, комиссар по бракоразводным делам.

Вместо: спалил собственный хутор — *печатаем:* спалил свой собственный хутор (в соответствии с ВР и маш.).

Текст: Потянулись медленные дни. ~ как нас будут расстреливать. — в ВР и маш. отсутствует.

...тетку, которая в это время вообще очень энергично защищала перед всяческими властями осужденных и подсудимых. — Вероятно, имеется в виду Елизавета Дмитриевна Цейдлер, сестра отца Е.Ю. Кузьминой-Караваевой, вдова архитектора В.П. Цейдлера, по проекту которого в Анапе был построен храм. Е.Д. Цейдлер владела имением с виноградниками по соседству с домом Е.Ю. Кузьминой-Караваевой, позднее работала на Анапской зональной опытной станции виноградарства и виноделия.

Текст: Однажды во время прогулки один из убийц Протапова ~ К счастью, он не приехал. — в ВР и маш. отсутствует.

Однажды я узнала, что арестован один из трех братьев ~ Его скоро выпустили. / Однажды во время свидания мы услышали дикие крики из соседней камеры: пороли одного только что арестованного. Когда я узнала, кто он, то решила, что вообще его часы сочтены, так как для нас не было тайной, что он один из главных организаторов грабежей и убийца Протапова. Но оказалось, что порят его только за то, что он в пьяном виде на базаре обнял начальника контрразведки князя Трубецкого. Потом его скоро выпустили. (ВР) / Однажды во время свидания мы услышали дикие крики из соседней камеры: пороли одного только что арестованного. Когда я узнала, кто он, то решила, что вообще его часы сочтены, так как для нас не было тайной, что он один из главных организаторов грабежей и убийца П. Но оказалось, что порят его только за то, что он в пьяном виде на базаре обнял начальника контрразведки князя Трубецкого. Потом его скоро выпустили. (Маш.)

Текст: И Ревученку выпустили. ~ скрылся, получив свободу. — в ВР и маш. отсутствует.

Мое дело было в ведении двух учреждений: военной контрразведки и следственной комиссии. — Среди материалов фонда Контрразведывательной части Особого отдела Генерального штаба Военного управления при Главнокомандующем ВСЮР (ГАРФ. Ф. Р-6396) материалов о Е.Ю. Кузьминой-Караваевой не обнаружено.

«Особая комиссия по расследованию злодеяний большевиков» (ГАРФ. Ф. 447. Оп. 1, 2) была учреждена приказом генерала А.И. Деникина 11 декабря 1918 г. Объявление, опубликованное в местной периодике («Вольная Кубань», «Великая Россия», «Утро Юга»), призывало: «Лица, располагающие соответствующим материалом, усердно приглашаются сообщить комиссии интересующие ее данные, а также прислать сов. лит-ру и газеты для выборки нужных сведений», — этим не преминул воспользоваться В.А. Будзинский, приложив к доносу на Е.Ю. Кузьмину-Караваеву 6-й номер «Известий Анапского Совета рабочих депутатов» от 29 марта 1918 г. с сообщением о комиссарской деятельности Елизаветы Юрьевны (см. Приложение 2).

Начальник контрразведки Трубецкой ~ квитанцией от прошлогодней телеграммы. / Начальник контрразведки с глазу на глаз в моей камере советовал мне уговорить мою мать продать ему по дешевой цене вино. (*ВР маш.*)

Начальник контрразведки Трубецкой с глазу на глаз в моей камере давал мне совет уговорить мою мать отпустить ему по дешевой цене вино... — С.Б. Пиленко пишет в своих воспоминаниях: «Одним из контрразведчиков был кн. Трубецкой, но я думаю, что он не был настоящим Трубецким. Я его как-то раз спросила, не родственник ли он Сергею или Евгению Трубецким, имена которых были тогда известны всей образованной России. Он сказал, что таких не знает... Когда Лизу арестовали, Трубецкой приехал ко мне и сказал, что если я ему отдам годовой урожай вина, то он освободит Лизу. Я ему отказала, потому что знала, что урожай он возьмет, но Лизу не выпустит. Был еще контрразведчик, молодой полковник Крым-Шамхалов. Этот был элегантный. Он часто допрашивал Лизу и угрожал ей. Когда Лизу выпустили на поруки, надо было все время быть настороже» (Арх. С.В.М.).

Председатель следственной комиссии, старый следователь по особо важным делам или что-то в этом роде Назаров, был более умелым взяточником. — О следователе Иване Федоровиче Назарове так вспоминает С.Б. Пиленко: «...следователь по важнейшим делам особенно отличался взятками. Что ему только ни давали под угрозой арестов... Следователь был знаменит на всю Анапу и многих обобрал. Кончил он плохо. <...> В результате громкого скандала назначили следствие над следователем <...> говорят, он все жег какие-то бумаги, а потом повесился. Назначен был уже другой следователь, не военно-полевого суда. Вот тогда-то Лизу и отпустили на поруки» (Арх. С.В.М.).

Вместо: Тогда он сказал, что никогда ничего подобного не говорил — *печатаем:* Он заявил тогда, что ничего подобного он брату не предлагал (*в соответствии с ВР и маш.*).

Текст: Сулькевич, б<ывший> комиссар лесоохранения ~ ждали выездную сессию военно-полевого суда. — *в ВР и маш. отсутствует.*

Сулькевич Лев Сулейманович — капитан царской армии, член городской Думы и гражданского комитета, народный социалист, трудовик.

Одна наша родственница, очень близкий Будзинскому человек... — Родственница, о которой идет речь, по всей вероятности, — Людмила Васильевна Пиленко (урожд. Фур-

сенко), жена двоюродного дяди Е.Ю. Кузьминой-Караваевой, Владимира Илларионовича Пиленко.

Вознесенский А.Н. — юрисконсульт акционерного общества «Анапа и Семигорье», основателем и председателем правления которого был доктор Будзинский. Упоминается в репортаже (УЮ. 1919. 5 (18) марта. № 51 (79); см. также Приложение 2) в показаниях свидетеля Варвинского, директора Анапского городского общественного банка, социал-демократа, в связи с продажей санаториев, как «имеющий целью воздействовать на свидетеля в смысле указания благоприятного для продавцов баланса». В дальнейшем в «Утре Юга» было опубликовано «Письмо в редакцию» Н. Варвинского с апологией Вознесенского (УЮ. 1919. 23 марта (5 апр.). № 67 (95)).

Вместо: дочь — 11 лет — рыдала — *печатаем:* одиннадцатилетняя дочь рыдала (в соответствии с ВР и маш.).

Морев Владимир Никифорович — помощник присяжного поверенного Екатеринодарского окружного суда (ГАКК. Ф. Р-13. Оп. 1. № 290. Л. 54).

Вернувшись домой, я узнала от матери, что в мое отсутствие приходил Милорадов. ~ Кроме того дома лежала записка к моему брату от нашего семейного друга священника Преображенского. / Вернувшись домой, я распечатала записку, полученную моим братом от нашего большого друга (ВР, маш.)

...от нашего семейного друга священника Преображенского. — Отец Николай, Николай Львович Преображенский. См. о нем: Пиленко С.Б. Мои воспоминания о матери Марии // Елизавета Кузьмина-Караваева и Александр Блок / сост. Л.И. Бучина, А.Н. Шустов. СПб.: РНБ, 2000. С. 173–174.

Текст: Слушалось дело комиссара почт и телеграфа. ~ Но в тот момент суд только начался. — в ВР и маш. отсутствует.

Я вас умоляю этой же ночью скрыться. Если вам в голову не приходит, как это сделать, то у меня есть верные люди, которые вас передержат. Не будьте ребячливы, не бравуруйте. / Вы должны этой же ночью скрыться. Я вам помогу. Не будьте ребенком. (ВР, маш.)

Вместо: 3 ордера об арестах — *печатаем:* три ордера на арест (в соответствии с ВР и Маш.).

Текст: О<тец> Николай добавил от себя ~ чтобы я решила не бежать. — в ВР и маш. отсутствует.

Текст: Каково было бы положение моих друзей, ~ из одного офицера и двух казаков. — в ВР и маш. отсутствует.

Текст: Морев ходатайствовал о смягчении участи Сулькевича. ~ которая была совершенно подавлена всеми событиями. — в ВР и маш. отсутствует.

Ге Ксения Михайловна (1892–1919) — известная советская деятельница на Северном Кавказе, следователь кисловодской ЧК; после занятия Добровольческой армией Кисловодска была повешена белыми — за особую жестокость. Вот как описывает ее

жизнь в Кисловодске А. Ветлугин: «Певица, музыкантша, художница, авантюристка с явно выраженными садическими наклонностями, — она сплотила вокруг себя, в своем “художественном салоне” весь цвет буржуазии и аристократии. <...> в ее серых переменчивых глазах не потухала угроза, слишком понятная тем из гостей, на чьих лицах останавливался ее взгляд: дом Тер-Погосова, где в реквизированном кабаре разместились Чека, где кровью сотен заложников были запачканы намалеванные на стенах Коломбины, дом Тер-Погосова был через дорогу, в двух минутах ходьбы. Одно неосторожное слово, одно возражение — и с “Лунной сонаты” человек попадал в “кабаре” Тер-Погосова!» (Ветлугин А. Авантюристы гражданской войны. Париж: Север, 1921. С. 62–63).

Он в первую очередь постарался передать мое дело из военно-полевого суда в окружной военный. / Он в первую очередь перенес мое дело в Екатеринодарский краевой суд. (ВР); Он в первую голову перенес мое дело в Екатеринодарский краевой суд. (Маш.)

Он в первую очередь постарался передать мое дело из военно-полевого суда в окружной военный. Там было больше законности и гарантий. — Этот факт, во многом решивший исход дела, подчеркивается и в воспоминаниях С.Б. Пиленко, согласно которым «адвокат Лизы достиг того, что дело было перенесено из военно-полевого суда в гражданский суд. Это было важно, потому что в военно-полевым суде часто судили пьяные судьи» (Арх. С.В.М.).

Кроме того, вскоре после ареста Е.Ю. Кузьминой-Караваевой деникинской контрразведкой вышел приказ Рады № 2 (от 14 декабря 1918 г.) об отмене Чрезвычайных судов и «передаче поступивших дел Краевому военному прокурору» (ГАКК. Ф. Р-6. Оп. 1. № 119).

Подбирали свидетелей защиты. Часто являлись ко мне незнакомые люди и предлагали свои услуги. <...> Один молодой человек случайно знал, будучи в Москве, чем я занималась там и т.д. — См. Приложение 2 (показания свидетеля Полякова — с. 506 наст. изд.).

Сохранилось несколько документов, отражающих период, предшествующий судебному процессу, среди них — переписка с начальником Екатеринодарской городской стражи «по поводу полученных неправильных сведений о Кузьминой-Караваевой». Документ от 14 февраля 1919 г. за № 722 сообщает: «...по сведениям начальника Екатеринодарской городской стражи Елизавета Кузьмина-Караваева, которая подлежала аресту, не проживает в Екатеринодаре, а в действительности, как оказалось, она проживает по Длинной ул. д. № 70» (ГАКК. Ф. Р-7. Оп. 1. № 209). По этому же адресу Е.Ю. Кузьмина-Караваева зарегистрирована в книге реестров Екатеринодарского окружного суда (ГАКК. Ф. 629. Оп. 1. № 33. Л. 202).

Далее, по сообщениям прессы, дело «г-жи Кузьминой-Караваевой по обвинению ее по п. А ст. 3 приказа Краевого правительства № 10, назначенное к слушанию 29 янв. в краевом окружном суде», было отложено «за неявкой некоторых свидетелей, показания которых судом признаны имеющими существенное значение. По делу вызывалось 25 свидетелей» (УЮ. 1919. 1 (14) февраля. № 26).

Когда до него доходили сведения о том, что я просила кого-нибудь быть свидетелем, он к этому человеку отправлялся, сначала пытался убедить его в моем большевизме, а в случае неудачи — недвусмысленно угрожал ему. / Он являлся к моим свидетелям, доказывал им, что я виновата, часто грозил. (ВР, маш.)

Текст: Вообще наряду с незнакомыми людьми ~ архидобровольцем и контрразведчиком. — в ВР и маш. отсутствует.

Текст: Я забыла еще упомянуть, что в приготовлениях к суду очень трогательную роль играл бывший сослуживец моего отца, ~ Главное их значение — моральная поддержка. — *перенесен из VIII главы в конец VII (в соответствии с авторскими пометками в рук. и текстом в ВР и маш.).*

и трогательно, и забавно, а мне дало достаточное представление о процессе, что мне очень пригодилось. ~ Главное их значение — моральная поддержка. / трогательно и забавно. (ВР); и трогательно и забавно. (Маш.)

VIII

Текст: Наконец был назначен день суда ~ Арест удалось отменить. — в ВР и маш. отсутствует.

...Каплин стал членом правительства и просил взять мое дело прис<яжного> поверенного Коробьина, члена Рады. Тот в свою очередь пригласил пр<исяжного> пов<еренного> Хинтибидзе. — Одним из защитников на суде выступил Юрий Александрович Коробьин, член Кубанского краевого правительства (ГАКК. Ф. Р-8. Оп. 2. № 26. С. 33–34), хороший знакомый и сослуживец Д.Е. Скобцова, также входившего в Кубанское краевое правительство и ставшего вскоре мужем Е.Ю. Кузьминой-Караваевой. Речи Коробьина всегда отличались большой культурой и смелостью исторических параллелей — что в полной мере было явлено на защите (см. Приложение 2, речь присяжного поверенного Ю.А. Коробьина — с. 507 наст. изд.).

Вторым защитником был присяжной поверенный П.И. Хинтибидзе, имя которого также часто мелькает на страницах кубанской периодики в судебных рубриках в связи с рассмотрением «громких дел».

Текст: Опять выехали со свидетелями на четырех экипажах. Опять размещала их по знакомым. — в ВР и маш. отсутствует.

Мне все же не верилось в это, хотя и судили меня по нелепому приказу № 10 Кубанского правительства, за подписью Быча и Кулабухова. По статье, по которой я обвинялась, наказание колебалось / Судилась я по приказу № 10; наказание по моей статье колебалось (ВР, маш.).

...хотя и судили меня по нелепому приказу № 10 Кубанского правительства, за подписью Быча и Кулабухова. По статье, по которой я обвинялась, наказание колебалось от смертной казни до трех рублей штрафа. — Е.Ю. Кузьмина-Караваева была судима «на основании ст. 1100 Военно-судебного устава п. “А” ст. 3 приказа Кубанского краевого правительства от 12 июля 1918 г. за № 10» (ГАКК. Ф. 629. Оп. 1. № 33. С. 201 об.). Кулабухов Алексей Иванович (1880–1919) — член Кубанской Рады, помощник председателя Краевого правительства Л.Л. Быча.

Но перейду к самому процессу. — Подробный отчет о судебном процессе над Е.Ю. Кузьминой-Караваевой опубликован в газете «Утро Юга» (1919. 3 (16) марта. № 50 (78); 5 (18) марта. № 51 (79); 6 (19) марта. № 52 (80)) под общим заглавием «Дело Е.Ю. Кузьминой-Караваевой». Приводится в Приложении 2 (с. 500).

Текст: Должна сказать, что он удивительно умело построен. ~ Начинаешь верить в удачный исход дела. — в ВР и маш. отсутствует.

Свидетелями обвинения у меня были: Будзинский, двое его служащих и Келлер, представитель общества «Латипак». Все они кроме Будзинского чувствовали себя неловко, были явно втянуты в дело и ничего особенного, что нужно было бы опровергать, не говорили. Зато Будзинский не стеснялся. / Главным свидетелем обвинения был доктор Барзинский. Не стоит вспоминать всего, что он говорил. (ВР); Главным свидетелем обвинения был доктор Б. Не стоит вспоминать всего, что он говорил. (Маш.)

...и Келлер, представитель общества «Латипак». — Согласно отчету в «Утре Юга», свидетель А.В. Келлер был акционером общества «Латипак» и делегатом на Всероссийском съезде виноделов (см. с. 504 наст. изд.).

Текст: К моему удивлению я узнала, что в порыве большевицкого экстаза отдала земельному комитету свое имение, которого, кстати сказать, у меня никогда не было. ~ иск в 800 тысяч рублей за убытки в реквизированной санатории. — в ВР и маш. отсутствует.

Текст: Мне пришлось коснуться всей истории нашей борьбы. ~ я подробнее оставилась на письме, которое он огласил. — в ВР и маш. отсутствует.

Вместо: с законом старого самоуправления — печатаем: с законом о старом самоуправлении (в соответствии с ВР и маш.).

Фраза: В публике раздалися аплодисменты. — в ВР и маш. отсутствует.

Текст: Свидетелями защиты были люди очень разнообразные. ~ плод доноительства Будзинского и подкупности следственной комиссии. — в ВР и маш. отсутствует.

Фраза: Мне даже пришлось один раз реабилитировать память убитого Протапова ~ вряд ли удалось что-либо сделать. — в ВР и маш. отсутствует.

Вместо: чем развивать их положения — печатаем: чем развивать их показания (в соответствии с ВР и маш.).

Прокурор произнес довольно вялую речь. Зато мои защитники разразились целыми декларациями, Коробьин противопоставлял две психологии, — мою и Будзинского. ~ я начала его потихоньку сзади дергать за фалды, — это было до беспредельности слишком сильно. / Прокурор произнес довольно сдержанную речь, а о речах защитников не буду много говорить, потому что один из них дошел до того, что начал проводить параллель между ролью Канта в Кенигсберге под Наполеоном и моей ролью в А. под большевиками. (ВР); Прокурор произнес довольно сдержанную речь, а о речах защиты не будем много говорить, потому что один из них дошел до того, что начал проводить параллель между ролью Канта в Кенигсберге под Наполеоном и моей ролью в А. под большевиками. (Маш.)

Прокурор произнес довольно вялую речь. Зато мои защитники разразились целыми декларациями... — См. репортаж «Утра Юга» в Приложении 2: выступление главного свидетеля Будзинского, речи военного прокурора Петрова и адвоката Коробьина, последнее слово подсудимой.

государственном строительстве. Я же исключена не была, а, напротив, в Москве принимала самое активное участие в партийной работе. / государственном строительстве. (ВР, маш.)

Текст: Когда суд ушел совещаться, меня окружили адвокаты. ~ или огорчения по поводу сурового приговора. — в *ВР* и *маш.* отсутствует.

Фраза: Потом я попала под амнистию. — в *рук.* отсутствует, вставлена в текст (в соответствии с *ВР* и *маш.*).

...попала под амнистию. — К записи о деле Е.Ю. Кузьминой-Караваевой в книге реестров Екатеринодарского окружного суда (ГАКК. Ф. 629. Оп. 1. № 33. Л. 202) приложена справка: «Настоящий приговор в силу постановления Законодательной Рады от 6 августа 1919 г. об амнистии исполнению не подлежит».

О моем процессе все екатеринодарские газеты печатали отчет три дня. ~ Моя антибольшевицкая работа приняла формы уже совершенно гипертрофические. / Делом моим заинтересовались не только Екатеринодарские газеты, но и в советской прессе оно имело отклик. В «Известиях» был отчет о моем процессе. Там моя антибольшевицкая работа приняла размеры, совершенно гипертрофические. (*ВР*, *маш.*)

О моем процессе все екатеринодарские газеты печатали отчет три дня. <...> В московских «Известиях» был подробный отчет о процессе. — Отклики в прессе, вызванные громким процессом, приводятся в Приложении 2 (среди них — репортаж екатеринодарской газеты «Утро Юга»; отчет, опубликованный в ростовской газете «Приазовский край»; письмо группы писателей в «Одесском листке» и заметка, появившаяся в московских «Известиях»). Пояснения см. в примеч. к Приложению 2.

Текст: Похищала у большевиков золотой фонд для Колчака ~ не только на расстрел, но и на минимальную справедливость. — в *ВР* и *маш.* отсутствует.

Вместо: Кроме того, вне масштаба большого города, или больше того, всей России, где различная партийная принадлежность влечет за собой безусловную вражду и полное непонимание друг друга, в масштабе нашей маленькой — печатаем: Кроме того, в масштабе государства или большого города различная партийная принадлежность влечет за собой безусловную вражду и полное непонимание друг друга по человечеству. В масштабе же нашей маленькой (в соответствии с *ВР* и *маш.*).

Кроме того, в масштабе государства или большого города различная партийная принадлежность влечет за собой безусловную вражду и полное непонимание друг друга по человечеству. В масштабе же нашей маленькой Анапы ничто не может окончательно заслонить человека. — Различиям в настроениях центра и юга России посвящена статья Е.Ю. Скобцовой «Украинная психология и люди центра» (1924), под псевдонимом Ю. Данилов (из архивных материалов газеты «Дни» — см.: ГАРФ. Ф. 5878. Оп. 1. № 471).

И стоя на почве защиты человека, стремясь только к этой цели, ~ оказался анапский комендант полковник Ткачев. / И стоя только на почве защиты человека, я могла рассчитывать найти нечто человеческое у своих врагов. (*ВР*); И стоя только на почве защиты человека, я могла рассчитывать найти нечто человеческое и у своих врагов. (*Маш.*)

И, пожалуй, именно самое страшное в революции, — и особенно в Гражданской войне, — что за лесом лозунгов и этикеток мы все разучиваемся видеть деревья, — отдельных людей. — К этим мыслям Е.Ю. Скобцова возвращается в заметке «Нечто о лозунгостворчестве» под псевдонимом Юрий Данилов (Д. 1925. 12 нояб. № 851. С. 2).

В рукописи, по которой публикуется данный очерк, сразу вслед за данной заключительной фразой следует стихотворение Е.Ю. Скобцовой, по всей видимости, написанное сразу по завершении очерка и тематически тесно с ним связанное. Приводим его полностью:

О, только в полдень исчезает тень,
Раздавленная по пути ногами, —
И память спит лишь в пламеносный день

Ты — тень моя, дни прошлого, — вратами
Яритель вы у истомленных ног.
И в памяти воскреснете вы с нами.

Не я, — мой призрак, — заградил восток
И тень моя на западе темнеет,
И память на пути, — сгустившийся комок.

А солнце в полдень, обжигая тело.
О, солнце радости все выпьет на путях
Все высушит, что я забыть хотела.

И будет прошлое как сон, как прах.
И будет память, — только иероглифом.
И все сместится в Божьих временах

В потоке радости кремнистым рифом
Останется лишь цель, — мой Арарат,
И я на нем, подобно древним скифам.

Сегодня же, гляжу, гляжу назад.
Веду борьбу со всем, что миновало.
Переживаю жизнь на новый лад.

От встреч, метаний и людей устала.
Хочу в один их образ воплотить
И заострить в одно, во вражье жало.

Беру перо, — не вымыслы ловить, —
И не рядить мечту в свои наряды —
Запечатлеть, застигнуть и убить.

Не хороводы дней, не лет плеяды,
А искусителей несметная орда,
Врагов могучих сильные отряды,

Восставшие на жизнь мою тогда,
Могу убить я только воплощением,
Чтоб не воскресли больше никогда.

И я играю хитрым совмещением.
Всех оживляю под одним пером.
Всех строго подвергаю размещеньям.

Пусть повести многоэтажный дом
Для прошлого окажется тюрьмою,
И духота решетчатым окном.

Там будет вместе с нищенской сумою
И веры жуть, и философский бред
Уступит место быть герою.

Герой состарится с течением лет
И в эпилоге отойдет в могилу
С своею мерою грехов и бед.

В введенный новым станут на пороге
Бог, подвиг, приключенье, грех,
Слова, слова о тайне и о Боге,

Так засушу, так заморожу всех,
Лишу цветов, земного аромата
И в жизни мертвой уничтожу смех.

Когда же все исчезнет без возврата,
Когда над прошлым заревет потоп,
Останусь на вершине Арарата.

Пусть будет тело бить озноб,
Солнце полудня раздвинет тучи
И <отверзит?> земли священный гроб.

И зародит такой родник певучий,
И излучит такой слепящий свет,
Что волны скатятся с огромной кручи,

Что раздерется свиток прошлых лет.
Совьется тень моя у ног змеєю,
И, выполняя древний мой обет,

Я в полдень раздавлю ее стопою.

ПРОЗА

Корпус художественной прозы Е.Ю. Кузьминой-Караваевой – Скобцовой делится на две неравные части. К первой относится ранняя (1915) философская повесть «Юрали», тесно связанная с ее поэтическим творчеством того времени. Ко второй — художественная проза, написанная в эмиграции, которая продолжает и как бы восполняет ее очерки воспоминаний: это образные размышления автора-эмигранта о своей судьбе, о судьбе народа и интеллигенции, всей России.

Наряду с автобиографическими повестями («Равнина русская» и «Клим Семенович Барынькин»), мы включили в этот раздел и небольшие очерки-зарисовки, предназначенные, в частности, для публикации в газете «Дни», а также неопубликованные произведения, сохранившиеся в рукописном архиве матери Марии. В них, развивая блоковский образ «страшного мира», Е.Ю. Скобцова рисует свой «страшный мир», в котором за обычным «прячется необычное», а в глубинах человеческой души обнаруживается мрачная, пугающая бездна (очерки «Жуткое», «Соседи»). В то же время автор стремится преодолеть «мутное бессилие брата моего человека», с чем тесно связывается дорогая для Е.Ю. Скобцовой тема творчества как преображения жизни (рассказы «Непобедимая», «Вадим Павлович Золотов»).

ЮРАЛИ

Впервые: *Кузьмина-Караваева Е. Юрали*. Пг.: Тип. А. Лавров и К°, 1915. Публикуется по этому изданию.

Переизд.: *К-К, ММ, 2001*. С. 338–389.

В корпусе художественной прозы Е.Ю. Кузьминой-Караваевой повесть «Юрали» стоит особняком, будучи тесно связанной скорее с ее поэзией, чем с остальными прозаическими сочинениями. Книга написана как яркий образец прозы поэта, с ориентацией на символистскую прозу и на семантику эзотерической и житийной литературы: как повествование о праведнике и мудреце, обретающем в жизненном пути истинное знание и несущем его людям. Интересно проследить творческую эволюцию автора от «Юрали» с его образом отрешенного мудреца и героического праведника к написанным Е.Ю. Скобцовой позднее сборникам житий святых «Жатва духа» (1927). Сверхчеловеческие мотивы в обрисовке образа главного героя и само полемическое построение книги как некоего нового евангелия, также разбитого на главы и стихи, отсылают, по всей видимости, к книге Ф. Ницше «Так говорил Заратустра». В «Юрали» чувствуется как влияние мысли Ницше, так и скрытая полемика с ним, движение к усвоению, осмыслению этой мысли и к ее преодолению. В книге заметно — в теме истинного знания — также влияние гностических учений, по-видимому, известных автору по книге Юлии Данзас «В поисках за божеством. Очерки по истории гностицизма» (СПб.: Тип. Т-ва А.С. Суворина; Новое время, 1913; изданы под псевдонимом *Юрий Николаев*).

Многие темы, поднятые в «Юрали» (тема судьбы, пути, обреченности, знания, земли, любви), перекликаются с лирикой Е.Ю. Кузьминой-Караваевой, особенно с ее поэтическими книгами «Дорога» (включает стихи 1912–1913 гг., не была издана) и «Руфь» (1916). Но «Руфь», знаменуя собой новый этап духовного пути автора, развивает вышеперечисленные темы уже в несколько ином ракурсе: кроме безличной судьбы, не теряющей своей таинственности, здесь появляется Лицо (один из подразделов сборника носит название «Искупитель»), раскрывающее новые горизонты для творческих поисков

писательницы. В дарственной надписи неизвестному лицу на книжке «Юрали» автор так определяет этот переход: «Мне хотелось бы, чтобы линия от “Юрали” к “Руфи” показалась Вам не только линией движения вперед, но и расширения, — через уничтожение себя» (РНБ. Шифр 37.65.6.56-а). Залогом такого «расширения» становится звучащая в «Юрали» тема жертвенной любви, отдающей себя людям и ничего не требующей взамен, — тема не только творчества, но и всей жизни матери Марии.

1.

Оглядываясь на долгий путь свой, вижу я, что многим, как и мне некогда, облегчат они дорогу... — Тема пути, образ дороги — центральные для поэтического творчества матери Марии. Слово «дорога» она выбрала для названия сборника своих стихов 1912–1913 гг., но задуманная книга так и не была издана. Историю ее подготовки к печати и текст книги см.: Елизавета Кузьмина-Караваева и Александр Блок / сост. Л.И. Бучина, А.Н. Шустов. СПб.: РНБ, 2000.

Ибо, изнемогая на пути, встретил я Юрали... — Имя Юрали, вынесенное в название, появляющееся уже в первых строках произведения и постоянно звучащее в нем рефреном, выбрано не случайно. Особенно если учесть, что больше ни один герой «Юрали» не назван по имени: имя собственное появляется здесь еще один раз лишь при назывании города — Гастогай. Юрали — производное от русского имени Юрий (вторая его часть, возможно, начало имени автора — Лиза). Прежде всего, это имя вбирает в себя память об отце Е.Ю. Кузьминой-Караваевой: Юрий Дмитриевич Пиленко настолько много значил для нее в детстве, что именно с его смертью связывает она свой юношеский кризис потери веры (см. очерк «Встречи с Блоком», с. 73 наст. изд.). Имя Юрий будет фигурировать в псевдониме, под которым в 1920-е гг., уже в эмиграции, Елизавета Юрьевна будет печатать свою художественную прозу (*Юрий Данилов*); именно этим именем она назовет своего сына.

Стоит обратить внимание и на связь выбранного для героя имени (Юрий — Георгий) с образом Георгия Победоносца, Егория, весьма значимым как для поэтической культуры Серебряного века, так и для русской культуры в целом. Этот образ мы встречаем в стихах В. Брюсова, З. Гиппиус, Н. Гумилева, М. Кузьмина, Б. Пастернака, М. Цветаевой. Особенно значимым этот образ стал с началом войны 1914 г. — а книга «Юрали» вышла в свет в 1915 г. Георгий Победоносец — защитник, и эта функция нашла отражение в образе Юрали, защищающего царевну, защищающего стада. Имя Георгий в переводе с греческого означает «земледелец», и к земле на одном из этапов своей жизни возвращается Юрали.

Образ Георгия Победоносца возникает и в переписке Е.Ю. Кузьминой-Караваевой с А.А. Блоком: в ее стихах, обращенных к нему и посланных адресату:

Увидишь ты не на войне,
Не в бранном, пламенном восторге,
Как мчит в латах, на коне
Великомученик Георгий.

(См. письмо от 26 июля 1916 г. — с. 449 наст. изд.).

Вам, изнемогающие, пишу я и верю, что слова и жизнь его будут вам источником воды живой. — Аллюзия на слова Христа к самарянке (см.: Ин 4: 13–14).

Дети мои, узнайте, что близится жатва. — Библейский образ жатвы весьма примечателен в образной системе раннего творчества матери Марии. Поэтический сборник

«Руфь» (1916), ставший продолжением и углублением тем и мыслей, обозначенных автором в «Юрали», открывается стихотворением, в котором дан образ Руфи, собирающей колосья, — образ, ставший смысловым центром всей книги. В Евангелии тема жатвы связана с темой Суда, когда Господь отделит пшеницу от плевел (Мф 13: 24–30), и темой слышания, приятия слова Божьего (Мф 9: 36–38; Лк 10: 2). В обеих темах звучит один и тот же мотив: ожидания и готовности. Особенно отчетливо он слышится в Евангелии от Иоанна, в диалоге Христа с учениками, следующем непосредственно за беседой Его с самарянкой (Ин 4: 35).

Обреченным назовете вы Юрали, узнав слова его и деяния. — «Обреченность» — название одного из разделов сборника стихов «Руфь». К нему Е.Ю. Кузьмина-Караваева подобрала такой эпиграф: «А ты просишь себе великого: не проси; ибо вот, Я наведу бедствие на всякую плоть, говорит Господь, а тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда ни пойдешь» (Иер 45: 5). Тема обреченности задана и в авторском предисловии к «Руфи», семантически близком к «Юрали»: «Неизбежность заставила меня подняться на высоты. Обреченный не знает: зачем, но ему дано иное знание: так надо» (К-К, ММ, 2001. С. 64). Эта тема тесно связана с образом А.А. Блока, судьба которого переживалась Елизаветой Юрьевой как обреченность на сгорание и гибель. В очерке «Встречи с Блоком» она так вспоминает свой разговор с поэтом, свои слова, обращенные к нему: «Вот перед гибелью, перед смертью, Россия сосредоточила на вас все свои самые страшные лучи, — и вы за нее, во имя ее, как бы образом ее сгораете» (см. с. 91 наст. изд.). Именно в разделе «Руфи» «Обреченность» встречаются стихи, в адресате которых угадывается Блок, например, «Смотрю на высокие стекла...» (К-К, ММ, 2001. С. 84–85).

Тема обреченности звучит и в воспоминаниях о Блоке Корнея Чуковского: «Он был обреченный и знал это, и оттого все его последние годы были проникнуты предсмертной печалью» (Чуковский К. Последние годы Блока // Записки мечтателей. Пб.: Алконост, 1922. № 6. С. 155).

3.

...везде он желанный сын мудрой земли, везде он любимый брат зверям и злакам земным. — Тема сыновства земле и братства со «зверями и злаками» также одна из семантически значимых в поэтическом творчестве Е.Ю. Кузьминой-Караваевой. Один из разделов неосуществленной автором поэтической книги «Дорога» называется «Земля». В более зрелых стихах книги «Руфь» эта тема осмысливается уже на новом уровне, и соответствующий раздел сборника получает название «Преображенная земля», — его строки очень созвучны «Юрали»:

Но недра земли, и высокие горы,
И звери, и злаки,
Морские пучины и неба просторы —
Все тайные знаки.

И знакам таинственным чутко я внемлю,
В душе сочетаю
Усталую, тихую, черную землю
С равнинами рая.
(«Дух мой, плененный силой...» // К-К, ММ, 2001. С. 100).

Позднее в богословских статьях мать Мария свяжет эту тему сыновства земле с православным почитанием Богородицы, например, в статье «Почитание Богоматери»

(см.: *ММ 1*, 1992. С. 121–124). Здесь она также связана с темой детства как природного рая, изначальной гармонии ребенка с окружающим его миром, рая, который затем теряют Юрали.

6.

Среди детей были две девочки: одна — горбунья... — Образ горбуньи не раз появляется и в более поздней прозе Е.Ю. Скобцовой. См. рассказы «Ряженные» и «Вадим Павлович Золотов» в настоящем издании. О возможном прототипе образа горбуньи см. примеч. к рассказу «Вадим Павлович Золотов» (с. 611).

«Ты как солнце Юрали; солнце светит и добрым и злым, прекрасным и калекам». — Аллюзия на евангельские слова (Мф 5: 45).

8.

...в приморском городе Гастогае. — Название города, в который позже приводит судьба Юрали, несет на себе отголосок жизни матери Марии на Кубани: похоже называлась казачья станица близ Анапы (Гостагаевская). Это единственное географическое название в данном произведении (как и Юрали — единственное человеческое имя), выбранное, возможно, за странность и необычность своего звучания, подчеркивающую притчевый характер происходящего. Вместе с тем оба имени акцентируют внимание читателя на их взаимосвязанности, называние Гастогае словно привязывает героя к определенному месту как точке пространства, к земле, омываемой морем.

19.

Птица же неожиданно для всех вздрогнула, встрепенулась и, расправив крылья, медленно полетела. — В эпизоде воскрешения мертвой птицы, возможно, нашло отражение знакомство с апокрифическим евангелием детства (Евангелие от Фомы), в котором описывается чудо оживления мальчиком Иисусом глиняных птиц (см.: Апокрифы древних христиан. М.: Мысль, 1989. С. 142). Однако образ раненой, мертвой птицы весьма примечателен в контексте всего поэтического творчества матери Марии: в поздней поэме «Духов день» (1942) он вырастает до образа распинаемой Белой Птицы, Духа Святого, вновь восходящего на Голгофу за жизнь мира.

Юрали же никогда не сомневался в шагах своих и действовал как знающий, ибо ведал, что ведет его судьба. — Тема судьбы, одна из центральных в повести «Юрали», характерна и для стихов сборника «Дорога»:

Да, в тебя, судьба, я верю;
Рок — событиям пастух,
Указал дорогу зверю,
Людам дал смятенный дух.
И глядя, как зреют злаки,
Как кружат орлы свой лёт, —
Я судьбы читаю знаки,
Жду свершениям черед.

(«Да, в тебя, судьба, я верю...» // *К-К, ММ*, 2001. С. 56).

В «Юрали» она тесно переплетается с гностической темой тайного знания, значимой для всего раннего творчества Е.Ю. Кузьминой-Караваевой. Так, образ «знающего» возникает уже в предисловии к ее первому поэтическому сборнику «Скифские черепки» (1912): «И знающий повествует. Без скорби и без надежд, без прикрас и обвинений, означает знающий: было и есть» (К-К, ММ, 2001. С. 27).

Каждый раз, когда приближался к нему кто-нибудь, и осеняла его минутная и мучительная любовь, дающая исцеление и радость, чувствовал он, что исходит из него часть великой силы, которой он жив. — Аллюзия на евангельский рассказ об исцелении кровотоочивой (Мк 5: 30; Лк 8: 46).

И уставал властитель и чудотворец Юрали. — Мотив непомерной усталости, вызванной тяжелым бременем следования своему пути, акцентированный в «Юрали», отчетливо звучит и в сборнике «Руфь», в разделе «Исход»:

О, только тот, кто шел дорогой безвозвратной,
О, только тот мог так томительно устать.

(«Довольно. Все равно настанет час последний...» // К-К, ММ, 2001. С. 68).

Характерно, что и первый поэтический сборник Е.Ю. Кузьминой-Караваевой «Скифские черепки» композиционно заканчивается мотивом усталости: последнее стихотворение называется «Царица усталая» (см.: Там же. С. 41). Тема усталости, как и тема обреченности, в «Юрали», по всей видимости, также связано с образом А. Блока. Во «Встречах с Блоком» мать Мария так рисует портрет поэта: «Очень прямой, немного надменный какой-то, голос медленный, усталый, металлический. Темно-медные волосы, лицо не современное, а будто со средневекового надгробного памятника, из камня высеченное, красивое и неподвижное» (с. 75 наст. изд.). И далее: «В сумраке по близорукости я его почти не вижу. Только тихий и усталый голос иногда прерывает меня, — значит, он тут» (с. 90). Усталость связана с призванием нести непосильное бремя, с готовностью к нечеловеческому напряжению.

22.

Тогда решил он, что завершается путь его власти, что новые пути готовит ему судьба. — Возможно, весь отрывок о Юрали-властителе является скрытой полемикой с мыслью Ф. Ницше о «воли к власти» как свойстве всего живого. Заратустра проповедует: «Везде, где находил я живое, находил я и волю к власти, и даже в воле служащего находил я волю быть господином» (Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 2. С. 82). Даже мысль Ницше о жизни как самопреодоления и о человеке как рывке и устремленности к сверхчеловеку представляет лишь еще одну метаморфозу все той же, неизменной и неустрашимой для мыслителя, воли к власти. Юрали, этот новый Заратустра, воплощает в себе полное отсутствие воли к власти и желания держаться за власть при таком же полном согласии, в случае необходимости, нести бремя власти. Из любви к царевне, боящейся власти, он соглашается на царскую власть, несет все ее тяготы и покидает дворец, как только царевна оказывается исцеленной.

23.

И был он только единственным из слуг справедливости; все воины монастырские служили ей и никто из них не знал слова: любовь. — Здесь, задолго до своего пострига,

Елизавета Юрьевна начинает размышлять о смысле монашества, о двух его разновидностях. Одни видят смысловой центр монашеской жизни в отречении от мира, во внутренней чистоте, оберегаемой с помощью суровой аскезы, устава, законничества: в монастыре, в который приходит Юрали, все эти добродетели объединяются одним словом — справедливость. Другие видят смысл монашества в служении миру, в стяжании любви, изливаемой на всех, кто в ней нуждается. Таков Юрали, противопоставляющий холодной и суровой справедливости монахов свою любовь к людям. Такова сама мать Мария. Тема противостояния двух типов монашества найдет продолжение в ее позднем произведении — мистерии «Анна», героиню которой, как и Юрали, просят удалиться из монастыря, ибо она нарушает его уставы из любви к людям. См. также статьи матери Марии 1930-х гг., в которых обосновывается ее понимание монашеского пути: «О монашестве», «Еще о монашестве», «Аскетизм», «Под знаком гибели», «К делу» (ММ 1, 1992).

29.

...и с каждым днем сильнее ждал Юрали ребенка своего. Казалось ему, что им благословляет его земля и принимает в число сынов своих... — Описание попытки Юрали приблизиться к земле через труд на земле, земную любовь и рождение ребенка окрашено в автобиографические тона. Отъезд в 1913 г. в анапское имение воспринимался Е.Ю. Кузьминой-Караваевой как бегство из мертвого Петербурга, «где все становилось мертвенным шелестом», к земле: «Не в народ. Народ было очень туманно. А к земле» (см. «Встречи с Блоком», с. 84 наст. изд.). В письме к А.А. Блоку от 27 ноября 1913 г. она так описывает результат подобного эксперимента: «Потом к земле как-то приблизилась; — и снова человека полюбила, и полюбила, полюбила по-настоящему, — а полюбила, потому что знала, что Вы есть. И теперь, месяц тому назад, у меня дочь родилась, — я ее назвала Гайана, — земная, и я радуюсь ей, потому что — никому неизвестно, — это Вам нужно» (см. с. 439 наст. изд.).

33.

Так пришел Юрали в пустыню. — Эпизод с тремя искушениями в пустыне — очевидная аллюзия на евангельский рассказ об искушении Христа в пустыне (Мф 4: 1–11; Мк 1: 12–13; Лк 4: 1–13). Юрали здесь подводит итог уже пройденным искушениям (властью, покорностью и земной любовью), закрепляя в своем сне победу над ними.

36.

Но узнай также, что отныне отрекся я от чудотворения... — Тема чудотворчества и добровольного отказа от него, сам вопрос о правомерности совершения чуда человеком образуют один из центральных моментов духовных поисков Е.Ю. Кузьминой-Караваевой в дореволюционный период. Это вопрос о соотношении свободы и послушания, творческой активности человека и готовности принять волю Божью, вопрос о сути сострадания и любви к человеку, на которые мать Мария отвечает не только своим творчеством, но и всей своей жизнью (см. письмо к А.А. Блоку от 27 ноября 1913 г., с. 438 наст. изд.). Тема отказа от чуда тесно переплетается с темами готовности к несению тяжести (одной из центральных в «Юрали») и искупительного страдания, со-страдающей любви. Об эволюции темы чудотворения в раннем творчестве Е.Ю. Кузьминой-Караваевой см.:

Беневич Г. Мать Мария (1891–1945): Духовная биография и творчество. СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 2003. С. 49–51.

37.

Тогда узнал он, что душа обреченного бывала всегда чистой и святой; что для свободы великой и для завершения пути, предназначенного судьбою, должен был он совершить грех, но грех избранный сердцем свободным. — Мысль о прохождении через грех, об отречении от собственного пути ради свободного принятия пути серьезно волновала Е.Ю. Кузьмину-Караваеву (см. письмо к А.А. Блоку от 19 января 1914 г., с. 440 наст. изд.). Возможно, на ее размышления о грехе и свободе не бояться греха оказала влияние мысль Ф. Ницше, своеобразным диалогом с которой является «Юрали»: книга «Так говорил Заратустра» оканчивается прохождением Заратустры через его «последний грех», которым оказывается «сострадание к высшему человеку» (см.: Ницше Ф. Указ. соч. С. 237). В «Юрали» тема мертвящего душу греха и преодоления, освобождения от него связана с темой отказа от чудотворения и задана еще, скорее, как вопрос, как мучительная проблема, в авторском освещении которой очевиден не столько найденный ответ, сколько жгучая боль вопроса. Тема умерщвляющего душу греха найдет свое продолжение в стихах сборника «Руфь»:

О, Господи, грех, — он мертвит;
Не дай умереть до конца.
За мглою, там рай Твой горит,
Там жду неземного венца.

(«И стало темно в высоте...» // К-К, ММ, 2001. С. 71–72).

42.

А пьяные слушали его внимательно и казалось им, что еще никогда так властно и громко не звучали слова человеческие. — Ср. с евангельским образом «слова... со властью» (Лк 4: 32).

Юрали же ей ответил: «Все вы пели: сердце развеяно, душа умерла. А я знал, что уже близится к вам садовод, чтобы вновь предать вас земле; и что скоро прорастут зеленые стебли из оболочки вашей». — Библейски окрашенный образ Садовника (садовода — в притче Юрали), восходящий к ветхозаветному повествованию о «саде Едемском» (Быт 2–3) и к новозаветному рассказу о воскресшем Господе, принятом Марией Магдалиной за садовника (Ин 20: 15), встречается у Е.Ю. Кузьминой-Караваевой в стихотворном сборнике «Дорога»:

Но когда я сплю, мне четко снится, —
Мы подвластны мудрой, светлой воле,
И хранит стеклянная теплица
Нас, откопанных в морозном поле.
И когда мы буйно мечем лозы,
К нам подходит благостный Садовник,
Чтоб в цветок кровавой розы
Перевить откопанный шиповник.
Нам, не знавшим непонятной тайны,
Кажется, что жизни ход нарушен,
И законы мудрые — случайны,
И Садовник благостный — бездушен.

(«Свершены ль железные законы?» // К-К, ММ, 2001. С. 48).

Однако образ садовода в «Юрали» не столь однозначен: выше (гл. 27) Юрали рассказывает притчу о «неразумном садоводе», итогом неверных действий которого становится «мертвая судьба».

50.

«Говорю я вам: любите тяжесть своего пути...» — В этом отрывке наиболее подробно обосновывается мотив отказа от чудотворчества: чудо избавляет человека от тяжести земной жизни, тогда как именно эта тяжесть и оказывается искупительной, она опускается на чашу добродетелей на последнем суде и помогает ей перевесить чашу грехов. О тяжелом бремени прекрасного говорится в «грустной сказке о продавце», рассказанной Юрали (гл. 12): продавец изнемогает под тяжестью короба с чудесными вещами, которые люди находят слишком прекрасными для себя. Тема принятия тяжести находит отражение и в образе каменеющего Юрали, пасущего каменную паству (гл. 10 и 39). В письме к А.А. Блоку от 27 ноября 1913 г. Е.Ю. Кузьмина-Караваева пишет: «В каждый круг вступая, думала о Вас и чувствовала, что моя тяжесть Вам нужна, и это была самая большая радость. А тяжести я ищу» (см. с. 438 наст. изд.).

52.

Он же продолжал: «Знайте, что близится мой смертный час. Но не умру я, а только уйду от вас; и вновь приду, когда настанет время. Смерть я избрал, не имея желаний жизни и смерти в душе». — Ср. Ин 14: 28.

После этих слов перестали задавать ученики ему вопросы и только ведали, что великое делается. — Ср. Мф 22: 46.

54.

Каждый из вас — и великий воин, и мудрец, и пророк, если он внимлет голосу судьбы своей. — В «Руфи» эта тема находит свое продолжение, переплетаясь с темой чудотворения и отказа от чуда:

Да, каждый мудр, и чудотворец каждый:

Всем вечным спутникам моим хвала.

Я верю: изойдет водой скала,

Когда мы будем погибать от жажды.

Я верю: мы идем, причастны чуду,

Единым словом можем вызывать

Небесных духов яростную рать.

Но знаю: я творить чудес не буду.

(«Да, каждый мудр, и чудотворец каждый...» // К-К, ММ, 2001. С. 86)

См. также стихотворение «Я силу много раз еще утрачу...» (Там же. С. 87–88).

57.

Часто пропадал Юрали за уступами скал и вновь появлялся. Наконец, мелькнул он перед ними в последний раз на вершине и исчез навеки. — Мотив исчезновения в горах

как вольно выбранного конца и приобщения к светлому покою звучит и в стихотворении «А на душе все те же песни...» из сборника «Дорога»:

Избрав мой путь, конец избрала:
Там, где кружат одни орлы,
Я подыму свое забрало
На желтом выступе скалы.
Узнают через год в деревне,
Что кто-то умер над скалой;
Так я вернусь к тебе, мой древний,
Так я вернусь в красе былой.

(К-К, ММ, 2001. С. 51).

РАВНИНА РУССКАЯ
(Хроника наших дней)

Впервые: СЗ. 1924. № 19. С. 79–133; № 20. С. 125–215. Подпись: Юрий Данилов. Публикуется по этому изданию.

Отклики: *Бенедиктов М.* «Современные записки». Книга XIX [рецензия] // ПН. 1924. 24 апр. № 1228. С. 3; «Современные записки». Книга XX [рецензия] // ПН. 1924. 3 июля. № 1285. С. 3. См. также: *Горбов Д.* У нас и за рубежом. М.: Федерация, 1928. С. 73–74; *Русские писатели: 1800–1917: Биографический словарь: В 5 т.* М.: Большая российская энциклопедия, 1994. Т. 3. С. 210; *Каухчишвили Н.М.* Повествовательная проза матери Марии // Russian Literature. 2000. Vol. 46. № 4. С. 437–451.

Переизд.: К-К, ММ, 2001. С. 390–492.

I

Холодные ветры с залива несли желтые клубы тумана... — Одна из главных черт петербургского пейзажа, неоднократно упоминаемая матерью Марией во «Встречах с Блоком», — «рыжий туман»: «На улицах рыжий туман. Падает рыжий снег. Никогда, никогда нет солнца» (см. с. 74; здесь и далее, где не указаны выходные сведения, ссылки даются на настоящее издание). Возможно, образ связан также с блоковской семантикой желтого цвета («желтое») как чего-то недолжного, неверного, сыто-благополучного, отличного от горения и борьбы. См., например запись А.А. Блока от 11 января 1918 г.: «(...Нет уж, не то время, не та музыка). — Музыка какая (если... желтое?)» (ЗК. С. 383).

Россия, мол, это Петербург, — а за ним болото финское, через которое дорог нет, в котором виднеются только чахлые осины да оливковые кочки. — Ср. с описанием Петербурга, возникающего за окнами поезда в 1914 г., во «Встречах с Блоком»: «Как будто после долгого срока приближалась я к страшному городу. Поезд несся по финским болотам среди чахлой осины и облетевших берез» (с. 88).

Катя Темносердова жила в пятом этаже. Два окна ее комнаты выходили на залив. В вечернем закате среди тумана вырисовывались доки, черные краны подымались в небо, прозрачной сеткой сквозили какие-то воздушные мосты, по вечерам мерцающие фонарями. Улица была внизу широкая и тихая; она упиралась в маленький канал. — Ср. с описанием квартиры А. Блока: «Комнаты его на верхнем этаже. Окна выходят

на запад. Шторы не задернуты. На умирающем багровом небе видны дуги белесых и зеленоватых фонарей. Там уже порт, доки, корабли, Балтийское море» («Встречи с Блоком», с. 89). Маленький канал — река Пряжка. Ср. далее: «Улицы все изучены. Я прекрасно знаю, с какой стороны лучше всего подойти. Иду к Пряжке глухой улицей, параллельной Английскому проспекту. Вот еще дом, который закрывает Офицерскую. Перехожу на другую сторону, чтобы площадь наблюдения была шире, потом замедляю шаги» (Там же, с. 93).

И тогда она очень не любила Петербурга. — Ср. с воспоминаниями о петербургской юности: «Я ненавидела Петербург» («Встречи с Блоком», с. 74).

Впервые поняла она необъятную величину мира, необъятную величину равнины русской. <...> *Ей казалось часто, — в окраинных переулках, где дома из сосновых досок и березы за заборами, — мелькает облик старой женщины, голосащей все время.* — Образ бескрайней России как безумной, голосащей женщины появляется также в воспоминаниях о Блоке: «Я продолжала скитаться по сонной Москве. Снег падал тихими мягкими хлопьями. И вместе с этим снегом, вместе с черным и мутным небом, я впервые молилась о моей стране, которая казалась мне живой, безумной, оставленной и голосащей в бескрайних полях» («Встречи с Блоком», с. 87). Возможно, навеян блоковским образом России-жены из цикла «На поле Куликовом» (1908): «О, Русь моя! Жена моя! До боли / Нам ясен долгий путь!» («Река раскинулась. Течет, грустит лениво...»).

Она почуяла Россию не по Соловьёву, не по славянофилам... — Философия истории В.С. Соловьёва, славянофила А.С. Хомякова и продолжавшего в своей публицистике славянофильскую традицию Ф.М. Достоевского оказала большое влияние на историософские взгляды матери Марии. См. ее более поздние работы, посвященные этим мыслителям: «А.С. Хомяков» (Париж: YMCA-Press, 1929), «Достоевский и современность» (Париж: YMCA-Press, 1929), «Мирозозерцание Вл. Соловьёва» (Париж: YMCA-Press, 1929).

Так и сейчас: он, поздоровавшись, сел на корточки около топящейся печки и молча начал размешивать пылающие угли кочергой. Они сразу затрещали, и сноп красных звезд метнулся ввысь. — Эпизод топки печи в комнате, антураж которой отсылает к блоковской квартире, также, видимо, навеян воспоминаниями о Блоке (см. «Встречи с Блоком», с. 91).

...у пророка Иоиля еще сказано: «И будет после того: изведу от Духа Моего на всякую плоть; и будут пророчествовать сыны ваши, и старцы будут видеть видения; и на рабов, и на рабынь изведу от Духа Моего». — Почти дословная библейская цитата, см. Иоил 2: 28–29.

II

Но только такой может быть она понятна и мила каждому. Потому что пышные одежды не для нее, и в них она кажется чужой. Вот так, в снежной метели голосащая, предупреждающая каждого солдата, что с утра будет бой, — а из боя кто живым выйдет? — плачущая о русской крови пролитой, не знающая путей своих, — так она каждому близка и желанна. — В развитии образа живой России здесь продолжается пререкличка со стихами А. Блока: «А ты все та же — лес, да поле, / Да плат узорный до бро-

вей...» («Россия», 1908), «Да, и такой, моя Россия, / Ты всех краев дороже мне» («Грешить бесстыдно, непробудно...», 1914).

III

Протопопов Александр Дмитриевич (1866–1918) — член III и IV Государственной думы, октябрист. С 1914 г. товарищ Председателя Думы, член Прогрессивного блока. С сентября 1916 г. управляющий Министерством внутренних дел и главноначальник отдельного корпуса жандармов, с декабря утвержден министром внутренних дел.

V

Что ж, уважаемый, нашей солдатне ответственное министерство нужно? — Идея «ответственного министерства» или «министерства доверия», правительства, опирающегося на думское большинство, составляла ось политического противостояния царизма и либеральной общественности в предреволюционной России.

Еще вчера царь метался в поезде по русской равнине, и нигде не принимала его родная земля, — отверженным метался он. — 25 февраля 1917 г., узнав о беспорядках в Петрограде и направив туда войска, Николай II покинул Ставку и поездом отправился в Царское Село. Однако за 150 верст от Петрограда царский поезд был остановлен, так как следующая станция Любань уже была в руках восставших. Государь попытался проехать через станцию Дно, но и тут путь был закрыт. Вечером 1 марта император прибыл в Псков, в ставку главнокомандующего Северным фронтом генерала Н.В. Рузского. Там и было подписано отречение от престола.

VII

В середине августа в Москве было назначено Государственное совещание. — 12–15 (25–28) августа 1917 г. в Москве состоялось созданное Временным правительством Государственное совещание. На нем присутствовало около 2500 чел.: 488 депутатов Государственной думы всех созывов, 129 представителей от Советов крестьянских депутатов, 100 от Советов рабочих и солдатских депутатов, 147 от городских дум, 117 от армии и флота, 313 от кооперативов, 150 от торгово-промышленных кругов и банков, 176 от профсоюзов, 118 от земств, 83 от интеллигенции, 58 от национальных организаций, 24 от духовенства и т.д. Председателем Совещания был А.Ф. Керенский. С докладами выступили министр финансов Н.В. Некрасов, министр торговли и промышленности С.Н. Прокопович и др. Совещание было созвано по инициативе А.Ф. Керенского с целью ограничить влияние Советов, покончить с ситуацией двоевластия и упрочить положение Временного правительства.

...правые говорили о выступлении большевиков, а левые о захвате власти Корниловым... — Государственное совещание продемонстрировало непримиримое противостояние правых и левых сил, результатом чего стал так называемый «корниловский мятеж». 25–31 августа (7–13 сентября) Верховный главнокомандующий, генерал Л.Г. Корнилов, выступавший на Совещании с требованием «ликвидации анархии в стране», направил на Петроград 3-й Конный корпус генерала А.М. Крымова и Туземную дивизию для нейтрализации большевиков и установления военной диктатуры до созыва Учредительного

собрания. Однако А.Ф. Керенский обратился за защитой к левым политическим силам, разрешив вооружение рабочих.

VIII

...особенно о выступлениях солдата Ивана Кособрюха. <...> Одни женщины да беспощадные старцы, а мы были на фронте, нас никто не спросил. — О солдате Иване Кособрюхе мать Мария пишет в очерке «При первых большевиках (Как я была городским головой)», приводя ту же фразу о «женщинах и беспощадных старцах»: «На митингах выступали все по очереди. Самым талантливым оратором был солдат Иван Кособрюх. Он доходил во время своих речей до какого-то экстаза, плакал, бил себя в грудь, бросался на колени. Афоризмы его были неподражаемы. По поводу нашей несчастной Думы он говорил: “Ее надо разогнать, потому что ее выбирали только женщины и беспощадные старцы а мы, солдаты, были на фронте”. О старом режиме он всегда заявлял: “Кошмарская рука царизма” и т.д.» (см. с. 99).

Наконец, приехал этот умный большевик, товарищ Яур, латыш. — Прототипом «умного большевика», латыша Яура, стал реальный персонаж, Павел Иванович Протапов, подробно описанный Е.Ю. Кузьминой-Караваевой в очерке «При первых большевиках».

XII

При бледном свете сумерек он прочел каракули: «Не смотри такими страшными глазами на смерть». — Эпизод с запиской такого содержания описан и в очерке «При первых большевиках» (см. с. 122).

XV

Я понимаю, что ваша жизнь будет в ваших сердцах неоправданна, если вы не попытаетесь совершить чуда. Думаю, что теперь каждый живой человек должен пытаться совершить чудо... И думаю, что каждый живой человек во время этой попытки погибнет... Но что же, если иначе нельзя? — Тема чудотворения и необходимости отказаться от чуда, поднятая в «Юрали» и в ранней поэзии Е.Ю. Кузьминой-Караваевой, здесь продумывается в новом аспекте: чудом оказывается героическое, жертвенное стремление вмешаться в ход истории, оказаться причастным разворачивающейся кровавой драме в безнадежной попытке предотвратить неминуемую катастрофу.

И в пьянстве этом чудилось такое бескрылое неуменье жить, такое страшное бессилье, такая тоска... — Ср. с описанием пореволюционной Анапы в очерке «При первых большевиках»:

«Вообще же это время было исключительно тоскливым. Помимо всяческих политических и экономических показателей того, что добровольчество мертво, самым ярким показателем было то чувство безысходной апатии и тоски, которое царило в добровольческом тылу.

Впечатление создавалось какой-то всеобщей общественной и моральной инвалидностью. Никаких планов на будущее, никакой тяги к работе.

Анапа была мертвая. Было так, что в курале после благотворительных вечеров несколько дней стоял запах винного перегара.

[Пили все: контрразведчики и бывшие комиссары, раненые офицеры и дамы-беженки, гимназисты и старик комендант.]» (с. 128).

XVII

Сам Галкин служил в бывшем Скобелевском комитете и имел почему-то касательство к кинематографам. — Общественная благотворительная организация, носящая имя известного российского полководца генерала от инфантерии Михаила Дмитриевича Скобелева (1843–1992), была создана в 1904 г., в разгар Русско-японской войны. В задачи комитета входило оказание помощи пострадавшим на войне, в частности, строительство домов для военных инвалидов. Кроме того, активисты вели культурно-просветительскую и издательскую работу. В 1914 г. Скобелевский комитет занимался активной продюсерской деятельностью по созданию патриотических и пропагандистских кинолент, в нем появился свой киноотдел. После Февральской революции 1917 г. организация была преобразована в Скобелевский просветительный комитет и занималась съемками текущей хроники, кинофильмов, издательской деятельностью.

...дальняя родственница влиятельного народного комиссара Гродского. — По предположению А.Н. Шустова, прототипом Гродского в описании неудавшегося покушения на него стал Лев Данилович Троцкий (Бронштейн; 1879–1940), организатор Красной армии и один из создателей советского государства, с сентября 1917 г. — председатель Петроградского Совета, а затем и созданного им Военно-революционного комитета, в первом советском правительстве — нарком по иностранным делам, в 1918–1924 гг. — нарком по военным и морским делам.

...это была одна странная женщина, — Вера Ивановна Маркелова... — А.Н. Шустов высказал предположение, что прототипом В.И. Маркеловой стала поэтесса Вера Александровна Меркурьева (1876–1943). См.: К-К, ММ, 2001. С. 720.

Она чувствовала убийство не только как подвиг, но и как грех. И это было нужно, потому что подвигом одним нельзя насытить душу. <...> И Катя в безнадежности окружающего чувствовала, что летит ее душа камнем на дно пропасти, и чувствовала, что так надо.

Тогда ей было непонятно иное отношение к делу, которое сквозило у Александра: в глубине души он еще оставался старым партийным работником, для которого террор, — только подвиг, всячески оправданный, всячески неизбежный, а террорист, — никак, ни одной частью своей души не убийца, а только герой и жертва. — Вопрос об оправданности или неоправданности террора, о том, что же — убийство или подвиг — составляет его сущность, не мог не волновать Елизавету Юрьевну. Л. Макаров в статье «Мать Мария и русское студенческое христианское движение (1932–1935)» приводит такое свидетельство об отношении ее к террору: «В юности она была социалисткой-революционеркой и, вспоминая прошлое, так говорила о терроре и террористах: “Люди, которые погибали, — герои; люди, которые не погибали, — несчастные, потому что единственное оправдание за участие в терроре — смерть; люди, которые организовывали террористические акты, — негодяи. Сама тема — участие в терроре — не может быть предметом деклараций, она очень интимна” (по записи 3 июня 1935 года)» (Вестник РХД. 1980. № 131. С. 358). Об отношении матери Марии к террору см. также: Богат Е. Мать Мария: мифы, версии, достоверности // Юность. 1986. № 4. С. 86–92.

Тема взятия на себя греха и необходимости падения «на дно пропасти», в «Равнине русской» связанная с образом Кати, звучит также в переписке Е.Ю. Кузьминой-

Караваевой с А.А. Блоком (см. письма от 19 января 1914 г. и от 15 февраля 1914 г.) и в ее ранней повести «Юрали» (1915).

КЛИМ СЕМЕНОВИЧ БАРЫНЬКИН

Повесть.

Впервые: ВР. 1925. № 7/8. С. 3–37; № 9/10. С. 3–38. Подпись: Юрий Данилов. Публикуется по этому изданию.

Отклики: Горбов Д. У нас и за рубежом. М.: Федерация, 1928. С. 73–74. См. также: Русские писатели: 1800–1917: Биографический словарь: В 5 т. М.: Большая российская энциклопедия, 1994. Т. 3. С. 210; Каухчишвили Н.М. Повествовательная проза матери Марии // Russian Literature. 2000. Vol. 46. № 4. С. 437–451.

Переизд.: К-К, ММ, 2001. С. 493–553.

I

И так будет, пока тебе не покажется, что ты даже не идешь вовсе, а давно уже растаял и растворился в золоте солнечного неба, в золоте солнечной пшеницы. — Повесть «Равнина русская» заканчивается желанием героини, Кати Темносердовой, раствориться в бескрайних российских просторах, стать их частью. Следующая повесть начинается с лирического описания кубанской природы, представляющего собой реализацию такого желания. Тем самым повести оказываются не изолированными произведениями, а звеньями единого сюжета.

...такой седой древностью повеет <...> от потемнелого золота скошенных полей, что просто неудивительно было бы увидеть вдали смуглую Руфь, собирающую колосья на полях Вооза. — От библейского образа Руфи получил свое название и сборник стихов Е.Ю. Кузьминой-Караваевой «Руфь» (1916).

IV

Мукден ли и Цусима были причиной пылающей лихорадки, которую мучилось государство Российское, они ли занесли народное тело ядовитой занозой, — или, обратно... — После поражения русских войск при Мукдене и Цусиме Русско-японская война 1904–1905 гг. завершилась победой Японии. В России вспыхнула революция 1905 г. О Цусиме см. также примеч. к очерку «Друг моего детства (с. 553).

ЙОТА

Рассказ.

Впервые: Д. 1924. 1 июня. № 475. С. 7. Подпись: Юрий Данилов. Публикуется по этому изданию. Не переиздавался.

Мотив «йоты» возникает также в статье матери Марии «Религия и демократия» (Д. 1925. 9 окт. № 822. Подпись: Ю. Данилов. Переизд.: ММ 1, 1992. С. 280).

...а там, в центре, просто говорят, слов не боятся: «с Христом или с антихристом»; а другой доказывает, что таинства Диониса близки сокровенному смыслу Евангелия. — См. также мемуарные очерки «Последние римляне» (1924) и «Встречи с Блоком» (1936), в которых теми же штрихами рисуются «среды» на «Башне» Вячеслава Иванова. Во «Встречах с Блоком» описано, как с тем же вопросом: «С кем вы — с Христом или с Антихристом?» — Д.С. Мережковский обращается к мужу Е.Ю. Кузьминой-Караваевой. О поиске точек соприкосновения дионисийства с христианством, характерном для мысли Вяч. Иванова, см. соответствующее примеч. к очерку «Последние римляне» (с. 555–556).

...я рассказывал ему о судьбе Ярославского восстания, о том, как потом глумились большевики над своими жертвами. — 6–21 июля 1918 г. в Ярославле произошло одно из самых крупных и хорошо организованных антибольшевистских восстаний, представлявшее собой первую попытку создать единый антибольшевистский фронт. Восстание, поднятое Союзом защиты родины и свободы, созданным Б.В. Савинковым, было подавлено. По оценке историка С.П. Мельгунова, в ходе сразу начавшейся расправы над повстанцами большевики расстреляли 428 чел. (см.: Мельгунов С.П. Красный террор в России. М.: СП «РИУСО», 1990. С. 45).

И блажен, кто не соблазнится. — См. Мф 11: 6; Лк 7: 23.

Даже колдунью Аендорскую каким-то образом с Распутиным сравнил. — Эпизод посещения библейским царем Саулом аендорской колдуньи см. в: 1 Цар. 28.

Йота, помнишь, — йота, что по Писанию изменить нельзя. Пока ни одна йота неизменна, до тех пор Писание, — истина, а как изменишь хоть йоту, — все ложью становится. — Евангельская реминисценция, ставшая смысловым центром всего рассказа: «Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все» (Мф 5: 18).

СОСЕДИ

Рассказ очеркового типа.

Впервые: Д. 1926. 21 марта. № 960. С. 3. Подпись: Юрий Данилов. Публикуется по этому изданию. Не переиздавался.

Милые кривульки человеческие... — Наиболее полное развитие образ человеческих «кривулек» получает в повести «Несколько правдивых жизнеописаний» (см. примеч. на с. 619).

И вошла тут в столовую теща эта слепая, его не учуяла, к буфету подобралась, стул подставила, сама на стул этот вскарабкалась, мешок бумажный с сахаром напирала и давай сахар горстями есть. — Сходный эпизод описан и в повести «Несколько правдивых жизнеописаний».

ЖУТКОЕ

Очерк.

Впервые: Д. 1926. 3 янв. № 894. С. 2. Подпись: *Юрий Данилов*. Публикуется по этому изданию. Не переиздавался.

Евгения, императрица Франции (1853–1871) — супруга Наполеона III, время правления которого (1852–1870) вошло в историю Франции как «Вторая империя». После низложения Наполеона III в 1870 г. удалилась в Англию.

...что наш русский Левко в лунную ночь не увидит остов железных когтей сквозь кошачьи крепкую руку... — Левко — герой «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя. Своей невесте Левко рассказывает историю («Майская ночь») о панночке, мачеха которой была ведьмой, оборачивавшейся черной кошкой с железными когтями. Ведьма, черная кошка и «когти панночкиной матери» упоминаются и далее в очерке «Жуткое».

Де Жанлис, графиня (1746–1830) — французская писательница, автор многочисленных сентиментальных романов, весьма популярных в России в первой четверти XIX в.

Калиостро Алессандро (1743–1795) — знаменитый итальянский авантюрист, заявлявший о себе как о чародее и врачевателе.

Шатобриан Франсуа Рене (1768–1848) — французский писатель, один из основоположников романтизма в европейской литературе.

...знающая, что Вильгельма Второго на земле не ждет никакое наказание... — Фридрих Вильгельм Виктор Альберт Прусский (1859–1941), последний император Германской империи и король Пруссии (1888–1918). После революции в Германии в ноябре 1918 г. отрекся от престола и поселился в Нидерландах. По Версальскому мирному договору как виновник войны подлежал суду Международного трибунала, но правительство Нидерландов отказалось его выдать.

По Эдгар Аллан (1809–1849) — американский писатель и поэт, основоположник американского романтизма, автор детективно-фантастических рассказов.

...наше дело при земном ветре и под земным солнцем упорно и упрямо волочить свой плуг. — Библейская тема связи земного труда с изгнанием Адама из рая: «И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят» (Быт 3: 23).

НЕПОБЕДИМАЯ

Рассказ.

Источник: рук., переписанная рукой С.Б. Пиленко, б.д. Подпись: *Ю. Данилов* (рукой Е.Ю. Скобцовой) (ГАРФ. Ф. 5878. Оп. 1. № 92, по архивным материалам газеты «Дни»). Публикуется впервые.

На французском языке в переводе Е.Д. Клепининой-Аржаковской см.: *D'invincible // Le Sacrement du Frère*. 2me éd. Paris: Éditions du Cerf, 2001. P. 293–298.

РЯЖЕННЫЕ

Рассказ новеллистического типа.

Источник: рук., б.д. (БАР. Mother Maria Papers. Box 1). Публикуется впервые.

В Бахметьевском архиве Колумбийского университета рукопись данного рассказа содержится в тетради, классифицированной С.Б. Пиленко как «1я книга. Вильпре, Медон». Там же имеется более поздняя надпись рукой С.Б. Пиленко на титульном листе: «Мать Мария еще не была монахиней и подписывалась Елизавета Скобцова, или псевдонимом “Юрий Данилов”» и датировка той же рукой сверху титульного листа: «Эта книга. Вильпре — 1926. 1929–30. Медон — 1928 и 1929–30». В той же первой тетради находятся рукописи рассказа «Вадим Павлович Золотов» и первоначального варианта повести «Канитель». Даты, стоящие на тетради, позволяют предположить, что работа над этими произведениями велась в середине 1920-х гг.

Вытащит истрепанный роман Вернера... — Возможно, речь идет об одном из романов немецкой писательницы Элизабет Вернер (наст. имя и фам. Елизавета Бюрстен-Биндер; 1838–1918). Ее сочинения в переводе на русский язык выходили в России перед Первой мировой войной: в Санкт-Петербурге в издательстве А.А. Каспари в качестве приложения к журналу «Родина» за 1913–1914 гг., в Москве в издательстве М.Д. Ефимова в 1911–1914 гг.

Ветер, словно огромной метлой улицу метет, в телеграфных проводах, как в паутине муха путается и визжит протяжно. — Образ мухи, возможно, отсылает к роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Ср., например: «Вдруг слышался мгновенный сухой треск, как будто сломали лучинку, и все опять замерло. Проснувшаяся муха вдруг с налета ударилась об стекло и жалобно зажужжала» (ч. 3, VI). Или далее: «В комнате была совершенная тишина. Даже с лестницы не приносилось ни одного звука. Только жужжала и билась какая-то муха, ударяясь с налета об стекло» (Там же).

ВАДИМ ПАВЛОВИЧ ЗОЛОТОВ

Рассказ новеллистического типа. Предположительная датировка — вторая половина 1920-х гг. (см. примеч. к рассказу «Ряженные»).

Источник: рук., б.д., перечеркнутая (БАР. Mother Maria Papers. Box 1). Заголовок в рук.: *Без заглавия*. Публикуется впервые.

Другие источники: маш. копия, б.д. Подпись: *Елиз. Скобцова* рукой С.Б. Пиленко (Арх. о.С.Г.).

Кто она? — У нее было очень трудное детство. Мать ее швейкой была. <...> Потом за носильщика мать замуж вышла, а ей, благодаря исключительным способностям, удалось на стипендию в гимназию поступить. — Прототип горбунии Александры Семеновны, по всей видимости, — реальное лицо, описание которого встречается в тексте воспоминаний матери Марии о Блоке (см. примеч. на с. 562).

КАНИТЕЛЬ

Повесть.

Источник: рук., б.д. (БАР. Mother Maria Papers. Box 1). Публикуется впервые.

В Бахметьевском архиве Колумбийского университета имеются два варианта текста данной повести: публикуемый окончательный вариант «Канители» с правкой рукой матери Марии и незаконченный набросок первого варианта повести (воспроизводится в наст. изд., с. 491). Даты, стоящие на тетради с наброском, позволяют предположить, что работа над этим произведением велась во второй половине 1920-х гг. (см. примеч. к рассказу «Ряженные»).

Рукопись наброска указывает также на тесную связь «Канители» с рассказами «Ряженные» и «Вадим Павлович Золотов», задуманными как единое произведение, которое на определенном этапе творческого процесса оказалось расчлененным на три различных рассказа. По изначальному замыслу под крышей одного дома живут не только герои «Канители», но и горбунья Саша, описание которой соответствует описанию Сашеньки из «Ряженных». Линия дружбы Саши с Мавриди становится самостоятельным сюжетом, развитым в рассказе «Вадим Павлович Золотов».

Одним из результатов такого разветвления сюжетных линий и переноса их в другие произведения стал тот факт, что в рукописи окончательного варианта «Канители» в некоторых местах вместо фамилии Столцовых встречается фамилия Полозовых — очевидно, первоначальный вариант фамилии главных героев, перешедшей потом в рассказ «Ряженные», действие которого происходит именно в доме Полозовых. В публикуемом варианте рассказа данное изменение фамилии с целью унификации текста специально не оговаривается.

Характер правки окончательного варианта рукописи отличается, прежде всего, вычеркиванием автором довольно крупных кусков текста, по художественным соображениям не вошедших в окончательный вариант повести. Наиболее значимые смысловые отрывки из зачеркнутого текста воспроизводятся далее в примечаниях.

В настоящем издании текст повести иллюстрирован рисунками матери Марии, которые в рукописи следуют сразу за черновой редакцией (БАР. Mother Maria Papers. Book 1).

I

После: Любой отрезок жизни, час один, прожитый человеком, — требует тома для описания своего. — *было:*

Вот человеку курить захотелось, но лень до спичек на столике руку дотянуть; потом одну секунду подумал и протянул руку к спичкам; дальше вспомнился вчерашний разговор случайный вечером, после чая, и какая красная шея была у собеседницы, в складках; а за этим случайным разговором, — то, что вообще все на свете надоело, — и эти домашние чаепития, и чаепития в гостях, что надо начинать все с начала, если можно начать, — а тут папироса потухла, — и минуту человек сомневается, зажечь ли ее вновь или бросить окурок.

И так мелочь за мелочью, мелочь за мелочью, — будто в пыль рассыпается человек, и неизвестно, что в нем одним общим именем назвать можно. Даже телесного единого ощущения нет в человеке. Идешь, — пятки свои чувствуешь, или одежду на плечах, или щекотание волос за ухом, а единства общего не чувствуешь. И единой оказывается только точка одна, — воспринимающего, она — эдакое всевидящее око бесстрастное, что

из-под всех одежд телесных и душевных в скуке холодной, холодной, наблюдает, потому что не наблюдать не может. Точка едина, око всевидящее — едино, не имеет при себе прилагательного, потому что всякое прилагательное это уже из внешнего, доступного наблюдению, из одежд душевных или телесных.

После: о сотой или тысячной доле того, что на самом деле знаю. — *было:*

Впрочем, оправданием мне может служить то обстоятельство, что все живые и выдуманные герои всех романов, повестей и рассказов в мире всегда показаны в самых своих незначительных проявлениях.

Показать всего, до конца, человека нельзя. Это значило бы сотворить человека, воплотить его так, что вот он оторвется от бумаги и заговорит.

Чувствую я, что, откровенно сознавшись в том, что помимо воли своей утаю большую часть истины, этой самой откровенностью я как бы не откровенничаю, а избираю лишь удобную позицию для самозащиты и самооправдания. Канительную жизнь облекаю в канитель умолчания, в заострение каких-то углов, в указание на условные вехи, — а там пусть каждый о темных провалах, не освещенных в этой повести, сам как может и хочет догадывается.

Чувствую это и в чувстве таком сознаюсь. Но думаю, что догадку я подсказать сумею, а не то что провал провалом оставлю.

В настоящее время происходит этот отбор будущих предков сверхчеловека. — Поднятая в «Канители» тема сверхчеловека вновь отсылает к внутренней полемике с Ф. Ницше, начатой в первом прозаическом произведении Е.Ю. Кузьминой-Караваевой «Юрали». Здесь, в отличие от «Юрали», сверхчеловеческая проблематика подается уже в несколько юмористическом ключе.

После: и по ним устанавливал несомненность своей принадлежности к группе избранных предков сверхчеловечества. — *было:*

Правда, установление этой несомненности было несколько своеобразным. У народа, у демоса — рабочего скота, нету предков. Мало кто из них знает, кто был у него прадедом и даже дедом. Все они люди как бы без роду и племени, без наследственных черт, — и как крупницы одной и той же каши в огромном общем котле.

Александр же Константинович знает точно и на основании документов, что княгиня Ольга была его прабабкой, а другой прабабкой была сестра инокини Марфы, и прадед Михаила Федоровича Романова под локотки поддерживал, когда он на престол вступал, а другой прадед благосклонностью Екатерины пользовался. Наконец, дед его отца, — о нем уж все точно не только по документам, а по преданиям известно, — под Бородиным молодым офицером очень отличился, потом имел очень громкий роман с очень высокою особою и в результате должен был оставить столицу, выйти в отставку и безвыездно жить в отдаленном имении своем. Там он завел порядки английские, сам ходил в клетчатых панталонах и парк разбил на английский образец. Дочерям своим, очень многочисленным, не позволял чай пить, так что пили они его контрабандой, самовар к ним в комнаты проносили из кухни мимо папенькиных окон, обрядив в сарафан, будто дурочку Анютку за локотки ведут. Вообще с дочерьми был он строг непомерно. Всем им под страхом страшного отцовского проклятия замуж запретил выходить, потому что столбцовское состояние было не ахти какое, нищих же плодить он не был намерен, — все достатки должны были остаться в руках немногочисленных наследников, чтобы им обеспечить приличную дорогу к жизненному благополучию.

Одна дочь потом с ума сошла, говорили, что от любви к крепостному садовнику. В сумасшедшем виде портрет матери, писанный масляными красками, к себе в комна-

ту взяла и моченым хлебом кормила. Так накормила, что краска на нижней части лица обсыпалась.

Строг был прадед англоман и с крепостными. Взыскивал за все, порол за малейшую провинность.

И сына — единственного наследника имени столбцовского и продолжателя рода — держал в повиновении и в покорности.

Уж о нем Александр Константинович никак не мог сомневаться, что чутьем своим понял прадед великое назначение Столбцовых быть в избранном роде прадедов сверхчеловека. Видел Александр Константинович, что если естественный этот отбор раньше, до прадеда свершался бессознательно, то с его времени вступил в период, так сказать, научный и этим обеспечивал дальнейшее развитие необходимых для сверхчеловека черт.

II

Напротив абзаца: А между тем никто кроме него об этом не знал. ~ ко всему колоковскому духу у Ольгуши. — *на полях рукописи вписано:* ругается.

III

После «косынки» шла «могила Наполеона»... — «Косынка» и «могила Наполеона» — разновидности пасьянса.

После: Жаль, а сколько времени пришлось зря потратить. — *было:*

Она напоминала любимый рассказ Александра Константиновича о друге его, докторе одном, который карт не только не любил, но никак не мог масти от масти толком различить.

Бывало, смотрит доктор этот на манипуляции Александра Константиновича, никак в толк не возьмет, на каком основании он карты передвигает. А когда тот кончит, то осведомится:

— Вышло?

— Нет, не вышло.

— Жаль. Сколько времени даром пришлось потратить.

После: им одним понятная значительность и тайна. — *было:*

Иногда у Колоколовых бывали гости. Только тогда и Николай дома оказывался. Барышни играли на рояле, танцевали, кокетничали с Николаем. Студенты, однокурсники Николая у него в комнате курили.

Шумно ужинали потом. Александр Константинович рассказывал очень старомодные анекдоты и барышням казался совсем несовременным, но по-старинному любезным и милым. Вера Васильевна хлопотала за чашками, шепталась с горничной и изредка посматривала значительно на Александра Константиновича, — пусть, мол, и молодежь повеселится.

Один только Николай со всегдашним своим серьезно безразличным видом был не шумлив, а наоборот, — шепотком говорил, не острил совсем, на собеседниц глаз не подымал. А когда его оставят в покое, долго рассматривал свои овальные, очень тщательно отделанные ногти.

Молодежь расходилась не очень поздно. Часто Николаю приходилось провожать барышень домой. Он вежливо предлагал им это. Усаживал их в сани. Сам на ходу садил-

ся, всю дорогу говорил простые и незначащие вещи, но с видом таким, что им хотелось скорее освободить его от невольного путешествия.

После: Более точно он не определял этих своих мыслей. — *было:*

Дальше он представлял себе Элладу, знатную и прекрасную, страну лавра и мрамора. Там дух человеческий находил себе выражение в мудром Сократе и во вдохновенном Платоне. Душа человеческая утончалась и выявлялась в Одиссеевом эпосе, в искусстве ваятелей и строителей. И наряду с этим божественное тело человека не было забыто, не было поругано и унижено, как его унизило христианство. Тело имело в Элладе право на радость, и красота телесная почиталась равной божеству.

И от этого легкость и светлость пронизывали всю жизнь, тут только смерть была темной, а все проявления жизни сверкали солнцем и золотом, благоухали степными пряными травами, травами знойных пастбищ Эллады.

После: Что ему до этой девушки, которая долгом своим почитает ненавидеть его?.. — *было:*

Вот у французов есть, пожалуй, эта эллинская легкость жизни. Они умеют не путать радостей духа и радостей тела, они умеют обходиться без лишних тяжестей на пути, не обожествляют страдания, как это заведено христианством.

Но подумавшись до этого, Николай вдруг почувствовал, что и для него жизнь уже отравлена, что он может так рассуждать, а чувствовать так не может, — следовательно, и рассуждения все эти пустые.

После: заснуть, чтобы больше об этом не думать. — *было:*

Вера Васильевна в своей комнате мирно спала. Она ложилась сегодня думая о том, что хорошо до старости настоящую большую любовь донести и ею преобразить всю жизнь.

IV

После: потом за шитье берется и готовит тут же. — *было:* А это очень неудобно, сразу готовить и шить. Каждую минуту руки мыть надо, потому что шитье у нее чистое, аккуратное, — белье шьет она.

V

После: Он вообще больных не любил. — *было:*

А главное, — это шло вразрез со всеми многолетними привычками. Ни разу Вера Васильевна не болела, — все было, как заведено; он изредка прихварывал, — ревматизм ломил ноги, — но это не мешало заведенному. Наоборот, только уют вечерних сидений увеличивало: камин жарче растапливался, Вера Васильевна бывала ласковее и внимательнее, ноги покрывались теплым платком. Одним словом, эта ломота в ногах делала Александра Константиновича еще более значительным. Будто не только волею, а и по чувству долга начинала его лелеять Вера Васильевна. А он от жалости к себе и для большего уюта громко стонал и кряхтел, и следил за ее движениями очень скорбными и страдающими глазами.

После: Он зашел только проститься к Вере Васильевне и спустился вниз. — *было:*

Николай с помощью горничной отвел мать в спальную, спросил, не нужно ли ей чего, и вернулся к себе, прислушиваясь, что делается в комнате у Веры Васильевны.

Он долго не мог заснуть. Через непритворенную дверь доносился кашель и стоны матери.

Пока еще ничего особенного, сильный бронхит, инфлуэнца. — Инфлуэнца или инфлюэнца (*ит. influenza*), устаревшее название гриппа.

После: пробор прямой и взгляд безразличный, — так о чем же тревожиться. — *было:*

Вечером она сказала отцу, чтоб он наверх не ходил, что он там не нужен сейчас. Она все устроит. А сама, купив лимону для лимонада Вере Васильевне и захватив три кусочка сахара, будто у Колоколовых и сахару не найдется, — отправилась на дежурство.

Напротив абзаца: Она вздрогнула от неожиданности, увидав там Николая. — *в рукописи вписано на полях:* Это все не в первую ночь.

VII

...открытки, — одна с картины Бэклина... — Бэклин Арнольд (1827–1901), швейцарский художник-символист, представитель стиля модерн, сочетавший фантастические сюжеты с натуралистической достоверностью.

IX

После: Вера Васильевна слабо улыбнулась и продолжила его мысль. — *было:*
— Ведь так, пожалуй, выйдет, что наш уют, как три аккуратно разложенные масти. И тасует нас невидимая рука.

После: Черную на красную, черную на красную, — до двойки вниз. — *было:*
Но что ни открыли новую карту, все черные, пики, — перекладывать некуда, все места забили.

Он смешал карты:

— Не вышло... Четвертая масть привалила, тут все заняла... Да, уж дом наш...

НЕСКОЛЬКО ПРАВДИВЫХ ЖИЗНЕОПИСАНИЙ

Повесть.

Источник: рук., б.д. (БАР. Mother Maria Papers. Box 1). Публикуется впервые.

Рукописный вариант повести предваряется мемуарным наброском, озаглавленным: «То, что нужно помнить» (воспроизводится в наст. изд., с. 496). Предположительное время написания: середина – вторая половина 1920-х гг.

Все сокращения имен и служебных слов, имеющие место в рукописи, в тексте раскрыты и специально не оговариваются.

I

...ни наша тихая Медынь <...> ни даже съезды неведомого люда в наше Медовое... — Медынь — уездный город Калужской губернии, расположенный на реке Медынка (басейн Оки). Однако к реальной Медыни описываемый город никакого отношения не имеет; в подготовительных материалах к повести (см. набросок «То, что нужно помнить», с. 496 наст. изд.) указано, что топонимическим прототипом города, где разворачиваются события, является Тверь (это подтверждают и подробное топографическое описание Медыни в повести, и упомянутые там географические и экономические особенности города). Вероятно, использование матерью Марией названия «Медынь» связано с художественной концепцией повести. По одной из этимологических версий оно происходит от славянского корня «мёд», что характеризует основной род занятий поселенцев данной местности — борничество. Образ меда закреплен также в названии усадьбы Иконниковых — Медовое. Названия города и усадьбы ассоциативно связаны с образом рая, обетованной земли (земли, где текут молоко и мед); с мифологическим пониманием меда как символа бессмертия, инициации и возрождения; возможно, также с литературными образами патриархальной идиллии, созданными И.А. Гончаровым (Обломовка, Малиновка).

Вместо: Павел Иконников — *в начале повести печатаем:* Федор Иконников (так далее везде у автора).

II

...оказалось два города чрезвычайно центральных. И Медынь, находящаяся между ними, не сумела стать по отношению к ним метрополией, а превратилась в изрядное захолустье. Второй факт, также отразившийся печально на судьбе Медыни, это расписание поездов. Все поезда выходили из соседних центральных городов по вечерам. Ночью скрещивались в Медыни и утром прибывали к месту своего назначения. — В 1851 г. было открыто движение по Николаевской железной дороге, соединившей Тверь с Санкт-Петербургом и Москвой. Эта магистраль и по сей день остается редчайшей в мире по своей прямолинейности. В погоне за прямизной ее создатели проложили дорогу без захода в попутные города, и в результате железнодорожная станция в Твери была удалена от городской черты. До начала XX в. станция вела обособленное существование. К тому же на станции жили по петербургскому времени (Пулковской обсерватории), а в Твери — по московскому. Окончательное включение вокзала в черту города относится к 1930-м гг. (см.: Прогулки по старой Твери. Тверь: А. Ушаков и К°, 1998. С. 176).

...зато огромное пространство занимает Отрочь монастырь. — Отроч (Отрочь) Успенский Пречистый мужской монастырь располагался в Твери на левом берегу Волги, при впадении в нее реки Тверцы. По словам летописца, монастырь был основан в 1265 г. «тщанием и рачением великого князя Ярослава Ярославича Тверского и великия княгини богомудрая Ксении, по совокуплении их законного брака в четвертое лето по прошению и молению любимого его отрока Григория, а во иноческом чину Гурия». Согласно преданию, у Тверского князя Ярослава Ярославича был любимый «отрок» (младший дружинник) Григорий, которому князь особо доверял. Влюбившись в невесту отрока, князь женился на ней. В отчаянии Григорий оставил княжескую службу, переоделся в ветхую крестьянскую одежду и ушел «незнамо куда». В устье Тверцы, «в боровом месте», он срубил себе келью и часовню и стал жить здесь безмолвным отшельником. Позже

на этом месте возник монастырь. Возможно, упоминание Отроч монастыря связано с важной для повести в целом темой отрочества как времени чистоты и беспристрастности взгляда — повествователем оказывается молодой человек, младший (приемный) сын в семье Иконниковых, ставящий перед собой цель: создание «правдивых жизнеописаний».

В XVI в. в монастыре в ссылке и заточении были митрополит Филипп и преп. Максим Грек. В конце XIX в. в архитектурный ансамбль монастыря входили: Успенская церковь (построена в 1722 г. на месте храма XIII–XV вв.), двухэтажная каменная церковь Петра и Филиппа (XVII в.), в подвале которой в 1900 г. была устроена часовня в память митрополита Филиппа, церковь во имя Великомученицы Варвары, трехэтажная колокольня, двухэтажный настоятельский корпус, братские кельи, хозяйственные постройки и ограда с четырьмя башнями и двумя воротами. Всего монастырю принадлежало около 295 десятин земли. В 1918 г. монастырь был закрыт, в середине 1930-х гг. все его постройки, кроме Успенского собора, были снесены (см.: Тверская область: Энциклопедический словарь-справочник / под ред. М.А. Ильина. Тверь: Тверское книжно-журнальное изд-во, 1994. С. 187; Низовский А.Ю. Православные храмы и монастыри. М.: Вече, 2005. С. 57–58).

...старинный собор с огромным темно-синим куполом, а по куполу золотые звезды. — По-видимому, Е.Ю. Скобцова описывает Спасский (Спасо-Преображенский) собор в Твери, который находился на Соборной площади и являлся архитектурной доминантой центральной части Твери. Согласно описанию 1855 г., собор выглядел следующим образом: «Весь из белого камня, Византийской архитектуры <...>; выстроен между 1689 и 1696 годами попечением и иждивением Тверского Архиепископа Сергия, и им же в 1696 году освящен. Он о пяти главах, крытых простым железом и окрашенных темно-голубою краскою с медными вызолоченными яблоками. Средняя глава украшена разной величины медными вызолоченными чрез огонь звездами с таким же сиянием. На главах кресты железные, осьмиконечные, вызолочены, с коронами. <...> каждый из них [крестов] прикреплен к главе своей четырьмя железными цепями. Крыша на соборе железная окрашенная зеленою краскою» (см.: Список церковных и ризничных вещей, древностей и библиотеки Тверского Кафедрального Преображенского собора. Ч. I // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Ф. 834. Оп. 3. Д. 3121. Л. 1об. Цит. по: Салимов А.М. Тверской Спасо-Преображенский собор. Тверь: АНТЭК, 1994. С. 236). В повести храм описывается как одноголовый.

От собора начиналась главная улица... — Вероятно, имеется в виду главная улица центральной части Твери, до 1919 г. называвшаяся Миллионной, ныне Советская (Тверская область... С. 237).

...и тянулась тоже до исторического места, — круглой площади, дома в ней с таким внутренним ущербом были, что вся площадь круглой казалась. Тут был дом губернатора, земская губернская Управа и Казенная палата. — Очевидно, в сознании Е.Ю. Скобцовой совместились две площади Твери, спроектированные архитектором П.Р. Никитиным. Одна из них — Площадь присутственных мест (ныне площадь Ленина), ансамбль которой составляют четыре здания, образующие восемь углов (отсюда ее первое название — Восьмиугольная). На ней находились дома: № 32, в котором с 1799 г. располагалась резиденция тверского губернатора; № 11, который был построен в 1783 г. для губернского Правления и Казенной палаты («присутственных мест», отсюда одно из названий площади). Вторая — Почтовая площадь (ныне Советская) — имеет форму полукруга (ее первое название — Полуциркульная). Третье учреждение, описанное в по-

вести, — губернская земская Управа — на самом деле помещалось с 1896 г. на Почтовой-Полуциркульной площади в д. 44, на ней же были расположены дома с «внутренним ущербом» (Тверская область... С. 146, 237).

...дом Товарищества мелкого кредита... — Имеется в виду одно из многочисленных учреждений мелкого кредита, которые появились в Российской империи в начале XIX в. по указу Александра I. На основании Положения о лифляндских крестьянах, утвержденного 26 марта 1819 г., при сельских волостях на средства местных жителей могли основываться небольшие кредитные учреждения. Они выдавали ссуды под поручительства и открывали целевые кредиты. После отмены крепостного права в 1861 г. крестьянские общины, члены которых получили личную и имущественную самостоятельность, остро нуждались в средствах. Если раньше помещик или государство снабжали крестьян семенным фондом и орудиями труда, то после 1861 г. общины были вынуждены позаботиться о себе сами. Высочайше утвержденное Положение об учреждениях мелкого кредита в июне 1904 г. ввело значительные облегчения, открыв доступ к ним артелям, товариществам и обществам, образуемым сельскими хозяевами, земледельцами, ремесленниками и промышленниками, обществам волостным, сельским и т.д. В Твери дом Товарищества мелкого кредита располагался за Волгой, в деревне Лошкарево (см.: Адрес-календарь Тверской губернии на 1913 год. Тверь, 1913. С. 6).

...бухгалтера Митяйко Ивана Андрейча и жены его Ксении Степановны. — Жена Митяйки фигурирует в повести под двумя именами: Аксинья и Ксения Степановна. Изменение имени героини связано с изменением ее социального статуса. Как жена мужика и деревенская жительница она носит имя Аксинья. Однако, соглашаясь стать женой бухгалтера Митяйки, она обретает имя Ксении Степановны.

Так граница идет: ну, по обрыву реки все знают, что вот столько-то сажений берега речного, — иконниковское; потом граница идет рядом с городским садом; в самой чаще дикой и непроходимой: вал не вал, забор не забор, а препятствие. — Возможно, создавая образ усадьбы Медовое, Е.Ю. Скобцова использовала черты родового имения своего первого мужа, Д.В. Кузьмина-Караваева, расположенного в деревне Борисково Бежецкого уезда Тверской губернии, в котором она гостила летом 1911 г. Так же как и в повести, главный усадебный дом в Борискове был окружен старым парком, окаймленным неглубоким рвом и валом (см.: Восхождение: О жизни и творчестве Е.Ю. Кузьминой-Караваевой: К 50-летию со дня героической гибели матери Марии: Сборник / сост. Д.В. Куприянов; науч. ред. А.Н. Шустов. Тверь: Тверское областное книжно-журнальное изд-во, 1994. С. 49). О пребывании Елизаветы Юрьевны в Борискове вспоминает художник Д.Д. Бушен: «Летом мы жили, до ее разрыва с Митей, в имении Кузьминых-Караваевых — Борискове Тверской губернии Бежецкого уезда. У нас была общая мастерская. Она живописала. И я живописал. А рядом по соседству было Слепнево — имение Гумилевых. Тогда я первый раз и увидел и его и юную его жену Анну Ахматову» (см.: Из бесед с Д.Д. Бушеном // Елизавета Кузьмина-Караваева и Александр Блок / сост. Л.И. Бучина, А.Н. Шустов. СПб.: РНБ, 2000. С. 218).

Потом непонятно каким выкрутасом выходит Медовое железной калиточкой в самый центр города, между двумя огромными магазинами. Уже никто никогда не догадается, что эта калиточка в тополевую аллею ведет, а потом через лужайку во фруктовый сад, а дальше к самому дому. — Образ калиточки, отделяющей городскую суету от сказочного спокойствия дома и сада, возможно, отсылает к лирической прозе А. Блока «Девушка розовой калитки и муравьиный царь» (1906).

III

Бухгалтер Общества взаимного кредита. — Одно из названий кредитных учреждений того времени наряду с Сельскими, Городскими, Заводскими товариществами, обществами. В Твери Общество взаимного кредита располагалось по адресу: Скорбященская ул., собственный дом (см.: Адрес-календарь... С. 26).

...давай по верхней полке руками шарить. Нашарила кулек с сахарным песком и давай это горстями в рот, горстями в рот. — Фактическая неточность, вероятно, не замеченная автором. Выше о героине сообщалось, что «руку ей правую колесами отрезало». См. также рассказ очеркового типа «Соседи», в котором описывается сходный эпизод.

Отцовские кривульки. — Один из авторских неологизмов матери Марии. Кривульки — люди, обладающие какой-либо необычной чертой характера или биографии. Образ появляется также в рассказе «Соседи».

IV

Ленив, например, совершенно без границ, — лежит на диване, с босых ног и туфли спустил, а толкует, какие в саду вкусные яблоки растут. — Вероятно, имеет место аллюзия на роман И.А. Гончарова «Обломов». Ср., например: «Обломов всегда ходил дома без галстука и без жилета, потому что любил простор и приволье. Туфли на нем были длинные, мягкие и широкие; когда он, не глядя, опускал ноги с постели на пол, то непременно попадал в них сразу» (ч. 1, I).

«Север» — еженедельный литературно-художественный журнал, издававшийся с 1888 г. в Санкт-Петербурге. Издатель: Вс.С. Соловьев, редактор: П.П. Гнедич.

...в Триполитанской войне добровольцем участие принимал... — Война между Италией и Турцией из-за Триполитании и Киренаики, двух областей Ливии (1911–1912).

Их приехало к нам в Медовое трое. Татьяна Александровна Александровская, Виктор Иванович Канатов и Алексей Алексеевич Столбцов. — В рукописи мы видим здесь следы еще одного художественного замысла Е.Ю. Скобцовой, не получившего развития: к списку трех вышеперечисленных героев позднее приписано рукой автора: «и Морев». Депутат I Государственной думы, народный социалист Н.И. Морев упоминается также в очерке «При первых большевиках» (см. примеч. на с. 574).

Напротив абзаца: Виктор Иванович Канатов сразу поразил меня какой-то непобедимой молодостью своей, прямо мальчишеством. ~ но уж, во всяком случае, не жалел. — на полях рукописи помета в виде вставки: Морев.

...сказку про «Веселую девчонку»? — Имеется в виду сказка Федора Сологуба «Веселая девчонка», которая входит в цикл сологубовских абсурдистских миниатюр, опубликованных отдельным изданием в 1905 и 1906 гг. Позднее Ф. Сологуб объединил этот цикл с программными статьями («Театр одной воли», «Мечта Дон Кихота (Айседора Дункан)», «Демоны поэтов» и др.) в сборник под общим названием «Заклятие стен». Текст сказки воспроизведен Е.Ю. Скобцовой неточно, с добавлением и заменой слов,

что призвано имитировать воспроизведение героиней текста сказки по памяти (см.: Сологуб Ф. Собрание сочинений: В 6 т. М.: Интелвак, 2001. Т. 2. С. 429).

Хотелось мне на возвратном пути после каких-нибудь похорон на катафалке под балдахинот от кладбища до города доехать... — Отзвук петербургских детских воспоминаний, связанных с наблюдением за картиной похорон, мы находим и в воспоминаниях матери Марии о собственном детстве. Ср.: «Друг моего детства» (с. 44 наст. изд.).

...а одна усталость очень исключительная такую роль играет. — Мотив усталости, звучащий в ранних стихах Е.Ю. Кузьминой-Караваевой, в «Юрали» и в «Равнине русской», оказывается характерной чертой предреволюционного настроения.

...мудрой девой, неспящей, но уж, пожалуй, чересчур мучительно и напряженно караулящей час, когда грядет судьба ее. — Образ восходит к евангельской притче о мудрых и неразумных девах (см. Мф 25: 1–13).

Бывает это у редких женщин, — назвать можно — покровность, — поняла. — Слово «покровность» (от «покров», «покрывать») встречается также в дневниковой записи Е.Ю. Скобцовой от 7 марта 1926 г., сделанной сразу после кончины ее дочери Насти: «Столько лет, — всегда, — я не знала, что такое раскаяние, и сейчас ужаснулась ничтожеству своему. Еще вчера говорила о покровности, все считала себя властной обнять и покрыть собою, а сейчас знаю, что просто молиться, — умолять, я не смею, потому что просто ничтожна» (с. 456 наст. изд.). В связи с образом Покрова Божьей Матери это слово встречается в лирике матери Марии 1940-х гг. Например, в стихотворении из цикла «Покров» (1942):

Мать, мы с тобою договор,
Завет мы заключим любовный, —
Птенцов из гнезд, зверей из нор
Принять, любить, объять покровно...
(К-К, ММ, 2001. С. 187).

...«древнеисторического вида дочь ваша, Семен Алексеевич, — не девушка, а Апшерон настоящий». Это он, видимо, вместо Першерон Апшерон сказал. — Апшерон, или Апшеронский полуостров, — полуостров в форме остроугольного треугольника на западном побережье Каспийского моря в восточной части Закавказья (Азербайджан). Першерон — тяжеловесная упряжная порода лошади, с примесью арабской крови, что придает ей элегантность. У нее широкий лоб, утонченная голова, выразительные глаза, небольшие копыта, короткая и тяжелая шея. Лошадь отличается добронравием, усердием в работе, выдерживает длительные нагрузки, используется как ломовая лошадь, водовоз. Сравнение Кати Иконниковой с першероном обусловлено как внешним (тяжелая походка героини), так и внутренним сходством: добрый нрав, послушность, способность к тяжелому и длительному труду. Через сравнение с першероном актуализируется тема духовной силы и стойкости внешне ранимой и неуверенной в себе Кати. Эпитет «древнеисторический» может быть отнесен как к полуострову Апшерон, который являлся центром важнейших исторических событий и где сохранились башни и военные укрепления XI в., так и к породе лошади: возможно, рыцари Карла Великого отправились в Великий поход против варваров верхом на предках першерона.

Не воздвигла ли она его здание, стоявшее раньше на песке, не воздвигла ли она его на некрушимои фундаменте? — Образ восходит к евангельской притче о человеке безрас-

судном, построившем дом свой на песке» и «муже благоразумном», построившем «дом свой на камне» (Мф 7: 24–27; Лк 6: 48–49).

...в какой-то чайной на Песках сидели... — Пески — историческое название местности в центре Санкт-Петербурга, между рекой Невой, Невским и Лиговским проспектами. Местность получила название от характера грунта. В конце XIX – начале XX в. территория Песков была застроена главным образом многоэтажными доходными домами (см.: Санкт-Петербург: Энциклопедия. СПб.; М.: РОССПЭН, 2004. С. 651).

...и заставит его по правилам Великого Петра над самой бездной Россию вздернуть на дыбы... — Измененная цитата из поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник». Ср. у Пушкина:

О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной
На высоте, уздой железной
Россию вздернул на дыбы?

Маккормик Сайрус Холл (1809–1884) — американский изобретатель сельскохозяйственных орудий и заводчик. В 1831 г. сконструировал плуг для распашки склонов и механическую жатвенную машину, в 1847 г. открыл в Чикаго предприятие по производству жатвенных машин, в 1857 г. его жатвенные машины поступили на европейский рынок.

Сидела она в нашей медынской каталажке, в общей камере с какой-то воровкой. Камера была с выбитыми стеклами, нары без соломы... — Возможный адрес «каталажки» в Твери: Губернская тюрьма (за Волгой, набережная) либо Исправительное арестантское отделение (за Московской заставой) (см.: Адрес-календарь... С. 6). Ср. с описанием анапской каталажки, в которой довелось сидеть Е.Ю. Кузьминой-Караваевой в 1918 г., приведенным в автобиографическом очерке «При первых большевиках»: «В каталажке освещения не полагалось. Поместили меня в большой камере для вытрезвления пьяных. На нарах не было даже соломы. Окно было разбито и из него немилосердно дуло. Утром к этим подробностям прибавилась разбитая печка, угол у которой был весь в крови: тут, оказывается, бился сумасшедший Школяренко» (с. 124 наст. изд.).

...пошел к Митяйкиному заместителю Демиденкову, — бывшему сидельцу казначейства... — Сиделец — человек, работающий в каком-либо учреждении в качестве дежурного, посыльного, сторожа и т.п. Вероятно, выбор слова «сиделец» позволяет Е.Ю. Скобцовой актуализировать тюремную тематику, так как другое значение этого слова — «заключенный». После революции «бывший сиделец казначейства» Демиденков становится сторожем в тюрьме.

...утро смерти моего отца <...> Небо, алое от зари, на нем четко листья акации... — Ср. с воспоминанием о смерти отца в автобиографическом очерке матери Марии «Встречи с Блоком» (с. 73 наст. изд.).

ПИСЬМА И ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ

ПИСЬМА

К А.А. Блоку

Источник: письма (РГАЛИ. Ф. 55. Оп 1. Ед. хр. 299).

Впервые (выборочно): *Максимов Д.Е.* Воспоминания о Блоке Е.Ю. Кузьминой-Караваевой: [Вступ. ст. к публикации очерка Е.Ю. Кузьминой-Караваевой «Встречи с Блоком»] // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Тр. по русской и славянской филологии. Сб. IX. Литературоведение. Тарту, 1968. Вып. 209. С. 259–264.

Переизд.: *Богат Е.* История одной любви // Литературная газета. 1977. 14 сент. № 37 (4635) (выборочно); *К-К*, 1991. С. 385–400; *К-К*, 1996. С. 136–149; *Елизавета Кузьмина-Караваева и Александр Блок / сост. Л.И. Бучина, А.Н. Шустов.* СПб.: РНБ, 2000. С. 84–100; *К-К, ММ*, 2001. С. 635–649.

Обнаруженные в архиве А.А. Блока И.А. Кривошеиным, сотрудником матери Марии в последние годы ее жизни, эти письма привлекли внимание литературоведа Д.Е. Максимова, публициста Е.М. Богата и ряда других исследователей. Дошедшие до нас ответы Блока приводятся в примечаниях.

Настоящая публикация основана на расшифровке автографов писем, с устранением замеченных неточностей. Автографы писем содержат также «расшифровку» А.А. Блока, который, очевидно, не сразу понимал своеобразный почерк Е.Ю. Кузьминой-Караваевой и в особо трудном читаемых местах надписал над строками ее письма содержание. Часть писем содержит его пометы (дата получения, подчеркнутые карандашом фразы), что отдельно оговаривается в примечаниях.

Первое письмо от Блока Елизавета Пиленко получила в феврале 1908 г. (см. очерк «Встречи с Блоком», с. 76 наст. изд.). Ее первым «посланием» к Блоку был стихотворный экспромт «Каждый был безумно строг...», отправленный 10 декабря 1911 г., совместно с экспромтами В.А. Пяста, В.В. Гиппиуса и О.Э. Мандельштама, после «избрания» Блока «королем русских поэтов» в ресторане «Вена» (РГАЛИ. Ф. 55. Оп. 1. Ед. хр. 375. Л. 14). См. соответствующее примеч. к очерку «Встречи с Блоком» (с. 567).

Переписка Е.Ю. Кузьминой-Караваевой и А.А. Блока продолжалась с апреля 1912 по май 1917 г. В одном из писем (от 1 декабря 1913 г.) Блок, характеризуя поэзию Кузьминой-Караваевой, отмечает: «...мне кажется, что Ваши стихи <...> звучали бы иначе, если бы они не были напечатаны». Думается, что эти слова в равной степени относимы и к ее письмам, наполненным глубокими личными переживаниями, — и словно теряющими эту сокровенность при вынесении на всеобщий суд. Вместе с тем, в органичной связи с очерком «Встречи с Блоком», письма к А.А. Блоку являются уникальным свидетельством ее духовных исканий тех лет, многое проясняющим в выборе и характере дальнейшего монашеского служения. Это голос будущей матери Марии, перед которой открывается путь, — уже намеченный в поэзии и уточняющийся через отношение к Блоку, — определяемый ею как «материнство», как ощущение мистической связанности и способности со-разделить любую муку, путь, по которому пойдет вся ее дальнейшая жизнь, вплоть до крестной смерти в лагере Равенсбрюк.

1

Открытка с видом Бад-Наугейма. Датируется по почтовому штемпелю: Bad Nauheim. 24.04.1912. См. фотокопию открытки на вклейке.

Привет из Наугейма... — Бад-Наугейм — немецкий курорт, известный лечебными соляными источниками, одно из излюбленных мест посещения русской интеллигенции начала века (см. об этом: Огонек. 1910. № 52). Расположен севернее Франкфурга-на-Майне, у подножия горы Иоганнисберг. В Бад-Наугейме несколько раз бывал А.А. Блок, писавший об особой «мистике этих поездок» (см.: Автобиография // СС. Т. 7. С. 16; см. также письма к Л.Д. Менделеевой от 13, 24 июня 1903 г. (СС. Т. 8. С. 57–61); записи от 10 июля 1903 г. (ЗК. С. 48–50); стихотворение «Влюбленность» (1905); цикл стихотворений «Через двенадцать лет» (1909) и др.).

О Бад-Наугейме, по воспоминаниям матери Марии, шла речь во время их бесед с Блоком в 1911 г. (см. «Встречи с Блоком», с. 80 наст. изд.).

2

Дата и место определены предположительно — по содержанию.

...около градинеру воздух морем пахнет... — Градинер (нем. gradieren — градировать, сгущать соляной раствор) — по-русски градирня — устройство для добычи соли выпариванием. В медицине такие грандиозные сооружения под открытым небом используются для лечения озоновыми испарениями.

«Все та же озерная гладь, / Все также каплет соль с градирен», — писал Блок о Бад-Наугейме в 1909 г. в одном из стихотворений из цикла «Через двенадцать лет». В примечаниях поэт поясняет: «Градирни, солины — высокие стены из деревянных клеток, набитых хворостом, который пропускает сквозь себя ветер и механически приводимую в движение соленую воду. Ряд солин стоит в полях с подветренной стороны немецкого курорта Bad Nauheim, благоуханный воздух которого насыщается солью» (Блок А. Стихотворения. Кн. 3: 1905–1914. М.: Мусагет, 1916). Ср. описание в блоковской прозе «Девушка розовой калитки и муравьиный царь» (1906).

В альбоме Блока имеется фотография наугеймовской градирни (ИРЛИ. Ф. 654. Оп. 1. Ед. хр. 403. Л. 40. № 220).

...даже больные в креслах забыли обо всем. — Ассоциация с блоковским описанием в рассказе «Девушка розовой калитки и муравьиный царь», знакомым Е.Ю. Кузьминой-Караваевой по публикации в «Золотом руне» (1907. № 2): «Против солин, задрав ноги и сопя, сидят особы обоого пола с книжками из немецкой библиотеки. Они вдыхают соль ртами и носами и представляют комментарий к тексту: “если соль потеряет свою силу, кто сделает ее соленою”. По крайней мере, судя по их позам, лицам, пиджакам и юбкам, думается, что никакая сила в мире не возвратит им их утраченную соль».

Я сидела целый час на башне во Фридберге. — Фридберг — городок вблизи Бад-Наугейма, одной из достопримечательностей которого является средневековая башня Адольф, возвышающаяся над окрестностями.

Меня там запер садовник, чтобы я могла много рисовать. — Описание упоминаемого сада, окружающего башню, неоднократно приводится А.А. Блоком. См.: письмо к Л.Д. Менделеевой от 24 июня 1903 г. (СС. Т. 8. С. 58–61); прозаический набросок «Девушка розовой двери» от 10 июля 1903 г. (ЗК. С. 6); «Девушка розовой калитки и муравьиный царь» (1906).

Из бад-наутеймских рисунков матери Марии на настоящий момент известна акварель 1912 г. «Бад-Наутейм» (музей А. Ахматовой, СПб., воспроизводится в данном издании).

Иоганнисберг — гора, у подножья которой расположен Бад-Наутейм. Е.Ю. Кузьмина-Караваева жила на Villa Fontana — одной из старейших вилл городка с видом на Иоганнисберг.

Знаете ли Вы здесь потерянную среди полей и яблонь Hollur's Kapell'u? — Холларкапелле — небольшая часовня неподалеку от деревни Окштадт, в настоящее время включенной в состав Фридберга. Окштадт впервые упоминается в источниках 817 г. вместе с соседской деревней Холлар, от которой и сохранилось название часовни. Статуи Богородицы и Христа-Младенца, украшающие восточную часть снаружи, изображены Е.Ю. Кузьминой-Караваевой на одном из ее ранних рисунков (ГРМ. Р. 57347).

На озере лебеди плавают... — Озеро Гроссер-Тайх, где был расположен птичий заповедник. А.А. Блок описывает его в письме к Л.Д. Менделеевой от 2 (15) июня 1903 г., а также в рассказе «Девушка розовой калитки и муравьиный царь»: «...русские, самые непокорные и незаконные люди <...> гуляют в парке и над озером, где совсем сказочные лебеди и туманы».

3

Отметка А.А. Блока о получении 28 ноября 1913 г.

...когда я была у Вас еще девочкой... — Эта встреча подробно описана матерью Марией в очерке «Встречи с Блоком» (с. 76 наст. изд.).

В каждый круг вступая... — Ср. строки из кн. «Руфь»: «И каждый раз, в свершенья круг вступая...» (*Руфь*. С. 65; *К-К*, 1996. С. 56). Метафора пути, выраженная образами спиралевидного восхождения (кн. «Скифские черепки», «Дорога», «Руфь»), отчетливо звучит и в поэзии 1930–40-х гг.: «Замкнулся круг, и ты опять вначале» («Духов день» // *ММ*, 1947. С. 26; То же // *К-К*, *ММ*, 2001. С. 270). Этот образ часто встречается в поэзии А.А. Блока, например: «И душа моя вступила / В предназначенный ей круг» («Вот явилась. Заслонила...») (1906) из цикла «Файна»).

А тяжести я ищу. — См. соответствующее примеч. к «Юрали» (с. 601 наст. изд.).

...дома, в глуши, на берегу Черного моря. — Имение Пиленко находилось неподалеку от Анапы.

...у меня дочь родилась, — я ее назвала Гайана.... — Гаяна родилась 18 октября 1913 г. в Москве.

...не надо чуда, потому что тогда конец миру придет. — Об отказе от «пути чудотворчества» см. примеч. к «Юрали» (с. 600 наст. изд.).

Недавно слышала о Штейнере и испугалась, вспомнив Вас... — Этот эпизод мать Мария упоминает в очерке «Встречи с Блоком», описывая спор с А.Н. Толстым 26 ноября 1913 г.

В 1926 г. Е.Ю. Скобцова возвращается к этим темам и публикует под псевдонимом Дан. Юрьев свои размышления «Теософия и христианство», вызванные докладом Н.А. Бердяева (*Д.* 1926. 23 мая. № 1013. С. 2).

«Каждый душу разбил пополам и поставил двойные законы». — Осталось невыясненным, к какой из ранних книг матери Марии относится данный эпиграф.

Пошло письмо и буду каждый час считать, ожидая Вашего ответа, что Вы его получили. — Сохранился ответ А.А. Блока (от 1 декабря 1913 г.) на это письмо Елизаветы Юрьевны:

«Елизавета Юрьевна, я хотел бы написать Вам не только то, что получил Ваше письмо. Я верю ему, благодарю и целую Ваши руки. Других слов у меня нет, может быть, не будет долго. Силы мои уходят на то, чтобы протянуть эту самую трудную часть жизни — середину ее.

До свидания, мы встретимся когда-нибудь, я перед Вами не лгу. Прошу Вас, думай-те обо мне, как я буду вспоминать о Вас.

Александр Блок.

P.S. «Скифские черепки» мне мало нравятся — это самое точное выражение; я знаю, что все меняются, а Вы — молоды очень. Но все-таки, не знаю почему, мне кажется, что Ваши стихи — не для печати. Вероятно, «Скифские черепки» звучали бы иначе, если бы они не были напечатаны» (ОР РГБ. Ф. 423. № 1. Ед. хр. 18).

Опубл.: СС. Т. 8. С. 430–431; Неизданные письма А.А. Блока / публ. и коммент. З.Г. Минц // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Тарту, 1962. Вып. 119. С. 394–395. Автограф письма воспроизводится в настоящем издании (с. 440).

4

Отметка Блока: «Отв. 1 февр.».

Месяц тому назад я решила издать вторую книгу стихов... — Речь идет о неопубликованной книге «Дорога», в которую вошли стихотворения 1912–1913 гг., написанные в Бад-Наугейме и Анапе. Впоследствии они частично вошли в книгу «Руфь» (Пг., 1916).

Блок упоминает о получении «рукописи стихов от Елизаветы Юрьевны» 21 января 1914 г. (см.: ЗК. С. 202).

Сборник «Дорога» с пометками Блока воспроизводится в книге: Елизавета Кузьмина-Караваева и Александр Блок / сост. Л.И. Бучина, А.Н. Шустов. СПб.: РНБ, 2000. С. 20–75.

Есть два пути: один, — он ясно выражен в отделе «Вестников»... — Один из разделов книги «Дорога», вошедший в книгу «Руфь».

...а другой, — более долгий и трудный, но приводящий к целям первого, — определяет тот порядок, в котором распределены отделы книги. — Книга «Дорога» состоит из следующих разделов: «Перекресток», «Вестники», «Начало», «Земля».

Сегодня же посылаю Вам мою книгу и буду ждать Вашего ответа... — А.А. Блок ответил на это письмо, согласно его отметке, 1 февраля 1914 г., переслав просмотренную рукопись с «техническими» заметками на полях (см.: ЗК. С. 205). Письмо, сопровождающее рукопись, не сохранилось. Книга «Дорога» в настоящее время хранится в ОР РГБ.

5

Место определено предположительно — по содержанию.

Я читала Ваши заметки на полях рукописи... — Текст книги «Дорога» с блоковскими пометками на полях опубликован А.Н. Шустовым в книге: Елизавета Кузьмина-Караваева и Александр Блок. С. 20–75.

У меня сейчас опять, — всю эту зиму, — перепутье. — Схожие образы при описании московского периода жизни возникают и в очерке «Встречи с Блоком»: «В моей жизни затишье, пересадка. Поезда надо ждать неопределенно долго. Жду» (с. 85 наст. изд.).

Поэтому мне необходимо, исключительно для себя, издать книгу. Попытаюсь переработать ее соответственно Вашим указаниям и издам. — Впоследствии «Дорога» была переработана, расширена и, под заглавием «Руфь», издана в Петрограде в 1916 г. (Тип. Акционерного общества типографского дела).

Тогда же книга была подарена А.А. Блоку с дарственной надписью: «Если бы этот язык мог стать совсем понятным для Вас, — я была бы обрадована. Елиз. Кузьмина-Караваева. 20.04.1916». Этот экземпляр в настоящее время находится в библиотеке А.А. Блока (ИРЛИ). Автограф надписи воспроизводится в настоящем издании (с. 447).

6

Датируется предположительно — по содержанию. Место указано на основании изд.: Блок А. Переписка: Аннотированный каталог. Вып. 2: Письма к Блоку. М.: Советская Россия, 1979.

В этот период их общения А.А. Блок отмечает в записной книжке частые телефонные звонки Е.Ю. Кузьминой-Караваевой (записи от 28 октября, 5 ноября, 13 декабря 1914 г.; см.: ЗК. С. 245, 246, 250).

7

На конверте: «Здесь. Офицерская д. 57. Александру Александровичу Блоку».

Если Вы верите, что Вы тесно связаны в моих мыслях с тем путем, который все другое уничтожает... — Этот путь определенно выражен матерью Марией в очерке «Встречи с Блоком»: путь сострадательный, разделяющий «страшную муку» Блока, — что поясняется автором через образы страдающего Христа и Богоматери, со-разделяющей Его крестную муку («Но есть и у нас путь. Вот, ваш крест обоюдоострым мечом входит в нашу душу...») — с. 91 наст. изд.).

О «Богоматеринском пути нашей души» пишет мать Мария в 1930-е гг. в цикле статей «О Богоматери» (см. соответствующее примеч. к очерку «Встречи с Блоком» на с. 571).

Ответ Блока, о котором он упоминает в записях от 24 декабря 1914 г. (ЗК. С. 251), не сохранился.

7а

Дарственная надпись на книге Е.Ю. Кузьминой-Караваевой «Юрали», персланной А.А. Блоку вскоре после выхода (Пг., 1915).

Блок отметил получение книги Елизаветы Юрьевны в записях от 19 апреля 1915 г. (ЗК. С. 261).

В настоящее время книга с автографом хранится в библиотеке А.А. Блока (ИРЛИ).

8

Дженет — Джемете, имение Пиленко вблизи от Анапы. Очевидно, в семейном кругу было принято название *Дженет* (то же написание встречается в рукописи воспоминаний С.Б. Пиленко).

...будто кто-то на рельсы поставил, и приходится только катиться. — Чувство «ведомости» не покидало мать Марию на протяжении всей жизни. «Я просто чувствую по временам, что Господь берет меня за шиворот и заставляет делать, что Он хочет <...> Я не рассуждаю, а повинуюсь», — записывает с ее слов К.В. Мочульский, близкий друг и

помощник матери Марии (см.: Мочульский К. Монахиня Мария (Скобцова). Воспоминания // Третий час (Нью Йорк). 1946. № 1. С. 69).

И только потом начинаешь понимать, что разливается моя сила везде, и я получаю силу отовсюду. — «Сила мне дается непосильная...» — пишет мать Мария в стихотворении, опубликованном одновременно с очерком «Встречи с Блоком» (СЗ. 1936. № 62. С. 185–186; К-К, ММ, 2001. С. 149).

...белый дом на холмах... — Этот образ («И белый дом таинственный и строгий. / Туда нас колокол зовет, зовет...») возникает в поэме Е.Ю. Кузьминой-Караваевой о Мельмоте Скитальце, написанной в середине 1910-х гг. (см.: Кузьмина-Караваева Е.Ю. Мельмот Скиталец // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1986. М.: Наука, 1987. С. 85–102; То же // К-К, ММ, 2001. С. 224–263). Сама поэма восходит к одноименному роману ирландского писателя Ч.Р. Метьюрина (1782–1824).

Образ связан с блоковской пьесой «Песня Судьбы» (1908, опубл. в 1909).

Интересно, что стихотворение, посвященное Е.Ю. Кузьминой-Караваевой («Когда вы стоите на моем пути...»), было включено А.А. Блоком в раздел «Песня Судьбы» (Снежная ночь. М.: Мусaget, 1912. С. 86–87) и в цикл «Фаина» (М.: Мусaget, 1916. С. 229–230), непосредственно связанные с драматической поэмой «Песня Судьбы».

В белом доме они получают всю силу всех; и потом возвращаются к старой жизни, чтобы приобщить к своей силе и других людей. — Впоследствии этот процесс приобщения через отдачу «самого главного» будет определен матерью Марией как «вечный круговорот любви», в котором «отданное духовное богатство не только как неразменный рубль возвращается дающему, но нарастает и крепнет» (Мать Мария. Типы религиозной жизни (1937) // Вестник РХД. 1997. № 176. С. 46; То же // ММ, К-К, 2004. С. 161).

Я бы хотела знать, где Вы будете, потому что легче и напряженнее думается, если знать, куда мысль свою направлять. Напишите мне сюда. Анапа. Ящик 17. Мне. — Ответ Блока мать Мария приводит по памяти в очерке «Встречи с Блоком»:

«Я теперь табельщик 13-ой дружины Земско-Городского союза. На войне оказалось только скучно. О Георгии и Надежде, — скоро кончится их искание. Какой ад напряженья. А ваша любовь, которая уже не ищет мне новых царств. Александр Блок» (с. 93 наст. изд.).

Согласно записям А.А. Блока, он ответил Елизавете Юрьевне 15 июля 1916 г., вскользь отмечая: «Так вот и проходят эти ни с чем по скуке и ненужности не сравнимые дни “великой войны”» (ЗК. С. 314).

10

Место определено предположительно — по содержанию.

...Чтоб был ты к утренней борьбе / И в полночь — мудрый и готовый. — Стихотворение навеяно строками из последнего письма А.А. Блока к Е.Ю. Кузьминой-Караваевой: «О Георгии и Надежде, — скоро кончится их искание. Какой ад напряженья». Строка «Пусть длится напряженья ад...» представляет собой прямую реминисценцию из этого письма.

11

Блок упоминает о получении писем от Е.Ю. Кузьминой-Караваевой 21 и 28 августа 1916 г. в письмах к матери (СС. Т. 7. С. 470, 473).

Когда я была этой зимой у Вас... — Зимой 1915–1916 гг. Встречи и разговоры этого времени подробно описаны в очерке «Встречи с Блоком».

...потому что иначе они уйдут, но вернуться и не будут обессилены. — Аллюзия на евангельскую притчу о семи злых духах (см. Мф 12: 43–45).

12

В письме ошибочно указана дата 5.XI.1916, в то время как описываемые события относятся к сентябрю 1916 г. Дата исправлена по содержанию.

Особенно трудно сознание, что каждый только в возможности вестник Божий, а для того, чтобы воплотить эту возможность, надо пройти через самый скудный и упорный труд. — Тема «трудничества» как основы творческого преобразования мира, отчетливо звучащая уже в «Руфи» (разделы «Преображенная земля», «Последние дни»), особую силу набирает в лирике 1930-х гг. (см.: *Стихи, 1937*).

И кажется мне, что если это достигнуто, то наступает сочетание, дающее полную уверенность в вере и полную волю, тогда закон, данный Богом, сливается с законом человеческой жизни. — Та же тема звучит в поэзии Е.Ю. Кузьминой-Караваевой:

Теперь свершилось: сочетаю
В один и тот же Божий час
Дорогу, что приводит к раю,
И жизнь, что длится только раз.

(«Тружусь, как велено, как надо...» // *Руфь*. С. 119; То же // *К-К, ММ, 2001*. С. 108).

14

Место указано на основании изд.: Блок А. Переписка: Аннотированный каталог.

Мне приходит мысль, что Вы еще в городе. — В октябре 1916 г. Блок приезжал в отпуск в Петроград.

15

Место указано на основании изд.: Блок А. Переписка: Аннотированный каталог. Письмо внутригородское: А.А. Блок в апреле 1917 г. вернулся в Петроград.

Если можете, то протелефонируйте мне 40-52... — А.Н. Шустов сообщает, что это номер квартирного телефона родной тети Е.Ю. Кузьминой-Караваевой — Е.Д. Цейдлер, проживавшей в Петрограде по адресу: Чернышов пер., д. 14 (см.: *К-К, ММ, 2001*. С. 739 (примеч.)).

К Б.А. Садовскому

Источник: письмо (РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 1. Ед. хр. 81).

Впервые: *К-К, ММ, 2001*. С. 650.

В настоящем издании впервые публикуется полный текст письма. Расшифрованы те места, которые прежде оставались неясными.

Год определен приблизительно — по содержанию.

В поисках издательства для второй книги стихов (см. письма к А.А. Блоку от 27 ноября 1913 г., 19 января 1914 г. и 15 февраля 1914 г.) Е.Ю. Кузьмина-Караваева в начале декабря 1913 г. обращается к Борису Александровичу Садовскому (наст. фам. Садóвский; 1881–1952), поэту и литературному критику, выступившему в поддержку ее первой книги стихов «Скифские черепки» (см.: Русская молва. 1912. 17 дек.).

...познакомить меня с издателем «Альционы». — Частное издательство «Альционы» существовало в Москве в 1910–1923 гг. Его руководителем был А.М. Кожебаткин (1884–1942), который одновременно некоторое время являлся и секретарем издательства «Мусaget».

...увидимся в Эстетике. — «Общество свободной эстетики», теоретический семинар при издательстве «Мусaget», место встречи мыслителей и художников. О том, что эта сокращенная форма была принята в литературных кругах, упоминается, например, в воспоминаниях Б.А. Садовского (см.: Записки 1881–1916. Ч. 6 // РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 1. Ед. хр. 1. С. 18–19; опубл.: Садовской Б. Записки (1881–1916) / публ. С.В. Шумихина // Российский архив: История отчества в свидетельствах и документах XVII–XX вв.: Альманах. М.: Студия ТРИТЭ; Российский архив, 1994. [Т.] 1. С. 155).

К С.П. Боброву

Источник: письмо (РГАЛИ. Ф. 2554. № 1. Ед. хр. 39).

Впервые: К-К, ММ, 2001. С. 650.

Место определено предположительно, по письмам к А.А. Блоку того же периода.

В конце февраля 1914 г. в издательстве «Центрифуга» вышел сборник «Руконог», в который вошли три стихотворения Е.Ю. Кузьминой-Караваевой: «По вечерам горят огни на баке...», «Исчезла горизонта полоса...», «В небе угольно-багровом...». Сборник издал Сергей Павлович Бобров (1889–1971) — писатель, литературный критик.

К И.С. Книжнику-Ветрову

Источник: письмо (АДП. Ф. 352. Ед. хр. 1864).

Впервые: К-К, ММ, 2001. С. 650–651.

Место определено по содержанию.

Книжник-Ветров Иван Сергеевич (Израиль Самойлович (Соломонович); 1878–1965) — историк, библиограф, журналист.

Вот продолжаю я заниматься своими академическими лекциями... — В этот период Е.Ю. Кузьмина-Караваева изучала богословские дисциплины и экстерном сдавала их профессорам Санкт-Петербургской духовной академии. Мать Мария подробно описывает этот период своей жизни в первоначальном варианте воспоминаний «Встречи с Блоком» (см. очерк «Блок», с. 489 наст. изд.).

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

7 марта 1926

Источник: рук., переписанная рукой С.Б. Пиленко (БАР. Mother Maria Papers. Box 1). Публикуется по этому тексту.

Другие источники: рук., переписанная рукой С.Б. Пиленко, с припиской в конце страницы той же рукой: «Из записных книжек матери Марии несколько отрывков» (Арх. о.С.Г.); маш. копия (Арх. С.В.М.).

Запись цитируется в книге: *Гаккель С., прот.* Мать Мария: (1891–1945). Париж: YMCA-Press, 1980. С. 20–21.

Запись о смерти дочери — Насти Скобцовой (январь 1922 – 7 марта 1926). В начале страницы наискось приписка рукой С.Б. Пиленко: «Я это переписала, т<ак> к<ак> портрет Насти был на другой стороне и я его взяла. С. Пиленко». В конце страницы приписано той же рукой: «Переписано с 1-й стр. Видимо, написано в день смерти Насти, возле нее. Портрет Насти перед ее кончиной. Она нарисовала их несколько и красками в альбом, они у Д.Е.» (Д.Е. — Даниил Ермолаевич Скобцов, отец Насти).

Запись сделана, очевидно, сразу после кончины Насти от менингита. Во время болезни дочери, продолжавшейся около двух месяцев, мать Мария находилась с ней в Пастеровском институте в Париже. Она сделала несколько рисунков, отражающих этапы предсмертной агонии дочери: три рисунка помечены разными часами 7 марта 1926 г.

В машинописной копии данной записи С.Б. Пиленко, долгие годы хранившая и расшифровывавшая наследие дочери, предваряет текст матери Марии следующей записью: «7 марта 1926 г. умерла 4-летняя Настя Скобцова. Ее мать, Елизавета Юрьевна Скобцова, будущая мать Мария, во время болезни Насти пробыла с ней в Пастеровском госпитале. Профессор Ру, по просьбе О.Н. Мечниковой, разрешил Лизе жить в комнате Насти и ухаживать за ней, где она и пробыла до Настиной кончины. Это было около 2-х месяцев. Комната была во втором этаже, и нам разрешалось только через балконную дверь, которая была и окном, разговаривать через стекло с Лизой. Настя сильно страдала. Приходил к ним проф. Ру каждый день, все было сделано для ее спасения, но помочь ничто не могло. Ее страдания и кончина очень потрясли Лизу. Это было первым толчком к монашеству. Через 10 лет скончалась от тифа старшая дочь Лизы, Гаяна Кузьмина-Караваева, в России, 23-х лет, такая же талантливая, как мать. Это было большим и неожиданным ударом для Лизы. И, наконец, был расстрелян немцами в концлагере в Бухенвальде последний из детей м. Марии Юра Скобцов, 22-х лет. Он оканчивал Сорбонну. Сначала его арестовали, как заложника, за день до ареста м. Марии и послали в Компьень, потом увезли в Бухенвальд. Мать Мария за год до своей смерти узнала, что он расстрелян, но как она узнала это — неизвестно.

Вот что писала моя дочь, м. Мария, в день смерти Насти у ее кровати...» (Арх. С.В.М.).

Отец Сергей Гаккель так описывает болезнь и смерть девочки: «Сначала родители не понимали, что она серьезно больна. Им казалось, что она лишь очень медленно поправляется после гриппа, которым переболела вся семья в продолжение зимы 1925–26 года. Но вскоре состояние здоровья девочки, которая беспрестанно теряла в весе, начало вызывать тревогу — тем более, что ни один из вызванных врачей не мог определить, почему она продолжает чахнуть. Только когда ее состояние стало уже критическим, нашелся молодой врач, который сразу поставил диагноз менингита.

Настю поместили в знаменитый Пастеровский институт. По ходатайству вдовы И.И. Мечникова, матери дали особое разрешение находиться при больной и ухаживать за ней. В течение почти двух месяцев она присутствовала при медленном умирании своей дочери. Рисунки-портреты, которые Елизавета Юрьевна создавала, чтобы развлечь Настю, запечатлели это время. На них изображено худенькое лицо девочки в жару, естественно спокойное: три из них помечены разными часами 7 марта 1926 года. Настя скончалась в тот же день» (*Гаккель С., прот.* Указ. изд. С. 19).

Еще вчера говорила о покровности, все считала себя властной обнять и покрыть собою... — В машинописной копии данной записи внизу сделана приписка рукой С.Б. Пиленко: «"покровность" от "покрыть"». Слово «покровность» встречается также в повести «Несколько правдивых жизнеописаний» (см. примеч. на с. 620)

Не только «да будет первый последним»... — Ср.: «Многие же будут первые последними, и последние первыми» (Мф 19: 30; Мк 10: 31); «Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных» (Мф 20: 16); «...кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою» (Мк 9: 35); «И вот, есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними» (Мк 13: 30).

О чем и как ни думай, — большего не создашь, чем три слова: «любите друг друга»... — См. Ин 13: 34; 15: 12, 17.

Противоположное

Источник: рук., переписанная рукой С.Б. Пиленко, б.д. (Арх. С.В.М.). Публикуется впервые.

[Вспомнила. В Риге...]

Источник: рук., переписанная рукой С.Б. Пиленко, б.д. (Арх. С.В.М.). Публикуется впервые.

Другие источники: маш. копия, б.д. (Арх. С.В.М.).

Молитва из посланий апостола Павла к Римлянам (8: 35–39)

Источник: рук., переписанная рукой С.Б. Пиленко, б.д. (Арх. С.В.М.). Публикуется впервые.

Другие источники: маш. копии, б.д. (Арх. С.В.М.).

[Есть люди инструментальные...]

Источник: рук., переписанная рукой С.Б. Пиленко, б.д. (Арх. С.В.М.). Публикуется впервые.

Другие источники: маш. копии, б.д. (Арх. С.В.М.).

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

БЛОК (первая редакция очерка «Встречи с Блоком»)

Источник: рук. (БАР. Mother Maria Papers. Box 2). Публикуется впервые.

Текст представляет собой более раннюю редакцию воспоминаний о А.А. Блоке (см. с. 73 наст. изд.). Текст был написан в качестве предварительных записей для устного доклада матери Марии, прочитанного ею на собрании литературного объединения «Круг», и лишь позднее переработан для публикации в «Современных записках». Текст отличается бóльшим объемом, более живой, доверительной манерой повествования о Блоке, наличием весьма характерных отрывков, не вошедших в журнальный вариант (в котором, однако, имеется несколько отрывков, отсутствующих в данной рукописи), несколько иной композицией и хронологией описания встреч с Блоком.

Шишко Леонид Эммануилович (1852–1910) — революционер-народник, с 1902 г. эсер, публицист, автор ряда работ по истории общественного движения в России, написанных в манере, типичной для народнической историографии.

У меня была подруга, учившаяся со мною в одном классе, хотя было ей года на четыре больше чем мне. Она была горбата, очень ревнива и очень умна. — См. примеч. к очерку «Встречи с Блоком» (с. 562 наст. изд.).

Это было время «ночных часов». — Четвертый сборник стихов А. Блока «Ночные часы» вышел в издательстве «Мусагет» в конце октября 1911 г.

«Не пропадешь, не сгинешь ты»... — Строки из стихотворения А. Блока «Россия» («Опять, как в годы золотые...», 1908).

...что в особняке графа Зубова против Исаакиевского собора собирается не только институт истории искусства. — Российский институт истории искусств был основан графом В.П. Зубовым в Санкт-Петербурге в 1912 г. и размещился в собственном доме Зубова — особняке, построенном архитектором Г.Э. Боссе, по адресу: Исаакиевская площадь, д. 5.

...что Розанов даже сидит в ней и изучает... — Имеется в виду известный русский мыслитель, прозаик и публицист Василий Васильевич Розанов (1856–1919), одной из тем философской мысли которого стала «метафизика пола».

Что Ахматова пишет ему, Зубову, все сероглазые стихи... — Вероятно, намек на стихотворение А. Ахматовой «Сероглазый король» (1910), впервые опубликованное в журнале «Аполлон» (1911. № 4. С. 20).

Вот Он, совсем близко, но Он не хочет показаться мне, Он спрятан где-то рядом. Я силой, упорством добыюь Его. — См. о теме мучительного поиска Бога, его близости и недоступности также в стихах Е.Ю. Кузьминой-Караваевой, вошедших в сборник «Руфь» (1916): «И стало темно в высоте...» (К-К, ММ, 2001. С. 71), «Белый голубь рассека-

ет дали...» (Там же. С. 79), «Как тяжело на пути земном...» (Там же. С. 93), «Какие суровые дни наступили...» (Там же), «Пусть будет день суров и прост...» (Там же. С. 110); а также в стихах 1930-х гг.: «Никогда, ни на каком пути...» (Там же. С. 134).

...читаю тома Болотова и курс Бриллиантова. — Речь идет о «Лекциях по истории Древней Церкви» (1907–1918. Т. 1–4), известном учебнике историка Церкви, доктора богословия, чл.-корр. Санкт-Петербургской академии наук, преподавателя Санкт-Петербургской духовной академии Василия Васильевича Болотова (1854–1900), посмертно изданном его учеником и продолжателем традиций Санкт-Петербургской церковно-исторической научной школы Александром Ивановичем Бриллиантовым (1867–1933), доктором церковной истории и преподавателем Санкт-Петербургской духовной академии, в 1900–1918 гг. в качестве преемника Болотова занимавшим там кафедру общей церковной истории. Возможно, речь идет также о студенческих записях устного курса Бриллиантова.

«КАНИТЕЛЬ» (первая редакция начала повести)

Источник: рук., б.д. (БАР. Mother Maria Papers. Box 1). Публикуется впервые.

Текст представляет собой первичную версию начала повести «Канитель». Работа над повестью привела в дальнейшем к расслоению изначально единого замысла на три самостоятельных произведения: «Канитель», «Ряженные» и «Вадим Павлович Золотов» (см. примеч. к повести «Канитель»). Подробнее об этом см. в статье Ю. Балакишиной «Рождение смысла: текстологические наблюдения» (с. 459 наст. изд.).

В квадратных скобках дан текст, зачеркнутый автором в рукописи.

«НЕСКОЛЬКО ПРАВДИВЫХ ЖИЗНЕОПИСАНИЙ» (наброски к повести)

То, что нужно помнить

Источник: рук., б.д. (БАР. Mother Maria Papers. Box 1). Публикуется впервые.

Текст представляет собой мемуарные заметки, легшие в основу повести «Несколько правдивых жизнеописаний» и представляющие собой начальный этап работы над нею. Набросок позволяет проследить за формированием и развитием авторского замысла, творческим процессом создания произведения, включающим в себя работу по превращению личных воспоминаний в художественный текст.

Рассказ Ж. о заседании эрдеков... — Эрдеки (революционные демократы), самоназвание различных политических партий республиканско-демократического направления, принятое в эмиграции. В передовице «Последних новостей» от 25 января 1925 г. (№ 1458. С. 1), опубликованной без подписи под названием «“Кордеки” или “эрдеки”», так поясняется этот термин: «Все новые политические группировки этого рода, возникающие в разных частях Европы, где живут русские эмигранты, называют себя поэтому “республиканско-демократическими”. В сокращении это дает кличку “эрдеки”. <...> Формальную организацию около новой клички мы считаем несколько преждевременной».

Нас было фармазонское число только. — Т.е. франкмасонское число — 13.

Из детских мечтаний: хотела в Петербурге от какого-нибудь кладбища на возвратном катафалке под балдахином проехаться... — См. в очерке «Друг моего детства» воспоминания Е.Ю. Скобцовой о том, как в детстве она с братом и бабушкой любила наблюдать из окна петербургской бабушкиной квартиры за похоронными процессиями: «В особенной чести были те, которых хоронили с музыкой» (с. 44 наст. изд.)

Он заменит мельмотовскую владычицу: и дом тоже... — Образ мельмотовской владычицы отсылает к ранней поэме Е.Ю. Кузьминой-Караваевой «Мельмот Скиталец», где описано ее владение — «И белый дом таинственный и строгий» (К-К, ММ, 2001. С. 244). Образ белого дома появляется и в письмах Е.Ю. Кузьминой-Караваевой к А.А. Блоку (см. письмо от 10 июля 1916 г. (с. 445 наст. изд.) и примеч. к нему (с. 627)). Судя по данному отрывку, возникающие в повести «Несколько правдивых жизнеописаний» образы усадьбы и ее владельца старика Иконникова также оказываются связанными с образом белого дома и со звучащей в поэме темой жертвенной любви.

Третье действующее лицо — это К. Нет сомнения в том, что в нем воли не меньше, чем у многих, и ума тоже, и культурности во всяком случае. Так если подсчитать, во многом головою ниже других. А на проверку выходит, что много в нем ветра свежего, интуитивность гениальная, все освещающая. Вместе с тем, большой надрыв (поддерживание глазом), — вызывает острую жалость и большое ощущение виноватости. Я понимаю, что мог быть тогда точкой приложения мистических сил нации, потому что, несомненно, очень легко поддается внушению всяческих сил. — Под К. здесь, очевидно, имеется в виду Александр Федорович Керенский (1881–1970), известный российский политический деятель, в 1917 г. министр юстиции, затем министр-председатель Временного правительства. Те противоречивые черты, какими рисует его портрет Е.Ю. Скобцова, очень созвучны восприятию Керенского многими мемуаристами.

Вот как запечатлен его образ в дневниках 1917 г. Зинаиды Гиппиус: «4 марта. Даже Д.В. (Философов. — Ред.), вечный противник Керенского, вечно споривший с ним, сегодня признал: “Александр Федорович оказался живым воплощением революционного и государственного пафоса. Обдумывать некогда. Надо действовать по интуиции. И каждый раз у него интуиция гениальная”».

«5 ноября. Да, фатальный человек; слабый... герой. Мужественный... предатель. Женственный... революционер. Истерический главнокомандующий. Нежный, пылкий, боящийся крови — убийца. И очень, очень, очень, весь — несчастный» (Гиппиус З. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 8: Дневник 1893–1919. М.: Русская книга, 2004. С. 229, 333).

Современник А. Керенского, прапорщик В. Высоцкий, выпустивший уже в 1917 г. брошюру «Александр Керенский», так описывает гипнотическое воздействие его ораторских способностей на окружающих: «Чудо перед нами живое, — говорит один из слушателей Керенского, — и не веришь глазам. Впрочем, когда глядишь непосредственными глазами, тогда веришь, тогда поддаешься гипнозу этой странной фигуры, простой и непонятной, колдовству этих слов, безыскусственных и огненных. Ибо ведь это собирательный гипноз всей русской революции, сосредоточенной в одном лице, в одной душе» (М., 1917. С. 20).

Ему вторит в своих воспоминаниях Джордж Бьюкенен, служивший в то революционное время в России дипломатом. Он пишет: «Керенский был единственным министром, в характере которого, хотя и неоднозначном, было нечто притягательное, производившее на людей впечатление. Как оратор, он обладал магнетическим даром, завораживавшим аудиторию, и в первые дни революции непрестанно старался передать рабочим и солдатам частицу своего патриотического пыла» (Бьюкенен Дж. Моя миссия в России: Воспоминания английского дипломата: 1910–1918. М.: Центрполиграф, 2006. С. 280–281).

...рассказ <? ова> тогда в поезде о том, как К. душу дьяволу продал, чтобы Россию спасти... — В повесть «Несколько правдивых жизнеописаний» данный эпизод не вошел, однако в «Равнине русской» (гл. VII) есть описание диалога одного из героев, Александра, и таинственного незнакомца, предлагающего для спасения России отдать душу дьяволу.

...рука, мол, на самом деле болела, и до сих пор <не так?> вис<е>ла, — это пришлось пожать руку трем тысячам балтийских матросов в Ревеле. — Ср., например, с портретом А.Ф. Керенского в книге «То, что мне вспомнилось... Воспоминания князя Иллариона Сергеевича Васильчикова»: «А.И. Гучков просил меня лично повидаться и переговорить с А.Ф. Керенским. Последнего я нашел в кабинете министра юстиции в здании этого министерства; правая рука его была на перевязи после бесчисленных в эти дни рукопожатий» (М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. С. 113).

Несколько точных жизнеописаний

Источник: рук., б.д. (БАР. Mother Maria Papers. Box 1). Публикуется впервые.

Этот краткий текст продолжает собой набросок «То, что нужно помнить», при-мыкая к нему вплотную как следующий этап подготовительной работы к повести «Несколько правдивых жизнеописаний». За двумя воспроизведенными здесь пунктами в рукописи сразу следует третий пункт, в котором уже приводится список действующих лиц и рядом рисуется схема их взаимоотношений.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДЕЛО Е.Ю. КУЗЬМИНОЙ-КАРАВАЕВОЙ НА СТРАНИЦАХ
КУБАНСКОЙ И МОСКОВСКОЙ ПРЕССЫ
(март–апрель 1919)**

Дело Е.Ю. Кузьминой-Караваевой получило широкий общественный резонанс и вызвало большое количество откликов в прессе, из которых в Приложении 2 приводятся материалы из газет «Утро Юга», «Приазовский край», «Одесский листок» и «Известия».

Эти заметки живо воспроизводят атмосферу сенсационного судебного процесса, о котором Е.Ю. Скобцова пишет в очерке «При первых большевиках (Как я была городским головой)». Вместе с тем они не могут рассматриваться как вполне достоверные источники. Так, по поводу заметки в «Известиях» мать Мария отмечает в очерке: «Там моя антибольшевистская работа приобрела размеры совершенно гипертрофические». Поскольку «Известия» перепечатывают сообщение из «Одесских новостей» (которые, в свою очередь, почти полностью повторяют отчет, опубликованный в «Приазовском крае»), это замечание относится к освещению информации и в белогвардейских источниках.

1. «Утро Юга»

Впервые: Дело Е.Ю. Кузьминой-Караваевой // УЮ. 1919. 3 (16) марта. № 50 (78); 5 (18) марта. № 51 (79); 6 (19) марта. № 52 (80).

Отклики: Светлячок. Большевики справа и слева // УЮ. 1919. 16 (29) марта. № 61 (89); Варвинский Н. Письмо в редакцию // УЮ. 1919. 23 марта (5 апр.). № 67 (95).

Исследования: *Богат Е.* Мать Мария: мифы, версии, достоверности // Юность. 1986. № 4. С. 86–92; *Веленгури Н.Ф.* Узница лагеря Равенсбрюк // Веленгури Н.Ф. Пути и судьбы: Литературные очерки. Краснодар: Книжное изд-во, 1988. С. 199–251; *Куценко И.Я.* Кубанская «тайна» матери Марии. К 100-летию Е.Ю. Кузьминой-Караваевой // ВК. 1991. 7, 12, 13, 14 нояб.; *Шустов А.Н.* Раскрывая тайну матери Марии // ВК. 1992. 5 нояб. № 173 (21454). С. 4; 6 нояб. № 174 (21455). С. 4; *Лемякина З.Н.* Анапа. 1917–1920. По материалам документов и воспоминаний // Очерки по истории Анапы. Анапа: Анапский археологический музей, 2000. С. 205–238.

...свидетеля, как председателя правления «Акционерного» общества курорт Анапа и Семигорье» — Акционерное общество «Курорты Анапы и Семигорья» было создано В.А. Будзинским, врачом и общественным деятелем, основателем анапского курорта. С помощью данного общества Будзинский приобрел серные источники для устройства лечебных ванн (ТАКК. Ф. Р-5. Оп. 1. № 176а).

...деду подсудимой ген. Пиленко... — Дмитрий Васильевич Пиленко (1830–1895), дед Е.Ю. Кузьминой-Караваевой (по линии отца), генерал-лейтенант, начальник Черноморского округа, видный кубанский общественный деятель и виноградарь. См. о нем: *Пиленко С.Б.* Мои воспоминания о матери Марии // Елизавета Кузьмина-Караваева и Александр Блок / сост. Л.И. Бучина, А.Н. Шустов. СПб.: РНБ, 2000. С. 168.

Писательница-поэтесса, выпустившая в издании «Всходы» три тома своих произведений — Очевидно, имеются в виду три вышедшие книжки Е.Ю. Кузьминой-Караваевой: «Скифские черепки» (1912), «Юрали» (1915) и «Руфь» (1916).

Родзянко Михаил Владимирович (1859–1924) — политический и государственный деятель, председатель III и IV Государственной думы, в 1917 г. — Временного комитета Государственной думы. Сыграл свою роль в Февральской революции, склонив императора Николая II к отречению от престола.

2. «Приазовский край»

Впервые: *РН.* Дело Е.Ю. Кузьминой-Караваевой // ПК. 1919. 7 (20) марта. № 54.

3. «Одесский листок»

Впервые: Письмо в редакцию // ОЛ. 1919. 11 (24) марта. № 78.

Воспоминания: *Тэффи Н.А.* Ностальгия: Рассказы. Воспоминания. Л.: Художественная литература, 1989. С. 354–356.

Исследования: *Грехно В.Н.* «Я вновь умру, и я воскресну вновь...»: К 100-летию со дня рождения матери Марии. Одесса: Весть, 1991. С. 65–71; *Купченко В.П.* Странствие Максимилиана Волошина: Документальное повествование. СПб.: Logos, 1996.

Существенную роль в благоприятном исходе событий сыграл протест интеллигенции на страницах одесской печати, где активную деятельность по спасению Е.Ю. Кузьминой-Караваевой предпринял поэт Максимилиан Волошин, хорошо знавший ее по Петербургу и Коктебелю. К ходатайству присоединились митрополит Одес-

ский и Херсонский Платон, генерал добровольческого отряда и губернатор Одессы А.Н. Гришин-Алмазов, а также ближайший советник Гришина-Алмазова, известный общественный деятель В.В. Шульгин. Об участии последнего в деле Кузьминой-Караваевой свидетельствует письмо М.А. Волошина от 24 июня 1919 г., в котором он «вновь обращается» к Шульгину «по делу, аналогичному с делом Кузьминой-Караваевой, о которой я Вас просил в Одессе в марте месяце, и благоприятный исход которого, конечно, обязан Вашему слову» (ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. № 136).

М. Волошин составил письмо, которое было подписано многими видными литераторами, проживавшими в то время в Одессе.

Решение суда опубликовано в газете «Одесские новости» 29 марта 1919 г.

Этот эпизод описан в воспоминаниях Н.А. Тэффи (Указ. соч.). Вскоре после суда писательница встретилась с Е.Ю. Кузьминой-Караваевой в Екатеринодаре, куда в первых числах апреля прибыла группа московских литераторов, сотрудников «Русского слова» (УЮ. 1919. 2 апр. № 73 (101). С. 4). Последние годы своей жизни Тэффи проживала в Русском доме, основанном матерью Марией в Нуази-ле-Гран под Парижем.

Гроссман Леонид Петрович (1888–1965) — русский и советский литературовед и писатель, автор биографий Пушкина и Достоевского. В 1911 г. окончил в Одессе университет, вел там преподавательскую деятельность.

Гершенкройн Габриэль Осипович (ок. 1890–?) — литературный критик, с 1914 г. живший в Одессе, позднее эмигрировал во Францию.

Нат Инбер (наст. имя Натан Осипович Инбер) — одесский журналист, сотрудничавший в «Одесских новостях», первый муж Веры Инбер. В 1918 г. эмигрировал, жил в Париже, писал в эмигрантской прессе.

Инбер Вера Михайловна (урожд. Шпенцер; 1890–1972) — русская и советская поэтесса. Родилась, училась и начинала литературную деятельность в Одессе. Ее мать была двоюродной сестрой Льва Троцкого, который жил и воспитывался в их семье во время своей учебы в Одессе в 1889–1895 гг.

Крандиевская Наталья Васильевна (1888–1963) — поэтесса, при ее жизни вышло три сборника ее стихов: «Стихотворения» (М., 1913), «Стихотворения» (Одесса, 1919) и «От лукавого» (Берлин, 1922). В 1915–1935 гг. была замужем за А.Н. Толстым. Автор воспоминаний о культурной жизни России 1910–20-х гг. и ряда книг для детей.

Тэффи (наст. имя и фам. Надежда Александровна Лохвицкая, по мужу Бучинская; 1872–1952) — русская писательница, поэтесса, мемуарист. Ее называли «королевой русского юмора». С 1920 г. в эмиграции, в Париже.

Амари (наст. имя и фам. Михаил Осипович Цетлин; 1882–1945) — русский поэт, беллетрист, редактор, меценат. После Февральской революции некоторое время жил в Одессе. В эмиграции стал основателем и первым редактором литературного журнала «Окна» (1923–1924), был редактором отдела поэзии в журнале «Современные записки». После переезда в 1940 г. в США был основателем и первым редактором «Нового журнала» (Нью-Йорк, с 1942 г. совместно с М.А. Алдановым).

Биск Александр Акимович (1883–1973) — поэт, переводчик, переводил поэзию Р.-М. Рильке. В 1919 г. уехал из Одессы в Болгарию, позже жил в Бельгии, с 1942 г. в США.

ПРИМЕЧАНИЯ

Кипен Александр Абрамович (1870–1938) — писатель, агроном, с 1820 г. профессор Одесского сельскохозяйственного института. Написал ряд научных работ по виноградарству. Писал и публиковал рассказы и повести.

4. «Известия»

Опубл.: Работа врагов революции // Известия (Москва). 1919. 27 апр. № 89 (641).

Заметка приводится со ссылкой на газету «Одесские новости» от 24 апреля 1919 г. (указано А.Н. Шустовым).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

- Аввакум 59
Агеева Л.И. 537, 540
Адамович Г.В. 526, 538, 561
Азеф Е.Ф. 79, 480, 565
Алданов М.А. 637
Александр I, имп. 618
Александр II, имп. 45
Александр III, имп. 43, 45, 204, 549, 552
Александр Александрович (см. Блок А.А.)
Александров Н.Г. 560
Александрова О.А. 513, 540
Алексеев П.В. 537
Алексей (царевич, сын Петра I) 556
Амари (см. Цетлин М.О.)
Андреев Л.Н. 74, 474, 557, 563
Аничков Е.В. 80, 565
Аничкова А.М. 80, 565
Аничковы 82, 565
Анна Иоанновна, имп. 550
Анненский И.Ф. 558
Антоний Великий, прп. 9
Антоний, митр. Сурожский 11, 530, 541
Арнольд Г. 94, 96–98, 100, 109, 575–577
Аржаковская-Клепинина Е.Д. (см. Клепинина-Аржаковская Е.Д.)
Асмус В., прот. 537
Аттила 19, 54, 60, 70, 72, 554
Афанасий Великий 9
Афанасьева А.А. 525, 562, 563
Ахматова А.А. 64, 65, 79, 81, 82, 479, 528, 532, 555, 558, 564, 566, 618, 632
Бабич М.П. 94, 574
Байрон Д.Г. 54
Баклыков Л.И. 537
Бакст Л.Н. 563
Баратынский Е.А. 45, 551
Бардиж К.Л. 111, 578
Белевцева Н.П. 539
Белый Андрей (наст. имя и фам. Б.Н. Бугаев) 82, 85, 90, 482, 485, 568
Беневиц Г.И. 538–540, 600
Бенедиктов М. 525, 602
Бердяев Н.А. 14, 57–59, 522, 526–528, 537, 538, 556, 624
Бердяева Л.Ю. 535
Бескоровайный 123
Бжегалов 501, 504
Биск А.А. 511, 537
Блок А.А. 5–7, 12, 18–20, 22–32, 36, 39, 40, 59, 62, 75–77, 79–93, 437, 440–447, 453, 461, 462, 470–472, 475–490, 505, 514–517, 520, 527–533, 538, 540, 547, 548, 555, 557, 558, 560–571, 587, 595, 596, 598–603, 607, 608, 610, 618, 621–629, 632, 634, 636
Блоки 80, 477, 515

* Курсивом выделены имена, встречающиеся не в основном тексте, а в примечаниях, приложениях и сопроводительных статьях.

- Бобров С.П. 454, 516, 629
Бозат Е.М. 528–531, 572, 606, 622, 636
Богданова Л.А. 540
Богомолов Н.А. 534, 538
Богословский А.Н. 534
Боград Г.Л. 539
Бодуэн де Куртене С.И. 515
 Бойе П. 82, 480, 567
Большакова Н. 541, 542
Бонхеффер Д. 539
Боргахдзе 551
 Борисевич И.Т. 122, 124, 584
 Бородаевский В.В. 85, 567
Боссе Г.Э. 632
Браудо Г.Г. 555
 Брюсов В.Я. 55, 56, 82, 89, 471, 485, 554, 555, 556, 558, 595
 Будзинский В.А. 94, 95, 102, 107, 109, 111, 115, 122, 125, 127–133, 468, 469, 501–510, 572, 574, 585–587, 590, 636
Будыко М.И. 532
Булгаков Сергей, прот. 30, 522, 539
Бунин И.А. 529, 550
Булнина В.Н. 529, 536
Булнина С.Н. 542
Булчина Л.И. 461, 538, 561, 562, 587, 595, 622, 625, 636, 637
Булчинская Н.А. (см. *Тэффи*)
Бушен Д.Д. 515, 618
Бьюкенен Дж. 634
 Быч Л.Л. 111, 130, 578, 589
 Бэклин А. 383, 615
- Варвара, великомученица* 617
Варвинский Н. 502, 503, 587, 635
Варфоломей, патриарх Константинопольский 11
Варшавский В.С. 527
Васильчиков И.С. 635
Вебстер И.Н. 526
Вейль С. 539
Веленгурин Н.Ф. 531, 532, 636
 Вернер Э. (наст. имя и фам. Е. Бюрстен-Биндер) 345, 610
 Вернер Ю.Ф. 118, 119, 581
Ветлуин А. (наст. имя и фамилия В.И. Рындзюн) 588
Викторова Т.В. 9, 532, 534, 536–540, 543, 566
 Витте С.Ю. 48, 552
Вишняк М.В. 5, 9, 548, 553, 554
 Вознесенский А.Н. 122, 125, 127, 128, 587
Войтинская Н.С. 515
Волков С.В. 8, 569, 584
 Волкорез 116, 117, 120, 123, 580, 581, 584
- Волошин М.А. 70, 85, 511, 516, 535–537, 554, 559, 570, 636, 637
 Воронков 122, 584
Врангель П.Н. 559
Высоцкий В. 634
 Вячеслав (см. Иванов В.И.)
- Гавриил Команский, архиеп.* 542
 Гаяна, Гайана — см. Кузьмина-Караваева Г.
 Гвоздевич 51
 Ге К.М. 128, 587
Гершенкройн Г.О. (*Гершенкрон А.И.*) 511, 637
Гессель Б. 8
 Гёте И.-В. 57
Гиппиус В.В. 564, 622
 Гиппиус З.Н. (псевд. Антон Крайний) 18, 62, 553, 558, 595, 634
- Гнедич П.П.* 619
Гоголь Н.В. 609
Голь Ж., де (см. *Gaulle G., de*) 528
Гонтаренко А.Н. 532
Гончаров И.А. 616, 619
Гончарова Н.С. 515
Горбов Д.А. 525, 602, 607
Горкин А.П. 538
 Городецкие 78
 Городецкий С.М. 63, 75, 82, 475, 477, 480, 516, 533, 558, 563, 564, 566, 567
Горький М. (наст. имя и фам. А.М. Пешков) 557
- Грек Максим, преп.* 617
Грехно В.Н. 532–534, 636
Грибоедов А.С. 534, 551
Грибоедова Н.А. (урожд. Чавчавадзе) 46, 551
Грибова Н. 534
Григорий, иеромон. 541
Григорий, отрок, в иночестве Гурий 616
 Григорий Богослов, свт. 57, 555
 Григорий Нисский, свт. 85, 481, 567
Гринбаум А. 539
Гришин-Алмазов А.Н. 636
Гроссман Л.П. 511, 637
Грякалова Н.Ю. 537
 Гумилев Н.С. 64–67, 79, 477, 479, 514, 515, 525, 532, 533, 555, 558, 559, 564, 595
- Гуревич Л.Я.* 565
Гуро Е.Г. 542
Гучков А.И. 635
- Дадиани* 551
Данзас Юлия (псевд. *Юрий Николаев*) 594
Данилов 501
Данилов Юрий (псевд. *Е.Ю. Скобцовой*) 5, 6, 520, 521, 553, 573, 591, 595, 602, 607–610

- Данилов Ю.Н. 5
 Дейч А.И. 528
 Делоне Е. 541
 Делоне София (см. Пиленко С.Б.)
 Деникин А.И. 124, 303, 310, 318–320, 569, 586
 Десанти Д. 542
 Дзюя Р. 533
 Дмитриев-Мамонов А.М. 550
 Дмитриевы-Мамоновы 45, 550
 Домонтович Н.И. 10, 102, 109, 111, 468, 574, 576, 577
 Достоевский Ф.М. 21, 57, 58, 74, 457, 474, 538, 540, 556, 557, 562, 603, 610, 637
 Дымшиц-Толстая С.И. 85, 481, 516, 532, 567

 Евлогий (Георгиевский), митр. 521, 522, 526, 534
 Евтушенко Е.А. 542
 Егоров А.И. 99, 100, 576
 Екатерина II, имп. 550
 Екатерина Александровна (см. Победоносцева Е.А.)
 Елена, принцесса Саксен-Альтенбургская 45, 551
 Елена Павловна, вел. кн. 44–46, 48, 550, 551
 Елизавета, мать (см. Медведева С.В.)
 Елизавета Александровна (см. Яфимович Е.А.)
 Елизавета Юрьевна (см. Кузьмина-Караваева Е.Ю.)
 Емельянова Т.В. (см. Викторова Т.В.)
 Ерж Н.Т. 114, 122, 123, 579, 584
 Ермолаева Н. 8

 Жабба С.П. 528, 530
 Жанлис, де (С.-Ф. Дюкре де Сент-Обен) 336, 337, 609
 Жинкин 123, 575
 Жирмунская Т.А. 533
 Жуковский В.А. 46, 551

 Зандер В.А. 527
 Зарудина З.А. 551
 Зверев А.М. 541
 Зелинский В., свящ. 541
 Зенкевич М.А. 564
 Зеньковский В., прот. 535
 Зернов Н.М. 529, 533
 Зернова С.М. 10
 Зленко Г.Д. 530
 Зоренгфрей В.А. 566
 Зосимов 50
 Зубенко Н.Ф. 97, 101, 115, 575
 Зубов В.П. 479, 632

 Иванов Вяч.И. 18, 20, 22, 55–61, 63, 78–81, 85, 90, 461, 477–479, 481, 486, 515, 516, 555, 556, 564, 608
 Иванов Г.В. 63, 558
 Иванов Е.П. 566
 Ивнев Рюрик (наст. имя и фам. М.А. Ковалев) 63, 558
 Ильин М.А. 617
 Инбер В.М. 511, 637
 Инбер Н.О. 511, 637
 Инджебели Х.К. 96, 99, 100, 101, 115, 119, 120, 122, 129, 503, 511, 575, 584
 Иоанн (Шаховской), архиеп. Сан-Францисский 535
 Иоанна, сестра — см. Рейтлингер Ю.Н.

 Казак В. 532, 535
 Кайдаш С.Н. (Кайдаш-Лакшина) 532–534, 536, 538
 Калашева Р.С. 8
 Калинин И.М. 572
 Калиостро А. (наст. имя Дж. Бальзамо) 336, 609
 Кант И. 57, 132, 508, 555, 556, 590
 Каплан Ф.Е. 133, 506, 510, 512
 Каплин 129, 130, 589
 Карл Великий 620
 Карташев А.В. 59, 557
 Кауфман А. 44, 550
 Каухчишвили Н.М. 8, 536–538, 602, 607
 Келлер А.В. 131, 501, 504, 590
 Керенский А.Ф. 40, 547, 604, 605, 634, 635
 Кипен А.А. 511, 638
 Кириченко 500
 Клепинин Дмитрий, сщмч. 10, 11, 522–524, 534, 541
 Клепинина-Аржаковская Е.Д. 8, 11, 519, 530, 537, 538, 541, 545, 609
 Клепинина Т.Ф. 10
 Клюев Н.А. 63, 558
 Ключ 97
 Книжник-Ветров И.С. 517, 629
 Ковалев Н.И. 111, 578
 Ковалевская О.Т. 538, 539
 Кожевникова О. 528
 Колчак А.В. 133, 591
 Колымагин Б.Ф. 541
 Комиссаржевская В.Ф. 74, 474, 563
 Конверский 101, 118, 123, 582, 584
 Константин Петрович (см. Победоносцев К.П.)
 Корляков А.А. 8
 Корн Р.Е. 527, 531
 Корнилий, митр. 539

- Корнилов Л.Г. 102, 110–114, 132, 211, 223, 250, 300, 301, 578, 579, 604
- Коробьин Ю.А. 130, 132, 500, 508, 509, 589, 590
- Коростелев О.А.* 538
- Коряков М.М.* 528
- Кособрух И. 99, 216, 217, 219–221, 225, 229, 236, 237, 576, 605
- Кострыкин 99, 104
- Крайний Антон (см. Гиппиус З.Н.) 19, 53, 54, 61, 70, 71, 553, 554
- Крандиевская Н.В.* 511, 637
- Краснушкин В.А.* (см. *Севский Виктор*)
- Крахмальникова З.А.* 536
- Крейд В.П.* 538
- Кривошеин И.А.* 10, 522, 529, 622
- Кривошеина К.И.* 539, 541, 542
- Кривошеина Н.А.* 531
- Крупп Ф. 57, 555, 556
- Кручинин А.С.* 8
- Крым-Шамхалов 128, 586
- Крымов А.М.* 604
- Крыщук Н.* 530
- Ксения, кн. Тверская* 616
- Кузмин М.А. 78, 478, 558, 564, 595
- Кузнецова И.П.* 513, 540
- Кузьмин-Караваев В.Д.* 564
- Кузьмин-Караваев Д.В. 20, 78, 80, 438, 477, 478 534, 556, 564, 618
- Кузьмина-Караваева Г. 19, 20, 23, 439, 442, 516, 517, 519, 521, 522, 524, 537, 578, 599, 624, 630
- Кузьмина-Караваева Е.Ю. (урожд. Пиленко) 5–30, 32–34, 36–39, 41, 48–50, 52, 78, 80, 83, 134, 437–455, 459–472, 477, 478, 490, 500–516, 518–543, 545, 547–554, 555, 557–574, 576, 578, 580, 582, 583, 585–589, 591, 592, 594–603, 605–612, 615–637
- Кузьмины-Караваевы 515, 516, 535, 565, 618
- Куприянов Д.В.* 531–534, 618
- Купченко В.П.* 531, 535, 636
- Куценко И.Я.* 533, 536, 572, 636
- Кулабухов А.И. 130, 589
- Кулишер 496
- Курау Э.* 10
- Курбацкий В.* 533
- Лабунский 129
- Лавров А.В.* 594
- Ларионов М.Ф.* 515
- Левитес* 503, 522
- Лекманов О.А.* 536
- Лемкина З.Н.* 8, 533, 535, 536, 538, 573, 581, 582, 636
- Ленин В.И. 100, 133, 211, 296, 315, 505, 506, 509, 510, 512, 583
- Леонардо да Винчи 58, 556
- Лещенко Г.И.* 8
- Лиза (см. Кузьмина-Караваева Е.Ю.)
- Лизерэ 44
- Ликвинцева Н.В.* 18
- Линник Ю.В.* 533
- Лисавич И.И.* 539
- Лозинский М.Л.* 564
- Лотман Ю.М.* 529, 566
- Лохвицкая Н.А.* (см. *Тэффи*)
- Лукутины* 552
- Лучин Д.Л.* 582
- Лучин Т.Л.* 582
- Лучин Я.Л.* 582
- Львова Н.* 525
- Лысенко 108, 234, 235
- Любимов Л.Д.* 527
- Любовь Дмитриевна (см. Менделеева-Блок Л.Д.)
- Лютер М. 59
- Мазаева Н.С.* 8
- Майданович Е.Л.* 8
- Макаров Л.* 530, 606
- Маккормик С.Х.* 431, 621
- Маковский С.К.* 89, 485, 532, 538, 558, 559, 570
- Максимов Д.Е.* 27, 529, 532, 570, 571, 622
- Малевич К.С.* 515
- Мандельштам О.Э. 64, 558, 564, 622
- Манухина Т.* 14, 526, 527, 534, 536
- Малкин Н. 96, 123
- Мария Египетская, прп.* 521
- Мария, мать (см. Кузьмина-Караваева Е.Ю.)
- Мария Федоровна, имп. 48, 552
- Маркс К. 57, 74, 184, 209, 283, 475
- Маршак С.Я.* 536
- Массалитинов Н.О.* 560
- Маяковский В.В. 68
- Медведева С.В.* 4, 10, 519, 545, 549–551, 554, 557, 560, 578, 583, 586, 588, 630, 631
- Медведков Алексей, прот.* 541
- Мейер А.А.* 556
- Мейснер Д.* 528
- Мельгунов С.П. 71, 547, 559, 608
- Менделеев Д.И. 75, 563
- Менделеева-Блок Л.Д. 80, 82, 84, 471, 477, 480, 563, 623, 624
- Мень Александр, прот.* 533, 535, 541
- Мережко 94, 96–98, 122, 502, 575, 584
- Мережковские 89, 485
- Мережковский Д.С. 58, 78, 80, 477, 478, 556, 564, 608
- Меркурьева В.А.* 606

- Метерлинк М. 74, 474, 563
 Метьюрин Ч.Р. 627
 Мечников И.И. 631
 Мечникова О.Н. 630
 Микулина Е.Н. 529, 531
 Милашенко И.К. 104
 Милорадов 96, 97, 100, 101, 114, 125, 127, 128, 575, 587
 Милотина Т.П. 532, 533, 535, 536
 Милиц З.Г. 527, 529, 561, 566, 625
 Михаил Александрович, вел. кн. 112, 579
 Михаил Павлович, вел. кн. 45, 550
 Михайлов О.Н. 535
 Можаява Л.А. 539, 540
 Моравская М.Л. 82, 564, 567
 Морев В.Н. 126, 128, 587
 Морев Н.И. 96–99, 101, 109, 468, 507, 508, 518, 574, 576, 619
 Москвин П.В. 532
 Мочульский К.В. 12, 15, 522, 526, 560, 626, 627
- Надеждин 96, 102, 111
 Назаров 108
 Назаров И.Ф. 125, 586
 Наполеон Бонапарт 132, 337, 339, 364, 365, 590, 613
 Нарбут В.И. 82, 564, 567
 Нарышкин А.В. 44, 550
 Нарышкина П.С. 45, 550, 551
 Настя (см. Скобцова А.Д.)
 Недоброво Н.В. 57, 551, 555
 Некрасов Н.В. 604
 Нестеренко Н.Д. 539
 Низовский А.Ю. 617
 Никитин П.Р. 617
 Никифорова Н. 529
 Николаева Д.С. 8
 Николай I, имп. 45
 Николай II, имп. 552, 555, 575, 579, 604, 636
 Ницше Ф. 30, 57, 594, 598, 600, 612
 Носович С.В. 526
- Обоймина Е.Н. 543
 Одоевцева И.В. 550
 Омельченко Е.А. 535
 Орлов В.Н. 561, 564
 Орловы 113, 579
 Остапенко К.Г. 575, 577
 Осьмаков Н.В. 533, 547
- Павличенко 498
 Павлова И. 532
 Петлюра С.В. 583
 Петрова Т.Г. 535, 537, 539, 540
- Петр I (Великий), имп. 58, 550, 556
 Петров 500, 506, 590
 Пикассо П. 85
 Пиленко В.И. 18, 587
 Пиленко Д.В. 505, 509, 513, 540, 636
 Пиленко Д.Ю. 44, 46, 49, 88, 113, 114, 123–127, 452, 483, 484, 513, 519, 520, 561, 568, 569, 579, 587, 634
 Пиленко Е.Ю. (см. Кузьмина-Караваева Е.Ю.)
 Пиленко Л.В. (урожд. Фурсенко) 125, 586
 Пиленко С.Б. 9, 10, 43–46, 49, 74, 82, 84, 88, 124, 125, 127, 474, 481, 498, 513, 515, 519, 520, 526, 549–551, 560, 561, 566, 572, 578, 582, 586–588, 609, 610, 626, 630, 631, 636
 Пиленко Ю.Д. 5, 49–51, 73, 129, 451, 473, 513, 514, 552, 553, 561, 595
- Пильняк Б.А. 557
 Платон 57, 614
 Платон, митр. Одесский и Херсонский 636
 Плюханов Б.В. 10, 531–534
 Победоносцев К.П. 18, 19, 43, 46–52, 514, 549, 550, 552
 Победоносцева Е.А. (урожд. Энгельгард) 47, 552
 Покровский В.Л. 112, 575, 578, 579
 Покровский М.Н. 549
 Поляков 506, 588
 Померанц Г.С. 541
 Прасковья Иоанновна, царица 550
 Преображенский В. 535
 Преображенский Николай, свящ. 127, 587
 Прокопович С.Н. 604
 Протапов П.И. 22, 99, 100, 102, 104, 109, 110, 113, 115–120, 124, 135, 468, 471, 502, 518, 576, 581, 582, 585, 590, 605
 Протопопов А.Д. 196, 197, 604
 Пушкин А.С. 64, 551, 621, 637
 Пыжиков А.В. 8
 Пьянов Ф.Т. 10, 522, 523
 Пяст В.А. 82, 537, 564, 566, 567, 622
- Радко-Дмитриев Р.Д. 574
 Раевский Г.А. 526
 Разумихины П.И. и С.И. 118–120, 468, 581
 Райт-Ковалева Р. 530
 Распутин Г.Е. 55, 93, 328, 489, 555, 607
 Ратнер Е.М. 519, 582, 583
 Ревученко 124, 585
 Рейтлингер Ю.Н. (Иоанна, сестра) 539
 Рео Л. 82, 480, 567
 Родзянко М.В. 508, 636
 Розанов В.В. 479, 632
 Ротань 50
 Ру 630

- Рудский И.С. 110, 111, 574, 577
 Рузский Н.В. 574, 604
 Руттенберг 575
 Рябовол Н.С. 111, 578
- Савинков Б.В. 536, 608
 Садовский Б.А. 453, 454, 516, 628, 629
 Салимов А.М. 617
 Сахаров 582, 583
 Светов Ф. 531
 Северянин Игорь (наст. имя и фам. И.В. Лотарев) 63, 89, 485, 570
 Севский Виктор (наст. имя и фам. В.А. Краснушкин) 579
 Сенин С. 535
 Сергей, архиеп. Тверской и Кашинский 617
 Силуан Афонский, преп. 9
 Сиповский 102, 106, 118, 120, 132
 Скобелев М.Д. 315, 606
 Скобцов Д.Е. 6, 10, 519, 630
 Скобцов Ю.Д., мч. 11, 519, 520 523, 524, 526, 541
 Скобцова А.Д. 456, 520, 521, 630, 631
 Скобцова Е.Ю. (см. Кузьмина-Караваева Е.Ю.)
 Скворода Г.С. 555
 Скрыбин А.Н. 554
 Славинская 505
 Сланевский Л.В. 534
 Соколов В.Н. 96, 100, 105, 575
 Сокольский Николай, свящ. 124, 585
 Соловьев В.С. 36, 58, 78, 80, 99, 100, 110, 182, 477, 515, 540, 555, 556, 564, 565, 577, 603
 Соловьев В.С. 619
 Соловьев М.А. 96, 575
 Сологуб Федор (наст. имя и фам. Ф.К. Тетерников) 89, 459, 485, 497, 570, 619
 Соломонов 504
 Софроний (Сахаров), архим. 9
 Стадник 99, 101
 Стальнов Я.И. 94, 95, 471
 Станиславский К.С. 560
 Старк Б.Г., прот. 540
 Степанов И.И. 119, 120, 582
 Степун Ф.А. 527, 561
 Стефанова В. 536
 Стоюнина М.Н. 514
 Странник Иван (см. Аничкова А.М.)
 Струве Г.П. 531
 Струве Н.А. 537
 Струве П.Б. 566
 Суворин А.С. 550, 594
 Сулькевич Л.С. 122, 125–128, 586, 587
 Сумцов Н.М. 97, 503, 575
 Сухомлин В.В. 528, 547
- Сытова А.С. 8, 530, 532, 624
 Таганцев В.Н. 559
 Таганцева Л.С. 514, 562
 Таубе, фон М.А. 551
 Твритинова А. 527
 Терапиано Ю.К. 527, 535
 Тименчик Р.Д. 533
 Ткачев Е.С. 123, 128, 132, 135, 506, 585, 591
 Толстая С.И. (см. Дымшиц-Толстая С.И.)
 Толстой А.К. 551
 Толстой А.Н. 20, 45, 86, 87, 440, 461, 482, 511, 516, 521, 531, 537, 539, 551, 557, 564, 567, 568, 624, 637
 Толстой Л.Н. 47, 326, 464, 552
 Толстые А.Н. и С.И. 20, 85, 481, 483, 516
 Трёмбовельская Ю. 543
 Трёмбовельский В., свящ. 543
 Троцкий Л.Д. (наст. фам. Бронштейн) 22, 100, 315, 606, 637
 Трубецкой 124, 125, 128, 585, 586
 Трубецкой Е.Н. 586
 Трубецкой С.Н. 586
 Тургенев И.С. 551
 Тэффи Н.А. 511, 532, 636, 637
 Тютчев Ф.И. 551
- Угримов А.А. 10
- Федотов Г.П. 522, 525
 Федюхин А.А. 8
 Феодосий Кавказский, преп. 536
 Фет А.А. 564
 Филимонов А.П. 111, 578
 Филипп, митр. Московский, свт. 617
 Философов Д.В. 634
 Фондаминский-Бунаков И.И. 522, 524, 541, 548, 565
 Франс А. 80, 478, 565
- Харалдина З.Е. 573
 Хинтибидзе П.И. 130, 500, 503, 505, 589
 Хлебников Велимир (наст. имя Виктор Владимирович) 63, 558
 Ходасевич В.Ф. 526, 561
 Хомяков А.С. 603
 Худанин А.Е. 111, 115, 116, 471, 580
- Цветашева М.И. 536, 566, 570
 Цейдлер В.П. 585
 Цейдлер Е.Д. 124, 585, 628
 Цензор Д.М. 75, 474, 563
 Цетлин М.О. 511, 526, 554, 637
- Чащин В. 539
 Чеботарева Т.Г. 8

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Чернов В.М. 559, 565
 Чертков Л.Н. 528
 Чехов А.П. 72, 527, 561
 Чириков Е.Н. 557
 Чулков Г.И. 554, 558
 Чуковский К.И. 24, 25, 596
- Шабанов 119
 Шабарин 106
 Шаров А.С. 537
 Шевченко С. 534
 Шидловские 10
 Шитт К.О. 89, 485, 569
 Шишко Л.Э. 437, 632
 Школяренко М. 123, 124, 621
 Шлецер Б.Ф. 53, 554,
 Шлигельмилх 84, 480
 Шмаина-Великанова А.И. 11, 533, 537, 539,
 542
 Шмеман Александр, прот. 10
 Шпак Н.И. 96, 502, 574
 Шпенцер В.М. (см. Инбер В.М.) 637
 Шполянский М., прот. 542
 Штейнер Р. 57, 85, 86, 90, 439, 461, 481, 482,
 485, 555, 567, 568, 624
 Шубина М. 539
 Шульгин В.В. 637
 Шумихин С.В. 629
 Шустов А.Н. 8, 12, 20, 461, 513, 530–541, 543,
 547, 559–563, 572, 595, 606, 618, 622, 625,
 628, 636, 638
- Эйбов 112, 114
 Эйгер-Мошковская Ю.Я. 533, 562
 Эренбург И.Г. 519, 527, 536
 Эрн В.Ф. 57, 555, 556
 Эткинд Е.Г. 537
- Юлиан Остунник, Флавий Клавдий, римск.
 имп. 58, 556
 Юрьева М.В. 541, 542
- Языкова И.К. 540
 Яновский В.С. 531, 561, 569
- Ярослав Ярославич, Тверской кн. 616
 Яфимович В.М. 44, 551
 Яфимович Е.А. (урожд. Дмитриева-Мамонова), крестная мать Е.Ю. Пиленко 43–49,
 550, 552
- Adamiak E.* 541
Anić R.J. 541
Arjakovsky-Klepinine H. 535
- Bachmann E.M.* 531
Beaune D. 536
Behr-Sigel E. 532, 534, 540, 542
Berlis A. 541
Buday K. 541
- Desanti D.* 542
- Clement O.* 535, 540
Gaulle G., de 528
Goriely B. 528
- Forest J.* 540, 542
- Kahle W.* 529
Kasack W. 532
Kauchtschischwili N. (см. Каухчишвили Н.)
Knout D. 526
- Lindenberg W.* 531
- Matzneff G.* 530
Methuen C. 541
- Plekon M.* 540, 543
Pyman A. 530
- Schmidt R.H.* 541
Stanton S. 541
Stratton Smith T. 528
- Varaut L.* 539
- Ware K.* 535

СОДЕРЖАНИЕ

От составителей	5
Т. Викторова. Памяти отца Сергея Гаккеля	9
Протоиерей Сергей Гаккель. Слово о матери Марии (перевод с английского Т. Викторовой)	14
Н. Ликвинцева. Воспоминания и художественная проза матери Марии. Начало пути	17

ВОСПОМИНАНИЯ

Друг моего детства	43/549*
Последние римляне	53/553
Встречи с Блоком (К пятидесятилетию со дня смерти)	73/560
При первых большевиках (Как я была городским головой)	94/572

ПРОЗА

Юрали	137/594
Равнина русская (Хроника наших дней)	181/602
Клим Семенович Барынькин	270/607
Йога	323/607
Соседи	330/608
Жуткое	335/609
Непобедимая	340/609
Ряженые	344/610
Вадим Павлович Золотов	350/610

* Здесь и далее — страницы примечаний за косой чертой.

Канитель.....	356/611
Несколько правдивых жизнеописаний.....	391/615

ПИСЬМА И ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ

Письма

К А.А. Блоку

1. [24 апреля 1912, Бад-Наугейм]	437/623
2. [Конец апреля – начало мая 1912, Бад-Наугейм]	437/623
3. [27 ноября 1913, Москва]	438/624
4. 19 января 1914, Москва.....	440/625
5. 15 февраля 1914, [Москва]	442/525
6. [Начало декабря 1914, Петроград]	443/626
7. 21 декабря 1914, [Петроград]	444/626
7а. 12 апреля 1915, Петроград	445/626
8. 10 июля 1916, Дженет.....	445/626
9. 20 июля 1916, Дженет.....	447/ —
10. 26 июля 1916, [Дженет]	448/627
11. 27 августа 1916, Дженет.....	450/627
12. 5 сентября 1916, Дженет	450/628
13. 14 октября 1916, Анапа	451/ —
14. 22 ноября 1916, [Анапа]	452/628
15. 4 мая 1917, [Петроград].....	453/628

К Б.А. Садовскому/628

3 декабря [1913. Москва].....	453/630
-------------------------------	---------

К С.П. Боброву

27 февраля 1914. [Москва]	454/629
---------------------------------	---------

К И.С. Книжнику-Ветрову

4 июня 1915. [Анапа]	454/629
----------------------------	---------

Из записных книжек

7 марта 1926 г.	456/630
Противоположное	456/631
[Воспоминания. В Риге...]	457/631
Молитва из посланий апостола Павла к Римлянам (8: 35–39)	457/631
[Есть люди инструментальные...]	457/631

ПРИЛОЖЕНИЯ

<i>Ю. Балакишина. Рождение смысла: текстологические наблюдения</i>	459
--	-----

Приложение 1

Другие редакции и варианты

Блок (первая редакция очерка «Встречи с Блоком»)	473/632
--	---------

Канитель (первая редакция начала повести)	491/633
«Несколько правдивых жизнеописаний» (наброски к повести)	
То, что нужно помнить	496 /633
Несколько точных жизнеописаний	499 /633

Приложение 2

Дело Е.Ю. Кузьминой-Караваевой на страницах кубанской и московской прессы

1. «Утро Юга»	500 /635
2. «Приазовский край»	509 /636
3. «Одесский листок».	510 /636
4. «Известия».	511 /638

Хроника жизни и творчества (1891–1945)	513
--	-----

Литература.	525
---------------------	-----

ПРИМЕЧАНИЯ

Сокращения.	545
Аббревиатуры	546
Условные обозначения	547
Указатель имен	639

М 85

Мать Мария (Скобцова; Кузьмина-Караваева, Е.Ю.)

Встречи с Блоком: Воспоминания. Проза. Письма и записные книжки / Мать Мария (Скобцова; Елизавета Кузьмина-Караваева) ; [сост. Т.В. Викторовой, Н.А. Струве ; науч. ред. и вступ. ст. Н.В. Ликвинцевой ; примеч. Т.В. Викторовой, Н.В. Ликвинцевой ; оформл. Е.Л. Марголис]. — М. : Русский путь : Книжница ; Париж : YMCA-Press, 2012. — 656 с. : ил.

ISBN 978-5-85887-421-8

ISBN 978-5-903081-23-3

В книгу вошли все прозаические произведения и мемуарные очерки матери Марии (Скобцовой, Е.Ю. Кузьминой-Караваевой; 1891–1945). Значительная часть материалов публикуется впервые, произведения, издававшиеся ранее, сверены с архивными источниками и в целом ряде случаев значительно восполнены. Публикуемые тексты сопровождаются подробными научными комментариями, вступительной статьей, хроникой жизни матери Марии, библиографией, приложением, позволяющим ознакомиться с историей создания текстов, и материалами к очерку «При первых большевиках (Как я была городским головой)» (сам очерк впервые публикуется в полном виде и с раскрытием всех псевдонимов), проливающим свет на малоизученный период биографии матери Марии. Образ Александра Блока является центральным как в мемуарах матери Марии, так и в том восприятии предреволюционной и революционной действительности, которое стало побудительным мотивом для написания ею прозаических произведений. О личных встречах с поэтом идет речь в очерке «Встречи с Блоком», дополняемом письмами Е.Ю. Кузьминой-Караваевой к поэту.

Издание предназначено для широкого круга читателей, интересующихся историей XX в., культурой русского зарубежья, а также святыми XX в.: в 2004 г. мать Мария прославлена Православной церковью (Константинопольский патриархат) в лике святых.

УДК 821.161.1

ББК 84

Литературно-художественное издание

Мать Мария
(Скобцова; Кузьмина-Караваева Елизавета Юрьевна)

Встречи с Блоком
Воспоминания
Проза
Письма и записные книжки

Составители
Викторова Татьяна Владимировна,
Струве Никита Алексеевич

Редактор *Н.С. Самбу*
Корректор *Н.С. Самбу*
Верстка *П.А. Сандомирский*

Подписано в печать 10.10.2012
Формат 70х100/16 Тираж 1000 экз.
Заказ № 1551

ООО «Книжница»
125009, г. Москва, Газетный пер., д. 1/12, стр. 6, оф. 64
Тел.: (495) 915-27-97
E-mail: kmrz@mail.ru
Сайт магазина «Русское Зарубежье»: www.kmrz.ru

ISBN 978-5-903081-23-3



Отпечатано в ППП «Типография «Наука»
121099, г. Москва, Шубинский переулок, д. 6

ИЗДАТЕЛЬСТВО «РУССКИЙ ПУТЬ» ПРЕДЛАГАЕТ

Зеньковский В.В.

Собрание сочинений

Т. 1: О русской философии и литературе: Статьи, очерки и рецензии (1912–1961)

Т. 2: О православии и религиозной культуре: Статьи и очерки (1916–1957)

Т. 3: Проблема психической причинности

Т. 4: Христианская философия

На основе обширного творческого наследия философа, богослова, психолога, педагога, литературоведа и мемуариста В.В. Зеньковского (1881–1962) впервые издается Собрание сочинений, в котором представлены работы по различным темам и отраслям знания. В издании представлены преимущественно малоизвестные и не переиздававшиеся тексты.

В 1-м томе собраны статьи, очерки и рецензии, посвященные русской философии и литературе. В них рассмотрены и охарактеризованы как классики русской литературы и философской мысли (Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, В.С. Соловьев и др.), так и современники В.В. Зеньковского (Н.А. Бердяев, Б.П. Вышеславцев, С.И. Гессен, И.А. Ильин, Н.О. Лосский, С.Л. Франк и др.). В работах В.В. Зеньковского представлена целостная философская и литературная панорама (от русского материализма до философского содержания русской поэзии), которая объединена авторским интересом к самым разнообразным явлениям русской культуры.

Во 2-м томе собраны статьи и очерки, посвященные различным аспектам православия и религиозной культуры. В них исследованы богословские проблемы (свобода, зло, образ Божий в человеке и др.), проанализированы явления современной автору религиозной жизни (безбожие, деформация христианства), рассмотрена роль православия в истории русской эмиграции (деятельность Русского студенческого христианского движения). Ведущей для этих работ является идея православной культуры, с которой В.В. Зеньковский связывал будущее преодоление общеевропейского духовного кризиса.

В 3-й том Собрания сочинений включена магистерская диссертация В.В. Зеньковского, изданная только один раз небольшим тиражом (Киев, 1914) и защищенная в Московском университете в 1915 г. В диссертации Зеньковский обосновывает психологическую и философскую концепцию, получившую дальнейшее развитие в его трудах эмигрантского периода.

В 4-й том включены работы по христианской философии. Под рубрикой «Из архивного наследия» впервые публикуется труд, написанный в первой половине 1920-х гг. и названный автором в предисловии «Введением в систему философии Православия». В остальной части тома представлена созданная Зеньковским в конце жизни система христианской философии — 2-томное фундаментальное исследование «Основы христианской философии» и работа «Принципы православной антропологии».

Фудель С.И.

Воспоминания

Знакомые нескольким поколениям читателей по самиздату сочинения религиозного писателя Сергея Иосифовича Фуделя (1900–1977), испытавшего многолетние гонения в годы советской власти, не остались лишь памятниками ушедшей самиздатской эпохи и переиздаются сегодня на разных языках в разных странах. Для многих встреча с книгами Фуделя стала поворотным событием в жизни, побудив к следованию за Христом.

В эту книгу вошли «Воспоминания», писавшиеся около двадцати лет (1956–1975) и «Воспоминания об о. Николае Голубцове» (около 1963), в которых, как и в каждом из сочинений Фуделя, присутствуют все главные темы его творчества — размышления о присутствии Бога, познаваемом в людях и в живоносных словах, о следах святых на земле живых, о святой и непобедимой Церкви.

Фудель С.И.

Записки о литургии и Церкви

В книге «Записки о литургии и Церкви» С.И. Фудель продолжает развивать круг своих заветных мыслей о сущности Церкви, сполна проявляющейся в ее основном священнодействии — Божественной литургии. Значение литургии оставалось малопонятным для многих современников автора — даже для тех из них, кто умом и сердцем уже воспринял христианство, но не был воспитан в ощущении литургии как причастия «божественной и любящей вечности, теплой, как материнское лоно» и не привык дышать «воздухом совсем иного мира». Обращаясь к ним, Фудель стремится поделиться знанием духовного и символического смысла церковного богослужения.

Фудель С.И.

Путь Отцов

Основу антологии «Путь Отцов» составили выписки из творений и писем Отцов-подвижников, сделанные С.И. Фуделем во времена недоступности святоотеческой литературы для большинства верующих в России.

За краткими авторскими комментариями, связующими воедино более чем тысячный массив выдержек из библейских, литургических текстов и творений свыше семидесяти духовных писателей разных времен, стоит глубоко пережитый духовный опыт С.И. Фуделя.

Фудель С.И.

У стен Церкви. Моим детям и друзьям

В эту книгу вошли работы «У стен Церкви» и «Моим детям и друзьям», посвященные размышлениям о присутствии Бога, промыслительности страданий, Евангелии, христианских святых и праведниках XX в., добре и зле.

Балашов Н.В., прот., Сараскина Л.И.

Сергей Фудель

2-е изд., испр. и доп.

Творчество религиозного писателя Сергея Иосифовича Фуделя (1900–1977), испытывавшего многолетние гонения в годы советской власти, не осталось лишь памятником ушедшей самиздатской эпохи. Для многих встреча с книгами Фуделя стала поворотным событием в жизни, побудив к следованию за Христом. Сегодня труды и личность С.И. Фуделя вызывают интерес не только в России, его сочинения переводятся на разных языках в разных странах.

В книге протоиерея Н. Балашова и Л.И. Сараскиной, впервые изданной в Италии в 2007 г., трагическая биография С.И. Фуделя и сложная судьба его литературного наследия представлены на фоне эпохи, на которую пришлась жизнь писателя. Исследователи анализируют значение религиозного опыта Фуделя, его вклад в богословие и след в истории русской духовной культуры. Первое российское издание дополнено новыми документами из Российского государственного архива литературы и искусства, Государственного архива Российской Федерации, Центрального архива Федеральной службы безопасности Российской Федерации и семейного архива Фуделей, ныне хранящегося в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына. Издание иллюстрировано архивными материалами, значительная часть которых публикуется впервые.

Художественное наследие сестры Иоанны (Ю.Н. Рейтлингер)

Альбом

Сост. Б.Б. Поповой, Н.А. Струве

Альбом посвящен творчеству с. Иоанны (Ю.Н. Рейтлингер; 1898, Санкт-Петербург — 1988, Ташкент), духовной дочери о. С. Булгакова, покинувшей Россию в 1921 г., и в 1955 г. вернувшейся на родину. Получив художественное образование, она много и плодотворно работала над храмовыми росписями и иконами во Франции и Англии, позднее в Чехословакии и СССР. В альбоме впервые широко представлены ее произведения зарубежного и отечественного периодов. Творчество художницы освещено в очерках Н.А. Струве и Г.В. Попова. Многие даты жизни с. Иоанны уточнены для издания по архивным документам Б.Б. Поповой.

Вильде Б.

Дневник и письма из тюрьмы. 1941–1942

Борис Вильде (1908, Санкт-Петербург — 1942, Мон-Валерьен) — этнолог, один из основателей движения Сопротивления во Франции — был арестован гестапо за подпольную деятельность и расстрелян в числе других обвиняемых по «делу Музея человека». Впервые на русском языке представлены дневник, который Борис Вильде вел в тюрьме, ожидая приговора (с июня 1941 по январь 1942 г.), а также несколько писем из тюрьмы к жене и написанная Вильде передовица первого номера подпольной газеты «Резистанс». Комментарии и послесловие — французского историка Ф. Бедарида, основателя Института истории новейшего времени в Париже.

Флам Л.С.

Вики: Княгиня Вера Оболенская

3-е изд., испр. и доп.

Книга посвящена трагической судьбе Веры Оболенской, нашедшей во Франции свою вторую родину и ставшей героиней движения Сопротивления в годы Второй мировой войны.

Настоящее издание дополнено новыми свидетельствами, прослеживающими жизненный путь этой яркой женщины.

Братство Святой Софии

Материалы и документы. 1923–1939

Сост. Н.А. Струве

Братство Святой Софии, созданное еще в России по благословению Святейшего Патриарха Тихона, возобновило свою деятельность в эмиграции. Благодаря случайно найденным протоколам, читатель присутствует при обсуждении животрепещущих вопросов корифеями русской религиозно-философской мысли. Протоколы дополнены обширной перепиской между членами Братства (о. Сергием Булгаковым, Н.А. Бердяевым, С.Л. Франком, П.Б. Струве, Г.Н. Трубецким, А.В. Карташевым и др.). Книга обращена к широкому кругу читателей, интересующихся русским религиозным возрождением XX столетия.

Булгаков С., прот.

Евхаристия

Предисл. Н.А. Струве

В настоящее издание вошли две работы о С. Булгакова, посвященные евхаристии. Первая — «Евхаристический догмат» 1930 г. печаталась в журнале «Путь»: в ней Булгаков подвергает суровой критике догматические отклонения католической церкви по этому вопросу. Вторая — «Евхаристическая жертва», написанная десятью годами позже, до сих пор не издавалась: в ней Булгаков защищает тезис о том, что Тайная Вечеря есть прежде всего жертвоприношение и лишь в силу этого — причащение.

Пеги Ш.

Избранное: Проза. Мистерии. Поэзия

Пер. с фр.

Шарль Пеги (1873–1914) — крупнейший французский христианский публицист, поэт и мистик, мало известный русскому читателю. С.Л. Франк, оценивая творчество Пеги, ставил его имя в один ряд с Паскалем, Кьеркегором и Ницше. В сборник вошли избранные фрагменты из всех основных его произведений, как публицистических, так и поэтических.

Ельчанинов А.В., свящ.

Записи

4-е изд.

«Записи» свящ. Александра Ельчанинова (1881–1934) впервые изданы его вдовой в 1935 г., через год после его смерти, в парижском издательстве «УМСА-Press». Книга переиздавалась не раз, была переведена на многие языки, в 60-е гг. широко распространялась в самиздате, а в 1990-е была переиздана в Москве, Петербурге, Риге, Киеве... «Но судьба ее, конечно, измеряется не количеством изданий, а ее действием на души: скольким она была откровением о христианстве, о Церкви, скольким она позволила вступить на путь христианской жизни и в ней утвердиться, одним привела к крещению, других к священству, третьих избавила от уныния». Издание включает также воспоминания об о. Александре (впервые напечатанные в Париже в том же 1935 г. и переизданные «УМСА-Press» в 1977 г.).

Лосский Н.О.

Воспоминания: Жизнь и философский путь

Предисл. и примеч. Б.Н. Лосского; вступ. ст. О.Т. Ермишина

Воспоминания жившего в эмиграции русского философа Николая Онуфриевича Лосского (1870–1965) увидели свет в 1968 г. в Мюнхене и известны российскому читателю по журнальной публикации 1991 г. В настоящем издании примечания Бориса Николаевича Лосского, сына философа, к первому, немецкому изданию дополнены научными комментариями. В приложениях впервые публикуются письма Н.О. Лосского к свящ. Павлу Флоренскому, письма Н.О. Лосского к Б.Н. Лосскому и его семье; автобиография Б.Н. Лосского.

Посмотреть подробную информацию о книгах и заказать их вы можете на сайте издательства «Русский путь»: www.rp-net.ru или русский-путь.рф.

Приобрести книги можно также
в книжном магазине «РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ»

ул. Нижняя Радицевская, д. 2 (м. Таганская (кольцевая)), тел. (495) 915-11-45
и в других книжных магазинах г. Москвы

Отдел продаж издательства «Русский путь»:
(495) 915-10-05

Жизнь матери Марии – Елизаветы Юрьевны Скобцовой (в первом браке Кузьминой-Караваевой; 1891–1945) – похожа на остросюжетный роман: детская дружба с К.П. Победоносцевым, встречи с А.А. Блоком, участие в литературной жизни дореволюционного Петербурга, вступление в партию эсеров, городское головинство в Анапе, учеба в Духовной академии, дети, эмиграция, монашеский постриг, жертвенная самоотдача в помощи всем нуждающимся и обездоленным вплоть до смерти «за други своя» в газовой камере нацистского концлагеря Равенсбрюк. В 2004 г. мать Мария причислена к лику святых.

В книгу вошли воспоминания и прозаические произведения, где осмысляется прошлое: культура Серебряного века и разрушительный вихрь революционных событий с вплетенными в него трагедиями отдельных человеческих жизней. Центральным в этом осмыслении становится образ поэта Александра Блока, предчувствовавшего историческую катастрофу и не уклонившегося от гибели, образ добровольной жертвы – важный для понимания творчества и судьбы самой матери Марии.

Ряд текстов публикуется впервые.